ИЛЬЯ
ЭРЕНБУРГ

5

ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ

ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ

СОЧИНЕНИЯ
В ПЯТИ ТОМАХ

ТОМ
ПЯТЫЙ

ОЧЕРКИ
СТАТЬИ

Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1954



ХРОНИКА НАШИХ ДНЕЙ

10 Л. С.

РОЖДЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ

1. ФИЛИПП ЛЕБОН

Взволнованная свеча позволяет различить причудливую тень на стенке, кипу чертежей, циркуляр, крохотного котенка, который дремлет среди бутылок и бумаг, наконец худое лицо, обесцвеченное бессонными ночами.

Вот где живет этот молодой мечтатель. Соседи давно поговаривают, что у него ум зашел за разум. Впрочем, это славный малый и, конечно же, патриот. Быть не патриотом в эти годы опасно: на дворе стоит год VIII единой и неделимой республики. В комнате — портрет бравого корсиканца, того самого, который беспощадно истребляет всех врагов революции: и тайных шуанов, и эмигрантов, и австрийцев.

Филипп Лебон, узнав от соседей о новой победе республиканских армий, всех их поздравляет, особенно жарко гражданина Маро, роялиста и шпиона Директории. Лебон строго блюдет революционный календарь. Он ест курицу не в воскресенье, но в «декади». Голова его, однако, занята другим.

Может быть, он влюблен? Ведь республиканцы умеют любить ничуть не хуже верноподданных Капета. Вот, говорят, Тальен сохнет в Египте без своей Терезы. А креолка корсиканца!.. Филиппу Лебону тридцать лет. Как раз в пору.

Стучат. Уж не она ли?.. Но в комнату входит плотный гражданин с мясистым носом. Это приятель Лебона,

некто Франсуа Барре, прежде якобинец, оратор десяти клубов и гроза города Шомон, а теперь мирный чиновник, который проверяет на парижских базарах новые республиканские гири.

— Все работаешь?..

— Как видишь.

— Завидую. Ты занят своим делом и ничего не замечаешь. А здесь, можно сказать, гибнет революция!..

Лебон усмехается:

— Ну, это, брат, не ново. Она уже гибла раз пятьдесят, если не все сто. Очевидно, она или бессмертна, или давным-давно погибла.

— Ты смеешься! Но посмотри, что делается! Фуше снова арестовал сто двадцать патриотов из клуба «Манеж». Роялисты открыто интригуют. А знаешь, чем заняты патриоты? Пивом! Честное слово! На вывесках пишут «мартовское пиво», и вот эти ослы требуют, чтобы пиво переименовали в «жерминальское»! Сиес что-то замышляет. Это старый крот. Баррас, как всегда, трусит. Теперь все зависит от генерала... Как, ты не знаешь?.. Но генерал Бонапарт уже высадился в Тулоне...

Лебон, который рассеянно слушал причитания Барре, приподнимает голову:

— Ага! Что же он думает делать, твой Бонапарт?

— Чорт его знает! Одни говорят, будто он решил разогнать Директорию и восстановить подлинную республику. А другие, наоборот, уверяют, что он столковался с шуанами. Ты-то что думаешь, Филипп?

— Я? Я ничего не думаю. Я вообще не думаю об этом. Я занят другим.

— Ты занят праздными выкладками... Это — для развлечения аристократов. А мы мечтали о другом, мы мечтали о всеобщем благоденствии.

— Ты видал на набережной Синь паровую мельницу? Верь мне, это важнее твоих деклараций. Я долго трудился над одним: я решил создать самодвигающуюся коляску. Пусть машины возят людей. В этом подлинное благоденствие. В этом и братство народов. Как будет счастлив человек, когда, едва шевельнув пальцем, он сможет перенестись из Парижа в Рим или в Вену!

— Но ведь это только мечты...

— Да, это были только мечты. Прекрасные мечты! Вот я тебе прочту, послушай: «С помощью наук и искусств можно построить колесницу, передвигающуюся чудодейственно быстро без лошадей и без других упряжных животных...» Это написано Рожером Беконом в тысяча шестьсот восемнадцатом году. Сто восемьдесят лет тому назад!.. А теперь?.. Теперь это не мечты. Может быть, твой корсиканец завтра будет разъезжать на такой колеснице. Знаешь что, Франсуа?..

Лебон встал. Глаза его теперь желты и взволнованны, как свеча. Он говорит тихо, то и дело теряя дыхание:

— Франсуа, я кончил работу. Завтра я сделаю заявление. Я получу патент. Я не могу тебе сейчас изложить все в деталях. Скажу одно: людей будет перевозить воздух. Но обожди, не пар! Нет, газ. Этим газом можно также освещать улицы. Он будет приводить в действие машину. Смесь газа и воздуха сначала сжимают. Потом ее воспламеняют с помощью искры. Ее воспламеняют внутри самого двигателя. Это куда разумней пара. Такой мотор не занимает много места, и в нем огромная сила, превосходящая четверку лошадей. Он сможет вести обыкновенную почтовую карету, ничуть не беспокоя пассажиров. Теперь ответь мне — это ли не подлинное благоденствие? Пройдет пятьдесят или сто лет, и у каждого гражданина будет самодвигающаяся коляска. Другие машины уничтожат нищету. Моя — победит вражду, косность, невежество. Для тела человеку нужны пища и одежда. Слов нет, люди вскорости изобретут машины, чтобы выделывать хлеб, не прибегая к грубому труду землепашца. Но вот человек сыт. Его дух нуждается в совершенствовании. Он носится по всему свету. Его родина повсюду. Он счастлив, как боги Олимпа. Эта кипа бумаги, Франсуа, — залог подлинного благоденствия!..

Но у Барре трудный нрав. Поздравив приятеля и для приличия с минуту помолчав, он начинает спорить:

— Нет, не это заставляло биться наши сердца в девяносто третьем. Мы мечтали о прекрасной простоте нравов. Зачем людям куда-то мчаться? Погляди на твоего котенка — как безмятежно он дремлет! Древние греки не знали колесниц с двигателями, но разве они не были

счастливы? Машины несут людям новое угнетение. Они только разжигают зависть. Куда милее мне осуждаемый тобою труд землепашца! Он ближе к истине и к братству!...

Барре забыл, что он только мелкий чиновник Директории. Он возомнил себя снова в клубе города Шомон. Он витийствует:

— Мы, честные якобинцы, против этих машин! Филипп, я люблю тебя, но истина выше дружбы. Мы против твоего изобретения. Ты напрасно спешишь брать патент. Революция в опасности, но она еще не уничтожена. Если мы победим, мы разрушим эти двигатели. Вместо них мы насадим рощи Жан-Жака Руссо.

Тогда Лебон, улыбаясь, отвечает:

— Что же! Вы не поймете — другие поймут...

Барре не стал больше спорить. Он любил Лебона и опасался ссоры. Вздохнув, он пошел в кофейную, чтобы там выпить кувшин вина и всласть поговорить с завсегдатаями о злодейских происках гражданина Сиеса. На следующее утро он спокойно проверял свои гири. Он даже не вспомнил о хитроумном двигателе, начиненном газом.

А Филипп Лебон, торжественно сдунув пылинки со шляпы, направился в душную канцелярию, где уныло скрипели гусиные перья и где писцы вполголоса обсуждали приезд генерала Бонапарта. Он не слышал ни скрипа перьев, ни шушуканья. Грозный мотор гудел и свистел: машина рвалась в новый век.

Филипп Лебон заявил о своем изобретении 6 вандемьера, года VIII, или, по старому летоисчислению, 28 сентября 1799 года. Он изобрел газ, предназначавшийся для мотора внутреннего сгорания.

2. КОНЕЦ ВЕКА

— Милочка, какие чудные духи!

— Не правда ли? Это новинка: «Конец века».

— Простите, госпожа Жильбер, фасон мне нравится, но вот эти буфы как будто чересчур экстравагантны...

— Что вы говорите, госпожа Друо! Разве вы не видали последнего выпуска «Модного журнала»?.. Теперь все делают такие буфы, даже графиня Монтельяр. Это — «Конец века»...

— Странные пошли теперь танцы. Не то вальс, не то галоп, не то, простите меня, вульгарный канкан.

— Нет, это новый танец: «Конец века».

— Подумать только, до чего пало искусство! В салоне вместо живописи какая-то мазня сумасшедшего Сезанна. Ни приятного освещения, ни одухотворенности, ни красивых красок. Противно говорить об этом. А поэзия!.. Разве вы не слыхали о новом гении? Как же, извольте, — господин Стефан Малларме. Один прощелыга заявил мне, что этот Малларме выше Сюлли-Прюдома! Почитайте, весьма интересно для психиатра. Так и называется: «Отступление от смысла». По-моему, это конец искусства.

— Я не думаю. Просто мода — «конец века».

— Клемансо-то куда хватил! Анатоль Франс примкнул к дрейфусарам. Лабори готов сам выкрасть документы. Это уже не судебный процесс, это скандал на всю Европу. Миллионы людей помешались из-за какого-то офицерика!

— Психоз... Поветрие... «Конец века»...

— Мильеран готовит нам новую Коммуну! Я видел вчера их демонстрацию. Эта песня бандита Потье! Эти толпы «керосинщиц»! Среди них один молоденький агитатор особенно опасен: некто Бриан. А правительство занимается дурацкой выставкой. Надо всем объединиться для борьбы с новыми гуннами.

— Друг мой, вы преувеличиваете. Это не разбойники, это скорее денди. Они перебесятся. Прежде была «болезнь века», ну а теперь «конец века», — легонькое головокружение — и только...

— А вы видали на Итальянском бульваре настоящий автомобиль?

— Четыре автомобиля!..

— Одиннадцать автомобилей!..

— Выставка автомобилей!..

— Это положительно конец света!..

— Нет, это «конец века»!..

Париж насмешливо посматривает на цифры календаря. Еще одно столетье!.. Париж не может больше ни увлекаться, ни осуждать. Он видел царских казаков и красную рубаху Гарибальди, песочный цилиндр Мюссе, трупы расстрелянных коммунаров, он видел Бальзака и Мишеля Бакунина, г. Тьера и Равашоля, Александра Дюма, персидского шаха, слоновье мясо во время осады и слезы маленькой Мими.

Республике скоро тридцать лет. Она давно забыла о детских проказах. Она теперь обзаводится солидным хозяйством. Нам поможет батюшка царь. Да здравствует царь и хорошие проценты!..

Сколько говорили о царстве машин!.. Что же, машины не принесли людям ни счастья, ни гибели. Подешевели чулки и пушки, стало легче разбогатеть и труднее управлять государством. Но в общем: «чем больше все меняется, тем больше все остается по-старому». Пусть волосатые отроки кричат о социальной революции. К сорока годам они станут если не министрами, то подагрическими адвокатами по гражданским делам, кляузниками и любителями страсбургских паштетов. Сегодня возмущенные зрители бросают тухлые яйца в картину молодого художника, завтра эту картину приобретет Люксембургский музей.

В парке Монсо играют ребята. Они играют в войну. У них деревянные сабли, флаги и барабаны. Через пятнадцать лет им придется прятаться в подвалы и напяливать на лица диковинные противогазы. Но они не знают об этом. Они задорно бьют в барабаны. Девятнадцатый век мирно доживает свое. Его никто не торопит. Пусть перелистывает альбомы с семейными фотографиями и невпопад бормочет о своей бурной молодости.

Только вот самодвижущаяся коляска не хочет ждать. С малопочтительным грохотом она выскакивает на сонные бульвары. Старые клячи становятся на дыбы, и перепуганные дамы вытаскивают из ридикюлей флаконы с нюхательной солью. Автомобиль прыгает, как кенгуру. Он то останавливается, то неожиданно срывается с места. Он заполняет улицы отвратительным смрадом и грохотом. Это обыкновенный фаэтон, но лошадей отпрягли, и, повинуясь

каким-то таинственным взрывам, фаэтон зловеще мечется по оскорбленным проспектам Парижа.

Над автомобилями принято смеяться: до чего глупая выдумка!.. Все равно мотор испортится и шоферу придется рано ли, поздно ли итти за лошадьми. Кроме того, фаэтон уродлив. Куда приятней и вернее хороший выезд!..

Над автомобилями смеются, но эти уродливые фаэтоны не дают людям покоя. О чем поют «этуали» всех кафешантанов?.. Да разумеется, об автомобиле: «Гастон умчался с ней в коляске без коней...» Танцмейстеры обучают малокровных барышень новым танцам: «Автомобильному галопу» г. Симона и «Автомобильной польке» г. Салабера. Молодой автор не знает, какой оригинальный конец достоин его героя. Франсуа Коппе подает совет: «Он может, наконец, погибнуть под колесами автомобиля!..» Магазин Лувр объявил конкурс: кто придумает новую форму автомобиля?.. Зачем фаэтон, если нет лошадей?.. Призы получили г. Куртуа, предложивший высочайшую карету с буколическими украшениями в стиле Людовика XVI, и г. Сельмергейм, который додумался до двухэтажной крепости, снабженной крохотными иллюминаторами и капитанским мостиком для управления. Г-н Милль, не удовлетворенный всем этим, построил «автомобиль-лебедь». Мотор помещается в желудке птицы. Лебедь тащит соломенную корзиночку, а в ней сидит человек, он управляет машиной с помощью железных вожжей.

Гг. Панар и Левассор открыли первый автомобильный завод. Они изготовляют моторы внутреннего сгорания по модели, представленной немецким инженером Готлибом Демлером. На последних состязаниях автомобилю Панара удалось покрыть расстояние Париж — Марсель в шестьдесят семь часов. Он может развивать скорость до сорока километров в час — разумеется, при особо благоприятных обстоятельствах. Газеты называют эти состязания «адскими скачками». Муниципалитеты чрезвычайно обеспокоены. Они выносят грозные постановления: «В городах так называемым «автомобилям» запрещается передвигаться со скоростью, превосходящей три километра в час». Хорошо еще, что автомобилей немного!.. Завод гг. Панара и Левассора это маленькая мастерская. Никто не купит автомобиля, чтобы разъезжать по делам. А кататься куда

приятней, когда впереди пара рысаков, а не какая-то вонючая машина.

Мечты о всеобщем благоденствии давно забыты, но в сердцах еще дремлет романтическая тоска. Для фантастов и сумасбродов гг. Панар и Левассор изготовляют громоздкие машины, полные таинственного грохота и непонятных содроганий.

Лошади становятся на дыбы, и хохочут фельетонисты: до чего глупая выдумка!.. Впрочем, сегодня автомобиль дождался признания: пренебрегая опасностью, Эмиль Золя сел в фаэтон без лошадей и доехал до Версаля. Председатель «Автомобильного клуба» назвал Золя «просвещенным современником».

У Золя седые волосы. Но он куда моложе своего века. Астмически задыхаясь, он тщится заглянуть в новое столетие. Его собратья по перу описывают гаремы Константинополя, любовь среди флорентийских древностей или слезы покинутой провинциалки. Золя занят другим: с жадностью слушает он рев биржи, угрюмый скреб рудокопов, лязг машин. Поездка из Парижа в Версаль для него разведка в двадцатое столетие; усмехаясь, он отвечает председателю клуба:

— Будущее принадлежит автомобилю. Я убежден в этом. Трудно сейчас измерить все значение подобного изобретения. Расстояния уменьшатся, следовательно автомобиль — новый проводник цивилизации и мира. Наконец он безусловно повысит благосостояние.

3. МИСТЕР ФОРД В МОЛОДОСТИ

Берней Ойлфильд пришел первым на автомобильных состязаниях. Он был прежде обыкновенным велосипедистом и управлять машиной научился за неделю до гонок. Выручили его достоинства нового автомобиля «900», построенного молодым инженером Генри Фордом. Об этой машине теперь пишут во всех газетах. Форд, впрочем, ищет не славы, но долларов. Он отнюдь не богат, а чтобы исполнились его мечты, ему нужно заполучить хоть небольшой капиталец. Завтра предстоит решительное объяснение с финансистами. Генри Форд гуляет по буковой

аллее, репетируя диалоги. Он начинает с самого ехидного собеседника, с того, который не верит ни в мораль человечества, ни в гений мистера Форда, ни в обыкновенный мотор.

— Не идете ли вы по ложному пути?.. — говорит этот скептик. — Будущее принадлежит электричеству. Может быть, и в автомобильном деле победит удобный электрический двигатель? Отчего же нельзя себе представить, хотя бы на главных артериях страны, резервуаров электрической энергии? Наконец остаются маленькие расстояния, то есть в первую очередь таксомоторы...

Мистер Форд пренебрежительно поводит кончиком носа:

— Маленькие расстояния это маленькие дела. Америка не «Луна-Парк», Америка континент. Резервуары электрической энергии, простите меня, это литература, а резервуары «Стандарт Ойля» с хорошим бензином — это верное дело. Сейчас не девяностые годы, и речь идет не о новом изобретении. Мотор внутреннего сгорания признан всеми специалистами. Я назову вам самого выдающегося человека нашей эпохи, Томаса Эдисона. Кто же, если не он, призван защищать электричество?.. И вот Томас Эдисон сказал мне: «Потребности человечества сложны и разнообразны. Мотор внутреннего сгорания бесспорно найдет себе место»...

Деловые люди внимательно слушают. В их глазах и удовлетворение и легкое беспокойство: сто тысяч на дороге не валяются. Прежде чем выложить такие деньги, надобно все хорошенько взвесить...

Мистер Форд продолжает:

— Как вам известно, моя машина «900» пришла первой. Нам остается перейти к делу. Автомобиль может не только увлекать любознательные умы. Он может также приносить дивиденды.

Мистер Форд встал. Он говорит отчетливо и торжественно, как воскресный проповедник. О чем он вещает?.. Может быть, об ароматных рощах Ханаана?..

— В течение первого года мы выпустим две тысячи автомобилей. Это так называемая «модель А». Два цилиндра. Восемь лошадиных сил. Устройство машины упрощено, чтобы ею могли управлять неопытные люди,

даже женщины и подростки. Цена также доступна: мы будем продавать наши машины за восемьсот пятьдесят долларов. Через четыре года мы доведем производство до десяти тысяч автомобилей. Подобная самоуверенность способна удивить вас, но я предвижу возможность в один день выпускать столько же машин, сколько теперь выпускают все американские заводы в течение целого года. Это вопрос разумной организации. Автомобильная промышленность неминуемо должна выдвинуться на первое место... Я лично люблю гулять пешком; больше всего на свете я люблю птичий гомон и запах сена. Но жизнь сложнее моих частных вкусов, и я считаюсь не с собой, а с жизнью... Разрешите прочесть вам проект нашего обращения к публике: «Пять минут потерянного времени равняются одному доллару, брошенному в воду...» Дальше: «Это отдых мозгов и очистка легких с помощью самого верного медикамента, то есть чистого воздуха...» Наконец: «Мы приспособили автомобиль для текущих потребностей коммерсанта, а также для семейной жизни. Разумная скорость. Разумное устроение. Разумная цена».

— Что же позволяет вам поставить столь низкую цену?

— Мы не фабриканты мороженого, и нам нечего опасаться дождливого лета. Мы теперь ограничиваем себя. Завтра мы получим за нашу скромность сторицей. Калькулировать надо на много лет вперед. Разумней продавать машины в убыток или едва сводя концы с концами, чтобы завоевать рынок, нежели производить дорогие автомобили, приносящие изрядный барыш, но неспособные проникнуть в толщу покупателей. Потом — правильная постановка дела. Человека рожает женщина, то есть человек. Машину должны изготовлять машины. Что касается рабочих, то их надо видоизменить, приблизив к типу машины. Тогда они перестанут, работая, думать. Это не утопический роман, это разумное разрешение рабочего вопроса. Человек, лишенный умственных усложнений, куда практичнее для производства машин, нежели высококвалифицированный механик.

— Но как вы этого достигнете? Наши рабочие не негры. С ними не так-то легко справиться...

— Есть законы бытия. Как я уже сказал вам, я люблю пенье птиц, но сам я петь не могу: у меня, к сожалению,

нет голоса. А вот у тенора Карузо необычайный голос, оцениваемый, насколько мне известно, в сотни тысяч долларов. Равенство не только опасно, — оно прежде всего противоестественно. Рабочие не могут, работая, рассуждать, как я не могу петь. Если они все же хотят проявлять свою оригинальность, им не место на заводе. Одни из них станут изобретателями, другие нищими или преступниками. Мы сами пойдем навстречу рабочим: упрощением всех процессов мы освободим их от напряжения как физического, так и умственного. Большинство будет нам признательно, а чудаки существуют повсюду. Приставьте меня к машине, я через неделю сойду с ума: мне претит однообразие. Я убежден, что и в вас живо творческое начало. Но нас не так много, мы мозги Америки; а я говорю об ее мускулах. Я не приравниваю рабочих к неграм южных штатов. Напротив, я хочу разгрузить их от ломового оброка. Если они сумеют приспособиться к образцовым машинам, заработная плата повысится, и недалеко то время, когда наши рабочие будут покупать у нас автомобили...

Здесь деловые люди переглядываются. Один из них фыркнул: этот Форд дельный парень, но все же он увлекается!

— Я не понимаю вашего удивления. Я ведь не говорю вам, что рабочие будут петь, как Карузо, или управлять государством. Нет, подобные бредни мы можем предоставить европейским социалистам. Но покупать автомобили они смогут: это вопрос цены. Наверное, некоторые из вас еще помнят то время, когда бутыль керосина стоила доллар. На ферме моего отца керосиновую лампу встретили как недопустимую роскошь... Если вы позволите мне небольшое отступление, я скажу вам, что Америка сейчас вступает на путь подлинного совершенствования. Она действительно избрана богом. Она сохранила светлый ум и христианские добродетели. Я отнюдь не сторонник кастового общества: я сам вышел из зажиточной, но простой семьи. Однако демократия, как ее понимают различные фантазеры, это бессмыслица. Вместо гения — избирательная арифметика. Посмотрите на старый мир. Врач определил бы жизнь некоторых государств как паралич: ни руки, ни ноги больше не повинуются мозговым

центрам. Рантьеры держат золото в чулке, превращая само по себе ценное чувство бережливости в скупость. Кровообращение этим нарушается. Рабочие что ни день устраивают стачки. Подобная демократия не способна ни улучшить состояние дорог, ни построить новые университеты, ни создать музеи. Культура падает. Иначе и быть не может: в устах праздного мечтателя демократия это только сумма нолей... Подлинная демократия это автомобильные состязания: достойные побеждают. Если я достигну своего, я окажусь причастным к управлению государством, не занимаясь мелкой политикой. Я построю хорошие технические школы. Я займусь перевоспитанием рабочего класса, который благодаря притоку иммигрантов страдает распущенностью. Наконец я поведу борьбу за простоту нравов, за гигиенический образ жизни, за общение человека с матерью-природой. Как видите, я не изменил моим пичугам!.. Мы сейчас собрались вокруг этого стола, чтобы положить начало «Автомобильной компании Форда». Каждый вправе рассчитывать на дивиденды. Я только техник, чертежник, механик. Я вкладываю четверть основного капитала, проект «модели А» и мой труд. Я надеюсь, что вы не станете пенять на меня за то, что я отнял у каждого из вас несколько драгоценных минут. Ведь мы все американцы и добрые христиане. Господа, самые большие дивиденды получит человечество: автомобиль — это залог всеобщего процветания!..

Компаньоны мистера Форда молитвенно жмурятся, как они жмурятся в церкви, когда пастор докладывает им об изумрудных рощах Ханаана. Ведь все они американцы и добрые христиане. Они хорошо понимают торжественность минуты.

Впрочем, сейчас никаких компаньонов нет. Сейчас Генри Форд шагает по безлюдным аллеям парка, чуть шевеля губами. Вокруг него — птицы. Особенно он любит стрижей. Кстати, стриж летает со скоростью до ста восьмидесяти миль в час... Что же, мы обгоним и стрижей!.. Форд улыбается: завтра соглашение будет подписано. Дорогу, господа, дорогу!..

1929

АВТОМОБИЛЬ

1. ЧТО ТАКОЕ ЛЕНТА

Длинные шеренги рабочих. Одни прикладывают гайку, другие закрепляют винт, третьи считают крылья, четвертые закрашивают ободок, пятые штампуют оси. Человек поднимает руку, потом опускает ее. На этот штифтик ему дано ровно сорок секунд. Машина спешит. С ней не о чем разговаривать.

Рабочий не знает, что такое автомобиль. Он не знает, что такое мотор. Он берет болт и приставляет гайку. В поднятой руке соседа уже ждет закрепка. Если он потеряет десять секунд, машина уйдет дальше. Он останется с болтом и с вычетом. Десять секунд это очень много и это очень мало. За десять секунд можно вспомнить всю жизнь и можно не успеть перевести дыхания. Он должен взять болт и приставить гайку. Вверх, вправо, полукруг, вниз. Он делает это сотни, тысячи раз. Он делает это восемь часов сряду. Он делает это всю свою жизнь. Он делает только это.

По длинной мастерской ползут шасси. Им пересекают дорогу колеса. Колеса вертятся в воздухе. Колеса спешат к шасси. Человек берет колесо, надевает его. Одно колесо. Другой — другое. Роль человека проста и торжественна: он надевает левое заднее колесо, всегда левое, всегда заднее. Он привык сгибать свою правую ногу. Левая неподвижна. Он привык повертывать голову вправо. Налево

он никогда не смотрит. Он уже больше не человек. Он только колесо — левое заднее. А лента движется дальше.

На нижней ленте шасси, на верхней — кузова. Кузов опускается в люк с мучительной точностью. Это называется «свадьбой». Но никогда человек не может так точно пригнать себя к другому человеку. «Свадьба» длится ровно полторы минуты. Человек нагибается: гайка, штифтик. Лента движется.

Она не из шелка, она из железа. Это даже не лента. Это цепь. Это чудо техники, это победа разума, это рост дивидендов, и это обыкновенная цепь, ею скованы двадцать пять тысяч колодников.

Пьер Шарден работает в сборочной. Он прикрепляет задние рессоры. В его руке железная серьга. Шасси движутся. У Пьера Шардена одна минута двенадцать секунд. Он нацепляет серьгу. Он работает исправно: у него трое детей. Он получает четыре франка семьдесят пять сантимов в час. Он хочет получать больше. Он хочет купить новую кровать. Он мечтает о светлой квартире: его окна выходят на глухой двор, и его младшая дочка, которой уже четыре года, еще не начала ходить. Он о многом мечтает. Он старается нацеплять серьги скорее, он хочет выиграть десять или двадцать секунд.

Чтобы нацепить серьгу, достаточно пятьдесят пять секунд. Это учтено. Теперь в час мимо Пьера проходит семьдесят шасси. Он получает все те же четыре франка семьдесят пять сантимов. Он не купил кровати. Его дочка так и не начала ходить. Он приходит домой унылый. Он, кажется, разучился говорить. Он знает одно: нацепить серьгу. В пятьдесят пять секунд. Он умрет на пять лет раньше. Зато каждый автомобиль теперь обходится на шесть сантимов дешевле.

Жан Лебак работает в Сюренн. Он изготовляет шарниры. У него старуха мать и двое ребят. Как и Пьер, он о многом мечтает. За сто шарниров ему платят четыре франка. Он забывает о жизни. Это больше не Жан Лебак, который играл в кости или подтрунивал над товарищами, — нет, это американская машина. Вместо ста двадцати шарниров в час он изготовляет двести двадцать. Вот-то порадует он своих!.. Но нет — автомобиль должен стоить дешево. Если Жан Лебак делает шарниры быстрее,

надо переменить расценку. Вместо четырех франков он теперь получает за сто штук всего два франка восемьдесят. Он пробует работать еще скорее. Двести тридцать. Но нет, он все-таки не американская машина. Он валится без сил. Врач говорит, что это грипп. Он знает, что это — отчаяние. Как бы он ни работал, больше положенного ему не выработать. Надеяться не на что. Он должен просто спешить, спешить ради спешки.

Торопятся рабочие. Торопятся инженеры. Торопится и г. Ситроен.

В просторной конторе стучат машинистки. Люси Невиль. Номер 318. Скорее! Вложить листы сорок четыре секунды. Письмо — три минуты девятнадцать секунд. Перечесть — пятьдесят секунд. Положить копию в ящик — четыре секунды.

Хронометрщик носится от станка к станку. У него часы и доска. Он ведет счет секундам. Он смотрит на руку и на стрелку. Он записывает. Это не смертные приговоры, это только удешевленные автомобили.

Торопятся инженеры. Они выдумывают новый тип машины. Повысить скорость. Увеличить удобства. Уменьшить стоимость. Мотор должен поглощать как можно меньше горючего. «Форду» на сто километров нужно одиннадцать литров. Что же, у американцев и нефть и доллары. «Ситроен» должен довольствоваться малым. Семь литров. Покупатель сноб, он требует шесть цилиндров. Покупатель нервен, он требует бесшумный мотор. Покупатель бережлив, он не хочет платить дорого. Нужно все продумать: фильтр для масла и форму приставных стульев. Вот он, этот неведомый покупатель, он стоит у витрины магазина. Он смотрит на машины различных марок. Инженер едет домой в вагоне метро. У него нет автомобиля. Но неведомый покупатель уже остановился у витрины. Инженер торопится: новая модель должна быть выпущена к очередному «салону». Через несколько месяцев эта модель устареет. Инженеры будут выдумывать новую. Живыми они отсюда не уйдут. Это ведь лента — та, что движется.

Г-н Андрэ Ситроен хмурится. У него не мало забот. Пежо расширяет производство. Пежо выпускает машину на кордонной передаче. Старик Форд снова открыл

заводы. У Форда тоже инженеры. Они тоже сидят и думают. Надо найти новые рынки! Надо усилить рекламу!

Г-н Ситроен работает с утра до ночи. Перед ним автомобили Форда, Фиата, Пежо, Рено. Миллионы. Орды. А земля так мала! Так легко ее объехать!..

Японцы не ездят в автомобилях. Они ездят на людях. Что за дикари! Человек — это восемь километров в час. «Ситроен» — это восемьдесят. Разве можно медлить? Тебя обгонит другой японец! Но японцы упрямы. Форду хорошо: у американских рабочих машины, а рабочие Ситроена мечтают о велосипеде. Что же, если г. Ситроен повысит производство до трех тысяч в день, его рабочие, пожалуй, начнут мечтать об автомобиле. Вот оно, счастье, их и его! Следовательно, надо повысить производство. Но для этого надо повысить спрос. Хорошо бы рекламировать воздух: кто не ездит в воскресенье за город, тот укорачивает свою жизнь на одну треть. Хорошо бы рекламировать жизнь: она одна, другой нет.

Зловеще хрипят «форды» и «пежо», «рено» и «фиаты». Они хрипят корректно: они ведь тоже бесшумны. У них тоже фильтры для масла. А земля так мала! В России революция. Китайцы режут друг друга. Негры, те просто лазят по деревьям.

Все знают, что г. Андрэ Ситроен — игрок. Он обожает баккара. У него четверка или пятерка. Остается одно — прикупать: кто знает, может быть, у Форда девять? Долго длится эта игра. Г-н Ситроен то срывает банк, то проигрывает. Он удешевляет тарифы. Он выпускает новые модели. Он рискует всем. Только бы поскорей!..

Заводы Ситроена прекрасно оборудованы: центральное отопление, мощные вентиляторы, стеклянные крыши. Г-н Андрэ Ситроен просвещеннейший фабрикант. Разве он виноват, что люди выдумали автомобиль, что они торопятся жить, что покупатель с каждым днем становится все требовательней? Г-н Ситроен повинуется своему времени.

На заводах Ситроена двадцать пять тысяч рабочих. Когда-то они говорили на разных языках. Теперь они молчат. Приглядываясь к лицам, можно увидеть, что эти

люди пришли сюда из разных стран. Здесь парижане и арабы, русские и бретонцы, провансальцы и китайцы, испанцы и поляки, негры и аннамиты. Поляк когда-то пахал землю, итальянец пас баранов, а донской казак верой-правдой служил государю. Теперь все они у одной ленты. Они не разговаривают друг с другом. Постепенно они забывают человеческие слова, слова теплые и шершавые, как овечий мех или как комья свежевспаханного поля.

Они слушают голоса машин. Каждая кричит по-своему. Огромные песты нагло ворчат. Взвизгивают фрезерные станки. Пищат пробоины. Грохочут прессы. Кряхтят жернова. Вопят блоки. И ехидно присвистывает железная цепь.

От рева машин глохнут провансальцы и китайцы. Глаза их становятся светлыми и пустыми. Они забывают все на свете: цвет неба и название родной деревушки. Они продолжают приставлять гайки. Автомобиль должен быть бесшумным. Инженеры сидят и думают, как бы сделать немой мотор. Вот эти клапаны еще пробуют разговаривать: надо заняться клапанами. Покупатель так нервен! У тех, что стоят возле ленты, нервов нет. У них только руки: приставить гайку, нацепить колесо.

Агенты Ситроена рекламируют море и горы, берега Луары, перевал через Альпы, сосны, озон. Мастерские Ситроена наполнены недобрым дыханием машин. Это ядовитые газы, вонь горячего масла, резкость кислот, спирт, жидкий уголь, краски, лак. Металл травят кислотами, — у рабочих экзема. Металл чистят песком, — рабочих караулит чахотка. Металл окрашивают из автоматических пистолетов, — испарения отравляют рабочих. В литейных мастерских от масла и серы у рабочих слезятся глаза. Мало-помалу они перестают выносить солнечный свет. Но в мастерских нет солнца. Они продолжают оттаскивать рамы. Зачем им глаза, уши или жизнь? У них руки, они стоят возле ленты.

Новичок спрашивает Пьера Шардена:

— Ты придешь вечером на собрание?

Пьер качает головой — нет. Новичок еще зелен. Он верит в книжки и в споры, в кружки самообразования и в мировую революцию. Пьер больше ни во что не верит. Когда он был молод, он работал тихо и спокойно. Он

работал десять часов, но никто его не подгонял. Он любил тогда инструменты и железо. Он работал со вкусом. Он учился своему ремеслу. Он читал книжки и ходил на митинги. Он верил в победу труда и в человеческое братство. Потом оказалось, что уменье его ни к чему: фрезерный станок работает с точностью в одну сотую миллиметра. Пьер перестал управлять машиной, машина стала управлять им. Теперь он нацепляет серьги. Он забыл о человеческом братстве. Он понял одно: ничего нельзя изменить. Лента движется. Против этого бессильны все доводы. Если он будет кричать, его прогонят. На его место возьмут другого — негра или мальчика. Кто же не сумеет нацеплять эти серьги?.. Пьер больше не ходит на собрания. Он чуждается товарищей. Зачем человек человеку? Чтобы молчать?..

Его жена еще мечтает:

— Вот повезет, и переедем в Ванв... Там воздух чистый...

Пьер молчит. Ему повезет? Серьги всегда останутся серьгами. Набавят пять су — вздорожает масло. В Ванв чистый воздух? Может быть. Но из Ванв на завод — час, час — обратно. А он так устает!.. Странная это усталость. Он мог бы сейчас, кажется, наколоть дров — целый воз, или пробежать километр без передышки. Тело его не устало. Устала голова. Скорей нацепить серьгу, пока не ушла машина!.. Он забывает имена и лица товарищей. Он не понимает, о чем его спрашивает жена. Он только жалобно отмахивается: «Оставь!..»

Иногда жена уводит его в кино. Он сидит там тяжелый и сонный. От темноты слипаются глаза. Трудно понять, почему этот банкир так приветлив с нахальным посетителем... Рядом, в рыжей духоте, среди дыма и снопов дрожащего света, угрюмо копошатся мысли соседей: тех, что вытаскивают оси, или тех, что вставляют штифтики. Это мысли без ног, без плавников, без крыльев; они копошатся, как дождевые черви, рассеченные заступом. Это даже не мысли, это механическая сцепка полузабытых образов, это сны пещерного человека, мычание глухонемого, и это горячечный бред калькулятора: вместо обоев, вместо губ, вместо микстур — все те же шеренги цифр. В кино сидит, казалось бы, обыкновенная публика.

Каждый заплатил за вход один франк или два. Они смотрят светскую мелодраму, разрешенную цензурой. Это искусство, культура низов, это Париж, тот, что «светоч мира». Копошатся мысли, отекают ноги, в глазах рябь экрана и перламутр. Трещит аппарат. Лента все движется.

И вдруг грохот. Это смех ста глоток, смех грубый и громкий, как рев клапана, смех на «о»: «го-го-го!» Зал гогочет. На экране нахальный посетитель, танцуя, упал. Он упал и разбил монокль. Как он здорово шлепнулся! Как растянулся! Как дрыгнул ногой! Как утер нос! Го-го! Го-го! Потом вспыхивает электричество и глаза гаснут.

Г-н Андрэ Ситроен может быть спокоен. Машина сделала свое дело: человека разобрали и собрали заново. Руки его стали двигаться быстрее, веки реже моргать. С виду он похож на обыкновенного человека. У него брови и жилетка. Он ходит в кино. Но разговаривать с ним не о чем. Он уже не человек. Он только частица ленты: болт, колесо или штифт. Он живет не просто, как другие люди, чтобы есть, спать с женщинами и смеяться, — нет, его жизнь полна глубокого смысла — он живет, чтобы изготовлять автомобили: десять лошадиных сил, бесшумный ход, стальной кузов.

Пьер молча идет домой. Жена пробует разговаривать:

— Интересная картина! Я сразу догадалась, что этот брюнет подлец. А ты?..

Пьер не отвечает. Его жена весь день работала: она стирала белье, носила уголь, мыла пол. У нее болит поясница. У нее болят плечи. Но она не стояла возле ленты. Она еще может разговаривать о каком-то брюнете. А Пьер молчит.

Молча он раздевается. Молча ложится. Он о чем-то думает сосредоточенно, ревниво. О брюнете? Об автомобиле? О смерти? Нет, он думает о пятне на обоях возле самой подушки. До чего это пятно похоже на голову человека с трубкой!.. Какая гадость! Ну да, вот и дым!.. Он долго думает об этом. Потом он говорит:

— Послушай, здесь надо что-нибудь повесить...

Жена еще штопает носки. Пьер смотрит, широко раскрыв глаза, на электрическую лампочку. Он смотрит не моргая. Холодный свет льется внутрь. Голова с трубкой, брюнет, как он смешно упал, — скорей нацепить серьгу!..

Рука Пьера по привычке поднимается — правая рука, левая лежит спокойно. Пьер засыпает. Рука судорожно шевелится. Дыхание переходит на ночной счет.

Жена смотрит на Пьера. Какой он стал худой и бледный! Проклятый завод!.. Жена тихо вздыхает, очень тихо, — ведь Пьер спит. Он спит, но его пальцы вздрагивают. Он, наверное, еще нацепляет серьги: до утра, до ночи, до смерти.

2. ИГРОК

Г-н Андрэ Ситроен, если верить светским хроникерам, любимец всех казино. Без него не бывает настоящей партии. Он обладает высоким даром: он умеет проигрывать. Он проигрывает небрежно и красиво. Зеленое сукно — это не грубая пожива, это поэзия бессонных ночей, проглоченные вздохи, тщательно скрываемый пот, отмирание пальцев, поединок с судьбой и еле приметная улыбка; ее надо быстро стереть шелковым платочком, как капли пота на висках.

Г-н Андрэ Ситроен игрок по природе. Его заводы это жетоны в жилетном кармане. Не упорством достиг он своего, не хитростью, не гением — азартом. Правда, официозные биографы говорят о зубчатках, придуманных в свое время молодым инженером Андрэ Ситроеном, который окончил парижский политехникум. Но мало ли на свете толковых инженеров и новых зубчаток!..

В 1915 году Ситроен открыл в Париже завод. Он, конечно, изготовлял товар по сезону: он делал снаряды. Недостатка в заказах не было. Патриотизм сочетался с хорошими барышами. Но кончилась война. Перед Ситроеном были американские машины, а также неизвестное будущее. Одни ставили на новую войну, другие на длительный кризис, третьи на революцию. Г-н Ситроен поставил на Америку. Он понял, что отжили свой век стихи и ландо, лошади и любовь. Вчерашний домосед, мечтатель, растяпа завтра будет судорожно хвататься за часы.

В первый же год заводы Ситроена выпустили три тысячи триста машин. Кругом забастовки, волнения, цены растут, рабочие выбирают делегатов, дадаисты кричат о светопреставлении, предусмотрительные патриоты

переводят капиталы в лондонские банки; кругом страх и надежды. Г-н Ситроен поставил на хорошие шоссе и на жестокую борьбу за существование.

Он обдумывает, как совместить американский размах с европейской нищетой. Надо строить дешевые машины. Надо, чтобы эти машины поглощали мало горючего. Надо, чтобы эти дешевые машины выглядели понаряднeй. Европеец беден, но тщеславен, он ведь горд своей тысячелетней культурой. Он согласится на слабый мотор, но не на уродливые пропорции.

Два года спустя заводы Ситроена выпустили тридцатитысячную машину. Это не мало, но г. Ситроен любит только крупную игру. Автомобиль не жемчужное колье и не скрипка Страдивариуса. Автомобиль это новое божество. Ему должны поклоняться все. Следовательно, надо понизить его стоимость. Г-н Ситроен меняет оборудование мастерских. Он рекламирует свою последнюю модель: пять лошадиных сил. Это доступно всем. Счастье за полцены! Счастье на выплату! Заводы выпускают двести машин в день. Обороты увеличиваются. Улицы Парижа становятся опасными. Об автомобилях теперь мечтают мелкие лавочники и фермеры.

Железо стоит дорого. Уголь стоит дорого. Краска стоит дорого. Но в графе расходов имеется одна рубрика. На нее направлено все внимание г. Ситроена. Если нельзя понизить цены на материал, можно понизить цены на труд. Девятнадцатый год позади. Рабочие комитеты давно распущены. Стачки проиграны. Г-н Ситроен показывает своим рабочим новую заморскую игрушку: это лента — та, что движется. Пусть рабочие и ворчат, их ропот покрывается громыханием новых прессов. Автомобили Ситроена теперь стоят еще дешевле. Г-н Ситроен снова взял банк.

Но тогда игра перестает его занимать: она слишком мелка. Пять сил приносят недостаточно доходов. Игрок пренебрегает осторожностью. Он бросает ходкую марку. Все растеряны. Подержанные автомобили — пяти лошадиных сил — продаются за бесценок: завод больше их не выпускает. Г-н Ситроен ставит на обогащение одних, на безрассудство других. Без автомобиля жить нельзя: это доказано. Следовательно, покупатели кинутся на новую

машину — десять лошадиных сил, «Б. 12». Он сам шел на жертвы. Его рабочие шли на жертвы. Пусть теперь вся Франция пойдет на жертвы. Пусть пьют меньше аперитивов, пусть реже ходят в кино, пусть носят пальто не два года, а три.

Покупатели сдаются не сразу. Пауза для дельца это крах, для хорошего игрока это только жемчужина пота на висках и шелковый платочек. Он быстро вытирает лоб. Он сорвал и этот банк. Новая модель куда выгодней прежней. Дивиденды растут. Игра стоила сердцебиения.

— Прикупаете?

— Прикупаю.

Восьмерка. Игрок прикупил и перекупил. Деликатно улыбаются соседи. Деликатно шелестят карты. Деликатно посвечивают жетоны. И снова:

— Прикупаете?

И снова деликатные улыбки. За спущенными шторами шумит море. Игра никогда не может кончиться. Игрок то проигрывает, то отыгрывается, но не уходит. Он хочет выиграть. Наконец-то он выигрывает. Но он все-таки не уходит. Он хочет выиграть больше. Тогда он снова начинает проигрывать. Это — как прилив и отлив. Игра постоянна. Игрок и не хочет выиграть. Он хочет только играть. Разве не похожи на детские игрушки эти костяные жетоны? Нет, он даже не хочет играть. Он очень устал. Рябят масти, девятка сморщивается в мизерную четверку. Он вытирает лоб. Он бледен и уныл. Он не хочет больше играть. Впрочем, это неважно, — хочет он или не хочет. Его ведь спрашивают об одном:

— Прикупаете?

Он должен играть. Это уже не игра, это лента, железная лента. Немного жестче улыбка. Немного быстрее летит в пепельницу чересчур длинный окурок. Но голос его ровен:

— Прикупаю.

Потом просачивается рассвет. В этот час на заводах Ситроена меняются смены. Лица рабочих неподвижны и серы, как будто они не из мяса. Лицо игрока еще неподвижней, еще серее. Это не лицо, но игральный жетон.

— Следовательно, вы проиграли четыре миллиона...

Игрок ничего не понимает. Его рука еще тянется к колоде, но колоды больше нет. Казино уже закрыли. Рука нечаянно натыкается на ветку, мокрую от росы. Перед игроком море. Движения его законны и неизменны. Оно сначала бьется о камни, потом шарахается прочь. Игрок и море остаются вдвоем. Они глядят друг на друга с легким недоверием, которое постепенно переходит в безразличие. Оба устали и оба должны продолжать свое дело. Для жалоб у них нет времени, а философия устарела... Начинается прилив. Игрок задумался, хотя он и не думает ни о чем. Его приводит в себя гудок автомобиля. Четыре миллиона... Еще две недели... Еще двадцать или тридцать лет... Послушливо игрок уступает дорогу машине. Это последняя модель Ситроена — шесть цилиндров, десять сил, «Б. 14». Игрок улыбается. Улыбка его ничего не означает, как и роса на щеке.

3. НОВЕЙШИЙ ЗАВЕТ

У Ситроена пять тысяч агентов. Они рыщут по городам и селам. У них энергия мистера Гувера и собачий нюх. Они мудры, как библейский змий. Они находчивы, догадливы и терпеливы. Одни из них замечательные ораторы: Гамбетты, Анри Роберы, Брианы. Другие могут быть названы тончайшими психологами. Человечество они делят на несколько категорий: те, что купят автомобиль немедленно, те, что купят его через шесть месяцев, наконец те, что купят его через год. Людей, которые никогда не купят автомобиля, для агентов не существует: агенты верят в человеческое счастье и прогресс. Этот фермер выгодно продал зеленый горошек: он может купить машину тотчас же. Что касается молодого доктора, то у него завелись уже первые больные, следовательно через полгода он созреет для очаровательного автомобиля. А с булочником придется подождать до весны.

Пять тысяч агентов разносят по счастливой Франции новое десятисильное счастье и облака серебряной пыли. Они шлют в Париж донесения. Они восхваляют выносливость машин. Они просят об одном: дешевле! Еще дешевле! Вот булочник, тот никак не может. Да и доктору

трудно. Здесь ведь платят по десять франков за визит. Франция не Америка!..

Г-н Ситроен сам знает, что Франция не Америка. А вот в Америке автомобиль стоит вдвое дешевле. Но что тут поделаешь?.. Кривая цен попрежнему рвется ввысь. Вздорожали даже леденцы и фиалки. На г. Ситроена возложена непосильная миссия: он должен дать автомобили всем. Это не заказы. Это обет.

Г-н Ситроен продает для рекламы игрушечные автомобили. Их дарят детям на елку. Деревянные лошади давно не в моде. Дети теперь играют в перемену скоростей. Но дети, кроме того, растут. Вот уж надоели им любимые игрушки. Скоро они обратятся к одному из пяти тысяч агентов. Если они не смогут приобрести автомобиль, они станут мизантропами или, хуже того, коммунистами. Г-н Андрэ Ситроен должен спасти молодую Францию от губительного разочарования.

Служащие вывешивают в мастерских беленькие листочки: «Необходимы жертвы. Дирекция это поняла. Теперь это должны понять и рабочие...» Г-н Ситроен преисполнен самопожертвования. Пусть мыло или нитки дорожают — это заслуженные ветераны. Они входят в жизнь человека с первых же слов, вместе с продранными штанишками и с теплой губкой. Они общепризнаны, как солнце и как полиция. Изготовлять мыло или нитки — почтенное, но скучное дело. Г-н Андрэ Ситроен — апостол новейшего завета. Он твердит, что автомобиль нужнее спокойствия. Пять тысяч агентов выдают уверовавшим столько-то тонн железа и столько-то крупиц непоседливости. Ради этого г. Ситроен согласен на любые жертвы. Он согласен немного подождать с доходами. Да, он согласен. Очередь за рабочими.

Чтобы продавать автомобили, нужны агенты; чтобы править миром, нужны поэзия, химия и тщательный отбор; нужно иному солдату подарить погоны, нужно разукрасить социалиста ленточкой Почетного легиона, нужно во-время выписать несколько деликатных чеков. Г-н Ситроен не вмешивается в политику. Он не мечтает о кресле

депутата, не субсидирует газет, не создает «лиги гражданского единения». Он вне этого. Он выше этого. Он изготовляет автомобили сериями. Как для всевышнего, для него нет ни эллина, ни иудея. На его заводах работают бок о бок благоразумные патриоты и завзятые коммунисты. Г-на Ситроена занимает только одно: скорость. Для продажи он создал агентов, для производства «показчиков». Показчика можно показывать на ярмарках или в университетских клиниках: «Интереснейший экземпляр! Живая машина!» Он не наблюдает за порядком. Он и не стоит у ленты. Он только показывает. Он показывает, как легко любому человеку забыть о том, что он человек.

Жозеф Лепон прекрасный показчик. Он обучает рабочих сборочной мастерской. Сколько времени тратит вот этот парнишка на установку ручного рычага? Четыре минуты? Лепон берется за дело. Быстро прилаживает он болт и быстро ввинчивает винты. Одна минута сорок секунд. Заведующий определяет: для среднего рабочего достаточно две минуты. Тогда показчик идет к ленте. Показчик показывает. В течение одного часа устанавливает он тридцать рычагов. Потом он уходит прочь — показывать другим и другое. Рабочий остается с рычагами. То, что показчик делал один час, он должен делать восемь часов подряд, восемь лет, может быть всю свою жизнь. Рабочий смотрит на спину Лепона и злобно шепчет:

— Сволочь!..

Лепона все ненавидят. Ситроен — далеко, это почти миф, это вроде господа бога. Трудно ненавидеть инженеров. У них свои резоны. Разве они знают, что такое ввинчивать весь день винты?.. А Лепон свой, рабочий, он получает всего на один франк в час больше других. От него вся беда. От него лента. От него секунды. От него вечером проклятая одурь, когда нельзя ни посмеяться, ни поспорить, ни даже уснуть.

Офицерам отдают честь, имена знаменитых актеров печатают на афише крупным шрифтом, хорошего инженера то и дело вызывают в кабинет директора. Жозеф Лепон живет среди рабочих, и рабочие его ненавидят. Он работает, как они, — даже больше; он создает новые рекорды; он изумляет инженеров. Он может простоять на одном месте, не двигаясь, десять часов подряд. Он может

проработать весь день, не выходя до ветру. Он может не есть и не спать. На руках его, кажется, не пальцы, но зубила, щипцы, кусачки, сверла, коловороты; внутри же вместо сердца — мотор. Он не помнит своего детства. Об его человеческом происхождении свидетельствуют только метрика и родимое пятно. Он столь же нов и божествен, как автомобиль. Но здесь-то и начинается несправедливость. Об автомобиле мечтают все; даже рабочие, выходя из мастерских, с завистью посматривают на машины старших инженеров; даже рабочие боготворят автомобиль. Но, встречаясь с Лепоном, они сердито отплевываются. Оказывается, Лепон еще не совершенен: внутри у него, помимо мотора, архаические чувства, он способен кривиться от обиды.

Вот он вышел из ворот. Он подзывает Дюрана, приемщика:

— Зайдем-ка, опрокинем по рюмочке!

Угощает, конечно, он. Но Дюран бормочет:

— В другой раз. Я сегодня спешу...

Дюран любит ром, но он боится, как бы товарищи не увидели его с Лепоном. И Лепон понимает это. Он тихо ругается. Уныло идет он по улице. Спешить больше незачем. Теперь вечер, сон некому показывать, все сами умеют спать. Он заглядывает в зеркало возле булочной. Обыкновенное лицо. Рыжие усы. Кепка. Ну да, он самый обыкновенный человек. Но когда он подходит к рабочему, зрачки рабочего ширятся от ужаса, как будто к нему подходит смерть. Лепон не раз это видел. Нечего сказать, веселая должность — изображать смерть!

Он заходит в кабачок. У стойки незнакомые рабочие. Он заговаривает. Он выставляет по рюмке. Трогательно жмет он руку каждому. Он глотает ром медленно и мечтательно. Он старается всем сказать что-нибудь приятное:

— Вот и весна... Совсем потеплело...

Он показывает на проходящую мимо девушку:

— Шляпка-то какая!..

Он жалуется:

— Устал я... Ну и работа!..

Но тогда он слышит, как один из собутыльников говорит:

— Это показчик из сборочной... Гадина!

Лепон швыряет монеты на стойку и молча уходит. Он идет вдоль пустынной набережной. Неприязненно поблескивает вода. В нее кидаются люди. А в окнах свет. Там уют — граммофон и карты. Чорт бы их всех побрал! Пусть лучше бросаются в Сену! Может ли ром развеселить Лепона? Если он снова зайдет в кабак, снова все выпьют и выругаются. Пригласить девушку? Чего доброго, она тоже скажет: «Эх ты, показчик!..» И потом он так устал! Надо спать. Завтра он будет показывать, как в тридцать секунд подвешивать кольца.

Но он не заворачивает в улицу направо. Он не идет домой. Он никуда не идет. Он стоит на мосту и смотрит вниз. Вода все так же злобно посвечивает. Жозеф Лепон обыкновенный человек. Он не может жить. Он очень несчастен.

Полицейский заметил человека на мосту. Полицейский знает, что внизу не ловят рыбу и не разгружают баржу. Внизу только холодная вода. Полицейский стоит на этом углу уже четыре года. Он хорошо знает, почему люди смотрят так пристально вниз. Привычными шагами он направляется к Лепону.

Г-н Андрэ Ситроен читает: «Наше предприятие, как мы и предвидели, развивается вполне удовлетворительно. Действительно, в отчетном году оборот равнялся 1 210 000 000 франков при 73 802 выпущенных автомобилях, против 1 005 000 000 за предшествующий год...»

Г-н Андрэ Ситроен тяжело дышит от духоты и от цифр. Июньский горячий день. За окнами ревут, пищат, хрипят, задыхаются тысячи машин. В их хрипе все: ночь лотарингских рудокопов, зной каучуковых плантаций, тяжелое зловоние нефтяных промыслов где-то далеко, в Венецуэле, и визг железной ленты, той, что здесь, рядом. В хрипе машин агония миллионов людей, которые жили и умерли ради одного: чтобы сделать эти автомобили. В их хрипе и задержанное дыхание г. Андрэ Ситроена и чахоточный присвист шлифовщика. Автомобили за окнами надрываются.

Отдышавшись, г. Ситроен бесстрастно продолжает: «...и против 872 000 000...»

4. 18 000 000 ФРАНКОВ И 34 ПАЛЬЦА

У фермера давно своя машина. Доктор перед пасхой купил кабриолет. Вчера, наконец-то, сдался и булочник: он подписал бланк, поднесенный ему красноречивым агентом. При этом он загадочно улыбался, точь-в-точь как Фауст. Впрочем, это самый обыкновенный булочник из местечка Монтрей.

Г-н Ситроен выполняет свою миссию: скоро автомобиль будет даже у чахоточного шлифовщика. Бедняга поймет, умирая, зачем он жил на этой земле.

Но чем дольше играет игрок, тем дальше неведомый розыгрыш. Во Франции один автомобиль на сорок два жителя, а в Америке на пять. Игрок берет новую карту: апостол снова идет к упрямым язычникам. У него нет ни чудодейственных исцелений, ни раскатов грома, ни стигматов. Зато он находчив и упорен. Как никто, умеет он прославлять своего нового бога.

Говорят, что в Париже палата депутатов и Венера Милосская, египетский обелиск и поэт Поль Валери, замечательные портные и премудрая Сорбонна. Чужестранец, приехав впервые в этот город к вечеру, когда спят и Венера и профессора Сорбонны, видит перед собой одно только слово, оно пылает на Эйфелевой башне саженными буквами: это визитная карточка г. Андрэ Ситроена. Великое имя сияет. Вокруг него извиваются молнии, и от земли к небу рвутся языки мистического пламени. Это двести тысяч электрических лампочек и девяносто километров проводов. Это также новое откровение, скрижали Синая: опомнитесь! Приобщитесь! Вы должны немедленно приобрести — десять лошадиных сил, новая модель!..

Г-н Ситроен поясняет: это не реклама, это только посильное участие заводов Ситроена в Международной выставке декоративных искусств. Рекламировать можно мыло или папиросы. Владелец автомобильного завода — поборник культуры. Г-н Ситроен строит, например, автомобили с гусеничной передачей. Нечестивцы заверяют, будто эти гусеницы выращиваются для очередной войны. Они забывают, что г. Ситроен прежде всего апостол. Его гусеницы переползли через пески Сахары.

Это была чрезвычайно романтическая экспедиция. Завидев автомобиль Ситроена, львы и негры падали ниц. Писатели написали замечательные книги. Художники привезли из Африки экзотические полотна. Во всех кино мира шла картина «Черный переход». Г. Ситроен привез этот фильм даже в палату депутатов. На экране львы и негры падали ниц. На экране трепетало заветное имя: «Ситроен, Ситроен, Ситроен...»

Г-н Ситроен пригласил восхищенных депутатов к себе в гости: осмотреть его заводы. Почтенные законодатели, радикал-социалисты и социал-радикалы, увидели американские прессы, а также знаменитую ленту. Это было куда сложнее всех законопроектов и перебаллотировок. Депутаты поняли, что г. Ситроен действительно великий гражданин: он не произносит речей, он молча строит автомобили. Впрочем, в честь столь красноречивых гостей г. Ситроен произнес небольшой тост; он произнес его, разумеется, во время десерта, с традиционным бокалом в руке:

— Я полагаю, что тем, кто призван управлять страной, кто призван поддерживать гармоническое равновесие всех ее жизненных сил, небезинтересно ознакомиться с рациональным устройством автомобильного завода...

Один из депутатов, радикал-социалист или социал-радикал, вспомнил шеренги рабочих и от страха зажмурился. Уж не предлагает ли Ситроен перевести всю жизнь на конвейер? Например, он, депутат, говорит с трибуны, другой в это время вносит поправки, третий голосует, четвертый апеллирует к стране, пятый в буфете пьет кофе, шестой... Впрочем, может быть впечатлительный депутат зажмурился от чересчур плотного завтрака.

Отвечал г. Ситроену г. Ле-Трокер, бывший министр общественных работ и товарищ г. Ситроена по Политехнической школе.

— О, это не цепь, которая порабощает человека! Нет, это дорога к социальному совершенствованию!.. Позволь же, дорогой друг, поздравить тебя...

Речь г. Ле-Трокера, как и его портрет были тотчас же воспроизведены в «Газете Ситроена». Внизу значилось: «Новая модель. Рассрочка на восемнадцать месяцев!»

Эйфелева башня высока. Над ней только небо. Следовательно, надо заняться небом. Продавцы мыла расписываются на заборах. Г-н Ситроен должен расписаться на голубой лазури. Он заказывает самолеты: летчики должны теперь выписать дымом по небу имя г. Ситроена. Внизу парижане стоят, задрав головы, и дивятся. Они еще никогда ничего не читали на небе, кроме звездных иероглифов. Но иероглифы — это для египтологов или для детей. А г. Ситроен расписывается обыкновенными буквами. Больше некуда скрыться от назойливых букв. Они внизу и наверху. Они повсюду. Они гудят. Они светятся. Они покрывают поля. Они заслоняют солнце.

С неба г. Ситроен быстро возвращается назад, на землю. Тираж «Газеты Ситроена» 15 000 000 экземпляров. Там печатаются акафисты автомобилю, беседы с автомобилем, анекдоты об автомобиле. Там пишут депутаты, поэты, даже опереточные актеры. Все они пишут, разумеется, об одном: о божественной сущности десяти лошадиных сил. Их мистические размышления окружены цифрами: «Торпедо — 22 600».

Г-н Ситроен жертвует юноше, который лучше всех сдаст экзамен на аттестат зрелости, превосходный автомобиль. Г-н Ситроен расставляет на дорогах Франции 150 000 указательных столбов со своим именем. Г-н Ситроен продает 400 000 игрушечных автомобилей. Г-н Ситроен принимает участие во всех выставках: в Марокко и в Перу, в Испании и в Австралии. Кост и Ле-Бри перелетели через океан. Они в Монтевидео. Куда идут они прежде всего? Конечно, к представителю Ситроена. В Париж приезжают британские легионеры. Г-н Ситроен тотчас посылает им целый эскадрон машин. Агенты Ситроена интервьюируют г. Тардье и г. Декобра, г. Сашу Гитри и г. Пьера Милля. Каждый день газеты переполнены сенсационными новостями: Ситроен предполагает иллюминовать площадь Согласия, Ситроен организует новую экспедицию в Тибет, Ситроен удваивает производство. Ситроен... Ситроен... Ситроен... Внизу — Париж, внизу депутаты и писатели, внизу Лувр, внизу гробница Наполеона, внизу голубая музейная пыль. Над всем этим — Эйфелева башня. В нее влюблены поэты-сюрреалисты, и ей соби-

раются теперь выдать военную медаль. Это самая гордая из всех парижанок. Она выше Собора Нотр-Дам. На ней пылают семь роковых букв: *«С-И-Т-Р-О-Е-Н»*. Спешите же, пока не поздно!..

Г-н Ситроен любит ошеломлять цифрами. Цифры всегда таинственны и патетичны. Он настаивает: наши заводы занимают 70 гектаров. В наших машинах 46 000 лошадиных сил. По 31 декабря 1927 года нами выпущено 319 074 автомобиля. Мы способны теперь выпускать 1000 машин в день.

Г-н Ситроен о многом рассказывает, о многом, но не обо всем. В своих проспектах он, например, не говорит о том, что чистый доход заводов Ситроена за первые шесть месяцев 1928 года равняется 106 000 000 франков. Покупателю автомобиля это неинтересно. Это интересно только держателям акций. Об этом пишут в финансовых отделах солидных газет. Но есть цифры, которые не интересуют ни автомобилистов, ни биржевиков, хотя они столь же таинственны и патетичны, как справка о гектарах площади. На одном из заводов Ситроена, а именно в Сан-Уэн, за девять месяцев было зарегистрировано 1200 несчастных случаев.

В Сан-Уэн — штамповальный цех. Там гордость г. Ситроена — гигантские прессы. Кроме прессов, там рабочие и секундная стрелка. Вот отчет за один месяц.

7 сентября у рабочего оторван палец. 10-го у женщины — три пальца, у рабочего — рука, у другой женщины — три пальца. 11-го — два пальца под прессом, рука отхвачена ленточной пилой. 26-го — один палец под прессом. 5 октября — два пальца. 6-го крупный день: у одного рабочего — три пальца, у другого — четыре пальца, у третьего — рука.

К цифрам проспектов можно прибавить новую: на одном из заводов Ситроена в течение одного месяца — 34 оторванных пальца. 12 000 автомобилей, 18 000 000 чистого дохода, 34 пальца...

Г-н Ситроен бесспорно заботится о своих рабочих. Его цеха чище и светлее других. Но автомобиль должен стоить дешево. Г. Ситроен дорого платит за американские машины. А людей он сегодня берет, завтра отсылает: бретонцев, провансальцев, арабов, русских, женщин, подрост-

ков. Грохочут гигантские прессы, и летят, летят клочья человеческого мяса.

Секундная стрелка — скорая стрелка. Рабочий к вечеру мало что понимает. В его голове гул. Восемьсот раз он опускал и поднимал руку с точностью пресса. На этот раз рука замешкалась — кровь марает замечательный пресс. Уж не слушаются руки, они путаются и дрожат — пила проходит по кисти. Это очень просто: автомобили ведь нужны всем, тридцать четыре пальца — не варварство и не легкомыслие, это только дешевые тарифы и это миссия, возложенная судьбой на обыкновенного человека, которого зовут «Андрэ Ситроен».

5. ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ПАРИЖА

Прежде иностранцы и провинциалы, приезжая в Париж, спешили к химерам Нотр-Дам или к Джиоконде. Теперь первым делом они осматривают заводы Ситроена. Вчера любознательная миссис Доран была в Лувре, завтра она едет в Версаль. А сегодня? Сегодня к Ситроену. Парижане тоже приходят посмотреть, как ловко этот молодчик Ситроен изготовляет свои десять сил. Одни из них только мечтают о собственной машине; почтительно смотрят они на любой болт. Другие, напротив, фамильярно оглядывают огромные прессы; им кажется, что они у себя дома; помилуйте, у каждого из них свой «Ситроен», и каждый в воскресенье спешит за город, чтобы подышать пылью и бензином.

Вот идут они гуськом: снобы в спортивных кепках, солидные рантьеры с ленточками Почетного легиона, гипсовые красавицы, англичанки, тетушки из Оверни и десять или двадцать анонимных котелков. В литейном цеху, где брызжет рыжий, как солнце, металл, где покрытые маслом и угольной пудрой рабочие сгибаются, разгибаются и снова сгибаются, один из котелков предупредительно говорит своей половине:

— Мамочка, сними горжетку, не то ты простудишься!..

В руках посетителей специальный путеводитель: «Дощечка номер семь. Обратить особое внимание на четыре

котла «Стерлинг». 16 000 кило пара». Впереди — человек с эмблемой Ситроена в петлице. Он поясняет:

— Обработка металла песком и сгущенным воздухом. Этим достигается чистота тона.

Один из обладателей «Ситроена» улыбается: да, да, чистота тона! В общем, этот Ситроен умница и настоящий француз. Он понимает, что автомобиль должен быть не только прочен, но и красив.

— Обратите внимание... Интересное нововведение... Наша химическая лаборатория... Только, пожалуйста, не приближайтесь!..

Предупреждение излишне: тетушки давно убежали прочь. Только англичанка с любопытством расправляет лорнетку. Она все видела: факиров, апашей, кенгуру. Она не боится никакой опасности.

Перед ней человек в маске водолаза. Резиновая трубочка с воздухом. Он окружен ядовитыми испарениями. Он работает. Он работает, как и все здесь, залпом, боясь упустить секунду. Но вот его сменили. Десять минут отдыха. Он снимает маску. Он сосредоточенно дышит. Обыкновенный воздух для него лакомство. Он очень бледен. Лицо мокрое. Мокрые ладони. В его дыхание входит легкий присвист. Потом он кашляет. Англичанка удовлетворена:

— Очень интересно! Это вроде «Собачьей пещеры» на Капри.

Счастливый обладатель продолжает восторгаться:

— Подумайте — чистота тона!..

Вокруг сухопутного водолаза смертельное облачко. Он не думает ни о Капри, ни о чистоте тона, ни о скорой смерти. Он просто работает.

— Нам предстоит еще многое осмотреть. Не стоит больше задерживаться...

Стрелки. Надписи. Перечень достопримечательностей. С трудом удается гиду перекричать рев машины:

— Самый мощный пресс в Европе, типа «Толедо». Тысяча четыреста тонн. Приводится в движение двумя электрическими моторами: один в сто лошадиных сил, другой ..

Сноб вздыхает:

— Вот вам новая эстетика! Идеи Корбюзье. Разве

можно после этого всерьез говорить о человеке? Посмотрите только на его зубы! Как они впиваются в сталь! Это прекрасней всякой картины!..

Огромный пест опускается на матрицу. Посетители почтительно ахают:

— Вы слыхали — он весит сто пятьдесят тонн! А какая абсолютная точность!

— Это вам не рука рабочего. Он не ошибется ни на миллиметр.

Вдруг происходит некоторое замешательство. Мастер кричит. Подбегают рабочие. Через две-три минуты все приходит в порядок. Только одного из рабочих куда-то быстро уводят. Он идет, зажмурив глаза и спотыкаясь. Он потерял шапку.

Турист в котелке спрашивает:

— Что случилось?

С рабочими разговаривать не полагается. Но турист так взволнован непорядком, что он забыл о дисциплине. А рабочий уже бежит к своей машине. На ходу он отвечает:

— Два пальца... Такой уж пресс...

Молоденькая провинциалка растеряна. Чего доброго, она сейчас заплачет. Муж ее утешает:

— Это еще не известно... Его могут и вылечить. У Ситроена замечательная клиника.

Женщина шепчет:

— Хорошо, что я не видела крови...

Англичанка не смущена. Она все видела: бой быков, глотателя шпаг. Она только спрашивает гида:

— На какой руке?

Гид не отвечает. Гид думает, как бы загладить впечатление.

— Это не наша вина!.. Мы тратим в год семь миллионов на страхование. Но они никак не хотят считаться с машиной!

Экскурсанты, однако, его не слушают. Они уже увлечены другим.

— В двадцать пять минут собирают мотор. А сколько здесь частей!..

Сноб усмехается:

— Да, это посложней человека!

Вот и последние ворота. Гид раздает литературу. Не забывайте, мы продаем в рассрочку! Кабриолет-люкс. Часы. Километрический счетчик. Показатель скоростей. Показатель уровня бензина. Показатель давления масла. Амперметр. Нитроцеллюлоидовая окраска. Тройной ковер. Стекла поднимаются с помощью рукоятки. И все за 27 600 франков. При заказе 2500. Ввиду близких каникул следует торопиться...

Один из посетителей мечтательно улыбнулся. Этот, наверное, купит. Если не кабриолет, то торпедо. Он теперь побывал на кухне. Он все видел. Какая точность и тщательность! За такую машину действительно нечего опасаться. А чистота тона!..

Ползет с визгом железная цепь. Пылают печи. Течет железо. Вокруг водолазов нежные облака. Пресс типа «Толедо» работает. Пест опускается на металл. 25 000 человеческих сил и 46 000 лошадиных выполняют свое божественное назначение.

6. СУДЬБА АНДРЭ ВИДАЛЯ

На зеленом сукне жетоны то скапливаются в одну горстку, то растекаются. Часы прилива сменяет отлив. Сколько рабочих на заводе Ситроена? Недавно их было 25 000, теперь 18 000, завтра, говорят, будет 30 000. Это зависит от неведомого покупателя.

Ситроен платит на несколько су больше, нежели другие заводы. Стоит только ему повесить дощечку: «Здесь нанимают», как от рабочих нет отбоя. Миновала горячая пора, Ситроен рассчитывает. Впрок он не работает. Автомобили не акции, они должны дешеветь.

Ситроен нанимает всех. Он требует одного: молодости. Сорок семь? Не подходит. В сорок семь лет человек это старая шина. Он слишком близок к концу, чтобы жить по секундной стрелке. Ему хочется сесть и спокойно подумать. Г-н Ситроен хорошо знает, что такое годы и усталость. Он предпочитает молодых.

Восемь лет Андрэ Видаль прикреплял шатуны к поршням. Он знал, что шатуны делают в Клиши, — там работал племянник Видаля. А зачем эти шатуны существуют,

он не знал, и он никогда не слыхал о прямолинейно-возвратном движении. Это знали инженеры. Видаль прикреплял шатуны. Он получал в час пять франков пятьдесят сантимов. По дорогам всего мира неслись тысячи автомобилей. В них были, разумеется, шатуны, и эти шатуны были прикреплены руками Андрэ Видаля. Но на девятый год Видаль не угодил новому мастеру. Глазами? Голосом? Или тем, как кашлял? Кто знает, — человеческие чувства темны, даже на заводах Ситроена, где все точно и ясно.

Видалю было сорок четыре года. При ближайшем сокращении его уволили. Шатуны стал прикреплять молодой итальянец. Видаль выругался. Он выругал всех: мастера, Италию и даже г. Ситроена. Потом он пошел домой. Он шел и думал: что же ему теперь делать? Он попробовал было наняться на угольный склад. Через день его прогнали. Он работал у Ситроена восемь лет. Он ничему не научился. Он только разучился таскать на спине кули. Он отдал свою силу каким-то таинственным шатунам, и десятки тысяч автомобилей неслись во весь дух.

А Видаль шатался возле Центральных рынков. Он помогал разгружать возы и подбирал мерзлую репу. Потом он шел на Елисейские Поля. Там он останавливался возле прекрасных автомобилей. Когда владельцы выходили из магазина или из кафе, Видаль открывал дверцу и снимал шапку. Автомобиль с поршнем и шатуном уносился прочь. Иногда Видалю давали несколько су. Тогда он макал хлеб в красное вино и блаженно посапывал. Осенью он простудился и умер в госпитале Отель-Дье. Его похоронили на городской счет. Пять лет он будет спокойно лежать на кладбище Иври. На шестой год его кости, еще не совсем опрятные, выроют и на его место положат другого: литейщика или штамповщика.

Теперь весна, и даже на кладбище нищих нежен зеленый покров земли. Теперь весна, свежий воздух поднимается в цене, как акции. Покупатели останавливаются возле витрины. Они смотрят на автомобили. Ситроен вывесил визитную дощечку. Возле ворот — толпа: это люди мечтают о царстве вечной молодости. Место Видаля возле ленты освободилось. Через пять лет освободится и его место на кладбище Иври.

7. С ОБНОВКОЙ!

Вот уже налажен кузов. Вот уже разостлан коврик и повешена пепельница. Лента все движется. Человек поднимает насос с бензином. В ответ раздается громкое дыхание: автомобиль родился. За сегодняшний день это триста семнадцатый. Открываются ворота: он выбегает в просторный гараж. Там уже ждет его заказчик. Через шесть минут выбежит новый автомобиль. Это точно и непреложно.

Имена заказчиков проставлены на огромной доске рядом с пятизначными числами: г. Ситроен понимает пафос арифметики. Вы 68917? Это — ваша машина.

Встреча человека со своим новым повелителем донельзя суха и лаконична. Это — проверка номеров. Вот агент бюро похоронных процессий. Он забьет конкурентов, и тогда-то он женится. Раньше всех он примчится в дом покойника. Он женится и будет счастлив. Вот молодожены. Они устраивают свою жизнь: она забеременела, он заказал автомобиль. Вот ловелас, мечтающий о пригородных приключениях: беседка, модистка и бесплатная любовь среди пропыленной сирени. Вот солидный владелец аптекарского магазина. Вот начинающий адвокат. Все они почтительно смотрят на сверкающие автомобили. Перед ними километры, доходы, похождения, перед ними жизнь.

Каждые шесть минут раскрываются ворота, и очередной номер мечтательно вздрагивает. Там, откуда выбегают эти блестящие автомобили, — грохот прессов и лента. Покупатели расписываются. На вид они вполне спокойны, как будто они покупают открытки или апельсины. Только росчерк порой выдает волнение. Вот все, о чем они так долго мечтали: десятисильное счастье в рассрочку! В их прищуренных глазах томление. Сейчас они дотронутся до руля. Они потеряются среди десятков тысяч других машин, уже запыленных и обветренных.

8. ИГРОК СТАНОВИТСЯ КАРТОЙ

Приходят из деревни рабочие и умирают; льется умиротворяющее масло на замечательные прессы; по дорогам Европы, по этим древним тропам крестоносцев и шар-

латанов, несутся машины. Г-н Андрэ Ситроен — только маленький шатун или поршень. Его имя горит на Эйфелевой башне, и оно в миллионах голов. Но он не богат, как Форд, не славен, как Линдберг, он и не всесилен, как директоры банка «Братья Лазар и К⁰». Свою жизнь он положит за высокую идею: он даст Европе скорость, как Будда дал Азии покой. Но на площадях Парижа никогда не поставят памятника г. Ситроену. Никто о нем не напишет прочувствованных стихов. Он должен довольствоваться статистикой заказов.

Г-н Ситроен — живой человек. У него усы и страсти. Американские прессы кромсают рабочих. Автомобили десять лошадиных сил давят бессильных пешеходов. Машина не мирится ни с усами, ни с чувствами.

В жаркий августовский день, когда зной плавил тела литейщиков, когда автомобили туристов, сбившись в кучу, как овцы, мяли друг друга, отчаянно блеяли и сходили с ума, — в этот томительный день капитал «Анонимного общества Андрэ Ситроен» сразу возрос со 100 000 000 до 300 000 000. Акции Ситроена начали котироваться на бирже. Они стали бредом, пляской цифр на черных досках, молитвой игроков, полдневным воем маклерской своры, который вырывается на улицы Парижа, сливаясь с сиренами ситроеновских автомобилей. В этот день г. Андрэ Ситроен, самодержец Клиши, Сан-Уэна, Жавель, Гутенберга, Сюренн, Гренель и Левалуа, исчез. Это не было ни оплошностью пресса типа «Толедо», ни автомобильной катастрофой. Это было сложной финансовой операцией. Г-на Андрэ Ситроена разобрали и собрали заново. Он стал «председателем административного совета». Биржевые газеты соблазняли клиентов «расширением финансовой базы» и «благодетельным контролем одного из самых могущественных банков».

Товарищем председателя административного совета был выбран г. Филипп, представитель банка «Братья Лазар и К⁰». Конечно, г. Филипп только товарищ председателя. Но за спиной этого Филиппа крохотная дощечка: «Братья Лазар и К⁰». Велик и вездесущ банк «Братья Лазар»! Кто в Сити не знает «Лазар братерс»? Банк Лазар связан с «Индо-китайским банком», во главе которого стоит г. Октав Гомберг, король каучука. Он связан и с

«Роял Детчем», ему хорошо известны различные запахи: запах нефти и запах кнастера от трубки сэра Генри Детердинга. Для Пьера Шардена г. Андрэ Ситроен это господь бог. Для банка «Братья Лазар и $К^{0}$» Ситроен только управляющий одним из многочисленных предприятий.

Г-н Ситроен расширил дело, но ему пришлось сузить себя. Он узнал то высокое самоограничение, которое предписывает Гете подлинным творцам. Он теперь — председатель административного совета.

Автомобиль десять лошадиных сил выдерживает сто тысяч километров. Рабочий хорош до сорока лет. Г-н Андрэ Ситроен неутомим. Французский рынок почти насыщен. Что же, г. Ситроен отодвигает карту Франции, где пять тысяч агентов и сто пятьдесят тысяч указательных столбов. Он берет карту Европы. Он весь обвит таможенными тарифами и дипломатической паутиной. Разумеется, он сторонник пан-Европы. Ах, он так ненавидит эти пошлые границы! Пестрота карты оскорбляет его глаза. Он восклицает:

— У американцев рынок в сто миллионов душ! Здесь, в Европе, через каждые двести или триста километров — китайская стена. Национальной индустрии грозит опасность. Она может задохнуться...

Национальная индустрия это прежде всего он сам. И г. Ситроен тяжело дышит. Он любит свежий воздух и крупные рынки. Но покорить Европу не в его власти. Он должен прибегать к военным уловкам, к разведке, к камуфляжу, к сапе. Он строит сборочные мастерские в Лондоне и в Кельне, в Милане и в Брюсселе. Осторожно пробирается он в Голландию и в Португалию, в Испанию и в Данию. Он укрепляется во французских колониях. Он ведет переговоры с польским правительством о постройке большого завода. Он устраивает новую экспедицию своих «гусениц». На этот раз он мечтает о Средней Азии. Он даже начинает проповедовать. Он читает лекции. Он выступает на конгрессах. Повсюду он говорит об одном: «Нам необходимы новые рынки!..» Он мечется среди «департаментов» отечества, где что ни шаг, то столб и агент, как мечутся хищники в зоологических садах: клетки нет, прыгай, если хочешь, но между тобой и миром ров доста-

точно широкий и достаточно глубокий, между тобой и миром — смерть.

Министры всех европейских государств, будь то фашисты или социалисты, говорят с американскими банкирами так, как говорили с Золотой ордой суздальские князья. При этих беседах они отнюдь не вспоминают о тысячелетней культуре: о Рафаэле, о дворцах Версаля или о «Фаусте». Они хорошо знают, что «Фауст» приносит куда меньше, нежели фильмы Гарольд-Ллойда, что версальские дворцы лишены современного комфорта и что мистеру Моргану ничего не стоит закупить всех Рафаэлей.

Г-н Андрэ Ситроен умеет чтить святыни. В торжественные минуты он смотрит на запад, хотя там нет никаких рынков, хотя там только вода, а за водою Форд. Он смотрит на запад, как смотрят на восток набожные евреи, совершая свою молитву. Сион г. Ситроена это Детройт, где один автомобиль на два с третью человека.

В Детройте сидит старик Форд. Его не могут пронять богомольные взоры г. Ситроена. Перед Фордом карта. Эта карта куда больше той, что волнует г. Ситроена. На карте Форда два полушария. Форд ведь тоже ищет новых рынков, и Европа для него то, что для г. Ситроена Португалия. Он должен ее завоевать. Он измеряет емкость новых колоний: в Англию 200 000 автомобилей, в Германию 100 000...

Г-н Андрэ Ситроен понижает расценки. Лента движется все быстрее. Жан Лебак, тот, что изготовляет шарниры, скоро или умрет, или сойдет с ума. Г-н Ситроен еще пробует отшучиваться: он, видите ли, рационализирует, следовательно он ситроенизирует. Сложный глагол! Действие еще сложнее. Он делает все, что может. Но Форд все-таки впереди: его машины стоят вдвое дешевле. Во Франции г. Ситроена защищает та самая китайская стена, которую он ежечасно проклинает. Но как ему тягаться с Фордом в Голландии или в Швейцарии?

На каравеллы Колумба Америка теперь отвечает гигантскими пароходами. В их трюмах автомобили. Форд тщится проникнуть даже в заветные департаменты г. Ситроена, где пять тысяч агентов и сто пятьдесят тысяч столбов. Он уже спустил во Франции цену до двадцати пяти тысяч семьсот. Это в точности цена Ситроена. Но

Форд не успокаивается. Он хочет пробить китайскую стену. Он строит во Франции заводы. Он выпустил новые акции. Эти акции распространяет банк «Устрика», тот самый, что поддерживает заводы Пежо, так же как банк Лазар поддерживает заводы Ситроена.

Г-н Андрэ Ситроен окружен врагами. Пежо, наверное, сговорился с Фордом! Пежо изготовляет либо маленькие машины в пять лошадиных сил, либо дорогие многосильные лимузины. Средних автомобилей он вовсе не изготовляет. Поход Форда ему не страшен. Форд не на него идет. Форд идет на Ситроена.

Но Форд не вся Америка. У всемогущего Форда тоже враги. Они под боком, в Детройте. Это автомобильный трест «Дженерал моторс». Как и Форд, трест хочет перейти океан. Только «Дженерал моторс» выбрал другую дорогу. Он не собирается строить в Европе свои заводы. Он шлет в Старый Свет не инженеров, но дипломатов. Он расчищает путь долларами: во главе «Дженерал моторс» стоит мистер Пьерпонт Морган. Трест уже наладил соглашение с немецкими заводами Оппеля. Трест хочет сразить Форда. Франция — превосходный рынок, и «Дженерал моторс» понижает во Франции цены на «Шевроле».

Г-н Ситроен взвешивает. Он уже узнал однажды, что такое банк «Братья Лазар и К°». Ему предстоят новые испытания. Он может себя утешать одним: он не одинок. Мистер Морган знает цену всему: конституции, независимости, гордости, химии, Лиге наций и тысячелетней культуре. Мистер Морган может не только сменить министров, он может перечертить карту Европы. Соглашение «Дженерал моторс» с «Акционерным обществом Андрэ Ситроен» для него деталь рабочего дня, одна строчка настольного блокнота. Для г. Андрэ Ситроена это жестокий искус. Оказывается, американские прессы умеют кромсать не только пальцы рабочих: они хорошо штампуют железо, они хорошо штампуют и человеческую жизнь. Из Нью-Йорка не видно огненных букв на Эйфелевой башне: там много своих башен и своих реклам.

Когда Жану Лебаку из литейной сбавили один франк двадцать сантимов на сто шарниров, он вздохнул, выругался, но продолжал работать. Он знал, что лента не останавливается. Г-н Ситроен продолжает изготовлять

автомобили. Он уже не в силах ни подумать, ни передохнуть. У него не осталось даже собственного имени. Его имя превратилось в ходкую марку. Оно принадлежит теперь не только ему, но всем акционерам «Акционерного общества». Он сам пустил эту ленту. Теперь он к ней прикован. Завтра будет отстроен завод Форда. Завтра придется снова понижать тарифы. Еще скорее закружится лента. Это значит столько-то смертей. Это значит увечья, отчаяние, безумие тридцати тысяч. Это значит унылый пот г. Ситроена. Он больше не игрок. Он только карта. А у зеленого сукна — заатлантические понтеры: мистер Морган и мистер Форд.

Г-н Андрэ Ситроен работает. В Персию! В Болгарию! В Сахару! На полюс! Новых агентов! Новые столбы! Это уже не азарт. Это рок. Скорее!.. Ведь автомобили должны стоить дешево.

1929

9. БАНАЛЬНЫЙ ЭПИЛОГ

Фермер привез домой зеленый горошек: люди больше не хотят покупать консервы. Фермер в злобе смотрит на автомобиль: этот зверь жрет бензин. За него берут налог. Он разоряет фермера. Зачем фермеру спешить: все равно никто больше не купит ни горошка, ни яиц, ни масла. Надо продать автомобиль. Но кто его купит?..

Доктор сидит дома. Он ждет больных, но больные не приходят. Доктор перелистывает старые номера «Иллюстрасион». Вот депутаты приветствуют г. Ситроена... Это 1928 год — доктор хорошо помнит, в этот год он купил автомобиль. Прекрасное время! Доктора вызывали тогда, даже схватив насморк. Теперь его не позовут и заболев чумой. Кому спустить эту проклятую машину?..

Булочник торгует хлебом, а хлеб нужен всем. Но люди сошли с ума, они говорят, что даже хлеб им не по карману. Булочник снова ругает депутатов: от них вся беда!.. Жена булочника читает священное писание: «Время собирать камни и время кидать их...» Она вздрагивает. Она подходит к окну: что это за шум?.. Безработные кидают камнями в полицейских.

Сырой декабрьский день. Г-н Андрэ Ситроен зябнет в автомобиле. Он спешит: еще один банк. В сотый раз он говорит одно и то же:

— Вы должны спасти национальную индустрию от краха...

Банкиры вздыхают и молчат.

Г-н Андрэ Ситроен едет к председателю совета министров г. Фландену. Г-н Ситроен говорит:

— Вы должны спасти национальную...

Г-н Фланден вздыхает и молчит.

Люди разворачивают газеты и читают: «Банкротство Ситроена». Они привыкли к банкротствам и ничему больше не удивляются. Они помнят: был банк Устрика, и банк Устрика поддерживал автомобильные заводы Пежо. Потом Устрика посадили в тюрьму. Они изучают мудрость Экклезиаста по мелкой хронике газет. Они говорят друг другу:

— Значит, и Ситроен... За кем теперь черед?

Трудно человеку быть бессмертным. Еще труднее ему продать автомобиль.

Сноб, который восторгался идеями Корбюзье и прессами «Толедо», теперь меланхолично улыбается. Он пил коктейли, он перешел на минеральную воду: это дешевле и гигиеничней. Он говорит:

— Надо отказаться от дьявольских машин. Человеку куда более приличествуют сельский уют, лошадка, скромный огород...

Сноб не знает, что фермер проклял и сельский уют, и прожорливую лошадь, и зеленый горошек.

По мосту проезжает г. Андрэ Ситроен. Он смотрит на Эйфелеву башню: башня черна. Маяк цивилизации погас. Г-н Андрэ Ситроен протяжно вздыхает: где бы найти несколько миллионов, чтобы отыграться? Щетка сотрет цифры, выписанные мелком.

— Прикупаете?

— Прикупаю.

Он зло усмехается: у него нет миллионов. Он может теперь ставить только сотни тысяч. Он нищий. Хуже того — он безработный.

Под мостом лежит Жан Лебак. Он больше не изготовляет шарниры. Он пришел утром на завод, ворота были

закрыты. Он ищет работу с утра до ночи, но работы нет. Его мать умерла. Он упросил сестру взять его ребят. Он не заплатил хозяину за комнату, и хозяин его выгнал: у него больше нет крова. Он лежит под мостом. Сырость его охватывает, как горе. Он ни о чем не думает и ни на что не надеется. Утром он подбирает старую газету и нехотя читает:

«Драма на улице Менильмонтан. Пьер Шарден, безработный с завода Ситроена, открыл ночью газ. Он найден со слабыми признаками жизни. Его жена и трое детей подобраны в безжизненном состоянии».

«К летнему сезону намечен выпуск новых машин: двенадцать цилиндров, аэродинамическая форма, экономическое устройство. Мы предлагаем нашим уважаемым клиентам...»

Жан Лебак бросает газету и заворачивается в лохмотья. Он долго сидит на скамье. Чего он ждет? Смерти? Или спасения?..

1935

ШИНЫ

1. БЕЛАЯ КРОВЬ, КРАСНАЯ КРОВЬ

В лесах Бразилии много деревьев. Их имена известны только ботаникам. Одно дерево называется «гевея». Это рослое ветвистое дерево с корой светлосерой и пятнистой, обыкновенное дерево. Оно могло бы остаться в лесах Бразилии среди других деревьев. Ведь в Бразилии люди живут, как лес, — медленно. Но на севере, в Нью-Йорке, люди торопятся жить. Они, наверно, боятся умереть слишком поздно. В Париже, Лондоне, Берлине — повсюду люди спешат. Там нет ветвистых деревьев. Зато там много автомобилей. С каждым днем их все больше и больше.

Скромное дерево с пятнистой корой оставило дикие леса. В него сразу влюбились англичане, голландцы, французы. О нем мечтает каждый толковый янки. За его судьбу тревожатся все банки мира. О нем говорят в дипломатических нотах. Подсчитывая самолеты или оценивая боеспособность нового дредноута, министры думают все о том же пятнистом дереве. Впрочем, они не знают, что это дерево пятнистое. Они никогда его не видали. Они спешат жить, и им нужны автомобили.

На Яве и на Цейлоне, в Малайе и в Индо-Китае в тихие вечера, среди лихорадки и горя, среди центов и пиастров, среди слез и долларов, тихо шумят стройные рощи. Они шумят нежно и многозначительно, как акции «Робер ассосиешен». Белым людям они приносят дивиденды, желтым

людям смерть. Они шумят потому, что каждое утро голые кули кривыми ножами надрезают нежносерую кору, бередят старые раны. Кули и деревья понимают друг друга: они равно истекают кровью. Но кровь кули ничего не стоит, и о ней никто не говорит; а белая, как молоко, кровь ветвистого дерева воистину драгоценна. Она котируется на всех биржах. Она сводит людей с ума. Ради нее министры готовы пролить тонны человеческой крови. Деревья знают это, и они сострадательно шумят. Раны на их коре никогда не заживают.

У мистера Девиса тысяча гектаров плантаций. У мистера Девиса триста пятьдесят тысяч деревьев. У мистера Девиса тысяча кули. Один кули на триста пятьдесят деревьев. Молочная кровь течет в чашки. Каждое дерево дает в год два кило. Мистер Девис собирает в год семьсот тысяч кило каучука. У него прелестный коттедж. У него три автомобиля. У него площадка для тенниса. У него ручной питон и руководство для приготовления коктейлей. Питон ловит крыс, как обыкновенная кошка, а мистер Девис в свободные часы изготовляет новые, таинственные коктейли: «Южный полюс» или «королева Александра». Мистеру Девису скучно. У него тропическая лихорадка. Ему не с кем играть в теннис.

Вот уже четырнадцать лет, как он в Пенгаме. Когда он уехал из Лондона, там еще никто не пил коктейлей. Он был тогда молод и мечтателен. Он глядел на море, и ему казалось, что глаза Анни удивительно похожи на воду Индийского океана. Анни тогда тоже была молодой. Однажды он поцеловал ее русый локон. Теперь у Анни седые волосы. Впрочем, он забыл, как выглядит Анни. Два раза в год она пишет ему длинные письма. Она пишет о пьесах Бернарда Шоу и о концертах Стравинского. Она пишет о шумном Лондоне и о своей неудачливой жизни. Она спрашивает мистера Девиса, не собирается ли он вернуться в Англию. Получив письмо, мистер Девис долго меряет длинными шагами длинные коридоры пустого дома. Он отвечает:

«Мой добрый друг! Вы меня бы не узнали. Я опустился и огрубел. Здесь нет порядочного общества. Я даже пере-

стал читать газеты. Возьму «Таймс», чтобы справиться о ценах на каучук, и бросаю. Что мне теперь театры или концерты?.. Я — животное вроде моих кули. Иногда мы собираемся, несколько плантаторов, но даже покер не выходит: слишком сложно. Джемсон снова показывает фокусы, Ричард повторяет старые, надоевшие всем анекдоты, а я, чтобы немного развлечься, приготовляю коктейли. Потом разговор переходит обязательно на ту же тему:

— Вы как надрезаете? Я спиралью и через день.

— Ну и неправильно! Я углом вниз и ежедневно.

— Посмотрим, сколько выдержат ваши деревья!..

— Это вы начали на шестой год, как туземец!..

И так далее. Ссора. Потом примирение. Милая, добрая Анни, узнали бы вы в грубом плантаторе вашего Питера? Даю слово, что нет! А годы идут... Четырнадцать лет — страшно подумать! Я должен был бы съездить хоть на один год в Англию. Но что станет с плантациями? Все мои помощники ротозеи и невежды. Деревья — вещь деликатная. Их надо беречь. Я как-то пролежал две недели, и за это время загубили целый гектар. А о том, чтобы надолго отлучиться, не смею мечтать. Недавно насадил триста новых гектаров. Корчевать и распахивать было, ох, как трудно! Человек пятьдесят погибло. Теперь надо следить в оба. Через семь-восемь лет мои детки вырастут. Значит, в 1933 году я совсем поглупею: десять тысяч новых деревьев! Нет, Анни, видно, меня здесь похоронят! Друзья выпьют и начнут спорить, хорошо ли я надрезал. Только вот вы вздохнете...»

Закончив письмо, мистер Девис не изготовляет новых коктейлей. Он выпивает залпом большой стакан виски и, хриплый от уныния, кричит смуглой, пугливой, как лист гевеи, двенадцатилетней малайке: «Сюда!» Он зовет ее «Анни», и он бьет ее нежно и злобно. Потом он ложится с ней. Потом засыпает. Во сне он видит деревья, которые истекают белой кровью.

Мистер Девис купил рояль; на нем никто не играет. Он купил жемчуг и послал его Анни. Анни спрятала жемчуг в комод, под белье: у нее теперь муж. Мистеру Девису не нужны деньги. Но ревниво следит он за ценами на каучук. Он кричит:

— Ни цента меньше!

Он платит кули сорок центов в день. Один коктейль обходится ему куда дороже. Он кричит:

— Ни цента больше!

Он ест без аппетита — жарко, ох, как жарко! И все малайки, все индуски, все китаянки ему не по вкусу. Они пахнут бананами, сыростью, папоротником. А порядочная женщина должна пахнуть лавандовым мылом: так пахла Анни. Он глотает горький хинин. Он умрет в Пенгаме. Его держат ветвистые деревья, из которых струятся доллары. Он бьет хлыстом боя, и нежно гладит светлосерую кору. Он покупает все новые и новые участки. Он нанимает новых кули. Он боится поглядеть в зеркало: владелец тысячи гектаров мертв. Он мертв, как мертвы его кули. Он мертв, как мертвы изрезанные вдоль и поперек деревья. Но каучук стоит в Ливерпуле четыре шиллинга пять пенсов, и люди на свете торопятся жить. Мертвый мистер Девис приготовляет коктейли. Питон, объевшись крысами, уснул, уснул надолго, может быть навсегда.

Кули приходят из Индии и из Китая. Их привозят также с Зондских островов. Сотни тысяч кули сгибаются под ветвистыми деревьями. В Малайе их бьет мистер Девис, на Яве голландец Ван-Кроог, в Индо-Китае уроженец Каркассоны, сын парфюмера и поклонника Ростана г. Гастон Вальтасар.

Белые ругаются на разных языках, но у всех в руке палка: кули ленивы и непонятны, сильнее долларов они любят опиум и сон. Белые защищают культуру, Элладу, Рим. Они защищают также каучук. Спины кули изрубцованы, как кора гевеи. Когда они умирают, на их место привозят новых. Вербуют служащие, вербуют полицейские, вербует голод.

Когда ветвистому дереву исполняется семь лет, его начинают надрезать. Когда маленькому индийцу исполняется семь лет, его берут на плантации. Он вырабатывает в день десять центов. На это можно купить несколько горсточек риса — сколько же нужно крохотному индийцу?.. У него еще слабые ноги, и он не поспевает за

другими. Ему хочется поймать ящерицу или перевернуть жука. Тогда надсмотрщик, грозный «кангани», проводит по смуглой спине красную черту.

Мистеру Девису докладывают:

— Человек убежал. Человека поймали.

Кули не смеет бросить работу. В конторе Девиса листы и печати: это контракты. Девис заплатил за проезд кули. Он стал их господином на пять лет. Перед ним дезертир. Он говорит надсмотрщику:

— Спроси его, что он хочет: тюрьму или урок?

Мистер Девис не знает тамильского языка. Переводит кангани.

— Он умоляет мистера не отдавать его полиции.

Беглец лежит на земле. Он прилип к земле, только его глаза, огромные и влажные, как ночь Индии, жадно следят за крючковатыми пальцами мистера Девиса.

— Он умоляет господина, чтобы господин поучил его сам.

Гевею следует надрезать осторожно, дабы не повредить ствола. Одни надрезают спиралью, другие зигзагом. Со спиной кули куда меньше хлопот. Мистер Девис считает:

— Шестнадцать, семнадцать, восемнадцать...

Кули тих, как земля. Куда он хотел уйти? На родину, к голодной семье? Или в лес, навстречу смерти? Он хотел уйти от ветвистых деревьев. Безумец! От них не может уйти даже всесильный мистер Девис.

— Двадцать четыре, двадцать пять...

Кули больше никуда не уйдет.

В Сингапуре помещаются правления каучуковых компаний. Специалисты составляют таблицу: минимальный оклад служащего на плантациях — двести сингапурских долларов, это должно хватить одинокому человеку на скромную жизнь. Служащие компании, подписывая договор, обязуются столько-то лет не жениться. Малайки или китаянки стоят дешево.

Новичок проклинает небо Азии и скупость директора. Это белобрысый долговязый юноша. У него нет ни денег, ни удачи. Но у него все же белая кожа. Он получает

двести долларов в месяц. Кули работает с пяти утра. Сначала он надрезает деревья, потом собирает сок. Кули вырабатывает в месяц десять долларов. Он может при этом жениться. У него может быть дюжина детей. Это его дело. Европейцы принесли ему счастье: контракт с крестиком вместо подписи, десять долларов в месяц и палку.

Новичок проклинает каучук и дороговизну: извольте прожить на двести долларов! Он в дурном настроении.

— Кто это так надрезал?.. Кангани, кто здесь работает? Вычесть десять центов. Проклятая страна!..

Новичок вспоминает огни Пикадилли. Зачем он сюда приехал? Клейкие листья. Клейкий сок. Клейкое золото. Он не выберется отсюда, как этот кули. Он сменит мистера Девиса, когда тот взаправду умрет.

В Индо-Китае тоже сочатся и ветвистые деревья и спины кули. Франция, как известно, не бессердечная Англия, Франция защитница всех угнетенных, и когда на Францию напали враги, маленьких аннамитов повезли в Марсель: защищать защитницу угнетенных.

Во Франции, в городе Клермон-Ферран, у г. Мишлена превосходный завод. Там из молочной крови изготовляют прочные шины. Г-н Мишлен любит Тэйлора и рационализацию. Он любит Америку. Еще сильнее он любит Индо-Китай.

Г-н Мишлен не одинок. Г-н Октав Гомберг тоже любит Индо-Китай. Г-н Гомберг — писатель. Он написал несколько книг о колониальном величии Франции. Кроме того, он глава «Каучуковой компании Индо-Китая». Он зарабатывает деньги в колониях. Проживать их он хочет во Франции. Это не мистер Девис с его питоном. Это француз и отменный патриот. Он оплот восемнадцати акционерных обществ Сайгона: каучук, сахар, хлопок, фосфат. Но он мечтает стать депутатом Ривьеры, где главная промышленность — зеленое сукно рулетки. Пусть кули собирают драгоценный сок! Что может сравниться с небом Франции? Так думает г. Гомберг. Так думают и держатели акций «Каучуковой компании Индо-Китая».

А кули? Кули не думают. Кули умирают без обременительных мыслей. Они умирают молча и дружно. На

плантациях Фу-Риег, принадлежащих г. Мишлену и К°, за один год вымерла треть рабочих. На плантациях Бодой из тысячи кули к концу года осталось пятьсот тридцать шесть, остальные умерли.

Если кули не умеет просто умереть, великодушные колонизаторы приходят на помощь. Для утешения туземцев существует «Р. О.» и «Р. А.» — винная монополия и монополия опиума. Генерал-губернатор Индо-Китая разослал своим подчиненным циркуляр: «Я позволяю себе препроводить вам список казенных лавок, которые надлежит открыть в поселках, еще лишенных алкоголя и опиума...»

Этот губернатор известен во Франции как тонкий ценитель искусств. У него превосходная коллекция современной живописи. Может быть, в его библиотеке хранится первое издание «Искусственного рая» Бодлера. Но губернатор — не только эстет, он также государственный деятель. Он знает, например, что такое бюджет. За опиум кули отдаст последний пиастр. Во Франции, на радость г. Мишлену и г. Гомбергу, спешат пароходы, груженные белыми пластами каучука. Кули потрудились. Они потрудились притом бескорыстно: полученные ими деньги у сидельцев «Р. О.» или «Р. А.».

Зато кули умирают с улыбкой. Умирая, они видят сны, трогательные, как ландшафты Анри Руссо, сны, способные умилить до слез господина генерал-губернатора.

2. ПЛАН СТЕВЕНСОНА

В Сингапуре волнение. В Ливерпуле волнение. Мистер Девис забыл о своих коктейлях. Кули теперь не убегают — кангани сами гонят их прочь. Они могут умирать, где им вздумается. Раны на гевеях рубцуются, заживают. Еще месяц — другой, и гевеи станут обыкновенными деревьями. Но что будет делать мистер Девис? Не ехать же к сентиментальной Анни! Притом у нее ревнивый муж...

Держатели каучуковых акций осаждают банки. В Лондоне, на узкой улице Минчинг-Лайн, каучуковые маклеры стоят и вздыхают, как евреи у иерусалимской «Стены

плача». Кабинет министров устраивает секретные заседания. Кули умирают. Плантаторы бегут в Европу. Это катастрофа.

Что же приключилось? Может быть, взбунтовались индийцы или малайцы? Нет, кули послушно умирают под ветвистыми деревьями. Те, что еще не умерли, носят ведра молочного сока. Но каучук в Ливерпуле стоит всего-навсего девять пенсов. Это разорение! Это конец каучука! Мистер Девис прогадал: он насадил чересчур много деревьев. Каучук летит вниз. Каучук никому не нужен, хотя Генри Форд и трудится не покладая рук, хотя пыхтят, хрипят, мчатся, агонизируют миллионы автомобилей.

Мистер Черчилль говорит сэру Джону Стевенсону:

— Вы должны спасти каучук... От этого теперь зависит мощь империи...

Сэр Джон Стевенсон садится за работу. Вскоре план его готов:

— Чтобы спасти плантации, необходимо искусственно сократить добычу. Чем ниже падают цены, тем меньше мы выпускаем каучука. Тогда цены неминуемо поднимаются и ограничение соответственно ослабевает.

Один из депутатов сокрушенно вздыхает:

— Но ведь это большевизм! Это вмешательство государства в частную торговлю. Это противоречит всем нашим принципам...

— Уважаемому депутату придется выбрать между чистотой принципов и спасением плантаций. От этого теперь зависит мощь империи...

Уважаемый депутат, вздохнув, выбирает не принципы. «План Стевенсона» одобрен. Производство каучука теперь будет эластичным, как каучук: оно сможет стягиваться и расширяться. В зависимости от этого кули будут умирать на плантациях или вне плантаций. Они будут умирать потому, что все люди смертны.

Мистер Черчилль поздравляет сэра Джона Стевенсона:

— Ваше имя войдет в историю...

И после паузы:

— ...каучука.

Мистер Черчилль большой шутник.

Каучуковые плантации принадлежат англичанам. Но автомобили делают в Америке, и каучук у англичан покупают американцы. Для Сингапура новый закон — божественная мудрость. Для Детройта он — бессмыслица и покушение на мораль. Его необходимо уничтожить заодно с теориями Дарвина и с советскими листовками. Сэр Джон Стевенсон лицемер и преступник.

Мистер Гувер раздраженно жует сигару. Сигара давно погасла, и мистер Гувер жует мокрый горький табак.

— Вмешательство государства прежде всего безнравственно. Мы недаром враги монополии. Англичане хотят парализовать нашу промышленность, но это им не удастся!..

Мистер Гувер не болтун. Он знает, что такое каучук. Вместе с окурком выплевывает он сотни имен и цифр. Он советуется с дипломатами и ботаниками. Он готовится к длительной войне.

А каучук?.. Каучук поднимается. Мистер Девис снова изготовляет коктейли. Маклеры на Минчинг-Лайн оживились: они уже не стонут, они бодро верещат:

— Один шиллинг четыре пенса!

— Один шиллинг шесть!

Велики и многолики Соединенные Штаты! В них водятся кедры и бананы, негры и ку-клукс-клан, нефть и бизоны, мистер Гувер и Чарли Чаплин. Но ветвистое дерево никак не хочет расти в Соединенных Штатах. Ботаники докладывают:

— Ни одно из деревьев этой породы не способно произрастать вне экваториальной зоны, то есть вне зоны, расположенной в десяти градусах на север или на юг от экватора...

Тогда мистер Гувер отсылает ботаников. Он зовет к себе адмиралов:

— Нам надо потолковать о Никарагуа. Также о Филиппинских островах...

Они говорят. Но каучук тем временем растет в цене. Сперва покупатели храбрятся: они, видите ли, не хотят переплачивать. Они могут подождать. Не сегодня завтра англичане опомнятся. В Соединенных Штатах объявлен сбор старого каучука. К заводам тянутся грузовики с дырявыми шинами. Но омоложенный каучук дрябл и

непрочен. Прожорливые автомобили требуют все новых и новых покрышек. Тогда в Лондон отбывают влиятельные ходатаи.

Мистер Стюарт Готшкис — вице-председатель «Американской каучуковой компании» — предлагает мистеру Черчиллю отменить все ограничения:

— В наших обоюдных интересах свобода торговли...

Мистер Черчилль вежливо улыбается.

— Не следует поддаваться власти слов... Я не совсем понимаю, почему английские плантаторы обязаны продавать вам каучук в убыток?

Американцы любуются галстуком мистера Черчилля — всем известно, что мистер Черчилль денди. Они выслушивают также несколько очаровательных каламбуров. Уходят они с пустыми руками.

Мистер Черчилль азартный человек. Он любит войну и покер. Он был в жизни либералом и консерватором, писателем и живописцем, морским министром и канцлером казначейства. Занимала его только игра. Ему не удалось потопить германский флот: это было зевком. Ему не удалось уничтожить русскую революцию: у противника оказались про запас козыри. Зато теперь он обыграет американцев. Игра идет крупная, и мистер Черчилль увлечен. Вместо уступок он отвечает новой атакой: он отдает приказ о беспощадной борьбе с контрабандой. По Тихому океану пробираются суда, груженные ромом и каучуком. Ром отбирают добродетельные янки. А каучук?.. Каучук, разумеется, англичане.

Мистер Гувер хорошо знает, что ни старые шины, ни контрабанда не помогут делу. Он обращается ко всем гражданам всех штатов: «Нам необходимо обзавестись собственным каучуком».

Каучук продолжает дорожать. Американские заводчики теперь в панике. Заводы в Акроне сокращают производство. Безработные кричат: «Хлеба!» Американские рабочие не умеют голодать тихо, как кули. Они ругаются и устраивают подозрительные сборища. Несколько акционерных обществ объявили, что в этом году они не выплачивают дивидендов. Биржа мрачна.

Мрачен и мистер Гувер. Правительство Соединенных Штатов обращается к правительству Великобритании.

Оно говорит дружески. Оно говорит чуть ли не задушевно. Оно просит отменить ограничения. Что делать, — гевеи растут в Пенгаме, а американцам необходим каучук.

Но мистер Черчилль непреклонен. Даже неожиданная нежность мистера Гувера не способна его растрогать. Вы хотите покупать? Что же, мы согласны. Но цены устанавливаем мы.

Мистер Черчилль обещал сэру Джону Стевенсону, что его имя войдет в историю. Однако в Америке все говорят не о «плане Стевенсона», а о «плане Черчилля». Англия должна выплачивать Америке старые долги. Хитрый мистер Черчилль решил продавать каучук втридорога, чтобы платить американцам американскими долларами! Один журналист объявил, что Черчилль хочет стереть резинкой карточные долги. Мистера Черчилля, основателя «Клуба пятидесяти» и вдохновителя интервенции, сноба и преемника Питта, рассерженные американцы зовут «безнравственным большевиком». Помилуйте, им нужен каучук, а здесь в дело вмешивается глупейшая ботаника! «Экваториальная зона»!.. Конечно, можно завладеть мелкими республиками Центральной Америки и развести там плантации. Но извольте ждать восемь лет!.. Как будто кто-нибудь в Америке согласится обождать хоть одну минуту! Акционеры торопятся получать дивиденды. Автомобилисты торопятся извести шины. А безработные торопятся есть. Все торопятся. И всем необходим каучук.

Далеко от Акрона, в Пенгаме, сидит мистер Девис. Он недавно засеял двести новых гектаров. Он получает три шиллинга за фунт. Впрочем, он очень несчастен. Питон сдох. Коктейли окончательно надоели. Теперь уже ясно, что он никогда не увидит Лондона, — каучук поднимается в цене.

3. КРАСНЫЕ ЧЕРНИЛА

Нью-Йорк. Биржа каучука. Экран, на котором то и дело появляются последние курсы Лондона. Шиллинг девять пенсов.

Один из клиентов шепчет:

— Не дай бог, если он сдаст полпенса!..

Это покупатель. Конечно, он хочет платить дешево.

Но игра мистера Черчилля — хитрая игра. Если каучук будет стоить шиллинг восемь, войдет в силу новое ограничение. Американцам необходим каучук. Они проклинают Черчилля, но они стараются поднять цены. Шиллинг девять пенсов.

— Слава богу!..

Лондону незачем стараться: Нью-Йорк сам работает на него. Мистер Черчилль выиграл партию.

Он рад бы закончить на этом игру. Но игра только начинается. Кто знает, что придумает завтра упрямый Гувер?..

Недаром он советуется с дипломатами и ботаниками. Он, наверное, что-нибудь да придумает! У этого человека железный лоб. Он сын фермера и заправский квакер. Он пьет только чистую воду. Он ненавидит фантазию. Мистер Черчилль рядом с ним легкомысленнейшее дитя. Ведь мистер Черчилль пьет портвейн и пишет романы. А мистер Гувер упорно думает о своем каучуке.

Фараону когда-то снились ужасные сны: семь тощих коров пожрали семь толстых. Мистер Гувер пьет только чистую воду, и он не фараон, он инженер, он квакер, он американец. Однако его преследуют сны фараона. Ветвистое дерево должно расти семь лет. Только тогда его можно надрезать. Когда цены на каучук падали, мистер Девис вовсе не засаживал новых участков. Правда, теперь он трудится во-всю. Через семь-восемь лет добыча удвоится. Через семь... Но что будет через четыре года? Люди торопятся жить. Каждую минуту рождается новый автомобиль. Через четыре года наступит каучуковый голод. Наука оказалась бездарной. Можно изобрести, мистеру Гуверу назло, искусственный джин. Нельзя изобрести искусственный каучук. Соединенные Штаты должны зависеть от какого-то джентльмена. Нет, это не может продолжаться! Америке необходим свой каучук!

Перед мистером Гувером большая карта двух полушарий. Красными чернилами обведены страны, в которых способны произрастать привередливые деревья. Красные чернила — не аллегория, это только для четкости. Но обитатели обведенных стран могут молиться всемогущему

богу всех квакеров: ведь перед смертью принято молиться. Красные чернила делового американца означают многое. Они означают каучук, они означают и кровь.

Либерия? Дать заем, скупить землю, послать администраторов. С этими неграми нечего церемониться. Хватит с них и поэтической клички. Дальше! Филиппинские острова? Здесь предвидятся некоторые затруднения. Прежде всего закупить участки и привезти китайских кули. Местные законы препятствуют? Что же, приостановить действие законов. Соединенные Штаты обещали Филиппинам независимость? Конечно, обещали. Но ведь с тех пор многое переменилось. Эти острова созданы самим богом для каучука: мистер Шонг говорит, что у него там превосходные плантации, а мистер Шонг председатель «Каучуковой компании». Следовательно, закупить и привезти. Дальше! Бразилия? Укрепить наши позиции. Купить прессу. Купить министров. Перед расходами не останавливаться. Заткнуть рот Аргентине. Здесь начинается самое любопытное... Гватемала? Сделано? Очень хорошо. Никарагуа?.. Что же, это мы сделаем в два счета...

У мистера Гувера железный лоб. Он сидит и думает.

4. КАУЧУК И РОДИНА

Ночь, горячая и тягучая, приторно пахнет бананами. На севере бананы — лакомство, здесь это только хлеб, тот хлеб, что связан с потом: так заверяют почтенные патеры всех духовных семинарий. Ночью, впрочем, нет ни патеров, ни заученного на зубок библейского проклятья, только темнота. Она состоит из тысячи мельчайших шумов, из шороха отяжелевшей ветки, из шелеста летучей мыши, из свиста боа.

— Кто там?

Это спрашивает человек человека. Сначала по ошибке отвечает ночь, отвечает нервическим припадком листьев: ах! ах! Потом снова:

— Кто там?

Молчание. Один человек не понимает другого. Даже ночь зовут они по-разному. Один светел и широк, как пшеничное поле. Другой, черный и горячий, едва может

отделиться от ночи. На одном военная фуражка с бляхой, на другом широкополая войлочная шляпа. Как им сговориться друг с другом?.. Про что говорить? Про ночь? Про бананы? Про сиротство?

Нет, они не беседуют. Молча катаются они по траве и молча друг друга душат. Ночь, вся ночь, с ветками, с птицами, даже с боа, перепуганная, шарахается прочь. Вдогонку несется едкий свет прожектора. Ночь изодрана, добита. Теперь верещат винтовки, прохочут гранаты.

Двух людей больше нет, они пропали вместе с ночью. Фуражка и шляпа на траве. Два грузных мешка, набитых тем, что еще недавно было жизнью: руками, кровью, письмами Дженни и Марии, сигаретами. Все это медленно остывает, как земля.

Здесь нет кинооператора. Прогадали!.. Такая шляпа! Такая смерть! А треск все еще длится. Следовательно, утро застанет двадцать или двести распластавшихся людей под бананами, под теми, которые — хлеб. Кстати, никто их не соберет, а несобранные бананы это докучливо и патетично, как несжатая полоса.

Одни назовут «телеграммами». Они понесутся в огромные города, насвистывая по дороге: «Служебная... номер... шестнадцать слов... Джон... Ричард... Эдуард... в пять пополуночи... на боевом посту...» Быстро они превратятся в черные платья (их ведь шьют на каждой улице) и в кропотливо высчитанные пенсии.

Другие на мулах поползут по горам, крича от стыда и усталости, чтобы упасть на белый поселок, как граната: бах! «Пабло... Диего... возле деревни Моробина...» Вместо подписи — каракулями: «Родина и свобода».

В нью-йоркской газете будет петитом напечатано: «Наш экспедиционный корпус вчера окружил одну из шаек бандита Сандино. Преступники уничтожены. Наши потери невелики».

Генерал Сандино в белом поселке, среди гор, среди горя, среди крикливых мулов, пишет воззвание: «Всем республикам Латинской Америки. Янки хотят проглотить Никарагуа, как они проглотили Панаму, Кубу, Порто-Рико, Гаити, Доминиканскую республику. Братья, вспомните о Боливаре и о Сан-Мартино! Вот уже восемь месяцев, как мы боремся. Наши силы иссякают...»

Он долго пишет. Слова его торжественны и пышны. Но рука дрожит от волнения. На помощь! Скорее! Притаились за горами Гондурас и Сан-Сальвадор... Угрюмо молчит Мексика. Напрасно генерал Сандино рядом с печатью ставит: «Родина и свобода». Еще два пышных слова... Не милее ли всех слов длинные зеленые бумажки, которые летят из Вашингтона на юг? Что значат патроны вокруг пояса? Вот они в портах, новенькие миноносцы... Соединенные Штаты тоже родина. А свобода у них, как дома, она даже стала статуей, пресс-папье, миллионом открыток.

Письмо из Неровы-Сеговии: «Вчера воздушная флотилия снова обстреляла четыре деревни. Янки скинули свыше ста бомб. Убиты семьдесят два человека, среди них восемнадцать женщин».

Генерал Сандино сидит и пишет: «Позор убийцам женщин! Нас мало, но мы не уступим...» На генерале Сандино широкополая шляпа, и он верит в благородство. С ним три тысячи партизан.

Мистер Гувер отнюдь не волнуется. Он знает: чтобы уничтожить три тысячи, нужно столько-то недель, столько-то долларов, столько-то человеческих жизней. Солдаты Соединенных Штатов любят свою родину. Кроме того, они получают отменное содержание. Следовательно, они могут при случае умереть. Жаль? Разумеется, жаль. Мистер Гувер не злодей. Мистер Гувер гуманист. Разве он не кормил венских детей? Он охотно пощадил бы этого Сандино. Он сказал бы ему: «В Голливуд! Там вы будете банальным фигурантом». Никарагуа, как и все земли, мечтает только об одном: о благоденствии. А этот вздорный Сандино болтает о родине, о свободе, — не о статуе, нет, о глупейшей свободе, хотя бы о свободе жить в белых поселках и собирать бананы. Что же, в таком случае Сандино должен быть уничтожен.

Перед мистером Гувером карта. Никарагуа давно обведена красными чернилами. Ему жаль не только Дженни, вдову честного американского солдата, ему жаль даже Марию, вдову никарагуаского разбойника. Ведь в настольной книге Гувера сказано: «Не убий». Но там же сказано и про обетованную землю. Без крови она не далась. Праведные израильтяне истребили язычников.

Даже господь бог допускает исключения. Убито восемнадцать женщин? Это печально. Однако бывают и железнодорожные катастрофы. Автомобили что ни день давят женщин. Мы несем Никарагуа подлинное благоденствие, и потом мы не раз это повторяли: нам необходим собственный каучук!

5. СМЕРТЬ ПОСЛЕДНЕГО ВЫПУСКА

Они резвятся на всех стенах во всех городах и селах Франции, три любимца республики. Нежный, наивный младенец, еще не способный лгать, расхваливает замечательное мыло «Кадум». Задумчивая корова день и ночь мычит о молочном шоколаде. Что касается гражданина в больших автомобильных очках, то он сделан не из мяса, как все прочие люди или даже коровы республики, нет, он сделан из резиновых шин. Зовут его «Шины Мишлен». Он упруг и легок. Он нужен всем: без шин нет автомобиля.

Г-н Андрэ Мишлен никак не похож на своего популярного двойника. У него нет ни кольцеобразного живота, ни легендарной улыбки. У него окладистая борода и пенсне. Это не фокусник, это фабрикант. Он покупает кохинхинский каучук. Он покупает каучук у англичан. Из каучука он изготовляет шины. В знойных и грозных мастерских, на неистовом огне каучук закаляют, как сталь. Кровь гевеи становится упругой. Шины не боятся ни альпийских камней, ни ухабов.

По заводу Мишлена ходят служащие с хронометрами: завод Мишлена устроен на американский лад. Правда, г. Мишлен не сбрил бороды. Но это не мешает ему уважать Америку. Он выпускает журнал под названием «Благоденствие». Мистер Гувер стал президентом Соединенных Штатов потому, что его лозунгом было именно это слово: «благоденствие». Г-н Мишлен раздает свой журнал бесплатно всем желающим. Он раздает также множество книжек: трогательное жизнеописание Тэйлора, рассказы о детских яслях при заводе, апологию мира между капиталистами и рабочими. Он не просто фабрикант. Он и не игрок, как г. Ситроен. Он великомученик рационализации.

Из коробки скоростей выскочил смешной человечек с кольцами вместо живота. Он требует: скорее! Скорей готовьте покрышки! Скорей покупайте автомобили! Стоит ли медленно умирать, если можно умереть быстро, надорвавшись на работе среди хронометрщиков и образцовых яслей, если можно умереть на длинном шоссе, лопнуть, как покрышка?..

Рабочие Мишлена не кули. Это скорее гевеи: их надо надрезать с толком. Г-н Мишлен устраивает ясли для новой смены. Он выдает особо плодовитым семьям наградные. Чем больше у рабочего детей, тем скорее он должен работать. Хронометр отмечает новые рекорды.

Г-н Андрэ Мишлен каждый день придумывает новые усовершенствования: выиграть еще минуту, еще сорок секунд. Двойник его только улыбается. У двойника внутри не кровь, а воздух. Он катится по дорогам. Он смеется, и это чрезвычайно подозрительный смех. Пусть люди тоже катятся, как он. У них внутри кровь?.. Неважно! Пусть катятся!..

Может быть, г. Мишлена иногда одолевает усталость? Ведь у него внутри не воздух, а кровь. И потом он не мистер Гувер: лоб у него обыкновенный. Но во Франции — миллион автомобилей. Каждый автомобиль пожирает в год двадцать кило каучука. Торопитесь, рабочие! Вы не кули. У вас ясли. Вы не смеете останавливаться. Вы должны работать скорее. Голод — повсюду голод: в Индо-Китае и в Оверни. Смерть — повсюду смерть. Спешат рабочие. Вот еще одну минуту выиграл у жизни каучуковый человечек. Несутся автомобили, и он несется. У него большие очки. У него невыносимая улыбка. У него внутри пустота. Это новая смерть, без косы, без смешного старомодного савана, вся из колец, из шин, она мчится — сто, двести, триста в час, и она высматривает, кого бы взять, чей пришел час, она здесь, там, на всех заборах беспечной Франции.

6. НЕЧТО В ГРУДИ

Мистер Гувер смотрит на карту. Давно высохли красные чернила. Высохла и кровь. Мистер Гувер должен быть счастлив: он теперь президент самой богатой респуб-

лики мира. Все граждане мечтают пожать его широкую деловую руку. Немцы зовут его «гуманистом»: они помнят вонючее сало «АРА». Негры зовут его «Линкольном»: он победил демократа Смитса. Ку-клукс-клановцы зовут его «славным парнем»: он готов повесить безумца, который посягнет на американские порядки. Женщины зовут его «добрым Гербертом»: он за абсолютную трезвость. Контрабандисты зовут его «толковым малым»: виски при нем вздорожало на сто процентов. Все американцы уважают мистера Гувера. Против него только смутьяны или неисправимые алкоголики. Мистер Гувер должен быть счастлив.

Но железный лоб ко многому обязывает. Мистер Гувер сидит и думает. Укрощена Никарагуа. Приручена Бразилия. На Филиппинах дело подвигается. На Суматре американцы закупили огромные плантации. Теперь и ботаники идут на уступки: они расширили эту заклятую зону. Оказывается, Мексика не так уже плоха!.. Через десять лет у Америки будет вдоволь каучука. Но кто знает, не изобретут ли прежде искусственный каучук? Не придумают ли новых способов передвижения? Десять лет для Америки это столетие. Десять лет для мистера Гувера это старость и мемуары. Через три года начнется каучуковый голод. «План Стевенсона» уже отменен — он больше не нужен. Каучук теперь сам постоит за себя. Мистер Черчилль перехитрил мистера Гувера: он спас малайские плантации. И мистер Гувер злится. Его железный лоб покрывается рябью морщин. Он должен ждать, хотя ждать нельзя, хотя ждать для Америки — это смерть. Он хочет забыть о каучуке, отдохнуть, выпить со вкусом стакан чистой воды, поглядеть на голубое небо, но каучуковые мысли тягучи, неотвязны. Он пьет воду — вода пахнет паленой резиной. Он глядит на небо — небо белеет, как молочный сок. Он засыпает — ему снова снятся фараоновы сны. Мистер Гувер что-то шепчет со сна, этот шопот горек и вечен, как шелест ветвистых деревьев.

У мистера Черчилля больше фантазии. Недаром он воевал с бурами и писал пейзажи. Но мистер Черчилль тоже невесел, хотя он и выиграл партию, хотя мистер Девис зовет его «спасителем каучука». Янки взялись за

дело: скоро у них будут свои плантации. Голландцы должны во всем подчиняться Великобритании. Иначе почему у этих флегматичных пигмеев богатейшие колонии? Голландия — негласный доминион. Поскольку дело касалось нефти, голландцы отстаивали интересы Великобритании. А вот с каучуком они подвели. Суматрские плантаторы не приняли «плана Стевенсона». Они воспользовались им, чтобы захватить американский рынок. Хуже того — они продали американцам большие плантации. Мистер Черчилль не торговец. Ему наплевать на дивиденды. Но он у зеленого сукна. Здесь каждая карта — событие. Голландцы подпортили. Какой-нибудь Кайнс снова будет издеваться над экономическими познаниями мистера Черчилля. Битой картой воспользуются либералы. Он не может выносить насмешек, а люди только и делают, что насмехаются над ним, над его военными похождениями, над его романами, над его планом морских сражений, даже над его сигарами. Теперь они будут насмехаться над его каучуковой политикой. Он должен выиграть! Через три года цены удвоятся. Через три... А через семь? Ведь игра только началась, и нельзя отбросить колоду, сказать, что пора по домам, — скоро утро. Надо играть, играть всю жизнь, играть, хотя впереди верный проигрыш. Проклятые карты! Лучше уже писать романы... Но нет, он обязан думать о каучуке. Простите, что такое каучук? Резинка в руке художника Черчилля? Непромокаемое пальто на Черчилле-путешественнике? Клистирные груши, калоши, подметки?.. Вздор! Каучук это автомобили, это грузовики, это траншеи, это победа. Каучук у нас!..

Но завтра? Но Суматра, Индо-Китай, Бразилия, Филиппины? Мистер Черчилль судорожно зевает. До чего он бледен! До чего устал! С таким лицом выходит под утро фанатик «девятки» — в кармане револьвер или таблетка веронала. Уснуть!.. Но игра продолжается. Через океан плывет каучук, его все больше и больше, он у всех. Существуют ли на самом деле пейзажи и портвейн? Мир сделан из каучука. С удивлением мистер Черчилль ощупывает свой жилет, — вот так штука, он только теперь заметил, что у него каучуковое сердце! Ему все равно, кем быть — правым или левым, ему все равно, с кем

бороться. Он не любит никого и ни во что не верит. Нечто в груди сначала растягивается, потом сжимается. Домашний врач мистера Черчилля по привычке еще зовет это «сердцем».

Днем мистеру Девису сказали, что кули пытался украсть фунт каучука. Мистер Девис приказал всыпать злодею тридцать, и хороших. Вечером мистер Девис играл с приятелем в покер. Теперь ночь, и он спит. Он спит неуютно и уродливо: большой, голый волосатый, — жарко, сползла простыня. Он спит один в длинном пустом доме. Даже питон, и тот сдох. Мистеру Девису снятся отвратительные сны: его Анни больше не пахнет лавандовым мылом. Что это за запах?.. Малайки, и те пахнут лучше. Волосатый человек долго ворочается.

— Анни, мой старый друг, простите грубому плантатору нескромность. Анни, чем вы пахнете?..

Анни молчит. Она только смущенно вздрагивает. Может быть, она хочет покраснеть, но не может: она вся белая, чересчур белая. Какой гнусный запах! Так пахнет молочный сок гевей, скисая в чанах. Но ведь это не сок, это Анни... Едва превозмогая отвращение, мистер Девис решает поцеловать руку Анни. У нее муж? Зато у мистера Девиса горячее сердце. Мистер Девис берет руку Анни. Рука отскакивает. Волосатый голый человек пронзительно кричит. Кругом горячая ночь, небо Азии, спящие кули и сотни тысяч ветвистых деревьев. Рука Анни упруга и холодна. Это не человеческое тело!..

— Анни, из чего ваши руки?

Молчит Анни. Молчат кули и гевеи.

Кули, тот, что получил тридцать хороших, не спит. Он кашляет, и на землю, хорошо знающую белую кровь гевей, вылетает красный сгусток: кули прежде не надрезал деревья, он возил в тележке плантаторов. Он не может говорить, он только свистит. Он очень болен. Нет, он не болен, он умирает. Он плетется в молельню. Там он видит бога. Бог из бронзы, бог спокоен и непонятен. Толстый будда улыбается точь-в-точь, как улыбается на заборах

Франции каучуковый человечек. Но будда никуда не торопится: неподвижно сидит он в прохладной молельне, сидит год, века, вечность. Под буддой написано: «Одни придут ко мне путями подвига, другие путями жертвы, третьи путями усталости, и этими путями ко мне придут все». Кули не умеет читать, но кули очень устал. Десять лет он возил людей и четыре года надрезал деревья. Он лежит на земле перед богом, и бог обещает ему то, что могут обещать даже пузатые бронзовые боги: смерть.

1929

БЕНЗИН

1. ОГНЕПОКЛОННИКИ

Шоссе. Длинная вереница автомобилей. В автомобилях, разумеется, люди. Один едет, потому что он врач. Другой потому, что он ухаживает за девушкой. Третий продает электрические лампочки. Четвертый решил убить ювелира. Все они едут потому, что у них автомобили. Едут не они, едут автомобили, а автомобили едут потому, что они автомобили.

Вдруг машина останавливается среди пригородного уныния, среди щебня, паршивых котят и шумливой детворы, под жестким белесым солнцем. Вокруг — столбы с насосами. Автомобиль хочет жрать. На столбах различные знаки: буквы, язык пламени, зигзаги молнии. Мелом проставлена цена: 12,70 или 12,80. Автомобилист, тот, что с револьвером в кармане, или тот, что с образцами электрических лампочек, рассеянно смотрит на молнию и на пламя. Ему нужен бензин. Он не думает о том, что перед ним война, братские могилы, трофеи победителей. Он платит 12,70 или 12,80. Он думает о лампочках или об ювелире. Он нажимает педаль. Ухмыляясь, машина мчится дальше. Она знает, куда и зачем.

Это можно представить так:

Вереск. Луна. Конечно, Шотландия. Конечно, замок. Конечно, пруд. И конечно, одинокий чудак бродит по

берегу, пытаясь разгадать, где вода, где звезды и где насмешливые глаза какой-нибудь Мэри или Кэт. Вот его легкая взволнованная тень. Он уже не молод: седые усы, смуглая кожа, обожженная солнцем; в глазах, черных, как черна южная ночь, то и дело показывается огонь. Может быть, и не влюблен он? Может быть, только встревожен луной и сыростью, неожиданным скрещением теней, неожиданным поблескиванием воды, загадочной мелодией своих шагов? Может быть, встревожен он присутствием не Мэри и не Кэт, а смерти, этой обязательной фигурантки, без которой не бывает ни пруда, ни замка, ни самой короткой ночи? Человек печален и неказист. На нем поношенный пиджак. Монокль его поцарапан, часы едва держатся на старом ремешке. Может быть, это мечтательный бедняк, маниак, влюбленный в древности, который приплелся сюда, чтобы полюбоваться замшелыми камнями, чтобы вообразить себя якобитом, готовым умереть за независимость Шотландии? Может быть, это неудачливый поэт, который зря посылает каждую субботу во все редакции Соединенного королевства свои баллады, бледные и тоскливые, как луна?

У ворот замка — другая тень. Здесь нет ни пруда, ни пламени в глазах, ни романтики. Луна, однако, и здесь; она помогает разглядеть светлое непромокаемое пальто, сжатые решительные губы. О, этот человек тверд и настойчив! Но ворота не раскрываются. Он был здесь утром, днем. Он снова пришел сюда. Напрасно сует он привратнику, надменному, как сам король Яков, хрустящие карточки и хрустящие ассигнации. Ворота не раскрываются.

Потом луна падает, зеленая луна, в зеленую воду. Умирая, еще раз она жалобно пронизывает белый пар. Тогда тень, та, что вздыхала на берегу, та, что с суровым огнем и с поцарапанным моноклем, среди ив и тишины сталкивается с новой тенью. Об этом можно написать балладу. Шорох теней невыносим. Даже бесчувственная ночь, и та вздрагивает. Это видно по шелесту листьев, по плеску воды, наконец по узким и сосредоточенным окнам замка, которые сразу загораются. Новая тень — уж не смерть ли это? — скрипя, склоняется, — точнее, склоняется только сухая металлическая шея тени:

— Мистер Тигль ждет вас в курительном салоне...

Тень у ворот ничего не знает. Тень у ворот зябко кутается в широкое, как старинный плащ, пальто.

Мистер Тигль осторожно закуривает гаванну. Хозяин набивает свою трубку крепким, дешевым кнастером. Легче переменить веру, друзей, убеждения, родину, нежели табак. Хозяин был некогда очень беден. С трудом платил он десять центов за четвертку табака. Он привык к его тяжелому, едкому дыму, к этому аромату матросских кабачков. Да, табаку он не изменил!

Мистер Тигль осторожно выпускает изо рта струю драгоценного дыма. Осторожно говорит он:

— Что касается возможности сепаратного соглашения с Москвой...

Тогда на ковер сыплются крошки кнастера: рука хозяина чуть дрожит. Предстоит новая битва. Следовательно, предстоит новая победа. Ведь это о нем сказал лорд Джон Фишер, создатель флота Великобритании: «Вы Наполеон по отваге и Кромвель по глубине». Мистер Тигль может курить гаванну и говорить о сепаратном соглашении. Наполеон, он же Кромвель, спокоен. Он окружен серым дымом победы.

— Это бессмысленно, следовательно это неморально...

Он знает, что победа будет за ним. А мистер Тигль и сепаратное соглашение — это только туман, белесый туман, это как цвет пруда, как выдуманная поступь обязательной фигурантки, которая бродила по аллеям парка и которую поэты, а также при подходящих обстоятельствах и не поэты, зовут «смертью». Какой вздор! Вы говорите «смерть»? Но это бессмысленно, следовательно это неморально...

Кто он? Адмирал? Фельдмаршал? Министр иностранных дел? Нет, он только негоциант. Правда, король Георг пожаловал ему титул «сэра». Но он равнодушен к титулам. Он неравнодушен только к своему делу. Он попросту негоциант. Он торгует нефтью. Он глава «Роял Детча». Зовут его Генри-Вильгельм-Август Детердинг. С ним его гости: вот неожиданная тень возле пруда — это сэр Джон Кедман, директор «Англо-Першен», союзник хозяина; а

вот мистер Тигль, председатель «Стандарт Ойл оф Нью-Джерсей», который осторожно курит гаванну, боясь уронить пепел, боясь уронить слово; это соперник, если угодно, нежно любимый враг. За узкими окнами луна и вереск. Три джентльмена, ласково и загадочно улыбаясь, говорят о зловонной жиже.

У древних персов не было биржи, однако они предчувствовали высокое значение бумажек, именуемых теперь «Англо-Першен», — они обожествляли нефть. Возле колодцев загадочно улыбались жирные грязные жрецы, вечный огонь не угасал. Даже смрад нефти казался паломникам сладчайшим.

Загадочно улыбается сэр Джон Кедман. Во время войны он торжественно заявил: «Мы окропим вас елеем победы!» Он позволил себе, несмотря на почетный титул председателя нефтяной комиссии, очаровательный каламбур: «ойл» по-английски — елей, «ойл» по-английски также — нефть. Сэр Джон Кедман совершал над солдатами, умиравшими в болотах Фландрии, высокий обряд миропомазания.

Теперь он — сэр. Он был прежде только мистером Кедманом. Он был когда-то ребенком. Он не думал тогда о божественной сущности нефти. Добродушно, даже фамильярно обходился он с керосиновой лампой, которая мечтательно чадила, покрывая его детство трогательной копотью. Романы Диккенса, домашний уют, золотое медовое счастье!.. Древние персы спокойно спали на страницах гимназических учебников, и маленький Джон не помышлял о своем жреческом назначении.

Теперь сэр Джон Кедман преисполнен религиозного пафоса: он знает, кому поклоняются люди. Лет семь тому назад в Лиссабоне епископы римско-католической, единой, апостольской и воинствующей церкви, наследники бессеребренников и страстотерпцев, служили пышные молебствия. Они просили всемогущего о поднятии курса «Англо-Першен». Ладан пахнет, конечно, лучше нефти, но ладан — это только благоуханная смола. Епископам города Лиссабона пришлось повторять старые молитвы грязных персидских жрецов.

— Вспомните о Венецуэле...

Мистер Тигль пробует устрашить неприятеля. Он забывает, что перед ним не обыкновенный негоциант, который торгует нефтью так, как другие торгуют мылом или яблоками, но Кромвель и Наполеон. Сэр Генри Детердинг может бояться сырости и тишины. Американцев он не боится.

2. ЗЕЛЕНОЕ ПЯТНО

Мистер Тигль непрочь похвастать:

— Я сам был рабочим на промыслах. Когда я кончал университет — последние экзамены, — телеграмма от отца: «Приезжай немедленно». Я подумал, что дома несчастье. Быстро собрался. Вхожу в кабинет отца, а он показывает мне на рабочую блузу: «Надень-ка это, и за работу!..» Что же, я не стал спорить. Я зарабатывал двадцать центов в час, как простой рабочий. Зато я изучил мое дело...

Как должен усмехаться Генри Детердинг, представляя себе эту назидательную картину! Биография мистера Тигля взята из пуританской хрестоматии. Предусмотрительный папаша оберегает своего первенца от семи грехов, рождаемых, как известно, праздностью. Вот уже и нефть узнала свою потомственную аристократию! Отец мистера Тигля был владельцем нефтяных промыслов «Скофильд-Шеммер энд Тигль», а дед его со стороны матери — первым компаньоном Рокфеллера.

Генри Детердинг никогда не учился в университете, и никто не занимался его воспитанием. Он уехал из крохотной Голландии на Яву в поисках счастья. Скромный клерк одного из банков Батавии, он получал шестьдесят флоринов в месяц, меньше, чем юный Тигль на отцовских промыслах и на отцовских харчах. Клерк, однако, не унывал. Он верил в счастье, — скромным он был только с виду.

Когда ему исполнилось тридцать лет, он встретился с удачей. Это не было в старинном замке, и удача никак не походила на традиционную фею. Звали удачу весьма прозаично: «господин Кесслер». Господин Кесслер был директором молодого, но солидного предприятия «Роял

Детч». Он приметил скромного клерка. Банковские книги, скрип пера, дешевый галстучек... Господин Кесслер умел находить не только нефтяные источники. Исторически вздохнув, он промолвил: «Этому молодому голландцу предстоит великое будущее». Клерк перестал быть клерком. Он занялся нефтью. Пять лет спустя он сменил господина Кесслера: он стал директором «Роял Детча». Через год он объединил «Роял Детч» с другой компанией — «Шелл». Он проник в Мексику и в Румынию, в Венецуэлу и в Канаду. В маленьком банке Батавии еще справлялись о счетах клиентов по записям исчезнувшего клерка, а прозорливые биржевики уже толковали о новом короле нефти.

Всю жизнь Наполеона томило большое зеленое пятно географической карты. Став во главе «Роял Детча», Детердинг повел наступление на Россию. В 1903 году он впервые проник на Кавказ. Накануне войны он вывозил из России сотни тысяч тонн.

В ненастный день, сырой и ветреный, жерла «Авроры» угрюмо пробасили «довольно!..» Никто в России тогда не думал о Генри Детердинге. Люди думали о мире во всем мире и о четвертке паечного хлеба. Детердинг прочитал: «Всем, всем, всем... Сегодня рабочие, солдаты и крестьяне...» Далее неразборчиво. Он был догадлив и понял значение стыдливого многоточия. В этот день его трубка, наверное, часто гасла. Детердинг нервно чиркал спичками.

Сейчас трубка курится. Добродушно поглядывает он на мистера Тигля. Тот осторожно улыбается.

— Десять лет тому назад «Россия» — означало «революция». Теперь это означает — «нефть»...

Для мистера Тигля Россия — страна, в которой имеются большие промыслы. Для сэра Генри это — загадочное пятно и его собственная биография, двадцать пять лет борьбы, неразборчивая радиопередача, металлические глаза Красина, пулеметы «Стандарт», Генуя, Гаага, переговоры, разрывы, уступки, ультиматумы, а за всем этим молчание, как пятно на карте — большое и непонятное.

Американцы продают нефть. Но кому же нужна нефть, если не американцам? Они продают сейчас. Через

десять лет им придется покупать. В России 150 000 000 душ. Сейчас крестьяне требуют керосин для ламп. Завтра они потребуют бензин для тракторов. Сэр Генри добывает нефть там, где нет людей. Это осмысленно, следовательно это морально.

— Но переизбыток?.. Но Венецуэла?.. Но «независимые»?..

У ворот замка попрежнему зябнет неизвестная тень. У этой тени отменные рекомендации и пухлый блокнот. Это ведь не тень, — это специальный корреспондент газеты «Таймс». Ему так хочется поговорить с тремя джентльменами! Но ворота замка заперты наглухо.

Мир должен быть организован. Хаос преступен. Организовать мир должны не политики, не военные, не дипломаты. На Генри Детердинге — высокая миссия. Он даст человечеству смысл, следовательно мораль. Кто не трудится, тот не ест. Да, он тоже социалист, только его социализм — не ребяческая греза, это подлинное дело, это империя нефти.

Мечта, преследовавшая Тамерлана, Цезаря, Наполеона, жива. Она делает горячими и бессонными ночи Детердинга. С удовлетворением сэр Генри поглядывает на лакированный глобус: Мексика, Кюракао, Глазго, Румыния, Гибралтар, Албания, Порт-Саид, Суэц, Цейлон, Батавия, вот она «империя, над которой никогда не заходит солнце!»

Да, но зеленое пятно, расползшееся на две части света?.. Мир должен быть организован. Он пробовал все. Он забыл о радио и о гасшей что ни минута трубке. Не мог же он уступить зеленое пятно американцам!.. Он говорил: «Ни один порядочный человек не должен покупать советскую нефть: эта нефть краденая». Говоря так, он любезно беседовал с Красиным; хитро посвечивали глаза Красина, и сэр Генри покупал «краденую» нефть. Одновременно он скупал акции бывших владельцев промыслов. Эти акции ничего не стоили после сердитого баса «Авроры», и с их держателями было куда легче сговориться, нежели с подлинными владельцами нефти. Детердинг покупал нефть и продавал ее. Он покупал аннули-

рованные акции, и во всех газетах мира появлялись предупреждения: «Осторожно, не покупайте краденой нефти!» Так говорили бывшие владельцы бывших акций. Так говорил и председатель нового общества бывших, однако «законных» владельцев — сэр Генри Детердинг. Он говорил интервьюерам: «Российская нефть принадлежит ее бывшим владельцам, следовательно она принадлежит мне». Он говорил советским продавцам: «Вы можете продать эту нефть мне, но исключительно мне и притом с соответствующей скидкой...» Он делал все, что мог, ибо мир должен быть организован.

3. СЭР ГЕНРИ ОБЪЯВЛЯЕТ ВОЙНУ

Одни называются фунтами стерлингов, другие долларами, третьи поэтично, как будто это тюльпановые поля, флоринами. Все они докучны. Детердинг не успевает даже переменить ремешок часов. Он курит грошовый кнастер. Правда, он любит спорт. В светском приложении к нефтяной газете была воспроизведена фотография: «Сэр Генри и леди Детердинг катаются на коньках в Сен-Морице». Держатели акций «Роял Детча» могли радоваться крепости их шестидесятилетнего попечителя. Сэр Генри даже произнес спич в Амстердаме о пользе физкультуры. Но разве для коньков нужны миллионы? Зимой замерзают каналы Дельфта или Додрехта, и мальчуганы, не знающие, что такое акции, весело режут лед, голубой, как фаянс.

Зачем Детердингу деньги? В стране Прометея было вдоволь тепло. Прометей мечтал об огне, не о печке. Вот другой повелитель, бывший оплот «Англо-Першен», — сэр Базиль Захаров. Его состояние измеряют миллионами английских фунтов. Ему восемьдесят лет от роду, и он одинок. Джон Рокфеллер долго копил деньги. Потом он начал раздавать их с прилежанием квакера. Это грустно, как стихи Экклезиаста. Не ради денег трудится сэр Генри. Он хочет организовать мир.

Он верит в бессмертие духа. Он также торгует нефтью. Он не может отдать зеленое пятно американцам. Когда «Стандарт Ойл» хотел заключить сделку с Советами,

Детердинг послал телеграмму благочестивому Рокфеллеру, который уже скребся в двери рая. «Как? Рокфеллер хочет дать деньги заведомым безбожникам, которые угнетают христианскую церковь?..» Сам Детердинг не боится ада. Он готов был платить деньги даже злодеям и рецидивистам. Он хотел одного: платить дешево.

Он пугал русских, и он соблазнял их. Зеленое пятно оставалось загадкой. Тогда сэр Генри потерял терпение. У него густые, жесткие брови. У него горячее сердце. Брови опустились. Трубка угрюмо пыхтела. Сэр Генри Детердинг объявил зеленой загадке войну.

Красин как-то сказал Детердингу: «Прошлое не в счет. Надо все начинать сызнова». Глаза при этом хитро посвечивали. Сэр Генри любовался их игрой. Он сам ненавидит старое. Старое — это белесая тень возле пруда. Старое — это смерть. Не раз он уничтожал все вокруг себя. Он всему изменял, кроме разве кнастера. Акции бывших владельцев для него не догмат веры. Это просто хороший ход. Он готов все начать сызнова. Пусть на Красной площади сжигают чучело капитализма. Но пусть при этом помнят, что нефть принадлежит Генри Детердингу, потому что он один способен создать великую империю нефти, а следовательно одарить человечество моралью.

На северном призрачном море угрюмо дымит гигантский дредноут. Он правит пятью частями света. Для него растут пальмы, для него под землей сверкают алмазы, для него истекают смолой каучуковые рощи, для него Рабиндранат Тагор пишет стихи о мудрости Индии, — все для него. Этот дредноут зовут Великобританией. Его орудия готовы салютовать поцарапанному моноклю. Правда, Генри-Вильгельм-Август Детердинг — иностранец, но свободолюбивые бритты изучают паспорта только нищих иммигрантов. На капитанском мостике рядом с греческим профилем Базиля Захарова можно увидеть голландскую трубку Детердинга.

Сэр Генри объявил войну шестой части света. У сэра Генри прекрасная армия. Несколько лет назад в лондонском суде слушалось дело подвластной ему компании —

«Астра-Романа». Вот допрашивают бывшего заведующего великобританской контрразведкой мистера Мак-Догона:

— Вы получали ежегодно четыре тысячи фунтов. Между тем вы отнюдь не специалист по нефтяному делу. Может быть, вы объясните, в чем именно состояла ваша служба?

Мистер Мак-Догон насмешливо вздыхает:

— Простите, но мои функции чрезвычайно трудно определить...

Сэр Генри говорит о Ллойд-Джордже: «Мой друг». Это не мешает ему ладить и с Чемберленом. Он ведь презирает низкую политику, выборы, смену кабинетов, пышные слова и пышные парики. Он объявил войну непокорной державе. Дредноут наславу оборудован. Дым дредноута черен и грозен.

В пригожий майский день полицейские бригады окружают дом на улице Тургет. Шифровальщик советского торгпредства, некто Худяков, видит перед собой спортивный кулак одного из агентов. Худяков, может быть, и хочет расспросить незваного гостя о знаменитом «хабеас-корпусе», но он нетверд в английском языке, к тому же у спортсмена — палка. Худяков молча падает на пол. Полицейский направляется к начальнику с победоносной реляцией.

Сэр Генри говорит: «Побеждает тот, кто действует».

Две недели спустя Чемберлен подписывает воинственную ноту. Сэр Генри возьмет зеленую крепость измором. Он видит уже великую коалицию. Только ни слова о нефти! Говорите о крови расстрелянных, о поругании церквей, о свободе слова, говорите, если угодно, стихами, говорите много, красиво и задушевно! Главнокомандующий остается незримым. В скромной комнате он курит простонародный кнастер.

Наполеон идет на Восток, чтобы создать единую империю нефти.

4. «ПОБЕДА»

Просторный кабинет. Зеленое сукно. Приторный запах табака с медом. Председатель «Норд Кокасен ойлфильд» говорит уверенно и веско. Это дивизионный генерал, которого ознакомили с планом атаки.

— Наиболее существенным событием истекшего года было удаление русского посольства. Надо надеяться, что Франция последует примеру Великобритании. Сэр Генри Детердинг окажет на французское правительство все давление, какое он только может оказать...

Джентльмены облегченно вздыхают: раз сэр Генри!.. С восторгом один шепчет другому:

— Он сказал, что не пройдет и года, как кремлевская власть падет...

«Он» — это, разумеется, сэр Генри. Сэр Генри вспыльчив и неосторожен. Он любит изрекать. Возражений он не терпит. Над Кавказом могут разveваться какие угодно флаги, но кавказская нефть должна принадлежать ему.

Секретарь заказывает каюту: сэр Генри едет в Париж.

Париж смеется, пьет аперитивы, читает о скачках в Довиле и о новых автомобилях Ситроена. Он вовсе не ждет Детердинга. Под платанами целуются сентиментальные парочки. Рабочие требуют спасения Сакко и Ванцетти. В народных танцульках гармонисты играют залихватские «явы». Депутаты удят рыбу и задабривают избирателей. Париж, как всегда, пахнет пудрой и бензином. Он не знает, что бензин это нефть, что каюта уже заказана, что голубой дым над площадью Сен-Лазар — дорога сэра Генри к пожарищам Москвы.

Жорж Клемансо теперь заканчивает свою тщеславную жизнь афоризмами о тщете всякой славы. Он пишет о Демосфене. Кроме того, он любит наблюдать за своим шотландским терьером. Его пес неохоч до сухого хлеба, но стоит только Клемансо бросить крошки воробьям, как терьер немедленно их пожирает. Клемансо записывает: «Не правда ли, сколь человеческое движение?..»

О Клемансо наивные люди говорят — «циник!» Сэр Генри Детердинг улыбается. Ведь Клемансо питался министерскими кризисами. Он верил в чары Мата-Хари, в барабанную дробь, в мистику крови, в ораторское совершенство. Он еще мог признать железо или уголь. Но нефть?.. Во время версальской конференции его преду-

преждали: «Англичане хотят нас провести. Они прибирают к рукам всю нефть». Шутники рассказывают, будто Клемансо в ответ презрительно усмехнулся: «Что же, у нас останется электричество!»

Год спустя другой француз, г. Мильеран, гордо заявил: «Моссульская нефть наша, и мы требуем свободных рук». Тогда-то усмехнулся сэр Генри: «У них будут свободные руки. Свободные и пустые». После этого не мало французских солдат осталось в Сирии. Стреляли арабы. Пули были английские.

А нефти у французов нет как нет. Зато кое-кто из них приобрел акции «Роял Детча». Когда поднимается в цене нефть, поднимаются и акции. Это — ущерб для промышленности, это — кризис и безработица, но это — классическое счастье сотни-другой акционеров.

У французов нет нефти, и у них много автомобилей. Они покупают нефть «Роял Детча» или «Стандарт Ойля». По Черному морю идут наливные суда. Но ведь сэр Генри воюет с зеленым пространством. Сэр Генри Детердинг хорошо знает, из чего сделана человеческая жизнь. Он знает, что такое высокая политика. Он знает также, что такое зловонная нефть.

Дипломаты — люди загадочные и завлекательные, вроде медиумов или чикагских бандитов. Г-н Камбон, бывший посол Франции в Берлине, снисходя к любопытству непосвященных, выпустил недавно книжку под заглавием «Дипломат». Подробно он рассказывает, как должен образцовый дипломат улыбаться и как должны улыбаться ему.

Г-н Камбон — один из «бессмертных» Академии, неужто он выдумал все описанные им улыбки?.. Хотя г. Камбон, помимо Академии, состоит во главе французского отделения «Стандарт Ойля», беседуя о дипломатическом этикете, он, наверно, забывает о нефти.

К высокому дому на Кузнецком, где помещается Народный комиссариат иностранных дел, подъезжает автомобиль. Автомобиль корректен и корректен пассажир.

Г-н Эрбет улыбается согласно книге г. Камбона. Это настоящий дипломат. Он говорит о полученных им из Парижа инструкциях. Он говорит о достоинстве республики и об общественном мнении. Он говорит возвышенно и деликатно. Это похоже на стихи Гюго. О нефти г. Эрбет ничего не говорит.

Сэр Генри Детердинг может возвратиться в Лондон.

У закрытых ворот особняка на улице Гренель толпятся журналисты. Они говорят об одном: когда уезжает советский посол?.. Молчат полицейские. Они ничего не знают. Это даже не люди, это голубые тени голубого Парижа. У них только кепи и номера. Журналисты озабоченно кудахчут: «Когда же? Когда?..» Стекла особняка меланхолично посвечивают.

5. МУЗА ИСТОРИИ

Палата депутатов. Швейцар с массивной цепью на шее торжественно возвещает:

— Господин председатель.

В зал входит г. Буиссон. Он социалист, и свобода совести ему куда понятней топлива. Недоуменно оглядывает зал его фрачная манишка. Кресло ампир цепенеет. Депутаты шумят, как приготовишки, и г. Буиссон добродушно стучит линейкой. Скучный урок! Сегодня ведь будут говорить о какой-то нефти...

Немало мест пустует: скоро выборы, и самые шустрые уже на посту — в глухой провинции. Там они патетично жмут руки ветеринаров и нотариусов, любезничают с кабатчиками и стряпчими, сулят кому место табачного сидельца, кому пенсию, кому всеобщее равенство, а кому и загробную жизнь. Там, стуча кулаком по столу, в накуренных кафе они клянутся защищать интересы промышленников, рантьеров, фермеров, рабочих, интересы всех и всякого, построить новый мост, проложить замечательное шоссе, удешевить квартирную плату, перехитрить американцев и спасти в такой-то раз пятидесятивосьмилетнюю Марианну.

Депутаты слушают одним ухом: кого, скажите, может интересовать нефть?.. Одни пишут письма избирателям:

Дюран просит пристроить его племянника в Алжире, а Дюпон возмущен происками конкурентов. Надобно всем ответить. Другие со скуки вырезывают на сиденьях свои инициалы. Даже скамья, на которой заседает правительство, вся испещрена вензелями, как тривиальная парта. Шушукание. Смех. Треск газетных листов. Время от времени стук председательской линейки: тише!

— Крэкинг не может применяться к нефти, заключающей в себе серу...

Зевки. Гул голосов. Шорох бумаги. Звонок председателя. Зал оживает, когда один из ораторов говорит:

— Вместо «ищите женщину» старых водевилей мы вправе теперь сказать «ищите нефть».

Тотчас другой депутат возражает:

— Не сравнивайте нефть с женщиной! Женщина — это божество.

Смех и ремарка мизантропа:

— К тому же она не воспламеняется...

Вопрос о пылкости красоток здесь куда понятней и милей неведомого «крэкинга».

Речи продолжаются. На трибуне теперь социалист Шарль Барон. Он южанин, у него седая грива и классический рык. Он, разумеется, преисполнен пафоса. Он любит рассказывать:

— Мой дед сидел в Конвенте, и мой дед сказал Марату...

Он свято чтит «Декларацию прав человека». О нефти он говорит так же красноречиво, как его дед говорил о заветах Жан-Жака.

Однако палата 1928 года не Конвент, и гражданин Барон умеет соблюдать вежливость:

— Сэр Генри Детердинг пошел дальше, он пытался также повлиять на французское правительство. Я должен отдать честь нашему правительству и господину Пуанкаре...

Г-н Пуанкаре сух и непреклонен. Г-н Пуанкаре быстро прерывает восторженного южанина:

— Никто не пытался повлиять на меня.

Скрипят перья стенографистов. Застыли швейцары с цепями. Легкая серебряная пыль садится на лицо Клио, самой темной из всех муз.

6. СЭР И ЛЕДИ

Генри Детердинг выиграл битву. Но зеленое пятно он с карты не стер. В Баку продолжали добывать нефть, и, вопреки морали, эта нефть не текла в резервуары «Роял Детча» или «Шелл». Детердинг готовился к новому наступлению. В то же время он вел переговоры. Он предлагал мировую. Что делать? Чем больше он выигрывает, тем больше теряет. Он искал нефть повсюду. Оказалось, что нефти чересчур много. Цены начали падать. Автомобилисты радовались. Сэр Генри хмурился: мораль в опасности! В Венецуэле что ни день открывают новые источники. «Независимые» пускают нефть за бесценок. Сэр Генри с тревогой заглядывал в биржевой бюллетень.

Тогда-то кинулся на него давнишний враг: «Стандарт Ойл» спустил в Индии двадцать долларов с тонны. Это было ударом в опину. Дивиденды «Роял Детча» понизились. Детердинг вел переговоры о займе в Америке. Он хотел получить 80 000 000 долларов. Но «Стандарт Ойл» не дремал, и американские банкиры тянули дело.

Мечта — единая империя, но человечество еще не доросло до этого. Что же, тогда пусть существуют три империи. Это лучше, чем хаос. Сэр Генри упрям, но он умеет уступать. Он приглашает союзника — «Англо-Першен» и врага — «Стандарт Ойл» на совещание. Им предстоит разделить мир.

В старинный замок Эчекери приезжают гости: сэр Джон Кедман и мистер Тигль. Над замком луна. Возле замка пруд. Три джентльмена подолгу беседуют друг с другом. Ворота закрыты наглухо. Секретари и стенографистки отосланы в коттедж за восемь миль от замка. Здесь нет места соглядатаям.

Они не похожи друг на друга, эти три нефтяных императора. Сэр Джон Кедман — ученый. Мирно читал он лекции по политической экономии. Потом сразу, как Ньютон закон тяготения, он понял закон господства над миром. С тех пор он знает только слово: «нефть». Это он научил правителей Великобритании, как им бороться с Америкой. Скромный профессор Бирмингамского университета, он стал главой «Англо-Першен» и сэром Джоном.

Осторожно закуривая гаванну, мистер Тигль говорит:

— Хорошо, мы поделим рынки, мы задавим «независимых». Но Россия?..

Тогда сэр Генри усмехается:

— С ними легко сговориться.

Он возьмет зеленое пятно! Он возьмет его уступками, лаской, все равно чем! Он не отдаст его этому осторожному американцу.

Тень долго зябла у ворот замка. Наконец-то ворота раскрылись. Специальный корреспондент газеты «Таймс» был великодушно принят мистером Тиглем.

— Можно ли узнать цель вашего приезда в замок Эчекери?

Журналист затаил дыхание. Он получит самое сенсационное интервью. Он, анонимный репортер, станет завтра ответственным редактором.

Осторожно улыбаясь, мистер Тигль говорит:

— Я, а также сэр Джон Кедман были гостями сэра Генри и лэди Детердинг.

— Но цель? Простите меня, мистер Тигль, но цель вашего посещения?...

— Хорошо, я вам отвечу. Главная цель нашего приезда — это охота на рябчиков.

— Но?.. Но?..

Журналист не может ничего вымолвить. Он подавлен. Рябчики вырастают. Они становятся мифическими грифами. Журналист бледен. Он роняет на пол блокнот. А мистер Тигль, все так же осторожно улыбаясь, говорит:

— Впрочем, я не скрою от вас, что в свободные минуты мы говорили о нефти. Мы установили, что нефти чересчур много и что необходимо сократить добычу для блага самих потребителей. Вы хорошо поняли меня? Для блага самих потребителей...

Полчаса спустя журналист — у телефонного аппарата:

— Алло? Да. Да. Сначала — рябчики. Обыкновенные рябчики. Птица. Потом — просто. Вы не понимаете?.. Но

они поделили весь мир. Только обождите, хорошо ли вы меня поняли? Это для блага самих потребителей...

На ступенях всех бирж — лондонской и парижской, нью-йоркской и амстердамской — буря. Летят соломенные шляпы и котелки. Трости высятся, как жезлы. Вой тысяч глоток сливается в одно громыхание громадного рупора:

— «Роял Детч» вчера — 36 000, сегодня 41 000.

Сэр Генри спокойно косится на биржевой бюллетень. Настанет час, и три империи сольются в одну.

Детердинга поздравляют. Он ведь выторговал у Советов пять процентов. Он говорит, что эти деньги предназначаются для бывших собственников, что он, сэр Генри, защищает права обнищавших эмигрантов. Может быть, это вправду победа?.. Он уступил, но, уступая, он выиграл. Лакированный глобус послушно вертится. С любовью сэр Генри поглядывает на знакомое пятно. Вот голубой единорог: это Каспийское море. Нефть течет...

У сэра Генри империя нефти. У сэра Генри сын — престолонаследник. Ко всему сэр Генри верит в бессмертие.

Детердинг — у себя на родине, в Голландии. Правда, его родина куда шире. Голландский поэт Ван-Эден сказал: «Родина купца — весь мир». Эти стихи должны нравиться Детердингу. Он повсюду дома: в Лондоне, в Батавии и в Гааге. Но слов нет, он любит крохотную Голландию. Здесь все им гордятся, как гордятся крестьяне односельчанином, который стал бригадиром или нотариусом. Сэр Генри отвечает на любовь любовью. Он посылает бедных голландских студентов в колонии: пусть ищут там удачи. Он дарит в музеи ценные полотна. У него в Гааге очаровательный коттедж. У него в Гааге и другой дом, видный издалека. Это — правление империи. На фронтоне вместо геральдических львов или грифов — одно торжественное слово: «Батавия». Каждый год, где бы он ни был, сэр Генри спешит к назначенному дню в Гаагу: на бал к своей королеве. Он — английский сэр.

Он может стать президентом Венецуэлы или персидским шахом. Но он презирает титулы. Он — только «верноподданный Вильгельмины, божьей милостью королевы Нидерландов».

А может быть, это шутка? Сэр Генри ведь любит шутить. Может быть, все здесь, от королевы Вильгельмины до газетчика, что разносит «Телеграф», верноподданные Генри-Вильгельма-Августа Детердинга?

В тихом Дельфте сегодня торжество: техникум присудил сэру Генри докторский диплом «гонорис кауза». Правда, сэр Генри не сэр Джон Кедман, он не сушил свой ум науками. Однако ректор говорит без запинки:

— Гордость Нидерландов... Весь мир почитает... И мы сочли за честь...

Большой зал переполнен. Верноподданные, те, что на хорах, затаили дыхание. Принц Генрих умилен. Принц Генрих не король, он только муж королевы, и он не император нефти, у него скромный цивильный лист. Принц Генрих хорошо понимает, кто перед ним. Он молитвенно сложил руки.

На тихих улицах, вдоль каналов, толпятся жалкие смертные, не попавшие на торжество. Они приветствуют сэра Генри. Они приветствуют доктора Детердинга. Они приветствуют нефтяного императора.

Потом?.. Потом люди расходятся. Из узких каналов выползает ночь. Здесь кончаются газетные отчеты. На смену приходит фантазия автора. Доктор Детердинг беседует теперь с ночью. Эта беседа неповоротлива, кропотлива, темна. Ночь не хочет уступать, а доктор упрям и вспыльчив.

Где он видел эту улицу?.. Ах, да, на старой картине! Он купил картину в Лондоне, на аукционе. Он подарил ее амстердамскому музею. Пусть висит там. И пусть молчит. Улицы не должны разговаривать. Ночь обязана молчать. Ректор техникума давно закончил приветствия. Голландцы за белыми шторами пьют кофе и читают — одни библию, другие биржевой бюллетень. Они читают: «Роял Детч» — десять заповедей — чти — в поте лица твоего — «Шелл» — по образу и подобию — дивиденды — не пожелай — цены на бензин снова поднялись — для блага самих потребителей — положить душу свою...»

Так говорят газеты и писание. Так говорит доктор Детердинг. А ночь, надоедливая, несговорчивая ночь, твердит иное. Ее даже нельзя перекричать: она разговаривает молча. Доктор мечется вдоль каналов, по узким, почти невидимым, по только предполагаемым улицам.

Дельфт не разноязычный Роттердам. В Дельфте живут голландцы, скромные подданные королевы Вильгельмины. Откуда же взялись эти тени?..

— Сэр, мы ваши подданные.

— Королевы Нидерландов?

— Нет, нефти.

— Мы разорились. Мы разбогатели. Нас нет. Мы умерли. В окопах. Мы мексиканцы. Мы были за Обрегона. А мы против. За вас. За нефть. Мы из Албании. Мы резали других. А мы из Рифа. Там ведь тоже нефть. Из Моссула. Клемансо не понял. Вы поняли. Вы, сэр. Мы французские солдаты. Мы поляки. Мы из Венецуэлы. Мы маклеры. Мы генералы. Мы дети...

— Довольно! К делу! Что вам нужно? Акции? Повышение цен? Мир?

— Сэр, мы мертвы.

— Так вы хотите смерти?

— Доктор, вы забыли — а бессмертие?

— Теперь я понимаю — вы хотите бессмертия?

— Император, сжалься! Мы не хотим бессмертия. Мы ничего не хотим. Нас нет.

Сэр Генри оглядывается: все та же ночь, фонари и тень. Одна только тень.

— Леди — это вы? Или, простите, вы тоже из Венецуэлы?..

Тень молчит. Тогда он вспоминает: замок, пруд, луна. Мистер Тигль ждал его в курительном салоне. А тень металась по аллеям.

— Леди, вы — смерть?

Тень молчит. Тень чрезвычайно похожа на сэра Генри, на Генри-Августа-Вильгельма.

В каналах темная вязкая вода. Может быть, и не вода это, а нефть. Нефть повсюду. Необходимо срочно сократить добычу. Заткнуть. Объявить, что нефти больше нет. Нигде. А то сегодня — Венецуэла. Завтра — Колумбия или Урал. Цены летят. Империя рушится. Зачем он жил?

Что он ответит Судье? Что он ответит этим бескостным из всех Венецуэл?..

Но постойте! Нефть — энергия мира. Нефть нужна всем. На благо потребителям. Пароходы, автомобили, самолеты. Кружитесь! И скорее! Почему они сидят за штоpами? Они обязаны нестись. Дом, взлетай! Мост, отчаливай! И бросьте библию! Я ее прочту за вас. Потом. Когда-нибудь. После смерти. Я вам приказываю: мчитесь! сто, двести, триста в час!..

А вдруг устанут? Вдруг взмолятся: «Зачем так быстро? Куда? К смерти?..» Человеку ведь легче остановиться, нежели нефти. Нефть течет. Ее станут продавать за гроши. Акциями «Роял Детча» будут растапливать камины. Нефти так много! Это нефть в каналах. Или не нефть — кровь? Все равно! Тогда слишком много крови. И все устанут. Как он. Он устал, очень устал. Он шатается. Шатается и тень.

— Леди, я останусь с вами.

— Сэр Генри, вы ошиблись. Я для других. Я для албанцев. Набейте вашу трубку и вспомните: империя ждет. Я не для вас. Ведь вы, сэр Генри, бессмертны.

1929

7. ОСТРОВ СВЯТОЙ ЕЛЕНЫ

Сэру Генри шестьдесят семь лет. Он еще катается на коньках, он еще торгует нефтью. Но годы сказались и на нем. Прежде, когда сэр Генри сердился, это означало войну или разрыв дипломатических сношений, министры подавали в отставку, генералы подмахивали приказы о мобилизации. Теперь, когда сэр Генри сердится, домашний врач ласково журит его, а министры, генералы и дипломаты сострадательно молчат.

В 1931 году акции «Роял Детча» на парижской бирже котировались: 40 000 франков. В 1932 году они спустились до 11 000. Это было началом конца. Сэр Генри не застрелился, не перерезал себе горло бритвой и не сгорел на нефтяном костре. Он продолжал кататься на коньках, но это был уже не тот сэр Генри.

Зеленое пятно победило. Сэр Генри ненавидит Россию, и он не может о ней забыть. На склоне лет он избрал себе

русскую жену. Королева Нидерландов улыбалась очаровательной леди Лидии. Леди Лидия была куда снисходительней воображаемой леди из шотландского замка: она не говорила ни о персах, ни об албанцах. Она тоже каталась на коньках. Она брала у сэра Генри деньги «на булавки», и эти деньги слала своим соотечественникам: генералам в бегах и безработным губернаторам. В Париже открылась «русская гимназия имени леди Детердинг», и дети бывших нефтепромышленников благословляли щедрость сэра Генри.

Тем временем советская нефть текла по трубам, как кровь. Сэр Генри не может слышать этого биения. Он больше не мечтает о победе: падают акции, идут годы, близится леди — не Лидия, другая, та, что бродит вдоль каналов и шелестит листьями в старом замке. Не о победе он мечтает — о мести.

Он полюбил теперь две страны: Японию и Германию. Япония? Там мало нефти. Японцам нужно в год свыше полутора миллионов. Сэр Генри идет на помощь: он даст японцам нефть, пусть японцы отомстят зеленому пятну за седины, за погасшую трубку, за коварные речи леди.

Сэр Генри вызывает журналиста. Это белобрысый флегматичный англичанин, он работает в «Дэйли Экспресс». Он аккуратно записывает. Сэр Генри кашляет от гнева, и за дверью домашний врач испуганно шепчет: «Опять!»

Сэр Генри говорит:

— Я знаю, что русские меня ненавидят. Задача Советов погубить меня. Они устраивают заговоры...

Сэр Генри читает книги Розенберга. Он сторонник вооружения Германии. Он едет в Берлин. Он знает, что мир должен принадлежать ему, но история над ним подшутила. Почтительно улыбаясь, сэр Генри входит в кабинет Гитлера. Он предлагает заем: нефть, много нефти; этой нефти хватит и на век сэра Генри, и на век Гитлера!..

Он хочет одного: зеленое пятно должно быть уничтожено!

Он пробует бороться с судьбой. Он пишет статьи. Он доказывает, что серебро выше золота: об этом его просили японцы. Он доказывает, что нефти на свете чересчур

мало, — необходимо увеличить запасы: об этом его просили акционеры. Он доказывает, что СССР должен быть разрушен: об этом его просил Гитлер. Домашний врач стоит наготове с каплями. Сэр Генри сердится и грозит — кому? зеленому пятну? или, может быть, воображаемой леди?..

Правление «Шелл» помещается в Лондоне, на улице святой Елены. Бедный нефтяной Наполеон — это даже не остров, это только папки и осунувшиеся лица администраторов.

1934

САРДИНКИ

«Проводите летние каникулы в Бретани!»

Пенмарк сер и хмур. Ни дерева, ни кустика. День и ночь колотится о камни океан. На крутом берегу, среди камней, — белые кубы консервных фабрик. Внизу готика мачт: сотни парусников. Площадь пестра. Рыбаки в костюмах из красного брезента похожи на огромных лангустов. Они пьют яблочную водку или играют в кегли. Женщины держатся в стороне. Они стоят на углах улиц, укрываясь от ветра; стоя, они вяжут. В своих высоких чепцах они видны издалека, как маяки. Пенмарк ждет — когда же покажется сардинка?

Это крохотная рыбка. Это международное блюдо, малоприметная, но обязательная деталь многих обедов. Это богатство одного человека. Г-ну Дюрану принадлежат все консервные фабрики: он — король сардинок.

Сардинка правит Пенмарком. Десять тысяч человек зависят от тех таинственных дорог, которые прокладывает в глубинах океана эта непоседливая рыбка.

Сардинка идет!.. Рыбаки оставляют рюмки и шары. Горизонт расписывается рыжими парусами. Начинается суета на воде: причаливают и отчаливают парусники, выбрасывают на камни груды сверкающей рыбы, веселой, как серебряные монеты, едят наспех, качаясь в лодках, макают в вино хлеб и снова уплывают: сардинка не ждет. По длинным набережным непрерывной цепью тянутся люди с корзинами. На фабриках сегодня будут работать всю ночь. Среди ветра лихорадочно бьются огни, и удушающий запах рыбы обволакивает Пенмарк.

Труд здесь прост и жесток. Вместо машин — женские руки. Они ведь недорого стоят, эти растравленные солью руки рыбачек. Что делать рыбаку с уловом? Г-н Дюран определяет цены и количество рыбы. Дороже? Больше? Некому.

Рыбаки Пенмарка ловят сардинку. Их жены и дети в шумные черные ночи, когда море полнится парусами, когда грозен ветер и сиротлив человек, с тревогой вглядываясь в темь, заполняют фабрики. Им платят двадцать шесть су в час. В Пенмарке большие семьи, голые камни, трудная жизнь.

Сардинкам отрезают головы, потом их слегка вялят, потом кипятят в прованском масле. Никакой ветер не может прогнать запах рыбы и масла. Им пропитаны руки, платья, дома. В дни, когда сардинка идет густо, бывает по трое суток, без передышки рыбаки вытаскивают сети, носят корзины, и по трое суток, отлучаясь только, чтобы накормить младенцев грудью, варят рыбачки чужую снедь, чужое богатство.

Сильны волны вокруг этих скал. Когда-то океан смыл Пенмарк. От былой роскоши остался только чересчур большой собор среди рыбацких хижин. Теперь море берет измором: то и дело оно вырывает человеческую жизнь. Досужие статистики любят украшать тот или иной город званием «первый во Франции». Ницца — первый город Франции по количеству солнечных часов. Грасс — первый по цветам. Пенмарк — первый по утопленникам.

Гулкий ветреный день. На площади толпа. Кирпичные и синие блузы. Тревожная яркость одежд похожа на осеннюю листву. Чересчур быстро бегут облака, чересчур угрюмо ревет океан, чересчур белы кубы фабрик.

Наглухо закрыты сегодня все фабрики. В порту столпились парусники. Море пусто. Это забастовка. Рыбаки угрюмо сидят на камнях.

Что будут подавать на закуску корректные метрдотели пяти частей света?..

Рыбаки требуют: покупайте, хотя бы по низкой цене, весь улов! Г-н Дюран непреклонен. Он говорит журналистам: «Наши фабрики недостаточно оборудованы». Он

говорит финансистам: «Сардинка не хлеб — она должна вздорожать».

— Что же, мы подождем...

Г-н Дюран знает, что у рыбаков ни гроша за душой, что красавицы в чепцах рожают детей, а ребята хотят есть. Он может подождать...

Он дождался своего: рыбаки сдались. Уныло выходят в море парусники. Снова кипят сардинки в котлах. Крупная рыба рвет голубые сети, а сети стоят так дорого! Женщины чинят сети, отрывают головы сардинам, кормят ребят; высокие и величественные в древних митрах, они пересчитывают медные су и глядят на море: не захлестнет ли сегодня волна Жана или Пьера?

Среди женщин одна особенно красива. Ее зовут Марией. Сегодня утром один из туристов, в широких штанах для гольфа, с кодаком, — классический турист, соблазненный плакатом «Летние каникулы в Бретани», — заметил красотку. Она стояла возле магазина готового платья, любуясь парижской шляпой. Турист подошел, заговорил; он обещал ей не только шляпу, но и многое другое за несколько минут, за один взгляд. Он будет ждать ее вечером на скалах. Ведь вечером муж ловит сардинку... Она не сказала «нет». Может быть, она согласилась? У Марии сын — пятилетний голодранец. Он гоняется за автомобилями, клянча два су. Ах, эта забастовка всех доконала! К чему они выдумали бастовать?.. Как будто можно переспорить г. Рике!

Мария никогда не слыхала о существовании г. Дюрана. Управляющий фабрикой Виктор Рике для нее самый сильный человек на свете: он может нанять и прогнать, он может купить сардинку, может и не купить.

Турист готовится. Он купил коробку шоколада и деликатно засунул в нее кредитку. Вдруг придет?..

Г-н Дюран сегодня встревожен: сардинок чересчур много. Увеличить производство — это значит спустить цены. Но сардинка не хлеб, сардинка — роскошь. Г-н Дюран диктует секретарю телеграмму: ни в коем случае не повышать количества выпускаемых консервов. Норма — данные прошлого года. Излишка не брать.

Секретарь дает листок барышне с кудряшками. Та быстро стучит на машинке. Восемнадцать копий, —

у г. Дюрана восемнадцать фабрик. Мальчик бежит на телеграф.

В Пенмарке телеграфист дремлет. Аппарат стучит. «Черти, отдохнуть не дадут! Снова на фабрику...»

Облака бегут. Все больше облаков. Это — тучи. Это — непогода. В такие ночи хорошо ловить омаров. Но теперь время сардинки. Надо торопиться: скоро она уйдет от этих берегов.

Парусник сверкает добычей. Муж Марии снял с себя клеенчатые штаны и сжал ладонку: это святой Геноле, покровитель рыбаков. Повезло! Здесь будет все сто килограммов...

Получив телеграмму, Рике тотчас побежал на пристань. Он злился: в Париже всегда что-нибудь придумают! А кому придется разговаривать с рыбаками? Хорошо еще, что жандармы не уехали в Кемпер. Кто их поймет, этих рыбаков!.. Рике холост и одинок. Для парижан Бретань — приятные каникулы, для Рике — это несчастье. Здесь не с кем даже поиграть в шашки! Рыба да рыба. Жалованье маленькое. Вот купил патефон, а на пластинки нехватает. Приходится слушать одну и ту же арию из «Тоски».

Рике поспел как раз во-время: конторщик уже взвешивал рыбу.

— На сегодня хватит!

Рыбаки растеряны. Просьбы, угрозы. Но Рике непреклонен: ни одной рыбешки. Он честолюбив, этот плешивый человек, страдающий хроническим насморком и хронической меланхолией. Он ничего не говорит о телеграмме: здесь он господин. Злобно смотрит Мария на его птичий нос, гордо поднятый к небу.

Что же делать с сардинкой? Не в воду кидать! В Одьерне имеется фабрика, не подвластная г. Дюрану. Говорят, что там покупают рыбу по низкой цене. До Одьерна три часа. Но в дело вмешивается ветер. Он описывает круги, просвистывая: нет-с! До Одьерна может быть и смерть. А мальчонок?.. А Мария?.. Будь что будет! Вывезет ладонка, судьба, чорт!

Как птица, не нашедшая себе приюта, парусник снова распустил паруса.

Он еще был виден с берега, когда начался шторм. Мария собирала щепки. Вдруг ветер швырнул в ее глаза горсть песка. Она сразу поняла все. Она понеслась к пристани. Рыбаки попробовали было спустить лодку, но ее тотчас выбросило на берег.

Волна присела и взметнулась, как зверь...

Г-н Дюран сейчас принимает ванну. Вода мелодично поет в кране. Фаянс, белый, как добродетель, приятно отсвечивает. От нежности г. Дюран закрыл глаза. Он, кажется, дремлет. Он плавает в море. Кругом крохотные рыбки. Потом они растут, как в детской сказке. Это левиафаны... Нет, это обыкновенные сардинки. Забастовка кончилась. Теперь все в порядке. Почему только у этих рыбин такие противные глаза — большие и неподвижные? Ага, он понял: рыбы не моргают, поэтому и глаза у них без выражения. Поет вода, посвечивает фаянс. Гладя свои ляжки, г. Дюран не спит и не бодрствует, он постепенно замирает, готовясь к длинной ночи.

Как начался бунт? Кто первый сорвал с мачты фонарик, закричав: «На фабрику!»? Откуда появились камни и воля? Зловеще метались высокие митры. Красные блузы проступали в темноте, как кровь. Волны людей бились в ворота фабрики.

— Смерть!..

Только Рике ни о чем не подозревает. Сняв ботинки, в заштопанных грубых носках он слушает жалобы «Тоски».

Камень. Осколки стекла. Рике мечется. Эти идиоты в Париже ничего не понимают! Они его погубили! А он так хочет жить...

Он надел один ботинок и прыгает по комнате, как аист. Перед ним револьвер. Но он нацепляет на палку носовой платок. Все что угодно, только жить!..

Рев. Гул. Ветер. Море. Потом топот: жандармы. Рике спасен. Фабрика спасена. Рыбаки?.. Но рыбаков в Бретани чересчур много — как чересчур много сардинки.

Турист злобно смотрит на коробку шоколада: это не каникулы, это безобразье!

На следующее утро все было весьма обыкновенно: купались дачники, в котлах кипятилась сардинка. Рике покрикивал. От пристани до ворот фабрики тянулась

цепь женщин с корзинами. Вместо Марии стояла другая. Следователь допрашивал арестованных. Грузовики везли ящики с консервами на станцию. Метрдотели во всех частях света пришептывали: «Не угодно ли сардиночку?..»

Г-н Дюран угощает одного из своих финансистов завтраком в ресторане Файо. Официант подносит сардинки, г. Дюран брезгливо отмахивается: нет, нет, только не это!.. Конечно, ему все равно, с кем водятся сардинки: это их дело. Утопленниками можно пугать только ребят, да и то не всех: дети г. Дюрана ничего на свете не боятся, кроме папаши, который, рассердившись, грозит подарить им на рождество вместо игрушечного автомобиля бутыль касторки. Нет, просто г. Дюран не любит сардинок.

1927

СПИЧКИ

1. СКАЗКА АНДЕРСЕНА

Ивар Крейгер идет по Курфюрстендаму. Он высок, светел и нежен, как березка Далекарлии. Завидев его, все улыбаются: и молоденькие приказчицы, и немощные, чересчур трогательные фиалки — этот человек создан для любви, светлой и нежной. Завидев его, благодушно помахивают фокстерьеры своими обрубленными хвостами, а полицейские белыми перчатками. Собаки думают: у него, наверное, в кармане сахар, полицейские: это скорей всего киноактер, он играет благородных «бобби». Завидев его, начинают лирически позванивать колокола Гедехнискирхе, дурацкой кирки, поставленной среди кабаков и модных лавок, чтобы придать вкус приятной тленности всему: тем же фиалкам, дамским бедрам, даже шницелю. Колокола, и те, завидев Крейгера, выводят аллилуйю.

Крейгер смущенно улыбается; улыбка эта пристала бы скорее школьнику, а Крейгеру за сорок. Он улыбается миру, — ведь мир принадлежит ему. Позавчера перед ним плакал министр Румынии. Он говорил о нефти, о кознях либералов, о своей больной жене. У него были щеки, сырые, как кладбищенская глина. Крейгер мог бы его добить. Румыния теперь лежит хрустящей пачкой в портфеле. Сегодня утром Крейгер отправил кабель в Лиму. Он продиктовал условия. Для простодушного «сеньора» — это короткое сообщение на шестой или на шестнадцатой

странице, обыкновенная операция: какой-то европеец дал взаймы, а получил в залог не копи, не землю, но нечто малопонятное: «монополию». Крейгер, однако, знает: империя инков — его, хотя он там никогда не был, хотя он не выносит ни ананасов, ни жары, ни попугаев.

Спросите биржевика, что за штука этот Крейгер, биржевик начнет отщелкивать: спичечный трест, руда Кируны, банки, дома, телефонные компании, множество имен и цифр. На первом месте, однако, спички, хотя спички — явный вздор, хотя ради спички никто с места не двинется. Вот уж на что все плюют! Голодранец, и тот преподнесет вам коробок. Самая мелкая из всех медяшек. Для Крейгера, однако, спички это миллионы, трепет биржи, стыдливый сон о новой империи.

Когда Ивар был маленьким, он строил город из пустых коробок: кондитерские, дворец, крепость. Пушки басили. Иней на стеклах рассказывал другим, обыкновенным детям вздорные сказки: о звездах, о страусах, о колдунах. За стеклами кутались в морозный пар желтые фонари. Редкие прохожие, бюргеры достопочтенного Кольмара, толковали о боге, о насморке, о жизни. Где-то, среди рождественских сугробов, девочка Андерсена, замерзая, жгла за спичкой спичку. Мир был путаным и нежным, как метель. Ивар знал, что у отца маленькая фабрика, на ней делают спички; он знал, что «спички не бриллианты», надо это помнить, не ерзать на коленках — штанишки продерутся...

От мечтаний Карла XII остались статуя на одной из площадей Стокгольма, главы учебника — мытарство детворы, да, пожалуй, воинственные бравады капитанов в отставке за бутылкой пунша. Новый век кичится не военными трофеями, но цифрами годовых балансов. Дело короля-романтика осуществляет чрезвычайно скромный человек, в обыкновенном пиджаке, без шпаги, даже без одописца. Он беседовал с Пуанкаре о спасении франка и о блеске латинской культуры; представителям немецких рабочих он объяснял, как надлежит бороться с безработицей; в Москве он упоминал о кредитах, которые могут помочь индустриализации Советского Союза. Этот человек торгует самым дешевым, самым ничтожным товаром:

спичками. Год за годом, страна за страною он умело прикарманивает мир.

Швеция. Зима. Он идет по улице. Сквозь покрытое инеем окно на него смотрят ребята. Старший говорит:

— Это Крейгер...

Дети притихают. Увидев приплюснутый нос девочки, Крейгер дружески улыбается. Интересно, о чем теперь мечтают дети?.. Все еще о девочке Андерсена? Или о Карле XII? Или о Рокфеллере? Кто их знает!.. То, о чем он мечтал, готово сбыться. Вот только в одном он ошибся. Крейгер громко смеется на пустынной улице, среди снега. Ну да, он делает не бриллианты, а спички! Это куда занятней!..

2. МИР И ОСИНА

Министры разных государств это те же спичечники, только более жадные и более продувные. На счастье, ни у кого нет денег: все передрались, расколотили что только могли, обносились, отощали, а теперь, горделиво подбоченясь, клянчат милостыню. Деньги в Америке. Крейгер хорошо знает грязную узенькую уличку, которую зовут «Уолл-стрит», и люди Уолл-стрита хорошо знают Крейгера. Они верят в звезду молодого шведа. Европейцы — или болтуны, или прохвосты. Они говорят пространно о культуре, а долгов не отдают. Другое дело Крейгер — это толковый малый. Какой понимающий американец выложит хоть доллар румыну или поляку? Крейгеру? Пожалуйста, и притом за скромные проценты. Съездив в Нью-Йорк, Крейгер может разговаривать с Варшавой.

Пан-министр, усатый и сентиментальный, сначала задается. Все наладилось. Добыча угля растет. А цинк? Здесь Польша на первом месте. После короткого кризиса лодзинские текстильщики завоевали Балканы...

— Стоит только взглянуть на улицы Варшавы, чтобы заметить подлинное оздоровление...

Крейгер не смотрит на улицу. Он знает цифры бюджета. Он не мешает хвастливому министру поговорить всласть. Пан-министр давно уже с лодзинского перкаля перешел на мировую политику:

— Мы являемся единственным барьером... Советы — в клетке... Наш воздушный флот за последние два года...

Он знает, что Крейгер не договорился с русскими. Пусть тогда содержит поляков: такова мораль географии!..

Беспечно улыбаясь, министр касается финансов: злот непоколебим, как доллар. Польша может обойтись без иностранных капиталов...

Здесь Крейгер, сглотнув зевок, добродушно говорит:

— Я могу вам дать пять миллионов долларов. Возможно, шесть. Но не больше.

Пауза. Пан-министр тяжело дышит, кончики его усов дрожат, папироса потухла. Крейгер вынимает из жилетного кармана зажигалку, — в личном обиходе он не признает спичек:

— Пожалуйста... Итак, при благоприятных условиях— шесть. За это вы мне предоставляете...

Вечером в салоне пани В. министр, целуя ручки дам, самодовольно сияет. Пани В. спрашивает гостя:

— Когда же вы мне представите этого шведа? Я слыхала, что он очень красив и к тому же не глуп.

— В мужской красоте я мало что смыслю. Конечно, Крейгер не глуп, но простоват, я сказал бы, наивен...

Несколько дней спустя по улицам Варшавы шмыгали полицейские, усатые и сентиментальные, как пан-министр. Они поспешно отбирали у мальчишек вечернюю газету. Какой-то оголтелый журналист написал: «Мы отданы на двадцать лет в кабалу Крейгеру. Наш министр даже не потрудился...»

Министра особенно задели эти слова: «не потрудился...» Нахал! Разве он знает? Я торговался из-за каждого года, как баба на базаре. Но что же можно поделать с этим шведом? Он хитер, как чорт. И потом, это главное — вы слышите меня, господин писака? — у него деньги, и не злоты, а доллары...

За Польшей последовали Югославия, Австрия, Венгрия, Чили, десяток государств. С Францией Крейгеру пришлось повозиться. Только-только завел он беседу по сердцам с Пуанкаре, как подоспели выборы. Болтуны кричали о свободе, они даже заверяли (правда, вполголоса), что они «прямые внуки якобинцев». Пуанкаре пал.

Пал и франк. «Внуки» притихли; они призвали на выручку Пуанкаре. Крейгер возобновил прерванный на полуслове душевный разговор. Он одолел и Францию.

Остаются две страны. Во-первых — Аргентина. Откуда такое своеволие? Уж не собираются ли сутенеры Буэнос-Айреса свергнуть Ивара Первого?.. Нет, это просто дело вкуса: аргентинцы признают исключительно восковые спички. Они закупают в Гамбурге томных евреек из Лодзи, они танцуют танго, они пишут изысканные стихи в стиле парижских сюрреалистов, — это завзятые эстеты. Им нравится воск. Крейгер смеется — он проживет и без Аргентины...

Это одна страна. А другая?..

Крейгер больше не смеется. Он хмур и молчалив. Кого вспоминает он сейчас: старых своих героев — Карла XII, Бонапарта — или, может быть, сэра Генри Детердинга? Шестая часть света! Да, это не Аргентина! Однако разве мало ему пяти шестых? Россия?.. Россию можно и вычеркнуть. Но как быть с осиной?..

Далеко от Крейгера, в крохотной деревушке Полесья, старая бабка рассказывает своему внучонку:

— Осина-то проклятая дрожит, стыдно ей, на ней Иуда удавился, взял деньги, а потом затосковал и удавился, а удавился он на осине, вот и дрожать ей до самого скончания...

Крейгер многое знает, он куда умней бабки, но на каком дереве повесился Иуда — этого он не знает. Повесился? Зачем? Взял деньги и повесился? Вздор! Осина — дерево. Из осины делают спички. Осина — в России. Значит нужно или изобрести поддельную осину или взять себе Россию. Он не ботаник. Он в душе полководец, а по профессии финансист. Что же, он попробует заполучить Россию!

Он побывал в Москве. Отель «Националь». Какие-то расстегаи.

— Я мог бы вам предложить...

Русский как будто и не расслышал заманчивого предложения. Он вежливо улыбнулся и сказал:

— Не хотите ли вечером посмотреть балет?

Крейгер усмехнулся: у русского про запас имелось коротенькое слово — «осина».

Он уехал из Москвы с пустыми руками: ни монополии экспорта, ни сырья. Он злился: надо им показать, что такое Крейгер! Спички это, товарищи, не нефть! Там вы посмеиваетесь, глядя, как Детердинг дерется с американцами. Здесь я — самодержец. Живите, как знаете. Мне нужно только одно...

Крейгер смотрит в окно вагона. Леса, леса... Он вздрагивает: ну да, конечно... Вдоль колеи, унылый, дрожит осинник. Заспанная баба машет флажком. Нахмурясь, Крейгер опускает штору.

3. ВОЙНА

Это не аллегория, не зажигательные прокламации Коминтерна, это обыкновенные спички из настоящей осины. В Москве они называются грозно: «Ультиматум», и на коробке изображен кулак. Для экспорта их одаривают более деликатными именами: «Феникс» или «Прометей». Суть, впрочем, не в именах, а в цене: эти спички дешевле крейгеровских. Вот она, козырная карта! Легко Крейгеру забить какого-нибудь швейцарского или бельгийского фабриканта, но здесь перед ним государство.

Одна из первых битв дана была в Греции. Во дворце сидел Пангалос, охраняемый опереточными часовыми. Греки в своих «кофейонах» жевали тягучий рахат-лукум и горячились, обсуждая мировую политику. В это время агенты Крейгера — их вернее назвать трогательными миссионерами — просвещали душу Пангалоса. Они доказывали ему, сколь горька, да и мимолетна греческая коринка по сравнению со шведскими кронами. Советские спички стоили дешевле; несмотря на все козни треста, они выдержали соответствующие испытания. Но миссионеры трудились недаром: Пангалос закурил одну из своих последних диктаторских папиросок крейгеровской спичкой. Вскоре его перевели из дворца в тюрьму. Договор, однако, был подписан.

Москва не унывала. Вскоре в Египте появились кокетливые коробочки с пирамидами. Крейгер в раздражении отбросил прочь коробок: он знает, откуда эти пирамиды! Русские спички укрепились в Турции. Они начали проби-

раться в Марокко. В центральной Америке запестрели желтые коробочки с маркой «СССР».

Крейгер приглашает к себе сотрудника газеты «Таймс». Он готов раскрыть ему свою тайну: молодой шведский инженер недавно изобрел новый способ обработки дерева, позволяющий спичечной индустрии Европы освободиться от восточных влияний. Дерево, обработанное по этому способу, не ломается и превосходно горит, побивая на испытаниях осину.

Все газеты мира писали о новом изобретении. Один французский радикал, сообщив на банкете о шведском трюке, воскликнул: «Так человеческий гений побеждает варварство большевиков!..» В Двинске некто Соловейчик, продававший крейгеровскому агенту осину, узнав об открытии, заболел острой неврастенией.

Крейгер удвоил энергию. Он столкнулся с русскими на торгах в Тунисе. Дело шло о поставке двадцати миллионов ящиков. Крейгер выступал, как триипостасное божество: он был и шведом, и итальянцем, и бельгийцем. Он шел на все. Швед и бельгиец, услышав предложения Москвы, отступились. Тогда Крейгер, третий, тот, что итальянец, назвал безусловно низкую цену. В убыток? Пусть! Крейгер согласен разориться, лишь бы добить врага.

Он получил Тунис. Он улыбнулся, как ребенок. В тот же вечер он узнал о новой атаке Москвы: русские спички захватили Боливию. Страна Боливия не бог весть какая, но здесь важен почин.

Увы, инженер ничего не изобрел, инженер сам изобретен Крейгером. Однако у Крейгера тополь; это не осина, но это добротное дерево. За качество ему опасаться нечего, у русских плохая обмазка. Другое дело — цена. В Англии их спички вдвое дешевле крейгеровских. Надо с этим покончить!..

Враги не угомонились. Они пробрались в Англию. Они пробуют вытеснить Крейгера из Дании. Они прокрадываются даже в Швецию, — да, да, они пытаются подсунуть чистокровным шведам, землякам Ивара Крейгера, свои советские спички! Дальше итти некуда! Настало время завершить покорение Германии. Еще в годы инфляции Крейгер за бесценок скупил две трети немецких фабрик. Все было бы хорошо, если бы не эти русские... Россия дол-

жна продавать Крейгеру осину. Вместо этого она продает немцам спички. Крейгер выходит из себя. Он грозится: «Я сумею ответить! Ваша спичечная колония — это Персия. Что же, я вас выживу из Персии. Я не пропустил вас в Тунис. Вы пробуете пробраться в Египет. Я выбью вас из Египта. Вы все еще настаиваете? Вы хотите разбить меня в Германии? Не лучше ли потолковать на досуге?.. Главное — это калькуляция!»

Крейгер любит считать. Он считает хорошо и быстро. Никогда он не откладывает решения. Столько-то миллионов крон, столько-то лет, такие-то условия. Не прошло и четверти часа, как он отвечает: «Пункт А — согласен, пункт Б — ни в коем случае, пункт В — понизить на одиннадцать миллионов». Почему же не на десять и не на двенадцать? Крейгер все взвесил, все подсчитал до мельчайшей детали. В быстроте и в точности его сила.

Он предлагает: откажитесь от конкуренции в Германии. Мне — осину. Вам — заем. Мне — проценты. Мне — держава. Вам — жизнь... Строптивая страна упирается. Тогда Крейгер начинает обхаживать Германию. Он заговаривает министров, заводчиков, политиков. Социал-демократы в благородном негодовании пишут: «Только высокие пошлины могут спасти нашу спичечную промышленность и предотвратить рост безработицы». Разве вы не знаете, что Крейгер — традиционный защитник пролетариата? Ликвидируя убыточные предприятия, он выдает работницам, даже престарелым, приличное приданое. Конечно, Мюллер социалист, но он боится безработицы. Ничего не поделаешь — он за Крейгера. Говорят, что спички подорожают. Но ведь все дорого, а спички — это мелочь, тем паче розничные цены почти не меняются: разница застревает в карманах посредников. А Венгрия? Там после победы Крейгера спички вздорожали втрое. Что же, посмотрим... Как-никак при Крейгере расцветет национальная промышленность. Борьба с безработицей — долг каждого честного бюргера. Журналисты трудятся во-всю: ведь это совестливые немецкие журналисты. Они не отдаются подобно их латинским собратьям на час или на два кому только вздумается — румынскому шулеру, опереточной диве или фабриканту «крема молодости» — за несколько сотенных, за отменный завтрак, за один лаконический

жест, за руку, поднесенную к чековой книжке. Нет, немецкие журналисты — пример добродетели; они идут на содержание только к солидным людям. Крейгер никогда не подкупает: он покупает. Так целые страны превращаются в домашнее хозяйство, а независимая пресса — в птичий двор.

Крейгер не тщеславен: ни интервью, ни фотографий. Подготовка закончена. Так называемое «общественное мнение» уже проставлено крупной цифрой в графе расходов. Крейгер теперь разговаривает с министром финансов: «Пункт А — монополия мне, пункт Б — пятьсот миллионов вам». Дыхание в такие минуты теряет привычный свой ритм. Сигара господина министра, немецкая национальная сигара, погасла. Швед вежливо подносит господину министру национальную немецкую спичку, изготовленную на одной из фабрик Ивара Крейгера.

4. ЛИРИЧЕСКОЕ ИНТЕРМЕЦЦО

Леса Швеции — это спички, крохотные коробочки, желтые, синие или красные, с пароходами, с гербами, с пламенем: «Соло», «Гелиос», «Аврора». Во всех подворотнях мира беспризорные дети, инвалиды, слепые, хромые, жалкий брак природы, или же герои отечества с проблематической пенсией, в дождливые темные вечера жалобно выкрикивают: «Спички, шведские спички!» Это сказка Андерсена и это будни человечества: итальянка зажигает нищую жаровню, варшавские евреи — субботние свечи, истопник отеля «Виктория» — гигантскую печь, а Ивар Крейгер — египетскую папиросу. Спичка горит несколько секунд. Об ее краткой жизни любят взволнованно говорить лирические поэты. Что касается Крейгера, то он дает миру спички, а мир — мир берет себе.

Итак, он идет по Курфюрстендаму, и все ему улыбаются: ведь люди, которые здесь прогуливаются, заведомо праздны. Да и час такой: банки уже закрылись, а проститутки еще не вышли на работу. Только продавцы спичек суетятся; они вносят некоторое разнообразие в эту толпу. Вот идет слепой, он идет прямо, тихо постукивая железной палкой о тротуар. Его глаза, синевато-молочные, жестоки,

никто в них не смеет заглянуть. Он проходит среди барынек и фоксов, как напоминание: не то библейская страница, не то скверный сон, из тех, что снятся после званого ужина. Впрочем, он не душит и не твердит о близком возмездии, он только горестно покрикивает:

— Спички! Купите спички!

Вот в подворотне — ком мяса. Вместо ног — короткие культяпки. Кто его так забавно обстрогал: мать-природа или рвение фельдмаршала? Он гнусавит:

— Спички! Купите спички!

Потом безрукий: спички на коленях. Потом немой, этот только многозначительно мычит. Старуха, вся трухлявая, готовая рассыпаться: «Купите!..» Паршивые ребята, с глазами гнойными и ангелическими, с рябью экземы, с золотым детством и с золотухой: «Спички!..» Это — бесовская орда; она снует, корчится, кряхтит, скрежещет; среди собольих манто и «Рольс-Ройсов» она пахнет тряпьем, койками, мочой, чесоткой; она полна звериного отчаянья, она вышла из тюрем и поджидает места на городском кладбище, она уже окружена кишением червей, она, однако, еще жива; она сует несчастные коробки: «спички! ради бога! не ел два дня! четверо ребят! отняли ноги! кинусь в Шпрее! спасите! коробочку! одну! спички! спички!..»

Крейгер невольно прислушивается: его как будто окликают по имени: ведь он и спички — это одно. Он задумался: нелепая судьба! Он связан с этими калеками; как они, он жив только спичками. Они и он. Все остальные равнодушны: что им спички? У них зажигалки. Или кухарка покупает утром пачку: на пфенниг меньше, на пфенниг больше, что это по сравнению с маслом или сахаром? Лавочник, снисходительно усмехаясь, кладет в кошель еще один пакетик, самый ничтожный, — конечно, без спичек не обойдешься, но разве это товар? Какие спички? Да самые обыкновенные — не все ли равно какие, немецкие или русские, лишь бы зажигались. Вот поглядите: толстый господин долго выбирает сигару, он любит форму «корона» и светлобежевый тон — полегче, из суматрского табака, у него ведь слабое сердце; но, конечно, чтобы была ароматична... Приказчик, низко кланяясь, дает впридачу коробку спичек. Толстяк рассеянно сует спички в карман. Приказчик торгует сигарами, толстяк арифмометрами. Это

подлинные вещи. А спички — милостыня, чтобы отделаться от гнусавых всхлипываний, чтобы расплатиться за свое спокойствие перед всевышним и людьми. Так для всех... Но для того безногого, что валяется на тротуаре, — Крейгер чуть было на него не наступил, — для безногого спички — жизнь: работа, надежда, обед, ночлег. Как для Крейгера...

Впрочем, скоро он выметет всю эту нечисть! При монополии им придется оставить спички. Пусть продают шнурки для ботинок! Спички — понятие высокое, им не место на улице, спички следует продавать в аптеке. А нищие либо приспособятся, либо умрут. Сентиментальные особы не преминут потолковать о бессердечности голубоглазого шведа. Примитесь-ка за устройство мира!.. Все страдают, даже спичке больно. В Чили Крейгер, получив монополию, прикрыл все спичечные фабрики. Рабочих — на улицу. (Интересно, кстати, имеются ли там улицы, как эта?) Что делать, он несет людям порядок. Люди не могут быть счастливы; счастье — свинство. Вот он, Крейгер, — разве он счастлив? Конечно, работой он доволен, сегодня, например, он прижмет к стенке немцев. Конечно, приятно проснуться утром, когда на дворе солнце, или произвести безошибочную калькуляцию. Но разве это счастье? Счастье — низость. Отстаньте, расступитесь, призраки! Крейгер светел, Крейгер — разум. Крейгер не гуляет, он идет.

— Спички! Купите спички!..

Проклятые, не отстают! Крейгер старается не глядеть на их убожество, однако одна рука, особенно назойливая, вьется перед его глазами. Это преступное любопытство, связанное с самомучительством. Рука старика, который все еще надеется всучить сердобольному господину коробок, заживо гниет, она сочится... Крейгер приостановился. Он пробует вздохнуть как следует, глубоко, до конца, но дыханья нет, сердце бьется, он теперь чувствует свое сердце. Рядом с ним не человек, а труп, да, обыкновенный труп, в шесть часов пополудни, на людном Курфюрстендаме, и вот труп сует ему спички: «Хорошие!.. Шведские!..» Крейгер растерян. Он ничего больше не соображает. Так сказываются вдруг восемнадцать лет: скупка фабрик, торги, переговоры, осина, — словом, все то, что, создавая видимость бытия, начисто съедает человека.

Следовало бы прикрикнуть на попрошайку; вместо этого Крейгер не только дает монету, но зачем-то берет из трупной руки коробок. Нельзя даже сказать, что он задумался, нет, он ни о чем не думает. Он шагает машинально. Только улыбка сохранилась; этой улыбке уже пять минут. Она родилась при мысли о беседе с немцами, он о ней позабыл. Таким образом, Крейгера нет; прогуливается пристойно улыбающийся манекен, что, впрочем, никого здесь не озадачивает, никто в точности не знает, где кончается воск витрин и где начинается мясо, — возможно, тоже гнилое, но тщательно припудренное.

Крейгер остановился у подъезда. Он зажигает спичку. Очевидно, он должен был закурить, но рука не достала своевременно портсигара. Как завороженный, смотрит он на пламя: дерево сначала сопротивляется, огонек, который задорно вспыхнул, колеблется, не знает, гореть ему или нет, потом входит в силу, дерево сдается, нежно стонет, огонь, присвистывая, сглатывает дерево, и вот уже нет больше ни огня, ни спички. Крейгер с жадностью, с непонятным ему самому удовлетворением смотрит. Конечно, драма длится недолго; сколько же может гореть спичка, даже заслоненная ладонью?.. Огонек чуть обжигает палец. Крейгер как бы просыпается. Вместо улыбки на его лице гримаса, он раздосадован. Трупы надо хоронить. Или еще лучше сжигать. Какое чудесное изобретение — огонь! Да, Прометей кое-что придумал... Во всяком случае общаться с трупами нельзя. Это противно и заразительно. А хорошо горит!.. Уже по-деловому озабоченный, зажигает Крейгер вторую спичку. Хоть тополь, но ничуть не хуже осины. За будущее можно не опасаться!

Уверенно и стойко Крейгер продолжает свой путь. Сегодня он боролся не с Москвой, но со смертью, и, как всегда, победил он.

5. НАСЛЕДНИК КАРЛА

Родиться в маленькой стране — какое это несчастье для гениального поэта! Стихи — не биржевые курсы, с трудом они переползают через границу. Поэзия умирает вместе с национальными костюмами, с той мудростью едва

объяснимых деталей, которыми справедливо гордится любой даже крохотный народ. Зато универсальна романтика биржи, контрольных пакетов, заводов, консорциумов. Для нее нет рубежей. Здесь первые роли сплошь да рядом выпадают провинциалам, уроженцам тех стран, которые только в угоду райку приглашаются на парады Лиги наций. Что означает греческий посланник в Париже или Лондоне? Один дипломатический обед в год и опостылевшие просьбы об очередном займе. Но не только по речам Ллойд-Джорджа или по резолюциям французских радикалов будут историки изучать бурную жизнь Западной Европы первой четверти нашего века, — не раз они натолкнутся на грека Базиля Захарова. Роль Питта русской революции с правом сможет оспаривать у Чемберлена голландец Детердинг, хотя он не дипломат, а торговец нефтью. Американские легионеры положили на могилу неизвестного солдата венок в сто долларов, а нью-йоркский муниципалитет попотчевал Макдональда первосортным обедом. Но вряд ли кому-нибудь из европейцев с большей легкостью удалось приручить к себе дикий, как бизон в прерии или как губернатор Фуллер, Уолл-стрит, нежели полуанонимному шведу.

У немца, у англичанина, у француза свои поместительные дома, не так-то просто им управиться с хозяйством. Самые просвещенные заглядывают в щелку к соседу: кое-что высмеять, кое-что перенять. Но скажите, что делать дома голландцу или шведу? Их первый разумный шаг — это открыть дверь. Тогда нет удержу — не менять же маленькое государство на большее! Они растут в пренебрежении к границам. Происходит отбор: те, что поприземистей, остаются у себя дома, — захолустные пасторы, нотариусы или лавочники, — а смельчаки становятся гражданами своего времени.

До воцарения Крейгера финансовая знать Швеции жила замкнуто и уютно. Она жаждала как можно скорее выродиться, чтобы и в этом не отстать от подлинной аристократии. Здесь были ужины при свечах и коллекции старых монет, геральдические деревья, заказываемые изысканному жулику, тосты за победу шведского оружия, погоня за титулами, вист с раздражительным королем, даже охота на воображаемых фазанов. Богатство сопрово-

ждалось не только подагрой, но настоящим душевным надрывом. Один из самых крупных банкиров Стокгольма недавно приобрел склеп для погребения. Каждое утро ходит он на кладбище, чтобы всласть налюбоваться на последнюю свою недвижимость. Это не случайная прихоть самодура, это справка о возрасте Швеции.

Крейгер, однако, молод. Он не аскет и не мот. Он может беседовать о современной живописи или о Фрейде, но вдохновляет его лишь одно: цифры. Как поэт нападает на внезапные ассоциации, так Крейгер между двумя глотками вина, между двумя обязательными улыбками создает трест в Боливии или подставной синдикат для закупки швейцарских фабрик. Он приверженец ультрасовременной дипломатии: для дела секретные договоры, для общественного мнения — карты на стол, дешевые спички, всеобщее благоденствие, — словом, не спичечная империя, но очередная услуга измученному человечеству. Однако филистерством он не грешит. Это не Форд. Он не допускает ни религиозного шутовства заатлантических мормонов, ни их филантропического скопидомства. Правда, он склонен верить в свою миссию, но у него это не самовозвеличение, а фатализм: «Я, Ивар Крейгер, мечтаю об одном — о расширении моих дел. Сейчас в руках треста восемьдесят процентов мировой продукции, я хочу, чтобы были все сто. Мое честолюбие, моя жадность совпадают с благом человечества. Я застал спичечную промышленность в хаосе, я привел ее в порядок. Я, разумеется, эгоист, но мой эгоизм — подлинное служение человечеству».

6. БЕЛАЯ НОЧЬ

Небо не небо, вода не вода, все светится, все дымится, все нежно розовеет, и как понять, вечер это или утро? Вскрикивают задумчивые чайки, бог весть чем обольщенные. Который уж век пытаются разобраться в этом недоразумении гранитные глыбы дворцов. Вот и человек пригорюнился, высокий, стройный, точь-в-точь со старой гравюры; он стоит на набережной канала. Это не утро, не вечер, это прославленная белая ночь столицы полунощной страны — Стокгольма; да и человек, нами подмеченный,

не влюбленный юнец, не герой Сельмы Лагерлеф, — это Ивар Крейгер. Он уже закончил дело с рудой. Он успел даже где-то по дороге, на одном из пароходов, заняться боливийским висмутом. Сюда его привели спички; так что и раздумье на набережной мы должны рассматривать как очередной подвох Москвы, которая ищет новых рынков. Но все же Крейгер сейчас не думает о спичках. Он якобы отсутствует, и его розовеющая тень — только неотъемлемая часть ландшафта, как дворец или чайки. Он радуется всякий раз, когда дела заносят его на эту угрюмую окраину Европы. Здесь все ему понятно: чистота воздуха, долгота пауз, строгость движений. Вот таким должен быть мир: гранитным и розовым!

Потом свет белеет, теряя свою недавнюю двусмысленность: уточняется город; ясно теперь, что вот в том доме торгуют сепараторами, что чайкам нужна рыбешка, что все вместе это такой-то час, следовательно пора спать, — завтра рабочий день. Невольно Крейгер переходит на спички. Сначала он вспоминает висмут. Итак, правительство Боливии в его руках. Следует отобрать у русских монополию. Это — хороший урок. Дальше, как можно в английские колонии допускать агентов Москвы?.. Под видом торговли они занимаются пропагандой...

Обдумывая газетную кампанию, он молодцевато шагает.

7. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ КОНЕЦ

Далеко от Парижа шумят леса Сельмы Лагерлеф. Это сказка для туристов, и это воскресный отдых шведского рабочего. Если прилечь в лесу, — высоко небо, пахнет сырая земля, и вечен, непреложен гул ветвей: этот органист никогда не меняет нот. Подождите, господа деревья! Здесь требуется другой вариант все той же темы. Вы переходите в спички, в цифры, в огромную бессонницу господина Ивара Крейгера.

По рекам плывут бревна, скрежещут лесопилки, пыхтят суда. Что остановит Крейгера? Осина?.. Нет, если он превратил себя, обыкновенного провинциала, сына консула, — в короля спичек, то он сможет превратить любое дерево в заповедную осину. А вдруг пропадут спички,

вдруг науке надоест и она поднесет новое изобретение — хватит, мол, допотопных коробочек? Ведь искра Прометея не обязательно шведские спички. Вдруг трест Крейгера станет смешным, как трут и огниво? Что же, изобретателя можно купить, можно объявить его помешанным, можно, наконец, прибегнуть к калькуляции: новый патент столько-то лет, столько-то миллионов... Крейгер ведь только начал со спичек. Это его юность и его титул. Но у него заводы, у него рудники, он выделывает телефоны и шарикоподшипники, он хозяин кирунской руды и бумаги, у него копи в Алжире, у него банки в Париже, в Варшаве, в Бостоне. Со спичек он начал. Чем он кончит?.. Журналисты отвечают: организацией производства, победой, империей разума. А деревья, те, что шумят день и ночь, еще не срубленные деревья угрюмых шведских лесов, деревья знают свое: рождаемся, цветем, умираем...

Когда Крейгер умрет, его тело отправят из Парижа в Швецию. На вокзал соберутся представители правительства, послы различных держав, сенаторы, финансисты, — словом, все, что имеется в Париже самого веского и блистательного. Многие будут сморкаться: осенний дождь, ни на час не перестающий, будет тому виной. Все степенно изобразят горе. Потом все разойдутся.

Гроб в вагоне будет трястись, лишая даже иллюзии покоя. Никто не станет горевать, и никто, разумеется, не заплачет.

Некрологи напечатают во всех газетах мира, и все потребители спичек увидят худое энергичное лицо. На фотографиях Крейгер, понятное дело, будет улыбаться. Эта посмертная улыбка никого не озадачит: спички не могут ни подешеветь, ни подорожать. Другое дело акции... Впрочем, и акционеры не встревожатся, — в газетах будет напечатано краткое, но внушительное сообщение: «Кончина г. Ивара Крейгера никак не отразится на делах «Спичечного треста».

В Париже все еще льет ноябрьский дождь, и под дождем живые отдают визиты мертвым. На один день кладбища стали клубами. Мокрая глина, бисерные веночки, креп, слезы, насморк, грипп. Все здесь мешается: грязь и горе, жизнь и смерть.

Крейгера больше нет, и, однако, Крейгер продолжает существовать, он живет в любом коробке спичек, он живет в акциях, в сутолоке биржи, в толках о конференциях и в таинственной тьме лапландских шахт. Ничто не переменилось. Крейгер ли бессмертен? Или была его жизнь выдуманной и призрачной? Кто ответит на эти вопросы? Кто поймет тайну сорока семи лет жизни и одного сырого дождливого дня?..

1930

8. ПОДЛИННЫЙ КОНЕЦ

В 1930 году советский писатель Илья Эренбург написал роман «Единый фронт». Это был роман о короле спичек. В 1931 году король спичек Ивар Крейгер разослал во все французские газеты загадочную статью. Он объяснял падение биржевых курсов романом советского автора. Он писал: «Большевики во что бы то ни стало решили погубить г. Ивара Крейгера». В это время он уже подделывал подписи под итальянскими облигациями и подолгу останавливался возле витрин оружейных магазинов.

Секретарь Крейгера барон Драхенфельд в книге воспоминаний пишет: «Перед самоубийством Ивар Крейгер читал роман советского писателя Ильи Эренбурга».

Задыхаясь, бегал Крейгер из одного банка в другой: он искал лазейки. Он выслушивал вежливые отказы. Он еще пробовал улыбаться своей классической улыбкой. Он слал трагические каблограммы. Волнуясь, он швырял шляпу равнодушным лакеям. Он говорил:

— Моя гибель будет началом общей катастрофы...

Банкиры и министры грустно вздыхали:

— К сожалению, обстоятельства не позволяют...

За ним по пятам ходили сыщики: Морган не дремал. Крейгер послал еще одну депешу. Он подъехал еще к одному банку. Он хотел жить. Но спичка, догорев, жгла пальцы.

Тогда он вошел в оружейный магазин. Он попросил револьвер самого большого калибра: он помнил, что он король. Он купил несколько ящиков патронов: это было

привычкой, он все покупал оптом — государства, спички, совесть, смерть. Он потратил на себя всего одну пулю, остальные он оставил наследникам.

Его похоронили с почестями. Журналисты оплакивали «невинную жертву мирового кризиса». Биржевики глотали бром. Шведский парламент объявил мораторий. Крейгер был провозглашен национальным героем и мучеником. Вскоре выяснилось, что герой и мученик — фальшивомонетчик.

«Невинную жертву» спешно переименовали в «короля жуликов». Журналисты выправляли гранки; венки еще благоухали, но опытный нос газетчиков уже угадывал другие запахи.

В сейфе Крейгера нашли поддельные облигации. На его столе стоял поддельный телефон. Когда Крейгер нажимал невидимую кнопку, телефон звонил: Крейгер вызывал Нью-Йорк или Лондон. На самом деле он никого не вызывал: телефон был игрушечным. Он блефовал перед наивными посетителями.

Почтенные господа, которым поручили ликвидировать трест Крейгера, обнаружили подделку случайно. Один из них нажал кнопку, телефон зазвонил. Почтенные господа перепугались: Ивар Крейгер звонит им с того света. Потом они поняли гениальность «короля жуликов» и горько рассмеялись. Один из них в избытке недоверия вынул коробок и зажег спичку: он боялся, что и спички поддельные. Спичка, однако, вспыхнула и сгорела.

1933

БОТИНКИ

1. ЧЕТЫРЕ БУКВЫ

«Батя» — эти четыре буквы можно увидеть повсюду: в Японии и в Дании, в Греции и в Аргентине. Однако сила Бати превосходит его славу: во многие страны, обходя таможенные рогатки, он ввозит полуфабрикат и продает свою обувь под чужим именем. Люди, которые никогда не слыхали о Бате, носят его ботинки. Он тщеславен, но умен. Он согласен быть анонимным гением.

Мировой судья Лейчестера, который одновременно является директором обувной фабрики, посвятил Бате монографию. Он пишет: «Только Муссолини может сравниться с Батей!»

Секретарь «Международного бюро труда» при Лиге наций взволнован никак не менее лейчестерского судьи: «Томас Батя — благодетель человечества». Правда, сочинение секретаря издано за счет Бати, но это может заинтересовать только издателей.

Три года назад президент Чехословацкой республики посетил Батю в его резиденции Злине. Томас Массарик приветствовал Томаса Батю: «Повсюду я вижу имя Бати. Недавно в Брно мне показали скелет мамонта. На нем значилось: «Батя». Речь президента была передана по радио. Фотографы щелкали во-всю. На следующее утро Батя разослал во все концы мира фотографию: «Президент Чехословацкой республики приветствует Батю». Он преподнес

президенту пару штиблет и тотчас телеграфировал американцам: «Президент республики носит ботинки Бати».

У Бати имеются фабрики в Германии. Над ними он вывесил флаг со свастикой. Он написал на немецких заборах: «Носите только немецкую обувь Бати». Для гитлеровцев он стал древним германцем. Для чехов он остается чешским патриотом. Во Франции он называет свою обувь «французской».

Человек, который расписался на скелете мамонта, с виду ничем не примечателен. Кулаки центральной Европы давно утратили простодушие, зато они сохранили мужицкую хитрость.

Батя — сын мелкого башмачника. Учился он плохо. За пять лет, проведенных в школе, он так и не одолел четырех правил арифметики. Но с самого раннего возраста он завел книжку сберкассы. Он тщательно копил крейцеры. Эту книжку он сохранил до сих пор и с гордостью показывает ее посетителям как свою первую поэму.

Он ездил по деревням Моравии: он торговал туфлями в разнос. Когда ему исполнилось двадцать восемь лет, он уехал в Америку. Там он работал на обувной фабрике, изучая «мораль труда». Говоря проще, он изучал, как люди делают доллары. Вернувшись в Злин, он открыл обувную мастерскую. На подмогу пришла война.

Узнав о мобилизации, Батя помчался в Вену: он боялся, что его обгонят. Он хотел получить военные поставки. Станция была далеко. Батя тревожно поглядывал на часы: он опоздает!... Но лошади его выручили. Сентиментальный Батя в своих «Воспоминаниях» не забыл поблагодарить лошадей: «Они как будто понимали, что, получив жизнь из рук человека, они должны пожертвовать собой ради него».

Батя стал обувать австро-венгерскую армию. Патриот двуединой империи, он горделиво улыбался: солдаты в его сапогах шли к победе.

Город Злин превратился в тюрьму. На фабрике Бати работали запасные и военнопленные. За мельчайший проступок Батя сажал рабочих в карцер. В эти годы его любимым изречением было: «На три дня под замок!»

Батя шел к победе. Тем временем австро-венгерская армия шла к разгрому. Когда империя рухнула, Батя не

растерялся. Он вспомнил, что он — чех и стал патриотом новой республики. Могли ли его смутить флаги или гербы?

Настал мир. Батя сказал: «Мы должны осушить слезы матерей, которые хотят видеть своих детей обутыми». Говоря это, он, разумеется, не думал о тех, которые остались на полях Галиции или Тироля: мертвые не нуждаются в обуви. Батя начал обувать живых. Через три года его производство увеличилось в десять раз. Он был башмачником. Он стал королем обуви.

2. КОРОЛЬ И КОРОЛЕВСТВО

Город Злин находится в словацкой Моравии. Это бедный и темный край. Крестьяне здесь ходят в болеро и камзолах, как оперные статисты. Они боятся и бога и чоха. Они поют старые песни, они поют их натощак. Из потерянных деревень приходят парни и девушки в дивное царство: это царство Бати. Судя по учебнику географии, Злин входит в Чехословакию. На самом деле Злин — независимое государство. Все в Злине принадлежит Бате. Батя построил ветку железной дороги. У него свой аэродром. Он провел дороги и выстроил поселки. В Злине выходят две газеты, обе принадлежат Бате. В магазинах Бати можно купить все: от автомобиля Форда до восьмушки колбасы. Ко всему Батя — бургомистр, избранный на этот пост своими верноподданными.

Батя не признает никаких профсоюзов. Рабочие должны голосовать за него. На воротах завода он написал: «Я признаю только одну организацию — мое предприятие». За принадлежность к профсоюзу Батя немедленно рассчитывает рабочего. Он презирает государство и законы об охране труда. У него своя полиция. Министр г. Чех как-то попробовал выступить против Бати, но г. Чеха тотчас уняли. Печать получает от Бати миллионы за объявления, и печать подчинена Бате. Официоз республики является в то же время официозом Бати: он охотно показывает номер «Прагер пресс», посвященный деятельности гениального сапожника.

На фабриках Бати конвейер. Один рабочий приставляет гвоздик, другой ударяет молотком. Батя торопится.

Недавно рабочий изготовлял в сутки три пары ботинок, теперь он изготовляет одиннадцать. На стенах висит плакат: «У меня нет эксплуатируемых. У меня только сотрудники». Рабочие якобы заинтересованы в прибылях. На самом деле они живут под вечным страхом убытков. Они не знают, сколько часов им придется проработать и сколько крон они получат за день. Им говорят: столько-то подошв. Они ответственны за качество кожи, которую не они выбирали. Над ними висит одно слово: «Штраф». Батя не может теперь посадить ослушника на три дня под замок, но он заставляет его три дня работать даром.

На фабриках Бати нет гудка: рабочие работают по десяти, по двенадцати, по четырнадцати часов в сутки. Иногда Батя их держит у конвейера до двух часов пополуночи. Что касается самого Бати, то он любит здоровье и ровно в десять часов вечера отправляется спать.

В договоре сказано: «Принципиально сверхурочные работы отменяются, в случае необходимости они выполняются сотрудниками в порядке одолжения и не подлежат никакой оплате».

Не удивительно, что Батя уделяет внимание кладбищу: рабочие в Злине спешат умереть, и кладбище растет еще быстрее, нежели город. Из деревень приходят новички. Батя нанимает только подростков: он молод душой и любит молодость.

При найме рабочий заполняет анкету: «Сколько денег вы собираетесь отложить за год?», «Что вы сделаете потом с этими деньгами?», «Какие события в вашей жизни вы считаете наиболее примечательными?» У каждого рабочего своя карточка, на нее заносится все: сколько рюмок сливовицы он выпил, какие он газеты читает, с какой девушкой он встречается в воскресенье.

Одна работница в праздник надела новое платье. «Специальная комиссия» Бати оценила это платье в триста крон. Работница зарабатывала пятьдесят крон в неделю. Тотчас полиция произвела обыск в комнате работницы.

Все работницы подвергаются медицинскому осмотру, как проститутки: Батя хочет, чтобы девушки выходили замуж и чтобы замужние рожали детей. Он против легко-

мыслия и абортов. Если девушка покажется на улице Злина после десяти часов вечера, ее хватают и тащат в приемный покой.

Рабочие, которым исполнилось двадцать пять лет, обязаны жениться. В противном случае их немедленно рассчитывают: Батя заботится о новой смене.

Батя добрый католик. Его жена жертвует крупные суммы на украшение церквей. Когда в Злин приехала делегация иностранных католиков, Батя заготовил пышный обед. Но на беду католики приехали в пятницу: это постный день. Батя не растерялся: он послал епископу телеграмму, он просил благочинного, чтобы тот разрешил христолюбивому Бате накормить иностранных католиков скоромным. Епископ понял интересы национального рынка и торжественно благословил гуся с кнелями.

Батя не входит ни в какую партию. Он говорит: «Я за все партии, поскольку все партии за меня». Естественно, имеется партия, которой он не терпит. Будучи бургомистром, он не дает коммунистам помещения для предвыборных собраний. Рабочие заполняют анкету: «За кого вы голосуете? Передавал ли вам кто-нибудь воззвания оппозиции?»

Рабочие не сдаются. Они издают подпольный листок «Батовак». Они ходят на тайные собрания. Батя тратит все больше и больше крон на свою полицию.

Батя ни перед чем не останавливается. Он построил фабрику в Германии. Он начал строить фабрику во Франции. Он купил землю в Англии и послал туда своих архитекторов. Он летает то в Палестину, то в Индию: в Палестине и в Индии еще имеются босые люди. В его кабинете стоит светящийся глобус, и Батя вертит глобус: это не забава — Батя ищет новые рынки. Он попробовал пробраться в СССР. Но «преступные большевики» не принесли ему ключей Москвы. Тогда он вдвойне возненавидел коммунистов: они издают гнусный «Батовак», и они не хотят носить его обувь. Когда советский писатель попросил у Бати разрешение осмотреть его фабрики, Батя ответил: «Я не показываю моих фабрик представителю враждебной державы». Этот башмачник считает себя державой; еще немного — он вступит в Лигу наций. Ненавидя СССР, он все же составляет плакаты, рекламирующие его ботинки:

«Пятилетний план Томаса Бати». Он верит в бога, еще крепче он верит в рекламу. Он говорит: «Чтобы собрать картошку, нужны не лопаты, но плакаты и газеты». Таков король двадцатого века.

3. АФОРИЗМЫ И МОЗОЛИ

Вечером Батя лежит в постели и диктует своей супруге афоризмы: этот гениальный сапожник ко всему еще гениальный мыслитель. Он покрыл своими изречениями все стены Злина. Он печатает их на конвертах, в которых выдает рабочим получку. Он выставляет сентенции в витринах своих бесчисленных лавок. Он собрал свои труды в том.

На стенах завода он написал: «Будем веселыми!», «Жизнь это не роман», «Надо работать, надо иметь цель». Вопрос о цели его особенно занимает. Он думает, что цель жизни имеется только у него: он хочет обуть весь мир в свои сапоги. У других людей нет цели: это лодыри или бараны.

На конвертиках с получкой он пишет: «Научитесь делать деньги из вашего тела». Рабочие не журналисты, перед ними Бате не к чему лицемерить.

В окнах огромного дома, который он выстроил на главной улице Праги, он выставил изречения, способные предохранить чешскую молодежь от нравственной гибели. Он поставил рядом два наиболее глубоких афоризма: «Моя обувь никогда не натирает мозолей» и «Не читайте русских романов, они вас лишают радости жизни!»

4. ТОМАС БАТЯ И ХУЛИО ХУРЕНИТО

У каждого короля своя мания: Детердинг любит курить трубку и кататься на коньках, Ситроен любит играть в карты, Дрейфус любит мебель «ампир», а Форд птичье чириканье. Батя признает в жизни одно удовольствие: судиться. Он судится с сапожниками и с редакторами, с конкурентами и с писателями. Он содержит свору адвокатов; как хорошие ищейки, они должны принюхиваться, подыс-

кивать параграфы законов и обрабатывать судейскую совесть.

Осенью 1931 года советский писатель Илья Эренбург напечатал в одном из немецких журналов статью о Томасе Бате. Батя тотчас добился судебного приговора: Эренбург должен за свой счет напечатать в шести немецких газетах составленное Батей опровержение. Батя, однако, не успокоился. Он начал два процесса: гражданский и уголовный. В гражданском суде Батя требовал полмиллиона марок: «возмещение убытков». В уголовном он настаивал на тюремном заключении. Адвокаты Бати доискались до того, что в 1920 году Эренбург помогал В. Л. Дурову организовать детский театр, в котором актерами были звери, и адвокаты с пафосом восклицали: «Человек, который был дрессировщиком кроликов, осмеливается говорить о господине Томасе Бате!» Адвокаты представили суду связку книг. Они цитировали «Хулио Хуренито». Батя читал донесения адвокатов и улыбался: это его забава. В будни он тачает сапоги, в праздники он истребляет нечестивцев.

1931

5. ЖИЗНЬ НЕ РОМАН

Настал черный год. Батя искал босых людей в Африке. Тем временем в Берлине и в Манчестере показались первые босые люди. Батя обожал босых людей: они сулили ему новые рынки. Но, увидав безработных в продранных ботинках, Батя дрогнул душой.

Он не сразу сдался. Он пробовал бороться. Он объявил, что Злин станет «мировым портом». Он занялся шинами, кирпичом, каналами. Он посылал лазутчиков за границу. Но все страны, охваченные кризисом, оборонялись от обувной саранчи. Во французском парламенте один из депутатов рассказал, что Батя провез во Францию шестьдесят вагонов контрабандной обуви, и парламент принял закон о новых пошлинах. Работы в Англии были приостановлены. Батя издавна мечтал обуть арабов, но арабы не могли купить даже самые дешевые туфли. Батя прежде обувал датчан, но датчане не могли продать масло и не покупали больше ботинок. Он предлагал обувь испанцам,

но в Испании гнили апельсины, и у испанцев не было денег на обувь Бати. Он уговаривал венгров, но у венгров никто не хотел купить пшеницу, и венгры сидели среди полных амбаров голодные, раздетые и разутые.

В газетах стали появляться мелкие заметки: «Фабрика в Требнице закрывается». «В Злине рассчитано шесть тысяч рабочих». «С 15 июня предвидится новое сокращение работ». Биржевые листки заговорили о близости нового краха. После спичек на мировую сцену выступали штиблеты.

Было туманное утро. «С 132.031» — самолет Бати стоял наготове. Батя не мог терять времени: он передвигался только по воздуху, как птицы и биржевые курсы. Летчик Бручек не хотел лететь: дурная погода. Батя что-то сказал ему — короткое и грозное. Может быть, он напомнил летчику, что «жизнь не роман»?..

За несколько месяцев до этого дня Батя разослал во все газеты мира сообщение, что он погиб: самолет, на котором он летел, разбился. Это было бесплатной рекламой. Это было также невольной репетицией.

12 июня 1932 года Батя действительно упал наземь. Когда люди подбежали к самолету, они увидели короля обуви рядом с летчиком. Что произошло над проклятым Злином? Это густой утренний туман, и это туман королей мира — с их цифрами вместо чувств и с их неизбежным концом — головой вниз...

У конвейера, как всегда, стояли рабы Бати. Среди них были и те, что издавали журнал «Батовак». Они тачали сапоги. По словам Бати, они делали деньги из своего тела. Они делали деньги для Бати. Но Бате уже не были нужны деньги. Он лежал на земле — человеческий труп: короли умирают, как простые смертные...

1932

ХЛЕБ НАШ НАСУЩНЫЙ

1. КАК ЭТО НАЧАЛОСЬ

В мае месяце 1930 года в одном из городков Фрисландии в католической церкви служили молебен.

Прихожане истово молились. Чужестранец, который случайно попал в церковь, будучи, как и подобает чужестранцу, любопытным, спросил:

— О чем вы молитесь?

Пахло весной и цветами: город цвел. Цвел и человек, к которому обратился чужестранец: это был дородный краснощекий фермер. Он ответил:

— Мы молимся о засухе.

В церкви не было ни душевнобольных, ни поэтов. В церкви были обыкновенные люди: фермеры, торговцы зерном или картошкой. Они читали, разумеется, евангелие. Кроме евангелия, они читали газеты, а газеты сообщали, что мировые запасы пшеницы достигают 530 000 000 бушелей. Ливерпуль слал трагические телеграммы: бушель — 96 центов! Фермеры и маклаки просили сладчайшего Иисуса о засухе. Да не падет дождь ни здесь, ни за океаном! Да погибнут овощи и плоды! Да сгорят хлеба! Да не будет хлеба!

Англичане говорят: «Лучше потерять одежду, нежели хлеб». Немцы — «Искусство бежит за хлебом». Французы — «Длинно, как день без хлеба». Русские — «Хлеб всему голова».

Когда ребенок роняет на землю ломоть, мать наставительно говорит: «Поцелуй!» — у хлеба просят прощения. Глупый ребенок! Глупая мать! Они не знают, что в закромах гниют 530 000 000 бушелей!..

«Хлеб наш насущный даждь нам днесь» — это звучало долго и постоянно, как ветер. Дождя просили у каменных идолов гнусавые жрецы. Дождя просили у обидчивого Иеговы двенадцать израилевых колен. Дождя просили у Иисуса патеры, пасторы и попы. Дождя! Хлеба!

Разве могли они подумать, что бушель пшеницы снизится до 96 центов? Вместе с фризскими кулаками молились фермеры Канады и Австралии, маклеры Чикаго и Ливерпуля, агенты пароходных обществ: «Да будет засуха!..»

Но сладчайший Иисус не помог: падали дожди, колосились нивы, росло благополучие, и от благополучия люди начали умирать, как некогда их предки умирали от саранчи или града.

Проповедник в храме баптистов города Эльбани мрачно заявил:

— В книге Бытия сказано о тощих коровах: семь тощих коров пожирают семь коров тучных. Египтяне страшились неурожайных лет. Братья, господь послал нам горшее испытание: семь тучных коров пожрали семь тощих! Мы погибаем от хорошего урожая!..

Баптисты вздыхали и сморкались. Час расплаты наступал.

Это началось давно. Вместо плуга в землю впивались снаряды. Над землей стояли смертоносные газы, как легкий предутренний туман, и не хлеба всходили, но проволочные тенета. Люди убивали друг друга за пядь земли; земля же стояла порожняя и ненужная. Перед смертью люди все еще жевали хлеб, и в хлебе был недохваток.

До войны хлеб поставляла Россия. Русские помещики, продав урожай, отправлялись в Баден-Баден или в Эмс; они искали бога, читали Герцена или Поль-де-Кока, целовали певичек, а потом умирали, не то от больной совести, не то от больной печени. Русские мужики шли за сохой, ели хлеб с мякиной и умирали от тифа или от цынги. Россия поставляла исправно хлеб: «арнаутку», «красную гирку» или «гарновку». Из русской пшеницы пекли французские

батоны и венские рогалики. Из русской пшеницы делали итальянские макароны.

Началась война. Помещики спасали Христа от Круппа. Мужиков угнали в окопы. Поля стояли незапаханные или неубранные. В Европе появились хлебные карточки.

Тогда далеко от грохота снарядов, далеко от проволоки и крови, в стране огромной и взбалмошной, начался новый сон — сон о хлебе.

Прежде американцы шли на Запад, чтобы разыскать крупицы золота. Потом их сводили с ума нефтяные фонтаны. Но вот из Европы приходят вести о битвах и о победах. Кто-то говорит великодушные речи. Кто-то, хмурясь, водит по карте красным карандашом. В Версале позор и празднества. В России революция. В Европе много знамен и много отчаянья. Но хлеба в Европе нет. Его нет ни у побежденных, ни у победителей. Европа хочет хлеба. В Лондоне премьер-министр ласково шепчет представителям Канады:

— Метрополии необходим хлеб!..

Американцы равнодушны к речам, но они понимают язык цифр: до войны квинтал пшеницы стоил два доллара восемьдесят пять центов. В декабре 1919 года в Чикаго за квинтал пшеницы давали тринадцать долларов.

На Запад! В Монтану! В Дакоту! Это — хлебная лихорадка. Исполнительные квакеры, мечтатели, жулики, трудолюбивые тупицы, азартные игроки — все они кинулись на землю. Из золотого навоза — золотое зерно, из золотого зерна — золотые доллары. В церквах баптистов и анабаптистов, методистов и реформистов, пресвитериан и англиканцев, во всех церквах Америки пасторы молились о дожде и об урожае. Они еще не знали, что тучные коровы куда прожорливей тощих.

Сны переходят из страны в страну, как волны радио или как эпидемия. В Канаде были огромные девственные просторы. Люди выступили за пшеницей, как в военный поход. Они шли туда, где не было людей, они набрасывались на целину, и молодая земля, еще не отдавшая человеку свои силы, отвечала сказочными урожаями. Три западных округа Канады — Ма́нитоба, Саскачеван и Альберта — покрылись золотом колосьев. Двигались тракторы и комбайны. Они двигались цепью, как двигались танки

по полям Пикардии. У каждого отряда был свой командир. Машины пахали, машины сеяли, машины жали и машины молотили. Прежде, чтобы собрать хлеб с одного гектара, человек должен был проработать три дня. Комбайн справлялся с этим в сорок минут. Люди только присматривали за машинами, как присматривают няньки за играми детей. Люди слушали по радио — каков курс на пшеницу?.. Люди подсчитывали доллары и насвистывали фокстроты.

Чудесная пшеница быстро вызревала. Что ни день в любом крохотном городке открывалось отделение какого-нибудь банка — банки всходили дружно, как пшеница Манитобы. Страна покрывалась золотом.

Разгадка сказки была мудра и проста: заводы, изготовлявшие тракторы и комбайны, отпускали машины в кредит. Богатели акционеры заводов. Богатели и фермеры. Они покупали модные платья женам, граммофоны, электрические холодильники. Цены на пшеницу стояли высоко, как солнце в полдень. В течение нескольких лет посевная площадь Канады увеличилась на пять миллионов гектаров.

Далеко на юге была Аргентина. Там люди говорят на другом языке. Когда в Канаде лето, в Аргентине зима. Но до Аргентины дошли и мотивы фокстротов и цены на пшеницу. Скотоводы стали землепашцами. Два миллиона гектаров были отведены под пшеницу. В Аргентине нехватало рабочих рук. В Аргентине было мало элеваторов. Но Чикаго слал миру цифры, и плыли через океан взволнованные иммигранты, строились гигантские элеваторы — Аргентина узнала, почем в Ливерпуле хлеб, и Аргентина все забыла ради хлеба.

За Аргентиной двинулась Австралия.

Прежде люди приезжали в Австралию, чтобы искать крупицы золота. Когда пшеница поднялась в цене, австралийцы поняли, что золото можно сеять, что золото приходит в закрома сам-сто. Экспорт австралийской пшеницы увеличился вдвое. Австралия по-новому золотилась и богатела.

Круглый год люди собирали хлеб: в январе жали в Аргентине, в марте — во Флориде, в августе — в Канаде, в декабре — в Австралии. Казалось, весь мир занят одним: полный библейской важности, он сеет, жнет и молотит.

Европа платила за хлеб, жалась, кряхтела и платила. Ее начали томить сомнения. Пшеница — не кофе и не каучук, пшеница, как известно, произрастает и в Европе. Почему бы не тряхнуть стариной?.. Русского хлеба нет. Американский дорог. Французы могут есть французский хлеб, итальянцы — итальянский, немцы — немецкий. Дряхлую землю легко омолодить синтетическим азотом. В Европе мало простора, зато в ней много химиков. В Европе притом имеются страны, где, кроме пшеницы, только песни и нищета: Венгрия, Югославия, Румыния. Чем Европа хуже какой-то Манитобы?..

Шли один за другим урожайные годы. Богатели фермеры и перекупщики, банки и пароходные компании, владельцы элеваторов и мукомолы, фабриканты удобрений и агенты страховых обществ, биржевые «быки» и случайные комиссионеры. Фермер покупал жене модное платье и граммофон. Представитель фирмы «Дрейфус» для своей супруги выбирал жемчужное колье или картину парижского художника. Президент Соединенных Штатов Гувер торжественно провозгласил: «Мы вступили в эру доподлинного благоденствия!» Затворники Сити или Уоллстрита, неврастеники, никогда не видавшие в глаза обыкновенной деревни, с нежностью повторяли: «Пшеница... пшеница!..» Когда аппарат в захолустном банке отстукивал последние курсы Ливерпуля, сердца мелких игроков — отставных чиновников и астматических дам — восторженно трепетали: «Пшеница снова в повышении!» Миллионы людей жили жизнью, согласной с золотыми колосьями, и миллионы людей задушевно повторяли знакомые им с детства слова: «Хлеб наш насущный даждь нам днесь!»

До войны в мире собирали ежегодно 380 000 000 квинталов пшеницы. В 1929 году добыча составляла 405 000 000 квинталов.

Так настал обыкновенный летний день, который историки смогут назвать «катастрофичным». На самом деле это был просто душный докучливый день. Чикаго, как всегда, бурлил и смердил. Мистер Смитс, маклер хлебной биржи, выпил два стакана содовой — он никак не мог освежиться. Он стоял в середине величественного и прекрасного храма, который сухо именуется биржей. Он

выполнял все предписанные его религией обряды. Трижды он крикнул:

— Доллар сорок четыре!

Он поднял при этом правую руку ладонью к миру — это означало, что он продает. Но никто не поднял в ответ правую руку ладонью к себе — покупателей не было. Тогда мистер Смитс нервически зевнул. Он бросился к телефонной будке. По дороге он встретил другого маклера, Джека Фрида. Джек цинично фыркнул:

— В Мельбурне — сорок два, а в Буэнос-Айресе — тридцать восемь!

Мистер Смитс преглупо развел руками, как будто он потерял веру или жену. Это был обыкновенный маклер. Он любил Мэри Пикфорд и фруктовое мороженое. Он ничего не понимал в мировой экономике. Он собирался осенью продать «форд» и купить хорошенький «бюик». Он жил не плохо. Поглядев растерянно на Джека, он вытер сырой лоб и сказал:

— Я ничего не понимаю!..

Газеты писали о кризисе. Это не был кризис пшеницы — газеты писали о кризисе шерсти. Аргентина и Австралия разоряются на шерсти, а и в Аргентине и в Австралии много пшеницы... Цены на пшеницу заколебались. Но еще не было ни крахов банков, ни самоубийств, ни государственных совещаний. Просто маленький маклер мистер Смитс преглупо развел руками.

Так на море начинается шторм: шутя, как бы невзначай, легким ветерком, способным разве что приподнять флажок на мачте.

2. СТАВКА НА СВИНЬЮ

В июле месяце 1929 года газеты Соединенных Штатов сообщили о беспримерном событии. Речь шла не о приказах «гангстеров», не о разводе Полы Негри, не о новой модели Форда, — речь шла о хлебе: в Соединенных Штатах оказался некоторый излишек, а именно 247 000 000 бушелей пшеницы. Цифра мало что говорила клеркам Нью-Йорка или Чикаго, — они привыкли измерять хлеб на фунты. Но газеты предусмотрительно поясняли, что если

правительство не примет срочных мер, Соединенным Штатам грозит катастрофа.

Слово «катастрофа» было понятно всем, и все граждане Соединенных Штатов с тревогой думали о каких-то таинственных бушелях. Золотые колосья, которыми любят украшать выставочные дипломы, стали сразу ядовитыми.

Президент Гувер во время предвыборной кампании неустанно повторял: «Благоденствие». Гувер теперь озабочен: он не простой клерк, и он хорошо знает, что такое «бушели». Над Америкой стоит лето, жаркое, душное. По небу носятся озорные зарницы. Пшеница быстро вызревает. Подходят грозы, крахи, самоубийства. Мистер Гувер хотел, чтобы Америка цвела, как библейский Ханаан. Он проклял виски и прославил господа бога. Растроганный господь слал обильные дожди. Но кто-то переусердствовал, — может быть, господь, может быть, мистер Гувер, может быть, фермеры западных штатов. Теперь настало время спасать отечество!

Так в июле 1929 года был образован «Федераль фарм борд». Ему поручили сосредоточить в своих руках всю торговлю хлебом. Правительство выдало «Фарм борду» 500 000 000 долларов.

Союз канадских кооперативов «Вит пул» за годы благоденствия вырос и окреп. Фермеры получили от «Вит пула» ссуды под урожай. «Вит пул» объединил 136 000 фермеров. Он стал самым крупным торговцем хлеба во всем мире.

Тревожные слухи не застали американцев врасплох. Американцы усмехались: в Соединенных Штатах — «Фарм борд», в Канаде — «Вит пул», они никогда не допустят катастрофы. В их руках огромные запасы зерна, в их руках также огромные капиталы. Им ничего не стоит отбить атаку людей, играющих на понижение. Если Европа не захочет покупать хлеб по пристойной цене, американцы попридержат запасы. Хлеб — не алмазы, хлеб — не каучук, без хлеба Европа не проживет и дня. Итак, спокойствие!

Спокойно маклеры Чикаго и Виннипега насвистывали фокстроты. Несмотря на отменный урожай, пшеница держалась в цене. Запасы росли, но казалось, никакие десятизначные цифры не сломят мужества Америки. Председа-

тель «Фарм борда» Легг улыбался той же удивительной улыбкой, которая дала Гуверу на президентских выборах миллион лишних голосов. Все американцы верили в улыбку Легга. Его звали доверчиво и почтительно: «наш Алекс». Политиков спасал Гувер — «наш Герберт». Кинозвезд спасал Хейс — «наш Бил». Фермеров должен был спасти Легг — «наш Алекс». И Гувер, и Хейс, и Легг славные парни, они пьют только содовую воду, они молятся господу, и они при всех случаях жизни неукоснительно улыбаются.

Вслед за Леггом улыбались фермеры и маклеры. Никто не верил в катастрофу. Смрадный Чикаго благоухал, как Ханаан, — это был запах богатства.

Когда рабочие объявляют забастовку, они кричат: «Все, как один!» Они вывозят «желтого» на тачке. Они презирают изменников. У них простой ум и грубое сердце. Не они правят миром.

В Европе имелись мощные тресты, занятые скупкой зерна: в Париже — «Луи Дрейфус», в Лондоне — «Бунге энд Борн». Тресты хотели одного — покупать и продавать. Падение цен их не пугало. Они зарабатывали несколько центов на бушеле, когда пшеница стоила дорого. Они будут зарабатывать те же несколько центов, если цены падут. Политика «Фарм борда» и «Вит пула» их раздражала. Торговцы хлебом были врагами государственного вмешательства: они отстаивали свободу личности и свое право на барыши. К счастью, пшеница произрастает во всех пяти частях света. В Аргентине теперь 123 000 000 свободных бушелей. В Австралии — 337 000 000 бушелей. Дрейфус шлет приказы своим агентам в Буэнос-Айрес. Бунге не забывает о Мельбурне. В мире достаточно хлеба и без американцев!..

Фермеры Австралии призваны на помощь. Они должны погубить фермеров Канады. Они чисты и перед богом, и перед королем Великобритании, и перед людьми. То, что рабочие в своей темноте называют изменой, среди почтенных коммерсантов именуется «законной конкуренцией». Агенты трестов работают с утра до ночи, они работают круглые сутки — когда в Ливерпуле утро, в Буэнос-Айресе еще вечер. Вместо «манитобы» или «винтер 4» Европа теперь покупает аргентинскую «барлету».

В январе 1930 года бушель пшеницы стоил один доллар тридцать четыре цента, в июле за него давали всего девяносто семь центов.

Легг еще продолжает улыбаться, но эта улыбка дается ему с трудом. «Фарм борд» покупает 40 000 000 бушелей, чтобы приостановить дальнейшее понижение. Несколько дней передышки. Потом цены снова катятся вниз: 87 центов... 84 цента... 79 центов...

В Канаде паника. «Вит пул» и частные банки отпустили фермерам большие кредиты, исходя из расчета один доллар двадцать два цента за бушель. Теперь бушель стоит шестьдесят четыре цента. Земледельческие округа обращаются за помощью в столицу, но правительство Канады отмалчивается. Больше никто не говорит о кризисе пшеницы. Все теперь говорят о мировом кризисе. Правительство Канады не в силах помочь своим фермерам. Делегаты Канады едут в Лондон. Они просят о помощи правительство Великобритании. Имперское правительство должно поручиться за кредитоспособность «Вит пула» и аграрных банков. Но в Лондоне уныние и безработица. Ткачи Манчестера ходят в лохмотьях. Углекопы Шотландии мерзнут. В клубах говорят о фунте почтительно и печально, как о больном короле. Время ли теперь спасать Канаду? Надо прежде спасти себя. Правительство Великобритании сокрушенно отказывает. Представители Канады обращаются к крупным банкам. Но тресты не зевают. У них в Сити свои люди. Зачем выручать «Вит пул»?.. Хлебом можно торговать и без «Вит пула». Пора оставить эти социалистические затеи!.. Пора вернуться к свободной торговле!..

Банкиры вежливо улыбаются:

— К сожалению, обстоятельства никак не позволяют нам взять на себя...

Представители Канады возвращаются домой с пустыми руками. Вкладчики кидаются в банки. На дверях банков корректные дощечки: «Закрыто». Может быть, сегодня воскресенье?.. Или табель?.. Нет, это рабочий день, 21 ноября... За один этот день в земледельческих округах Канады лопнуло сорок два банка.

— Пятьдесят пять центов бушель!..

«Фарм борд» покупает еще 33 000 000 бушелей. Чикаг-

ская биржа теперь напоминает собор в страстную пятницу: скорбь и молчание. Попрежнему вспыхивают цифры, но никто на них не смотрит. Покупателей нет — они выжидают дальнейшего падения. Маклеры уныло сидят на скамьях. Одни из них решают кроссворды, другие дремлют. Мистер Смитс вчера продал свой старый «форд». Он так и не купил «бюика». Никто больше не улыбается. Никто, кроме Легга: Легг — мученик, он должен улыбаться. Запасы «Фарм борда» дошли до 138 000 000 бушелей.

Легга спрашивают:

— Может быть, вы предполагаете послать пшеницу в Китай?

— Нет, при настоящей стоимости транспорта это чересчур разорительно.

Легг загадочно улыбается — он, видимо, нашел выход. Может быть, Гувер решил раздавать хлеб безработным?.. Нет, Гувер — человек твердых убеждений, он знает: кто не работает, тот не ест.

— Скажите, мистер Легг, как же вы освободитесь от этого балласта?

Улыбаясь попрежнему, Легг говорит:

— Энергичная и старательная свинья может съесть в течение года столько же пшеницы, сколько семья из пяти человек.

Вскоре все скотоводы получают заманчивые проспекты: «Кормите ваш скот пшеницей! Пшеница куда питательнее маиса! Пшеница притом дешевле маиса!» Скотоводы, однако, упрямятся. Оказывается, у свиней свои вкусы, они предпочитают маис. Тем временем и маис начинает падать в цене: маиса тоже чересчур много. Диверсия не удалась. Тогда еще раз по привычке улыбнувшись, Легг подписывает прошение об отставке. На его место садится Стон: он тоже улыбается и тоже покупает миллионы бушелей. Запасы «Фарм борда» доходят до 235 000 000 бушелей.

В земледельческих округах Канады начинается голод. Фермеры, которые продали хлеб за гроши, не могут дотянуть до нового урожая. Весь мир злобно косится на Канаду: от нее все зло!

У канадских фермеров нет ни огородов, ни свиней, ни долларов. Давно проданы и холодильники и автомобили, сношены модные платья. Граммофон стоит, но его никто

не заводит. Граммофон умеет исполнять веселые фокстроты, а на сердце у фермера смутно. Вокруг золотые поля, избыток, библейское благоденствие. Семья фермера сегодня ничего не ела — у фермера нет хлеба. Шестьдесят тысяч канадских фермеров живут побираясь. Одних кормит «Красный Крест», других — соседи. В элеваторах гниет зерно. Этого зерна так много, что все потеряли голову: и «Вит пул», и министры, и биржевики. Этого зерна так много, что шестьдесят тысяч человек умирают от голода: у них нет краюхи хлеба.

3. КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА КОНФЕРЕНЦИЕЙ

Король Кароль уехал из Румынии: он предпочел любовь короне. Король Кароль вернулся в Румынию: он предпочел корону любви. У власти были либералы и консерваторы. Потом к власти пришли аграрии. Менялись почтовые марки и директоры департаментов. Одно оставалось неизменным: крестьян грабили и сажали в острог. На французские деньги румыны содержали армию, тюрьмы и публичные дома. Генералы браво улыбались, содержательницы публичных домов приветствовали туристов по-французски. Казалось, Румыния благоденствует. Но в Румынии была пшеница, и этой пшеницы никто не покупал. Германия покупала пшеницу в Аргентине или в Канаде: американская пшеница дешевле. В Румынии цены на хлеб падали. Каждый земледелец терял на гектаре, отведенном под пшеницу, тысячу восемьсот лей. В стране начался голод. Правительство умоляло великие державы притти на помощь. Французы, ворча, давали деньги на генералов, но румынского хлеба не покупали и они.

Представитель Румынии в Женеве г. Мадгеару пробует потрясти Аргентину и Канаду речами о справедливости:

— Делегаты заокеанских стран говорят об экономическом неравенстве. Но разве не представляет собой экономического неравенства то, что европейские государства, которые могут жить только экспортом хлеба, благодаря конкуренции заокеанских стран натыкаются на закрытые двери?

Канада и Аргентина молчат. Им недосуг разговаривать о справедливости: они должны во что бы то ни стало продать свой хлеб. Румыну отвечает представитель Голландии:

— Мы не можем принять предложения придунайских государств: они расходятся с принципом свободного обмена, на котором покоится наша политика.

Голландца поддерживают англичане, итальянцы, немцы. Их не смущают разговоры об «экономическом неравенстве». Они покупают «манитобу» или «барлету».

В Румынии еще раз переменили министров. Столько-то крестьян попало в тюрьмы, столько-то умерло от хронического недоедания. Цены на хлеб продолжали падать.

Венгры умеют расправляться с крестьянами ничуть не хуже румын. Венгерские тюрьмы переполнены, венгерская казна пуста. Правительство отбирает у крестьян последние крохи. Называется это «налогами». Деревня голодает. Вчера убили трех волов — чехи покупают кожу. Мясо можно бы продать за бесценок, но если мясо поступит в продажу, за него надо платить налог. Туши зарывают в землю, как падаль. Роют землю голодные люди. Плакаты зазывают туристов: «Венгрия — житница мира». На плакатах красивые девушки плетут венки из колосьев. Но венгерский хлеб гниет в закромах. Под боком — Чехословакия. Чехи покупают хлеб. Они покупают его в Америке. У них свои счеты с венграми, и «манитоба» дешевле. Никль, представитель Венгрии, на международном совещании не только молит, он угрожает:

— Если промышленные страны не изменят своей политики по отношению к странам аграрным, мы будем вынуждены запретить ввоз предметов индустрии. Вы не хотите покупать наш хлеб? Что же, мы не станем покупать ваши машины!..

Никль говорит. Делегаты дремлют — час послеобеденный. Представитель Франции Фланден произносит речь, преисполненную вековой мудрости:

— Не следует предаваться опасным иллюзиям! Можно ли простым соглашением разрешить проблему, которая является проблемой всей человеческой культуры?..

Ни чехи, ни австрийцы, ни голландцы не купили венгерской пшеницы. «Простого соглашения» не состоялось.

Делегаты раздумывали над эволюцией культуры. Безработные батраки Венгрии продолжали голодать.

В Югославии не мало офицеров. Еще больше в Югославии крестьян. Крестьяне в Югославии бунтуют. Они бунтуют потому, что их жизнь жестока и страшна. Офицеры усмиряют крестьян. Государство отпускает крестьянам наручники и пули; большего оно дать не в силах — это бедное государство. Продав свой урожай, крестьянин не может купить ни обувь, ни керосин. Земля с каждым годом дичает — ввоз земледельческих машин и удобрений прекратился: нет денег. Цены на пшеницу продолжают падать. Представитель Югославии в Лиге наций, забыв о государственном самолюбии, говорит:

— Уровень жизни наших крестьян чрезвычайно понизился...

Югославия продавала хлеб в Австрию, в Италию, в Германию. Австрийцы, итальянцы, немцы покупают американский хлеб. Кроме того, индустриальные страны Европы сами занялись хлебопашеством. Представитель Югославии в Женеве Деметрович грозит не только заградительными пошлинами, он грозит экономической революцией:

— Аграрные страны будут вынуждены перейти к насильственной индустриализации. Они закроют свои границы для иностранных фабрикатов.

Делегаты рассеянно слушают Деметровича — они давно поняли, что «простым соглашением» нельзя предотвратить катастрофу. Англичане решили стать хлеборобами, а сербы хотят построить у себя Манчестер. Мир сошел с ума. К чему же им волноваться? Они ведь только скромные делегаты на пятой или десятой конференции... Не лучше ли глядеть, как скользят чайки над тихими водами Лемана?..

Представители аграрных государств Европы устраивают совещания. Они беседуют в местах приятных и отдохновенных — в Србском Плесе или в Синайе, в курортах, среди горной тишины и прохлады. Эксперты чертят кривые цен. Эксперты составляют проекты резолюций. Что касается крестьян, то крестьяне продолжают голодать.

Наконец в Париже собирается конференция европейских государств. Ее задачи скромны, но возвышенны —

необходимо купить у Венгрии, Румынии, Югославии запасы пшеницы. Европа покупает много миллионов бушелей в Америке. Нельзя ли приобрести толику дунайской пшеницы? Это добрый поступок, к тому же не разорительный. Конференция напоминает семейный совет — дядюшки и тетушки прикидывают, как помочь злосчастным родственникам, погибающим в глухой провинции.

Конференцию открывает Бриан. Он устало щурится, оглядывая длинный зал. Может быть, он чувствует, что его смерть близка? Может быть, он просто устал от съездов, совещаний и конференций? Однако он еще пробует смягчить сердца делегатов:

— Господа, пробил час испытания нашей солидарности!

Бриан призывает спасти Европу — кризис в аграрных странах достиг невиданных размеров. Мы должны оградить наш континент от ужасных потрясений!..

Продавцы упрашивали: «Дело идет о сущей безделке, — вся наша пшеница это семь процентов вашего ввоза!» Покупатели молча кивали головой. Продавцы жаловались: «В нашей нужде дальше итти некуда!» Покупатели сочувственно вздыхали. Конференция приняла соответствующие резолюции, разумеется, единогласно. Продавцы уже слали в Бухарест, в Белград, в Будапешт восторженные депеши: дело на мази, скоро будут деньги — франки, фунты, марки, лиры, флорины!.. Но, закрывая конференцию, председатель Франсуа Понсэ глубокомысленно сказал:

— Некоторые из нас проявили чрезмерный оптимизм. Конференция представителей государств не может превратиться в хлебную биржу!..

Франсуа Понсэ пояснил: остановка за купцами. В Европе свобода торговли, и государства могут только «оказывать моральное воздействие». Делегаты разъехались по домам. Хлебные маклаки и мукомолы оказались достаточно нечувствительными к моральному воздействию. Бриан говорил на новой конференции, разумеется, о солидарности. Европейцы попрежнему покупали «манитобу». Миллионы крестьян в придунайских странах попрежнему голодали.

4. «ХЛЕБА ЧЕРЕСЧУР МНОГО»

Французскому журналисту г. К. поручили обследовать «тайны Берлина». В Берлине царит порок: кокаин, морфий, гашиш. Г-н К. проходит по Александерплатц. Навстречу идет человек лет сорока. Человек идет, потом падает. Он падает внезапно и бесшумно, как будто он из картона. У него белое, мучнистое лицо, а на коленях аккуратные заплаты. Полицейский старается приподнять человека. Г-н К. спрашивает: «Алкоголь? Наркотики?» Полицейский уныло отвечает: «Голод». Час спустя в пассаже Унтер-ден-Линден журналист видит, как падает без чувств молодая женщина. Вокруг — толпа. Женщина хрипит, ее лоб покрыт испариной. Владелец магазина кораллов, печальный толстяк, усмехается: «Симуляция!.. Разве это настоящий обморок?..» Г-н К. обеспокоен: «Но почему она упала?..» Толстяк уныло хохочет: «Чтоб ей собрали на хлеб!..» Толпа расходится. Г-н К. не на шутку растерян. Поздно вечером, возвращаясь из кабаре «Какаду», он видит старика на земле. По его телу проходит судорога. Некто в очках поясняет: «Истощение». Вернувшись в гостиницу, г. К. пишет на листе блокнота: «В Берлине — голод...» Потом он сердито комкает лист и принимается за работу: «Я проник в тайную курильню опиума...» Все это происходит 18 февраля 1932 года.

В феврале 1932 года в Германии было 6 128 000 зарегистрированных безработных. По данным «Международного бюро труда», в мире было 24 000 000 безработных.

Мир велик. В этом великом мире существует крохотный город Штейр. Он находится в Австрии, на реке Энс. Местоположение чрезвычайно живописное. Готическая церковь — она открыта. Автомобильный завод — он закрыт. 22 000 жителей. Из 22 000 — 18 000 безработных. Из 18 000—15 000 голодают. Давно проданы и тюфяки и штиблеты. Одни лежат полуголые в темных берлогах. Другие еще бродят, шатаясь по чересчур живописным улицам. Ни топлива. Ни света. Ни хлеба. Человеческий язык несложен. Лингвисты утверждают, что пятисот слов достаточно для повседневного обихода. Жителям Штейра не нужно и

пятисот слов. В унылом бреду, который, как туман, клубится над рекой Энс, они еще помнят одно простое, короткое слово: «Хлеба!»

Мистер Эндрью был в Китае в 1928 году. Это был год засухи. По дорогам брели едва живые тени. Они останавливались и падали. Вдоль дорог торчали трупы деревьев — люди съели и листья и кору. Вербовщики набирали женщин для публичных домов. Они сулили пятьдесят центов в год и еду. Но девушек было чересчур много. Оставшиеся умирали на дороге. Умирающих грызли одичавшие псы. Мистер Эндрью сообщал, что необходима срочная помощь: «Шлите хлеб — люди умирают». Это был голод 1928 года. В 1931 году в Китае был снова голод, не от засухи, но от наводнений. Реверенд Хьюлетт Джонсон, посетивший недавно долину реки Янг-Це, говорит: «Мы заходили во многие хижины. Горсть овса, лебеда и глина — люди варят это в котелках. Люди продают детей. Мальчик стоит шесть долларов, за девочку дают до десяти». Реверенд Хьюлетт Джонсон добавляет: «Если не будет срочно доставлен хлеб, сотням тысяч людей грозит голодная смерть».

В Венгрии золотятся нивы, на лугах пасутся белые волы. В Венгрии люди умирают от голода. В деревне Диссель — тысяча пятьдесят жителей. Вокруг деревни — тучные нивы и красавцы волы. 6 мая 1932 года в деревне Диссель жандармы арестовали шестерых крестьян: преступники откопали в поле падаль и съели ее. Дети умерли, взрослые выжили. На допросе арестованные показали: «Мы хотели хоть раз в жизни накормить досыта наших детей».

Америка горда и долларами, и пшеницей, и верой. 8 000 000 безработных ходят по улицам Америки, по ее прямым и длинным улицам. Они хотят есть, но для них нет ни долларов, ни пшеницы. Для них только вера. В ночлежном доме Беверай — восемьсот восемьдесят бездомных. Пастор произносит проповедь: «Наш бог — это бог упования!» Потом он дружески добавляет: «Теперь мы хором споем псалмы». Восемьсот восемьдесят бездомных молчат. Пастор поет, а они молчат. Он спрашивает: «Почему вы не поете, братья?» Тогда один из восемьсот восьмидесяти бормочет: «Мы не можем петь. Мы ничего не ели». Снова

туман и прямые, длинные улицы. Работы нет. Нищенствовать запрещено. Смерть — преступление.

Испания. Эстремадура. Человек ползет по земле. Это вор. Он хочет украсть, — не драгоценные камни, не серебряные дуро, он хочет украсть горсть желудей. Деревья в лесу не крестьянские и не божьи: они принадлежат герцогу Орначуэлосу. У герцога Орначуэлоса 506 000 гектаров земли. Крестьянин ползет на животе. Он хочет украсть желуди. Когда нет хлеба, люди едят желуди. У крестьянина — жена и восемь детей. Два дня, как он ничего не ел, ни его жена, ни его дети. Гвардеец стреляет. Преступник убит. Жена и дети не получат желудей. Им выдадут только труп. Женщина поставит на бумажке неуклюжий крестик. Педро, которому четыре года от роду, так и не поймет, что значат причитания матери и чужие люди в блестящих треуголках. Он будет до ночи хныкать: «Есть! Я хочу есть!..»

В Закарпатской Украине отмечено резкое увеличение детской смертности. Недавно в Прагу был доставлен образец хлеба, которым питаются крестьяне Верховины. Этот хлеб похож на глину. Он сделан из мякины, к которой подмешана толченая кора. Карпатский хлеб заинтересовал врачей Праги, которые признали, что он «чрезвычайно губителен для здоровья».

Люди кричат: «Хлеба!» — в больших городах и в тихих заброшенных селах, в каменных дворах Бельвиля и Нейкельна, на набережных Лондона и Гамбурга, среди грохота Нью-Йорка и среди степной тишины, в Китае и в Чили, в Конго и в Польше — «Хлеба! Хлеба!»

Люди крадут. Их отводят в тюрьмы. Потом их выпускают, чтобы они умерли на свободе. Люди кидаются в реки, завязывают на шее узлы, открывают вены или газовые краны. Их спасают, чтобы они умерли чинной, дозволенной смертью. Те, что еще не умерли, кричат: «Хлеба! Панэ! Бред! Пайн! Брод!»

В Риме заседает международная конференция. На эту конференцию собрались представители сорока шести государств: послы, министры, ученые. Они заседают не первый день, устало повторяют они все то же короткое слово: «Хлеб, хлеб!..» Не следует думать, что и они голодны, — это государственные люди, они потрясены неслыханным

бедствием: в мире чересчур много хлеба. Если миллионы людей голодают, то исключительно оттого, что хлеба в мире недопустимо много.

На столе папки с цифрами. Цифры грозят пожрать мир — это бушели непроданного хлеба. С ужасом смотрят делегаты на беснование цифр: в 1930 году — 550 000 000 бушелей пшеницы, в 1931 году — 630 000 000. Элеваторы забиты зерном в Канаде и в Австралии, в Соединенных Штатах и в Аргентине, в Венгрии и в Югославии. Растут золотые горы, падают цены, миллионы становятся пылью, и вокруг хлеба, вокруг ненужного, проклятого хлеба, бродят и бродят голодные.

На столе рядом с папками — газеты, английские, немецкие, французские, газеты сорока шести стран. В газетах рядом со статьями о конференции жалкая хроника человеческих дней. В Берлине растет число самоубийств. В течение мая покончили с собой сто семьдесят восемь человек. Эти люди умерли не от несчастной любви, не от пресыщения жизнью. Они умерли оттого, что для них в жизни не было хлеба.

Над Римом синеют весенние сумерки, кружатся ласточки, лепечут фонтаны. Печально смотрят делегаты на пляску цифр. Как спасти гибнущий мир?..

Поднимается представитель Венгрии, барон Георгий Пронай. Он нашел выход. В его стране люди умирают от голода, но барон Пронай — не сентиментальная барышня. Не о людях он думает, о цифрах. Он думает также о свиньях: надо пшеницей кормить скот, крупный и мелкий.

— Излишки пшеницы необходимо денатурировать с помощью эозина, то есть сделать их непригодными для человеческого потребления.

Одобрительно вздыхают члены венгерской делегации: граф Юлий Кароли, граф Ладислав Сомси, граф Максимилиан Хойос, — это хорошо придумано: «сделать непригодной для человеческого потребления!..»

Вдруг легкая тень, дар римских сумерек, забирается в глаза делегатов. Три графа и барон о чем-то задумались. Может быть, они вспомнили о деревне Диссель? Там голодные люди съели дохлятину. Напрасно падаль обливали керосином, люди не устрашились дурного запаха. Можно

ли поручиться, что они не накинутся на пшеницу, тщательно денатурированную с помощью эозина, что они не станут отнимать у свиней модный корм, что они не внесут беспорядок в работу третьей или четвертой международной конференции?.. Ведь эти люди все еще думают, что хлеба на свете чересчур мало, что хлеба нехватает для всех, им и невдомек, что хлеба чересчур много, что хлеб чересчур дешев и что хлеб следует уничтожать.

Проходит еще один день. Делегаты пьют легкое римское вино. Они томно вздыхают. Сто сорок делегатов. Речи, комиссии, доклады. Сегодня выступает представитель Румынии Мадгеару. Мадгеару — министр земледелия. Он знает, как спасти мир. Надо рекламировать хлеб, как рекламируют другие товары. Пусть горожане едят побольше хлеба. Пусть научатся есть хлеб китайцы. Американцы давно поняли: «реклама — двигатель торговли». Если можно рекламировать ликеры или фильмы, почему бы не рекламировать хлеб?..

Снова голубеют римские сумерки. Делегаты расходятся. Ночь подсказывает чудеса. Вместо звезд над миром вспыхивают огненные буквы: «Ешьте хлеб! Вкусный хлеб! Белый хлеб! Сытный хлеб!» Стены Берлина покрываются афишами: «Ешьте хлеб из крупчатки Манитобы!» В Нордене растет толпа. Они согласны. Они идут. Они требуют — да, да, вот этого самого, из Манитобы!.. Кто-то разбил стекло — телефон, полиция, два грузовика... Это коммунистическая провокация!.. Вы, наверное, забыли, что теперь мировой кризис!.. Простите, но что это? «Манитоба»? Канада? Штат? Хлеб? А безработные?.. Шесть миллионов безработных? Мы уже сказали: государство — не богадельня! Мы должны сократить пособия безработным. Пусть не едят!.. Кулаки. Крики. Выстрелы. Тогда раздается легкий, почти неземной цокот. Это не цикады Рима. Это железо. Крупп, Шнейдер, Шкода, они тоже знают, что такое правильно поставленная реклама.

Над Манчестером световые транспаранты: «Ешьте белый хлеб!» Как клубок огненных гадюк, ползут по Менильмонтану электрические ленты: «Хлеб укрепляет мускулы!» Летчики засыпают Китай листовками: «Ваше спасение в хлебе!» Кричат громкоговорители на площадях испанских городов: «Хлеб — основа жизни!» Надрываются

священники, адвокаты, журналисты: «Хлеб! Только хлеб! Скорее — хлеб!»

В ответ корчатся голодные. Они хватают камни с мостовой. Они разбивают щиты булочных. Они тоже кричат: «Хлеба!» Их миллионы. Они хотят разнести мир.

Впрочем, это только тень, только легкая тень римских сумерек. Приподнимается председатель конференции; насмешливо щурясь, он благодарит Мадгеару за его интересное сообщение. Еще один доклад. Еще одна резолюция. Шуршат листы. Цифры не унимаются: они визжат и хохочут, они кувыркаются среди пепельниц, они щекочут уши ста сорока шести делегатов.

По набережной Тибра идет делегат Венгрии барон Георгий Пронай. С ненавистью смотрит он на витрины булочных — хлеб, повсюду хлеб!.. Дураки, они не понимают, что хлеба чересчур много!.. К барону робко подкрадывается тень. Это вульгарная тень римских сумерек.

— Подайте, Христа ради, на хлеб!..

Услышав знакомое слово, барон Пронай возмущенно отмахивается. Его ли дело спасать тень? Он спасает Венгрию и мир. Вы говорите — «хлеб»? Но мы уже постановили — уничтожать! Денатурировать! Выдать свиньям!

Спутник графа, американский журналист, усмехается:

— Легг на этом сломал шею — дело в том, что у свиней свои вкусы...

5. КТО ПЕРВЫЙ?..

— Господа, необходимо сократить посевную площадь!..

В портах Англии свалено 20 000 000 бушелей аргентинской пшеницы. Напрасно торговцы понижают цены — покупателей нет. Может быть, отослать хлеб в Китай? Но китайцам хлеб не по карману. А в Европе все перепуталось: диета и голод, гастрономия и нищета, прихоти и несчастье.

Жан до войны съедал в день два фунта хлеба. Он ел хлеб с сыром и с вареньем, с кофе и с вином, утром и вечером. Он работал тогда в столярной мастерской. Теперь он работает на автомобильном заводе. Он съедает в день полфунта хлеба. Весь день он стоит, не двигаясь

у ленты, — он потерял аппетит. Он зарабатывает не плохо. Он стал привередлив: он предпочитает мясо или овощи. Земляк Жана — Робер — тоже съедает в день полфунта хлеба. У Робера хороший аппетит, — с утра до ночи он ходит по городу в поисках работы. У него хороший аппетит, но у него нет денег. Он считает су и покупает не фунт, а полфунта.

Одни перестали есть хлеб потому, что хлеб для них чересчур низок, другие потому, что он для них недоступен. До войны немец съедал в год девяносто два килограмма хлеба, теперь он съедает всего шестьдесят пять килограммов. Французы любят хлеб, но и француз теперь потребляет в год на двадцать восемь килограммов меньше, нежели до войны. Потребление хлеба уменьшилось в тринадцати странах, в странах богатых и в странах бедных.

Пшеница пала в цене, но хлеб не подешевел, хлеб вздорожал. До войны фунт хлеба стоил в Германии шестнадцать пфеннигов, теперь он стоит двадцать пфеннигов. В Чикаго можно купить квинтал пшеницы за шестьдесят французских франков. В Бельгии тот же квинтал стоит девяносто франков. Во Франции за него платят сто сорок пять франков.

Миллионы безработных не могут купить лишний фунт хлеба, потому что он для них чересчур дорог. Хлеб чересчур дорог для разоренных войной китайцев. Зато он дешев для свиней. Но, увы, и Легг и барон Пронай прогадали: у свиней, которых кормят пшеницей, плохие окорока. Не лучше обстоит дело и с коровами: пшеница мало способствует высокому качеству молока. Американские скотоводы все же покупают пшеницу — в течение последнего года 150 000 000 бушелей пшеницы были выданы скоту. Это плохой корм, но ничего не поделаешь, — теперь кризис, а хлеб, слишком дорогой для людей, достаточно дешев для свиней.

В окрестностях Тиверадского озера ботаники недавно разыскали дикий злак «тритикум дикоккоидес» — праматерь нашей пшеницы. Тысячелетия пшеницу разводили, холили, совершенствовали. Специалисты насчитывают две тысячи двести восемнадцать разновидностей этого злака. Пшеницу кастрируют, вновь оплодотворяют, скрещивают различные породы. Так были созданы «федерация» в Ав-

стралии, «маркиза» в Канаде, «вильгельмина» в Голландии, «вильморин» во Франции. Труд многих веков привел к тому, что весной 1931 года дипломаты и ученые занялись вопросом: нельзя ли с помощью химических примесей сделать пшеницу непригодной для человеческого потребления?

В ту весну мир был преисполнен поэтического вдохновения. В Бразилии плантаторы жгли кофе, — кофе стремительно падал в цене, и плантаторы стали огнепоклонниками. Кофе горел, кинооператоры «крутили», и на экранах Европы среди «спуска нового крейсера» и «матча бокса» показывали, как в Бразилии люди жгут кофе. Кофе в Европе стоил дорого, и миллионы европейцев пили желудевый отвар.

Кроме кофе, в ту весну люди жгли хлопок. Заместитель Легга Стон, новый директор «Фарм борда», сказал, что единственный выход из кризиса — сжечь треть урожая. Плантаторы южных штатов жгли тонны и тонны хлопка. У рабочих южных штатов не было денег, чтобы купить рубашку: для них рубашка была слишком дорога, для мира хлопок был слишком дешев. В ту весну мир трудолюбиво уничтожал все, что было создано его трудами.

Пшеницу давали свиньям, но пшеницы было чересчур много, и на международной конференции в Риме один из докладчиков решился сказать вслух:

— Господа, необходимо сократить посевную площадь!..

Делегаты молчат. Они согласны с чересчур последовательным докладчиком, но каждый из них думает: пусть начинают другие!.. Если Канада сократит посевы, пшеница повысится в цене, и тогда Аргентина малость заработает!..

Впрочем, на международной конференции не принято говорить о барышах. Делегаты толкуют о вещах куда более возвышенных. Представитель Франции Альфред Масс готов припутать к пшенице и Расина и Виргилия:

— Франция хранит печать Рима, его культуры, его духа, его нравов, его языка, его законодательства. Франция — латинская нация, а для каждого сына латинской нации хлеб — это святыня...

Альфред Масс говорит долго и поэтично: любя труд землепашца, Франция никак не может сократить посевную площадь!

Италия, как известно, тоже латинская нация, и на поэтическом турнире Бенито Муссолини ни в чем не уступит Альфреду Массу. Муссолини объявил «пшеничную битву»: «Итальянцы, сейте хлеб!» Он даже сочинил для пропаганды хлебопашества настоящую поэму: «Итальянцы, любите хлеб — сердце дома, аромат трапезы, радость очага! Чтите хлеб — пот чела, гордость рук, поэзию жертвы!» Это было сказано весьма вдохновенно, и это продавалось по две лиры за оттиск. Кроме поэзии, Муссолини прибег к высоким пошлинам. Хлеб сразу вздорожал. «Пшеничная битва» была выиграна. Посевная площадь увеличилась. Италия теперь собирает в год на 20 000 000 квинталов больше, нежели она собирала в 1913 году. Правда, теперь в Италии 185 000 безработных батраков — это ветераны «пшеничной битвы». Их труд никому не нужен, и они не могут насладиться ни «потом чела», ни «ароматом трапезы». Но могут ли потомки древнего Рима оробеть перед какой-то статистикой?..

Однако ни Италия, ни Франция не продают хлеба. Им приходится докупать хлеб за границей. Они покупают хлеб у американцев. Что же скажут американцы? От их ответа зависит судьба конференции.

Соединенные Штаты не прислали делегатов. Они за международную торговлю. Они против международных конференций. Никто не знает, на что они надеются: на войну в Европе, на невиданную засуху или на магическую силу своей патентованной улыбки? Никто не знает, надеются они или, давно отчаявшись, продолжают по привычке улыбаться среди крахов, гангстеров и голода? Во всяком случае они улыбаются, и, улыбаясь, они никак не хотят разговаривать с меланхоличными европейцами о глубоко абстрактных вопросах, как, например, о сокращении посевной площади.

Канада прислала своего представителя, но представитель Канады Фергусон на предложение сократить посевную площадь отвечает вежливым отказом. В западных округах Канады — 300 000 фермеров. Они живут исключительно хлебопашеством. Они стали фермерами потому, что Европа требовала хлеба. Им некуда уйти и не за что взяться. Они ссыпают в элеваторы прославленную «манитобу».

— Канада — демократическая страна, и правительство, которое решится ограничить посевную площадь, будет тотчас свергнуто...

Фергусон ссылается не только на политику, но и на климат: в Канаде все приспособлено для пшеницы. Канадские крестьяне не могут перейти на иную культуру. Пусть посевную площадь сократят государства, в которых экономические и климатические условия не препятствуют другим видам хозяйства...

На беду представитель Аргентины вполне согласен с представителем Канады:

— Конечно, идеальное разрешение вопроса — это устранить сверхпроизводство. Но в Аргентине ограничительные меры противны тенденциям населения, которое хочет полностью использовать естественные богатства страны.

Представитель Аргентины полагает, что надо ограничить посевную площадь в странах с более густым населением.

Представитель Австралии находит, что Австралия наименее предназначена для подобного сокращения.

Международная конференция посвящена пшенице. Но делегаты говорят о многом другом, например о льне. Что делать аргентинцам, которые разводят пшеницу? Перейти на лен? Но льна никто не покупает, — в Англии закрылись все фабрики. Разводить скот? Но Европа теперь не берет ни консервов, ни кожи, ни шерсти. Представитель Австралии напоминает, что шерсть понизилась в цене еще стремительней, нежели пшеница. Одни разорились на пшенице, другие — на шерсти.

Перед делегатами — головоломка. Кто-то предлагает выделывать из пшеницы горючее. Другой делегат, размечтавшись, говорит, что, если в Соединенных Штатах разрешат варить пиво, фермеры начнут разводить маис и цены на пшеницу поднимутся. Третий надеется, что японцы вместо риса будут есть хлеб. Правда, рис тогда сразу подешевеет и начнется кризис риса, но ведь это конференция не о рисе, а о пшенице.

Пока делегаты беседуют, одни люди сеют, другие жнут. Пшеница продолжает падать в цене. Напрасно биржевые «повышатели» пускают слухи, будто в Канаде засуха,

а в Австралии недород. На день-другой цены приподнимаются. Так, 4 ноября 1931 года можно было подумать, что пшеница спасена: «повышатели» заполнили чикагскую биржу рыком и ревом. Что ни минута пшеница поднималась на цент или на два. Но прошло несколько дней, «понижатели» оправились, они во-время выбросили и слух об отменном урожае в Аргентине и сотни тысяч бушелей. Цены снова полетели вниз.

Природа явно не хочет помочь людям: засуха в одной стране тотчас возмещается урожаем в другой. Пшеница растет в пяти частях света, и мировой урожай пшеницы в среднем тот же из года в год. Для природы нет катастрофы, следовательно для людей нет спасения. Жадно кидаются биржевики на бюллетени метеорологического института: это карты в азартной игре. Они могут сегодня разбогатеть или разориться. Но для земледельца нет выхода — он делает никому не нужное дело: он взращивает хлеб. В августе 1932 года 500 000 фермеров Америки объявили забастовку: они отказались продавать хлеб в убыток. Биржа ответила на забастовку усмешкой: в элеваторах гниют миллионы бушелей!..

6. СССР

До войны Россия ежегодно вывозила 40 000 000 квинталов пшеницы. Европейцы с аппетитом ели русский хлеб, и большое зеленое пятно на географической карте в их представлении невольно связывалось с хрустящей коркой свежевыпеченного хлеба.

После тридцати месяцев войны в России не стало хлеба. Над булочными висели золотые крендели, но хлеба в булочных не было. Возле булочных цепенели голодные очереди, и здесь, под золотыми кренделями, в феврале 1917 года началась революция. Она началась с крика: «Хлеба!»

Война продолжалась — против революции выступили немецкие генералы и лондонские биржевики, французские социалисты и японские самураи, чешские легионеры и африканские рабы. Страна была разорена и обессилена. 1921 год был годом засухи. На Волге был голод. Люди

умирали в домах и на улицах, на пристанях и на вокзалах. Европейцы читали газеты, и, глядя на большое зеленое пятно, они больше не думали о русском хлебе. Было установлено, что Россия — страна голода.

Непокорная страна начала отстраиваться. Крестьяне скинули с плеч винтовки. На полях показались колосья. В булочных показался хлеб. Долгие годы люди получали в день восьмушку черного вязкого хлеба. Когда в булочных появились настоящие булки, это были военные трофеи — революция побеждала.

Прошло еще несколько лет. Осенью 1930 года СССР вывез за границу 22 000 000 квинталов пшеницы. Европейцы растерянно глядели на негаданный дар. Это была их давняя знакомая «арнаутка», но после пятнадцати лет разлуки они ее не узнали. В мире было чересчур много пшеницы. Несколько лишних зернышек казались катастрофой. Что если большое зеленое пятно покроется нивами? Ведь это сотни миллионов квинталов!..

Советские представители продавали пшеницу по мировым ценам. Это были очень низкие цены, — в Америке лежало 300 000 000 бушелей пшеницы, и никто не мог остановить падения цен. Сотни миллионов людей страдали от сотни миллионов бушелей. Кого следовало обвинять? Гувера или Легга? «Фарм борд» или «Вит пул»? Дрейфуса или Бунге? Фермеров или биржу? Аргентину или Австралию? Капитализм или рок? Министры, дипломаты, политики растерялись, — сотни миллионов требовали ответа. Тогда виновный был найден — «советский демпинг»!

Сэр Генри Детердинг боролся с американцами. Нефти было много, и нефть падала в цене. Сэр Генри хотел заполучить советскую нефть и раздавить американцев. Когда он понял, что советская нефть не для него, он начал кричать о советском демпинге. Зачем в Баку добывают нефть? Только чтобы погубить сэра Генри!..

Ивар Крейгер хотел получить советскую осину. Но Советский Союз изготовлял из осины спички и не хотел подчиниться требованиям спичечного короля. Тогда Ивар Крейгер возмутился: советские спички — это и есть демпинг! Советские представители — бесчестные люди! Между двумя анафемами преступным Советам Ивар Крейгер

успевал то подделать подпись казначея, то подчистить нули баланса.

Советский демпинг стал модным микробом — им объясняют теперь все загадочные эпидемии: мир мечется в горячке, мир пухнет с голода, мир бредит. Когда измученные люди спрашивают: «Почему мы умираем?» — им отвечают: «Это советский демпинг».

В мире сотни миллионов бушелей непроданной пшеницы. Фермеры продолжают запахивать землю. Чем больше они работают, тем вернее они разоряются. Даже свиньи воротят рыла от заклятого зерна. Тогда газеты начинают негодующе кричать: «Как смеет Россия вывозить хлеб?..» Россия должна голодать, а Россия тем временем продает 22 000 000 квинталов. Это вдвое меньше того, что Россия вывозила до войны. Но зачем вспоминать цифры? Журналисты не помнят, сколько квинталов Россия вывозила до войны. Зато они хорошо помнят, сколько им отпущено долларов, фунтов или франков.

Вслед за журналистами выступают дипломаты. Чем меньше шавка, тем она задорней. Соединенные Штаты молчат. Просит слова представитель Болгарии Моллов. Болгары продавали хлеб грекам, но греки теперь покупают американскую пшеницу. Нужда в Болгарии растет. Правительство расстреляло десятки тысяч крестьян. Миллионы, однако, остались, и миллионы голодают. Моллов, представитель разнузданных офицеров и вороватых чиновников, выступает в Женеве с обвинительным актом:

— Союз Советских Республик практикует демпинг. Будь торговые представители Советов частными лицами, их давно отвели бы в тюрьму. Увы, в международных отношениях правила нравственности не всегда соблюдаются. Каждое государство хочет купить товар подешевле. Но погодите — вслед за сельскохозяйственным демпингом придет демпинг промышленный. Я могу заявить, что в России изготовляется столько сельскохозяйственных машин, что вскоре эти машины будут выкинуты на международный рынок за полцены...

Румыны, сербы, венгры сочувственно вздыхают — богатые европейцы никак не хотят помочь этим «бедным родственникам». Французы говорят о «дунайской федерации». Лига наций говорит об «экономической справедливости».

Но пока дипломаты говорят, купцы и мукомолы покупают пшеницу. Вчера они покупали канадскую «манитобу», завтра они кинутся на советскую «арнаутку». Напрасно Моллов столь красноречиво говорит о «правилах нравственности», — купцы верят только в хороший товар и в сходную цену; такова нравственность купца, такова нравственность и того мира, который защищает Моллов, как защищают люстры, трапезу и веселье барского дома мерзнущие в конуре, плохо кормленные злые собаки.

В портах Черного моря грузят пшеницу. Еще год назад СССР ввозил хлеб. Теперь пароход за пароходом отходит с золотым грузом. Посевная площадь увеличивается. В стране, которая иным англичанам мнится пустым зеленым пятном, страной кочевников, снега и степей, завелись опасные звери: это не медведи — это тракторы и комбайны. Моторы сосредоточенно дышат, и мир прислушивается к этому дыханию: с каждым вздохом растет беда — все больше и больше становится в мире хлеба. Встревожена Канада. Боязливо озирается далекая Австралия. Аргентина взбешена. Что они делают, эти сумасшедшие русские!.. Пока мы обсуждаем, как уничтожить пшеницу, они засевают все новые и новые поля. Они хотят кормить пшеницей не свиней, но людей! Мы проклинаем тракторы, самые смелые из нас предлагают отдать машины на слом. А они тем временем выпускают на свои просторы орды ужасных моторов. Надо их образумить! Обуздать! Уничтожить!..

Делегаты СССР приглашены на международную конференцию в Риме. Европа молит Америку: «Сейте поменьше!» Америка сердито отвечает: «Ешьте побольше!» Делегаты никак не могут договориться. Тогда все начинают поглядывать на край длинного стола: «Это он?..» — «Да, да, он!..» Это не просто делегат — это делегат СССР. Нет нужды, что он скромен и тих, что его называют не «ваше превосходительство», не «министр», но «профессор» — это представитель той страны, которая решила погубить мир.

Делегата Аргентины упрекают за то, что Аргентина никак не хочет сократить посевную площадь. Делегат Аргентины, посол республики, его превосходительство дон Фернандо Перес, своевременно переводит разговор на другую

тему: вы забыли — вот враг! Дон Фернандо Перес не гоговорит о демпинге — он признает, что Советы продают пшеницу по цене, установленной Чикаго и Ливерпулем. Он не настаивает на поэтической легенде, согласно которой русские крестьяне — рабы и пшеница, собранная ими, не может быть потребляема в странах, отменивших рабовладельчество. Нет, дон Фернандо Перес готов преклониться перед советским строем. Он восторженно говорит о системе, которая устранила посредников. Он смотрит на дело достаточно трезво:

— Только разрыв торговых договоров покажет тем странам, которые покупают хлеб, что им выгодней отказаться от подобных сделок!

В 1921 году Советская республика металась в тифу и в голодной горячке. Вокруг ее границ стояли часовые Запада. Они не пропускали ни людей, ни груза. В 1932 году посланник Аргентинской республики, его превосходительство дон Фернандо Перес, предлагает делегатам сорока четырех стран вновь окружить непокорную страну железным кольцом. Но одиннадцать лет не прошли даром. Советская республика успела отдышаться и обзавестись инвентарем. Сорок четыре страны успели ознакомиться с кризисом.

Делегаты сочувственно аплодировали горячей речи дона Фернандо, но многие из тех, что аплодировали, час спустя вежливо расспрашивали делегатов СССР — на каких именно условиях Советы продают пшеницу? Одна страна хотела продать Советам тракторы, другая хотела купить у них «арнаутку». Среди этих конкурентов, не способных договориться друг с другом, сидели тихие и скромные люди — они представляли здесь не только большое зеленое пятно, не только миллионы квинталов пшеницы, они представляли новый мир.

В день, когда закрылась международная конференция, в колхозе «Ивашево» выехал на работу трактор. Трактор спокойно пересек межи. Увидев это, крестьяне от ужаса ахнули — они еще верили в святость обыкновенной межи. Вечером старики принесли колышки и поставили их на те места, где прежде были межи. Парни утром вырвали из земли колышки. Это длилось три дня. На четвертый день старики поняли, что их вера убита.

Делегаты международной конференции спорят о торговых договорах и о таможенных рогатках. Они еще твердо верят в силу тех межей, которые разделяют государства. Но тяжелое дыхание советского трактора порой врывается в тишину зала.

Один из делегатов говорит другому:

— Мы хотели убить русскую революцию голодом, и мы проиграли. Теперь русская революция идет на нас. Она хочет нас убить хлебом. Через пять лет Советы будут вывозить сто миллионов квинталов...

7. ПОСРЕДНИКИ

Рыжий Джон Смис собрал хлеб. Это обыкновенный фермер Манитобы. Он очень мрачен: цены на пшеницу снова пали. Как ему дотянуть до весны?..

Жан Дюпон по природе много веселей Смиса: Жан Дюпон — француз. Он живет в Рубэ и работает на ткацкой фабрике. Он пришел в булочную, чтобы купить килограмм хлеба. Отсчитав су, он хмурится — хлеб снова вздорожал! Как он дотянет до субботы?..

Между рыжим Смисом и Дюпоном не только тысячи километров, между ними люди. Эти люди живут хлебом. Они живут хлебом Смиса и хлебом Дюпона. Они живут куда лучше, нежели канадский фермер или рабочий Рубэ.

Смис продал хлеб Арперу. Он получил по тридцать девять центов за бушель. Арпер ссыпал зерно в элеватор. Фирма, которой принадлежит элеватор, взяла по полтора цента с бушеля. Страховое общество получило полпроцента. Маклер Дацль заработал по два цента на бушеле. В Виннипеге бушель стоит пятьдесят пять центов. Потом на каждом бушеле зарабатывали по нескольку центов пароходная линия, владельцы элеваторов в портах, железные дороги. Пшеницей занялся маклер в Ливерпуле, и в Ливерпуле бушель стоил уже шестьдесят девять центов. Потом пшеницу купили мукомолы «Мулен де-Корбей». Мукомолы тоже заработали себе на хлеб. Когда Жан Дюпон пришел в булочную, перед ним были большие румяные хлебы. Он сосчитал су и нахмурился. Он нахмурился оттого, что хлеб дорог и ему надо много работать, дабы получить этот хлеб.

Далеко от Жана Дюпона до Джона Смиса! Но Джон Смис тоже грустен. Он получил за каждый бушель тридцать девять центов. Он пахал, сеял, жал, молотил. Но су, которые, кряхтя, кинул на прилавок Жан Дюпон, получит не Смис: их получат барышники, маклеры, владельцы элеваторов, судовладельцы, страховые общества. А Смис столько трудился над своей нивой! Теперь ему грозит голод. Между ним и Дюпоном тресты, биржа, агенты. Его труд сожрали барышники. Когда хлеб дошел до Жана Дюпона из Рубэ, этот хлеб оказался Дюпону не по карману. Далеко от Дюпона до Смиса! Но голод всюду голод, и беда всюду беда.

На торговле хлебом маклер Лебель скопил маленькое состояние. У Лебеля теперь домик, в саду гелиотроп, а в курятнике куры. Пшеница переползла через материки и моря, она осчастливила Лебеля — несколько золотых зернышек застряло в его кармане.

На торговле хлебом фирмы «Луи Дрейфус» и «Бунге энд Борн» составили многомиллионные капиталы.

Торговля нефтью или каучуком связана с высокой политикой, с авантюрами и с поэзией, с государственными тайнами и с вульгарной уголовщиной. Торговля хлебом — скромное, но солидное дело. Мало кто в Лондоне знает наследников Бунге. Луи Дрейфус известен парижанам как банкир, депутат и автор закона об арбитраже. Это не Наполеон и не Форд. Однако «Луи Дрейфус» и «Бунге энд Борн» оказались сильнее «Фарм борда». «Фарм борд» представлял правительство Соединенных Штатов. «Луи Дрейфус» представлял только Луи Дрейфуса. Но что умел Легг? Улыбаться? Разрабатывать государственные проекты? А у фирмы «Луи Дрейфус» были тысячи агентов, и эти агенты умели торговать.

Хлеб покупают в пяти частях света. Его покупают по мелочам. Агент должен во-время купить. Он выжидает или торопится. У него хороший нюх, и он умеет не обижаться. Он божится, торгуется. Мукомол Осло запрашивает Лондон: «Почем?» Мукомолу отвечают: «Двадцать четыре кроны квинтал, включая транспорт и страховку». Это — тысячи километров, и это — несколько минут: из Осло в Лондон, из Лондона в Мельбурн, из Мельбурна в

Лондон, из Лондона в Осло. Норвежцы получат хлеб. Барышник получит барыши.

Океан. Рев гигантских волн. Среди рева и пены — пароход. Он идет в Мельбурн за хлебом.

Хлебная биржа. Рев маклеров.

— Мельбурн 29/I!..

— Буэнос-Айрес 28!..

Кабинет. Телефоны, много телефонов. Бритые затылки секретарей. Аппарат выстукивает последние курсы. Мельбурн 29/I... Буэнос-Айрес 28... Директор, хмурясь, считает.

— Повернуть на Буэнос-Айрес!

Маклеры ревут в Ливерпуле. Кабинет директора в Париже. Пароход борется с бурей где-то на экваторе.

По беспроволочному телеграфу отдан приказ капитану парохода: «Повернуть на Буэнос-Айрес!» Капитан кричит в рупор. Пароход послушно меняет курс.

Это похоже на кино. Это, однако, будничное дело — это торговля хлебом. «Луи Дрейфус» и «Бунге энд Борн» покупают хлеб в Австралии и в Канаде, в Венгрии и в Румынии, в Аргентине и в Соединенных Штатах. У них нет ни золотых нив, ни ферм, ни элеваторов. У них только деньги и телефоны, агенты и крепкие нервы. Они покупают то, что они уже продали.

Далеко от амбара с зерном до мельницы! Между ними много тысяч километров, между ними океан и недели пути. Груз может попортиться. Зерно может подешеветь или вздорожать. На помощь продавцу и покупателю приходит маклер: он покупает по твердой цене и по твердой цене продает.

Маклер зарабатывает несколько центов с бушеля, но эти центы он зарабатывает без риска. Падет ли пшеница в цене, или вздорожает, он получит свое. У него никогда не останется лишнего товара — он покупает ровно столько бушелей, сколько ему заказывают. В кабинете безостановочно гудят телефоны, вспыхивают лампочки, стучат арифмометры — бушели, квинталы, тонны, доллары, фунты, франки, пезо. «В Мельбурне — 40 000 бушелей по 62... Шанхай покупает 68 000... Запросить Буэнос-Айрес — цена «барлеты»... Буэнос-Айрес хочет 64... Передать цены в Копенгаген...»

Это на вид достаточно будничное дело — здесь нет ни новых приисков, ни выпуска акций, ни блефа, ни пота банкомета. Но на всех полустанках далекой Австралии или Аргентины среди пшеницы и тишины значится имя одного человека. Это не король Великобритании, не лидер трудовой партии, не знаменитый боксер. Это почтенный банкир и член парламента — не австралийского, не аргентинского, а французского, это — торговец хлебом Луи Дрейфус. Во французском парламенте он представляет округ, который славится худосочными пальцами, игорными домами и беспроигрышным климатом — он депутат Ривьеры. На Ривьере нет ни полей с пшеницей, ни элеваторов. Луи Дрейфус расписывается на заборах Ривьеры как «независимый радикал». На заборах Австралии или Аргентины он расписывается куда суше — там он только торговец хлебом. В жизни имеются будни и праздники. Отдыхая, Дрейфус покупает мебель «ампир»: он — ценитель старины. Работая, Дрейфус покупает «барлету» или «манитобу». Разве не сказал господь Адаму: «В поте лица твоего ты будешь есть твой хлеб?..»

В поте лица ест хлеб фермер Джон Смис. В поте лица ест хлеб ткач Жан Дюпон. В поте лица ест хлеб Луи Дрейфус. Разные лица. Разный пот. Разный хлеб.

8. ГРАНИЦА ЗАКРЫТА

Рыжий Джон Смис, фермер из Манитобы, получил за бушель пшеницы тридцать девять центов. В Гамбурге этот бушель стоил один доллар шестьдесят центов. Одну четверть получил фермер, одну четверть получили барышники, перевозчики и торговцы. Две четверти взяло государство. Это называется — «охрана сельского хозяйства», и от этого еще туже затягивают ремень на животе миллионы и миллионы безработных.

В Венгрии крестьяне голодают — хлеб в Венгрии ничего не стоит. В Будапеште за бушель пшеницы дают пятьдесят четыре цента. От Будапешта рукой подать до Вены. Весело свистят пароходы, поднимаясь по широкому Дунаю. Вот и старая Вена! В этой старой Вене что ни дом, то беда — у людей нет работы, три года, пять лет, давно

продано все добро, нет ни крейцера на хлеб. Бушель венгерской пшеницы в Вене стоит один доллар четырнадцать центов. Для бедняков Вены хлеб — это роскошь.

Прежде различные страны делили между собой работу. В сыром, ненастном Манчестере хорошо было сучить нить, и Англия вывозила бумажные ткани. Англия вывозила также шерстяные материи. Англия вывозила антрацит. Россия поставляла хлеб, лес, нефть. Каучук привозили из Индии, кофе — из Бразилии, селитру — из Чили. Германия славилась электрическими установками и химическими красками. Шведы изготовляли спички и телефоны. Испанцы вывозили апельсины. Франция посылала другим странам шелк, парфюмерию, вина. Норвежцы кормили Европу треской, датчане — маслом. В Боливии люди жили висмутом, на Кубе — сахаром и сигарами. Соединенные Штаты гордились многим: автомобилями и фильмами, тракторами и нефтью, консервами и безопасными бритвами, паровозами и маисом. Египет давал хлопок, Гондурас — бананы. Болгары разводили табак. Швейцарцы доили коров и выверяли хронометры. Чехи тачали обувь. Австралийцы продавали шерсть. Китай вывозил чай и рис. Пыхтели пароходы, скрипели лебедки, посвистывали паровозы — тысячи и тысячи тонн шли из страны в страну, из Японии в Ливерпуль, из Ливерпуля в Бомбей, из Бомбея в Гамбург, из Гамбурга в Москву, из Москвы в Японию. Вещи передвигались куда легче людей. Они кружились по миру. Из Египта везли хлопок в Лодзь, в Лодзи стучали станки, и лодзинский ситец спешил в Тунис. Капитализм переживал свою молодость.

Потом молодость кончилась. Что ни день государства устанавливали новые пошлины. Вещи стали домоседливыми. Приуныв, пароходы забрались в гавани, — так перепуганные овцы забираются в загон. В Египте еще разводят хлопок, но этот хлопок послать больше некуда. В Лодзи из остатков хлопка еще делают ситец, но этот ситец гниет на складах.

Четверть века назад люди радовались прогрессу: Анды были просверлены тоннелем. Аргентина поставляла скот в Чили. Теперь чилийцы обнищали, — Европа не хочет покупать чилийские удобрения. Чилийцы не хотят покупать

аргентинских волов. Они взимают с каждого вола тридцать шесть песо пошлины. Железнодорожная компания отменила поезда — без волов ей не покрыть расходов. Тоннель закрыт, и путешественник должен, как встарь, плыть через Магелланов пролив.

В эпоху поездов-молния и первых воздушных рейсов мир казался крохотным, как квартира. Прошло десять лет, и он снова стал непроходимыми джунглями. В конторах попрежнему висят карты с кривыми рейсов, но на эти карты никто больше не смотрит. Каждая страна теперь хочет жить сама для себя и сама по себе.

В Канаде девственная земля, и канадским фермерам не нужны удобрения. В Канаде у фермеров тракторы и комбайны. Квинтал пшеницы обходится канадскому фермеру две марки восемьдесят пять пфеннигов. Но немцы не хотят покупать канадскую пшеницу. Они хотят прожить своей собственной пшеницей. У немецких крестьян нет тракторов, и земля в Германии истощена. Квинтал пшеницы обходится немецкому крестьянину в одиннадцать марок. Немецкая пшеница в четыре раза дороже американской. Земля в Германии в руках у крупных помещиков. У 5 000 000 крестьян — 1 588 000 гектаров. У семи крупных землевладельцев — 772 550 гектаров земли. У каждого из этих господ столько земли, сколько у 350 000 крестьян. Сорок процентов крестьян — батраки.

Крупные землевладельцы не заводят тракторов. Они безразличны и к химии и к электричеству. Они живы одним — пошлинами. Правительство зорко оберегает их интересы — канадская пшеница обложена пошлиной: один доллар шестьдесят два цента за бушель. Эта пошлина выше стоимости товара. Крестьяне никак не заинтересованы в пошлинах на хлеб, — крестьяне разводят скот. Пшеницы им самим едва хватает. Они не продают хлеба. Хлеб продают крупные землевладельцы. Что ни день правительство по их требованию повышает пошлину. За короткий срок пошлины поднялись с девяти марок до двадцати пяти с квинтала. Правительство отказывает в пособиях безработным батракам, но на нужды крупных земельных хозяев оно отпустило 2 500 000 000 марок. Безработные просят «на хлеб», но благодаря домогательствам крупных землевладельцев хлеб в Германии дорог:

он вдвое дороже, нежели в соседних государствах, и правительство никак не может накормить безработных хлебом.

В Италии ни почва, ни климат не благоприятствуют землепашеству. Но каждая страна теперь хочет производить все. «Италия не может зависеть от других государств!» Так сказал Муссолини. В Италии сплошь да рядом крестьянин собирает с гектара всего-навсего пять квинталов пшеницы. Но могут ли почва, или климат остановить «дуче»? Он объявил «пшеничную битву». Конечно, прежде всего он ввел пошлины: сначала семь золотых лир с квинтала, потом одиннадцать, потом четырнадцать, потом семнадцать, наконец и все двадцать. «Пшеничная победа» обозначала одно: высокие пошлины, а следовательно — дорогой хлеб.

Англия принимает закон о хлебном контингенте: мукомолы обязаны примешивать к зерну не менее пятнадцати процентов английского зерна. Голландцы требуют от своих мукомолов примеси двадцати процентов голландского зерна. Англия и Голландия всегда жили привозным хлебом. Теперь местные землевладельцы могут диктовать цену на пшеницу — сбыт товара обеспечен законом. Хлеб тотчас дорожает. Столько-то землевладельцев радуются. Столько-то безработных Манчестера, Глазго или Ротердама вздыхают: они давно отказались от мяса, от масла. Неужели им придется отказаться и от хлеба?..

Франция издавна почитает себя за страну универсальную, — «страна гармонии», она делит труды между фабрикой и нивой. Однако Франция ежегодно докупает хлеб — от десяти до двенадцати миллионов квинталов. Интересы хлебопашцев во Франции ограждены и высокими пошлинами и контингентом. Квинтал американской пшеницы стоит в Гавре восемьдесят франков. За него берут девяносто франков пошлины. Мельники не имеют права примешивать к французскому зерну более установленной доли зерна привозного.

Во Франции 2 235 000 крестьян, у которых меньше одного гектара земли. Во Франции 2 617 000 крестьян, у которых меньше десяти гектаров. Во Франции 138 700 помещиков и кулаков, у которых свыше сорока гектаров. Себестоимость квинтала пшеницы вычисляется по хозяйству самого бедного крестьянина. При отсутствии машин

себестоимость квинтала пшеницы достигает ста пятидесяти франков за квинтал. Привозная пшеница стоит вдвое дешевле. Но правительство облагает ее пошлиной — девяносто франков с квинтала. Крупному землевладельцу квинтал пшеницы обходится много дешевле, на каждом квинтале он зарабатывает пятьдесят—шестьдесят франков. Крестьянин еле сводит концы с концами. Рабочий должен покупать хлеб, который вздорожал вдвое. Устанавливая пошлины, правительство высчитало, во сколько должна обойтись пшеница бедному крестьянину, — это демократия. На этой демократии богатеют 100 000 землевладельцев, и на ней разоряются 10 000 000 бедняков.

Франция докупает в год около 10 000 000 квинталов пшеницы. В 1929 году в палате депутатов были произнесены патетические речи о победе труда и о венке из колосьев. Журналисты клялись, что Франция вскоре перегонит Канаду, — да, да, Франция вывозит хлеб! 1929 год был во Франции урожайным. Не предвидя хорошего урожая, скупщики и мукомолы заблаговременно ввезли американскую пшеницу. Пшеницы оказалось чересчур много. За границей цены на зерно упали, и заграничный хлеб пришлось перепродать с потерей. Тогда правительство пришло на помощь скупщикам и мукомолам: оно установило «премии» за вывоз. Оно якобы покровительствовало крестьянам, которые не могут продать французскую пшеницу. Оно спасало барыши торговцев с их «барлетой» или «манитобой».

Подобные «премии» установлены в ряде стран. Государства говорят: «Продавайте хлеб за границу, продавайте его во что бы то ни стало! Убытки мы берем на себя». Каждая страна хочет сбыть зерно соседу — «даю премию!» И каждая страна ограждает себя от зерна соседа — «беру пошлины!» Это напоминает детскую игру. Однако это — серьезные труды экономистов, политиков и дипломатов.

Все государства хотят обязательно сохранить, даже увеличить поля, на которых произрастает столь убыточное растение. Все государства готовятся к войне, а воюя трудно рассчитывать на привозной хлеб. Все государства страшатся социализма, а стоит крестьянину бросить клочок земли, как он заражается опасными идеями.

Здесь можно расчувствоваться — привести несколько стихотворений из хрестоматии о величии пахаря или изобразить на почтовой марке благородную жницу. Но в мире все больше и больше хлеба, и этот хлеб все недоступней и недоступней.

Земледельческие страны, которые не могут вывозить хлеб, закрывают свои границы для иностранных товаров. Игра продолжается. Чехи не впускают венгерской пшеницы. Венгры не впускают чешских машин. Англичане не впускают французских овощей. Французы не впускают английского сукна. Французы не впускают испанского вина. Испанцы не впускают французского шелка. Закрываются фабрики. Растет безработица. Народы мечутся в огненном кольце.

Можно прожить без шелка, без вина, без духов. Нельзя прожить без хлеба. Шум зерна, которое падает в элеваторы, звучит, как похоронный марш. Зачем грело землю солнце, зачем поили ее теплые весенние ливни, зачем миллионы людей в знойный полдень, отирая рукавом лоб, шли среди высоких колосьев? Этот хлеб никому не нужен. Его пытаются спасти комиссии, совещания, пошлины, премии, все хитроумие юристов, маклеров и шулеров. А возле булочных стоят люди и грустно глядят на большие хлебы, на хлебы длинные, овальные или круглые, на испанские хлебы, замысловатые и пресные, на длинные французские хлебы, которые вьются, как лоза, на венские булочки, на сухие караваи Италии, — они стоят и вздыхают: хлеб все растет в цене!..

9. УДОБРЕНИЯ

В 1898 году английский химик сэр Вильям Крук опубликовал мрачное предсказание: через тридцать лет мир начнет голодать. Сэр Вильям доказывал, что земля быстро истощается, а запасы селитры ограничены. Когда естественных удобрений не станет, человечество должно будет положить зубы на полку. Спасение в химии — необходимо найти искусственные удобрения и омолодить ими почву Европы. Иначе через тридцать лет предложение не сможет соответствовать спросу, и начнется голод.

Сэр Вильям был хорошим химиком — он предугадал открытие синтетического азота. Он был плохим экономистом — он не предугадал, к чему именно приведет это открытие. Правда, мир вступает в голодную эру, но предложение превышает спрос, и голодает мир от избытка хлеба. К этому избытку причастны и те химические удобрения, о которых мечтал сэр Вильям Крук.

Землепашцы с помощью химических удобрений повысили урожай втрое: земля, которая давала восемь квинталов пшеницы с гектара, теперь дает двадцать пять.

Тучные нивы рождены войной. Война удобрила землю не останками героев, но новым открытием: синтетическим азотом. Омоложение земли оказалось тесно связанным с истреблением человечества. Для цветения злаков и для уничтожения людей нужен один и тот же продукт: селитра. Король Генрих IV некогда сказал: «Селитра поддерживает троны и оберегает государства». Способы употребления селитры с тех пор изменились, но ее роль осталась неизменной. Осенью 1916 года во время боев на Сомме союзники истребляли ежедневно пять тысяч тонн чилийской селитры.

Пока одни люди умирали на берегах Соммы, другие неслыханно богатели — это были владельцы селитры. Они строили дворцы в Арике и в Антофогасте, они покупали мощные автомобили, они выписывали из Европы картины и древности, — в Чили день и ночь шла работа: рабочие добывали селитру.

Между океаном и Кордильерами тянется узкая, длинная полоса земли. Это пустыня. Вместо деревьев — трубы. Сто семьдесят заводов обрабатывают нитрат. Четыреста тысяч человек живут нитратом. Они обязаны своим благополучием небу — на небе ни облачка. Это земля, на которую никогда не падает дождь. Если бы пролились ливни, они унесли бы богатство края. Но над пустыней вечно голубое небо. Нитрат грузят на пароходы. Когда Европа работает, этот нитрат утучняет ее нивы. Когда Европа воюет, этот нитрат уничтожает ее города и села. Такова мощь чилийской селитры. Таково богатство Чилийской республики.

Во время войны Германия была отрезана от Чили. Химики Германии не выходили из лаборатории. Они

изобрели синтетический азот. Немцы научились изготовлять взрывчатые вещества без чилийской селитры.

Когда война кончилась, синтетический азот нашел новое применение — в деревнях запестрели рекламы химических удобрений; акции акционерных обществ, занятых выработкой модного продукта, бодро ворвались в биржевую сутолоку; вчерашнее открытие стало мощной отраслью промышленности; мало-помалу образовались тресты; не прошло и десяти лет, как пришлось созвать первую международную конференцию, посвященную кризису химических удобрений.

Накануне войны Германия была главным клиентом Чили — она ввозила около 2 000 000 тонн селитры. Теперь Германия продает во все страны Европы синтетический азот: он дешевле чилийской селитры. Велик и всесторонен трест «ИГ» — он изготовляет и нежную кинопленку, на которой улыбается Грета Гарбо, и грубый азот, способный увлечь только агрономов и генералов.

Вслед за Германией Норвегия, Франция, Испания, Англия начали изготовлять химические удобрения. На европейских фабриках изготовляли в год 4 000 000 тонн искусственной селитры. Мир потреблял всего-навсего 1 500 000 тонн удобрений. Цены на нитрат стали падать.

Владельцы роскошных дворцов в Арике и в Антофогасте приуныли. Фабриканты что ни день рассчитывают рабочих. Безработные хотят есть, и в Чили неспокойно. Правительство хочет спасти королей селитры. Оно ведет переговоры с немцами. Оно закрывает мелкие фабрики. Оно уменьшает вывоз селитры. Цены, однако, продолжают падать. Тогда правительство образовывает селитряный трест «Косач», в него входят все предприятия. Капитал треста — три миллиарда пиастров. Эти пиастры куплены на доллары: «Косач» поддерживают Соединенные Штаты. 700 000 000 долларов вложены в чилийскую селитру. Правительство Чилийской республики — только отделение нью-йоркского банка. Соединенные Штаты растерялись: они не могут продавать пшеницу. «Фарм борд» кидает миллионы на ветер. Зачем фермерам удобрения? Земля и так грешит плодородием. Хлеба и так слишком много. Плодоносная селитра Чили больше никому не нужна. Безработица в Чили растет. Флот бунтует. Флот усмиряют.

Вашингтон настаивает на крутых мерах. Солдаты стреляют. Запасы селитры все растут и растут.

На юг от селитряного царства — чилийская Патагония. Там люди сеют пшеницу. Они вывозили хлеб в Боливию и в Перу. Теперь никто не хочет покупать патагонского хлеба. С юга крестьяне бегут на север — на селитроварни. Безработные с севера спешат на юг — на полевые работы. Но больше никому не нужны ни пшеница, ни селитра, ни злосчастные люди.

Тогда кто-то вытаскивает полотнище. Оно весело бьется над поселком, — это красный флаг революции. «Долой «Косач»!..» Вашингтон шлет взволнованные телеграммы: 700 000 000 долларов — не шутка. Правительство республики объявляет коммунистов вне закона. Начинается бой за селитру. Солдаты маршируют, солдаты стреляют, и на улицах поселков валяются мертвые люди. Порядок восторжествовал. Однако цены на селитру не поднимаются. Запасы растут. Голодные голодают.

Это отнюдь не победа синтетического азота — на фабриках Германии тоже унылые лица, остановившиеся машины, и на улицах Германии тоже красные флаги, винтовки солдат и распластавшиеся тела убитых.

Пшеница стоит слишком дешево, фермеры не могут покупать нитрат. Еще недавно вагоны с удобрениями спешили в придунайские страны. Теперь ни венгры, ни сербы не удобряют земли. Они готовы ее заколдовать, чтобы на ней взошел чертополох: может быть, тогда пшеница поднимется в цене! Плакаты, которые рекламировали химические удобрения, плакаты с бронзовыми колосьями на голубом фоне давно вылиняли. На них никто не смотрит. Что делать с миллионами непроданных квинталов? Что делать с синтетическим азотом? Мира уже нет. Войны еще нет. Между миром и войной растерянно замерли фабрики.

Немцы предлагают создать мировой трест, ограничить производство, остановить падение цен. Чили сопротивляется. «Косач» не хочет итти на соглашение. Немцы предлагают чилийцам вывозить в год не свыше 260 000 тонн селитры. Чилийцы отказываются. Начинается таможенная война. Германия не покупает чилийской меди. Чили не покупает немецких машин. Чили пытается продать селитру

по любой цене, но ему удается вывезти за год всего 140 000 тонн.

Французы хотят покупать норвежский нитрат. Но французы хотят с каждых сто кило брать двенадцать франков в пользу своей промышленности — французские фабрики химических удобрений жестоко пострадали от кризиса, они ждут правительственных субсидий. Ни норвежцы, ни англичане не хотят поддерживать конкурентов пособиями. Они отвергают французские предложения. На помощь французам приходят немцы. Конечно, удобрения легко переходят во взрывчатые вещества. Но зачем думать о крови?.. Дело идет о барышах. Пьер Лаваль побывал в Берлине. Он улыбался и прицениваля. Соглашение заключено. Немцы поставят во Францию 1 500 000 тонн химических удобрений.

Что ни месяц собираются конференции; делегаты должны распределить рынки. На первых конференциях делегаты волновались — им было что распределять. С каждым годом конференции становятся все тише и тише. Даже чилийцы больше не сопротивляются. Не все ли равно, какой нитрат — естественный или искусственный? Не все ли равно, какой контингент удастся заполучить тому или иному государству? Рынки можно поделить. Но эти рынки иллюзорны. Кто станет покупать удобрения, когда нельзя продать хлеб? Кто станет платить за химические препараты, способные улучшить качество пшеницы, когда химики заняты теперь новой проблемой: как бы сделать эту улучшенную пшеницу непригодной для потребления.

Делегаты печально улыбаются. А селитра ждет своего часа. Люди не хотят ею удобрять землю? Что же, скоро они найдут для нее другое применение — заработают фабрики и чилийские, и немецкие, и французские, засуетятся поезда и пароходы: Генрих IV недаром говорил, что селитра охраняет государства и поддерживает троны.

10. ТРАКТОРЫ

В 1919 году в Соединенных Штатах было 80 000 тракторов. Своры коммивояжеров Форда и Харвестера кинулись в западные штаты. Они соблазняли фермеров:

«С трактором вы тотчас разбогатеете!» В 1930 году в Соединенных Штатах был миллион тракторов. Тракторы работали наславу. Однако фермеры не разбогатели. Они разорились. Они перешли на содержание «Фарм борда».

Жизнь Легга можно разделить на два периода — до катастрофы и после катастрофы. В течение многих лет Легг работал на заводах Харвестера. Эти заводы изготовляли сельскохозяйственные машины. Легг понял значение трактора. Он понял также значение торговли в рассрочку. Он рассылал повсюду своих представителей. Фермеры вносили ничтожный задаток. Они получали трактор. Они собирали куда больше пшеницы, нежели в прежние годы. Они вспахивали новые гектары. Они нанимали меньше рабочих. Продав урожай, они с радостью уплачивали представителю Харвестера стоимость машины. Легг делал все, чтобы продать как можно больше тракторов.

Однажды Легга вызвали к телефону — срочный разговор. Представитель Харвестера сообщил Леггу, что хитрый Форд решил перехитрить Легга: он выпускает тракторы, которые будут стоить на двести сорок долларов меньше, нежели тракторы Харвестера. Легг не стал обличать мистера Форда. Он тотчас приказал понизить цены на тракторы Харвестера. Он готов был продавать в убыток, лишь бы продавать.

Война с Фордом длилась долго. Скрежетали машины; как библейская змея, вилась безумная «лента»; конторщики едва успевали записывать номера выпускаемых машин; тракторы нетерпеливо пыхтели в проверочных цехах и с радостью вырывались на просторы западных штатов. Тракторов становилось все больше и больше. Легг продавал машины не только фермерам Соединенных Штатов. Он отправлял машины в Канаду, в Аргентину, в Австралию. Чем больше было тракторов и комбайнов, тем больше было пшеницы. Когда пшеницы стало чересчур много, наступила катастрофа. Легг перестал управлять заводами Харвестера. Он был назначен председателем «Фарм борда». Начался второй период его жизни — период искупления. Вокруг него высились элеваторы. В элеваторах гнило зерно. Легг задыхался под его тяжестью. Он в ужасе шептал: «Отдайте зерно свиньям!»

Но никакие свиньи уже не могли помочь Леггу и Соединенным Штатам.

В 1917 году Форд решил спасти Европу от голодной смерти: он выпустил первый трактор. Трактор назывался умилительно: «фордсоном». Он стоил семьсот пятьдесят долларов. Четыре года спустя «фордсон» стоил всего триста девяносто пять долларов. Форд был преисполнен оптимизма. Над ним стояло полдневное солнце благоденствия. Он день и ночь проповедовал. Он нес миру новый завет: завет трактора. Он доказывал, что трактор в три раза дешевле лошадей. Трактор ест масло и бензин, лошади едят овес и сено. Трактор съедает куда меньше, нежели восьмерка лошадей.

Форд построил заводы на Красной Реке, которые должны были выпускать в год миллион тракторов. Он боролся с Харвестером и понижал цены. Он посылал тракторы в Австралию и в Аргентину. Он хотел, чтобы тракторы паслись повсюду, как паслись некогда волы. Он гордо говорил: «Вскоре лошадь с плугом станет живописным воспоминанием». Он брал у фермеров лошадей в счет стоимости трактора. Лошадей слали на бойню: они давали машинам кожу, волосы, копыта.

Прошло несколько лет. В городе Форда — тишина. Возле заводских ворот полицейские со слезоточивыми газами: они охраняют парализованные машины от голодных людей. Форд больше не произносит проповедей. Молча он готовится к смерти. А в западных штатах и в Канаде фермеры напрасно ищут охотника, который взял бы трактор в обмен на лошадей. Фермер не может больше содержать трактор: это прихотливое животное требует, чтобы его кормили бензином. Бензин продается повсюду, но за бензин надо давать доллары, а у фермера нет долларов — фермер не может продать хлеб. Фермер мечтает о кляче — клячу можно прокормить и хлебом. Вместо взволнованного дыхания мотора над просторами Америки снова раздается меланхоличное ржанье.

Машины умеют молотить и ткáть, оттачивать тончайшие части часового механизма и плести узорчатые ковры. Машины изготовляют дредноуты и обручальные кольца. Машины умеют делать многое. Думать машины, однако, не умеют. Думать должны попрежнему люди, но люди

разучились думать. Они не знают, сколько гектаров засеять пшеницей, а сколько маисом. Они не знают, как распределить собранное зерно. Они забрасывают мир товарами, которых никто не в состоянии купить. Они заверяют, что кризис приключился оттого, что в мире чересчур много вещей, прекрасных и доступных. Они говорят это среди миллионов голодных, босых и бездомных. Они во всем обвиняют машины.

В Вашингтоне собирается совещание по вопросу о постепенном переходе на ручной труд. Услужливые философы и писатели тотчас приступают к работе. «Как прекрасен пахарь с его примитивной сохой! Сколько поэтического в старинной прялке!» Потом начинается проза. В Великобритании судостроители объединяются для уничтожения машин. Вслед за судостроителями трест сталелитейной промышленности предлагает владельцам заводов продать инвентарь на слом. Напрасно в Женеве дипломаты толкуют об уничтожении танков. Танки не будут уничтожены. Новое средневековье заменит божий гром синтетическим азотом, а чуму культурой бацилл. Но люди уже начали уничтожать мирные машины. Не зная, как справиться с кризисом, они судят машины. Машины приговариваются к смертной казни, а рабочие к каторжным работам.

Фермеры продают замечательные тракторы и волшебные комбайны. Они так мечтали об этих машинах! Они любовались ими на выставках. Они слушали красноречивых коммивояжеров, которые им сулили золотые горы. Они во-время купили машины. Они собирали по двадцать пять квинталов с гектара. Они работали шутя, — древний тяжкий труд сменился пикниками, — они выезжали на работы, беспечно насвистывая фокстрот. За них работали машины. Но эти диковинные «роботы» оказались привередливыми. Они не хотят слышать о мировом кризисе. Как и встарь, они требуют бензина. Они жрут бензин, не думая о том, что пшеница теперь никому не нужна. Это — лукавые и строптивые рабы. И фермеры спускают тракторы за гроши. Они покупают древнего конягу. Они берутся за косы. Они бредут вслед за сохой. Они сгребают колосья вилами. Они поднимают тяжелые цепы. Они теперь похожи на злосчастных крестьян Венгрии или

Болгарии. Напрасно трудились ученые над мотором внутреннего сгорания, напрасно были построены заводы Харвестера и Форда, напрасно приснился американским и канадским фермерам сон о легком труде, о нежных чудовищах, которые сами пашут, сеют и жнут. Сон кончился. Как некогда, течет пот с лица пахаря, и в памяти угрюмо копошатся слова библейского проклятия: «В поте лица твоего будешь ты есть хлеб твой!..»

Тем временем на другом конце мира крестьяне оставляют сохи, косы и цепы. Первые тракторы взрывают землю, полную живых соков и мертвых легенд. В Советском Союзе много чернозема. Тучная земля нежится на солнце. В нее входит сталь машин. Земля дрожит, млеет и оплодотворяется. Удивленно колхозники смотрят на трактор. Машины оказываются способными на подлинные чудеса — это не сомнительные угодники и не вороватые монахи. Далеко от Манитобы до Кубани! Между ними не только десятки тысяч километров, между ними пятнадцать лет революции. В Америке машины буйно плодились, не зная счета, ни закона. Это были воистину дикие звери: сначала они кормили людей, потом они начали их истреблять. В Советском Союзе машины дались людям не просто. Каждая машина рождается мучительно и с вдохновением, как поэма. Машинам ведут счет задолго до того, как они родятся.

Сначала машины выписывали из Америки. Для того чтобы оплатить эти машины, люди ели меньше хлеба. Они рубили лес, добывали нефть, били дичь, ловили осетров, искали платину и изумруды, работали не покладая рук. Они работали ради одного: чтобы достать эти машины. Потом они построили заводы, чтобы изготовлять у себя тракторы. Они распределили страну на участки: столько-то душ, столько-то машин, столько-то зерна. Они поставили над железными табунами поводыря, которого зовут «план».

В 1924 году в СССР не было тракторных заводов. Советский Союз купил в Америке 2650 тракторов — это казалось непосильной тратой и невиданной победой. В 1928 году первые советские заводы изготовили 25 115 тракторов. В 1931 году в СССР было 200 000 тракторов. Тракторы изготовляют в Харькове

и в Сталинграде, в Ленинграде и в Челябинске. В 1932 году советские заводы должны выпустить 80 000 тракторов и 28 000 комбайнов. Тракторы работают в Сибири и в Казахстане, на Кавказе и на Дальнем Востоке. Была «сивка» — мерило крестьянского довольства. Вместо лошади завелись «лошадиные силы». В 1931 году в СССР 2 000 000 «лошадиных сил» обрабатывали землю.

Фермер Джон Смис одет по-городскому, в его шкапу хранится несколько изысканных галстуков — это память о прежнем благоденствии. На полке — запыленный граммофон. Джон Смис еще помнит мотивы модных фокстротов. Но уныло бредет он за сохой. Он продал трактор и купил лошадь. Он вытирает полосатой манжетой лоб и угрюмо отругивается: он не привык к тяжелому труду. Ему не до галстуков и не до граммофона. Он не насвистывает фокстротов. Он молча идет вслед за сохой. Он идет, потом останавливается и ругается.

Колхоз «Красный Север». Сеня Голубев, усмехаясь, выводит в свет новенький трактор. Он готов с ним поговорить по душам, как говорил его отец с мерином Васькой. У Голубева еще нет ни галстуков, ни граммофона. Он распевает частушки, и в этих частушках еще слышатся озорство и тоска прежних лет. Но он полон нового непонятного веселья. Для стариков трактор — это дьявол. Они грустно смотрят на поля — пшеница всходит дружно. Будет хороший урожай. Вагоны с золотым грузом помчатся в города, в те города, где одни люди придумывают «план», а другие изготовляют таинственные машины. Сеня Голубев весел. Он весел потому, что он делает хлеб не для маклаков, не для богатеев, не для ярмарочных купцов с важными бородами и с мелкой душонкой, — нет, он делает хлеб для всех.

11. БИРЖА

Хлебная биржа Чикаго была торжественно открыта в 1930 году. На открытии ее присутствовал президент Гувер, соблюдая приличие, он улыбался. Об этой бирже давно мечтали короли пшеницы, маклеры и перекупщики. Им было тесно в старом здании. Они зарабатывали мил-

лионы. Они хотели отплатить пшенице и построили в ее честь великолепный храм. В этом храме — сорок этажей. Постройка его стоила двадцать миллионов долларов. Когда здание было, наконец-то, воздвигнуто и, сопровождаемый почтительным ропотом, в него вошел Гувер, все вдруг поняли, что это великолепие ни к чему. Пшеница перестала быть божеством. Она не заслуживает почестей. В огромном храме Гувер казался букашкой, хлебным жучком. Биржа была рассчитана на толпы верующих, на радостный рев, на миллионные сделки. Но печально бродят маклеры из угла в угол. Прежде в течение одного дня на чикагской бирже продавали и покупали не менее ста миллионов бушелей. Теперь бывают дни, когда сделки не доходят до десяти миллионов.

В Чикаго короновались все короли пшеницы: Артур Коттен и Джесси Ланвермор. Теперь короли не выходят из своих дворцов. Перед ними тихие воды Мичиганского озера. О чем говорит им вода? О судьбе короля спичек и короля обуви? О тишине и вечернем спокойствии? О боге благочестивой Америки? Или о том, что в этой благочестивой Америке за год лопнуло две тысячи триста сорок два банка с капиталом в три миллиарда долларов? Молчит озеро, и молчат короли. Тихо на бирже. В гигантских элеваторах гниет зерно. Напрасно пылают печи, пытаясь парами освежить пшеницу, — пшеница умирает.

Короли не думают ни о полях, ни о колосьях, ни о зерне. Пшеница для них — цифры. В Чикаго покупают куда больше пшеницы, нежели ее имеется во всех элеваторах мира. Люди покупают пшеницу, чтобы ее продать. Они покупают не зерно, но абстрактные бушели.

Во всех городах мира существуют конторы хлебных торговцев. Эти торговцы вряд ли способны отличить «барлету» от «манитобы». Зато они в точности знают все курсы дня — и чикагские и ливерпульские. Вот в контору г. Шельда входит молодой человек. У его отца ювелирный магазин, но никто теперь не покупает бриллиантов, и ювелир стал скуповат. Молодому человеку нужны деньги: он любит хорошие автомобили, нарядных женщин, шампанское. Он пришел сюда, чтобы купить две тысячи квинталов аргентинской пшеницы. Он никогда не видал элеватора. Он не сумеет отличить пшеницы от овса. Он даже не

знает в точности, где находится Аргентина. Но вчера ему сказали, что слухи о закрытии «Вит пула» ложны. Следовательно, пшеница поднимется. Он играет на повышение. Дама в бежевой шляпке, напротив, уверена, что «Вит пул» доживает последние дни, — она играет на понижение. Г-н Шельд зарабатывает себе на хлеб. Все они в нетерпении смотрят на аппарат. Любая сделка в Чикаго заставляет биться впечатлительную стрелку — аппарат выстукивает цифру. Дама немного выиграла. Молодой человек продулся. Он может ночью придушить отца. Он может завтра отыграться на маисе. Где-то идут люди по полю, собирая густые колосья. Здесь стучит аппарат и скачут цифры.

Говорят, это и есть хлеб. Тот, о котором молились люди: «Насущный даждь нам!..» В окнах булочных всех городов мира красуются хлебы. Они разной формы и разной выпечки, но они все могут насытить человека. Возле окон булочных всех городов мира бродят голодные. Они жалуются или ругаются. Они говорят на разных языках, но все они хотят есть.

12. ПРОКЛЯТ ХЛЕБ

Второго августа 1932 года на углу Бульвар-де-Капюсэн и улицы Дану два полицейских надели наручники на преступника. Этот преступник никого не убил, но преступление его велико: он хотел есть — и украл хлеб. Дело было так: человек из булочной развозил хлебы, длинные хрустящие батоны. Он вошел в подъезд. На улице осталась тележка с хлебами. Можно ли оставлять без присмотра такое богатство? Мимо тележки проходил безработный. Он хотел есть. Он долго глядел на хлеб. Хлеб был золотой, как счастье. Он подошел вплотную к тележке. Он услышал дивный запах свежевыпеченного хлеба. Об этом запахе поэтично писал Муссолини. Но голодный человек не знал писаний Муссолини. Он не знал, что хлеб надо уважать. Он не знал также, что хлеба в мире чересчур много, что дипломаты и химики ломают себе голову над тем, как бы уничтожить лишний хлеб. Он ничего не знал. Он думал — хлеб для того, чтобы люди его ели, и он хотел

есть. Не вытерпев, он отломил полхлеба и бросился за угол. Тогда к нему подбежали два полицейских и вцепились в его руки. Один из полицейских вынул наручники. Преступника увели в комиссариат. Это было в центре Парижа, рядом с модными лавками, с роскошными кафе. В кафе сидели игроки, те, что играют на понижение пшеницы, маклеры и журналисты. Они пили настойки для аппетита. Один из журналистов, увидав, что преступника увели в комиссариат, раздраженно сказал: «Чорт побери! Из-за фунта хлеба...» Он готов был рассердиться и на полицейских и на мир. Но тотчас он спохватился, — был пригожий летний день, — и, уже улыбаясь, он сказал товарищу: «Кстати, ты читал, что в Риме открылась Международная выставка хлеба?..»

В Риме выставлены образцы хлеба. Они загадочны и прекрасны, как древние изваяния. На них смотрят школьники и дипломаты, смотрят и зевают. Конечно, хлеб — это основа жизни, но вся беда в том, что хлеб никому не нужен. Газеты сообщают, что предвидится снова прекрасный урожай. Это последняя капля!.. Хлеб гниет в ультрасовременных элеваторах и в ветхих амбарах — его слишком много. Люди умирают с голода — у них нет хлеба.

Молчит земля, старая, умудренная, всласть унавоженная земля Европы, нежная целина Канады, едва тронутая первыми тракторами, исступленная и нетерпеливая земля Аргентины, скромная и деловитая земля Австралии. Молчит земля мира. Эта земля плодородна и несчастна. Она проклята всеми за то, что она дает хлеб. Она пробует улыбаться младенческой зеленью нови. Она пробует утешить людей золотом колосьев. Она делает то, что может: она растит хлеб.

Всердцах люди собирают этот хлеб. Они его жгут. Они его гноят в закромах. Они его швыряют свиньям. Они не хотят хлеба. Тем временем множатся темные тени возле булочных, они плотнеют, растут, их все больше и больше. Они хорошо знают, что такое «хлеб наш насущный». Но они не шепчут «даждь!» Зачем просить? Никто не даст им хлеба. Они возьмут хлеб, или они умрут. Гаснут огни городов, поднимается предутренний туман. Вокруг — земля, та земля, которую люди некогда звали «матерью», в которую они клали и мертвых людей и живые зерна. Земля

покрыта туманом. Она молчит. Она рассечена на участки, на поместья, на фермы, на гектары. Она изранена границами и межами. Из-за нее люди готовы убить друг друга. На ней растет хлеб, и вот этот хлеб никому больше не нужен. Люди не могут его поделить. Одни умирают от избытка. Другие оттого, что у них нет ни ломтя. Солнце всходит. Туман пронизан розовым взволнованным светом. Начинается новый день, но он не сулит ни радости, ни покоя. Проклята эта земля. Проклят человеческий труд. Проклят, трижды проклят человеческий хлеб.

1932

СИЗИФОВ ТРУД

На своем веку я видал немало удивительных машин. Я видал краны, которые шутя подхватывают огромные болванки, и ткацкие станки, которые останавливаются, когда рвется тончайшая нить. Я видал машину с железной рукой и невидимым глазом: она проверяет, правильно ли положены в коробку сигареты, и она поправляет малейшее отклонение. Я видал машины, способные определять свежесть куриных яиц, правильность процентных исчислений и тембр человеческого голоса. Я давно перестал удивляться машинам. Но все же, увидав одну машину, я смутился. Я не сразу понял ее сущность. От машины мы требуем большего, нежели от человека: машина не может отделаться поэтическим темпераментом или дурным настроением, она обязана быть разумной. Когда, наконец-то, я понял назначение этой машины, я не успокоился. Я решил посвятить ей строки, достойные ее. Сказку принято начинать издалека, и я начну не с машины, но с моря.

Это было северное туманное море, все расшитое рыбацкими парусами. Женщины в прибрежных деревушках еще носили старомодные голландские чепцы. Здесь нет ничего удивительного — море тоже было голландским, и рыбаки ловили в нем справедливо прославленных голландских сельдей. Кроме того, рыбаки курили глиняные трубки и катались на велосипедах. Они осуждали новшества века, но мечтали об автомобилях. Это были достойные дети своей страны, предприимчивые, как сэр Генри Детердинг, и тупые, как ветряные мельницы. Правда, мельницы давно

бы вывелись, но в Голландии существует «Общество покровительства ветряным мельницам». Куда спокойней быть старой мельницей где-нибудь возле Алькмара, нежели молодым туземцем в голландской колонии.

Мельницам ничего не угрожало. Люди занялись морем. Голландия — страна традиции и прогресса. Она привыкла воевать с морем, и она не хочет успокоиться на своем былом величье. Так родился проект осушения Зюдерзе. Было в точности высчитано, сколько прибавится гектаров земли и сколько селедок пропадет. Дело показалось выгодным, и люди пошли на море. Орган правительственной партии, которая скромно именуется «Партией борьбы с революцией и анархией», писал: «Мы покажем, что пятилетний план осуществим не в стране разнузданной черни, а только в цивилизованном государстве». Для осушения моря были привезены необычайные машины. Это, однако, не те машины, о которых я решил написать эту сказку.

Рыбакам выдали отступные. Задумчиво сосали они свои трубки. Они меняли парусники на тракторы. Они забыли о королевских сельдях и начали толковать о достоинствах голландской пшеницы, в честь королевы названной «вильгельминой». Дочки рыбаков променяли чепцы на амстердамские шляпки. Кинорежиссер Ивенс был приглашен запечатлеть победу человека над стихией: из моря люди сделали столько-то тысяч гектаров превосходной пахотной земли.

Они все предвидели: и стоимость работ, и пафос экрана, и даже охрану старых национальных чепцов. Перед ними лежали папки с полчищами цифр. Однако в серый туманный день к прежним цифрам прибавилась новая: в амбарах мира оказалось шестьсот тридцать миллионов бушелей пшеницы, которая гнила, ибо ее некому было продавать.

Хлеб — не чепцы: он не боится капризов моды, он нужен всем и всегда. Но люди оказались глупее машин: они просчитались. С каждым годом они сеяли все больше и больше пшеницы — в Канаде, в Аргентине, в Австралии. Запасы росли, цены падали, фермеры разорялись.

На первом участке осушенного моря голландский пастор служил молебен: да уродится хлеб! По ту сторону океана другие пасторы благословляли огонь: это не были

огнепоклонники, и огонь они благословляли только потому, что в мире оказалось чересчур много пшеницы, ее надо было срочно уничтожать. Тем временем в Голландии на отвоеванной у моря земле люди сеяли пшеницу. Да и что было делать трудолюбивым голландцам? Не затопить же снова землю!.. Они сеяли, в душе уповая на плохой урожай. Урожай, однако, оказался хорошим. Тогда они стали думать о том, как бы уничтожить пшеницу.

Когда премудрые экономисты говорят, что в мире чересчур много хлеба, не надо понимать это дословно. На все миллионы «лишних» бушелей нашлось бы достаточно и крепких зубов и пустых брюх. Как ни быстро росли запасы зерна в элеваторах, еще быстрее росли толпы безработных и голодных. Корчились от голода миллионы китайцев, но это относится к этнографии или к сентиментам. Хлебная биржа дрожала от стенаний. Банки лопались. Фермеры угрюмо щерились. На международной конференции в городе Риме представители сорока шести государств приступили к обсуждению проекта «организованного уничтожения пшеницы».

Эозин — красная краска. Государственные люди надумали денатурировать пшеницу с помощью эозина. Они хотели удержать цены на хлеб: пусть пшеницу жрет скотина!.. Из денатурированного зерна начали приготовлять корм для коров. Это было великолепным достижением культуры, но рассказ об эозине только присказка — сказка впереди.

Коровы всего мира поедали прекрасную пшеницу — «манитобу» или «барлету». Они ели пшеницу и давали молоко. Из молока люди делали масло. Кроме того, люди ели бифштексы и ростбифы. Казалось, найден благополучный выход если не для коров, то для людей. Но в дело снова вмешались цифры, и здесь я вынужден остановиться на сокровенной природе этих цифр.

Есть цифры статистики. Их изучают специалисты. Они способствуют тому или иному решению. Они необходимы для планового хозяйства. Они объясняют и служат — это ручные цифры. Но есть другие цифры, похожие на диких зверей. В Монте-Карло, например, выходит газета, в ней нет ни телеграмм, ни статей, ни хроники происшествий. Эта газета заполнена одним: длинными колон-

ками цифр. Полоумные игроки прочитывают ее от доски до доски, — в ней значатся номера рулетки, вышедшие накануне. Эти цифры ничего не означают, кроме воспоминаний о проигрыше. Но игроки все еще пробуют найти тайный смысл цифр. Игроков надобно лечить, но что сказать о том мире пшеницы и угля, меди и масла, хлопка и кожи, где люди, якобы трезвые и рассудительные, суеверно дрожат и мечутся перед грудой столь же непонятных и фатальных цифр?

Так на голову свалилась еще одна цифра: скота оказалось чересчур много — и коров, и быков, и телят.

Датчане когда-то сеяли пшеницу. Они во-время отступили, поняв, что им не угнаться за Америкой. В Америке было сколько угодно целины, а датчане жили на небольших островах. Богатства они могли достичь только упорным трудом и высокой культурой. Они начали разводить рогатый скот и свиней.

Они достигли своего: в мире жестоком и бурном Дания казалась счастливым исключением, идиллическим островком, белым домиком среди тенистых кленов. Крестьяне пили коктейли и катались в автомобилях. Можно было ожидать, что вскоре они перейдут на шампанское и обзаведутся маленькими самолетами.

Но в дело вмешались цифры: начался кризис. Попрежнему на маслобойнях стыли густые сливки, попрежнему чадолюбивые свиньи приносили по дюжине нежных поросят, попрежнему на бойнях предсмертное мычание обещало сочные бифштексы. Подвел не скот, подвели люди: другие страны перестали покупать у датчан их первосортные продукты.

Нигде так не жилось коровам, как в Дании. Это приятная страна: люди в ней приветливы, дома чисты, а зелень до того нежна, что любую ферму можно принять за библейский эдем. Людям в Дании тоже жилось неплохо, но особенно хорошо в ней жилось коровам. Я был в Дании в 1929 году и не раз завидовал этим меланхолическим тварям. Они жили в роскошных хлевах с проточной водой — холодной и теплой, летом они гуляли на пастбищах, свежих, как садовый газон, они были окружены почетом и любовью. У каждой коровы была особая книжица, в нее заносились все события ее коровьей жизни. Ей подбирали

достойных любовников. Если она не во-время мычала или если она съедала чуть меньше положенного, заботливые хозяева кидались к телефону — из ближайшего городка приезжал ветеринар, важный, как профессор.

Теперь ветеринара беспокоят много реже: стоит ли платить за лечение при этакой цене на масло и мясо?.. Да и стоит ли теперь разводить этих красавиц, которые загадочно подешевели?..

Англия, Германия, Франция — все они сократили ввоз масла. Масло резко пало в цене. Из вымени коровы еще недавно текло жидкое золото; теперь из него течет скорей всего вода. Конечно, если корова на редкость молочная, стоит за ней ходить, но беда, если корова ослабеет в своем рвении, — тогда ее гонят уже не на библейские пастбища, но на бойню.

Куда хуже, нежели с маслом, дело обстоит с мясом. Датское мясо покупала предпочтительно Германия. Сначала вывоз в Германию поколебала цифра безработицы: миллионы немцев перешли с мяса на картошку. Потом в судьбу говядины вмешались политические проблемы.

Нацисты заявили, что датский Шлезвиг по существу немецкий. В датском Шлезвиге разводили скот на убой. Немцы перестали покупать мясо: они хотели ударить если не по сердцу, то по карману Шлезвига. Границы оказались закрытыми. Экономисты объявили о «перепроизводстве мяса». Датчане приуныли, что им делать с «лишними» коровами?..

Они хотели было изготовлять мясные консервы, но дорогу загородила Аргентина. В Аргентине всего чересчур много: и пшеницы, и шерсти, и мяса. Аргентина продает мясные консервы по цене, едва превосходящей себестоимость жестянки. Датчанам некому сбывать консервы. Что же им делать с коровами?..

В маленьком городке на острове Леланд я увидал последнее достижение капиталистической цивилизации. Фермеры вели здоровых молодых коров на бойню. Это были всемирно-прославленные бурые коровы Дании. Над созданием этой замечательной породы работало не одно поколение. Счастье скольких крестьян пяти частей света еще могли бы составить эти «буренушки»? Но их вели на бойню, и приемщик кратко помечал: «для уничтожения».

Мясо падало в цене изо дня в день, и, чтобы приостановить это падение, государство решило уничтожать скот. Сначала уничтожали больных коров. Это еще объяснялось заботами о здоровье населения. Потом начали уничтожать слабых и пожилых коров — это было якобы поднятием качества мяса. Теперь уничтожают молодых и вполне здоровых коров — и объяснения теперь закончились. Молчат газеты. Молчат ветеринары на бойнях. Молчат фермеры. Каждую неделю в Дании молча уничтожают пять тысяч голов рогатого скота.

Шесть процентов туши идут на мыло или для других технических надобностей. Остальное сжигают, сжигают суповое мясо бедняка, жаркое семьи, сжигают потому, что, если верить почтенным экономистам, мяса в обнищавшем полуголодном мире чересчур много.

В городе Накскове, однако, додумались до «разумного применения мяса». Его не уничтожают, оно перерабатывается для высоких заданий. Там я и увидал машину, столь глубоко поразившую меня. Эта машина превращает мясо и кости в массу, массу потом варят, прессуют, и вместо туши получается лепешка землистого цвета — корм для свиней. Так найден выход из кризиса: надо уничтожать коров, чтобы ими кормить свиней.

Разгадка столь таинственного производства проста: Англия еще покупает свиное сало. Английские хозяйки еще требуют бекона, а датские свиньи созданы, воспитаны и приноровлены для одного: они идут на утренний завтрак англичан. Прежде в Дании водились пятнистые свиньи. Их мясо и сало ничуть не хуже мяса и сала белых свиней. Но англичане — люди капризные, они не признают пятнистых свиней; пятнистые свиньи теперь парии, они стоят вдвое меньше белых.

Не следует думать, что мировой кризис обошел свиную породу. Цены на свиней тоже резко упали. Экспорт сократился. Крестьяне получают особые карточки: право продать в год столько-то свиней. С карточкой свинья стоит девяносто крон, без карточки — сорок. В газетах можно увидеть объявления: «Продаю свиные карточки». Фермеры спекулируют не живыми свиньями, но мертвыми тушами — правом продавать свиней.

Чуть ли не каждую неделю Англия сокращает число закупаемых свиней. Бекон остается беконом, и все англичане знают, что нет на свете бекона лучше, нежели датский. Но и доминионы остаются доминионами. Приходится считаться не только с нежностью сала, но и с требованиями Новой Зеландии. Может быть, вскоре английская граница окажется закрытой для датских свиней, как закрыта немецкая граница для датских коров. Тогда?.. Тогда придется заняться очередным делом и уничтожать поросят, которые теперь беспечно пожирают мясо уничтожаемых коров.

Вот он — трагический хоровод капиталистического мира! Они осушают моря, чтобы сеять пшеницу. Потом они уничтожают пшеницу: они делают из нее корм для коров. Потом они уничтожают коров и делают из коров корм для свиней. Наверное, какой-нибудь предприимчивый человек уже разрабатывает проект рационального использования свиней, которых завтра датчане начнут уничтожать.

Фермеры уже раздумывают, чем бы заменить коров и свиней. Их упорство и трудолюбие неистребимы. Они занялись теперь плодоводством, сажают яблони или груши. Они продают фрукты за границу. Пока это еще только деревья. На них нападают насекомые, а против насекомых можно бороться. Но близок день, когда на них нападут безумные цифры, похожие на номера рулетки, и тогда придется вырубать драгоценные сады.

Нигде так не разительна тупая разрушительная сила капитализма, как в этой маленькой благоустроенной стране. Каждая пядь земли здесь выхолена, как клумба. Люди здесь привыкли работать с утра до ночи. Здесь свиной хлев похож на больницу, а труд простого крестьянина тесно связан с последними научными достижениями. Эта страна пережила мираж всеобщего благоденствия. Конечно, и поныне жизнь в ней легче, нежели в Германии или в Англии. Но датчане увидали, до чего их судьба связана с судьбой всего мира. Они еще не узнали ни голода, ни нищеты, но они уже узнали нечто горшее: обреченность труда.

Зрелище уничтожаемых коров нестерпимо для всякого человека. Я увидал болезненную гримасу на лице городского ветеринара. Я увидал угрюмые лица рабочих возле

загадочной машины. Это не просто истребление добра, это вандализм. Всем известна низость костров, на которых бесноватые фашисты уничтожают теперь книги. Глядя на сожжение туш, я вспомнил костры с книгами: гибнет человеческий труд, и всякий, кто знает, что такое работа, не может без волнения глядеть на это тупое, страшное дело.

Есть в уничтожении мяса и нечто другое, столь же постыдное. Я не буду сейчас говорить о голодных призраках, которые я видел на улицах Берлина или Манчестера. Я напомню о соседних, относительно благополучных странах. В Швеции, в районе лесных промыслов, я видал тысячи безработных, которые едят мясо два-три раза в год. Я видал в Крамфорсе рабочих целлулоидной фабрики, которые питаются картошкой, селедкой и овсянкой, — мясо им не по карману. Я видал в Трондхейме матросов и грузчиков, оставшихся без работы. У них осанка морских людей, гордых и упрямых. Они должны протягивать руку и просить несколько эре на хлеб. Они никогда не едят мяса. Я хорошо знаю, что такое голод, и мне было страшно глядеть на мясо, которое передо мной деловито, тщательно уничтожали.

Пароход, на котором я ехал из Дании во Францию, был гружен старыми клячами. Парижская беднота будет жевать сухую жесткую конину. Неискушенный человек, пожалуй, спросит: почему же не везут во Францию датских коров?.. Существуют заградительные пошлины. Существует «мясная политика». Существуют цифры. Старую клячу можно вывезти во Францию, и в Дании она стоит дороже трех молодых коров. Это похоже на бред. Это, однако, та экономика, которой они еще пытаются спасти свой мир.

Когда-то пролетариат был одним из классов общества. Он боролся за свое право на жизнь. Он взывал к интересам порабощенных. Он требовал справедливости. Он выступал против другого класса, алчного, но живого. Буржуазия тогда еще строила замечательные заводы, разводила породистых коров и по-своему двигала вперед человечество. Это время давно миновало. Мы вправе теперь взывать не к чувствам класса, не к совести, но к простому рассудку. Мы вправе говорить о спасении цивилизации. Это они довели мир до распада. Вначале они требовали труда

рабов, которые строили для них прекрасные здания. Теперь они требуют труда Сизифа, бессмысленного труда, осужденного на уничтожение. Они превратили мир в стол рулетки, а жизнь каждого человека в лихорадку игрока, не знающего, что с ним станет через минуту. Они рассказывают глупые истории о работницах, обливающих керосином дворцы, и о малолетних анархистах, швыряющих бомбы. Но вот они — бомбисты, поджигатели, варвары нашего века! Вы увидите — завтра они начнут уничтожать свиней и обращать свиные туши на удобрение, чтобы сеять пшеницу, чтобы давать пшеницу уцелевшим коровам, чтобы этих коров давать свиньям, а свиньями удобрять землю. Когда-то они были жестокими, бездушными дельцами. Теперь они превратились в буйных сумасшедших.

1933



ПУТЕВЫЕ ОЧЕРКИ

ГЕРМАНИЯ

ПИСЬМО ИЗ КАФЕ

Дорогой друг, я все еще в Берлине. Ты удивишься. Как можно, когда существуют аспид и мимозы парижских бульваров, теплые ступени римской Пьяцца Спанья, смолистое кианти в траториях Флоренции и прочие превосходные вещи, сидеть в этом городе, похожем на запущенную казарму, с выбитыми стеклами, пропускающими круглый год холодные норд-осты? Ведь сколько раз в былые времена, проезжая Берлин, торопились мы скорее перебраться с одного вокзала на другой, подняв воротник пальто, не глядя на прямые, скучные улицы. Берлин тогда казался нам не городом, а узловой станцией. Что же, мы не были столь далеки от правды. Конечно, многое изменилось в Европе. Говорят, что и Берлин сильно изменился. Но сильнее всего изменились мы сами. Если я живу в Берлине, то отнюдь не оттого, что в нем появились мимозы или кианти. Нет, просто я полюбил за годы революции грязные узловые станции с мечущимися беженцами и недействующими расписаниями.

(Впрочем, может быть, все это — литература, и причины, удерживающие меня в Берлине, не имеют ничего общего с моей «железнодорожной страстью». Ведь ты знаешь, что мимозы парижских бульваров находятся под заботливым покровительством г. Пуанкаре, а на широкой лестнице Пьяцца Спанья резвятся чернорубашечники Муссолини.)

Я не берусь тебе объяснить, что привлекает в Берлин табуны иностранцев. Я пишу это письмо из «Романишес кафе». Это — очень почтенное учреждение, нечто вроде генерального штаба фанатических бродяг, вселенских хлопотунов и просвещенных жуликов, исцеленных от узкого национализма. Профессию моих соседей определить трудно. Мягкие бесформенные шляпы, яркие, но засаленные галстуки, давно не бритые щеки в равной мере характерны и для художника-дадаиста и для неудачливого спекулянта, торгующего долларами поштучно. Прислушиваюсь к беседам. Щупленький итальянец громко шепчет, что следует к июню или, самое позднее, к июлю организовать международный поход на Рим. Рядом с ним какой-то голландский литератор, необычайно крайний, возмущается гастролями московского театра: «Помилуйте, что за ретрограды!» В то время, как у них в Гаарлеме выработана декларация, отменяющая и авторов и актеров, — люди, приехавшие из красной Москвы, играют... Расина! Не менее голландца возмущен его сосед, национальности абсолютно неопределимой: он вчера купил датские кроны, а сегодня они пали. Государственный банк, вместо того чтобы заботиться о финансах страны, разоряет людей. А цены растут: чашка кофе сегодня уже восемьсот марок. Возмутительно! На этом сходятся все.

Все они ругают Берлин — это город, у которого нет лица.

Они правы. Берлин уныл, однообразен и лишен лица. В этом — его «лицо». Трудно разобраться в длинных, прямых улицах, одна — точная копия другой. Можно итти час, два — и увидеть то же самое: дома с противоестественными валькириями или кентаврами на фасадах, чахлые деревья, общипанные вечными сквозняками, и на углу — сигарную лавку «Лейзер и Вольф». Это — выставка, громадный макет, приснившийся план. Люди должны здесь жить голо, схематично, мечтать о мировых походах, изобретать теорию относительности и есть вареный картофель.

Выходят на ежедневную учебу взводы домов, мерзнут кентавры, облетают деревья, и абстрактный приказчик сигарной лавки «Лейзер и Вольф» продает схематическому покупателю сигару, сделанную из листьев капусты.

Оба условно называют ее «гаванной». В годы войны им снились сказочный Багдад, нефть и богатство. Теперь они смотрят в кинематографе «Теорию относительности», которая сопровождается жалобами Шумана и стонами жен.

В Европе только один современный город — Берлин. О, конечно, в Лондоне больше автомобилей, но, кроме автомобилей, в Лондоне имеются уютные домики, проповедники Гайд-парка, рождественские индюшки, Вестминстерское аббатство, семейные радости. Лондон — это «рай» и «ад» нравоучительных картинок; здесь плакал бедный Давид Копперфильд. А если члены Пиквикского клуба вместо омнибусов передвигаются в автобусах, то это лишь некоторое неуважение к памяти Диккенса. Ты любишь Париж? Я его тоже люблю. Это, пожалуй, только «рай», и когда меня в прошлом году из этого «рая» выгнали, я, как Адам, застенчиво улыбался. Что говорить — замечательный город! Ты ведь знаешь его не хуже меня. Вспомни мастериц под каштанами, девочек, прыгающих на расчерченной мелом мостовой, букинистов на набережной Сены, черных дроздов и символических поэтов, «страшного» анархиста Себастьяна Фора, который учит хоровому пению младенцев. Разве это не грандиозная провинция, не очаровательные выселки счастливейших людей?

Да, разумеется, и у Парижа и у Лондона имеется «свое лицо». А Берлин — просто большой город. Среди других городов — это Карл Шмидт, Поль Дюран, Иван Иванович Иванов.

В этом городе, похожем на огромный вокзал, идет действительно вокзальная жизнь.

В Париже я видел и дроздов и символистов. Война как будто кончилась. Вдовы вышли замуж. Калеки привыкли к костылям. Аперитивы попрежнему манят своей горечью и сладостью. Быт все тот же, я радуюсь за Париж, — он заслужил своих дроздов и символистов.

Здесь больше нет быта. Старое ушло. Офицеры из «Контрольной комиссии» своими руками разбивали превосходные прожекторы. Осколки долго валялись на земле. Новое не явилось. Наступила вокзальная жизнь.

Прочитав эти слова, не подумай о былых временах, о вылощенных, нарядных вокзалах Франкфурта и Штутгарта. Это очень неприютный вокзал. Если в нем имеются

чистые и спокойные уголки, то они мало кому доступны. Я вспоминаю узловую станцию Жмеринку во время немецкой оккупации. Загаженный беженцами зал. В углу столик, накрытый чистой скатертью, и на нем карточка: «Только для гг. германских офицеров». Такой столик существует и в Берлине, — витрины хороших магазинов, плакаты курортов, театры, автомобили. На них значатся цифры; в переводе на немецкий язык эти цифры читаются: «Только для гг. иностранцев».

Особенность здешней жизни — в прирожденной страсти к точным расписаниям и в полном отсутствии их. В Берлине нет ни анархии, ни революции, ни разложения. Но над большим прямым городом, над валькириями, даже над сигарными лавками стоит неизвестность. Никто не принимает этой жизни всерьез. Никто не знает, когда придет поезд и куда увезет он растерянных пассажиров.

Какой строй в Германии? Говорят, что республика.

Может быть... Я живу в маленьком пансионе. Над моей кроватью висит фотография императорской семьи. Каждое утро, просыпаясь, я считаю, сколько у кайзера сыновей. Подсчитав, я выхожу на улицу, — называется она, кстати, Кайзералле. Рядом с ней находится Гогенцоллернплац. Как-то левые предложили переименовать улицы. Но члены муниципального совета, сославшись на величие истории и на интересы шоферов, предложение отклонили. Впрочем, я тебя уверяю, что в Германии была революция, и Келлерман даже написал об этом популярный роман. Хочу оправдать и мою хозяйку: в витрине любого писчебумажного магазина имеются превосходные фотографии кайзера и всех его домочадцев. Они стоят дешево и хорошо раскупаются. В каждой приличной семье должен быть хоть один портрет кайзера. В рабочих семьях можно обнаружить другие портреты: Бебеля, двух Либкнехтов. Но я нигде не видел фотографий людей, которые теперь управляют страной.

Да, в Германии безусловно республика, я вспомнил — существует даже закон об ее охране. Берлинцы читают в проходе трамвая «Б. Ц.» и узнают, что в Дрездене победили коммунисты, а в Мюнхене фашисты готовятся к перевороту. Читая это, берлинцы думают, что и Дрезден и Мюнхен — счастливые города. Там имеются расписания.

В Берлине же никто не знает, когда и куда уйдет ближайший поезд.

Как в каждом городе, в Берлине существуют «националисты» и интернационалисты. Они живут в разных кварталах. Западная часть Берлина настроена сверхпатриотично. Но это отнюдь не оттого, что она ближе к Руру. Нет, западные кварталы далеко от чада фабрик и поэтому заселены «порядочными людьми», а, как известно, «порядочный человек» не выносит французского языка. Часто он не может вынести и русского языка, ибо никак не хочет поверить, что русский язык — это не польский язык. Он непримирим. «Довольно иностранцев!» — ворчит он. Поворчав, он идет на биржу, покупает бумаги захваченных французами предприятий, насмехается над государственным займом, играет на понижение марки и, заработав за одно утро десять миллионов, жертвует тысячу марок «в пользу борцов Рура». По дороге домой он заезжает в большой парфюмерный магазин. На дверях надпись: «Никаких французских товаров». «Порядочный человек» знает, что магазин принадлежит другому «порядочному человеку», а надписи на дверях предназначаются для зевак; спокойно он покупает флакон духов Герлена: подарок любовнице.

Люди, которые живут на восточной и на северной окраинах Берлина, считают себя интернационалистами. Но они не играют на бирже. Они от своих скудных грошей отделяют гроши и шлют их через профсоюзы рурским сотоварищам. Иногда они отправляются в чужие кварталы и, проходя по улицам Вестена, поют «Интернационал». Порой и обитатели Запада переступают границы, — пеньем «Дейчланд юбер аллес» они дразнят Восток. Тогда все путается на узловой станции, и даже такая солидная, монументальная вещь, как патриотизм, который раньше был гранитом памятников Бисмарку и медью крупповских игрушек, становится неясной, меняющейся формой. Может быть, люди, называющие себя «интернационалистами», и являются подлинными патриотами?

В двенадцать часов ночи закрываются кафе. В двенадцать часов открываются «нахт-локали». Иностранец стоит на улице, — куда ему итти? Подходит немец, солидный, добродетельный немец: «Хотите?..» Они долго идут

темными, похожими одна на другую улицами. Условный стук в окно. Иностранец пугливо озирается: ведь это — притон! Но он входит в обыкновенную семейную квартиру. На стенах — фамильные фотографии к серебряной свадьбе. Хозяин, который днем регистрирует бумаги в какой-нибудь конторе, потчует гостя похабными историями. Хозяин еще помнит прошлые времена и говорит с легкой тошнотой. Хозяйка подает поддельное шампанское и желудовый кофе. Потом приходят дочки, равнодушно раздеваются догола и танцуют. Они молоды и ни о чем не помнят, им только холодно: семья экономит на угле.

Я тебе пишу не о чудовищах, а о жизни бедных людей, которые не виноваты ни в том, что они хотят есть, ни в том, что хитрый немец, сделавший в Гамбурге луну, еще не придумал новой морали.

Те, кому не нужны оброненные иностранцем доллары или шиллинги, развлекаются иначе. А может быть, так же: смотрят, как танцуют голые женщины, танцуют сами, главным образом — танцуют. Поехал я этой зимой в горы, на границу Богемии. Деревушка оказалась переполненной берлинскими «шиберами». Жены «шиберов», одетые в яркoлиловые или изумрудные рейтузы, съезжали на своих собственных задах, весивших не менее трех пудов, со снежных гор, а поработав, спешили в танцульки отплясывать фокстрот. В Берлине столько же танцулек, сколько в Париже кафе и в Брюсселе банков. Танцуют все, всюду и везде, танцуют длительно и похотливо.

Немудрено, что искусство современной Германии охвачено удушающими туманами. Ты полагаешь, что экспрессионизм — это школа? Тщетно искать в нем художественные каноны. Экспрессионизм — истерика. В галлерее «Штурм» висит громадное полотно, закиданное красной краской. Называется «Симфония крови». Явно — художнику было не до картин: он хотел плакать или буянить. Под рукой оказались краски. Мог бы оказаться револьвер, — было бы хуже. В том же «Штурме» поэты читают стихи. Полумрак. Зеленые лампы. Невыносимый вой. «Тайна»... «Кровь»... Становится не на шутку страшно. Когда устраивает припадок истерики какая-нибудь Зизи или Мими, — это, может быть, даже мило. Но когда голосит и бьется здоровый, работящий Карл Шмидт, — это тяжело.

Моя хозяйка тоже больше ни во что не верит. Доллар и марка вертятся на трапециях. Вслед за ними вертится столь скромная вещь, как цена на картошку. Купить сегодня или завтра?.. Ничего не известно!

Подделка раньше была подделкой. Теперь она стала бытом. В Берлине все — «эрзац». Табак из капусты, кофе из фасоли, пирожные из картошки. Вместо рубашек — одни манишки. Когда берешь в руки простейшую вещь, никогда не знаешь, из чего она сделана. К этому быстро привыкаешь, и это очень хорошо гармонирует со всей вокзальной жизнью. Если бы мне дали здесь хлеб с маслом, я, наверное, принял бы масло за подделку маргарина.

Этот город беженцев, несмотря на отчаяние, исступленно работает. И, глядя на его работу, порой забываешь даже о вокзале, — видишь только железнодорожные мастерские. А зачем люди работают и что будет завтра — этого они не знают.

Работы иностранцы обыкновенно не замечают. Как-то трудно поверить, блуждая по запущенным улицам Берлина, слушая заглушенные звуки джимми, глядя на всякие «симфонии крови», что рядом идет работа. За два последних года проложена большая линия метрополитена. Науэнская радиостанция выросла в четыре раза. Немцы не могут не работать, как неаполитанцы не могут не петь.

Но, как бы ни успокаивала берлинцев работа, неизвестность томит их. Для чего все эти вещи?.. Не забывай, что речь идет о народе философов, доктринеров и моралистов. В маленькой кофейне «Иости», за чашкой желудового кофе, посетители в перелицованных пиджаках спорят о судьбах Европы.

В нетопленых опустевших квартирах мелких бюргеров пылкие юнцы грезят о великолепии былой империи. У них темперамент не моей хозяйки. Портретов кайзера им мало. Там рождаются убийцы Ратенау и Эрцбергера.

А в кварталах, северном и восточном, молодые люди жадно посматривают в ту сторону, где живешь ты, дорогой друг, где имеются разные странные и завлекательные вещи...

1922

ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

1. ДЛИННЕЕ ЖИЗНИ

Вечером, бродя по чрезмерно длинным проспектам Берлина, где много света и мало улыбок, где свет заморожен, где, завороженные сигнальными стрелками, как в детской сказке, замирают степенные автомобили и автоматические пешеходы, где богатство, порядок, пустота, — бродя по этим проспектам, чья длина томит меня подобно математической проблеме, я беру за руку моего друга и тихо признаюсь:

— Ты видишь, мы в двадцатом веке. Это замечательно и это беспощадно. Мы можем на радостях отстукивать чарльстон или, зайдя в уличную уборную, трагически плакать. От этого ничего не изменится. Время вяжет наши ноги крепче, нежели земля. Можно уехать из Берлина, нельзя уехать от своего времени. Я презираю этот механический комфорт — и я волочусь за ним, как за невестой с приданым. Дезертировать в прошлое могут только археологи или старые девы.

Маленьким мальчиком я подъезжал впервые к Берлину. Раскрыв толстую непонятную книгу, похожую не то на библию, не то на учебник тригонометрии, мать сказала мне:

— Мы приедем в Берлин в девять часов двенадцать минут.

Я не поверил ей. Я ведь знал тогда только русские вокзалы, с тремя звонками, с неторопливыми пассажирами,

попивающими чай, с флиртующими телеграфистами и с душистой черемухой. Я знал, что если побежать сорвать ветку черемухи, поезд не уедет, — поезд поймет, что нельзя без черемухи. Помолчав, я переспросил:

— Ну, а часов в десять или в одиннадцать мы все же приедем?

Тогда мать, усмехнувшись, ответила:

— Здесь поезда никогда не опаздывают.

Помнится, когда поезд действительно подошел к вокзалу Фридрихштрассе и я, взглянув на часы, увидел девять часов двенадцать минут, я испугался.

Теперь я знаю: здесь ничто не опаздывает. Притти до срока? Но это пахнет катастрофой, а здесь не любят катастроф.

Когда подъезжаешь к Берлину, он светится издали, как гигантский циферблат. Он равномерно вздыхает, как образцовый хронометр.

Сказать, что меня в Берлине поразили хорошие стихи? Нет, стихи пишут и в других городах, к тому же стихи писали люди всегда: это — как дождь. Другое дело — пылесосы или фосфорические круги вокруг выключателей: помилуйте, сколько секунд мы теряем ежедневно, разыскивая в темноте выключатель?.. Жизнь в Берлине продумана, как железнодорожное расписанье: в ней нет ни катастроф, ни простых несогласованностей. Десятки тысяч голов заняты усовершенствованием быта. Один придумывает, как бы рассадить поэкономней пассажиров самолета. Другой ограничивается тем, что изготовляет зажигалку, дающую огонь при одном небрежном движении: это — для снобов. Ведь экономить время, экономить человеческие усилия, экономить что бы то ни было — сделалось новым снобизмом.

В Берлине слишком мало автомобилей, их слишком мало для той сложной системы регулирования движения, которая продиктована манией порядка. Кажутся смешными два или три автомобиля, старательно вальсирующие по площади или цепенеющие по указанию полицейского среди идеально пустого пространства. Это, если хотите, символ: здесь слишком много организующего начала и слишком мало того, что нужно организовать.

В одном из помпезных кинематографов Курфюрстендама я глядел американский фильм «Город Львов». На мой вкус — это дурной фильм, и мне было смешно в «трагические» минуты. Мне было смешно, — я смеялся. Соседи испуганно поглядывали на меня. Они не цыкали, не протестовали: ведь это были хорошо воспитанные люди Вестена. Они ждали вмешательства провидения, полиции или психиатра. Они не могли понять, что человеку может быть смешно «не во-время».

В уличных уборных Берлина (там, где я предлагал воображаемому другу трагически плакать) висит надпись: «Не позже, чем через два часа после сношения с женщиной поспеши в ближайший санитарный пункт», — и адрес. Я не возражаю. Я только слегка боюсь людей, которые не пропустят этих «двух часов», которые обо всем вспомнят во-время: подыскать женщину, съесть шницель, предаться любви и забежать в ближайший санитарный пункт. Для них уже не нужны никакие стрелки: они, кажется, рождаются с огромным сигнальным диском в груди.

В одном из маленьких театров я видел обозрение «США». Посол Соединенных Штатов требовал запрещения этой пьесы, и пародия чарльстона, где идеально идиотичны лица граждан «великой республики», вошла в дипломатическую ноту. Я не вижу в этом ничего удивительного: европейцы слишком долго обожествляли Америку; производители чикагских свиней уверовали, что они впрямь полубоги. «Американизм» стал религией, и жевательная резинка приобрела мистическое значение евхаристии. Берлинская публика смеялась, глядя «США», но это не было смехом вчуже. Не над смешными повадками непонятных дикарей смеялись берлинцы — над своей собственной верой:

— Мистер из Чикаго оказался погрешимым, как папа!

Берлин — апостол американизма, и зажигалки здесь — не просто зажигалки, это — предметы особого культа. Ведь рационализм и утилитарность здесь восприняты со всем наивным жаром немецкого сердца. Но Берлин — все же не Америка. У Берлина нет патентованной улыбки американца, довольного и миром и собой, — улыбки, которая рекламирует одновременно политику Кулиджа и

наилучшую зубную пасту. Получив и фосфорические выключатели, и твердую валюту, и «клубные кресла», Берлин все же не улыбается. Он остается классическим немецким фантазером. Ревностное насаждение материальной культуры здесь диктуется не жаждой удобно жить, а маниакальными наклонностями самодура, фантаста, метафизика. Это — самый удобный город в Европе, и это в то же время — самый угрюмый, самый не удовлетворенный жизнью город. Нужно только понять, что «клубные кресла» — не мебель, а абстрактные формулы, части воображаемого уравнения, и тогда вам откроется душа этого сумасшедшего города, где проспекты длиннее жизни, где много камня и нет архитектуры, где все — уют, где жизнь так неуютна, так сиротлива, так гола, что хочется думать о жестокой судьбе древних завоевателей, об египетских пирамидах или об остановленном сигнальным диском бедном Агасфере, который стоя идет, который не может итти, ибо он — уже не человек, а камень, город.

2. ДЕМОНЫ И ВЗБИТЫЕ СЛИВКИ

Несовместимость рабочего Нордена и буржуазного Вестена сбивается на нравоучительную картинку или на агитплакат. Дело не в нищете, — по сравнению с еврейским или китайским кварталами Лондона, по сравнению с бытом английских безработных берлинский Норден — пример сдержанности, если не благополучия. Норден беден до заплат, но не до лохмотьев, до голодной анемии, но не до спазм. Он молчалив, сух и стыдлив, с его хозяйками, педантично моющими меланхоличные стекла, и с кружкой пива главы семьи, на которую без зависти благоговейно смотрят домочадцы.

Но нигде, кажется, нет такой крикливой, такой наивной и вызывающей роскоши, как в берлинском Вестене. Глядя на этих дам, вываленных в золоте, как котлеты в сухарях, на эти рестораны, таинственные, как молельни, на эти притоны, построенные новой разновидностью царя Соломона, — забываешь, что находишься в центре старой Европы. Такие сны должны сниться золотоискателю где-нибудь на Аляске.

Роскошь Вестена — не прихоть отдельных мотов и снобов, не антикварные уникумы, это быт целого класса. Ананасы или икра в окнах гастрономических лавок должны грудиться, подаваться оптом. Любая кондитерская обязана щеголять необычайными лампами или особой моделью кресел. Десятки тысяч людей здесь предаются роскоши аккуратно и настойчиво, как ремеслу.

Приезжий должен посетить кафе «Шоттенгамль» в Тиргартене. Это — не вульгарное питейное заведение, это — памятник эпохи. Если целая полоса германской истории становится понятной, когда видишь угрюмый камень Аллеи Победы, наши дни оставят после себя эту помпезную кофейную. В ней несколько этажей и много зал, на любой вкус; со старинным фарфором и с кубистическими фресками, с романтическими уголками и с американской деловитостью. Стены одной из зал сделаны из тонкого мрамора, пропускающего свет, они нежно розовеют, как заря или как ладонь, поднесенная к огню; в других имеются журчащие фонтаны, люстры, похожие на Млечный путь. Вместо карточек на столах пухлые фолианты. Список питий и яств напоминает энциклопедический словарь. На «А» значатся: «Ананас-Мельба», «Ананасовая бомба», «Арак», «Аквавита», «Адвокат», «Ангостура», «Априкот-Брэнди», «Анизет», «Алаш» и еще много иного. Здесь представлены все нации, как в Женеве, а чтобы нам, русским, не было обидно, кроме банальной «водки» предлагается некий таинственный «Николашка».

Однако всего примечательней в «Шоттенгамле» уборные. Это — загадочный храм. Здесь можно взвеситься и покрыть лаком ногти. Для духовных потребностей здесь продаются газеты и книги. Романы Вассермана беседуют с душами посетителей. Юноши томно пудрятся и подводят брови. Здесь же рекламируются улыбками олеографических красавиц наилучшие марки резиновых принадлежностей. Отсюда можно выйти снаряженным и для идейных разговоров и для любовных проказ. По патетичности и универсальности кафе «Шоттенгамль» напоминает средневековые соборы. Грядущие археологи будут ломать голову — чему же поклонялись обитатели берлинского Вестена в эпоху, последовавшую за мировой войной?..

В кафе помещается человек триста, и оно всегда полно. Глядя на танцы, дивишься уродству ног, а также высокому качеству чулок. Еще выразительней — руки: они взяты у каменных валькирий. Пальцы едва-едва намечены; эти короткие отростки массивны и прочны, как замки сейфа. Когда такие пальцы присасываются к весьма добротной спине, — это полно физиологической мистики, и это в то же время тривиальная банковская операция. Что сказать о геометрии черепов, о жирах, о бритых затылках и мельчайшем бисере глаз?.. Мне трудно представить себе, что эти люди способны выдумывать, мастерить, создавать.

Я где-то видел эти лица, эти пальцы, даже это кафе — давно, когда оно еще не было выстроено. Я вспоминаю неторопливые вздохи дорогого альбома и юркий треск газетных листов, годы, когда все было внове: и костыли инвалидов, и расстрелы, и едва круглеющие животы богачей, переживавших тогда самое начало беременности, мир, раскрывшийся передо мной, жестокий и органичный, грандиозная демонология или плевок, подвергнутый микроскопическому анализу, — рисунки Гросса. С тех пор прошло несколько лет, мы разучились и недоумевать и возмущаться. Гросс перестал быть «злободневным». Он остался, однако, художником своего времени, и, конечно, кафе «Шоттенгамль» создано им.

В кафе «Шоттенгамль», в тысячах других кафе или кондитерских ежедневно с четырех до пяти или с пяти до шести встречаются влюбленные парочки. Они не целуются, не воркуют, не смеются, не льют нежных слез. Они молчат — угрюмо, настойчиво молчат. Их губы живут врозь, встречаются только пальцы, и пальцы безумствуют, судорожно сжимая друг друга. При этом влюбленные пьют кофе со сливками. Я сказал бы, что здесь любовь проходит среди легчайшей пены взбитых сливок и многопудового молчания.

Иногда в кафе имеются особые закоулки — «сепарэ», похожие на стойла конюшни. Там взбитые сливки стоят на двадцать пфеннигов дороже, но и там дело дальше вывихнутых пальцев не идет. Впрочем, порой все кончается банальным убийством, — мужчина душит женщину или перерезывает ей бритвой горло. Когда я гляжу на моих

соседей, на этих почтенных людей, негоциантов, подрядчиков, биржевиков, у которых апоплексические затылки и белокурые ангелические подруги, я вспоминаю рисунок Гросса: труп женщины и убийца, аккуратно моющий в тазу руки.

Если бы история судила посетителей «Шоттенгамля», я мог бы выступить их адвокатом. Я сказал бы: «Да, у этих людей было все: мраморные стены и фонтаны, девять напитков на букву «А» и четырнадцать на букву «Б», у них были текущие счета и готовые на все любовницы. Но они не знали простого человеческого счастья. Они ломали пальцы девушек, неистовствовали, сидя в удобных креслах, и возвращались домой если не с замаранными кровью руками, то с тяжелой, зловещей одышкой». И я верю, что мои подзащитные получили бы «заслуживают снисхождения» истории, как получили его заточники Эскуриала или самоистязатели-персы.

3. СОСЕДСТВУЯ С ЗОНТИКОМ

Вагоны — это не только копоть в носу и шуршание пергаментной бумаги, из которой предусмотрительный сосед вынимает извечные и скучные, как пословицы, бутерброды, — это еще часы вне привычной жизни, возможность подумать и подвести итоги.

Господин Мюллер или Шуллер, ваша гениальная маска не обманывает меня. Вы хотите доказать мне, что заняты только бутербродами? Вы непроницаемы: зонтик в чехле, очки в круглой оправе, юмористический журнал, дорожные туфли, дорожная кепка, дорожные бутерброды... Когда вы перестаете жевать, вы смотрите на расписание: поезд в Галле стоит четыре минуты. Очень приятно! Потом вы вынимаете книжечку с передвижными страницами и, глядя на белый листок, выдавливаете из себя несколько цифр. Вероятно, это новые цены на мыльный порошок или на подтяжки. Вы — самый нейтральный член нашего вдоволь пестрого общества, вы — коммивояжер. Но я не верю ни зонтику в чехле, ни профессии. Стучат колеса. Мелькают станции с остановками в четыре и даже пять минут. Ваши мысли становятся все чище, все

суше, все голее. Вы уже думаете не о проданных подтяжках, но о своей нелепой жизни. Не стоимость порошка знаменуют эти цифры, но роковые даты. Если вы не выйдете на ближайшей станции, дело дойдет до метафизических глубин, до Шпенглера, до Китая, до искусственного человека. Тогда-то сдержанный ваш смешок над глупой шуткой продымленного журнала наполнится нестерпимым сарказмом. Ах, эти обманчивые бутерброды!..

Я тоже занят итогами. Правда, я стараюсь быть скромным, — я не думаю ни о прожитой жизни, ни о буддизме. Я только пытаюсь привести в порядок впечатления нескольких недель. Вот я снова увидел Германию после долгой разлуки. Все здесь изменилось. Люди отъелись, обставились, обжились. Здесь — новый мост, там — новое кафе. Позади вместо исторической трагедии несколько некрологов и жестокий анекдот. (Не над ним ли, кстати, смеется унылый сосед?) А душа? Душа все та же. Ее не изменили ни бедность, ни унижения, ни труд, ни новое богатство. Зонтик в чехле лежит на полке. Он все тот же. Он может многое объяснить. Но обычно он только все затемняет.

Мы ближайшие соседи этих Мюллеров. Крестьяне в глухих селах и до сих пор всех иностранцев зовут «немцами». Можно забыть наполеоновских гренадеров, но не Карла Карловича, который был пивоваром, продавал анилиновые краски, выделывал колбасы и читал лекции о химических удобрениях. «Немцы» для нас — не отвлеченное понятие, это — механическое пианино, это — аппарат землемера, это — пресловутая луна, сделанная якобы в Гамбурге: луна — не атрибут шиллеровских баллад, а колба, необходимая для выработки красящих веществ или удобрений. Кадриль последней войны дополнила знакомство: мы обменялись хоть непрошенными, но назидательными визитами.

Я не знаю, понимают ли немцы нас, удивились ли они, когда вместо обычных «кургэстов» Бад-Эмса или Киссингена, вместо Алеши Карамазова, вместо танцоров «Шехерезады» на сцену выступили строители новой жизни. Что касается нас, мы немцев не понимаем. Мы живем сомнительными традициями.

Классическая русская литература знала две разновидности немцев: энергичных, душевно-приземистых дельцов, вроде Штольца из «Обломова», и сентиментальных ротозеев, наклонных к музыке или к безобидным чудачествам, вроде тургеневского Лемма. Иногда нас все же охватывало сомнение: как они уживаются в одной стране, мечтательные Леммы с практичными Штольцами? Мы успокаивались на том, что последние, вероятно, пожирают первых. Больше в Германии нет ни музыки, ни чудачества. Это — страна утилитаризма, порядка, зонтиков в чехлах.

Мы не понимали, что Штольцы — отнюдь не трезвые дельцы, а представители нового гигантского сверхчудачества, безумцы и маниаки. Мы не понимали также, что Леммы способны работать наславу, способны простоять четыре года у пулемета и сорок лет у станка. Мы не понимали, — и это главное, — что Штольц и Лемм — одно и то же, что душа какого-нибудь инженера из Эльберфельда полна лирического щебета, а что прямой внук Лемма, несмотря на романтический воротник, способен строить, торговать и завоевывать.

Нас ошеломило все: угрюмое напряжение военных лет, бредовое величие планов и судорожная покорность пушечного мяса, картонный треск, казалось — гранитных цоколей, ноябрь восемнадцатого года, экспрессионизм и гамбургские баррикады, «доктор Калигари» и систематическое безумье «путчей».

Курфюрстендам весной 1927 года полон света, золотой чешуи ювелиров и причудливых орхидей. Это — классический аквариум с гадами и цветами. Я видел его осенью 1923 года. Пугливо закрыты были ставни. Как в диких джунглях, рыскали храбрые иностранцы, охотясь на дешевые чемоданы или штиблеты. Никто не подметал тротуаров. Неумытые стекла магазинов морщились, как старые фрейлины Кобурга или Ангальта. Чудо? Упорство? Труд?

Да, разумеется. Но весной четырнадцатого года Фридрихштрассе тоже лоснилась избытком богатства, она трепетала от энергии, как мускул циркового атлета. Я дивлюсь этой почве: на ней все слишком быстро растет и

слишком быстро вянет. Если детские шарики здесь изготовляются солидно, впрок, с гарантией чуть ли не на пятьдесят лет, то многие институты, идеи, навыки, которые кажутся вековыми, незыблемыми, связанными с самой душой Германии, вдруг топорщатся и ломаются. Здесь все осуществимо: в сутки любой пустырь может стать центром мира и любой город — обратиться в кучу мусора.

Не вульгарной силой, не бицепсами, не отроческим здоровьем созданы эти города-выставки, эти универсальные идеи, но напряжением нервов, выдержкой, молчанием, за которым чувствуется скрежет зубов человека, выполняющего жестокий обет. Мой сосед, тот, что ест бутерброды, не просто объезжает мелкие городишки с гигиеническими цветниками и техническими школами, не просто развозит образцы подтяжек, сжатый и сухой, — он воин непонятной армии, крестоносец без креста, полный древнего жара.

Мне хочется сказать русским (да и не только русским): забудьте глупую басню об аккуратном немце! Можно ведь стать фанатиком умеренности. Средние века знали таких изуверов: не хуже других они умели разводить костры. «Золотая середина» требует здесь душевных жертв, и за любым компромиссом слышится такое угрюмое сердцебиение, что, кажется, не выдержит котел — противоречивая воля многих, еле сдерживаемая тонкими стенками, взорвет усовершенствованную машину.

Здесь существует некая цивильная форма. Я ходил по улицам Берлина в каскетке, и я не был рабочим, то есть одним из обитателей нижнего города, по фильму «Метрополис». Что же, нашелся преданный идее швейцар, который молча швырнул меня на черную лестницу. Форма все покрывает, и многие не узнают под фетровыми шляпами полукруглых придатков: легко ли опознать чорта, который одет, как все? Безумье здесь ждет своего — тоже вдоволь безумного — статистика.

Итальянские фашисты, даже наши полуграмотные черносотенцы пытаются что-то доказывать, аргументировать, кокетничать с логикой. Их немецкие единомышленники настолько цельны, настолько полны голого физиоло-

гического пафоса, что сухая, мозговая, книжная страна, гордая железнодорожной сетью и густой порослью школ, превращается в чащи пращуров со звериными шкурами и убогой пращей.

Я не знаю, в Гамбурге ли сделана луна, но я знаю, что недалеко от Гамбурга существует островок Боркум, морской курорт, куда «лицам еврейского происхождения рекомендуется не ездить, так как их не пускают ни в одну гостиницу и ни в один частный дом». Эта цитата заимствована мной не из средневековой летописи, но из путеводителя, изданного в 1927 году.

Если после этого можно еще говорить о пресловутой аккуратности, то только об аккуратном гриме иных потусторонних существ.

Стучат колеса. С опаской я гляжу на моего соседа и на его зонтик. Оба безмолвствуют. Коммивояжер теперь не ест, не смотрит на расписание, не записывает цифр. Его глаза, бесцветные, жидкие, как небо за окном, как бледное небо над домнами и над феями, ничего не выражают. Он устал. Он устал ехать. Он устал развозить подтяжки. Он устал жить. Конечно, это — только минутная пауза, вызванная обстоятельствами. Сейчас он вылезет на очередной станции. Он унесет с собой тусклость взгляда и зонтик. Он будет весь день энергично работать. Однако за этой энергией, как за энергией всей страны, мне чудится огромное катастрофическое недоумение.

Работать, чтобы работать? Итти, чтобы итти? Но ведь это только инерция. Парижанин жив хорошей погодой, дешевой любовью, букетиком фиалок. Там, на западе, можно великолепно жить с маленькой рентой и безо всяких идей. Немцы любят думать: «цель» здесь не предмет роскоши, не прихоть чудака, это — общественная необходимость. Моему соседу необходимо знать, зачем он должен продавать подтяжки: скромный ужин, кружка пива, даже губы какой-нибудь Эрны — это оплата стольких-то часов равномерного вращенья. Но кто оплатит сердечный пыл, расточаемый при постройке всего огромного и пышного здания, именуемого «Германской державой»?

Прежние идеалы, перелицованные и заплатанные, как довоенные пиджаки, износились. Их продали задешево в

музей. Новых никто не сумел скопить, и в стране, богатой всем — индустрией, комфортом, книгами, кондитерскими, — отсутствуют идеалы. Это страшно. Зонтик не знает, зачем ему ходить в чехле, зачем ему раскрываться в дождь и оберегать проповедника подтяжек. Зонтик — и тот готов сойти с ума.

Стучат колеса. Мелькают станции. Скоро граница. Этот поезд еще помнит свой путь. Этот поезд еще не сойдет с рельс. Но кто поручится за дальнейшие?..

1927

АВГУСТ 1930

Оркестр на палубе надрывается. У трубачей густо лиловые лица. С утра до ночи они трудолюбиво надувают щеки. Они дуют в трубы возле Кельна и возле Майнца, в честь Гинденбурга и в честь Лорелей. После двенадцати неопределенных лет, когда все кончалось тоской и фокстротом, наконец-то приключилась победа: «Мы освободили Рейн»!.. Пассажиры мурлычут воинственные гимны; они чокаются и не просто «за ваше здоровье», но за здоровье горячо любимой Германии; увидев встречный пароход, они выстраиваются в ряд и долго машут ручищами или ручками. Проезжая мимо различных достопримечательностей, они впадают в предельный экстаз. Трудно описать, что с ними происходит, когда вдали показываются Лорелей или Национальный памятник. Если в водах Рейна, в этих водах, отравленных как машинным маслом, так и сентиментальными слезами, еще водятся прославленные лососи, рыбы должны умереть от ужаса, заслышав подобный рев.

Энтузиасты одеты скромно: это служащие, приказчики, студенты. Их восторги бескорыстны. Вздыхая, заказывают они стаканчик вина: стаканчик стоит дорого, притом куда ему до пивной кружки! Но делать нечего: они на Рейне, следовательно надо пить рейнвейн. Это не каникулы, — у хорошего немца не бывает каникул, это каникулярная работа.

Французы ушли. Здесь нет никакой романтики. Трудно выдать соглашение различных трестов за Ватерлоо. Но

рейнские патриоты хотят во что бы то ни стало поэзии. Они наспех скроили тысячи флагов. Они даже учинили погром, маленький, но добросовестный. Они отважны и непримиримы.

В Бад-Содене я видел героического лавочника. Еще недавно он успешно сбывал перпиньянским капралам похабные открытки. Теперь он выставил в витрине карикатуры на французов, а также фотографии немецких красоток. Надо ли говорить о том, что эти красотки, в свое время успешно утешавшие французских сержантов, превратились теперь в валькирий?.. Наконец-то они смогут отдать сердечный пыл честным немецким солдатам!

В Бад-Крейцнахе своя знаменитость: двенадцать лет тому назад грум Крейцнаха еще ходил в коротких штанишках. Каждое утро он становился во фронт, завидев издали генерала Гинденбурга. Приехав в освобожденный Крейцнах, президент вспомнил об этом героическом вундеркинде. Валькирии сморкались от умиления. Трубачи надували щеки.

Всех веселей кабатчики: они рекламируют «вино освобождения», холодное рейнское вино. На террасах Кобленца патриоты пьют «вино освобождения». У них горделивая осанка, бритые затылки и глаза мутные, как воды Рейна. Давненько я их не видел. Конечно, они не прятались, они работали, торговали, при случае стреляли в «спартаковцев». Но это было трудное десятилетье: они не могли ни ходить скопом, ни кричать «ура», ни показывать удивленному миру свои неповторимые затылки. Они знали: надо пересидеть истерику вдов, игру в республику, экспрессионизм и социал-демократов, Рур и уличные перестрелки. Теперь они вышли на свет божий. Они кричат «ура», и волны радио разносят этот рык по всем городам Германии.

Вокруг кафе бродят нищие. Всячески стараются они растрогать сердца победителей. Они продают увядшие маргаритки, спички, шнурки для ботинок, портреты Гинденбурга. Но победители раздраженно отмахиваются: в Германии нет места попрошайкам!.. Германия — страна работы и долга. Нищие бормочут что-то вовсе не пристойное — «работы нет», но официанты их во-время отгоняют.

Тех, что пьют вино и кричат «ура», не так уж много. Куда больше голодных и молчаливых. «Освобожденный Рейн», видимо, никак не счастливей «Рейна порабощенного». Если американские туристы, которые внимательно изучают и руины и погреба Рейна, не заметили горя, это не их вина. Немецкая нищета стыдлива. Здесь наславу штопают лохмотья, и голодная судорога здесь никак недопустима в общественном месте. Велика страсть этого народа к видимости. Фабрикант папирос тратит больше на упаковку, нежели на табак. В кафе подают на серебряном подносе даже не цикорий, но суррогат цикория. У человека может не быть рубашки, но манишка у него обязательно имеется. Нищета хорошо причесана.

Голод, однако, остается голодом. Одни кидаются в поэтические воды Рейна, другие уходят к вербовщикам французского «легиона», третьи умирают на месте, так и не всучив никому завядших маргариток. Растет ненависть. Чрезмерность немецкой природы, хаос чувств, безумие — ищут выхода. Бритые затылки отнюдь не слепы. Они знают, о чем говорит это молчание. Вино они пьют без надрыва: это не версальские маркизы и не московские купцы. Они умеют подчиняться. Это ведь не танцмейстеры, это только танцоры. Для высокой политики у них слишком мало денег и слишком много чувств. Они свято верят в звезду тех, что не ездят на дачных пароходах и не кричат до хрипоты «ура». Река может затопить город, но река это белый уголь. Ненависть?.. Что же, пусть они ненавидят французов, поляков, евреев! В течение четырех лет страсти народа, вскипая на полях Пикардии или Литвы, приносили правителям славу и дивиденды. Опыт имеется.

Гитлеровцев поддерживают невидимые и неназываемые. В своих листовках гитлеровцы шельмуют богачей и спекулянтов. Они намекают, что русские не прогадали. Но, конечно, Германия не Россия! У нас свои враги: французы; свои предатели: евреи. Мы за революцию, за нашу немецкую революцию! Вы увидите, что ненависть рабов сможет обслуживать тяжелую индустрию, как горный поток, пропущенный сквозь турбину!..

Во Франкфурте десять тысяч горемык приветствовали недавно Гитлера. Это было торжественно и постыдно, как июль 1914 года. В дорогих ресторанах, за бархатом окон,

шла обычная ночная жизнь: фокстрот, ведерки со льдом, поэзия... Рев толпы никого не испугал. Полки пойдут туда, куда им прикажут. Танцмейстер еще ведет танец...

Танцмейстер отважен и находчив, он не боится ни революционных фраз, ни передовых идей, ни опасных союзов. Давно уж он променял спокойную жизнь на пот игрока. Он вовсе не думает опираться на традиции, аргументировать правом или честностью: Германия не Англия и не Франция. Ни брюшко, ни диплом «доктора философии» не мешают ему жить на трапеции. В его квартире никаких Людовиков, он любит новое искусство и пустоту. Ему тесно в послевоенной Германии. Его супруга еще вздыхает при виде рейнских развалин. Он занят другим: он строит Афины из бетона. Правление треста «ИГ» во Франкфурте — храм нового культа. Американский размах здесь сочетается с немецкой абстрактностью. Производство красок становится метафизикой. Впрочем, танцмейстер снисходителен к людям отсталым, которые обожествляют не сто лошадиных сил, но какую-то женщину с младенцем. Для них он выстроил в том же Франкфурте десяток ультрасовременных церквей: Христос напоминает машину, а исповедальни оборудованы по последнему слову техники.

Глупость гитлеровцев, говоря откровенно, его смущает. Пока погромщики громят лавки, он прогуливается по Елисейским Полям. Он дает деньги на безграмотные листовки, для своей супруги он покупает Пруста и Андре Жида. Наконец — и это самое удивительное — у него обыкновенный затылок. Он националист по убеждениям и космополит по вкусам. Бритые затылки состоят при нем, как серафимы или как ночные сторожа.

Германия не может ни жить в мире, который ей навязан, ни воевать; она не может ни отстоять свою куцую свободу, ни сдаться на милость доморощенного Муссолини, она ничего не может. Она связана хищными соседями и своим сумасшедшим благоразумием, своей слабостью и своей силой. Так погибает самый просвещенный и самый изворотливый капитализм. Вокруг его одра мы слышим не шум революционных толп, но только грустный шопот, — греки называли это трагедийным «хором».

Еще год тому назад Германия зачитывалась романами Ремарка или Ренна. Европа ответила на эту эпидемию

высокими тиражами переводов и приятной сонливостью: воскресенье на страницах книги или на экране, казалось, забытой войны Европа приняла за торжество мира. Но страсти сильней воспоминаний, и никакие эпитеты не в силах изменить волшебную сущность некоторых слов. Зачем же стало дело? За сербским гимназистиком? Или за размолвкой двух трестов? Танцмейстер не на шутку озабочен. Он пьет на официальных банкетах за «освобожденный Рейн», но вино оставляет во рту привкус, который дегустаторы называют «привкусом дроби». Это свойство некоторых вин, а также некоторых эпох. Куда пойдут эти толпы? Где их новый Багдад?.. Вряд ли стоит настаивать на Саарском бассейне или на Польском коридоре: это вопрос цены. Остается слепая и жестокая энергия. Они давно уже не могут жить. Они могут только умирать с голоду и бесноваться. Удастся ли опытному танцмейстеру продиктовать следующую фигуру?..

1930

БЕРЛИН

(Январь 1931)

В вагоне где-то между двумя городами, равно деловитыми и бездушными, один попутчик, чопорный, весь фиолетовый, не то от пафоса, не то от высот накрахмаленного воротничка, говорит другому:

— Это конец...

Говорит и спокойно выдыхает серное облачко доморощенной «гаванны». Сосед молчит. Сосед вынимает из промасленной бумажки бутерброд, медленно его прожевывает; прожевав, подтверждает:

— Да, конец...

Это не философы и не поэты. Тот, что курит сигару, продает усовершенствованные блоки «принтатор», тот, что съел бутерброд, муниципальный ветеринар Бранденбурга. У них разные заботы и на скорбь у них разные резоны. Но оба повторяют то же слово: «конец». За мутными стеклами пылают заводы, густеет ночь, и порой сиротливо, как звездное небо, трепещут неуверенные огоньки человеческого жилья. Еще час-другой, еще несколько вздохов или бутербродов — и попутчики вежливо прощаются. Перед ними город, огромный и безразличный, не метафизический «конец», о котором шла речь в пути, но только переменный свет реклам и размеренные вздохи автобусов, город вечный в своем однообразии, — Берлин.

На вокзале расписание. Такой-то поезд приходит в одиннадцать часов тридцать минут, тридцать секунд. Кому

нужны эти секунды? Продавцу блоков «принтатор»? Ветеринару? Философам? Это — порядок, порядок наперекор кризису, нищете, отчаянью, порядок до самого конца наперекор концу, порядок во что бы то ни стало, жестокий порядок, который мыслим разве что на небе или в убежище для умалишенных. Порядок этот настолько не соответствует подлинному состоянию людей, он настолько пренебрегает их голодными спазмами и нервной дрожью, настолько отрывает страсти от видимости дел и туши от камней, что вчуже страшно: призрачными, отвлеченными скрепами держится этот быт. Что станет в тот, видимо, недалекий день, когда страсти одолеют, когда наступит поминаемый всеми «конец», что станет в тот день хотя бы с расписанием поездов? Эта секундная точность не превратится ли в громадный хаос, в столь же маниакальную разруху, не заблудятся ли все поезда среди тысячи путей, перепутанных цифр и перегоревших семафоров?

Пока еще все на месте: и секундные стрелки, и витрины гастрономических лавок, и чинные хвосты возле канцелярий, где зеленоватые чиновники не успевают готическими иероглифами заносить на длинные листы имена безработных. Пока еще выходят газеты различных направлений, члены рейхстага произносят обстоятельные речи, многоэтажные магазины, забыв о разбитых погромщиками стеклах, рекламируют самые красивые половые тряпки и самые экономные духи. Однако бранденбургский ветеринар найдет в Берлине несколько миллионов единомышленников: «конец, конец» — это говорят газеты и нищие, депутаты и дети, лица и дома. Что ни подъезд, то вывеска: «Сдается»; сдаются магазины и танцульки, конторы и рестораны, склады, подвалы, особняки. Какие-то чудаки еще пробуют пересдать свое место в жизни. Охотников нет. Те, у кого много марок, отбывают в Ниццу. Те, у кого одна марка, идут в кино и смотрят на полотняную Ниццу, оживляемую взаправдашним плеском моря.

Сдаются дансинги «Фар-Вест» или «Джунгли», сдается также демократическая республика. Эта квартира явно не пришлась по вкусу. Еще недавно в ней стояла веселая суматоха новоселья, жильцы прибивали портреты, устанавливали несгораемые шкапы; чистосердечно они радовались: все окна выходят на улицу, говоря иначе — на

Париж! Удобства, однако, оказались мнимыми; подвели портреты, подвел и Париж. В подвале и на чердаке началось подозрительное ерзанье; жильцы добропорядочных этажей раскрыли сундуки, как гроба. На воротах корректная дощечка: «Сдается»...

Западные кварталы Берлина еще бодрятся: здесь нет ни биржи, ни банков, ни контор, здесь за почтительными палисадниками барские квартиры, картины на стенах, плюшевые обезьяны в детской, граммофоны, заслуженный отдых. Те, что не уехали ни в Сицилию, ни на Ривьеру, еще пытаются жить. Они избегают философии, — философия разорительна, да и опасна. Перед праздниками гастрономические лавки бойко торговали: бывают душевные состоянья, когда шампанское, устрицы или икра — это хлеб насущный. Зато в книжных лавках — ни души: горемыкам с Курфюрстендама теперь не до книг. Книги, как известно, рождают вздорные мысли, а, прочитав телеграммы о рурских событиях, г. Мюллер предпочитает ни о чем не думать. Он пробует веселиться. Он идет в одну из дурацких кофеен, туда, где вместо залы оранжерея с живыми попугаями, в отчаянье передразнивающими гг. Мюллеров, или туда, где вместо залы палуба с длинными шезлонгами, с мачтами, с бутафорскими кулями кофе. Он ложится на шезлонг, слушает птичьи крики, якобы забывается. Иногда он идет в театр. Несколько лет тому назад он был бодр и наклонен к мировым раздумьям, он тогда аплодировал революционным тирадам Пискатора. Теперь что ни день лопаются банки, вместо биржи кладбище, вместо дивидендов обойма револьвера, и где-то, далеко, но рядом, томительное молчание пяти миллионов безработных. Теперь г. Мюллер аплодирует забавным французским комедиям. Для парижских авторов это «дух Локарно» и авторские отчисления; для Курфюрстендама это только предсмертный бред. Ведь не следует забывать, тот же г. Мюллер весит восемьдесят пять кило, в его шкапу сочинения Лессинга. Он не может порхать. Самой природой обречен он на раздумья. Ни пестрая раскраска попугаев, ни шампанское, ни взбитые сливки, ни блистательное остроумие Тристана Бернара не способны отвлечь его от нескольких коротких, но постоянных мыслей. Вот он шевелит губами. Он, кажется, ничего

не сказал. Сосед не оглянулся. Дама в монокле, с аршинным мундштуком, развалившаяся на шезлонге, не повела выщипанной бровью. Однако г. Мюллер сказал нечто весьма новое и весьма оригинальное. Он сказал:

— Это конец...

Бранденбургский ветеринар и продавец блоков, сокрушенно помолчав, согласились.

Г-н Мюллер умирает далеко не охотно. Он хочет жить; с нежностью печется он о своем здоровье. Правда, он курит, но в каждую сигару он впрыскивает из карманного шприца несколько капель волшебного эликсира, который, видите ли, лишает сигару всех ее зловредных свойств. В обувном магазине к нему подходит г. доктор в больничном халате, и, хотя у г. Мюллера вполне здоровые ноги, г. доктор подкладывает ему под пятки особые металлические подпорки. На то он г. доктор. На то г. Мюллер тоже доктор — «доктор философии». Надо заботиться о себе! Надо жить, надо жить во что бы то ни стало!

Доктор, придумавший шприц для сигар, наверное, разбогател. Другие «изобретатели» тоже не прогадали; в первую очередь те, что надумали так обезвредить всеобщее недовольство, как совместить социализм и погромы, ненависть к бирже и высокий курс акций, балансы трестов и достоинство Германии. Прежде немцы наславу организовывали жизнь, они организовывали работу, государство, войну, экспорт, даже скандалы. Теперь требуется организовать отчаянье. Если взрыв неминуем, пусть пострадает чужой дом!.. Это ставка на патентованный шприц. В листовках «нацистов» можно прочесть: «Мы заклятые враги крупного капитала». Листовки, как и многое другое, оплачены чеками крупных капиталистов.

Конечно, те, что говорят о «борьбе с капиталом», готовятся к несколько иной борьбе. Но те, кто их слушает, отнюдь не лукавят, они веруют в какой-то свой «национальный социализм» без предателей, без поляков, а главное, без безработицы. Их собрания похожи на радения хлыстов. Это отставные чиновники и вдовы «героев», ремесленники, безработные, фельдфебели на одной ноге и нищие не одним духом. Они готовы были разгромить, если не биржу, то соседнюю булочную. Их мобилизовали и выстроили в шеренги.

Среди жестокой берлинской ночи, наполненной подозрительным шопотом и случайными выстрелами, перепуганно мечутся социал-демократы. Защитники республики, в свое время озабоченные тем, чтобы толпа, сокрушавшая империю, не вытоптала при этом газонов Тиргартена, продолжают твердить о законности. Трудно назвать этих людей предателями — им давно нечего и некого предавать. Их речи и резолюции только необходимый моцион, гимнастика по системе незабвенного Мюллера. Умирая, они все еще обсуждают — законна ли смерть, или незаконна?

Так называемая «интеллигенция» мечется, как крыса, облитая керосином. Издали это похоже на фантастический фейерверк, издали это — трагедия, это интересные романы, которые тотчас переводятся на все европейские языки. Вблизи это просто запах паленой шерсти и душераздирающий писк. «Стальная каска», «Красный фронт», военная команда гитлеровцев, — что же здесь делать Эмилю Людвигу, который хорошо понимает все превосходство «шато д'икем» над мюнхенским пивом и мистера Болдуина над каким-нибудь Фриком?..

События идут куда быстрее, нежели мысли г. доктора, редактора почтенного органа и пожизненного демократа. Он садится за передовую, но тут секретарь приносит несколько листочков, и г. доктор начинает статью заново — умнеть приходится по часам. Еще вчера «наци» были «погромщиками и бандитами», сегодня они — «здоровое движение германской молодежи». Правда, от этого «движения» у редактора (который, кстати, оделен природой самым неблагонадежным носом) проходят по телу мурашки, но ничего не поделаешь — завтра «погромщики» станут советниками и министрами.

Берлин горд своим чувством времени. Это самая современная столица Европы. С фасадов домов соскоблены отсталые завитушки, и любая проститутка умеет избежать сентиментальных вздохов. Какой-нибудь скромный банковский служащий сидит в металлическом кресле, способном свести с ума всех снобов Парижа. Таков Берлин корректных заработков и разумных досугов. Надо ли говорить о том, что и это — только обманчивая маска, что в кресле сидит юродивый почитатель Шпенглера, он же

растлитель девочек или кошкодав, что фасады домов скрывают одинокие безумствования различных «философов» и что проститутки, не вздыхая, умеют удавить клиента или невзначай метнуться в жалкую водицу Шпрее?.. Но имеется и другой Берлин, явно нелепый: квартиры с портретами царствующего дома и с уланскими трубами, где сосиски — атрибут романтического мира, где пьют по двадцати бутылок пива за победу, за скандал, за кровоточащий нос, точнее всего за смерть, — Берлин непроветренных комнат, со статуэтками и с рапирами, Берлин Аллеи Победы и гнилых кабачков, полуподпольный, вчера еще неприметный, который сегодня рычит, улюлюкает, отрыгивает.

«Нацисты», конечно же, наклонны к философии, — без этого в Германии и дня не проживешь. Один из «философов» установил, что у евреев больные ноги. Ноги сразу были возведены на подобающие высоты, заменив чересчур громоздкие генеалогические деревья. В соответствующих кругах можно уничтожить человека коротенькой справкой: «А ноги у него подозрительные»... Поглядите-ка на этого коллегу, правда он неистов, он ненавидит евреев, он предан чистоте германской расы, все это так, но при всем этом он слегка прихрамывает. Кто знает, уж не еврей ли он?..

Средневековые сплетни, распространяемые линотипами, различные оттенки душевных заболеваний, соблазнившие на выборах шесть миллионов, наконец романтические куплеты, связанные с пуншем, с изрубленными мордами дуэлянтов, с провинциальной мифологией и с оленьими рогами на стенах, куплеты, наспех превращаемые в партийную программу, даже в министерские декларации, — таковы сны Берлина. В Тюрингии «нацисты» уже у власти. Что же, они уничтожили капитал? Нет, они заняты поэзией, символами, метафизикой. Они запретили джаз, а также несколько легкомысленных комедий, они предписали школьникам ежедневно повторять витиеватую молитву о полном истреблении евреев.

Что же скажут шесть миллионов, когда шестьсот посредственных призраков переедут из чадных пивнушек в парадные салоны министерств, когда от обязательных проклятий капиталу они перейдут к его законной охране?

Воинственность иных поз, кивки на карту, где помечены границы былой, довоенной Германии, шопоты о секретных изобретениях, о новых газах или о волнах, способных якобы сбивать аэропланы, парады, мундиры, знамена, словом, подготовка не только заводов, но и душ к очередной войне, — все это следует объяснить страхом вожаков перед своими приверженцами. Голод и отчаянье придают глазам известный блеск. За «ленчем» в Швейцарии можно добиться уступок, можно выторговать не только Саарский округ, но и знаменитый «коридор». Это, разумеется, и верней и экономней. Но можно ли насытить швейцарским завтраком фанатиков, к тому же рассуждающих натощак?.. Конечно, «никто не хочет войны» — голос оратора вибрирует с неподдельной искренностью. Впрочем, хотели ли войны герои четырнадцатого года?.. Пороховые склады притягивают к себе неосторожных курильщиков. Рука на курке — так год, два, три, наконец раздается выстрел. Карл покупает газету: «Маневры польской армии», «Ядовитые газы в Бельгии», «Французы строят новые крейсеры», «Оружейные заводы в Чехословакии успешно борются с кризисом»... Карл вздыхает — кругом его страны железное кольцо. Карл идет в кино — сначала комедия: довоенная Германия, блестящие мундиры, военные марши, любовь с закрученными лихо усами и с сознанием национального достоинства. Потом — кинохроника: спуск броненосца в Америке, парад в Риме, Пилсудский у могилы «неизвестного солдата», похороны Жоффра — повсюду знамена, винтовки, полки. Карл смотрит, и Карл готовится. Он не за войну. Он и не против. Война для него, как жизнь, — нечто страшное, темное и неизбежное.

На собраниях «нацистов» темно от дыма. Порой не видно лиц — это едкий жестокий дым немецких сигар. Воевать?.. Но против кого? Одни кричат: против поляков, другие: против французов, третьи: против русских. Вместе с Советами! Вместе с Муссолини! Нет, против Советов, вместе с англичанами!.. У них еще нет программы. Отчаянье народа сдается, как дансинг или как контора; тот, кто больше даст, получит сердца вожаков и пушечное мясо обманутых. Социал-демократы примут резолюцию: «принимая во внимание», и выстроятся перед воротами воинского начальника. Женевские ресторатры, те,

пожалуй, вздохнут об утерянном мире; впрочем, у них останется надежда на удвоенный аппетит шпионов и дезертиров.

Ночью в северном квартале раздаются несколько беглых выстрелов. Из пивной, где заседают «наци», вылетает на улицу пар и гогот. Кто-то хвастает: «Уложил двоих»... Кого? Поляков? Еврейских банкиров? Нет, охота идет на другого зверя: два трупа — не поляки, это немцы-рабочие, это два коммуниста. Они не сдались ни на ласку, ни на угрозы. Они не признали, что «наци» — «здоровое явление», они не умилились перед святостью избирательных бюллетеней. Их убили ночью при заведомом равнодушии и полиции, и демократии, и закона. Убили двух... Двадцать... Двести... Всех не перебить из-за угла. Так растет страх, каждая улица становится засадой, каждый день — картой азартной игры.

Револьверы начинают стрелять сами по себе. Аккуратный человек в картонном воротничке, голодный, но бритый, заходит в пивную, в одну из тех сомнительных пивных, где на вывеске невинный младенец среди серебряной пены, а внутри запах солода, пота и собачьей тоски. Человек заходит мирно в пивную, мирно спрашивает кружку «темного», «темного» или «светлого», мирно снимает сухими губами белые хлопья и потом столь же мирно, аккуратно стреляет в другого человека.

А голод все растет и растет. Недавно одна из берлинских газет сообщила среди других забавных происшествий о фантазии гамбургского безработного. Этот смельчак, оказывается, предложил дирекции цирка вступить в бой со львом. Он просил одного: после его смерти в течение шести месяцев кормить жену и детей. Газета поясняла: «Как рабы в древнем Риме»... Я не знаю, приняла ли дирекция заманчивое предложение, и если приняла, то кто победил: лев или гамбургский безработный. Я надеюсь, однако, что, прочитав эту заметку, г. Мюллер, тот, что еще лежит на шезлонге и аплодирует пьесе Жироду, почувствовал некоторую неловкость: ведь львов в Германии не так уж много. Легко предположить, что другие безработные, которым наплевать на жизнь, как их гамбургскому сотоварищу, выберут себе другую смерть. Они могут, например, вступить в бой с г. Мюллером... Дойдя до

этого, г. Мюллер говорит себе, своей супруге, другим Мюллерам:

— Это конец...

Что понимает он под словом «конец»? Свою смерть? Распад государства? Хаос? Этого он и сам не знает: он ведь только одна из механических теней, которые бродят по просторным улицам Берлина, которые еще что-то складывают, вычитают, тратят, зарабатывают, но которые заведомо мертвы. Днем неопределенность рождает противоречивые возгласы, ночью она разряжает огнестрельное оружие. Философы — растерявшие идеалы, счетоводы — давно сбившиеся в сложении, народ — без веры, без цели, даже без простенькой общедоступной надежды. Десять лет тому назад еще можно было вскрыть нарыв. Теперь истории придется кромсать на куски прогнившее мясо.

1931

БЕРЛИН

(Октябрь 1931)

Осенью на Балтийском море шумят бури, и острый ветер врывается в Берлин. Он носится по длинным, прямым улицам, подымает воротники, сбивает листья; он превращает бесчисленные огни кино и ресторанов в полярные созвездья. Этой осенью падают ценности и биржевые и так называемые «духовные». Как ни длинны парадные проспекты Вестена, они где-то обрываются, гаснут огни, встает ночь Нордена. Напрасно тетушки из «армии спасения» кричат на перекрестках: «Зима! на помощь! зима! зима!..» Против зимы бессильны и скудные пфенниги, и псалмы, и дипломаты. Газеты подробно рассказывают о том, как Лаваль отдал дань немецкой душе, отведав сосисок с капустой. Но это не спасет Берлина от зимы. Берлин мечется. Никогда не было на Курфюрстендаме столько бездельных и якобы веселящихся людей. Кафе, рестораны, дансинги переполнены, кафе с попугаями или с гавайцами, с юртами эскимосов или с палубами пароходов, с конструктивными креслами и с укромными ложами, с писсуарами, дивными, как храмы, и с хриплыми предостережениями громкоговорителя: «В Нейкельне толпа грабит булочные!» От Курфюрстендама не так уж далеко до Нейкельна — несколько остановок метро, но на Курфюрстендаме нет ни толп, ни булочных, только кафе с попугаями, породистые таксы да дрожь электрических реклам.

Немцы не раз щеголяли в истории своим сомнамбулизмом. Они бегали по карнизам и плакали под намалеван-

ной луной. Восемь лет тому назад немецкая буржуазия расстреляла последних бунтовщиков. Начался новый сон, заполненный грудами вещей, дивидендами, и, однакоже, абстрактный сон. Росли фабрики, что ни день устанавливались новые машины, рационализация заменила минутную стрелку секундной. Казалось, дело идет к терциям. Кровати выпадали из стен, кресла диковинной формы отливались на заводах по тысяче штук в час, радиоприемники устанавливались не только в «домах свиданий», но даже в уборных, — люди боялись прослушать биржевую котировку или модный танец. В течение четырех-пяти лет сон шел наславу. Немецкий буржуа успел позабыть и о спартаковцах и об инфляции. Он готов был поверить в свое бессмертие. Он твердо решил обыграть историю. Играл он спокойно и, конечно же, блефовал. Это была религия покера, а также исконное безумие Германии.

Обыграть историю не удалось. Буржуа больше не верит в свое бессмертие. С боязливой надеждой поглядывает он на рослых полицейских. Одни переводят деньги за границу, подыскивая в какой-нибудь безобидной стране убежище; другие с жаром доказывают, что они отнюдь не «акулы», но «труженики индустрии», им не страшна революция; третьи, стараясь отогнать от себя ночные кошмары, дают деньги ловким проходимцам, которые обещают в два счета справиться с коммунистами, а потом спешат в рестораны или в дансинги, чтобы не думать и не видеть. У Курфюрстендама кружится голова. Он не смеет взглянуть вперед — что перед ним?

Перед ним зима.

В одном из самых больших кинематографов Берлина идет советская картина «Путевка в жизнь». Буржуа смотрят и аплодируют: на экране беспризорные становятся рабочими. Буржуа отнюдь не умилен моралью, он не растроган детскими улыбками, нет, он только припоминает северные кварталы Берлина, где дети и не дети учатся вынужденному безделью, где растут унынье и злоба. «Интернационал» в кино куда уютней и спокойней, нежели глухой шопот встречного безработного.

Я говорил с политиками, с журналистами, с фабрикантами. Я не встретил ни одного человека, который верит, что настоящее положение может продлиться. Путь от

самоуверенности к отчаянью проделан быстро. Один из крупных промышленников сказал мне: «Мы не способны дать людям работу, пусть это сделают другие, а кто — не все ли равно?..»

Берлин еще заботится о своей осанке. Это, если угодно, выдержка, это также привычка к блефу. На рождество немцы обмениваются подарками. Салфетное кольцо или карандаш они кладут в огромные коробки, завертывают их в десять различных бумаг. В одном весьма буржуазном доме я видел как-то «бар» с бочками, со старинными бутылями, с гравюрами; в этом баре гостю дают рюмку обыкновенной сивухи — видимость соблюдена. Ночью «нацисты» разбили стекла в двадцати двух отделениях газетных трестов Ульштейна и Гугенберга. Газеты об этом сообщают корректно и глухо: «несколько инцидентов». Лопается очередной банк, столько-то тысяч разорены, три самоубийства. Еще один инцидент. Одним декретом правительство уничтожает свободу собраний, свободу печати, неприкосновенность жилища. В ответ несколько философских размышлений о свободе духа или о влиянии речи Гувера на судьбы цивилизации.

Берлин похож на самоубийцу, который, решив перерезать горло бритвой, мылит щеки и тщательно бреется.

Только чрезмерное оживление Вестена да внезапная рассеянность прохожих указывают на наличие драмы. Это напоминает годы инфляции. Как тогда, люди заходят в магазины и, спеша, покупают не нужные им вещи; только теперь ни у кого нет денег, сегодня покупают, завтра — справка о банкротстве, все равно — конец один: рядом Норден, впереди зима!

Магазины рабочего Нордена пустуют и закрываются. В знаменитой пивнушке, в которой искал моделей любимец берлинцев рисовальщик Цилле, я застал четырех посетителей — и это в субботу вечером. Хозяин другой пивной, которая сдается под собрания, жаловался, что из шестисот человек, пришедших на митинг, только трое заказали по кружке пива, остальные боязливо просили «стакан воды». В Нордене никто не блефует.

Надо тщательно разглядеть человека, чтобы увидеть расползающиеся штаны, щели ботинок и тусклый огонь глаз, который объясняется не столько политическими

страстями, сколько обыкновенным голодом. Большая «обжорка» возле Александерплаца, в окнах выставлены блюда с различной снедью и с пометками — «30 пфеннигов», «40 пфеннигов». На самом внушительном блюде: «Колоссальная свиная нога всего 55 пфеннигов»! Люди заходят, хватают блюда, отсчитывают пфенниги и, стоя, быстро проглатывают колбасу с картошкой, а счастливцы — «колоссальную ногу». Однако не все заходят, многие подолгу стоят у окон; они не в силах оторвать глаз от феерических яств; потом, вздрогнув, они идут дальше.

Не только климат, нравы страны заставляют здесь человека цепко держаться за порог дома. Число бездомных все же растет с каждым днем. Из скудных марок, отпускаемых безработным, надо уплачивать квартирную плату. Неисправных выселяют. В городском ночлежном доме могут поместиться четыре тысячи человек. За ночлег они должны утром два часа работать. Работа эта отличается бесцельностью, и даже люди, стосковавшиеся по труду, с отвращением выполняют никому не нужное дело.

Городская ночлежка гордится чистотой и техническими усовершенствованиями; однако безработные идут в эту ночлежку, как в тюрьму, — здесь строго запрещено курить, приходящие должны раздеться догола, они могут пронести сигарету разве что в волосах. Этот жестокий и унизительный регламент как бы продиктован желанием укрепить, выхолить в людях чувство ненависти.

Помимо городского ночлежного дома, за последнее время в Берлине открылось свыше пятидесяти частных ночлежек. Цены на койку колеблются между сорока и семидесятью пятью пфеннигами. В ночлежке «армии спасения» берут дорого и заставляют к тому же петь натощак псалмы. Но и сорок пфеннигов для многих непосильная мзда. В глухой части парка Тиргартена можно увидать тех, у кого этих сорока пфеннигов не оказалось.

Пусты и тихи улицы рабочих кварталов: только некоторые из них по утрам заполняет толпа людей: здесь проверяют карточки безработных. Иногда раздается голос: «Ищут четырех чернорабочих», в ответ тотчас подымается не четыре, но четыреста рук. Пособия различны — в среднем девять марок на неделю. Прожиточный минимум тридцать марок. Как можно прожить на девять марок, об

этом никогда не пишут экономисты больших газет. Они заняты другим подсчетом — сколько Германия тратит на безработных: «Непосильное бремя, сократить пособия, спасти страну!..» Так пишут газеты, полные высоких чувств и классического человеколюбия. Что касается безработных, то им остается прожить на девять марок. Впереди зима. В прошлом году безработные получали толику угля. Теперь уголь будут выдавать только тем, у кого дети. Остальные смогут лежать на площади возле Штетинского вокзала, где камни несколько согреваются паром...

По дворам Берлина ходят певцы — это бездомные шахтеры или заводские рабочие. Они уныло поют: «У вас дом и в доме лампа, пожалейте тех, кто стоит под окном...» Еще недавно они вырабатывали в день две-три марки. Теперь все реже и реже падает на камни монета: нищета стала бытом, и люди ожесточились. Притом, у тех, кто чаще всего бросал вниз пфенниги, теперь нет лишней монеты: это приказчики, модистки, мелкие чиновники. У них, правда, еще имеются и дом и лампа, но им не до чужих песен и не до чужого горя.

Быстро растет преступность. По статистике полицей-президиума шестьдесят процентов краж, обнаруженных за последнее время, совершены не профессиональными преступниками, но изголодавшимися безработными.

Нищета не только убивает человека, она тщательно над ним издевается. Вечером, в пассаже Унтер-ден-Линден, на аллеях Тиргартена, в окрестностях Александерплаца бродят тысячи и тысячи молодых парней. Им от пятнадцати до двадцати пяти лет. Многие одеты в короткие штанишки. Они стараются томно улыбаться и кокетливо потуплять голодные глаза. Это не извращение, не мода — это нужда. Богатые развратники всего мира спешат в Берлин; здесь полиция ловит бездомных и разгоняет коммунистов, зато она вдоволь терпима к любым формам «любви». Любители выискивают подростков возле отделений, где проверяются карточки безработных. Новичка соблазняют двумя или тремя марками. Он смущается, негодует, отплевывается, и он идет, — с голодом не шутят. Это становится профессией.

Утром они еще ищут работу. Вечером они выходят на улицу и поджидают клиентов. Оплачивается это весьма

низко — полторы марки, марка, порой пятьдесят пфеннигов. Я был в одном кабачке, где собираются проститутки-мужчины, поджидая «кавалеров». Когда в кабачок случайно заходит женщина, они с жадностью смотрят на нее: это ведь обыкновенные здоровые люди. Но вот пришел «кавалер», отставной полковник — высокий воротничок, пегие колючие усы. Тотчас на него налетают десяток парнишек. Они пытаются томно улыбаться. Они так хотят получить одну марку! Среди них немало тех, что еще вчера были обыкновенными безработными, завсегдатаями митингов и демонстраций. Увидав товарища, они стыдливо отворачиваются. Они еще говорят, смеются, даже танцуют, но стыд и отвращение разъели их души. Это уже не люди, но манекены.

В Берлине запрещено совращение малолетних, но полиция ласково смотрит на почтенных развратников, которые охотятся за безработными подростками. В Берлине запрещена «черная биржа», но она собирается открыто под председательством члена государственного биржевого комитета. В Берлине запрещены эмблемы «нацистов», однако улицы покрыты знаками свастики и надписями: «Бей жидов». Зато с коммунистами полиция не шутит. Бьют их деловито и в тюрьму сажают не на час. В маленьких пивных Нордена собираются по вечерам коммунисты. С виду это обыкновенные берлинские пивные: оленьи рога на стене, протертый бархатный диван, копилки для «членов сберегательных кружков». В таких пивных можно ничего не пить — по теперешним временам это выход. Здесь сидят и разговаривают. Здесь можно видеть, как растет справедливая ненависть Нордена. Здесь можно также видеть, как хитро борется тяжелая индустрия против революции: на соседней улице такая же пивная, тот же протертый диван, те же кепки безработных, но там штаб «нацистов».

Одних безработных «нацисты» одурачили: «Мы тоже против капитала; когда мы истребим жидовских банкиров, все безработные получат работу!..» Других они подкупили: в их столовках выдают суп с мясом... Подлинные вдохновители, разумеется, никогда не показываются на улицах Нордена. Среди них немало банкиров: они спасают свой класс. В рабочую среду они внесли путаницу и

разделение. «Тяжелая индустрия» — это почти абстракция, а вот Ганс стоит на том углу, Ганс — свой, рабочий, и он пошел к «нацистам». У Ганса револьвер. У коммуниста Вебера тоже. Поздно ночью на глухой уличке раздается короткий выстрел. Кто-то лежит на мостовой — обманутый Ганс или, может быть, Вебер...

Каждую ночь на севере Берлина раздаются такие выстрелы. По одним улицам никогда не проходят «нацисты» — это крепости коммунистов. По другим коммунисты проходят только ватагой, не спуская глаз с черных окон. Днем враги еще разговаривают, спорят, пробуют друг друга убедить. Ночью не до слов. Ночью встают вся тяжесть голода, все отчаянье долгих лет, безработица, пустота, ночью встает смерть и, на радость далеким «господам-докторам» из различных трестов, злоба разряжает револьверы.

Капитализм слишком долго, слишком отвратительно разлагается. Гангрена успела поразить живые части тела. Когда социал-демократические городовые десять лет тому назад расстреляли рабочих-спартаковцев, они этим не спасли буржуазной культуры, они только оттянули развязку, нанося неисправимый ущерб культуре человеческой.

Редко история знавала трагедию, равную трагедии германского пролетариата. Он выдержал войну и голод. Сжав зубы от отвращения, он отливал пушки и умирал под Верденом. Женщины рожали дегенератов без ногтей, с искривленными телами, слепых и слабоумных. Когда он потребовал права на жизнь, его сумели раздробить и снова стиснуть. Ему дали работу, кусок мяса и койку. Женщины снова беременели. Капитализм, блефуя перед Америкой и кичась воображаемой силой, торжествовал. Он строил новые кабаре и даже новые крейсеры. Он играл, и он зарвался. Рабочих снова послали голодать. У них отобрали койки, из мисок вытащили мясо. Их снова приучили к нужде и к безысходности. Увидев, что они больше не верят социал-демократическим полицейским, их стали вербовать на роли фашистских погромщиков. Осквернили не только их тело, но и душу. Расплата отодвинута, но эта расплата будет жестокой — история умеет мстить.

1931

ИХ ГЕРОЙ

Они были детьми, когда социал-демократы, подымая к небу пивные кружки, кричали «ура» в честь великой родины. Они были школьниками в цветных картузиках. С завистью они поглядывали на мундиры своих старших братьев. Они улюлюкали, когда по узким улицам старых городов проводили пленных. Они кричали: «Боже, накажи Англию!» Они пели: «Мы застрелим всех французов!» Они начали свою жизнь с духовых оркестров и дешевых петард.

Продолжение оказалось куда менее занятным. Из госпиталей запахло карболкой. Стоя возле окон, женщины поджидали почтальонов. Бургомистры деловито просматривали списки убитых. «Героев» считали уже не на сотни, но на сотни тысяч. «Героев» было много, но не было ни сахара, ни масла, ни хлеба. Женщины вытирали передником слезы и варили суп из картофельной кожуры. В праздник они приготовляли пудинг из репы. Гугенберг еще стойко кричал «ура», но молча сколачивали гробовщики детские гробики.

Ребята с утра до ночи бегали по грязным, запущенным улицам. Они визжали от голода и тоски. Никому не было до них дела. Давно вылиняли пестрые картузики, и никто больше не пускал петард.

Когда война кончилась, они были хилыми, озлобленными подростками. В Веймаре социал-демократы снова попробовали поднять к небу пивные кружки. Но у них были осипшие голоса, и никто не хотел их слушать.

Рабочие хотели жить и есть. Тогда социал-демократы скомандовали: «Пли!» Они держались одобренной ими конституции: они не хотели передавать власть посторонним генералам. Они сами стали немецкими Кавеньяками и Галифе.

На Рейне ухмылялись бравые сенегальцы. В Берлине русские эмигранты за бесценок скупали дома и кабаки. Голодные ломали щиты булочных. Над страной царил зеленый клочок бумаги — доллар. Подростки стали юношами. Они попрежнему тосковали. Они хотели жить, но в жизни для них не было места. Это были сыновья отставных чиновников, разорившихся лавочников, лейтенантов, убитых под Верденом, или обнищавших пасторов. Они шлялись натощак по танцулькам, поджидая воображаемых американок. Они смотрели в кино на военные забавы Фридриха Великого, они обирали доверчивых девушек и мечтали о новой войне. Они хотели детских петард и прекрасных приключений.

Все тяжелей и тяжелей было жить. Безработные кидались в воду, вешались, открывали газовые краны. Люди падали от голода на улице. Люди не могли больше жить. Красные полотнища, как языки пламени, стали выскакивать на площади городов.

Тогда г. Гугенберг собрал всех королей Германии — королей угля, руды, электричества и азота: «Надо спасать нашу великую родину!» Так Адольф Гитлер из мелкого неудачника превратился в государственного канцлера.

В Берлине имеется большая площадь Александерплац. На одной стороне этой площади стоят проститутки-женщины, на другой проститутки-мужчины. Здесь прогуливаются сутенеры и карманники, полицейские и сводницы, шпионы, продавцы кокаина, скупщики краденого, громилы. Ребята, бегавшие когда-то в пестрых картузиках, перешли сюда: они требовали счастья или хотя бы пятидесяти пфеннигов. Среди них фашисты вербовали убийц и погромщиков.

Завсегдатаи притонов по соседству с Александерплацем хорошо знали Хорста Весселя. Он был трижды знаменит: как любовник, как патриот и как поэт. Для людей с Александерплаца нет зазорных ремесел. Хорст Вессель

был «другом» проститутки. Одни говорят, что ее звали Люцци, другие — Мицци. У этих девушек имен не меньше, нежели улыбок. Девушка работала наславу, и она любила храброго Хорста. Она любила его не только за пылкость объятий и за нежность сердца — Вессель охранял девицу от соперниц, от других «котов», от полицейских. У Весселя был револьвер, и он умел стрелять. Он хвастал, что на своем веку он уложил немало коммунистов. Он был вожаком одного из «штурмовых отрядов». Полицейские дружески на него поглядывали, и девушка — Люцци или Мицци — была за ним, как за каменной стеной.

Хорст Вессель когда-то носил цветной картузик. Он тоже кричал «ура!» Он вышел из почтенной семьи: его отец был пастором. Он скучал вместе со своим поколением. Он жаждал риска и удачи. Должность счетовода или приказчика он променял на Люцци и на револьвер: он был неисправимым поэтом.

Он жил прекрасно: ел сосиски с капустой, стрелял в коммунистов и сочинял боевые песенки. Но «старый немецкий бог» — бог пастора Весселя — славится дурным нравом. Он не позволил Весселю-старшему покарать как следует Англию. Он не позволил Весселю-младшему насладиться всласть буколическим счастьем. Однажды Хорст Вессель сидел у своей любимой. В комнату вошел Али Хегер.

Али Хегер был серьезным сутенером. Он не признавал дилетантизма. Люцци или Мицци прежде всего принадлежала ему. Вессель нарушил профессиональную этику, и Хегер преспокойно застрелил Весселя.

Хегер входил в союз сутенеров и воришек, который назывался «Всегда верен». Полиция относилась к этому союзу с должным уважением: полицейские арестовывали коммунистов, но не сутенеров. В союзе «Всегда верен» было немало фашистов, они действительно были верны и своим девицам и своим вожакам. Что касается заработка, то зарабатывали они вдвойне: с гитлеровцев они получали за каждого убитого рабочего, с девушек — за каждого обслуженного гостя.

Когда Хегер убил Весселя, фашисты объявили, что «кот», штурмовик и бард пал от преступной руки коммуниста.

У них уже были и деньги, и пулеметы, и флаги, и гимны. Им нехватало только своего святого. В душной пивной среди сигарного дыма, рева и отрыжки был торжественно канонизирован Хорст Вессель. На его могилу положили не подвязки Люцци, но венки, украшенные свастикой.

Каждый святой требует «жития». На беду фашисты не умели писать. Они рано променяли школьные перья сначала на «пугачи», на рукавицы боксера, на шприцы морфиномана, на воровские отмычки, а потом на казенные револьверы. Они писали на стенах: «Смерть жидам», но даже в этой несложной фразе ухитрялись делать орфографические ошибки. Надо было разыскать настоящего писателя. Тогда Гитлер призвал к себе Ганса Гайнца Эверса.

Эверс прежде не занимался политикой. Как Хорст Вессель, он промышлял любовью. Правда, он никогда не опускался до трущоб Александерплаца. Он писал похабные книги и за каждый проданный экземпляр получал столько-то пфеннигов. Другие были «националистами» или «социалистами». Эверс гордо сохранял свое звание: «сатанист».

Он написал роман «Вампир». Герой этого романа работает в Америке над торжеством великой Германии. Он встречается с девушкой. Девушка — еврейка. Они любят друг друга. На беду у них не ладится со здоровьем: когда немец бодр и прыток, заболевает еврейка, и наоборот. Продолжается это довольно долго, а именно до смерти еврейки. Умирая, великодушная особа открывает своему любовнику, что он — вампир. По ночам он сосал ее кровь. Но она никак на него не в претензии: она ведь отдавала свою иудейскую кровь борцу за великую Германию.

Этот роман был написан вскоре после войны. Тогда Эверс рассчитывал предпочтительно на богатых еврейских дам с Курфюрстендама, которые зачитывались его «сатанинскими» романами. Но настали трудные времена. В книжных лавках громоздились горы непроданных романов. Эверс понял, что одними вампирами не проживешь. Тогда он предстал перед фашистами — ему поручили написать житие нового великомученика.

В книге Эверса Хорст Вессель — благороднейший идеалист. У Хорста в Вене белоснежная невеста, но он забывает об этой чистой лилии, только чтобы спасти грешную душу Люцци или Мицци. Оказывается, для этого он жил с ней. Это не профессия, это — высокая миссия: он лечил Люцци от безнравственности и от марксизма. Притом он боролся с Москвой. Кто же не знает, что Москва решила погубить Германию? Вессель с помощью новообращенной Люцци выслеживал коммунистов. Он погиб от пули агента Москвы, и его смерть прекрасна, как смерть страстотерпца.

После этой книги Ганс Гайнц Эверс стал первым писателем «возрожденной Германии». Ренн — в тюрьме, Киш, Генрих Манн, Рот, Толлер, Зегерс, Брехт, Бехер — в изгнании. Под запретом Стефан Цвейг. Зато старый порнограф Ганс Гайнц Эверс избран председателем «союза немецких писателей».

Приятели Хорста Весселя победили. Социал-демократы хотели было крикнуть «ура» в честь великой родины, но их сразу прогнали. Они обиделись. Они стали бормотать о своих давних заслугах. Мало ли коммунистов расстрелял Носке? Социал-демократов нельзя сажать в тюрьму вместе с преступными коммунистами! Им следует назначить пенсию.

Приятели Хорста Весселя тем временем резвятся. Геринг расхаживает по городу в рейтузах. Он не выпускает из руки хлыст. Ловкачи возле еврейских лавчонок растаскивают марксистские ботинки и интернациональную колбасу. Все то дикое и темное, что пряталось в узких, как щели, улицах, выползло наружу — садисты, морфинисты, параноики, душители.

В своих речах вожаки фашистов неустанно повторяют: «Кровь, кровь!» Они говорят о своей готовности пролить кровь за Германию. Но, дойдя до слова «кровь», они останавливаются от волнения, и чернь в ответ восторженно улюлюкает.

Они начали с петард. Они кончают поджогами, погромами и убийствами. Они не виноваты: они делают то, что умеют. Когда им говорят об экономике, они в ответ громят лавки. Они хотят быть философами. Для торжества идеализма они устроили в доме, где родился Карл Маркс,

полицейский участок. Они образцовые педагоги: они ввели в школах телесные наказания — от пощечин до порки. Они ведь вышли из школьного возраста — розги грозят не им.

В Берлине был «Дом Карла Либкнехта». Он был назван именем героя. Рабочие знали, что этот человек их не предал. Он не кричал «ура». Он не остановился ни перед тюрьмой, ни перед смертью. Даже враги преклонялись перед его памятью. Его убили старшие братья тех палачей, которые теперь приканчивают в тюрьмах арестованных. Его имя стало символом большой жизни и высокой смерти, как Стена коммунаров и как баррикады Пресни.

Они переименовали «Дом Карла Либкнехта» в «Дом Хорста Весселя». Вот он — их герой: сутенер, виршеплет, убийца из-за угла, воспетый старым похабником. Что же, каждому — свое.

1933

БЕРЛИН

(1950)

Берлин. Вы знаете, что этот город разбит войной, и все же вас потрясает нагромождение развалин. Привыкнув несколько к развалинам, вы замечаете, что кварталы расчищают, сносят камни; то и дело вы видите леса: строят. По мостовой идут девушки в синих блузах: это свободная молодежь Германии. На только что выстроенном доме большой портрет Тельмана. Каменные скелеты расщепленных зданий прикрыты яркими флагами. Завод, еще завод, снова завод. Здесь не только развалины, здесь идет работа. Магазины, в них скромные товары. Нет реклам. Театр, премьера: пьеса поэта Брехта. Другой театр: трагедия Шиллера. Кино: новый немецкий фильм «Совет богов». Книжный магазин, много новинок. Объявление: «Доклад и диспут на тему — нужно ли нам искусство?» Много диспутов, докладов, заседаний. Молодые слушают, спорят, записывают. Много молодых, они знают, что должны учиться, работать, отстроить город, отстроить страну.

Вы переходите Потсдамерплац. Вы задумались, идете дальше, не обращая внимания ни на полицейских, ни на вывески, ни на прохожих. Те же развалины, только никто их не разбирает; не видно лесов — здесь не строят. Вдруг вы спрашиваете себя: куда делись девушки в синих блузах? Почему вместо них солдаты в касках, броневики? Вы оглядываетесь — здесь все другое. Много маленьких магазинов, обосновавшихся в нижних этажах разрушенных и

невосстановленных домов. Витрина — флакон парижских духов, модное платье, дюжина пестрых платочков. Книжных лавок нет, зато имеются галстуки с изображением Гёте. В киосках яркие обложки журналов: голливудские красавицы на пляже. Вокруг развалин Гедехнискирхе шумное сборище: здесь меняют «восточные» марки на «западные» и «западные» на «восточные». Много спекулянтов. На углах тусклые горемыки громким шопотом повторяют: «Ами, ами, ами», — продают из-под полы американские сигареты. На разрушенном Курфюрстендаме рестораны, кафе; на террасах отставные гитлеровские сановники, мародеры, дамочки с таксами. Один спекулянт говорит другому: «Даю безитц-доллары, беру грунд-доллары...» Приглядевшись, вы замечаете, что сверхмодные туалеты не вполне выдержаны: на одной дамочке манто довоенного покроя, а у отставного сановника стоптанные ботинки. Лакеи, однако, великолепны, и глупым дамочкам кажется, что это — Елисейские Поля. Объявление: «Дансинг. Все танцуют самбу». Ничего не поделаешь, «буги-вуги» устарел, теперь танцуют «самбу» — яростно топчутся на месте, и кавалер трясет даму, будто дама — Европа, а он — не то Юпитер, не то шериф из штата Колорадо. Вы поворачиваете назад и доходите до «границы». Возле указательной дощечки стоят отставные гитлеровские сановники, они смотрят на другую сторону улицы: там девушки в синих блузах; и хотя эти девушки весело смеются, отставным сановникам не по себе.

В дни слета молодежи западные кварталы Берлина приняли военный облик; даже французы выставили напоказ все свое воинство. Американцы два месяца подряд кричали, что они «отразят нападение», хотя никто на них нападать не собирался. Газеты западного Берлина пугали жителей «красной троицей». Некоторые чересчур нервные дамы с таксами или без такс ринулись на запад Германии. Обитатели западного Берлина смеялись над этой паникой; рассказывали, как г-жа Мюллер умоляет своего поклонника Шмидта: «У вас восхитительное бомбоубежище. Если вы меня пригласите на троицу, я приду»; но г. Шмидт неумолим: «Вы опоздали, дорогая, ко мне напросились уже тридцать дам...»

Гойя пережил страшные наполеоновские войны, он знал, что такое разорение, нищета, смерть. Он многое видел и многое предвидел, — у него была богатая фантазия. Однако современного Берлина не мог предвидеть даже он. Пожалуй, это самая фантастическая картина из всех, которые я наблюдал. Никого не удивит, что в Брюсселе на каждом шагу банк и таблица с биржевыми курсами, а в Праге на каждом шагу книжная лавка. Никого не удивит, что московские газеты заняты вопросами языковедения, а чикагские газеты заняты проделками гангстеров. Мы знаем, что существуют различные социальные системы, различные пласты истории, различные государства, а между ними границы, таможенники, часовые. Но трудно понять, как два не только различных — противоположных мира могут помещаться по обе стороны одной улицы, к тому же разрушенной. Ведь если дома выдают характер, вкусы, социальное положение их обитателей, то все развалины похожи одна на другую. Здесь особенно ясно видишь безумье американцев, которые раскололи не только Германию, но и Берлин, превратили несколько кварталов разрушенной столицы в плацдарм для изобретенной ими «холодной войны», в выставку пародийного капитализма.

В обыкновенном капиталистическом обществе есть трутни и пчелы. В западных кварталах Берлина пчел нет — все жители превращены в трутней, только богатые трутни живут припеваючи, а бедные прозябают. Работы нет, и люди, которые ищут заработка, неминуемо направляются в восточный сектор. Зарплату они получают, разумеется, в марках республики. Они приносят получку домой, в западный сектор, и там им меняют деньги: за семь «восточных» марок дают одну «западную». Это подается как финансовая операция, на самом деле это тривиальное воровство.

Свыше трехсот тысяч безработных западного Берлина получают пособие — сто марок в месяц. Эти деньги они меняют на «восточные», у них оказывается семьсот марок. Их можно встретить в магазинах и на базарах демократического сектора. Стрижка стоит одну марку на всех широтах и долготах Берлина. Немец, проживающий в западном квартале, когда ему нужно постричься, направляется в один из восточных кварталов, независимо от того, какие

политические убеждения скрываются под его нестрижеными волосами. Он платит марку и возвращается домой удовлетворенный: он постригся и заработал шесть марок... Все это узаконено: в западных кварталах имеются «меняльные конторы», и газеты там ежедневно сообщают о «курсе восточной марки».

Товары, которые можно увидеть в магазинах западного Берлина, поступают из Западной Германии; но вещи, изготовленные в Аугсбурге, в Дюссельдорфе или в Штутгарте, выгоднее купить в Берлине: цены в западных кварталах Берлина на двадцать — двадцать пять процентов ниже, чем в Западной Германии. Такова политика американцев: западный Берлин для них не город, а выставка.

Жизнь западного Берлина иллюзорна и похожа на дурной сон. Никто ничего не строит. Люди не хотят думать о том, что будет завтра. Их тешат воспоминания. Они радуются, что маленькие магазины среди развалин своими вывесками напоминают о прошлом: «Сигары Бенике», «Ресторан Кемпинского», «Маппе». Вот заведение «Ашингера», в нем люди едят сосиски и пьют пиво. Сосиски не те и пиво не то, но люди в упоении повторяют: «Я был у Ашингера». Ведь все оказалось тленным, уцелела только вывеска пивнушки. «Ашингер» был при кайзере, он пережил веймарскую республику и Гитлера; и, глотая сосиски, бюргер мечтает: может быть, время повернет назад, может быть, снова настанут дни благоденствия?..

Как известно, на троицу в республиканский Берлин съехались юноши и девушки из всей Германии. Проезд из Западной Германии был затруднен, американцы и англичане закрыли «границу». Молодежь пробиралась тайком; переходили границу ночью, разбившись на мелкие группы. Все же в Берлин из Западной Германии пробрались молодые рабочие, студенты, школьники. Приехали также иностранные гости, здесь были и наши комсомольцы, и пражские студенты, и польские дети, и болгарские крестьяне, и герои народного Китая, и представители французской молодежи, и писатели, и ученые — люди разных стран, разных профессий, беззаветно отдающие свои силы защите мира. В газете западного сектора «Берлинер зайте» я прочитал нижеследующее: «Первые почетные гости уже пожаловали на троицу к нам. Среди них отметим дона

Падильо, крупного коммерсанта из Мехико-сити, мистера Эльстрома из Нью-Йорка, доктора Пефгена, представителя консорциума «Вольф» в Дюссельдорфе, мистера Ренота, представителя «Дженерал моторс», мистера Шумана из Нью-Йорка, представителя экспортной фирмы «Нэш», мистера Робертсона из Нью-Йорка, сеньора Майя-Уэритаса, журналиста из Мадрида». По гостям можно судить о хозяевах. К пародийным хозяевам пародийного Курфюрстендама пожаловали несколько американских рвачей и корреспондент франкистской газеты, который, наверно, в свое время описывал похождения «Голубой дивизии».

Советский Союз много сделал для морального возрождения Германии. Рука, протянутая во-время, помогла немцам приподняться. Кто мог бы подумать в 1944 году, что шесть лет спустя немецкая молодежь пронесет по улицам Берлина портреты Ленина и Сталина, что там, где стучали сапоги прусских завоевателей, зазвучит «Интернационал».

Окруженные лаской, осыпанные цветами, шли по Унтер-ден-Линден польские дети; десятки полотнищ клятвенно подтверждали незыблемость границ, крепость дружбы. Если в Западной Германии воспитывают молодых немцев для войны, то республика внушает своим юношам идеи братства. Когда оркестр заиграл «Марсельезу», я увидел радостное волнение на лицах французов. «План Шумана» — это брак по расчету, вернее — по приказу опекуна, между двумя ненавидящими друг друга партнерами; этот «план» создан для войны, и он несет в себе войну. «Марсельеза» на улицах Берлина — это залог дружбы двух народов, чья вражда непрестанно опустошала Европу.

Я знаю, что все это только начало: перерождение — медленный процесс; порой видишь черты темного прошлого или чересчур легкое и чересчур поверхностное усвоение нового. Но каждый, кто был этой весной в Берлине, знает, что новая Германия родилась; она будет жить и расти.

В республике идет ожесточенная работа; строят ясли и школы, больницы и заводы, выращивают новую рабочую интеллигенцию; пишут книги, создают дисциплину,

основанную на моральной ответственности человека; приподымают народ. В последней новелле прекрасной писательницы Анны Зегерс «Пятая зона» немец, воевавший против Советского Союза, возвращается из плена домой; это человек старой закваски, он не хочет «новшеств», он едет туда, где все на месте — и генерал Мантейфель, и закусочные Ашингера, — на запад. Там он видит, что он ошибся: его детям нечего будет делать, незачем жить. Он возвращается в республику: пятая зона — это будущее.

Будущее увидят те, кто сейчас еще молод, юноши и девушки в синих рубашках или блузках. Не удивительно, что первой заявкой заново рожденной Германии был слет ее молодежи. Нельзя открыть новую историю съездом ветеранов... Бывает легкая молодость, когда дорога проложена предшествующими поколениями, когда старшими построены дома и посажены сады. Молодежи теперешней Германии достались в наследство развалины — городов, государств, сознания. Нужно все начинать сызнова, строить дома, составлять учебники, устанавливать нормы поведения. Это трудное, но благородное дело. Не случайно взоры всего мира этой весной были обращены к Берлину. Люди в разных странах внимательно следили за тем, что происходит в немецкой столице, — не потому, что они поверили американским журналистам, которые уверяли, будто «красные» попытаются взять штурмом рестораны Курфюрстендама, а потому, что молодежь страны, еще недавно несшей Европе ужасные бедствия, отрекаясь от недавнего прошлого, показала свою привязанность к миру и к жизни.

Июль, 1950

ФРАНЦИЯ

НОВЫЙ ПАРИЖ

Я живу теперь в почетном доме на улице Лас-Каз. Это — в самом сердце квартала Сен-Жермен, квартала министерств, посольств и антикваров. Если б домам давали отличия, я убежден, что этот дом щеголял бы розеткой Почетного легиона. Ему никак не менее ста лет, и скоро, надо надеяться, он будет приобретен вместе с его обитателями каким-нибудь любителем древностей из штата Огайо. Винтовая лестница, таинственные коридоры с чуланами, в которых, наверное, запирали малолетних героев Бальзака, шкапы ампир, падающие при первом к ним прикосновении, столы Луи-Филиппа, годные только для спиритических сеансов, а среди всего этого — старая моя знакомая, дымящая во-всю «буржуйка».

Таких домов в Париже множество. Центральное отопление — это модное нововведение, чуть ли не снобизм, а ванная комната — признак роскоши. Даже электричество еще не вытеснило керосиновых чадилок. Снаружи дома покрыты приятной копотью времени: они дышали и факелами императорских парадов и порохом четырех революций. На них горделивые надписи: «Вода во всех этажах», или: «Запрещено наклеивать афиши. Закон 1888 года».

Позвоните. Старая привратница потянет кисть большущего шнура, со скрипом приоткроется дверь, вы очутитесь среди пыльных гардин, китайских ваз, высочайших кроватей с перинами и кресел одного из Людовиков. Так живут начальники департаментов и скромные счетоводы, крупные негоцианты и худосочные приказчики.

Дома ремонтируют, чуть подновляют: то переклеят обои, то переменят сгнившие рамы. Дома сделаны добросовестно, и они стоят. Мало чем отличаются дома, построенные в начале двадцатого века. Все вместе — это Париж, Париж наших полудетских грез и великой французской литературы, Париж Мопассана, Золя, монмартрских куплетистов и радикалов.

Молодые архитекторы возмущаются. На дворе 1926 год, как бы ни был поэтичен треск поленьев в камине, труба радиатора удобнее. Нужно строить новый Париж.

Парижане, однако, не торопятся. Видимо, дороги им старые дома не одними только воспоминаниями. Наше поколение успело приспособиться к новому ритму, но полюбить его оно не смогло. Говоря откровенно, современники напоминают первые автомобили — карету, к которой приделан мотор.

Походка парижанина изменилась. Он больше не фланирует, не порхает, как воробей на солнышке, не бредет мечтательно от фонаря к фонарю, не улыбается встречным женщинам. Он теперь передвигается сухо и деловито, как будто Бульвар-де-Капюсэн — Уолл-стрит. Но, придя домой, вместе с обувью он скидывает навязанный ему «американизм»; в войлочных туфлях перед нами — мечтатель и остряк, обломок девятнадцатого века.

Я не знаю, переживут ли туфли бытовую революцию, но дома начинают трещать. Целые кварталы идут на слом. Уничтожены крепостные валы, окружавшие город. Парижане долго берегли их, как фамильное ожерелье, но логика оказалась сильнее чувств. Второй Париж рождается на окраинах. Возле застав Версальской, Сен-Клу, Отейль, как грибы, что ни месяц выскакивают сотни новых домов. Быстро обрастают бетоном скелеты многоэтажных зданий. Весело покрикивают рабочие. Скрипят краны. Нос щиплет известка. Ночью в темноте, как океанские пароходы, сверкают построенные дома — в пятьдесят, в сто, в триста квартир. Они еще не срослись каменными телами. Рядом с обрезом корпуса копошатся в темноте подрядчики. Но там и сям горят свежепроложенные улицы, смыкаются ряды домов, густеет свет.

Париж Отейля, где некогда в деревенском домишке умирал от пафоса прозы и от крепкого кофе Оноре Баль-

зак, теперь похож на западные кварталы Берлина. Политические границы после войны стали ощутимей, а бытовые стерлись, зарубцевались. Ни национальный темперамент, ни традиции не сказываются в современной архитектуре Франции или Германии.

Из Нового Света привезли эту эстетику, и она признана народами Европы наравне с долларами и чарльстоном. Вначале ее прославляли чудаки и поэты. Скоро, однако, все пришло в порядок. Строительными делами вместо наивных энтузиастов «конструктивизма» занялись предприниматели. Зачем доказывать, что новая архитектура прекрасна? Достаточно сказать, что она отвечает требованиям комфорта. Победа была одержана настолько быстро, что писавший пламенный трактат в защиту урбанистической красоты архитектор Корбюзье сел за письменный стол чуть ли не безумцем, а закончив книгу, услыхал: «Да это же тривиальные истины!»

Возле парка Монсури художник Озанфан построил себе безупречный современный дом. В нем мастерская, жилые комнаты, гараж, но я назвал бы его пуританской молельней. Все здесь прекрасно: пропорции, голизна, свет. В таком доме можно изобрести уэллсовскую «машину времени», можно в нем и вести статистику мозговых выделений. Озанфан пишет огромные холсты с портретами бутылки — один, другой... сотый холст. Он называет это «пуризмом» — чистым искусством, самым чистым, чище нельзя. Белые стены, столы из стекла. Шкапы в стенах для платья, для картин, даже для запонок. И вот среди чистейшего света стоит человек. Он закрашивает холст: сто первая бутылка. Он говорит:

— Нам нужно чистое искусство, чтобы мы не отчаялись...

Кроме Озанфана, в доме живет простодушная служанка. В ее комнате те же пропорции, та же пустота. Но суровый педант чистоты здесь смягчился: он повесил на стенку наивный натюр-морт — полевые цветы. Это, разумеется, выпадает из стиля дома, это — ошибка, но, кажется, без таких «ошибок» нам не прожить и дня. Мы не ропщем на технику, мы только скромно просим рассматривать нас, как рассматривает пурист Озанфан свою деревенскую стряпуху.

Новая архитектура вошла в быт, как автомобили или как радио. Скоро внешний облик европейских городов изменится. Это, конечно, событие первостепенной важности, — рядом с ним кажутся мелкой хроникой выставки картин или сборники стихов. И все же я осмелюсь сказать, что живопись Пикассо является не только более высокой, но и более точной формулировкой нашей эпохи, нежели новые города Франции, Голландии и Германии. Современная архитектура утилитарна. Вдохновение ограничено запросами обихода. Строитель обслуживает быт, и он невольно раболепствует перед жестокой и требовательной трезвостью, под которой человеческая фантазия задыхается, как улитка под чрезмерно тяжелой скорлупой.

Конечно, хорошо, что скоро вместо кротовых нор улицы Лас-Каз повсюду будут светлые здания вроде того, что выстроил себе Озанфан. Но еще лучше мечталось об этом десять лет назад. А теперь вместо домов-кубов, вместо кроватей-шкапов мы склонны мечтать о живых людях: ведь это, кажется, самое редкое из всего, что можно встретить, блуждая по великолепным проспектам современных столиц...

1926

БРЕТАНЬ

ВАНН, ИЛИ ПЛОДОТВОРНАЯ СКУКА

За соседним столиком в пустом и парадном кафе, размеры которого продиктованы захолустным чванством и надеждой на воскресенье, сидят почтенные завсегдатаи. На вид все они одного возраста и одной профессии. Как отличить нотариуса от агента страхового общества? Если одному пятьдесят два года, а другому все шестьдесят, то, право же, в этом возрасте восемь лет — пустяк, о котором не стоит говорить. А город... Его зовут Ванн, он проставлен на карте жирным кружком. Я только что сюда приехал, но мне кажется, что я прожил здесь уже много лет. Ничего нет монотонней и патетичней французской провинции. Здесь можно написать «Госпожу Бовари» или, если для этого нет таланта, купить тромбон и на нем упражняться каждый вечер до самой смерти.

Сколько во Франции таких городов? Пятьдесят? Сто? Пятьсот? Обязательно готический собор, в одном четырнадцатого века, в другом пятнадцатого. Внутри, если верить путеводителю, — гробница такого-то епископа и резные херувимы, заслуживающие особого внимания. Если же путеводителю не доверять, то можно там увидеть только двух старушонок, которые жуют лениво латинское слово молитвы, красноносого аббата, пропахшего ладаном и чесноком, да еще, может быть, сухопарую мисс, готовую

принять аббата за гробницу, а старушек — за резных ангелов.

Рядом с собором — универсальный магазин: «Дамы Севера», или: «Роскошь Востока», или: «Все для Запада». Там пусто и прохладно, как в соборе. Какая-то бабка изучает песочные часы для варки яиц всмятку, и скептический холостяк обозревает галстуки. Оба, наверное, ничего не купят. Бабка сошлется на дороговизну: до войны песочные часы стоили всего одиннадцать су. Холостяк же спесиво заявит:

— У вас никакого выбора. Эти разводы носили в позапрошлом году. Нет, уж лучше я подожду до осени, — тогда я куплю себе в Париже настоящий галстук.

Магазин оживляется только в дни распродаж. Тогда хозяйки покупают вязаные штаны и суповницы со скидкой в пять су.

Кроме собора и универсального магазина, в городе существует, конечно, мэрия. 14 июля и в годовщину перемирия на ней вывешивают флаг. Раз в четыре года в мэрию приходят избиратели, чтобы голосовать. Протекает это тихо и незаметно. Конечно, трудней выбрать суповую миску, нежели депутата, но голосуют дружно за один список — так заведено. Каждый город чем-нибудь да отличается. В одном, например, замечательный суп из рубцов, в другом — всемирно-прославленная жареная колбаса. Так и с депутатами. Грасс выбирает социалистов, Сетт — радикалов, Ванн — католиков. Это волнует только непосредственно заинтересованных. Избранные устраивают в мэрии «почетный пунш», чокаются с почтенными гражданами и произносят прочувствованные речи о славных традициях города.

Так как «пунш» распивается один раз в четыре года, он, конечно, заслуживает меньшего внимания, нежели обыкновенные анисовые или хинные настойки, распиваемые ежедневно для поддержания аппетита и оптимизма в двух кафе, конкурирующих друг с другом. Одно называется поэтично «Кафе коммерции и шпаги», другое попроще — «Кафе Бретань». В одном музыка и свежие игральные карты, в другом музыки нет и карты, откровенно говоря, вдоволь просаленные, зато там наливают в стаканы чуть-чуть побольше анисовой настойки. Завсегда-

таи — это две партии. Одну возглавляет директор местного отделения «Матэн», другую зубной врач, он же корреспондент «Пти паризьен».

В городе выходит, разумеется, своя газета. В передовой статье ежедневно пишут о кознях Москвы и о необходимости почистить вокзальную уборную. Главное место занимают местные новости: «У владельца магазина санитарных аппаратов, а также лучших эмалевых красок, г. Дюпона родилась вчера дочь. Приносим горячие поздравления счастливым родителям». Г-н Дюпон покупает десять экземпляров газеты и в порыве великодушия раздает их своим собутыльникам.

Город несколько оживает, когда приходит парижский поезд. Газетчики весело покрикивают: «Ле журналь»! «Ле матэн»! В Ванне это бывает в четыре часа дня, в других городах — в другие часы: кое-где — утром, кое-где — под вечер. Тогда кто-то вытряхивает на сонные улицы трупы разбившихся летчиков, карты зарезанной старухи, имена китайских генералов, курс доллара и меню дипломатических банкетов. Патетически верещат разворачиваемые листы. К запахам туземной кухни, к этим скромным запахам прованского масла или маргарина, чеснока или рыбы на минуту примешивается аромат столичной кухни: проекты избирательной реформы, резолюции «левых республиканцев», улыбка Бриана, морщины Пуанкаре. Что скажет на это зубной врач?.. В кафе происходит обсуждение высоких проблем, но быстро оно сменяется игрой в «трик-трак» или справками о легкомыслии почтенного г. Дюпона. Обрывки парижских газет хозяйки гофрируют, — ими устилают полки кухонь.

География Франции — это отдаленность такого-то города от Парижа. Меняются часы, когда продают «Матэн» или «Пти паризьен». Что касается стратегов из кафе «Коммерции и шпаги» или проказ г. Дюпона, то их вы найдете не только в Ванне, но и в Люневиле и в Ниме.

Конечно, в Ванне на завтрак нам подадут сардинки, если не омара. Ну, а в Перигоре — паштеты. Есть область, где сепаратизм процветает, охраняемый культурными обжорами «третьей республики». Что же сказать о Ванне? Еще один дом шестнадцатого века. Еще одно

историческое воспоминание: поражение англичан или расстрел роялистов. Это следует оставить ревнивой мисс. Что она будет делать с полевым биноклем и чистой от всяких мыслей головой, если исчезнут имена, даты, памятники, абсиды, колонны, стили, открытки с видами и розовые закаты над пепельными камнями всех поименованных в путеводителе городов?

Я же смело могу забыть слово «Ванн» и, заказав хинную настойку, погрузиться в звонкую скуку безыменного города, в скуку, которая родила французскую литературу, как навоз и пот рождают необычайные вина, в скуку Стендаля, Бальзака и Флобера, в скуку г. Дюпона, в скуку знакомых с детства анекдотов, стука игральных костей и вечернего замирания, когда, может быть, розов закат, — слов нет, пышен, розов, но когда жалок человек под этим закатом, между куском сыра на десерт и взбитыми пуховиками. О скука! О ясность, великая ясность жизни! Что это? Высокий, аполлонический сон? Или только торжество провинциальной кухни, вес блюд, стабилизация после десяти дизентерийных лет почтенных желудков, осознанный процесс превращения омаров, баранины, настоек в кровь, в человеческое сало, в небытие?..

КОНЕЦ ЗЕМЛИ

Бретань начинается скромно и задушевно, как знакомая со школьной скамьи книга. Сначала все здесь понятно глазу европейца: поля, пастбища, жидкие перелески, чванливость приземистых ферм и вековая укатанность широких дорог, автомобили, герань в окнах, колонки с бензином, красивые виды. Шумят старые вязы, вызревает пшеница, и слит с бликами солнца, с полетом ласточек, с ходом столетий тщедушный деревенский почтальон на старомодном велосипеде. Если в эту интимную идиллию вмешиваются морской ветер или крахмальные чепцы женщин на узловых станциях, то это кажется летней забавой, приманкой для туристов. Да, сначала Бретань только значится на картах.

Но чем дальше рвется паровоз на запад, в один из тех тупиков, где настойчивый разбег рельсов прерывается

разбегом океана, тем громче становится ветер. Он вмешивается в человеческие споры, заглушает голоса. Он здесь хозяин. Все деревья пригнуты им к земле, и дома стоят от него отвернувшись, глядя на Францию прищуренными окнами. Появляются нагромождения камней, романтический вереск, на губах соль, а в воздухе мужество. Уж люди не те. Вокруг рельсов, правда, еще лепятся пиджаки, газеты, пудра, они покрывают теплым мясом тонкие стальные сосуды, но стоит только отойти несколько километров в сторону, как кончается ряд привычных понятий, исчезают галстуки и граммофоны, Гарольд Ллойд и Лига наций.

Можно, конечно, и здесь разыскать книжный магазин, а в нем несколько солидных трудов о происхождении кельтского языка, о мистицизме Шатобриана или о сепаратистских уклонах бретонского духовенства. Но я попробую обойтись без книг, вникнуть в причудливый алфавит зрачков и скал, кружев и водорослей. Нет, это — не просто провинция Франции, не такая-то разновидность синего неба и винограда, Ронсара и «Декларации прав». Француз здесь, пожалуй, за границей — не только потому, что в деревнях Финистера люди говорят на не понятном ему языке, да и не потому, что живы здесь диковинные наряды и странные обычаи. Нет, в самом небе, как в глазах бретонца, отсутствует основной цемент французского духа и бытия — ясность. Здесь все туманно и полно догадок: переходы от солнца к дождю и от смеха к плачу, похоронный чин народных празднеств и триумфальные арки вместо кладбищенских ворот, унылый гуд свадебных дудельщиков, траур праздничных одежд, причудливые ассоциации, рождаемые облаками, небо, земля, сны — все.

Конечно, пройдет еще десять или двадцать лет, разветвится железная сеть, хрип радио, затягивающая зыбь экрана дойдут и до захолустий Бретани.

Пока еще можно увидеть эту окраину Европы во всей ее суровой откровенности. Еще пусты многие дороги, где путник встретит только вековое удивление коров и сострадательные кресты на открытых ветрам перевалах. Еще не подчинены общей гамме мелодии деревянных «сабо», утром полные решимости и мрачные, как звуки коло-

тушки, в вечерней мгле. Еще чист и нежен испуг стройных девушек в старинных платьях перед взглядом редкого чужестранца.

Чепцы бретонок сложны и разнообразны, как картины, выводимые морозом на стеклах. Одни из них напоминают крылья бабочек, другие — клешни омаров. В Пенмарке работницы сардинных фабрик одеты по-местному: на них длинные черные платья с высокой тальей и кружевной чепец, похожий на митру. Их жесты подчиняются костюму. Они работают горделиво и строго, как будто это не живые люди, а прекрасные тени со старой фрески.

Я видел на острове рыбачку в старинной шали и в чепце. Она чинила голубые сети. Чуть склонив голову на плечо, она улыбалась. Это была, если хотите, великая актриса Рашель, но я не поручусь, что в парижской шляпе она сохранила бы эту улыбку.

Чем дальше на запад, тем больше чепцов и ветра. Вот уже остановился, запыхавшись, поезд: дальше ему некуда итти, — дальше только скудные поля, скалы, захудалые селенья и неприветливый океан. Земля как бы не хочет сдаваться. Кое-где сеют овес. Крохотные поля огорожены камнями. Тощие колосья раз и навсегда установленного неурожая. Потом исчезают поля. Только камень и ветер. Еще один домик. Скалы. Чайки. Хлопают ставни. Маяк. И, наконец, насмешливые волны, которые хлещут, последний мыс.

Финистер — «конец земли», так зовут этот край. Это — его административная кличка и это — его поэтическая сущность. Конечно, и дальше — земля. Где-то там, за плотными туманами, скрыты зеленые пастбища и себялюбивые сны Англии. Но это — уже не Европа, не наши сады и не наше горе. Вот напротив — маленький островок Сен. Там тоже живут люди. Прежде они были попросту мародерами моря. Они раздевали тонущих. Теперь закон упорядочил их существование. Раз в месяц по дешевке продают на этом острове все остающееся после кораблекрушений: доски и посуду, сапоги и котлы.

Так и Англия — великолепная контора разбогатевших пиратов, отъединение, жизнь на полях нашей книги.

Здесь же — последний мыс. Я думаю о Европе. Она

начинается незаметно широкой лавиной пастбищ и людей из тишины и мудрости, из лени и простора, она несется причудливо на запад, тяжелея от угля и традиций, пестрая, шумливая, жадная, все дальше на запад, мимо веселых и тщетных огней Парижа, чтобы кончиться этими ненужными скалами, на которых полуголый бедняк, пригнувшись, прижавшись к камням, сушит последнюю добычу земли — груду водорослей.

РЕДКИЙ ДАР

Хорошо хоть на месяц стать островитянином. Вода — верная защита. Старики любят глядеть на проходящие мимо пароходы. Они гадают, сколько тонн, откуда идет, куда. Это — тихое развлечение. На острове Беллиль имеется все, что нужно человеку: поля, сады, скалы, песок. Берег со стороны континента мягок и буколичен: тихие гавани, глубокие долины, золотые песочные скаты. В открытое море смотрят крутые скалы, груды камней, остатки катастрофы или строительный материал для неосуществленных островов. Все это окружено пеной и гулом. Чем громче рев, тем спокойнее на душе и отъединенней. Суета большого мира доходит сюда, и то с запозданием, только шелестом газетных листов.

Маленький городишко. Бывшая крепость. Среди скал и песков — поросшие пахучей мятой форты. После газетных статей о химической войне или о воздушном флоте они кажутся детскими игрушками. На одном из фортов цифра «1850». Всего восемьдесят лет тому назад...

На старенькие форты, впрочем, никто не смотрит. Смотрят на пароходы и ловят сардинку. Как в столицах курс доллара, так здесь курс сардинок определяет все. Помимо этого, существуют пять жандармов и десяток кабачков.

Иногда из мэрии выходит старичок с барабаном. Его официальное наименование: «публичный крикун». Он бьет в барабан и оглашает важные новости: в субботу будет большой бал; госпожа Марион потеряла серебряную пряжку; в магазине «Маленький Париж» получена партия кепок. Я невольно вспоминаю такой же знойный летний

день, такого же старичка с барабаном. Все лениво слушали: ну, кто там что потерял?.. Старичок, заикаясь от волнения, прочел приказ о всеобщей мобилизации. Оказалось, что потеряли все и всё. Это было тринадцать лет тому назад. Сейчас «крикун» рассказывает о продаже какой-то лодки. Может быть, он вынет из-за пазухи другую бумажку?.. Вероятно, эта мысль приходит в голову многим. От нее торопливо отмахиваются: мы повоевали. А дети?.. Ну что же, каждому свой черед. Пока что — бинокли и сардинка. Сегодня триста восемьдесят франков за сто кило. Большой улов!

По вечерам сходятся парусники с разных сторон: из Конкарно, из Пенмарка, из Дуарненэ. Они выгружают рыбу и закупают провиант. В кафе на набережной — громкоговоритель. Фокстроты доходят и сюда. Грусть большого города, его огней и одиночества заволакивает тогда набережную. Тускло мерцают лампочки. Качаются мачты. В темноте копошатся груды людей. Рыбаки, привыкшие к гулу моря, слушают иной гул — черного рупора. Тогда смешивается все: свои и приезжие, рыбаки и туристы, прибой и фокстрот. Для одних море — зрелище, для других — угрюмая работа. Здесь нет вражды, только чудовищное различие несовместимых судеб, на минуту объединенных одной пошлой и все же волнующей сердце мелодией.

Если заглянуть в глаза этих слушающих фокстроты рыбаков — поразит их неясность и чрезмерность. Может быть, это от душевных качеств, может быть, от окраски моря и неба. Кажется, все здесь готово к отлету, вздуты все душевные паруса. Вот таким был писатель Вилье-де-Лиль-Адан: чужие ордена, мечта о жалкой славе и ребячливое сердце, геральдические деревья и залатанный сюртук, архаичность благородства, волнение до грозных слез, несчастная улыбка, несколько книг, несколько профессий, анонимная смерть на больничной койке. Глаза бретонца и его судьба...

Да, в другой стране это могло бы стать угрюмой моралью, трагедией, безумьем. Но что осталось от всего этого? Прекрасная история, легкая, малозаметная улыбка, которая не только прикрывает страдание, но и побеждает его.

Здесь, кажется, мост, связывающий остров с материком, Бретань — с Францией. Говорят, что это дряхлые добродетели, что они просятся в музей. Да, можно, разумеется, сдать в музей и Вилье-де-Лиль-Адана, и французскую живопись девятнадцатого века, и стихи Расина, и древние соборы. Но в какой музей поместить этих рыбаков, которые ловят сардинку, если для них поэзия ясна, как лепет дитяти, а корабли соборов понятны, как корабли морей, если целый великолепный музей скрыт в груди труженика моря под мокрым брезентом?..

1927

В ЦЕНТРЕ ФРАНЦИИ

Когда-то во Франции было много городов, гордых любовью своих детей. Для Луизы Лабе Лион был прекрасен, а Иоахим Белле не знал ничего милее своей Турени. Существовали ярмарки Арраса, задор Авиньона, легкомыслие Нанси. Можно насчитать десятки художественных школ, родившихся в различных областях. Романская архитектура Перигора далека от провансальской, и готика Тулузы — не готика Реймса. В маленьких городах печатали ученые трактаты и сборники стихов. Во Франции прежде были «провинции». Пришла революция. Вместо «провинций» она разделила страну на департаменты, и вся Франция, помимо Парижа, стала одной монотонной провинцией.

Конечно, по статистике, Париж всего-навсего одна пятнадцатая Франции, но не цифрами определяется гегемония. Конечно, большинство парламента состоит из депутатов от департаментов, но провинциал, переночевав одну ночь в парижской гостинице, становится, хотя бы потенциально, парижанином. Когда четыре года спустя он едет домой собирать голоса избирателей, это похоже на воскресную прогулку горожанина за ягодами или за фиалками. Провинция поставляет в Париж молодых фантазеров и вино, хлеб и кормилиц, солдат и цветы. Париж в ответ шлет газеты, законы, ассигнации, радиоконцерты, модные журналы. Провинция выравнялась и сравнялась. Я говорю, разумеется, не о ландшафте и не о человеческой породе. Горы всегда останутся горами, а марсельский

Мариус — героем неистощимых анекдотов. Но в Лионе строят точно такие же дома, как в Лилле. В Тулузе и в Нанси читают парижские газеты. Последний афоризм консьержа палаты депутатов повторяется в кафе Бреста и Дижона. Провинциальные журналы напоминают жалкие брошюры. Талантливый юноша торопится, расцеловав родителей, поспеть на ближайший парижский поезд. Единственная победа провинции — кухня. Впрочем, это никак не противоречит идеалу «единой и неделимой республики». Наверное, Фуше любил сидр. Что касается Барраса, то он не мог дня прожить без рыбы с чесноком.

Чтобы понять душу французской провинции, лучше всего направиться в центр страны. На окраинах слишком сильна природа, она зачастую определяет чувствования и быт. Бретань — это прежде всего океан. Пиренеи или Савоя — горы. Но в Лимузэне, в Перигоре, в Пуату нет ни горцев, ни рыбаков. Там живут обыкновенные провинциалы. Этот край далек от границ и не облюбован туристами. Таким образом, здесь не сказались посторонние влияния. В Сент-Этьенне много пришлых рабочих, в Ницце — богатых англичан, а в Пуатье или в Периге водятся только классические французы прошлого века, не богатые и не бедные, не правые и не левые, самые что ни на есть выдержанные, как хорошее старое вино.

Вот город Пуатье. Его жизнь бедна и лаконична, как заборная книжка мелочной лавки. Как-то взбесилась в Пуатье корова и, выбежав на улицу, боднула одного из рантьеров. Долго местная газетка писала о «гордости города — герое, который застрелил разъяренного быка». Прошли годы. У «героя» хранятся в альбоме газетные вырезки. Он показывает их всем. Он ими живет, хоть с тех пор приключились на свете всякие события, например война...

В пять часов все уважаемые граждане за аперитивами обсуждают городские сплетни, а в десять улицы пусты, темно и в окнах, — день, слава богу, прожит! В книжной лавке — молитвенники. В театре — доисторические водевили. Да полно, город ли это?.. Отвечает словарь: главный город департамента, бывшая столица Пуату 37 000 жителей, областной суд, епископат, университет.

Еще три старичка, еще один солдат, еще памятник... Среди лавчонок и среди бабушек в наколках стоят изумительные церкви. Романский собор Пуатье справедливо почитается одним из лучших памятников религиозной архитектуры. Неужели предками этих лавочников созданы подобные вещи?..

На главных улицах Лиможа рантьеры, богаделки, лавочники, скопидомы, и в витрине бюро похоронных процессий трогательнейший плакат: «Умирая, не завещайте, как это делают некоторые эгоисты, хоронить вас без венков! Помните, что подобными неуместными просьбами вы лишаете хлеба ваших сограждан». Что еще сказать о Лиможе? Иногда сюда заезжает парижская труппа, — это большое событие. В городе сто тысяч жителей, но нет ни постоянного театра, ни концертного зала, ни порядочной книготорговли. Ханжеская тишина, вместо молитвенника — книжка сберегательной кассы. Но знаете, как называется эта сонливая улица? «Улица якобинцев». А вот — «Улица Бланки», немного дальше — «Улица Делеклюза». Эти имена здесь, как память о тех временах, когда Франция была душой Европы. Лимож — скучный город, но Лимож — все же Франция. «Улица Дантона» — закрытые ставни, мелочная торговля, густой послеобеденный сон.

О чем говорить?.. Были не только романские церкви, были лиможские эмали, баллады, фрески, романы, изобретения, мечты, подвиги. Какими же страстями и какими диковинными жизнями нужно удобрить землю, чтобы через много веков на ней, наконец-то, расцвел гениальный владелец похоронной конторы?..

Старые национальные костюмы давно исчезли во Франции, если не считать рыбацких деревушек Финистера. Однако здесь установился свой особый костюм, продиктованный, правда, не эстетикой, а суровой моралью. Иностранец, попав в первый городок, вздыхает: какое горе обрушилось на этот край? Может быть, здесь свирепствует эпидемия?.. Он ведь видит вокруг сотни женщин в трауре. Его можно успокоить. Никаких эпидемий здесь нет, а траурные платья — «национальный костюм» французской провинции. Во-первых, родовые традиции здесь крепки, у каждой «мадам» добрая сотня родственников, троюродных дядюшек и внучатых племянников. Всегда приходится по

кому-нибудь носить траур. Во-вторых, траур вообще придает достоинство. После сорока лет светлые платья заведомо неприличны, но и в тридцать лет траур пристойней парижских новшеств. Итак, не удивляйтесь, увидев летом на солнцепеке молодых женщин в черных, наглухо закрытых платьях; не вздумайте искать на их лицах следы слез, — нет, они обливаются только потом. Конечно, они страдают от жары, зато никто их не упрекнет в легкомыслии.

Все здесь застегнуто, завешено, закрыто. Обойдите десяток улиц — ни одного раскрытого окна, повсюду плотно прикрытые ставни. Опять-таки не следует печалиться над судьбой обитателей. Они живы. Они даже вполне здоровы. Но зачем раскрывать окна?.. Больше всего на свете, даже больше большевиков, этих «людей с ножами в зубах», здесь боятся сквозняка. Вдруг продует!.. Ну, а ставни?.. Здесь выступает экономика. Солнце — главный враг траурных дам, от солнца выгорают платья, пуфы, обои, подушки, пыльный чудовищный хлам, которым доотказа набиты почтенные дома. Солнцу сюда еще труднее проникнуть, нежели советскому гражданину во Францию. Комнаты никогда не проветриваются, не только пуфы — воздух может быть назван историческим.

Проникнуть в квартиру нелегко: вход чужеземцу закрыт. Только дядюшки и племянники приходят сюда по праздникам. Дверь не открывают, ее боязливо приоткрывают. Уж не бродяга ли? Бродяга наравне со сквозняком — пугало французской провинции. Причем к бродягам легко причисляется любой незнакомец, поскольку сомнительно его социальное положение: художник с мольбертом, иностранец без автомобиля или парижанин в чересчур дачном костюме. Проникнув хитростью в дом, огражденный всеми замками, задвижками и крючками мира, вы увидите много занятного. Груды дребедени заставляют усомниться: уж не старьевщик ли хозяин?.. Нет, он этого не продает. Вот хотел было один парижский антиквар купить кровать Луи-Филиппа, но жаль расстаться... Вещей столько, что люди не ходят, а пробираются по комнате. Бумажные цветы, бархатные подушки, люстры, медные подсвечники, вазоны, фотографии — культурно-исторический музей семьи Дюранов или Дюпонов.

Подсвечники — иногда реликвии, иногда предмет необходимости. Электричество еще не стало общим достоянием. Даже в больших городах целые кварталы освещаются газом или керосином. О маленьких и говорить нечего: там часто вовсе нет электричества. С заходом солнца кончается жизнь. Редко-редко в окошке мигает огарок. Бережливость определяет длительность сна. А после десяти часов бодрствуют только приезжие или сумасшедшие.

В Лиможе много рабочих. Живут они в грязных полуразвалившихся домах. Вся семья — в одной комнате. Вонь, сырость, темнота. Вместо отопления — чадные жаровни. За водой приходится снаряжать экспедицию. В конурах даже летом темно. Рядом — большие фабрики с вполне современным оборудованием. Машины из Америки. Но во всем городе нет ни одного мало-мальски комфортабельного дома для рабочих.

Едят, особенно в маленьких городках, много, вкусно, торжественно. Завтрак и обед — главные события дня. За едой незаметно выпивают литр вина. После завтрака полощут рот крепкой водкой и постепенно лиловеют. К двум часам весь городок багрово-фиолетовый, как бы ожидает апоплексического удара. Вечером, после обеда, пьют лечебные настойки: ромашку, липу или мяту.

В Перигоре крестьяне гонят спирт из виноградных выжимок или из яблок. Это — древняя, неотъемлемая привилегия французских крестьян. Пьют крестьяне главным образом в базарные дни: спрыскивают удачную сделку. Пьют на свадьбах и на поминках. Пить умеют, так что драки — редкость. Дело ограничивается хитрым смешком. Каждый, выпив, считает, что он надул всех: собутыльников, жену и государство.

Попал я на деревенскую свадьбу. Справляли ее у трактирщика. Гостей пришло человек сорок, все родственники; была здесь женщина с грудным младенцем, несколько престарелых дядюшек, плотные косолапые фермеры, молодые люди, щеголявшие яркими галстуками. Жених был даже во фраке. За столом просидели не менее трех часов. Возле каждого прибора лежало меню с именем приглашенного. Ели наславу: блюд десять. Над невестой красовался плакат: «Да здравствует молодая!» Жених сосредо-

точенно налегал на раков. Грудной младенец немилосердно орал, и тетушки все время давали молодой матери медицинские советы. После обеда завели граммофон и до одиннадцати отплясывали фокстрот. Невеста танцовала с молодыми франтами. Жених клевал носом. Потом стали расходиться и разъезжаться. У двух фермеров оказались свои автомобили. Тетушки поспешно засовывали в ридикюли недоеденное печенье. Молодые люди пели: «Париж — моя деревня...» Трактирщик сиял. Он походил на классического жениха. Кто-кто, а он сегодня заработал.

Не менее торжественно справляют поминки. Прямо с кладбища направляются в ресторан. Чем глубже скорбь, тем больше блюд и бутылок. Горе, очевидно, делает людей взыскательными, и на поминках пьют отменные старые вина. Выпив, долго горланят о достоинствах покойника.

На свадьбах и на похоронах подрабатывают деревенские кюре. Не будь этого, они бы вовсе отощали: народ здесь по большей части скептический. Крестьяне ходят в церковь редко, да и то из приличия. На воскресной мессе только женщины. Тщетно пытаются кюре воздействовать через жен на мужей, чтобы те голосовали за клерикального кандидата или чтобы приходили в церковь. Мужья в ответ хитро посмеиваются. Не наука, но природная смекалка здесь убила веру: кюре хочет нас перехитрить, а вот мы его перехитрили... В больших городах, как, например, в Лиможе, церковь поддерживают крупные буржуа, хоть и далекие от религиозных сентиментов, но хитрые не менее крестьян. Впрочем, и рабочие не простаки, в церковь их не заманишь.

Зато в маленьких городках, где почтенные рантьеры и дамы в наколках до сих пор не едят по пятницам мяса, крестятся на каждую статую и советуются с кюре о семейных делах. Правда, это скорее правила хорошего тона, нежели христианские чувства, но кюре приспособились к духу времени. Это не фанатики, а добродушные холостяки, крепкие, краснолицые, чуть простоватые, заменяющие плотной едой, нюхательным табаком и городскими сплетнями недоступные им радости семейной жизни. Если в церкви имеются художественные ценности, они подрабаты-

вают и на туристах, постепенно превращаясь в добросовестных служителей провинциального музея.

Крестьяне Лимузэна за последнее десятилетие разбогатели. Многие из них потеряли на войне сыновей. Но за хлеб и за скот они получают в восемь раз больше, нежели до войны, а стоимость жизни возросла всего в пять раз. Прежде здесь были огромные поместья по пятьсот — восемьсот гектаров. Крестьяне брали землю в аренду. Теперь поместья раздроблены. Земля перешла к крестьянам. Так, сто тридцать лет спустя после французской революции пугало провинции, знаменитый «аграрный закон», стал, наконец-то, жизнью.

Исчезли последние следы крестьянского костюма: чепцы или широкие войлочные шляпы. Вместо них — парижский фетр. В деревню стал приезжать мясник. Даже в будни на столе крестьянина теперь не картошка, но рагу или жаркое.

Перигор — бедный край. Здесь нет ни пшеницы, ни виноградников, ни хороших пастбищ. Но Франция недаром зовется гениальной страной. Каждый приказчик способен написать элегию в духе Сюлли-Прюдома. И во Франции не может быть бездарной земли. Там, где не растет даже трава, таятся иные богатства, если не алмазы, то хотя бы трюфели. У крестьян дрессированные свиньи: безошибочно они роют землю. Удел этих четвероногих гастрономов воистину жесток: всю жизнь они переживают муки Тантала. Ведь они обожают трюфели, но хороший трюфель стоит десять франков, — ясно, что находку у свиньи во-время отбирают.

Деревенские дома не отличаются пышностью. В каждом доме, однако, шкап, и в каждом шкапу столько-то тысяч отложенных франков. Крестьяне не доверяют ни банкам, ни сберегательным кассам, — дома вернее. Тратят они мало. Они копят деньги так же упорно, как копают землю. Даже инфляция ничему их не научила. Конечно, они предпочитают золото, но золота больше нет, и они откладывают грязные порванные бумажки.

Они живут замкнуто и мало с кем видятся. Ярмарка — вот и все развлечения. Большинство из них, если не считать военной службы, никогда за пределы своего уезда не выезжало. Железных дорог здесь относительно мало, и

поезда по крохотным веткам передвигаются медленно. Из Сарлата в Вильфранш около сорока километров, а ехали мы три с половиной часа. Фермеры побогаче начинают обзаводиться «ситроенами», но таких еще мало. Редко кто из крестьян выписывает газету. Книг крестьяне не читают, хотя все грамотны. Книги — небылицы, а газеты пишут о незнакомых людях и о заведомо неинтересных вещах.

Зато в городе каждый лавочник — и стратег, и дипломат, и кандидат в премьеры. «Бистро», то есть маленькие кабачки, — завершение былых политических клубов. Особенно посещаются эти кабачки перед выборами. Каждый кандидат облюбовывает тот или иной кабачок. От умелого выбора кабатчика часто зависит исход кампании. Кабатчик уговаривает и, разумеется, угощает: выборы во Франции вещь дорогая, не всякому она по карману. Кандидат, будь то даже впервые приехавший сюда из Парижа профессиональный политик, прежде всего кричит о местном патриотизме. Он клянется защищать интересы такого-то района. Он сулит избирателям электрические станции, новые шоссе, мосты, автобусное сообщение — словом, все, что придет ему в голову. Пока что он оплачивает рюмочки и стаканы. Он заводит дружбу с влиятельными персонажами: с доктором и с директором коллежа, с кюре и с содержательницей «дома свиданий», — надо повсюду иметь своих людей. Друг друга кандидаты нещадно ругают. Политическая борьба носит семейный характер. Надо доказать, что сопернику изменила его жена или что он незаконнорожденный. Ни речи, ни плакаты, ни названия партий никак не определяют политических воззрений кандидата. Помещик именует себя «земледельцем», а владелец завода — «тружеником от станка». «Либеральный республиканец» — это значит роялист, «независимый радикал» — это значит умеренный консерватор, «свободный социалист» — это уже ровно ничего не значит: может быть — фашист, а может быть — просто неудачник.

Во французской провинции голосуют часто по привычке, и чтобы понять вотум того или иного департамента, надо заняться историей. До сих пор Вандея и Бретань голосуют за роялистов, как будто в Париже не г. Пуанкаре, а Робеспьер. До сих пор, как и при «маленьком Напо-

леоне», фрондирует Юг. Радикалы там проставляют на плакатах фригийскую шапочку и слово «гражданин» произносят с особенным смаком. А центральная Франция голосует за центр. Это совпадение географии с психологией. Кроме того, парижские лозунги доходят сюда с изрядным опозданием. Лимож, например, считается «красным городом». Это значит, что рабочие Лиможа голосуют не за радикал-социалистов, а за социалистов. Они и не подозревают, что хоть и закрыты наглухо ставни их домов, время свое берет: многое на свете успело выгореть...

Нужно большое бедствие или внезапное вдохновение, чтобы пробудить этот край. Вот почему, когда рыжее тревожное зарево врывается в окна вагона, подсказывая путешественникам, что близок Париж, на всех лицах легкое волнение. Не только административный центр это, не только столица, но сердце страны, ее вечная бессонница, резерв фантазии и, если угодно, неосторожности, залог того, что на сберегательной книжке не закончилась история великого народа.

1928

ПОСЛЕДНИЕ ВИЗАНТИЙЦЫ

Писателя Андре Моруа хорошо знают за пределами Франции. Его книги переведены на множество языков, в том числе и на русский. Он написал превосходные биографии Дизраэли и Байрона. Кроме того, он искусный романист. Он глубоко предан думам и чувствованиям своего класса. Г-н Андре Моруа — фабрикант сукна, и о суконной фабрике трудно забыть, даже читая страницы, посвященные «чистой любви». Для жен и дочерей как суконных, так и несуконных фабрикантов Андре Моруа — любимый писатель, советник сердца, духовник. Конечно, Андре Моруа — не представитель всей Франции, — Франций много. Ромен Роллан, Роже Мартен дю Гар, Барбюс, Жан-Ришар Блок, Шамсон, Вильдрак — это тоже французы. Но Андре Моруа — писатель той Франции, которая голосует за «левых республиканцев», кушает уток по-руански и дремлет в креслах, экономно покрытых чехлами. Из дремоты ее выводят только парламентские интриги или сенсационные убийства. На ее границах сейчас бряцают оружием зарвавшиеся фашисты. Но она безмятежно дремлет. Ее сердцебиения называются «скандалами» — от «скандала Устрика» до «скандала Аэропостали». Она против мракобесия, она за прогресс, но ход истории ей мнится приятной прогулкой по аллеям Виши или Виттеля. Ей не сыскать себе лучшего поэта, нежели Андре Моруа.

Сто лет жизни класса — немалый срок, и я вовсе не хочу смеяться над старостью. Я не требую от Андре Моруа ни битвы при представлении «Эрнани», ни прекрасного

сумасбродства Бальзака, ни непримиримости Флобера, ни мужества Золя. Я знаю, что у нас 1933 год и что профессия Колумба никак не похожа на профессию того «синдика», которого назначают для ликвидации обанкротившейся фирмы. Но тяжело и душно теперь в Европе. Гитлеровцы раздувают на площадях немецких городов костры: с равным исступлением они жгут «Капитал» Маркса и поэмы Гейне, труды Эйнштейна и «Приключения бравого солдата Швейка». Итальянцы разыгрывают древних римлян. Они поднимают руки к небу и перекрещивают высохшие речушки в нео-Рубиконы. На Балканах трясутся троны царьков, а банды новых Принципов бродят с заряженными револьверами. Как летом из подвала идет холод зимы, из стран, захваченных фашистами, идет холод второго средневековья. Что же делает при виде этого трагического безумия классический французский «разум»? Конечно, я не ждал от Андре Моруа пророческих слов, но я был вправе ждать хотя бы простой озабоченности. Моруа, однако, развлекается.

Я приведу описание одного из вечеров, страшного в своей беспечности. Это описание появилось в большой парижской газете.

«Г-жа Андре Моруа, украшенная небесно-голубым платьем весны, а также своей прелестной улыбкой, в прошлую субботу давала бал в отеле «Ритц» в честь светских дебютов своей падчерицы мадемуазель Мишель Моруа. Старшая дочь знаменитого писателя очаровывала всех своей грацией и уверенностью. Высокая, стройная, с кожей золотистой, как персик, с волосами особого тона — редчайшая смесь пепельно-светлых и венецианского золота, чрезвычайно элегантная, в белом платье, отделанном оранжевым крепдешином, она представляла собой девушку 1933 года, спортивную, энергичную, без развязности и без ложной скромности. Роль счастливого отца вполне подходит г. Андре Моруа. Но как рассказать об этом блистательном вечере, не нанизывая одно громкое имя на другое?

Ее королевское высочество великая княгиня Сикст де Бурбон-Парм была все время окружена гостями, среди

которых мы отметим его светлость принца Аага Датского, герцога и герцогиню де Май, герцога де Полиньяка, сопровождаемого принцессами Одет и Элен де Полиньяк, княгиню Ваграм и княгиню Беатрис де Бролье, герцога и герцогиню де Грамон-Ласпар, принцессу де Караман-Шимэ, маркиза и маркизу де Блака, прекрасную графиню Косс-Брисак, барона и баронессу Роберт де Ротшильд, графа Анри де Кастельяна и графиню, еще более прекрасную, нежели обычно, маркиза и маркизу дель Марито.

Его превосходительство Кабальеро де Бедоя, посланник Парагвая... Политический мир был представлен гг. Патернотром, Полем Рейно и Франсуа Фланденом... Графиня Жан де Нефбур улыбалась в бледноголубом платье. Г-жа Альфред Фабр-Люс вдохновилась смелой идеей — она воткнула в свой корсаж из черного сатина шесть бриллиантовых стрел... Принц Аренберг, виконт де ля Берадьер и граф де Сен-Жени, как всегда, прогуливались втроем в углу салона. Лейтенант флота Андре Бьенме заставлял девушек признать все очарование мундира... Мадемуазель Мишель Моруа с каждым часом становилась все прекрасней и привлекательней».

Так развлекается писатель Андре Моруа. Он, впрочем, не одинок: на его рауте, среди герцогов и посланников различных Парагваев, были и другие «властители дум»: г. Анри де Ренье, г. Поль Моран, г. Франсуа Мориак.

Иногда эти беспечные и прекрасные души решают заняться высокой политикой. Недавно в Париже состоялась торжественная смычка передовых французских умов с немецкими молодчиками из штурмовых отрядов. Немцы сняли с рукавов свастику и старались вести себя прилично, как в хорошем семейном доме. Во главе благовоспитанных погромщиков стоял граф Мирбах-Гельдерн. Среди французов были представители самых разнообразных организаций от «Ассоциации католической молодежи» до «Университетской социалистической лиги». Среди французов были также писатели, например г. Альфред Фабр-Люс. Это тот самый г. Альфред Фабр-Люс, супруга которого, согласно газетным отчетам, отважно украсила себя шестью бриллиантовыми стрелами. Сам г. Фабр-Люс показал себя

способным на идеи, еще более отважные. Вместе с г. Фабр-Люсом на франко-фашистском совещании присутствовал сотрудник левых журналов г. Пьер Дрие ля Рошель.

Нацисты подробно объясняли французам, почему они должны устраивать еврейские погромы и сжигать «марксистские книги»: «Марксизм — это политическая сущность всемирного жидовства!»

Передовые французы вежливо слушали и по мере сил просвещались. Один из фашистов в припадке великодушия объявил: «Мы не возражаем против прав Франции на Эльзас-Лотарингию...»

Французским делегатам оставалось с «душевным удовлетворением» (как указывает отчет) принять этот щедрый дар.

Газеты сообщают: «Делегаты поздравили друг друга с полученными результатами и решили поддерживать контакт».

Я знаю, что, помимо светских литераторов, во Франции существуют настоящие люди: большие ученые, вдохновенные поэты, мужественные врачи, прекрасные инженеры, неутомимые крестьяне и носители высокой традиции, как труда, так и борьбы — французские рабочие. Но тихо работают в своих кабинетах профессора, тихо умирают на своем посту врачи, испытывающие лечебные свойства радия, тихо тонут в океане рыбаки, спасая своих товарищей. Зато гремит музыка «Ритца» и развязно изнеженные пацифисты братаются с прусскими штурмовиками.

Когда османы стояли возле стен Византии, местные снобы дремали, оживляясь только при споре, какая колесница придет первой на состязании?..

1933

ЛИОН

Лион сер и сух: статистика в нем не смягчается ни трагической беспечностью Парижа, ни тартарэновскими анекдотами Марселя. Это город без веселья и без надрыва. Он осуждает женщин с чересчур накрашенными губами и в палату шлет умеренно левых депутатов. Лионский буржуа — радикал или католик. Но, будучи радикалом, он не забывает, что католические миссионеры в Перу или Китае заказывают шелковые хоругви с золотыми агнцами, а, будучи католиком, он твердо помнит, что радикалы умеют говорить с рабочими и что республика освобождает почтенных граждан от ряда пренеприятных забот. Лион находится в центре Франции, и он не любит крайностей. Его фантазия не идет дальше причудливого орнамента шелковых тканей. Приезжий парижанин, увидев скучные дома и унылые мины, в тревоге себя спрашивает: чем же здесь можно развлечься?.. Ответ готов: Лион издавна славится своей кухней.

Католики или вольнодумцы с равной торжественностью повязывают себя салфетками и, как крест или чашу, берут в руки нож и вилку. Далеко за пределами Лиона известны рестораны «Тетушка Филью» или «Тетушка Бразье» — владелицы гастрономических святилищ скромно именуют себя «тетушками».

Рестораны «тетушек» с виду похожи на дешевые харчевни: лионец не любит платить за декорацию. Он недоверчиво смотрит на зеркала, на люстры и на ковры. У «тетушки» имеется миллион-другой, но она одета в потертое

платье и похожа на вдову мелкого чиновника. Люди жуют молча и сосредоточенно. Подолгу они полощут рот бургундским вином, похожим на бычью кровь; постепенно кровь заливает угрюмые выпуклые лбы и широкие апоплектические затылки. «Тетушки» знают свое дело: их блюда могут быть отнесены к достижениям тысячелетней культуры наравне с версальскими садами или с красноречьем французских лицеистов. Самая знаменитая изо всех «тетушек» — тетушка Филью — никогда не меняет своей программы. Из года в год она потчует любителей рыбьими котлетами в раковом соусе, «полутраурной пуляркой» с трюфелями и артишоками, паштетом. Ее творчество совершенно, и на месте академиков я бы выбрал в почетный институт не фабриканта пушек г. Шнейдера, но достоуважаемую «тетушку» Филью.

Однако в ресторане «тетушки Филью» большинство столов пустует. Напрасно одна из племянниц маститой тетушки то и дело выбегает на улицу, поджидая дорогих гостей. Автомобили проезжают мимо. Неужто охладел Лион к одной из своих самых даровитых дочерей?.. Печально смотрит «тетушка» на мир, и когда она режет «полутраурную пулярку», дрожит рука, скорбные вздохи просятся из груди наружу и глубоко траурным становится некогда светлый мир.

Чтобы понять причины бедствия, поразившего всех «тетушек», надо подняться по крутым лестницам в верхний квартал Лиона, именуемый Круа-Русс. Там живут рабочие Лиона. Конечно, они никогда не бывали у «тетушки Филью», но и они любят хорошо поесть. Их жены тоже умеют готовить рыбные котлеты под раковым соусом. Однако, чтобы приготовить это блюдо, которым гордится Лион, нужна рыба и нужны раки... Прежде рабочий выпивал в день два литра вина. Теперь он довольствуется четвертью литра. Он работает три дня в неделю. Это счастливчик: сорок процентов обитателей Круа-Русс вовсе не имеют работы. Два безработных на скамейке. Они уныло жуют сухой хлеб. Это должно смутить почитателей лионской кулинарии, но ничего не поделаешь: шелк, кризис, Япония, безработица...

На берегу Роны высится огромное, чересчур белое строение — дворец шелка. Дворец начали строить в годы

недавнего и уже всеми позабытого «благоденствия». На постройку его шелковые промышленники выложили несколько миллионов. Французы почитают обитателей Лиона за людей черствых и рассудительных, но шелковые промышленники хотели показать миру, что им не чуждо чувство признательности. Белый дворец в справочниках сухо именуется «Правлением союза шелкопромышленников». На самом деле это храм, посвященный культу божества, имя которому: «Шелк». Мозаика, решетки из литого чугуна, затейливые фонари. Собор лионской богоматери 1928 года...

Собор, однако, не достроен. Вряд ли его достроят. Божество, именуемое «шелком», оказалось подозрительным божеством: оно наслало на Лион казни, по сравнению с которыми проделки библейского Иеговы кажутся невинной забавой.

Сначала был Лион и был шелк. Сочетание этих двух слов являлось естественным и непреложным, как «голландский сыр» или как «шведские спички». Ткачи гнули свои спины восемнадцать часов в сутки. Священники надевали прекрасные мантии. Придворные дамы заказывали пышные робы. Герои Бальзака принимали своих друзей в гостиных, заставленных пыльными диванами, пуфами и креслами. Шелк был повседневной декорацией правящего класса. Из деревни приехал хитрый крестьянин в деревянных сабо. Его звали Жиле. Десять лет спустя он стал ворочать делами. Лион богател и рос.

Сын крестьянина в деревянных сабо уже носил хорошие шевровые ботинки. Г-н Жозеф Жиле стал королем шелка. Он скупал фабрики и, как филателист марки, коллекционировал шелковые акции. Умирая, он оставил своим сыновьям подлинную державу.

В годы войны чугун вытеснил шелк. Но у Лиона имелись гроши, отложенные на черный день, да и день не был чрезмерно черным: фабрики работали на оборону. Потом настал мир, и шелк был призван врачевать раны человечества. То была эпоха дансингов. После грязи окопов требовался крепдешин, муслин или креп-жоржетт. Пятьдесят тысяч лионских станков изготовляли шелковую ткань. Заказы поступали из Мельбурна, из Варшавы, даже из Либерии. Лион покрылся лесами: люди строили

дома. «Тетушка Филью» не успевала разрезать свои пулярки. Публичные дома заказывали художникам фрески на античные мотивы. Рядовая проститутка, стоявшая на углу двух улиц, зарабатывала в день вдвое больше, нежели директор департамента.

Лионская буржуазия, однако, оставалась верной себе: пуще всего она страшилась гласности. На вопрос: «Как дела?» человек, зарабатывавший в день сотни тысяч, отвечал со вздохом: «С грехом пополам дышим». Жены шелковых королей на улице выглядели, как бедные салопницы. Правда, у себя дома они облачались в дорогие платья и вынимали из ларчиков солидные бриллианты, но дома оборонялись от любопытных взглядов ставнями и шторами, воротами и сторожами, заборами и собаками. Легче было попасть к римскому папе, нежели к шелковому королю Лиона.

Никто не знал, как они живут, все эти Жиле, Дюпоны, Кабо и Дево. Дамы исправно ходили в церковь, жертвовали крупные суммы и на украшение храма, и на католические школы, и на «моральное воспитание павших девиц». Казалось, это не фабриканты, но секта аскетов и моралистов. Только однажды случайный крик в ночи раздался из недоступного монастыря, он многое выдал. Закричал сын шелкового фабриканта, некто С., и Лион на минуту смутился.

С. был любовником супруги шелкового короля г. Ж. Ворота и ставни свято хранили тайну. Молодой С. мог бы счастливо закончить свои дни: это был Потемкин или Орлов шелка. Но С. поступил опрометчиво: желая объять необъятное, он включил в свой план и дочку шелкового короля. Мать не смогла вынести подобный афронт. Направляясь ночью к своей возлюбленной, С. обычно перелезал через забор тенистого сада: это было романтично и спортивно. Негодующая мать призвала садовника и предложила ему проучить наглеца. Садовник, как человек хорошо понимающий дисциплину, ударил С. железной палкой по темени. С. вскрикнул, несколько месяцев прохворал и, наконец, умер. На допросе садовник показал, что он принял С. за грабителя. Одна из газет осмелилась напечатать заметку о происшедшем, но тотчас ей предложили замолчать. Следователь так и не нашел состава

преступления. Семья Ж. продолжает оставаться гордостью Лиона, примером нравственности и милосердия.

Пока жены и дочери шелковых королей изучали «науку страсти нежной», над Лионом скоплялись тучи. Они шли издалека. Шелковая горячка захватывала одну страну за другой. Лиону подражали и Комо, и Цюрих, и Крефельд. Шелк начали изготовлять в Соединенных Штатах и в Англии. Смекнув, к чему идет дело, лионские фабриканты стали космополитами. В Лионе они продолжали говорить о священном патриотизме, но не все же сидеть дома, —они полюбили путешествия. Они входили в соглашения с англичанами, с испанцами, с бельгийцами: они покупали акции, посылали за границу специалистов, и они заражали отсталые страны шелковой горячкой. Выступили Бельгия, Чехословакия, Испания, Польша. Шелковые волны затопляли мир. О чем мечтали эти люди? Может быть, они хотели надеть крепдешиновые платья на жен готтентотов и кафров? Или они видели перед собой золотой век, и нищие, те, что ночуют на плитах Трафальгарскуэра и под мостами Сены, в их мечтах поспешно обрастали шелковыми рубашками?..

В своих недоступных дворцах они подымали бокалы за Новый год, за новое счастье, за благоденствие, за девиз — «шелк повсюду». Так начался страшный год, когда мир сразу обнищал и когда вчерашние ловеласы, донашивая шелковые подштанники, уже не решались отдать их в стирку.

На сцену выступил главный враг. В Лионе много различных консульств — от Соединенных Штатов до республики Сан-Марино; все державы вывесили свои гербы на улицах шелковой столицы. Возле дома на площади Толозан дежурят два полицейских. Над ними герб с золотой хризантемой: это — японское консульство. На вопрос, почему возле японского консульства поставлена охрана, лионцы дипломатично отвечают: «Просто так... Кто знает?.. У нас, например, много китайцев»... Они не говорят о том, что золотой цветок им кажется мордой хищного зверя и что японское консульство приходится охранять не столько от китайцев, сколько от безработных французов.

На главных улицах Лиона немало людных лавок. В их витринах выставлены шелковые рубашки. Каждый город

гордится своим добром. Где же искать шелк, если не в Лионе? Да и не дорого стоят эти рубашки; кабы не кризис, их бы раскупали нарасхват. Одна только беда — на рубашках откровенно проставлено: «Изготовлено в Японии». Японцам мало Америки и Австралии. Им мало того, что они завалили шелком Индо-Китай. Они шлют теперь свои товары в Париж. Они предлагают разорившимся лионцам японский шелк: дешево и сердито.

Никакие пошлины не могут остановить это шелковое нашествие. В Японии рабочий день вдвое длиннее, нежели в Лионе, а заработная плата там в двенадцать раз ниже. Хризантема хитро улыбается, и два полицейских охраняют неприкосновенность «дружественной державы».

Один из французских политиков как-то сказал мне:

— Наш принцип — сохранять дружеские отношения с Японией. Даже во время русско-японской войны, несмотря на союз с Россией, мы не давали угля русским военным судам, чтобы не раздражить японцев. Конечно, все это весьма прискорбно, и мы чрезвычайно огорчены тем, что японцы хотят проглотить Владивосток, но...

Я приветливо улыбнулся этому гениальному политику:

— Пока что они уже проглотили один город... Не Владивосток — Лион.

Продукция шелка в 1931 году пала на пятьдесят процентов. С этого времени кривая все рвется и рвется вниз. Экспорт сократился в шесть раз.

Половина станков не работает. Мастерские заколочены. Ткацкий станок, который недавно стоил двадцать пять тысяч, теперь продается за три тысячи. Большие фабрики работают по два, три дня в неделю. Кустари мытарятся восемнадцать часов в сутки, чтобы выработать детям на хлеб.

Г-н Вотере, председатель «Объединения шелковых промышленников», продает за бесценок свою картинную галлерею. Кто хочет купить полотна Ренуара или Ван-Гога? Но японцы продают шелковые пижамы и не покупают картин Ренуара.

«Тетушки» похудели и осунулись. Ночные кабаки закрыты. Главный мюзик-холл лопнул — его переделывают в кино. Владелец самого большого кинематографа с горя

переделывает кино в мюзик-холл. Никто не знает, что теперь разорительней.

Шелковый храм пуст и тих. На стенке висит объявление: безработные могут посещать курсы ткацкого дела. Это свидетельствует об абстрактности чистой науки: в Лионе имеется десять тысяч опытнейших ткачей, которые тщетно ищут работы.

Лионский журналист Гранше выпустил книгу, полную лирических вздохов. Книга называется «Смерть шелковой промышленности» и снабжена посвящением: «Шелковым друзьям, которые недавно были миллионерами и которые теперь не миллионеры».

А рабочие?.. Им никто не посвящает книги. Они голодают и ждут. Они ждут «конца кризиса», — так говорят политики и журналисты.

Казалось бы, город, настолько пораженный кризисом, должен стремиться к радикальным мерам, требовать ножа оператора и, отвергнув умеренные партии, разбиться на два боевых лагеря. Но Лион все еще живет прошлым. Он как бы тщится поддержать несуществующее равновесие. Политическая жизнь этого города полна анахронизмов. Здесь еще говорят: «это добрый республиканец», «красные против белых», «либералы против аббатов», причем не только «добрые республиканцы», но и так называемые «красные» на самом деле являются членами радикал-социалистической партии и честными сторонниками капитализма. Они говорят на собраниях не «господин», но «гражданин», они не ходят в церковь, предоставляя это своим богомольным супругам, и они любят вспоминать о Великой французской революции. Этим определяется их «краснота».

Лион боится перемен. Это самый рассудительный и самый осторожный из всех французских городов. Напрасно фашисты покрывают стены Лиона листками, в которых восклицательных знаков больше, нежели слов: Лион не любит громких фраз, он сызмальства недоверчив.

В Париже теперь нет ни социалистов, ни радикальной буржуазии, Париж разбился на два лагеря: за фашистов или за коммунистов. Между этими лагерями находится мелкая буржуазия, она еще не знает, за кем ей итти. В Лионе социалисты и поныне считаются подлинными

революционерами, а либерализм — признаком хорошего тона. Париж говорит о дуче или о Советах. Лион еще вспоминает якобинцев, Гамбетту и Пелетана. Рабочие здесь все еще верят, что социалисты — рабочая партия, что надо, соединившись с радикалами, спасать республику от «белых» и что вопрос решится не на улицах, но в мэриях, где подсчитывают избирательные бюллетени. Ничего не поделаешь, как всегда, Лион опаздывает на двадцать лет.

Впрочем, незачем обижать Лион: у него есть и другие традиции. Не всегда он плелся в хвосте. Лионские ткачи в 1834 году потрясли Францию и мир первым рабочим восстанием. Многое с тех пор изменилось: программы, лозунги, слова. Но боевой клич лионских ткачей кажется родившимся не сто лет назад, а вчера: это грозный клич рабочих Круа-Русса: «Жить работая или умереть сражаясь!»

1933

О СВОЙСТВАХ УМЕРЕННОГО КЛИМАТА

«Порядок неизменно тяготит человека. Беспорядок заставляет его мечтать о полиции или смерти. Это два полюса, на которых человеку равно неуютно. Он ищет эпоху с наибольшей свободой и наибольшим оплотом. Между порядком и беспорядком существует очаровательный час. Все то хорошее, что вытекает из организации прав и обязанностей, достигнуто. Можно наслаждаться первыми послаблениями системы. Установления еще держатся. Они сильны и величественны. Однако, хотя глаз и не замечает никаких изъянов, это только пышные фасады. Их добродетели уже выявлены, их будущее втайне опустошено. Их сущность более не священна, или, наоборот, она только священна. Критика и насмешки истощают их и закрывают для них будущее. Социальный распорядок мало-помалу умирает. Это час всеобщего наслаждения плодами».

Так, Поль Валери, большой поэт и член французской академии, определяет социальный климат, благоприятный для душевного благоденствия. Этот климат равно избавлен и от суровой, как северная зима, диктатуры и от расслабляющего зноя анархии. Он способствует процветанию деликатной, но бдительной полиции и скептиков, которые вольны издеваться над различными фасадами, начиная с парламента и кончая академией. Определение, которое дает Поль Валери, рождено прежде всего богатым опытом третьего сословия, его моционами, сбережениями и пригородными коттеджами, его артритами, его умеренной роскошью и неистребимой жизнедеятельностью, его

семейными тайнами, мистикой ренты и фамильярным обращением со смертью, которая в родстве скорее с личностью нотариуса, нежели с призраками загробного правосудия.

Умеренность социального климата связана также с географическим климатом Франции, с ее традициями и нравами, наконец с ее языком. Надо сознаться, что «очаровательный час» несколько затянулся. «Наслаждение плодами» (правда, не столь всеобщее, как это мнится поэту) стало хроническим занятием рядового француза. Отсюда вытекают мистический ужас перед фанатизмом и перед сквозняками, ненависть к снегу и к машинизму, исконное домоседство и культурный эгоцентризм. Над этим можно посмеяться. Можно здесь и многому поучиться.

Легко ответить, что Артур Рембо сбежал от этого идеального климата, что порядок напоминает о себе любым комиссаром, который по-своему велик, как Фуше, что беспорядок тоже проник во Францию, несмотря на бдительность тех же Фуше, хотя бы в виде министерской чехарды, кризиса, черных теней на скамейках бульваров и непривычной апатии. Все это очевидно. Гораздо важнее разыскать глубоко ценное в этой стране, которая кажется соседям отсталой и которая на самом деле представляет собой сложнейший клубок гениальных проектов, тетушкиных суеверий, поэзии, бессмыслицы, здравого смысла и легкомысленных пируэтов. Производя опись наследства, мы не можем удовольствоваться библиотеками и музеями, берлинскими лазаретами и чикагскими бойнями. Мы должны взглянуть и на повседневную жизнь этих людей, сформированных позапрошлым столетием, чтобы среди пыльного хлама найти нечто драгоценное, достойное изучения, а может быть, и подражания.

Советские химики ездят в Германию, скотоводы в Данию, строители рабочих домов в Стокгольм, инженеры в Детройт. Наша революция сделала самым почетным седалищем не кресло академика, но школьную парту. Наши молодые писатели старательно изучают французскую литературу — от Бальзака и Стендаля до Пруста и Роже Мартэн дю Гара. Однако достоинства французской литературы остаются загадочными вне знакомства с достоинствами породившей ее страны.

Во Франции не было всечеловеческих гениев, которым удалось бы легко перейти через границы как пространственные, так и временные. Данте, Сервантес, Шекспир, Гёте, Толстой не были французами. Сила французской литературы в умении показать живого человека. Эта литература настолько полнокровна, уплотнена, бесспорна, что герои классических романов, персонажи, сами по себе ничтожные и тусклые, остаются с нами на всю нашу жизнь, как современники, а порой как навязчивые и непрошенные друзья. Французский реализм лишен маниакальной честности, он не пренебрегает уловками сложной интриги, он не брезгает и трюками театра. Никогда он не стремится дискредитировать жизнь: жестокий натуралистический роман вроде «Бювара и Пекюше» по существу глубоко романтичен.

Жизнь во Франции отнюдь не литературна, она точна и откровенна, она составлена из биологии и экономики. Мало кто стремится убежать от этой жизни, и даже преступления на почве страсти поражают нас своим трезвым началом. Вероятно, поэтому французская литература сплошь литературна, она не выходит из границ искусства, и эти границы французскому писателю мнятся не тюремной решеткой, но прекрасными формулами, с помощью которых он может дышать и творить.

Стало вульгарным старое определение: «французы умеют жить». Скептики усмехаются: они сравнивают парижские дома с берлинскими, французский правопорядок с английским и размах Ситроена с размахом Форда. Однако в старом определении остается нечто бесспорное, прежде всего огромная, почти растительная живучесть народа, который крепко стоит за свое право улыбаться, вопреки трудностям времени и далеко не отрадным перспективам. Я ценю француза за то, что в хорошую погоду он весел, хотя он утром получил повестку от фининспектора и вечером будет говорить о явном преимуществе самоубийства. Я считаю достойным преклонения жест бездомного горемыки, который умеет закурить подобранный на земле окурок сладострастно и с достоинством, как курит жуир гаванну. Я преклоняюсь перед французскими садиками, перед быстротой реплик, перед преданностью каждому часу, каждой минуте, которую можно опре-

делить и как беспечность и как настоящую мудрость. Наконец я готов приветствовать усмешку француза, который отнюдь не пренебрегает усовершенствованным холодильником или новой моделью телефона, но к этим приобретениям относится куда равнодушней, нежели к удачной шутке, к кусту сирени или к бутылке старого вина.

Богатства Франции не определяются ни ее золотым фондом, ни благосостоянием отдельного обывателя. Как известно, жизнь в этой стране достаточно неблагоустроена, и те элементы, из которых она состоит, как внешне, так и внутренне весьма просты. Здесь нет ни небоскребов, ни размышлений Ивана Карамазова. Описывая эту жизнь, писатель должен вспомнить о законе искусства: об ограниченности материала. Этому учит во Франции сама природа. Трудно, например, рассказать, в чем состоит очарование типичного французского пейзажа, который благодаря великим живописцам стал самым прославленным из всех пейзажей мира. Это очарование неопределимо: небольшая речка, несколько домиков, несколько деревьев. Суть не в данных, но в их размещении. Стоит переставить деревцо или домик, как пейзаж покажется жалким, точнее — несуществующим.

Французский язык принят как дипломатический язык для международных обменов. Отсюда вводящее в заблуждение понятие: «дипломатический язык». Французский язык при росте не богател, но беднел, он как бы высыхал, не теряя при этом своей силы. Цветистость младенческого средневековья он променял на точность. Писать на нем и очень просто и очень трудно. Гладкость речи дается чуть ли не с колыбели, но мастер поражает легчайшими оттенками, осторожным подбором слова, неуловимостью интонаций. Фразу нельзя разломать, нельзя расставить слова, как вздумается, нельзя придумать десяток новых словообразований. Бедность возможностей повышает труд писателя.

Умеренный социальный климат, о котором говорил Поль Валери, родил великих французских писателей. Как бы ни были жалки и ничтожны страсти мелкого буржуа, это все же страсти, и сам он — человек, отличный от других. Он жаждет при этом развить и усилить свои отличительные признаки, конечно, не забывая об умеренности

климата и чураясь как недозволенного, так и смешного. Индивидуализм буржуа — это буря в стакане. Переходя от Гамлета, от короля Лира, от Отелло к стендалевскому Жюльену, к героям Бальзака или к г-же Бовари, мы переходим из человеческих джунглей в затхлую контору провинциального душеприказчика. Однако французская литература доказала, что из самолюбивого дрянцеватого юноши, из споров о наследстве, из любовных воздыханий нелепой провинциалки можно сделать величайшие произведения искусства.

Век литературы короче века общества: литература рождается только тогда, когда запах известки и олифы уступает место тяжелому воздуху обжитых комнат, и умирает задолго до катастрофы. «Начало конца» — понятие вдоволь растяжимое. Французский буржуа еще жив и жизнерадостен, но его литература уже дышит на ладан. Писатели выполнили свое дело: тщательно они описали данный им мир. Это было сделано духовными дедами и отцами наших современников. Что же остается буржуазному романисту 1933 года, кроме высокого мастерства, опостылевших всем моделей и писательского зуда?..

Одни из писателей, задумавшись над своей горькой судьбой и почитав переводы Достоевского, начали искать исключительных казусов, патологических чувств, парадоксальных особенностей. Но умеренный климат не благоприятствует душевным скандалам. Румянец на щеках героев Жюльена Грина относится скорее к гриму, нежели к лихорадке. Пьер Мак Орлан попробовал было атаковать климат: на солнечные поляны Иль де Франса он выпустил некоторое количество конденсированных туманов. Но законные герои французского романа не могли жить в столь нездоровой атмосфере. Их пришлось заменить немецкими дезертирами, испанцами из «иностранного легиона» и русскими революционерками. Жюль Ромен в молодости затосковал. «Унанимизм» был отчаянной попыткой найти «соборную душу» лавочников и рантьеров. Легко догадаться, что из этого вышло. Наконец какие-то шутники придумали «популизм»: по отношению к пролетарской литературе он был тем же, чем является фашистский синдикализм по отношению к рабочим профсоюзам. Нашлись дамы, которые стали писать романы из жизни

прислуги, однако то ли дамы видели мир по-дамски, то ли прислуга успела усвоить чувства и навыки дам, но между романами из жизни «народа» и романами из жизни высшего общества нет никакой разницы.

Некоторые писатели обзавелись заграничными паспортами и чемоданами. Это не было абстрактной любознательностью, деловито они отправились за сырьем. Внутри страны больше нет девственного материала, и, описывая вполне честно семейную склоку или любовную канитель Пуатье или Руана, легко попасть под подозрение в плагиате. Колумбы, однако, оказались туристами: на другие страны они глядели недоверчиво или пренебрежительно. Этого могло хватить на несколько веселых книжек, но этим трудно заполнить пустое место в литературе. Всякий неправдоподобный рассказ о заморских диковинах, рассказанный туристом, наклонным к юмору, может позабавить слушателя, особенно если последний никогда не был в местах, о которых рассказывает ему потерпевший. (Я говорю «потерпевший», потому что туристы такого рода обычно попадают в нелепые положения и свое непонимание чужой жизни выдают за экзотичность туземцев.)

Но вот за границу едет Жорж Дюамель. Это писатель серьезный и ответственный. Он, однако, не только повсюду искренно тоскует об оставленной им Франции, он также повсюду припоминает ту мораль, которая уже непригодна и для внутреннего обращения. О французском Царевококшайске, именуемом Бекон де Брюер, написаны сотни гениальных томов. Остается взять Америку и осветить ее с точки зрения Бекон де Брюера. Так мир, из которого они хотят убежать, преследует их повсюду. Они несут его в себе. В этом их обреченность.

Жан Ришар Блок говорит, что современная французская литература бедна, потому что новому миру всего пятнадцать лет. [Годы войны для него являются началом новой эры.] Однако буржуазная литература Франции больна не корью, а склерозом. Ее миру не пятнадцать, но сто сорок лет. Война была сильным подземным толчком, здание, однако, устояло. Если автомобили заменили «фиакры», фокстрот — вальс, а Поль Моран — Поля Бурже, это только мелкие события в жизни наших маститых героев. На смену одному классу еще не пришел другой.

Напряженность социальной обстановки или обострение классовой борьбы еще не успели переменить тот климат Франции, который способствовал полнокровию Бальзака и который обрекает на белокровие современных писателей.

Пролетариат еще не успел утвердиться как некий отдельный мир со своим бытом и своей психологией. Героичный в часы работы или борьбы, в часы досуга он еще довольствуется уголовными мелодрамами и сентиментальными романсами. Он не успел выдвинуть своих писателей, которые могли бы по силе тягаться с писателями третьего сословия, а эти последние столь цельны, столь органичны, что мало кто из них решается на героическую вылазку. Убегая от душевной пустоты, они ездят и в Океанию и в Патагонию. Но кто из них попытался, перейдя границы своего класса, взглянуть на Елисейские Поля глазами рабочего Бельвиля? Они думают, что можно описать Бельвиль, как Азорские острова, — с биноклем туриста. Может быть, единственным примером перемещения чувств был Золя. Он многое предвидел, этот последний великан старой французской литературы. Он предвидел не только новую технику романа, тот «монтаж», который принесло с собой кино, в эпоху символистов и будуаров он уже предвидел торжество социальной литературы.

Пропасть между классами росла. То, что во времена «Жерминаля» еще могло быть простой экскурсией добросовестного романиста, позднее должно было бы превратиться в уход от своей прежней жизни, в перерождение человека. Опыт Золя остался без продолжения.

Франсуа Мориак верит в бога, он притом любит не только свою родину, но и свой класс. Он описывает тех же людей, которых описывали его предшественники. Если в его книгах имеется нечто новое, это не типы, не интрига, не психология. Это только запах: его романы наполнены трупным смрадом. Зеленый прекрасный мир где-то в глубине загнивает, и Мориаку приходится отмечать различные фазы гниения еще живых клеток. Этим может прожить один романист. Этим не может прожить большая литература.

Остается еще один выход: игра. Если Золя остался без последователей, если в течение долгого времени о нем говорили пренебрежительно, как о полулитераторе, полу-

журналисте, другой большой мастер породил множество адептов. Марселю Прусту подражают не потому, что он был прекрасным психологом. Нет, опыт Пруста ценен другим: он показал, что можно заполнить двадцать страниц рассказами о туалете такой-то графини, описаниями кимоно такой-то девушки. Зачем же искать живую жизнь? Жизнь заведомо мертва. Если она кажется живой, то только потому, что она уже описана в превосходных романах.

Вот передо мной десятки книг — прекрасные книги! Я радуюсь умению описать ничтожную деталь, удивить неприметным словом, провести читателя через чащу густых, как тайга, и в то же время ирреальных страниц. Но я не берусь рассказать, чем заполнены эти книги. Может быть, это и есть искусство? Может быть, это только одежда сказочного короля, который на самом деле ходил голышом? Одно бесспорно: эти романы рождены не душевной необходимостью, но мастерством. Их может быть в десять раз больше или в десять раз меньше. Каждый роман можно оборвать на любой странице. Писатели умеют говорить, следовательно они говорят. Если им не о чем рассказать, они в этом не виноваты. Издатель встречает рукопись вопросом: «сколько страниц?» Роман должен быть примерно в триста страниц. Его берут на страницы, как материю на метры, — на пятнадцать франков прекрасных фраз, рассуждений ни о чем и описаний ничего.

Так, благодетельный климат оказался смертельным. Здесь неуместны насмешки. Можно смеяться над оплошностью отдельного человека, но не над исторической трагедией. В литературе наступило междуцарствие, и трудно сказать, сколько оно еще продлится. Наш советский опыт показывает нам, что создание литературы нового класса — дело ответственное, сложное и долгое. Оно определяется не столько талантами и рвением писателей, сколько процессом становления нового общества.

Мы присутствуем при рождении пролетарского индивидуализма, не враждебного коллективу, но тесно с ним связанного. Вопреки измышлениям врагов, советское общество не муравьиная куча и не древний Египет. Коллектив состоит из живых людей, которые развиваются, внутренне растут, из людей, полных страстями, добродете-

лями и пороками. Описывая новых людей, советская литература помогает им понять самих себя и утвердиться в жизни. От нее мы не можем теперь ждать классических завершений: Бальзаки и Толстые не рождаются на стройке. Их время придет. Наша задача — показать живых людей, и здесь нас могут многому научить французские писатели, особенно в их сопоставлении с французской действительностью.

Может быть, и мы сможем их чему-нибудь научить, если не искусству писать романы, — то хотя бы скромному опыту с вентиляцией: когда человек умирает от невыносимой духоты, вряд ли стоит опасаться сквозняков. Впрочем, и об этом они могут прочитать в любом учебнике французской истории.

1933

ОБОРВАВШАЯСЯ НИТЬ

1. ДАЖЕ СТРАДАНИЯ — ЭТО РОСКОШЬ

Шоссе Лилль-Рубэ. Фабричные стены. Каменщики. На минуту я забываю, где я.

— Что здесь строят?

Мой спутник усмехается:

— Это сносят нитяную фабрику Дортуа. Большое было дело — восемьдесят миллионов. Прогорели. А пустырь легче продать, нежели фабрику.

Девушка укололась о веретено, и жизнь замерла. Впрочем, это не сказка, это статистика.

Из тридцати хлопчатобумажных фабрик шесть заколочены, на двадцати четырех половина станков стоит. Двенадцать шерстяных фабрик закрылись. Четыре прядильни вовсе не работают, на других работа сократилась вдвое. Редко какая чесальня еще продолжает работать. Наглухо забиты ворота кружевных и тюлевых фабрик.

— Тридцать два года я проработал на прядильне. А теперь для меня нет работы. Второй год живу на пособие. Больше нет сил!

Это говорит старый рабочий из Рубэ. Его сын добавляет:

— Мне девятнадцать лет, а я еще не начал работать. Ищу работу с утра до ночи. Пособия мне не дают: официально я даже не безработный. Я и сам не знаю, кто я...

В Рубэ девяносто тысяч рабочих. Восемь тысяч признаны безработными. Сорок три тысячи работают по три, по четыре дня в неделю.

До кризиса прядильщик зарабатывал тысячу пятьдесят франков в месяц. Теперь он зарабатывает четыреста шестьдесят франков. Ткачиха, вырабатывавшая прежде четыреста девяносто франков в месяц, теперь вырабатывает двести шестьдесят. Чесальщица получает один франк сорок сантимов в час. Многие чесальщики работают двадцать четыре часа в неделю. Они вырабатывают в месяц сто сорок франков. К этому остается добавить, что самое жалкое жилье обходится шестьдесят — восемьдесят франков в месяц и что трамвайный проезд Лилль — Туркуан стоит два франка.

Фабриканты, впрочем, находят, что заработная плата чересчур высока. Они заменяют работниц тринадцатилетними девочками. Девочка получает восемьдесят — девяносто сантимов в час, и куском хлеба она делится с матерью или с отцом.

В приемной туркуанского врача я встретил старую женщину. Ей пятьдесят шесть лет. До пятидесяти двух лет она работала на бумагопрядильне. Фабрика находилась в семи километрах от ее дома. Она проделывала каждый день четырнадцать километров пешком. Теперь за несколько франков она ходит помогать роженицам. Ей трудно стоять на ногах: у нее порок сердца. Ее мужу шестьдесят три года. Он еще работает на фабрике: толкает тачку. Он работает три дня в неделю: получки хватает тоже на три дня. У них было семеро детей. Пять умерли. Старики работали всю жизнь, чтобы поставить на ноги Пьера и Анри. Пьер стал маляром. Теперь у него нет работы. Он получает пособие: семь франков в день. Анри был агентом по сбору объявлений. У него тоже нет работы, и он ничего не получает. Иногда он приходит к родителям, и мать отдает ему свой кусок хлеба. Она платит шестьдесят франков за комнату, четырнадцать за электричество, десять за газ. На газе они варят картошку. Мяса они давно не видали. Сейчас доктор пропишет лекарства, но у нее нет денег, чтобы пойти в аптеку. Ее не о чем спрашивать, ее не к чему утешать.

Последний роман академика Франсуа Мориака посвя-

щен страданиям стареющей женщины. Она страдает потому, что у нее тонкая душа, и потому, что иначе не получилось бы романа. Франсуа Мориак рассказывает, как эта страдающая особа, проходя мимо мясной, где торгуют кониной, видит обыкновенную работницу: «Женщина без возраста, беременная, в туфлях на босу ногу зорко следила за мясником, отвешивавшим крохотный кусочек лилового мяса. Тереза остановила такси и назвала адрес хорошего ресторана. Она подумала, что люди, защищенные от нужды, не знают настоящего страдания. Конечно, она разорена, но ее состояние покажется сказочным этой женщине, которая несет кусок лиловатого мяса, завернутый в грязную бумажку. Нет, это не значит страдать, поскольку человек может спокойно пережевывать свои страдания! Роскошь — вот наш удел, и даже наши страдания — это роскошь!»

Г-н Франсуа Мориак, вы никогда не напишете романа ни о той женщине, которая унесла кусочек лиловатого мяса, ни о другой женщине, которую я встретил в приемной врача Туркуана и для которой кусок конины был бы лакомством, ни о сотнях тысяч женщин, мужчин и детей, обреченных на самый вульгарный голод. Вы напишете еще десяток прекрасных романов о высокодуховных страданиях различных героев и героинь. Вы мастерски проанализируете, какими путями пришла к господу богу ветреная супруга фабриканта и как ее проникновенный супруг сначала грешил, а потом покаялся. Тем временем в вашей действительно прекрасной стране, в стране вдохновенного труда, веселья и человеческого достоинства, в стране, которая долго служила примером другим странам, люди будут разрушать фабрики и выкидывать на улицу рабочих, чтобы старики прокляли свою жизнь и чтобы подростки, отчаявшись, спрашивали родителей:

— Зачем вы нас родили?..

2. ПОСЛЕДНЯЯ СТАВКА

Барак. Люди в кепках жадно едят суп. Это столовая для безработных. Чтобы попасть сюда, надо заручиться рекомендацией кого-нибудь из «Боевых крестов» Лилля. Здесь дают кусок мяса. За это мясо не надо платить

ничего: надо только отступиться от своего рабочего достоинства.

Шестого февраля 1934 года фашисты были штабом без армии. У них были вожди, знамена, оружие, даже сестры милосердия. Но у них не было пушечного мяса. Они не зря проработали год. Они занимались не только контрабандной доставкой оружия. Они устраивали столовые для безработных — в Париже, в Бордо, в Реймсе, в Лилле, в Рубэ, в Туркуане. Буржуазия не хочет больше драться на улицах. Она вышла из этого возраста. Она пишет воззвания и нанимает убийц.

Я гляжу на лица рабочих в этой душной столовой: хорошие, выразительные лица французских рабочих. Мы их знаем давно: об «увриерах», «блузниках», о французских пролетариях написаны вдохновенные страницы Герценом и Тургеневым, Салтыковым-Щедриным и Белинским. «Через всю жизнь французского «увриера» проходят работа, веселье и, время от времени, революция», — так писал Салтыков-Щедрин полвека назад. Они остались все теми же, эти «увриеры» Лилля, Рубэ или Туркуана. Прекрасные лица! Позади годы труда, смех, шутки, отвага. Но голод успел стереть улыбку, выжечь задор.

Страшна судьба каждого из этих горемык. Он идет сюда в минуту слабости. Он думает: «Съем суп и уйду. Разве от этого что-нибудь изменится?..» Он смутно надеется перехитрить «благотворителей». Но, выйдя из барака, он встречает товарища. Товарищ два дня ничего не ел. Товарищ говорит: «Значит, и ты туда пошел?..» Он ничего не отвечает. Он чувствует, что случилось непоправимое: на нем каинова печать. Он теперь избегает товарищей. Он ищет таких же отверженных: с ними ему нечего стесняться. Это круговая порука перебежчиков. Это те, которым предстоит стрелять в своих братьев.

Велик список преступлений правящего класса, они делают все, чтобы заслужить имя вандалов. Они жгут пшеницу и книги. Они разрушают фабрики и гноят лучших людей в тюрьмах. Они хотят свести на-нет работу многих поколений. Но из всех злодеяний это, кажется, самое низкое: они берут живых людей, людей, призванных притти им на смену, и стремятся отравить их трупным ядом; они хотят перенести гражданскую войну в пределы одного

класса, сделать ее междоусобной, не рискуя ничем, победить, в надежде на конец кризиса сохранить руки рабочего, но вынуть из его тела то, чем сейчас еще жив мир, — полное горечи и скорби, полное также великой веры сердце «увриера», «блузника», пролетария. Это их последняя ставка.

3. ЗАЩИТНИКИ КУЛЬТУРЫ

— Мы должны уничтожить все машины! От машин — безработица. Ни одна прядильня не работает. Если мы сломаем машины, для нас найдется работа и кусок хлеба!..

Так говорили вожди рабочих сто лет назад. Пролетариат только-только выходил на арену истории. Он пугливо оглядывался по сторонам. Он не знал, где клетка с хищными зверями и где спасение. Он еще ничего не знал. У третьего сословия были Уатт и Стефенсон, Бальзак и Диккенс. У пролетариата тогда еще ничего не было, кроме безработицы и баррикад. Он думал, что зло в машинах. На процесс индустриализации он ответил трагическими мятежами: ткачи хотели уничтожить машины. Это было сто лет назад.

С тех пор многое изменилось: пролетариат строит Магнитогорск и проводит вторую пятилетку. Буржуазия сносит фабрики и заставляет фермеров менять тракторы на коняг. В 1835 году буржуа защищал машины от «вандалов и дикарей». Он любил эффектные позы защитника культуры. В 1935 году ему не до этого. Он забыл благородные монологи. Он согласен уничтожить все на свете — шахты и заводы, музеи и библиотеки. Он хочет спасти одно: свои дивиденды.

Неподалеку от Рубэ в местечке Ланнуа находится льнопрядильня братьев Бутеми. На фабрике работало тысяча сто рабочих. Однажды управляющий сказал:

— Нам придется на некоторое время прекратить работу: нет заказов. Но подождите неделю-две, фабрика пойдет полным ходом. Смажьте все машины! Хорошенько их смажьте!

Это не просто убийцы, это палачи, которые подносят своей жертве рюмку рома. «Смажьте получше машины»,—

говорил управляющий. Говоря это, он знал, что машины будут проданы на лом: так постановил «Союз владельцев льнопрядилен».

Слухи о готовящемся преступлении дошли до рабочих, и рабочие расставили сторожевые посты. Когда пришли люди, чтобы забрать машины, проданные на лом, рабочие не пустили их на фабрику:

— Нет, мы не дадим ломать машины!

Началась война. Она длилась долго. Она длится и по сей день. В городе Фурми фабрикантам удалось уничтожить несколько фабрик. «Союз владельцев» намечает, какие именно фабрики подлежат разрушению. Владелец получает от союза солидную сумму: чем меньше конкурентов, тем больше надежды снова разжиться.

«Союз владельцев льнопрядилен» напечатал во всех газетах мотивированное объяснение своих поступков: «Разумеется, не с радостью на сердце фабриканты выполняют тяжелую обязанность: разрушить орудия труда, которые были некогда источником богатства. Если они соглашаются на это, то лишь поставленные перед необходимостью. Надежда на лучшие времена могла бы оправдать временное закрытие фабрик, без уничтожения всего оборудования. Но какие бы то ни было надежды являются праздными, и поэтому совершенно необходимо уничтожить часть льняной промышленности, чтобы обеспечить существование оставшейся части».

Рабочие ответили на этот замечательный документ письмом, адресованным председателю Совета министров: «Господин председатель, мы считаем необходимым заявить вам, что мы не допустим уничтожения машин на фабрике Бутеми. Этот незаконный поступок продиктован корыстью конкурентов. Мы не допустим, чтобы были уничтожены целые фабрики, способные обеспечить благосостояние нашего края. Представители тысячи рабочих не ослабят своей бдительности. Мы будем следить за тем, чтобы машины, представляющие общее достояние, сохранились в неприкосновенности».

Судебное следствие на процессе между двумя классами давно закончено. Больше не требуется ни свидетелей, ни улик. Но все же история фабрики Бутеми потрясает своей наглядностью. С одной стороны — трусость, жадность,

жестокость, с другой — зрелость людей, которые понимают, что не сегодня завтра они будут управлять своей страной. Не все ли равно, кому принадлежат машины согласно действующим законам? Миллионер может купить картину Рембрандта и разрезать ее на куски: это право собственности. Есть и другое право — человеческое, оно говорит, что такой миллионер недостоин даже рыть канал рядом с ворами и проститутками. Рабочие фабрики Бутеми знают, что машины созданы трудом, что машины принадлежат народу. Они стремятся спасти их от жалкого и бессмысленного конца.

Мне хочется сказать лучшим людям Франции — профессору Ланжевену, Ромену Роллану, всем тем, которые теперь пытаются отстоять человеческую культуру: смотрите, вы не одиноки, рабочие прядильни Бутеми делают то же высокое дело! Вот они стоят на холоду. Они стоят днем и ночью. Они караулят добро народа. Они ограждают вчерашние машины, и они ограждают завтрашний день.

1935

ИСТОРИЯ ОДНОЙ МАТЕРИ

Трудно человеку, приехавшему из Москвы, понять узкие, путаные улицы рабочего Парижа. Они неразборчивы, как иной почерк. Они кажутся написанными на чужом языке. Все сначала кажется непонятным. Чай можно увидеть только в богатых кварталах, рабочие после обеда пьют кофе. Вино в ресторанах дешевле минеральной воды. Приезжий ищет безработных под мостом или на скамьях бульваров. Он видит людей в кафе. Он спрашивает: «Кто это?» Ему отвечают: «Безработные». С удивлением он видит, что безработные смеются. Очевидно, им весело. Приезжий говорит с ними, рассказывает о Москве. Они внимательно слушают и продолжают улыбаться. Один из них, улыбаясь, говорит: «А что мне остается, если не кинуться в воду?» Он не шутит: что ни день багры шарят по дну Сены, разыскивая трупы.

Москвич идет дальше. Он заходит в дом. Винтовая лестница, черная даже в полдень, смрад. Он думает, что попал в трущобу. Потом он видит в приоткрытую дверь квартиру. Семья вокруг стола. Рагу из баранины. Древний аромат французской кухни на минуту перебивает смрад. Жирный кот на комоде. Букетик подснежников.

Москвич разговаривает с техником. Этот человек, кажется, знает все на свете. Он говорит о политике Рузвельта, о работах Павлова, о борьбе против рака, о роли негуса, о вновь найденных письмах Бальзака. Через час москвич узнает, что этот человек никогда не читал Бальзака. Он вообще не читает книг. Ежедневно

он просматривает три газеты. У него хорошая память, и он любит разговоры на высокие темы.

Приезжий идет дальше. Ворота завода. На дворе нечистоты и шлак. Выходя из ворот, литейщики и сварщики покупают крохотные букетики фиалок.

Приезжий заходит в кафе. Он видит влюбленных, которые между двумя глотками кофе громко целуются. Приезжий стыдливо отворачивается. Потом любопытство берет верх, и он смотрит на парочку. Он видит, что они целуются ласково и абстрактно.

Между столиками проходит миловидная девушка. Два рабочих, смеясь, говорят: «До чего смешная!» — «Вы хотите сказать, красивая?» — переспрашивает любознательный приезжий. «Ну да, смешная», — отвечают рабочие. Приезжий разводит руками. Ему хочется сказать: «До чего смешной город!» Он идет к себе, в крохотную комнату гостиницы. Три четверти комнаты занято огромной кроватью. На такой кровати может уместиться десять человек. Приезжий ложится на пышный катафалк, он долго ворочается, перекочевывая с одного края пустыни на другой: «смешной город» не дает ему уснуть.

Север Парижа. Город здесь холмист. Горбатые улицы, обрывы, крутые лестницы. Много живописных панорам, много нищеты. Сквозь серо-лиловый туман едва проступает Эйфелева башня. На узких улицах шумно. Усатые женщины толкают ручные тележки, они продают фасоль, салат, левкои. Кричат стекольщики и точильщики. Старьевщик играет на дудочке. Он продает залатанные штаны и покупает рваные ботинки. Иногда раздается молодой задорный голос: «Покупайте «Молодую гвардию», центральный орган комсомола!» Иногда старая певица посредине мостовой поет трогательный романс: «Помнишь ли ты, Люлю, наши первые свиданья?..» Ее голос похож на хриплый громкоговоритель. Автомобиль объезжает вокруг нее. Из чердачного окна падает на мостовую монета. Возле лавок расставлены сыры под колпаками, скользкие рыбины, большие рыжие тыквы, миски, газеты. На вывеске можно увидеть золотую морду коня: это не кузница, но мясная. В баре у цинковой стойки рабочие пьют кофе или вино. Многие из них начинают день стаканом белого вина. Гнусавит шарманка. Дома серые, облезшие, насквозь про-

дымленные. Старухи ходят по улицам в ночных туфлях: старух обувают только после смерти — для похорон. Ничего не поделаешь, это не Нью-Йорк, это очень старый город.

У рабочего Парижа имеются свои традиции. Здесь каждый мальчишка знает, что такое Коммуна. Она началась на этих горбатых улицах, и в горячие майские дни, когда в кофейнях больших бульваров версальцы уже спокойно толковали о жокеях или о балеринах, коммунары здесь еще защищали последнюю пядь рабочей земли. В этих домах можно найти рабочих, которые скажут: «Мой дед был тоже слесарем» или: «Моя бабушка работала на той же фабрике». 1 мая весь Париж заполняется ландышами: говорят, что они приносят счастье. Но, видимо, у рабочего Парижа свое мнение о счастье: в этот день пахучим ландышам он предпочитает красные лоскуты коленкора. Стены домов покрыты не только пятнами сырости, но и надписями: «Смерть фашистам!» Неумелые руки выводят на дверях серп и молот. Нет, эти улицы написаны на нашем языке, надо только научиться разбирать непривычный почерк.

Здесь много нужды: вот измученного человека везут в больницу; вот похороны — общая могила. Здесь много и веселья: кажется, даже умирая, люди еще отшучиваются. Здесь ходят ночью в кабачок к Дювалю: у него можно «слушать Москву». Здесь влюбленные обмениваются пышными клятвами среди тусклых фонарей, под огромной луной.

Старики многое видели на своем веку: забастовки, баррикады, войну, масленичные карнавалы, кровь, надежду. Молодые ничего не видели, кроме узких улиц, запертых ворот завода и чересчур длинных пустых дней.

В кафе «У друга Южения» собираются молодые. Они сидят здесь целыми днями. Они мурлычут песенки. У этих песенок веселые слова и грустный мотив. Читать? Но в книгах — жизнь, бурная и поспешная. Эта жизнь не для них. Они не имеют права даже на звание «безработного»: они никогда не работали. Когда они впервые подошли к воротам завода, они увидали толпу: теперь рабочих не нанимают, но рассчитывают. Что же им делать, как не ждать, как не слоняться по улицам, как не мурлыкать грустную песенку с веселыми словами?

Среди завсегдатаев кафе «У друга Южены» был один худой, долговязый юноша. Его звали Пьером Лебланом. Ему было восемнадцать лет. Он жил со своей матерью. Луиза Леблан шила белье на дому. Кончив школу, Пьер поступил учеником в типографию, но ему не удалось ничему научиться, — хозяин типографии вскоре сказал матери Пьера: «Забирайте его! Вы ведь сами понимаете, заказов не будет ни через год, ни через десять. Пусть лучше таскает камни. Или продает галстуки».

Хорошо, он будет таскать камни. Но в Париже перестали строить дома. «Купите красивые галстуки по франку за штуку!» Но слишком много и галстуков и уличных торговцев.

Пьер мурлыкал грустную песенку и ждал. У него были друзья: рыжий Лебак и маленький Феликс из Тулузы. Они тоже сидели без работы. Они были комсомольцами. Они рассказали Пьеру о партии, о Москве, о фашистах. Пьер начал ходить на собрания. Комсомольцы собирались в зале, похожем на сарай. Стояла суровая зима: морозы доходили до десяти градусов, и зябкие парижане страдали. В газетах печатались списки «жертв мороза». Сарай не отапливался. Комсомольцы согревались речами. Говорили они о борьбе с фашистами: «Мы их сюда не пустим!..»

Иногда Пьер встречался с Жанниной. Они шли вместе на главную улицу Бельвиля. В витринах были выставлены красивые шляпы, шоколадные зайцы, шелковые рубашки. Манекены нахально улыбались в щегольских костюмах. Пьер знал, что он вырос из своего пиджака, и старался вытянуть чересчур короткие рукава. Они глядели на пестрые афиши кино. Денег не было, и они шли дальше. На углу двух улиц стоял овернияк с жаровней. Пьер покупал горячие каштаны. Потом они сворачивали в боковую улицу. Здесь было тихо и темно. Здесь можно было пошутить, подурачиться, а потом сказать несколько слов, ласковых и печальных. Конечно, они не знают, что с ними будет дальше, но все же они любят друг друга, а это много и важно. На крутом спуске, прощаясь, они целовались, замерзшие, грустные и счастливые.

Как-то Пьер вернулся домой и сказал матери: «Сегодня вечером они назначили собрание в Бельвиле. Но, ты

знаешь, мы их сюда не пустим!..» Мать рассердилась: «Какое тебе дело до политики!»

Луиза Леблан была женщиной упрямой и властной. Она рано овдовела: ее муж был каменщиком, он погиб при строительной катастрофе. Луиза осталась с тремя маленькими детьми. Она не открыла газового крана и не кинулась в Сену. Она вырастила трех сыновей. Двое женились, младший, Пьер, еще жил с ней, он казался ей маленьким мальчиком. В жизни ей привелось узнать много горя и унижений. Дома она не знала ослушания: дети ей повиновались. Она считала, что кризис — это несчастье, как строительная катастрофа, при которой погиб ее муж, как буря на море, при которой погибают сотни рыбаков. Почему произошел кризис, над этим она не задумывалась. Она читала газету «Журналь»: там сообщали о негодяях, которые убивают честных кассиров, о подлых женщинах, которые стреляют в своих соперниц, о трупах в корзинах, о министерских кризисах, о матчах футбола. Читая газету, она негодующе охала или смеялась, но она твердо знала, что ни футболисты, ни депутаты, ни бандиты не имеют никакого отношения к ее жизни. Она должна сшить столько-то рубашек и отнести их в магазин. Ее занимало, подешевеет или подорожает масло, удастся ли когда-нибудь пристроить Пьера, будет зима суровой или мягкой, — ведь уголь в этом году не по карману... Соседки говорили: «Вдова Леблан умная женщина»; ее уважали за то, что она поставила на ноги сыновей, за то, что она ни с кем не ссорится, за то, что в ее крохотной квартире чисто и уютно.

Когда Луиза Леблан услыхала от Пьера о каких-то фашистах и комсомольцах, она рассердилась. Пускай политикой занимаются богатые! Пьер должен думать об одном: как бы найти работу. Но Пьер не унимался: «Лебак сказал, что они не пустят сюда фашистов. Я пойду с товарищами...» Луиза Леблан встала и строго сказала сыну: «Никуда ты не пойдешь! Там, может быть, будут стрелять...» — «Все равно я пойду». Тогда мать не выдержала и отвесила Пьеру пощечину: он был для нее маленьким мальчиком, и она хотела поучить его, чтобы он не проказил. Пьер молча надел кепку и вышел.

Молодые фашисты собирались в одном из кафе возле бульвара Сен-Жермен. Виктор Корне как-то пришел в

кафе и сказал: «Значит, сегодня вечером — в Бельвиль!..» Виктор Корне был студентом-медиком. Он ненавидел иностранцев. Он боялся, что иностранцы станут докторами и тогда у Виктора Корне не будет пациентов. Он говорил: «Коммунисты покрывают иностранную шпану. Но мы с ними расправимся!.. Ты понимаешь, на обзаведение, потом на первые годы практики нужно считать по меньшей мере сто тысяч. Сейчас у отца есть деньги, но если эти негодяи будут продолжать хозяйничать, он может разориться. Одним словом, нам нужен Муссолини...» Жан Мальво ненавидел людей. Его отец был полковником колониальных войск. Жан Мальво говорил: «Люди — скоты. Тех, кто думает, немного. Остальных надо заставить работать. Тогда будет порядок». Он мечтал о карательных экспедициях и ласково гладил новенький револьвер. Роберт Невиль знал одно чувство: страх. У его отца была фабрика фаянса в Лиможе. Роберт Невиль учился на юридическом факультете. Отец присылал ему три тысячи в месяц. Отец писал: «Дела идут неважно. Надо бы понизить себестоимость, но эти дурацкие профсоюзы...» Роберт Невиль, заикаясь, говорил: «Если их не уничтожить, они уничтожат нас!..» Он убедил в этом сына мелкого лавочника Гастона Пикара. Гастон Пикар поверил, что коммунисты хотят его уничтожить. Он записался в боевой отряд. Когда Виктор Корне сказал: «Сегодня — в Бельвиль», он радостно ухмыльнулся. У него тоже был револьвер, и ему давно хотелось испробовать, как эта штука стреляет.

Луиза Леблан все еще не ложилась, хотя часы на соседней колокольне пробили двенадцать, половину первого, час. Она сидела и вязала. Слипались глаза, но мысли о Пьере отгоняли сон. Она видела кровь, солдат, тюрьму, гильотину. Она шептала про себя: «Хоть бы он не убил кого-нибудь...» На комоде стояли вазочки и фарфоровые кошечки. На стене висела гравюра: генерал Галиени спасает Париж. Громко тикал будильник. Наконец Луиза сидя уснула. Ей снилось, что Пьер, возвращаясь из школы, потерял пенал и что пенал утащила большая крикливая птица. Это был нелепый сон усталой пятидесятилетней женщины. Ее разбудил шум. Еще в полусне она подумала: значит, он все-таки нашел пенал... Потом она встала и открыла дверь. Рыжий Лебак и Феликс внесли Пьера, его

голова свисала, изо рта капала кровь. Луиза Леблан сказала: «Сюда». Тело Пьера положили в заднюю комнату на широкую кровать. Здесь обычно спала Луиза. Пьер спал в первой комнатке на чересчур коротком диване. Луиза сказала: «Оставьте меня с ним», — и закрыла дверь.

В первой комнате остались товарищи Пьера: рыжий Лебак, Феликс, Жак Кассе, Поль. Они сидели молча на диване. В их ушах еще дрожали треск револьверов, крики, свистки. Они любили Пьера, и горе обступало их. К горю примешивался страх. Они знали, что у вдовы Леблан крутой характер. Они знали также, что она не любит комсомольцев. Сейчас раскроется дверь, она покажется, протянет к ним руку, скажет: «Убийцы!»

«Может, уйти?» — шепнул Поль Лебаку, но Лебак ответил: «Нельзя ее оставить одну». Они начали шопотом говорить о похоронах. Вдова Леблан потребует священника. Она не позволит, чтобы комсомольцы принесли свой венок...

Сквозь щели окна дуло. В комнате было холодно и неприютно. Четыре комсомольца сидели, опустив низко головы. Они просидели так до утра. Утром раскрылась дверь, и Луиза Леблан вошла в комнату. Мутным взглядом она обвела товарищей сына. Казалось, она не узнает их. Она им сказала только одно: «Скажите, где записывают в вашу партию?..»

Четыре дня спустя комсомольцы устроили митинг протеста против фашистских убийц. Зал был переполнен. Лебак говорил о том, что Пьер погиб за рабочее дело. Потом говорил испытанный оратор о «классовой сущности фашистов» и о «нарастающих противоречиях в капиталистическом мире». Потом на трибуне показалась старая женщина, вся в черном, с глазами, вспухшими от слез. Зал притих. Люди сидели потрясенные и растерянные, как сидели ночью четыре комсомольца в квартире вдовы Леблан. Они не знали, что может сказать мать, которая потеряла своего сына.

Я знаю, что в Москве читают Бальзака, но не Расина. Расина не читают и в Париже. Расином только мучают французских школьников. И все же, не зная Расина, трудно понять, как говорила Луиза Леблан, хотя сама она никогда отроду не читала этого старого автора.

Луиза Леблан сказала: «Восемнадцать лет я была с моим сыном. Но я была с ним только одну ночь. Только в ту ночь я его поняла, и это было тогда, когда он мертвый лежал на моей постели. Он рассказал мне, зачем он жил и за что умер. Вам я скажу одно: они сюда не придут! Обещайте это мне, матери Пьера Леблана, которому было восемнадцать лет и которого они убили».

Все встали: это было присягой. В первом ряду стояла, подняв кулак, подруга Пьера — Жаннина.

Жизнь вдовы Леблан с этого дня изменилась. Она ходила на собрания, произносила речи, уговаривала своих соседок вступить в партию. Материнскую любовь она перенесла на комсомольцев. Она пришивала им пуговицы, тихонько совала им в карман кусок хлеба с повидлом, озабоченно их спрашивала: «Ну как, вчера было много народу на собрании?..»

Когда исполнился месяц со дня смерти Пьера, она взяла букет красных гвоздик и кусочек мела. Она пошла на улицу Менильмонтан, где был убит Пьер. Она нашла то место, где он упал, застреленный Жаном Мальво или Гастоном Пикаром. Она начертила мелом на асфальте большой круг и написала: «Здесь был убит фашистами рабочий Пьер Леблан восемнадцати лет от роду». На асфальт она положила красные гвоздики.

Прохожие останавливались. Вскоре огромная толпа взволнованных и негодующих людей обступила круг с красными гвоздиками. Рабочие говорили о том, что фашистов они сюда не пустят. Подъехал грузовик с полицейскими. Бригадир сказал метельщику: «Уберите цветы и сотрите надпись!» Метельщик поднял руку с метлой и ответил: «Ты что думаешь — это рука не рабочего?..»

Несколько месяцев спустя на севере Франции раздались выстрелы. Фашисты нагрянули в рабочий поселок. Шахтеры говорили: «Сюда мы их не пустим!» У фашистов были револьверы, и шахтер Дусэ, которому было за пятьдесят, который тридцать два года сряду каждое утро опускался под землю, добывая людям свет и тепло, упал раненный насмерть. После него остались вдова сорока восьми лет и четверо детей.

Когда Луиза Леблан прочитала в газете о смерти Дусэ, она быстро завернула в салфетку серебряные ложки

и вилки. Она побежала в ломбард: надо купить железнодорожный билет. Она приехала в маленький домик вдовы Дусэ. Вдова Дусэ плакала, а вокруг неуклюже переминались шахтеры. Луиза Леблан отослала всех: «Оставьте нас вдвоем. Две женщины могут вместе поплакать».

На следующий день Луиза Леблан привела вдову Дусэ к шахтерам и сказала: «Вот вам новый товарищ. Теперь нас двое: мать и жена. Мы их сюда не пустим!»

Когда хоронили шахтера Дусэ, впереди шли две женщины. Из всех соседних поселков собрались шахтеры. Их лица и руки были покрыты синими прожилками: уголь мстит людям, он входит под кожу. Было яркое солнце, и люди жмурились. Женщины стояли возле домов. Завидев гроб, они подымали кулаки. Они подымали детей, и маленькие дети — надежда Франции — сжимали в кулачки свои еще нежные, слабые руки. Две уже немолодые женщины, которые в горе нашли свою вторую, подлинную молодость, шли к борьбе, к жизни, к счастью. Они шли вместе с молоденькой Жанниной, с десятками тысяч комсомольцев, с шахтерами Севера и с виноделами Юга, с товарищами из Эссена, Турина и Барселоны, со всей советской землей к будущему мира.

Я рассказал эту историю, как сумел. Я мог бы рассказать о других людях, о Клаусе или о Маргарите Вальтер, которых убили немецкие фашисты; о замечательном греческом поэте Коста Варналисе, авторе «Бесед с Сократом», которого я успел полюбить как поэта и как друга и которого фашисты теперь сослали на страшный остров, где нет ни людей, ни воды; о батраке Хуане Хименесе из Хереса, которого фашисты утопили в колодце... У нас много героев, много горя, много гордости. Я рассказал о Луизе Леблан потому, что судьба позволила мне увидеть комнату, где мертвый подросток открыл своей матери, в чем правда жизни.

1935

18 МАРТА

Мы празднуем в нашей стране 18 марта. В этот день далеко от Москвы, в пепельно-синем Париже, дул ветер с моря. Он то и дело нагонял тучи. Шел дождь, потом снова показывалось солнце. По крутым улицам старого Монмартра подымались солдаты 88-го линейного полка: Тьер приказал им усмирить рабочих. Это был день, полный солнца, дождя и ветра. Солдаты не стали стрелять в рабочих, они убили своих генералов. По широкому Версальскому шоссе уже громыхали кареты с министрами, епископами и куртизанками.

Когда я пошел впервые к Стене коммунаров, впереди шли участники боев. Их было немало, и они бодро шагали, седоусые крепкие рабочие Парижа. Прошлой весной я снова был на кладбище Пер-Лашез. Согласно обычаю, шествие открывали старые коммунары. Их было несколько человек. Глубокие старики, среди весеннего гама, криков и песен они казались пришедшими из мира молчания. Но где-то в старческом сознании они еще хранили память о том шумном мартовском дне, когда солдаты 88-го линейного полка братались с рабочими.

Один из последних коммунаров — Гюстав Инар — присутствовал на съезде советских писателей. Он был дряхл, но говорил, что его сердце еще молодо. Он был среди нас посланником раннего Марта. Есть цвета, которые никогда не выцветают, и какой Золотой век заставит нас забыть о первой искре, высеченной из грубого кремня?

Мы празднуем наши праздники, и мы любим наших людей. Мы не иллюминируем город в честь усмирения июньских инсургентов или расстрела Пресни. В наших домах нет портретов ни Муравьева, ни Кавеньяка, ни Тьера. Мы молоды, и нам не к чему лицемерить.

В феврале этого года исполнилось пятьдесят лет со дня смерти французского писателя Жюля Валлеса. Газеты промышленников и банкиров писали: «Это был крупный писатель». Они умалчивали о том, что каждая строка этого писателя служила революции. Они веско отмечали: «Он написал прекрасные романы», но они не решались напомнить своим читателям, что Жюль Валлес был членом Коммуны.

В 1872 году версальцы потребовали от англичан выдачи Валлеса. Газета «Фигаро» писала: «Это бешеная собака, его надо прикончить, чтобы он не перекусал всех». Теперь газета «Фигаро» пишет: «Этот большой писатель много внес в сокровищницу французской литературы». Сыновья, племянники и внуки версальских убийц составили комитет для чествования памяти Валлеса. У них нет своих героев. Их гостиные заполнены безделушками, но их жизнь гола и пустынна. Кому придет в голову чествовать память генерала Галифе? Они крадут у рабочих не только труд и счастье, они крадут даже могилы.

Они решили прибить к дому, где умер Валлес, солидную мраморную доску. Но хозяин дома не дипломат. Он знает, что домовладельцам нечего чтить Коммуну, он сказал: «На моем доме никогда не будет этой доски!» Какое ему дело до «сокровищницы французской литературы?» Он знает другую сокровищницу: несгораемый шкап.

Передо мной желтые листочки. Ветхая бумага. Выцветшие чернила. Это — письма Жюлю Валлесу. Одни из них подписаны громкими именами — Карл Маркс, Золя, Тургенев. На других — никому неизвестные подписи: это рядовые борцы Коммуны.

Есть даты, которые всю жизнь волнуют человека. Он может возмужать, многое пережить, его сердце может стать мудрым и трезвым, но это сердце, мудрое и трезвое, все же будет по-ребячески колотиться, когда короткая дата напомнит ему о ранней любви.

Глеб Успенский не был ни социалистом, ни революционером. Он приехал в Париж в 1873 году. Он приехал в Париж из той страны, где девушки шли сначала «в народ», а потом по Владимирке в сибирские рудники. Он увидал угрюмые лица рабочих и следы пуль на стенах. Он написал: «Глядя на эти пули, невольно думаешь, что жить так дольше нельзя, и, веря в правду явления, вы надеетесь, что действительно так продолжаться дольше не может». Он ошибся, и все же он был прав: версальцы чествуют память Валлеса, но знамя Коммуны реет над шестой частью мира...

Я несколько раз перечел короткое письмо. Оно помечено: «Цюрих, 31 мая 1872» — через год после «Кровавой недели».

«Граждане! Я и мои русские друзья посылаем 50 франков коммунарам, нашедшим себе убежище в Англии, так как мы прочитали в «Эмансипасион» призыв вашей секции ко всем, кто сочувствует Парижской коммуне». Подпись: «А. Росс».

Как не вспомнить, что баррикаду на площади Бланш защищала русская, ее звали Дмитриевой.

На обороте письма Росса неуклюжей рабочей рукой написано: «Получено от гр. Валлеса (из Швейцарии) 1 фунт 19 шиллингов 8 пенсов. Ледрюз».

15-й округ Парижа представляли в Коммуне писатель Валлес и механик Ланжевен. Они расстались, когда пала баррикада на улице Аксо. Год спустя Валлес получил письмо от Ланжевена:

«Бокенгейм, 5 июня 1872. Дорогой Валлес! Как вам живется в Англии? Судя по рассказам Авриаля, не очень-то сладко. Что касается Германии, это никак не обетованная земля. Но жить все же можно. Правда, немцы становятся шовинистами, только не нам их упрекать: у нас теперь шовинизма сколько угодно. Они считают себя первым народом в мире, и зря считают, но сговориться с ними можно. Неужели Франция и Германия снова кинутся друг на друга? Здесь, как и во Франции, капитал беспощаден. Крестьяне живут впроголодь, они забиты пуще наших. Да и большинство рабочих живет не лучше, — заработки нищенские. Тяжело, что буржуазия еще ухитряется разделять трудящихся. У нас рабочая партия, раз-

давленная врагами, может пойти за каким-нибудь Гамбеттой под лозунгом реванша. Крепко жму руку Теису, Франкелю и всем, кого вы видите. Авриаль шлет всем привет».

Механик Авриаль был депутатом 11-го округа, ювелир Лео Франкель представлял 12-й округ, резчик Теис — 13-й округ.

Этих людей я знаю по истории Коммуны. Я ничего не знаю о Викторине Руши. Но среди писем, которые лежат передо мной, это, может быть, самое простое и самое трогательное. Пишет Валлесу некто Альфред Дюран, или, говоря по-русски, один из Ивановых, пишет о своей вере в революцию; письмо он кончает так: «Гражданка Виктория Руши, храбрая женщина, которая заслужила честь быть приговоренной версальцами к смерти за то, что ее взяли с ружьем в руке, просит сказать вам, что она верна нашему делу».

Жюль Деюмболь был тоже рядовым бойцом. Он пишет Валлесу: «После 18 марта меня сделали сержантом 4-й роты 182-го батальона. Квартал Сен-Дени. Я встретился с Эженом Потье. Во время осады Парижа мы были в одной роте. Я работал как его секретарь. Версальцы наступали. Я попросил Потье освободить меня от моих обязанностей. Я отправился в Ванв. Когда форт пал, мы отступили в Париж. Я защищал баррикаду на площади Шатле. Меня ранили. Потом баррикада у ворот Сен-Мартен. Потом на площади Бастилии...»

Печатник Тристан Грасьен пишет: «Во время Коммуны я был телеграфистом. Меня ранили возле форта Ванв. Всю последнюю неделю я дрался на баррикадах. Меня схватили на улице Аксо. Три года я просидел в одиночке. Потом удалось пробраться в Бельгию. Я проработал два месяца в типографии, но меня выкинули как коммунара. Я разгружал в Антверпене пароходы. Во время работы у меня оторвало палец на руке. Теперь я в Лондоне».

Простые рассказы, в них нет ничего примечательного, — ведь о Коммуне написано столько хороших книг. Но, перебирая эти листки, я чувствую тепло человеческой руки; они пахнут порохом и кровью, слова «форт Ванв» или «баррикада на площади Шатле» звучат для меня не как историческая справка, но как рассказ о местах, которые я хорошо знаю. Я бывал там много раз. Я вспоминаю

февраль 1934 года: камни, пули, кепки, кровь. Я это видел моими глазами. Весна 1871 года не кончилась: это долгая и трудная весна, с внезапными заморозками и с бурями.

Официальная статистика показывает, что после разгрома Коммуны 37 124 рабочих были убиты, 60 907 кинуты в тюрьмы или отправлены в Кайенну. Но, может быть, страшнее этих цифр рассказ одного из уцелевших коммунаров. Он пишет Валлесу:

«23 мая часть раненых была направлена в сенат, другая часть — в семинарию Сен-Сюльпис. Я тогда решил, что верней всего направиться домой. Но рана мне не давала покоя, и 24 мая я пошел на перевязку. Говорили, будто раненых расстреливают, но я этому не верил. Около трех часов дня, проходя по коридору семинарии, я увидал гаубицу. Она защищала улицу Ренн на углу улицы Вье-Коломбье. Я понял, что версальцы близко, и сбежал вниз. Консьерж мне сказал, что не велено никого выпускать. Я попробовал выйти, но он выхватил револьвер. Пришлось подняться наверх. Гляжу в окно. По улице Вье-Коломбье идут фельдфебель и четыре солдата. На площади человек, уже немолодой. Оружья у него нет, но он в форме. Увидав версальцев, он спрятался за писсуар на углу улицы Бонапарт. Они его заметили и застрелили. Четверть часа спустя площадь занимает рота 70-го стрелкового полка. Ротный командир — из свежепроизведенных: на шинели две нашивки, а фуражка новенькая, и три нашивки. Он подходит к двери нашего госпиталя, звонит. Дверь открывает старший врач госпиталя Фаннон. Это — английский подданный. Я следил за каждым движением. Я подбежал к другому окну: оно выходило на двор. Офицер схватил доктора за халат, другой рукой он размахивает, в руке револьвер. Потом он стреляет в упор. Доктора он сразу убил, но взводный еще выстрелил в труп из винтовки. Здесь все начали стрелять куда попало. В раненых коммунаров, даже в своих — в пленных. Один из версальских солдат держит в руке документы и кричит: «Господин капитан, вот вам доказательство!..» Но он не договорил, — его тоже пристрелили. Один убежал в часовню, спрятался под алтарь. Его там пристрелили. Когда во дворе никого не осталось, они пошли в палаты. Пришли в

одну, — там все безногие. Тогда офицер сказал: «Ну, этих можно и не кончать, — они достаточно наказаны». Я это слышал, и когда они подошли ко мне, я сразу закричал: «У меня правая нога отнята!» Он прошел мимо. Потом он говорит: «Этому две пули», «Этого отправьте на тот свет». Так длилось целый час».

Читая эти строки, я думаю о тюрьмах Овиедо, где испанские гвардейцы, иезуиты и «сеньоритосы» сейчас добивают повстанцев. Шестьдесят четыре года — и это еще длится: развалины Флоридсдорфа, концлагери Германии, Астурия, виселицы, плахи, густая, щедрая кровь рабочих.

Коротенькая записка. 11 мая 1872 года. «Мой дорогой Валлес! Сегодня вечером я занят на заседании генерального совета Интернационала. Завтра утром я уезжаю в Оксфорд, — меня там ждут. Ваш Карл Маркс».

Эту записку надо прочитать после письма о расстреле раненых в семинарии Сен-Сюльпис. В ней имеется одно слово, полное веселья и бодрости. Оно сродни мартовскому дню: «Интернационал»! Я вижу бородатого человека. Он вовсе не такой, каким он глядит со стен наших канцелярий, даже борода у него обыкновенная. Глаза поглядывают чуть насмешливо. Но сейчас ему не до насмешки. Каждое утро он нетерпеливо ждет вестей. Под его окном яркая лондонская зелень, но он ее не видит. Законы истории стали теплыми и живыми: это «Парижская секция Интернационала», это Вальян, Франкель, Варлен, Ланжевен, Валлес. Это форты Исси и Ванв. Это батальоны коммунаров. Он подходит к столу и пишет. Я теперь хорошо знаю этот почерк. Он пишет Франкелю и Варлену: «Я разослал несколько сот писем во все страны, где существуют наши секции...» Он горько усмехается: несколько сот писем!.. У Тьера пушки. За Тьером — Бисмарк. Да, Парижская коммуна — это только разведка! Почетно быть впереди, почетно и горько. Через сорок шесть лет в осеннюю ночь заговорят пушки «Авроры»...

Я не графолог и не фетишист, но с глубоким волнением я гляжу на клочок бумаги. Что это — чувство времени, пафос истории?.. В странное время мы живем. Я больше не знаю, что такое «история». Когда-то ее писали с прописной буквы. Я прохожу иногда по улице Мари-Роз. Это — тихая уличка возле парка Монсури.

Я помню, как я подымался по винтовой лестнице. Ленин сидел у стола и писал. Недалеко от моей квартиры, на авеню д'Орлеан, находится кафе. В 1910 году там собирались большевики. Там часто я слушал Ленина. Я был тогда подростком, я жил, как жилось. Разве я думал, что это и есть история?..

Шестьдесят четыре года, двадцать пять лет — время нельзя проверить счетом, его надо слушать. Когда над Красной площадью гудят самолеты и топот рабочих Замоскворечья сливается с пеньем курантов, — это тоже гул времени, это скрип пера Маркса и это грохот снарядов вокруг форта Ванв.

Эжен Потье не был ни Бодлером, ни Рембо. Впрочем, есть и другая оценка, камни становятся прекрасными от тысячи восторженных глаз. Слова «Интернационала» не были высокой поэзией, но их изменили те рабочие, которые повторяли эти слова на мостовых Гамбурга, Барселоны или Одессы, смоченных кровью. Гнев переводил дыхание на иной счет, жизнь выправила стихосложение.

Потье послал Валлесу стихи «Жан-Нищета». Я попытался их перевести. Они просты и трагичны, как невзрачный камень Стены коммунаров.

Голодных дней не считать,
С жизнью больше не спорить,
Это ты, Жан-Нищета,
Свалился пьяный от горя.

Да, да, да.
Это не кончится никогда!

Валит мокрый холодный снег,
Лохмотья мои покрывает.
Значит, это ты — мой конец,
Парижская мостовая?

Да, да, да.
Это не кончится никогда!

Я водил иглой для чужих именин,
Рубашка моя вся в клочьях,
Я — Жан-Нищета, я просто один,
Один из многих рабочих.

Да, да, да.
Это не кончится никогда!

У меня был сын Жан,
У меня была дочка Жанна.
Жана убил улан.
Ласкают Жанну уланы.

Да, да, да.
Это не кончится никогда!

Был день, и сердце мое
Забилось жизни под пару:
Я в руки взял ружье
Парижского коммунара.

Да, да, да.
Это не кончится никогда!

Приставили нас к стене
Гвардейцы и драгуны.
Я крикнул драгуну: «Нет!
Да здравствует Коммуна!»

Да, да, да.
Это не кончится никогда!

На каторге землю я рыл,
Могилу себе я вырыл,
А они, средь знамен и кадил,
Попрежнему правят миром.

Да, да, да.
Это не кончится никогда!

Член Коммуны Эжен Потье пережил Жана-Нищету, он увидел, что в одной стране «это», наконец-то, кончилось. Но каждый вечер, возвращаясь домой, под мостом на бульваре Эдгар Кине я вижу людей, которые спят, приткнувшись к черной и склизкой стене. Любой из них — Жан-Нищета. Они не умеют петь песни, их сон тяжел и пуст. Если прислушаться, можно услышать хриплое, измученное дыхание: «Да, да, да. Это не кончится никогда!»

Есть гордость ремесла. Ювелиры вправе гордиться Франкелем, резчики — Теисом, механики — Авриалем, литейщики — Дювалем, художники — Курбе. Я горд тем, что писатель Жюль Валлес был членом Коммуны. Когда версальцы взяли Париж, Валлес прятался у друзей. Четыре месяца он провел в Париже, окруженный тысячами добровольных сыщиков, которые его разыскивали. Однажды он

попросил одного буржуазного журналиста пустить его к себе на ночь. Журналист насмешливо улыбнулся: «Но зачем вам прятаться? Вы ведь сражались пером». Валлес спокойно ему ответил: «Да, но они расстреливают не перьями».

Когда версальцы добивали раненых коммунаров, слезливый Дюма-сын писал: «Жалость по отношению к этим выродкам преступна». Братья Гонкуры, Додэ, Мопассан, даже Золя пожимали плечами: «Это низкая политика!» То, что десятки тысяч людей предпочли смерть жизни, унизительной для человеческого достоинства, казалось великим писателям мелким происшествием. Артур Рембо был еще никому неизвестным подростком. Но нашелся блестящий писатель, любимец изысканных либералов Второй империи, который ни на минуту не задумался. Валлес знал, что место писателя рядом с резчиком и токарем. Он боролся пером, пока можно было писать. Потом он оставил перо и взял винтовку: на баррикадах Бельвиля он расстрелял все патроны.

Он верил в силу пера. 6 января 1871 года на стенах Парижа появилось воззвание, его называли «красным», оно кончалось словами: «Да здравствует Коммуна!» Тринадцать лет спустя Жюль Валлес, переживший разгром Коммуны и годы изгнания, накануне своей смерти писал: «Выше всех писательских радостей, испытанных мной, я ставлю одну: я имел честь участвовать в составлении «Красного воззвания».

Они расстреливают рабочих не перьями, но пулеметами — версальцы Потсдама, Вены и Овиедо. Сколько раз писатель в отчаянии откладывает свое перо, но это — минуты слабости. Когда мне становится невтерпеж, я вспоминаю слова Жюля Валлеса: «Тот, кто расскажет жизнь Галифе, скорей его убьет, нежели тот, кто в него целится».

1935

НА ФРАНЦУЗСКОЙ ЗЕМЛЕ

Когда последние поэты Рима думали о варварах, подступавших к стенам обреченного города, у них кружилась голова: не об этой ночи мечтали совы Минервы. Запах звериных шкур, хмеля и крови становился воздухом Рима. Страшно в освещенной комнате, когда вокруг ночь, полная угроз; слишком ярок огонь люстр и черна пустыня Европы. Кажется, нехватит человеческой жизни, чтобы понять стыдливую страстность этой земли, но ее можно проехать от края до края в один коротенький день.

Что такое границы государства? Тонкие линии, вычерченные на карте, таможенники, которые дуются в карты, несколько камней, несколько флажков. Я гляжу на эти холмы, покрытые лесом или виноградниками. Они тянутся тысячи километров, то смиряясь и стелясь покорной равниной, то, в припадке исступления, вздымаясь гребнями гор. От тупика Брестского вокзала, где поезд в недоумении останавливается, как бык, горячий и взволнованный, дальше — некуда, дальше — океан, от этого последнего маяка Европы до Магнитки, до Челябинска, до Березников — все та же земля.

По крутой дороге подымаются люди. Это виноделы и пастухи. Их лица освещены розовым отсветом зари и той полушутливой, полуотчаянной отвагой, с которой французы умеют пить вино и итти на смерть.

Это есть наш последний...

Они идут из соседнего поселка на митинг. Отсвет зари скоро исчезнет. Курчавый паренек засмеется, скрутит сигаретку. Тихий будничный вечер. Но я сейчас чувствую границы Франции, как будто они бритвой прорезаны по живому телу.

Ручеек, мост, петушиное перо на шляпе, черная рубашка. Я вглядываюсь в ночь. Там — Италия. Похоронные плошки иллюминаций, запах мирта, цитаты из Юлия Цезаря. Обыкновенные человеческие слезы обыкновенных человеческих матерей. Подростки — их грузят на суда, как теплый свежесрубленный лес. Они еще не успели порадоваться жизни. Им не выдали ни горячих ночей с порхающими светляками, ни ледяной воды в глиняном кувшине. О них напишет стихи Маринетти в динамически-оранжево-спиральном стиле, а дряхлый д'Аннунцио, узнав об их смерти, выстрелит из игрушечной пушки. Может быть, какой-нибудь мрачный шутник припомнит старую поговорку: «Увидеть Неаполь и умереть».

Другие холмы. Германия. Глаза становятся светлыми, вино белым и легким. Здесь пролито много тяжелой, вязкой крови. Скажи, что это за огромное серое здание? Завод? Дворец? Школа? Нет, это усыпальница: здесь собраны кости десятков тысяч людей. Что это белеет? Сад? Нет, кресты. Три тысячи крестов, имена стерлись, позабыты даты, только белесый туман. Пустой Реймс — зря его отстроили: некому пить шампанское. Верден — город, который живет мертвецами: туристам показывают могилы. Еще холмы, еще кладбища, и черный паук-крестовик на руке обманутого верзилы: он шагает раз-два, раз-два.

В одной деревушке Бретани я видел памятник с перечнем убитых на войне. Я сосчитал: шестьдесят четыре имени.

— Сколько душ в деревне?

— Двести восемнадцать.

Поздно ночью в гостинице ревет радио: «Конгресс в Нюрнберге...» Какой-то человек встает и, не глядя, шагами лунатика проходит к приемнику. Он резко повертывает выключатель. Потом, как бы извиняясь, говорит:

— На войне... четырех...

После рыка речей — фокстрот. И ночь.

Заря давно отгорела. В душном сарае, где обычно танцуют, сегодня митинг. Рабочий, растерянно помолчав, вдруг ударяет кулаком о стол:

— Наши братья — немецкие рабочие...

Там, за холмами, сейчас мучают людей, допрашивают, бьют. Границы земли тесны, как границы дня. В лесах имеются деревья, которым по триста лет, но человеческое сердце не похоже на сердцевину.

«Страна прирожденных рабов», — писал о Франции английский путешественник в 1784 году. Не прошло и десяти лет, как перед этими «рабами» дрожали все монархи Европы. «Французская литература умерла вместе с Корнелем и Расином», — так поучали профессора Геттингена и Марбурга доверчивых буршей, а Бальзак, уже задыхаясь, дописывал «Отца Горио», и Стендаль уже правил гранки «Красного и черного». Кто забудет парижский март, когда потаскухи Второй империи, битые генералы и расфуфыренные жулики мчались рысью по Версальскому шоссе, когда почтовые голуби (еще не было коротких и длинных волн) несли весть о первом рабочем правительстве мира? Я не знаю, какие слова сейчас скажут эти люди. Я даже не знаю, какие цветы могут вырасти на этой старой и все же по-весеннему взбалмошной земле. Я знаю одно: эта земля жива, и через черную ночь, полную крестовиков, рыка фельдфебелей, задыхания, внуки коммунаров перекликаются с девушками Березников.

Я долго думал, почему сейчас так печальна эта земля? Ее красота только оттеняет печаль. Я много ездил этим летом по Франции и заново в нее влюблялся. Прекрасны старые вязы или ясени среди полян. С яблонь катятся красные яблоки. На берегу океана рыбаки чинят голубые тонкие сети. Черные коровы задумчиво окунают свои морды в траву, зеленую, как детство. На холмах Бургундии зреет изумительный виноград: чтобы его вырастить, нужно вдохновение. Возле крестьянских домиков вьются глицинии. Весело и сердечно обнимает молодой каменщик девушку, и вот они затерялись в золотой пыли вечера. Эти люди могут и шутить и работать, как кудесники, и вдруг — так начинается на море шторм — строить баррикады.

Жизнь так коротка!..

Это поет под моим окном застенчивый косолапый подросток. Он вырос из своего костюма, а нового ему не сошьют. Он пришел на эту землю слишком поздно: все романы написаны, все пустыри распаханы, заняты все места — от кресла сенатора до ящиков мусорщика. Он может только петь натощак: «Жизнь так коротка!» — он не дерево, ему не прожить и полвека. Их много — они родились, как другие, учились ходить, хлопали в ладоши, сосали леденцы. Они глядели на жизнь голубыми доверчивыми глазами младенцев. Потом оказалось, что они выросли зря.

— Надо уничтожить треть лоз, — говорят политики виноделам Нарбонны.

— Надо выкидывать в море сардинку.

— Надо снести сорок прядилен.

Надо — не жить. А мой мальчик? Он все еще бродит по старым улицам, где любой дом — музей. Он создан, как все люди, для того, чтобы начинать. Ему отвечают: жизнь кончается. Он засунул пальцы в карманы, он старается усмехаться: «Жизнь так коротка!»

Я был недавно в бургундском городке Боне. Там люди сидят часами и медленно тянут из огромных бокалов прославленное вино. Нелегко дались эта густота, эта полнота, этот запах. Поколение за поколением люди отдавали себя лозе.

Так создавались эпические песни и готические соборы. Люди нашли сочетание соков земли, ее сухости и влаги с причудливой жизнью растенья. Я помню, как одна иностранка спросила меня в Париже:

— Можно ли здесь достать вино типа шабли?

Я был в одной деревушке — ее зовут Шабли. Здесь не нужно искать ни писателей типа Бальзака, ни художников типа Сезанна, ни города типа Парижа. Но вот этот подросток в чересчур коротких штанах... Работать? Идите дальше! Так милые чудаки, которые на досуге удят рыбу, становятся истуканами, дегустаторы Бона превращаются в мрачных чудовищ. Зачем вы родили этого мальчонку? Он ведь только тень, фантом «типа человека».

В Боне имеется госпиталь. Он принадлежит монахиням. Это никого не касается, кроме обитателей небольшого городка, но все же госпиталь известен далеко за преде-

лами Франции: его именем называется одно из самых драгоценных вин мира. Монахиням принадлежат знаменитые виноградники, и в удачливые годы они получают за урожай до двух с половиной миллионов франков. Монахини хорошо знают, что старое вино лучше молодого. Может быть, они думают, что и старая жизнь лучше молодой? Госпиталь построен пятьсот лет назад. Турист осматривает шедевры стрельчатого искусства, полотна Ван дер Вейдена, чепцы монахинь. Его вводят в палату, где лежат больные. Больные лежат так же, как лежали пятьсот лет назад. Кровати выдержаны в стиле эпохи. Не забыта ни одна деталь: возле больных оловянные кувшины архаической формы. Туристы рассматривают старух на стильных кроватях:

— Поглядите, до чего выдержан ансамбль!..

Что же делать подростку в коротких штанишках среди этих веков, непроходимых, как джунгли?

Недавно я получил письмо от одной молодой француженки:

«Около года назад я написала Вам, чтобы рассказать о той радости, которую доставили мне Ваши книги, и о моей любви к СССР. Сегодня я снова должна поделиться с кем-нибудь моими чувствами, и я пишу Вам. Это было полтора года назад. Я жила тогда в Марселе. Я познакомилась с советским товарищем. Это моряк из «Совторгфлота». Он не знал французского языка, немного говорил по-английски. Нам трудно было понять друг друга, но мы подружились. Потом — это было прошлой осенью — я его снова увидела. Мы все время переписывались. Он писал мне по-русски, я отвечала по-французски. Недавно я получила от него длинное письмо... Сколько раз в минуты отчаянья я думала о СССР, как о далеком и невозможном счастье! Я думала, что я состарюсь и умру здесь, что зря пропадут молодость, силы, жажда работать, и вот завтра я, может быть, стану одной из ваших. Если бы вы знали, как мне радостно от этой мысли! Мне сейчас кажется, что я люблю Советский Союз еще больше, нежели моего товарища. Не правда ли, это замечательная история? Я живу во враждебном мире, и мне некому ее рассказать, кроме Вас».

Я ничего не изменил в письме. Это, разумеется, не довод в споре. Это просто история одной жизни, и это, как песенка, подслушанная на улице. Ветер истории оказался попутным для большой любви. Велико обаянье французской женщины, ее самоотверженность и отвага, ее умение внести в землянку, в трущобу, в чум толику солнца и веселья. Когда-то злосчастная Полина пошла за декабристом Анненковым в край рудников, цепей, смерти. Теперь ее сестра идет к нам, как в край жизни: Персефона, выбравшаяся из подземного царства, от монастыря с древними кувшинами к ветру и гулу строек.

Мне хочется рассказать подростку, который поет грустную песенку, об одной французской девушке: на берегу моря она нашла счастье. Мне хочется сказать ему: не надо думать, что жизнь коротка. Жизнь прежде всего прекрасна. Ты будешь счастлив здесь, на этой земле.

Что-то переменилось в самом воздухе Франции. Так издалека ухо различает, как тяжело скрипит река перед ледоходом. Этот мальчик будет счастлив, если его не убьют на пустой серой площади среди нищеты и мужества парижских окраин. Они ведь ездили из Парижа в Нюрнберг, приготовишки школы смерти. Из прекрасной Франции они хотят сделать страну типа концлагеря. Они задумчиво останавливаются у витрин оружейных магазинов. Они маршируют на зеленых полянах, созданных для счастья. Они топчут траву. Они хотят вытоптать людей.

Я вижу Париж 14 июля в день похорон Барбюса, огромный, взволнованный, сосредоточенный; митинги в маленьких городах, рабочих, которые упрямо говорят «нет»; глаза двухлетней девочки, которые рвались вверх к красному флагу, как к цветку или к птице. Страна тронулась, как корабль. Ночью в Париже, вдыхая запах моря, — теперь бури над Ламаншем, — кажется, слышишь скрип снастей.

Возле Сен-Бриека недавно хотели описать крестьянина; он не внес арендной платы. У его дома собрались сотни крестьян. Иные приехали издалека. Старик пришел пешком, он шел двадцать километров не останавливаясь, он сел, тяжело дыша, на камень и сказал:

— Этого не будет!

Жандармы постояли несколько минут и уехали прочь. Герои Мопассана и Золя, себялюбивые и одинокие крестьяне Франции, похожие на редкий коренастый кустарник, вдруг сбились все вместе, как стадо, теплое, живое, и впервые их сердца прорезало слово, самое простое, но и самое трудное:

— Товарищ!

Это было в маленькой деревушке Арденн. Шел дождь. Я сидел в харчевне и слушал, как молодой рабочий разговаривал с двумя крестьянами. Он говорил вещи знакомые и обыденные: их нельзя повторить другим голосом, в пересказе они становятся газетными строчками, по которым едва скользит глаз. Их оживляли летний дождь за дверью, запах можжевельника и псины, горячие глаза молодого проповедника и грусть стариков, их растерянность, их бороды, спутанные и невзрачные, как шестьдесят лет жестокой жизни. Они отвечали несложно:

— Да, да.

Впрочем, как ответить на слова правды? Речами? Аплодисментами? Жизнью?

Но если нюрнбергские изуверы, с крестовиком или с черепом на рукаве, заглянут в эту деревушку, они вряд ли выберутся из нее живьем. Да, это страна классического красноречья, даже камни здесь произносят исторические монологи. Но бывает час, когда сказаны все слова. Тогда говорят только угрюмое биение сердца и те трижды ненавистные, трижды желанные безделушки, которые на языке полицейских протоколов именуются «огнестрельным оружием».

Черна ночь Европы. Грусть веков скопилась на этом отрезке земли, как в шкатулке с письмами молодости. Но даже эта грусть связана с жизнью. Могут быть традиции Фридриха Великого, военного ранца, шпицрутена и страха. Могут быть и другие традиции: Конвента, Коммуны. Ранним утром над сизым Парижем кричат дрозды и гудят заводские сирены. Они, кажется, повторяют великому городу:

— Тебя ждут высокие дела, высокая борьба, высокое будущее!

1935

ВТОРОЙ СЕДАН

Большая толпа на Елисейских Полях сейчас приветствует Даладье. Газеты пишут, что Франция одержала в Мюнхене победу. Говоря о «мюнхенской победе», газеты капитулянтов отнюдь не принимают Седан за Марну. Они просто следуют священным традициям: кровь Чехословакии должна скрепить Европейскую директорию.

Четыре дня тому назад Парижу грозила война. Он погасил огни и ощетинился зенитками. В парках наспех рыли окопы. По мостовым шагали запасные. Сразу опустели фешенебельные кварталы: чем крупнее были доходы буржуа, тем с большей поспешностью он покидал столицу. Я видел вереницы прекрасных автомобилей с сундуками и чемоданами. Таково их гражданское мужество. Поведение Фландена, это — их гражданская честность. Как известно, Фланден был ближайшим советником министра иностранных дел Боннэ. Это не помешало Фландену после приказа о мобилизации расклеить воззвание: он призывал народ к неповиновению.

Трудящиеся Франции знали, что их интересы совпадают с интересами нации и демократии. Строительные рабочие немедленно прекратили забастовку, вызванную хищничеством предпринимателей. Рабочие авиазаводов постановили работать сверхурочно, а зарплату отдать семьям запасных. Два мира: наследники санкюлотов и наследники маркизов из Кобленца. Сегодня капитулянты ликуют, и не удивительно, что Фланден первым делом

отправил телеграмму Гитлеру: «Прошу принять горячие поздравления».

Воззвание Фландена начиналось словами: «Народ, тебя обманывают». «Держи вора», — кричит вор. Они обманывали и обманывают народ. Сговор в Мюнхене они представляют как победу Франции. Все стали неимоверно слезливыми и плачут в умилении — от английских тори до парижских биржевиков. Третьего дня парижские маклера соблюдали «минуту молчания»: на ступенях биржи они молились за четырех «миротворцев». А помолившись, они снова завопили: «Рояль дейч!», «Рио тинто!» Организованы парадные встречи «миротворцев». Впереди выпускают малолетних с цветами, заплаканных старух. Малолетние и старухи благодарят Даладье и Боннэ: «Они столько боролись за мир, и вот они победили!»

Газета «Пари суар» объявила подписку: французы должны преподнести господину Чемберлену поместье с речкой для рыбной ловли, а Даладье и Боннэ ценные сувениры. Газета «Эвр» (орган торговца коньяком господина Энесси, свободомыслящих гитлеровцев и гитлеровцев-толстовцев) собирает деньги на подарок супруге Чемберлена. Надо полагать, что завтра другие газеты начнут собирать пожертвования на подарки Муссолини и Гитлеру. Мэр Страсбурга срочно переименовал «улицу Свободы» в «улицу Даладье».

Вчера в дорогих ресторанах хлопали пробки от шампанского: кое-кто из удальцов успел уже вернуться в Париж. Пили, разумеется, «за мир», «за пакт четырех», «за новую эру». Один удалец предложил тост: «За диктаторов и диктатора». Другой танцовал с ведерком от шампанского и восторженно кричал: «Здесь не Чехословакия!» После первой пробной капитуляции они еще стыдливо говорили о Чехословакии — «жертва, принесенная на алтарь мира». Теперь они предпочитают более веселые темы. За мир они заплатили чужой землей и чужим народом. Маклеры, молившиеся на ступенях биржи, знают, что это «выгодная операция». Вчера по радио кратко сообщали: «Прага приняла условия четырех, выразив протест». Зачем тратить время, излагая протест Праги, когда надо сообщить о том, что Муссолини в восторге поцеловал пятилетнюю девочку?

Народ Франции не повинен ни в разделе Чехословакии, ни в этом трагическом водевиле. В толпе, которая сейчас приветствует Даладье, слишком много шляп и слишком мало кепок. Даладье не случайно выбрал Елисейские Поля. Он не попал по ошибке в народные кварталы, например на площадь Бастилии.

За все придется, конечно, расплачиваться Франции. Сегодня «победители», проснувшись с тяжелой головой после шампанского, прочитали текст англо-германского соглашения. Кое-кто призадумался: ведь если мы вчера кричали: «Зачем нам умирать за каких-то чехов», не сегодня завтра англичане скажут: «Зачем нам умирать за каких-то французов?» Потеряна союзная Чехословакия. К числу германских дивизий, которые вскоре покажутся на левом берегу Рейна, придется прибавить тридцать новых. Французы гадают: кто на очереди? Вчера в Бельгии фашисты раскидывали листовки: «После Судетов — фламандцы». Может быть, и не Бельгия, а Эльзас. Все понимают, что, переварив Чехословакию, Гитлер не станет жить одними воспоминаниями, и вряд ли дощечка на углу «улицы Даладье» защитит Страсбург от германских орудий.

Газеты «Эвр» и «Пари суар» сообщают, что ближайшим делом четырех «миротворцев» будет усмирение Испании. «Эвр» говорит, что Англия и Франция примут на себя обязательство способствовать победе генерала Франко.

Мы многое увидели за эти дни: честных буржуа, которые когда-то требовали суда над Бетман-Гольвегом за то, что он назвал договор «клочком бумаги», и которые преспокойно швырнули в сорный ящик договор между Францией и Чехословакией; толстовцев из «Эвр», благословлявших убийцу абиссинских женщин и мадридских детей; наконец троцкистов из газеты «Флеш», выполнявших мелкие поручения германской разведки.

Внутри Франции подняли головы фашисты, явные и тайные. Один видный радикал требует для рабочих концентрационных лагерей на германский лад. Тунеядцы, неделю назад удиравшие из Парижа и еще не успевшие отдышаться, грозят расправой рабочим: «Бездельники!» Опубликован меморандум лорда Ренсимена. В нем говорится, что Чехословакия не должна допускать существо-

вания политических партий, враждебных гитлеровской Германии. Французские капитулянты аплодируют: действительно, можно ли дружить с Гитлером и терпеть у себя коммунистов? Сняли дощечку «улица Свободы». Что теперь будет с самой свободой?..

Народный Париж угрюмо молчит. Вчера рабочие авиазаводов заявили, что отказываются от сверхурочных работ. Они не хотят капитулировать перед капитулянтами: в стране достаточно безработных, пускай хозяева увеличат число рабочих. Сегодня объединение профсоюзов обратилось с воззванием, рабочие тоже собирают деньги, но не на ценный подарок г-же Чемберлен, а на беженцев из Судетской области: на немцев — демократов, социалистов, коммунистов, католиков, на чехов, на евреев, на всех, которые убегают от «миролюбивых» убийц. Нет, в рабочих кварталах не празднуют мюнхенской победы и не веселятся.

Сейчас, когда я пишу эти строки, на Елисейских Полях еще ликует праздничная толпа. Гитлеровские банды в это время занимают города и села Чехословакии. С какой гордостью я сейчас думаю: я — советский гражданин. Нет народа, который больше любил бы мир, чем мой народ, но он знает, что такое родина, верность и честь.

Германская разведка передала во французские газеты карту: на этой карте стрела немецкого вторжения пронизывает Советскую Украину. Немцы хотят заговорить Францию: «Мы вас не тронем», — обычная военная хитрость. Пять дней тому назад Муссолини заявил: «Я не боюсь наших соседей по ту сторону Альп. Они слишком глупы, чтобы быть опасными». Что касается Советской Украины — руки коротки. Помимо четырех «миротворцев», есть еще на свете Красная Армия.

Октябрь, 1938

ГРУСТЬ ФРАНЦИИ

Париж негодовал. Люди говорили об одном: еврей Дрейфус несправедливо осужден. За невинного вступились Золя, Жорес, Клемансо. Жорес говорил: «Мы подняли всю страну ради одного несправедливо пострадавшего».

Это было сорок лет тому назад.

Недавно в Германии разразились еврейские погромы. Банды, организованные правительством, жгли, грабили, убивали. Люди, приехавшие из Германии, рассказывают о старике с вытекшим глазом, о двух девушках, которым отрезали груди, о детях, выкинутых в окна. Шестьсот тысяч невинных объявлены вне закона. В лесах бродят голодные, затравленные люди. Газеты всего мира полны возмущенными статьями. Вчера правительство Колумбии предложило своему посланнику в виде протеста против варварства гитлеровцев оставить Берлин. Маленькая Колумбия...

Как же отозвалась страна, некогда вступившаяся за одного невинного, на истребление шестисот тысяч невинных? Правительственные газеты Франции стыдливо молчали: они боялись огорчить дорогого рейхсканцлера. Рядом с телеграммами о погромах — сообщение о новом договоре между Гитлером и Даладье. Что ни день французские пограничники задерживают евреев, которым удалось убежать от погромщиков, и отсылают беглецов назад. Позавчера в лесу Битше, на север от Меца, французские жандармы устроили большую облаву. Они поймали

семьдесят четыре еврея и тотчас передали их в руки гестапо. Страна Золя и Жореса...

Последние месяцы мне пришлось много ездить по Франции — от Парижа до Марселя, от Страсбурга до Нанта. Я не узнавал знакомых мест. Притихшая, насупившаяся Франция не походила на себя. Попрежнему прекрасны были старые города, виноградники с последними гроздьями, оранжевые перелески, но люди стали другими — они не улыбались.

На заседании радикальной фракции Даладье доказывал депутатам, что жизнь во Франции не так уж горька даже после новых декретов. В Италии килограмм сахара стоит двенадцать франков, во Франции — шесть. Да, еще полны овощами живописные базары Франции, на любом столе бутылка вина, в котелках мудрых хозяек — древнее рагу. Я говорю не о нужде, даже не о горе — о той огромной грусти, которая опустилась на эту землю. Мюнхен надломил Францию.

Два слова — «моральное возрождение» теперь не сходят со столбцов правительственных газет. Однако беспристрастный наблюдатель принужден говорить о другом: о «моральном вырождении», которое несут стране себялюбивые и близорукие представители правящего класса.

Капиталисты говорят: «Вся беда в том, что рабочие мало работают». Чрезвычайные декреты оправдываются леностью рабочих. Но на улицах всех французских городов бродят люди, молодые и старые, от мастерской до мастерской, от завода до завода: они ищут работы. В газетах пишут: «Необходимо, чтобы все французы работали», а на заводских воротах другие слова: «Здесь не нанимают». Газеты с удовлетворением сообщают, что в течение последней недели заводчики навязали рабочим столько-то дополнительных часов, а рядом можно прочесть еженедельную сводку: за последнюю неделю число безработных возросло на шесть тысяч семьсот человек. Значит, еще шесть тысяч семьсот душ выкинуты из жизни. Четыреста тысяч французов обречены на самое горькое испытание: на безделье. Я видел в Страсбурге ткача, который вот уже шесть лет, как ищет работу. Его кормит племянница. Он просит: «Дайте поработать хоть даром», он истосковался по труду, а его гонят прочь, как вора,

Недавно я был в Бретани. Последние дни ловли сардинок были счастливыми. Рыбаки радовались: «Ну и улов!» Но фабриканты консервов отказались взять рыбу: для них улов был чересчур хорошим. Они не хотят разоряться на новые машины: женский труд дешев. Притом, если изготовлять много консервов, консервы подешевеют. Вот что приключилось в рыбацком городе Дуарнене в одно осеннее утро: семьдесят тысяч килограммов сардинок были выброшены в море. А газеты писали: «Работать! Работать!»

Я мог бы привести десятки других примеров. Дело не только в расшатанной экономике капиталистического мира. Дело также в аморальности, которая подается под видом строгой морали.

Чрезвычайные декреты возмутили Францию не столько своей тяжестью, сколько своей откровенной несправедливостью. Налоги бедняка повышены вдвое, а налоги миллионера понижены. Вздорожали не гаваннские сигары, но самый дешевый табак. Что теперь стало роскошью? Автобусы и метро. Трудно поверить, что страна, которая долго была передовой, может притти к циничному культу ничем не ограниченной наживы.

Два года тому назад по Франции прокатилась волна забастовок. Стачечники занимали заводы, мастерские, магазины. В мебельных магазинах ночевали бастовавшие продавщицы. Они спали на полу, чтобы не испортить хозяйских кроватей: они дорожили добрым именем французского пролетариата. Однако один из декретов хочет защитить Францию от нечестных рабочих. На марсельском съезде мы узнали, что среди рабочих делегатов якобы имеются уголовники. Правящий класс Франции, отметивший свой исторический путь грандиозными аферами, подлогами, подкупами — от Панамы до Ставиского — дает уроки морали пролетариату.

Неделю тому назад суд оправдал одного фашиста, который застрелил рабочего. Что говорил защитник убийцы? «Убитый был коммунистом». Попрежнему в судебных залах можно увидеть изображение Фемиды с завязанными глазами. Но мы знаем, что богиня научилась глядеть и сквозь повязку. На свободе человек, застреливший рабочего. На свободе кагуляры. В тюрьме лионские

каменщики, которые уговаривали товарищей предпочесть голод позору.

На марсельском съезде руководитель радикальной партии и правительства говорил о твердом плане экономического возрождения Франции. Это был план министра финансов Маршандо. Неделю спустя под нажимом банков Маршандо пришлось заняться вместо финансов юстицией. Руководитель радикальной партии и правительства снова заявил о твердом плане. Этот план был прямо противоположен плану № 1.

В октябре мы слышали и читали о том, что парламент больше не соответствует настроениям страны, что необходимо его распустить и назначить новые выборы. Две недели спустя те же самые люди, те же самые газеты, забыв о своих недавних доводах, стали предлагать обратное: выборы, которые должны состояться в 1940 году, следует отложить до 1942 года. Парламент, вчера вовсе не отвечавший настроениям страны, стал сразу сверхотвечать ее настроениям. Газеты рассуждают вполне откровенно: если парламент не одобрит чрезвычайных декретов, его надо распустить, если он одобрит чрезвычайные декреты, надо продлить его полномочия.

Аморальность разъела правящий класс, как ржа. Фланденцы еще недавно сажали в тюрьму учителей-пацифистов. Теперь эти учителя стали для фланденцев национальными героями. Бержери мечтает о роспуске коммунистической партии во Франции, и он устраивает митинги протеста против запрещения троцкистской группы ПОУМ в Испании. Газеты продаются оптом и в розницу: они готовы защищать интересы Германии, Италии, Японии, Венгрии, даже Португалии. Свобода клеветы — единственная свобода, которой дорожит правящий класс Франции.

«Невмешательство» было первой примеркой предательства. Я помню Париж в августе 1936 года, его голос: «Откройте границу!» Французская буржуазия предпочла на южной границе германские аэродромы испанскому парламенту. Сколько вероломства мы наблюдали в течение двух лет! Итальянские и немецкие грузы шли транзитом через Францию в Ирун. Фашисты вербовали солдат среди населения Французского Марокко. В дни астурийской трагедии французские суда не вышли, чтобы спасти

беженцев. Французская полиция обманом отсылала неграмотных испанских беженок в фашистскую Испанию. Агенты Франко беспрепятственно работали на французской территории. В Испанской республике голодали женщины и дети, а французская правительственная комиссия обсуждала, каким способом лучше всего уничтожить избыток пшеницы.

Чехословакия была экзаменом на аттестат зрелости в школе предательства. Теперь опубликован ряд документов, которые позволяют нам взглянуть за кулисы Мюнхена. Чехов вызвали, им прочитали условия. Чемберлен зевал — ему хотелось спать. Французы торопили чехов: о чем тут разговаривать? Это можно вспомнить только с чувством стыда за людей. Однако это объявлено добродетелью: оказывается, люди, которые откупились от разбойников чужим добром, — творцы мира, герои.

Вокруг мюнхенского «мира» буржуазная печать создала ряд легенд. Самой популярной является легенда о зонтике Чемберлена, с которым, судя по газетам, английский премьер не расстается. Чемберлен приезжал в Париж. Какой новый счет он привозил Франции? Газеты об этом молчат, они пишут, что он привез с собой зонтик. Бесспорно, Чемберлен и Даладье говорили об Испании, которая задыхается в кольце блокады. В Барселоне голодают дети. Встречу двух министров итальянские и немецкие летчики отметили одиннадцатью бомбардировками Барселоны: сотни новых трупов. Газеты об этом молчат. Они сообщают, что министры за завтраком кушали паштет, а за обедом фазана. Еще плачут чешские женщины, оставшиеся после Мюнхена без крова, но радикальная газета «Эвр» вчера поднесла госпоже Чемберлен дорожный несессер с золотыми флаконами, и госпожа Чемберлен сказала, что флаконы ей очень понравились. Буржуазия прививает французскому народу ощущение национальной приниженности. Комментируя франко-германское соглашение, газета «Матэн» говорит, что оно лестно для Франции, так как договор с ней подписывает всесильная Германия. Не удивительно, что один из малых сих выступил в Нанте с откровенным заявлением: «Франция все равно обречена на роль второстепенной державы. Лучше рабство, чем война». Наивный человек гордо повторял свою

формулу, явно не понимая, что рабы лишены выбора и что в их словаре нет слова «или».

Наследники французских энциклопедистов признают духовную гегемонию берлинских погромщиков. Радикальные журналисты наспех сочиняют трактаты в защиту расовой теории и антисемитизма. Как известно, германские фашисты считают французов низшей расой — «негроидами». Французский писатель Селин считает низшими расами евреев и славян. Лебезя перед иностранными захватчиками, французские буржуа победоносно расправляются с иностранными беженцами. Куда легче справиться с немецкими эмигрантами, нежели с рейхсвером! Французское правительство нанимает иностранных рабочих для сельских работ, а потом правительственные газеты начинают травить иностранных рабочих. Моралисты объявляют, что принижение французской культуры вызвано скоплением иностранцев, презрительно называемых «метеками». Это не мешает указанным моралистам праздновать память французской ученой Кюри, урожденной Склодовской, и восторженно цитировать французские стихи грека Мореаса, поляка Апполинера и румынки Де Ноай.

Перепуганные буржуа говорят: «Только Даладье сможет договориться с Гитлером». Будущее страны, ее национальная независимость, ее престиж — все это ничто перед эфемерной жизнью сотого министерства Третьей республики, жизнью, которую надо продлить еще на месяц. Вчера ночью против рабочих на заводах Рено были пущены слезоточивые газы. Ясно, что такие методы должны возмутить рабочих. Может быть, и стихийные забастовки рассматриваются как способ продлить жизнь министерства, которое скажет буржуа: «Мы спасаем порядок».

Я слушал по радио правительственные сводки: «В департаменте Нор очищены двадцать пять заводов. В департаменте Сены очищено одиннадцать заводов». Завзятые «пацифисты» вдруг вспомнили военный лексикон: перед ними ведь не армия Гитлера, но французские рабочие. Газеты сообщают подробности столкновений: баррикады, избитые рабочие, сотни арестов и, наконец, венец мирной политики — слезоточивые газы. Среди рабочих были

инвалиды войны, в свое время наглотавшиеся германских газов. Теперь они свалились от газов мюнхенских «пацифистов».

Что принесет завтрашний день? Чем расплатится Франция за франко-германский договор? Мы читали черновики декретов об ограничении свободы печати. Возможно, что завтра независимые газеты не смогут говорить о фашистских зверствах. По опыту Чехословакии мы знаем, что на пути капитуляции труден только первый шаг. Нам ясен путь от Мюнхена до слезоточивых газов. Гитлер мечтал об одном: оторвать французское правительство от французского народа. Он этого достиг. Увы, нам ясен и дальнейший путь — от слезоточивых газов до нового горшего Мюнхена.

Французский народ знал в своей истории страшные часы. На интервенцию австрийцев и пруссаков он ответил народным ополчением. Он ответил Луарской армией и защитой Парижа на Седан. Он сумел выжечь предательство Бурбонов, коррупцию и разврат Второй империи. Не раз скудоумию и растленности правящих классов он противопоставлял трудолюбие, упорство, честь, солидарность, горячую привязанность к родине. В эти горестные дни, когда грусть, как ноябрьский туман, охватила Францию, я с надеждой вспоминаю прошлое этой великой страны. Может ли история Франции кончиться росчерком фон Риббентропа?..

1938

ВЕСНА НА КЛАДБИЩЕ

Описывая высоких людей, говоря о достойных днях, растешь. Месяц тому назад на испанской границе я увидел человеческое горе: бойцы армии Эбро несли простреленное знамя. За несколько часов до развязки в Порт-Боу на клочке свободной земли вышел крохотный листок — это был очередной номер «Френте рохо». Это был последний номер. Несколько часов спустя в Порт-Боу пришли марокканцы, а редактора «Френте рохо» сенегальцы свободолюбивой Франции погнали в концлагерь.

С тех пор каждый день я должен писать о человеческой низости, рассказывать о трусости и о лжи, о поездках почтенного Берара или непочтенного де Бринона, выстукивать на машинке ничтожные имена, перечислять в телефон постыдные сделки. Мне кажется, что я задыхаюсь.

В Париже стоят прекрасные весенние дни, но солнце мнится иронией и в воздухе чудятся запахи тления.

Страх — человеческое чувство. Необстрелянный боец, попав под артиллерийский огонь, часто теряет голову. Командиры и товарищи его поддерживают. Дело не в том, чтобы родиться бесстрашным, дело в том, чтобы победить страх. Я видел в Испании не раз, как страх оголял позиции. Но в Испании я видел, как горсть людей отбивала атаки вражеской бригады. Веселый, беспечный Мадрид незаметно для себя стал героем. Теперь я живу в мире, где люди гордятся страхом, как орденом. В кино идет фильм: мертвые солдаты всех стран встают из могил

и показывают живым ужасы войны. Зрители смотрят на разрывы снарядов и победоносно бледнеют. Четверть часа спустя им показывают веселую комедию, и, отдышавшись, они смеются, целуются или жуют конфеты.

По радио целый день рекламируют трусость, как лучший эликсир для печени или вернейшие таблетки от кашля. Диктор с красноречием Цицерона говорит: «Бургос прекрасно отнесся к назначению Пэтена. Боннэ указал на сердечность наших взаимоотношений с Германией... Если у вас болят почки, вспомните о потерянной радости жизни и скорее купите соль доктора Крюшена».

Иногда диктор становится легкомысленным, он особенно настаивает на радости жизни, он рекламирует мюзик-холл с голыми герлс, хорошую погоду, мир на Пиренейском полуострове и какие-то подозрительные бальзамы.

Порой мне тревожно: за телеграфными бланками я забыл о высокой литературе, а между тем вокруг люди, наверное, пишут увлекательные романы и вдохновенные поэмы. Но нет, от страха люди не становятся поэтами. Я помню первые книги Жионо, бунтаря и мечтателя. 6 февраля он предлагал итти с оружьем против фашистов. Теперь он восхваляет трусость. Он выпускает в честь трусости роскошные фолианты на японской бумаге. Его мудрость проста: «лучше жить на брюхе, чем умереть в бою». Он поэтически дополняет прозаические речи Боннэ, но меня не удивит, если завтра диктор, упоенный набуханием почек и переговорами с Италией, прославит между таблетками и бальзамом то самое брюхо, на котором отныне надлежит жить.

Жил-был в Париже Эммануэль Берль. Он низвергал вся и всех. Его первая книга называлась «Смерть буржуазной морали». Теперь газеты сообщают, что Эммануэль Берль редактирует речи Боннэ и является посредником между Боннэ и другом фон Риббентропа де Бриноном. Снимем шапку перед этим тружеником и скажем, что буржуазная мораль еще не умерла.

Еврей Поль Эрман в «Же сюи парту» руководит антисемитской кампанией. Сотрудники «Эвр» прославляют

политику Боннэ, а потом под теми же самыми именами, даже не утруждая себя выбором псевдонимов, клеймят эту политику в «Канар аншене». Я видел в палате депутатов, как два социалиста аплодировали признанию Франко. Троцкисты братаются с гитлеровцами не на тайных явках — на столбцах газет. Надо срочно переиздать академический словарь. Надо объяснить, что трусость — это миролюбие, что ложь — это тонкость ума и что штыки сенегальцев вокруг концлагеря Аржелеса — это Декларация прав человека и гражданина.

Ни в чем низость правящих классов Франции не сказалась с такой ясностью, как в травле Испанской республики. Новые приятели Франко уверяют, что они тратят в день девять миллионов на испанских беженцев. По тридцать франков на человека... Один испанец в Аржелесе сосчитал: «Нам дают в день один хлеб на пятнадцать человек и от тридцати двух до тридцати восьми горошин». Видно, дорого стоит каждая ваша горошина, господа капитулянты! Или, может быть, колючая проволока непомерно выросла в цене?

Франция обязалась выдать Франко оружие республиканцев. Значит, через месяц или через год из этих самых батарей солдаты Муссолини будут стрелять в французов.

Для простого наблюдателя это — безумие. Но люди сведущие пояснят, что акции испанских железных дорог лежат в сейфах французских капиталистов. Они вам напомнят про электрические тресты, про «Испано-суизу», про дивиденды. Так, за миллионы песет капитулянты теперь продают Испанию и Францию. Народ, обманутый и испуганный, молчит. Рабочих сажают в тюрьмы. Кагуляров выпускают на свободу. Безработица, тоска... Впрочем, диктор радиостанции предлагает всем по дешевке голых девок, бальзам и мир с Муссолини и Гитлером.

Народы могут вынести страшные испытания. Но нельзя выдавать поражения за победу и пороки за добродетели. Не то придет расплата, и кого капитулянты пошлют послом к императору Эфиопии и вице-королю Корсики? Может быть, тень Наполеона? Эта страна создана гением народа и его пóтом. Нужны века, чтобы научиться писать так, как пишет Жионо. Нужны века, чтобы вы-

растить лозы Бургундии. Но стоит ли трудиться, чтобы на высоком языке Жионо воспевал трусость и чтобы бургундское лакали немецкие штурмовики и римские жандармы?

Я хочу еще верить в будущее этой страны. Я смотрю на серый грустный Париж, — он многое видел. Я прислушиваюсь к смеху каменщиков на лесах. На большом кладбище я еще хочу найти молодость мира.

1939

ПАРИЖ

Знамя вольности снова поднялось над дымчатым Парижем. Город, который, как корабль, пересек века, пробил льды и снова вышел в историю.

Его любят все народы: и, по-разному произнося нежное имя — Пари, Париж, Парис, Париджи, — люди далеких краев видят камни Бастилии, каштаны в цвету, мастериц, пестрых, как мир пернатых, уличных продавцов, одаренных красноречием Цицерона, залу Лувра с безрукой богиней, «блузников», «увриеров», пролетариев, не жалевших своей крови на баррикадах двух столетий, египетский обелиск, бронзового Вольтера и живую пересмешницу, террасы кафе, на которых перед голубыми сифонами люди мечтают или спорят, молодое вино в кувшинах и старую свободу, бумажные фонарики и милую Марго в чердачном оконце, среди дроздов и звезд, которая задумчиво поет: «Париж, моя деревня...» Деревня мира, житница веков, улей муз, гнездо вольности — Париж, ты снова дышишь!

Париж больше Парижа. Недаром так веселились полчища Гитлера в тот июньский день, когда с топотом, с гоготом, с рыком они шли по Елисейским Полям. Они задули огни Парижа. Они сжали сердце Франции, как глухой убийца сжимает в кулаке певчую птицу. Ворвавшись в Париж, они поняли, что темный бред берлинских пивнушек, изуверство нюрнбергских палачей, рык припадочного фюрера становятся былью. Они тогда говорили: «Что Европа без Парижа?» Да, он больше Парижа, древний

Париж. Как дерево, которое переросло изгородь сада, Париж перерос границы страны; и сегодня радуются не только французы, теперь в Мексике и в Китае, в Осло и в Праге люди повторяют: «Париж свободен», и бесконечно далеко от чинар парка Монсо, в Томске, где осень уже трясет деревья, студентки говорят: «Париж свободен». Ведь в томской библиотеке хранятся редкие книги и манускрипты, летописи великого города.

Тысяча пятьсот дней без смеха, тысяча пятьсот ночей без сна. Четыре раза цвели и опадали каштаны на бульварах Парижа, но никто им не радовался. Пятьдесят раз рождалась и умирала луна, но никто ею не любовался. Трудно, даже обладая зловещей фантазией, представить себе нечто более жестокое и дикое, нежели гитлеровцев в Париже. В зале, где заседал Конвент, где прозвучали высокие слова: «Ты — гражданин мира», злой и суеверный Розенберг кричал о превосходстве немецкого черепа. Сорбонна, город средневековых школяров, приют науки, дом Лавуазье, Араго, Пастера, наполнилась ржанием, лаем, кваканьем питомцев Геббельса. Там, где великая Рашель в дни гражданских бурь читала «Марсельезу», унылые пивовары с желудками, разбухшими от вареной картошки, и с сердцами, отекшими от спеси, вопили: «Гайль Гитлер!» Перед Венерой Милосской слезами счастья плакали Гейне и Успенский. Там слюнявые гиены, супруги ротенфюреров и наложницы гаулейтеров, вырывали друг у друга чулки или губную помаду.

В Париж «Декларации прав человека» пришли люди, которые считают, что белобрысый вправе удушить смуглого, что любовь — это спаривание особей с одинаковыми подбородками, что розы Иль-де-Франса цветут для сапог штабфельдфебеля, что книги созданы для того, чтобы их жечь, а справедливость — для того, чтобы над ней глумиться. Для того ли Робеспьер твердил о разуме? Для того ли была гармония Расина? Для того ли санкюлоты твердили: «Свобода или смерть»? Для того ли перед стихами Гюго трепетали тираны? Для того ли Белинский и Герцен восхищались великодушием парижского народа? Для того ли умирали мученики Коммуны, эти разведчики человечества? Для того ли Франция и мир создали Париж?

Подростком я шел по тихой улице Мари-Роз к Ленину. Я хочу напомнить о том, как Ленин любил Париж. Ленин знал, что мало считать и организовывать, нужно еще гореть сердцем и дерзать. Когда немцы пришли в Париж, я забрел на улицу Мари-Роз. Я увидел там фельдфебеля; он шел и ухмылялся. Нет, не для этого был Париж!..

Связанный, он не смирился; полумертвый, не замолк. Я написал роман «Падение Парижа». Я вижу другую книгу: «Возрождение Парижа». Автор начнет ее не с сегодняшнего дня, когда Париж торжествует, он начнет с того июньского дня, когда в опустевший и не похожий на себя город вошли захватчики. Он расскажет о подвалах, где когда-то стояли бочки с душистым вином и где люди печатали листовки, собирали гранаты, изготовляли мины. Он расскажет об узких уличках Бельвиля и Менильмонтана, где хрупкие парижанки убивали прусских гренадеров. Он расскажет о подворотнях, в которых холодный рассвет находил бездыханные тела победителей. Он расскажет о тюрьмах Сантэ, Френ, Рокетт, о застенках гестапо, где фашисты пытали, вбивали гвозди в тело, выкалывали глаза. Он расскажет о казнях на пустырях Орлеанской и Венсенской застав в полусвете народившегося дня, о девушках и юношах, которые прощались с жизнью и с Парижем. Он расскажет о депутате Габриеле Пери, который перед расстрелом благословил свободу, и о двенадцатилетнем гамене, который, когда немцы приставили его к стене, крикнул: «Вы можете убить меня. Париж вы не убьете!» Он расскажет о том знойном дне августа, когда Париж вышел из подполья, из подвалов, из подворотен.

В пятницу 18 августа начались стычки между патриотами и оккупантами. Армии союзников приблизились с запада и с юга к столице. Париж не стал ждать. Он не хотел свободы как подарка: он вырвал свободу из рук тюремщиков. Кто знает, как тяжело умереть на пороге счастья, за день или за час до освобождения! Но Париж ринулся в бой. В субботу 19 августа Комитет сопротивления отдал приказ о восстании. Рабочие объявили всеобщую забастовку. Началась невиданная битва между парижским народом и германской армией.

Битва продолжалась неделю: она была нелегкой. Ее смутные отголоски доходили до заграницы. Уже салютовали орудия в Бейруте и развевались флаги в Лондоне, а в Париже еще продолжались жестокие бои. Они переходили из одного района в другой, из центра на окраины и снова возвращались к центру. Лилась кровь Парижа, но Париж не падал духом; он снова и снова штурмовал здания, занятые немцами.

Первые сообщения, пришедшие из Парижа, говорят о местах наиболее ожесточенных сражений. Я знаю там каждый дом, каждый камень, и я как бы вижу эти бои. Немецкие танки шли по широким проспектам от Орлеанских ворот до Севастопольского бульвара. Был бой на площади Денфер-Рошеро, у памятника обороны Бельфора; там каменный лев, гневный и гордый, напоминает о мужестве французов, не сдавшихся пруссакам. Был тяжкий бой и в центре Латинского квартала, на бульваре Сен-Мишель. За один только день повстанцы подбили одиннадцать немецких танков. Сражаясь на площади Республики, на площади Бастилии, парижане, как их деды, прадеды и прапрадеды, строили баррикады. На окраинах железнодорожники разбирали пути. Женщины кидали в немцев камни. Был час, когда душа города оказалась в его древнейшей части, на островке Ситэ у собора Парижской богоматери, где ангелы соседствуют с химерами. В последний день еще шли бои в самом центре города, на авеню Оперы и в садах Тюильри. Наконец немцы не выдержали: командующий немецкими войсками сдался командиру повстанцев полковнику Ролю. Это произошло на вокзале Монпарнасс.

Парижский народ освободил родной город. Этим он приподнял значение Франции, утвердил величие народа. Пусть запомнят дни августа все, кто хочет принизить народ, кто думает, что народ — это дитя.

Я не знаю, выпадет ли мне счастье написать о возрождении Парижа. Сейчас я хочу напомнить о другом: борьба за Париж шла не только на его улицах, не только в Савойе, в Лимузэне и в Нормандии; Париж освободили все люди доброй воли, все солдаты свободы. И сейчас вместе с повстанцами, вместе с полками союзных армий по улицам освобожденного Парижа проходят тени

участников великих битв — герои Сталинграда. На Волге, на Дону, на Днепре, на Днестре, на Немане уничтожены те немцы, которые четыре года тому назад вышли к Сене. Народ, с давних пор полюбивший Париж, помог Парижу стать снова Парижем. Когда-то воздухом Парижа дышали многие большие люди нашей земли: Карамзин и декабристы, Белинский и Герцен, Тургенев, Салтыков-Щедрин, Успенский, Мечников, Брюсов, Маяковский. Воздухом Парижа дышал Ленин. Три года мы уничтожали фашистов, которые посягали на честь Советского Союза и которые оскверняли Францию. Если французские друзья меня спросят, могу ли я себе представить бои за Париж, я отвечу: «Я видел эти бои — у Ржева, у Касторной, в Белоруссии и в Литве»...

1944

1950

Прежде чем говорить о французских встречах, я должен рассказать, что приключилось со мною во Франции.

Несколько месяцев назад я запросил французскую визу, — я объяснил, что предполагаемая поездка связана с литературной работой: я пишу теперь продолжение «Бури». Я бывал во Франции после войны, внимательно следил за жизнью этой страны, встречался с французскими друзьями; мне нехватало некоторых деталей. Я хотел, например, расспросить г. Мориса Лансье, как он относится к американизации Франции, потребляет ли он «кока-колу», сохранил ли присущее ему легкомыслие. Я хотел выяснить характер деятельности г. Нивеля, ставшего во главе крупного американского агентства. Я хотел заглянуть в мастерскую Самба, посмотреть его полотна, спросить, все ли он мучается над тем, как выразить правду, не изменив природе искусства. Я хотел встретить Мадо, печальную и сильную, нежную и суровую. Я хотел еще раз увидеть серо-пепельный, лиловый, вечный Париж. Итак, я подал тривиальное заявление о въездной визе. Ответ пришел быстро, он был отрицательным.

Отказ французских властей впустить меня во Францию возмутил многих французов. Национальный комитет писателей обратился к правительству с протестом. Католический писатель Мартен Шоффье написал своему личному другу г. Бидо. Мартен Шоффье просил отменить принятое решение; не получив ответа, он опубликовал

открытое письмо, озаглавленное достаточно выразительно: «Прощайте, господин Бидо!»

Французы посылали негодующие письма в министерство иностранных дел. Я получил много приветствий от незнакомых читателей. Визы я, однако, не получил. Увидав, что в Париж мне не попасть, я попросил визы для въезда в Бельгию и в Швейцарию: я хотел пожить если не в самой Франции, то по соседству с ней, повидать друзей, собрать материал для некоторых глав романа.

Находясь в Брюсселе, я обратился во французское посольство с просьбой о транзитной визе: мне нужно было проехать из Брюсселя в Женеву. Достаточно посмотреть на карту, чтобы убедиться в обоснованности этого скромного желания: то, что путь из Бельгии в Швейцарию проходит по французской территории, не может быть отнесено к моим коварным замыслам.

Г-н Бидо не дал мне и транзитной визы. Беседуя по этому поводу с французским дипломатом в Брюсселе, я ему напомнил, что, вручая мне орден офицера Почетного легиона, генерал Катру сказал: «За помощь, оказанную Франции в обороне ее национальной территории». Я спросил французского дипломата: «Значит, теперь вы мне отказываете в праве даже пересечь эту территорию?» Дипломат, потупив глаза, ответил: «Я только исполнитель». Я поспешил его утешить: «Я знаю, что вы только исполнитель. Я знаю, что и те господа, приказы которых вы выполняете, тоже только исполнители...»

Самолет, совершающий рейсы между Брюсселем и Женевой, пролетает над Францией и приземляется в Париже; точнее — на парижском аэродроме путешественник должен пересесть из бельгийского самолета в швейцарский. Надо полагать, что авиационные компании, составляя график, не предвидели, что в одном из рейсовых самолетов, приземляющихся в Париже, может оказаться советский писатель...

Итак, 6 мая я очутился на парижском аэродроме Бурже. Меня встретили сотрудники нашего посольства, которые сообщили, что французские власти разрешают мне провести сорок восемь часов в Париже при условии, что я не буду выступать. Я направился к выходу, но был

задержан представителями Сюрте женераль (охранной полиции), которые не хотели считаться ни с какими разрешениями. Должен сказать, что французские охранники сильно американизировались, в них появился спортивный дух Оклахомы, и они окончательно освободились от той вежливости, которая некогда почиталась добродетелью Франции. Представители Сюрте подвели меня к швейцарскому самолету; один из них сказал: «Или вы незамедлительно сядете в самолет, или мы вас вышлем этапным порядком в Бельгию». Этим закончилось мое получасовое пребывание на французской земле.

Я прочитал во французских газетах официозное сообщение: «Лицо, являющееся рупором министерства иностранных дел, подтвердило отказ в визе советскому журналисту Илье Эренбургу. Рупор уточнил, что отказ вызван не тем, что г. Эренбург является коммунистом, а тем, что его личная деятельность, как полагают, может быть недружественной по отношению к Франции».

Я не «рупор» того или иного министерства, я журналист, как то отметил «рупор», я также писатель, хотя «рупор» этого не отметил. Таким образом, моя «личная деятельность» проходит у всех на виду: что написано пером, того не вырубишь топором. Французские читатели знают «Падение Парижа» и «Бурю», знают мои статьи, посвященные Франции — до войны, в годы войны и после войны. Французские читатели смогли оценить глупость и цинизм рассуждений о моем недружелюбии к Франции. «Рупору» поручили тяжкое дело — объяснить необъяснимое. Впрочем, ему все равно, поскольку это не человек, а принадлежность: дунут — скажет, перестанут дуть — замолчит...

Мне отказали в визе не потому, что я недружески отношусь к Франции, а потому, что я к ней отношусь дружески, и это хорошо известно французам. Будучи исполнителями вашингтонских приказов, правители Франции стремятся восстановить французов против советских людей, натравить освобожденных на освободителей. Если бы я действительно питал недружеские чувства к Франции, г. Бидо не только дал бы мне визу, он, пожалуй, оплатил бы мой проезд. Но г. Бидо прекрасно знает, что я люблю Францию и что никогда я не приму ни агентов Сюрте, ни

самого г. Бидо за представителей французского народа. Именно поэтому меня не впустили во Францию.

Конечно, произвол г. Бидо несколько затруднил мою работу над романом «Девятый вал», но роман я все же постараюсь написать. Конечно, полчаса, проведенные на аэродроме Бурже, были для меня малоприятными; но я достаточно хорошо знаю Францию, чтобы понять, где кончается французское гостеприимство и где начинается американское хамство. Конечно, обидно было глядеть сверху на синеватый Париж в весенних сумерках; но я знал, что внизу — друзья, что их жизнь, их горе и радости мне близки, понятны, дороги.

В Брюсселе я остановился в гостинице «Палас»; напротив была гостиница с многообещающей вывеской «Космополит». Не знаю, кто останавливается в гостинице «Космополит», может быть самые обыкновенные бельгийцы. Что касается «Паласа», то он был заполнен предпочтительно американцами, с утра до ночи верещавшими или дремавшими в просторном вестибюле. Однажды я увидел среди стандартизованных представителей Нового Света невысокого смуглого француза. Он подбежал ко мне и громко, с акцентом южанина сказал: «Тебя не впустили во Францию, но французы приехали к тебе. Нам надоели американцы, понимаешь...» Два солидных янки отсели подальше. А молодой француз с пафосом рассказывал: «Возмутились, понимаешь... забастовали, понимаешь... скинули в море, понимаешь...»

В Брюссель и в Женеву приезжали, чтобы повидаться со мной, разные французы: писатели и докеры, инженеры и депутаты парламента, актриса и рабочие. Я не был во Франции. Но я был во Франции, я дышал ее грозовым воздухом, я глядел в ее зрачки, расширенные то нежностью, то гневом.

Что сказать о буднях этой страны? Жизнь для миллионов людей невыразимо тяжела. Магазины завалены роскошными товарами. Рестораны соблазняют прохожего перечнем особых блюд, лионских, провансальских или перигорских. Ярко горят и кривляются огромные буквы неоновых реклам. А за всем этим скрыта нужда, длинные думы, как приготовить обед, как справить платье Мими или ботинки Жано. Есть вывеска — Елисейские Поля,

роскошные магазины, казино Довилля, жизнь кучки богатых французов и чужестранцев; а за вывеской измученная, обескровленная Франция, которой предоставлено право любоваться витринами лавок, читать меню ресторанов, рассматривать фотографии светских празднеств и «благодарить» Америку за ее великодушие.

Откуда такая бедность в богатой стране? Почему не может приподняться умная, трудолюбивая, одаренная Франция? Я помню, как быстро заросли тяжелые раны после первой мировой войны, — а ведь тогда Франция потеряла куда больше людей. Теперь и строят мало; разрушенные портовые города полны развалин. Не обленились французы, как то утверждают иные заморские ревизоры, но страна душевно надломлена, народ не доверяет правительству, не верит в свое будущее, царит смятение. В маленьких городах в знаменитых «кафе де коммерс» люди делятся друг с другом сомнениями, и каких бы взглядов они ни придерживались, они неизменно кончают: «Так долго не может продолжаться...» Кажется, все на месте: и «кафе де коммерс», и лавочки, и старая церковь на площади, и глухие стены, обвитые пахучей глицинией, и расчерченные мелом мостовые, на которых играют ребятишки. Но обыватель потерял главное: ощущение стойкости, прочности жизни. Он был уверен в незыблемости окружающего, даже когда мнил себя якобинцем; он твердо знал, что он получил от отца и что оставит детям; теперь он не уверен в завтрашнем дне.

Чтобы понять все безумие «плана Маршалла», достаточно поговорить с бретонским рыбаком. Почему неподвижно повисли в рыбацких портах голубые сети? Почему останавливаются консервные фабрики? Франция окружена морями, изобилующими рыбой, Франция вывозила рыбу, а теперь французов кормят норвежской треской. Дали подачку норвежцам (они, наверно, за это дорого заплатят) и разорили рыбаков Франции.

Франция производила сгущенное молоко; теперь она должна ввозить молоко из Америки на три миллиарда франков в год. Алжирские крестьяне не знают, что им делать с ячменем, а Франция покупает американский ячмень. Согласно «плану Маршалла» в 1949 году была уничтожена авиационная промышленность Франции.

Теперь уничтожают тракторные заводы, — машины должны быть американскими. Из Западной Германии привозят обувь, кожаные изделия, утварь. Растет безработица. Падает производство тканей и одежды. Закрываются паровозные заводы: локомотивы тоже должны быть американскими. Говорят об эвакуации промышленности в Марокко. Капиталы улепетывают в Новый Свет. Каждый день приносит горькие сюрпризы.

Во главе государства стоят люди, которых не уважают даже их единомышленники. Разворачиваются биржевые скандалы, грязные финансовые аферы, связанные с чересчур видными персонажами. Заседания парламента напоминают то старомодный фарс, то ринг для начинающих боксеров. Буржуа слепо подражает американским модам и американским вкусам. Где его былая самоуверенность? Он заболел комплексом неполноценности, он говорит: «Что мы можем сделать, за нас решают другие...» Он как бы свыкся с мыслью, что Франция перестала быть великой державой. Но что-то его гложет, он страдает от своей приниженности. Конечно, Жолио-Кюри для него коммунист, которого надо убрать, но Жолио-Кюри — это национальная гордость, и буржуа хмурится, читая, что «Нью-Йорк геральд трибюн» одобряет увольнение Жолио-Кюри.

Пилот компании «Эр Франс» Жан Фишоф поместил статью в левой газете «Ле леттр франсез». Пилота тотчас вызвали в американское консульство, ему объявили, что он не сможет больше работать на линии Париж — Нью-Йорк, так как «лицам, сочувствующим коммунизму, запрещен въезд в США». Архибуржуазная газета «Монд», сообщая об этом происшествии, меланхолично добавляет: «Между тем американские граждане могут въезжать во Францию без визы...»

Буржуа читает дальше: «Представитель туристического ведомства США, посетивший нашу страну, заявил, что пока французы не приведут в порядок свои уборные, многие американцы предпочтут проводить каникулы в Швейцарии или в Австрии». Буржуа хочет выругаться, он помнит, что Франция — страна энциклопедистов, великих писателей, великих ученых. Но буржуа не ругается: десять лет и уроки двух дрессировщиков не прошли бесследно.

Бивуачное правительство, ярмарочная экономика, вокзальная психология. Кого же удивит культурное запустение? О, разумеется, и здесь своя вывеска: как прежде, каждый год выдают «премию Гонкура», газета «Нувель литтерер» еженедельно подносит сплетни об известных и неизвестных литераторах, выходит множество новых книг. Но это видимость жизни. Издатели жалуются на кризис: книг не покупают. Писатели жалуются на публику: даже если читатель и удосужится прочитать новый роман, он тотчас его забывает. Читатели жалуются на писателей: нет хороших книг. Писатели старшего поколения или молчат или заняты посредственной публицистикой. Дюамель и Мориак в газете «Фигаро» регулярно проклинают коммунистов, первый с жидкой слезой, второй с густым ладаном. Андре Мальро пишет статьи, прославляющие вышедшего из моды генерала: ему не до романов. Молодые авторы пишут о различных формах шизофрении, о сексуальных извращениях; но и это не ново. Дело не в том, что иссякли таланты или что французы разучились писать, это неправда. Но инвентарь умирающего общества закончен, к нему нечего добавить. Последний день Помпеи давно описан, а Везувий замешкался...

Я видел выставки современной французской живописи — в Бельгии, в Швейцарии, в западном секторе Берлина. Живопись — это та область, в которой французы всегда создавали большие вещи. Конечно, и теперь среднего французского художника отличают мастерство, вкус, — это не сразу приобретается и не сразу теряется. Однако на выставках привлекают внимание холсты старых мастеров: Пикассо, Матисса, Руо, покойных Боннара, Марке. У них есть подражатели, продолжателей у них нет. Процветает так называемая «абстрактная живопись», сухая и рассудочная, порвавшая с традиционной телесностью, органичностью, жизнерадостностью, которые были основой французского искусства.

Культурное вырождение правящего класса становится опасностью для нации. Это понимает все больше и больше французов разных толков и разных классов.

Весной началась так называемая «Битва за книгу». Передовые писатели и политические деятели — коммунисты понесли простым людям Франции книги. Если буржуа

теперь перешли от Мориака и Моруа к «Ридерс дайджест», то рабочий впервые раскрывает Стендаля и Арагона, Гюго и Элюара. Я говорил о внутренней опустошенности многих молодых авторов. Тем большим событием являются два тома превосходных рассказов молодого автора Андре Стиля; не случайно эти рассказы показывают будни, борьбу, душевный мир рабочих. Искусство начинается там, где человек выходит из мертвецкой и видит дерево, небо, ребенка.

Трупный яд отравляет Францию. Идет война в далеком Индо-Китае. Рядовой француз ее не понимает. Ему говорят то о каучуке, то об американских интересах, то о фарсовом «императоре». Уходят корабли с вооружением, увозят солдат. Война стоит денег, а страна разорена. Гитлеровцы в форме иностранного легиона с песней «Хорст Вессель» жгут деревни Вьетнама. Из Азии плывут в Тулон и в Марсель гробы: на непонятной «грязной» войне гибнут молодые французы, надежда нации.

Газеты пишут о предстоящей мировой войне, о бомбах, о супербомбах. Обыватель привык не верить газетам. «Столько пишут про войну, что ее, наверно, не будет», — сказал мне савойский лавочник. Все же ему неуютно; тоскливо зевнув, он добавил: «Только кончилась война, люди еще не опомнились, и вот снова...»

Идет открытая подготовка катаклизма. В 1950 году американская «помощь» составит 250 миллиардов франков, а военные расходы — 420 миллиардов; эти расходы не вызваны интересами Франции, они продиктованы американцами. «План Шумана» должен окончательно ликвидировать экономическую самостоятельность страны. Причем все это только закуска, меню американского обеда поражает своим размахом. Вашингтонские гангстеры настаивают на полном подчинении французской армии американскому командованию, на вооружении Западной Германии, на эвакуации в Северную Африку французской промышленности, наконец на объявлении вне закона коммунистической партии, за которую голосует треть французов.

Некоторые просвещенные буржуа понимают, что Франция идет к катастрофе. Газета «Монд» деликатно доказывает американцам, что следует освободить французов от

пут Атлантического пакта: «Нейтральная Франция выгоднее Соединенным Штатам, ибо солидная стена лучше, чем притупленное и хрупкое копье». Так рассуждают люди, которым принадлежат не акции в Америке, а заводы во Франции, но вряд ли их доводы смутят вашингтонских гангстеров.

Что же будет с Францией, спросит иной читатель, неужели ее история закончится на «плане Шумана», на статьях Мориака, на оборудовании уборных для туристов из Миссисипи, на поставке американцам пушечного мяса? Нет, если Трумэн предполагает, то французский народ располагает. Этот народ не молчит и не бездействует, подлинный хозяин Франции, он говорит в полный голос: «Франция не для Трумэна».

Есть, разумеется, большая горечь в сердце французского пролетария. Он сражался против оккупантов в маки́, его брат или друг замучены гестаповцами. В 1944 он верил, что низкие люди, предавшие Францию, больше никогда не покажутся. А они показались, сначала неуверенно, бочком проскользнули из укрытий, потом сели, расселись, развалились в креслах, командуют. «Ты пишешь второй том «Падения Парижа?» — спросил меня рабочий. Я ответил, что продолжаю «Бурю». Усмехнувшись, он сказал: «Я знаю. Но ты помни, что в сорок седьмом мы пережили второе падение Парижа...» В 1947 рабочие попытались спасти победу. В них пускали газы, стреляли, душили их голодом. Битва была проиграна. Американцы почувствовали себя господами. Побежденные, однако, набирали силы, и вот теперь народ снова поднял голову. Если вашингтонские гангстеры могут пренебречь статьями «Монд», то от французского народа им не отмахнуться.

Еще год назад американцы посмеивались, читая о мирных демонстрациях французов: «Кого они хотят напугать своей голубкой? У нас как-никак «летающие крепости». Потом американцы рассердились: «Эти французы слишком много говорят о мире». Правда, в газетах писали иначе: «О мире говорят только французские коммунисты, и хотят они «советского мира».

Что же происходит теперь? Кто осмелится сказать, что за мир стоят только коммунисты? Люди обходят дома,

улицу, город, за городом город, за селом село, — это Франция подписывает Стокгольмское обращение. Его подписывают старые крестьяне Дордони и грузчики Бреста, виноделы, каменщики, учителя, веселые марсельцы и суровые нормандцы, сталевары, художники, судьи, священники, актеры, железнодорожники, ткачихи, ветераны двух войн и школьники, ученые, чьи имена известны миру, и маленькие парижские модистки. Воззвание подписал знаменитый актер-куплетист Морис Шевалье. Он коммунист? Полноте! Тогда, может быть, коммунист председатель верховного суда г. Монжибо? Или известный архитектор Корбюзье? Нет, это тоже не коммунисты, но и они подписали обращение. Год назад я был в Версале, это один из самых правых городов Франции; там еще немало версальцев в старом историческом значении этого слова. Однако муниципалитет Версаля единогласно постановил примкнуть к Стокгольмской резолюции.

Скажут: много ли пользы от этих подписей? Могут ли они укротить вашингтонских гангстеров, которые пробежав статью в «Монд», преспокойно отдают очередной приказ своей «европейской армии»? Отвечу: американцы хорошо знают, что люди, которые пишут в «Монд», не опасны: покритикуют и подчинятся. А Стокгольмское обращение подписывает народ. Да какой народ! Конечно, американцы не слишком знакомы с историей Европы, но даже они знают, что французы умеют не только петь и протестовать, что в этой стране рукой подать от последнего предостережения до первой баррикады. В планах американцев Франция занимает видное место: она должна поставить солдат, приютить американскую ставку, а в случае военных неудач стать полем решающей битвы. Теперь Франция говорит войне «нет». Может быть, это несколько отрезвит вашингтонских гангстеров? Ведь Францию не заменишь ни Колумбией, ни Бенилюксом, ни достоуважаемой Оклахомой...

Ля-Рошель — красивый город, с аркадами, с башнями; я там прежде бывал; но сейчас я думаю не о городе — о людях. В порт заходили корабли «Ля Фалез», «Орэ», «Сен-Мэр д'эглиз», они должны были забрать оружие для «грязной» войны. Докеры скрестили руки. С рабочими порта были команды судов. Тогда против рабочих

двинули штурмовиков — CRS. Докеров не поставили на колени. Когда правительство осмелилось посадить на скамью подсудимых одного из руководителей движения за мир, Раймона Агасса, жители города двинулись к трибуналу; над зданием суда взвился красный флаг. На суде Раймон Агасс обвинял судей. Он сказал, что солдаты седьмого саперного полка написали Сталину о том, что никогда не будут воевать против русских. Он подтвердил, что солдаты лагеря Фрежюс отказались участвовать в «грязной» войне. Он заявил, что в порту работают немецкие офицеры-нацисты. Он поклялся от имени рабочих Ля-Рошели, что их порт закрыт для кораблей войны. Раймону Агассу всего двадцать четыре года; он рабочий-металлист, участвовал в Сопротивлении; в сорок седьмом году после забастовки его рассчитали. Он знал опасность, нужду, горе; он не отчаялся; он всегда был в передних рядах. Я счастлив, что встретил этого человека, мог пожать его руку.

Я видел замечательных марсельцев; они рассказали мне о борьбе их города. Я узнал позорную эпопею корабля «Эмпир Маршалл», который, груженный американским оружием, шлялся из порта в порт: повсюду докеры отказывались его разгрузить. Имя Маршалла, видимо, не приносит счастья... Корабль пришел в Марсель ночью, крадучись. На нем были танкетки. Рабочие тотчас дали тревогу. Жители города двинулись в порт, впереди шли женщины. Власти выставили три тысячи штурмовиков, войска. Марсельцы не дали разгрузить корабль.

Все знают, что Ницца — это Ривьера, пальмы, променад дез Англе, скучающие бездельники, казино, карнавал. Но есть и другая Ницца — народа. Есть старые узенькие улицы и широкие сердца их обитателей, которые вмещают надежды, тревогу всего мира. В порту должны были погрузить установки для «фау-2», их отправляли в Северную Африку. Установки привезли на тягачах. Узнали об этом докеры, и тотчас сирена подняла город. Народная Ницца прорвалась в порт. «Скорее, друзья!..» Полиция и штурмовики опоздали: установки были сброшены в море. Было это рано утром, а вечером в старых кварталах, где узкие улицы и широкие сердца, люди праздновали победу. Привезли части «фау-2»; власти их решили закамуфли-

ровать: грузовики прикрыли ветками мимозы. Это очень стыдливое растение, оно сворачивается от легкого касания, его называют «не тронь меня». На всякий случай власти пустили две дюжины танкеток. Но Ницца была начеку... Пять рабочих теперь преданы военному суду.

Я мог бы рассказать еще многое, но всего не расскажешь, — не расскажешь о солидарности, о том, как бедные люди нянчат и холят детей забастовщиков, как стойко ведут себя рабочие на суде, как отважно кидаются старики и девушки навстречу смерти. Когда Раймонде Дьен, которая легла в Туре на рельсы, чтобы остановить военный эшелон, исполнился двадцать один год, из разных городов Франции незнакомые люди слали ей открытки, письма, телеграммы. Она не получила этих приветствий: она сидела в крепости А возле Бордо. Но сердцем она чувствовала, что Франция с нею; это помогло ей держаться на суде с такой уверенностью, с таким спокойствием, что председатель трибунала отворачивался, страшась взглянуть в ее глаза.

Что сделала эта молоденькая женщина? Эшелон прошел, он только запоздал на несколько часов. «Что даст борьба за мир? — спрашивают скептики. — Все равно оружие привезут или увезут, ну, с опозданием»... Но жест Раймонды Дьен, но отвага ниццских рабочих, но стойкость докеров Марселя, Ля-Рошели, Бреста приподняли французский народ. Штаб вашингтонских гангстеров в смятении.

Когда я думаю теперь о Франции, я вижу ее бросающейся на рельсы. Она говорит войне: «Ты не пройдешь». Она похожа на маленькую нежную женщину из Тура, и она похожа на разгневанную свободу с картины Делакруа.

1950

АВСТРИЯ

ФЕВРАЛЬ 1934 года

1. ДОМА НА ЧУЖОЙ ЗЕМЛЕ

В 1928 году один из лидеров австрийской социал-демократии показывал мне дома, построенные городским правлением Вены. Это были прекрасные дома, полные света и простора. Они были окружены молодыми деревьями, газонами, цветниками. Я видел все: и детские площадки, и бани, и кофейни. Вырвавшись из смрадных трущоб старой Вены, дети рабочих резвились в яркозеленых скверах. Дома носили имена, которыми гордятся рабочие всего мира: Карла Маркса, Энгельса, Либкнехта. Это были целые города, воздвигнутые лучшими архитекторами Европы. В них жили десятки тысяч рабочих и служащих. Глядя на эти дома, можно было позабыть о правде: о том, что в кофейнях Ринга сидят нетерпеливые офицеры, что одутловатые епископы, помахивая фиолетовыми сутанами, требуют искоренения нечестивцев, что еврейские банкиры, памятуя «един бог», выписывают чеки на имя «христианско-социальных» погромщиков, о том, что вся Вена — только крупная карта на зеленом сукне и что блефуют, усмехаются, проигрывают или выигрывают матерые игроки — итальянцы, немцы, французы. Да, глядя на фонтаны возле Дома Карла Маркса, на читальни или спортивные площадки, можно было позабыть о жестокой правде. Однако эта правда выглядывала из-за каждого угла. Возле нарядного фонтана падал на землю

подкошенный голодом безработный. Многие из городских стен напоминали о боях 1927 года. Сыновья тирольских кулаков, посматривая на фасады городских построек, ругались: «Довольно с нас этих лодырей!..»

Я сказал моему спутнику: «Вы построили действительно прекрасные дома. Еще раз вы доказали миру, что у рабочих куда больше и вкуса, и чувства простоты, и жизнерадостности, нежели у подозрительных эстетов с Ринга. Но не кажется ли вам, что эти дома построены на чужой земле?» Мой спутник улыбнулся: «Мы верим в мирную победу социализма. Не забывайте, что на последних выборах за нас голосовало 70 процентов населения Вены...»

Я снова увидел эти прекрасные дома в тяжелый февральский день. Густыми хлопьями падал сострадательный снег, как бы желая прикрыть подлое дело людей. Но и среди снега чернели дыры, пробитые снарядами, еще пахли гарью сожженные дома Флоридсдорфа, в скверах валялся уродливый мусор. Кое-где из окон высовывались лоскутья простынь или носовые платки — белые флаги капитуляции, за которыми чувствовались лужи бурой, запекшейся крови. Люди шопотом говорили друг другу о том, что под обломками стен еще валяются не подобранные трупы. На крышах расстрелянных домов реяли бело-зеленые стандарты геймвера, а внизу среди снега, среди мусора, среди нищеты и поражения бродили женщины, дети, старики. Они не смели вернуться в свои полуразрушенные, полуразгромленные жилища. Полицейские в касках останавливали прохожих, и, как шакалы, рыскали по дворам трусливые герои геймвера. Князь Штаремберг, подымая кубок за победу, по очереди восклицал то «гейль», то «эвива». Рабочая Вена молчала. Такова была «мирная победа социализма».

2. ПОДГОТОВКА К САМОУБИЙСТВУ

Фашисты, вдохновляемые германскими событиями, становились все решительней. В марте 1933 года они разоружили австрийских рабочих. Социал-демократы еще раз отступили. Тогда фашисты решили, что перед ними не

рабочий класс, но только горы избирательных бюллетеней. Они разгромили железнодорожников: революционные рабочие были рассчитаны, на их место поставили штрейкбрехеров и предателей из «Патриотического фронта».

Социал-демократы попрежнему призывали рабочих к терпению. Они больше не мечтали ни о «мирной победе социализма», ни даже о парламентском большинстве. Они хотели одного: права на существование. Так был выдвинут лозунг «вооруженной обороны».

Генералы бывшей австро-венгерской армии никогда не были хорошими вояками: их били не только русские, но даже черногорцы. Однако и эти битые генералы, прочитав резолюцию социал-демократов, удовлетворенно крякнули: они помнили из учебников кадетского корпуса, что выигрывает сражение наступающий. Наступали они: дряхлые генералы, помещики, тирольские кулаки, иезуиты, легионы геймвера, набранные из уголовных рецидивистов, патриоты, получающие жалованье в итальянских лирах, буржуазная чернь Ринга и карлик, ростом и кровожадностью напоминающий Тьера, а богомольностью и семейственностью Муравьева-Вешателя. Социал-демократы продолжали отступать.

Рабочие волновались. Они не понимали хитроумной стратегии своих вождей. Они хотели кинуться в бой. Их, однако, учили одному: отступать.

С начала февраля положение в Вене стало настолько напряженным, что, когда на улице лопалась шина, прохожие испуганно останавливались. Даже самые нерешительные говорили о близости развязки. Рабочие-дружинники грозились: «Если они не хотят, мы сами откопаем оружье». Вожди социал-демократической партии продолжали колебаться.

Правительство не колебалось: оно явно не верило в сопротивление рабочих. Вице-канцлер Фей дышал бодрым воздухом казарм. Не смущаясь, он заявил: «В течение ближайшей недели мы очистим Австрию от марксистов». Молодчики из геймвера, распивая в кабачках молодое вино, лихо ухмылялись: они предвидели веселый набег на рабочие кварталы. В ответ они ждали традиционных формул: «Мы протестуем против нарушения конституции, и мы подчиняемся исключительно насилию». Они думали,

что перед ними не рабочий класс, но десяток-другой муниципальных чиновников.

Министр социального обеспечения Шмиц объявил, что с государственных заводов будут уволены все рабочие, состоящие в профсоюзах. На их место станут члены «Патриотического фронта». Рабочие настаивали на всеобщей забастовке. Вожди все еще медлили. На что они надеялись? Их интересовали различные «уклоны» в христианско-социальной партии. Они продолжали жить в мире парламентской арифметики, голосований и резолюций. Самым важным событием этих последних перед развязкой дней они считали присоединение нескольких «левых» гласных из христианско-социальной партии к резолюции социал-демократов. А в казармах солдаты уже чистили пулеметы и геймверовцы кокетливо говорили своим красоткам: «На этой неделе у нас будет много работы — мы перестреляем всю красную сволочь...»

Пока вожди партии изучали различные оттенки христианско-социальной партии, полицейские ломали двери, буравили стены, спускались в подвалы и рыскали по чердакам: они искали оружье. Иногда они нападали на несколько винтовок, но складов оружья они так и не нашли. Геймверовцы окончательно успокоились — они решили, что «вооруженная оборона» может быть отнесена к образцам парламентского красноречья.

Рабочим удалось спасти винтовки и пулеметы. Зато в эти дни они потеряли три четверти своих вождей. Одного за другим полиция арестовывала начальников боевых дружин и председателей завкомов. Эти аресты как бы обезглавили австрийский пролетариат. Социал-демократы и профсоюзы воспитали в рабочих чувство механической дисциплины. Каждый ждал приказов, готовый повиноваться, но редко кто решался встать на место арестованного и что-то предпринимать за свой риск.

Аресты рабочих продолжались в течение всей недели, предшествовавшей развязке. Каждый новый день обезглавливал какой-нибудь другой округ. Встречаясь, рабочие недоуменно спрашивали друг друга: «Почему же они медлят? Если полиция схватит нашего Карла, ребята не будут знать, что им делать...» Партия молчала. На следующий день полиция арестовывала Карла. Это был

бой — еще без ружей, и всякий день нес рабочим новое поражение.

Рабочие в Вене, в Линце, в Штейере, в других рабочих центрах требовали решительных шагов. Вожди социал-демократии продолжали призывать к спокойствию. В субботу 11 февраля вице-канцлер Фей выпустил правительственное сообщение о раскрытии «марксистско-большевистского заговора». Всем стало ясно, что «рейхстаг горит» и что правительство приступает к открытому террору. В субботу сотрудники «Арбейтер Цейтунг», прощаясь, говорили друг другу: «Вот мы и сделали последний номер...»

Рабочие ждали, что в воскресенье будет отдан приказ о вооружении. Но вожди решили снова выжидать. Теперь они выжидали свидания канцлера Дольфуса с областными представителями. Они ждали спасения не от рабочих винтовок, но от государственной мудрости того человека, которого венские остроумцы, в отличье от Меттерниха, прозвали «Миллиметтернихом».

В воскресенье социал-демократы выпустили листок: они мирно полемизировали с вице-канцлером Феем. Они доказывали не то рабочим, не то самому вице-канцлеру, что они весьма далеки от каких бы то ни было «заговоров».

3. ЛИНЦ НАЧИНАЕТ

Рабочие в Линце открыто возмущались «трусостью Вены», и в Линце нашлись решительные люди. Секретарь партийного комитета Берначек отправил в Вену письмо. Он сообщал, что пять ответственных товарищей, учитывая как политическую ситуацию, так и настроения рабочих, решили дать правительству отпор. Берначек сообщил, что если в понедельник полиция попробует нагрянуть на рабочий дом «Шифф», где замуровано оружие, рабочие объявят мобилизацию дружинников. Трудно сказать, как копия письма Берначека попала в руки полиции. Правительство уверяет, что эта копия была найдена полицией в комнате Берначека. Возможно, что Берначек, будучи, как и все австрийские социал-демократы, несведущим в конспирации, действительно сохранил у себя копию

важного документа. Так или иначе, оригинал письма дошел в воскресенье до Вены.

Вожди в Вене перепугались: час «вооруженной обороны», о котором они столько говорили, наступил. Письмо из Линца было сигнальной ракетой. В ответ следовало вооружить рабочих. Но среди вождей было немало миролюбивых бюрократов, готовых заранее выкинуть белый флаг. На собраниях головки шли долгие споры. Вожди решили призвать линцских товарищей к дисциплине: ведь вожди ждали результатов свидания Дольфуса с областными представителями. В Линц была послана телеграмма о здоровье тети Эммы. Это был условный знак: Вена предлагала снова отложить «вооруженную оборону». Телеграмма о тете Эмме не дошла до Линца. Она оказалась на столе вице-канцлера Фея, и в отличие от вождей социал-демократии вице-канцлер решил не ждать.

Правительство торопилось с развязкой. Полиция доносила, что большинство вождей задержано. Геймверовцы наседали на Фея: они соскучились по веселой работе. Выстрелы парижских фашистов прозвучали в их сердцах как охотничий рожок. Ржали в нетерпении кони кавалеристов. По Рингу прогуливались воинственные молодчики. Вице-канцлер читал телеграмму о тете Эмме и отдавал последние распоряжения.

4. ПОНЕДЕЛЬНИК

В понедельник утром в Вене было холодно и сыро. Вскоре пошел сильный дождь. Как всегда, рабочие спешили на работу, а возле городских касс стояли длинные очереди безработных, дожидавшихся пособия. Это было обычное городское утро. Женщины несли хлеб и молоко. Только изредка пробегали по улице полицейские в штатском: они явно были чем-то озабочены, но никто их не расспрашивал о государственных тайнах. Будничный день начинался.

В Линце тем временем шел бой. Все развернулось, как предвидели и правительство и рабочие. Тридцать полицейских явились в рабочий дом «Шифф». Их впустили. Потом дом окружили рабочие-дружинники, и они обезору-

жили полицейских. Тогда на подмогу полиции прибыли войска с пулеметами. Началась осада рабочего дома.

В предместье Вены — Флоридсдорфе — рабочие с утра волновались. Они хотели объявить забастовку протеста: полиция накануне арестовала одного из председателей завкомов Флоридсдорфа. Этот район считался боевым: в нем живет до восьмидесяти тысяч рабочих. Забастовка во Флоридсдорфе началась стихийно. Рабочие оставляли мастерские. Они требовали оружья.

Слухи о боях в Линце разнеслись по Вене. Событья шли куда быстрее, нежели мысли вождей социал-демократии. Собрание головки решило, наконец-то, объявить всеобщую забастовку, но флоридсдорфские рабочие успели опередить это постановление. Вожди социал-демократической партии уступали место вождям восстания. Вместо огромного партийного аппарата, который остановился куда быстрее, нежели машины иных заводов, оказались десятки маленьких и не связанных друг с другом штабов. Партия, кичившаяся количеством избирательных бюллетеней, оказалась непригодной для вооруженного боя.

В десять утра начальники районов кинулись к телефонным аппаратам. По проводам пронеслась короткая весть: «Карл заболел», — это было условленным паролем, и это означало: «всеобщая забастовка объявлена». Впопыхах полиция арестовывала всех, кого только могла. Войска оцепили центр города. Улицы наполнились полицейскими в походных касках, вооруженными геймверовцами и подозрительными субъектами из «Патриотического фронта». Полиция останавливала прохожих, пропуская только «хорошо одетых». Доступ рабочим в центральные районы был закрыт. Правительство спешно организовало «техническую помощь» из патриотических инженеров и профессиональных штрейкбрехеров.

Около одиннадцати часов утра районные начальники начали выкапывать оружье и раздавать его рабочим.

На улицах Линца уже валялись трупы. Рабочие швыряли в солдат ручные гранаты. Бой шел с переменным успехом. Число повстанцев росло. На место убитых приходили подростки: «Дайте и нам оружье!» Тогда командующий правительственными войсками приказал пустить в ход артиллерию.

В Вене еще было тихо. Солдаты обматывали центральные улицы колючей проволокой. Вице-канцлер объезжал «позиции».

Многие из главарей в одиннадцать часов утра еще не знали, принято ли постановление о всеобщей забастовке. Около одиннадцати часов Л. получил известия о линцских событиях. Он тотчас пошел к начальнику района: «В Линце сорок убитых. Надо начинать». Начинать надо было с электрической станции, и Л. побежал туда. Когда он вошел в первую мастерскую, один из членов завкома его спросил: «Насчет забастовки — правда?» Л. крикнул: «Выпускайте пар из котлов». Потом Л. пришел к директору станции г. Ципфелю. Л. сказал: «Объявлена всеобщая забастовка. Станция должна тотчас же кончить работу». Вместо ответа г. Ципфель кинулся к телефону: он хотел вызвать соседние казармы. Телефон не работал. Тогда г. Ципфель сказал: «Я применю вооруженную силу». Л. ответил: «А я вам размозжу череп!»

Один из крупных служащих, некто К., член социал-демократической партии и человек вдоволь трусливый, крикнул Л.: «Брось! Все равно ничего из этого не выйдет...» Л. ответил: «Должно выйти». Спустившись вниз, Л. увидел, что пар еще не выпущен. Он сам взялся за работу. На подмогу пришли рабочие. Пар был выпущен. В электрическом отделении турбины были быстро повреждены. Отпуск тока прекратился. Часы показывали без пяти минут двенадцать.

Несколько минут спустя полиция окружила станцию, разыскивая Л. Но Л. успел скрыться. Благодаря умелым действиям работа электрической станции была прекращена почти на сутки. Это было первым и, может быть, единственным серьезным успехом рабочих.

Трамваи неожиданно остановились. Никто еще не знал толком, что это означает. Одни говорили: «Сейчас поедем... тока нет... меняют машину...» Другие встревоженно шушукались: «Уж не забастовка ли?..» Вагоновожатые продолжали сидеть на своих местах. Один из них, бородатый и грустный, вздыхал: «И зачем это они бастуют? Все равно против штыков ничего не поделаешь...» Другой угрюмо усмехался. Дама в нарядной шубке спросила

его: «Не знаете ли вы, в чем дело?» Он ответил: «Дело в том, что — довольно! Не хотим больше так жить!..»

Работа на заводах сразу остановилась, вследствие отсутствия тока. Дело решили не вожди социал-демократической партии, но отвага Л. и нескольких рабочих электрической станции.

Позакрывались магазины. Опустели улицы. В главном штабе повстанцев лихорадочно ждали вестей. Но телефон не работал, а один район был отрезан от другого военными кордонами. Взобравшись на наблюдательный пункт, один из вожаков принес первое печальное известие: «Железные дороги работают!»

Железнодорожники спасли правительство. Они дали ему возможность перебросить войска из города в город и быстро подавить восстание в Линце, в Штейере, в Бруке. Железнодорожники были обескуражены мартовским разгромом. Среди них теперь было много опытных штрейкбрехеров и заслуженных предателей.

Вслед за железнодорожниками забастовку сорвали и печатники. Эти не были ни сторонниками христианско-социальной партии, ни членами «Патриотического фронта». Все они состояли в социал-демократическом профсоюзе. Но печатники были в свою очередь подавлены недавним поражением: два месяца перед тем они бастовали, протестуя против гонений на рабочую печать. Эта забастовка кончилась неудачей. Печатники теперь вдвойне дорожили «куском хлеба». Они знали к тому же, что этот кусок, не в пример хлебу других рабочих, помазан маслом: они были наиболее обеспеченными из рабочих. Разумеется, в душе они сочувствовали повстанцам, но спокойно стояли у линотипов и ротационок. Они набирали газеты, полные клеветы на повстанцев: «красные убийцы... красные преступники... красная сволочь...» Еще раз они показали рабочим всего мира, что для победы мало и высокой грамотности, и профсоюзных билетов, и прочитанных книжек, и красивых слов. Для победы ко всему этому необходим еще героизм, а героизма у них не нашлось. Героизм нашелся у тех двадцати тысяч рабочих Вены, которые в понедельник разбрелись по улицам рабочих кварталов, волоча тяжелые винтовки.

Восстание австрийских рабочих нельзя назвать «провалом». Оно закончилось поражением, но это поражение в борьбе, и за ним должна последовать конечная победа. Всеобщая забастовка, однако, была доподлинным провалом. Историк установит, каковы были причины этого неуспеха. Бесспорно, огромную роль сыграла безработица и страх за миску похлебки для ребят. Кто знает, не легче ли было пойти под пули, нежели «мирно забастовать», зная, что на самом деле это обозначает голодную смерть? Правительство в свою очередь грозило штыками. Осадное положение было направлено прежде всего против забастовщиков. «Кто не будет работать, того за решетку». В тумане дождливого и серого дня уже мерещились первые виселицы.

Однако немало мужества хранилось в сердцах венских рабочих. Во Флоридсдорфе, за исключением железнодорожников, забастовали поголовно все рабочие. В полдень к газовому заводу подкатил автомобиль с полицейскими. «Если через десять минут рабочие не станут на работу, каждый десятый будет предан полевому суду». Рабочие в ответ тотчас вооружились и начали занимать Флоридсдорф.

Вяло начатая забастовка быстро перешла в восстание, полное решимости и героизма. Во многих районах рабочие не могли вооружиться. В одном из наиболее важных округов, вследствие многочисленных арестов, рабочие так и не разыскали хорошо припрятанное оружье. В 15-м округе восстание сорвал начальник района Корбель. Этот Корбель незадолго до событий получил от партии семь тысяч шиллингов на покупку оружья. Оружья он не доставил, заявив, что груз конфискован полицией. Расследовать это дело было нелегко, и Корбель оставался районным начальником. 12 февраля с утра он обходил кофейни, где собрались рабочие, указывая полиции на вожаков.

Вот Корбель встречает одного из руководителей восстания Ч. Ч. несколько удивлен: «Мне говорили, будто тебя вчера схватили...» Корбель улыбается: «Что же, вчера схватили, а сегодня выпустили...» Корбель уходит из кофейни. Через минуту в кофейню входит полицейский. Ч. удается убежать через кухню. Однако он все еще не дога-

дывается о связи между исчезновением Корбеля и появлением полицейского. Корбель продолжает пользоваться доверием товарищей.

Повстанцы должны были прежде всего занять рабочие кварталы, а потом повести наступление на центр города. Но многие районы вовсе не выступили, и фланги повстанцев оставались неприкрытыми. С самого начала они вынуждены были перейти к обороне своих позиций.

Во Флоридсдорфе у повстанцев было сорок пулеметов и свыше трех тысяч винтовок. Они заняли полицейские гауптвахты и разоружили полицейских. Рабочие не расстреляли ни одного из своих противников. Они и не взяли заложников. Они ограничились тем, что заперли разоруженных полицейских, и те вскоре показали рабочим, как фашисты понимают благодарность и великодушье.

В 10-м округе четыреста рабочих забаррикадировались в Доме Гёте. На них направили пулеметный огонь. Из Дома Гёте вышли отряды повстанцев — они пробовали установить связь с 20-м округом. Во 2-м округе повстанцы успешно наступали. Они дошли до Гюртеля. В девять вечера против них был послан пехотный полк. Повстанцы отступили в боевом порядке. В 12-м округе весь день шли уличные бои. Повстанцы отбили нападение на Дом Реймана. К вечеру им пришлось очистить эту позицию, и они укрепились в Доме Либкнехта.

В Доме Карла Маркса у повстанцев не было пулеметов. Стоя в одном из окон, четверо молодых рабочих с винтовками отражали пулеметную атаку. Подземными ходами был доставлен в дом пулемет.

Во Флоридсдорфе рабочие-коммунисты, получив оружие, засыпали ручными гранатами отряд полиции. Они заняли одну из наиболее важных артерий района. На проводах они повесили красный флаг с серпом и молотом. Под флагом лежал убитый мальчик: его подстрелили полицейские.

Штаб повстанцев послал вестовых на мотоциклетках в различные провинциальные города. К ночи два вестовых вернулись. Они рассказали, что в Линце все еще дерутся, что Брук в руках рабочих и что начальник Винер-Нейштадта, струсив, отказался раздать своим дружинникам оружие.

Под утро стало известно, что в Штейере рабочие убили директора заводов «Штейерверке». Они вооружились и заняли весь город. Вождь геймверовцев князь Штаремберг выступил на Штейер. Городишко, известный туристам как живописный уголок, а статистикам как место, дающее наиболее высокие цифры безработицы, смертности на почве истощения и самоубийств, был облюбован геймверовцами для образцовой карательной экспедиции.

В Бруке повстанцами командовал Коломан Валлиш. Это имя одни произносили с надеждой, другие с ненавистью. Валлиш был каменщиком. Он родился в Венгрии, в поселке швабских колонистов. В дни Венгерской советской республики он стойко боролся с врагами. Потом он убежал от белых в Штирию. Он начал организовывать рабочих. Благодаря близости югославской границы в Бруке было много пришлых рабочих, и это позволяло предпринимателям драть с людей восьмую шкуру. Рабочие получали по два шиллинга в день. Они жили впроголодь. Под руководством Коломана Валлиша рабочие провели несколько стачек. Он стал вождем целого округа. В бурные дни 1927 года он вооружил рабочих и осуществил пролетарскую диктатуру. Как только до Штирии дошла весть о линцских боях, Валлиш отправился из Грицуа в Брук. Рабочие заняли город. Жандармы забаррикадировались в казармах. В ночь с понедельника на вторник повстанцы штурмовали казармы. Правительство отправило против Валлиша 9-й батальон стрелков.

В Вене канонада не замолкала всю ночь. На улицах Мейдлинга шли бои. Женщины подносили повстанцам патроны и хлеб. Ночь была холодная, и повстанцы мерзли. Коченели пальцы на железе винтовок.

Флоридсдорф был в руках повстанцев. Командиры расставили повсюду заставы. Повстанцы спали по два часа. С утра предполагалось наступление на мост.

Ночью к повстанцам 10-го округа пробрался подросток-геймверовец. Рабочие навели винтовки. Мальчик крикнул: «Стойте!» Он поднял вверх руки. Потом он сказал: «Убейте меня! Я предатель. Я пошел в геймвер. Они обещали — кормить и сапоги... Я два года перед тем голодал... Теперь мне приказали стрелять в вас. Но этого я не могу. Лучше убейте меня!» Среди повстанцев редко

можно было встретить рабочих старше тридцати лет: это было восстание молодых. Но в отряде, на который напал злосчастный «геймверовец», находился старый седоусый столяр В. Выслушав парнишку, он выругался, потом усмехнулся и ласково потрепал «геймверовца» по плечу. «Ну, чего там... Винтовка у тебя есть. А в кого стрелять — это ты сам знаешь...»

Цокали пулеметы, и по-человечески, нервически, раздельно, вскриками перебивали редкую тишину ружейные выстрелы. Ночь казалась невыносимо долгой. Потом стал просачиваться грязный рассвет второго дня.

5. ВТОРНИК

Второй день начался с тяжкого испытания: повстанцы увидали вокруг себя равнодушие и трусость. Они брели с винтовками по улицам. Навстречу шли их собратья по классу: железнодорожники, печатники, кондуктора трамваев.

«Куда ты?» — окликал приятеля повстанец. Тот нарочито громко от стыда отвечал: «Куда? Известно куда — на работу». В Доме Гёте трамвайные служащие ругали повстанцев: «Из-за вас нельзя выбраться, а теперь шестой час — пора на работу...» С раннего утра возле касс выстроились обычные очереди безработных. Измученные, деморализованные, приниженные долгим голодом, они предпочитали подачку борьбе. Конечно, все они — и рабочие, которые торопились на заводы, и безработные, которые ждали пособий, — сочувствовали повстанцам. Но в это утро повстанцы почувствовали себя если не преданными, то одинокими. Казалось, ничто не отделяет их от других рабочих: они были членами тех же профсоюзов и той же бесформенной, рыхлой, всеобъемлющей социал-демократической партии. Но между авангардом рабочего класса, который бился насмерть, и разрозненной, безоружной, ничем не одушевляемой армией в это утро легло нечто новое: одни хотели во что бы то ни стало жить, другие были готовы умереть.

Во вторник сказался провал забастовки. Восстание не может быть поголовным: винтовки заряжает не только

политическая сознательность, но и личное мужество. В вооруженной борьбе приняли участие до двадцати тысяч венских рабочих. Из них семь или восемь тысяч дрались до последнего патрона. Было бы наивно думать, что за оружие возьмутся сотни тысяч. Но эти сотни тысяч могли стать надежным тылом. Они могли, скрестив руки, остановить жизнь города. Однако социал-демократы не сумели пробудить в рабочих революционную совесть. Их вожди не раз говорили: «Наши дружины превосходно организованы, и они снабжены оружием. В случае нападения фашистов дружинники отстоят рабочих». Вожди не ошиблись в одном: в мужестве боевых дружин — это был авангард австрийского пролетариата. Дружинниками становились наиболее революционные и наиболее смелые рабочие, те, что в других странах становятся коммунистами. Но рабочая масса соблюдала «дружественный нейтралитет». Для многих рабочих восстание было поединком между правительством и дружинниками. Они говорили о геймверовцах: «звери», они говорили о дружинниках: «молодцы», но, говоря это, они спокойно шли на работу.

В понедельник всемогущий канцлер Австрии был принужден оттиснуть прокламацию на ротаторе: у него не было ни одной печатни. Во вторник вышли все буржуазные газеты. Они умело сочетали клевету с ложью. Они говорили, что повстанцы — это воры и погромщики. Они сообщали, что вся Австрия стоит за Дольфуса, только несколько сотен безумцев еще пробует сопротивляться. Кроме газет, в руках правительства были радиостанции. Рабочие не знали о том, что происходит даже в соседнем квартале. Руководителям восстания не удалось выпустить ни одного бюллетеня. Осажденные повстанцы жадно прислушивались к рыку громкоговорителя. Канцлер-наихристианской Австрии показал, что значит иезуитская выучка. Радио сообщало, что Брук и Штейер заняты геймвером. Рабочие в Бруке понимали, что сведения насчет Брука лживы: город еще находился в их руках. Но с тревогой они думали. «Может быть, Штейер действительно пал?» Рабочие Штейера спрашивали друг друга: «Неужели Брук сдался?» Так ложь и клевета разъедали стены, выстоявшие под артиллерийским огнем.

Во вторник жаркие бои шли за Дом Реймана и за Дом Маттеоти. Предатель Корбель заманил рабочих в ловушку: он предложил им войти в здание школы. Часть дружинников последовала его совету. Школа была тотчас окружена солдатами. Вожди восстания все еще не догадывались о роли Корбеля, и предатель присылал им реляции, полные благородного негодования: «В 13-м округе рабочие сдрейфили, они побросали оружие через стену кладбища Оттакринг». Вице-канцлер предложил Корбелю до поры до времени гореть революционным огнем, и Корбель страдал над неуспехами повстанцев.

После полудня начался ожесточенный бой в 16-м округе. Правительственные войска под напором рабочих сдали позиции. Вице-канцлер приказал подвезти гаубицы.

В разных местах города загрохотали пушки: это обстреливали жилые и густо заселенные дома. В погребах, в чуланах, в темных коридорчиках прятались те, кто не сражался: старики, женщины, дети. Кричали ребята, и женщины не знали, чем их утешить.

Ночью Дом Карла Маркса обежала страшная весть: в одной из квартир осколком снаряда убиты женщина и грудной младенец.

Вице-канцлера никак не интересовали ни женщины, ни грудные младенцы. Он явственно нервничал. Пехотные полки требовали подкреплений. Дипломаты посылали в Париж и в Лондон длинные телеграммы. Повстанцы не сдавались на милость геймвера. Надо было тотчас покончить с мятежом. Канцлер предлагал хитроумную «амнистию». Генералы настаивали на тяжелых орудиях. Вице-канцлер, как человек боевой, выбрал пушки. Впрочем, снаряды он перебивал летучками, которые скидывали самолеты. На летучках значилось: «Братья-рабочие, опомнитесь!» На снарядах не имелось никакого упоминания о «братстве».

Город в недоумении прислушивался к канонаде. Ходили самые вздорные слухи. Говорили, будто бы геймверовцы сражаются с немцами. Говорили также, что к Вене подходят чехословацкие полки. Никто не мог подумать, что это артиллерия громит жилые дома.

Один из английских корреспондентов запросил представителей власти: правда ли, что войска подвергают обстрелу целые кварталы Вены. Корреспондента успокоили: «Под обстрел взяты исключительно рабочие кварталы, в которых не имеется ни памятников старины, ни художественных ценностей. Что касается мирного населения, то мы предложили повстанцам эвакуировать женщин и детей. В домах остались исключительно вооруженные марксисты».

Молоденький офицер П. спросил своего начальника: «Может быть, предложить им вывести женщин и детей!» Начальник всердцах крикнул: «Ни в коем случае! Женщины и дети заставят их скорее сдаться». Помолчав, он добавил: «По существу это даже гуманней — это ускорит конец кровопролития...»

Дольфус мог теперь сказать своим иностранным покровителям: «Вот видите — мы не болтуны. Мы действительно энергичные люди».

В час дня сдался Дом Реймана. Часть его защитников скрылась. Другие были захвачены полицией. Дом Маттеоти требовал срочной помощи.

В 12-м округе на повстанцев напали два автомобиля с флагами Красного Креста. Повстанцы их подпустили к себе. Тогда мнимые санитары открыли огонь. Повстанцам удалось захватить один из этих автомобилей. В одиннадцать часов утра против повстанцев был пущен бронепоезд. Начался пулеметный бой. Женщины перевязывали раненых, и раненые оставались на позициях. В пять часов дня повстанцы попытались прорваться к водокачке, чтобы установить связь с 10-м округом.

В 13-м округе рабочие защищали Дом Оттакринг. Артиллерия разрушила фасад дома. Рабочие не сдавались. Все окрестные улицы были взяты войсками под пулеметный огонь, чтобы отрезать повстанцам отступление. На улицах возле Дома Оттакринг валялись трупы: женщина с хлебом, мальчик лет восьми, бородатый старичок. Поздно ночью, израсходовав всю амуницию, повстанцы выкинули белый флаг. Большинство было схвачено солдатами. Некоторым удалось скрыться: они ушли под землю.

В Париже в июньские дни 48-го года сточные канавы

спасли жизнь не одного инсургента. Темный извилистый город под обычным городом, под домами, банками и театрами, в трагические часы становится последним убежищем людей, на которых охотятся, как на дикое зверье. Канализация Вены помогла некоторым защитникам Дома Оттакринг уйти от смерти. По темным канавам смельчаки подносили защитникам Дома Карла Маркса провиант и амуницию.

Когда весь надземный город оказался в руках правительственных войск, внизу еще прятались последние повстанцы. Полиция как-то услышала подозрительный шум, доходивший из-под земли. Тотчас несколько полицейских спустились вниз. Тогда в темноте раздались выстрелы. Под землей люди бежали один за другим, и в последней схватке они душили друг друга.

Флоридсдорф еще держался. Рабочие пытались даже наступать. Они заняли Сад-город. В полдень воинские части повели атаку на пожарное депо. Пожарными командовал самый молодой из повстанческих командиров — Георг Вейзель. Пожарные боролись до последней возможности. Наконец солдаты ворвались в депо. Они взяли в плен Вейзеля и с ним шестьдесят пожарных. Несколько пленных было убито ружейными прикладами и штыками.

Падение пожарного депо было тяжелым ударом: фронт оказался прорванным. Повстанцам пришлось перейти к обороне. В течение нескольких часов артиллерия закидывала тяжелыми снарядами Шлингергоф. Но гаубицы оказались бессильными перед мужеством рабочих. Тогда солдаты погнали женщин и детей к осажденному дому: они знали, что рабочие не смогут стрелять в свои семьи. Была страшная минута, когда повстанец Г., стоявший у пулемета, закричал: «Стой! Негодяи!.. Ведь это наши жены...» Так вице-канцлер Фей показал, что такое прогресс: перед его подвигами кажутся ребяческими забавами дела Каваньяка или Галифе. Шлингергоф был очищен от повстанцев.

Днем рабочим удалось приспособить несколько грузовиков, которые обычно употребляются для перевозки мусора. Это были «танки» дружинников. Против них войска выпустили бронированные автомобили.

В Доме Карла Маркса осколок снаряда повредил газовые трубы. Газ стал распространяться по всему корпусу. Повстанцы задыхались. Они, однако, продолжали отстреливаться. Два правительственных пулемета, поставленных на возвышенности Гоген Варте, обстреливали окна дома. Говорят, будто один из этих пулеметов находился в саду прекрасной виллы, где живет известный писатель, эстет и католик, Франц Верфель. В этой топографической случайности скрыто немало жестокой иронии. Наверху, в Гоген Варте, жили не только Ротшильды, но и поэты. Внизу, в Доме Карла Маркса, жили рабочие. Поэты писали о красоте. Рабочие работали и голодали. Потом настал день, когда пришли солдаты. Солдаты никогда не слыхали ни о Карле Марксе, ни о Франце Верфеле. Они только выполняли приказы своих начальников. Они поставили в саду поэта хороший пулемет и начали убивать рабочих.

Повстанцы угрюмо щерились: враг был теперь недосягаем. Осмотрев позиции, вице-канцлер приказал перейти в наступление. Операцией руководил его ближайший помощник майор Вадель. Вице-канцлер был убежден, что повстанцы обескуражены. Но на предложение капитулировать ответили пулеметы. Майор Вадель был тяжело ранен. Повстанцы отбили атаку.

Дом Маттеоти прислал вестового в штаб: «Больше не можем держаться. Пришлите подкрепление». Штаб отдал приказ повстанцам, которые держались в Доме Герты, пробраться к Дому Маттеоти. Но вестового тяжело ранили по дороге, и он не добрался до Дома Герты.

В штабе повстанцев царила полная растерянность: первоначальный план наступления был оставлен еще в понедельник. Теперь у вождей не было никакого плана. Отдельные группы рабочих наступали или отступали по указаниям своих непосредственных начальников. Главный штаб находился в районе, занятом правительственными войсками, и не мог сноситься с повстанцами. Многие из районных руководителей выказали малодушие или глупость. Начальник Мейдлинга отказался раздать рабочим оружие: «Я не хочу посылать людей на убой...» Начальник Флетцерштейга, вооружив рабочих, не захотел пойти на соединение с другими районами. Тогда рабочие побросали ненужное оружие.

К вечеру второго дня силы повстанцев начали ослабевать. Никто больше не сомневался в том, что битва проиграна. Но никто из повстанцев не думал о капитуляции. Один молодой рабочий в Доме Герты сказал товарищам: «Восстание подходит к концу. Но революция только-только начинается. Значит, мы должны драться до последней пули».

Несмотря на ряд одержанных побед, правительство переживало трудные моменты. Командиры отдельных воинских частей доносили, что солдаты измучены и требуют смены. Приходилось все время кидать в бой новые батальоны. Геймверовцы оказались трусами. Они держались в тылу, выполняя только «специальные» поручения: обыскивали дома, добивали раненых, глумились над пленными. Правительство обращалось к рабочим с воззваниями, полными лицемерного великодушия. Оно сулило «прощение обманутым». Оно прикидывалось другом рабочих. «Подумайте о том, что стало с вашими братьями в Германии. Национал-социалисты отнимут у вас ваши права». Чтобы прельстить рабочих, у Дольфуса нашелся всего-навсего один довод: он клялся в своих листовках, что Геринг страшнее Фея. Но рабочие не были склонны разбираться в душевных оттенках различных палачей. Ненависть к германским фашистам не могла им продиктовать любви к своему доморощенному фашизму. Тогда правительство выдвинуло свой главный козырь: социал-демократ Корбель, агент австрийской охранки, скинул маску. Он явился к государственному секретарю Карвинскому со следующим красноречивым заявлением: «Я, нижеподписавшийся, Эдуард Корбель, районный начальник дружин, заявляю, что я выхожу из социал-демократической партии в виду преступного поведения ее вождей. Я отдаю приказ дружинникам 6-го, 7-го, 13-го, 14-го, 15-го и 16-го округов, которые подчинены мне, немедленно сложить оружие». Социал-демократы в свое время выдали Корбелю семь тысяч шиллингов на покупку оружия. Мы не знаем, каков был гонорар, выплаченный г. Карвинским Корбелю за его лирическое произведение. Несмотря на французские займы, дела австрийского казначейства обстоят достаточно плохо, и надо полагать, что Корбель оказался сговорчивым.

Заявление предателя тотчас было передано по радио, напечатано в десятках тысяч экземпляров и разбросано по городу. Однако вряд ли нашлась сотня рабочих, которая вняла бы совету этого бесхитростного провокатора. Выбор был сделан еще в понедельник: среди повстанцев находились те, которых больше не пугала смерть.

Предатели, разумеется, нашлись, но они не могли сложить оружие: никогда в жизни они не держали винтовки. Это были не рабочие, но социал-демократические чиновники, испугавшиеся за насиженные места. Вожди социал-демократов провинции Каринтия, торопясь не опоздать и перебивая друг друга, повторили благородные слова Эдуарда Корбеля.

Повстанцы продолжали держаться. Среди них было много безработных. Вожди австрийской социал-демократии не раз отмахивались от безработных. Они уверяли, что эти люди деморализованы и не способны на борьбу. Конечно, среди безработных Вены нашлось немало малодушных, тех, что под пулями стояли в хвостах, дожидаясь выдачи пособий. Но разве не было таких же малодушных среди рабочих, которым удалось избежать тяжелого клейма безработицы? Тысячи безработных сражались в Вене, и, может быть, те жестокие уроки, которые им дало капиталистическое общество, эти годы голода, нищеты и отчаяния помогали коченеющим пальцам все еще не выпускать винтовки.

Осыпав рабочих предательскими листовками, вице-канцлер снова взялся за пушки. Он приказал пустить в ход 150-миллиметровые орудия. Когда восстание было подавлено, правительство пригласило иностранных журналистов осмотреть оружие, отобранное у повстанцев. Оно не показало им то оружие, которое оно пустило в ход против рабочих. Об этом можно пожалеть: я вижу любезные улыбки французских журналистов, которые смотрят на 150-миллиметровые орудия. Как известно, по мирному договору Австрия не имеет права обладать тяжелой артиллерией. Впрочем, поскольку эти пушки стреляли по рабочим, они оправдали свое назначение, и далекие от педантизма французские журналисты не захотели бы обидеть г. Фея чересчур щекотливыми вопросами.

Вечером повстанцы еще держались в нескольких домах, и правительство громило эти дома тяжелыми орудиями. Вице-канцлер стрелял из пушек в детей. Как форты, он бомбардировал спальни и кухни. Даже в 1934 году, когда буржуазия давно позабыла о своем ханжеском гуманизме, вице-канцлер счел нужным оправдаться если не перед венскими католиками, то хотя бы перед парижскими радикалами. Правительство прибегло к наивной и глупой выдумке: оно заявило, что дома рабочих были построены как крепости, «особым способом бетонированы» и снабжены «стратегически важными балконами». Это походило на бред, это, однако, было напечатано во всех серьезных газетах мира. Буржуазные архитекторы, которые строили в свое время рабочие дома и которые не хотели потерять других клиентов, отнюдь не пролетарского происхождения, выступили с протестом. Впрочем, этот протест был опубликован только через неделю после подавления восстания, когда так называемое «общественное мнение» Европы уже перестало интересоваться вопросом об артиллерийском обстреле обыкновенных жилых домов.

В домах расстреливали свои последние патроны измученные повстанцы. Сорок восемь часов без сна. Сорок восемь часов без еды. Забинтованные наспех раны. Трупы. Трупы женщин и детей. Ночь и настойчивый грубый грохот артиллерии. Борьба заканчивалась. Начиналась вторая эпопея: гибели. Нельзя было дольше помышлять о чудодейственном спасении. Что защищали эти отважные люди? Развалины? Свою пролетарскую честь? Давно забытые лозунги? Или мерещившуюся им где-то впереди победоносную революцию?..

Есть нечто роковое в этом образе рабочих, которые защищают от дальнобойных орудий тонкие стенки домов. В течение пятнадцати лет социал-демократы говорили рабочим об «обороне». Одной рукой они зарывали в землю пулеметы, другую руку протягивали «маленькому канцлеру». Это не было хитрой стратегией. Это было малодушием. Призывая рабочих к обороне, они думали, что дело закончится еще одной демонстрацией. Дело закончилось пробитыми стенами Дома Карла Маркса, пожарищем Флоридсдорфа и героями, стреляющими из винтовок в пушки.

6. СРЕДА

Природа отражала события с запозданием. В среду утром над Австрией пронеслась буря. В горах она заносила снегом последних повстанцев. В Вене она трепала волосы убитых женщин и белые лоскутья на домах. Человеческая буря тем временем спала. Только изредка еще раздавались орудийные залпы. Они напоминали жителям Вены, что несколько тысяч человек не захотели припасть к стопам великодушного канцлера.

В центре города возобновилась привычная жизнь, на два дня прерванная негодованием рабочих. Открылись ювелирные магазины и бары. В кафе вчерашние либералы восхваляли храбрость Вены и благородство Рима. Любители оперетки с тревогой спрашивали: «Когда же, наконец, откроются театры?» Красавицы с воистину любвеобильными глазами вздыхали: «Хорошо, если их всех перевешают!» Еврейские банкиры, не доверяя христианским чувствам геймверовцев, благоразумно отсиживались у себя дома. Но они искренне радовались победам г. Фея: Австрия расправилась с рабочими, не потревожив при этом «порядочных людей». Р. — ответственный сотрудник газеты «Нейе фрейе прессе» и непримиримый радикал, — придя в редакцию, воскликнул: «Ну и дела! Эти рабочие сошли с ума. Говорят, что в одной Вене тысяча убитых. Чорт знает что! На Гогенбергштрассе валяется... Кстати, ты знаешь, я встретил сейчас Бетти. Какие у этой девчонки ножки!» Приятель растерянно поглядел на журналиста. Но тот не смутился. Он ответил словами песенки: «Вена остается Веной» — и начал строчить очередную статью о «зверствах рабочих». Да, их Вена оставалась их Веной!

Рабочие, которые утром вышли на работу, проходили мимо трупов. Подстреленные во время уличных боев, валялись повстанцы или прохожие.

В некоторых местах полицейские вытащили трупы из домов и кинули их на мостовую: для острастки. Возле Дома Гёте лежали два трупа молодых рабочих. Над ними полицейские надписали: «Вот что делают с вами ваши вожаки».

Всю ночь со вторника на среду войска обстреливали Индийский дом. Там больше не было ни одного повстанца.

Но вице-канцлер, командовавший войсками, не хотел рисковать. Он предпочитал разрушить этот дом, где находились только злосчастные семьи рабочих. Утром какой-то храбрый старичок, решив пожертвовать собой, чтобы спасти еще уцелевших людей от смерти, выбежал к солдатам. Он махал полотенцем, привязанным к швабре. Тогда победоносные войска, наконец-то, решились вступить в дом. Вице-канцлер, удостоившийся во время войны высшего знака отличия — ордена Марии-Терезы, немало гордился этой исключительной победой. Его подчиненные внесли лестное предложение: «Отныне этот дом будет называться Домом Фея». Вице-канцлер поблагодарил и согласился.

Артиллерия все утро продолжала обстреливать Дом Карла Маркса. Повстанцы начали отступать. Возле одного из входов во двор двенадцать рабочих прикрывали отступление. Они сами вызвались на это, желая спасти своих товарищей. Их было двенадцать — и все двенадцать были убиты. Дом был занят войсками. Три часа спустя отряд повстанцев вышиб солдат из дома. Войска, получив подкрепление, ворвались во двор. Повстанцы еще отстреливались. Нигде в городе не было таких ожесточенных боев. На лестницах рабочие отбивались от солдат прикладами. Солдаты штыками приканчивали раненых. Они подымались по лестницам, и вместо ступенек под их ногами были тела рабочих.

В 12-м округе триста повстанцев сражались с солдатами. Бой шел на товарном вокзале, и вагоны служили прикрытием. П., раненный в живот, свалился. Товарищи хотели его подобрать. Тогда П. закричал: «Чорт бы вас побрал! Стреляйте! Не все ли равно, где мне умирать...» Бой длился три часа. Наконец силы повстанцев иссякли, и они отступили.

Дом Гёте еще держался. Тяжелые орудия были расставлены на берегу Дуная. В доме оставалось свыше тысячи жильцов, и среди них много детей. Они прятались в погребах. Некоторые в отчаянии пытались выбежать из дома. Но в монастыре, который расположен напротив Дома Гёте, сидели геймверовцы, и с равным усердием они стреляли и в повстанцев, и в женщин, и в детей. Над домом кружились полицейские самолеты, облегчая артиллеристам прицел. В семь утра войска послали повстанцам

ультиматум: сдаться в течение одного часа. Повстанцы ответили отказом. С двух часов пополудни до шести вечера длился ураганный огонь. От снарядов начался пожар. Носились по коридорам обезумевшие женщины. Один из повстанцев, увидев раненого ребенка, сорвал с себя рубашку и вывесил белый флаг. Потом он что-то крикнул — среди грохота никто не расслышал его слов — и выбросился из окошка.

Дольше всех держался Флоридсдорф. Повстанцы были измучены. Многие из них ничего не ели с понедельника. У безработных не было денег, но они не ворвались ни в одну лавчонку, ни в одну булочную. Отряд, в котором находилось пятьдесят безработных, купил вскладчину шесть хлебов. Эти шесть хлебов должны были накормить пятьдесят человек. Резкий, холодный ветер пробирался сквозь худые, рваные пальтишки.

В девять часов утра был очищен Северный вокзал. Повстанцы занимали Сад-город. Артиллерия начала громить домишки рабочих. Тогда повстанцы, не желая лишать крова своих братьев, ушли из Сад-города. Они теперь находились в Эдлезе. Артиллерия продолжала свое дело. Падали стены, и горели лачуги.

Около пятисот повстанцев держались на газовом заводе. Войска прислали ультиматум: «Если в течение двадцати минут мятежники не сдадутся, завод будет обстрелян артиллерией». Взрыв на газовом заводе означал гибель всех окрестных домов. Рабочий Д. сказал: «Мы сами готовы умереть. Но надо подумать о других...» Повстанцы решили очистить завод. Начальник отдал последний приказ: «Кто хочет пробиваться с оружием в руках, пусть следует за мной. Но предупреждаю — это верная гибель. Остальные пусть бросят оружие — спасайся, кто может!»

На завод ворвались полицейские. Они били рабочих прикладами. Шесть человек были убиты неподалеку от завода.

Полицейские обыскивали дома Флоридсдорфа. Они ломали скудную мебель. Они глумились над запуганными женщинами. Мужчин они уводили с собой, крича: «Мы проучим этих красных мерзавцев!»

Особенное рвение проявили те полицейские, которых рабочие обезоружили в первый день восстания. Они как

бы мстили повстанцам за их великодушие. Они разыскивали «зачинщиков», и, увидев рабочего Ш., который накануне спас им жизнь, три полицейских накинулись на него и, повалив его наземь, начали сапогами бить его по лицу.

Рабочий П. взял в руки деревянную лошадку; это была игрушка его трехлетнего сына. Он сам не понимал, почему он это делает. Он вышел на улицу с игрушкой, и деревянная лошадка спасла его. Солдаты в изумлении посмотрели на человека, который шел среди развалин и трупов с деревянной лошадкой в руках, и они его пропустили.

В одном из домов слесарь М. продолжал отстреливаться. В комнате было несколько винтовок, оставленных повстанцами. М. стоял у окна и стрелял. Вдруг он тихо вскрикнул и упал на пол. Его жена, которая пряталась в коридоре, вбежала с воплями. Полицейские начали ломать забаррикадированную дверь. Тогда три сына слесаря схватили винтовки и начали стрелять. Старшему было шестнадцать лет, младшему десять. Полиция дала несколько залпов по окну. Когда дверь была, наконец-то, взломана, в комнате валялись тела. Слесарь и два его сына были убиты, жена и третий сын тяжело ранены. Об этом маленьком происшествии во Флоридсдорфе можно написать большую книгу. Можно также рассказать об этом коротко и жестко: десятилетний Карл, который еще любил дешевые леденцы и детские проказы, умер, как умерли сотни и сотни рабочих Вены.

7. ПЕРВАЯ ВИСЕЛИЦА

Вице-канцлер не знал ни отдыха, ни покоя. Он победил рабочих. Но его ждали новые труды: он должен был отомстить «красным негодяям». Еще гремели пушки в Флоридсдорфе, а во дворе суда уже сколачивали виселицу. Палач Вены был отослан в Линц. Пришлось нанять нового, — разумеется, приверженца «Патриотического фронта». Зато о судьях не приходилось беспокоиться: судей в Вене хватало.

Первым судили безработного Мюнихрайтера. Во время боя возле Дома Реймана он был ранен в руку и в бедро.

Пуля расщепила ему кость, и он свалился, потеряв сознание. Его подобрали полицейские. Они его кинули в темную камеру. Иногда он приходил в себя и кричал от боли. Это было в понедельник. Вице-канцлер не хотел медлить, и в среду Мюнихрайтера на носилках потащили в суд. Адвокат попробовал было заикнуться о тяжелых ранах подсудимого. Председатель ответил, что препятствием к судебному разбирательству может служить тяжелая болезнь подсудимого, но никак не тяжелые раны. Полицейский врач признал, что Мюнихрайтер «способен предстать перед судом». Врач, разумеется, был прав. Мюнихрайтер не мог стоять на ногах. Он не мог и шелохнуться. Но у него еще была шея, и, следовательно, его можно было повесить. Судьи торжественно расселись по местам. Председатель сказал: «Подсудимый, встаньте!» Мюнихрайтер ничего не ответил, и председатель сделал вид, что не замечает поведения подсудимого. Из раны Мюнихрайтера продолжала сочиться кровь. Может быть, запах крови и дошел до судей, до адвокатов, до развязных писак, которые представляли здесь «свободную прессу», но он никак не смутил их. Они ведь знали, зачем они собрались сюда. Мюнихрайтер тихо промолвил — он не мог сказать громче, у него не было сил: «Я сделал то, что мог. Я боролся. Я готов умереть за дело рабочего класса». Тогда председатель раздраженно махнул рукой и прочел приговор: «Присуждается к смертной казни через повешение». Он пошептался с секретарем. Может быть, он спросил секретаря, готова ли виселица? Потом он объявил, что Мюнихрайтер будет повешен ровно через три часа, и, сказав это, важно удалился.

Мюнихрайтеру было сорок пять лет. Это был невысокий худой человек. Его лицо хранило следы многолетних лишений. Он на себе испытал, что такое безработица. Он состоял в подпольной левой «оппозиции» социал-демократов, и районные вожди не то в шутку, не то с опаской звали его «большевиком». Когда его притащили к виселице, собравшись с силами, он крикнул: «Скоро вам крышка! Да здравствует рабочая власть!» На следующий день репортеры написали в своих газетах: «Слов нет, этот убийца умер храбро, но перед смертью он все же оскорбил присутствовавших грубой марксистской бранью».

Как вороны, почуя поживу, слетелись в Вену представители буржуазных газет всего мира. Они прилежно заносили правительственные басни на телеграфные бланки. Особенное усердие проявили французы. Они забыли даже о том, что г. Дольфус изменил парижским банкирам ради римского солдатья. Они помнили только о широте и любезности своих австрийских хозяев. Кто знает, сколько франков, полученных в свое время г. Дольфусом, вернулось в Париж? Здесь был и верный друг румынской сигуранцы г. Жео Лондон, и писатели братья Таро, которые, прославив сначала Хорти, а потом Гитлера, поспешили прославить маленького Дольфуса. Журналисты слали телеграммы в Париж, в Рим, в Лондон. Они сообщали о «домах-крепостях», о рабочих, которые грабят магазины, о повстанцах, которые прячутся за спинами женщин.

Вот вся эта веселая братия сидит в бюро прессы. Им сообщают о первом смертном приговоре. Аккуратный англичанин смотрит на часы и говорит: «Я позвоню вам ровно через три часа, чтобы проверить, действительно ли он повешен».

8. ЭПОПЕЯ БРУКА

В Бруке тысяча повстанцев защищала холм над городом. Правительственная артиллерия находилась на горе рядом с часовней. Валлиш решил ударить войскам в тыл. Шестьсот человек остались на холме, а четыреста, под предводительством Валлиша, отправились в путь по горам. Они тащили на себе пулеметы и патроны. У них не было провианта. Они поднялись на высоту тысячи четырехсот метров. Они шли по глубокому снегу, завязая в нем и падая. Рядом с Валлишем шла его жена. Они шли, не останавливаясь, восемь часов. Против них были посланы солдаты на лыжах. Повстанцы отбили атаку. Началась снежная метель. Была ночь, а повстанцы все шли и шли.

В ночь со среды на четверг к ним пришел вестовой от семисот рабочих. Он рассказал, что сопротивление сломлено и что рабочие расходятся по домам. Он сообщил также, что в Вене все кончено. Тогда Валлиш сказал своим дружинникам: «Спасайтесь и вы. Если вас поймают

со мной, вам будет плохо». Он простился с товарищами и ушел. С ним пошла его жена.

Правительство объявило награду в пять тысяч шиллингов за голову Валлиша. Это была толика тех франков, которые дали г. Дольфусу французские радикал-социалисты. Щедрость австрийского правительства объяснялась славой, которой был окружен Валлиш во всей Штирии. О нем говорили не как о партийном чиновнике, но как о бесстрашном защитнике всех угнетенных. Это походило на старые песни о благородных разбойниках, которые мстили богатым за горе бедных.

Валлиш хотел пробраться до границы Югославии. Товарищи достали автомобиль. Но нашелся человек, которого прельстили пять тысяч шиллингов. Это был железнодорожный служащий. Кто в Штирии не знал Коломана Валлиша?.. И, опознав беглеца, доносчик блаженно улыбнулся: он уже видел связку кредиток. Он побежал к телефону и вызвал жандармов.

Когда Валлиша судили, здание суда походило на крепость: судьи явно трусили. Они поставили возле ворот не только пулеметы, но даже пушки. Валлиша привезли, закованного в цепи. Очевидцы рассказывают, что на суде он мало говорил. Он только внимательно глядел на судей, и судьи отворачивались. «Последнее слово принадлежит вам», — сказал председатель. Валлиш посмотрел на него в упор и сказал: «Я боролся за дело рабочих. Вы меня поймали. Значит, вы должны меня повесить. Я знаю, что меня ждет, и нечего об этом разговаривать. Но знаете ли вы, что вас ждет, когда, наконец-то, победят рабочие?..»

Приговор должен был быть приведен в исполнение через три часа. Это были тяжелые часы и для судей, и для жандармов, и для палача. Кто знает, почему они так боялись этого закованного в цепи человека? Его поволокли к виселице в цепях. Он умер стойко и просто.

Железнодорожный служащий, слюнявя пальцы, считал ассигнации. Он сказал своему приятелю: «Я выиграл несколько шиллингов — вроде как лотерея».

Во всех городах и поселках Штирии рабочие говорили друг другу: «Они повесили Валлиша». И в том, как они произносили это слово «они», была разгадка той дрожи, которая пробирала судей, жандармов и палача. Услышав

разговор двух рабочих на станции, железнодорожный служащий побелел от страха. Он зарыл деньги в палисаднике. Он не спал несколько ночей. Потом? Потом пришел рабочий и застрелил предателя. Это было ровно через десять дней после казни Коломана Валлиша.

9. КОГДА БУРЖУАЗИЯ ПОБЕЖДАЕТ

В четверг бои кончились. Прохожие поспешили украсить себя красно-белыми значками «Патриотического фронта». Это было далеко не излишней предусмотрительностью: полицейские хватали «подозрительных» людей, отводили их в участок и там избивали. Изредка раздавались выстрелы. Но трупы были убраны с мостовых, и правительство заявило, что через два дня откроются все театры.

Венцы шопотом повторяли страшные цифры. Никто не знал в точности, сколько человек убито. Вице-канцлер, преисполненный авторской скромностью, заявил, что представители законной власти убили всего-навсего двести человек. Но этому не поверили даже французские журналисты. Считалось благоразумным на соответствующие вопросы отвечать скорбной улыбкой. Кое-кто, однако, проговаривался. Заведующий анатомическим театром признался, что через его заведение прошло не менее шестисот трупов. Врач одного из госпиталей упомянул об одиннадцати ребятах, скончавшихся от ран. Сторож еврейского кладбища рассказал, что в течение двух дней рабочие вырыли семьдесят могил. Хоронили далеко не всех убитых. Многие из обывателей видели, как полиция скидывала трупы в Дунай и в каналы. Ни жены, ни матери, ни дети убитых не знали, что стало с телами их близких. Одни говорили, что их держат в погребах мертвецкой. Другие уверяли, что трупы тайком зарыты в общую могилу. Вице-канцлер хотел мстить даже мертвым.

Несколько огромных помещений были отведены для содержания арестованных. Однако места в них нехватало. Три тысячи рабочих и служащих были загнаны в казармы. Среди них было много женщин. Арестованных морили голодом. Время от времени их методично избивали.

Одни из геймверовцев выворачивали челюсти, другие предпочитали ломать ребра. Истязали арестованных не только трусливые герои князя Штаремберга. Полицейские считали себя победителями: они рисковали своей шкурой, они хотели теперь воспользоваться законной наградой. Это было соревнованием истязателей.

В тюремный госпиталь полицейские привезли тяжело раненного рабочего, по имени Коль. В его карманах нашли патроны. Тюремный врач угрюмо сказал: «Коек нехватает...» Полицейские поняли и здесь же прикончили раненого.

Одна высокопоставленная дама разыскивала своего племянника, который пропал в дни уличных боев. Она объезжала различные места, где находились арестованные. В Мессепалас ей предложили сквозь верхнее окошечко осмотреть подвал: может быть, она опознает своего племянника. Дама подошла к оконцу и зашаталась. Предупредительные полицейские усадили ее на скамью и принесли ей стакан воды. Она вскоре открыла глаза, посмотрела на полицейских и сказала: «Почему у них на лице кровь?» Полицейские ничего не ответили.

Арестованные простояли несколько дней: не было места, чтобы лечь. Один рабочий от побоев лишился рассудка. Когда его выпустили, он молчал. Он зашел в чужой дом, поднялся по лестнице на пятый этаж, а оттуда прыгнул вниз. У рабочего З. после побоев вытек глаз. Надо ли удивляться, что кардинал Иннитцер с утра до ночи молился за здоровье христолюбивого вице-канцлера?..

Для соблюдения законности некоторых не забивали насмерть, но вешали. Судьи, однако, старались ничем не отличиться от полицейских: они тоже «отводили душу». Вот судят рабочих, которые защищали Дом Реймана. Распухшие от побоев лица, закрывшиеся глаза, кровоподтеки. Один из подсудимых заявляет председателю: «Я, да и все наши были избиты и изувечены». Председатель суда г. Байер говорит: «Я надеюсь, что каждый удар попал в цель».

Палач не знал устали. Один за другим следовали смертные приговоры. Подсудимые не каялись и не просили милости. Сапожник Шварц, один из защитников Дома Гёте, слушая речь прокурора, улыбался. Председатель

сказал Шварцу: «Почему вы смеетесь? Ведь речь идет о вашей голове». Шварц ответил председателю: «Вот поэтому я и смеюсь — у меня ведь всего-навсего одна голова...»

Когда судили начальника пожарной дружины Георга Вейзеля, председатель суда, желая показать, что и он способен на человеческие чувства, сказал английскому журналисту: «Этот Вейзель действительно герой...» Сказав это, председатель удовлетворенно усмехнулся: он знал, что палач уже подбирает для героя веревку покрепче.

Вейзель был инженером. Как и Мюнихрайтер, он состоял в «левой оппозиции» социал-демократической партии. Он поддерживал связь с рабочими-коммунистами. Он не был ни митинговым оратором, ни теоретиком. Это был скромный и тихий человек, переживший тяжелое детство. Он учился на крохи и с ранних лет узнал нужду. Никто из товарищей не догадывался, что в застенчивом инженере живет душа героя. На суде он думал об одном: как бы спасти пожарных. Вейзель показал, что он насильно заставил пожарных сражаться. «Я грозил им револьвером, если они не будут стрелять». Это был не подсудимый, но защитник. О себе он не думал: он хорошо знал, что его ждет. Он только сказал, что верит в правоту своего дела и в победу социализма. Он отстоял своих товарищей: им дали долгосрочные каторжные работы. Его же выдали палачу.

Одних подсудимых судьи приговаривали к виселице, других к каторге. Они поняли свое назначение и не оправдали ни одного человека. В законах старой Австрии немало иезуитской жестокости. Читая приговор, судья напоминал присужденному к вечной каторге, что всякий раз в годовщину совершенного им «преступления» или, говоря иначе, в годовщину восстания его будут сажать в темный карцер на хлеб и на воду.

Французским радикалам и английским гуманистам стало несколько не по себе: виселица в той самой Австрии, которая по отзывам европейской печати является оплотом «свободы и независимости», становилась неудобной деталью. Посланники сделали Дольфусу дружественные представления. Дольфус публично обещал больше не вешать повстанцев. Это было распубликовано во всех газетах. Два дня спустя палач в Линце накинул петлю на шею очередного рабочего. Дольфус, однако, разъяснил, что этот

рабочий повешен не за участие в восстании, но за убийство, так как он «стрелял в полицейских». Французские радикалы и английские гуманисты облегченно вздохнули.

Правитель Венгрии Хорти с нескрываемым восторгом читал телеграммы из Вены. Они его молодили. Невольно вспоминались те незабываемые дни, когда венгерские магнаты сводили свои счеты с рабочими. Хорти отправил вице-канцлеру Фею высший знак отличия. Это было, разумеется, глубоко дипломатическим актом, Хорти подчеркивал возможность тесного объединения двух государств. Это было также свидетельством профессиональной солидарности.

Председатель венского «общества покровительства животным» г. Купка открыл годичное собрание. На этом собрании было постановлено выпустить серию открыток под названием «пляска смерти». Открытки должны открыть кампанию протеста против боя быков и других видов дурного обращения с животными. Пожалев несчастных быков, которые понапрасну гибнут в Кастилии, собрание постановило выбрать милосердного вице-канцлера Фея почетным председателем общества.

Сорока девяти усмирителям устроили торжественные похороны. Посольства спустили флаги, и газеты вышли в траурной кайме. Представители правительства произнесли трогательные спичи. Вице-канцлер Фей поблагодарил всех, кто «воспрепятствовал утверждению в центре Европы советской диктатуры». Это относилось и к мертвым жандармам, и к благополучно работающим палачам, и к мудрым итальянцам, которые помогли «маленькому канцлеру» с помощью гаубиц, блиндированных поездов, самолетов и броневиков одержать победу над австрийскими рабочими.

«Союз домовладельцев» решил отпраздновать победу над рабочими: он постановил разукрасить все дома национальными флагами.

Ребята графа Штаремберга резвились в ночных кабаках. Одно только смущало их: у них не было рубашек. Не следует это понимать буквально, — рубашки у них, разумеется, были, даже хорошего качества: буржуазия умеет

оплачивать мелкие услуги. Но у геймверовцев не было цветных рубашек, а без них порядочным фашистам стыдно теперь показаться на люди. Черный, коричневый, даже голубой цвета были уже разобраны. Белошвейки Вены принялись шить второпях тысячи зеленых рубашек.

Главный раввин Австрии г. Фейхтванг приказал банкирам Моисеева закона, во-первых, поблагодарить господа бога за ниспосланную им победу над рабочими, во вторых — выписать несколько крупных чеков для семейств «павших героев».

Возле разрушенных домов останавливались прекрасные автомобили, и любопытные дамы, никогда дотоле не бывавшие в рабочих кварталах, обозревали развалины. Дамочки были сердобольными, и они искренно жалели полицейских: «Поглядите: из этих крепостей марксисты стреляли в народ!..»

Автоматические часы показывали: без пяти минут двенадцать. Часы остановились в понедельник, их еще не успели исправить. Впрочем, беспечные дамы не были склонны оценить всю иронию циферблата.

Каждый день кончали с собой семьи погибших рабочих. Отравились газом мать и четверо детей во Флоридсдорфе. Повесилась жена убитого токаря в Майдлинге. В Линце рабочий, которого должны были арестовать, бросился под поезд.

Правительство не только разгромило профсоюзы и кооперативы; в списке организаций, представляющих опасность для государства, значилось также: «Клуб рабочих футболистов», «Рабочий шахматный кружок», «Рабочее певческое объединение» и даже «Союз владельцев маленьких садиков и кролиководов».

Вице-канцлер указал на необходимость очистить дома, построенные городским управлением, от «марксистских элементов». Было решено вселить в рабочие дома парней из геймвера и штрейкбрехеров из «Патриотического фронта».

В воскресенье, 18 февраля, когда венская буржуазия успела уже позабыть о пережитых ею тревогах, когда декреты об осадном положении и о виселицах уступили место театральным афишам — «Балу в Савое», «Мы хотим

мечтать» и «Девушке с темпераментом», — возле Дома Реймана к отряду геймверовцев подошли несколько рабочих. Раздались выстрелы. Один геймверовец свалился на землю. Это было последним отголоском февральских дней.

10. НАЧАЛО НОВОЙ ГЛАВЫ

Рабочие Австрии проиграли битву. У них было много отваги, но у них не было ни настоящей боевой организации, ни опытных вождей, ни политической мудрости, ни стратегического плана. Социал-демократические лидеры правы, заверяя, что бой был принят ими против воли. Они согласны были на капитуляцию. Они хотели сохранить не оружие, но погоны: право в фашистском государстве именоваться социал-демократами, и в этом праве Дольфус им отказал. Тогда перед социал-демократами осталось на выбор: либо пасть ниц, как это сделали их германские собратья, либо защищаться.

Я знаю, что многие социал-демократы проявили в февральские дни подлинное мужество. Они не боялись смерти. Но победы они боялись. Когда они взялись за оружие, всем стало ясно, что они способны только на партийные регистрации или на парламентские голосования. Они не решились взорвать железнодорожные мосты, хотя у них был динамит. Они не реквизировали провиант для повстанцев. Они не заняли ни одной типографии. Зная наперед кровожадность своих противников, они не взяли заложников. Это были не только штатские на поле брани, это были присяжные миролюбцы, толстовцы, вегетарианцы в роли бомбометателей и фельдмаршалов. Каждый из социал-демократов, принявший участие в восстании, спас свою личную честь. Все скопом, они не спасли чести своей партии.

Кровь повстанцев не пролилась даром. Для рабочих всего мира февральские дни в Австрии — это начало новой главы. Когда германский пролетариат, обессиленный и долголетним голодом, и частыми разрозненными вспышками, и низким предательством различных Лебе, без боя очистил позиции, рабочий мир пережил тяжелую минуту. Фашисты повсюду наступали. Они чувствовали себя госпо-

дами положения. Они не верили в отпор. Рабочие нуждались в высоком примере, в эпопее мужества, в романтике борьбы, в напоминании о том, что пролетарии умеют и драться один против десяти, и штурмовать вражеские позиции, и умирать, как умерла Коммуна, и побеждать, как победила Москва. Двенадцать рабочих в Доме Карла Маркса погибли, прикрывая собой отступление. Много и много сотен австрийских рабочих погибло, но своей смертью они открыли возможность наступления.

Инженер Георг Вейзель, вождь пожарных Флоридсдорфа, когда его подвели к виселице, воскликнул: «Да здравствует революция! Да здравствует Советский Союз!»

1934

ИСПАНИЯ

1. «ОСЕЛ, ИДИ!»

Камни, рыжая пустыня, нищие деревушки, отделенные одна от другой жестокими перевалами, редкие дороги, сбивающиеся на тропинки, ни леса, ни воды. Как могла эта страна в течение веков править четвертью мира, заполняя Европу и Америку то яростью своих конквистадоров, то унылым бредом своих изуверов? Большое безлюдное плоскогорье, ветер, одиночество. Пустая страница; только на полях ее, на узких склонах, ведущих к морям, вписала природа зеленые пастбища Галисии или сады Валенсии. Страна, о которой мечтают уроженцы севера, как о потерянном рае, — неприютная и жесткая страна. Ее красота заведомо трагична, а простое довольство становится в ней историческим преступлением.

Люди жадные и неусидчивые давно покинули Испанию. От былой жизни они сохранили только язык, и на кастильском языке беседуют друг с другом короли бисмута или нитрата, нефтяники Венецуэлы и старатели Колумбии, продувные президенты и блистательные сутенеры.

Те, что остались, любят эту землю. Крестьяне Кастилии или Галисии, обезумев с голоду, взбираются на палубы огромных пароходов, но из пестрой и шумной Америки неизменно возвращаются назад. Они едят там мясо, щеголяют в желтых ботинках, но они возвращаются назад в глухие деревушки, где длинны вечера без светильника, длинны годы без праздника, годы натощак. Из Нового Света они не привозят ни любви, ни сбережений.

Где только не живут здесь люди! На верхушке горы, среди ветров и буранов дрожит злосчастная хижина: малое человеческое тепло борется с суровой зимой Леона. В Альмерии или возле Лорки иногда несколько лет сряду не бывает дождя — растрескавшаяся злая земля, рыжий туман, зной, голод, а среди трещин ютятся люди; они все ждут и ждут дождя. В Гуадисе люди живут в пещерах, это кажется справкой об иной эре, но это обыкновенный уездный город, тихий и нищий, где за пещеры надо платить пещеровладельцу — помесячно. В долинах Урдеса земля ничего не производит, это заведомо гиблый край, века он был отрезан от Испании. Недавно провели дорогу, люди могут уйти оттуда, но нет, они не уходят. Цепок человек в Испании, и трудно его выкорчевать.

Да, конечно, в Валенсии золотятся знаменитые апельсины, в Аликанте вызревают финики, прекрасны ставшие поговоркой сады Аранхуэса и академичны достоуважаемые виноградники Хереса. Но все это только описки, только богатые предместья большого и нищего города.

Горы, перевалы, камни, пустая дорога. Вот показалась смутная тень — крестьянин верхом на осле. Я не знаю ничего суровей и величественней, нежели пейзаж Кастилии. Это стройка природы: торчат стропила, разбросаны камни, — мир здесь еще не доделан. Можно только угадать горделивый замысел зодчего. Человеческое жилье, редкое и непонятное, входит в землю. Оно прячется, как насекомое, от любопытного взора, оно одного цвета с камнями, оно пугливо к ним жмется. Все желто-серое, серное, порой рыжее.

Крестьянин верхом на осле. Он выехал рано утром. На его плече волосатое одеяло. Сейчас из ущелья налетит ледяной ветер: близка ночь. Осторожно перебирает ногами терпеливый ослик, у него крохотные ноги, но они давно привыкли к непостижимым пространствам. Далеко до стойла. Все холодней и холодней. Человек говорит: «Burro, arre!» Это звучит воинственно и громко, потрясает своим «ррр». В переводе это значит: «Осел, иди!» Это не окрик и не приказание — осел послушно идет. Но скучно, сиротливо человеку в этакой пустыне, он едет час, два, три, он едет весь день, и вот он говорит с ослом — человеку надо

с кем-нибудь поговорить. Долго и неотвязно он повторяет: «Осел, иди!» Осел не отвечает, он только исправно переставляет ножки. Холодно! Человек развернул одеяло и закутался в него, как в саван. Стемнело. Только силуэт виден — причудливая тень, рыцарь в плаще на маленьком ослике. Горная тишина и все то же причитанье: «Осел, иди».

Появление Мадрида кажется дурным театральным эффектом. Откуда взялись эти небоскребы? Среди пустыни сидят изысканные «кабальеро» и, попивая вермут, обсуждают, кто витиеватей говорил вчера в кортесах: дон Мигуэль или дон Александро?.. Они окружены ночью и камнями. По камням движутся тени, и как пароль звучит: «Осел, иди!»

2. НЕБОСКРЕБ И ОКРЕСТНОСТИ

Испанцы любят утверждать, что в их стране можно увидать различные эпохи — они отлегли пластами, не уничтожив одна другую. Это верно для историка искусства, однако если интересоваться в Испании не только соборами, но жизнью людей, встают хаос, путаница, выставка противоречий. Прекрасное шоссе, по нему едет «испано-суиза», — самые роскошные автомобили Европы, мечта парижских содержанок, изготовляются в Испании. Навстречу «испано-суизе» идет осел, на нем баба в платочке. Осел не ее, ей принадлежит только четверть осла, — это приданое, осел — достояние четырех семейств, и сегодня ее день. Вокруг чахлое поле, девка тащит деревянный плуг. Приезжему это может показаться постановкой для киносъемки, археологической реконструкцией, но красавец кабальеро, который развалился в «испано-суизе», не удостаивает девку взглядом, — он знает: это — быт.

Кабальеро отдыхал в Сан-Себастьяно; там прелестные актрисы из Парижа и «баккара». Теперь пора за работу! Сегодня акции «Сальтос Альберче» котировались — 76... Вот и Мадрид! Гран Вия. Небоскребы. Здания банков этажей по пятнадцати каждое, на крышах статуи: голые мужчины, вздыбленные кони. Электрические буквы

носятся по фасадам. Освещенные ярко таблицы гласят: «Рио-Плата 96... Альтос-Орнос 87...» Внизу под таблицами копошится фауна Мадрида: все безногие, слепые, безносые, паралитики и уроды Испании. Те, у кого осталась рука, сидят часами, не двигаясь, с раскрытой ладонью, безрукие протягивают ногу, слепые стонут, немые трясутся. Развернуты тряпки, струпья, язвы, гнилое мясо. А наверху гранитные мужчины гордо придерживают бронзовых жеребцов.

На Гран Вие светло и шумно. Сотни продавцов выкрикивают названия газет, названия высоко поэтические: «Свобода» или «Солнце». В газетах передовые перья пишут о философии Кайзерлинга, о стихах Валери, об американском кризисе, о советских фильмах. Кто знает, сколько среди этих продавцов вовсе неграмотных... Сколько полуграмотных среди блистательной публики? Одеты кабальеро, слов нет, наславу. Какие платочки! Какие ботинки! Нигде я не видал таких франтоватых мужчин. Надо здесь же добавить, что нигде я не видал столько босых детей, как в Испании. В деревнях Кастилии или Эстремадуры дети ходят босиком — в дождь, в холод. Но на Гран Вие нет босых, Гран Вия — широкая большая улица. Направо и налево от нее — глухие щели, темные дворы, протяжные крики котов и ребят.

В каждом маленьком городишке Испании целая армия чистильщиков сапог — блеск неописуемый. Бань, однако, нет. Это не от любви к грязи, испанцы — народ чистоплотный, — нет, это от путаницы: старый быт разложился, новый не придуман. Какие-то ловкачи успели построить, неизвестно зачем, дюжину небоскребов, но в обыкновенных жилых домах ванн не имеется: об этом никто не позаботился.

В путеводителе потрясает богатство поездов: кроме «скорых» и «курьерских», имеются «роскошные», даже «сверхроскошные». Но проехать из Гранады в Мурсию не столь просто. Это два губернских города, между ними примерно триста километров, один поезд в день, дорога длится пятнадцать часов, поезд отнюдь не «сверхроскошный» — темные вагончики, готовые развалиться. Бадахос

и Касерес — главные города Эстремадуры, сто километров, один поезд в день, восемь часов пути.

Возле Саморы строят электрическую станцию «Сальтос дель Дуэро». На скалистых берегах Дуэро вырос американский город: доллары, немецкие инженеры, гражданская гвардия, забастовка, чертежи, цифры, полтора миллиона кубических метров, энергия — за границу, выпуск новых акций, огни, грохот, цементные заводы, диковинные мосты, не двадцатый, но двадцать первый век. В ста километрах от электрической станции можно найти деревни, где люди не только никогда не видели электрической лампочки, но не имеют представления об обыкновенном дымоходе.

В каждом городе — государственное бюро для туристов. На стенах пестрые афиши, в шкапах солидные папки, проводники одеты в затейливые мундиры с флажками. У нас превосходные гостиницы, у нас дивный климат, у нас художественные ценности!.. Всем известно — Испания страна искусств: что ни дом, то музей. Показывая туристам старые церкви, проводники не довольствуются эстетическими восторгами; они знают, как ошеломить пивоваров из Нюрнберга или «французика из Бордо»: посмотрите на эту епитрахиль, драгоценные камни, миллион пезет! Золотые сосуды в Бургосе — полтора миллиона!.. На богоматери Валенсии ожерелья и безделки — два миллиона, сантим в сантим!.. Туристы богомольно вздыхают. В Саморе туристам показывают романскую часовню. Надо пройти через большую сборную: детский приют. Час обеда: двести ребят. Командуют монашки. При виде «господ» перепуганные дети встают. Это дети нищеты. Это также дети деревенских кюре, которые плодотворно «утешали» своих злосчастных служанок. Одеты дети в нелепые рваные власяницы. Из ржавых мисок они хлебают баланду — вода и горох. Если возмутиться, проводник объяснит: бедная страна, нет средств... Вот сюда!.. Направо... Статуя богоматери, шкатулка с изумрудами, коллекция ковров, четыреста тысяч!..

В кортесах обсуждают вопрос о разводе. Радикалы и социалисты стараются затмить друг друга. Цитаты из Уэллса, даже из Маркса. Дома отважных депутатов ждут их законные супруги. Они попрежнему послушно береме-

неют и нянчатся с детьми. Попрежнему они проводят дни в гареме. Мужья перед ними не цитируют Маркса.

В Бадахосе, когда в «казино» входит дама, почтенные посетители встают: это «народ рыцарей». В Бадахосе, как и в других городах Испании, «рыцари» дома от поры до времени лупят своих дам: и галантность и побои равно входят в быт.

Никогда в Испании не следует доверять вывескам. «Религиозная книготорговля» — в окне «Капитал», повести Коллонтай, «Дневник Кости Рябцева». Лавка социалистического кооператива — в окне гипсовые статуэтки: святая Тереза и пасхальный барашек. «День всех мертвых» в деревушке Санабрии. Толпа стоит на морозе несколько часов. Свечи. Молитвы. Средневековье. Помолившись вдоволь, крестьянин садится на осла. Осел упрямится. Тогда молельщик кричит: «Начхать мне на деву Марию!» (Собственно говоря, он кричит не «начхать», но точный перевод его изречения неудобен для печати.) Он не очень-то верит в воскресенье мертвых. Зато он твердо верит, что если хорошенько обругать деву Марию, осел пойдет дальше. В Севилье во время крестного хода набожные прихожане ссорятся, — чья богоматерь лучше? Один кричит другому: «Моя богоматерь действительно богоматерь, а твоя попросту шлюха!..» В мае этого года испанцы сожгли сотню церквей. Остались десятки тысяч несожженных. Педро Гонсалес в пятницу был с теми, что подожгли церковь святого Доминика; в воскресенье по привычке, а может быть и со скуки, он побрел в уцелевшую церковь святого Бенедикта.

В Испании сколько угодно передовых умов. Они знают все: и программу харьковского конгресса писателей, и парижских «популистов», и последнюю картину Эйзенштейна. Они не знают одного: своей страны. Они не знают, что у них под боком не «сюрреализм», не пролетарская литература, не парижские моды, но дикая и темная пустыня, деревни, где крестьяне с голодухи воруют желуди, целые уезды, заселенные дегенератами, тиф, малярия, черные ночи, расстрелы, тюрьмы, похожие на древние застенки, вся легендарная трагедия терпеливого и вдвойне грозного в своем терпении народа.

3. «ИНДИВИДУАЛИСТЫ»

Мадрид встает поздно. В десять утра заспанные приказчики, позевывая, раскладывают товары. Утреннюю почту приносят в одиннадцать. В министерствах и в одиннадцать ни души: разве что курьер да просители из провинции. Исправные чиновники приходят часам к двенадцати; а так как Мадрид — это город чиновников, то можно сказать без натяжки, что жизнь Мадрида начинается в полдень.

Каждый испанец с высшим образованием презирает дисциплину и государство. «У нас коммунизм немыслим, мы не русские, мы индивидуалисты!..» Так говорит сеньор Леррус, так говорит и любой начинающий адвокат. Все они за свободу творчества и против государства. Это никак не мешает им мечтать об одном: как бы попасть на государственную службу. Все кабальеро либо чиновники, либо неудачники, которые спят и во сне видят кресло канцелярии.

Для иностранца Испания — экзотика; он ухитряется сделать из обыкновенной работницы табачной фабрики мечту всех бабников не только парижских, но даже харбинских. Он может и мадридского чиновника изобразить безумцем в плаще. На самом деле мадридский чиновник отличается от лондонского только тем, что проводит в канцелярии не восемь часов, а два часа, и что в эти часы он занят не нуждами государства, а либо вздохами по поводу дуро, проигранного вчера в карты, либо смелыми планами: как бы извлечь дуро из кармана робкого провинциала, который ходатайствует о пенсии.

После апрельского переворота нельзя было проникнуть ни в одно министерство: толпа осаждала министров. Это были не революционеры с грозными ультиматумами, но вежливые просители: они рассчитывали получить место. Все те, что мечтали о кресле канцелярии, стали тотчас яростными республиканцами. Они, видите ли, не служили прежде только ввиду их непримиримых убеждений. Но теперь они согласны послужить республике... Узнав, что прежние чиновники не увольняются и, следовательно, вакансий нет, просители искренно возмутились: какая же это революция?..

Кроме чиновников, в Мадриде немало адвокатов. По статистике их около семи тысяч. Адвокаты, конечно, занимаются всем, чем угодно, кроме адвокатуры, но адвокатом стать легко, это ни к чему не обязывает, и «abogado» на визитной карточке звучит если не гордо, то вполне пристойно.

Как чиновники, так и адвокаты в своем большинстве люди блистательные, но с познаниями весьма ограниченными. Они знают назубок подвиги того или иного «торреро»; они умеют при виде встречной сеньориты сказать что-нибудь поэтичное, например: «Красотка, я умираю от страсти»; они, наконец, разбираются в политических тонкостях — они понимают, что с карточкой от сеньора Марча нельзя пойти к сеньору Прието. Этим их познания ограничиваются. Один адвокат, чиновник министерства юстиции, искренно изумился, узнав, что существует страна Голландия, — он, оказывается, слышал такое слово, но думал, что это горная цепь. Другой адвокат далеко не тверд в таблице умножения. Третий (он теперь состоит государственным адвокатом в Касересе) спрашивал меня, все ли «правит Россией» Ленин, и никак не хотел поверить, что Ленин умер семь лет тому назад.

Зарабатывают чиновники и адвокаты немного, но жизнь в Мадриде устроена так, что можно жить даже впроголодь с шиком. Вот этот кабальеро сидит весь день в кафе. Сначала он пьет вермут — предполагается, что он готовится к сытному обеду, вермут ведь пьют для аппетита, но к вермуту дают впридачу разную дребедень: маслины, креветки, картошку. Кабальеро старательно поглощает все приложения, после чего он гордо перекочевывает в кафе напротив, там он пьет якобы послеобеденный кофе, разумеется с молоком, — кабальеро не вполне сыт. Но кое-что он перехватил, и доволен жизнью. Иногда вместо кофе с молоком он пьет просто молоко. Так и сидят они, страстные и нарядные, на террасах кафе, ожидая, не покажется ли из-за угла революция, и попивая теплое молочко...

Одеты все изысканно. По улицам бродят продавцы галстуков: пезета за штуку. Что за раскраска!.. Кабальеро ежедневно меняет галстук, это для него важней обеда. Кроме того, не следует забывать о блеске ботинок: как

только у кабальеро оказывается несколько медяшек, он гордо подзывает чистильщика сапог. От неги он даже щурится. Разбогатев, он чистит ботинки чуть ли не каждый час. Под утро можно увидеть беспечного кабальеро, который, направляясь домой, останавливается, чтобы еще разок протянуть свою ногу чистильщику. Англичане, те бреются по два раза в день. Кабальеро к лицу относится вполне равнодушно, он может и три дня не бриться, синь щек его не пугает, но вот ноги, здесь он неумолим, ноги должны блистать!

Если кабальеро женат, у него, разумеется, квартира и куча ребят. Иногда он бывает дома: жена варит горох и штопает носки. Но кто его жена и где его дом — об этом не знают даже близкие друзья. Семейная квартира — нечто совершенно интимное, ее не показывают, как не показывают в других странах незастеленной кровати. Кабальеро встречается с друзьями в кафе или в клубе.

Испанские клубы никак не похожи на клубы английские. Англичане приходят в клуб, чтобы помолчать. Там клубы — это полутемные залы, затоны, заповедники. Испанские клубы — магазины с большими витринами, только в витринах выставлены не шляпы и не окорока, а живые кабальеро — они сидят в креслах и смотрят на улицу. Иногда кресла расставлены просто на улице перед зданием клуба — сидят в ряд и смотрят. Наблюдения не препятствуют разговору, и в испанском клубе стоит гул, как на рынке. В первые дни революции кресла на улице пустовали: кабальеро еще не были уверены, что в точности значит «республика», но вскоре они успокоились и продолжают заседать — в дождь за стеклом, а в хорошую погоду — на дворе.

Кроме обозрения мира, посетители клубов занимаются карточной игрой. Испанцы народ честный, здесь редко кто с голоду украдет хотя бы яблоко. Но у клубменов свои нравы. В большом мадридском клубе, чтобы перенести после закрытия игральную кассу из одного зала в другой, назначаются дежурства почетных членов, конечно же маркизов, графов и герцогов. Несмотря на громкие имена, из кассы неизменно исчезает несколько сот пезет.

Чем благородней кровь в жилах кабальеро, тем менее он склонен работать. Даже канцелярия его пугает. Он приближается к подлинному «индивидуализму». В газете «Эль либераль» имеется рубрика аристократических объявлений: «Молодой благородный человек ищет покровительницу любого возраста с добрым сердцем. 150 пезет ежемесячно...» «Брюнет 24 лет ждет признания. Он ищет немолодую, но нежную подругу. Он скромен, и ему необходимо срочно 125 пезет...»

Пять часов утра. Кафе. Изысканные кабальеро. Это люди из самых приличных семейств. Они любят красоту и презирают низкий труд. В кафе приходят девицы и сдают изысканным кабальеро звонкие дуро. В других европейских столицах сутенеры — замкнутая каста, здесь это завсегдатаи кофеен, члены клубов; помимо профессиональных вопросов, они говорят о политике, даже о литературе...

Если в карты проиграл чиновник, он старается разложить проигрыш на столько-то просителей, он требует взяток, шантажирует, грозит протоколом, процессом, тюрьмой. Хорошо полицейским: например, столкнулись два автомобиля; тот, кто заплатит больше, будет помечен невинно пострадавшим. Кроме автомобилей — санитарный надзор, наконец политика — оскорбление республики, даже заговор... Неплохо и муниципальным деятелям. В Мадриде у всех на глазах разбогател чиновник, которому была поручена установка городских писсуаров: он объявляет то одному, то другому владельцу приятного особнячка — писсуар, увы, будет поставлен возле вашего дома... Если в карты проиграл чиновник, он выкрутится. Но как быть кандидату в чиновники?.. Сцена в мадридском клубе. Маркиз X. и граф У. Маркиз: «Не можешь ли ты ссудить меня десятью дуро?..» Молчание. Недоумение. Граф — «индивидуалист», притом он знает, что маркиз тоже «индивидуалист» и что денег он не вернет. Тогда маркиз предлагает в заклад золотые часы. Кто знает, что это за часы?.. Может быть, вовсе и не золото... Два сиятельных кабальеро отправляются к соседнему ювелиру: оценить часы. Помимо подобных объяснений, это закадычные друзья, и оба готовы положить жизнь, защищая честь — граф маркизову, маркиз графову.

Ломбард в жизни Мадрида — это церковь, биржа, кладбище. Сегодня выкупают, завтра закладывают — часы, пальто, даже одеяла. Все живут в долг. Маслины, кофе с молоком, новый галстук, блестящие ботинки. Жизнь легка. Только-только успели открыться канцелярии, как они уже закрываются. Возле театров и кино толпа. Шесть часов вечера — это утренники. Вечерние спектакли начинаются часов в одиннадцать. В два часа утра на улицах народ: кабальеро гуляют, отпускают комплименты красоткам и критикуют сеньора Асанью: «Маура куда умнее...»

В каждом испанском городе имеется одна улица, зачастую одна сторона улицы, по которой ежедневно с шести до девяти гуляют кабальеро, — это, очевидно, относится к их прославленному «индивидуализму». В Мадриде все толкутся на улице Алькаля.

Вот и день прошел; он начался в полдень — теперь кричат петухи. Можно лечь спать. Но кабальеро, как уже было сказано, одержим страстью; комплименты красоткам его насытили еще меньше, нежели два стакана молока. Он подходит к почтенной даме, которая сидит за соседним столиком, и вежливо приподнимает шляпу. Может быть, это его тетушка?.. Но ведь он полон страстью... Тогда, может быть, он духовный брат тех, что сдают анонсы в «Эль либераль»? Может быть, он и впрямь обожает только пожилых женщин? Нет, рядом с седой дамой хорошенькая девушка. С девушкой, однако, заговорить нельзя, — это неприлично; почтенная дама, та глаз не сводит с девицы. Кабальеро беседует с дамой о том и о сем, о погоде, о бое быков, о розыгрыше лотереи. Почтенная дама говорит о девушке: «моя дочь». Почтенная дама отличается догадливостью. Она видит, что кабальеро испепелен страстью, и приглашает кабальеро в гости. По дороге кабальеро деликатно осведомляется о цене. Нельзя ли несколько подешевле: теперь не те времена, республика, кризис... «Но моя дочь...» Девица, разумеется, не участвует в столь низменной беседе: она невинна и поэтична. Можно признаться, что почтенная дама отнюдь не ее мать, даже не тетка, это импрессарио. Хорошенькая девица родом из Андалузии, она дочь крестьянина и была в Мадриде судомойкой. У нее вдохновенные глаза, но в жизни она простовата, ее

легко обсчитать. Кто же не знает, что с таким кабальеро надо быть начеку!.. Дама договаривается. Потом дама уходит в соседнюю комнату, пожелав кабальеро «доброй ночи». На этот раз день окончательно закончен, и кабальеро может уснуть.

Вместо дипломатической беседы с почтенной дамой кабальеро может пойти в один из публичных домов, — их немало в Мадриде, и все они охотно посещаются заведомыми «индивидуалистами».

День закончен, ясный мадридский день под горным небом, созданный для песни пастуха и для одиночества, день шумный и пустой, один из многих дней, закончен, побежден, уничтожен. Кабальеро умеет по-настоящему скучать. Когда он зевает, со стороны становится жутко. Его любимое выражение: «убить время». Он вовсе не пьет кофе, нет, — он занят убийством времени. Это сложное занятие, оно требует многолетнего опыта, более того — наследственной культуры.

Время — вот враг! Причем все эти кабальеро чрезвычайно заняты: они служат в трех министерствах, они пишут в десяти газетах, они работают в пятнадцати политических партиях, они, наконец, влюблены по меньшей мере в пятьдесят красоток. У них нет свободной минуты!.. Если такой кабальеро назначает другому деловое свиданье на пять часов, он приходит к семи — раньше притти он никак не мог: он ведь очень занят! На самом деле он в соседнем кафе убивал время. В Испании начинаются во-время только бой быков и лотерейные тиражи: это почти религия. Все прочее, как-то: заседания кортесов, спектакли, приход поездов, мессы, митинги, похороны — происходит с обязательным опозданием, — время враг хитрый, и его убить куда трудней, нежели убить быка.

Столица Испании — дворцы, небоскребы, канцелярии, литературные кафе, редакции двух дюжин газет, дебаты, красотки, толпа на Алькаля, кабальеро, отдыхающие в тени под деревьями Пасео де Кастильяно, — это счастье и беда, нега и позор. Надо вспомнить, что кабальеро не просто одна из редких пород, это верхушка страны, те, что ею

правили, и те, что ею правят поныне. Пока они убивают время, страна вымирает от голода.

В былые времена Испания давала миру блистательных ученых. Сейчас в университетской библиотеке что ни книга, то перевод. На постройках работают немецкие инженеры, в правлениях банков и акционерных обществ сидят англичане или американцы. В Испании были замечательные зодчие; современная архитектура Испании поражает своим убожеством: трудно представить себе нечто более безвкусное, нежели дворцы богачей в Валенсии или Барселоне. Конквистадоры превратились в героев покорения Рифа с десятком орденов за каждое поражение. В мадридских кафе сидят молодые писатели, снобы и эстеты, они старательно подражают любой парижской моде. Можно ли признать в них наследников Сервантеса?.. Я видел в Андалузии батраков, которые политически куда грамотней доброй половины мадридских адвокатов. Сапожник Валенсии — художник, его выписывают в Париж и в Лондон тачать дорогую обувь. Можно ли куда-либо вывезти кабальеро?.. Здесь он инженер; боюсь, что в Париже ему придется стать чернорабочим. Кастильские крестьяне создали из скал страну. Что сделали из этой страны мадридские «индивидуалисты»?.. Впрочем, они не обременяют себя подобными вопросами, они получают кто жалованье, а кто и взятки, они пьют кофе и убивают время.

Говорят: «В жизни каждого человека бывают потерянные минуты». В Мадриде я видел одного журналиста; он получил от отца небольшое наследство. Тотчас же он переехал в пансион, положил на полку шкапа все свои галстуки, сел за стол, взял перо и написал на листе бумаги: «В жизни каждого человека бывают потерянные годы». Это изречение он повесил на стенку, после чего лег на кровать, лег «всерьез и надолго».

«Индивидуалисты» правят Испанией уже много лет, и трудно сказать, когда Испания от них избавится. Теперь они провозгласили «республику трудящихся». Это, вероятно, по рассеянности. Не лучше ли написать на всех стенах Испании: «В жизни каждой страны бывают потерянные столетия»?..

4. ИСПАНСКИЕ ХЛЕСТАКОВЫ

В Мадрид приехала одна из кинозвезд Голливуда. Репортеру Мигуэлю Гонсалесу удалось получить у «звезды» интервью. Сегодня замечательный день: в конторе «Эральдо де Мадрид» Гонсалесу выдали два дуро. Гонсалес приобрел новый галстук, превосходно пообедал — жареный спрут и яичница, пошел в кино, после кино в кафе, почистил там ботинки, подал медяк нищенке, купил вечернюю газету, словом, вел себя, как миллионер. Когда он бросил на стол дуро, дуро торжественно зазвенело, объявляя всему миру о величии Мигуэля Гонсалеса. Но всему приходит конец, пришел конец и прекрасному дню. Конец дня, кстати, совпал с концом богатства. Кафе закрыли. Гонсалес идет домой, в его кармане два медяка. Завтра с утра хозяйка начнет канючить: уже пятый месяц, как Гонсалес ей не платит. Гонсалес будет рассказывать о мировом кризисе и о почтовых непорядках. Завтра вместо обеда стакан кофе и ботинки сомнительной девственности. Но сегодня он миллионер!.. Он подходит к дому и звонко ударяет в ладоши: «Серено!» Подбегает ночной сторож со связкой ключей. Гонсалес дает ему последние медяки. У Гонсалеса в кармане ключ, но ключ надо искать, ключ потом надо вставить в скважину, это хлопотливо и неинтересно. Куда приятней ударить в ладоши.

Не поняв ночных безумствований дона Мигуэля Гонсалеса, нельзя понять ни заочного суда над королем, ни позы мадридских нищих, ни повадок мадридских министров. В Испании посредственный театр, зато испанцы в повседневном быту актеры высокого класса. Каждый нищий — это трагик, сдержанный и величавый. Он умеет протянуть руку так, как будто перед ним не улица с прохожими, но пять ярусов театра. Католицизм понял эту страсть и всячески ей потворствовал. Собор Бургоса: темная часовня, вдруг вспыхивают огни рампы, в глубине — женственный Христос, покрытый риполиновой кровью и бумажными розами. На картинах Зурбарана или Риберы святые репетируют патетические монологи. Процессии Севильи или Малаги в страстную неделю — это скорей всего номера кордебалета. В том, как девушка несет кувшин, в том, как любой счетовод или ветеринар кланяются встречной

сеньорите, даже в том, как «камереро», принимая чаевые, стучит монетой о стол, — чувствуется старая школа.

«Суд над доном Альфонсом», или, говоря точнее, заседание кортесов, посвященное ораторским упражнениям на тему: «Злой король и добрая республика» — могло удивить только людей с Испанией не знакомых. Испанцы смеялись: «Выпустили, а теперь судят!..» Впрочем, и эти ремарки раздавались не часто: страна отнеслась к «суду» вполне равнодушно. Зато депутаты насладились во-всю: они сыграли в Конвент, никого при этом не обидев. Все было известно заранее: и обвинительные речи, и роль защитника, графа Романонеса, и благородство сеньора Саморы. Заранее было условлено, что граф Романонес — «подлинный гидальго», а республиканцы, которые выслушивают его с пиететом, — гидальго вдвойне. Все были довольны друг другом: республиканцы — графом, граф — республиканцами. Газеты трогательно расписывали бескорыстье Романонеса: как же, диктатура с него взыскала штраф в размере пятисот тысяч пезет, а он защищает короля!.. О том, сколько миллионов граф заработал при короле, об этом газеты не упоминали. «Конвент» под утро принял грозную резолюцию, и депутаты пошли спать, хлопая в ладоши: «Серено!..» На следующий день никто не объявил войны этим неистовым якобинцам, никто не составил против них коалиции. Король, прочитав в Фонтенбло газету, наверное усмехнулся: как-никак он испанец и ничто испанское ему не чуждо. Депутаты, и те тотчас забыли о представлении гала.

Кортесы — спектакль живописный и своеобразный. Правда, в кортесах не бывает «французской борьбы», которой вправе гордиться палата депутатов. Благородство столь сильно в этом народе, что оно отражается даже на парламентских нравах: в кортесах не дерутся. Оратор говорит, хорошо говорит, — в Испании все умеют хорошо говорить. Другие его не слушают, так как слушать в Испании никто не умеет. Редко что так утомляет мадридского адвоката, как необходимость выслушать другого. В кафе «индивидуалисты» обыкновенно говорят все сразу. В кортесах они стараются соблюдать порядок: пока один говорит, другие шепчутся, просматривают газеты, пьют в буфете кофе и ждут своей очереди.

Испанская поэзия всегда совмещала в себе жестокий реализм с абстрактной мистикой. Кортесы оказались уже: от реализма они вовсе отказались. До выборов агитаторы различных партий — радикалы, республиканские социалисты, просто социалисты старались перещеголять друг друга. Так как избиратели были крестьянами, притом крестьянами издавна голодными, все агитаторы обещали им помещичью землю. Это и было жестоким реализмом. Вслед за этим настала мистика. Народ сжег монастыри, следовательно его можно успокоить обличениями бяки иезуита. Ораторы говорят о торжестве свободного разума, о кознях орденов, о Торквемаде и о Галилее. Потом они переходят к любви: для торжества любви необходима свобода развода. Речи о силе чувства, цитаты из классической литературы. Потом они увлекаются восхвалением кастильского языка: это язык Сервантеса и Лопе де Веги!.. Потом они шлют приветствия республикам Латинской Америки. Потом на минуту они возвращаются на землю; речь идет, однако, не о земле крестьянам: его высокородие депутат Марч (все депутаты, обращаясь друг к другу, говорят «Señoria») во время диктатуры поработал несколько усердней других. В парламентской комиссии оказались документы, компрометирующие Марча. Тогда Марч, не смущаясь, через посредничество его высокородия депутата Иглесиаса предложил комиссии круглую сумму за молчание. Дело выплыло наружу и депутаты много говорили на тему: честь и бесчестье. Было устроено секретное заседание — бедняга Иглесиас перестал быть его высокородием. После чего кортесы занялись новой темой: как отобразить пакт Келлога в испанской конституции, принимая во внимание и поведение японцев, и заведомое миролюбие испанских генералов?.. Со дня открытия кортесов прошло полгода. Многие находят, что для кортесов это нормальный срок, — время их распустить. О земле депутаты поговорить так и не удосужились.

Три четверти депутатов вполне искренно думают, что, разговаривая ночи напролет, они спасают Испанию. Один из них сказал мне: «На наших плечах историческая ответственность, — мы создаем Испанию для наших детей!» Можно было подумать, что это советский инженер, занятый пятилеткой. Но нет, это был испанский депутат, то есть

актер, настолько увлеченный игрой, что зрительный зал для него не люди, а только темнота, хорошая акустика и гул рукоплесканий.

Хлестаков сбивался на трагизм, ложь в России почиталась моральным преступлением, и красноречивые ораторы наталкивались на неизбежную подозрительность аудитории. Испания из лжи сделала вдохновение, она доказала ее бескорыстность, она превратила ложь в благодеяние, даже в жертвенность. «Курьеры» Хлестакова ничтожны и омерзительны. Превращение Альдонсы в Дульцинею граничит с мифом.

Чиновник министерства юстиции. Жалованье шестьсот пезет в месяц. Восемь дочерей. Жена все время работает, чтобы выкроить из скромного бюджета «кабальерскую» жизнь. К чиновнику приходят по делу два иностранца. Чиновник (он, разумеется, с благородным именем, назовем его для скромности доном Хасинто) хочет принять как следует гостей: «Увы, мой замок сейчас ремонтируют, и я лишен возможности пригласить вас к себе...» Гости успокаивают дона Хасинто и приглашают его пообедать с ними в ресторане. «Я соглашусь принять ваше приглашение только в том случае, если вы обещаете мне, что, когда вы снова приедете в Испанию, вы будете моими гостями. Мой дом — ваш дом». В указанный час к гостинице подъезжает престарелый «форд», весь перевязанный бечевочками: вместо сиденья клочья пакли; мотор жалобно кашляет. Дон Хасинто произносит монолог: «Я воистину несчастен! Моя «испано-суиза» в починке, на моем «ролльс ройсе» жена уехала в Сан-Себастьяно, и вот мне пришлось приехать за вами на этой старой машине; на ней обыкновенно моя кухарка ездит за покупками...» Жена дона Хасинто сидит, конечно же, дома, возможно, что и без обеда, так как дон Хасинто сейчас действительно верит, что его супруга наслаждается морской прохладой, что у него три автомобиля и что рабочие день и ночь чинят мраморные лестницы его наследственного замка.

В провинции чиновники, получая двести пятьдесят пезет в месяц, держат прислугу. Прислуге они платят пезет двадцать. Вся семья, включая, разумеется, прислугу, голодает. Стиль, однако, соблюден.

Мурсия — город небольшой и тихий, он сливается с апельсиновыми садами, можно сказать село, но в Мурсии имеется свой небоскреб. Он недостроен, и вскоре его начнут сносить, так как достроить его некому и незачем. Он родился не как дом, не как доходное предприятие, но как поэма. Об одном из купцов Мурсии стали поговаривать: «Разорится, обязательно разорится!..» Купец и не думал разоряться. Купец был смел и безрассуден: купец был испанцем. Он решил заткнуть рот клеветникам: пусть все увидят, сколь он богат!.. Он начал строить в Мурсии небоскреб, точь-в-точь как на мадридской Гран Вие. Небоскреб — вещь громоздкая, кроме вдохновения, он требует солидных капиталов. Купец строил и разорялся. Когда дело дошло до крыши, купец и вправду разорился. Небоскреб бессмысленно торчит среди садов. Жители, впрочем, не удивляются, — все они строят в мечтах столь же величественные и столь же нелепые небоскребы.

Зажиточный крестьянин провинции Гранада тратит на свою одежду тридцать — сорок пезет. У него имеется, конечно, осел. Здесь начинается поэзия: осел такого крестьянина одет, как на картинке. На осле домотканная покрышка с занятными разводами, на осле бусы, ноги одеты в превосходные гамаши. Чтобы обрядить осла, чудак истратит все сто пезет. Он не купит себе новой шляпы, зато с гордостью он скажет соседу: «Посмотри на моего осла, как он одет!..» Действительно, осел одет куда лучше и хозяина и жены хозяина. Это не любовь к животным: разодетого осла бьют ничуть не меньше, нежели голого. Нет, это страсть к отвлеченным монологам и к мнимому великолепию.

Надо ли говорить о том, что дон Хасинто отнюдь не смешон, что он скорее страшен, что миллион донов Хасинто — это безумие, что «суд над доном Альфонсом» не только водевиль, но и жестокая гримаса, на которые столь щедра история этого великого и несчастного народа?..

5. ПЕРЕИМЕНОВЫВАЮТ

На фасадах дворцов тряпье, под тряпьем корона. На почтовых марках портрет короля снабжен штемпелем «республика». Вывеска «Отель королева Виктория»; слово

«королева» замазано. Виктория стала героиней Гамсуна или орхидеей. Другой отель: «Альфонс XIII», — выломали цифру — осталось безобидное имя «Альфонс».

У себя дома республиканцы куда терпимей. Херес. Виноторговля «Гонсалес в Биас». Портреты короля. Королевские автографы. Королевская признательность. Королевская улыбка. Конечно, для виноторговца легко найти оправдание: десертное вино и дегенеративная монархия прекрасно уживались друг с другом. Труднее понять красу Барселоны сеньору Пландьюру. Экспорт — импорт, кофе, тонны, валюта, «Отель Колумб», каталонский патриотизм, наконец особняк, а в особняке редкостная коллекция: романская скульптура и живопись. Сеньор Пландьюра человек со вкусом, его особняк куда любопытней городского музея, он не боится и новшеств, рядом со статуей XII века — картины Пикассо. Однако кто знает, чем больше гордится этот эстет — своей коллекцией или королевским кивком? При входе дощечка: посетил Альфонс. Среди картин письмецо в раме: Альфонс благодарит. Возле Пикассо огромная фотография: все тот же Альфонс, он жмет руку сеньора Пландьюры.

Испанский Кобленц обосновался в Биаррице. Если он ведет себя тихо, то это следует объяснить не скромностью роялистов, а скорее известным своеобразием испанской республики. Она столь мила, столь воспитанна, что, право же, трудно с ней рассориться. При благосклонном попустительстве республиканских властей роялисты вывезли за границу все свое добро. Они устраивают «чудеса» для суеверных крестьян Наварры. Они торгуются с отнюдь не суеверными капиталистами Бильбао.

Старая испанская песня рассказывает о грустном конце короля Родриго: когда дон Родриго потерял Испанию, он побрел в горы. Он съел ломоть хлеба, посолив его своими слезами. Потом он лег в могилу и положил себе на грудь змею. Трое суток ждал он; наконец змея сжалилась: она ужалила короля. Так умер дон Родриго. Это был жалкий, отсталый король. Он жил в восьмом веке и не знал всех преимуществ эмиграции. Дон Альфонс человек двадцатого века. Он не солит хлеба своими слезами и не ждет, пока змея его укусит. Он живет в Фонтенбло, окруженный почетом республиканской Франции. Он вывез все свои капи-

талы. Представители «хаимистов» беседуют с «легитимистами». Республиканцы не брезгуют монархистами. Англичане ничего не имеют против сеньора Камбо, сеньор Камбо ничего не имеет против сеньора Лерруса. Это очень длинная песня. Если змея ужалит кого-нибудь, то уж никак не дона Альфонса.

Республика закрыла короны тряпьем, она переименовала улицы, переменила бутафорию. Актеры те же, им даже незачем разучивать новые роли. Правда, ввиду экономии некоторым офицерам пришлось выйти в отставку, но отнюдь не монархистам, нет, — чересчур беспокойным «мечтателям». Старые королевские полицейские охраняют республиканский порядок. Что ни день они арестовывают рабочих. Как встарь, они убивают «смутьянов».

Несколько лет тому назад в Барселоне полицейский, по имени Падилья, явился к председателю профсоюза булочников. Он пришел переодетый, якобы от имени одного товарища, и уговорил рабочего выйти на улицу. Там он его убил. Обыскав убитого, он нашел на нем адрес другого «смутьяна». Рьяный сеньор Падилья тотчас пошел по найденному адресу. Он застрелил и второго «преступника». О подвигах Падильи знала вся Барселона. Полковник Масия — тогда революционер и изгнанник — говорил: «Падилью следует застрелить!» Теперь полковник Масия сидит во дворце, он глава областного правительства. Что касается сеньора Падильи, то его не убили, не арестовали, даже не сместили, он занимает видный пост в барселонской полиции.

В свое время при аресте Масии полицейский Рубио показал себя особенно грубым. Недавно полицейский Рубио был убит при перестрелке с анархистами на улице Уржель. На его похороны явился растроганный Масия: выказать сожаление. Не следует думать, что Масия толстовец, он только глава хоть и бутафорского, но все же правительства: полицейский Рубио защищал его от рабочих.

В Валенсии в декабре прошлого года один из полицейских убил на улице вождя синдикалистов. В госпитале он показал вместо удостоверения револьвер: «Никаких протоколов!» Возмущение в городе было столь велико, что храброго полицейского убрали. Ему выдали наградные, и

он исчез. Сейчас он опора полиции в городе Куэнка. Один наивный журналист, увидав его, возмутился. Он написал об этом главе всей республиканской полиции. Глава прочел. Полицейский продолжает служить республике. Если журналист начнет скандалить, полицейского переведут, конечно с повышением, в Касерес или в Хихон.

Я дожидался испанской визы четыре месяца. Наконец министерство иностранных дел прислало согласие. Посольство в Париже объявило: пойдите в консульство, там вам положат визу. Но консул не мальчик, он служил королю, у него свои вкусы. Иногда он не может согласиться с министром иностранных дел. Увидав советский паспорт, он начал кричать: «Это для меня не паспорт! Это бумажонка!.. Вы не получите визы!..» Несколько дней прошло, прежде нежели был улажен конфликт между монархическим консулом и так называемой республикой.

Мадрид. Кафе «Закуска». Слово для испанцев непонятное, но завлекательное. У входа швейцар, он одет под казака. Официанты в шелковых рубашках с двуглавыми орлами. Это не сиятельные князья в изгнании, но обыкновенные испанские «камереро». Подавая пирожные, они наивно приговаривают: «Не угодно ли закуску?» Велико было бы разочарование публики, если бы она узнала, что русское слово закуска — означает скорее селедку, нежели вафли. Стиль соблюден: орлы радуют глаз, бравый «казак» из Арагона кажется верной опорой, мадридская аристократия наслаждается экзотикой. «Закуска» была излюбленным местом придворной челяди. Даже королева любила откушать «закуску» с заварным кремом. Публика после апреля почти не переменилась. Вот этот франтоватый «кабальеро» — душа газеты «ABC». В свое время он написал восторженный труд о Примо де Ривера. Может быть, вскоре ему придется снова приступить к лирической монографии, — кто лучше его сможет расхвалить мужество Мауры или ум Лерруса?.. Пока что он не сидит без работы. Он толкует события. Он пишет статьи. Он составляет корреспонденции. Он ест «закуску». Без таких «республиканцев» туго пришлось бы новорожденной республике.

Газета монархистов называется «АВС». В Севилье имеется своя «АВС», причем ее редактор состоит председателем «союза журналистов». В Мадриде еще приходится думать о приличии, в Мадриде почти все газеты зовут себя «республиканскими». Другое дело в провинции. В Касересе социалистический муниципалитет, в Касересе три газеты, все три правые. В провинции газеты делятся примерно так: явно монархические, тайно монархические, католические иезуитов и католические просто; последние — это крайне левое крыло.

Во всем, что касается кличек, революция торжествует. Переименовать улицы куда легче, нежели отдать барскую землю батракам. Нет местечка, где бы не было улицы Галана. Кто знает, что стало бы с Галаном, если бы его не расстреляли своевременно в Хаке?.. Может быть, он сидел бы теперь в тюрьме по обвинению в заговоре против республики? Но Галан мертв, и храбрые республиканцы не боятся мертвых. Толедо. Собор. Аббаты, лавки с херувимами, богомолки. На углу дощечка: «Улица Карла Маркса». В Валенсии партия радикал-автономистов предложила назвать одну из улиц именем Ферреро. Никого не смутило, что душа радикальной партии, Эмилиано Иглесиас, сыграл в расстреле Ферреро весьма неблаговидную роль.

Так переименованы тысячи улиц. Так переименовано и государство. Феодально-буржуазная монархия, вотчина бездарных бюрократов и роскошных помещиков, дюков и грандов, взяточников и вешателей, английских наемников и либеральных говорунов торжественно переименована в «республику трудящихся». Стоит ли спорить об имени?.. Может быть, завтра перепуганные радикалы согласятся снять с корон тряпье. Может быть, и наоборот, даже изгнанник Фонтенбло поймет всю прибыльность республики... Апрельская переделка была гордо названа «революцией», но это даже не дворцовый переворот, это только смена кабинетов.

Словом «республика» трудно теперь кого-нибудь напугать. Достоевский писал о Франции Мак-Магона: «Республика без республиканцев». С тех пор многое переменилось. Республика доказала, что она не шальная девка, но

дама из приличного общества. Поговорка гласит: «Было бы болото, черти найдутся». Я не знаю, сколько было в Испании республиканцев до 14 апреля. Теперь в них нет недостатка: республика налицо, следовательно имеются и республиканцы.

6. «РЕСПУБЛИКА ТРУДЯЩИХСЯ»

Смесь розового с серым нас всегда волнует. Может быть, это просто прихоть глаза, может быть, это подсознательное толкование будней жизни. Озеро сейчас светло-серое, горы розовые. Этот край кажется созданным для лирики. Испанский язык, мужественный и жесткий, здесь явно мягчает. Здесь уже можно говорить о любви, не пугая твердыми согласными птиц и тишину. Здесь девушки поют грустные и нежные «рондас». За теми горами Галисия, с ее зеленью, омытой дождями, и с ее пастухами, наклонными к поэзии. Берега озера тихи и безлюдны. С трудом глаз различает на склонах застенчивые хижины. В озере снуют рыбы, над озером кружат птицы. Так художники раннего Возрождения обычно представляют рай, нехватает только кудрявых овец и праведников. Всем ясно, что здесь люди блаженствуют. Здесь побывал Унамуно. Он написал несколько строчек, полных поэтического волнения. Дорога доходит до озера: домик, яичница и форель, книга для посетителей — нечто среднее между курортом и эдемом.

Дальше нет проезжей дороги. Тропинка, осел. Две деревни: Сан Мартин де Кастаньеда и Риваделаго. Туда никто не ездит, туда незачем ездить — там нечего покупать и некому продавать. Там только живописное расположение и проклятая нищета, но и то и другое в Испании не редкость.

Впрочем, деревня Сан Мартин де Кастаньеда может похвастаться художественными богатствами: среди жалких хижин стоят развалины монастыря. Вот романские колонны. Вот ниша. Вот оконце... Сто лет тому назад мудрые монахи оставили монастырь, они поняли, что человеку трудно прожить одной красотой, и перекочевали в места менее поэтичные, но более доходные.

Крестьянам некуда было уйти, крестьяне остались вместе с романскими развалинами. От монастыря сохранились не только безобидные камни, от монастыря сохранилось древнее проклятье: «форо». В былые времена крестьяне платили ежегодно дань монастырю. Когда монахи решили переселиться, они перепродали право на дань какому-то вполне светскому кабальеро. Так, переезжая, продают мебель. Они продали «форо», то есть право ежегодно грабить крестьян. Это было в 1845 году. Прошло почти сто лет. Где-то далеко, в Мадриде, менялись власти и флаги. Была первая республика. Были либералы и консерваторы. На выборах торжествовали различные партии. Смельчаки кидали бомбы. Смельчаков подвергали «казни через удавление». Король давал концессии американцам. Король ездил в Сан-Себастьян. Король развлекался. В итоге короля свергли. Сеньор Алькаля Самора сидел в тюрьме. Сеньор Алькаля Самора стал главой правительства. Все это было далеко — в Мадриде. Из Мадрида нужно сначала ехать в скором поезде до Медина дель Кампо. Потом в почтовом до Саморы. Потом в автобусе до Пуэбло де Санабрия. Потом на лошадях до озера. Потом на осле, если таковой имеется. Далеко от Мадрида до этой деревушки! Здесь ничто не менялось: так же серела что ни день вода озера и к вечеру розовели горы. Так же пели девушки грустные песни. Так же каждый год посылали крестьяне неведомому кудеснику «форо», или, говоря проще, две тысячи пятьсот пезет.

У крестьян мало земли, да и та не земля, но землица: чего от нее дождешься? В деревне триста тридцать жителей. Как во всякой испанской деревне, тьма-тьмущая детей. Голодные дети. Вместо изб черные, дымные хлевы. Беженцы? Погорельцы? Нет, просто податные души. Им никто не приходит на помощь, но ежегодно они посылают все, что им удается отвоевать у скаредной земли, две тысячи пятьсот пезет — пятьсот сказочных дуро могущественному кабальеро, который получил от папаши, помимо прочего наследства, право на древнее «форо». Очередного кабальеро зовут Хосе Сан Рамон де Бобилья. Это адвокат. У него прекрасный дом в Пуэбло де Санабрия, рядом с замком. У него много клиентов. Человек не нуждается, но как адвокат он хорошо знает законы: крестьяне деревни

Сан Мартин де Кастаньеда должны ему платить пятьсот дуро ежегодно. Богатые люди от денег не отказываются, и крестьяне получают ежегодно повестку. Они шлют деньги. Сеньор Хосе Сан Рамон де Бобилья расписывается.

В апреле 1931 года свободолюбцы провозгласили в Мадриде республику. Они пошли дальше — они объявили в конституции, что «Испания — республика трудящихся». Во избежание кривотолков они пояснили: «Республика трудящихся всех классов». В 1931 году, как и в прежние годы, нищие крестьяне деревни Сан Мартин заплатили дону Хосе две тысячи пятьсот пезет. Они трудились круглый год, ковыряя бесплодную землю. Дон Хосе тоже потрудился: он послал повестку и расписался на квитанции.

На другом конце озера находится вторая деревня: Риваделаго. Крестьяне Риваделаго не платят «форо», но и они голодают. Еще меньше земли. Крохотные поля картошки, похожие на кукольные огороды. Едят картошку и горох, едят осторожно, чтобы не зарваться. Курные избы без окон. Светильники, — зажигают их редко — масло не по карману. В такой норе шесть, восемь, десять человек, больные, старики, дети, — всё попрежнему. Была школа, потом учителя перевели, нового не прислали. Да и какая учеба натощак!

Во всей деревне один только хороший дом с трубой, с окнами, даже с занавесками на окнах. В нем живет уполномоченный сеньоры Викторианы Вильячика. Об этой сеньоре можно сложить эпические песни. В старину поэт сказал бы: «Прекрасна она, сильна и богата!» Я не знаю, прекрасна ли Викториана Вильячика, но, слов нет, она и богата и сильна. Ей принадлежат несколько домов на мадридской Гран Вие. Ей принадлежит также вода озера Сан Мартин, вода нежносерого тона, дарящая лирические чувства и к тому же изобилующая рыбой. Земля не принадлежит сеньоре Вильячика, ей принадлежит только вода. Это юридическая головоломка, но, наверное, адвокат Сан Рамон, тот, которому соседние крестьяне платят дань, легко разберется и не в таких тонкостях. Сеньоре Вильячика принадлежит вода со всей рыбой. Рыба в озере хорошая — форели. Но ничего с этой рыбой сеньора Вильячика сделать не может — слишком сложна и длинна

дорога отсюда в Мадрид. Впрочем, сеньора Вильячика проживет и без рыбы — один этаж одного из ее мадридских небоскребов приносит ей куда больше, нежели поэтическое озеро.

Уполномоченный диковинной сеньоры ловит форелей. Иногда он продает толику в Самору или в Пуэбло де Санабрия. Он продает форелей адвокату. Он и сам ест форелей. Но рыбы в озере много, и рыба плавает, ничего не страшась. Уполномоченный отстроил себе хорошенький дом. Он стал владыкой деревни. Он был даже ее «алькальде». Он живет припеваючи. Его права охраняются стражниками. У стражников винтовки. Если изголодавшийся крестьянин ночью попытается словить рыбку, ему грозят штраф или тюрьма: в Испании иногда умеют соблюдать законы. Голодные люди должны глядеть на прекрасное озеро, на голубых и розовых форелей, глядеть и умиляться. Так художники раннего Возрождения изображали ад; здесь уж ничего не пропущено: грешники корчатся, а чорт сидит в домике за занавесками.

Сегодня в деревню Риваделаго приехал доктор из Саморы. Это человек добрый и наивный. Он лечит бесплатно крестьян, помогает им, как может. Прежде он здесь агитировал за республику: он верил, что республика не только переселит сеньора Самору из тюрьмы в королевский дворец, но что она также накормит крестьян Риваделаго. Его останавливает высокая женщина, окруженная роем ребят. Ее лицо заострено голодом и горем. Она спрашивает доктора:

— Что же, дон Франсиско, республика еще сюда не доехала?..

Испанская ирония всегда серьезна: это ирония испанской литературы от протоиерея из Ита до Сервантеса, это ирония любой крестьянки.

Доктор молчит. Что ему ответить? Сказать, что республика домоседка, что ее пугает путь верхом на осле? Или признаться, что республика давно доехала до этих мест, что она остановилась в домике уполномоченного сеньоры Вильячика, что она на «ты» с адвокатом из Пуэбло де Санабрия, что она знает толк и в «форо» и в форелях что это «республика трудящихся всех классов»?

7. ГЕНЕАЛОГИЯ МАЛАГСКИХ ГОЛОВЕШЕК

В испанском пейзаже нетрудно различить жестокость, даже фанатизм — в пустынности, в нагромождении камней, в том, как бьет ветер то чахлый кустарник, то белье бедняков, развешанное на веревках, в реве одинокого осла, во всем, что делает эту страну запущенной, забытой, даже не пустыней, но пустырем, огромным пустырем где-то на окраине мира.

В этом пейзаже находила себе поддержку испанская поэзия. Насколько в соседней Франции чувства подвергались контролю то эстетической линейки, то пробирной палаты так называемого «разума», настолько здесь им давали свободу, их натаскивали на душевное неистовство, сызмальства их приучали к чрезмерности. Любимой темой испанской поэзии была смерть. Хорхе Манрике в своих знаменитых «Строфах на смерть отца» заверял: «Наши жизни — реки, смерть — это море». Он жил в стране маленьких рек, которые зачастую летом вовсе высыхают, и в стране, окруженной морями. Смерть подносилась всячески: то как философическая загадка, то как заманчивое событие, со всем присущим испанцам реализмом, с гниением, с червями, с трупным смрадом. Смерти предшествовало страдание, и на этом построено религиозное искусство Испании. О воскресении из мертвых бормотали по-латыни, зато муки и смерть выдавались безграмотным в виде тысячи статуй Христа, который корчится, извивается, на теле которого, как в паноптикуме, язвы, сгустки крови, — все это всерьез, так, чтобы взял страх, чтобы помнили: се жизнь!

В других странах католицизм пробовал уговаривать, он соблазнял райскими кущами ребячливых итальянцев, он доходил до логики и до отвлеченности во Франции, здесь он знал одно — пугать, пугать болезнью, агонией, наконец томительным холодом ада, суля злосчастным крестьянам Кастилии после смерти такую же страшную загробную Кастилию. С равным успехом он запугивал и пастухов и королей. Эскуриал — его трофеи.

Директор севильского музея, человек просвещенный, с негодованием сказал мне: «В Малаге вы увидите, что сделали с прекрасными церквами тамошние дикари...» Он

говорил о церквах, сожженных в мае. Это археолог, и его не приходится судить. Ему следует только напомнить об Эскуриале. Никто не сжег Эскуриал, и, надо надеяться, никто не сожжет: от таких «сувениров» человечество не вправе отвязаться. Но без Эскуриала трудно понять страстность малагских поджигателей.

Людовик XIV любил хорошо покушать, побаловаться с придворной дамой; Петр Великий любил повеселиться на ассамблее, — государи развлекались по-разному. Карл V на досуге ложился в гроб — он репетировал смерть. Огромная казарма среди диких скал — казарма, созданная для духовной шагистики, для религиозных трапеций, для предсмертных маневров. Кругом не было людей, но в горах рыскали голодные волки. Иногда короли, между двумя мессами, отправлялись на охоту; они гонялись за волками, и, кто знает, может быть, при этом они выли протяжно, дико, как преследуемые ими звери. Вместо сада — погреб, в погребе пышные полки, на полках гроба, на гробах имена королей. Сторож, показывая приезжему это великолепие, исправно читает имена. Внизу один гроб без имени, сторож поясняет: «свободный».

Это не ирония, но просто справка: Альфонса XIII рассчитали до времени — его гроб пуст, и если он умрет в изгнании, комплект гробов в этой чудовищной библиотеке может оказаться разрозненным.

Короли в порядке духовной гимнастики преждевременно обживали роскошные гроба, крестьяне — те в темном суеверном ужасе ждали часа, когда им доведется лечь в могилу — если не задобрить, то удобрить злую землю. Нигде католицизм не был столь противочеловеческим. Романские церкви с их трогательной простотой, с толкованием храма, как избы или как амбара, полного зерном, церкви Сеговии или Авилы по духу предшествуют испанской истории. Их сменили соборы золота и смрада, Христы с настоящими человеческими волосами, кровь в три ручья, куклы святых в парчовых юбочках, театральные корчи барокко, неуместная нега мавританщины — все это с надрывом, застенками исповедален, пытками инквизиции и порочной изощренностью искусства.

В Малаге было тридцать семь церквей и монастырей. Тридцать шесть сожжены весной этого года. Остался один

собор, большой, светлый и просторный, похожий на танцовальный зал. В этом соборе я видал настоящих изуверок. Они вправе потягаться с персами, которые, крича «шаксе-ваксе», наносят себе удары кинжалом, или с польскими хасидами, которые хватают куски рыбы с тарелок чудодейственного цадика. Это не старухи, не грешницы в рубищах, не изможденные постницы. Это обыкновенные «сеньориты», с густо накрашенными лицами, в модных платьях и в изысканных туфельках. Под вечер они гуляют по главной улице, стараясь обольстить холостых коммерсантов. Утром они молятся. Они молятся теперь с особым усердием, никогда они еще так не молились: ведь безбожники сожгли в Малаге тридцать шесть церквей!.. Входя в собор, они падают на колени. Они смотрят ввысь часами, не двигаясь с места. Они простирают руки, может быть, дожидаясь стигматов. Они ползают по плитам. Они извиваются ничуть не хуже всех барочных святых. Огонь выгнал их из других церквей. Они собрались в это последнее убежище. Их охраняют гвардейцы с ружьями. Молельщицы тащат сюда падающие пезеты и свой страх перед адом. Это внучки Филиппа II, и веселая Малага, белая над синим морем, Малага сладкого вина и ленивых парусников, для них темна и жестока, как двор Эскуриала.

От собора всего несколько шагов до домишек тех бедняков, которые сожгли тридцать шесть церквей. От изуверов всего несколько шагов до головни и керосина. Это один мир и один день. Он еще длится.

8. ЧУДЕСА

Путешественник, приехавший из другой части света и обследующий Европу так, как европейские миссионеры обследуют Африку, может отметить: «Испания заселена двумя породами людей. Одни — худые, изможденные, с явными признаками различных телесных и духовных лишений — называются «кампесинос», что означает крестьяне. Они одеты по-разному: на севере они носят береты или платки, завязанные на голове, на юге — широкополые шляпы, но повсюду их одеяние отличается изъянами и может быть приравнено к рубищу. Другая порода людей,

заселяющих Испанию, напротив, отличается здоровьем. Это краснощекие, дородные люди, всегда веселые и жизнерадостные. Они пьют в кабачках вино, они курят сигары и ласкают хорошеньких служанок. Эти люди одеты повсюду одинаково, в широкие черные балахоны, и зовут их «курас», что означает «священники».

В кортесах сеньор Асанья провозгласил: «Испания перестала быть католической!» В дипломатической ложе сидел папский нунций. Он внимательно слушал. Он мог бы вздохнуть... Но, повернувшись к соседу, он благодушно улыбнулся. Может быть, он вспомнил историю соседней Франции Комба и «пожирателей кюре», бранные крики, закончившиеся комплиментами, старушку Марианну, вновь ставшую христолюбивой? Может быть, он улыбнулся и не думая вовсе об истории, улыбнулся потому, что он духовное лицо, а, как уже было сказано, духовные лица в Испании отличаются веселым нравом...

Во Франции кюре стараются на людях вести себя пристойно: даже в трамваях они неизменно читают все тот же зачитанный молитвенник. В Испании «курас» не стесняются. Они заходят в кабачки, курят большие вонючие сигары, в просторечье именуемые «смерть собакам», балагурят, заигрывают с девушками. В деревне «кура» находит красивую девушку, красивую и к тому же бедную, — таких немало в Испании. Избранная становится служанкой. Днем она работает на «куру», ночью также. Когда «куре» она надоест, он возьмет другую. Возле Ля Альберки у одного «куры» целый гарем, — здоровый, красномордый, он работает день и ночь: то девка, то месса, здесь же огород, здесь же взыскать за требы, здесь же апостол Павел. Когда приключается неприятность, девушка спешно уезжает в Бехар или в Пласенсию. «Байстрюка» берут в воспитательный дом. Мать никуда не берут — ни на ферму, ни на фабрику. Впрочем, в каждом испанском городке имеется публичный дом, и женщина без работы не остается. Что касается «куры», то он уже успел присмотреть другую.

Гениальный сатирический поэт четырнадцатого века протоиерей из Ита рассказывает, что произошло с духовными особами в Талавере после того, как один чересчур суровый епископ запретил им пользоваться женскими

услугами. «Обратимся к королю Кастилии. Он знает, что мы все из плоти...» Один монах стонал: «Я оставлю Талаверу, перееду в Опоресу...» Санчо Муньес хитрил: «Откуда епископ может знать, кто моя служанка? Может быть, она моя родственница? Может быть, я ее держу из милосердия?» Третий клялся, что ни за что он не оставит своей любимой Орабуены. Это написано 600 лет тому назад, но в Испании многое живо вне истории: тем же плугом пашет землю крестьянин, так же осел тащит глиняные кувшины с водой, так же веселые «курас» развлекаются со своими служанками. Только епископы стали осторожней, они не отдают опрометчивых приказов.

Да, слов нет, хорошо живут «курас» в Испании! Однако еще лучше живут «фрайлес», то есть монахи. Монастыри в Испании никак не похожи на скромные скиты, и созданы они не для умерщвления грешной плоти. С виду они похожи то на дворцы, то на прекрасные усадьбы. В Саламанке имеется монастырь-небоскреб, нечто вроде правления нью-йоркского банка. Чем богаче край, тем больше монастырей; монахи умеют выбирать места не только живописные, но и хлебные. Бедному человеку попасть в монастырь столь же трудно, как евангельскому верблюду пролезть сквозь игольное ушко. Монахи дают землю в аренду, а деньги в рост; они участвуют в акционерных обществах, и настоятель хорошего монастыря, раскрывая «Эль дебате», интересуется не только телеграммами из Ватикана, но также биржевыми курсами. Много заводов и копей на севере Испании находятся под финансовым контролем иезуитов.

Иезуитский монастырь близ Мурсии. На воротах крепкие запоры: май может повториться. В монастыре было сорок монахов; теперь трое, остальные предпочитают временно светский костюм и частные квартиры: они боятся не столько речей сеньора Асаньи, сколько толпы, керосина и коробки спичек. Трое остались, чтобы вести дела. Один продолжает обучать детей слову Христову. Другой присматривает за рабочими, которые работают в монастыре. Третий договаривается с крестьянами: ведь в этом году, несмотря на все пламенные речи депутатов, монастырь сдал крестьянам в аренду столько-то «таулий» и получил за это столько-то тысяч пезет.

В Мадриде сожгли двадцать монастырей, некоторые монахи отбыли за границу для высокой дипломатической работы, но большинство продолжает трудиться на месте: увещевают, обучают, подрабатывают. В Малаге монахи из сожженных монастырей сняли новые помещения и открыли школы. Они вовсе не склонны расстаться с вековой жизнью — сытой и привольной.

Для людей с жизненным опытом монастырь — санаторий. Я видал одного монаха в Сеговии, он был богатым адвокатом, славился кутежами и любовными проказами. Потом он устал. Экклезиаст говорит: «Всему свое время». Бывший адвокат гуляет по монастырскому саду, нюхает цветы, изучает романские барельефы, читает книжки. К столу у него прекрасная снедь, старое вино. Никаких мирских забот, человек отдыхает, к тому же он, разумеется, молится и своими молитвами спасает весь христианский мир.

Спасти Испанию не столь-то просто. Мало для этого и благодушия нунция, и трудолюбия «курас», и молитв «фрайлес». Против поджигателей можно выставить пикеты гражданской гвардии, но кто спасет католическую Испанию от безверья?.. Пока государство содержало всю веселую братью, крестьяне ходили в церковь, любовались парчовыми платьями раскрашенных кукол, словом — делали все, что должны делать исправные прихожане. Но вот поговаривают, будто крестьянам придется содержать этих весельчаков... Крестьяне угрюмо почесываются. Говоря откровенно, они смогут прожить и без кукол... Месса не гвозди и не соль, за мессу не платят. Нунций улыбается, но в душе нунций несколько встревожен.

Так начинаются чудеса.

Осенью этого года некая девица, по имени Рамона Оласабль, вполне своевременно удостоилась посещения святой Марии. Последняя дружественно с ней побеседовала, а потом небесным мечом пометила ладони счастливой Рамоны. У Рамоны тотчас нашлись последователи: девочка Мария Асурменди объявила, что она тоже видела богородицу, которая рук ей не царапала, но только улыбалась и, улыбаясь, подарила ладанку. Иоахим Мучатеги, девяти лет от роду, также видел богоматерь, она рассказала ему что-то «по секрету»; что именно, он рассказать

не может. Может быть, о речи сеньора Асаньи?.. Или об аренде монастырских земель?.. Кто знает!.. Хуана Мурабель видела богородицу с семью мечами, а Хуана Ларос видела богородицу среди звезд. Словом, удостоившихся было немало; однако забыть Рамону Оласабль никто не мог: как-никак у Рамоны поцарапанные ладони. Правда, врачи, осмотревшие девицу, заявили, что ее ладони порезаны обыкновенным ножом и что Рамона страдает гемофилией, но врачи, как известно, заведомые безбожники. В деревню Эскиога стали стекаться десятки тысяч паломников.

В других местах Испании весельчаки тоже не дремлют. Бесспорно, Испания вступает в эру чудес; причем не только видений, но чудес вполне реальных: автомобиль останавливается на краю бездны, умирающий лихо вскакивает с одра, пуля ударяется об ладанку. Чудеса в Испании всегда отличались реализмом. Поэт Гонсало де Берсео записал в свое время множество таких чудес. Например, монахиня согрешила. Она беременна. Ей грозит строгое наказание. В монастырь приезжает епископ. Монахиня просит богоматерь: «Вступись!» Та тотчас является. Она не царапает ладоней — нет, она занята вполне серьезным делом: она принимает у монахини ребенка, как хорошая повивальная бабка, после чего она уносит младенца в лес к некоему Педро — на воспитание. Епископ приказывает опытным повитухам осмотреть монахиню. Повитухи заверяют, что подсудимая отнюдь не беременна. Тогда епископ, осерчав, хочет наказать игуменью, оклеветавшую монахиню. Желая спасти игуменью, монахиня падает на колени и рассказывает епископу о том, как богоматерь у нее приняла младенца. Все умилены, все идут в лес к Педро и, увидев в колыбели новорожденного, все прославляют богоматерь. Таково классическое чудо тринадцатого века. Чудеса двадцатого века отличаются меньшей фантазией и большей последовательностью: они должны не столько утешить, сколько напугать — богоматерь призывает добрых католиков вступиться за права апостольской церкви.

В Бискае и в Наварре католики открыто призывают к борьбе с богопротивной республикой. В Андалузии и в Эстремадуре они еще прячутся среди сетований, молитв

и бабьих шопотов. Повсюду в темноте исповедален они говорят теперь не только о заветах апостола Петра и о святости поста, но также о дьявольских происках безбожников и смутьянов. Они куда толковей и серьезней испанских журналистов, те ведь получают только скудные построчные, а «фрайлес» и «курас» защищают свои акции, свою землю, свои дома и свою власть.

Недавно полиция нашла в одной из церквей склад огнестрельного оружия. Очевидно, сеньор Асанья не вполне доволен улыбкой нунция. Он хочет сделать нунция сговорчивей. Полиция находит только то, что она должна найти. Кто знает, сколько в Испании подобных арсеналов?.. Найдено несколько револьверов — это относится к дипломатии. В монастырях и церквах попрежнему работают представители воинствующей церкви: они подготовляют чудеса и выборы, они закрывают заводы и оставляют землю необработанной, они науськивают темных женщин, и они сторговываются с гражданской гвардией. Они знают, что судьбы страны теперь решаются не десятком смельчаков с револьверами. У них другое оружье и другие арсеналы.

9. ЛЯС УРДЕС

Саламанка — город пышный и шумный. На главной площади под аркадами с утра до ночи прогуливаются студенты, солдаты и барышни. Они пьют вермут, закусывая его маслинами, обсуждают министерские декларации, влюбляются, томно млеют, пока чистильщики бархатом натирают их невыносимо блистательные ботинки, они строят глазки, ходят взад и вперед, живут на площади и на ней же старятся. Вечером вспыхивают старинные фонари, аркады становятся таинственными, как альковы, прекрасная площадь затмевает своим видом всех местных красоток, и в нее, — не в ту или иную сеньориту, но именно в площадь, в аркады, в фонари, в старые дома, в длинную, как жизнь, прогулку влюблены все жители Саламанки. Шумен и пышен город. Кастильские «ххх», «ррр», «ссс» звучат, как ратные крики. Гудят автомобили, им отвечают старожилы всех испанских городов — многострадальные ослы. Из кафе доносится гул

громкоговорителя: не то севильское «фламенко», не то речь сеньора Прието. Шумен город и пышен. Дворцы Возрождения на каждом шагу, как мелочные лавки, они идут за простые дома; о них забывает даже «бюро для туристов»; в них живут обыкновенные люди, во дворцах с колоннами, во дворцах, облепленных мраморными раковинами, во дворцах с нимфами и с фонтанами, живут просто — когда нужно, глотают касторку, когда нужно, кричат на прислугу. Университет Саламанки столь великолепен, что трудно понять, как в нем изучают патологию или гражданское право? Он создан для любования. Да, Саламанка — город поэтов!..

В «Гранд-отеле» выставка старинных безделушек, обед из десяти блюд, изысканные лакеи и чарльстон. Кто после этого скажет, что Испания отсталая страна? Это край довольства и неги.

Любители гор могут поехать в Пенья де Франсия — это под боком. Прекрасное шоссе. Сто километров. Вот и перевал!.. Перед глазами ад, попытка природы передать все то жестокое и злое, что мучит иногда человека в бессонницу. Крутой спуск в голое, пустое ущелье. Ни деревьев, ни травы. Человека здесь никто не почует. Куда же идет эта широкая дорога?.. Может быть, в «убежище» для снобистических туристов, которые ищут уединения?.. Может быть, попросту в преисподнюю?.. Еще несколько километров. Лачуги. Здесь кто-то живет...

Дорога идет в край, именуемый «Ляс Урдес». Испанцы нехотя, с явным замешательством произносят это имя. Очевидно, Ляс Урдес никак не вяжется ни с небоскребами на Гран Вие, ни с тирадами кортесов. Но из песни слова не выкинешь. Ляс Урдес — Испания. Это восемнадцать деревень провинции Касерес, на границе с провинцией Саламанка. Еще несколько лет тому назад мало кто знал о существовании Ляс Урдес, — не было проезжей дороги, которая соединяла бы этот край с Испанией. Исследователи отправлялись туда, как в центральную Африку. Люди в Ляс Урдес тихо умирали от голода и от болезней. Их стоны не доходили до соседней Саламанки. Это хилые и нищие люди, следовательно ими не интересовались ни сборщики податей, ни воинские начальники. На беду король в поисках «народной любви» решил посетить Ляс

Урдес: так подают копейку калеке. Лошадь короля, перевалив горы, печально заржала. Когда король увидал неведомых верноподданных, он тоже печально вздохнул: предстояла ночь в аду. Королю негде было переночевать, как бездомному бродяге. Он не решился зайти в вонючие, темные норы. Для него разбили палатку на кладбище, — кладбище показалось королю самым жилым местом в Ляс Урдес. Вероятно, он был прав.

После королевского визита в Мадриде заговорили о Ляс Урдес. Образовалось «Общество покровительства Ляс Урдес» со статутом столь же благородным, как и «Общество покровительства животным». Провели дорогу. Возле деревень, немного в стороне от них, предпочтительно на вышке, чтобы избежать чересчур зловещего соседства, построили красивые белые домики: для учителя, для священника, для доктора. Крестьяне ютятся попрежнему в темных землянках, спят вповалку, без очага, без воздуха, без света. Но над ними — несколько вполне европейских домов и вывеска «Общество покровительства Ляс Урдес». Так, наверное, ведут себя белые в захолустьях Африки.

Две трети населения Ляс Урдес отмечены признаками дегенерации. Среди них много зобастых. Люди отличаются малым ростом и слабостью. Дети развиваются медленно: десятилетним никак нельзя дать больше четырех-пяти лет. Половая зрелость у женщин наступает часто лишь в двадцать лет. Потом они сразу старятся. Здесь нет ни молодых, ни людей среднего возраста — дети и старики. Детей очень много, босые, полураздетые на холоду. Вот девочка тащит новорожденного со скрюченными полиловевшими ногами. Умрет?.. Через год будет новый...

Наверху в белом домике доктор. Он может изучать здесь все виды дегенерации. Помочь он не может: как лечить голодных?.. Тайна Ляс Урдес проста: люди здесь голодают из поколения в поколение. Земля лишена извести. Удобрений нет. Редкие деревья — оливы и каштаны — принадлежат кулакам из села по ту сторону гор, Ля Альберки. Крестьяне Ляс Урдес едят горсть бобов, иногда ломоть хлеба, иногда желуди. Так как лекарства от голода еще не придумано, доктор ведет статистику и наблюдает.

Столь же трудна работа учителя. Дети любят школу: в школе светло и тепло. Они приходят босиком из соседних деревушек — пять, восемь километров. Учитель проверяет умственное развитие детей, у него таблицы, диаграммы, цифры. «Расскажи, что изображено на этой картинке?..» Учитель ставит цифры, выводит среднюю, разводит руками: двенадцатилетний, по цифрам, соответствует трехлетнему. Дети стараются прилежно учиться, среди них много способных. Но в дело вмешиваются желудочная резь, пот, озноб, спазмы, все признаки вульгарного голода. Незачем звать доктора: болезнь ясна.

— Среди моих учеников вряд ли найдется один, который хотя бы раз в жизни поел досыта...

Тетрадки, обыкновенные тетрадки, как во всех школах мира. В тетрадках сначала: «Его величество король, наш благодетель...» Потом, несколько страниц спустя: «Наша благодетельница, испанская республика». Тетрадки те же. В Мадриде произошла революция. Исполнительный учитель переменил тексты для чистописания. Больше ничего не переменилось: босиком домой по холодным камням, дымная берлога, мать корчится рожая, две картофелины, несколько своровавших каштанов и сон на земле.

Девочка все тащит младенца. Он еще не умер. Непонимающими глазами глядит он на враждебный мир. Он не знает, что он дитя проклятого края. Вот этот старик знает; он вводит нас в свой дом — ничего не видно, трудно дышать, но это лучшая изба деревни. Даже запасы — корзина с желудями. Старик спокоен: его дело кончено, он съест желуди, потом умрет. Кюре в беленьком домике не сидит без дела. Кюре может быть доволен приходом: он не учит и не лечит, он отпевает.

Несчастные люди с ужасом и надеждой смотрят на автомобиль. Им не привезли ни хлеба, ни спасенья. Они забираются назад в свои норы. Только девочка еще не может успокоиться. Она не сводит глаз с приезжих. Сколько ей лет? Десять? Или, может быть, восемнадцать?.. Новорожденный закрыл глаза. Вокруг величественные горы. Природа здесь издевается над ничтожеством человека. Она показывает свое превосходство: какие вершины, какие пропасти, какое головокружение! Люди пугливо залезают в землянки. Они знают: никто им не поможет. По ту

сторону гор живут счастливцы; у них оливы, хлеб, пезеты, король и республика. Они любят развлекаться. Они провели дорогу. Они приезжают, чтобы посмотреть на жителей Ляс Урдес. Они приезжают и уезжают. Но никуда не уехать жителям Ляс Урдес. Попрежнему самое жилое место края — кладбище.

Девочка осталась позади с синим младенцем. Может быть, он уже умер? Автомобиль, пыхтя, рвется вверх. Саламанка. Веселая площадь. «Гранд-отель». Музыка. Где вы были?.. В Ляс Урдес? Нет, об этом не принято говорить в приличном обществе! Сегодня в кино идет новая американская картина...

10. ЧТО ТАКОЕ ДОСТОИНСТВО

Терраса большого кафе на мадридской Гран Вие. Час ночи — театры кончились, публика начинает собираться, публика, что называется, «чистая» — коммерсанты, «сеньоритос» (так зовут здесь «золотую молодежь»), адвокаты, журналисты. Вокруг столиков бродят продавцы газет, чистильщики сапог, нищие. Деловито они ищут пропитания. Смуглая крупная женщина продает лотерейные билеты: «Завтра розыгрыш!..» Другая приносит ей грудного младенца. Тогда женщина спокойно придвигает к себе кресло, расстегивает кофту и начинает кормить ребенка. Это нищенка. За столиками шикарные кабальеро. Гарсоны парижского кафе сворой ринулись бы на нищенку, в Берлине поступок показался бы столь необъяснимым, что преступницу, чего доброго, подвергли бы психиатрической экспертизе. Здесь это кажется вполне естественным. Откормив младенца, женщина принимается снова за работу: «Завтра розыгрыш!..»

Не следует думать, что демократизм был создан испанской буржуазией. Испанский буржуа ничуть не менее своих иностранных братьев обожает иерархию. Он твердо знает, что дуро в пять раз больше пезеты, и его религия тесно связана с начальной арифметикой. Он рад бы провести раздел между собой и «народом», остановка не за ним. Остановка и не за государством: хитрая сеть

древних законов, паутина толкований — все здесь сделано для того, чтобы окрутить безграмотных крестьян. Остановка за народом. Его закабалили, но не принизили.

Сеньор Санчес, «государственный адвокат» и наследственный шулер, едет из Сеговии в Мадрид. Носильщик тащит его чемоданы, украшенные подозрительными гербами. Сеньор Санчес вчера обыграл в карты сеньора Гарсию — он дает носильщику целую пезету. Тот вместо благодарственного пришептывания, улыбнувшись, протягивает сеньору Санчесу руку: «Счастливой дороги!» Адвокату ничего не остается, как принять это рукопожатие. В Мадриде к Санчесу подходит нищий, Санчес отмахивается: «Ничего нет». Нищий вежливо приподымает драную шляпу: «Простите, что потревожил». Санчес в городском парке читает «Эль соль». Рядом с ним чернорабочий жует гороховую колбасу. Санчес косится — что за соседство!.. Тогда рабочий вежливо предлагает: не хочет ли сеньор попробовать?.. В душе сеньор Санчес отнюдь не одобряет подобной фамильярности, но он родился в Испании, следовательно он легко с ней мирится. Перед ним никто не станет унижаться. У него могут попросить медяк, при случае его могут зарезать, но ползать перед ним на коленях никто не станет. Бедность здесь еще не стала позором. Французский буржуа сумел привить свою мораль даже заклятым врагам: бедняк во Франции стыдится дыр на штанах, голодного блеска глаз, ночевки на скамейке бульвара. Бедняк в Испании преисполнен достоинства. Он голоден, но он горд. Это он заставил испанского буржуа уважать лохмотья.

У меня скрипучее перо и скверный характер. Я привык говорить о тех призраках, гнусных и жалких, которые правят миром, о Фордах и Крейгерах. Я хорошо знаю бедность приниженную и завистливую, но нет у меня слов, чтобы как следует рассказать о благородной нищете Испании, о крестьянах Санабрии и о батраках Кордовы или Хереса, о рабочих Сан Фернандо или Сагунто, о бедняках, которые на юге поют заунывные песни, о бедняках, которые пляшут в Каталонии стройное «сердано», о тех, что, безоружные, идут против гражданской гвардии, о тех, что сидят сейчас в острогах республики, о тех, что борются, и о тех, что улыбаются, о народе — суровом,

храбром и нежном. Испания — это не Кармен и не торреадоры, не король Альфонс и не Камбо, не дипломатия Лерруса, не романы Бласко Ибаньеса, нет, Испания — это двадцать миллионов рваных Дон Кихотов, это бесплодные скалы и горькая несправедливость, это песни, грустные, как шелест сухой маслины, это гул стачечников, среди которых нет ни одного «желтого», это доброта, участливость, человечность. Великая страна, она сумела сохранить отроческий пыл, несмотря на все старания инквизиторов и тунеядцев, Бурбонов, шулеров, стряпчих, англичан, наемных убийц и титулованных сутенеров!

Испанские крестьяне и рабочие душевно куда тоньше изысканных обитателей европейских столиц. Они не расспрашивают, не разглядывают. Они приходят на помощь просто как бы невзначай. В Испании нет государственного пособия безработным. Социалистический министр труда занят статистикой и проектами. Число безработных тем временем растет. Как живут эти люди?.. Только помощью товарищей, которые из мизерного заработка уделяют часть еще более обездоленным. В Барселоне квартиры большие, а заработная плата низкая, в каждой квартире живут по нескольку семейств. Те, что работают, делятся с безработными. В деревнях Эстремадуры батрак режет хлеб пополам и отдает половину безработному. Это делается незаметно, и мало кто об этом знает. В Мадриде удивленно спрашивают: «Почему безработные еще не умерли от голода?..» Чтобы получить с берлинского бюргера пять марок на «суп для несчастных», надо процитировать и библию, и Брюнинга, надо польстить: «У вас благородное сердце»; надо пообещать: «Мы напечатаем о вашем поступке в газете»; надо пофилософствовать: «Если у них не будет хотя бы постного супа, они начнут громить лавки...» Странно, что такой бюргер и батрак из деревни Оливенса, который содержит семью безработного товарища, скрывая это от соседей, оба именуются одним словом «человек».

«Дуро» — это заставляет усиленно биться сердца всех чиновников Мадрида, всех коммивояжеров Барселоны. Крестьяне и рабочие равнодушны к деньгам. Большие дороги здесь не уничтожили гостеприимства. Французский крестьянин никогда не впустит чужого в свой

дом. Если он дает стакан вина, следовательно он — кабатчик и за вино он взыщет столько же, сколько стоит стакан в соседнем городке. Если он угостит сыром, следовательно он уже вычитал в местной газетке, что этот сыр «местная специальность» и что парижане на него падки. Приезжий может зайти в любую испанскую хижину от Галисии до Альмерии — его всюду примут с радушной улыбкой. Ему дадут все, что имеется: хлеб, овощи, фрукты. Если он предложит деньги, он увидит смущение, порой обиду. Мы хотели заплатить за яблоки одному крестьянину в нищей деревне Санабрии. Пезета для него большие деньги. Ему не на что купить ни соли, ни растительного масла. Он поглядел на монету и возмущенно отвернулся. Звон серебра еще не заглушил в его ушах человеческого голоса. Другой крестьянин возле Мурсии принес в автомобиль груду апельсинов, причем это был не один из местных кулаков, но бедный старик, у которого несколько деревьев и который нанимается к соседу, чтобы выработать три пезеты в день. От денег он отказался просто и величественно. Нищенка в Гранде мне предложила кусок луковой колбасы. Чистильщик сапог в Алхисирасе подарил мне сигарету. Босой мальчонка в Мадриде, улыбаясь, угостил меня карамелькой. Все эти люди знают, что улыбка нужнее человеку, чем пезета.

Мадридские лежебоки, сидя в кафе, любят рассуждать о горькой судьбе Испании. От них вы услышите, что страна гибнет потому, что крестьяне и рабочие не хотят работать — это, мол, наследственные лентяи. Опровергать не приходится, опровергает хотя бы тот же Мадрид, та же жизнь лежебок, те же кафе, банки и дворцы. Чем создано это, если не упорством крестьян, которые добывают из камня хлеб, без удобрения и без машин, если не искусством рабочих, которые на архаических фабриках, среди безграмотных инженеров и жуликоватых управляющих, ухитряются делать вещи на вывоз?.. Непонятно, как может работать старик Эстремадуры, который ест куда меньше того, что прописывают врачи толстякам в виде «голодной диеты», запрещая при этом малейшее движение.

Испанцы работают прилежно, но соблюдают достоинство. Форд построил в Барселоне сборочные мастерские.

Он установил там конвейер. Рабочие не пошли к Форду. Квалифицированный рабочий Барселоны получает семь-восемь пезет в день, Форд платит пятнадцать, но на его заводе нет ни одного рабочего из профсоюза — только злосчастный сброд, набранный в «Китайском квартале». Испанские рабочие любят свое дело, это прекрасные токари, сапожники, столяры. В труде они ищут творчества. Несколько лишних пезет их соблазняют меньше, нежели свобода.

Право на досуг здесь кажется столь же необходимым и естественным, как право на воздух. Вот сапожник, он отработал столько-то часов, он сидит на пороге и слушает, слушает, как поет девушка с кувшином, как ревет осел, как перекликаются дети. Приходит заказчик: набить подметки... Сапожник спрашивает жену: «У нас есть сегодня на обед?» Узнав, что на обед есть хлеб и горох, сапожник отсылает клиента к другому сапожнику: он отдыхает. Носильщик в Севилье отнес чемодан, получил пезету. «Отнеси другой, получишь еще пезету...» Носильщик отказывается: с него на сегодня хватит, теперь пусть заработает товарищ... Для мистера Форда это либо сумасшедшие, либо преступники: они не хотят работать до одури, они не понимают, что правда в сбережениях, они не думают о завтрашнем дне. Для испанского рабочего это обыкновенные люди — не лентяи, но и не стяжатели, люди, которые умеют даже голодая жить. Батраки Андалузии старательно оговаривают свое право на несколько «сигар», это, конечно, не сигары — у них и на сигареты нехватает, — нет, это пятнадцать минут отдыха, столько, сколько предположительно курят сигару, это право несколько раз в день передохнуть.

Храбрость, эта историческая добродетель испанского народа, сохранилась только среди рабочих и крестьян. Король при первой опасности отбыл за границу. Генералы, герои марокканской войны, умирают от старости на семейных кроватях. Каталонские патриоты клянутся, что они готовы умереть за отечество; на самом деле они зарабатывают деньги и торгуются с Мадридом, торговались с Примо де Ривера, торгуются теперь с республикой. Журналисты, устраивая в кофейнях безобидные заговоры, заручались хорошими связями. Умирали рабочие

и крестьяне. Их расстреливали гвардейцы при короле, их расстреливают гвардейцы при республике. Они умеют итти против винтовок с голыми руками.

Мадрид. Сентябрь. Демонстрации. Коммунист произносит речь на выступе дома. Это рабочий. Слушают его обитатели квартала Куатро Каминос: рабочие и ремесленники. Стреляют!.. Оратор продолжает говорить. Толпа продолжает слушать.

Каждый день газеты сообщают; в Хихоне рабочие отказались разойтись, — один убит, два ранены. В провинции Гранада столкновение крестьян с гвардией, трое убиты. В Севилье два... В Бильбао четыре... В Бадахосе один...

Стреляют, рабочий продолжает говорить, рабочие продолжают слушать... Старая испанская песня восхваляла мужество. Это было давно, в ту пору, когда удаль, прославляемая певцами — «жонглерами», еще не свелась к турнирам ради той или иной дамы или к реверансам перед королем. «Мое украшение — оружье, мой отдых — сражаться, моя кровать — жесткие камни, мой сон — всегда бодрствовать». Эту песню теперь вправе петь не мародеры марокканской войны и не герои республики, которые вели переговоры с Альфонсом об его путешествии из Мадрида в Париж, но только батраки и рабочие, синдикалисты или коммунисты. Правда, у них еще нет оружья, и, следовательно, им нечем себя украсить, зато издавна их кровать — это жесткие камни, и, любя отдых, они теперь показывают, что этот «отдых» может быть весьма опасен для изнеженного сна республики.

11. ЭСТРЕМАДУРА

Трудно сказать, какая провинция в Испании беднее других. Там, где земля плодородна, у крестьян нет земли, там, где у крестьян земля — это не земля, но камни. Бедна суровая Кастилия с ее голыми скалами, с ее крохотными деревушками, забытыми всеми, с ее громким именем и с миской гороха. Бедна Андалузия, несмотря на солнце и на маслины, на виноградники и на море, бедна, как страна, по которой прошли завоеватели, как дом, из

которого выволокли все до последней лоханки; вместо гороха здесь «гаспачьо» — вода, в воду подлили малость растительного масла, накидали корки хлеба — это обед и это ужин. Бедны Арагон и Ламанча. Трудно потягаться с ними, и все же особенно бедной кажется мне широкая печальная Эстремадура. Это заброшенная окраина. Туда не заезжают ни караваны туристов, ни агитаторы барселонской «Конфедерации труда». Там до сих пор думают, что у русских боярские бороды и что социалисты — доподлинные революционеры. Эстремадура — это так далеко от мира, грустное имя, грустная страна!

В Касересе роскошные дворцы помещиков: флорентийские ворота, мавританские фонтаны, венецианские фонари. У владельца этого особняка десять тысяч гектаров. Он изысканный кабальеро и к тому же страстный охотник; он приезжал сюда каждую осень, чтобы стрелять куропаток. После апрельского переворота он уехал из Мадрида в Париж. Теперь время охоты, но темно во дворце, наглухо закрыты окна, не журчит фонтан, — кабальеро во Франции. Он вывез туда вдоволь пезет, а за деньги даже во Франции можно найти настоящих живых куропаток. Опустели дворцы Касереса: помещики получают деньги от управляющих. Что касается климата, то кабальеро — люди не столь прихотливые: они могут перезимовать и в Биаррице.

Рядом с дворцами монастыри, один за другим, целый город монастырей. Монахи знают, что Эстремадура отнюдь не бедна. Зачем гневить бога?.. В Эстремадуре пробковые рощи, в Эстремадуре прекрасные нивы, в Эстремадуре прославленное свиноводство — местные окорока признаны гастрономами всего мира. Монахи в Испании водятся не где придется, но только рядом с богатством, как воробьи рядом с конюшней, — они клюют золото. Монахи из Касереса не уехали. Они проверили запоры на воротах, пошептались с капитаном гражданской гвардии, пережили несколько тревожных ночей. Они успели отоспаться.

Город, слов нет, пышный. Можно прибавить художественные ценности: собор, дома Ренессанса, древние укрепления. Стоит ли говорить об остальном?.. Хотя бы о воде?.. В Касересе нет водопровода. Утром и вечером

женщины, девушки, девочки спускаются вниз с кувшинами. Город на горе, вода внизу. Женщины носят кувшины на голове. Это очень живописно, и это очень тяжело. Конечно, супруга сеньора Торреса не ходит с кувшином — у нее прислуга; сеньор Торрес твердо убежден, что единственное, на что может пригодиться голова его прислуги, — это быть подпоркой для кувшина. Вода в Касересе не только за тридевять земель, вода премерзкая. Здесь никогда не прекращается эпидемия тифа. Сеньоры пьют минеральную воду или вино; что касается «народа», то не все ли равно, от чего этот народ умирает?.. Мало ли в Эстремадуре умирают от малярии?.. Тиф ничуть не хуже. Притом в Эстремадуре чересчур много людей; в том же Касересе на тридцать пять тысяч жителей тысяча безработных, и эти безработные умирают не от тифа и не от малярии, а просто от голода.

Туристы ездят в Севилью и в Гранаду, никто не забирается в Касерес, а между тем вряд ли найдется в Испании другой город столь фантастичный. Если взглянуть на него снизу, это театральная декорация: громоздятся ярусами дома, по крутым улицам карабкаются стройные девушки с кувшинами, люди в широкополых шляпах лежат на камнях — не жизнь, но балет. Если взглянуть на Касерес снизу... Надо ли взбираться наверх, где прекрасные кувшины оказываются наполненными микробами, где в столь живописных домах видишь черную нужду, где благородные статисты, которые лежат на камнях, становятся безработными без пособий, без надежды, осужденными на верную смерть?..

Как щедра Испания на подобные разоблачения! Каждая эпоха смотрит человеческую комедию по-своему — в разных местах раздаются аплодисменты или свистки. Путешественники прошлого века замечали нищету, но, поданная в эстетическом окружении, она их умиляла. Они стыдливо отворачивались от трущоб Лондона, они знали, что Диккенс — это мораль. В Испании они отдыхали от морали, они воспринимали картины Мурильо как живую жизнь, а лохмотья на нищем как музейную ценность. Там, где они умилялись, нам хочется свистеть в два пальца. Чем прекрасней земля, чем больше в ней внутренней гармонии, чем стройней ее женщины, чем богаче она и

архитектурными перспективами и маслиновыми рощами, тем больше возмущает нас ее нестерпимая нищета. Кабальеро, увидев женщину на улице, по привычке кричит ей: «Я в тебя влюблен, красотка!» — и равнодушно проходит мимо. Стыдно отделаться от красоты Эстремадуры таким комплиментом. Здесь есть что полюбить и что возненавидеть.

Путь от Касереса в Бадахос длится долго, поезд останавливается где-то в поле. Пересадка — надо ждать два часа. Вместо станции лачуга. Возле лачуги огромный кактус, два осла, заколоченная фабрика. На перроне босые дети и сумасшедший старик. Над всем этим плотная серая скука. Подрались два кобеля, их облили водой. Сумасшедший покричал петухом. Ребята нашли гнилое яблоко и обрадовались. Я не помню имени этой станции, это просто лачуга — и это Эстремадура.

Бадахос — граница Португалии, но Бадахос — это то гоголевское захолустье, от которого «хоть три года скачи, ни до какого государства не доедешь». В Бадахосе выходит несколько газет. Самая передовая «Ля вос Эстременья». В этой газете печатается новинка — «Двадцать лет спустя» Александра Дюма. В этой газете обстоятельные отчеты о мировых событиях: «Супруга уважаемого коммерсанта дона Сесилио Алькаля Беррокаля донья Серванта Флеча Родригес разрешилась вчера от бремени красавцем сыном... Уважаемый коммерсант дон Луис Перес Альварес отбыл в Сафру... Вчера захворал легкой формой гриппа заведующий «Банко Эспаньоль де кредито» уважаемый дон Хуан Ретамаль... Прибыл наш дорогой друг дон Лауреана Кальсадо Луис, начальник тюрьмы в Алькосере. Мы желаем ему, так же как и его прекрасной супруге донне Авелине, приятного пребывания...» Донов и донний много: они хворают, выздоравливают, женятся — вот и газета заполнена. Можно прибавить литературный отдел. После романа Дюма — критический разбор «Бедных людей» Достоевского: «Эта книга позволяет нам легче понять азиатский характер Советской России...»

Эстремадура — это не Касерес и не Бадахос, Эстремадура — это деревня. Следует только забыть о привычном значении некоторых слов: приехав в деревню Эстре-

мадуры, никак нельзя догадаться, что это «деревня». В деревне Оливенса двенадцать тысяч жителей, в деревне Дон Бенито сорок тысяч. В таких деревнях имеется все, вплоть до «казино» для местных чиновников и лавочников. Все, кроме земли: ни огорода, ни палисадника. Это города, заселенные батраками. Земля вокруг принадлежит разным маркизам и графам, они живут в Мадриде или за границей. Поместья величиной в уезды. Вот, например, у герцога де Орначуелоса пятьдесят шесть тысяч гектаров вполне девственной земли: герцог любит охоту. У крестьян нет даже хижин. Они снимают комнаты. Они платят за комнату по двадцать, по сорок пезет в месяц. Когда небо начинает светлеть, они выходят из деревни, чтобы поспеть к восходу солнца на работу. Иногда поле в десяти километрах от деревни.

Оливенса. На улицах толпа. Люди в широких шляпах — «сомбреро», в розовых или голубых рубашках. Они стоят на углах и ждут. Проезжий может подумать, что это праздник. На самом деле это забастовка. Хозяева хотят, чтобы батраки работали не «от солнца до солнца», как раньше, но «от зари до зари». Между рассветом и восходом солнца проходит час, столько же между заходом и ночью. Формула поэтична: «от зари до зари» — в переводе на грубый язык это значит: два лишних часа. Забастовщики угрюмо стоят на углах улиц и ждут. Трудно понять, чего именно они ждут. Они уныло ковыряют во рту зубочистками; есть — они давно не ели. У хозяев тоже зубочистки, но перед зубочистками у них сытный обед, и хозяевам ждать куда как легче.

В Оливенсе восемьсот безработных. Этим людям помогали товарищи. Теперь товарищи бастуют. Голодают забастовщики, голодают и безработные. Алькальде Оливенсы социалист; это не мадридский политик, это свой человек. Помочь он, однако, не может. Губернатор не отпускает никаких пособий. Губернатор запретил обложить коммерсантов налогом в пользу безработных. Губернатор шлет алькальде телеграммы: забастовка должна кончиться! Это не совет хозяевам, это приказ батракам. В Оливенсе всего-навсего восемь гвардейцев, но крестьяне Эстремадуры фаталисты: они стоят и ждут. В соседней Андалузии люди умеют хвастаться, привирать, шутить,

это актеры и юмористы Испании. Эстремадура молчалива и скудна на жесты. Здесь иногда поют грустные песни, чаще всего здесь молчат. Восемь гвардейцев со зверскими мордами, как мифологические чудовища, стерегут пленников Оливенсы. В школе монах, он одет в штатское; сладко улыбаясь, он говорит мне: «Здесь людям не на что пожаловаться, здесь люди живут хорошо...»

В одной из деревень Эстремадуры крестьяне недавно подписали договор с управляющим огромного поместья. Они добились уступок: до забастовки они получали четыре пезеты в день, теперь в договоре сказано: «четыре пезеты и еда». Договор был скреплен алькальде. Управляющий негодовал — «лодыри!» Но делать было нечего — договор подписан, управляющий распорядился, чтобы батракам выдавали еду, а именно: похлебку без мяса, без рыбы, без овощей — немного воды с оливковым маслом. Рабочие против харча не возражали: они сызмальства знают, что такое «гаспачьо». Но управляющий распорядился не только выдавать рабочим еду, он распорядился также запечатать колодец: «В договоре сказано, что я обязан вас кормить, кормить, но не поить». Вода хозяйская, ничего не поделаешь! Палит южное солнце, рабочих мучит жажда, воды нет. Они не распечатали колодца, они не бросили в этот колодец управляющего, они только послали депутату ходатайство — нельзя ли распечатать колодец? Без воды в такой зной трудно работать!..

В Эстремадуре нет еще коммунистов. В Эстремадуре социалисты — крайняя партия. Социалисты, конечно, бывают разные. Те, что работают в деревнях, думают, будто они подготовляют революцию. Те, что сидят в Мадриде, делают все, лишь бы удержать рабочих от революции. Испанская песня говорит: «Одни поют то, что знают, другие знают, что они поют...»

Я не знаю, чем кончилась забастовка в Оливенсе, работают ли там теперь «от солнца до солнца» или «от зари до зари». Я знаю, что люди там работают от рождения до смерти. Иногда они поют о горькой судьбе, иногда они бросают лопаты и замирают на углах улиц, суровые, немые. Это прекрасно, как старая испанская живопись, и это страшно, как запечатанный колодец.

12. СЕВИЛЬЯ

Площади, обсаженные пальмами, вывески гостиниц: «Бристоль», «Мадрид», «Париж», грумы в ливреях, проводники, антиквары с новехонькими древностями, магазины «Кодака», меняльные конторы, кондитерские для англичанок и коктейли для американцев, небо, выкрашенное в густосиний цвет, и воздух, стоячий, как пруд, — это могло быть Ниццей, Лугано или Сорренто, это оказывается Севильей.

При короле было лучше! — у гида теперь мало клиентов. При короле было лучше! — хозяину гостиницы «Мадрид», весьма почтенному кабальеро (он подработал на телефонной концесии, и, как говорят, у него капиталец в шестьдесят миллионов пезет), пришлось отбыть в Париж. При короле было лучше! — густо нарумяненная американка лет пятидесяти негодует. Ах, она так любила Испанию! Каждый год она приезжала сюда, чтобы скупать по дешевке старые картины и статуи, — она ведь торгует в Америке древностями. Ее возвышенной профессии куда больше соответствовала монархия. При короле было лучше!..

Гордость города, директор музея и знаток севильских красот, возмущенно говорит мне: «Наши крестьяне сошли с ума! Они хотят работать не больше четырех часов в сутки...» Нет нужды, что крестьяне работают «от солнца до солнца», это вопрос не статистики, но чувств. В Севилье умеют ненавидеть еще не родившуюся революцию. Игра здесь идет в открытую. В Мадриде люди могут философствовать, здесь они уже стреляют. Роскошь здесь особенно порочна, страх заряжает револьверы, и за каждым углом чудится смерть.

Помимо неба с открыток и размалеванных мадонн, Севилья гордится Алькасаром — это мавританский дворец, подновленный, а следовательно, и вдоволь обезображенный. Тысячи кабаков и притонов Западной Европы называются «Алькасарами» или «Альгамбрами». Приезжая в Севилью, туристы — берлинские шиберы, парижские ростовщики или маклеры из Ливерпуля спешат облачиться в мавританские одеянья и, лениво развалясь,

обнимая своих жирных супруг, предстать перед фотографом во дворце Алькасара.

Помимо Алькасара, в Севилье имеется Триана. Триана не дворец, но квартал по ту сторону мутного Гвадалквивира, заселенный беднотой; дворы, кишащие полуголыми ребятами, темные берлоги ремесленников, торговки, которые отпускают счастливцу пяток каштанов, смрад среди безветрия, темь под синим небом, гримаса безработных, голод. Сюда не заходят туристы, здесь нет ни дворцов, ни роскошных борделей, — вербовщики здесь набирают голодных красавиц и отсылают их в Мадрид или в Барселону. Здесь никто не жалеет о рухнувшем королевстве, здесь никто и не радуется республике.

Порой по бедным кварталам Севильи пробегает ветер, как перед грозой: люди кричат, толпятся, негодуют. Тогда показываются другие люди, с винтовками. Раздается несколько выстрелов, несколько человек валятся на мостовую, несколько женщин начинают протяжно выть.

На главной улице у магазина граммофонов толпа: новая пластинка — «Расстрел Галана». Сначала какой-то актер произносит речь: Галан якобы говорит перед смертью. Он требует справедливости. Он приветствует грядущую революцию. Залп. Потом, разумеется, республиканский гимн. Толпа слушает глупую пародию на смерть. В это время в одном из предместий полиция — «сегуридада» — преспокойно расстреливает безработных без речей и без гимнов.

В клубе печати всю ночь напролет журналисты режутся в карты. На стене портреты республиканских вождей, на столе карты, может быть, в согласии с принципами, крапленые — председатель клуба монархист, это не мешает ему обожать республику. Журналисты играют, проигрывают, выигрывают. Потом они наспех пишут статейки, они возмущаются наглостью рабочих, они требуют от Мадрида крутых мер, они призывают граждан умереть за свободу, как умер Галан — последнее, видимо, относится к гражданам-полицейским. Но полицейские не умирают, им и незачем умирать, они только убивают. К сожалению, их подвиги не заносятся на пластинки.

В предместье Севильи огромные и безобразные дворцы — это остатки «Международной выставки». Дик-

татура любила блефовать, миллионные убытки ее не смущали. Павильоны выставки — еще одно свидетельство бахвальства и безвкусия испанской буржуазии. Рядом с павильонами гостиницы. Их построили для воображаемых посетителей. Гостиницы прогорели и заколочены. В одну из них попробовали въехать бездомные. Республиканские власти тотчас призвали гвардейцев, и непрошеные гости были выброшены вон. Они спят теперь где придется, и французский журналист, растроганный, пишет: «В Севилье, конечно, немало бедных, но бедность под таким небом легко переносится. Вместо домов бедняки предпочитают спать на воздухе, любуясь крупными звездами южного неба...»

Из пустой гостиницы бедняков выкинули, однако имеется в Севилье один гостеприимный дом — это тюрьма. В тюрьме сидит немало бедняков — синдикалистов и коммунистов. Они сидят в темных камерах. Во дворе вместо отхожего места ничем не прикрытая яма. Окна камер выходят на яму. Прославленное севильское солнце греет во-всю. Директор тюрьмы говорит о политических заключенных: «Это люди без культуры, с ними нельзя разговаривать. Я жалею об одном — почему отменены кандалы?..» Впрочем, директор обходится и без кандалов: у сторожей хорошие кулаки, у тюрьмы глухие стены. Из тюрьмы никого не выкидывают; это древняя тюрьма, памятник старины, и это передовой форпост республики.

Кафешантан, — их немало в Севилье. Голые женщины на эстраде исполняют танец живота, танец зада, танец грудей. В ложе нарядный сеньорито. Он кричит танцовщице: «Красотка!» Закончив свой номер, танцовщица подымается в его ложу. Там они пьют коньяк. Сеньорито счастлив. Он сейчас не думает ни о сокровенном смысле Алькасара, ни об обитателях Трианы. Сосед показывает мне на сеньорито: «Во время последних беспорядков этот человек собственноручно застрелил трех рабочих...»

На эстраду выходит девка, задрапированная в республиканский флаг. Она поет: «Галан герой, Галан герой, он постоял за нас горой...» Сеньорито, тот, что убил трех рабочих, ухмыляется. Он может хоть сейчас пристрелить десяток Галанов!..

13. «GUARDIA CIVIL»

15 апреля 1931 года многие храбрые гидальго смутились: «Что с нами будет?..» Смутились маркизы и дюки, старшины мадридских клубов, управляющие поместьями в Севилье или в Хаэне, банкиры Бильбао, фабриканты Барселоны, редакторы газет и настоятели монастырей. «Что с нами будет? Неужели они решатся?..» Речь шла, конечно, не об отречении короля — королем сразу все перестали интересоваться. Храбрые гидальго тревожились не за королевскую корону, но за треуголку, отделанную блестящей клеенкой. Они знали, что вместе с этой треуголкой может свалиться их власть. В тревоге они спрашивали друг друга: «Неужели распустят гражданскую гвардию?..» Они еще не знали, что республика подарена народу командиром гражданской гвардии генералом Санхурхо и что вместо фригийского колпачка эта республика примеряет теперь клеенчатую треуголку. При короле в Испании было сорок две тысячи гвардейцев, теперь их сорок восемь тысяч. Республика уменьшила армию, зато она увеличила гвардию. В Испании тридцать шесть тысяч учителей и сорок восемь тысяч жандармов. В гвардейцы берут главным образом фельдфебелей и вахмистров, берут по найму сроком на пять лет. Гвардеец получает пятьдесят пять дуро в месяц. Года три-четыре он состоит в «подвижной бригаде», там он получает ежемесячно восемьдесят пять дуро — в четыре раза больше, нежели рабочий.

Ремесло гвардейца несложное: он должен убивать. Говорят: «Гвардия умирает, но не сдается»; здесь можно сказать: «Гвардия убивает, но не ранит». Когда гвардейцы разгоняют крестьян или рабочих, редко подбирают раненых: гвардейцы целятся в голову или в живот — и стреляют без промаха.

Человек в дурацкой треуголке — это страх всей бедной Испании; им пугает мать ребенка, его ищут в темноте, пробираясь по извилистым улицам, он стал легендой, и, как в средние века смерть, он танцует, — я вижу этот танец, — на рыжих скалах Кастилии, на болотах Эстремадуры, на холмах Андалузии — длинная, страшная тень, которая караулит зазевавшегося, хватает чудака, которая, извиваясь и раскачиваясь, верхом на коне или ползком

подбирается, целится, убивает, — танец длится. Нет дня, чтобы газеты не сообщали о новом убийстве: гвардейцы должны убивать, это связано с треуголками, с дуро и с традицией. Они рыщут по стране; завидев лохмотья и голодный блеск глаз, они останавливаются: они напали на дичь. Здесь нечего гадать, все ясно заранее; крохотная телеграмма газетного агентства, вой восьми или десяти сирот и шепелявая латынь «куры».

В Эстремадуре имеется край, который испанцы зовут по наивности «Сибирью»: они думают, что Сибирь — это «страна смерти». Сибирь Эстремадуры и впрямь край, где людям жить незачем. Люди там едят желуди. Желудями помещики кормят свиней. Человек ползет ночью по земле; это барская земля. Он голоден, и, как зверь, он ищет корма. Навстречу ему идет другой человек в дурацкой треуголке. Он стосковался по делу, в его руке винтовка. Два часа спустя гвардеец диктует рапорт: «Я трижды окликнул встречного, после чего я выстрелил... Убитый оказался крестьянином Педро Руис, 38 лет от роду... При нем найдена корзина с желудями...»

В ноябре, возле Талаверы, гвардеец убил крестьянина, отца девяти малолетних детей. Гвардеец объявил, что убитый якобы хотел на барской земле «словить зайца». Возмущенные крестьяне собрались на митинг. Алькальде города, социалист, долго их уговаривал: «Мадрид рассудит!» Чтобы успокоить крестьян, алькальде послал в Мадрид телеграмму с просьбой наказать виновного, а также сменить офицера гвардии. В Мадриде привыкли к человеческой наивности. Нельзя наказывать гвардейца за то, что он убил крестьянина, как нельзя наказывать социалиста за то, что он шлет сентиментальные телеграммы: оба делают свое дело.

Иногда люди выходят из себя. Недавно в Альмодовар де Рио забастовщики окружили казарму гражданской гвардии. Гвардейцы не стали выжидать, что будет. Они хорошо поработали: рабочие Рафаэль Ривас, Хосе Гальего, Салюстиано Алькарас и Хосе Морено пали мертвыми. Возле трупов на фотографии стоят убийцы, они опираются на ружья и сосредоточенно смотрят в объектив аппарата. Они не опечалены и не веселы, их лица ничего не выра-

жают — это скорей всего призраки, одетые в бутафорские мундиры. Они знают одно — убивать.

Республика на словах отменила цензуру, на деле цензура существует. В Барселоне выходит литературно-общественный еженедельник «Лора». Редактор этого журнала должен посылать гранки на просмотр губернатору. В одном из последних номеров редактор хотел напечатать рисунок: гвардеец на лошади. Рисунок как рисунок — обыкновенный гвардеец на обыкновенной лошади. Под рисунком не было никакого текста. Губернатор, однако, рисунок зачеркнул: «Это слишком мрачно!..» Губернатор ценит гвардейца на улицах Барселоны, на страницах журнала гвардеец его пугает.

14. О СЛАДОСТИ

Рамон — андалузец, и никогда нельзя понять, говорит ли он всерьез, или смеется. На словах он неизменно несчастен. Он и впрямь несчастен, потому что он голоден. Но ссылается он не на голод, а на трагическую любовь: крошка Долорес его, видите ли, разлюбила. Он готов повеситься! Рассказывая это, он улыбается. Возможно, что Долорес его действительно разлюбила и что он улыбается от горя. Возможно, что он выдумал всю историю и что никакой Долорес нет в помине. Он ведь выдумщик и острослов. Андалузия, кроме крепкого вина, издавна поставляет причудливые анекдоты: это Марсель и Одесса Испании. Рамон способен развеселить самого угрюмого кастильца. При этом он очень грустен. Его песни — наследье мавров, они похожи на причитания. Рамон идет на свидание с любимой девушкой и поет: «Моя милая уехала в Мадрид с Педро. У Педро много денег, а у меня только слезы». Рамон помогает матери разжечь жаровню и поет: «Моя матушка умерла, на ее могиле кричит по ночам филин...» У батрака Рамона — это усмешка и песни, у его хозяина, дона Рафаэля, — это лицемерие.

Кадис бел и сладок, Кадис — город соли, но с виду он кажется сделанным из сахара. Кубы домов, солнце, пальмы. Барокко — это лицемерие в искусстве, и нетрудно догадаться, что церкви Кадиса заполнены барочными статуями и полотнами. Христос прикидывается распятым,

он извивается от мнимой боли; извиваясь, он, конечно, строго выдерживает стиль. Воины прикидываются гражданскими гвардейцами, на самом деле они нежно щекочут бок Христа копьем. Мария прикидывается заботливой матерью, в действительности она кокетничает напропалую с ангелочками, которые, увы, эфебы. Поза, условность, пышность, тоскливая, как пустыня. Иногда паноптикум помазан бутафорской кровью, чаще он посыпан сахаром: Кадис — город Мурильо.

В мае рабочие сожгли четыре монастыря, осталось пять целехоньких; жгли здесь наспех, и теперь монахи без особых затрат ремонтируют пострадавшие корпуса. Несколько закопченных стен никак не нарушают универсальной белизны. Губернатор закрыл все профсоюзы — так установлено общее довольство. Алькальде Кадиса нежно улыбается. В его кабинете вместо Альфонса голая девка с грудями — это республика. Куда приятней смотреть на девку, нежели на лопоухого короля; следовательно, все счастливы вдвойне. На столе алькальде палка, не просто палка, но волшебная, — это символ власти. Вероятно, когда алькальде берет палку в руки, все голодные Кадиса чувствуют, что они сытно пообедали. На улицах пальмы, под пальмами трава. Если под пальмой валяется горемыка, можно поговорить о благодетельности климата: здесь всегда тепло, значит и бездомные счастливы, здесь даже жарко, а жара, как известно, отбивает аппетит, значит и голодные сыты!.. В Кадисе довольство и порядок. Если порой приключается заминка, блистательный хозяин Рамона, дон Рафаэль, покровительственно улыбается: это опять наш Рамон поет про филина на могиле...

Забастовка рыбаков. Рыбаки говорят, что им надоело жить впроголодь. Они хотят получать на две пезеты больше. Секретарь «Союза владельцев рыбных промыслов» преспокойно объясняет мне: «Рыбаков подговорили агитаторы. У них нет никаких поводов для забастовки. Они сами не знают, чего хотят...» Разговор происходит в помещении союза — голые стены и запах рыбы. Жаль — поставить бы сюда барочного Христа и покадить бы вокруг секретаря ладаном!..

Сан Фернандо — предместье Кадиса. Впрочем, Сан Фернандо — город, и у него свой алькальде. Этот

алькальде еще импозантней кадисского. Меня он принял примерно так, как принимает президент республики иностранных послов. Для поддержания авторитета он даже взял в руку магический жезл. Он направил меня к местному аптекарю, который числится человеком европейской культуры, и выдал мне при этом удостоверение, где было сказано, что он, алькальде, направляет меня именно к аптекарю. Все это без улыбки, всерьез. Может быть, при этом алькальде думал о том, что крошка Долорес уехала с Педро, может быть, он задыхался от с трудом сдерживаемого смеха.

В Сан Фернандо, разумеется, тоже все благоденствуют. В Сан Фернандо, кроме белых домов, белеют горы соли. Белые дома иногда дворцы — в них живут солепромышленники. Белые дома иногда лачуги — в них живут рабочие. На словах андалузская буржуазия ленива и буколична, она тоже любит грустные песни и вымышленные драмы. На деле она превосходно обделывает свои дела. Соль — это большой трест «Консорсио салинеро Сан Фернандо». Во главе треста — дон Сальвадо Гарсиа Сусо. Вполне возможно, что дон Сальвадо склонен плакать и над могилой с филином и над крошкой Долорес. Капитал треста, однако, внушителен, и горы соли с помощью некоторых биржевых операций превращаются в чистейший сахар.

Рабочий Хуан также работает над солью. Он попробовал бастовать, но дон Сальвадо не сдался. Сдался Хуан. Губернатор во-время закрыл профсоюз. Трест во-время рассчитал ненадежных рабочих. Хуан работает сдельно. После дня мучительной работы он получает пять пезет. Дон Сальвадо уверяет, что Хуан в душе весел, что он только прикидывается несчастным: «Крошка Долорес...» Хуан знает, что соль не крошка Долорес и что пять пезет куда хуже филина на могиле. Хуан это знает, но Хуан улыбается. На столе Хуана роман Гладкова. В тюфяке Хуана револьвер. Хуан поет песню о могиле матушки. Андалузский маскарад проходит достаточно оживленно: «До двенадцати ночи маски обязательны...»

В Сан Фернандо находятся государственные верфи. На верфях была забастовка. Министр вызвал рабочих делегатов в Мадрид. Министр вел переговоры: он хотел

выиграть время. Губернатор закрыл профсоюз. Силы рабочих иссякли. Забастовка была проиграна. Рабочих сначала рассчитали, потом их снова наняли, наняли не всех — шестьсот человек оказались «лишними». Шестьсот безработных бродят среди реальной соли и предполагаемого сахара, среди грустных песен и веселого смеха; они ищут хлеба. В Сан Фернандо много примечательного: морской музей, святые барокко, сеньоры солепромышленники, наконец кафе «Ля Майоркина» с оркестром и с пахучим вином; лишнего хлеба, однако, в Сан Фернандо нет — только лишние рты.

Хозяин кафе «Ля Майоркина» — по совместительству инженер на государственных верфях. Этот, разумеется, не лишний. Днем он работает на верфях, вечером носится по кафе, наблюдая за пахучестью вина и за улыбками клиентов. Я спросил этого кабальеро, какие требования выставили во время забастовки рабочие? Инженер ухмыльнулся: «Такие глупые, что стыдно их повторять. Они, например, хотели, чтобы для них устроили души...» Инженер был чисто одет и, по всей вероятности, вымыт. Рассказывая о том, что рабочие хотели после работы мыться, он разводил руками. В кафе другие инженеры, солепромышленники, чиновники, коммерсанты, попивая пахучую «мансанилью», томно вздыхали: в этот сумеречный час андалузская печаль явно одолевала их.

По улицам бродили безработные. Они весело посмеивались. Кто бы подумал, что они сегодня ничего не ели?.. Что касается Хуана, то Хуан читал диковинный роман о каких-то счастливцах и порой косился на тюфяк — это старый револьвер, но он еще пригодится!..

От Кадиса до Малаги несколько сот километров. Между ними затесался Гибралтар с дикими мартышками и с англичанами, — скала, захваченная разбойниками, которые издают на скале газету, едят на скале овсяную кашу и жерлами пушек проверяют флаги проходящих пароходов. В Кадисе океан, в Малаге Средиземное море. Вода меняется в цвете. Люди те же. Та же сладость. В Малаге она даже усилена вином, прославленной «малагой», тягучей, как сироп. Еще больше пальм, еще больше сеньоров, которые, улыбаясь, говорят о всеобщем счастье, еще больше злой откровенной нищеты. Это имя —

«Малага» — связано с сушеным виноградом и с напитком, похожим на настойку из винных ягод. О том, что Малага может быть вдоволь горькой, редко кто догадывается.

В Малаге сожжены почти все монастыри и церкви. Нигде огонь не был столь яростен. Иностранцы, приезжая сюда, останавливаются в отеле на берегу моря: лазурь, покой, отменный климат. Они не подымаются по одной из узких улиц, похожих на щели, в квартал туземцев. Там ютится малагская беднота. Там встречают автомобиль бранью, а подчас и камнями. Там голые дети и лачуги. Оттуда пришли майские поджигатели.

В мастерской скульптора — статуя богоматери. Она запылилась. Скульптор вздыхает: «Эта статуя заказана, но не взята...» Скульптор работает над новой статуей: грудастая республика. Ее заказали для редакции монархической газеты. Другая «республика» заказана дирекцией банка. Скульптор торопится: кто знает, успеют ли заказчики заплатить за этих грудастых девок?

Кабальеро жалуется: «Они сожгли все церкви, это катастрофа для Малаги! В Гранаде — Альгамбра, в Севилье — Алькасар, а в Малаге только и было что климат да церкви... К нам теперь не приедут туристы... У нас процессия в страстную неделю ничуть не хуже, чем в Севилье... Необходимо разъяснить иностранцам, что в Малаге народ спокойный и богомольный...» Этот монолог произносится возле развалин епископского дворца: «богомольный народ» поработал неплохо.

Кроме монастырей, рабочие сожгли редакцию газеты «Унион меркантиль». Все газеты Малаги в руках у правых, но «Унион меркантиль» была особенно ненавистна обитателям лачуг. Теперь возле редакции почтенного органа бессменно стоят два рослых гвардейца; они охраняют свободу слова. Чтобы познать всю сладость Малаги, я сперва попробовал приторного вина, а потом направился в редакцию «Унион меркантиль». Редактор милостиво мне улыбнулся: «Наши социальные идеи изложены в номере таком-то. Экземпляр газеты вам будет выдан. Кроме того, секретарь редакции вам даст все разъяснения...» У редактора вместо пальцев — жирные обрубки, улыбка и глаза, преисполненные традиционной грусти. На мой вопрос, почему народ сжег именно его газету, секре-

тарь редакции, улыбаясь, ответил: «Происки конкурентов. Толпа состояла из преступников: это было организованным грабежом...» — «Почему же в таком случае «грабители» облюбовали редакцию газеты, а не ювелирный магазин?» Секретарь неопределенно вздохнул на безрассудство батраков. Оказывается, батраки тоже «преступники». В прежние годы они собирали маслины семьями и получали за это сдельно. Теперь они требуют — вы слышите! — по пяти пезет в день... Секретарь иронически улыбнулся, улыбку его охраняют два жандарма с ружьями.

В порту тоже жандармы и ружья: сегодня забастовали матросы пароходной компании «Иберия». Надо ли говорить, что их требования «бессмысленны и преступны»?.. От губернатора до секретаря редакции — все убеждены, что только сумасшедшие могут требовать не просто хлеба, но хлеба с ломтиком сала или колбасы. К тому же эти умалишенные мечтают, как бы размять ноги, посидеть, поговорить! Это «происки Москвы» или «интриги роялистов».

Забастовщики стали возле сходней, уговаривая безработных не наниматься. Полиция тотчас арестовала шестнадцать матросов.

Над белой Малагой синяя ночь. В клубах пряный запах гаваннских сигар: здесь и секретарь губернатора, и редактор «Унион меркантиль», и представитель компании «Иберия». Они играют в карты и лирически вздыхают. В рабочем предместье нет ни клубов, ни пальм. Вот уже сняли с веревок залатанные рубашки и дохлебали жидкий «гаспачьо». В некоторых домишках сегодня особенно тесно: жители Малаги — рабочие, грузчики, рыбаки — приютили тех забастовщиков, у которых семьи в других городах. Матросы не говорят ни о коварстве полиции, ни о революции. Один рассказывает пресмешные истории, другой поет о могиле матушки, третий уверяет, будто он чахнет от несчастной любви. Они коротают голодный вечер без споров и без речей. Они смеются. Смеются и жители Малаги, те, что в мае сожгли «Унион меркантиль». Это кажется беззаботной идиллией, и кто догадается, что в этой лачуге припрятаны два револьвера и что эта рука судорожно сжата от нетерпения?..

15. ХЕРЕС

Мировой славой Херес обязан не воспоминаниям о битве, не древностям, не пышности, не учености, но вину, пряному и душистому, цвета бледного золота. В винных погребах Хереса можно найти визитные карточки всех коронованных особ: английского Георга, старого короля Швеции, который еще попивает херес за бриджем, и принца пьемонтского, который с хереса начал изучение искусства царствовать.

Не только игрушечные короли любят херес, он также признан королями взаправдашними — нефти, нитрата, меди. Этот напиток смягчает сухость балансов, им биржевики запивают «черные пятницы» или «черные среды».

Английские джентльмены, переименовав херес в «шерри», разнесли его славу по миру. Хересом подкрепляются плантаторы, наместники, офицеры карательных экспедиций и шпионы. Это вино бывает то сухим и пронзительным «амонтильядо», то густым «олоросо», то темной сладковатой «солерой».

Херес — небольшой провинциальный город с рядами бочек вместо монументов; однако среди бочек то и дело красуются гербы больших и малых держав: в Хересе имеются консульства не только крохотных республик центральной Америки, но даже консульство царской России, причем этот абстрактный пост занимает главный виноторговец города.

Погреба «Гонсалеса в Биас» — достопримечательность Хереса, наравне с церквами барокко и с памятником Примо де Ривера. Сюда приезжали Бурбоны на винное богомолье. Сеньор Гонсалес гордится «Ротондой», — это погреб, в котором бочки сложены полукругом, одна за другой. Короли расписывались на бочках; здесь можно найти автографы и Альфонса и его прародителей. Это напоминает погреб Эскуриала: там гроба с трухой, здесь пустые бочки. Таков музей Гонсалеса. На заводе Гонсалеса вместо реликвий машины: машины разливают вино, машины закупоривают бутылки. Возле машин — работницы. Сеньор Гонсалес, коллекционер королевских автографов и консул царской России, член правления мощной фирмы с английскими капиталами и обладатель многих

миллионов пезет, щедро платит работницам: они получают по две пезеты в день — четыре франка, семьдесят пфеннигов, тридцать копеек.

Вокруг Хереса виноградники. Местные республиканцы с гордостью говорят, что крестьяне округа счастливы: здесь нет латифундий, земля разбита между мелкими владельцами. У двадцати трех «мелких владельцев» сорок семь тысяч гектаров. У крестьян вовсе нет земли. Комнаты дороги, сплошь да рядом крестьянин должен платить за помещение пятьсот пезет в год. Батраку платят по шести пезет в день, в год он работает всего шесть месяцев, следовательно в год он вырабатывает никак не больше одной тысячи пезет. Половину он уплачивает за комнату. На остальные пятьсот пезет он должен прожить с семьей. Мясо он ест два-три раза в год. Он ходит в дырявых ботинках. Казалось бы, это предел нищеты, но нет, шесть пезет в день — это победа профсоюзов, это вой всех хозяев: «крестьяне потеряли голову», это революционный призыв, за который многие поплатились кто месяцами тюрьмы, а кто жизнью.

Вокруг Хереса сеньоры Вильямарта, Андес, Гарвей; у них огромные поместья. Вокруг Хереса сотни деревень с нищими батраками. В споре между сеньором Андесом и батраком «республика трудящихся» не колеблется: губернатор подписывает приказы, полиция арестовывает «вожаков». Республика, видимо, находит, что на тысячу пезет в год человек может хорошо жить. Конечно, не всякий. Та же республика умеет быть щедрой: дон Сальвадор Мадарьяга получает в год как посол — 300 000 пезет, как профессор 100 000, как представитель в Лиге наций — 60 000, как депутат — 12 000, итого 472 000 пезет. Дон Хулиан Бестейро, социалист, получает как председатель кортесов 60 000, как профессор 16 000, как депутат — 12 000, на автомобильные передвижения — 15 000, итого — 103 000. Дон Рамон Иерес де Айяла получает как посол 200 000, как председатель музейного комитета — 60 000, как депутат — 12 000, итого — 272 000 пезет.

Херес не только вино, миллионы и нищета. Херес также борьба. Я был на митинге сельских рабочих. Сарай.

Дым. Широкополые шляпы. Речи. Здесь говорят о том, о чем не пишут в мадридских газетах. Рабочие поместья рассказывают, как они живут: хозяйская баланда, сон на земле рядом с коровами. Рабочие погребов рассказывают, как хозяева заменяют взрослых детьми. Одного вчера арестовали: он запел «Интернационал». Другого избили — он призывал к бойкоту фирмы «Коньяк Кабальеро», а сеньор Кабальеро не только хозяин, он к тому же алькальде...

В Хересе выходит крохотная газетка «Вос дель кампесино» — «Голос крестьянина». Ее выпускает Себастьян Олива, батрак, который работает на виноградниках, старый революционер, хорошо знакомый с тюрьмами Испании. Это человек лет сорока пяти, с руками, широкими, как корни дерева, и с сухими горячими глазами. Он побывал на Кубе, он и там работал на плантациях, он и там узнал тюремную решетку.

В газете «Вос дель кампесино» пишут только крестьяне; это наивная газета, но ее можно читать без того ощущения брезгливости, с которым невольно раскрываешь большие газеты, правые или левые, полные громких имен и благородных деклараций. В этой газете крестьянин Хосе Маркес ссылается на Каина и Авеля: дальше, он пишет: «Без крестьянина не могли бы существовать ни Гутенберг, ни Сервантес, ни Колумб, ни Реклю, ни другие великие мыслители...» Батрак Альфонс Нуньес призывает товарищей не итти на сбор маслин до открытия запечатанного властями профсоюза. Его статья помечена: «Тюрьма Кордовы». Авенир Дамор философствует: «Андалузия — страна зеленых лугов и голубого неба!.. Но мы живем в свином хлеве...» Мауро Бахатьеро сообщает, что в Кордове у тринадцати сеньоров двадцать тысяч четыреста гектаров. Луис Паред назвал хозяев «тиграми». Редакция пишет, что это «оскорбительно для тигров». Здесь стихи, жалобы, рассказы об обидах, мечты о «свободном рае» и призывы к борьбе.

Газету «Вос дель кампесино» читают крестьяне, ее не отсылают во все страны мира вместе с бочками хереса. Консулы больших и малых держав ходят в винные погреба, но не на митинги. Херес для мира попрежнему

бледное золотое вино. Оно дает легкое и приятное головокружение. Может быть, оно довело бы ценителей до головной боли, если бы они узнали, что есть другой Херес, Херес борьбы.

16. ЭСТЕТИЧЕСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ В КОРДОВЕ

Кордова полна меланхолии, этот город испытал и понял то, что мы называем «историей». Он знал подлинное величие, не только военную мощь, но и духовную гегемонию. Задолго до итальянского Возрождения арабы и евреи открыли здесь клад античной культуры. Рядом с фанатиками и с юродивыми в митрах существовало светское государство — врачи, архитекторы, писатели. Преемственность иногда требует сложной операции. Еврей Маймонид под охраной Ислама сумел передать христианам свой восторг перед Элладой. Кордова была завоевана во имя пророка. Однако торжество полумесяца было торжеством скептицизма. Католицизм задавил любопытство отроческого мира. Несколько веков спустя он расправился и с гуманистами. Безграмотным санкюлотам пришлось снова потребовать права на усмешку. Они победили. Но то, что казалось молодостью мира, сто лет спустя мы по праву именуем «гнилым либерализмом».

Кордова тем временем успела превратиться в маленький провинциальный городок. Ее старые кварталы полны глубокой прелести: узкие извилистые улицы с разноцветными домами, тихие и прохладные дома с внутренними двориками, освежаемыми зеленью и фонтанами, план города, причудливый и логичный в своем иллогизме, как иней на стекле или как сон.

В новой Кордове широкие улицы, большие дома на цыпочках — чем мы не небоскребы? — автомобили, словом все, что нужно для современного города. Однако новая Кордова несчастна библейским несчастьем: она томится среди андалузского зноя.

Эстеты нашего времени любят называть себя «конструктивистами». Они требуют искусства ясного и логичного. Их боевой козырь — архитектура. Против парижских живописцев они выставили каркас небоскреба и

точность машин. Однако эстеты остаются эстетами: говоря об удобстве, они думают о красоте. Они начали с логики, они кончают стилем. Нелепы флорентийские дворцы в Стокгольме; это дань универсализму. Ни принцип международной торговли, ни воздушные рейсы не властны над климатом. Эстетика, родившаяся в Нью-Йорке, вероятно соответствующая вкусам и навыкам Америки, при помощи долларов стала эстетикой всемирной, равно обязательной для Франкфурта, для Осло и для Севильи. Она называется «конструктивизмом», на самом деле она столь же декоративна, как и все стили, знакомые нам по истории искусств.

Старая Кордова вправе посмеяться над новой. Ее извилистые улицы не прихоть. Их возводили ученые архитекторы — арабы и евреи. Для них Кордова была Кордовой, и они не знали об обязательности Нью-Йорков. Они строили город с таким расчетом, чтобы даже в июльский полдень на улице была тень. В «патио» — так зовут внутренние дворы — всегда прохладно. Окна выходят не на улицу, но на дворик с деревьями и с фонтаном.

По узким извилистым улицам проходят ослы. Автомобилям там нет простора. Для автомобилей проложили другие улицы, прямые и широкие: здесь раздолье для «фордов», для солнца, люди здесь изнывают от жары. Днем жизнь в новых кварталах становится мучительным испытаньем. Жутко и в небоскребах с их большими окнами: это оранжереи. Строители, впрочем, не смущаются: растет новая Кордова, как и новая Севилья или новая Гранада. Ни проповедник, ни художник не думают о людях; люди для них только материал.

Кроме плана города, арабы оставили Кордове знаменитую мечеть. Это гранитный лес: аллеи колонн, аллеи, среди которых блуждаешь, не видя ни крыши, ни стен, то теряясь, как в дремучем бору, то нападая на светлую просеку. Перспектива — вот пафос мавританского искусства. Это прежде всего торжество разума, приближение к восторгам математика, культ числа. В мечети Кордовы правоверные молились, но с бо́льшим правом они могли бы в ней заниматься философией или гимнастикой, думать о бесконечности или решать уравнения. Это не храм, но гениальная сборная. Впрочем, теперь это католический

собор. В эпоху торжества инквизиции католики решили очистить поганое капище: они построили внутри амвон и часовни в стиле барокко. Они хотели победить светский дух каменными гримасами, дурным мрамором и лицемерным фанатизмом. Над их поражением стоит призадуматься, особенно теперь, когда на смену светскому искусству, хилому и печальному, должно притти нечто новое.

Первые христиане на место римской скульптуры, хорошо знакомой и с эстетикой, и с анатомией, принесли подлинное варварство. Их саркофаги кажутся детским лепетом. Произошел разрыв, искусство стало беспомощным, однако в беспомощности своей великим. Люди видели мир действительно по-новому: добрый пастырь, неуклюжий и приземистый, не был просто плохой копией Пана. Он представлял и новую форму и новое существо; он только что родился.

Варвары, исправлявшие мечеть в Кордове, были не детьми, но дегенератами. Они ненавидели светский дух мечети, они были против разума, за догму, но они не могли ничего создать, кроме ублюдочных завитушек. Они были фанатиками по поступкам — они умели и разрушать мечети и жечь еретиков. Но у них не было вдохновения фанатиков; оставаясь глаз на глаз с самим собой, такой неудачник, наверное, завидовал умению арабских зодчих, которые воздвигли обезображенную им мечеть.

17. ПРОЩАЯСЬ С МАТРОСОМ

В Испании искусство еще не развелось с жизнью, оно еще не стало бесплодной игрой особенно тонких натур, оно неотделимо от гор, от ослов, от суровой крестьянской жизни. Я видал в Гранаде гончаров, сосредоточенных и вдохновенных, они делали горшки и кувшины. Эту утварь можно закопать в землю, потом откопать и продать туристам как предметы, найденные при раскопках. Дело не в косности, но в постоянности некоторых пропорций, связанных с тем же светом, с тем же делом, с тем же праздником, — кувшин вина и горсть маслин. Античный мир наверху был диссертациями археологов или модой, внизу он оставался бытом.

Кустарь раскрашивает тарелки: птица, цветы, листья. Это очень просто, и это большое искусство. Такие тарелки веселят сотни тысяч крестьян, они скрашивают скудность обеда, заменяют картины и статуи.

Гончары Гранады, ткачи Кордовы, седельщики Саламанки, кружевницы Толедо — не ремесленники, но художники. Пастух в Галисии поет песню — это поэт. Девушка в деревушке Андалузии танцует — ее можно повести на сцену. Чужестранец здесь готов уверовать в живучесть не раз похороненного им искусства. В других странах искусство теперь поддерживается, как курс ассигнаций. Условлено, что на стене должны висеть ненавистные всем рамы. Условлено, что в журналах, между двумя статьями, печатаются короткие строчки, называемые «стихами». Условлено, что искусство — необходимый атрибут культурной жизни.

Среди старых испанских песен имеется одна, если угодно, «программная». Эта песня рассказывает о всаднике, который в Иванов день подъехал к озеру: «Он увидел дивный корабль. На корабле были паруса из шелка. На корабле стоял матрос, и он пел песню. Эта песня была столь прекрасна, что птицы, заслышав ее, опускались на мачты. Эта песня была столь прекрасна, что рыбы, заслышав ее, высовывали из воды головы. Тогда всадник спросил матроса: «Скажи, скажи мне скорей, о чем ты поешь?» Матрос ответил: «Я скажу это только тому, кто отчалит вместе со мной...»

Я отнюдь не склонен переоценивать старые песни или красивые кувшины. Я знаю, что эта нечаянная радость оплачена нищетой, что народное искусство в Испании сохранилось вместе с многими формами феодального строя и что оно скоро вместе с ними погибнет. В более цивилизованных провинциях — в Валенсии или в Каталонии — вместо кувшинов — эмалированные чайники, вместо старых песен — фокстроты. Вскоре последние тарелки гранадских гончаров перенесут в музеи, песни издадут для тридцати — сорока этнографов. Испания вступит в новую эру, жестокую и шумную, в эру, очищенную и от птиц, и от снов, и от песен. Надо ли об этом жалеть? У каждого времени свой пафос. В эпоху Сервантеса не было ни самолетов, ни ротационных машин. Прогресс означает не

только приобретенье, но и потерю. Стоило ли Сервантесу жалеть о керамике мавров или о дидактической поэзии евреев?.. Он глядел в Сеговии на прекрасные акведуки римлян — и довольствовался подозрительными колодцами своих современников. Дульцинея для него была важнее водопровода. Мы вправе с ним не согласиться. Мы вправе предпочесть эмалированный чайник прекраснейшему из кувшинов.

18. ГРАНАДА

Дворец мавров — Альгамбра — находится над Гранадой. Летом в Гранаде была забастовка. Люди на улицах пели и кричали. Гражданская гвардия стреляла. Несколько человек были убиты. В это время к Гранаде подъехал автокар с туристами, с теми скучающими и праздными ротозеями, которые колесят по миру, проверяя, действительно ли стоят на месте все перечисленные «бедекером» достопримечательности. Автокар быстро промчался по пустой улице. Трупов уже не было, и туристы никак не заинтересовались красным пятном на ступенях. Туристы спешили в Альгамбру. Там проводник сообщил им: «Здесь султан убил любовника своей жены», и туристы долго смотрели на ржавое пятно, гадая: кровь это или не кровь?.. Потом они сели в автокар и уехали в Малагу.

Некоторые туристы осматривают Гранаду поподробней. Для них возле Альгамбры построены две превосходных гостиницы. Окрестности полны экзотики. В аллеях стоят цыганки с прекрасными розами и с выражением катастрофической страсти. Они кричат: «Мы — гитаны!» — и щелкают кастаньетами. Турист может пойти в пещеры, где не менее сотни таких «гитан». Они побывали в Мадриде и даже в Париже, но для туриста это — «дикие дочери природы». За сто пезет «дочери природы» исполняют танцы при лунном свете. В сезон дирекция «Альгамбры» приглашает их на сеанс. Кроме «гитан», для туриста устроены магазины с бытовой испанской утварью, как-то: с кастаньетами и с бубнами. Правда, эти звонкие инструменты изготовляются только для туристов, но ведь зара-

нее условлено: бубны — это Испания. Проводник кидает свой плащ под ноги престарелой мисс: «Я хотел бы умереть за тебя!» Проводник тотчас переводит свой афоризм растроганной англичанке. Он не умирает, но плащ от таких чувств снашивается, и не удивительно, что мисс дает проводнику лишнюю пезету. За дуро проводник исполнит серенаду. За два дуро эта серенада будет облита лунным светом в садах Альгамбры. Можно с «гитанами», можно с бубнами, можно с Кармен, можно даже с тореадором, с настоящим, живым тореадором, — это вопрос валюты.

Такова Испания для туристов, «испанщина», как говорят здесь: «эспаньоляда». Из большой страны, вдоволь гордой и вдоволь несчастной, сделали кафешантан. Все тут постарались: свои и чужие, Мериме и Зулоага, Бласко Ибаньес и Бальмонт, Монтерлан и открытки, поэты романтики и хозяева гостиниц. Гранада — столица этой бутафорской Испании, она рифмуется с «серенадой», над ней Альгамбра.

В Гранаде свыше ста тысяч жителей: только немногие из них могут прожить, ударяя в бубны или расхваливая красоты Альгамбры. Гранада — город как город. В нем имеется новый квартал — Гран Вия, с небоскребчиками и с шикарными магазинами. Эта Гранада родилась в начале нашего века и своим существованием обязана сахару, не духовному сахару приморской Андалузии, но обыкновенному рафинаду. Лет тридцать тому назад вокруг Гранады начали разводить свекловицу. Новая буржуазия скупила землю у разорившихся аристократов, построила заводы и заполнила город подозрительной роскошью фасадов с барельефами, бронзовых люстр, мраморных статуэток. Надо ли говорить, что сахар подавался к столу исключительно в необычайных сахарницах, изображавших то лебедя, то турецкую фелюгу?.. Буржуа Гранады увлечен домами в десять этажей и автомобилями. Он не интересуется дворами Альгамбры. Он ходит в кино, где бедра Клары Боу его несколько утешают после бедер местных красоток — «гитан» и «негитан». Он ходит в клуб, где он толкует о политике, поносит Мадрид и требует разгона профсоюзов. Он не кидает плаща под ноги мисс, так как на нем не плащ, но английское пальто, и пальто это он заботливо сдает в гардероб. Направляясь

в бордель, он ждет от красотки не пляски с бубном, но «парижских номеров», о которых ему рассказывал дон Висенте, побывавший недавно за границей. Это обыкновенный буржуа. Для него Гранада не Альгамбра, но Гран Вия, с банками, магазинами и клубами.

Кроме нового квартала, имеется в Гранаде Альбасин. Там живут ремесленники и рабочие. В ткацких мастерских Альбасина я видал немало красавиц. Они не бьют в бубны. Они стоят весь день у станка. Они получают за это по две пезеты в день. Это живописный труд, и это голод. В Альбасине умеют голодать. Северная горная Андалузия куда жестче приморской, и в Альбасине редко смеются. Здесь мало кто помнит об Альгамбре, здесь думают, как бы раздобыть пезету, здесь спорят, кто прав — «Мундо обреро» или «Солидаридад обрера»? Отсюда спустились забастовщики с криком: «Да здравствует революция!» — и сюда приволокли два часа спустя несколько трупов. Для бедноты Гранада — это Альбасин.

Гранада — это имя города, это также имя провинции. Если взобраться на одну из башен Альгамбры, далеко окрест видны поля и горы. Можно полюбоваться Сьерра-Невадой. Можно и задуматься над неизменной темой, которая, как восточная песня, повторяется в любой части Испании, над ее основной темой. Снова огромные поместья, одинокие «кортихо», нищие поселки, снова справки: такого-то графа столько-то гектаров, такого-то дюка столько-то... Неотвязная и грустная песня! Кто сможет пройти мимо этих цифр?.. Прекрасна Сьерра-Невада, как прекрасны скалы Кастилии или холмы Эстремадуры, но это не просто ландшафт, это длинная повесть о беспечности одних, о горе других.

У некоего сеньора в Педросо пятнадцать тысяч гектаров, в Банальткасаре тридцать одна тысяча, в Альмадене — пять тысяч. Вчера снова в том поселке крестьяне кричали: «Землю!» Гвардейцы стреляли... Бой идет с весны. Против крестьян высылали не только пулеметы, но даже воздушные эскадрильи. Гранада... Для окрестных крестьян Гранада — это борьба за землю.

Пять лет тому назад тихо и душно было в Испании. Примо де Ривера говорил о национальном величии.

Социалисты говорили о красоте арбитража и гармонии между трудом и капиталом. Испанские поэты писали стихи об утонченной любви. Пять лет тому назад молодой советский поэт написал престранное стихотворение. Красноармеец, «мечтатель-хохол», сражаясь против белых, поет о Гранаде. «Откуда у хлопца испанская грусть?..» Украинец отвечает

Красивое имя!
Высокая честь!
Гранадская волость
В Испании есть.
Я хату покинул,
Пошел воевать,
Чтоб землю в Гранаде
Крестьянам отдать.
Прощайте, родные.
Прощайте, семья.
Гранада, Гранада,
Гранада моя.

В Гранаде побывали сотни иностранных писателей. Одни из них довольствовались «гитанами», другие, покультурней и поумней, погружались в глубины восточного искусства. Одни влюблялись в пошленькую куклу, другие в прекрасный труп. Светлов никогда не был в Гранаде. Может быть, он ничего не смыслит в искусстве арабов. Он к тому же не знает ни о банках Гран Вии, ни о трущобах Альбасина. Для него Гранада — «испанская волость». Надо ли говорить, что он куда больше понял драму Гранады, нежели Лакретели или Ларбо? Бывают исторические эпохи, когда избыток знания превращается в невежество, когда чрезмерная тонкость лишает человека простой чувствительности. Альгамбра сейчас покрыта плотным туманом: ее следует оставить для туристов с «бедекером» и для находчивых «гитан». В одном из ее дворцов стены столь прозрачны, что лучи солнца проходят сквозь них, и лучи трепещут, как водяная зыбь. Это фокус зодчего, и это стихия человеческой поэзии. Если б у меня было время, я провел бы не один день возле этой зыби. Если б я родился в другую эпоху, я писал бы не о поместьях графа Романонеса, но об игре света и тени. К

Альгамбре люди еще вернутся. Сейчас их место внизу — там, где обитатели Альбасина осаждают Гран Вию, там, где крестьяне «гранадской волости» умирают с криком простым, как «мать» или как «пить»: «Земля, земля!»

19. «ХОТЕТЬ» И «ЖДАТЬ»

Девушке из «приличного общества» не полагается гулять одной. Она гуляет с мамашей, иногда с подругой, иногда с кухаркой. Она должна гулять, так как без этого она никогда не сыщет жениха. С семи до девяти на улицах всех испанских городов толпа: сопровождаемые мамашами или без мамаш — пикетами по три, по четыре — девушки прогуливаются. Их лица столь обильно покрыты румянами, что рядом с ними монмартрская проститутка покажется инокиней. На встречных мужчин они смотрят страстно и зазывающе. Но если заговорить с такой барышней, она возмущенно отвернется, а мамаша закричит «нахал». У барышни синие ресницы и на лбу тщательно приклеенная прядь. Она смеется, как будто ее все время щекочут. Но это бесспорно девственница. Рядом с ней тоже девственницы. Гуляют только девственницы, они гуляют под охраной мамаш. Это — испанский пролог.

Молодые люди смотрят на девушек и млеют. Их кидает в жар и в холод. Они могли бы любить, но «любить» — по-испански «querer» — это значит также «хотеть». Следовательно, они хотят. Им остается одно: жениться.

Дон Хаимэ Гарсия служит в банке «Испано-Американо». Это страстный кабальеро с синеватыми щеками и с поэтической душой. Он встретил вчера на улице замечательную сеньориту. Он ждет ее сегодня. Сеньорита идет с мамашей. Дон Хаимэ замирает, идет вслед. Сеньорита больше не сомневается: кабальеро ее любит. В другой стране парочка, пожалуй, пошла бы вечерком к речке целоваться. Но в Испании строгие нравы, и дон Хаимэ берет в руку перо. Он пишет послание. Он уже узнал, что красотку зовут Хуана и что она дочь владельца посудного магазина дона Мануэля Росалеса. Дон Хаимэ пишет: «С того дня, когда я увидел тебя, я больше не живу, я не

могу ни пить воду, ни спать — вода отравлена, а сон бежит от меня...» Дон Хаимэ, как было сказано, в душе поэт. Впрочем, эта поэзия известна каждому, и она распространена куда шире, нежели орфография.

Сеньорита получила письмо. Сеньорита не отвечает. Дон Хаимэ отнюдь не отчаивается. В каждой игре свои правила: благородная девица никогда не отвечает на первое письмо. Он не жалеет ни бумаги, ни пыла. Он пишет второе письмо: «Если ты не полюбишь меня, я завяну, как цветок без воды!..» Сеньорита с гордостью повторяет: «Как цветок без воды...» Мамаша тем временем наводит справки: сколько получает сеньор Гарсия в банке? Сеньорита не отвечает и на второе письмо. Дон Хаимэ вздыхает, но не падает духом: благородная девица редко когда отвечает на второе письмо. Дон Хаимэ пишет третье, решающее послание: «Если ты не подойдешь завтра вечером к окну, я наложу на себя руки!..» Собирается семейный совет: отец, мать, дядюшки, тетушки, — все высказываются: он получает триста пезет в месяц... Это — прилежный и рассудительный юноша... Он не играет в карты... О нем хорошо отзывался сам дон Франсиско...

Так начинается счастье: дон Хаимэ подходит к окну, в окне прекрасная сеньорита. Он жених, она невеста. На окне решетка. Теперь каждый вечер он будет стоять под окном и разговаривать с прекрасной сеньоритой. Он не одинок — у соседнего дома стоит его сослуживец, дон Рафаэль... На каждой улице Кордовы, Гранады или Мурсии можно найти влюбленного кабальеро. Дон Хаимэ стоит под окном уже четвертый месяц. На окне решетка. Влюбленные говорят. О чем? Разумеется, о любви. Хаимэ страстно шепчет:

— Я тебя люблю!..

Любить по-испански значит «хотеть» и Хуана стыдливо краснеет. Хуана отвечает:

— Мы должны надеяться...

«Надеяться — по-испански «esperar» — это также значит «ждать». Кабальеро ждет: что ему еще делать? Он шепчет о «верности по гроб» и о «небесной любви». Потом часовая стрелка или мамаша уводят от окна ненаглядную особу. Дон Хаимэ уныло бредет по улице. На углу его походка неожиданно меняется. У него в кармане два дуро.

Он идет в публичный дом сеньоры Гонсалес. Там нет ни решетки, ни мамаши. Там дон Хаимэ, измученный ночными диалогами, может, наконец-то, успокоиться.

Женившись, дон Хаимэ месяц-другой не заглядывает к сеньоре Гонсалес. Потом все приходит в порядок: Хуана беременна, она сидит дома. Дон Хаимэ с ней не разговаривает: вместе с решеткой кончились поэтические упражнения. Дон Хаимэ возвращается к сеньоре Гонсалес: это — верный клиент. Через три года у него трое детей. Его жена может судачить с женой дона Рафаэля или со своими тетушками. Заботливый супруг не дает ей скучать: только-только она откормила Пепику, а вот уже — Хуансита. В банке дон Хаимэ зевает, дома он работает.

Любовь без брачного свидетельства в Испании — тяжкое преступление. Профессор в большом городе с гордостью сказал мне:

— Вот женщина-врач X., она живет с доктором Н. Но, знаете, они не повенчаны. Мы их все-таки принимаем.

«Мы» было произнесено с сознанием героизма — мы, передовые люди — левые, но, разумеется, не другие...

В Мурсии с одной сеньоритой, дочерью зажиточного коммерсанта, приключилась беда. Она гуляла за городом с женихом. Оба давно уже и «любили» и «надеялись». За невестой присматривала служанка. Жених оказался находчивым и во-время сунул служанке дуро. Служанка отстала: через девять месяцев у бедной сеньориты родилось дитя. Кабальеро на ней не женился: можно ли жениться на столь легкомысленной особе?.. Родители проклинали, грешница плакала. Все это могло бы приключиться в семье любого коммерсанта, парижского или берлинского. Преступление обычно. Зато наказание говорит о местных нравах: грешницу заперли. Прошло четыре года: прислуга каждый день выводит мальчика; мальчик как мальчик — может быть, это сын прислуги? Молодая женщина исчезла, никто ее с того времени не видал. Она сидит в комнате с закрытыми окнами. Она сидит и поныне. В кортесах кричат о правах женщин, социалисты уверяют, что Испания — «страна свободы». Отец грешницы читает в клубе газеты. Дверь комнаты, однако, заперта. Все в городе знают об этом, никто не удивляется: сеньорита сглупила...

Кабальеро целый день думает о женщинах. При этом он их презирает. О своей жене он говорит: «Дура! Женщины вообще дуры. Только дурак станет разговаривать с женщиной...» Свою дочь вместо школы он отсылает в монастырь. Ее учат исповедоваться и вышивать. Потом ее учат кокетничать и румяниться. Потом ее учат рожать. Потом она начинает учить своих дочерей: ее жизнь кончена.

Кабальеро думает о других женщинах. Он думает обо всех встречных женщинах. Увидев женщину на улице, кабальеро кричит: «Красотка», при этом он издает препротивный звук, как будто он подзывает собачку: таков условный рефлекс. Кабальеро обязан пристать к одинокой женщине — это его долг.

Страна любви, страна серенад и романсов, страна Кармен... В этой стране даже взяточники и сутенеры пишут о «небесной любви». В этой стране статистики не управляются с данными о венерических заболеваниях. Серенады кончаются в публичном доме: два дуро и скука, та, что раздирает рот.

20. МУРСИЯ

На богоматери, которая охраняет Мурсию, добрая дюжина орденов; эти ордена были пожалованы бравым генералам, усмирявшим арабов. Генералы пожаловали ордена богоматери. Помимо орденов, у богоматери палка алькальде. Это дары аллегорические, но богоматерь принимает и подарки более существенные, как-то: драгоценные камни, жемчуга, золото. Безделушки, которыми украшена эта «защитница бедных», оцениваются во много миллионов пезет. Кроме того, у «покровительницы нищих» одиннадцать платьев; все, разумеется, из самого дорогого шелка, расшитого каменьями. Конечно, душа у богоматери весьма подозрительного происхождения: как здесь не вспомнить о нищей еврейке, которая рожала в хлеву?.. Зато волосы у богоматери самые что ни на есть изысканные: когда пришла мода на короткие волосы, аристократки Мурсии отрезали свои косы и подарили их богоматери. В этом нет ничего обидного: богоматери уже около двух тысяч лет, ей нечего гоняться за модой, она может остаться при длинных волосах; притом все знают, что это

не просто пакля, не конский волос, не парик от скверного парикмахера, но ароматные локоны маркизы такой-то и графини такой-то.

Конечно, туалет столь роскошной особы требует большого искусства. Жена церковного сторожа сама моет и чешет деревенского Христа. Богоматерь Мурсии одевают самые породистые дамы города. Это высокая честь, и многие аристократки перессорились из-за права заколоть юбку на богоматери.

Среди дам, которые наиболее часто допускались к туалету богоматери, в первую очередь надо поставить красу Мурсии, сеньору Сьерву. «Краса» — не определение физических достоинств названной сеньоры; только грубые натуры могут интересоваться телесными достоинствами. Нет, сеньора Сьерва — подлинная краса Мурсии: ее супругу принадлежат в окрестностях города поместья — двадцать пять миллионов пезет. Кто же достойней ее приблизиться к «упованию всех обездоленных»?

Пока сеньора Сьерва одевала богоматерь, сеньор Сьерва занимался государственными делами. Народ прозвал его «кровавым министром». В его послужном списке стоят и казнь Ферреро и расстрел забастовщиков. Сеньор Сьерва теперь находится за границей, но «республика трудящихся» отнюдь не злопамятна. Она может выселить нищего крестьянина, который не заплатил во-время двести пезет за аренду. Она не смеет посягнуть на поместья «кровавого министра». Попрежнему у сеньора Сьервы земли на двадцать пять миллионов пезет, и попрежнему он сдает эти земли в аренду. Управляющие смотрят за его интересами. Республика охраняет его священные права. Богоматерь, одетая при содействии его супруги, повязанная генеральским шарфом и вооруженная палкой алькальде, стоит на страже порядка.

Земля вокруг Мурсии богатая и щедрая: апельсинные сады с крупными золотыми плодами, персики, виноград, поля крупного испанского лука; на склонах холмов рыжие квадраты — это сушатся стручки перца; повсюду цветение и пестрота, та расточительность природы, которая неизменно волнует уроженца севера. Природой здесь был задуман рай. Природа не предвидела, что вместе с померанцами здесь расцветет сеньор Сьерва.

Крестьянский дом. Внутри чисто, но бедно. Хозяину лет за шестьдесят. Грустно сосет он обгрызанную трубку. На нем большая шляпа, поля еще держатся, донышка уже нет; солнце жжет седую голову. У него пять таулий земли — это крохотный садик. Земля не его, земля принадлежит какому-то маркизу. За пять таулий он платит в год триста пезет. Он никогда в глаза не видал таинственного маркиза. Один только раз приехала в Мурсию супруга маркиза; она одарила верноподданных улыбкой. Она зашла в дом к крестьянину. В доме было несколько старых кувшинов, расписанных искусным гончаром. Таких кувшинов больше не делают; их можно найти только в лавке антиквара. Маркиза показала хороший вкус: она взяла у крестьянина кувшины, — конечно, ничего не заплатив, — кувшинам место не в бедной избе, но в прекрасном особняке Мадрида. Кувшины положили в автомобиль, маркиза еще раз улыбнулась и уехала. Крестьянин, почесав затылок, понес управляющему триста пезет за пять таулий.

Крохотный кусок земли не может прокормить семью. Старый крестьянин нанимается на поденную работу. Ему платят три или четыре пезеты. Он работает с утра до ночи, он работает круглый год. У него не только шляпа без донышка, у него сгорбленная спина, крючковатые распухшие руки и глаза грустные, как у старого осла. Он устал. Но он будет работать до последней минуты; так хочет маркиз, так хочет богоматерь в одиннадцати платьях, так хочет республика.

— Вы верите в аграрную реформу? — спрашиваю я старика.

— Как было, так и останется...

— Но вы-то что думаете?.. Разве это справедливо?

Ему много лет, и он устал. Апельсины на севере — сказка, крохотное солнце среди зимы, душистый сок, утеха ребят, витамины, здоровье. Для него апельсины — каторга. Он вынул изо рта трубку и сплюнул.

— Зачем думать?.. Если я не заплачу за аренду, меня выселят.

Он стоит покорный и гордый. Он знает, что такое пезеты и что такое свинцовые пули. Он не станет ни спо-

рить, ни доказывать. Он может умереть в поле за работой. Он может также вынуть изо рта трубку, сплюнуть и пойти против гвардии с голыми руками. Его фатализм безобиден и страшен.

Сады, огороды, поля — для кого-то урожай, для кого-то благоденствие. Монастырь иезуитов. У ворот толпа нищих — они ждут с утра подаянья. Внутри хорошо обставленные комнаты: это для кабальеро, которые приезжают в монастырь предаться «духовным упражнениям». Контора экспорта консервов. Огромные обороты. Радость — пезета пала, вывоз растет. Фабрика шелка: работницам платят по две пезеты в день. Наконец город, сонный и бездумный, как все испанские города. В одном из клубов сидит у окна брат «кровавого министра»: «Сьерва-добрый». Вокруг него кабальеро. Они читают газету или дремлют. В кабачках темное и крепкое вино, прохладные дворы, луковая колбаса.

Кабальеро в клубе говорят: «Мурсия — одна из самых счастливых провинций Испании». Я не раз думал, глядя на адвокатов: лицемерие это или беспечность? Недавно в Лорку близ Мурсии пришли две тысячи крестьян из окрестных деревень. Они заявили, что умирают с голоду, что они ищут работу и назад не пойдут. Они легли на площадь перед мэрией — в испанских городах большие площади. В клубах Лорки, как и в клубах Мурсии, кабальеро зевали и щурились от неги. На что они способны? Они никогда не отдадут приказа разогнать забастовщиков. Они выждут, пока не покажется отряд гвардии. Тогда они закроют глаза. Потом они вздохнут: снова шестеро раненых! (Они выдадут, кстати, убитых за раненых.) Они осудят народную темноту, иезуитов и прыть гвардии. Потом как ни в чем не бывало они снова сядут за карты или начнут чмокать перед проходящими сеньоритами.

21. СЕМЕЙНЫЕ УТЕХИ

В Испании все делается по-семейному: доносы, аресты, взятки, выборы. Публичные дома напоминают гостиные тетушки, а высокая политика то и дело сбивается на ссоры двух кумушек у кухонной плиты.

Когда я приехал в Мадрид, меня прежде всего арестовали. Это было очень эффектно: на вокзальном перроне уже поджидал меня полицейский. В участке открыли чемодан — искали, очевидно, пулеметы, залезли и в карманы — нет ли московского золота? Первый день за мной неотвязно следовали представители власти. Потом представителям надоело, и они отстали: наверное, пошли чистить ботинки.

Товарищ министра внутренних дел беседовал со мной. Это бывший журналист, я его знавал в Париже. Он сначала похвалил мои книги, потом перешел к делу — не послан ли я в Испанию какой-либо газетой? Этот журналист, видимо, боялся журналистов. Я его успокоил: «Нет, никем не послан». Тогда он снова похвалил мои книги.

Потом начальник полиции попросил представить ему список всех городов, которые я намерен посетить: это для моей безопасности. Он говорил, что отвечает только за полицию, но не за гвардию; гвардия — та сама по себе; следовательно, в деревни, где царит не полиция, но гвардия, лучше не забираться. Когда я приехал в Самору, редактор тамошней газеты с гордостью мне сказал: «А мы уже напечатали, что вы сюда приедете... Откуда мы узнали? Очень просто: начальник полиции прислал телеграмму губернатору, ну, а губернатор свой человек...»

В Касересе ко мне явились два полицейских в штатском. Я сначала принял их за адвокатов: «Садитесь!» Но они не сели, а попросили паспорт. Я дал паспорт, они его не взяли: чересчур сложно. Спросили, не думаю ли я навсегда поселиться в Касересе, пожелали счастливой дороги и ушли. В поезде меня как-то задержали другие полицейские; эти оказались трудолюбивыми: они прочитали весь паспорт (а в нем страниц сорок) от доски до доски. Прочитали и растрогались, им захотелось сказать мне что-нибудь приятное. Подумали и сказали: «Вот мы уже сопровождали одного из ваших соотечественников, сеньора Майорского, это очень почтенный сеньор, а теперь мы вас сопровождаем...» Все это по-родственному. Могли бы при случае меня пристрелить, но так как день был тихий, предпочли ласково побеседовать.

Испанские газеты похожи на журналы, которые сочиняли воспитанники закрытых учебных заведений.

Валенсия — четыреста тысяч обитателей, бойкий торговый город. В Валенсии выходит газета «Эль меркантиль Валенсиано» — одна из самых распространенных газет Испании. Японцы занимают Маньчжурию, в Париже лопнул солидный банк, в Магдебурге побоище между гитлеровцами и коммунистами. Обо всем этом в газете ни слова, да и вообще нет ни одной заграничной телеграммы. Сплетни из кулуаров кортесов. Интервью с министром внутренних дел, с начальником полиции, с гражданским губернатором. Все трое заявили: «полное спокойствие». Потом — о кино, о погоде, о семейных событиях. Свадьба очаровательной сеньориты Консуэлито Матео Гарсия и почтенного дона Рикардо Ольмос Мартинес... На невесте было великолепное белое платье, которое оттеняло ее естественную красоту и чары ее молодости. После венчания молодые, так же как и гости, отбыли в кафе «Колумб»...

Иногда и в Валенсии приключаются события мировой важности. Например, полиция находит бомбы — двести пятьдесят штук. Губернатор дает обширное интервью. Фотографы дружно снимают бомбы. «Подготовляется заговор»... «Конфедерация»... «Анархисты»... «Москва»... При этом все знают, что бомбы были припасены республиканцами в декабре прошлого года, когда предполагалась «революция». Бомбометатели давно стали депутатами и сановниками. Бомбы валялись в одном из погребов. Кто-то захотел отличиться, и бомбы «нашли». О находке дали телеграмму. Читатель «Берлинер Тагеблатт» читал и ежился: помилуйте, двести пятьдесят бомб... Чины валенсианской полиции пили вермут и обжигали знойными взглядами проходящих сеньорит.

Для катарзиса в Испании существуют лотерея и бой быков. Надежда на выигрыш несколько смягчает социальную горечь, а убийство быка заменяет, хотя бы на время, убийство гвардейца. Лотереи — крупная статья в государственном бюджете. Особенно разгораются страсти к рождественской лотерее: выигрыши миллионные, играют все. В этом году произошел конфуз: вследствие кризиса несколько тысяч билетов осталось нераспроданными, и первый выигрыш пал на непроданный билет. Выиграло, следовательно, государство. Этого никто не смог

стерпеть. Республике готовы простить все ее грехи, невыполненные обещания, болтовню, разгильдяйство, что угодно, только не эту удачу.

В газетах лотереям отводится почетное место. После тиража рождественской лотереи добрая половина самых солидных органов заполнена либо цифрами, либо философией по поводу цифр.

Еще больше места газеты уделяют бою быков.

Разведением быков заняты главным образом аристократы: им принадлежат племенные заводы возле Севильи и Саламанки. Каждый год в Испании торжественно закалывают тысячи четыре быков, причем хороший взрослый бык стоит три тысячи пезет. Еще больше зарабатывают импрессарио: места стоят дорого. Торреадоры тоже не в обиде: занятие это теперь скорее мирное, героизм заменен выучкой, каждое движение в точности рассчитано. Поработав несколько лет, торреадор покупает поместье где-нибудь в Андалузии и садится за мемуары.

Грустней всего в этой истории судьба быков. Я видал их на воле, они мирно паслись; когда работник привез корм, они побежали за лошадьми, как самые доброжелательные телята. Это смирные животные, и только такому зверю, как человек, удается их вывести из себя. На арене бык сперва недоумевает. Он похож на растерянную корову. Он ищет лазейку. Он явно вспоминает пастбище. Его колют стрелами. Он весь в крови. Тогда начинается якобы бой. Человек знает, что надо отбежать в сторону, бык этого не знает, бык кидается вперед. Исход ясен заранее. Может быть, именно эта обреченность быка, эта трагическая тупость и бесцельное благородство пленяют испанцев, напоминая им об их жестокой истории и об их личной драме. Эти реминисценции им не мешают, впрочем, вносить в бойню все элементы оперетки: ленточки, музыку, расшаркиванье перед сеньоритами и парад престарелых кляч.

Торреадоры делятся на различные школы и толки. Агония быка изучается в деталях. Жизнь торреадоров — также. Публика знает не только то, как они играют на гитаре или пьют «мансанилью», но и то, в кого они влюблены и за кого голосуют. Редакция одной из больших

газет Мадрида отправила интервьюера к торреадору Бельмонте, чтобы выведать у этого мудреца его мнение об идеях Ленина. Бельмонте успокоил публику: «Идеи Ленина?.. Что же, я привык к опасностям!..»

22. ДРАМА РАБОЧИХ

Дорога из Валенсии в Сагунто проходит апельсинными садами: это золотой фонд Испании. Каждое дерево приносит в год пятьсот — шестьсот плодов. Апельсины тоже знают классовое неравенство: возле Картахены плоды огромные, с тонкой кожей, это для дорогих ресторанов Лондона и Парижа; возле Сагунто плоды крепкие и мелкие, их продают в рабочих кварталах с лотка. Кроме апельсинных садов, вокруг Валенсии — рисовые поля. Это — богатый край; испанская нужда здесь залечивается природой. Валенсия — город купцов. Сюда приезжают англичане и немцы за апельсинами. Здесь много кино и дансингов. Здесь уважают пезеты и Бласко Ибаньеса. Близость моря смягчает испанские нравы: вместо суровости и доброты — обыкновенная европейская вежливость. Вежливость и апельсины. Апельсины и пезеты.

Сагунто известен старым замком и живописностью расположения. Имеется и другой Сагунто, ему всего пятнадцать лет. Это — рабочий город, он вырос вокруг сталелитейного завода. В этом Сагунто нет ни апельсинов, ни пезет. Угрюмые люди на площади и пикеты гражданской гвардии. Здесь молча разыгрывается драма испанских рабочих.

Завод принадлежит акционерному обществу «Сидерурхика дель Медитеранео»; это разветвление консорциума, центр которого находится в Бильбао. Дело не обошлось без иезуитов. Летом на заводе в Сагунто работали четыре тысячи пятьсот рабочих. Теперь — тысяча двести. Остальных рассчитали. Оставшиеся работают четыре дня в неделю. Шесть пезет в день; это — жизнь впроголодь. Гвардейцы зло озираются: каждый день здесь может вспыхнуть бунт.

Республиканцы Валенсии во всем обвиняют иезуитов. Для них ясно: дирекция завода сократила работы, чтобы

досадить республике. Дирекция отвергает обвинение в саботаже. Она ссылается на мировой кризис: убытки за год достигли 23 000 000 пезет. Конечно, одно не мешает другому: кризис кризисом, иезуиты иезуитами.

Однако, чтобы понять драму Сагунто, надо вспомнить о некоторых особенностях испанской буржуазии. Руководители испанской промышленности невежественны. Это в равной мере относится к финансистам и к инженерам, к частным обществам и к государственным предприятиям. В Сан Фернандо рабочих тоже выбросили на улицу, но там никто не говорит о саботаже: во главе верфей не иезуиты, а республика. В Каталонии не сегодня завтра закроются десятки предприятий. Большинство испанских заводов свято хранит архаическое оборудование начала века. Примо де Ривера выдавал владельцам заводов большие субсидии. Сплошь да рядом сеньоры прокучивали эти деньги в Париже или в Биаррице. На оставшиеся пезеты они покупали старые машины. Испанская промышленность выдерживала конкуренцию с иностранными фабриками только благодаря необычайно низкой оплате труда. Испанский буржуа — мелкий рвач и большой жуир. Если в кассе имеется несколько кредиток, он не думает ни о новых заказах, ни об организации производства, ни о покупке машин. Он удовлетворен жизнью. Это приятно для него и для его домашних. Это катастрофично для страны. После долгих и мучительных стачек рабочие добились повышения заработной платы. Для многих фабрикантов это оказалось гибелью.

Завод в Сагунто оборудован достаточно хорошо; он погиб не из-за плохих машин, но из-за плохого расчета. Его построили во время войны, когда даже испанская буржуазия ухитрилась разбогатеть: манна падала с неба. Построили огромный завод. Заказы. Дивиденды. Счастье. Вскоре, однако, выяснилось, что завод построили зря. От завода до рудников двести километров. Транспорт в Испании вещь сложная и разорительная. Уголь приходится покупать английский. Почему при таких условиях завод построили именно в Сагунто, никто объяснить не может. Над этим задумались только теперь. Задумались, подсчитали убытки и рассчитали рабочих.

Здесь, как и в других городах Испании, за невежество и за бестолковость буржуазии приходится расплачиваться рабочим. Конечно, и для председателя «Сидерурхики», дона Рамона де ля Сота, этот год не веселый. Однако дон Рамон живет неплохо. Он не задумывается над меню своего обеда. Другое дело — люди на площади Сагунто: когда дон Рамон понял свои ошибки, эти люди перестали есть. Республиканский журналист из Валенсии, член партии радикал-социалистов, не без гордости говорит мне:

— В нашей партии много рабочих...

В Сагунто имеется клуб этой поместительной партии. В клубе сидит один из членов партии и читает газету. Это мастер. Журналист здоровается с партийным товарищем. Однако он не расспрашивает мастера о драме Сагунто. Он хочет узнать правду. Он хочет расспросить рабочего. Приходит рабочий. Увы, это — не радикал-социалист, это — член революционного профсоюза. Журналист долго с ним разговаривает. Они шепчутся: рядом мастер. Ведь журналист хочет узнать правду, а правда всегда опасна. Мастер — человек его партии, но все же он мастер: за правду рабочего могут рассчитать. Вот она, испанская неразбериха!..

«Казино» — полное мух и сонных кабальеро. Аптекарь — это местная интеллигенция, он республиканец и мелкий держатель падающих акций «Сидерурхики», человек, следовательно, томный и вдоволь разочарованный. Дома — набитые голодной детворой. В городе, по словам аптекаря, «полное спокойствие». Только гвардейцы не унимаются; они рыщут по пустым улицам, они не доверяют аптекарю. Вокруг заводских стен — стражники в мундирах. А на заводе тихо и тошно. Стоят никому не нужные машины. На одном из ящиков, куда рабочие еще недавно складывали свою одежду, выведено дегтем: «Смерть буржуазии!..» Драма Сагунто не доиграна.

23. О ЧЕЛОВЕКЕ

Рядом с французами испанцы кажутся первобытными, несмотря на всю пышность их истории, несмотря на барокко и на Гонгору, на небоскребы и на проказы Рамона

Гомес де ля Серны. Это, конечно, не дети, но это люди, а не манекены. Я настаиваю на цельности материала. Это можно проследить на природе: здесь горы — горы, степи — степи. Это можно увидеть и за обеденным столом; испанская кухня гордится не столько искусством обработки, сколько добросовестностью продуктов: девственно белый хлеб, густое вино, ягненок, рыба. Может быть, неудачи государства в известной степени следует объяснить именно этой определенностью отдельных частей — человек здесь прежде всего человек. Даже католицизм здесь больше озорничал, нежели воспитывал. Расправы, инквизиции — это зрелище, нечто вроде боя быков. Для подлинного творчества монахам пришлось выбрать вместо Испании Парагвай. Над Испанией очень легко царствовать. Любой выродок с плохонькой армией может захватить хоть завтра власть. Управлять Испанией много труднее. Для этого мало соблазнительных идей и мистического тумана: необходима правда. Я говорю, разумеется, не об адвокатах, но о народе. Куда легче почувствовать эту правду в музее Прадо, перед полотнами Гойи, нежели в соседних с музеем кортесах.

Можно никак не интересоваться искусством, можно приехать в Испанию, чтобы закупить апельсины или чтобы изучить аграрный вопрос, можно быть биржевиком или агитатором, но нельзя пройти мимо Гойи: это — лучший проводник по стране. Так прежде всего разрушаются лживые фразы о «художнике кошмаров». Гойя не декадент, не эстет, не одинокий фантаст. Гойя — художник, которого с полным правом можно назвать социальным. В своей известной картине, изображающей расстрел партизан, он показал, что такое пафос непатетического. Его портреты королевской семьи не карикатуры: это только смелое оголение всячески задрапированных моделей. В эпоху, когда искусство знало одно: скрывать, когда назначение цвета или рифмы было ограждать мир от чересчур жестокой действительности, Гойя шел дальше, нежели человеческий глаз; он показывал сущность предмета или чувств: он был подлинным реалистом. Вероятно, поэтому принято говорить, что он был одарен «извращенной фантазией» и что он жил в мире «неправдоподобного». Все так называемые «кошмары» Гойи ходят в Испании

по улицам: это маркизы и нищие, это спесь и горе, это генерал Санхурхо среди запуганных батраков Эстремадуры.

Урок Гойи можно дополнить уроками испанской литературы. В начале четырнадцатого века в Испании была написана замечательная книга. Ее автором был Хуан Руис, именуемый протоиереем из Ита, священник с подозрительной биографией, в которой важное место занимает тюрьма. Европа тогда довольствовалась эпигонами рыцарской поэзии, рифмованными переложениями «чудес» или молитв, обязательной догмой и столь же обязательной красотой, розой, которая не была цветком, и дамой, которая не была женщиной. Это было задолго до Франсуа Вийона. Протоиерей из Ита написал книгу о своей эпохе, о сластолюбивых монахах и о сводня×, об обманутых девушках, о лицемерии и о пастухах, о страхе перед смертью и о попойках, о рыцарях и о силе. Это якобы автобиография: протоиерей изучает грехи, чтобы больше не грешить. Так можно было написать сатиру или лирическую поэму; ни то, ни другое определение никак не подходит к книге Хуана Руиса. Исследователи много спорили: издевается ли автор, или говорит всерьез? Для католиков это — книга покаянья, для вольнодумцев — первая брешь в стене средневековья. Протоиерей влюблен в донью Эндрину. Он описывает себя: он красив — у него толстая шея, крохотные глаза и осанка павлина. Он не смеется над собой, все условно. Он встречается с доньей Эндриной в церкви: это — не кощунство, это — просто место встречи. Потом донья Эндрина умирает, он ее оплакивает. Потом умирает старая сводня, которая свела его с доньей Эндриной; он оплакивает и сводню, он уверяет, что ее место в раю. Никто не скажет, где здесь кончается хроника, чтобы уступить место правде поэта. Надо ли напоминать, что самое гениальное произведение испанской литературы «Дон Кихот» сделано с тем же реализмом, что оно также допускает тысячи толкований, не допуская в сущности ни одного, что роман Сервантеса — не пародия на литературную моду эпохи, не сатирическое отображение общества, не проповедь мистического самообмана, но правда о человеке, большом и ничтожном, достойном и смешном?..

Испанский реализм меня занимает не как художественная школа, но как разгадка многих особенностей этой страны. Я не думаю, чтобы из нее можно было сделать новую Византию. Французское остроумие бессильно перед любым планом, перед любой статистикой. Ирония испанского реализма куда страшнее. Здесь можно выдать мельницы за врага, и с мельницей пойдут сражаться — это история человеческих заблуждений. Но здесь нельзя выдать человека за мельницу — он не станет послушно махать руками вместо крыльев. Здесь еще живут люди, настоящие, живые люди. Это хлопотно, порой опасно, и это очень утешительно.

24. БАРСЕЛОНА

Барселона рядом с границей, и местные франты охорашиваются: «Мы не испанцы, мы почти что французы!» Здесь много автомобилей и мало ослов. Люди здесь не шатаются без дела, они идут бодрой деловой походкой. Здесь продают на улицах французские журналы и даже цветы.

В кафе здесь много одиноких женщин; правда, это французские проститутки, приехавшие на гастроли, но все же они входят в городской пейзаж. Словом — это Европа.

Я видал в Барселоне одного журналиста. Это каталонский патриот, сотрудник сеньора Масии. У журналиста своя система жизни: «Надо ладить со всеми! Вот я дружу с правыми и с левыми, с ворами и с анархистами...» Этот журналист в Барселоне не одинок. Каталонские «патриоты» издавна стараются со всеми поладить. Они великолепно уживались с Примо де Риверой: душой Барселоны был сеньор Камбо, умный банкир и посредственный политик. Узнав, что диктатура больна, сеньор Камбо помчался в Мадрид: спасать диктатуру. Спасти диктатуру не удалось. Тогда каталонский национализм спешно перекрасился. Сеньор Камбо отбыл за границу. Из-за границы прибыл сеньор Масия. Сначала сеньор Масия фрондировал: он хотел получить на выборах голоса рабочих. Когда полиция арестовала вождя синдикалистов Дурути, сеньор Масия выехал в Херону, чтобы встретить освобожденного Дурути у тюремных ворот. Прошло несколько месяцев,

выборы позади, сеньор Масия едет в Мадрид: он хочет лично проголосовать за сеньора Самору.

Каталонские националисты довольствуются малым. В Барселоне сидит губернатор, присланный из Мадрида, власть принадлежит губернатору. У сеньора Масии прекрасный дворец, триста опереточных полицейских и столько же опереточных законодателей, которые разрабатывают законопроекты для существующей только в проекте «автономной Каталонии».

Каталонский буржуа рад ладить со всеми. Но договориться с рабочими ему не по силам. Он хочет, чтобы они работали много, а получали мало. Рабочие придерживаются другого мнения. Тогда вмешивается Мадрид: «Хорошо, вы получите автономию. Мы уведем из Каталонии наших гвардейцев и наших солдат. Вы останетесь глаз на глаз с вашими рабочими». Выбирать не приходится: каталонский буржуа предпочитает кастильских жандармов.

Каталонский буржуа содержит мадридских жандармов. Он содержит также наемных убийц. В Барселоне имеется «Китайский квартал». Там нет ни одного китайца. «Китайский квартал» заселен босяками, нищими, мелкими преступниками и дешевыми проститутками. В «Китайском квартале» легко найти человека, который за несколько дуро убьет, кого прикажут. Наемные убийцы не деталь: это политическая школа каталонской буржуазии, она связана с высокими традициями. В свое время губернатор Мартинес Андон исправно вооружал всех, кто только брался стрелять по ночам в революционеров; это было барселонским решением рабочего вопроса. С тех пор прошло много лет, в Мадриде теперь республика, в Барселоне сеньор Масия. Однако попрежнему буржуа прячется за спину наемного убийцы.

Главная гордость каталонцев — индустрия. В стране, где только скалы, ослы, ветряные мельницы и адвокаты, Барселона — Манчестер. Ее индустрию, однако, приходится ограждать не только гвардейцами, но и заградительными пошлинами. Фабрики оборудованы плохо. Рабочий получает семь-восемь пезет в день; вдвое, а то и втрое меньше, нежели французский рабочий. Живут рабочие мизерно: несколько семейств в одной квартире. Газ стоит дорого, и готовить приходится на жаровнях.

Женщина весь день возится вокруг капризных угольков. На обед и на ужин все то же «косидо». Бани не по карману. Мясо — роскошь. Кино — разгул. Я говорил с одним рабочим. Это механик, он работает на ткацкой фабрике в качестве мастера. Он получает шестьдесят две пезеты в неделю. Прежде он работал за границей: в Бельгии, в Германии, во Франции. Там он работал как простой рабочий, но жилось ему много лучше. Дешевизной своего труда он должен покрывать и плохое качество машин, и невежество инженеров, и вороватость управляющих. Площадь Каталунья, с флагами и со световыми рекламами, с шикарными кафе и с парадными фасадами банков, кажется площадью большого современного города. Барселона готова здесь соперничать не только с Марселем, но и с Парижем. Все это, разумеется, блеф, все это оплачено нищенским бытом девяти десятых населения.

По вечерам, закончив труды, буржуа гуляет на Рамбле — это нарядные бульвары Барселоны. Изредка забастовщики с песнями и с револьверами доходят до Рамбли. Тогда мгновенно исчезают фланеры: только треуголки и кепки. Час спустя франтоватые сеньоры снова толкутся взад и вперед. Они толкутся до трех часов утра. По словам местных франкофилов, это «настоящий Монмартр».

От Рамбли пять минут до «Китайского квартала». Тухлая колбаса здесь стоит дороже женщины. Нищета показывает себя без зазора. Сюда ежегодно приезжают французские писатели в поисках «живописного». Трудно сказать, почему рваные юбки «Китайского квартала» им кажутся убедительней залатанных юбок Бельвиля? Вероятно, это свидетельствует об определенной апатии и совести и воображения. «Китайский квартал» — человеческая свалка: проститутки для матросов, крестьяне из Арагона или из Мурсии, которые ехали в Барселону, надеясь на заработки, и попали в тюрьму за мелкую кражу, безработные, рецидивисты, спившиеся босяки. Все это кишит на узеньких улицах, выискивая медяк или кусок хлеба. Ночью обитатели «Китайского квартала» сходятся в притон, именуемый «Креолка». Креолок там столько же, сколько китайцев. Босяки и потаскухи танцуют натощак. Хозяин заведения понял авантажи подобной живописности. Журналисты написали несколько подходящих статеек.

Теперь в «Креолку» приходят не только французские писатели, но и барселонские буржуа: любоваться нищетой. Лохмотья, припухшие лица, синяки, кровоподтеки. Рядом кабинет хозяина, в кабинете глубокие кресла, как в клубе, и аромат египетских папирос. В кабинете также статуя богородицы, а перед ней неугасимая лампадка: на деньги, которые хозяин собирает с нищих или с любителей нищеты, он покупает маслица для святой Марии.

Беднота развлекается на Параллели — это широкая улица с кафешантанами, барами и кино. В субботу на Параллель приходят и завсегдатаи Рамбли, чтобы повеселиться «вместе с народом». В цирке показывают «настоящих русских казаков». На арене темно, только мерцает электрический костер. У костра казаки в голубых шелковых кафтанах. Они поют «Алла-верды». Входит главный казак. На нем, конечно, яркомалиновый кафтан. Он слушает, как другие поют, и время от времени стреляет из револьвера. Барселонские буржуа ежатся: «Вот что значит настоящая революция!» Галерка аплодирует — не казакам, но револьверу: галерка любит, когда стреляют и в цирке и на улице.

Рядом с цирком — кафешантан «Севилья». Голые жирные женщины ворочаются на эстраде. Карточные столы: крупье обирают приказчиков и рабочих — сегодня суббота, значит есть что проиграть.

За Параллелью — темь. Рабочий квартал: высокие дома среди пустырей, глухие стены, балконы с бельем, которое вечно сушится, беспризорные ребята, коты.

Блеск Пласа дель Каталунья, сутолока Рамбли, шарманки и певцы Параллели создали легенду о мнимой веселости Барселоны. Все это, включая голых женщин и босяков «Креолки», в воображении омывается лазоревым морем и посыпается золотом юга. На самом деле Барселона вдоволь трагична. Искусственное оживление скрывает пустоту и одиночество. Барселона — разведка Испании. Страна — добродушная, ленивая и бедная — решила заглянуть в чужой мир и в новый век. Это ее передовой пост: в нем немного больше товаров и немного меньше сердечности. Здесь уже незачем философствовать, здесь надо организовывать отряды и делить план города на столько-то боевых участков: это наш, двадцатый век.

25. ИСПАНСКИЙ ЭПИЛОГ

Это был один из моих последних вечеров в Испании. Барселона — не только столица Каталонии, это большой испанский город. Фабричные трубы и политическая путаница притягивают к нему людей из других провинций. Это был, следовательно, эпилог скорее испанский, нежели барселонский. Мы пошли в рабочий кабачок, который посещают главным образом выходцы из Андалузии. Они пьют по стаканчику «мансанильи»; куда больше они поют. Поют не хором, не за столами, но подымаясь на эстраду, как заправские артисты; поют приказчики, сапожники, почтенные матери многочисленных семейств и молоденькие мастерицы. Поют они «фламенго» — это звучит безысходно, как широта и нищета Андалузии. Слова о несчастной любви, но заунывность напева откровенней — это о несчастной жизни.

Общество наше было пестрым: коммунист, бывший офицер, подпольщик, теперь интеллигент без работы, журналист-каталонец, тот, что «ладит со всеми», нервный скульптор, влюбленный в искусство и твердо верующий, что человечество должно существовать ради гениев, два рабочих из Кастилии, руководители синдикалистов. Никто из них не пел. Скульптор, преданный искусству, слушал песни. Журналист что-то записывал в блокнот. Остальные разговаривали о своей судьбе, о судьбе Испании.

У одного из рабочих сухие жесткие глаза. Вряд ли он с ними родился. Он просидел сутки в часовне, ожидая казни: смертников в Испании сажали в часовню, чтобы они на прощанье поладили с богом. Потом их выводили из часовни, на шею надевали железный обруч, завинчивали винты: это называлось «казнью через удавление». Он сидел в часовне и ждал обруча. К нему пришел священник и начал говорить о милосердии. Тогда смертник сорвал со стены тяжелое распятье и проучил «куру». Случайно он спасся от обруча. Он работает теперь на заводе. Когда он глядит сухими жесткими глазами на журналиста, тот начинает нервически улыбаться.

Другого зовут Дурути.

Он был приговорен к смертной казни не только в Испании, но и в Аргентине, и в Чили. Французы его арестовали

и решили выдать. Спорили только — кому: Испании или Аргентине? На допросах изысканный следователь время от времени проводил рукой по своей шее: он хотел напомнить, что именно ждет Дурути в Испании или в Аргентине. Дурути просидел семь месяцев, гадая о том, кому его выдадут. Пока юристы спорили, в стране началась кампания против выдачи. Дурути был спасен. Его выслали в Бельгию. Из Бельгии его выслали в Германию, из Германии в Голландию, из Голландии в Швейцарию, из Швейцарии во Францию.

Дурути по убеждениям анархист. Однако по роду занятий он рабочий. Это предопределяет неизбежный конфликт. Скульптор легко мог бы стать анархистом: от этого ничто не изменилось бы в его жизни, он мог бы попрежнему презирать человечество и верить в торжество гения. Рабочий знает, что такое организация; сложность производства приучает его к идее порядка; солидарность требует от него дисциплины. Анархизм испанских синдикалистов — это не анархизм кофейных завсегдатаев, которые сочетают Бакунина со Штирнером, безначалие с эротикой и свободу с кутежами. Испанские синдикалисты стоят у станка. Недавно они приняли постановление о том, что хозяева не должны брать на работу рабочих, которые не состоят в профсоюзе. В другой стране это азбучная истина. В Испании это шло против всех традиций, и это далось с трудом. Анархистам пришлось отказаться от анархии, ревнителям свободы пойти на насилье.

То, что Дурути еще лепечет, просто и ясно говорит коммунист; слабость партии его не смущает: «Весной семнадцатого года в России было не очень-то много большевиков...» У него нет романтической биографии Дурути, но ему и не нужно этого: за него история. У него даже нет имени, это просто коммунист, скромный человек в потертом пиджаке, и это вместе с тем столько-то миллионов. В маленьком кафе он сидит, как посол, аргументируя странами и эпохами.

На эстраде тем временем один певец сменяет другого. «Камереро» тоже не выдержал: он оставил поднос, вскарабкался на эстраду. Он поет о своих любовных неудачах, поет протяжно, как муэдзин на минарете, поет и одним глазом все же присматривает, чтобы не ушел кто-нибудь,

не заплатив за стаканчик. После официанта на эстраду подымаются несколько человек. Среди них молоденькая девушка лет пятнадцати. Они долго и угрюмо бьют в ладоши. Они смотрят на девушку. Они ждут. Девушка медлит. Она упирается. Она стучит каблуками. Потом она срывается с места и начинает плясать, медленно и страстно. Этот жестокий танец не дает выхода чувству, он только возбуждает и томит. Он сразу кончается, как ветер на море. Он спадает в изнеможении. И снова — заунывная песня.

Теперь все спорят. Скульптор за красоту. Дурути за свободу. Коммунист за справедливость. Это спор 1931 года. Его сейчас повторяют в разных странах разные люди. Испания долго была в стороне. Она тешила мечтателей и чудаков гордостью, темнотой и одиночеством. Казалось, что она вне игры. Так в Америке люди машин и ожесточенного труда устроили заповедник с девственными лесами и с диким зверьем. Однако в Испании не деревья и не звери, но люди. Эти люди хотят жить — Испания вступает в мир труда и борьбы. Она вступает во-время.

1931—1932

МИГУЭЛЬ УНАМУНО
И ТРАГЕДИЯ «НИЧЬЕЙ ЗЕМЛИ»

В годы войны между вражескими окопами проходила узкая полоска земли. Каждый день на нее падали снаряды. Ее обволакивали ядовитые газы. Она была покрыта колючей проволокой и трупами. Ее называли «ничья земля». Кто вздумал бы искать спасения на этой проклятой земле?

В нашу эпоху социальной войны некоторые писатели еще мнят себя нейтральными. Они пытаются обосноваться на «ничьей земле» вместе с пишущими машинками, с музами и с издателями. Они думают, что высокие тиражи или почтительные отзывы предохранят их от снарядов.

Несмотря на дождливую погоду, костер перед зданием берлинской оперы пылал во-всю. Отсветы этого пожарища испугали даже самых «нейтральных»: ведь на костре погибли не только коммунистические трактаты, но с ними заодно романы Джека Лондона и Стефана Цвейга.

Жест немецких фашистов вполне логичен. Перепроизводство бумаги не позволило им отослать «опасные» книги на фабрики. Что касается страха перед мыслью, то он определяется возрастом класса. Советская революция могла преспокойно издавать письма императрицы Александры Федоровны. Так называемая «национальная революция» поспешила сжечь письма Розы Люксембург. Молодой класс лишен суеверных страхов, он не верит в привидения и не воюет с трупами.

Рабочие умеют чтить и Шекспира, и Гёте, и Пушкина. Они строят новый мир не на метафизическом небе, но на земле, удобренной потом многих поколений. Советские издательства выпускают сочинения Вергилия и Сенеки, Герцена и Толстого. В советских библиотеках можно найти романы Марселя Пруста. Советские исследователи посвятили ряд серьезных трудов поэтическому гению Тютчева. Их не остановило то, что Тютчев был славянофилом, монархистом и царским цензором. Они знали, что молодые поэты могут многому научиться и у Тютчева.

Рабфаковцам незачем прибегать к огню: история не только инкубатор, это и прекрасный крематорий. Умирающий класс прежде всего труслив. Войдя в библиотеку, бездарный литератор и всемогущий министр Геббельс невольно хватается за коробок спичек. Он хочет быть трагическим Дон Кихотом, но он сильно смахивает на того российского градоначальника, который как-то выстрелил из револьвера в тарелку щей, потому что щи оказались чересчур горячими.

Немецкие фашисты прежде писали предпочтительно на заборах. Теперь им выдали прекрасные линотипы и запасы бумаги. Однако им не о чем писать. Для звериных рефлексов достаточно и тех пятисот слов, которыми обходятся первобытные племена.

Они ответят, что фашистская Германия еще не успела обзавестись своей литературой. Нельзя же все делать сразу — и жечь книги и писать. Обратимся к учителям гитлеровцев — к итальянским фашистам. Впавший в детство Габриель д'Аннунцио продолжает гордо лопотать о своем «великолепии». Но ему теперь не верят даже продавцы коралловых брошек. Маринетти, тот полон энтузиазма. Чем же он озабочен? Осушением болот? Голодом в Сицилии и в Калабрии? Рождением нового сознания? Взаимоотношением труда и поэзии? Нет, этот фашистский фигляр и футуристический академик потрясен иными проблемами. Он, например, не хочет, чтобы итальянцы ели вульгарные макароны. Он предлагает им есть курицу под розовым соусом и ярколазоревое мороженое. Он также за стеклянные шляпы и за алюминиевые галстуки. Так страна, которая претендует на духовную гегемонию, превратила своего первого поэта в картузника

и в кондитера. Кондитер, впрочем, не унывает. Он важно рассказывает терпеливым репортерам: «С пластической и в то же время абстрактной радостью мы присутствуем при рождении «Я» среди различных гласных, которые стали конкретными». Трудно сказать, что он называет «конкретными гласными». Касторку, которая давно превратилась в тюремную баланду? Слюни безработных, которые мечтают не о розовой курице, но о тарелке макарон? Или поэтические повадки «дуче», который, как исправный графоман, рассылает свои пьесы в дирекции парижских театров?

Д'Аннунцио и Маринетти — люди дофашистской эры. Что же принесло стране «национальное пробуждение»? Единственный роман молодой фашистской Италии, которому удалось выйти за пределы своей страны, носит достаточно красноречивое название: «Безразличные». Это роман о современной итальянской молодежи. Перед читателем не грубые рабфаковцы, которые учатся на трамвайных остановках и которые работают по восемнадцати часов в сутки. Герои романа Моравиа — безразличные. Им невыносимо скучно жить, и, зевая, автор описывает их никчемную жизнь. Любовник мамаши изменяет ей с дочкой. У любовника — лиры, а почтенная семья разорена. Сын хочет убить обидчика, но потом, раздумав, пьет с ним ликер. Автору до того тошно обо всем этом рассказывать, что он неизменно возвращается к обеденному столу — вот прислуга принесла тарелки, вот она унесла тарелки, вот положила вилки... Таковы литературные признания «молодой пробужденной Италии».

Имеется, однако, в Европе страна, где у власти находятся не рабочие и не фашисты, но самые что ни на есть настоящие литераторы. Писатели в Испании 1933 года — министры, посланники, губернаторы. Это и есть «ничья земля» — литературное кафе между окопами. Писатели пишут статьи и произносят великодушные речи. За ними стоят владельцы латифундий, международные финансисты и вояки из «гражданской гвардии».

Мигуэль Унамуно — прекрасный поэт, печальный философ и беспомощный политик. Его опыт поучителен. Этот человек искренно мечтал о революции. Он любил поступь времени на страницах книг. Когда же эта поступь превратилась в гул толпы перед окнами кортесов, он отошел от

окон и начал мечтать о старой Испании, которая жила в глубоком вневременном сне. Он захотел остаться нейтральным между горняками Эстремадуры и гвардейцами.

Унамуно — храбрый человек. Когда страна в страхе молчала, когда испанские социалисты лепетали о «государственной гармонии», Унамуно выступил против диктатуры. Его отправили в ссылку. Он бежал из ссылки. Во Франции, несмотря на «увещевания» полиции, он продолжал обличать тиранию. Он был в то время не зеленым юношей, но почтенным профессором, знаменитым писателем и старым человеком. Он отказался от почета и уюта. Он жил в изгнании, как бедный студент. Когда я говорю, что он испугался истории, это не справка о недостатке гражданского мужества, это трагедия «ничьей земли».

Зимой 1925 года я часто видел Унамуно в парижском кафе «Ротонда». Он сидел окруженный учениками. Он говорил о свободе и революции. Иногда он вырезывал из бумаги диковинных зверей. Он писал печальные стихи: «Романсеро изгнания». Он был похож на Дон Кихота в очках и без лат. В его облике было то суровое и безысходное, что нас потрясает в пейзаже старой Кастилии. Я тогда еще не читал его книг, но, взглянув на него, я сразу поверил, что это настоящий поэт и непримиримый человек.

Я увидал Мигуэля Унамуно шесть лет спустя на трибуне Кортесов. Он выступал против требования национальных меньшинств. Реакционную политику он защищал цитатами из классической поэзии. Кажется, цитируемые стихи волновали его куда больше, нежели вопрос о каталонском статуте. Как прежде, его глаза выдавали глубокую тоску. Но это не был поэт в изгнании, это был депутат кортесов и постоянный сотрудник степенно-буржуазной газеты «Эль соль».

Унамуно иногда называли «нигилистом». Он не восстает против определения, но ему не нравится слово «нигилист» — оно звучит для него чересчур по-русски. «Ничто» по-испански «nada», и Унамуно согласен на звание «надиста». «Ничевочество» Унамуно, однако, предназначается для любителей поэзии и философских коммента-

риев. Унамуно-политик защищает теперь достаточно определенные ценности, не только отечество и традиции, но даже собственность.

В своих газетных статьях Унамуно остается поэтичным и возвышенным. Говоря о голоде батраков, о забастовках или о заговорах фашистов, он живописует красоты испанской природы и призывает в свидетели всех поэтов и философов: Альфреда де Виньи, Вергилия, Тирсо де Молина, Гюго, Кнута Гамсуна, Кальдерона, Броунинга, Кардучи, Кеведо, Данте, Пиндара, Зорилью и даже Карла Маркса. Читатели газеты «Эль соль» — это обыкновенные испанские буржуа. Они не любили ни короля, ни иезуитов. Но с религиозным пиететом они подходят к биржевому бюллетеню и к треуголке гвардейца. После революции в редакции «Эль соль» произошел раскол: левые ушли. Унамуно, однако, остался. Его трагический «надизм» не восстал против руководителей этой газеты, которые поклялись защищать интересы перепуганных негоциантов.

Психология последних не заслуживает особого изучения — они все те же и на Курфюрстендаме и на мадридской Алькала, эти «свободолюбцы» сначала поют «Марсельезу», а потом зовут на подмогу гвардейцев или штурмовиков, чтобы спасти свои ценности от так называемой «анархии». Другое дело — психология Унамуно, на ней надлежит остановиться.

Унамуно никогда не стремился к стройной философской системе. Он предпочитал «комментарии» лирические и грустные. Он много говорил о «трагическом ощущении жизни». Ничто, казалось, не предвещало сближения между последним из Дон Кихотов и умеренными республиканцами. Природа Унамуно обнаруживала страсть к чрезмерному. Он не стал, однако, ни роялистом, ни анархистом. Он задержался где-то в центре.

Умеренность Унамуно не синтез, это результат арифметического сложения. Разгадка таится в характере страны. Феодальный строй до сих пор жив в Испании, он сказывается не только в размере поместий и в нищете крестьян, но также в известной патриархальности нравов, в презрении к богатству, в гостеприимстве, в примитивной и, однако, высокой человечности. Испанская буржуазия

стремится заменить все это если не хорошими машинами, то хорошими дивидендами. Однако она труслива и беспомощна. Это не якобинцы, это наши русские кадеты в сокращенном переиздании.

Унамуно хорошо понимает необходимость и аграрной реформы и борьбы с монашеством. Но в душе он сожалеет о трогательной нищете, об отрешенности и бескорыстности старой Испании. Он готов повторить на испанский лад: «Эти бедные селенья, эта нищая природа! Край родной долготерпенья!» Он ищет тормоза — машина времени мчится слишком быстро. Он отрекается от своих прежних мечтаний. Он начинает слагать разум и страх, прежние мечты и новую тоску. В итоге получается программа куцых реформ, пополняемых карательными экспедициями, программа перепуганного буржуа и его органа «Эль соль».

Стоило ли говорить о трагическом ощущении жизни, стоило ли ссылаться на рыцаря печального образа и писать элегии, чтобы потом выступить с признанием, достойным любого бакалейного торговца, который из своей приходо-расходной книги делает евангелье и который обожествляет градацию годовых доходов как иерархию небесного воинства? Вот что пишет Мигуэль Унамуно о справедливости: «Итог иных социальных революций — перевернут тот же блин... Так рождается кража, ибо крадут не от голода, я это повторяю, но от отвращения к труду и от зависти».

Вся история государственного управления Испании — история взяток, подкупов и хищений. Любая папка в любом министерстве — собрание вещественных улик. Но если выведенный из себя голодом андалузский батрак идет в господский лес, чтобы подобрать желуди, его убивают, — это и есть вор. Философ Унамуно поясняет, почему такой батрак пошел на преступление: оказывается, он позавидовал сиятельному сеньору, у которого миллионы никому не нужных желудей.

Унамуно пробует доказать, что в Испании нет настоящего голода. Он утверждает, что крики: «Мы голодны» — только лозунги митинговых ораторов. Я хорошо помню озеро Санабрия. В моей книге я рассказал о судьбе двух деревушек, расположенных на берегу этого живописней-

шего озера. Я видел в этих деревушках людей с лицами, помеченными долголетним голодом. В маленькой харчевне на берегу озера мне показали тетрадь. В этой тетради Мигуэль Унамуно написал стихи о красотах Санабрии. Он, конечно, видел и голодных людей. Но он поэт, и он написал стихи о природе. Это его право. Древние уверяли, что музы на поле брани молчат. Но музы, как и все существа, даже «божественного происхождения», не бывают нейтральными. Случай с Унамуно еще раз это подтверждает. Он начал со стихов о красоте озера. Несколько лет спустя он написал газетную статью, уверяя, что в Испании нет голода. Тогда он перестал быть поэтом, он сделался простым солдатом того лагеря, в котором находятся и бездельник, получавший «форо», и счастливая обладательница рыбного озера.

Унамуно очень культурен и очень сложен. При известных обстоятельствах эти достоинства превращаются в слабость. Он мог быть мудрым, он, однако, мудрствует. Он не хочет видеть голодных — это слишком просто, это доступно каждому. Он рассуждает: что такое голод? Он доказывает, что голод, описанный Кнутом Гамсуном, никак не похож на голод, описанный Кеведо. Это — литературный комментарий для вполне сытых читателей «Эль соль». Тем временем сотни тысяч безработных мечтают о миске с горохом. Так постыдно заканчивается в наши дни высоко-трагическая философия.

Парадоксы, может быть, и хороши в философских комментариях. Они нестерпимы, поскольку речь идет о человеческой жизни. Унамуно говорит, что вырождение на почве голода испанских крестьян — это досужие басни. Между тем его любимые места — это окрестности Саламанки. Один горный перевал отделяет их от края, называемого Ляс Урдес, где голод переродил людей в уродливых карликов, в злосчастных кретинов. Это, конечно, звучит чрезвычайно прозаично рядом с рассуждениями о том, что голод — понятие относительное или что патологи на самом деле логопаты, но это точная справка о судьбе живого края. Унамуно говорит читателям «Эль соль», что вся беда от еды. Это, наверно, справедливо применительно к артрическим республиканцам с Пасео дель Кастильяно.

Но я хотел бы послушать, как знаменитый философ стал бы доказывать обитателям Ляс Урдес свою теорию пагубности питания.

Я не хочу дольше останавливаться на разборе газетных статей Унамуно. Я вовсе не склонен смеяться над его противоречиями, над всей откровенной нищетой этого философского богатства. Я хочу отнестись к трагедии писателя с тем же уважением, которого заслуживает и трагедия крестьян Ляс Урдес. Я знаю, что ослепление Унамуно родилось не от его привязанности к тем или иным социальным привилегиям. Его личная бескорыстность вне спора. Остается выяснить, какой дорогой он пришел к тому миру, в котором, как в мутном зеленом аквариуме, плавают различные Леррусы. Не культ материальных богатств привел сюда Унамуно, не тоска по власти, но обожествление слова. Унамуно говорит: «Словом наши предки создали все прекрасное, словом, а не мечом». Это звучит как утверждение высокой поэзии или как реабилитация Дон Кихота в его борьбе с мельницами. Но слово меняется в зависимости от того, когда и как его произносят. Трибуна Кортесов — не парижское кафе, и газета «Эль соль» — не дневник нового Вертера. Слово тем и сильно, что оно рождает действие. Мигуэль Унамуно пишет. Гражданская гвардия тем временем работает. У этих современников, правда, не мечи, но карабины, однако в Касас-Вьехас они показали, что они быстро переводят некоторые слова на язык огнестрельного оружия.

Я глубоко убежден, что, узнав о трагедии Касас-Вьехас, Мигуэль Унамуно пережил тяжелые часы. Здесь его «трагическое ощущение жизни» слилось с правдой, доступной любому безграмотному батраку. Но смысл исторических событий в том, что Унамуно пишет о прекрасных традициях, а гвардейцы наводят винтовки — одно тесно связано с другим. Нейтральной земли больше нет, ее нет и в том, втором мире, в котором хочет жить философ Унамуно. В истории испанской литературы он останется как большой поэт. В истории испанской революции он будет упомянут как второстепенный деятель буржуазной реакции. Его личная судьба так же поучительна для колеблющихся писателей, как и берлинские костры.

Для многих из этих колеблющихся пример Унамуно раскрывает и другое: необходимость известного самоограничения. Чем больше писатель любит слово, тем целомудренней и строже он должен к нему подходить. Велика опасность опрощения, нивелировки, замены всех инструментов одним барабаном, отрицания глубины и многообразия жизни. Но не менее страшна и другая опасность — чрезмерного усложнения, подмены живой жизни игрой, жонглирования легкими идеями и редкими словами, инфляции мысли, за которой неизменно следует инфляция крови.

1933

БАРСЕЛОНА В АВГУСТЕ 1936

Стоят горячие дни. Город поет: звуки «Интернационала» вылетают из темных, узких дворов, ползут по тоннелям метро, забираются на окрестные горы. На Рамбле гарцуют кавалеристы. Проезжают грузовики, наспех обшитые железными листами. Дети несут флаги, как простыни; проходящие кидают кольца, монеты. Люди с винтовками вывешиваются из автомобилей. На скамьях спят подростки, опоясанные пулеметными лентами. Девушки, осторожно ступая на высоких каблуках, волочат ружья. Повсюду неразобранные баррикады; они еще дышат боем. Осколки стекла, гильзы. В будуарах гостиницы «Колумб», среди мебели рококо — ручные гранаты. У стен домов, на плитах тротуаров, в скверах — груды роз: здесь погибли герои Барселоны. Лихорадка трясет город. Каждый день люди в мечтах берут Сарагоссу, освобождают Майорку, врываются в Кордову.

На кузовах такси: «Мы едем в Уэску!» Тюфяки, винтовки, бурдюки с вином. Анархисты на гитарах исполняют гимн «Конфедерации труда» — «Сыновья народа». Они снимаются в широкополых шляпах, с револьверами. Одни называют себя «Чапаевыми», другие — «Панча Виллья», третьи — «Негусами».

Девятнадцатый век еще живет на чердаках и в подвалах этого города. Расклеены воззвания: «Организация антидисциплины». Между двумя перестрелками анархисты

спорят, как лучше перевоспитать человечество. Один вчера сказал мне:

— Ты знаешь, почему у нас красно-черный флаг? Красный цвет — это борьба. А черный — потому, что человеческая мысль темна...

Большие казармы над городом стали «Казармами имени Бакунина». Бар, где анархисты раздают своим оружие, теперь называется «Бар Кропоткина».

Ночью нечем дышать, и ночью город не спит: выстрелы, смех, песни.

1936

НОЧЬЮ НА ДОРОГЕ

Удушливый зной испанского лета. Голая рыжая земля. Деревушки сливаются с камнями. Только на колокольнях, как огонь — лоскуты кумача. Дома без окон: жизнь прячется от неистового солнца. Дорогу то и дело перерезают баррикады из бочек, из мешков, из деревьев, из соломы. На одной приторно улыбается ангел барокко, на другой паясничает пугало в мурмолке. Крестьяне требуют документы. Некоторые не умеют читать, но подолгу вертят бумажонку, любовно разглядывая печать. На овине надпись: «Мы свернем шею генералу Кабанельесу». Раскрыв рот, крестьянин льет в него тоненькую струйку драгоценной воды. Потом дает кувшин мне:

— Пей, русский!

У него старое охотничье ружье. Он стоит один на посту, среди зноя и тишины. Его сыновей расстреляли фашисты.

Мы едем на фронт. Но где фронт? Этого не знает никто. Каменная пустыня Арагона.

— Кто дальше? Наши? Они?..

Крестьяне отвечают патетично и сбивчиво. Они проклинают фашистов и суют нам меха с вином. Они требуют винтовок, и ребята, подымая кулаки, кричат: «Они не пройдут!» На каждом перекрестке мы спрашиваем:

— Дальше кто?

— Наши.

— Нет — они...

Один крестьянин с голой грудью, на которой белели выжженные солнцем волосы, ткнул вилами в воздух:

— Дальше — война.

Исчезли деревни. Нагромождение камней кажется доисторической архитектурой. Быстро спустилась ночь. По черному небу текут зарницы, и, как гром вдали, грохочут орудия.

Вдруг наша машина остановилась: баррикада. Напрасно мы ищем людей. Мелькнула тень и тотчас скрылась. Кто-то испуганно крикнул:

— Пароль?

— «Бдительность всех».

(Мы не знаем пароля; неуверенно, но настойчиво мы повторяем старый и чужой пароль.)

Мой спутник вытащил револьвер.

— Что случилось?

На скале люди; они в нас целятся.

Дружинник, который сидел рядом с шофером, выругался. Оставив винтовку, он идет к камням.

— Чорт возьми, да это наши!

Крестьяне весело смеются:

— А мы думали — вы фашисты... Мы лежим здесь шестую ночь — караулим фашистов.

— Где теперь фронт?

Они не знают, что ответить: для них фронт повсюду.

Холодный ветер. Крестьяне завернулись в клетчатые одеяла.

— Идите спать.

— Спать нельзя — мы сторожим...

Они говорят о своей жизни. В деревне было четыре фашиста. (Старик перечисляет всех четырех по имени и каждый раз горестно сплевывает.) Помещик-маркиз жил в Мадриде. Управляющий портил девушек. Священник, убегая, потерял возле мельницы крест и брошку с изумрудами.

Старик ворчит:

— Каждый камешек стоит сто песет... А ты знаешь, сколько нам платил управляющий? Пятьдесят сантимов в день. Мясо ели только на свадьбах. А теперь...

Он жадно сжал дуло ружья.

— Молотилку взяли, все взяли — по списку. В воскресенье они приехали. Один, в штатском, крикнул: «За святого Иакова», — это их пароль. Они убили Рамона. Они

убили двух мулов. Но мы стреляли — видишь, оттуда... И они убрались во-свояси.

Крестьяне разобрали баррикаду. Старик дружески хлопает меня по спине:

— До Бухаралоса двенадцать километров. Пароль: «Все ружья на фронт».

Из темноты вынырнул мальчишка. Протирая кулаком сонные глаза, он кричит:

— Они не пройдут!

Может быть, это сын Рамона...

Снова каменная пустыня, ночь и тени.

Август 1936

МАДРИД В СЕНТЯБРЕ 1936

Мадрид живет теперь, как на вокзале: все торопятся, кричат, плачут, обнимают друг друга, пьют ледяную воду, задыхаются. Осторожные буржуа уехали за границу. Фашисты ночью постреливают из окон. Фонари выкрашены в синий цвет, но иногда город ночью горит всеми огнями. Может быть, это предательство, может быть, беспечность.

Фашисты продвигаются из Эстремадуры к столице. На главной улице Мадрида Алькала, как всегда, много народу: гуляют, спорят о политике, говорят девушкам комплименты.

Несколько дней тому назад меня повезли за город. Усадьбы с античными статуями, с колоннами, с замысловатыми беседками.

— Здесь будет опытно-показательная детская колония...

Мальчик лет восьми играл с ребятами. Когда дети устали и легли на траву, он сказал:

— А папу фашисты положили на дорогу, потом они проехали в грузовике. Папе было очень больно...

Руководители колонии спорили о воздействии музыки на детскую психику и о воспитании гармоничного человека.

Писателям отдали особняк одного из мадридских аристократов. В особняке прекрасная библиотека: рукописи классиков, тысячи редчайших изданий. Тридцать

лет библиотека была заперта: последний из аристократов не любил утомлять себя серьезным чтением. На его ночном столике нашли детективный роман и французский журнал с фотографиями голых женщин.

В особняке молодые поэты читают свои стихи и спорят о роли искусства.

Во дворце герцога Мединасели — штаб моторизованной бригады. В просторных конюшнях кареты с гербами, а рядом пулеметы. В саду крестьянка и молодой паренек. Голова женщины повязана черным платком. Она спокойно глядит на бойцов. Я не сразу догадался, что она глотает слезы.

— Вот привела второго...

Паренек восхищенно поглядывает на пулеметы. Женщина села на мраморную скамью и, послюнявив нить, стала зашивать рубашку сына.

В огромном зале среди рыцарей, блистающих латами, бойцы читают «Мундо обреро». В кабинете герцога — редакция бригадной газеты. Охрипший человек, еще припудренный пылью Талаверы, диктует:

— «Необходима строжайшая дисциплина...»

На кушетке спит старый майор. Он час назад вернулся с фронта. Во сне он по-детски шевелит губами.

Зал для приемов. У большого рояля боец в синих очках. На груди две звездочки. Он играет все вперемежку: Грига, «Интернационал», фламенко. Потом встает, идет прямо на меня, чуть выставив вперед руки.

— Одним глазом я все-таки различаю, когда светло. В Самосьерре...

О чем можно говорить с человеком, который только что потерял зрение? Я говорю о музыке: это традиционно и глупо. Он молчит.

— У вас, в России, придумали много нового. Может быть, ты знаешь, что может делать такой, как я? Если не на фронте — здесь. У меня пальцы стали куда проворней...

Подошли другие бойцы. Мы говорили о неприятельской авиации, о боях под Талаверой, о Родригесе, который застрелился, чтобы не сдаться живым. Один боец задумчиво сказал:

— Надо научиться умирать...

Слепой рассердился. Он ударил кулаком по столику, и китайский болванчик на столе затрясся.

— Вздор! Умирать в Испании все умеют. Теперь нужно другое: научиться жить...

Он вытер рукавом лоб и тихо говорит мне:

— Может быть, все-таки можно на фронт? Рыть сапу? Взрывать их?..

1936

В ТОЛЕДО

Война страшна. Еще страшней игра в войну. На главной улице надпись: «Военная зона. Ходить без оружия строго воспрещается». На площади Сокодовер, перед развалинами Алькасара, кружится плешивая собака. Гостиница, где я жил весной, распотрошена снарядами; на изогнутом полу трясется кровать. Возле мешков с песком, в соломенных креслах или в качалках, сидят бойцы. Над некоторыми раскрыты большие зонтики. Бойцы слушают радио: военные сводки, танго. Потом они хватаются за винтовки и стреляют, не глядя куда. Треск. Звон стекла. Пуля ударила в вывеску «Перманентная завивка».

Есть в городе улицы, которые живут двойной жизнью. Одна сторона под обстрелом фашистов — это «военная зона», — на другой солдаты любезничают с девушками, играют ребята, старухи шьют и вяжут.

В Толедо было много гидов. Они показывали туристам дом, где жил Греко, или древнюю синагогу. Теперь они ходят по улицам с винтовками. Но по привычке они еще ищут глазами иностранцев и, завидев французского или английского журналиста, дружески советуют:

— Заверните налево — оттуда прекрасный вид на Алькасар.

По черепицам старого дома я пробрался на чердак. Битое стекло, гильзы, кукла. Отсюда Алькасар как на ладони. Это — тяжелое мрачное здание. Его стены искромсаны снарядами. Фашисты сидят в подземной части крепости.

Напротив Алькасара — бывший госпиталь Санта Крус. Фашисты по нему стреляют. Они обезобразили портал — гордость испанского Возрождения. Внутри госпиталя областной музей. Под снарядами падают статуи. Я видел в музее Христа, пробитого пулями фашистов. Киноварь на его ребрах казалась свежей кровью. Когда я вышел из госпиталя, я увидел не киноварь — кровь на рубашке сына булочника, маленького Хосе; фашисты его подстрелили, когда он нес матери воду.

В столовой, где обедают бойцы, кто-то написал на стене: «Товарищи, охраняйте иностранцев!» Толедо даже умирая не хочет забыть, что он город туристов. На дверях церкви Сан Томе комитет налепил бумажку: «Собственность народа», и внутри церкви попрежнему извиваются святители Греко.

Я слышал, как кричат женщины, которых фашисты заперли в подземельях Алькасара. Одни говорят, что они рожают, другие, что они потеряли рассудок.

В городе мало молока. Возле молочных — старые жестянки, ведерца или камешки; их кладут женщины, чтобы пометить свое место в очереди. Ни разу я не видел, чтобы женщины ссорились — чей это камешек?..

В гараже, среди винтовок, мехов с терпким вином и старых молитвенников, советский плакат: «Корова каждому колхознику». Кто знает, как он попал в Толедо?..

В казарме щит с фотографиями заложников: женщины, дети. Над ними написано: «Берегите их, товарищи, это наши».

— Говорят, завтра будут бомбить Алькасар...

— Нельзя — там жена Хуанито...

Никто не знает, сколько в Алькасаре заложников, но все только и говорят, что о них.

Один француз сказал мне:

— Все-таки защитники Алькасара герои.

Я вспомнил фотографии на щите и ответил:

— Нет, трусы.

При вылазке фашисты хватали на улицах Толедо женщин и детей. От гнева народа они скрываются за пеленками и за юбками.

Жена одного фашиста попыталась выбраться с двумя детьми из Алькасара. Бойцы опустили винтовки. Раздался

выстрел: фашист убил жену своего товарища. Дети добежали до парапета. Одному мальчику десять лет, другому семь. Угрюмые бойцы взяли на руки ребят и отнесли их в столовую.

Шесть гвардейцев убежали ночью из крепости. У них лица утопленников и глухие голоса; кажется, они разучились говорить. Они рассказывают о жизни в Алькасаре. Когда фашистский самолет скидывает провиант, ветчину едят только офицеры. Солдатам они говорят: «Мужайтесь!» Они выгоняют заложников наверх — под обстрел. Бойцы поставили на площади Сокодовер громкоговоритель, но слова сводок не доходят до подземелий Алькасара, и осажденные слышат только беспечные звуки «Марша Риего», прерываемые криками умалишенных. Внизу — трупный смрад: мертвых фашисты закапывают в манеже.

Вчера было перемирье: фашисты захотели причаститься. Мадрид прислал священника. Возле развалин встретились враги. Фашистский офицер сказал:

— Вы негодяи!

— Негодяи вы!

— Мы защищаем идеал.

— Идеал защищаем мы. Мы хотим счастья для всех. А вы хотите счастья только для своей шайки.

— Зато наша шайка лучше вашей. Кстати, вот вы курите, а мы уже давно не курим...

Бойцы роздали свои сигареты. Потом они принесли фашистам ножики для бритв.

Комендант Алькасара, полковник Москардо, тот, что приказал похитить жен республиканцев, оказался хорошим семьянином. Он передал письмо для своей жены.

В штабе один журналист спросил майора Барсело:

— Неужели жена Москардо на свободе?

— Конечно.

— Что это — галантность?

— Нет, великодушье.

История расскажет, кем был этот высокий и томный майор: Дон Кихотом, предателем или дураком.

Фашисты подходят к Македе. Военное положение ухудшается с каждым днем. Если республиканцы не возьмут Алькасара, фашисты ударят в тыл. Решено бомбить

Алькасар. Бойцам сказали, чтобы они отошли на сто метров.

— Нет! Фашисты могут удрать.

Четырнадцать бойцов погибли от республиканских бомб. Они сидели в соломенных креслах и караулили зверя. Игра в войну продолжается — с беспечностью, с глупостью, с героизмом.

Под Алькасар закладывают мину. Боец показал мне вход в подземную галлерею:

— Здесь я работаю.

У него волосы седые от пыли и черные, молодые глаза. Он жадно пьет воду — такая жара бывает только в Толедо. Молчат пушки, молчат люди, даже мухи притихли. Потом он говорит мне:

— У меня там жена и двое ребят. Я тебе ничего не скажу про жену — я не знаю твоей жизни. Женщина может изменить, женщине можно изменить. Но ты понимаешь, что значит вот это?..

Он вытащил из кармана фотографию, покрытую пылью и табачной трухой, — две девочки в нарядных воскресных платьях.

Сентябрь 1936

БАРСЕЛОНА В ОКТЯБРЕ 1936

Ясные осенние дни. По Пасео де Грасия проходят ополченцы; они учатся маршировать. Я видел похороны бойца. Прохожие молча салютовали поднятыми кулаками. Все повторяют одно слово: «Мадрид». Беспечная Барселона, город легкой жизни и удали, прислушивается; это — война. На стенах плакаты: нога в тапочке (обувь испанских крестьян) наступает на свастику. В горах Арагона уже выпал снег. Сапожники торопятся: трудно бойцам в тапочках...

На заводе «Испано-суиза» переплавляют колокола, разбитые народом в июльские дни. Медлительные рабочие Барселоны теперь поторапливают друг друга:

— Мадрид...

Я не забуду одной женщины. Она быстро укладывала патроны. Инженер, улыбнувшись, спросил:

— Для мужа?

Не отрываясь от работы, она ответила:

— Нет. Мужа убили. Для других.

В казармах имени Бакунина висит плакат: «Товарищи, необходима строгая дисциплина!»

В школе для командного состава полковник читает лекцию о тактике. «Колонны» умирают, рождаются дивизии.

Как всегда, переполнены террасы кафе. Проносятся трамваи, красно-черные такси. В магазинах продавщицы не успевают завертывать кофейники, галстуки, конфеты. Женщины несут в сберегательные кассы отложенные песеты. Газетчики выкрикивают названия двадцати газет.

Барселона еще не узнала горестей войны. Но вдруг, как ветер, врывается тревога:

— Мадрид...

6 октября. Два года тому назад пушки Хиля Роблеса раздавили свободу Каталонии. Легионеры Лерруса залили кровью Астурию. Сегодня столица Каталонии празднует вторую годовщину восстания.

С утра зарядил дождь; под дождем идут сотни тысяч людей. На фасаде гостиницы «Колумб» два портрета: Ленин и Сталин. «Интернационал». Его играют не так, как в Москве. Вариации пронзительны, судорожны, полны скорби и задора. Идут ополченцы с каталонскими знаменами, комсомолки в синих блузах, дети Мадрида, ирунские беженцы. Идут фронтовики, обветренные и запыленные. Идут раненые.

А на вокзале сутолока: отряды уезжают в Мадрид. Это горький праздник. Барселона, сытая и спокойная, вздрагивает. Руководители колонн останавливаются, кричат:

— Они не пройдут!

Толпа трижды отвечает:

— Нет!

7 октября мне пришлось уехать на несколько недель во Францию. Смеркалось. На выступе скалы я разобрал: «Они не пройдут!» Это было возле самой границы. Автомобиль остановился. На горном перевале была буря, и холодный ветер бил в лицо. Французский пограничник спросил:

— Что там?

Мне хотелось ответить: «Там жизнь», — я не мог уйти из мира борьбы, ненависти, отваги. Жизнь оставалась по ту сторону шлагбаума. Испанец, который довез меня до границы, поднял кулак и крикнул: «Они не пройдут!» — на пустой дороге, среди сумерек и ветра.

1936

МАДРИД В ДЕКАБРЕ 1936

Это был город ленивый и беззаботный. На Пуэрта дель Соль верещали газетчики и продавцы галстуков. Волоокие красавицы прогуливались по Алькала. В кафе «Гранха» политики с утра до ночи спорили о преимуществах различных конституций и пили кофе с молоком. Писатель Рамон Гомес де ла Серна прославлял цирк, газовые фонари и мадридскую «толкучку». Возле небоскребов Гран-Вии кричали ослы, а чистильщики сапог напевали сентиментальные романсы. Это был город, он стал фронтом. Война вошла в него, война стала бытом.

На улицах, которых никто не подметает, осколки снарядов, обрывки старых афиш, мусор. Рано утром возле костров греются женщины и солдаты. Длинные очереди у булочных, молочных. Развалины дома, черные впадины окон. Рядом другой дом, еще живой. В окне человек, он аккуратно завязывает галстук. Острый мадридский холод. Угля нет, не топят.

В кафе, морозных и накуренных, мадридцы смеются. Они не разучились шутить. Газеты выходят во-время, и газетчики с раннего утра на своих постах. Газеты куцые — две полосы: нет бумаги. Поэты издали сборник революционных стихов. Стихи написаны, набраны и напечатаны в двух километрах от фашистских окопов.

В роскошных ресторанах — овчины солдат. Официанты изысканно подают похлебку из чечевицы. Иногда вместо чечевицы горох. В гостиницах, где останавливались банкиры и примадонны, лежат раненые.

Стекла оклеены тонкими полосками бумаги. Они похожи на тюремные решетки. Много окон без стекол.

Я видел, как девушка покупала флакон духов.

Подвалы Мадрида стали катакомбами. В них бойко трещат пишущие машинки.

Улицы незаметно переходят в окопы. Кричит старуха: она продает лотерейные билеты. Я шел, задумавшись, я еще слышал ее хриплый голос. Завернул за угол — пулемет.

Ночью город кажется полем. Вдруг фары вытаскивают из темноты колонну, фонтан, дерево. Города не видно, он только смутно чувствуется: дворцы, площади, перспективы.

Каждый день бомбы сносят дома. Вчера я видел на улице человека с лесенкой. Он нес ведро и обои; кому-то пришло в голову заново оклеить комнату.

Туманный декабрьский день. Рабочий квартал — Тетуан. Скученные домишки; темно, холодно. Лавочки с седлами, с капустой, с бусами. Старьевщик. Цырюльник возле крохотного оконца бреет солдата. Дети; много шумных, проворных детей.

Переулок Рафаэля Салилья. Сегодня немецкий самолет скинул здесь бомбу. Переулка больше нет: развалины, земля, мусор. Пожарные. Вот они вытащили два трупа — старуха и девочка. У девочки нет ног. А лицо спокойное. Кажется, что это разбитая кукла. Позади кричит молодая женщина. Потом она сразу замолкает, лицо окаменело, она молча стоит, выпростав руки. Ее хотят увести; это мать убитой девочки. Но она не двигается. К ней подошел рабочий в замаранной известкой куртке. Тогда она, как скошенная, упала на мусор.

В уцелевшем окне разрушенного дома швейная машина с голубенькой тряпкой. Старик нашел в мусоре портрет. Он что-то приговаривает и тащит портрет в сторону. Это столяр. Его жена и дочь погибли.

Из Тетуана — дальше... Здесь начинаются окопы. Здесь люди дерутся за Мадрид.

1936

ЗАЩИТНИКИ КУЛЬТУРЫ

Министерство народного просвещения эвакуировало из Мадрида ученых. Среди них был ректор медицинского факультета, профессор Маркес. Уезжая, он повесил на двери своего дома записку: «В папках находятся труды профессора Маркеса, плоды его тридцатилетней работы. Они могут быть полезны студентам и молодым врачам».

Профессор Маркес теперь находится в Валенсии. Недавно боец принес ему письмо. На клочке бумаги крупным почерком человека, который редко держит в руке перо, было написано: «Профессор Мануэль Маркес! Мой товарищ, его зовут Рафаэлем, доставит тебе это письмо. Твой дом, настоящий храм науки, разрушен фашистами. Но «красные неучи» спасли тридцать лет твоей работы. Все будет сделано по твоему желанию. Наши студенты и молодые врачи смогут утолить свою жажду твоими работами. Будь уверен, что мы отстроим твой дом заново! Все твои аппараты и папки, их около восьмидесяти пяти, находятся у меня. Как только смогу, перешлю тебе все. Красный боец Габриэль Эрнандес Ринсон».

Полтора года тому назад в Париже собрались писатели различных стран. Они хотели «защищать культуру». Габриэля Эрнандеса Ринсона на этом конгрессе не было. Но я хотел бы, чтобы все ученые, все писатели мира узнали его имя. С винтовкой в руке он теперь защищает культуру.

На грузовике тряслись ящики. В небе кружили немецкие самолеты. Это был жестокий путь. Его проделали

баловни судьбы — инфанты Веласкеса. Их тоже эвакуировали из Мадрида.

В большом полутемном помещении рабочие вскрывали ящики. Я увидел знакомые полотна без пышных рам; они были вдвойне прекрасны.

Потом рабочие вынули большое полотно Гойи: расстрел повстанцев 2 мая 1808 года. Гений превозмог время. Мы все невольно подумали о Бадахосе, о Толедо. История смешивалась с нашим временем, муки великого живописца с муками эстремадурских или арагонских крестьян. Старый рабочий поглядел на картину и вдруг поднял кулак. Кому он салютовал? Гению Гойи? Павшим в бою товарищам? Искусству?..

Декабрь 1936

*

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЕ БРИГАДЫ

Они пришли сюда с разных концов света: из Италии, из Норвегии, из Канады, из Болгарии. Они не могут разговаривать друг с другом: поют вместе и смеются. Старики и подростки; каменщики и музыканты. В деревнях женщины со слезами на глазах обнимают чужестранцев.

Когда-нибудь уцелевший герой напишет книгу о мужестве и братстве; это будет история интернациональных бригад. Я пишу наспех в грузовике. Рядом наборщик-парижанин набирает мою статью — по-немецки. Ночь, звезды. Французы поужинали и на мисках вызванивают «Карманьолу».

Белорус из Столбцов. Он был семинаристом. Родители звали его «выродком». Он прочел в польской газете: «Преступные эмигранты сражаются в Испании на стороне красных». Он раздобыл паспорт и деньги на билет. Теперь он лейтенант.

Чахоточный еврей из Львова. По профессии портной. Ему двадцать два года, три из них он просидел в тюрьме. Он приехал в Париж, спрятавшись под товарным вагоном. Вылез весь черный. Его арестовали. Он просидел неделю, а потом снова залез под вагон и доехал до испанской границы. Недавно возле Лас Росас он взял в плен двух марокканцев.

Итальянец. Ему пятьдесят четыре года. Конторщик. Когда оратор говорит, он одобрительно кивает головой. Худой, с тощей козлиной бородкой.

— Это моя вторая революция. Первую я встретил в Тамбовской губернии. Я из Триеста и был военнопленным. Потом работал во Франции. Надеюсь, доживу до третьей — дома.

Француз. Лавочник из Тулузы. Однажды он прочитал в газете о детях Мадрида, убитых германскими летчиками. Он запер лавочку, написал на двери: «Закрыто до полной победы испанского народа» — и уехал в Барселону. Под Мадридом ранен в плечо.

— Скоро поправлюсь и назад, на фронт.

Немец. Приват-доцент. Изучал водоросли. Командир роты. Отбил у неприятеля два пулемета.

Бельгиец. Шахтер. Сорок четыре года. Оставил дома жену и пятерых ребят.

— В Валенсии противно было — сколько молодых шляются по улицам! Хорошо, наверно, в Астурии: там горняки, эти умеют умирать...

В морозные ночи бойцы спят без одеял под звездами. Раненые на перевязочных пунктах сжимают зубы, чтобы не кричать. Умирая, люди подымают кулаки.

Свои части они назвали именами героев и мучеников: Домбровский, Гарибальди, Тельман, Либкнехт.

В полуразрушенной церкви при чахлом свете фонарика пять человек составляют газету артиллеристов. Это газета на пяти языках. Одна статья по-французски, другая по-итальянски, третья по-испански, четвертая по-немецки, пятая по-польски. Наборщик не понимает слов. Иногда он радостно усмехается, увидев нечто знакомое — «фашисты», «Мадрид», «Интернационал».

В пустой морозной лачуге комиссар допрашивает провинившегося:

— Ты был пьян как стелька. Нам таких не нужно. Батальон постановил отправить тебя назад во Францию.

Боец молчит. Это молодой металлист из Сент-Этьена.

— Я приехал, чтобы сражаться... Я сам знаю, что я наделал. Если надо, расстреляйте меня, пусть другим будет пример... Только не отсылай. Если отошлешь, я покончу с собой. Пошли меня в разведку — к ним. На смерть, все равно что, только не назад!..

По его широкому лицу, созданному для улыбки, текут слезы. Комиссар отвернулся.

— Хорошо, посмотрим...

Боец вытер глаза и, вытянувшись по-военному, поднял мокрый кулак.

В маленькой деревушке итальянский батальон устроил праздник для крестьян. Бойцы пели песни Неаполя и Венеции, показывали фокусы, танцовали. Потом на экране Чапаев пел песню о черном вороне. Командир — седой итальянец — сказал речь:

— Привет тебе, красное знамя! Под ним победил Чапаев. Под ним мы деремся за Мадрид. Под ним отпразднуем победу в нашем Риме.

Бойцы в ответ запели любимую песню итальянских рабочих:

— «Красное знамя победит»...

Испанка с изможденным острым лицом подняла вверх ребенка и крикнула:

— Победит!

Декабрь 1936

ГЕРОИ ТРЕТЬЕЙ ИМПЕРИИ

Германские дипломаты не раз заверяли: «В Испании нет наших солдат, десяток-другой добровольцев...»

Рядом со мной — рослый парень. Низкий лоб, маловыразительные глаза, хорошая мускулатура. Это фельдфебель германской армии Гюнтер Лонинг. Он не энтузиаст, не фанатик. Он самый обыкновенный фельдфебель. В казармах Грейфсвальда он командовал: «Стройся». Он пил пиво и кричал: «Гайль Гитлер». Потом пришел приказ. Гюнтера Лонинга, а с ним других фельдфебелей, лейтенантов и нижних чинов отвезли в Гамбург. Их погрузили на корабль «Никея». Капитан взял курс на юг: к первой колонии Третьей империи — в порты, занятые Франко.

Двадцать седьмого января «национальная» армия генерала Франко пополнилась еще одним испанским патриотом; фельдфебель Гюнтер Лонинг стал защищать священные традиции Сида и Сервантеса. Для этого его посадили на «юнкерса». Ему хотелось рассказать своей матери, какие дивные пальмы растут в германской колонии, но обер-лейтенант Кауфман сказал:

— Запрещается писать родным, что вы находитесь в Испании.

Я спрашиваю фельдфебеля:

— Ваша мать так и не знает, где вы?

Гюнтер Лонинг усмехается:

— Догадывается...

Германский фельдфебель не булавка: где же теперь ему быть, как не в Испании?

Двадцать третьего февраля обер-лейтенант Кауфман распорядился: «Бомбить Пуэртольяно». Возле Андухара «юнкерс» потерпел аварию. Три немца погибли. Гюнтер Лонинг отделался шишкой на лбу.

Испанский полковник спрашивает:

— Почему вы бомбили Пуэртольяно?

Он равнодушно отвечает:

— Мы проверяли действие бомб, сбрасываемых с различной высоты.

— Почему вы приехали сюда? — спрашиваю я.

— Я — солдат и подчиняюсь приказу.

— Неужели вы не задумались, почему вас послали в Испанию?

Гюнтер Лонинг удивленно смотрит на меня:

— Германский солдат никогда не думает.

Ему двадцать два года. Его научили стрелять; думать его не научили. В его записной книжке готическими буквами записаны имена лейтенантов и фельдфебелей; за ними следует адрес злосчастной «Пышки» из Севильи.

Гюнтер Лонинг меланхолично вспоминает:

— В Севилье имеется заведение с немецкой клиентурой и с немецкой кухней.

Среди пальм лейтенанты и фельдфебели ели сосиски. О чем они говорили? О войне? Об испанском народе? О злых глазах Трианы, где фашисты перестреляли половину населения? Гюнтер Лонинг, этот фельдфебель с душой Гретхен, зарумянившись, отвечает:

— Мы говорили о девочках...

Полковник спрашивает фельдфебеля:

— Почему вы ведете войну против нас?

Гюнтер Лонинг смотрит на него исподлобья:

— Фюрер сказал, что он хочет мира, а фюрер никогда не ошибается.

Трудно поверить, что это — живой человек, сын ганноверского портного, что он учился в реальном училище, что у него курчавые волосы. Все эти приметы случайны и

ничтожны. Он только фельдфебель, и пулемет, у которого он стоял, куда живей, своевольней, человечней. Он страшен и жалок; он спокойно уничтожал испанцев, не подумав даже, в чем они провинились перед его непогрешимым «фюрером». Что ему чужая жизнь? Зато он страстно интересуется своей собственной; то и дело он спрашивает: «Что со мной сделают?» Он смущенно бормочет: «Обращаются со мной хорошо»...

Звонит телефон; только что германские бомбардировщики совершили налет на Гандию. Девять убитых, из них двое детей. Гюнтер Лонинг безразлично смотрит в сторону.

Отто Винтерер — обер-лейтенант германской армии. Он не новичок, в Испании он с ноября. В ноябре германцы были много стыдливее; Отто Винтереру предложили перед отъездом подписать прошение об отставке. Гюнтер Лонинг, которого отправили в январе, уже ничего не подписывал: зачем зря портить бумагу?

Отто Винтерер мягче, подвижней фельдфебеля. У него аккуратный пробор. Он был пилотом на «гейнкеле». Двадцать четвертого февраля его аппарат сделал вынужденную посадку близ Навальмораля. Отто Винтерер улыбается всем — и часовому, и пленному марокканцу. Он на пять лет старше Гюнтера Лонинга. Он тоже повторяет: «Германский солдат не думает» — но у него были кое-какие мыслишки. Он, например, хотел стать майором. Одна бабушка обер-лейтенанта была безупречной арийкой, другая его подвела. Обер-лейтенанта не производили в следующий чин; двадцать пять процентов нечистой крови оказались непроходимым барьером. Обер-лейтенант прикинул: кровью испанских женщин можно поправить недостаток своей подозрительной крови. Улыбаясь, он лепечет:

— Я прогадал...

Лучше было бы вовсе выйти в отставку! Ему сказали, что усмирить испанцев плевое дело, а здесь оказалась война.

С глубоким презрением обер-лейтенант говорит о генерале Франко, об испанских офицерах.

— Это не германская армия. Грош им цена!

Да, он многого не учел. Он не подозревал, что попадет в руки республиканцев.

— Я действительно прогадал...

Что же ему теперь остается, как не расточать приветливые улыбки?

Развалины Мадрида, Альбасете, Картахены, тысячи трупов — женщины, дети. За что?

«Германский солдат никогда не думает».

Февраль 1937

УКРОЩЕНИЕ «НЕУКРОТИМЫХ»

Командующий Первой итальянской бригадой генерал Арнальди (в Италии его зовут генералом Росси) новый год встретил в Севилье. Он пил херес и подписывал приказы. Все приказы кончались словами: «Этого хочет бог».

Итальянские фашисты в Малаге убивали и грабили. На радостях Первая бригада стала Первой дивизией. Генерал Манчини умилился: «Офицеры и волонтеры! Вы проявили динамизм. Я поздравляю вас и вашего генерала Арнальди. Мои поздравления выражают мысли того, кто издали следит за вами».

Так мы узнали, кто руководит испанской экспедицией. Этого хочет бог? Нет, много проще: этого хочет дуче.

Удирая, один из итальянских генералов обронил приказ о мобилизации: «Военное министерство. Генеральный штаб. № 430—366. Рим, 6 января 1937 (XV). Весь состав (офицеры, унтер-офицеры, солдаты королевской армии и MVSN [1]), готовый к отправке в распоряжение OMS, должен иметь нашивки и звездочки (Королевская армия) или значки фашио (MVSN) во время концентрации в портах, где происходит погрузка. Они должны быть сняты при погрузке для отбытия по известному направлению». Подпись: «Помощник начальника генерального штаба Рози».

«Известное направление»? Надо расшифровать три буквы — «военные операции в Испании». Военное мини-

---

[1] Милиция волонтеров национальной безопасности.

стерство отдает приказ: на письмах солдатам в Испанию ставить: «OMS». Почтовое ведомство разъясняет: «Из OMS в Италию тариф внутренний».

Абиссинию итальянцы для краткости именуют АО. Испанию они переименовали в OMS. Интересно, какие буквы предназначаются для Корсики, Туниса, Мальты?

Командир батальона «Лупи» («Волки») рассказывает о походе. В Милане чернорубашечников мобилизовали 19 декабря. Их обмундировали в Казерте, потом повезли в Кадис. «Гибралтарский пролив мы прошли ночью на всех парах...» Боевое крещение батальон «Лупи» получил возле Трихуэки. Командир записал в журнале: «Противник убежал по ту сторону гор». Два дня спустя командир, а с ним и другие «Волки» подняли руки: противник, «убежавший по ту сторону гор», оказался достаточно близко.

Зачем приехали сюда итальянцы? Все тот же генерал Арнальди пишет в приказе от 15 февраля: «Мы приехали сюда не для того, чтобы заниматься политикой, но для того, чтобы воевать, сражаться и побеждать». Фалангисты, рекете, монархисты — не все ли равно? Пусть туземцы ссорятся друг с другом. У итальянцев свое дело: воевать и завоевать.

На беду получился конфуз. Муссолини 13 марта послал поздравительную телеграмму генералу Манчини в Бриуэгу, а пять дней спустя в Бриуэгу вступили республиканцы. Генерал Манчини впопыхах забыл на своем столе приказ с текстом поздравительной телеграммы.

Сегодня взяли в плен еще триста итальянцев. Этих обмундировали в итальянском городе Авелино. В Сигуэнсе генерал Манчини сказал им: «Храбрые легионеры, вперед!» Увидев, что перед ними не безоружные эфиопы, но люди с винтовками, «храбрые легионеры» бодро подняли руки.

Испанцы собрали пленных, выступили с речами. С кухни доносился запах тушеной говядины. Один легионер не выдержал и, закатив богомольно глаза, воскликнул:

— Мадонна, какие харчи!

На шапках — номера частей. Цырюльник Сперанца завоевывал Абиссинию, состоя в 351-м батальоне. Потом его послали завоевывать Испанию и для этого причислили

к 751-му батальону. Цырюльник сдался в плен, и сейчас он озабочен одним: для кого эта говядина с луком?..

Кто же люди, которым Рим поручил завоевать мир? Злосчастные рабочие, запуганные, затравленные, голодные. Каменщик Рафаэль Маррони из Пескары, ему двадцать два года. Его отцу семьдесят лет, он инвалид, потерял ногу на войне. Семья большая. Мать пишет: «Дорогой мой сын, спасибо тебе за десять лир. Ты ведь теперь защищаешь отечество, а у нас дела плохи...» Каменщик Маррони, как легионер великого Рима, получал в день пять пезет. Он копил гроши и послал десять лир родителям. Свыше года он пробыл в Абиссинии, хворал лихорадкой, проклинал жизнь и насаждал латинскую цивилизацию. Он никогда не читает газет. Он не знает, что происходит в Испании, почему его прислали под Мадрид. С ранних лет он слышал, что война — естественное дело. Вчера воевали в Африке. Сегодня воюют здесь.

— Ты радовался, что тебя послали в Испанию?

Он усмехается:

— Против силы не пойдешь.

С особым удовольствием он рассказывает, как батальонный командир, услышав первый выстрел, спрятался за камни. Каменщику сказали, что республиканцы убивают всех пленных. Улыбаясь, он закуривает сигарету: наконец-то он попал к людям!

Паскуале Сперанца — парикмахер из маленького городка Абруции.

— Почему вас прислали, ведь вам уже тридцать пять лет?

Парикмахер усмехается. Каждый городок должен был выставить десять или двадцать солдат. Люди побогаче откупались; у парикмахера не было ни копейки, и его послали брать Мадрид. У него жена, четверо ребят. Дома — голод. Он воевал с эфиопами. Он обрадовался миру: хоть впроголодь, но все-таки жизнь. Не тут-то было; он не успел разглядеть своих ребят, как его снова послали на войну.

— Привезли нас, как товар.

Он жалуется на харчи: офицеры прикарманивают деньги, а солдат не кормят. Догадавшись, что его никто не собирается убивать, парикмахер спрашивает:

— А какие харчи здесь?

Он вспоминает меланхолично:

— Вина не давали, даже апельсинов не давали. Только что знамя красивое. Его привезли из Италии...

Он ругает и Муссолини, и интендантов, и жизнь. Он мог бы весело жить в свободной Абруции — ведь он видел Италию до фашизма, — брить людей, петь песни. Вместо этого его зачем-то привезли туда, где люди стреляют, и еще заставляли подымать руку вверх и кричать: «Алала».

Я не могу оторвать глаз от третьего пленного — Марио Стопини; родом он из Павии; по профессии маляр. Он не был членом фашистской партии, и ему не давали работы. Он получал три лиры семьдесят пять сантимов в день — щедрая подачка рабам империи; ел сухой хлеб; кругом кричали голодные братья и сестры; он был старшим, должен был кормить других. Он резал хлеб на тонкие ломтики. Он написал каракулями письмо: «Прошу меня послать в Абиссинию как маляра». В ответ пришла бумага: «Прошение удовлетворено». Маляра посадили на «Ломбардию».

Когда судно вышло в открытое море, легионерам сказали: «Вы едете в Испанию». Вспоминая это, маляр плачет. Он плачет, как большой ребенок, которого обманули. Всхлипывая, он говорит:

— Я хотел кинуться за борт...

Испанцы его утешают, и он пугливо улыбается: он не привык к человеческому участию. Вдруг он встает и спрашивает:

— Можно мне остаться здесь — красить стены? Я маляр, свой, рабочий...

И, вспомнив о домике в Павии, он снова плачет:

— Что теперь будет с братишками?

Солдат-республиканец ласково хлопает маляра по спине. Они понимают друг друга: родные языки, родные народы. Испанец говорит:

— У нас этого не будет. Понимаешь?

Он ищет слов, чтобы утешить пленного.

— У вас это тоже не навеки. Надо бороться...

Среди итальянских частей, которые послали брать Гвадалахару, был батальон «Неукротимые». (Эти трусо-

ватые разбойники любят поэзию.) Офицеры роздали солдатам боевой гимн:

Мы верные воины Муссолини.
Мы горды и сильны именем Италии.
Как только мы окажемся в Испании,
Мы выметем оттуда всех коммунистов...

Мне достался листок с полным текстом. Внизу подпись: «Пулеметная рота батальона «Неукротимые».

Они недолго пели...

— Я штукатур, искал работу. Сказали, что пошлют в Африку. А куда меня послали? Здесь все время стреляют! Справа — пушки, слева — пулеметы, сверху — бомбы. Разве человек может это выдержать?

Южанин, он руками показывает, как падают бомбы, как рвутся снаряды. Потом, отдышавшись, весело говорит:

— А здесь обещают работу...

Этот итальянский Швейк — солдат батальона «Неукротимые»...

Все те же ответы. Батрак: «Без работы с прошлой осени». Столяр: «Год и четыре месяца без работы». Наборщик: «Без работы с октября». Гончар: «Не помню уж, когда была работа»...

Итальянские фашисты любили выставки. Они выставляли в мраморных павильонах, покрытых сусальным золотом, множество экспонатов: макеты великолепных школ, чертежи образцовых дорог, диаграммы, свидетельствовавшие о редкостном благосостоянии итальянского народа. Но и на старуху бывает проруха. В 1937 году итальянские фашисты послали на Пиренейский полуостров новые экспонаты: живых людей. Выставка открыта здесь — в окрестностях Гвадалахары.

Благоденствие? Вот безработный. Ему сорок шесть лет. У него восемь детей. Рядом с ним девятнадцатилетний мальчик. Напрасно он искал работы. Итальянское правительство решило сразу убить двух зайцев: завоевать Испанию и освободиться от безработных. Оно послало в Испанию десятки тысяч людей, стосковавшихся по миске супа, людей, которые на манифестациях должны были распевать фашистские «гимны труду» и которые не знали, что им делать со своими руками.

Просвещение? Чуть ли не половина пленных отвечает: «Неграмотные».

Гигиена? Экспедиционный корпус снабдили аппаратами для пускания газов, но мыла солдатам не дали. На пленных вши.

Гражданская сознательность? Да, все они записаны в фашистскую партию, но никто (я расспрашивал больше сотни солдат) не мог мне объяснить, что такое фашизм. Усмехаясь, они отвечают: «Партия — это, чтобы есть...» Они стали фашистами, чтобы получить миску супа, которой так и не получили. Они бормочут: «Фашисты? Это — чтобы победить красных...» — «А кто же красные?» Молчание и снова мучительные ответы: «Абиссинцы... Коммунисты... Испанцы... Русские... Нет, не знаю...»

Республиканцы под Гвадалахарой разбили не только несколько итальянских батальонов, они разбили миф фашизма. Одно дело — блефовать в Лондоне, устраивать парады и всемирные выставки, подкупать французских журналистов и вешать безоружных эфиопов, другое — создать крепкую страну, народ, который знает, зачем он живет и для чего он идет на смерть. В то самое время, когда итальянские дипломаты требуют от Англии и Франции признания новой «Римской империи», легионеров этой «империи» бьют крестьяне Кастилии и Андалузии, несколько месяцев тому назад не знавшие, что такое пулемет. Я предлагаю великолепный сюжет драматургам фашистско-имперской Италии: «Укрощение неукротимых».

Март 1937

МАДРИД В АПРЕЛЕ 1937

Пять месяцев как Мадрид держится. Это обыкновенный большой город и это самый фантастичный из всех когда-либо бывших фронтов — так снилась жизнь Гойе. Трамвай, кондуктор, номер, мальчишки на буфере. Трамвай доходит до окопов. Недавно возле Северного вокзала стояла батарея. Рядом с ней бродил чудак и продавал галстуки: «Три пезеты штука!»

Мебельный магазин. Молодожены прицениваются к зеркальному шкапу. Открыты цветочные магазины: нарциссы, мимозы, фиалки. На Пуэрта дель Соль, между двумя разрушенными домами — кафе. Там подают апельсиновый сок с ледяной водой. Развалины. Весна, солнце, флаги, шумная толпа на улицах. Бродячие фотографы, чистильщики сапог, коляски с детьми. Перед почтамтом ручные голуби, как всегда, клюют крошки. Длинные очереди. Длинные и страстные разговоры о фунте картошки, о бутыли масла.

Никто больше не смотрит на небо, где звезды и самолеты. Город громят орудия. Привыкли к бомбам, привыкают к снарядам. Солдат из окопа идет в кафе. В театрах андалузские танцовщицы трещат кастаньетами. Полны театры. Полны кино — старые фильмы с бандитами и свадьбами. Шарманка на улице выводит «Красное знамя».

В пробитой снарядами гостинице «Флорида» остался один жилец. Это Эрнест Хемингуэй. Он не может расстаться с Мадридом. Его зовут в Америку, он не отвечает на телеграммы. Он пьет виски и что-то пишет.

Ночью человека можно различить только по золотой точке сигареты. (Впрочем, табака нет, и люди трогательно вспоминают, как они прежде курили.) Порой карманный фонарик освещает влюбленных. Им незачем искать темные переулки: черно, как в лесу. Прощаясь, влюбленные нерешительно говорят: «До свиданья». Потом он идет «домой»: в окопы Университетского городка. Голуби прячутся под карнизы, и город заполняют голоса смерти: грохот снарядов, чечетка пулеметов, несвязная перебранка ружей.

Я живу в госпитале. Каждый день туда привозят раненых: старики, девушки, дети. Ночью я слышу не только железную суету близкого фронта, но и крики людей — они умирают.

В Университетском городке — на земле старые книги, пергамент дипломов, мусор. В окопе капрал, он же профессор консерватории, читает бойцам стихи Кеведо.

В Карабанчеле люди живут под землей. Там чуть ли не каждый день взрывают дом. Есть дома, где внизу — фашисты, а в верхнем этаже республиканцы.

Рабочие устроили «стахановскую бригаду»; они собирают под огнем утильсырье, ремонтируют испорченные мотоциклы, латают дырявые ботинки.

Люди живут мирно. Ни разу я не слышал ссоры в очередях. Все друг другу приветливо улыбаются: людей спаяла одна судьба. Недавно приехал сюда турецкий консул. Он пошел осматривать город. На полуразрушенной улице он увидел старуху. Она сидела на складном стульчике и что-то шила.

— Почему вы не уезжаете из Мадрида?

Женщина усмехнулась:

— Надо им показать нашу силу.

Это наивно и прекрасно; в этих словах вся правда изголодавшегося, изуродованного, непобедимого Мадрида.

1937

ВЕСНА В ИСПАНИИ

Я любил прежде заглядывать вечером в освещенные окна. Лампа над круглым столом, суповая миска, ребенок, профиль женщины с книгой — все это полно значения. Чужая жизнь кажется новой и лакомой. В Испании теперь много домов, открытых взору любопытного: это дома-развалины. Лестницы, которые никуда не ведут; фантастические комоды, повисшие на волоске; пузатая чашка, кто знает как уцелевшая среди каменных руин; стена, на ней бурое пятнышко и часы, — они показывают час смерти.

Мадрид, Картахена, Альбасете, Хаэн, Гвадалахара, Андухар, Алькала, Пособланко... Развалины. Вокруг бродят женщины. Иногда они роются в мусоре, иногда молча смотрят на кресло или на раму зеркала. Вероятно, они вспоминают о том, что еще недавно было жизнью.

Как всякий год, на Испанию налетела поспешная южная весна. Нежнозелены долины и горы. Пройдет несколько недель — и солнце выжжет траву. В сьерре теперь цветут цветы — яркожелтые, лиловые, белые. Поля Андалузии полны маков. Набухли, разговорились крохотные горные речушки. Рядом с батареей беспечно кричат птицы: это — пора их короткой любви. Я видел вчера младенца: мать зачала его, выносила, родила среди грохота броневиков и крика сирен. Он беззаботно перебирал ножками. В этой стране много солнца, много смуглых девушек с синими глазами, много апельсинов, много пахучих трав и послеполуденной горячей лени. На эту страну двинулась

смерть. В небе, всегда синем (утром не приходится гадать — какая сегодня погода), показались бомбардировщики. Среди олив прячутся танки. Пепе или Пако, которые пели под окнами красоток протяжные «фламенко», стоят у пулеметов.

В Хаэне итальянские самолеты убили и покалечили пятьсот человек; они сделали это в пять минут. Человека не пускали к развалинам: там погибли его жена и восемь детей. Он бормотал: «Пустите, у меня больше ничего не осталось!..»

Я видел, как вытаскивали из-под обломков куски туловища, — за час до того дети играли в палисаднике. Матери стояли рядом. В Хаэне мать нашла ручку девочки; обезумев, она приставила ее к туловищу. Что добавить еще? Что люди боятся ночевать в городах? Что на ночь они уходят в поля? Что человека принудили к жизни зверя? Что в пещерах Картахены восемь женщин разрешились от бремени? Что старики забираются в водосточные трубы? Смерть идет по стране. Когда над городом показывается самолет, собаки в страхе прячутся под скамейки. Возле Харамы на земле плеши; долго там не зацветут яркожелтые цветы. Вечерами люди бродят впотьмах. Крик сирен невыносим; он кажется человеческим голосом. Покорно стоят длинные очереди: женщины ждут четвертку хлеба. Когда жители Малаги бежали к Альмерии, над ними кружили самолеты. Одна женщина кричала: «Где мой ребенок?» Ей дали ребенка. Это не был ее ребенок. У нее не было детей, — от ужаса она лишилась рассудка. Ребенок улыбался. Его мать так и не нашли; она умерла где-то среди камней.

В этом розовом доме живет старая женщина. Ее сына убили возле Пособланко. На доме кто-то написал углем: «Лучше умереть стоя, нежели жить на коленях». Это стало газетной фразой, это никак не вяжется ни с детским бельем, которое сушится на балконе, ни с простым домовитым горем старухи. И все же это правда.

Я помню труп одного итальянца: синие щеки, сгусток крови, молочная муть глаз. В его записной книжке среди адресов публичных домов и восхвалений дуче было написано: «Война — веселое дело!» Он вырос в том мире, где люди чтут разбой, насилие, уничтожение. Он самодовольно

назвал себя «волчонком римской волчицы». Он поехал в Испанию за весельем. Как волк, он рыскал по чужой земле, убивал и грабил. Он лежал, уткнув мертвую голову в зеленый пух земли.

Война — жестокое, окаянное дело. Когда-то одна сердобольная дама написала роман «Долой оружие!» Им зачитывались либеральные европейцы в антрактах между двумя войнами. Мы скажем теперь: «Да здравствует оружие! Да здравствуют неуклюжие охотничьи ружья! С ними рабочие и крестьяне в Испании в июле прошлого года отбили смерть. Да здравствуют самолеты и танки этой необычайной весны! Они означают победу жизни».

Испания не захотела жить на коленях. Она борется за право жить во весь рост. Высока жизнь, это особенно остро чувствуешь здесь — бок о бок со смертью; но еще выше жизни — человеческое достоинство, жизнь, которая перерастает существование, жизнь, которая настолько дорога, что ради нее перестаешь дорожить жизнью.

Возле Гранады с высокой горы спустился пастух. Он шел три дня: наверху он услышал, что люди сражаются за правду. Он спросил просто и деловито: «Куда теперь итти?..»

В 1914 году люди растерялись. «Вожди» человечества бодро маршировали под окрики фельдфебелей. В 1936 году на помощь испанским братьям пришли немецкие приват-доценты, парижские металлисты, студенты-хорваты, фермеры из штата Огайо, поляки, мексиканцы, шведы. Среди развалин Пособланко ко мне подошел солдат. Он сказал: «Мы с вами встречались в Братиславе...» Это был один из героев Флоридсдорфа, которые с оружием в руках дошли до чешской границы. Он сберег свою жизнь в Вене; эту жизнь он готов отдать ради счастья далекой Андалузии.

Людвиг Ренн шел впереди своего батальона. Я знал в Лондоне писателя Ральфа Фокса. Он был веселым человеком; в маленьком баре он рассказывал мне смешные истории. Он очень любил жизнь, и поэтому он умер в Испании. Я не знаю, почему я говорю о писателях? Я мог бы рассказать об инженерах, о каменщиках, металлистах. Вчера в горах Андалузии берлинские рабочие пели: «Нет, мы не

потеряли родины, наша родина теперь Мадрид...» Пастухи и виноделы Испании не понимали слов, но их глаза блестели от волнения.

Воздух боя дается с трудом, это редкий воздух. Я не знал, что на свете столько героев. Они жили рядом со мной, ходили на работу, смеялись в кино, страдали от несчастной любви. Теперь они идут под пулеметный огонь, взрывают гранатами танки и, тяжело раненные, истекая кровью, подбирают своих товарищей.

В окопе солдат мастерит красный флажок: «Это к Первому мая...»

Может быть, через несколько дней флажок, прикрепленный к штыку, ринется навстречу победе. Тяжелые орудия будут салютовать дню, который помечен в республиканском календаре как «праздник труда». В этом своя правда: под Бильбао или возле Пеньяррои люди умирают за свое право на труд.

В Пособланко была фабрика сукна. Снаряды фашистов пробили стены. Бомбы уничтожили потолок. Машины чудом уцелели. После победы республиканцев в пустой город вернулись рабочие. Они не боялись фашистских самолетов. Они стали на свое место. Над ними синее небо; в дыры видны развалины города. Они не смотрят ни на звезды, ни на камни: они работают с утра до ночи. Они ткут солдатские одеяла. Они одни, вокруг фронт, в городе нет ни крова, ни хлеба. Но они продолжают работать. Это аванпост труда в мире смерти.

Я никогда не забуду молоденького бомбометчика. До войны он работал в мадридском гараже. Его чествовали: он подбил три вражеских танка. Задумчиво усмехаясь, он сказал:

— Когда победим, буду снова чинить машины...

«Война — веселое дело», — говорят фашисты. Наши люди им отвечают волей к жизни: на бомбу — бомбой, против танка — танк. Но маленький механик знает, что веселое дело — труд, веселое, прекрасное, высокое дело. Ради него он спокойно ползет под пулеметный огонь.

Маяковский писал о зиме 1919 года: ее холод, нищета, героизм открыли людям теплоту «любовей, дружб и семей». Земле, промерзшей насквозь, он противопоставлял

другую землю, где воздух сладок: такую бросаешь не жалея. В Испании воздух неизмеримо сладок, но она теперь узнала новый холод — войны, нашествия, голода, смерти. В эту горячую весну она промерзла насквозь. На ней нет места человеку. Он уползает в звериные норы, чтобы спасти крохотное тепло. Но здесь мы снова учимся теплоте «любовей, дружб и семей», теплоте, которая сближает в последнем объятии батрака из Эстремадуры и студента из Оксфорда.

Апрель 1937

ГОРЕ И СЧАСТЬЕ ИСПАНИИ

Домик испанских пограничников находится на горе. Отсюда видны два города: Сербер и Порт Боу. Они лежат в глубине двух бухт и похожи друг на друга, как близнецы: те же дома с балконами, те же рыбацкие челны, те же виноградники.

Был вечер, буря, ветер сбивал нас с ног. Пограничники расспрашивали меня: как под Теруэлем? Один сказал:

— У меня там сынишка.

Потом они подняли шлагбаум.

Сербер светится. После черноты Испании огни маленького городка слепят. Порт Боу темен, он зарылся в ночь. В Порт Боу — развалины; то и дело «фиаты» бомбят городок. Я знаю там двух женщин. Прошлым летом они смеялись. Теперь они молчат. Их детей убила итальянская бомба. В Порт Боу — длинные очереди за восьмушкой хлеба. В Сербере сколько угодно и хлеба, и сахара, и молока. В Сербере сегодня бал; приехал джаз из Перпиньяна.

Два города видны с перевала. В обоих люди говорят по-каталонски. У жителей Сербера немало родственников в Порт Боу. Между ними только гора, петли шоссе, туннель. Между ними, кажется, тысяча верст, между ними то, что отделяет мужество от сомнения.

О чем говорят жители Сербера? Ведь джаз приезжает редко... Они говорят о том, что кагуляры скоро выступят, что правительство никогда не решится арестовать главарей

заговора, что англичане разговаривают с герцогом Альбой куда сердечней, нежели с французскими социалистами. На крышах домов — трехцветные французские кокарды, они как бы умоляют: «Не бомбите нас, мы вне игры, мы за невмешательство, мы пьем нейтральные аперитивы, мы играем в нейтральные карты!» Иногда итальянские летчики, резвясь, скидывают бомбу на Сербер. Тогда люди в панике просят свое правительство: «Защитите нас!» Правительство ставит зенитки и отдает зенитчикам приказ ни в коем случае не стрелять по фашистским самолетам.

В черном, полуразрушенном, голодном Порт Боу люди куда счастливей. У них нет ни сахара, ни мыла, ни табака, но у них есть сознание: мы не сдались, мы приняли бой. Это высокое счастье, и кто не позавидует пограничнику, который с гордостью сказал мне, что его сын сейчас дерется под Теруэлем?

Я знаю, слово «счастье» может показаться неуместным. Каждый день в Испании мы проверяем меру человеческого горя. Это было в Аликанте. Женщина рожала. Прилетели фашистские бомбардировщики. Люди разбежались. Женщина родила одна. А во время второго залета осколок бомбы убил новорожденного. Я видел в Валенсии, как хоронили девушку. Ее убила бомба. Гроб качался на старомодном катафалке, украшенном крестами, розами и раковинами. Кучер был одет во фрак песочного цвета, разодранный и лоснящийся. Сзади шел боец, уже немолодой, должно быть, отец. Он ни на кого не глядел, не плакал. Он шел с поднятым кулаком, как будто салютуя гробу. Я не могу забыть его лицо, такое в нем чувствовалось горе.

Холодно теперь в солнечной, южной Испании. Стоит суровая зима, а топлива нет. Задолго до рассвета выстраиваются очереди. В полях бродят голодные ребятишки — они ищут салат или капусту. Это второй год войны, без флагов, без музыки. Только в садах Леванта, как каждую зиму, цветут розы. Никто на них не смотрит.

И все же я говорю о счастье. В этой борьбе испанский народ нашел себя. Когда-то имя Испании гремело в мире. Эпопея Сида вдохновляла храбрых. Испанские мореплаватели первые пересекли океаны. Писатели всех стран учились

у Манрике, у Кеведо, у Лопе де Вега, у Сервантеса. Кто не знает имен Веласкеса, Сурбарана, Греко? Романские церкви Сеговии, готика Бургоса, дворцы Возрождения в Саламанке были высокими архитектурными достижениями. Потом? Потом Испания стала спящей красавицей, вотчиной полуграмотных аристократов, страной военных хунт и военных заговоров, приманкой для туристов, падких на экзотику.

Много раз передовые люди Испании пытались пробить стену Пиренеев. «Поколение 98 года» выступило против традиций. Коста хотел запереть на семь замков могилу Сида, а Унамуно восклицал: «Долой Дон Кихота!» За традиции вступились Бурбоны, генералы, битые во всех войнах, невежественные помещики. Они кричали о национальной гордости и тем временем распродавали Испанию англичанам, немцам, американцам, французам. Они давали концессии не только на руду или на железные дороги, но и на исторические памятники. Дон Кихотов они предавали смертной казни через удушение, и, пожалуй, этот особый вид убийства был единственной традицией, которой они гордились не только на людях. Эти «патриоты» старались даже в семейном кругу лопотать на дурном французском языке; они проводили полгода в Париже, и для них не было большего комплимента, нежели слово «заграничное».

Окно в Европу прорубил народ. Он проклял века рабства, Бурбонов, иезуитов, бездельных «сеньоритосов». Шагнув в будущее, он открыл величие своего прошлого.

Бандиты, засевшие в Саламанке, зовут себя «национальным правительством». Недели две тому назад республиканцы заставили снизиться германский самолет. Я видел летчика. Это не новичок, уже много месяцев, как он воюет в Испании. Он не знает ни одного испанского слова, даже поблагодарить не может (впрочем, кого ему благодарить?). С презрением он говорит об испанцах. Его начальство в Берлине.

«Националисты» из иностранных орудий расстреливают национальную культуру Испании. Против них сражается испанский народ. Родина долго была для него мачехой. От зари до зари он работал на монахов, на гене-

ралов, на помещиков. Но народ любит свою землю. Андалузский крестьянин, стыдливо улыбаясь, часами вам станет рассказывать об оливковых рощах, о снежной сьерре, об Альгамбре. Он споет свои протяжные «фламенко». Он поразит вас своей выдумкой, живостью речи, грустной иронией. Сухие длиннолицые кастильцы знают, что их край — камни, безлюдье, древние города на холмах — сердце Испании. Какой каталонец не гордится красавицей Барселоной, весельем ее народа, заводами и пахучими винами, опрятностью деревень и хороводами — «сардано»? С нежностью говорит астуриец о мужестве горняков, об их трудолюбии, о красе горных перевалов. Они все любят Испанию не как пасынки, но как дети. Может быть, они и не знают страниц летописи, но в них живо чувство истории — их связь с людьми, которые некогда клали первые камни испанской культуры. Они не хотят запереть могилу Сида, они дышат воздухом героики, и, вчерашние каменщики или пастухи, полководцы народной армии, они как бы заново проделывают эпопею «романсеро». Они не кричат: «Долой Дон Кихота!» Они понимают трагическое мужество рыцаря печального образа. Они сражаются против тех, что издевались над бесцельным и все же великим подвигом злосчастного рыцаря.

Я слышал под Теруэлем, как один батальон среди метели пел «Интернационал». Это были молодые крестьяне из провинции Куэнка. Они шли с песней о «роде людском», чтобы отвоевать у врага клок родной земли — древний, славный традициями Теруэль.

Фашизм облюбовал Испанию как слабое место фронта. Он учел все: предательство командиров, отсутствие военного опыта, отсталость индустрии. Он не учел ни храбрости испанского народа, ни его любви к родине. Так за дело человечества пошли сражаться неграмотные люди в полотняных туфлях, с охотничьими ружьями. А у фашистов были «фиаты» и германские танки.

Этим летом я приехал в полевой госпиталь возле Уэски, чтобы навестить одного немецкого писателя. Он лежал тяжело раненный, с трудом говорил. Во дворе сидели испанцы. Один из них, чернявый андалузский паренек, рассказывал товарищам:

— Это немец. Ему нельзя домой. Там его посадят в тюрьму.

Он скрутил сигаретку и задумчиво добавил:

— Победим, тогда и он поедет к себе...

Когда-то Светлов написал стихи об украинском хлопце, который сражался за счастье гранадской волости. Теперь гранадские хлопцы сражаются за счастье берлинского уезда. Вот почему светятся высоким светом черные города Испании.

Декабрь 1937

МАТЭ ЗАЛКА, ГЕНЕРАЛ ЛУКАЧ

Война бедна теперь красками; человек надевает на себя рубашку цвета земли; он зарывается в землю — победить можно, лишь оставшись незаметным. Проволока, броня танков, снаряды, гудение моторов, а человека нет. Но на войне можно по-настоящему узнать человека. Он обнажен с головы до ног, пафос ему запрещен наравне с яркими мундирами или барабанщиками, пафос зарывается в сердце, как боец в землю. На войне можно разглядеть человека. Уже будучи генералом Лукачем, писатель Матэ Залка сказал мне:

— Мы мало знаем о человеке...

Мы мало знали о Матэ Залке. Он был хорошим товарищем, общительным, веселым. Казалось, он был создан для мирной жизни, для уюта, дачи, сада. Он оказался большим полководцем, на чужой земле, в смутные дни, когда не было ни армии, ни тыла, ни оружия. Он действительно страстно любил жизнь, все ее мелочи, ее петит. Своей любовью он заражал других, и это позволило ему сделать 12-ю бригаду бесстрашной. Мы мало что знаем о человеке. Оказалось, одной отваги мало: это горючее быстро расходуется. Для того, чтобы с легкостью итти навстречу смерти, надо очень крепко любить жизнь — не только идею жизни, ее самое, сердцевину, корни, ее грубую, шершавую оболочку.

Я помню генерала Лукача на отдыхе. Вот он толкует с бойцами об их сердечных невзгодах; он все понимает (может быть, здесь приходил ему на помощь писатель

Залка?). Вот он сорвал какую-то лохматую траву, дует на нее, смеется и допытывается: «Как по-испански?..» Вечер в штабе. Он забавляет товарищей: карандашом он выщелкивает на крепких своих зубах различные арии. Итальянцы спели «Бандиера росса», немцы — «Коминтерн». Генерал Лукач смеется:

— Теперь песни-декларации исполнены. Давайте петь обыкновенные...

Он знал песни всех народов: венгерские, болгарские, украинские, немецкие, испанские. Вот он танцует с испанскими крестьянками, лихо танцует (это было вскоре после Гвадалахары).

— Не забыл... Все-таки — венгерский гусар...

Он был затейником, поэтом; был он добрым другом. Все это помогло ему стать «генералом Лукачем», о котором уже рассказывают легенды на десяти языках.

Он брал победу не с наскоку, он ее старательно сколачивал, не пренебрегая ни ласковым словом, ни мешком фасоли. Под его командой сражались разные люди: польские шахтеры, итальянцы, вспыльчивые и мечтательные, литовские евреи, венгры, рабочие красных предместий Парижа, бельгийские студенты, ветераны мировой войны и подростки, выпрыгнувшие из первых ребяческих снов в жесткую испанскую сьерру. Он всех спаял одним чувством. 12-я бригада была его последней любовью, и бригада жила командиром. Твердый, сухой Янек, командир «домбровец», плакал: «Убили Лукача». Командир батальона Ракоши Нибург погиб на следующий день после смерти Матэ Залки. Он как будто пошел вслед за своим генералом. Он пошел, как всегда, опираясь на палку, под пулеметный огонь. Гарибальдийцы пели о нем песни. Худой, золотушный еврей, сын хасида и связист, путавший все языки Европы, четыре раза раненный под Мадридом, всхлипывал: «Это был человек»...

Он пережил и поражение, и тоску вечеров накануне атаки, и победу. Его бригада разбила итальянцев у Паласио Ибара, в Бриуэге. Потом ее увели на отдых. Это была деревня редкой красоты на верхушке крутого холма: Фуэнтос. Каждый день деревню бомбили фашисты. Бойцы спали в пещерах. Днем на склоне холма «домбровцы» грели отмороженные в окопах распухшие ноги. Мы сидели

с генералом Лукачем среди камней Фуэнтоса и говорили о нашем ремесле. Матэ Залка знал, что не сказал еще своего, не написал той настоящей, единственной книги, о которой мечтает каждый писатель.

— Если меня не убьют, напишу лет через пять... «Добердо» — это все еще доказательство. А теперь и доказывать не к чему, каждый камень доказывает. Надо только суметь показать человека, какой он на войне. И не сорвать голоса...

Он сконфуженно улыбнулся:

— Я не люблю крика...

Это было правдой: веселый, общительный человек, революционер, боец, провоевавший чуть ли не половину жизни, он любил тишину, умел ее слушать, умел ее ощущать.

«Если не убьют»... Его убили. Книги, о которой он смутно мечтал, глядя на долины Гвадалахары, этой книги не будет. Напишут книги о нем, не о Матэ Залке — о генерале Лукаче. Может быть, кто-нибудь из его боевых товарищей напишет книгу, о которой мечтал Матэ Залка: без крика.

Потом была деревня Мека, вправду отдых. В штабе Лукач смотрел, чтобы его товарищи отдыхали: он любил нянчиться с большими, неуклюжими, небритыми людьми. В штабе были испанский художник Херасси, болгары — Белов и Петров, адьютант Лукача Алеша. Приезжал Хемингуэй, расспрашивал Лукача о военных операциях. Хемингуэй чувствовал, что перед ним не только командир 12-й бригады, но и настоящий писатель, волновался, пил виски; может быть, он тоже мечтал о ненаписанной книге. Вдруг бригаду снова бросили на Хараму. «Это испанское Добердо», — говорил Лукач. Их послали на одни сутки: боевой разведкой прощупать резервы противника. Операция была неблагодарной, мучительной — наступать, чтобы отступить. Генерал Лукач повторял одно: «Людей берегите»...

Это было в апреле. Он погиб в июне. Он умер накануне одного из самых тяжелых боев. Страшен, жесток пейзаж вокруг Уэски. Матэ Залка умер в душный знойный день, среди каменной пустыни. Он как-то сказал мне: «Я здесь часто вспоминаю мою родину...» Он, вероятно, вспоминал

Венгрию, потому что одна война вязалась с другой. «Венгрия — зеленая...» Деревня Игриес, где умер генерал Лукач, — раскаленный аул. Оттуда виден безрадостный город Уэска.

На его могиле вместо имени номер: война еще продолжается. Его имя знают все. Я слышал, как в Валенсии дети повторяли: «Это генерал Лукач», и старая женщина тогда добавила: «Наш генерал».

Матэ Залка, шутя, говорил об одном писателе: «Все записывает... Завидую!» Можно позавидовать судьбе Матэ Залки, его жизни, его смерти. Он все-таки написал свою большую книгу: Испанию. Впрочем, и завидовать нечего: таков был человек, и если не удалось писателю Матэ Залке сказать всю правду о человеке, за него это сделал генерал Лукач — не сказал, показал.

Июнь 1938

ТРЕТЬЯ ОСЕНЬ

«Вой, ветер, осени третьей!»
В. Брюсов.

В Мора де Эбро женщина испуганно крикнула: «Пепе, иди сюда!» — пятилетний мальчуган играл среди развалин. Мору чуть ли не каждый день бомбят фашисты. Жители привыкли к бомбам: что скажешь против смерти, которая проходит мимо дома каждый день, как почтальон? Женщина испугалась не бомб: она испугалась, как бы на ее сына не свалился кирпич полуразрушенного дома.

В Фигэрасе люди собрали кирпичи; некоторые дома залатаны. Многие живут в домах с прорехами: с улицы видны кровать, буфет. Может быть, завтра починят и эти прорехи, а может быть, снова прилетят бомбардировщики и разрушат сорок домов. Рамы без стекол: нет стекол. Нет мыла. Женщины отчаянно мнут, трут, колотят белье. Сегодня воскресенье, ребятишки в чистых костюмах или платьицах. Вечером «бал объединенной молодежи». Танцуют солдаты. Танцуют несколько инвалидов. У красивого парня нет правой руки — он потерял ее под Теруэлем. Левой он обнимает девушку; девушка улыбается.

Голодно. Картошку сажают повсюду: и на цветочных клумбах, и на теннисных площадках. Длинные очереди за хлебом, за растительным маслом, за треской. В очередях измученные люди, но ни ропота, ни ссор. Вчера я видел — к очереди подошел человек, он продавал игрушку вроде ваньки-встаньки: боец падает и вскакивает, а под ним

римский моська. Измученные женщины глядели на игрушку и весело смеялись.

В центре Барселоны выставка детских рисунков. Дети теперь рисуют только самолеты; они изображают их очень яркими — изумрудными или багровыми. Вчера немецкие самолеты убили в Барселоне еще восемнадцать детей.

Добровольцы собирают утильсырье: тряпки, дырявые кастрюли, железо. Семнадцатилетний Лупо недавно вытащил из дома, разрушенного авиацией, восемь железных полос; каждая весит восемьдесят кило.

«Союз девушек» устроил сельскохозяйственную школу: девушек учат птицеводству, пчеловодству, уходу за скотом.

Крестьяне деревни Пуэбла де Альмерадиель постановили вырыть убежище. Делегат Сикундес представил рапорт правительству: «Наше убежище находится в десяти метрах двадцати пяти сантиметрах глубины. Оно снабжено девятью вентиляторами и электрическим освещением. Имеются пять входов: с площади Республики, два — с базарной площади, которая называется «площадь 14 апреля», один соединяет убежище с аптекой, другой — со школой. Как только показывается вражеская авиация, все население деревни, а именно три тысячи двести душ, уходит в убежище. Да здравствует Республика!»

Барселона (вчера была юбилейная сотая бомбардировка) живет жизнью большого города. Работают фабрики. В школе бледные, худые ребята. Учительница, тоже худая и бледная, объясняет: «Если наложить треугольник А...» Любители литературы обходят лавочки букинистов. В драматическом театре премьера: «Укрощение строптивой». Одни критики хвалят, другие ругают. В Барселоне открыты двенадцать театров и пятьдесят четыре кино. Вышел очередной номер журнала «Филателист Барселоны».

Вчера на фронте Эбро снова отбиты все атаки фашистов.

Это третья осень. Война давно стала бытом. Героизм оделся в защитный цвет, его не сразу увидишь.

Сельскохозяйственные области Испании с начала войны захвачены фашистами: Галисия, Эстремадура, часть Кастилии, три четверти Андалузии — хлеб, мясо, свекловица, побережье океана, богатого рыбой. В респуб-

ликанской Испании всего несколько производящих губерний, как, например, Альбасете или Куэнка. В Каталонии население теперь увеличилось втрое: армия, беженцы. А в Каталонии мало хлеба, мало скота — большие промышленные центры, горы, виноградники, да еще огороды, которые давали зелень для экспорта.

Изверившись в «гейнкелях» и в марокканцах, фашисты хотели взять Республику измором. Что такое «невмешательство»? В фашистскую Испанию преспокойно доставляют итальянские бригады и немецкую артиллерию. В республиканскую Испанию трудно доставить даже банку сгущенного молока. Английское правительство отказалось защищать свои суда; их спокойно топят немецкие и итальянские бомбардировщики. Конечно, никто в палате общин не произнес слова «блокада». Но в испанской республике три миллиона девятьсот тысяч детей, из них триста восемьдесят шесть тысяч грудных и по замыслу английских «гуманистов» некоторых детей должны убить фашистские бомбы («помолимся о них»), а остальные умрут голодной смертью («еще раз помолимся»).

Республика яростно борется с голодом. Весь хлеб убран. На помощь деревне пришли города. Промышленные поселки Каталонии — Сабадель, Бадалона, Матро — послали бригады для уборки хлеба. В Куэнке для полевых работ мобилизовали подростков, женщин, стариков. В Фуэнте де Сас тринадцатилетний мальчик за два с половиной дня убрал четырнадцать га люцерны. Теперь в Леванте собирают рис; работать часто приходится под бомбами.

В Каталонии удалось повысить хлебный паек: вместо ста граммов хлеба теперь выдают полтораста. Крестьянам оставили по двести граммов муки на душу и семян — сто двадцать кило на га.

Бойцы армии Эбро шлют рабочим Барселоны оливковое масло, виноград. 10-я дивизия вчера прислала Союзу учителей грузовик с маслом. В Барселоне много детских столовых содержится за счет армии. Высокие качества испанского народа нашли выражение в эти трудные дни.

Я был в некоторых деревнях на правом берегу Эбро. До войны крестьяне там голосовали за правую партию «Льига». В первый год войны этих крестьян извели раз-

личные безответственные «комитеты» — люди цитировали Бакунина и отбирали кур. Фашисты показали себя дипломатами: заняв весной деревни, они навезли разных товаров. Но все же крестьяне не ушли с фашистами и встретили республиканцев как освободителей.

Во время весеннего наступления фашисты захватили мощные станции, снабжавшие Каталонию электрической энергией. Страна разбита на два отрезка; сырье приходится перебрасывать из портов Леванта в Каталонию. Несмотря на это, военные заводы работают безостановочно. Рабочие показали себя героями. Всем памятна эпопея завода в Сагунто: рабочие оставались у станков под бомбами.

Продукция многих заводов увеличилась в полтора, даже в два раза. Я видал машину, которая выпускала семьдесят патронов в минуту. У машины стоит маленькая курчавая девушка — Кончита (прежде она была модисткой). Эта машина выпускает теперь в минуту сто двенадцать патронов. Кончита работает одиннадцать часов в сутки. На заводе все женщины нарядные и веселые, живут они впроголодь, но работают ожесточенно.

Горняки по двенадцать часов остаются под землей. Республика вывозит не только миндаль или апельсины, но свинец, ртуть, ткани, даже изразцы.

Мало бумаги, но газеты выходят во-время, без опоздания; книги прекрасно напечатаны; иллюстрированные издания могут посоперничать с парижскими. Мало кожи, но все обуты пристойно, и чистильщики сапог попрежнему яростно трут ботинки. В народных столовых подают тарелку с бобами, но на столе чистая скатерть, официанты улыбаются, улыбаются и посетители, как будто они едят индюшку. Это — заговор народа против смерти: отстаивать каждый клочок земли, каждое мельчайшее достижение культуры, охранять ту форму жизни, которая связана с ощущением собственного достоинства.

В ближайшие дни откроет двери Барселонский университет; начнутся занятия в средних школах. Растет число библиотек. В книжных магазинах много покупателей. Я видел в блиндажах Эбро передвижные библиотеки: Сервантес, Гюго, Толстой. Расширение культуры не идет за счет ее глубины. Журналы печатают прекрасные сонеты

Антонио Мачадо. Бойцы в театре аплодируют пьесам Гарсия Лорки.

Конечно, в тылу осталась кучка политиканов, для которых мировая история — закулисные интриги и министерские кризисы. Они шепчут на ухо: «Надо все предоставить дипломатам». Очевидно, им хочется, чтоб Испанию изрубили для нового обеда в Берхтесгадене. Но сколько этих «героев» в отставке? Двадцать, тридцать, будем щедрыми — сто. А миллионы испанцев согласны скорее умереть, нежели сдаться.

Третья осень начинается для Испании победой на Эбро и капитуляцией Европы перед фашистскими захватчиками. Бесспорно, ободренные вторым бескровным Седаном, интервенты кинут в Испанию новые корпусы итальянцев, сотни новых самолетов. Бойцы Эбро это знают, и они стойко защищают родную землю. Не раз мы в Испании переживали страшные дни; многим казалось, что все потеряно; из темных углов выползали капитулянты, шептали: «Кончено!» То, что казалось им концом, было началом войны.

Мы можем многому научиться на опыте Испании. Война, как и все в жизни, требует выдержки, упорства. Сейчас я слышал по радио — в Берлине десятки тысяч одержимых кричат: «Победа! Победа!» Но разве это победа фашизма? Это медвежья болезнь буржуазных демократий. «Шапками закидаем» — пролог, а на войне надо уметь терпеть неудачи; только тогда добьешься победы. Настоящая победа не потаскуха, которую можно поманить пальцем; настоящую победу оплачивают кровью.

В июле 1936 года испанский народ атаковала армия, запуганная или заласканная мятежниками: девяносто пять процентов командиров, восемьдесят процентов солдат, тридцать тысяч гражданской гвардии, пятнадцать тысяч штурмовой гвардии. Фашисты двинули из Африки марокканцев, иностранный легион. Италия и Германия кинули на полуостров свою авиацию. Каждый день в фашистских портах выгружали артиллерию и танки интервентов. Соседняя Португалия, при попустительстве Англии, стала базой фашистской армии. Французы придумали «Комитет по невмешательству», и, обрадованные этим,

итальянцы высадили в Испании свои дивизии. Гибель казалась неизбежной. Но Испания не капитулировала.

Темно вечером в испанских городах; нет хлеба; в каждой семье кто-нибудь на фронте; в каждом поселке развалины. А рядом, за горами, в счастливой Франции города залиты светом и в булочных сколько угодно нежного белого хлеба. Но как там людям смотреть друг на друга, да еще при ярком свете, не краснея? А у нежного белого хлеба легкий привкус предательства.

В 1919 году Валерий Брюсов написал стихи о народе, который третью осень голодал, мерз и сражался. Этот народ победил. Среди позора Европы на высотах вокруг Гаеты стоят гордые люди, которые не хотят расстаться с мечтой о победе.

Сентябрь 1938

31 ДЕКАБРЯ 1938 г.

Год тому назад я ехал из Теруэля в Москву. Мне теперь кажется, что это было очень давно. Путь лежал через много стран. Предпраздничный Париж беспечно улыбался: это было до Мюнхенского грехопадения, и французы тогда еще не знали всей меры добра и зла. Незадолго перед тем полиция раскрыла фашистский заговор: в центре Парижа нашли склады оружия. Парижане посмеивались, и куплетисты слагали песенки о «глупых заговорщиках в колпаках». Потом замелькали бледнозеленые холмы Шампани. Был теплый день. Альткирхен мирно нежился на солнце со своими стрельчатыми крышами и прозрачными садами. Кто тогда думал в Альткирхене, что осенью город заполнит встревоженным гулом тихий вокзал и побежит по дорогам? Кто во Франции тогда думал о войне? Я проехал через Тироль. Вечером среди снега деревни светились, как пряничные домики, освещенные изнутри елочными свечками. В вагон-ресторане толстый тиролец говорил соседу: «Все-таки Австрия самая спокойная страна на свете». Тогда еще была Австрия... Вена кокетливо охорашивалась; в витринах пестрели цветы, флаги, ярлычки шампанского. Чехословацкий пограничник играл с котенком. На вокзале суетились школьники с лыжами. Они не знали, что скоро их объявят немцами. Вечером, стоя в коридоре, я увидел огни одинокого дома и смутно подумал о чьем-то счастье. Поезд снова врезался в ночь. Неужели это было всего год назад? Нет нужды перечислять события: они еще не стали историей. По радио мы

слушали, как германские дивизии входили в Вену. Я видел чехов, потерявших города, работу, счастье. Я видел Париж в сентябрьские дни. Я видел его и в декабре. Давно на свободе фашистские заговорщики. В тюрьмах теперь рабочие. С гневом, с презрением прочтут дети иного века о Европе 1938 года.

«Я боюсь утром раскрыть газету», — сказала мне француженка. У нее сын двадцати лет. До сих пор она не научилась понимать язык газет: «Перемена статута... Новый карлсбадский ультиматум... Угроза второго Мюнхена...» Она жадно читает: что сказал Муссолини в Карбонии, что пишут берлинские газеты о Клайпеде, что ответил Чемберлен Эттли — от этих лицемерных и загадочных слов зависит жизнь ее сына.

Мы живем среди человеческого несчастья, оно стало плотным, окутало города, как зимний туман. Недавно я встретил старого немецкого еврея, поросшего седой бородой, с глазами затравленной собаки. Он ехал в Парагвай. Его жену убили погромщики в Бреславле. Я спросил: «Почему в Парагвай?» Он покачал головой и не ответил. Он сам не знал, куда он едет и зачем. Он остался один на свете. Где-то на бумажку поставили визу, он даже не может ее прочесть. Сколько таких людей сейчас мечется по свету? Я все вспоминаю тот домик ночью с освещенными окнами... Может быть, люди, которые в нем жили, сейчас сидят на каком-нибудь полутемном промерзшем вокзале с ребятами, с узлами.

Я говорю не о политике, но о простых чувствах, из которых складывается жизнь миллионов людей. Когда-нибудь о бойцах интернациональных бригад напишут удивительные книги. За дело чужого народа они отдали жизнь. Как встретили уцелевших героев? С цветами? Нет, с мандатами на арест. В «странах свободы» — в Швейцарии, в Голландии для них отвели тюремные камеры. Низкое время!

Я знаю в Париже бедную женщину, поденщицу. У нее лицо недоуменное и тусклое: заботы, приниженность, может быть, личное горе. У нее двое детей. 30 ноября, в день всеобщей забастовки, она пошла на работу: боялась потерять место. Я повторяю — у нее двое детей. Она получила двадцать франков; эти деньги ей жгли руки; она отнесла

их в «Комитет помощи испанским детям». Кто расскажет о том, что она пережила? Все высокие чувства теперь под запретом. Государство-левиафан требует от людей трусости, подлости, измены.

Варвары равно грозят культуре и судьбе каждого человека, книгам и детям, норвежцам и камерунским неграм, поэту Полю Валери и той поденщице, о которой я рассказал. В Италии недавно издали циркуляр «О борьбе против антифашистских предрассудков». Этих «предрассудков» много: рукопожатья, банкеты, наконец «милосердие к евреям». Да, новое варварство много страшнее древнего: оно вооружено техникой, оно владеет всей механической цивилизацией — радио, линотипами, бомбардировщиками. Оно может не считаться с пространством. Немцы теперь проверяют, какие люди служат в конторах Стокгольма, и требуют увольнения неугодных. В Данциге открыты высшие курсы для террористов из Львова. Эссен шлет снаряды, которыми итальянцы уничтожают Мадрид. Представитель японского посольства объезжает села Закарпатской Украины «для борьбы против коммунизма». В Брюсселе германский посол потребовал, чтобы на концерте один тенор не исполнял немецкого романса: у тенора «неарийское происхождение».

А Париж? Лондон? Что же, демократы угощают фон Риббентропа или Шахта. Французский писатель де Шатобриан восторженно описывает подбородок Геринга. Лондонские снобы, приятели Мосли, стараются даже в мелочах подражать Муссолини. Когда древний Рим распадался, его дети не думали о борьбе. Оружию они предпочитали косметику. Они наносили себе увечья, чтобы их случайно не отправили на войну. Римские «мюнхенцы» носили светлые парики, стремясь походить на северных варваров. Самые рьяные «пацифисты» обожествляли вождей варваров и закалывали в их честь петухов. Конечно, французские радикалы не занимаются жертвоприношениями. Они только мирно голосуют в парламенте (когда по недосмотру парламент бывает открыт), а потом они едят петухов в винном соусе — это гордость французской кухни. Притом каждый из них вам скажет: «Надо еще разок откушать петушка — кто знает, что будет завтра?..»

Черны ночи Испании. Тишину прерывает крик сирен. Иногда слышишь в темноте, как кричит ребенок. В Барселоне теперь много голодных детей!

Новогодняя ночь будет девятисотой ночью войны. Над одним или над пятью городами покажутся бомбардировщики. Утром сводка отметит: «имеются жертвы».

Несколько дней тому назад немцы уничтожили каталонскую деревню Эль Перельо. Они разрушили бомбами все дома. Жители убежали в поле. Тогда немцы стали расстреливать крестьянских ребят из пулеметов. Деревни больше нет: ни домов, ни людей. Солдаты разгребают горы мусора. Среди развалин бродит старик: он ищет внучку. Его хотели увести, он отбивался. Может быть, он лишился рассудка. Это обыкновенная история.

Я мог бы рассказать, как люди ищут картофельную кожуру. В Барселоне, когда человек на улице курит, за ним следят жадные глаза: где он бросит окурок? Темно. Я видел, как школьник готовил уроки, стоя на табурете: даже у самой лампочки трудно было разобрать буквы.

Все же я думаю, что именно здесь люди могут встретить новый год без страха. Слова о «новом счастье» здесь не звучат как издевка. Конечно, это не то простое, теплое, как овечья шерсть, счастье, о котором, устав, мечтает иногда каждый. Это счастье подвига: обычно оно достается в удел немногим: здесь оно выпало на долю всего народа. Здесь тоже жили тихо и, не мудрствуя, любили танцы, терпкое вино «вальдепеньяс», длинные споры в кафе, сладкую нугу, жизнь вне истории. Здесь тоже когда-то встречали новый год, который бывал хорош именно тем, что походил на старый. Народ закалился в борьбе, его не узнать.

Большие чернильные тучи грудятся над Сегре. Дождь идет без остановки. Все обмерзли. В грязи окопов бойцы усмехаются: они ждут атаки врага. Они будут драться на Сегре, как дрались на Эбро: не отступая.

Так на окраине Европы полузабытый небольшой народ один принял бой. Другие торговались со смертью, закладывали свою свободу, продавали честь. Он один сказал: «нет». Год позора для него был гордым годом.

1938

ИСХОД

Кажется, я не видел ничего горше этого исхода. Народ согнан со своей земли. Идут по дорогам из Фигэраса, из Риполла, из Сео де Урхеля. Фашисты бомбят дороги. Идут без дорог, через горы. Женщины с детьми, с узлами. Идут по скользким, обледеневшим скалам, вязнут в снегу. Многие идут уже шестой день. Весь север Каталонии покрыт людьми, которые идут, и кажется, что сдвинулись с места Пиренеи. Идут каталонцы, беженцы из Мадрида, из Малаги, из Овиедо, работницы, крестьяне, старые актрисы, беспризорные дети. Женщины тащат на головах тюки. Крестьяне гонят мулов, овец. Одна женщина сегодня родила на горе, а рядом падали бомбы. Я не знаю, где найти слова, чтобы об этом рассказать.

Трудно понять, что люди уносят с собой, покидая жизнь. Зачем этой женщине на чужбине трюмо? Интеллигент в очках идет, прихрамывая, подмышкой несколько книг, связанных бечевкой. Девочка прижимает к груди разбитую куклу. Возле Пуисчерды много снега. Сколько там погибло в пути? Приходят с отмороженными ногами. Итальянские летчики истребляют беженцев. Возле Порт-Боу сидит женщина и кормит грудью ребенка. Ребенок мертвый — он убит осколком бомбы, а мать сошла с ума. В Перпиньяне в госпитале много умалишенных.

Дети из Бильбао. Для них это не первый исход. Они перешли через горы возле Пратс де Молло. Я видел детей, где-то на перевале потерявших мать, я не забуду женщины, которая в снегу кричала: «Пепе, Пепе!» Она

потеряла сына. Французы говорят, что границу уже перешло сто тысяч. Сегодня с утра идут все новые и новые.

Жители французской Каталонии хотели приютить у себя десятки тысяч испанских каталонцев. Муниципалитеты рабочих предместий Парижа просили прислать им десятки тысяч детей. Однако французское правительство решило не допускать ни в Париж с его предместьями, ни в пограничные области испанских беженцев.

Есть города гостеприимные и негостеприимные — как люди. Впрочем, зависит это не от доброты людей, но от политической окраски мэра. В Арль-сюр-Тек все теперь живут одним — спасают испанских женщин и ребят, а в Серете мэр отказался предоставить для беженцев даже бывшую тюрьму.

В Булю я пытался разыскать одну испанку с двумя детьми — у меня было для нее письмо от мужа и деньги. Мэр, тучный и бездушный, сказал: «Их чересчур много». А представитель полиции стал кричать на меня. Я ему напомнил о человеческих чувствах. Тогда он гордо ответил: «Человеческие чувства меня не касаются». Я внимательно оглядел его. Он и впрямь не походил на человека.

Группа правых советников парижского муниципалитета опубликовала расистское заявление. Эти господа требуют закрытия границы даже для испанских детей, так как дети, рожденные на испанской земле, должны неминуемо стать преступниками. Я знаю гостеприимство испанского народа, не раз я ел хлеб испанских бедняков. Когда я читаю статьи в некоторых французских газетах, мне стыдно за перо, за бумагу, за письменность.

Прекрасно зрелище человеческого братства, оно одно помогает пережить жизнь. Во всей Франции люди теперь собирают деньги, муку, ботинки. Дают те, которым трудно дать. На вокзалах беженцев встречают с едой, с подарками, со словами утешения и надежды. Железнодорожники выбились из сил, но они все на посту, и с каким вниманием они слушают жалобы измученных женщин на непонятном языке. В Арль-сюр-Тек механик круглые сутки ездит на границу и спасает в горах обессиленных ходьбой детей. Учитель в Пратс де Молло все время на посту. Он на перевале дает беженцам горячий кофе и хлеб. В Сан-Лоран де Сердан две с половиной тысячи жителей. Мимо

села прошло пять тысяч беженцев. Крестьяне их всех кормили. Крестьяне носили детей на плащах с перевалов. Я видел этих крестьян, я видел механика и учителя. Это — обыкновенные французы, люди труда и борьбы. Я хочу, чтобы в нашей стране знали: настоящая Франция — не журналисты с их грязными статейками, но эти простые и благородные люди. В Сан-Лоране солдаты бегают в лавчонку и покупают для испанских детей шоколад. В Баньюльсе рыбаки окружили журналистов, клеветавших на беженцев, и не на шутку пригрозили им. В Пратс де Молло пусты все амбары, все кладовые, — люди ничего не пожалели для других людей в беде.

Я видел на перевале Арес, как пограничник прощался с женой и двухлетним сыном. Они пошли вниз, во Францию. Он долго следил за ними глазами. Потом он повернул в другую сторону к своему посту. Этот не уйдет, — я видел его глаза, столько в них было ненависти и гордости. С кучкой товарищей он еще отражает атаки фашистов. Говорят: «Горе побежденным», но сейчас, среди метели, на перевале, я думаю об этих глазах бойца, об этой ненависти, и в моей голове вертятся другие слова: «Горе победителям!»

1939

АНГЛИЯ

1. ГОРОД-ПРИТЧА

Кому неизвестно, что Венеция — сказка для влюбленных или для англосаксов; что Вена — томик новелл, невзыскательных и старомодных; что Париж сложен и запутан, как классический роман — тянется, тянется через узкие улицы паутина корысти, ревности, скупости. Что же сказать о Лондоне, который столь велик, что человеку мало одного дня, чтобы перейти его от заставы до заставы, который столь мощен, что к его дыханию прислушиваются и Париж, и Берлин, в котором и традиции, и монументы, и Макдональд, и золотые джунгли Сити, и который прост, как новорожденный или как выживший из ума старик; что сказать об этом средоточии, в котором свыше семи миллионов душ и содержание которого может уместиться на одной коротенькой страничке? Это не роман, не трактат, не фельетон, это самый устаревший изо всех литературных жанров, это притча.

Лондон все вмещает: рядом с небоскребами маршируют часовые в опереточных мундирах, парик спикера колышется в такт дебатам о социализме, вокруг дворцов, где помещаются банки и тресты, копошится миллион нищих, он все вмещает, этот огромный город, и он ничего не совмещает, раздельной жизнью живут в нем несхожие века и враждующие классы. Это просто, как мораль: вот жизнь, вот смерть, вот рай и вот ад. Если выйти рано утром из квартала доков, где верещат голодные китайцы, где рахитичные дети валяются на мостовой, как невыметенный сор, можно к вечеру добраться до Гольд-Грина, до

одинаковых улиц с одинаковыми домами, где горничные в белых наколках, камины, чай, все благообразие пуританского рая с Адамами в халатах и со змием, давно позабывшим о своих начальных обязанностях, ставшим вместо сводника и соблазнителя радиоприемником или коробкой граммофона, словом, зрелым змием тысячелетнего уныния. Длинен путь и длинен город, однако не милями надлежит измерять его: вы проходите через круги ада, через чистилище, через райские кущи, через средневековье, через Америку, через всю человеческую жизнь.

В июньский вечер Пикадилли-Серкус кажется не городской площадью, а постановкой кинорежиссера. Из театров, кино, ресторанов, клубов выходят леди в длинных бальных платьях с голыми, напудренными спинами. На джентльменах фраки и цилиндры. Это не бал, даже не премьера, это обыкновенный вечер. Капитал джентльменов измеряется фунтами, как все мужественное и героическое, как нефть или каучук. Что касается туалетов леди, то они измеряются гинеями, как все высокое, я сказал бы возвышенное, как жемчуг, картины, трубки Донхиля и породистые кобели. Светел северный вечер, в его белом свете особенно зловещи цилиндры, мучнистые спины, шлейфы, бриллианты, справки о гинеях и справки о фунтах. Среди леди и джентльменов снуют босяки в лохмотьях; они дуют в дудочки, открывают дверцы автомобилей, предлагают спички — это вечерняя мошкара, налетающая на прославленный свет Пикадилли. Это также справка о положении безработных, о стоимости не фунта стерлингов, но фунта хлеба, о тяжелых грубых пенсах.

Потом?.. Потом джентльмены направляются в западные кварталы; они меняют фраки на халаты и лакают чай. Что касается нищих, то нищие плетутся в Трафальгар-сквер или под мосты Темзы, — ведь у них нет ни халатов, ни даже тривиальной крыши.

Лондонские улицы прежде всего дидактичны. Вот Бонд-стрит — витрины портных, ювелиров, парфюмеров. Витрины здесь устанавливают наславу. Дешевая вещь берется отдельно, ей придают индивидуальный блеск, она становится уникумом. Зато дорогие товары: шотландское сукно, шелковые пижамы, колье, меха, все это наваливают грудой, ошеломляя не редкостью, но изобилием.

Окно, заваленное чернобурыми лисицами. Окно, заваленное сумками из кожи страуса. Окно, заваленное воистину небесными подштанниками. Табачный магазин «Абдулла» — окно, заваленное сигарами. С виду обыкновенные сигары. Крохотный ярлычок: сто штук — семьдесят пять гиней. (Дешевка — не сто, но всего-навсего семьдесят пять.) Ящик на ящике, сотни, тысячи, десятки тысяч сигар. Благословим же богатство правящего класса! Помилуйте, они платят обременительные налоги, говоря иначе, они «содержат миллионы лодырей», но, размещая свои капиталы за границей, они все же получают достаточные барыши, чтобы, например, вечером выкурить вот этакую сигару, благообразно, у камина, без позы, буднично — обыкновенная сигара, конечно хороший табак, отборные листья, особо искусные мулатки тщательно скатывают их на голых бедрах, потом сигары держат в кладовых, похожих не то на инкубаторы, не то на храмы, где зоркий глаз надсмотрщика что ни минута проверяет ртуть «фаренгейта» и стрелку гидрометра, их сушат и их увлажняют, их холят, их лелеют, но все же это обыкновенные сигары и в конце концов их выкуривают. Суровый моралист или фанатик статистики может, конечно, высчитать стоимость каждой затяжки; он убедится, что глоток дыма, вдыхаемого и выдыхаемого с должным безразличием, стоит куда больше, нежели обед рабочей семьи. Такова мудрость Бонд-стрит. Ее можно дополнить мудростью Поплара.

Авторы авантюрных романов, любители легкой экзотики издавна облюбовали восточные кварталы Лондона. Какая пожива! Сначала Уайт-Чепль: голодные евреи с таинственными обрядами и с не менее таинственными бородами. Еще несколько миль на восток — китайцы, следовательно, Азия, преступления, будды, раскосость, опиум, загадка. Рядом квартал ирландцев: бумажные розы вокруг глупеньких мадонн, хоругви, песни, поножовщина. Здесь же негры, грузчики, индусы, босяки... Не стоит даже совершать кругосветного путешествия — все завлекательное несчастье нашей планеты оказывается рядом — полчаса метро.

Однако, взглянув на Поплар просто, забыв о проклятой «живописности», видишь лишь нищету, обыкновенную

нищету большого города, нищету северных кварталов Берлина или парижского Бельвиля, нищету сдержанную и угрюмую. Если и поражает она чем-нибудь, то только своими размерами: это нищета оптом, нищета, которая распространяется на много миль и на много веков, нищета без демонстраций и без выхода. На мостовой — голодный котенок и голодный мальчишка, оба обгладывают кости трески. Между ними и сигарами «Абдуллы» столько-то остановок автобусов. Между ними вся человеческая жизнь.

Лондон не боится контрастов. В других городах имеются свои цензоры: срам или страх. Здесь все — наружу. Ах, я знаю, англичане на редкость стыдливы! Они не выносят ни «собачьих свадьб», ни даже некоторых библейских текстов. В стране, которая кичится своей свободой, могут, например, конфисковать роман Джойса за безнравственность. Лондонские проститутки на вид вполне благонамеренны, они могли бы состоять в «Армии спасения». Фиговый листок, пожалованный Купидону, сделан явно на рост. Одна богиня здесь вправе ходить голышом, ее не остановит добродушный полицейский, и даже самый рьяный квакер ее не попрекнет. Это — Фортуна. Она непогрешима. Из ее рога сыплются и фунты и гинеи. Ее ведет под руку сэр Меркурий.

Только в Лондоне можно понять Диккенса. Извне он кажется сентиментальным, да и слегка простоватым; снова злодеи и обиженные злодеями добряки!.. Прогулка по лондонским улицам убеждает, что это реализм. Ни автобусы, заменившие омнибусы, ни несколько великодушных «биллей», принятых за очередное столетье парламентом, ни американские замашки «клерков», ни небоскребы не меняют картины. Лондон остается все той же трущобой, где горевал маленький Копперфильд, где в сочельник бедняки едят плюм-пуддинг, и где в прочие дни года они ничего не едят, где много традиций, уюта и человечности, но где человек так несчастен, так гол и одинок, что остается только или плакать над романами того же Диккенса, или дуть черный, как смерть, портер. Правда, там, где томилась крошка Доритт, теперь в ее честь устроена «детская площадка» — куча песка среди черных глухих стен. На песке — детвора, большеголовая, кривоногая, золотушная детвора рабочего квартала. Лондон, город святок, пуш

стых игрушек, сказок, детский рай, — но где вы найдете столько злосчастных ребят, заброшенных и ожесточенных, играющих с жестянкой или с осколками бутылки, осыпаемых пылью и пинками, ангелочков на побегушках, херувимов среди заводской вони, среди зеленоватой плесени затхлых контор?.. Здесь что ни двор, то томик Диккенса. Какие дворы! Закоулки, проходы, черно, повсюду черно, черный город, черные дни. Вот Грез-Инн — квартал адвокатов, должников, виновато сморкающихся в большие фуляры, и неисправимых сутяг. Вместо скрипа гусиных перьев — цоканье «ундервудов». Но проветрить дома так и не успели: затхлая жизнь, закорючки «толкований» такого-то века, параграфы и паутина, паутина паука, в которой гибнет муха, и паутина закона, в которой жужжит, погибая, вот этот англичанин с фуляром. Сити — держава мира, главная квартира «единого фронта», золото земли. Кого же хоронят эти субъекты в цилиндрах? Нет, это только маклера, они подымают каучуковые акции. В полдень — зеленые лампочки и розовые глаза сгорбленных клерков: ни солнца, ни жизни. Туман. Цифры. Биржа, в ней зачем-то бюст Линкольна. Снова — темь и резерв отчаявшихся — Темза. Самоубийц ищут баграми. Потом — доки, дым, лохмотья, портер, горе на столько-то часов ходьбы. Все вместе это — Лондон, Лондон Диккенса и Лондон 1930 года, вечный Лондон, город, о котором сказал Казанова: «Здесь бы я хотел умереть, чтобы не грустя расстаться с жизнью»...

Здесь свои меры, сложные денежные единицы, своя манера ездить и есть. Календарь здесь, наверное, тоже особенный, и чужестранцу трудно определить даты. Бутафория средних веков мирно уживается с механической выправкой, навязанной Лондону Новым Светом. Превосходные автобусы и комические «такси» — эти прадеды наших автомобилей едут рядом по той же мостовой, никак друг друга не стесняясь. Маленькие коттеджи: англичане любят уединение. Многоэтажные домищи — обжорки «Лайнса», где в каждой зале созвучно жуют тысячи людей. На письменном столе — стихи, годные разве что для недоразвившихся барышень, и биржевой бюллетень. Презрение к Америке и американизация всего быта; американские фильмы, американская архитектура, американ-

ские магазины, даже походка американская, не говоря уже о жевательной резинке. Сеть нелепейших условностей. В ресторане посетитель заказывает бутылку пива. Служанка просит деньги вперед: они, дескать, не имеют права держать пиво у себя, но они могут послать за ним в соседнюю лавочку. Бутылка оказывается здесь же, за стойкой, — кому охота бегать под дождем?.. Закон соблюден, и все довольны. Это не борьба с алкоголизмом, это просто условность, как мнимые молитвы в воскресенье или как мнимое целомудрие до замужества. Протестовать? Но зачем?.. Это беспокойно — споры, ряд излишних движений. Лучше, вытянув ноги, вздремнуть...

Хемстед. Длинные улицы. Коттеджи. Все дома, как один. Можно итти часами — все то же и то же. Войдите в такой дом ночью и даже в темноте, вы не ошибетесь: здесь камин, здесь кипа иллюстрированных журналов, здесь ситечко для чая, здесь спит хозяин, а здесь его супруга. Англичане любят все индивидуальное, однако эта идиллическая казарма никак не смущает их. Ведь каждый заведомо равнодушен к тому, что происходит в соседнем доме, и каждый убежден, что он скучает по-своему.

Приторен отдых Лондона, он похож на те нежнорозовые или лазурные пирожные, которые выставлены в окнах кондитерских. Их лучше не пробовать: это даже не пирожные, это грезы мистера, миссис и мисс. Внутри: чай, нежнейшее звяканье ложечек, тишина. Забава? Богослужение? Или еще одна разновидность унылого сна?

В восточных кварталах пьют не чай, но пиво, крепкое горькое пиво. В кабачках — стойка и десяток схематичных самоубийц, которые стараются от шести до десяти, пока разрешена продажа крепких напитков, опорожнить возможно больше кружок. У стены — скамья, на ней сидят столь же унылые пропойцы, они сидят молча, как в приемной департамента или на узловой станции. А у входа — женщины; за их юбки цепляются малыши, перепуганные ревом шарманки или редкой отрывистой бранью. Женщинам пиво выносят наружу, они сладострастно тянут темную жижицу, отрыгивая и мечтая. Десять часов. Хозяин сипло выкрикивает: «Джентльмены, пора!»... Какой-то из джентльменов напоследок спешно выхлестывает еще одну кружку. Гаснет последний огонек. О том, что происходит

дальше, знают только черные дома, тщательно сторонящиеся друг друга, дома-«святыни» и дома-тюрьмы. Иногда об этом узнает и бурая вода Темзы.

Какой же нестерпимо яркой, какой нежной кажется трава лондонских парков! Нигде нет травы зеленее. Ее можно топтать, на ней можно валяться, на ней можно даже умереть, она не поблекнет, не поникнет. За нее и островной климат и традиции; она ведь призвана врачевать болезненные души, эта изумрудная непорочная трава.

Иностранцу, конечно, не преминут показать рядом с легендарной зеленью всю, не менее легендарную, фауну Гайд-парка — наглядный урок английской терпимости и английской свободы. Вот красноносый пьяница (что делать — по утрам кабаки закрыты) хрипло поет псалмы и, покрикивая, как держиморда, спасает души прохожих. Вот длинношеяя уродка хлопочет о свободе разводов. Вот индус в чалме, он настаивает на полной независимости Индии. Вот, наконец, безработный: красный флаг, сжатые кулаки... Все они говорят, что хотят и о чем хотят. Их слушают или не слушают. Умиленный иностранец готов тотчас упасть на единственную в мире траву и заплакать. Урок дан. Стоит ли спорить? Стоит ли при виде того же индуса напомнить, что, вздумай он проповедовать не в лондонском парке, но, скажем, на базаре Калькутты, он узнает вместо шелковистой травы обыкновенные тюремные нары? Стоит ли усомниться в кулаке безработного?.. Или просто выслушать, умилиться, поблагодарить?.. Ведь свобода такая же условность, как любовь или свежий воздух. Не будем придирчивыми, прославим свободу этой горькой и абстрактной проповеди среди зеленой, как сон, травы!

Свобода, человечность, человеческая гордость и человеческая тоска — столько-то миль, столько-то миллионов, коттеджи, трущобы, туман, старина, Темза... За всем этим ощущение нереальности, никчемности, тщеты. Дивен Лондон, и тот, кто однажды прошел по его набережным, никогда не забудет этого испуга и отрешенности. Откуда он взялся, город-титан, на острове хмеля и вереска, в стороне от жизни, среди сырости и постоянной печали? Как властвовал и как угнетал? Как поколебался, дрогнул,

смутился, заполнив собою шкапы с мирными трактатами и с занимательными романами? Как живет он, еще храня парики Нельсона, огни Пикадилли, великодержавность дипломатических нот, сигары по гинее за штуку, еще путая карты, блефуя, улыбаясь, но уже томясь неожиданностью любого рассвета? Как познакомился он с американскими колонизаторами, с континентальной смутой, с безработными и с самоубийствами?

Ни спортивные штаны, ни утренний «порридж», ни розовые щеки, ни книги Уэлса не обманут чужестранца: Лондон призрачен, вымышлен и неточен, как сон. Другим столицам можно завидовать, можно их также презирать. Лондон вызывает к себе высокую человеческую жалость, жалость к традициям и к любому рахитику, жалость к изумрудной траве, к гибнущей индустрии и к надуманной «богеме», к воскресным проповедникам, с их «спасенной душой», жалость к жизни, которая еще кажется кипучей и которая завтра может оборваться, как бы завершая простую жестокую притчу.

2. ПАЛКА О ДВУХ КОНЦАХ

Еда в Англии пресна и томительна, как воскресенье. Английские стряпухи ухитряются обезвкусить любую снедь. Вареная рыба — без соли, без масла, без лимона. Чтобы проглотить ее, надо прибегнуть к одному из соусов в банке. Действительно, нигде не потребляют столько приправ: перца, сои, горчицы, имбиря. Это не только кулинарная справка, это разгадка всего английского быта: соус здесь никак не связан с самим блюдом, соус живет своей жизнью. Соус это хотя бы остроты Бернарда Шоу. Что касается обыкновенных человеческих идей, то они водянисты и призрачны, как та детская кашица, которую потребляет каждый мистер, вне зависимости от его возраста и профессии.

Глаза англичанина, будь то даже директор треста или биржевой шулер, поражают своей непередаваемой наивностью. Это, конечно, не отражается ни на дивидендах, ни на сделках, но это способствует невзыскательному юмору, а также лирической поэзии. Если где-нибудь еще сохрани-

лись детская доверчивость и способность к первоначальному удивлению, то только здесь, на этом острове черствых дельцов, лукавых торгашей и беспощадных колонизаторов. С помощью «плана Стевенсона» они в борьбе за каучук перехитрили вдоволь хитрых янки, но, наверное, тот же сэр Джон Стевенсон восхищенно раскрывает рот, когда в клубе какой-нибудь другой сэр показывает ему школьный фокус. В Афганистане они ловко науськивают одно племя на другое, они подымают восстание в Сирии и подавляют восстание в Месопотамии, они ссорят евреев с арабами, и они мирят австралийцев с японцами, они вешают, подкупают, и методично они сдирают с других народов, казалось бы, несуществующую, восьмую шкуру. Но поглядите, как трогательно они влюбляются, как краснеют при виде избранного предмета, как в перерыве между двумя заседаниями или между двумя экзекуциями вздыхают, вянут и сохнут!..

Всем известно, что англичане храбрые мореплаватели и превосходные спортсмены. Это не мешает им быть на редкость застенчивыми. Они открыли немало земель и островов. Но перед всем новым и неожиданным они робеют. Если их мощь основана на детском любопытстве, то их консерватизм следует объяснить не принципами, но только робостью. Можно сказать, что теперь вся Англия стоит сконфуженная перед Америкой. Старые приемы износились. Отчаянные головы, авантюристы, смельчаки, открыватели нового — давно разбежались по белому свету. Они создали ту же Америку. В Англии остались не только шутовские церемонии и королевская гвардия, но все навыки верноподданных королевы Виктории. Молодые англичане до сих пор пишут пятиактные комедии, а молодые англичанки рисуют цветы в вазонах. Все новое здесь прозябает. Лондонские небоскребы — это жалкая попытка соединить индустриальную технику с томиком истории искусства. Старик Форд, построивший в Манчестере автомобильный завод, получает оттуда весьма неутешительные сведения: английские рабочие никак не могут приспособиться к конвейеру. На пути, именуемом чудаками «путем прогресса», Англия явно замешкалась. Здесь начало ее экономического упадка. Здесь, может быть, также начало ее человеческого подъема. Принято англи-

чанина подавать, как образец мужественности. Это — бульдог с ощеренной пастью или, на худой конец, мистер Черчилль, с его биографией полуденди, полуавантюриста. На самом деле англичанин чрезвычайно женственен, и вернее его представить в виде мисс, хотя рослой и не стыдящейся гусиной кожи на руках, но полной девического смущения.

Англичане боятся женщин, поэтому они их избегают. В университете студенты тщательно обходят студенток. Существуют тысячи клубов, куда вход женщинам запрещен. В каждой средней руки гостинице имеется комната «только для джентльменов», там англичане дремлют или мечтают, убежденные в своей полной безопасности. Эти заповедники рождены мужским страхом и тем ореолом непонятности, который украшает вдоволь прозаических женщин. Ясно, что, напав на какую-нибудь костлявую мисс, способную играть в теннис и варить яйца всмятку, молодой мистер, привыкший к покою интерната, тотчас стремительно влюбляется.

Англичанину ничего не стоит уехать на Соломоновы острова, исколесить весь свет, пойти с револьвером на тигра, наконец положить свою жизнь во имя верности королю или во имя хорошего отношения к чистокровным терьерам. При этом он способен прожить свою жизнь неудобно, пусто или даже позорно, подчиняясь заведенным обычаям. Никогда не придет ему в голову, что можно протестовать. Подайте ему к утреннему завтраку тухлую треску, он вздохнет и съест. Преподнесите ему какой-нибудь идиотический закон 1687 года, которому он обязан подчиниться, он снова вздохнет и подчинится.

С детских лет нас немало морочили разговорами о чувстве человеческого достоинства, присущем исключительно англичанам. Здесь все мешалось: историческая справка о хартии, рассказы о неприкосновенности жилища, наконец заверения, что англичанина нельзя ударить — он, дескать, этого не переживет. Я слушал эти рассказы в стране городовых и мордобоев, слушал и завидовал: детям нужны сказки.

Англия, кажется, единственная в Европе страна, где до сих пор существуют телесные наказания. Воришку могут присудить к стольким-то ударам плетьми. Это, наверное,

несколько шокирует англичан, исполненных чувства человеческого достоинства. Они читают об экзекуции за утренней кашицей, читают и вздыхают. Недавно присудили к телесному наказанию мальчика, уличенного в мелкой краже. Так как преступнику не было и десяти лет, один из вздыхавших, а именно член парламента, не выдержал. В Англии теперь лейбористское правительство. Кому же как не ему заняться отменой столь зверского пережитка? Начался водевильный диалог: «Известно ли достоуважаемому?..» Оказалось, что известно. Оказалось также, что «достоуважаемый» ничего поделать не может. Существует закон. Судья, присудивший мальчика к наказанию розгами, руководствовался законом. Следовательно, мальчик должен быть выпорот. Говорить не о чем. Можно зато протестовать против религиозных преследований в России. Можно также вздыхать, дремать и томиться.

Английский парламент издавна вызывал уважение чужестранцев. В нем нет ни грубой муштры рейхстага, ни дешевой живописности французской палаты депутатов: это — клуб для спортивных дельцов или для деловых спортсменов. К пяти часам зал пустеет: на веранде сервируют чай с тостами. Во всем нечто семейное, да и состав парламента как бы подтверждает это. Вот сын Макдональда, а это — дочка Лойд-Джорджа. Здесь не только фракции, но роды. Это твердость семейного начала, это также цеховой характер заведения: сын биржевика становится биржевиком, сын углекопа — углекопом, сын депутата — депутатом. Говорят в парламенте без излишнего красноречия, сидят запросто, развалившись и закинув ноги куда-нибудь повыше. При мне один из «тори» преспокойно положил свои ноги на стол, причем это был не просто стол, но особенный; помимо ног «достоуважаемого» на нем лежал еще один предмет, самый достоуважаемый, а именно — жезл спикера. Об этой палке стоит поговорить. На «процессию спикера» ежедневно собираются зеваки, как на бесплатное представление. Какие-то угрюмые молодцы несут золотую палку. Потом проходит степенный шут с облезшим париком на макушке. Глядя на это, креститься никто не обязан, желающие могут даже улыбаться. Палка остается, однако, священной. Недавно

вся Англия содрогнулась, узнав о неслыханном кощунстве: один из крайне левых депутатов, возмущенный преследованием индусов, а также лицемерием правящей партии, схватил палку и вынес из залы заседания. Все опешили. Святотатец же заявил, что, вынося палку, он хотел этим прервать заседание, так как без палки парламент — не парламент.

Просвещенные англичане тяготятся зависимостью от мертвых вещей, от нескончаемого этикета, который поглощает всю человеческую жизнь, они тяготятся этим, но они этим дорожат, они как бы боятся, что без этого распадется великая империя, исчезнет хорошо налаженная и в то же время призрачная жизнь. Ничто не связывает одного англичанина с другим, кроме знания истории и природной вежливости, то есть кроме тех же условностей. Таково оправдание золотой палки. Надо ли говорить о том, что и эта палка, как все палки мира, о двух концах?

Англичанин обожает отъединение. На улице он тщательно избегает задеть локтем встречного. В автобусе или в вагоне его место должно быть отделено от соседнего. Прикосновение чужого тела для него мучительно. Он живет в отдельном коттедже, предпочитая дрянной домик на окраине Лондона прекрасной квартире со всеми удобствами в большом многоэтажном доме. Он знает только своих друзей, остальные люди для него прежде всего не интересны: он вежлив и равнодушен. Понятие «общественность» для него метафизика. В Лондоне нет городских садов, имеются королевские парки, в которых могут гулять все: это вежливость короля. Имеются также скверы: ворота в них заперты, в этих скверах могут гулять только обитатели домов, выходящих на скверы, у них ключи, прочим смертным остается любоваться сквозь решетку на тенистые деревья. Вот предел коллективного: десять домов — один сквер, сто джентльменов — один клуб, тысяча рабочих — один тред-юнион. Призывы к единству нации или трактаты об единстве класса не находят отклика; это только ветер с континента.

«Континент» для каждого англичанина это не просто «заграница», это мир чуждый, страшный и привлекательный. Конечно, живут там люди низменные: их могут

лишить политических свобод, они горячатся и ругаются, вместо матчей крикета у них происходят скандалы, землетрясения, даже революции, но там нет бремени вековых условностей. Туда можно убежать хотя бы на время, убежать из заведомо свободной Англии на порабощенный континент, причем это будет бегством каторжника, мечтающего о свободе. Даже «вик-энд», то есть короткий воскресный отдых англичанин стремится провести на континенте. Летом пароходы, покидающие остров, переполнены туристами. Переплыв пролив, англичанин тотчас забывает о своей национальной сущности, легко расстается с вежливостью, не вспоминает об обязательных традициях, он сразу становится континентальным варваром, живет ничего не боясь, в полное свое удовольствие.

Но бегство на континент — это только передышка, только каникулы или пикник. Настает час возвращения. Завидев в тумане родимые берега, англичанин снова становится вежливым и замкнутым. Он принимается за овсяную кашу. Все континентальное остается на палубе парохода. На континенте англичанин наслаждался, он там и не думал учиться. Зорко следил он за собой: не заразился ли он какими-нибудь недопустимыми повадками?.. Континентальное хорошо на континенте, в Англии ему не место. «Вам нравится этот роман?..» Собеседник помолчит, вежливо улыбнется и ответит: «Разумеется, но это для континентального вкуса...» «Вы полагаете, что лейбористам не пристало посадить в тюрьму 5000 индусов?» Снова — вежливая улыбка: «У вас континентальная точка зрения»...

Хранить островную психологию это значит работать и зарабатывать, это значит торговать, морализировать и управлять государством. Но вот проходят года, десятилетия, века, и спасительная отъединенность становится проклятьем, за нее Англия расплачивается не только промышленным кризисом и судорогами безработных, но также общим бесплодием, окоченением, тоской, которая, выходя из рамок традиционного «сплина», готова превратиться в распад государства. Если рыба тухнет с головы, естественно, что страна начинает разлагаться с умственной ее верхушки. Так, вместо полезных специалистов, вместо

врачей, адвокатов, романистов, скрипачей появляются неопределенные оравы неврастеников, которые можно окрестить только на русский манер «интеллигенцией». Это и есть голова рыбы, а также первый предвестник многих катастроф. Английская интеллигенция напоминает русскую конца прошлого столетья. Она увлекается Чеховым, и вполне корректный инженер, увидав на сцене трех сестер, которые причитают «в Москву! в Москву!», не только не изумляется, но отвечает на эти стенания сочувственными вздохами; причем «Москва» лишена здесь географического значения; это просто нытье ради нытья, это поэзия скуки, с сознанием, что зевать стыдно, что надо стремиться к какому-то «небу в алмазах», но с твердым в то же время сознанием, что небо над островом неизменно серо, а алмазы добываются кафрами в английских колониях. Климат изменить невозможно, освободить кафров невыгодно, да и глупо. Остается вздыхать. Наиболее решительные отвечают самоубийством. Другие, поскромнее, зачитываются романами о самоубийцах, увлекаются, впрочем вполне абстрактно, сексуальными извращениями и пробуют между кашей и сном выдумать нечто напоминающее «богему». Им и невдомек, что богемы больше нет нигде, даже на соблазнительном континенте, что жизнь повсюду стала жесткой и сухой. У них еще все в порядке: и законы, и колонии, и заработок. Они могли бы жить спокойно, как их деды, смеяться над фокусами, пить портвейн и кичиться своим либерализмом, но нет, они томятся и вздыхают. Они куда совестливей своих французских или немецких собратьев. Очевидно, россказни о «человеческом достоинстве» лживы не до конца, очевидно в этом народе еще живо понятие человека. Оно мешает стране продолжать богатеть, оно мешает ей также бесславно погибнуть. Оно требует выхода. Но здесь-то встает страх — это снова подул на Англию ветер с континента. Повернемся к материку спиной! Усилим в портах полицейский контроль! Сожжем на костре неподобающие сочинения! Узенький пролив, который каждое лето переплывают предприимчивые мисс, превращается в непроходимую бездну. А вздохи?.. Вздохи растут. Бедная Англия!..

3. ДЕНЬ ДЖЕНТЛЬМЕНА

В Англии много безработных, следовательно в Англии много и бездомных. Для бездомных существуют ночлежные дома. Там можно получить койку на ночь. Но вспомним — мы в стране «человеческого достоинства» — милостыня оскорбительна для гордого бритта. Следовательно, бездомный должен оплатить свой ночлег. Ему предлагают перетаскивать камни из одного угла двора на другой. Так находится работа для безработных, так охраняется достоинство человека. Попрошайничать стыдно, попрошайничают только на континенте!.. Здоровые парни, шахтеры, ткачи выходят на улицу с букетиком одуванчиков или с детской дудочкой, чтобы набрать несколько пенсов. Приличия соблюдены. Он жив, этот добрый английский народ, который обожает короля, который круглый год готовится к святкам и который горд тем, что он живет на том же острове, на котором живут достойные уважения джентльмены!..

Итак, забудем о черных тенях, которые ночью бродят возле Темзы, забудем о горе и о гнили Поплара, забудем о шахтах, о прядильных станках, о дебатах в парламенте, о хронике самоубийств, посмотрим на узаконенную достопримечательность острова, на давнюю его гордость, — на образцового джентльмена. Не ему ли рабски подражали наши русские либералы, мечтая о конституции и о дерби, презирая «мещанскую Францию» и убаюкивая друг друга рассказами о прекрасном островитянине, который совмещает короля и свободу, торговлю и лирику, культ бокса и культ Толстого, доходы с Индии и теософию? Если вы примете по ошибке немца за англичанина — немец самодовольно улыбнется — ну да, он джентльмен, на нем костюм из мохнатого шотландского сукна, он предпочитает гольф дурацкой рапире, он, наконец, гуманист: конечно, он за уничтожение коммунистов, но он против еврейских погромов. Поглядите на французского сноба — недаром он перед зеркалом часами упрятывал под зубы язык — он научился произносить французские слова с английским акцентом, он старается курить трубку, хоть его и подташнивает, он старается даже, несмотря на прирожденную свою крикливость, говорить тихо и нехотя, он,

видите ли, вовсе не сын марсельского лавочника, он джентльмен. Можно без натяжки сказать, что любой цилиндр Пикадилли продолжает оставаться идеалом для среднего класса Европы. Деньги — в Нью-Йорке, бордели — в Париже, но идеалы, идеалы — только в Лондоне.

Слов нет, английский джентльмен достоин изучения: это особая порода, с загадочными нравами, с таинственным культом, со множеством мифов и суеверий. Почему только английские этнографы облюбовали глубь Африки или дебри Индостана, когда рядом с ними проживает столь любопытное и своеобразное племя? В нашей старой Европе немало курьезов: я видел в глуши Словакии стариков с длинными косами, я видел в Польше шарлатанов-цадиков, окруженных фанатичными приверженцами. Но не скрою, английский джентльмен поразил меня. Я жалел, что со мной нет научной экспедиции. Мне хотелось заснять его, когда он прогуливается в визитке по улицам Лондона. Мне хотелось записать его странные и лаконичные изречения, когда изредка, выходя из дремоты, он снисходит до общения с другим джентльменом. Мне даже хотелось измерить его череп и положить в банку со спиртом его, наверное поразительный, мозг. Ведь не следует забывать всей важности рассматриваемого экземпляра: это не евреи в лапсердаках, не полудикие горцы, нет, это идеал Европы.

Значительность особы можно понять хотя бы за утренним завтраком. Не будем говорить о Цейлоне, который самим господом создан, чтобы поставлять крепкий душистый чай, на то Цейлон колония. Но каково назначение Норвегии? Вот тарелка; перед джентльменом вареная треска; каждое утро он ест треску. Вся Норвегия только и живет, что этими традициями тресколюбивого острова. После трески — яичница со свиным салом. От Норвегии недалеко до Дании. Государственный бюджет этой вполне корректной страны, как и семейное счастье любого датчанина построены на священной потребности джентльмена после трески приступить к свиному салу. Можно было бы продлить географический и гастрономический экскурс. Но стоит ли?.. И так всем известно, что вне вкусов джентльмена нет в мире счастья.

Не следует думать, что джентльмен — это аристократ. Нет, титул «сэр» обеспечивается скорее хорошим достатком, нежели голубой кровью. Грек Базиль Захаров, в свое время ознакомившийся с английской тюрьмой, — «сэр». Голландский клерк Детердинг также «сэр». Это относится к простой арифметике. Но племя джентльменов много шире. Владелец портерной или скупщик хмеля тоже джентльмены. Правда, о туалетах их супруг ничего не сообщается в светской хронике газет, правда, развлекаться они ходят не в «Савой», но в другое место, подешевле. Однако они в точности копируют все повадки образцовых джентльменов, и мы вправе говорить об ассимиляции. Их лица уже лишены выражения, и они могут породисто молчать. Не будем придирчивы, это — джентльмены.

Образцы, разумеется, наверху. На широкой веранде парламента мне удалось наблюдать за одним из самых выразительных джентльменов, а именно Остином Чемберленом. При нем были все его неотъемлемые атрибуты: цилиндр, монокль и явное презрение к лейбористам, которые бесцеремонно пили чай здесь же, рядом с ним (увы, в ресторане парламента оппозиция его величества никак не отделена от правительства его величества). Нет, кажется, на свете захудалого карикатуриста, который не нарисовал бы хоть раз Чемберлена. Однако это неблагодарная тема — карикатура здесь немыслима. Чемберлен настолько закончен, настолько типичен, настолько показателен, что никакая фантазия не сможет утрировать его черт. В течение добрых десяти минут Чемберлен глядел на Темзу. Я знаю, что и Бриан любит подолгу глядеть на воду, но Бриан, тот удит рыбу, это спорт и буколика. Что касается Чемберлена, то Чемберлен глядел на воду разочарованно и праздно. Можно было приписать ему любые мысли: о ничтожестве лейбористов, о распаде великой империи, даже о тщете всей джентльменской жизни, но честнее назвать этот взгляд глубоко беспредметным. Наконец, вдоволь помолчав, Чемберлен прошел в зал заседаний. Там он столь же благородно и разочарованно положил на стол свои бесспорно джентльменские ноги.

Легче всего опознать джентльмена по ногам. Люди попроще и победней как-то стыдятся своих ног; они то поджимают их, то с натянутой развязностью вытягивают.

Джентльмен сразу находит для своих ног какую-нибудь наиболее высокую точку. Если он сидит в кресле, с неподражаемой легкостью он перекидывает ногу за ручку (ручки кресел здесь предназначены именно для этого). Если перед ним стол, он находит и на столе неоскорбительное для своей ноги место. Он умеет распоряжаться своими ногами, это дается не только воспитанием, но и наследственной культурой.

Обработка джентльменов требует большого искусства. Если Манчестер славится текстильными фабриками, то Кембридж или Оксфорд также могут быть причислены к индустриальным центрам: в этих городах изготовляют особенно породистых джентльменов. Лекции по философии наравне с готикой, сказывающейся здесь даже в любой уборной, приучают джентльмена к ощущению известной нереальности. Он может стать впоследствии директором треста или биржевиком, но глаза его навсегда сохранят некоторое недоумение. В свободное от занятий время юные джентльмены занимаются греблей, гольфом или крикетом. Это освобождает их от чересчур абстрактных мыслей. В десять часов ворота запираются. Это — монастыри без религии, школы без назначения. Каждый, прошедший через подобный искус, приобретает двойную ценность. Это видно не только по его кисету, украшенному цветами такого-то колледжа, но также по особой меланхоличности глаз.

Храмы джентльменов — это клубы, храмы поместительные и комфортабельные, с заменой крещения или обрезания обыкновенными членскими взносами. Клубы донельзя похожи один на другой: клуб квакеров, клуб автомобилистов, клуб консерваторов или клуб владельцев шотландских терьеров. Женщинам вход в клубы строго воспрещен. Имеются, правда, исключения вроде «клуба 1917» или «клуба лейбористов», но туда ходят не джентльмены, а неврастенические интеллигенты с континентальными замашками. В клубе либеральной партии, прикинувшись наивным чужестранцем, я спросил, — нет ли среди членов клуба женщин, например депутаток парламента? Один из дремавших либералов, услышав столь кощунственный вопрос, очнулся, переложил ногу со столика на этажерку и презрительно ответил мне:

— Мы могли пустить женщин в парламент, но не в клуб!

В политических клубах имеются большие залы, где джентльмены курят и обсуждают политические вопросы. Англичане предупреждали меня, что в этих залах сидеть неприятно ввиду сильного шума. Я, однако, не услышал ничего, кроме подозрительно равномерного дыхания и звякания кофейных ложечек. Святыня клуба — библиотека. Дело не в почтенных томах на полках, не в газетах на столах, но в надписях «соблюдайте тишину!», а также в креслах, в кушетках, в диванах особой мягкости и поместительности. Призыв к тишине соблюдается относительно, так как после завтрака или после обеда в библиотеке стоит густой храп. Это злая шутка природы — многие джентльмены, известные своей стопроцентной молчаливостью, спят громко, чавкая или посапывая. Клубы существуют ради библиотек, библиотеки ради сна, но почему надо спать на людях и в кресле, а не дома и не лежа — понять невозможно. Это относится к мистике джентльмена.

Столь же трудно разгадать любимую игру джентльменов — крикет. Игра эта долгая, томительная и бессюжетная. Она похожа на овсяную кашу и на добрые английские романы. Футбол считается занятием грубым, простонародным; он чересчур возбуждает зрителей, которые доходят даже до криков одобрения. На матчи крикета собираются все джентльмены. Они сидят часами молча и смотрят. Иногда их одолевает дремота, но через минуту они просыпаются и продолжают смотреть. Играют в крикет только англичане и австралийцы. Один год побеждает Англия, другой — Австралия. Это событие первостепенной важности, которое позволяет забыть о каких-то невоспитанных индусах, занятых низменной солью.

Джентльмен любит путешествовать, но, путешествуя, он, конечно же, продолжает оставаться джентльменом. Будь то Сахара, в половине пятого пополудни он начинает испытывать беспокойство, глаза его приобретают тоскливый оттенок, приближается роковой час послеобеденного чая. Различные страны зазывают его. «Лето в Австралии — лучший в мире гольф!» — «Канада — матч тенниса». Он едет в Австралию, и там тотчас он отпра-

вляется на работу: он идет важно по полю, а сзади бежит австралийский мальчонка, нагруженный орудиями труда. Джентльмен отважно переплыл океан, но Австралия его не интересует. Он приехал играть в гольф.

Тяжелые физические упражнения не мешают джентльмену быть изысканным в своем туалете. Конечно, в Лондоне много банков, портерных и миссионерских обществ, но больше всего в Лондоне магазинов мужского белья. Глядя на выставленные в окнах шелковые кальсоны, на пижамы с хитроумными разводами, на носки, строго согласованные не только с рубашкой, но и с галстуком, можно подумать, что в Лондоне много мужчин, занятых неблаговидной профессией. Но это не так. Люди нефти или хлопка, биржевые маклеры, инженеры, химики, банкиры — все они без исключения увлечены цветом своих подштанников. Женщины могут одеваться проще, скромней. На то они женщины. Правда, у них избирательные права, но в клуб их, например, не пускают. Это низшая каста, и им далеко до джентльменов.

Поскольку джентльмену приходится все же прибегать к услугам указанной касты, он отменно вежлив. Он пропускает даму вперед к кровати, и платит он ей гинеями. Вместо грубых борделей для джентльменов Лондона устроены салоны, полные задушевного благообразия. Леди в бальных платьях подносят джентльменам (которые, разумеется, все во фраках или, на худой конец, в смокингах) благоуханный чай. Потом леди и джентльмен проходят в комнату за гардинами. Там медленно джентльмен снимает фрак. Как хороши его подтяжки! Как нежна его любовь!

Образцового джентльмена можно узнать также по трубке. Если на мундштуке белое пятнышко, следовательно, перед вами чистый образец: настоящий джентльмен курит трубки Донхиля. Это куда больше вопрос этикета, нежели вкуса. Белое пятнышко влетает в копейку, но без него не прожить — разве вы не слыхали, что принц Уэльский курит маленькую носогрейку номер триста пять, которую он носит в жилетном кармане?.. В магазине Донхиля можно увидеть трубки ценой в десять гиней; это дерево с особенно правильными жилками. Мне показали там одну трубку:

— Эта трубка абсолютно безупречна. Все жилки идут вверх. Один раз ее выкурил мистер Альфред Донхиль...

Вечерами джентльмены курят в клубах безупречные трубки. Иногда они танцуют; танцуют так же бесстрастно и отвлеченно, как и курят. Иногда они идут в театр или в кино. Вот картина по роману Ремарка. Люди падают, сбитые пулеметным огнем, корчатся, умирают. Зловещее мяукание снарядов и грубый американский акцент. Джентльмены и леди в бальных платьях смотрят на экран. Многие из джентльменов в свое время побывали на берегах Соммы. Многие леди тогда плакали над отцами, женихами или братьями. Бесстрастно смотрят они на экран. Кто знает, что сильнее смущает их: воспоминания или скверное произношение актеров?.. Вспыхивает свет. Оркестр исполняет гимн. Леди и джентльмены торжественно встают. Потом оркестр переходит на фокстрот. Леди и джентльмены отправляются спать.

По четвергам зоологический сад Лондона открыт до полуночи. В Лондоне мало развлечений, и джентльмены едут к зверям, чтобы несколько развеселиться. Клетка шимпанзе. Насмешливо поглядывает обезьяна на посетителей. Перед ней джентльмен во фраке и цилиндре. Невольно теряешься — почему не он за решеткой?.. Конечно, у обезьяны нет фрака, но она куда человечней джентльмена. Она понимает, что посетителю скучно, что ему надоели и библиотека клуба и модные лавки; она пробует развлечь его великолепными ужимками шекспировского актера. Но он выдерживает тон, он не улыбается, не морщится, он стоит неподвижный и немой, богоподобный джентльмен перед всего-навсего человекоподобной обезьяной.

Молодые джентльмены возят декольтированных красавиц в креслах на колесиках. Сад пахнет хищниками, пометом и духами. Вот леди подвезли к клетке с тигром. Зверь уныло машет хвостом. Электрический свет его слепит. Духи его оскорбляют. Леди бесстрастно смотрит на тигра. Потом она слегка наклоняет голову: джентльмен везет ее дальше — к носорогу или к крокодилу.

Такова жизнь, полная условностей и ритуала. В нее входит, конечно, и работа: сделки, договоры, колонии, экспорт, кабели, курсы, но работа эта традиционна и

пуста. Джентльмен ничего не может выдумать, он отступает перед предприимчивыми янки, он отступает даже перед настойчивыми немцами. Он еще живет хорошо, несмотря на кризис, вернее — он не живет, он доживает. Нельзя говорить о слепоте: джентльмен все видит и все знает. Он изучил статистику безработицы и хорошо знаком с историей континентальных революций. Но между ним и действительностью прозрачная, стеклянная стенка. Я видал на английских кладбищах фарфоровые цветы под стеклянными колпаками. Под такими колпаками у нас держат сыр. Фарфоровые цветы не боятся солнца, засохнуть они не могут, но колпаки предохраняют их от града. Душа живого джентльмена — под таким же стеклянным колпаком. Хрупкая душа и хрупкая защита! Рядом недобрым огнем горят глаза других обитателей острова, отнюдь не джентльменов, тех, что открывают дверцы автомобилей или дуют в дурацкие дудочки. Кто знает, когда падет град?.. Одно ясно: этот град будет тяжелым и беспощадным, как библейская кара.

4. МАНЧЕСТЕР

В других городах люди смотрят порой с опаской на небо, они изучают стрелку барометра, колеблются — стоит ли взять зонтик, жалуются на погоду — снова дождь!.. В Манчестере барометры не в ходу, и никто в Манчестере не говорит о погоде. Дождь здесь не досадное происшествие, не сезонный гость, дождь входит в само понятие «Манчестер»: не будь дождя, не было бы и города; дождь здесь идет каждый день, летом и зимой, утром и вечером; его не заглушают ни гул биржи, ни грохот станков, ни писк новорожденного, ни агония миллионов; этот дождь вечен. Он — святой города, он его основатель и защитник, холодный угрюмый дождь: ведь только изумительной сырости города обязана вырабатываемая в Манчестере нитка своей тонкостью и прочностью.

Как грибы, выросли под дождем сотни и сотни труб. Дождь обеспечивает акционерам высокие дивиденды, либералам «манчестерскую школу», рабочим гороховый суп. Смешиваясь с гарью, дождь становится черным, и гряз-

ная вода беспрестанно льется на грязные камни. Люди никогда не снимают с себя резиновых пальто; даже летом местные красавицы, рыжеватые грустные мисс, обуты в высокие сапоги. Пальцы обитателей этого благословенного города: инженеров или актрис, ткачей или спекулянтов — узловаты, скрючены, как древние сучья. Люди сморкаются и во сне, концерты сопровождаются взрывами чихания, аптеки с утра до ночи бойко торгуют салицилкой. Дождь все льет и льет. Тротуары обведены траурной каймой.

На главной улице по утрам толпятся промокшие джентльмены. Они пахнут псиной и дымом. Иногда из раскрытого окошка на них сыплются белые хлопья. Уж не сменился ли опостылевший дождь сострадательным снегом?.. Но эти хлопья не снег, а хлопок; там, наверху, на восьмом или на девятом этаже огромного корпуса, в комнате под номером четыреста шестьдесят восемь или семьсот двадцать три, один ревматик продает другому непорочное счастье черного города: легкий белый хлопок.

Англичане не любят говорить о Манчестере: это слишком интимная тема; кто же станет водить гостя на кухню, кто станет докучать ему рассказами о своих доходах?.. Англичане говорят о старых домах Честера, о красотах озерного края или об оксфордской идиллии. Однако вне Манчестера нет Англии: здесь ее мощь, здесь также ее свежая язва. Манчестер — это означает: экспорт и кризис, текстиль и безработица.

Двести лет тому назад английский парламент после длительных и, наверное, весьма глубоких дебатов разрешил подданным короля носить бумажную ткань: до этого постановления женщина, осмелившаяся показаться в ситцевом платье, уплачивала пять фунтов штрафа: таковы были верность прадедам, а также находчивость фабрикантов шерсти. В 1736 году Англия, изменив традициям, нашла новый способ обогащения. Манчестер быстро рос и крепнул; забыв о дожде и о гари, можно сказать, что он хорошел: на «бумажные» деньги он обзавелся церквами, театрами, музеями. Он поставлял ткань на весь мир, тонкой и крепкой паутиной он вязал другие страны. Если теперь паук приуныл, если не дымят сотни труб, если по мокрым улицам бродят голодные ткачи, то в этом непо-

винна тонкая нитка, она попрежнему наславу крепка. Она, кажется, крепче и великобританской империи и всего «мирового хозяйства».

В Манчестере с прилегающими к нему поселками 2 761 000 жителей. В Манчестере тридцать один процент безработных. Но стоит ли заглядывать в справочник? Не достаточно ли красноречивы эти заброшенные корпуса фабрик, эти лишившиеся дыхания трубы, наконец эта впалость щек, этот, непривычный на севере, жар глаз, эта откровенная нищета, которая теперь, как дождь, неотделима от Манчестера?

Лондонские джентльмены еще пробавляются анекдотами. «Как, вы не знаете?.. Следственная комиссия установила, что один безработный, получая от государства пособие, тем временем работал в порту. Он жил припеваючи! О чем же думает правительство? На что идут деньги налогоплательщиков? Пора обуздать лодырей!..» Тем временем на улицах Манчестера все бродят и бродят смутные тени. Тщетно останавливаются они у досок: «спрос»; доски пусты, на труд нет спроса. Счастливцы работают два-три дня в неделю. Вот у этой тени из штиблет торчат пальцы, а у этой вместо рубашки — газета. Манчестер одевает мир, но тени, которые бродят по улицам Манчестера, довольствуются библейскими рубашками.

Нить тонка и крепка, однако не на станках Манчестера решается его судьба. В Германии свои станки. В Японии свои станки. В Австралии тоже свои станки. Где-то далеко от Манчестера, очень далеко, под другим небом, под солнцем, столь же злым и нещадным, как манчестерский дождь, идут худые, голодные, загнанные люди. Газеты с усмешкой описывают «соляной поход». Какое дело Манчестеру до этих сумасшедших фанатиков?.. Но вот останавливаются новые фабрики, виснет нить, растут толпы теней, растет голод: Индия доконала Манчестер...

Безработные требуют хлеба. Либералы агитируют против консерваторов, консерваторы агитируют против Макдональда: у всех свой «секрет спасения». Притихает сосед Манчестера, кичливый Ливерпуль с конторами пароходств, похожими на античные храмы: заморские страны не хотят больше даров Манчестера, ни белых ниток, ни пестрых

материй. Тишина. Одинокий вздох. Это трещит не бумажная ткань, это трещит великая империя.

Завсегдатаи клубов много говорят о хитрости «лодырей»; они вовсе не говорят о хитрости джентльменов, которые дают свои капиталы за границу. Куда выгодней изготовлять текстиль в той же Индии, нежели в Манчестере! С точки зрения патриотов эти джентльмены — предатели. Но вряд ли их можно осудить: они верны своему классу и своему времени.

Они еще живы, еще работают две трети фабрик Манчестера. Оставим диагноз и мораль, вернемся к хлопку. Вот его высыпают из мешков, он сбился и как бы поблек, он кажется грубым мартовским снегом. Трудно себе представить, что он превратится в тонкую белую нить. Над ним работают не только тысячи рук, но и сотни голов. Каждый год приносит новую усовершенствованную машину. Хлопок подвергается десяткам самых сложных манипуляций. Новорожденную нитку холят, обучают, укрепляют. Невольно приходит в голову простая и праздная мысль: каким прекрасным был бы человек, если бы над ним столько же трудились, сколько трудятся здесь над обыкновенной ниткой!..

Англичане еще дорожат традициями: старыми портретами в конторах фабрик и старыми повадками среди машин 1930 года. Они еще уважают воскресенье и притчу о последней рубашке. Они даже ходят в церковь. Это, конечно, непоследовательно. Древние египтяне поклонялись Изиде: они верили, что Изида изобрела прялку. Почему же англичане не поклоняются некоему Аркрайту, цырюльнику и бродяге, который изобрел ткацкий станок?.. Почему они до сих пор дивятся воскресенью из мертвых человека, вместо того чтобы дивиться превращению египетского хлопка в очаровательные пижамы?..

В мастерских стоит скрежет, треск, грохот, гул. Рабочие не слышат своего собственного голоса. Они угадывают слова по движению губ, как глухонемые. В шахтах Уэльса рабочие смотрят руками, глаз им не нужно, они живут, как слепые. Нигде не нужно ни мыслей, ни чувств: машины хорошо знают свое дело.

Что же делать в этом городе, если не философствовать? Лучше не глядеть по сторонам: черные стены,

сырость, гарь. На лучшей площади города чахлые деревья в кадках. Это не Лондон: здесь незачем играть в уют, здесь нет ни парков с изумрудной травой, ни уютных кондитерских. В большой гостинице — грязь и гул узловой станции. На руках джентльменов подозрительные белые пушинки: почем сегодня хлопок?.. В ванной — черная лужа. В баре — толкотня, с ватерпруфов текут струи, маклеры и репортеры, отталкивая друг друга, кидаются к стаканам. Озябли они или стосковались по обыкновенной опрятной жизни, по сухим улицам, по спокойным дням? Они пьют много, пьют молча. В одиннадцать вечера бары закрываются. Под дождем одинокие чудаки, затравленные бессонницей, еще разглядывают освещенные витрины; но даже витрины в этом городе лишены сентиментальности: вместо восковых красоток — непромокаемые пальто и несгораемые шкапы. Вот у этого окна постоянно толпятся зеваки: какой-то сапожник выставил целую сцену: починка обуви с помощью конвейера. Дырявый башмак подхватывают, сдирают с него кожу, одна рука вбивает один гвоздь, другая — другой, третья наводит лоск, все вертится, блистает и спешит, а гипсовый несчастливец, доверчиво сдавший судьбе дырявый башмак, стоит, как аист, на одной ноге и меланхолично качает головой в такт заводной машинке.

Один из глазевших выругался, другой громко зевнул, потом они толкнули друг друга, здесь уже оба выругались, выругались и разошлись, вползли в сырые дома, чтобы натереть перед сном распухшие пальцы шарлатанской мазью. Да, в Манчестере вы не найдете знаменитой английской вежливости, здесь все спешат и все стараются друг друга обогнать; входя в автобус, здесь знакомишься со многими локтями. Зачем притворяться?.. Джентльмен, говоривший в Лондоне чуть не шопотом, приезжая в Манчестер, с удивлением узнает, что у него вполне развитой голос, он может великолепно ругаться. Лицемерит ли старая Англия? Или просто умирает, уступая место манчестерской Америке? У черного города много грехов на душе, но в одном он безупречен — он не лжет. Он знает наживу, убытки, богатство, голод. Все здесь досказано до конца, среди скрежета станков, под дождем или у вонючей стойки бара. Вероятно, когда настанет черед Англии ответить за

все, за Индию и за Поплар, за изысканность ее джентльменов и за звериный быт ее белых, желтых и черных рабов, вероятно в этот день в Лондоне еще будут вежливо разговаривать, какой-нибудь депутат еще будет осторожно допрашивать министра — известно ли министру, что настал день «так называемой расплаты»? В Манчестере тогда не будут ни извиняться, ни оправдываться.

5. УГОЛЬ

В северном Уэльсе — водопады и фольклор. Англичане туда ездят на летние каникулы... Овцы на зелени отлогих гор, пустынные печальные озера, вереск, редкие домики, тишина. Англичане любят природу; задыхаясь среди копоти городов, они умеют ценить и озон, и траву, и одиночество. Они не стараются превратить лес в увеселительный сад с киосками, они не стригут деревьев на манер пуделей, вместо игрушечных клумб они засевают цветы, как газоны. Жизнь их жестка, зато глубоко идилличны их каникулы и их кладбища. Северный Уэльс для них благословенная страна.

В южный Уэльс туристы не заезжают, здесь листва покрыта черной пылью, а на портовых водах — радужная пелена нефти. Ночью этот край кажется сказочным: беснуются громадные печи, среди оранжевого тумана проступают леса труб, кричат сирены пароходов. Но скучно здесь днем: длиннущие, многоверстные улицы с маленькими серыми домишками, глухие стены фабрик, горы угля. Жизнь на земле случайна и малоприметна, подлинная жизнь проходит под землей.

В начале прошлого века Сванси был небольшим аристократическим городком: щелкали бичи кучеров, леди улыбались миру, а джентльмены в уединении изучали карту звездного мира или новые карточные фокусы. Жизнь под землей только-только начиналась. Первые горемыки, спускаясь на тридцать метров вниз, вытаскивали из-под земли драгоценные черные камни.

Теперь Сванси большой город — около 170 000 жителей. Десяток церквей, парк (конечно, Виктории), высшая техническая школа, несколько универсальных магазинов,

несколько дансингов с лондонскими красавицами, словом город как город. Бродя по его улицам, трудно догадаться, что под ними идет ожесточенная жизнь, что эти тротуары и витрины только покрывало над подлинным городом. Вся земля окрест взрыта, уголь ищут под замком, под дансингом, под домами, под рекой, его ищут повсюду.

Давно уже иссякли верхние пласты; все глубже и глубже уходят под землю люди. Теперь уголь добывают на глубине трехсот — четырехсот метров. Оборудованы шахты по старинке. Статистика несчастных случаев и та не в силах подогнать людей — обвалы воспринимаются с фатализмом: таково ремесло!..

Каждое утро происходит то темное и непонятное, с чем можно сравнить только миф о Прозерпине. Столько-то тысяч людей уходят во тьму. У каждого шахтера своя лампочка под номером; ее мизерный свет — это то, что он уносит под землю как воспоминание о светлом, надземном мире. Лифт-площадка, раскачиваясь и содрогаясь, падает вниз. Льется на голову грязная холодная жижа. Сначала коридоры широки и освещены лампочками. Потом начинается крутой спуск к четвертому или пятому пласту. Темь. Скользкая липкая земля. Своды все ниже и ниже. Рабочие идут согнувшись, они идут долго, иногда два или три километра. Этот путь не входит в число рабочих часов, он еще не работа, он только путь к работе... Подпоры из железа, но не всегда и железо выдерживает: вот здесь произошел недавно обвал — четырех задавило. Среди рабочих — дети; это не средневековье, даже не Диккенс, это 1930 год, это мирное осуществление «универсальной гармонии». Не улыбайтесь скептически — самому маленькому четырнадцать лет, человечество недаром вдохновлялось благородными идеями, два года отвоеваны — прежде под землей работали и двенадцатилетние. Мальчуган ползет по черной глине. Когда он спустился вниз, еще не рассветало, когда он подымется наверх, будет темно. Он сегодня не увидит света, что поделаешь — зимние дни коротки. Он будет расти, расти под землей, станет взрослым, приведет сюда своего сына, потом он состарится и умрет.

Чем глубже, тем жарче и душней. Если поднести лампочку к лицу, можно разглядеть струи пота; пот,

разумеется, черный. Несмотря на клочья холодного острого воздуха, которые вылетают из труб, дышать трудно. Глаз скоро привыкает к темноте, но никогда он с ней не примирится; человек переходит на положение полуслепого, обостряется слух, обязанности рук усложняются.

Тележки с углем тащат лошади, особо низкорослые и особо терпеливые — лошадь не человек, она больше привередничает и легче подыхает. У лошадей благородные имена: Капитан, Виктория, Нельсон. Проработав несколько лет, Виктория рассталась с ненужным ей зрением. Рабочие, конечно, не слепы — они должны видеть уголь, но глаза их отучены от солнечного света.

В этом своя логика: на фабриках духов работницы теряют обоняние; бесшумные моторы изготовляются в мастерских, полных невыносимого скрежета, и рабочие, их изготовляющие, становятся наполовину глухими; чтобы добыть свет, шахтеры уходят в тьму, зрачки их перерождаются.

Почему люди идут сюда? Почему, попав сюда, они не бегут прочь? Что приковывает их к этим тачкам, которые не зря рождают в памяти образы каторги? Легко ответить: «не все ли равно где»... Нет, это не просто работа, не станок, не кули грузчика, не коса. Работа шахтера оплачивается не выше иной; токарь или слесарь зарабатывают больше. Почему же углекоп ведет своего сына вниз? Почему четвертое или пятое поколение отдает свою жизнь углю?.. Есть ли выход из этих катакомб?..

Рядом со мной член парламента: больше двадцати лет проработал он в этих шахтах. Его лицо и руки покрыты татуировкой: траурные чернильные жилки; это уголь, уголь, которого не смыть, который вошел в кровь; человек переменил профессию, он стал политическим деятелем, но стигматы остались, в здание парламента он принес черный дух Сванси.

В душной яме, где, кажется, нечем больше дышать, где тридцать пять по Цельсию, человек с татуировкой говорит мне:

— Я люблю этот запах...

Так уголь оставил следы еще более глубокие, нежели черные пятна: любовь к работе. С любовью ползет он по коридорам, с любовью лелеет чахлый огонек лампы,

с любовью рассматривает в конторе чертежи. Это его дело и его жизнь.

Когда площадка с такими же унылыми содроганиями выкидывает человека наверх, чахоточный свет английского дня кажется волшебным. Глаза благодарят за все: за грязную вату облаков, за припудренную черной пылью лужайку, за прыжки на ней растяпого щенка. Да, жизнь на земле воистину чудесна!.. На земле живет владелец шахт. Он изучает большие карты с жилками зелеными, розовыми и голубыми: это различные пласты угля. Его дом стоит над одной из жилок, над розовой или над голубой; под ним перекликаются лампочки номер двести восемнадцать и четыреста двадцать семь, под ним меланхолично ржет слепая Виктория; под ним идет таинственная жизнь. В его доме большие окна, под окнами жасмин, розы. Фокстерьер играет с кокетливой девочкой. Кто-то разучивает гаммы. Хозяин улыбается. Я знаю, что он далеко не счастлив, что он страдает не только от одышки, но и от кризиса. Он сегодня попросил у своего бывшего рабочего, который стал теперь членом парламента, не может ли тот ему посодействовать — долги, неоплаченные векселя, банкротство, опись... И все же трудно его пожалеть: перед глазами огоньки ламп, недоброе поблескивание стен, черный пот. Эти два мира несовместимы. Не только разной морали подчинены они, но и разным физическим законам. Сумерки одного — это полдень другого.

У дверей маленьких лачуг сидят углекопы, угрюмо посапывая трубками. Некоторые работают по три дня в неделю, другие не работают вовсе. Голод горче тьмы, и спуск вниз кажется им вознесением.

Вы можете теперь сесть в автобус и направиться к парадному центру Сванси, — уголь вас больше не оставит. Напротив вас окажется шахтер в рабочей одежде, который возвращается домой. Он еще полон удушья подземелья. Черную пыль вы заметите и в соборе и в дансинге: это воздух Сванси. В порту грузятся толстые астматические пароходы. Тысячи вагонов уносят черное золото. Заводы, получив свой корм, сладострастно кричат. У камина сидит джентльмен и тихо мечтает о какой-нибудь мисс. Вне угля здесь нет жизни.

1930

ЛОНДОНСКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Я не был в Лондоне пятнадцать лет; многое в нем изменилось: потускнели денди с Пикадилли, видны развалины домов, скромнее стали витрины лавок, развязнее выглядят газеты. Прежде англичане с трудом понимали английские слова, произнесенные с неанглийским выговором; теперь они стали понятливее — они слишком часто слышали диалект Оклахомы и Миссисипи... Попрежнему великодержавностью полны дворцы, памятники, обелиски; но озноб империи чувствуется и в повседневной жизни Лондона; его политики уже не запевают, а подпевают; его простые люди начинают понимать, что их месячный бюджет, кусок мяса или кухонная утварь непосредственно связаны с тем, что сказал вчера г. Трумэн и что скажет завтра г. Ачесон.

Лондон изменился, и все же Лондон остался Лондоном, великолепным и унылым, длинным, как жизнь, и, как жизнь, противоречивым.

Английский народ в годы испытаний показал свои душевные качества. Неубранные развалины, унылые ряды барачных домиков, где зимой холодно, а летом нестерпимо жарко, напоминают о том, что пережил этот город. Простые люди Лондона в годы воздушных налетов проявляли спокойствие и мужество. Может быть, еще бо́льшую выдержку они проявили, терпеливо снося стеснения и лишения; в отличие от соседней Франции, здесь никогда не процветал «черный рынок», люди жили на карточки. До сих пор карточки сохранились на многие продукты — на

мясо, на жиры, на яйца, на сахар, на чай, на мыло. Это, конечно, не может быть поставлено в заслугу правительству, которое считает, что лучше бомбардировщики над головой малайца или корейца, чем сахар на столе рядового англичанина. Однако в заслугу простому англичанину может быть и должно быть поставлено то хладнокровие, которое помогает ему обойтись без сахара, но и без спекулянтов.

Я уже говорил о развалинах в центре Лондона, о бараках, особенно заметных в восточных кварталах города. Нельзя сказать, чтобы в Лондоне ничего не строили, — строят, но недостаточно. Я видел блок домов; его начало строить правительство для государственных нужд, но у правительства нехватило денег достроить дома, и оно продало их частной фирме, а теперь арендует часть построенных домов. Англичане говорят об этом с усмешкой. Впрочем, англичанам приходится довольно часто усмехаться, скажу прямо — невеселая это усмешка.

На пресс-конференции один английский журналист спросил меня, как я отношусь к моей статье «Откровенный разговор», напечатанной в 1934 году в газете «Известия». Эта статья была посвящена критике «Интуриста», который порой ставил иностранцев в более привилегированное положение, нежели советских граждан. Я ответил ему, что факты, описанные мною, действительно имели место шестнадцать лет тому назад и что я тогда протестовал против этого в московской газете. Я указал журналисту, что теперь в Лондоне имеется много магазинов с товарами, которые продаются только иностранным туристам (их доставляют на пароход или на самолет). Англичане смотрят на хорошие материи, шерстяные изделия, другие вещи, изготовленные в Англии, которые они не имеют права приобрести: все это предназначено для американцев. Я спросил журналиста, протестует ли он, или его коллеги против этого? Он мне ничего не ответил.

Почему терпят англичане лишения? Почему они работают, зная, что изготовленные ими вещи уйдут за океан? Почему ютятся в бараках? Им говорили все послевоенные годы: это необходимо, чтобы освободиться от экономической зависимости, от американской опеки. Рядовой англичанин, будучи честным, склонен верить в честность дру-

гих. Долго, может быть слишком долго, он верил в честность своих правителей. Он впервые стал сомневаться этим летом: события на далеком востоке помогли ему понять, почему он должен жить в бараке или есть китовое мясо. Несмотря на газетную ложь, рядовой англичанин понимает, кто вторгся в Корею, он знает, что режим, установленный на юге этой страны американцами, мало чем отличался от режима Чан Кай-ши. Рядовой англичанин с тревогой читает о том, что захват американцами большого китайского острова грозит новой войной. Здесь даже изворотливые газетчики не знают, что им придумать, как объяснить читателям, почему Англия, признавшая Китайскую народную республику, должна поддерживать американцев, захвативших Формозу. 30 июля г. Эттли обратился по радио с речью к англичанам. Он объявил им, что отныне жить будет труднее, потому что нужно вооружаться. Если до последнего времени лейбористы призывали англичан к жертвам, говоря: «мы должны освободиться от экономической зависимости», то теперь г. Эттли предлагает своим соотечественникам еще туже стянуть пояс, чтобы окончательно избавиться от политической независимости, стать исправными солдатами на чужой войне.

Рядовому англичанину ежедневно говорят, что русские грозят его укладу жизни, его дому, родному острову. В Москве представители английского правительства издают газету, лицемерно именуемую «Британским союзником», они хотят убедить немногочисленных русских читателей, будто официальная Великобритания — союзник Советского Союза. В Лондоне те же самые люди внушают своим (к сожалению, многочисленным) читателям, что Советский Союз — заклятый враг Великобритании.

Мне пришлось на себе испытать враждебность и воистину американскую развязность ряда английских газет. В день моего приезда в Лондон «Ивнинг ньюс» напечатала статью под вполне джентльменским заголовком: «Почему впустили Илью?» Во время митинга на Трафальгар-сквер один репортер попросил у меня спички; я ему дал коробок, на этикетке которого были изображены серп и молот. На следующий день в большой газете появилась фотография «Спички Ильи», — требовалось доказать, что русские хотят поджечь мир.

Вдохновляемые антисоветскими выходками лейбористов, последователи Мосли приподняли голову. Во время митинга сторонников мира фашисты пускали петарды и раскидывали провокационные листовки. Один из этих джентльменов притащил портативную трибуну к двери гостиницы, где я жил, и часа три подряд зычно проклинал «красных», ограждаемый рослыми полицейскими.

Нужно сказать, что в науськивании англичан на Советский Союз с фашистами могут потягаться некоторые лейбористы. Сотрудники журнала «Нью стетсмэн» пригласили меня позавтракать с ними, пояснив: «Это будет дружеская встреча». На завтраке среди других литераторов присутствовал депутат-лейборист г. Кроссмэн. Хотя я давно потерял юношеский дар изумления, г. Кроссмэн меня удивил: он сказал, что только большие запасы атомных бомб в Америке могут позволить коллегам г. Кроссмэна построить социализм в Англии. Два дня спустя этот полуатомный «социалист» выступил в парламенте с большой речью о внешней политике, причем значительная часть его выступления была посвящена мне. Г-н Кроссмэн сказал, что он со мною встречался. На правых скамьях раздался смех. Тогда г. Кроссмэн поспешил оправдаться: «Нужно изучать врагов». После этого он приписал мне слова, которых я, разумеется, не говорил: «Англичане, так же как и французы, не способны воевать ни морально, ни материально, но, в отличие от французов, англичане этого не осознают». Г-н Кроссмэн, не покраснев, продолжал: «Так именно думал Риббентроп». Репутация этого джентльмена, однако, такова, что некоторые депутаты сразу заподозрили его, скажу мягко, в неточности. Депутат-лейборист Драйберг скромно отметил в «Рейнолдс ньюс», что его товарищ слегка передернул слова советского гостя. Две крупные газеты — «Таймс» и «Манчестер гардиан» — напечатали мое письмо. Я объяснил, что говорил сотрудникам «Нью стетсмэн» о различии между передовой французской буржуазией и английской: французская буржуазия начинает понимать, что она не сможет сделать из французов солдат для американской войны, английская буржуазия этого еще не понимает. В письме я пояснил: «Военный преступник Риббентроп думал, что англичане не способны защищать свою родину.

Это было не только гнусно, но и глупо. Я же сказал г. Кроссмэну и его коллегам, что, по моему мнению, английский народ не способен принять участие в агрессии, и если это обидело г. Кроссмэна, то вряд ли это может обидеть миролюбивых и порядочных англичан».

В самой лейбористской партии наблюдается некоторое смятение. Свыше двадцати депутатов высказались против корейской авантюры. Правда, некоторые из них после ультиматума партийного руководства отступили от принятой резолюции. Но другие, во главе с г. Дэвисом, не сдались, они чувствуют поддержку избирателей — простых людей Англии. Я долго беседовал с группой лейбористских депутатов; это было очень пестрое собрание, которое показало мне, насколько пестра лейбористская партия. Один из присутствовавших депутатов, например, возлагал все свои надежды на атомную бомбу. Многим депутатам было не по себе, — посланные в парламент горняками, металлистами, ткачами, они не хотят проводить политику г. Черчилля, которую столько раз страстно изобличали. Один депутат сказал мне: «Я говорил моим шахтерам, что буду отстаивать мир, а мне предлагают голосовать за войну». Против политики г. Бевина восстают не только совесть, но и здравый смысл многих лейбористов. Так рождается оппозиция; ближайшие месяцы покажут, умрет ли она в младенчестве, или проявит жизнеспособность.

Англия переживает одну из самых смутных и самых значительных страниц своей истории. Еще недавно народ верил, что политика лейбористского правительства резко отличается от политики г. Трумэна, что Англия умеряет пыл янки, что она признала новый Китай, что она осуждает «крестовый поход» против коммунистов и что, в отличие от Соединенных Штатов, она прежде всего миролюбива. Это было классическим торжеством лицемерия и не менее классическим посрамлением наивности. Еще недавно движение сторонников мира в Англии казалось немощным. Теперь глаза как будто раскрываются. На национальной конференции сторонников мира я встретил и священников, и лейбористов, и квакеров, и представителей интеллигенции, весьма далеких от коммунизма. Движение растет в народных толщах, и участие в конференции представителей ряда профсоюзов не случайно. Движение

захватывает также цвет интеллигенции. Мне пришлось беседовать с некоторыми крупнейшими учеными Англии; до последнего времени они держались в стороне от движения сторонников мира, да и теперь они недоверчиво озираются — нет ли здесь ловушки; однако, как честные люди и как люди, любящие культуру, они видят угрозу войны, готовы бороться за мир. Лучшие представители английской интеллигенции, гордые прошлым нации, понимают, что та война, о которой мечтают некоторые рвачи Америки, смертельна для Англии с ее относительно небольшой территорией, огромными городами, уязвимыми для бомбардировок, и концентрированной индустрией. Движение за мир может стать в Англии подлинно национальным.

Лондонцы различных направлений говорили мне, что митинг на Трафальгар-сквер был самым большим митингом после войны. Поднявшись на трибуну, я увидел народ — мужчин и женщин разных возрастов, разного социального положения. Я понял в ту минуту, как тщетно пытаются газеты натравить людей Лондона на народ Сталинграда: столько было тепла в огромной толпе, так эта толпа приветствовала советский народ...

Сомнения мало свойственны англичанам. Во Франции видишь детей дошкольного возраста, отпускающих скептические замечания. В Англии меня всегда поражали седые старики с наивными, младенческими глазами. Есть, однако, границы и у английской доверчивости. Конечно, газеты называют американскую интервенцию в Корее «операциями войск Объединенных Наций», но это мало кого убеждает. Я слышал не только в бедных восточных кварталах Лондона, но и в фешенебельных ресторанах те же иронические замечания: «Американцы оказались плохими вояками... Их бьют корейцы — и еще как!.. Напрасно они задавались...» В этом злорадстве обида многих лет: выскочка из Колорадо пытался водить британского льва на поводке, выдавая его за стриженого пуделя, и теперь лев радуется, что укротителю приходится удирать во все лопатки.

Американцы любят говорить о своем родстве с англичанами: блудный сын вспоминает о своем происхождении, чтобы промотать отчий дом в азартной игре за мировое господство. Англичане долго слушали, порой наивно уми-

лялись, но теперь уже раздаются голоса: «Не довольно ли?..» Может быть, эти голоса и не слышны за океаном, — «Би-би-си» их не передает; но простые люди Англии заговорили... Выступая в Лондоне, я сказал: «Есть хорошая русская пословица: яйца курицу не учат. Мы присутствуем при очень странном и очень нехорошем зрелище; уже не первый год яйца пытаются учить курицу, даже командовать курицей. Я немного знаю историю Англии, и я понимаю, что такие повадки нестерпимы для любого англичанина, каких бы убеждений он ни придерживался. Я глубоко верю в справедливость приведенной мною пословицы, и я убежден, что недалек тот час, когда курица укажет яйцам их место».

Самолет летит низко над городом; кажутся игрушечными блоки домов, красные точки автобусов, черные и белые точки людей на спортивных площадках; огромный город сверху похож на макет, прибранный, точный, залакированный. На самом деле этот город неспокоен, и если в нем нет южной страсти, уличных демонстраций, флагов, криков, то не следует принимать его сдержанность за смирение, выдержку за капитуляцию. Английский народ еще скажет свое слово, и я не думаю, чтобы это слово понравилось г. Трумэну.

1950

СЕВЕР

ШВЕДСКИЙ ВАРИАНТ

Нет ничего патетичней воды и камня — просто далась Стокгольму осанка столицы. Давно уж великая держава стала историей, давно уж окаменели удила королевских коней на вечно влажных цоколях, но попрежнему пышен и горд город. Его призрачное величье, его холод и благородство сродни городу Петра. Стокгольм сделан из шхер и воды; построить дом здесь — все равно, что взять крепость; на вновь проложенных улицах, среди магазинов готового платья, еще торчат неприязненные скалы; здесь нет просто жилья; это обдуманный план, почти абстракция, навязчивый бред, справедливо дополняемый белыми ночами, металлическим посвечиванием воды и сиренами пароходов.

На набережной против королевского дворца ни праздные завсегдатаи кафе при «Гранд-отеле», ни копошение грузчиков, ни истерика чаек не способны потревожить идеального равновесия камня, неба, воды, удивительных пропорций строений и, главное, окаменения, твердости, величественности мира, восхищения гением народа.

Новый Стокгольм не отрекается от своего прошлого, он и не довольствуется мизерными плагиатами строительных подрядчиков современного Рима. Здесь доказана возможность сочетать принципы новой архитектуры с традициями страны, с требованиями местного материала, наконец с

неповторимым окружением. Приняв технику Америки, Швеция восстала против ее обожествления. Это либо начало бунта, либо последние спазмы Европы, сопротивление по инерции полуокоченевшей конечности.

Духовная самостоятельность предполагает не только ум и характер, но также множество странных повадок. Жизнь Швеции для чужестранца порой завидна, порой смешна. Мелочность этикета, погоня за титулами, ханжество и подозрительное целомудрие, которые вполне бы пристали стране выскочек и тунеядцев, особенно нелепы здесь, рядом с набережными или заводами.

Шведская индустрия сильна не столько своей продуктивностью, сколько высоким качеством фабрикатов. Швеция не захотела или не смогла равняться на конвейер. Ее заводы превосходно оборудованы, в них и усовершенствованные машины и современные методы работы, но в них жива некоторая инициатива. Заработная плата, на европейский масштаб высокая, определяется не только скоростью, но и мастерством.

Заводы «Газаккумулятора» — огромное предприятие. Они изготовляют маяки. Ежегодно десятки тысяч воспаленных глаз ласково подмигивают промокшим вахтенным, нищим иммигрантам, дремлющим на палубе, мечтательному спекулянту, который на сон грядущий тянет виски, рыбакам в клеенчатых штанах, спорящим с бурей.

Швед Густав Дален построил маяк с запасами газа на шесть месяцев. Теперь маяки светят там, где нет людей. Дален достиг экономии газа: солнечный свет автоматически гасит маяк, темнота снова его зажигает. Экономия денег в наши суровые дни означает спасение стольких-то жизней. Маяки системы Далена светят повсюду: на Шпицбергене и вдоль Панамского канала. Густав Дален, однако, не видит их сияния: во время одной из демонстраций произошел взрыв, Дален лишился зрения.

«Газаккумулятор», спички, знаменитые сепараторы, телефоны Эриксона, кирунская руда, шарикоподшипники «СКФ», машиностроительные заводы, эскильстонская сталь, прекрасные школы и лаборатории, ученые с мировым именем, открытия, патенты, электричество в свином хлеве, автобусы среди тундры, вокзалы, похожие на

храмы, небоскребы, стандартные дома — это повседневный быт Швеции.

Однако я затрудняюсь сказать, что здесь перевешивает — акции или ученая степень, и кого здесь больше — инженеров или теологов. Богословские отделения университета всегда заполнены, хотя в бога мало кто верит. Нет в Швеции, кажется, гостиницы, где в каждой комнате не лежала бы рядом с телефонным справочником библия. Справочник зачитан и ветх, а библия свежа, невинна, ее держат, но не читают. Она подарена «Союзом коммивояжеров города Обреро». Так коммивояжеры, развозя бритвы и удобрения, не забывают о своей бессмертной душе. Что касается пасторов, то они любят светское общество и французские романы. В церковь шведы ходят редко, предпочитая футбольные состязания, но даже заведомые вольтерианцы готовят своих детей к конфирмации.

Газетная полемика напоминает теологический диспут. Это — полуабстрактные оттенки, деликатные увещевания, вечерняя дремота над огромными листами. Один и тот же стокгольмский издатель выпускает две, враждующие между собой, газеты: либеральную и консервативную. Подобные курьезы приключаются и в других странах, но там они означают ловкий ход, желание обезоружить противника, там это тайная комбинация с подставными лицами и с «независимостью» редакторских полудев. Здесь же все ясно: почему бы не издавать две газеты одному издателю?

Как удалось Швеции сохранить старомодное благородство? Не выручает ли шведов близость к природе? К этой полузабытой приятельнице младенческих лет кинулась в отчаянии послевоенная Европа. Пригородные лужайки стали последним прибежищем людей, потерявших не только веру, но и куцый покой. Лужайки покрылись яичной скорлупой и томительными вздохами. Отчаявшись услышать истину от недавних трибунов, истребив, как редкую дичь, последних поэтов и возненавидев политиков, ничего не смысля в дерзаньях Крейгера, измученные шестью днями конвейера, мюзик-холлом, автобусами, газетной суетой, — европейцы пробуют заговорить с обшмыганными липами в какой-нибудь «молочной», где выдают

им парное молоко, разбавленное водой и подогретое на газе. Но липы молчат. На их коре инициалы похотливой парочки и призывы голосовать за список номер такой-то. О чем могут рассказать эти липы? О дневной выручке хозяина молочной или о семейной неурядице веснушчатого конторщика?.. Европа кинулась к природе, которой уже нет. Остается бродить по вытоптанным полям, по начисто вырубленным рощам, вдоль речек, покрытых рябью нефти, мимо гор, унизанных трактирами и фортами.

В Швеции природа огромна. Леса здесь еще смеются над копошением дровосеков, и никакие лесопилки не могут встревожить раздумья бесчисленных озер. Человеку не приходится нянчиться с предполагаемой стихией: он должен быть на-чеку, как его прадед. Даже ближайшие окрестности Стокгольма — это лес и вода. Можно уехать на воскресенье в самую заправскую чащу, где ни граммофонов, ни избушки, ни просто «живой души».

Летом Швеция валяется на душистом мху, плавает по озерам, ночует в ребячливых палатках, и, белобрысая, восторженно выгорает под лучами неутомимого солнца. Зимой, зажмурив глаза, она мчится на лыжах. Ее шерстяной свитер пахнет елкой и псиной. Пятидесятилетний господин консул ставит рекорды прыжка, а его внучата управляют настоящим парусником. Чопорные стокгольмцы снимают воротнички, девушки бегают в штанишках, и пасторы, забыв о первородном грехе, загорают на солнце рядом с блудницами.

Принято думать, что шведы — народ размеренный, аккуратный. Их зачастую называют «северными пруссаками». Что ж, я и прусского фельдфебеля, того, что ныне в досрочной отставке, почитаю скорее за фанатика, нежели за исправного служаку. О шведах и говорить нечего, — недаром они живут возле полярного круга, — это заведомые максималисты. Хорошо обработанные поля или складочки на брюках не могут опровергнуть ни крайностей, ни жизни «на авось». Правда, шведы умеют великолепно лицемерить, вежливо улыбаться, соблюдать, когда нужно, десять заповедей, голосовать за умеренные списки, ладить и с богом и с Америкой, но все это только на людях. Мечты и сны каждого добропорядочного шведа прежде всего необузданны. Отсюда — тоска и водка. Пьют шведы

много, хотя и в этом они теперь себя связали, перепугавшись, как бы не спиться целому народу. С грустью вспоминают они блаженные времена — до «закона Братта», когда на закусочном столе стояли пузатые графинчики и когда можно было, не считая, пропустить десяток-другой рюмок. Теперь водка выдается, как микстура, — по дозам. Остается недозированная тоска.

Суровые шведы чрезвычайно легкомысленны: вся страна живет в долг. Это французская система наоборот. До сорока лет француз, как известно, не живет, а мытарится. Он урезывает себя во всем. Каждый месяц относит он в сберегательную кассу живые клочки своей горемычной жизни: проглоченные слюнки, слезы жены и тысячу красноречивых вздохов. Утешение одно: рано или поздно стукнет сорок лет, тогда-то он отыграется. К сорока годам у француза рента, дюжина болезней и усмешка наследственного мизантропа. Покушать вволю он уже не может, так как у него катар, и сидит он на картофельном пюре, путешествовать ему неохота — зачем же он купил ночные туфли и халат? — к девушке тоже не побежишь: года не те. Остается удить рыбу и резаться в карты с соседом — по два су очко. Таков финал жизни прославленного своей ветреностью Пьера или Поля. Швед в молодости никак себя не ограничивает. Студент получает кредит в банке: он выплатит деньги, когда станет инженером. Инженер, выплатив долги студента, залезает в новые: он их выплатит в старости. Годам к пятидесяти человек начинает уставать и сдаваться. Швед тогда переезжает в маленькую комнату, ходит в перелицованном костюме, никуда не выезжает, не пьет, не курит, он занят одним: он выплачивает долги. В богадельнях можно видеть благообразных и действительно аккуратных стариков: они получают солидную пенсию, но живут они в богадельне: долги!

Шведские города благообразны, как лютеранская кирка. Даже в Мальме или в Норчепинге после одиннадцати закрыты все кафе, на улице только звезды и полицейские. Что же там: за шторами, за ставнями, за стенами?.. В Европе богема — это воспоминание да еще приманка для американских туристов. Быт упсальских студентов или стокгольмских художников классически сумбурен, даже разбоен. А на улицах — ни души: мораль,

тишина, редкие протоколы. Стоит, однако, шведу сесть на заграничный пароход, как он начинает безумствовать вслух. Ничего нет отчаянней шведских кабачков в Париже. Они плотно прикрыты, ставни Упсалы и Люнда...

Стокгольмские музеи справедливо прославлены. Если новое искусство здесь вдоволь консервативно, то археологи Швеции свободны от рутины. В «Нордиск-музее» собрано народное искусство. Много там хорошего: и крестьянская живопись на холсте и пестрые шляпы фермеров Далекарлии. Все же самые лучшие вещи в норвежском отделе. Норвегия здесь еще представлена как часть королевства, однако это не только другое государство — это и другой народ. Я не отказываюсь от похвал. В Швеции превосходные музеи. А телефон? А сепараторы? Что касается искусства, то его в Швеции сейчас нет. Шведские писатели никак не могут перешагнуть через границы своей страны. Самый достопочтенный из шведских критиков, господин Беек — недавно дал интервью одному русскому журналисту. Господин Беек — сотрудник консервативной газеты, и не удивительно, что он всячески поносил молодых русских писателей. Им он противопоставлял нынешний расцвет шведской литературы. Для точности он даже назвал одно имя — Сигрид Унсет. Я не стану спорить с господином Бееком касательно художественных достоинств госпожи Унсет, отмечу только одно: как-никак, Сигрид Унсет не шведка, это самая доподлинная норвежка.

Все сказанное — не в укор. Почему же в стране обязательно должна быть хорошая живопись? В Швеции, например, замечательные витрины. Крупа, фрукты, чашки, лапша — все это разложено с поразительным мастерством, скажу больше — с вдохновением. Любое окно кооператива — классический натюрморт.

Сердце Швеции — Далекарлия. До сих пор там сохранились народные костюмы, как в самой глуши Карпат. Невольно сочетаешь это простое тряпье позапрошлого столетия если не с курными избами, то уж во всяком случае с керосином и с сомнительной грамотностью. Однако крестьянки Далекарлии, в ярких широчайших юбках, похожих на кринолины, повязанные трогательными платочками, ездят не иначе как на велосипедах. В их избах много старой мебели. Комоды и двери расписаны пунцо-

выми розами, но на комоде — электрическая лампочка, и живописная дверца ведет в современную уборную.

Я был в селе Лександ на крестьянских похоронах. Хоронили степенно, торжественно. Гроб на лентах медленно опустили в землю. Потом поодиночке подходили проститься. Ни вдова, ни сироты не плакали. Церковь в Лександе — с деревянной луковкой, она могла бы стоять где-нибудь в Вологодской области. Кругом березы, сирень, светлозеленая мурава. Все это предрасполагает к молчанию и к простоте. Похоронив, тихо разошлись по домам. Вечером все село было на гуляньях. Электрические карусели вдохновляли детвору. Старики хохотали над прыжками Гарольда Ллойда. На улице толпились маленькие крепкие лошадки — «шведки» — и «форды», девушки в барочных чепчиках и стокгольмцы с теннисными ракетками. Здесь не было ни разности жизни, ни враждебности двух веков. Крестьянские девушки умеют играть в теннис, и они давно оценили достоинство «форда». Это не принуждает их расстаться с «шведками» или со старомодными чепцами.

Если поглядеть на Швецию из окна вагона, поглядеть на красные деревянные избенки, на безлюдность озер, на всю скромность природы, — можно подумать: бедная страна, прошлое время, окраина Европы! Но это не так. В избенках — двадцатый век. Достаточно поглядеть на тот же вагон, — во Франции его обязательно назвали бы «пульмановским вагон-салоном» и ездили бы в нем только министры или американцы. Здесь же, несмотря на кресла и на альбомы, несмотря на графинчик с водой и на особую кладовую для багажа, это самый обыкновенный вагон третьего класса. В нем ездят крестьянки Далекарлии с пестрыми фартуками и даже с курами. Швеция пытается поторговаться с современностью, чтобы, взяв одно, отказаться от другого, чтобы в то время, когда вся Западная Европа, как психопатка перед тенором, только и делает, что перенимает механическую судорогу нью-йоркского бизнесмена, — привередничать, выбирать, даже порой сурово отшатываться. Вероятно, и это ненадолго: в Швеции всего семь миллионов душ, остальное — лес. Лес вырубят, а людей перевоспитают.

В ЛЮЛЕО

Швеция узка и длинна, как белобрысый долговязый мечтатель ее захолустий. Она начинается обыкновенными ландшафтами, умеренным климатом и солидными делами. Ее ноги одеты в германскую обувь. Дома Мальме — это Гамбург или Любек, только со сливочным маслом на бутербродах и с довоенной степенностью. В деревнях Скании хрюкают датские свиньи, золото пшеничного поля, солнце здесь служит и в январе, маяки, следовательно, работают круглый год, много фабрик, много туристов, морские купанья — словом, зажиточная, благообразная страна. Это — ноги. Они почти что упираются в какой-то из Мекленбургов: скороходные паромы одолевают пролив в несколько часов.

Голова Швеции покрыта сосновым лесом и тоской. Деревянные города приземисты и теплы живым благодушным теплом. Человеку они дарят уют и отчаянье. Они горят, как спички. Если их и отстроили вчера, после очередного пожара, они все же древнее собора Упсалы: их древность не в истории, а в их природе, в связанности с окрестными лесами, со смолой и с сугробами, в том, что Питео или Люлео не только торговый центр и губернское управление, но также звериная нора, берлога, дупло.

В Германии или во Франции любая деревушка прикидывается городом, здесь же, напротив, города хранят деревенскую стать: дощатые особняки далеко один от другого, между ними — сады, старые, заросшие, задушевные. В этих садах — карликовая сирень; цветет она поздно, в июле, мелкими застенчивыми гроздьями. Зато как ее умеют здесь нюхать! Кто же, кроме северян, понимает, что такое солнце, лето, цветы? В мае весь север сходит с ума. Еще заморозки по утрам, еще голы деревья, но в самом гаме земли, в звоне капели, в чавканье луж, в скрипе дерева, в сотнях различных шумов, таинственных, как зачатье, в этой настройке инструментов — уже начало празднества, разгула, трехмесячного пиршества.

Все-таки хорошо, что есть на свете и люди и страны, не знающие меры! Кажется, даже солнце здесь теряет память, оно отдаривает за зимние обиды, до августа не сходит оно с неба. Окна особняков раскрываются, как

глаза, — впервые, да, да, каждый год впервые, среди ослепительной светлости берез, под гомон детворы.

Чем дальше на север, тем строже и нежнее блюдется культ юга. В крохотных городишках — цветочные магазины, их больше, нежели банков или кафе. За стеклами цветут тюльпаны, розы, бегонии. В каждом садике своя клумба; ее отгораживают досками от ветра, на ночь покрывают рогожей. В Кируне — «ботанический сад»: несколько березок и оранжерея. Под стеклом, окруженные благоговейными взглядами посетителей, медленно зреют огурцы и цветет петунья. Эти огурцы куда прекрасней всех пальм Ривьеры.

Если приехать в северный город среди ночи, он кажется околдованным. О том, что это — ночь, говорят только часы, — на небе солнце. О том, что это — город, говорят только дома, — людей нет. На площадях стоят автомобили — их оставили здесь до утра, а на пристани — чемоданы и сундуки, без присмотра. Где же люди? Вымерли? Уехали? Уснули? В садах отвлеченно чирикают воробьи, они чирикают тихо, считаясь с вежливостью и с этнографией. Это — в два часа пополуночи. В двенадцать город еще жив, он еще бредит.

На севере Швеции ночи в июне не белые, но розовые. Свет, теплый и взволнованный, предполагает загадочный пожар: горят города, горят охваченные бессонницей люди, дочки аптекаря, отставные архивариусы, не говоря уже о вульгарных ревнивцах или о пасторе, горят автоматы с плитками шоколада, горит небо, горит и высокий крахмальный воротничок господина консула.

Дочки аптекаря и господин консул пишут тогда стихи. Это диктуется скорее освещением, нежели амбицией. После долгих ожиданий, сердцебиения, разорванных листов и даже кругов под глазами — эти стихи будут напечатаны в одном из воскресных номеров местной газеты, стихи, разумеется, возвышенные и вполне благонравные: газеты ведь созданы для семейного потребления, их читают даже подростки, в газетах никто не имеет права целоваться — ни дочки аптекаря, ни господин консул. Стихи, слов нет, плохие, но здесь уж ничего не поделаешь: в Швеции слишком хорошие сепараторы, а масло — какое масло! На стихи у нее нет никаких резонов, кроме сума-

сбродного света белых ночей. И вот в полночь, забыв про электричество, весь розовый и иллюзорный, господин консул пишет: «Щека ангела трепетная, как летняя ночь...» Неужели вы станете настаивать на внешности фру Петерсон, у которой щеки — как два помидора и которая, хотя она угощает консула домашним печеньем, известна во всем Люлео своей сварливостью, никак не ангелоподобной? Но тогда вы ничего не понимаете в северном свете!

Впрочем, не все пишут стихи. На широкой террасе единственной гостиницы — она же ресторан, кафе, бар, выставка коммивояжеров, салон, дансинг и место свиданий — под полночным солнцем покачиваются в качалках долговязые мечтатели. Они не смеются и не куролесят, они качаются молча. Перед ними широчайшая река, пароходы, баржи, плоты, дальше поля, приниженные и стыдливые — все розовое, пламенное, готовое разрыдаться или испепелиться. Перед ними также рюмки паечного коньяка и в стеклянных кружках приторный пунш. В Швеции строгие законы: каждому посетителю ресторана выдают только установленную порцию, — правда, ее достаточно, чтобы споить наивного иностранца, но швед от нее только слегка грустнеет и грустно покачивается под розовым солнцем. Впрочем, можно пойти ужинать со строгим трезвенником, который пьет лимонад: тогда удваивается паек и удваивается грусть. Что касается трезвенника, то он пьян от света, от ненормированного света, который даже шведа сводит с ума.

Так качается в полночь общество Люлео. Иногда слышатся короткие фразы. О чем они говорят? О дочках аптекаря? О любви? О цвете неба?.. Кто знает?.. Они торгуют лесом, служат в конторах Крейгера, проверяют сплав бревен и немецкие векселя. Но сейчас они пусты и встревожены. Если бы продлить эту ночь на года, на десятилетия, может быть, они преодолели бы и сепараторы и телефоны, может быть любитель пунша, с поджатыми губами и с дегенеративным галстуком, стал бы злосчастным героем «Невского проспекта»...

Иностранца зовут на обед: еще одна демонстрация шведской культуры! Поговорим хотя бы о селедках. Что такое селедка? Студенческий ужин, то, подо что пьют с горя водку. Здесь, однако, селедка — культурное достиже-

ние: десять различных сортов, двадцать способов приготовления, гастрономия, эстетика...

Места за столом строго обдуманы: по положению, по возрасту, по достоинствам и достаткам. Нет страны, более влюбленной в иерархию, нежели Швеция. Члены королевской семьи ездят здесь в третьем классе, но даже злополучный босяк, подметающий улицы захолустья, горд своим титулом: он — «господин сотрудник Коммунального управления». Пить просто нельзя. Иностранец хлебнул вина, как будто он не на званом обеде, а на вокзале. Он забыл, что вино не напиток, а лирическая поэма. Хозяева и гости стыдливо потупили глаза: они ничего не видели. Надобно, дорогой иностранец, сказать «скол», поднести сперва бокал к жилету, под которым, как известно, сердце, а потом уже к губам, надо проделать все это, не сводя глаз с того, за здоровье кого вы пьете. Если вы скажете один раз «скол» хозяйке, ангелоподобной фру Петерсон, — той, что с помидоровыми щеками, а три раза — дочке аптекаря, то вы попросту хам. Не вздумайте также, обращаясь к господину Якобсону, к тому, что по ночам строчит стихи, а днем на лесопилке проверяет добротность фанеры, сказать «господин Якобсон». Разве вас не предупредили, что он представитель Персии? Это не шутка, это звание. Правда, персов в Люлео никогда не было и, скорей всего, не будет, но персидское правительство ценит шведские кроны, а господин Якобсон — уважение своих соотечественников.

Кончен обед, выпита водка, выпито и вино, на столе — пунш. Мало-помалу гости забывают об иерархии. Они слишком часто чокаются с дочками аптекаря, они неожиданно улыбаются. Они оттаивают. При первом знакомстве швед холоден, чопорен, даже надменен. Неясно, станет ли он с тобой разговаривать, или вежливо откланяется. Несколько часов спустя он может оказаться сердечным малым. Во время обеда процесс оттаивания совпадает с появлением на столе пунша. Дальше иностранцу остается показать, что и он умеет выпить, выпив — поговорить, а главное — помолчать, словом, что он не самозванец, а настоящий собутыльник и вполне достоин шведской дружбы.

А потом?.. Потом — лирическая прогулка по светлым и пустым улицам, река, лес, пожар зари. Наутро — ра-

бота: бревна, фанера, банковские книги, телефонный разговор со Стокгольмом, целлюлоза, усовершенствованные машины, автомобиль, столько-то тысяч крон оборота — и в итоге снова подозрительное полыхание на небе. Такова здесь жизнь. Избыток природы: река — не видно другого берега, шхеры и комары тучами, лес патетичный, как крейгеровский капитал, солнце ночью, зимою снег, готовый сожрать даже шпицы церквей. Среди этого неистовства — патенты, растущий экспорт, электрические ванны, из леса — бумага, из хаоса — балансы и комфорт. Говорят, что такова биография Калифорнии или Канады. Но посмотрите на господина консула Персии или, если он вам не по душе, на молодого служащего банка — разве похожи они, с их архаической тоской, на правильных янки? Они ничего не предали: ни своей истории, ни северных ночей, ни того колдовства, которое позволяет претворить фру Петерсон в ангела, а будничную жизнь в легкую взволнованность, в мечты кирунских рудокопов о всеобщем счастье, в стихи, в пожар на небе, в страсть, равно необходимую и для революции, и для археологии, и для короткой человеческой ночи.

КРАЙ СВЕТА

В стокгольмских газетах можно, разумеется, отыскать биржевой бюллетень. Правда, он не бросается в глаза, нет, обрамленный и философией маститого Беека по поводу Сельмы Лагерлеф, и фотографиями гениальных лыжников, и похоронными анонсами, он спрятан, как бумажник почтенного господина консула, где-то между пошлой материей и нежнейшим сердцем. В бюллетене среди прочих мировых или домашних имен можно, разумеется, отыскать загадочное «Луосаваара-Кируноваара».

Что ж это за Луосаваара и Кируноваара? Да просто — две невысокие и неказистые горки, далеко от Стокгольма, на самом севере Лапландии. Снег, болота, мох, жаркие юрты лопарей, заведомая нищета и природы и человека, — говоря цифрами — шестьдесят восьмой градус северной широты. Впрочем, господина консула, того, что просматривает бюллетень, интересуют другие цифры.

Еще недавно здесь и впрямь были только топь, камни, колченогие лопари да крохотная деревушка Юкасьерви. Весной сюда приходят лопари со стадами; они варят олений сыр и точат роговые рукоятки тяжелых, угрюмых ножей. В пасху полным-полна старая бревенчатая церковь: лопари со всем скарбом и со своими пушистыми, как снег, лайками. Пастор (по-фински) вещает о бессмертии души, и псы, разморенные теплом, деликатно тявкают. Потом лопари уходят в горы. Деревушка замирает. Старухи молча курят едкие трубки, а пастор читает «Братьев Карамазовых»; весь день взволнованный бродит он с кочки на кочку, отмахиваясь не то от подозрительных острот Ивана, не то попросту от комаров. Пусто в церкви. На стене дощечка с французским текстом. Давно, когда еще никто не справлялся о котировке «Луосаваары-Кируноваары», когда не было здесь окрест никакого жилья, три предприимчивых французика расписались на стене со всем умилительным бахвальством Нима или Бордо: «Мы побывали повсюду, мы пили воду Ганга, и Африка видала нас. Теперь пришли мы сюда, на этот край света».

Да, тогда здесь был край света, край безызвестный и никчемный: большое пятно географической карты и миссионер с сосулькой на носу.

Потом... Потом две невысокие горки вдруг отделились от прочих гор. Они стали приманкой, гибелью, счастьем, биржевым бюллетенем, опорой шведского бюджета, любовью Нью-Йорка и Гамбурга. Так, среди топи и небытия вырос город Кируна, — нет, он еще не вырос, он растет на глазах, его строят день и ночь, не переводя дыхания, не успевая даже дать имя новой улице, для краткости запросто нумеруя дома.

Вот готова площадь, даже сквер разбит со скамейками для лирических пауз, только дома вокруг еще не выстроены. А вот шеренги готовых домов с ваннами и с серебряными сахарницами, но нет еще ни мостовой, ни тротуаров: посредине кочки.

Город-подросток уже мнит себя стариком. Он кичится своей историей. В парке приезжим показывают музей — это жалкая деревянная лачуга: здесь жил первый рудокоп Кируны, здесь — начало руды, богатства, серебряных сахарниц и золотых дивидендов.

Две горы, посредине — город. Одни работают на одной горе, другие — на другой. Работают все. Звенит трамвай, рейс его непреложен: на рудники или с рудников. Поезда, длинные, как тундра, отходят на запад или на восток, в Нарвик или в Люлео. Долго несутся они по северным пустырям. Облака и морошка. Они увозят не людей, но руду, только руду, всегда руду. Дыхание Кируны — это взрывы, дыхание горячее и частое. Серые дымки на горах. Орава мужчин в котелках и с тростями — это смена на работу или с работы, днем или ночью. Впрочем, как понять здесь — день это, ночь ли? Три месяца не сходит с неба солнце, в его нежноперсиковом свете томительно засыпает та смена, что условно зовут «дневной»; ночная же работает. А зимой вовсе не показывается солнце, его провожают в конце ноября. Электрическая пурга, пылают две горы, пылает город, белый свет, белый снег, сорок два ниже нуля, люди в звериных шкурах буравят камень, — день это или ночь?.. Нет здесь ни обычной жизни, ни положенных человеку суток — только полярная лихорадка, сердцебиение, взрывы, тысячи вагонов, сотни тысяч тонн, руда, руда, руда...

Остальное доскажут счастливые держатели акций. Они-то хорошо знают, что нет в мире лучшей руды, что в ней свыше семидесяти процентов железа, что вывозят ее за год на восемьдесят миллионов крон, что руды этой хватит на всю их почтенную, библейскую жизнь. О, серенький бюллетень и сердцебиение господина консула, того, что обожает «нашу Сельму» и весь светел, духовен, абстрактен, как северный свет: курсы «Луосаваара-Кируноваара» все растут и растут!

Шестьдесят восьмой градус северной широты. Трехмесячный день. Трехмесячная ночь. Вот строят еще один кинематограф. Там будут мигать и улыбаться парафиновые дивы Голливуда, а в ответ — подозрительно покашливать рудокопы. Владелец кино раздуется, как воздушный шар, потом он уедет на юг, в Италию, там он сопьется, а кинотеатр сгорит, — здесь часто пожары.

В доме № 568 сегодня гости: хозяин Свен Ольсон спрыскивает обновку. Давно уж Свен Ольсон мечтал о «шевроле». Зачем ему автомобиль? Ведь кругом болота, кочки, снег... Глупые вопросы! Как же может человек в

1929 году жить без машины?.. А лето? Три светлых месяца? Он может поехать хотя бы в Юкасьерви, где старухи с трубками и философический пастор. Он может, наконец, когда дело дойдет до отпуска, съездить и в Люлео. Вот светится «шевроле», весь розовый от полночного солнца. Гости отпили кофе. Напрасно хозяйка улыбается деловито и призрачно, напрасно пахнет тропиками пузатый кофейник, — отодвинут стол, слово предоставляется граммофону — чарльстон за чарльстоном. Все улыбаются призрачно, деловито: Карл — своей невесте, Густав — невесте Ларсона, Свен — и гостям, и жене, и черным горлодерам из нью-йоркского Гарлема, и розоватому автомобилю.

Окрик телефона среди танго.

— Алло! В одиннадцать? Хорошо.

У Свена Ольсона не только «шевроле» и жена с призрачной улыбкой, — у него и телефон и картины на стенах: развалины, кипарисы. Свен, однако, не акционер «Луосаваара-Кируноваара», он даже не владелец кино. Среди двух бронзовых рам, среди развалин и кипарисов — Ленин в кепке, он говорит... Слова, несомненно, русские, а Свен по-русски знает только два слова: «правда» и «ничего», но он, вероятно, догадывается, о чем говорит человек в кепке: ведь Свен Ольсон — обыкновенный шахтер.

Потом Свен идет среди кочек и строек, мимо гигантской школы — в другой дом. Кресла. Кипы газет. Котелки на вешалке. Ленин и здесь. Он продолжает свою речь, и тень его на чужой земле, четкая тень в кепке, вытягивается, покрывая топи, шестьдесят восьмой градус северной широты... Это кирунское отделение коммунистической газеты «Северное сияние». Редакторы, фельетонисты, хроникеры — все, разумеется, шахтеры. Одни работают на одной горе, другие — на другой.

Тяжелый климат? Конечно. Летом комары и бредовой свет. Зимой — сорок мороза, сорокапудовая ночь. Работают на горе под звездами. Сыро. Три аптеки только и торгуют что салицилкой или мазью от ревматизма. Слов нет, это не Италия: ни развалин, ни кипарисов. Зато у Ольсона «шевроле». У других мотоциклетки. Жаловаться не приходится, зарабатываем неплохо: пять-шесть тысяч крон в год.

А вот в муниципалитете коммунистическое большинство, как будто здесь не «шевроле», но безработица и чечевица. Почему?.. Глупые вопросы! Разве Свен Ольсон не рабочий? «Шевроле» — хорошая штучка, но у него к тому же голова на плечах. Он может подумать. В прошлом году рудокопы Кируны выдержали долгую забастовку. Они не требовали надбавки. Бастовали они из солидарности. Ни одного желтого: на севере эта порода не водится. Да, они — рабочие. Как другие. Газета «Северное сияние» выходит уже двадцать с лишним лет. Конечно, Кируна — это край света, хвастливые французики не ошиблись. Но тень человека в кепке — длинная тень.

Хватит! Надо еще выправить статью: опасность войны. Где? В Лапландии?.. Нет, в Маньчжурии. «Смотрите в оба!» Вот уж все товарищи редактора надевают котелки. Кочки. Солнце. Час пополуночи. Одни отправляются спать, другие на горы — в рудники. Внизу по долине несутся длинные поезда.

Рядом с редакцией газеты «Северное сияние» — огромная церковь. Это не нищая церквушка Юкасьерви, куда ходят лопари с собаками и где растерянный пастор мечтает о «русской душе», — нет, это гордость благомыслящей части населения, это даже достопримечательность, отмеченная в путеводителе: на нее потрачено столько-то десятков тысяч крон. Какие люстры! Какой комфорт! Суровое лютеранство здесь щедро на улыбки: скульптура, живопись — все что угодно, причем не вышедшие из моды персонажи пастушеской библии, — нет, в ногу с веком. Америка — так Америка, философия — так философия. Золотые статуи представляют различные духовные свойства человека. Двадцатый век! Стиль модерн! Лучшая руда в мире! Ясно, что правление общества «Луосаваара-Кируноваара» не поскупилось. Да здравствует конструктивное капище! Вместо алтаря — «чистое искусство», притом с высочайшей маркой: картина принца Эйгеня, королевского племянника. Это купа деревьев, окруженная весьма сомнительным нимбом. Есть здесь над чем задуматься, — и действительно владелец шляпного магазина господин Томсон, сидя в церкви, неизменно вздыхает. Дело отнюдь не в товаре: они идут наславу, и котелки и ошеломляюще яркие каскетки для юных спортсменов.

Капитал господина Томсона растет, как Кируна. Нет, все начинается с географии, точнее — с детских воспоминаний. Господин Томсон, видите ли, родом из Скании, где чудесные дубы, буки, клены. Вот уж двадцать четыре года, как он осел на кирунской кочке. Низкие крючковатые березки. Кочки, капитал, котелки... Но ведь господин Томсон — не американец. Он жаждет другого. Он вздыхает. Золоченые добродетели препротивно пыжатся. Бурав впивается в неистощимую жилу. На горе взрывы. Это вздыхает Кируна. Господин Томсон идет в магазин, где его ждет новая партия наимоднейших котелков.

На едва намеченной площади, на скамье, заготовленной для 1930 или даже 1935 года, под уродливой тенью лапландской березки, крючковатой и узлистой, как рука местного ревматика, сидит парочка. Они не смеются, не целуются, не вздыхают. Они молчат. Впрочем, в северном молчании столько же оттенков, сколько в мимике южанина. Это жених и невеста. У невесты от жениха годовалый ребенок, но это никого не удивляет. Даже пастор давно примирился с условностью бытия. Иногда жених поглядывает на невесту. Его глаза светлы и ирреальны, как небо Лапландии: ни огня, ни нежности, ни укора. Может быть, он завтра убьет эту белесую фрекен. В Швеции ведь изготовляют прославленные на весь мир ножи, к тому же в Швеции еще жива страсть. А может быть, дело закончится партией футбола. Вот он встает и медленно взбирается на гору. Убьет или не убьет — сейчас пора на работу.

И столь же тихо сейчас в Стокгольме, в опрятной пуританской бирже, как бы нехотя и вскользь господа консулы, господа магистры, господа советники и господа прохвосты, Нильсоны, Петерсоны, Якобсоны или Ларсоны говорят друг другу:

— «Луосаваара-Кируноваара» сегодня снова в повышении.

Спичечный король господин Ивар Крейгер, один из хозяев «Луосаваара-Кируноваара», просматривает цифры блокнота. Этот маленький блокнот — как голова вездесущего, он вмещает миры: заем для Германии, телефоны Бразилии, японские спички, французские выборы, налоги в Югославии и вот эту руду, поезда в Нарвик или Люлео,

столько-то тысяч, столько-то миллионов, цифры, обязательно цифры. Господин Крейгер раскрыл истину, — он умеет заменить теплый хаос дней и чувств непогрешимыми цифрами.

На одной из кочек, как аист, цепенеет долговязый унылый парень. Равнодушно выкрикивает он таинственные слова. Вот остановились два горняка в котелках, старуха, наконец господин Томсон, владелец шляпного магазина. Равнодушно они прислушиваются.

— Где Содом и Гоморра? Не в иной стране — в сердце. Кто десять праведников? Добродетели в Содоме. Кем пощажен был город? Совестью...

Горняки лениво закуривают сигареты «карпатос». Господин Томсон вздыхает. Старуха, с минуту поморгав, плетется в кооператив. Тогда проповедник начинает петь:

— Возвеселимся, праведники, возвеселимся...

Мотив тягуч и печален: это заупокойная молитва. Господин Томсон старательно шевелит губами. Он безусловно праведник, но тщетно он хочет возвеселиться. А проповедник, что ни минута, сморкается. Ведь он не золоченая статуя! Он просто неудачник из Готеборга. Правда, он назубок знает, где именно находится Содом, но у него маленький оклад и хронический насморк.

Кочек в Кируне немало, и вот на другой кочке — другой человек, тоже высокий и флегматичный.

— Мы заставим опомниться международных империалистов!..

Он спокоен, даже деликатен. Зачем выходить из себя? Разве товарищи сами не знают, что им надобно делать? У газеты прекрасный тираж. Горняки Кируны не предадут революции. Ведь это спор не о стольких-то кронах, но о справедливости. Кстати, среди статуй капища этой неуживчивой богини нет. Она теперь квартирует в редакции безбожной газетки.

— Консолидация... Стабилизация... Чан Кай-ши...

С кочки на кочку, мимо золоченых добродетелей, мимо оратора и красных значков в петлицах, мимо котелков и «консолидации» плетется лопарь. Алый хохол на шапке. Кривой нож. Скулы. Древнее недоумение. Зачем только он припер сюда из своей дымной юрты? Может быть, расспросить кирунцев о Содоме или о Чан Кай-ши? Или же

продать олений окорок?.. Он проходит по нелепому городу, как напоминание: я здесь, я — тундра, снег, комары, солнце, смерть...

Снова взрывы. Снова грохот поезда. Басит в Пориусе горная река. Ее ловят, как ловят в силки птицу. Это восемьдесят тысяч лошадиных сил. Это сотни поездов: налево и направо. В Люлео грузят шведы, в Нарвике — норвежцы. Скрипят железные жирафы с шеями, сложными, как жизнь. Пароходы сначала игриво покачиваются, потом, объевшись грузом, тяжелеют и пыхтят. Нехотя выползают они из гаваней навстречу северным штормам. В этих черных трюмах счастье Рура, возрождение Германии, если угодно — локарнская идиллия, завтрашний день заводчиков, биржевиков, коммивояжеров, дипломатов, не говоря уже о господине консуле, который сейчас, закусывая тминную водку копченой олениной, скосил мечтательно глаз на вечерний бюллетень.

БЛИЗОСТЬ ПОЛЮСА

О прелести Швеции мало кто догадывается, она скрыта и требует душевного подъема, она не дается сразу, как цветной плакат «бюро путешествий». Норвегия же издавна облюбована всеми ловеласами, которые волочатся за так называемыми «красотами природы». Не будем же говорить о фиордах! Ей-ей, это не морские заливы, это только мириад открыток и вздохи растроганных англичан. После Швеции не снежными вершинами поражает эта страна, но наличием людей, хотя она еще малолюдней Швеции, хотя между двумя домами здесь или гора, или все тот же фиорд. Однако людей здесь больше, вернее — они больше смахивают на людей. Они не цепенеют, как памятники, не живут электрическими ваннами и доисторическими родословными, не грешат ни домовитой метафизичностью, ни честолюбием, — нет, это люди как люди, хотя и с угрюмыми физиономиями, но с нравом простым и почти что веселым.

Самое большое, на что вы можете рассчитывать, беседуя со шведом, — это улыбка. Если он вас презирает, он улыбается неподвижно и вежливо, если вы ему понра-

вились, улыбка становится загадочной, едва уловимой. Норвежцы — те даже смеются. Кроме того, они бедны, а бедность нам кажется человечнее холодильников или сепараторов.

Разумеется, Тромсе не Севилья. В Норвегии нет ни лохмотьев, ни кастаньет. Фру и фрекен никогда не пропустят дыры на штанах. А щелкать пальцами норвежцы не любят. Часами простаивают они на площади или на молу, засунув кончики пальцев в карманы: это национальная поза.

Когда ловкачи с дирижабля «Италия» увидали норвежских рыбаков, которые стояли на пристани, они не на шутку струсили: что замышляют эти молчаливые люди? Никто не двинулся с места, чтобы поднять брошенную матросом веревку: норвежцы живут среди штормов и льдов, проворность синьора Нобиле не пришлась им по вкусу. Впрочем, этой неподнятой веревкой дело и ограничилось: ни криков, ни смешков. Итальянцы с перепугу вызвали полицию: где им было понять, что означают эти руки и эти карманы?..

Те же итальянцы или испанцы полны в общежитии пафоса. Часто в «тратории» или в «фондас», услышав рев, увидев разъяренные лица, я думал: дело плохо, сейчас покажется револьвер, если не попросту нож! Но всякий раз оказывалось, что просто люди разговорились: хороша ли, например, малютка Беппа, или правильно ли воткнул бандерилья Рамон седьмое копье в позавчерашнего быка. Здесь же — тихо; очень тихо, даже кротко говорит один парень другому: «В таком случае я тебя убью»... Редко это говорят здесь, но когда говорят, то действительно убивают, без шума, тихо и кротко.

Норвегия — океан и ледники; каждая пядь земли может рассматриваться как нечаянный материк, как военные трофеи, как чудо. Пловучие льды грудятся вокруг последних мысов. Я думаю, что каждый норвежец, глядя на неприязненный разбег волн, на извилистость географической карты, наконец на зрачки, неточные, как и все окрест, любимой девушки, чувствует близость полюса. Шпицберген снабжает Норвегию не только углем, но и некоторой чрезмерностью, напряженностью чувств, постоянным сознанием, что европейская цивилизация — «Театральная

кофейня» в Осло, шоколад «фрея», переводы Ремарка, смена министерств, что все это — только нагромождение происшествий, что любой тюлень, не говоря уже о льдах и ночи, может поспорить с турбинами, с мосье Беделем или с парламентскими дебатами.

В европейской игре трудно не отчаяться, нужно что-то иметь прозапас. Герцен любил говорить: «У меня есть в России народ». Это не было ни текущим счетом, ни картой в колоде: как мог он противопоставить лондонскому безверью пятидесятых годов «Записки охотника» или молчание стольких-то податных душ? Это было, однакоже, правдой. Есть резерв и у норвежцев, он отделяет их от Европы.

В Гарстате или в Тромсе множество морских карт. Они заменяют и виды Сорренто и неизбежные портреты королевы Мэд. Континент на этих картах мелок и никчемен, зато огромны острова — Шпицберген или земля Франца-Иосифа. Так соблюдается иной масштаб: исследователей полюса, рыбаков и молчаливых, чрезмерно застенчивых мечтателей.

Как же не мечтать здесь?.. Это не блажь сотни-другой неудачливых стихотворцев; мы вправе назвать это занятием народонаселения. Но тщетно пытаться свести к одному различные мечтания чуждых друг другу людей, тщетно даже искать их точного отображения в распорядке жизни или в философских системах; это, скорей всего, только зрачки — неотвязные, однако неуловимые.

Пространства в Норвегии много, земли — так, как обычно мы это понимаем, — вовсе нет. Города, за редкими исключениями, — крохотные поселки, продолжение удобного причала, сваи среди камня и воды. На главной улице губернского города Буде — игрушечные домики с крылечками, розовые или голубые; в одном из них управление губернией, в другом — «парижская парикмахерская». Все это случайно, так что возле каменного здания банка невольно задумываешься: уж не забыт ли трехэтажный дом каким-нибудь рассеянным туристом? Даже деревень нет: дома разбрелись кто куда, объединяет их только административная кличка да еще, пожалуй, школа, в которую дети ходят на лыжах. Зачем им читать «Робинзона»? Каждый человек здесь знает полную меру одиночества. Вероятно, поэтому столь добры и снисходительны нор-

вежцы: человек для них редчайшее существо, они еще способны сострадательно выслушивать его исповеди, не догадываясь с первого слова о конце рассказа.

Человеческий голос, который доходит до этих заброшенных поселений, деформирован пространством. Он хрипл и чуден, к нему примешан таинственный гул: это очередная выдача радиостанции. Антенны — на всех домах. Незнакомый собеседник не нуждается в репликах: он то поет, то хохочет, то, прерывая свою речь загадочными паузами, говорит о каких-то «курсах». Фокстрот может легко стать жалобами злосчастной девушки, а биржевой бюллетень, все эти «Стандард-ойли» и «Рио-тинто» — литургией.

Статистика показывает, что только исландцы читают больше норвежцев. Тираж книг в Норвегии непомерно высок, причем сотни романов поглощаются не только скучающими барыньками, как, скажем, во Франции, но и вполне деловыми людьми, с бородой и с доходами: скупщиком рыбы или лоцманом.

Норвегия в течение долгого времени была вотчиной соседних народов. У нее нет своей аристократии. У нее нет и потомственной буржуазии. Здесь часто встречается хаос мельчайших островков, как бы только что отделившихся от воды, подвластных каждому приливу, еще не нашедших своего оформления. Эти острова встают перед глазами, когда заводишь речь о социальной жизни страны: вместо потомственной буржуазии мелькают то трубка разбогатевшего во время войны судовладельца, то засаленный картуз перепродавца трески. Рыбаки разводят в чахлых огородиках бледный лук, а крестьяне становятся матросами. Можно, однако, назвать Норвегию крестьянской страной, примирившись с тем, что на камне пшеницы не посеешь и что, когда околевает корова, приходится менять хлев на навощенную палубу.

Мужицкий строй страны определяет ее «демократичность». Я говорю не о конституции, но о быте. Достаточно сравнить трех королей: вот — шведский, как и подобает аристократу, он раздражителен, своеволен, он пытается, пусть с посредственными результатами, вмешиваться в управление государством; датский — поскромнее, но и он убежден в высоте возложенной на него миссии, —

он, дескать, призван быть над партиями и мирить все партии; что касается норвежского короля, то он хотя и председательствует в совете министров, но права голоса лишен, он давно понял, что он только скромное украшение, зеркальный шкап или фикус, нечто среднее между флагштоком и метрдотелем, он довольствуется выданным ему дворцом, похожим на солидную ферму, да еще коровами; о своей миссии он не говорит, но скромно отправляет на рынок в Осло «королевское масло», чтобы выручкой пополнить цивильный лист.

Доктора и агрономы, писатели и министры — все это сыновья рыбаков или крестьян. Студенческая богема в Упсале занята, как ни странно, вопросами чести. Пьют там во-всю, но, даже выпив, не забывают о предках. Студенчество Норвегии сильно смахивает на чудаковатых полуголодных квартирантов наших дореволюционных Бронных и Козих. Правда, эпоха и спорт начисто остригли радикальные космы, но остались и фантазии и своеволие. Университеты в Западной Европе — это либо фабрики карьеристов, либо крепости, где с редкостной рьяностью отстаиваются не только древние истины, но и древние привилегии. Молодежь Латинского квартала в Париже развлекается метанием тухлых яиц в неблагонадежных профессоров, сопровождая столь грациозную забаву вдоволь эффектными возгласами, например: «Да здравствует король!» Я отнюдь не хочу утверждать, что все норвежские студенты — левые, но барресовскому королю или кайзеру расистов они, пожалуй, предпочтут советского буку, тем паче что ихний король здравствует и даже торгует маслом.

Масло короля покупают местные богатеи, обыкновенные люди довольствуются маргарином. Объясняется это не вкусовыми навыками, не скупостью, как в соседней Дании, но бедностью. Быт здесь весьма прост, и роскошь сводится к десятку-другому магазинов на центральных улицах Осло. Маргарин, пожалуй, удостаивается самой пышной рекламы: проспекты одной из фабрик украшены портретом хозяина работы Матисса. Это типично для норвежской жизни.

Дома фермеров и рыбаков опрятны, но нет в них ни электрических пылесосов, ни сундуков с заветным добром.

На столе треска, серый хлеб и, конечно же, маргарин. Едят редко и мало, довольствуясь чашкой кофе или мечтаниями. В самом шикарном ресторане легко обнаружить и протертую скатерть и студента, отвлеченно жующего крохотный бутерброд. Богатство стеснено здесь скромностью страны: не раскутишься. Самый богатый человек Норвегии был недавно ошельмован во всех газетах и во всех портерных: это — крупнейший судовладелец; чтобы не платить налогов, он пустил свои суда под флагом Панамской республики. Норвежцы не на шутку обиделись и за флаг и за казну. Что же остается норвежскому Крейгеру, явно непонятому своей страной? Стать бразильцем или абиссинцем, а барыши пропивать где-нибудь подальше от бездарной родины — в Париже или, на худой конец, в Копенгагене. Правда, он может также заказать свой портрет Матиссу.

Рост: один метр восемьдесят — этим никого здесь не удивишь. Норвежцы народ крепкий. К стойкости обязывает профессия: море ведь ни на минуту не оставляет человека, оно не только подрывает прибрежные скалы, оно буравит сушу, узкими, но глубокими фиордами пробирается оно в глубь страны. Одни рыбачат, другие уходят на суда. Норвегия — возчик мира: она перевозит из года в год чужие грузы и чужое богатство. Барыш ее невелик: он сводится к скромному окладу. О рыбаках и говорить нечего, это ведь не дачные забавы с пескарями, это среди зимней ночи, среди штормов и льда ловля трески — столько-то шхун, столько-то тонн, столько-то новых вдов... А китоловы, которые каждую осень уплывают к Южному полюсу, — можно ли назвать это заработком?

Взгляните на Осло днем — какое захолустье! Модные журналы из Парижа. Курсы лондонской биржи. Десяток гостиниц, различных «миссионерских обществ», где псалмы и закуска. На главной улице несколько денди, на боковых — маргарин и приземистые домишки. Ни единого плана, ни древних соборов, ни небоскребов, ни осанки. Но вот свалилась ночь, звездная ночь ранней осени. Маргарина больше нет. Франтики оказались добрыми малыми, даже исполнительными фантазерами. Они пьют виски и молча тоскуют. Перед ними Осло. Проступает вода, в нее ручьями текут с гор огни. Электричества здесь вдоволь, и

от сиянья тот высокий — метр восемьдесят — щурит глаза. Он может завтра уехать на полюс. Он может и мизерно умереть от неразделенной любви к одной из девушек. Сейчас город величествен и прекрасен. Он достоин своей земли. А язык, знакомый по школе?.. Что ж, одно я усвоил: на этом языке важна превосходная степень; не на норвежском, — я его вовсе не знаю, — на языке Норвегии, на немом языке ее глаз и дел. Это, конечно же, чрезмерность. Это, может быть, и близость полюса.

РЕСТ

Три сотни крохотных островков, а вокруг океан — это и есть Рест. Попасть сюда не так-то просто. Путь от Трондхейма до Лофотских островов длится два дня или три: там надобно пересесть на маленький пароходик, который дважды в неделю направляется к Ресту. Храбро перепрыгивает он с волны на волну. Через сутки, наконец-то, показываются скалы. Домов сначала не видно. Перебивая гул волн, доносится до палубы нестройное пение. Это похоже не то на настройку инструментов перед началом спектакля, не то на последние часы студенческой попойки, впрочем, это — только один из главных заработков местного населения. Кроме островов, заселенных людьми, имеются и другие — птичьи, самостоятельные республики морских попугаев, гаг, уток и чаек. Заранее предупреждаю: в птичьих породах я мало что смыслю, а ни одно из прозвищ, сообщенных мне рыбаками, в словаре не значится. Во всяком случае здесь множество разновидностей — от тривиальных гусей до стилизованных пингвинов. Кричат они все, и так как, по заверениям здешних птицеловов, на одном только острове птиц свыше трех миллионов, легко себе представить оглушительный рев, по сравнению с которым кажется нежным лепетом беснование северного океана. Когда, испуганные приближением моторной лодки, птицы снимаются со скал, небо сразу темнеет, как перед грозой.

Люди производят на птичьи острова разбойные набеги. У одной породы берут пух, у другой — яйца. Основное занятие жителей Реста — поиски яиц, занятие рискованное.

Даже иные куры несутся с дурцой, а морские попугаи (кстати, они не похожи на попугаев) кладут яйца на уступах отвесных скал. Человек спускается на веревке. Над ним — птичьи стаи, плотные, как туман, под ним — море. Этим летом трое расшиблись насмерть.

Собирать яйца надобно с толком, даже с деликатностью. Животный мир всячески обучает человека государственной мудрости. Я уже не говорю о надоевших всем пчелах или муравьях. Но вот в Чехии я видел, как разводят карпов. В пруды пускают щук: на столько-то карпов столько-то щук. Оказывается, что карпы, если им не грозит никакая опасность, мельчают и вырождаются. Для нежности мяса и для приличного веса необходима известная героика. Что касается птиц Реста, то они напоминают, что и в разбое надо знать меру. Если бы пустить сюда иных фашистских министров, они, наверное, наделали бы немало бед. Ведь у птиц — крылья, в случае чего они могут эмигрировать. Нельзя их лишать радости материнства. Каждая самка сносит одно яйцо; если его забрать, она снесет второе, если забрать и второе, она снесет третье. Это третье яйцо необходимо оставить, ибо птичьему терпению приходит предел, и четвертого яйца никто никогда не видел.

В хорошие дни человек собирает до ста яиц. Пароходик увозит их на континент. За сотню скупщик платит шесть или семь крон. Жители Реста бедны, и никакое головокружение не может остановить любителя семи крон. Тем паче что к смерти им не привыкать: если летом они карабкаются по скалам и падают вниз, то зимой они ловят треску, а с перевернутой шхуны путь все тот же: на морское дно.

В городе — рабочий день, пусть восьмичасовой, но обязательный, там говорят: «изо дня в день», и жизнь там зависит от черных цифр календаря. Те, что живут в тесном соседстве с природой, работают залпом, приступами. Труд их жесток и внезапен, как период звериной течки или как вдохновение поэта. Не круглый год вызревает пшеница, быстра жизнь луговых трав, сардинка проворно проходит мимо берега, знают свой срок и мечущие икру осетры и токующие глухари. Вместо расписания человек здесь связан с темным бытом земли. Это, конечно, тоже рабство, но

оно ближе человеческому естеству, как ближе ему биение сердца хода часов.

Ловля трески продолжается около трех месяцев. В январе, когда здесь и в полдень — ночь, среди метели, среди электрических лампочек начинается обычная суматоха: в воды Реста и в его жизнь входит треска. Исхода игры никто не знает: треска несет деньги, она несет порой смерть. Рест оживает. С континента и с других островов приезжают рыбаки. Они ночуют возле самой воды, в игрушечных домах на высоких сваях. Год не похож на год, и загадочны дороги трески. Она может пройти стороной. Радиостанция передает не фокстрот, не политические новости, — нет, назначение ее ясно: «Здесь», или: «Возле Свольвера», или: «В Вэрей»... Если треске вздумается подойти вплотную к острову, надрываются тысячи рупоров, и среди высоких, как скалы, волн мечутся огни сбегающихся отовсюду лодок. Как чайки, несутся они к рыбному месту. Был год, когда сюда понаехало сорок тысяч рыбаков. Они спали в амбарах, в подвалах, в лодках, тесно прижавшись один к другому из-за жестокого мороза. Они гудели, как гудят птицы на своих птичьих островах.

Лихорадка спадает в апреле: тогда уезжают чужие рыбаки, скупщики рыбы, лавочники. Пересчитав кредитки, рыбаки Реста начинают жить: глядеть, как растут дни и как растут дети. Женщины тогда могут тихо вздыхать, — те, что напрасно прождали в памятную им ночь возле причала: море близ Реста славится злым нравом, оно погубило немало рыбаков.

В Ресте имеется мэр: он — рыбак и социалист. В Норвегии имеются король и парламент. Правят Рестом, однако, не мэр и не король. Все дома здесь на сваях, но иные из них кичатся двумя этажами, великолепными аркадами, даже цветами за окнами: это дома подлинных повелителей Реста. У них нет ни титулов, ни административных чинов, но будь король рыбаком, он бы узнал, что значит повелевать. В нарядных домах живут скупщики рыбы. Они берут у рыбаков улов. Они сушат рыбу, выделывают рыбий жир, запаивают жестянки с консервами, варят клей. Трудно назвать их предприятия заводами: клей варят здесь же, во дворе, закрыв плотно окно, чтобы не

задохнуться от вони. Нижний этаж — это склад трески, в верхнем, кроме цветов, — библиотека с библией и с Ибсеном, а также пианино, на котором дочка скупщика разучивает Грига. Цену на рыбу устанавливают скупщики, они же устанавливают и цену на рабочие руки. У них не только приспособления для варки клея или жира, не только капиталы, чтобы скупить весь улов, — у них к тому же лавочки, где рыбаки покупают хлеб, табак и ботинки, им принадлежат все дома, в которых останавливаются приезжие, они — местные банкиры, ростовщики и барышники, они сдают шхуны, они участвуют в страховке; вся жизнь Реста, включая пастора и морских попугаев, подвластна им.

Никакие занавесочки, однако, не скроют скупщика от рыбаков: они живут вместе, вместе волнуются за пути неисповедимые трески, вместе пьют, вместе хоронят. На крохотной скале приходится потесниться и богатству и нищете. Даже могилы на кладбище жмутся одна к другой.

Вот островок Скомвер. На нем только маяк. Почта приходит сюда два раза в месяц; зимой, во время больших штормов — и того реже. Смотритель маяка прежде был капитаном дальнего плавания. У него лицо, сделанное по Джеку Лондону. Он небрит и запущен, курит, конечно же, трубку и часами смотрит на океан. Двадцать лет он плавал. Потом в дело вмешались и болезнь — у капитана ослабело зрение — и жена, вот эта опрятная бледнорозовая фру. Капитан получил место смотрителя на островке возле Реста. Дочка вышила ему бисером футляр для очков, а жена варит пахучий кофе. Старый смотритель пьет кофе, думает о Бразилии.

Когда я подъехал на лодке к острову, смотритель, схватив картуз, побежал к пристани. Он соблазнял меня кофе. Он говорил со мной об Архангельске, о крикливых птицах Реста, о мире и о старости. Он даже поехал меня провожать. Ему, видимо, трудно было расстаться с человеком, как и мне было трудно расстаться с пустынным островом, где только чайки и ветер. Жители Реста похожи на бедного капитана. Они отделены от мира, но они — это мир в себе.

Между островками — проливы, порой бурные. Жители прямо из дому выходят в покачивающуюся лодку. На

лодках дети спешат в школу. На лодке едет молодой рыбак со своей возлюбленной. На лодке везут гроб. Это не венецианские каналы, вода здесь не романтика, вода — это рыба, это также шторм. Стоит подняться непогоде — и нет школы, нет милой, нет даже горсти земли сдуру умершему у себя дома старому рыбаку.

Головы женщин повязаны черными платками. У них русые волосы и светлые глаза. Сурова одежда, суров ход дней, сурово жилье — дом на сваях, древний, как хаос, может быть, не дом даже, а случайно остановившийся ковчег. Под половицами не скребутся мыши, там плещет море. Это — с колыбели и до конца.

Рыбачья Бретань — экзотика. Французы ездят туда на летние каникулы не только ради морских купаний или ради лангустов; они там отдыхают и от своего времени и от своей страны. Какому норвежцу придет в голову искать отдыха на Ресте? Он предпочитает парижские бульвары, ведь вся Норвегия — тот же Рест. Только то, что на северных островах сгущено, как ночь или как мороз, в Осло разбавлено переводными романами и центральным отоплением. Изучение норвежской души лучше всего начать с севера, с этих нелепых островов, где миллионы птиц и триста рыбаков, где маяк — подвиг, а треска — канон.

НОЧНОЙ РАЗГОВОР В МОССЕ

Радиостанция Реста ежедневно рассылает метеорологический бюллетень. Ее слушают не только норвежские рыбаки: капитаны крейсирующих по Средиземному морю судов внимательно прислушиваются к голосу Реста. Перед ними — оливковые горы Мессины или же ослепительная белизна Пирея. Это — далеко, очень далеко от Реста. На Ресте сейчас ночь и снег. Что им какая-то справка об атмосферическом давлении? Но вот несколько значков заставляют осторожного капитана повернуть к ближайшему порту: у циклона свои права.

В Гарстате я видел молоденькую девушку. У нее были большие зрачки. Она могла бы писать стихи о любви и беспредметной, и безответной. Она ходила по горбатым улицам северного поселка с ведерком в руке: она раскле-

ивала афиши. На афише был Ленин в кепке. Афиш было, кажется, больше, нежели жителей. Впрочем, говоря так, я забываю о морских птицах и о ветре.

В Трондхейме живет один русский. У него табачная лавка. У него также высокие идеи. Из России он уехал лет тридцать тому назад. В Норвегии тогда была свобода, а в Ливнах — околоточный. Владелец табачной лавки не забыл прошлого. Революция для него и поныне — это брошюра «Пауки и мухи» в издании «Донской речи», это прежде всего посрамление околоточного. Он торгует сигарами. У него свой дом. Но он не унимается. Он коммунист, он устраивает спортивную площадку для рабочих. У владельца табачной лавки очень грустные глаза: две страны в них смешали свою столь разную тоску.

Заходит иногда в табачный магазин Кнуд Виглянд. Ему всего девятнадцать лет, и он никак не может найти работы, следовательно, в лавке он ищет не табака. Он, кроме того, подозрительно кашляет — ему и не до спорта. Он спрашивает хозяина:

— Что нового у вас в России?

Виглянд говорит:

— Здесь стояло русское судно «Сорока». Я водил товарищей по городу. Я показал им все: и «Народный дом», и вид с горы на старую крепость. Они много рассказывали. Я, конечно, не понимал их, но когда «Сорока» ушла, стало так пусто...

Он говорит и кашляет; вряд ли поможет ему площадка табачного фантазера.

В Моссе, как и во всех норвежских городках, существует кружок «Кларте». Во Франции воздух душен и глух, зато в сердце там заведомая ясность: все обдумано, выверено, все заранее известно. Здесь же прозрачная даль, кажется, из Мосса можно увидеть Тромсе, но туманности душ здесь загадочны. Мечтатели Мосса по вечерам толкуют о коммунизме и об Индии. Я узнаю если не слова, то интонации: я ведь их знаю с юных лет, этих Брандов и Штокманов. Многих я видел сначала на сцене Художественного театра, потом на баррикадах и в мертвецких. Здесь они до сих пор ищут истину. Они только переменили терминологию.

В Моссе нет ни музеев, ни старых церквей, ни особенно живописных фиордов, — словом, никаких достопримечательностей. Англичане сюда никогда не заедут, — они ведь путешествуют культурно, — а заехать стоит: это местные Ливны. Десять тысяч жителей. Маленький порт. Верфи. Бумажная фабрика. Таможня. Три гостиницы. Сквер, в нем скамейки, на одной стороне серые, на другой — густо-красные. Как-то задумал муниципальный совет перекрасить все скамейки, но его свергли. Осталась пестрота, или, если угодно, терпимость: можно выбрать скамейку в согласии с убеждениями.

В гостинице ошеломляют приезжего белые полати: любая комната смахивает не то на операционный зал, не то на закусочную. Это — столы для товаров: в гостинице останавливаются исключительно коммивояжеры; они соблазняют местных лавочников драпом или парфюмерией. Получив заказ, они спускаются вниз, в так называемые салоны, там они пьют датскую водку или пиво. Пьют в Моссе много, иногда дерутся, иногда пускают в ход ножи, иногда просто расходятся по домам.

Имеется в Моссе достопримечательность, хоть и не на английский вкус: некто Якобсен, курчавый, белобрысый, в детской шапочке. Он жил в Америке, работал у Форда, написал книгу полусоциалистическую, полуфилософическую, а потом очутился в Моссе, в пароходной конторе. По ночам мимо Мосса проходят большие пароходы. Они идут из Осло в Ставангер или в Берген. Якобсен сидит в пустой конторе, где на стенах негритянские копья, афиши с Дугласом Фербенксом и старые флаги. Якобсен сидит и молча дует виски. Когда раздается гудок, он выходит на пристань. Пароходы уходят дальше, Якобсен сидит в конторе и пьет виски. Он не скажет, о чем он думает: это выпадает из всех правил норвежской игры.

На пристань вместе с Якобсеном выходит таможенный чиновник. Он никогда не занимался философией, и в Моссе он по праву, без всякого надрыва. Но таможенный чиновник влюблен, влюблен изнуряюще и томно, не в одну, а во множество фрекен. В будни он не бреется, угрюмо слушает шутки Якобсена и с недоверием глотает его виски, а в воскресенье — моторная лодка. Все тот же дачный поселок и девушки из Осло. Они купаются,

смеются, говорят друг с другом, а также со своими кавалерами. Несмотря на ветер, таможенный чиновник бледен и томен.

Нигде не видел я таких красивых девушек. Я говорю это не в защиту таможенного чиновника: он ведь все равно слеп и безумен. Но в Норвегии ни помада Коти, ни фокстрот еще не успели исказить того очарования, которое, бог весь почему, заставляет приезжего вздрогнуть, остановиться, сразу все вспомнить и обо всем пожалеть.

Странно видеть в наши дни, когда ясность стала лозунгом даже завзятых путаников, когда любовь свелась к вопросу об удачной поездке в автомобиле, к во-время выпитому коктейлю или, в лучшем случае, к двум-трем находчивым репликам, — всю ту мучительную и сложную игру отталкиваний, недомолвок, самолюбия, мнительности, наконец пугающей сердце самозабвенности, которую мы знаем по нашему отрочеству. Я даже не берусь сказать, вправду ли вы все это переживали, или только верили тем романам, которых теперь никто не читает, так как в них нет ни занятной фабулы, ни психологического анализа, ни правдоподобия, но только длительные отступления и от действия и от смысла.

Здесь вы можете еще наблюдать всю власть никчемных догадок: «Почему она не посмотрела?..», «Почему он так ответил?..» Я дохожу до абсурда: столь неотвязное свойство, как влюбчивость, я склонен теперь приписать какой-то одной стране с ее крохотным населением. Однако я настаиваю. Это, вероятно, особенность характера: там, где люди научились довольствоваться одной восьмушкой истины, они, уж конечно, довольствуются свиданиями с пяти до семи — полчаса на коктейль, полчаса на любовь, остальное — на завязывание галстука и на накладку румян. Здесь же даже таможенный чиновник — это не просто Дон Жуан с воскресными выходами, — это один из последних открывателей любви в те времена, когда уже обследован полюс и занесены на карту все мельчайшие созвездия.

Если, прочитав эти строки, вы снисходительно улыбнетесь, это будет только новым доводом за исключительность норвежских чувств. Да, да, я не слеп, как мой друг

из таможни, я знаю, что фрекен выходят замуж, что им не чужды ни мысли о достатке поклонника, ни незадачливое искусство дачного флирта, но важна поправка, которую вносит одиночество после купаний, после прогулок наедине с белой ночью. Тогда норвежские девушки умеют быть суровыми. Они не уступают ни жизни, ни доводам листвы, ни своей слабости. Они требуют всего, и так как этого «всего» нет, его нет даже в сумасбродном поселке, среди сосен и таможенных чиновников, — они, милые голубоглазые девушки, которым бы только плавать и смеяться, не раз угрюмо осуждают свою любовь.

Я брожу по длинным набережным Мосса. Рядом со мной долговязый мечтатель из кружка «Кларте». То и дело гудят пароходы. Где-то Якобсен, жмурясь, как кот, лениво допивает стакан. Девушки давно спят, и таможенный чиновник пишет: «Вы сегодня так холодно посмотрели на меня, но я сейчас беседую о вас с соснами и с одиночеством...» Вот только кому отошлет он это письмо: Иоганне Иенсен или Эдде Люнд? Или, может быть, Эмме?.. Ну, бог с ним, пусть пишет! Говорю я это, правда, с легкой досадой. Почему бы и мне не вздыхать? Разве не могла быть тут хотя бы Эдда?.. Вместо нее — длинная тень и длинный спор. Что делать, мы отравлены историей, мы уже не умеем просто путешествовать, любоваться фиордами или Эддой, залпом выпивать северный озон и виски Якобсена, — нет, повсюду мы ищем новых доводов, мы хотим убедиться, что не зря мы сожгли в студеную московскую зиму деревянные заборы особнячков. Кажется, даже к этим чайкам готовы мы пристать с расспросами: «Как вам здесь живется? Не склонны ли вы часом, забыв о рыбаках и об идиллии, превратиться в буревестников?..»

— Нельзя же быть скептиком!

Тень длинна и непоколебима: такой она, кажется, уже значилась в ремарках Ибсена. Здесь необходимо охладить пафос хотя бы невзыскательной иронией.

— Давайте переменим тему! Поговорим о шоколаде. У вас чудесный шоколад, ничуть не хуже швейцарского. Я побывал на фабрике «Фрея». Прекрасная фабрика! Прежде всего вы — эстеты: в столовой для работниц —

живопись Мунка, в саду — статуя Вигляндa. Прямо музей! А сколько сладости в воздухе! Я уж не говорю о запахе шоколада, но, например, инженер — с дрожью в голосе он говорил мне: «Вот это деревцо посажено самим королем, и оно зацветает раньше всех других деревьев»... Потом — «салон красоты»: каждой работнице делают маникюр. Это ли не рай?.. Кстати, в раю при утряске шоколада такой грохот, что работницы медленно, но верно глохнут. Им, этим обитательницам рая, делают маникюр, им показывают ежедневно Мунка, их даже допускают до королевского деревца, но платят им весьма мало, — меньше, чем на других фабриках. Они должны есть треску и маргарин. Да, я еще забыл сказать вам, что директор «Фреи» не терпит никакого вмешательства профсоюзов. Он хочет быть шоколадным Фордом. Если же вы гордитесь своим бытом, то только потому, что у вас вместо автомобилей — шоколад, да и шоколад «домашний»: главным образом для фрекен таможенного чиновника. На необитаемом острове легко спасти свою душу, — конечно, до первого американского парохода...

Снова — сирены, туман, сосны... Я сам дивлюсь своему голосу. Что мне шоколадная фабрика и захолустный конвейер? Злюсь я на себя. Здесь свожу я старые счеты с нашими русскими снами. Тень еще более удлиняется:

— Нет, мы не об этом говорили. Шоколад здесь ни при чем. Скоро, наверное, и у нас построят автомобильные заводы. Даже на Шпицбергене теперь — трест. Дело в другом: что этому противопоставить?..

Я хочу прервать мечтателя: довольно! Разве не знакомы мы с многотомными трудами всех утопистов прошлого столетия? Все это давно и опровергнуто и высмеяно. Но рядом со мной никого нет. Видимо, мы уж расстались с милым товарищем. Это влияние воздуха и света: я начинаю беседовать сам с собой. Так легко дойти и до писем таможенного чиновника! Или, может быть, ночной разговор в Моссе — это только последнее объяснение с Норвегией? Ведь завтра я отсюда уезжаю. Пароход идет в Копенгаген. Там вряд ли придется спорить с камнями и с утопистами. Я не скажу, чтобы Норвегия меня переубедила, — она меня встревожила.

Но вот и контора чудесного Якобсена. Можно выпить «скол» — за нашу давнюю молодость, от нее ведь осталось только несколько выцветших фотографий да еще эта нелепая страна, которая никак не хочет примириться со временем...

3 362 900

По переписи 1925 года в Дании значилось 3 434 555 человек и 3 362 900 свиней. Так как свиньи размножаются куда быстрее людей, лет через пять на каждого датчанина будет приходиться по две свиньи. Прекрасны, слов нет, старые дворцы Копенгагена. Кроме того, в Дании социал-демократическое министерство. Однако здесь узнал я новый пафос — свиней.

Заводы Форда стали современным лубком. Каждый понимает, как изготовляют сериями бритвы или дома. Однако до сих пор мы никак не связывали конвейера с биологией. Говоря о тех же свиньях, мы видели только пусть грязную и жирную, но все же идиллию. Датское свиноводство — это ультрасовременная индустрия. Свиньи здесь изготовляются так же, как в Детройте автомобили. Человек создал здесь стандартную свинью, и вот все три миллиона датских свиней должны в точности походить на установленный им образец.

Жизнь свиньи точна и ясна. Сначала свинья-мать лежит на боку; вокруг ее сосцов, похожих на стол с накрытыми по числу гостей приборами, чмокают поросята. Потом поросят начинают кормить снятым молоком и месивом. Их взвешивают, как детей. Когда свинья достигает девяноста кило, ее метят и отсылают на кооперативную бойню. Конечно, она могла бы прожить пятнадцать или даже двадцать лет, но жить ей суждено всего семь месяцев. Ведь если свинья превысит установленный вес, в кооперативе не возьмут ее для экспорта. Такая свинья — брак. Один лишний день может испортить все дело, и крестьяне смотрят в оба, чтобы не пропустить срока.

Англичане иногда приезжают в Данию, скорей всего по ошибке, — я говорю не о купцах, но о туристах. Здесь ведь нет ни фиордов, ни шхер. Несколько старых замков никак не могут поправить дела. Правда, сострадательные

датчане возят гостей на «могилу Гамлета». Англичане вздыхают — быть или не быть?.. По соседству, разумеется, деловито хрюкают стандартные свиньи, они растут в весе и в цене. Но туристы не смотрят на свиней. Конечно, все они за утренним завтраком одобряют розовость ветчины, но Дания для них — или Гамлет, или сад «Тиволи». Они не слушают хрюканья. Они ходят на концерты. Это их дело и это их право. Они не хотят знать, что без исполнительности боровов не было бы ни огней «Тиволи», ни концертов, ни автокаров, которые их отвозят на могилу Гамлета.

Имеется в Дании превосходный писатель Мартин Андерсен-Нексе. В одной из своих книг он описывает жизнь фермы. Там показаны разные люди и разные вещи; среди последних особенно патетичен помазок, которым хозяйка, изготовляя сладкие блинчики, смазывает сковородки. Этот помазок не что иное, как свиной уд. Свинья — замечательное существо, ничего от нее не пропадает: щетина, кровь, копыта — все находит себе применение. Удом крестьянки смазывают горячие сковороды. Не напоминает ли порой лоск Копенгагена, его фейерверки и цветы — сладкие блинчики, в изготовлении которых столь важное участие принимает толика покойного борова?

По последней статистике двадцать восемь процентов датского экспорта составляет свиное сало. Немудрено, что им пропитана вся жизнь страны. Впрочем, кроме сала, для нежных душ и для чувствительных желудков существует сливочное масло. Коровы следуют непосредственно за свиньями. Вместо биржевых курсов жизнь страны определяют цены на сало и на масло. Ими заполнены газеты. О них сообщает радио. Они разглаживают морщины, и они сулят нищету. Недавно сало стоило сто тридцать семь эре. Теперь оно стоит сто пятьдесят два эре. В этом оттенке и рост крестьянских сбережений и прославленная всеми элегантность Копенгагена.

У каждого фермера на письменном столе толстая тетрадь в красивом переплете. Там отмечены все памятные события в жизни каждой коровы: случка, когда и как отелилась, когда отлучили теленка. Там указаны также количество и состав корма. Там перечислены и серьезные болезни и мелкие недомогания. Раз в неделю к фермеру при-

езжает инспектор кооперативной маслобойни. Он проверяет записи и производит анализ молока — достаточно ли в нем жировых веществ. Доктора в Дании влачат довольно жалкое существование, зато припеваючи живут ветеринары. Среди них имеются знаменитости, которым платят за визит завидный гонорар. Ведь человека лечат случайно, скорей всего — от жалости, а борова или корову ремонтируют, как часть машины. Расходы на ветеринара тотчас покрываются маслом и салом.

Рано утром к ферме подъезжает автомобиль маслобойни. Он забирает чаны с молоком. Несколько часов спустя автомобиль привозит снятое молоко для свиней и книжечку, где помечено количество сданного молока. Маслобойни прекрасно оборудованы: в них электрические охладители, американские машины, чистота госпиталя и быстрота Форда.

Дания продает за границу отменное масло, сама она этого масла не ест. Прибедняясь, она поясняет, что масло ей не по карману. Она может удовольствоваться и маргарином.

Издали датские фермы трогательны и задушевны: беленькие домики среди развесистых вязов или дубов; свежа и нежна трава; древен дым очага; жизнь кажется простой, детской. Об этой идиллии написано немало стихов; после норвежских скал все здесь сродни и внятно: приезжий вспоминает и сказки Андерсена, и свои младенческие игры среди желудей и одуванчиков. Стоит, однако, присмотреться, как вместо идиллии окажется завод: свиньи на весах, коровьи дневники, тракторы. Человеку не оставлено места для бегства. С так называемой природой следует распрощаться. Изготовление хлеба, масла или сала ничуть не отличается от выделки самопишущих перьев.

Датские фермеры живут куда комфортабельней, куда в большем согласии со своей эпохой, нежели парижские буржуа. Во многих домах не только радио и телефон — там также центральное отопление, ванны, даже пылесосы. Некоторые покупают картины, причем они не брезгуют и сельскими ландшафтами. На стенах старая крестьянская утварь: фаянсовые чашки или резные скалки. Народное искусство стало здесь настолько историей, что народ тешится им, как самый завзятый сноб. Фермер уми-

ляется перед наивной фантазией своего прадеда. Сам он уж неспособен ни мечтать, ни ошибаться; но он — человек, и жизнь его скудна; что же, несмотря на природную скупость, он выкладывает кроны, он покупает в городе чужие фантазии. Он гордится: «Не правда ли, красивая вещица?» Это — сначала. Через минуту: «А заплатил я за нее целых двадцать пять крон». Это ведь не шутка, это — одна пятая стандартной свиньи!

За исключением Копенгагена, в Дании нет больших городов. Разбросанные далеко одна от другой фермы среди полей и огородов. Несмотря на это, человек здесь развелся с природой. Как горожанин, он начинает ею любоваться: явный признак раздельного житья. Я видел у крестьян беседки под сиренью или на берегу пруда.

Крестьянки следят не только за весом свиней, но и за светским тоном. Дочка фермера на пианино разыгрывает фокстроты. Приезжего хозяйка угощает кофе или даже портвейном. Не без гордости показывает она ему сначала свиней, потом картины на стенах, наконец свое собственное творчество — шкапы с вареньем или с маринадами. Банки куда занятней картин. Как прекрасна розоватая морковка среди зеленого горошка! Как торжественны в своей цельности крупные ягоды ананасной клубники! Имеется в Дании «Высшая школа домашнего хозяйства». Наиболее предусмотрительные фермеры посылают туда на шестинедельные курсы своих дочерей. Диплом школы — соблазнительное приданое: какому же фермеру не лестно обзавестись хозяйкой, которая умеет приготовить сорок сортов варений и солений?

Датские крестьяне живут осторожно. Освободившись от суеверий, они освободились также от всякой веры и от всякого пафоса. Мир для них ясен, как цены на сало.

Один из фермеров рассказал мне, что зимой, когда было мало работы, он прочел «Войну и мир».

— Интересная книжка!

Помолчав с минуту, он спросил:

— А сколько могли заплатить вот такому Толстому за книжку?

Спросил и насторожился. Сказать: «Много» — он не поверит, — много ли платят за пустую забаву! А назвать цифру — он начнет прикидывать, что выгодней: писать

книги или разводить свиней? Если выяснится, будто бы писать книги выгодней, он решит, что вы попросту хотите его провести и усмехнется: не на такого напали!

Они скупы. Писательница Карин Михаэлис живет на небольшом острове. Окрестные крестьяне знают, что это «знаменитая женщина». Они ее уважают, зовут к себе в гости, потчуют кофе, советуются с нею о семейных делах. Лет десять тому назад Михаэлис обратилась к своим вдоволь сытым соседям с просьбой пожертвовать толику в пользу голодавших немецких детей. Она даже написала прочувствованное воззвание. Крестьяне выслушали и горестно вздохнули, но никто из них не выложил ни одной кроны.

Они — деспоты и самодуры. Познакомился я с одним крестьянином. Это отнюдь не темный человек. Нет, это, пожалуй, местный Эдисон: голова его занята разными изобретениями. Он показал мне бак с трубами: вода, охлаждая парное молоко, сама нагревается, а коровам, как известно, следует давать тепловатую воду. Так вот, у этого изобретателя имеется сын, способный малый. Он ненавидит деревенскую жизнь. Он мечтает только об одном: о машинах. Учитель не раз говорил отцу, чтобы тот послал мальчика в город — учиться: из него выйдет превосходный инженер. Почему бы и вправду не отослать парнишку? У фермера еще три сына, у него, кроме того, восемь работников. Но он угрюмо качает головой:

— Я работал с коровами и со свиньями, нечего и ему нос крутить. Пусть здесь работает...

Фермер работает неистово, с детских лет до смерти. Летом его рабочий день измеряется по солнцу, а солнце здесь не торопится заходить. Он работает потому, что не знает, что ему делать с досугом. Он превращается из ребенка, способного играть и бездельничать, из юноши, с его способностями свихнуться или неожиданно подняться нам самим собой, — в образцовый американский трактор.

Он читает Толстого потому, что зимой выпадает отдых, как выпадает снег: это, скорей всего, докука. Ему, разумеется, наплевать на Толстого. Где-то люди воевали. Он читал об этом в газетах. Рядом с заграничными телеграммами значились цены на сало. Он плевал на войну. Он выполняет свой гражданский долг; говоря проще — по

дороге на маслобойню он заходит в дом, где стоит урна, и опускает в нее листочек. Думать ему при этом не приходится: он голосует за свою партию. Это, конечно, крестьянская партия, не левая и не правая, спокойная, домовитая, куда более озабоченная ценами на сало, нежели мировой политикой. Его не могут удивить ни русская революция, ни чудеса науки. Он все знает и на все ему наплевать, кроме своего Сизифова труда. Для безработного из Копенгагена, который с завистью поглядывает на свиные окорока, такой фермер не то счастливчик, не то злодей. На самом деле он — несчастное существо, даже не человек, но основа экспорта.

В одном доме видал я презанятную живопись. Фермер здесь не удовольствовался абстрактными ландшафтами. Он заказал художнику фрески, изображающие его жизнь. Он сам в точности установил сюжет каждой картины: сначала маленький домишко его отца на севере Ютландии; потом первый собственный дом, разумеется — свиньи; потом дом его жены, приданое, — свиней все больше и больше; наконец роскошная двухэтажная ферма, вокруг нее идиллические деревья, а под ними — целый сонм свиней. Людей на этих фресках вовсе нет. Может быть, художник оказался завзятым пейзажистом, а может быть, и не нужны здесь люди. Ведь человек только и делал, что разводил свиней и прикупал новые участки. Вот она, эта жизнь, вот и ее трагический апофеоз: старик фермер, фрески на стенах, портвейн для гостей, смерть под окном, а рядом со смертью сотни свиней... Обождите, одна свинья как раз надумала пороситься, старик перед смертью должен еще поспеть в хлев, чтобы она не задавила сдуру какого-нибудь поросенка. Ведь каждый поросенок через семь месяцев станет стандартной свиньей, а это — не шутка, это — сто три кроны...

БЕНГАЛЬСКИЙ ОГОНЬ

О Дании принято говорить не то с завистью, не то с легким пренебрежением, точь-в-точь как о счастье провинциалов. И вправду, разве не твердят о заведомом благополучии и краснощекие девушки, и школа гимнастики для

крестьян, и высокие тиражи мировых классиков, и рост свиней, и прославленная беззаботность Копенгагена?

О красоте спорить не приходится: конечно, альпинисту в Дании нечего делать, но зеленые, как сказка, луга полны мира и свежести. Особенно значительны деревья: они окружены почетом и лаской, они достигают преклонных лет; питомцы иных времен, они одаривают недоверчивую молодость всепримиряющим шелестом. Их причудливость как бы искупает ровные линии горизонта. Я хорошо помню одно дерево возле крестьянского дома, его пепельную кору и черные, как смоль, листья. Кроме деревьев — вода. Ведь море в Дании — это и сад, и калитка, и проезжая дорога. Море видно отовсюду, и, когда едешь в поезде из одного города в другой, не замечаешь даже паромов, как в Швейцарии не замечаешь туннелей. После летнего дождя вся Дания светится. Она, наверное, забывает о свиньях. Она помнит только о своей неотцветшей красоте, и не приезжему с ней спорить: он сдается на милость зелени и воды, он тоже расстается с унылой статистикой, чтобы без задней мысли признаться: конечно, прекрасная страна!

Что прибавить к этому? Несколько имен превосходных писателей или великодушных ученых? Но ведь они хорошо всем известны. Тогда, может быть, рассказать о дворцах Копенгагена, о старой скульптуре или о замках, как бы продолженных серым небом и серой водой? Но ведь это тоже давно засвидетельствовано и любой историей искусства и открытками немецких туристов, которые приезжают в Копенгаген на воскресенье ради тонкой кухни и памятников старины. Если же добавить к активному бюджету красоту и к свиньям фасады Ренессанса, не получится ли подлинная апология, не захотят ли нищие кастильцы или грубые скотопромышленники Нового Света тотчас же перекочевать в эту страну, где кроны столь буколически уживаются с самыми что ни на есть возвышенными снами?

Однако в Копенгагене я видел немало встревоженных глаз, и, может быть, эти глаза — не дворцы, даже не деревья — примиряют приезжего с Данией. Я не хочу сказать, что человеческие глаза позволяют забыть о трех миллионах свиней, — напротив, они заставляют о них

вспоминать. Не этими ли тремя миллионами следует объяснить особую трагическую восторженность всех тех, кто сознательно или случайно оказался вместо усовершенствованного хлева на влажных и вдоволь загадочных набережных Копенгагена?

Легкомыслие, присущее Копенгагену, — подозрительное легкомыслие; то и дело в нем сказывается желание отделаться от действительности. Город, хоть он и стоит на острове, уплыть никуда не может. По числу жителей он равен одной пятой страны. Свиней в нем, правда, нет, но вся его дневная, явная жизнь пропитана испарениями свинарен. О свиньях думают все: и торговцы, и матросы, и министры, и рабочие. Тогда в удушье, в полузабытьи рождается вторая жизнь, которую верней всего назвать феерией.

Для сноба она в перспективах города, в террасе «Английского кафе», где, покрывшись шотландскими пледами, старички пьют виски, в любовании неизменно чахоточными закатами, в цветах и в остроумии, в невинном радикализме фельетонистов «Политикена», в гастролях мировых знаменитостей, в изяществе женщин — словом, во всем том, что позволяет снобу сказать с соответствующей приниженностью: «Не правда ли — северный Париж?»

Для обжор — это опись бутербродов на восьми страницах или прохладные закоулки рыбных ресторанов, изобилие раковин и тропических фруктов. Для лицемера — разговоры о «постепенном осуществлении социализма в Дании», именно в Дании, с помощью еще десятка социалистических мандатов и еще сотни технических школ. Для любителя старины — чистокровность датской династии, высокий рост его величества, шапка королевского часового, которая весит восемь фунтов и в которой помещаются не только кисет и трубка, но также добрый кусок сала — солдатский ужин.

Для огромного большинства копенгагенцев выход один: он освящен традицией, и он стоит всего пятьдесят эре — ворота в «Тиволи». Трудно в точности объяснить значение этого увеселительного сада в жизни датской столицы. Никакие «Луна-парки» Лондона или Берлина не могут потягаться с «Тиволи». В «Тиволи», разумеется, можно найти

все те аттракционы, которыми в избытке снабжает Европу Америка; техника увеселения вполне современна. Но душа «Тиволи» живет прошлым веком, это — панорамы, калейдоскопы, восковые фигуры, лабиринты, даже вальсы, над которыми плакали наши впечатлительные матери. Там видел я и на крохотной лужице, преображенной в «озеро», пышный корабль с неотразимой Клеопатрой. Она плыла и царствовала. Куда тут королю со всем его ростом! Клеопатра сводила с ума не только веснушчатого Антония, но и двадцать тысяч приказчиков. Они явно изменяли и свиньям и своим пухленьким подругам с чужестранной царицей.

Вы, наверное, видали подсчеты любителей статистики, сколько за день потребляет такой-то город мяса, вина или устриц. Я не знаю, подсчитал ли кто-нибудь, сколько потребляет Копенгаген за один вечер бенгальского огня. В полночь трещат ракеты. Это здесь так же нужно, как мясо и как вино, без этого трудно было бы наутро снова залезть с головой в свиное сало.

Я так настаиваю на фейерверке потому, что, кроме свиней, в Дании много безобидных и совестливых людей. Деревня здесь опередила город. Крестьяне обзавелись тракторами и цинизмом. А у горожан все еще та болезнь прошлого столетия, которую русские интеллигенты называли «надрывом», а доктора «неврастенией». Дания не воевала. Это, может быть, счастье, а может быть, только коварная шутка: в Копенгагене засиделись старые повадки, и не раз приезжий чувствует на улице XIX век. В одном из скандинавских музеев я видел комнаты восьмидесятых, девяностых, наконец девятисотых годов. Так можно наглядно проследить, как жалко и глупо старел покойный век. Когда доходишь до гостиной модерн, с бронзовыми статуэтками и с декадентскими, а может быть, просто «стильными» ширмами или лампами, до гостиной, где я слушал споры о Дрейфусе и втихомолку почитывал романы Мирбо, — невольно удивляешься, как наше поколение смогло родить войну и Пикассо, революцию и радио. Копенгаген пропустил мимо два или три десятилетия. Вероятно, они оттолкнули его беззлобную душу грязью и кровью. Притом он был слишком занят экспортом свиней...

Так скользят по улицам бесчисленные велосипеды; еще недавно они казались дерзостью, теперь это — музей. Так местные витии проповедуют архипередовые идеи недавнего прошлого: одни — пацифизм, другие — женское равноправие, третьи — вегетарианство, четвертые — эсперанто, пятые — борьбу с проституцией.

Вряд ли существенно, согласно моде какого года одевается копенгагенская тоска. Ее ведь не трудно представить в автомобиле «двенадцать цилиндров» и променявшей иллюминацию «Тиволи» на хорошие световые рекламы. Отсюда я увожу воспоминание о глазах: о глазах студентов в скромной читальне, где на стене рядом с Горьким — Андерсен-Нексе, о глазах безработных, о глазах девушек, о глазах Копенгагена, — в них нет ни самодовольства, ни простой самоуверенности. Здешняя богема славится чрезмерным радикализмом, а также самоубийствами; здешняя буржуазия живет нелепо, спустя рукава, чуть ли не по-студенчески; здешние рабочие великодушны. Кругом — море свиней, среди моря — островок. Спросить совета не у кого. Рядом — Германия, а там давно уж и пережит и оформился синтез всего: свиней, идей, работы, поэзии, машин, подвига и комфорта.

Копенгаген — последний аванпост Скандинавии, того севера, который начинается с небытия, со мха и с лопарей, для которого благородство столь же естественно, как длинные ноги или светлые глаза. Здесь этот север разбавлен остроумием, хорошим вкусом и мягким климатом. Но это все еще север. Здесь еще можно сказать «да» или «нет», не смягчая своей убежденности уступками — времени, среде и так называемым «обстоятельствам».

1929

КУТНА ГОРА

Рассеянному туристу кажется, что все мертвые города похожи друг на друга. Это обманчивое сходство могил. Повсюду несоразмерность огромных строений и редких, как бы заблудившихся среди дворцов людей, великолепные соборы и мелочные лавки, куры и мрамор, подозрительная тишина, несколько скучающих барышень и несколько восторженных туристов. Таковы Равенна и Брюгге, Краков и Авиньон. Однако камни отнюдь не молчаливы. Воображаемые мертвецы умеют тяготеть над живыми. Можно в бывших торговых городах услышать скрип весов и звон дукатов, а в городах-крепостях различить несмолкающий гул осад. Рассматривая пристально склепы Кутны Горы, находишь многих учителей. Здесь венецианские купцы, банкиры Голландии, биржи и городские хартии, пушки, векселя, массивные ключи, тюрьмы. Здесь примитивные модели Ротшильдов и Гинденбурга, Пуанкаре и Форда.

Кутна Гора — это проект нового индустриального мира. Среди рыцарей и феодальных склок, среди сельской простоты средневековья — это начало городской роскоши и городского уныния, начало европейского пролетариата и социальных войн. Здесь можно заметить первую трещину на фундаменте того великолепного здания, которое тогда только закладывалось.

Летописцы тринадцатого века говорят о Кутной Горе с ужасом и с восхищением. Для аббата это «источник жадности и пропасть греха». Для короля Вацлава это «благо-

детельница чешского королевства». Уже в 1304 году здесь было свыше шестидесяти тысяч рабочих. Сюда приходили люди из немецких земель, из Венгрии, из Польши, из Италии. Для чужестранцев едва успевали строить бараки, казармы, деревянные часовни, бани. Штирский, поэт пятнадцатого века, заверяет, что в Кутной Горе сто тысяч рабочих, — «это Вавилонская башня, где все говорят на разных языках и где никто друг друга не понимает». Кутна Гора — первый центр капиталистического хозяйства. В тринадцатом веке здесь создаются настоящие тресты, эксплоатирующие тысячи рабочих... Летопись сохранила нам имя одного из предков Стиннеса — Бертольда Пиркнера, который настолько разбогател, что отстроил для себя замечательный замок, как заверяет летописец, «только из тщеславия».

Что же влекло сюда голодных и авантюристов? Задолго до Калифорнии Кутна Гора показала миру всю мощь и всю тщету одной из человеческих условностей: здесь добывали серебро.

Тяжела и зловеща была ночь под землей. Как в преисподнюю, опускались туда каждое утро рудокопы, защищаемые только тусклой лампочкой и сказанной наспех молитвой. А город над ними рос. Воздвигались прекрасные церкви, ратуша, монетный двор, дворцы, часовни. Здесь, на «серебряной» земле была устроена первая в Чехии типография. Здесь находились лучшие школы королевства. Поэты посылали свои произведения в Кутну Гору с просьбой о «лестном внимании и о скромном вознаграждении». Не раз город страдал от пожаров и войн, но достаточно посмотреть на уцелевшие строения, чтобы понять, как высоки были и художественные вкусы и житейские потребности его обитателей. Каменная вязь собора, библиотеки, мостовые, трогательные баллады, телескопы и колбы, даже образ Христа, изгоняющего торгашей из храма, — все это строилось на черном копошении под землей стольких-то тысяч, на алчности и на голоде, на слитках условного, заведомо бесполезного металла.

Поздняя готика обычно лишена религиозного пафоса. Она похожа на заученную молитву, которую повторяют уже равнодушно, как бы предчувствуя полунасмешливые,

полусострадательные взгляды первых гуманистов. Собор Кутной Горы светел и пышен, как бальный зал. Кто знает — не культ ли это дня и простора после подземной духоты?.. Обыкновенно на стенах старых церквей, помимо евангельских сцен, можно увидеть рыцарские поединки, аллегории добродетелей или портреты щедрых богомольцев. Здесь сохранились фрески, изображающие труд горнорабочих. Живописцы соблазнились новым сюжетом, а может быть, и дукатами. Ведь люди, работавшие под землей, требовали если не довольства, то признания. Звание «рудокоп» они сделали почетным, и не широтой католицизма, но мощью этих разноязычных людей следует объяснить социальный характер церковной росписи. В воскресенье рудокопы надевали белые плащи. Весь собор тогда был бел от капюшонов, — что значили среди тысячной толпы несколько купцов или рыцарей? Наряду со статуями святых и ангелов в соборе стоит статуя горнорабочего. Вместо лампады — традиционная лампочка. Так «канонизирован» церковью один подлинный великомученик, хоть и предпочитавший, наверное, богослужению корчму, но полновесным серебром оплачивавший и епископские мантии, и причудливость витражей, и всю жизнь благочестивейшего города.

Скульпторы и живописцы Кутной Горы видели вокруг себя только два мира: темь шахт и расцвет верхнего города. Они не походили на своих товарищей по времени и ремеслу. Их христианство было катастрофичным. Сохранились иллюстрации кутногорской библии. Весь мир представлен подземными норами, где, согнувшись, скорбят рудокопы с кирками, и надземным пиршеством людей, «никогда не спускающихся вниз». Трагизм подобных изображений заменяет нам свидетельства об условиях труда. Если пот превращался в серебро, то не всегда серебро обращалось в хлеб. Они ведь зачем-то существовали, эти первые «тресты!» «Песня веселой бедноты» XV века показывает, о чем мечтали «созидатели неслыханных богатств и кормильцы короны!».

> А наши повара
> Варят нам кашу из тумана,
> Из тьмы — дичь,
> В мечтах — оленину.

Если мы пойдем в корчму,
Нам ничего не нальют...
Ах, как невкусно
Пить из сухой чаши!..

Здесь завязка социальных мятежей, пробушевавших в Кутной Горе. Их можно назвать войной двух этажей, двух классов современного города. Гуситские войны — этот крестьянский бунт с «моралью опрощения», с евангелием и с цепами вместо оружия — никак не увлекли Кутной Горы. Рудокопы не могли свергнуть своих правителей, чеканивших в Кутной Горе монету: они были отравлены серебром. Верх и низ друг друга ненавидели, и все же шли на мировую. Они вместе молились в соборе о том, чтобы не иссякли серебряные копи. Они и умерли вместе в тот день, когда, несмотря на все молитвы, из земли был вытащен последний крохотный слиток.

Девятнадцатый век окончательно превратил былую столицу центральной Европы в захолустье. Это слишком назидательно, слишком смахивает на конец школьной притчи, чтобы стоило на этом останавливаться. Сразу оказались ненужными и десятки церквей, и дворцы, и весь город. Иллюзорная жизнь прекратилась мгновенно, как спектакль. Прекрасная архитектура привлекает сюда археологов и простых любителей старины. Не то сумасшедшие, не то проходимцы составляют проекты «возрождения Кутной Горы», уверяя, что под городом скрыты неведомые залежи металла. У жителей здесь одна забава: в городском саду сидит на цепи обезьяна, и ее можно часами дразнить.

Кирки и лампочки рудокопов стали реликвиями местного музея. Это, однако, не мумии, и мертвая Кутна Гора нам ближе той, что якобы ныне живет. Жив ее дух, разве что копи расширились; вся земля дрожит теперь от подземной, подневольной жизни миллионов. Растут этажи, и соборы, именуемые теперь «биржами», «театрами» или «университетами», уже изготовлены для грядущих археологов. Растет и отчаяние. Трагедия Кутной Горы продолжается, как бы ни называли теперь люди то условное благо, которое здесь именовалось «серебром». Я не чувствую никакого разрыва: от воображаемых шахт до живой прокопченной Праги впрямь два часа, рукой подать...

Что касается самого города, — его биография закончена. Он сдался на милость окрестным полям, на милость дождям, ветру, траве. Впрочем, развращенные пышностью и сарказмом умы не удовлетворились банальным кладбищем. Недалеко от Кутной Горы поставлена часовня. Все в ней из человеческих костей: алтари, люстры, распятья, чаши. В материале не было недостатка: на помощь нищете пришли Тридцатилетняя война и чумная эпидемия. Таков апофеоз этого баснословного города, и, выходя из мертвецкой, с невольной завистью смотришь на незатейливые поля.

1928

*

БОЛГАРИЯ

I

Бедный крестьянский дом. Сушится красный перец. Кричит осел. Земляной пол и книжки на полке, швейная машина и босая хозяйка в рваном платье. По-древнему прост и тяжек здесь труд: волы, соха. Крестьяне сами ткут одежду, сами мастерят кожаные лапти «царвули». В хорошем светлом общежитии габровской текстильной фабрики, которая справедливо гордится современным оборудованием, я увидел крестьянские прялки — по вечерам работницы прядут и ткут для себя. Поверхностный чужестранец может подумать, что это — отсталая, темная страна. Пусть он поговорит с крестьянами, которые спят на земляном полу, с крестьянками, которые поют над прялкой, — он убедится в своей ошибке. Не раз в селах меня расспрашивали о выборах во Франции или о восстановлении Днепрогэса. Крестьянка (пол земляной, сама босая) говорит: «У меня два сына в гимназии...»

В Болгарии тридцать одна тысяча учителей, из них шестнадцать тысяч в селах. До 9 сентября 1944 года было сто шестьдесят две гимназии, теперь двести тридцать. Число студентов увеличилось с десяти тысяч до двадцати четырех. Общий тираж ежедневных газет, которые выходят в Софии, достигает семисот пятидесяти тысяч экземпляров. Тираж книг доходит до пятидесяти — шестидесяти тысяч. А в Болгарии всего шесть миллионов жителей...

Почти во всех селах «читалища» — народные дома с читальнями, эстрадой, иногда с кино. Я уж не говорю

о семилетках, но во многих селах гимназии. В корчмах не только пьют душистую сливовицу, закусывая ее стручками злого перца, там обсуждают мировые проблемы, это — настоящие клубы. В скромной Софии множество книжных лавок, и витрины книготорговцев — самые нарядные, возле них всегда толпятся прохожие.

2

Когда греки восстали против турок, к повстанцам отправился Байрон, это известно всем; но мало кто знает, что на помощь восставшим грекам пришли болгарские крестьяне и городские жители. В те времена Болгария была для Европы неизвестным краем; редкие путешественники, описывая нищету и невежество турецкой провинции, не подозревали, что у болгар позади большая история и впереди новая жизнь. Заговорил мир о болгарах только в шестидесятые годы прошлого века, когда болгарские крестьяне с косами и с топорами двинулись на вековых притеснителей. Тогда раздались потрясенные голоса Тургенева, Гюго. Мир не знал, что до восстания добрые три века покоренная, но непокоримая Болгария вела жестокую борьбу за свободу, за независимость.

Такой народ не легко усмирить. Болгария одна из первых узнала черную тень фашизма. Двадцать один год шла война народа с фашистами. Каждая пядь земли говорит здесь о страшной драме. Я приведу сухие цифры, они кажутся мне убедительнее всех рассказов: начиная с 1923 года различные фашистские правительства подвергли аресту полтора миллиона болгар. Восемьдесят пять тысяч были убиты, расстреляны или замучены.

Я видел немецкую карту Болгарии; вряд ли она могла соблазнить берлинских туристов красотами Долины роз или живописностью Троянского перевала, — на ней черными пятнами обозначены партизанские отряды, именуемые «группами бандитов».

Болгары никогда не заключали сделок с фашизмом: 9 сентября 1944 года было подготовлено предшествующими десятилетиями. Здесв бедная земля, здесь мало

крупных городов, мало пышных нив и копей, но совести здесь много.

Поэту Христо Ботеву было двадцать восемь лет, когда он написал: «Не умирает тот, кто умирает за свободу». Он написал это перед смертью; но он не умер: с его стихами шли в бой против фашизма юноши и девушки.

Я не забуду рассказа об одной партизанке: ее звали Вела. Триста солдат гнались за нею; ее голову фашисты оценили в сто тысяч левов. Окруженная врагами, она не сдалась, отстреливалась до последнего патрона. Ее голову посадили на кол, и жители всех окрестных сел каменели от ужаса, от благоговения: лицо Велы походило на маску античной трагедии.

Лиляна Димитрова была красивой и веселой девушкой. На любительских спектаклях в гимназии она очаровывала своей игрой. Она любила танцовать, много читала, и в списках книг, которые произвели на нее глубокое впечатление, можно найти «Гамлета» и баллады Шиллера, «Анну Каренину» и «Вешние воды», стихи Лермонтова, «Мои университеты» Горького, произведения Виктора Гюго, Золя, Джека Лондона. Пришли роковые годы; Лиляна показала, что умеет она не только танцовать. Она стала партизанкой. 27 июня 1944 года дом, где она ночевала, окружили сто фашистов; до утра Лиляна сражалась, а когда иссякли патроны, покончила с собой.

Иосиф Талви сражался под командой генерала Славчо Тронского. Тяжело раненный в бою и скрытый жителями, он был предан. Сорок дней фашисты пытали его, желая узнать, куда ушли партизаны; Иосиф Талви молчал.

Тодору Стайнову было двадцать два года, когда он попал в руки врагов. Полицейский Иван Иваничев сообщал: «Тодор Стайнов был избит железными прутьями, ему проломили череп, но он отказался дать показания». В фашистской инструкции перечислялись различные формы допроса: каленое железо, электрическая игла, подвешивание за ноги, ожоги половых органов. Фашисты были изобретательны, но болгарские патриоты на допросах молчали: есть сердца, которые крепче стали.

Летом 1944 года особенно жестокими были бои между народом и фашистским правительством. Наконец наступила развязка. На смену фашистам пришли Муравиев и

Мушанов, которые хотели превратить взрыв народного возмущения в очередную министерскую комбинацию. Они, разумеется, понимали, что карта Гитлера бита. Почему же они не осмелились открыто выступить против фашистской Германии, предпочли «нейтралитет», мирный развод с захватчиками? Они боялись не немецкой армии, а болгарского народа. Они готовы были выручить генералов рейхсвера, дать им возможность вывезти из Германии не только людей, но и вооружение, лишь бы не разрослась очистительная буря. Хитрый план был сорван: болгарский народ вписал в свою историю великую дату — 9 сентября.

Опрокинув фашистское правительство и отстранив неудачных комбинаторов, болгары тотчас вступили в войну с Германией; они сделали это не формально, не в надежде получить поблажку или вознаграждение, а от полноты народных чувств. Триста пятьдесят тысяч болгар приняли участие в освобождении Восточной Сербии и Македонии и помешали немцам спокойно выбраться из Греции.

Есть страны, где фашизм припрятался, замаскировался. Болгары уничтожили страшную фашистскую чуму. Если они одни из первых узнали, что такое фашизм, то они одни из первых его похоронили.

Я часто спрашивал себя: почему здесь так легко дышится? Горы? Нет, не только горы тому причиной — люди. Теперь повсюду освобождены страны, города; здесь освобождены и сердца.

3

Трудно теперь маленькой Болгарии: фашисты оставили после себя развалины и пустоту, как будто саранча прошла. Немцы вывозили уголь и шелк, пшеницу и кожу, вино и овощи. Они выкурили семьсот миллионов кило болгарского табака, сожрали пять миллионов овец, три миллиона свиней.

Девятое сентября 1944 года было сменой не министерств, а режимов; аппарат фашистского государства был уничтожен. У людей, которые пришли на смену старым

чиновникам, было много энтузиазма и недостаточно опыта. Промышленники выжидали: что-то будет? Рабочие требовали повышения стандарта жизни. Крестьяне наивно верили, что после окончания войны сразу покажутся вещи, о которых все позабыли: шерстяные платки, кожаная обувь, кофе, сахар. Заводы стояли. И только, как жуки-могильщики, день и ночь работали спекулянты.

Лев стремительно падал: фашистское правительство столкнуло его в пропасть, — если стояли ткацкие станки, то во-всю работали другие, печатавшие ассигнации: до 1939 года в обращении было четыре миллиарда левов, фашисты напечатали шестьдесят пять миллиардов. Правительству Отечественного фронта удалось задержать падение лева выпуском крупного займа, но финансовое положение страны остается тяжелым.

Противники демократической Болгарии были уверены, что организм государства, подточенный оккупантами, не выдержит испытаний; они ставили на разруху и голод. Они ошиблись; конечно, никто не скажет, что болгарам теперь легко живется, но беспристрастный наблюдатель видит, что демократия живет и будет жить.

Давно ли стояли бездыханные текстильные фабрики? Советский хлопок оживил их. Был я в «болгарском Манчестере» — так называют Габрово. Сто пятьдесят фабрик пущены в ход, некоторые работают в три смены. В Пловдиве на самой крупной табачной фабрике «Картель» директор сказал мне: «Я не политик, но я знаю свое дело — прежде мы выпускали в день четыре миллиона сигарет, теперь выпускаем шесть миллионов»... Мне показывали усовершенствованные машины; признаюсь — не машинами я залюбовался, а руками работниц — это воистину виртуозы.

Народ здесь честный, почти нет краж; народ на редкость трудолюбивый; люди живут долго, и не раз я видел восьмидесятилетних, которые рьяно работали в поле. Любой крохотный клочок земли возделан, и если даже скудна эта земля, человек умеет извлечь из нее все. Летом 1945 года на Болгарию обрушилось бедствие — засуха; такой не было полвека, но меньшие засухи здесь хорошо известны, болгары давно наметили план борьбы с этим злом. И вот теперь, несмотря на общее обеднение, болгары

достроили и пустили в ход Самоковскую плотину, которая избавит от засухи крестьян Софийского округа.

В Софии разрушена одна шестая часть всех домов: семь тысяч. И вот уже тысяча двести домов, получивших тяжелые повреждения, восстановлены. Цифры не дружат с сердцем; но за этими цифрами — горе, надежды, труд, щебень, среди которого обломки детской кровати или семейная фотография, и там, где еще недавно был мусор, — медовые огни живого дома.

Видел я кооперативы виноделов с огромными оборотами: у крестьян и смекалка и предприимчивость. Видел другие кооперативы: табачные, лесной, обувной; одним уже много лет, другие родились после 9 сентября; это — крепкие хозяйственные организации, во главе которых стоят толковые, энергичные люди.

Народ работает исступленно, самоотверженно. За годы немецкой оккупации шахты Перника, снабжающие углем Софийский округ, пришли в упадок; летом 1945 года дневная добыча не превышала шести тысяч тонн. Тогда рабочие Софии отправились в Перник. Среди них были и слесари, и ткачихи, и плотники — две тысячи человек, — добыча сразу возросла до девяти тысяч тонн.

В одной подпольной газете, которую издавали болгарские партизаны, я нашел такие слова: «Фашизм — это не только рабство, это — смерть, и мы, болгары, сражаемся за жизнь». Я припомнил это, прочитав теперь в софийской газете: «Рабочие Сливена работают до поздней ночи, сражаясь против фашизма». Две цитаты говорят об одном; болгарский народ, разбив фашистов, борется против развалин, распада, нищеты. Битва за жизнь продолжается.

Пейзаж в Болгарии драматичен: горы, ущелья, темная зелень буков, дома, расположенные ярусами на крутых холмах, ветер, кровавые яркие закаты. Однако не он придал трагичность болгарским лицам, сгустил черноту глаз, резче обрисовал рот, лоб, скулы, подмешал грусть к песням — в том повинна история.

Народы, как люди: у одних легкая судьба, они сразу нашли свое призвание, вышли на верный путь; дорога других сложна, извилиста, полна страданий. Судьба Болгарии — жестокая судьба: здесь и века рабства, когда

приходилось отстаивать простейшее право — звать свою мать на родном языке, здесь и роковая игра последних семидесяти пяти лет, в которой Болгария была ставкой того или иного игрока, вотчиной кобургской династии, местом, облюбованным разномастными и разноязычными интриганами. Короткие просветы, как прогалины в лесу: золотой век Асеня, времена, когда живописцы покрывали фресками стены Боянской церкви, не подозревая, что впереди ночь янычаров и пять веков рабства. Взрыв народных страстей, плеяда «будителей», вдохновенный голос Христо Ботева, геройство повстанцев, русские на Шипке, мираж свободы. Эти короткие страницы разделены черными томами: ярмо Византии, ярмо турок, которое было особенно тяжелым в стране, соседней с резиденцией султанов; а после освобождения — замена сан-стефанского договора берлинским, кровавые тяжбы, в которых болгары и сербы истребляли друг друга по указке Габсбургов или других попечителей, Кобурги, войны, которых народ не хотел, но за которые он расплачивался, фашизм, карательные экспедиции, немцы в Софии. Такова история этой страны, написанная кровью народа, но не по его воле, против его воли. Как биография человека может расходиться с его чувствами, так расходятся тома болгарской истории с мыслями, со страстями, с чаяниями народа.

В селе Батак есть церковь, на стенах которой не фрески, а кровь. В дни восстания 1876 года турецкие янычары собрали крестьян Батака в церковь и там их убили. Стены сохранили бледные пятна выцветшей крови. Когда едешь по болгарской земле, кажется, что повсюду проступает кровь, кровь мучеников, кровь героев; и эта кровь объясняет многое: скупость слов у южного экспансивного народа, упрямо сжатый рот, угрюмый огонь в глазах.

4

Жаль, что люди на Западе мало осведомлены о жизни новой Болгарии. Американцы как-то жаловались на отсутствие информации; добавлю — дезинформация хуже, чем отсутствие информации. А дезинформации вдоволь; стоит хотя бы упомянуть о корреспонденте «Крисчен сайенс

монитор» Маркоме, который доказывает своим читателям, что Болгария Отечественного фронта — нечто среднее между тюрьмой и сумасшедшим домом. Приехав в Пловдив, Марком дал интервью маленькой католической газете. Вот что заявил этот развязный гость: «Болгария изменилась, стала безобразной, в ней царит дьявольская ложь. И тот, кто желает ей помочь, помочь ей не может, как нельзя помочь семье, в которой муж воюет с женой»...

От монолога журналиста я перейду к душистому дыму табака: этот переход, как читатель увидит, вполне законен. Табак в Болгарии не просто курево, а богатство страны, ее хлеб; крестьяне разводят табак, рабочие его обрабатывают, торговцы им торгуют. Табака очень много, лавки и киоски завалены пестрыми коробочками разнообразных папирос. Болгарский табак ароматичен и легок, дым как бы обволакивает всю страну — курят здесь много. В некоторых странах справедливо говорят о политических интригах: «Это пахнет нефтью». В Болгарии о работе иных политиканов можно сказать: «Это пахнет табаком». Дело не в том табаке, который курят болгары, дело в «джебеле», который экспортеры вывозили за границу, главным образом в Америку. Правительство объявило, что экспорт табака должен перейти к государству. Если табачную монополию одобряют крестьяне, у которых экспортеры скупали табак за бесценок, то экспортеры придерживаются другого мнения; они с возмущением говорили мне, что табачная монополия — это «гибель Болгарии». Впрочем, важно не то, что они говорили мне, а то, что они говорят болгарам: они уверяют, что Отечественный фронт мешает продавать джебел за границу. В качестве свидетеля они вызывают того же Маркома, который подтверждает, что американцы не могут помочь болгарам, пока болгары не помирятся с доморощенными реакционерами.

Джебел — самый высокий сорт болгарского табака, растет он в южной части страны, в Родопах. Американцы его употребляют для смеси, которой они набивают свои сигареты. Представитель американских табачных фирм заявляет, что он готов купить все запасы джебела, но заплатить за табак не может, так как болгарское правительство не признано. После чего выступают сторонники оппозиции и договаривают: «Будь у нас другое правительство, можно

было бы выгодно продать табак»... Маленькие бледнозолотые листики — разгадка клеветы и шантажа. За соблазнами следуют угрозы: греческие газеты вдруг начинают писать, что в интересах стратегической безопасности необходимо отобрать у Болгарии Родопы; пишут они о «защите античной цивилизации», но дело, конечно, не в Акрополе, которому никто не грозит, а в джебеле. И вот греческие фашисты выходят на улицу с криками: «В Пловдив! В Софию!» Говорят — нет дыма без огня; на этот раз можно сказать — огонь от ароматного дыма джебела.

Впрочем, народ, который узнал иго Византии, Блистательной Порты и фашизма, народ, который боролся и победил, трудно запугать, трудно его и подкупить: 9 сентября не продается.

5

София — обыкновенный европейский город, не очень большой и не очень маленький; он вырос в течение последних десятилетий и лишен архитектурного лица; хорошие удобные дома, скверы; есть музеи, и театры, и гостиницы. Если показать чужестранцу фотографию софийского бульвара или площади, он может принять столицу Болгарии за Брно, а то и за Турин. Только горы, которые видны с любой улицы, придают Софии некоторое своеобразие. Картина, привычная в послевоенной Европе: развалины, мусор, остатки утвари. В окнах магазинов — дребедень, которой немцы расплачивались за табак или за шерсть: жестяные игрушки, фаянсовые статуэтки, сервизы для коктейлей. Под вечер по главной улице гуляют молодые, они заполняют мостовую, так что машине не пробраться. А люди постарше сидят в кафе за чашкой желудового кофе и страстно обсуждают мировые проблемы — от расщепления атома до интриг Николы Петкова. Вечером улицы быстро пустеют, и только чудаки в корчме еще спорят, поют или, окруженные душистым табачным дымом, молча мечтают.

Может быть, этот народ родился вчера? Может быть, у него нет прошлого? Я не стану выписывать даты из учебника истории; я уведу читателя по одной из улиц на окраину и дальше, к горам, — в деревню Бояну; это неда-

леко — десять километров от города. Здесь чудом сохранилась небольшая церковушка, которая справедливо привлекает внимание историков, археологов, любителей искусства. Вы входите в храм и останавливаетесь восхищенный: на стенах светятся яркие краски Золотого века.

В двенадцатом столетии болгары освободились от ярма Византии. Два брата — Асень и Петр — в городе Тырново положили начало так называемому «Второму болгарскому царству». Тырново расцветает: этот город становится местом встречи между Востоком и Западом; сюда приезжают купцы из Дубровника, из Венеции, из Генуи; здесь можно встретить и гостей из Киева. Тырново делается центром большой художественной культуры: здесь работают архитекторы и миниатюристы, ювелиры и живописцы, и вскоре слава мастеров Тырнова разносится далеко за пределы Болгарии. К тому времени византийское искусство окаменело, стало высохшим ключом; мастера Византии перестали творить, они тщательно повторяли заученные образы. Славянские народы оживили, преобразили умиравшее искусство Византии. Так возникли две живописные школы: македонская и тырновская.

Фрески Боянской церкви были созданы в середине тринадцатого века; имя мастера осталось неизвестным. Поражает прежде всего человечность живописи; вместо византийского лика — лицо. Здесь все чувства: мука и плотская радость, обреченность и умиление. Нарушены былые каноны; природа и тело даны реально, ощутимо. Трудно забыть лицо юного Христа, беседующего с книжниками, — столько здесь проникновения в психологию творчества, ибо Христос в этой композиции — поэт, познавший вдохновение. Цвета живы, преобладают изумрудная зелень, бледнозеленый, розовый, темнокрасный, рыжая охра. Прекрасны портреты современников живописца: Константина Асеня, Ирины, Калояна, Десиславы; это настоящее портретное искусство, освещающее душевный мир модели. Можно спорить о классификации: причислять боянскую живопись к романскому стилю или к византийскому, к средневековью или к Возрождению. Но тот, кто увидел эти фрески, их не забудет.

Древняя столица Болгарии Тырново — один из самых фантастических городов Европы. Расположен он ярусами

на отвесных склонах гор, и вечером, когда вспыхивают огни, отражаясь в реке, город кажется гигантским небоскребом. Были турки, были землетрясения, и все же здесь сохранились памятники Второго царства.

По отдельным вехам можно установить путь болгарского искусства, которое не умирало и в века рабства. Я скажу сейчас хотя бы о резьбе по дереву; потолки Тревны или Карлова напоминают то кущи рая, то звездный небосвод; в этих сказках находила исход душа плененной Болгарии. Чужеземцу может показаться, что старый болгарский дом с его внутренним двором, с верандами напоминает турецкий; однако болгары преобразили архитектуру Востока, и дом в Тревне так же отличен от дома в Стамбуле, как отличен ампир московского особняка от парижского «отеля» наполеоновской эпохи.

Я вспоминаю прекрасный Пловдив с его четырьмя холмами, Бачковский монастырь и его фрески, старые города Тревну, Габрово, Карлово — длинная сложная история народа. После двух веков расцвета пришли пять веков жестокой ночи. Турки замазали многие фрески, но душу народа они не могли уничтожить, она жила, как жили под известью изумруд и пурпур древних мастеров; душа ушла вглубь, напоминая реку, ушедшую под землю, в которой бесшумно плавают слепые рыбы.

6

Благородны традиции старых болгарских революционеров, которые крепкой дружбой были связаны с русскими революционерами. Как смеют лицемеры говорить о жестокости этого народа! Когда в 1876 году болгары восстали против турок, Болгария была страной без школ, без книг. Путешественники поражались, видя нищету и невежество порабощенных. И вот началось восстание; 17 мая 1876 года болгарские революционеры разослали приказ своим сторонникам. Я приведу пункт пятый этого приказа: «Всякий, уличенный в том, что он убивал или грабил мирных турок или насиловал, будет расстрелян шестью пулями». Мы знаем теперь, как генералы мнимоцивилизованной Германии, готовясь к нападению на Советский

Союз, приказывали грабить и убивать мирное население. Два метода, два мира.

Традиции старых революционеров дошли до нового поколения. На собраниях, демонстрациях, в местных комитетах Отечественного фронта видишь пожилых и молодых; меньше всего людей среднего возраста: они измолоты двумя роковыми десятилетиями. Есть старые ревнители свободы, будь то крестьяне или интеллигенты, которые дождались торжества своих идеалов; и много, очень много молодых — студенты, солдаты, гимназисты, юные рабочие, полные энтузиазма, сельские подростки, влюбленные в книгу, девушки со значками партизанок. Молода сейчас старая Болгария, и в этом тоже залог победы: с такой молодостью не отступают.

Сила Болгарии в ее органичности, в цельности, в живой связи между разумом и сердцем, между народом и землей, между крестьянами и интеллигенцией. Когда ездишь по стране, чувствуешь это еще сильнее, чем в Софии: все они — поэты и государственные деятели, музыканты и профессора — вышли из крестьян; показывают избы, где они играли в детстве. И сейчас в сельских школах учатся дети, которые через четверть века прославят Болгарию. Нет ни разрыва, ни снобизма, ни отчуждения: народ един. Вот почему он легче, чем многие другие, казалось бы, опередившие его народы, очистился от фашизма. Вот почему его так часто осуждают в Америке и Англии. И напрасно называть этот народ маленьким, арифметика тут ни при чем; у маленьких людей никогда не бывает столько врагов. Немногочисленный, этот народ душевно крепок и силен. Я вспоминаю черные глаза болгарской крестьянки, ее большой выпуклый лоб, ее сдвинутые брови, — нет, теперь Болгарию не сбить с пути! Счастье, доставшееся с такой мукой, еще дороже.

Есть и среди небольших стран много таких, которые богаче, красивее, а главное — блистательнее Болгарии. Эта земля не потрясает пришельца ни нарядностью, ни игрой воображения. Люди замкнуты, их сразу не понять, нужно с ними остаться, войти в их жизнь, разгадать горечь, расшифровать молчание. Здесь нет душ нараспашку, и нет здесь легкой, ни к чему не обязывающей улыбки. Здесь и вздох много весит.

Крестьянка в строгом наряде: красное и черное. Пара волов. Упрямый старик с седыми усами на ослике. Горы и снова горы, снег, а внизу смоковницы. Босые дети и большой дом в среднеевропейском стиле: гимназия. Корчма, масляный свет лампы, споры до позднего часа. Женщина качает люльку и поет колыбельную, древнюю, как земля. Тени былых «будителей» и революционеров. Митинги и шахты, и прекрасные санатории, и заводы, и бригады, и стенные газеты — новый век. А старина не в камнях, не в пергаменте, — в языке, в земле, в морщинистых лицах сельских комитетчиков. И много роз. И осенние звезды. Есть в этой стране большая внутренняя страсть, она придает ей красоту, и, увидев душу Болгарии, нельзя ее не полюбить, нельзя не поверить в ее звезду.

1945

ШВЕЙЦАРИЯ

СЧАСТЛИВАЯ СТРАНА

Говорят, что счастливые люди лишены чувства времени. Швейцария, по всей вероятности, очень счастливая страна. Давно забылась она в каком-то вневременном сне, призрачном и плотном, подобном воде ее озер.

Любой швейцарец гордится своей страной перед непоседливыми и неразумными соседями. Он не понимает, что его счастье куплено отказом от времени. Привыкший к величию горных перевалов, он не стыдится своего малого роста. Квалифицированная индустрия, следовательно, высокая заработная плата позволяет ему до поры до времени сводить социальную трагедию к обстоятельным докладам в «рабочих университетах». Что касается нейтралитета, то и это оказалось достаточно выгодным. Можно прибавить красоты ландшафтов, неизменно привлекающие в страну туристов. В итоге — хорошие дороги, один автомобиль на десять жителей, санатории для рабочих, образцовые школы, словом добротное хозяйство. Этим незачем возмущаться, этому также не приходится завидовать — это последствия не духовной величины, но крохотного объема.

На снежные шапки гор швейцарцы поглядывают по-хозяйски — это прежде всего доходная статья, то же, что для Англии уголь или для Швеции лес. Горы предполагают нервозность природы, отступление от норм, пафос, близкий к истерике, жизнь на ходулях. Швейцарцы посвятили свои силы приспособлению чересчур романтического дома к повседневным нуждам. Даже глетчеры можно

назвать благоустроенными. Зато международные тунеядцы, с поэтической душой и с посредственным пищеварением, оценили край, где дикая природа пригнана к гонгу табльдотов, где закат напоминает иллюминацию, где коровы звенят бубенцами, как серафимы, и где вместо лавин с гор несутся лихие салазки титулованных спортсменов.

Регистрационная книга любой гостиницы Сан-Морица — это биржевой бюллетень — нефть, хлопок, медь, каучук. Сэр Генри Детердинг предпочитает коньки. Он ловко скользит по синеватому льду, несмотря на седьмой десяток и на мировой кризис. Он верит в вечную молодость и в торжество автомобиля. Его веру бесспорно разделяет г. Андре Ситроен, который остановился в соседней гостинице и который предпочитает лыжи. На заводах Ситроена рассчитывают рабочих — кризис, безработица, нищета. Лыжи быстры, бел снег, чист воздух, прекрасна жизнь среди горной тишины, умело прерываемой звуками джаза, концертами знаменитостей и щебетом красавиц.

В Женеве находится «Институт международного права» — там будущие дипломаты обучаются сложной игре: шантажу, блефу, конвенциям, десяти толкованиям одного параграфа, разговорам о мире и формулировке ультиматумов. Имеется в Швейцарии и другая школа — для подготовки гостиничного персонала. Названия предметов, изучаемых в двух школах, достаточно отличаются друг от друга, однако тренировка молодых душ сводится к тому же — к вежливой наглости и к искреннему лицемерию. В школе дипломатов обучаются предпочтительно иностранцы, в школе метрдотелей — швейцарцы. Я не знаю, где именно обучаются швейцарские дипломаты, те, что в «Лиге Наций», отстаивая международный мир, ни на минуту не забывают о главном: разные советы, конференции, комиссии должны заседать в Женеве, ведь в Женеве самый нейтральный воздух и самые комфортабельные гостиницы. К тому же с набережной виден Монблан... Так достигается великолепный синтез дипломата и метрдотеля.

Швейцария издавна славится своими часами; фабрики «Омега» или «Лонжин» до сих пор успешно борются на мировом рынке с американцами и с французами; в любом

захолустье Европы часовщик хвастается — у него, видите ли, только швейцарский товар... Очевидно, самое существо Швейцарии, ее жизнь вне времени способствует этому ремеслу. Кто не видел в своей жизни старых часовщиков?.. Это люди, которые не слышат ни брани своей жены, ни сплетен соседей, ни выстрелов под окном — их уши полны абстрактного и в то же время живого тикания. Это чудаки и маниаки. В Швейцарии это просто народонаселение.

Часовая промышленность, разумеется, рационализирована. На фабрике «Омега» работает свыше тысячи рабочих. Помимо рабочих, работают сотни машин — они ведь куда точнее человеческих рук. Вот этот рабочий вставляет одно колесико. Он работает здесь восемнадцать лет, однако он не знает часового механизма; когда его собственные часы останавливаются, он идет к часовщику. За него работают сначала чертежники, измерительные аппараты, таблицы, а потом сверла и пилы хитроумных машин. Человеческое усилие требуется только при проверке в длинных галлереях, где рабочие вооружены лупами, колонками цифр и той тишиной, которая одна позволяет различать поступь времени. В окна видны снежные горы, игрушечные домики, водопады, коровы, жизнь, заведомо лишенная каких-либо произвольных движений. При проверке играет роль одна пятисотая миллиметра, одна секунда отклонения в сутки. Здесь изготовляются жестокие машинки, которые должны занимать как можно меньше места, как можно тише разговаривать, крохотные коробочки, безделки, казалось бы игрушки, жестокие машинки, которым дано властвовать над людьми, будить на рассвете рабочего, заставлять биться в лихорадке опоздавшего биржевика, определять бег поездов и на полслове прерывать любовное объяснение, измерять счастье спортсмена, ставящего рекорды, и среди ночи пытать безумца, одержимого бессонницей, заглушая своим металлическим шарканием другие голоса мира, становясь уже не ходом хороших швейцарских часов, но воистину ходом времени.

Изготовлять часы, показывающие время с абсолютной точностью, и опаздывать на десятилетья, порой на века —

такова судьба этой страны. Среди равнодушных глаз и чересчур молочных коров, наверное, хорошо мечтать о будущем. Еще недавно здесь изготовлялись не только аппараты для измерения времени, но и планы, способные переменить намеченный ход веков. В 19-м столетии Швейцария была облюбована, как тихая лаборатория, всеми мечтателями и революционерами Европы. В заводях женевских улиц русские, китайцы, турки, поляки, ирландцы, египтяне, македонцы спорили и готовились к боям. Черновики всего, чем горд двадцатый век — новой экономики и новой философии, — создавались в стране заведомо отсталой, при идеальном равнодушии и гор, и жителей, и коров. Только квартирные хозяйки, оберегая свою мебель и свой сон, порой пытались унять разноплеменных постояльцев. Ничем не увлекаясь и ничего не страшась, Швейцария могла себе позволить роскошь гостеприимства. Так, страна Октябрьской революции оказывается связанной воспоминаниями с филистерскими городками Швейцарии. От Бакунина до «Искры», Герцен, Нечаев, народовольцы, террористы, Плеханов — все они укрывались в этих глухих долинах, рассеянно поглядывая на обязательные красоты и в тишине мещанских пансионов расшатывая далекую империю. Чем теперь гордиться Цюриху — хорошим родильным приютом, социал-демократами в кантональном совете, нежностью озера, обилием туристов или же невзрачным домиком, где Ленин подготовлял Октябрь?..

Квартирных хозяек никак не интересовала судьба российского императора, однако они оказались глубоко преданными богу, нравственности и капиталу. В первый год революции наркоминдел осаждали швейцарские гражданки, главным образом гувернантки, — у одной реквизировали комнату, у другой отобрали ее дневник. Они вернулись к себе на родину с рассказами об этих неслыханных преступлениях. Особенно уродливые добавляли, что в России национализированы все женщины и что только чудом удалось спасти им, добродетельным швейцаркам из кантонов Ури или Вод, свою безусловную невинность. Швейцария сентиментально ахнула; кроме того, она отнюдь не сентиментально смекнула, что революция дело невыгодное, что при борьбе голодных с сытыми нельзя соблюсти столь удобный нейтралитет, наконец, что ее традиционное

гостеприимство можно толковать по-разному. Со стен Женевы, конечно, не соскребли знаменитого изречения о «городе-убежище», но, выслав из страны подозрительных смутьянов, приютили граждан вполне добродетельных, ищущих спасения от революции. Кроме того, открылись новые заработки: что значат голоштанники, некогда квартировавшие в женевском Каруже, по сравнению с дипломатами «Лиги Наций»?..

Все было взвешено и оценено: Конради, застреливший Воровского, действовал не наобум. Он знал, что его оправдают, что его будут фотографировать, как героя, чествовать на банкетах, осыпать нарциссами.

Коммивояжеры убийств и подлогов, рассылаемые «Международной лигой борьбы с Третьим Интернационалом», здесь подкрепляются надлежащими инструкциями и живительным горным воздухом, но Ромэн Роллана, который уже много лет живет на берегу Женевского озера, гостеприимные швейцарцы старательно оттуда выживают, отказывают в визе его друзьям, следят за каждым его шагом, поносят его в своих газетах.

Жизнь Швейцарии, очищенная от посторонних мечтаний, призрачна и пресна. Ее писатели издают в 1930 году романы, случайно не написанные их отцами лет пятьдесят тому назад. Новая архитектура мало чем отличается от старой. В этой стране ничего не происходит, и телеграммы из Швейцарии сообщают только о сонной лихорадке «Лиги Наций» или о снегопадах.

Немецкие кантоны напоминают захолустья былой Германии, с хоровыми обществами, с кружками самообразования, с картузами корпорантов и с ничем не омрачаемым пивопитием. Еще глуше жизнь в западных кантонах — это злая карикатура на французскую провинцию. Старички в высоких воротничках с фулярами, добродетельность и домашний разврат, скупость, сплетни, игра в карты по су за очко, судьбы мира, важно обсуждаемые над просаленной колодой, сон под перинами, храп, сон постоянный и неодолимый. Здесь тупо и свято ненавидят все новое, от слова «советы» до широких окон, от стихов без рифм до фильмов без матримониального поцелуя. Недавно в одной из лозаннских газет я прочел статью, которая начиналась

чрезвычайно злободневным вздохом: «Сегодня исполнилось 138 лет с того дня, когда парижская чернь лишила жизни несчастного монарха»... Так пишут наследники швейцарских стрелков, которые за сходное вознаграждение охраняли чужие престолы. Их деды умели умирать, преисполненные хотя бы лакейской верности; они удостоились памятника в Люцерне. Вряд ли кто-нибудь поставит памятник господину Конради...

1931

ШВЕЙЦАРИЯ 1950 г.

Мое знакомство с швейцарским нейтралитетом началось до того, как я вступил на швейцарскую землю, а именно в швейцарском посольстве в Брюсселе. Перед тем как положить визу на мой паспорт, швейцарский дипломат предложил мне подписать бумажку, гордо именуемую «декларацией». Составляли эту «декларацию» в Берне, в политическом департаменте (министерство иностранных дел). Швейцарцы Берна говорят по-немецки, но дипломатические документы пишут по-французски, хотя этим языком не владеют. Я попытаюсь передать в переводе живописность «декларации», экзотичной как по содержанию, так и по форме: «Нижеподписавшийся г. Илья Эренбург обязуется во время своего предстоящего пребывания в Швейцарии воздерживаться от всякой политической деятельности и, в частности, не произносить докладов, не показываться на собраниях, как общественных, так и частных, и не устраивать пресс-конференций».

Я не стал исправлять стиль «декларации», но перед словом «собраниях» я вставил «политических». Дипломат сказал, что должен по этому поводу снестись с швейцарским правительством. Что же, каждое правительство тратит свое время так, как оно находит нужным... Я стал ждать результата телефонных переговоров. Он оказался неутешительным: швейцарское правительство не приняло внесенной мной поправки, указав, что мне запрещено показываться не только на политических собраниях, но также «на литературных, культурных, экономических и рели-

гиозных». Должен отметить, что дипломат любезно предоставил мне право посещать кинематограф и церкви. «Что значит частное собрание? — спросил я дипломата. — Если меня пригласит мой издатель, могу я принять приглашение?» Подумав, дипломат ответил: «Да». — «А если у издателя окажется супруга?» — «Это вполне естественно». — «А если издатель пригласит своих друзей?» Дипломат оживился и поспешно спросил: «Сколько?» Я ему ответил, что я не швейцарец и что у нас, «азиатов», считается неприличным, будучи приглашенным, допрашивать хозяина, кого он еще позовет. Дипломат вздохнул и сказал, что ему придется снова связаться с Берном. Прождав еще час, я узнал, что швейцарское правительство предлагает заменить слова «частные собрания» словами «частные сборища». Меня душил смех, но я сдержался и вежливо поблагодарил дипломата: «Вы воистину великодушны, вы даете мне чудесный материал для статьи».

Как содержание, так и форма «декларации» поразили даже те швейцарские газеты, которые славятся антисоветскими выходками. Редактор «Газетт де Лозанн» г. Беген написал: «Мы не сторонники коммунистических методов, но советский строй — это реальность, которую мы должны знать. Мы должны с ним ознакомиться не только по статьям или выступлениям его врагов, но также общаясь с людьми, которые убеждены в его превосходстве. Доклад г. Эренбурга о советской литературе представлял бы большой интерес, а его общение с швейцарскими писателями, собравшимися на конференцию в Сен-Галль, было бы плодотворным. Нет, все это запрещено... Эренбург уедет от нас, не почувствовав свободного общения с людьми, не узнав ничего о наших желаниях, о наших настроениях, о нашем образе жизни».

Одновременно со мной в Швейцарию прибыл американский генерал Спаатс. Его не попросили подписать «декларацию». Если он и не «произносил докладов», то только потому, что у него другая специальность: бомбардировочная авиация дальнего действия. Он мог, разумеется, «показываться» где только ему вздумается, и он действительно показался — не на конференции писателей, а на военном аэродроме «нейтральной» Швейцарии, в Заанен-Гстаде.

Можно привести и другие примеры швейцарского «нейтралитета». В Швейцарии было запрещено выступать с лекциями или с докладами художнику Люрса, прогрессивному депутату парламента Пьеру Коту, писательнице Симоне Тери, генералу Пети, профсоюзному деятелю Сайяну и другим французским сторонникам мира. Зато в Цюрихе беспрепятственно выступил г. Черчилль, который говорил не столько о мире, сколько о войне. Боннский «канцлер» г. Аденауэр в Берне свободно оправдывал злодеяния нацистов. Адвокат Петэна г. Изорни открыто выступал с апологией измены. На «европейской конференции» в Лозанне, в присутствии члена швейцарского правительства г. Эттера, г. Спаак и зять Черчилля г. Сэндис призывали «защитить европейскую цивилизацию от азиатов». Швейцарские власти дошли до того, что разрешили повсеместно «показываться» гитлеровцу Кирхгофу, который в 1943 году был назначен гаулейтером Швейцарии на случай оккупации ее германской армией.

В витринах книжных магазинов можно увидеть сотни провокационных антисоветских книг. Но в Швейцарии запрещена продажа таких газет, как «За прочный мир, за народную демократию» и «Параллель».

Для швейцарского «нейтралитета» оказалось опасным мое присутствие на концерте чешской музыки в Женеве. Но для швейцарского «нейтралитета» вполне приемлема деятельность террористической организации «АИАК», которая рассылает угрожающие письма государственным деятелям Румынии и Болгарии, французским коммунистам, итальянским социалистам. Эта организация издает журнал «Дефанс де л'Эроп», который редактирует некто Баумгартнер. В журнале можно прочитать: «Мы сообщаем о нашей деятельности, за исключением работы регулярных секретных групп... Нам нужны оружие и санитарный материал для наших диверсионных групп... В своей борьбе «АИАК» не чувствует себя связанной никакими законами и соглашениями». Таков «нейтралитет» Швейцарии.

Впрочем, о нейтралитете швейцарцы вспоминают только тогда, когда пытаются сбыть свои часы полякам или чехам. Правда, газеты часто философствуют на тему: что такое подлинный нейтралитет? Но эти разговоры вряд

ли могут быть названы нейтральными. Г-н Реверден в «Журналь де Женев» призывает к «обороне против Москвы» и заявляет: «Швейцария — это передовой бастион Запада». Майор швейцарской армии Рапп пишет в «Газетт де Лозанн»: «Вся наша оборонительная система будет направлена против русских... Мы связаны духовно и морально с Западом». Наконец г. Бовар в «Сюисс контемпорен» заявляет: «Морально Швейцария в лагере англосаксов... Наша оборона — это часть военной обороны европейского Запада».

Военные делают соответствующие выводы. Их планы хорошо выразил упомянутый мною майор Рапп: «Хотим мы того или нет, на этот раз мы уже целиком втянуты в борьбу». Военные не только говорят или пишут статьи, они заняты делом. В местечке Форт Левенфорт (США, штат Канзас) помещается американская военная школа. Ее начальник генерал Мэнтон Эдди недавно объяснил, что в школе обучаются иностранные офицеры и что это «укрепляет Атлантический пакт». Официально Швейцария не примкнула к Атлантическому пакту, но швейцарские офицеры вместе с французскими и бенилюксовскими обучаются в американской военной школе. Не удивительно, что в американской печати можно найти довольно откровенные признания: «Швейцарские стрелки должны сыграть свою роль в грядущей битве за Европу».

Соответственно вышесказанному юных «стрелков» и воспитывают. 21 апреля 1950 г. в городе Сион преподаватель классической гимназии г. Карл Гентинетта продиктовал ученикам старшего класса нижеследующий текст для перевода его с французского языка на немецкий: «Пусть русские придут, они узнают нашу храбрость. Мы отомстим этим медведям за наших задушенных друзей и за наших похищенных жен. Эти разбойники хотят у нас похитить нашу отчизну, они уже собрали солдат, они уже подошли к предгориям наших Альп... Вперед, навстречу врагу, накажем его за все его козни! Да хранит нас бог! Да здравствует свобода! Смерть русским!»

Этот текст был опубликован в печати. Карл Гентинетта не наказан. В «нейтральной» Швейцарии не наказывают за пропаганду войны, в «нейтральной» Швейцарии наказывают за пропаганду мира. Четыре студента Женевского

университета подверглись взысканию за то, что предложили товарищам подписать Стокгольмское обращение. Студентка в городе Бьенн была исключена из института за то, что дала товарищам листки с резолюцией против атомного оружия. Я думаю, что на этом можно закончить рассказ о швейцарском «нейтралитете».

Воспоминания о войне у швейцарцев связаны не с жертвами, не с лишениями, а с благосостоянием. Предо мною циркуляр агентства «Аффида», помещающегося в Цюрихе. Это агентство сообщает своим клиентам: «Тот факт, что Россия также обладает атомной бомбой, вызывает еще больший рост американского вооружения. Ввиду этого на бирже наблюдается оживление с так называемыми «детьми войны», то есть с акциями предприятий, которые во время второй мировой войны благодаря военным заказам находились в большом повышении... Мы предлагаем вам краткое описание «Локхид эйркрафт корпорейшн», акции которого приносят проценты, превышающие обычные, а именно 6,7%». Кровь приливает к лицу, когда читаешь это послание, — от гнева и от стыда. Дети умирали в годы войны, дети разных народов, черноволосые или белокурые, умирали от снарядов, от бомб, от голода, а швейцарские банкиры, спекулянты, маклеры холили, лелеяли, ласкали «детей войны» — акции трестов, несущих смерть. Теперь, когда детям всех народов, смуглым и светлым, грозит атомная бомба, те же банкиры, те же маклеры, облизываясь, выхватывают друг у друга акции «Локхид эйркрафт корпорейшн».

После конца войны соседние страны подсчитывали убитых, подводили итоги разрушений. Другой статистикой была занята Швейцария: она считала барыши. Газеты восхищались тем, что в итоге второй мировой войны в маленькой Швейцарии оказалось тысяча девятьсот двенадцать миллионеров, обладающих капиталом в четыре миллиарда триста миллионов швейцарских франков, то есть в миллиард долларов.

Средний швейцарец еще живет множеством иллюзий. Ему, например, кажется, что он разбогател в годы войны не потому, что ему повезло, а потому, что он разумнее других. Я не видел человека, выигравшего в рулетку, который считал бы себя Сократом, но швейцарцы говорили

мне: «Мы спаслись благодаря уму наших политиков и мощи нашей армии».

Швейцарцы наивно думают, что горами они отгородились от армий других народов. На самом деле швейцарцы отгородились (отнюдь не горами) от идей других народов. Соседние страны пережили многое: приход к власти Гитлера, страшную войну, эпопею савойских франтиреров, казнь дуче, раскол Германии, борьбу французов и итальянцев против господ, увлеченных военными акциями, этими «детьми войны», но попрежнему швейцарец выверяет часы и старается не прислушиваться к ходу времени. Я не хочу этим сказать, что быт швейцарского буржуа не изменился: здесь можно увидеть те же признаки американизации, что и в других странах Западной Европы. Буржуа мало читает (меньше, чем его отец), не знаком с философскими и политическими проблемами века; несмотря на усовершенствованный холодильник и на великолепный хронометр, он напоминает тусклого провинциала. Я позволю себе привести комичный пример. В Женеве сохранился дом, где жил Достоевский. На этом доме хотели прибить дощечку: «Здесь Ф. М. Достоевский работал над своим романом «Идиот». Владелец дома запротестовал и был поддержан согражданами: «Идиот — это оскорбление Женевы, это может оттолкнуть туристов».

Подлинный перекресток Европы порой напоминает тупик. Все же люди и здесь начинают просыпаться, осматриваться, задумываться. Угроза войны вывела швейцарцев из оцепенения. Многие видные представители интеллигенции примкнули к движению за мир, среди них эллинист Боннар, автор ценных книг, посвященных культуре древней Греции, и замечательный художник Эрни. Буржуазная чернь травит этих людей. Я читал грязные статейки о Боннаре. Что касается Эрни, то ассигнации, изготовленные по его рисункам, были задержаны после того, как он сделал плакат для конгресса сторонников мира. Эти настоящие большие люди показывают, что в Швейцарии есть не только политический департамент, майор Рапп, биржевые агентства и молочные коровы.

Кто-то рассказал жителям Цюриха о том, что я нахожусь в их городе, и незнакомые люди пришли меня проводить. Их было много — и рабочие, и студенты, и девушки,

и старики. Я знал, что они пришли потому, что верят в советский народ, в его братские чувства ко всем народам. Я уехал из Швейцарии с этим ощущением дружбы, человечности, солидарности. Не знаю, с каким чувством покинул Швейцарию американский генерал Спаатс, понял ли он, что теперь не восемнадцатый век, когда наемные солдаты Швейцарии умирали за французского короля. Медленно идет здесь время, но все же оно идет, и мне думается, что молодежь Швейцарии откажется от малопочетной роли, которую ей предлагают американцы: внуки Вильгельма Телля не станут стрелками во славу акций «дети войны».

Июнь 1950

БЕЛЬГИЯ

Вначале приезжему кажется, что ничто не изменилось в этой небольшой, тесной стране, где возделан каждый вершок земли, где трамвай идет из одного города в другой и где можно в трамвае пересечь государственную территорию. Как много лет назад, приезжего поражает смесь делячества и мечтательности, банков и монастырей, глухой провинции, сохранившей стародавние обычаи, и вполне современного ажиотажа всемирных рвачей, которые на ступенях Брюссельской биржи выкрикивают: «Роял датч», «Мексикан игл», «Рио-тинто», «Катанга». Центральный проспект Брюсселя жаждет походить на Бродвей; мечутся и слепят прохожих неоновые буквы вывесок, прославляющих гангстерские фильмы, бульон в кубиках и, конечно же, «кока-колу»; а в пяти минутах от этого проспекта цепенеют узенькие средневековые улички, по которым медленно проходят старые женщины в чепчиках. Много американских автомобилей, и здесь же грудастая собака тащит тележку молочника. Как и прежде, в городишках Фландрии загадочные сплетницы из глубины комнат с помощью особых зеркалец наблюдают за тем, что происходит на улице, а заслуженные писари и отставные почтальоны не спеша сосут глиняные трубки, слушая, как звонарь на городской башне вызванивает хвалу медленно ступающему времени.

Да, с первого взгляда может показаться, что Бельгия осталась Бельгией, что нет на свете ни Бенилюкса, ни «европейских штатов», широко рекламируемых штатным (и заштатным) европейцем г. Спааком, и что никто не помешает маклерам восхвалять акции «Рио-тинто», а звона-

рям звонить на вышках ратуш до самого скончания света. Однако это иллюзия. Бельгия живет тревожно, даже ее сон, сон и старинных городков Фландрии, и прокопченных, хмурых поселков Боринажа, и шумливого Брюсселя, наполнен грозными видениями.

Несколько лет назад магазины Брюсселя изумляли парижан изобилием товаров. Да и теперь бельгийский франк смотрит свысока на своего французского собрата. Деловые люди охотно отмечают, что Бельгия пользуется особыми симпатиями дядюшки Сэма. Дело, конечно, не в пристрастии американцев к романтике старого Брюгге или к поэзии Метерлинка; для того чтобы разгадать природу нежности Вашингтона, лучше всего отправиться в музей Конго, находящийся недалеко от Брюсселя.

Осмотр этого музея поучителен. Рядом с изумительной негритянской скульптурой можно увидеть головы негров, изготовленные белокожими халтурщиками и снабженные пояснительным текстом: «Деформация черепа туземца». Полотна академиков прославляют благодеяния колонизаторов, а в витринах — дары богатейшего края: золото, медь, олово, слоновая кость, каучук. Сказочная Африка хорошо кормит сотню брюссельских тунеядцев. Упомяну об одном: крупному сановнику министерства иностранных дел г. Франсу Леемансу принадлежат золотые прииски Кило-Мото, подлинное государство, которое втрое больше Бельгии, и ставленники г. Франса Лееманса наказывают кнутом восемьдесят пять тысяч верноподданных.

Проходя по пышным залам музея, видишь все время то, что не выставлено: кровь рабов. Золото и каучук начинают казаться вещественными доказательствами на грядущем процессе рабовладельцев.

Среди экспонатов имеется один малоприметный: кусочек темного минерала. Под ним значится: «Катанга Шинколобве. Уран». Здесь объяснение американской любви к Бельгии...

До недавнего времени прииски, где имеется уран, принадлежали бельгийским и английским капиталистам. Во главе акционерного общества «Верхняя Катанга» стоял г. Блез, директор консорциума «Сосьете женераль де Бельжик». Помимо приисков Конго, в руках вездесущего г. Блеза угольные копи Монсо и брюссельские трамваи,

судоходные компании и металлургические заводы Гобокен, стекольные заводы Мариемон и страховые общества. Г-н Блез делил барыши с англичанином г. Гели-Готчисоном, возглавлявшим фирму «Тангванка», которая входила в акционерное общество «Верхняя Катанга». Американцам было предоставлено право монопольно закупать уран. В 1948 году дивиденды «Верхней Катанги» превысили миллиард франков. Остается добавить, что на приисках работают шестнадцать тысяч негров и что негр получает в день шесть франков — двенадцать американских копеек...

Американцы, однако, не удовольствовались предоставленной им монополией, они решили завладеть приисками. Г. Гели-Готчисон продал американцам миллион шестьсот тысяч акций «Тангванки». Трест, купивший акции, именуется лаконично «Группа А—Б»; во главе его стоят крупнейшие банкиры Соединенных Штатов: Ландебург — Гельман. У дядюшки Сэма есть резоны, чтобы любить Бельгию. Но трудно сказать, что хуже — гнев или нежность этого заморского родственника...

Как ни мил сердцу дядюшки Сэма г. ван Зееланд, у бельгийского премьера есть опасный соперник: г. Аденауэр. Бельгия для американцев — это только дорога войны, Западная Германия для американцев — это война, ее арсеналы, ее казармы. Не удивительно, что, договариваясь с немецкими капиталистами, американцы меньше всего думают об интересах маленькой Бельгии. Химические продукты, вырабатываемые в Германии, на двадцать пять процентов дешевле бельгийских; не только зарубежные рынки закрылись для бельгийских промышленников, но формалин, этилен и красящие вещества, изготовляемые в Западной Германии, заполнили внутренний рынок Бельгии. «Экономический совет Валлонии» отмечает, что в машиностроении немецкие изделия также вытесняют бельгийские — заработная плата в Западной Германии на сорок пять процентов ниже, чем в Бельгии. Хлопчатобумажные изделия немецкой фирмы «Нейе Аугсбургер Катун» наводнили магазины Бельгии, и кризис в текстильной промышленности растет.

Часть безработных берут для постройки дорог. В бюджете на текущий год расходы по строительству дорог

составляют изрядную сумму в три миллиарда франков. Мне привелось повидать новые дороги, поездить по некоторым из них. Они хороши, даже слишком хороши, и это вызывает некоторые опасения: необычайно широкие бетонированные автострады вряд ли строятся только для туристов; по ним легко могут пройти колонны тяжелых танков. Причем наиболее широкие и наиболее солидные дороги соединяют порты Северного моря с Западной Германией. Средний бельгиец знает, что прежние дороги были плохими, газеты ему объясняют, что автострады увеличат поток туристов, и он, бухгалтер из Гента или арденнский фермер, не подозревает, куда именно его приведут эти супердороги...

Средний бельгиец не хочет задуматься и над тем, почему строятся новые аэродромы. Я был на побережье; земля в приморских районах славится травами, это лучшие пастбища Бельгии. Кусок земли здесь в десять раз дороже, чем в Арденнах. Однако огромные аэродромы, устроенные во время войны, не только не уничтожены, а расширились за счет мирных лугов. Средний бельгиец предпочитает об этом не думать, он утешает себя, как в 1938 году, присказкой «все обойдется». Однако тревога закрадывается в его сердце; эта тревога сказалась в страстности борьбы против возвращения короля Леопольда. Не только горняки Боринажа или металлурги высказались против Леопольда, с ними оказались интеллигенты, мелкие буржуа Брюсселя, Льежа, Шарлеруа, Намюра. Разумеется, в споре о том, кто должен занять престол, много семейных интриг, соревнования английских опекунов с американскими, национализма и фламандцев и валлонов. Но средний бельгиец, голосуя против короля, думал прежде всего об опасности войны: Леопольд, который «сотрудничал» с фашистскими оккупантами и который лелеет мечту о союзе с Западной Германией, — это регулировщик для грядущей дороги войны.

Поняв тревогу, закравшуюся в сердце народа, социалисты повели агитацию против Леопольда; особенно отличался г. Спаак. Мне довелось увидеть этого тучного парламентария, исполняющего роль народного трибуна. Это было 1 мая. Мэр квартала, где помещается Северный вокзал, сторонник короля, запретил социалистам демон-

стрировать на подвластной ему площади. Вокзал оцепили, поставили проволочные заграждения, мобилизовали тьму жандармов. Социалисты объявили, что, несмотря ни на что, пройдут к вокзалу. Впереди колонны шел г. Спаак. Дойдя до первых жандармов, он взобрался на плечи своих подручных и с букетом красных роз в руке начал кричать: «Мы пройдем! Мы пройдем!» Заграждения, однако, не рухнули и жандармы не разбежались. Тогда г. Спаак спустился на землю и гордо пошел назад. Этот фарсовый эпизод хорошо иллюстрирует поведение социалистов: они яростно протестовали против возвращения Леопольда, чтобы месяц спустя пойти на закулисные переговоры.

Бельгия — не Франция, это центр Европы, который смахивает на глухую окраину. Здесь еще правит крестьянами фанатичное духовенство. Здесь большинство рабочего класса еще не разгадало истинной природы правых социалистов. Здесь еще царят идеи и нравы захолустья.

Люди, однако, начинают задумываться, что с ними станет, если «холодная война» превратится в просто войну. Каждому ясно, что на войне дорога весьма неуютное место, а Бельгии предназначается именно роль дороги. Мне пришлось выступить с докладами о культуре и мире в Брюсселе, в Антверпене, в Льеже. Я видел тысячи и тысячи людей, возмущенных подготовкой новой войны: литераторов и домашних хозяек, директора Королевской библиотеки и адвокатов-католиков, лучшего писателя Бельгии Франса Элленса, лучшего ее живописца Пермэка, студентов и докторов.

Власти стараются помешать движению за мир, причем низшие и высшие исполнители проявляют не только равную рьяность, но и равную глупость. После моего доклада в Льеже меня обступили любители автографов. Я надписал несколько сот книг, а когда книги иссякли, мне начали совать карточки, листки бумаги, билеты. Вдруг один рослый любитель автографов, оттолкнув девушек, прорвался ко мне и тоже протянул карточку. Я чуть было ее не подписал, но мнимый любитель автографов рявкнул: «Ваши документы!» Оказалось, что он протягивал мне удостоверение охранки: будучи исправным охранником, он решил проверить личность смутьяна, который в зале филармонии осмеливается открыто говорить, будто мир

лучше войны. Ректор Брюссельского университета обратился ко мне с просьбой рассказать студентам о советской литературе. Я указал, что моя виза истекает и что я смогу выполнить просьбу, если только мне продлят визу на один день. Человек, политически умеренный и следовательно уверенный в правильности существующего строя, ректор ответил, что это очень легко устроить. Действительно, соответствующее министерство согласилось продлить визу, но тогда в дело вмешался премьер г. ван Зееланд. Мне объявили, что я должен уехать. Студенты бурно протестовали против этого решения, жест г. ван Зееланда оказался для них куда убедительнее, чем десять докладов о литературе.

При мне разразилась забастовка докеров Антверпена, которые, помимо повышения зарплаты, потребовали, чтобы в их порту не выгружали американского оружия. Американское судно тайно зашло в маленький порт Зее-Брюгге и там выгрузило партию оружия. Могущественным американцам приходится поступать как вульгарным контрабандистам.

Стачка в Антверпене особенно потрясает, потому что треть докеров — безработные. Как социалисты ни старались, «желтых» они не нашли. Губернатор области, социалист г. Деклер, принял самое живое участие в расправе с докерами: против забастовщиков двинули отряд жандармов. Арестовали половину стачечного комитета, арестовали депутата парламента докера Франца ван ден Брандена. Забастовка, однако, не прекращалась. Ван ден Бранден объявил голодовку, протестуя против незаконного ареста. Первого мая к тюрьме двинулись манифестанты. Я встретился с ван ден Бранденом («наш Франц», — говорят о нем докеры) в тот день, когда его освободили. Это очень рослый, худой фламандец с горячими, стойкими глазами. Он говорил: «Корабли с американским оружием не придут в наш порт». И я видел, как его слушали докеры...

Если для американских империалистов Бельгия — дорóга, то для бельгийцев Бельгия — родной дом. Нелегко было возделать эту страну, на маленьком пространстве найти кров и хлеб для восьми миллионов. Издавна Бельгия была перекрестком, на котором разворачивались кровавые битвы. Муравейник разоряли, и с великим трудо-

любием люди отстраивали его заново. У этого народа прекрасная литература, и если средний бельгиец теперь должен довольствоваться «Ридерс дайджест», то мы хорошо помним и страсть Уленшпигеля и тревожный стих Верхарна. Нужно ли говорить о живописном гении — от Ван-Эйка и Мемлинга, от Брейгеля и Босха, от Рубенса до изумительного Энсора, который умер недавно глубоким стариком? Не для войны эти полотна, эти музеи, не для войны тучные нивы Фландрии и уголь Боринажа. Бельгийцы много раз показывали, что они умеют отстаивать свободу, честь. Напрасно американцы на них рассчитывают; дорога может оказаться отнюдь не столбовой. Еще видны развалины и пепелища, еще не забыты могилы бельгийцев, сражавшихся против захватчиков. Есть у Шарля де Костера чудесные слова: «Пепел Клааса стучит в мое сердце». Пепел отважных партизан и невинных детей стучит в сердце Бельгии. Пусть помнят об этом чужие и злые люди. Мало проложить гладкую дорогу, нужно суметь по ней проехать. А в Бельгии живут не только г. ван Зееланд и г. Спаак, в Бельгии живет народ...

1950

ТРАГЕДИЯ ИТАЛИИ

Небо Италии справедливо почитается голубым. Другим оно на этот раз открылось мне: накануне пронеслась сильная буря. Самолет шел очень высоко. Вдруг на минуту тучи прорвались. Внизу была земля, залитая ливнями, разбухшие оранжевые реки, старинные городки на верхушках холмов и черные тени от быстро проносившихся облаков. Конечно, на следующий день юг взял свое, и небо стало голубым, каким оно значится на холстах живописцев и в стихах поэтов. Но я говорю о другом небе, о других тучах: о жизни народа, о той угрозе, которая повисла над землей, казалось бы, созданной для счастья.

Я сейчас думаю не только о позоре фашизма, не только о ранах, нанесенных войной, не только о безработных Пьемонта и Ломбардии, не только о нищете калабрийских батраков, я думаю о том, как долго этот народ мечтал о свободе, как он за нее сражался — от Гарибальди до Грамши, как он высмеивал «дуче» и тоскливо пел по ночам, как он партизанил с охотничьими ружьями, с крестьянскими ножами, как он поверил, что, наконец-то, сможет зажить по-своему, и как грубо, как поспешно отобрали у него свободу — он не успел и наглядеться, а уж кругом замелькали новые попечители, новые захватчики, новые живодеры.

На одной из самых фешенебельных улиц Рима в большом дворце разместилось посольство Соединенных Штатов. «Государство в государстве?» — спросил я итальянского писателя, когда мы шли мимо дворца. Он покачал головой: «Нет. Государство в негосударстве».

По улицам Рима ходят итальянские военные, и в канцеляриях Рима сидят итальянские чиновники. Если американцы и выделяются среди пестрой толпы разноязычных туристов, то только потому, что у них грубые повадки. Впрочем, итальянцы достаточно изучили заатлантических «джентльменов» в годы войны, когда бодрые уроженцы Оклахомы и Алабамы покупали голодных девушек Неаполя за банку консервов. Это не забыто, и при слове «американцы» итальянец, обычно добродушный и приветливый, хмурится. Но сейчас американцы скромно сидят в своем дворце. Как пишет газета «Моменто», они «помогают и дают советы».

Вряд ли стоит снова останавливаться на разговорах об американской помощи: про «крах плана Маршалла» пишут теперь все американские газеты. Италии этот «план» принес много громких речей и много проглоченных слез, крохи хлеба и два миллиона безработных, биржевую лихорадку и глубокое оцепенение. Если итальянцам и удалось наладить некоторые отрасли промышленности или сельского хозяйства, то это не благодаря американцам, а несмотря на американцев. Итальянцы, которых американская печать неизменно называет «лентяями», трудолюбивейший народ. Можно напомнить, что многие города Америки построены руками итальянских рабочих. Но если американская «помощь» понятие метафизическое, то американские «советы» вполне реальны. «Советы» даются по всем вопросам, будь то национализация электростанций или амнистия, обращение с сарагатовцами или судьба латифундий юга. Вашингтон «советует», Рим выполняет.

Я не знаю в Европе другой страны, где лежала бы такая пропасть между народом и правящими классами; они в Италии не только по-разному живут, они говорят на разных языках, и буржуа с трудом понимает рабочего или крестьянина. Итальянский буржуа меня всегда поражал своей отсталостью, захолустностью, невежеством. Таким он был и до фашизма и при фашизме; таким он остался. Он почти ничего не читает, равнодушен к искусству. Когда-то он подражал французам, потом англичанам, теперь он смотрит голливудские картины, заходит в американские бары и даже пьет невкусные напитки только потому,

что их пьют в Нью-Йорке. Американцы нашли в Италии незаменимых управляющих, хорошо вышколенных дворецких. Разумеется, эти управляющие и дворецкие выдают себя за независимых политиков в независимой стране, но кто им поверит?

Итальянцы знают, что длинные шаги безработного в Турине или в Милане связаны с балансами Форда или «Дженерал моторс». Они знают, что когда папа отлучает от церкви католиков, заподозренных в симпатии к коммунизму, то это не потому, что ночью перед ним предстал святой Петр, а потому, что днем с ним беседовал представитель Трумэна. Итальянцы знают, что американские баптисты, анабаптисты, лютеране, мормоны и прочие долларопоклонники решили в Италии опереться на католическую церковь. Вот почему в исповедальнях священники грозят старым крестьянкам всеми сковородами ада, если только они посмеют голосовать за левых. Вот почему проводится «кампания против безнравственности» и Шельба запрещает воспроизведение картин Боттичелли. Вот почему во всех киосках пестрят итальянские издания американских «Ридерс» с эротикой, рассчитанной на буйволов из Техаса. Вот почему сто газет аккуратно печатают ложь и вздор, распространяемые американскими агентствами. Вот почему в кинотеатрах показывают голливудские фильмы, над глупостью которых издеваются даже итальянские дети.

Правящие классы Италии не должны заслонить ее народа, талантливого, сердечного, смелого; он теперь является единственным хранителем великого прошлого этой страны и единственным строителем ее будущего. Освободившись от фашизма, он рванулся к той жизни, которая ему смутно мерещилась. Его встретили слезоточивыми газами, дубинками, пулями. Грустнее стали глаза, горькая складка легла у рта. Но итальянцы не пали духом. За короткое время, которое я провел в Италии, я видел, как борется народ. На севере бастовали рабочие. На юге разыгралась очередная драма: жандармы убили двух батраков, которые вместе с другими заняли пустующие земли титулованных шалопаев. На убийство крестьян Рим ответил шестичасовой забастовкой протеста; погас свет, остановились трамваи и автобусы, жизнь замерла.

На стороне заводчиков и помещиков весь аппарат государства. Вашингтон «советует» быть твердыми. Но народ хочет жить, он наступает. И вот еще раз выиграли забастовку рабочие севера; еще раз правительству пришлось санкционировать «захват земель» батраками.

Несмотря на американские газы и на папские анафемы, влияние коммунистов растет. Естественно, что коммунисты сильны в промышленных центрах севера и среди батраков юга. Но коммунисты Италии — большая народная партия; за них голосуют крестьяне Тосканы и Эмилии, ремесленники, сельская интеллигенция. Я видел, с какой любовью крестьяне встречали Тольятти. Рост коммунистического влияния меняет жизнь народа: люди начинают читать книги; возникают библиотеки, клубы; народ рвется к знанию, он понимает, какая ему предстоит роль; он думает не только о куске хлеба, но и о будущем итальянской культуры.

Я видел выставку книги, устроенную левыми издательствами. Там были и дешевые издания итальянских классиков, и книги современных авторов, и переводы; много переводов с русского, много советских писателей. До недавнего времени пять тысяч экземпляров считалось большим тиражом, — как я уже отметил, буржуа не дружит с книгой. Теперь появились тиражи в пятьдесят тысяч экземпляров: книгу взял в руки рабочий, крестьянин.

В фашистской Италии порой изготовлялись ходульные кинокартины, никто их не хотел смотреть. Группа левых кинорежиссеров почти без средств создала десяток прекрасных картин с глубоким содержанием. Я видел картину «Похитители велосипедов», в ней необычайно правдиво, с большой художественной тонкостью показана трагедия безработного. В этом неожиданном расцвете кинематографии сказался подъем итальянского народа, который не променял своего первородства на миску с американской чечевицей.

Когда я ездил по Соединенным Штатам, в доме одного богатого бизнесмена я увидел чудесную итальянскую статую XV века. Бизнесмен поставил ее в ванной и на плечи богини вешал мохнатые полотенца. Это отвратительно, но возможно. Американцы хотят сделать из прекрасной и славной Италии не только рынок для своих торгашей, но

и базу для своих разбойников. Это отвратительно и невозможно.

В Риме особенно остро чувствуешь покушение на Европу. История в этом городе на каждом шагу — от форума до катакомб, от византийских базилик и дворцов Ренессанса до ветреного барокко, до особнячков прошлого века, до доходных домов нашего времени. Каждая эпоха оставляла след, века Европы здесь как геологические пласты. И вот в этом древнейшем городе появляются американские вывески, моды американских скототорговцев, лозунги диких куклуксклановцев; начинается подготовка войны во имя и во славу какого-нибудь «Стандарт-ойл». Человека охватывает гнев перед таким цинизмом и варварством; отходишь, видя, как храбро борется итальянский народ. Я назову его борьбу битвой за Италию.

Итальянцы знают, что советский народ отстаивает мир, что нет и не будет у итальянцев лучшего друга. На Капри существует «Circolo operaio Massimo Gorki» — «Рабочий кружок имени Максима Горького». Старый рыбак Сальваторе Ивотто, который знал Горького, говорит односельчанам: «Русские нас не дадут в обиду». Я видел в домах римских рабочих портреты Сталина. В городке виноделов Альбано крестьяне мне говорили: «Скажи в Москве, что мы верим вам и верим в вас». В Риме после митинга ко мне подошел молодой рабочий с годовалой девочкой на руках; он сказал: «Подержи ее. Ее мама больна, но ей станет легче, когда я скажу, что русский держал на руках ее дочку».

Когда после митинга на площади Сан-Джиованни римляне расходились по домам с факелами, один старик сказал: «Видишь, товарищ, это Италия ищет Италию...» Да, итальянский народ ищет свой дом, он ищет его не в пространстве, а во времени. Ведь он знает каждый камень, каждую маслину; но для того, чтобы этот дом стал действительно его домом, он должен шагнуть вперед. Итальянцы могут порой казаться беспечными, сговорчивыми, но есть в них большая душевная сила. Шаг будет сделан: тот шаг, который отделяет Италию американского посольства от Италии итальянского народа.

1949

В АМЕРИКЕ

1

Когда мы вылетели из Парижа, был яркий весенний день, цвели каштаны. Под вечер мы очутились в Северной Ирландии, среди бледной зелени и бледных британцев. Там нас покормили, и уже смеркалось, когда мы полетели дальше на запад. Вода, вода, вода... Девушка принесла жевательную резинку, мы пожевали. Я дремал, и все же ночь казалась мне чересчур длинной. Наконец мы приземлились; я посмотрел на часы — шесть часов утра. Темно, холодно, снег. Ньюфаундленд. Нам выдали утренний завтрак. А кругом местные жители пили пиво и позевывали. Я спросил, который час в Новом Свете; оказалось — полночь.

Мы снова полетели, теперь на юг. Началась вторая, добавочная ночь. Дремать вторично я не мог, сидел и думал — о том, о чем часто думают путники, когда им не спится, — об однообразии и многообразии мира. В самолете было несколько американцев; до того, как мы пересекли океан, они мне казались похожими, кто на англичанина, кто на француза. Теперь я увидел, что они ни на кого не похожи. Рассвело. Внизу показался первый американский город — Бостон. Он как будто рвался к самолету своими небоскребами. Таких городов я прежде не видел, хоть исколесил всю Европу. «Новый Свет», — с гордостью сказал сосед-янки. Девушка принесла томатный сок и анкеты для приезжающих; в анкете имелась графа: какой вы расы —

белый или цветной? Новый Свет был воистину новым... Я решил на дурацкие вопросы не отвечать и был наказан. Когда в Нью-Йорке наши попутчики покинули аэродром, мы все еще томились в маленькой комнате, а полицейские обсуждали, почему трое «красных» не хотят ответить — белые они или цветные?

2

Американцы часто говорят: «Нью-Йорк это не Америка». Для жителя Джексона или Нашвилла гигантский разноплеменный Нью-Йорк не то вокзал, не то вертеп, не то сборище отчаянных вольнодумцев. Но я увидел Нью-Йорк, после Европы, и он показался мне квинтэссенцией Америки. Все улицы перенумерованы; на каждом углу — аптека; люди, похожие друг на друга, куда -то несутся. Я оробел от света, от шума, от реклам. Куда они торопятся?..

Я зашел в аптеку. Аптеки — это универмаги: здесь можно купить сигареты и куклу, обручальное кольцо и чемодан; здесь же пьют и закусывают. На высоких стульях у стойки сидели молодые американцы в клетчатых рыжих и голубых пиджаках. Они быстро проглатывали красивые, но безвкусные бутерброды из очень белого, мягкого, пресного хлеба, который похож на вату.

Первую ночь я провел в плохонькой гостинице недалеко от Бродвея. С пятнадцатого или двадцатого этажа (не помню точно) я глядел на световые рекламы: они прославляли противные напитки с имбирем или без имбиря, сигареты и кофейники; буквы были всех цветов — малиновые, изумрудные, фиолетовые, и буквы казались звездами, которые сбились с пути. В коридоре гостиницы хрипло покрикивали пьяные постояльцы. Шум подымался от Бродвея, как летний зной, и шум не позволял уснуть. На ночном столике я увидел толстую книгу в кожаном переплете; я подумал, что это телефонный справочник, оказалось — библия с закладкой на рассказе о вавилонском столпотворении. Не знаю, какой безумец читал эту древнюю историю под аккомпанемент никогда не смолкающего Бродвея...

Нью-Йорк с его небоскребами и впрямь похож на притчу о недостроенной башне. Правда, нью-йоркские

строители нашли общий язык — язык голода, долларов и богатства. Но остались они разноплеменными удачниками или неудачниками, которые приехали сюда из тридцати стран Старого Света. Это не город, это десятки городов. Люди редко выходят из «своего города» — есть негритянский город, еврейский, итальянский, китайский, порториканский, много других. Зайдешь в итальянские владения — сушится белье, пахнет чесноком, кто-то играет на мандолине; в маленьких харчевнях люди едят макароны, поют, вздыхают. А в еврейском квартале торгуют халвой и калачами, русской водкой, пьют чай, спорят, старики проклинают безбожников, а молодые штудируют Маркса. Во французском квартале тонкая кухня, кафе. Люди говорят на десятках разных языков, но все спешат, и все изучили железный язык Нью-Йорка.

На Пятой авеню роскошные магазины; здесь можно увидеть супругу «короля холодильников» или «короля жевательной резинки», всю в бобрах, осыпанную бриллиантами. А в негритянском квартале — Гарлеме я видел такую картину: сидят полуголые негры, и вывеска «госпиталь»; я подумал, что это приемный покой, оказалось — «госпиталь для рубашек»: горемыки ждут, когда залатают их лохмотья, — рубашки на смену у них нет. В том же Гарлеме можно увидеть частные ломбарды — лавки ростовщиков, где люди закладывают за гроши одеяло, штаны, кастрюлю.

Есть в Нью-Йорке изумительные музеи, есть чудесный музей современного искусства; там я видел выставки — картины Шагала, полинезийское искусство; воистину дворец современности. На Пятьдесят седьмой улице что ни магазин, то картинная галлерея: торгуют шедеврами французской живописи. А в «китайском квартале» на вывесках парикмахеров — глаз и реклама: «Мгновенно вывожу синяки», — сюда после очередной драки забегают пострадавшие.

Город грязен: повсюду пыль, копоть, метет метель из хлопьев бумаги — газеты, проспекты, пакеты из-под сигарет. Люди потные, и пот черен от сажи, а одеты чисто — день и ночь работают огромные прачечные, колоссальные красильни. Такси выкрашены в яркие цвета, чтобы их сразу можно было обнаружить, такси множество, и под

вечер проехать почти невозможно; если торопишься, лучше пойти пешком. Замечательный туннель под рекой Гудзон соединяет Нью-Йорк с предместьями, находящимися в штате Нью-Джерсей. Непрерывным потоком движутся по этому туннелю машины. При въезде в туннель нужно заплатить чиновнику за проезд — так покрывается стоимость строительства: налогоплательщики не хотят оплачивать туннель, по которому, может быть, они не проедут. Над Нью-Йорком проходит автострада: можно доехать до центра города без пробок.

Есть на свете прекрасные города — Париж, Ленинград, Флоренция. Я не знаю, красив ли Нью-Йорк. Красота его не связана с нашими представлениями о гармонии. Каждый небоскреб, взятый отдельно, уродлив — пошлая эклектическая архитектура всемирных выставок, стилизация под готику, под ренессанс, под мавританщину. Однако то, что уродливо, когда перед тобой пятиэтажный дом, становится патетичным, когда наворочено пятьдесят этажей и когда небоскреб не уникум, не диковина, а обыкновенный дом, окруженный такими же. Есть величие и есть трагизм в этом нагромождении железобетона; оно передает жадность, лихорадку, размах, бесчеловечность империализма.

Я часто смотрел на город с мостов и вспоминал при этом Маяковского. Он посвятил Бруклинскому мосту прекрасные стихи. Это было двадцать лет назад; и Бруклинский мост и вид с него теперь кажутся отрочеством Нью-Йорка; мост Вашингтона потрясает нас куда больше. Город вырос вверх. Многое изменилось за эти двадцать лет — не только облик Нью-Йорка. Но Маяковский был поэтом, и он шел впереди века; ведь в его годы естественным было восхищение перед американской техникой, а Маяковский, увидев Новый Свет, заявил: «Наша задача не воспевать технику, а обуздать ее во имя интересов человечества». Он понял угрозу Нью-Йорка.

Вечером кажется, что ты в глубокой долине, вокруг уступы гор, и на них огоньки бесчисленных саклей. Беспокойная красота! Архитектор Корбюзье назвал этот город «катастрофической феерией». Может быть, правильнее сказать феерическая катастрофа? Нью-Йорк громок, пестр и нечеловечен.

Это даже не столица штата, а, если угодно, заштатный город, и это подлинная столица Америки. Здесь, а не в Вашингтоне, мозг страны — комитеты партий, редакции крупнейших газет, правления трестов. Здесь порой раздается голос народа, когда люди стекаются в огромное здание Мэдиссон-сквер и с арены, покрывая рев оркестра, гул толпы, совесть требует ответа.

3

Торопятся люди не только на Бродвее, а на всех авеню и улицах Нью-Йорка, на всех авеню и улицах других американских городов, торопятся днем и ночью, торопятся мужчины, женщины, дети.

До того, как я попал в Америку, я думал, что американцы делают все куда быстрее, чем европейцы. А здесь и бумажная канитель, и ответы «посмотрим, подумаем», и ожидание в передних, и бестолочь. Здесь медленно разрабатывают планы, медленно готовятся к их осуществлению, но когда, наконец-то, дело доходит до серийного производства, работают быстро. А торопятся американцы всегда, даже когда они бездельничают или отдыхают, — таков стиль жизни.

Несколько французов поспорили, почему американцы куда-то спешат; решили проверить. Один француз подкараулил обыкновенного американца, когда тот часов в девять утра выскочил из подъезда своего дома. Француз последовал за ним. Задыхаясь от волнения, американец купил газету, не развернул ее, купил на лету сигару, ворвался в метро, расталкивая всех; пробовал заглянуть в газету, но не мог — явно волновался, что опаздывает; выйдя из метро, помчался к одному из небоскребов; увидев, что лифт собирается взвиться вверх, переменил рысь на галоп; доехал, наконец, до своего тридцать шестого этажа и поспешно открыл ключом дверь в свою контору. Дверь была стеклянной; француз прилип к стеклу. Американец лихорадочно повесил пиджак на вешалку, сел в кресло, закурил сигару, развернул газету и тотчас уснул. Дел у него не было, и торопился он только потому, что не умел не торопиться.

4

Есть на свете иллюзорные границы: когда переезжаешь (или переходишь) из Франции в Бельгию, из Швеции в Норвегию, ничто не меняется. А в Америке все изумляет европейца. Даже американские деревья не похожи на европейские. В садах растет опасный кустарник: если его задеть рукой, на коже появятся долго не заживающие язвы. Природа явно не уступает небоскребам. Нигде я не видел таких неистовых гроз, таких оглушительных ливней. Летом очень жарко, но жара не европейская — сырая, как в оранжерее; люди то и дело становятся под душ, по нескольку раз в день меняют рубашки. Бури врываются в города и сбивают людей с ног. Огромные яблоки, гигантские груши, маслины, крупнее наших слив, — плоды большие, но лишены вкуса и запаха.

Все другое, непохожее. Если оратора освистали, значит, он понравился. Американцы обиделись, когда я им сказал, что они жестикулируют не руками, а ногами, — они сами этого не замечают. Ноги американца выразительны, и ногам предоставлены все права: их закидывают очень высоко, кладут на стул или на стол. Когда американец спорит, в споре участвуют и его ноги.

Люди здесь любят кочевать. Сидя в комнате, они то и дело вскакивают, меняются местами. Едва человек успел обставить дом, как он уже подыскивает новый, причем он старается обставить его попроще — уедет и бросит мебель. Американцы охотно переезжают из города в город, из штата в штат; как на диковину, показывают на человека, который живет там, где родился. До чего все это не похоже на быт, на нравы старой Англии! «Англо-саксонская общность», о которой много пишут в газетах, построена на чем угодно, только не на общности характеров. Англичанин вежлив, флегматичен; он любит дожить свой век в доме дедушки; костюм он заказывает из добротной материи, говоря: «Я недостаточно богат, чтобы покупать дешевые вещи»; и такой костюм он действительно проносит, если не до своей смерти, то до нового мирового кризиса. Американец любит только обновки. Он не шьет костюма на заказ — к чему? В любом магазине он найдет костюм, прекрасно сшитый и дешевый, поносит его и выбросит. Он

купит рубашку — красивую, но такую дрянную, что ее не стоит стирать. Он не лелеет воспоминаний и редко заглядывает в будущее, он живет сегодняшним днем.

Англичане слегка презирают американцев, как людей маловоспитанных. В Лондоне я слышал такой анекдот: к англичанину подходит американец и в выражениях, отнюдь не изысканных, спрашивает, где уборная. Англичанин отвечает: «Пойдете по коридору, вторая дверь направо, на ней написано: «Для джентльменов». Несмотря на это, войдите»...

Американцы относятся к англичанам, как к знатному дядюшке, который разорился, состарился и докучает всем своими хорошими манерами. В душе средний американец завидует этим манерам и злится; кроме того, он опасается, как бы дядюшка его не провел.

5

Хорошо ли живут американцы? По-моему, удобно, но неприятно.

Электрические бритвы. Радиоприемники с собственными батареями. Часы, которые не нужно заводить. Вечная ручка со сгущенными чернилами, ее не нужно наполнять. Лифты-экспрессы, которые несутся на сороковой этаж, не останавливаясь. Все это замечательно, и если я говорю, что американцы живут удобно, но неприятно, то только потому, что техника их подавляет.

В Детройте автомобилей так много, что не замечаешь людей; весь город — это заводы и гаражи. Даже гостиница, где я ночевал, называется «Кадиляк» — марка автомобиля, внутри все залы, все коридоры украшены гербами различных автомобильных заводов. В городе повсюду надписи, запрещающие оставлять машины на улице, и повсюду тысячи машин, оставленных на улице, вопреки предостережениям.

Замечательные автомобили! Их очень много. Возле каждого завода, возле каждого учреждения сотни, тысячи машин ждут окончания рабочего дня: автомобиль для среднего американца — предмет первой необходимости. Прежде американец менял автомобиль раз в два или в

три года. Теперь ему приходится «записываться» на новую машину. И все же каждый день на «кладбища автомобилей», то есть на пустыри, где разрешается бросать рухлядь, привозят десятки машин. Дороги превосходные, не нужно специальных автострад: все дороги — автострады. Любовь американца к хорошим, широким дорогам безгранична. В штате Виргиния на шоссе тратят больше, чем на школы...

Я не могу себе представить американский пейзаж без колонок с горючим. Это настоящие храмы — то в готическом стиле, то в китайском. Иногда при таких колонках — рестораны, универмаги, дансинги (можно потанцовать, пока заправляют машину), даже книжные магазины с полицейскими романами. Пока один рабочий отпускает горючее, другой чистит автомобиль. Путнику не страшно заночевать на дороге: кроме гостиниц, повсюду есть дешевые комнаты, которые местные жители сдают проезжим; во многих местах имеются особые «туристические домики» с ванной и с кухонькой.

Автомобиль — это не только средство передвижения, это — первая и последняя любовь американца. Он лелеет машину, он даже дает ей имя. Он служит ей и становится ее рабом. Мы подъехали к ресторану, я хотел было выйти, но американец удержал меня: обед принесли на подносиках, мы должны были есть в машине. Я чувствовал себя, как лошадь, которой подвязали мешок с овсом. Имеются загородные кино на открытом воздухе; люди ставят машины перед экраном и, не выходя из автомобиля, смотрят фильмы. Достаточно пройтись вечером по Центральному парку Нью-Йорка, чтобы ознакомиться еще с одним назначением автомобиля: для десятков тысяч влюбленных он заменяет свадебное ложе... Я видел, как многие американцы проводят свои каникулы: носятся по дорогам и горделиво считают, сколько миль они покрыли, не смотрят на пейзаж, не останавливаются, торопятся, торопятся извести старый автомобиль, а потом заработать доллары и купить новый, чтобы есть в нем консервы, наспех целоваться и чтобы притащить его на «кладбище автомобилей», а самому дорваться в пятой или в шестой машине до обыкновенного скучного кладбища с нумерованными аллеями и с нумерованными могилами.

6

Антисоветские идеологи любят изображать нашу страну, как казарму, в которой люди лишены индивидуальности. Советского читателя рассмешит удивление американских редакторов, которые, увидев Константина Симонова, генерала Галактионова и меня, изумлялись: «Помилуйте, они уж не так похожи один на другого!..»

На самом деле, я не знаю другой страны, которая достигла бы такого совершенства в стандартизации, как Соединенные Штаты. Я показывал американцам фотографии различных американских городов, и они не могли распознать свой родной город — до того однообразны города Америки. Я побывал в десятках городов, и я не могу вспомнить, чем отличается Джексон от Нашвилла или улица Филадельфии от улицы Детройта. В каждом городе есть Мэн-стрит — главная улица, — кино, модные лавки, гостиницы, рестораны, светящиеся рекламы напитка «кока-кола».

Вещи однообразные, как города: одни и те же галстуки, одни и те же кресла, одни и те же чашки. Это не упрек — именно благодаря серийному производству американцам удалось повысить материальный уровень жизни.

Я готов принять стандартизацию штанов, но меня смущает духовная стандартизация. Американцы очень любят говорить о своей индивидуальной свободе, однако их взгляды, вкусы, чувства, а следовательно, и поступки регулируются извне. Кино, например, устанавливает тип красоты, причем газеты услужливо сообщают все детали «идеально сложенной женщины» — это стандарт общего вожделения. Миллионы американок руководствуются такими справками, чтобы не только фигурой, но и поведением возможно более походить на ту или иную кинозвезду; а мужчины, сами того не замечая, влюбляются согласно тем же газетным данным.

Нет книг со средним тиражом: огромные тиражи или крохотные. Объясняется это тем, что средний американец не выбирает книгу для чтения, он передоверил право выбора различным клубам, устанавливающим «бестселлер» — книги, достойные того, чтобы их прочитали.

Много у американцев фантазии, если нужно придумать новую систему электрического утюга или ошеломляющую рекламу для жевательной резинки. А в духовной области они малоизобретательны. Пятнадцать лет назад я выписал из американского киножурнала названия картин, которые тогда показывали американцам: «Любовь на пляже», «Любовь в снегах», «Любовь индуски», «Любовь цыгана», «Любовь бандита», «Любовь Казановы», «Любовь запросто», «Кровавая любовь», «Первая любовь Фанни», «Последняя любовь Шопена», «Любовь на распутье», «Любовь в пустыне» и т. д. Теперь в Нью-Йорке я увидел весьма посредственный фильм «Парень с Бродвея». Через два месяца появились новые картины: «Мальчик с Бродвея», «Это случилось на Бродвее», «Дерево Бродвея». Идет фильм «Путь к солнцу», и сейчас же изготовляют «Дуэль на солнце», «Кровь на солнце», а раз есть последняя, не удивительно, что три недели спустя выпускают «Кровь на луне».

Сентиментальная жизнь среднего американца строго регулируется фильмами, романами, радио, пьесами. Эта жизнь достаточно скудна. Некто мистер Энтони, в прошлом шофер такси, для миллионов американцев — Петрарка, Шекспир, Толстой: раз в неделю он по радио обучает любви, отвечая на запросы ревнивых женихов. Он подсказывает любовные монологи, советует, как поступить. Любви обучают, как обращению со стиральной машиной...

Страшно не то, что все приказчики щеголяют в одинаковых рубашках и подносят своим возлюбленным одинаковые чулки; страшно, что при этом они говорят возлюбленным те же слова и возлюбленные в ответ улыбаются той же стандартной улыбкой. Страшно, что вы можете спросить первого встречного, как ему нравится «Парень с Бродвея» или что он думает о Франции, и вы будете знать мнение миллионов американцев.

7

В Америке очень много зарегистрированных культов, однако самая популярная религия — это долларопоклонничество. Доллар не только деньги, — доллар это боже-

ство, благодать, мистерия. Художественный критик, представив мне одного молодого художника, скороговоркой произнес фамилию, зато отчеканил: «Три тысячи долларов». Желая сказать приятелю комплимент, говорят: «Вы выглядите сегодня, как миллион долларов».

Меня пригласили на обед одного прогрессивного общества. Меню было обычным: компот с майонезом, куски гигантской курицы, которая по праву может быть названа пернатым бегемотом, мороженое; запивали это ледяной водой. Самые именитые гости сидели на подмостках. Когда все проглотили мороженое, председатель ударил деревянным молотком по столу и начал говорить о преимуществах мира над войной, вернее, он читал доклад, написанный заранее; то же самое проделали четыре других оратора. Вслед за этим к микрофону подошла певица и спела сентиментальный романс. Ее сменил пастор — специалист по сбору денег. Все знают, что пасторы умеют собирать деньги куда лучше, чем инженеры, врачи или журналисты, поэтому у пасторов существует подсобный заработок — ежевечерне на различных обедах они собирают деньги то в пользу частного университета, то, чтобы поддержать китайских миссионеров, то для сирот полицейских. В тот вечер пастор собирал на «дело защиты мира»; он говорил очень громко и страстно, обильно жестикулируя. Перед ним лежал список лиц, которые заранее согласились дать кто тысячу, кто пятьсот долларов. Изобразив удивление, пастор закричал: «Мистер Смитс потрясает меня своей щедростью — только что мне сообщили, что он жертвует тысячу долларов!» Раздались дружные аплодисменты, мистер Смитс встал, кокетливо раскланялся. Потом пастор перешел к тем, кто дал по двести долларов. Девушки рыскали между столиками и собирали чеки. Когда я сказал, что у нас люди, борясь за мир, отдавали свою жизнь с большей скромностью, чем присутствующие дают доллары, меня не поняли, а один американец участливо спросил: «Вы не больны?» Будучи «прогрессивным», он мог отрицать все, только не доллары.

Помимо культа доллара, общераспространен культ успеха. Равно восторгаются успехами сенатора и кинозвезды, боксера и гангстера. Есть не присущее европейской буржуазии пренебрежение к прошлому: человек

может обанкротиться, пасть на самое дно, но если ему повезет и он снова выплывет, его встретят как победителя.

Конферансье в кабаре объявляет публике: «Среди нас находится известный русский писатель». Аплодисменты. Потом конферансье объявляет, что в зале другие именитые гости: сенатор, знаменитая певица и некто Девис. Чем славен этот Девис? У него магазин электрических приборов, и он «после войны увеличил втрое свои обороты». Овация.

Любовь к рекордам. Один проповедник недавно сказал в церкви: «Особенно велик Иисус Навин, который, остановив солнце, побил этим рекорд чудес»...

8

Половина, а иногда три четверти газетных полос заняты рекламой. Рекламируют все: курорты и морковь, книги и акции, пейзажи Утрилло и унитазы. Дороги Америки ночью светлы от реклам. Рядом с оранжевым драконом, прославляющим колбасу, световой портрет кандидата в сенаторы. Предвыборная пропаганда мало чем отличается от рекламы: редко говорят о программах, о принципах, зато избиратель узнает, что кандидат — исправный семьянин, отец четырех ангельских малюток, что он сам встал на ноги, что у него дома холодильник послевоенного выпуска, что он курит сигареты «честерфильд», что он добр, как рождественский дед, и притом экономен.

В рекламе нуждаются не только сенаторы, но даже господь бог. Возле Нового Орлеана я видел среди световых реклам цитаты из библии. В субботних номерах провинциальных газет не меньше двух полос отведено анонсам различных церквей и сект, заманивающих людей на свои богослужения. Вот цитаты из двух объявлений: «Богослужение сопровождается красивой музыкой. Комфорт. Буфет», «После богослужения будет показан цветной фильм, рельефно изображающий вознесение праведников на небо».

Редактор одной из самых больших газет Америки пригласил нас на завтрак. Он гордо показал нам роскошный кабинет, украшенный различными фотографиями, среди них был портрет Муссолини с трогательным автографом.

Потом мы сели за стол. Вместо виски или коктейля нам выдали красиво напечатанную молитву, которую мы могли повторить перед едой. Над молитвой было изображено здание, где помещается газета, — молитва была и сувениром и рекламой.

У рекламы есть свои короли. Реклама не брезгует рекламой, и Дуглас Лайг оповещает всех, что его световая вывеска на Сорок второй улице составлена из самых крупных букв в мире. Каждая буква пятьдесят футов — высота пяти этажей, а все объявление занимает две тысячи квадратных футов и весит сорок тонн.

Включив радио, среди симфонической музыки вы обязательно услышите, что концерт из произведений Бетховена преподнесен уважаемым слушателям фирмой, изготовляющей легчайшее, но вернейшее слабительное. Причем реклама часто апеллирует к благородству: так, например, призывы помочь разоренной Европе или пострадавшим на войне соотечественникам исходят от ювелирной фирмы, которая скупает бриллианты.

Во многих американских городах я видел следующую рекламу: «500 000 000 людей на земле голодают. Будьте экономны! Гейнц —57 соусов». Фирма Гейнц изготовляет различные консервы, особенно она горда своими пятьюдесятью семью соусами. Я удивился — почему к человеческой солидарности взывает фирма, изготовляющая сосиски? Своими сомнениями я поделился с председателем торговой палаты города Джексон. Он в свою очередь удивился — как я не понимаю столь элементарных вещей? Он сказал мне: «Гейнцу выгодна всякая реклама. В то же время он делает гуманное дело. Будь это подписано Трумэном или другим политиком, никто не поверил бы, а фирма Гейнц известна как очень солидная фирма, заслуживающая доверия, и если Гейнц говорит, что китайцы голодают, значит, это правда»...

9

Американцы любят клубы: быть членом какого-нибудь клуба для коммерсанта, да и для среднего интеллигента, необходимо, иначе его не будут уважать. Кроме того,

клуб — средство улучшить «бизнес» — выгодно купить или продать. Клубы еженедельно устраивают в одной из гостиниц деловые завтраки; раз в год устраивают обеды, на них члены клуба приходят со своими супругами. Есть клубы «Ротари», «Львов», «Оленей», «Оптимистов», много других.

Я расскажу о завтраке клуба «Львов» в одном южном городе. Собрались почтенные коммерсанты среднего возраста; у каждого на груди была картонная бирка с указанием, где и чем он торгует. Председатель, постучав молотком, бодро выкрикнул: «Здорово, львы!» Тотчас все коммерсанты встали и четырежды провыли: «У! У! У! У!» Я перепугался, но мне объяснили, что это имитация львиного рыка. Засим председатель представил собравшимся двух новых членов клуба: «Вот наши новые львы. Скажите, Джек, как вы хотите именоваться в нашей среде?» Унылый торговец ответил: «Счастливым». Другой, тучный и лысый, выбрал себе имя «Проворный». Председатель объявил, что, как положено, на завтраке присутствует гость-докладчик, это профессор экономии, он расскажет «львам» о заблуждениях Вашингтона. Профессор выступил с грозным обвинением: Вашингтон, то есть Белый дом, покровительствует кооперативам, нанося удар частной инициативе. «Так легко докатиться до европейского варварства, то есть до социализма!» «Львы» возмущенно зарычали и занялись «бизнесом».

В Америке триста пятьдесят клубов «оптимистов». В некоторых городах «оптимисты» еженедельно хохочут, как «львы» рычат. Я спросил одного детройтского «оптимиста», в чем выражается оптимизм членов клуба. Он ответил: «Мы стараемся бодро глядеть на будущее, и к тому же мы даем деньги на воспитание одной сиротки». Объединение клубов «оптимистов» устроило недавно «оптимистическую неделю». «Оптимисты», а также их знакомые пессимисты, получили карточку, на которой напечатана философия оптимизма в изложении мистера Ларсона. Среди заповедей оптимизма имеются такие: «Относитесь к успеху другого с таким же энтузиазмом, как к своему собственному», «Дайте понять вашим друзьям, что они собой нечто представляют», «Забудьте о неприятностях в прошлом и думайте только о счастливом будущем».

Есть клубы более специального назначения, например клуб «Любителей коз долины Сан-Фернандо». Как известно, при испытании атомных бомб в Бикини погибло несколько коз. Члены названного клуба решили отметить трагическое событие — приспустить флаги и отслужить панихиды.

Американцы умеют зарабатывать деньги, они еще не научились их расходовать. Я не хочу этим сказать, что они скупы; нет, они тратят деньги быстро и энергично, но им нехватает выдумки. В кино меня поражала одурь: люди дремлют, и вдруг раздается громкий, как бы механический смех.

Молодой человек пригласил в кино девушку, он провожает ее, и у подъезда своего дома девушка неизменно повторяет заученную форму: «Теперь можете меня поцеловать и до свидания».

Один американец сказал мне: «У нас пуританская мораль, но она смягчается изобилием виски»... Действительно, здесь пьют очень много, пьют, чтобы забыть о тормозах. Когда собирается молодежь, через час или два многие пьяны, прежде других — девушки.

Покупают газеты ради глупых историй, поданных в виде рисунков «комикс». Два миллиона людей смотрят ежедневно на Бродвее мультипликации-рекламы, сделанные из электрических лампочек: кто-то кого-то бьет; люди смеются. Кидают монету в щель механического оракула, который предсказывает счастье в делах и горе в любви. Издали люди кажутся веселыми, а подойдешь поближе — усталость, грусть, тяжелая, дымная, потная грусть Америки.

10

Средний американец в среднем американском городе с уверенностью вам скажет, что он — самый свободный человек на свете. Он считает, что государство не имеет права вмешиваться в жизнь граждан; поэтому он горячий сторонник частной инициативы. Я уже не говорю о слове «коммунист», но даже слово «социалист» выводит среднего американца из себя. Недавно один американец подал в суд на другого за оскорбление: обидчик назвал обижен-

ного «социалистом»; истец выиграл дело — «обидчика» присудили к штрафу. Электрические центральные станции принадлежат частным лицам, и всякие проекты национализации или муниципализации воспринимаются как покушение на свободу среднего американца, хоть этот средний американец платит втридорога частной фирме за электроэнергию.

Я осмотрел строительство в долине Теннесси. Покойный президент Рузвельт осуществил электрификацию семи южных штатов. На него нападали газеты, говоря, что налогоплательщики не хотят оплачивать «безумные проекты». Теперь электростанция работает, жизненный уровень населения резко повысился, но газеты до сих пор ворчат, и вслед за ними ворчат наивные читатели: «Вот на что идут наши денежки!..» Центральная станция долины Теннесси приносит государству доходы, но налогоплательщики об этом не знают — газеты, которые ограждают интересы частных лиц (то есть трестов электричества), отказываются печатать правительственные данные о расходах по строительству и о доходах электроцентрали.

Частный газ. Частный водопровод. Частные дороги. Я ехал из Джексона в Луизиану; мост, соединяющий два штата, принадлежит частной фирме, и за переезд мы заплатили полтора доллара. Американцы вздыхают, но платят, гордо приговаривая: «Зато у нас государство не вмешивается в частные дела»...

Однако государство в лице отдельных штатов, кажется, только то и делает, что вмешивается в частную жизнь своих граждан. Полиция может ворваться ночью в любой номер нью-йоркской гостиницы и, увидев пару, потребовать брачное свидетельство. В гостинице, где я провел несколько дней, произошел забавный случай: увезли в полицию двух влюбленных, у которых не было брачного свидетельства. Они оказались супругами, обвенчанными по всем правилам, и предъявили иск хозяину гостиницы за оскорбление. Для того, чтобы поскорее обвенчаться, нужно из Теннесси съездить в Алабаму. На границе штата Алабама я видел зазывающие надписи: «Идите сюда! Я венчаю быстро и дешево», «Молниеносное венчание за 4 доллара!» В Нью-Йорке развестись трудно — нужно нанять свидетелей, доказывающих акт супружеской измены, и

трепать свое доброе имя по судам. Но можно посетить штат Неваду — там разводят быстро и относительно недорого. Города этого штата разбогатели: горе-туристы приезжают сюда из всей Америки; в гостиницах нельзя достать комнату, и разводящиеся, которые несколько лет жили врозь, на прощание поселяются в одной комнате.

Во многих штатах — сухой или полусухой закон. В штате Миссисипи запрещена продажа вина, и жители Миссисипи, желающие промочить горло, направляются за границу штата Луизиана; там я видел много питейных заведений, одно с выразительной вывеской «Последний шанс». В Вашингтоне разрешается пить сидя, но не стоя. Я сидел в вагон-ресторане и пил виски. Вдруг официант унес мой стакан, объяснив: «Мы въехали на территорию сухого штата, через два часа из него мы выберемся, и тогда снова будем отпускать виски».

Вмешательство государства относится не только к сердцу или к желудку, но и к мозгам. Я был в университете штата Теннесси, профессора мне там рассказали, что законы этого штата запрещают излагать в школах теорию эволюции — биологи должны придерживаться мифа об Адаме и Еве. Государство не вмешивается, когда трест грабит людей, но государство зорко следит за тем, что вы пьете, с кем целуетесь и что думаете.

11

История Соединенных Штатов не уходит в далекие века, это воистину новая история; люди живут злободневностью. Между утренней и вечерней газетой для среднего американца проходит чуть ли не эпоха, и не всегда вечером он помнит, что именно его волновало утром. Одна дама сказала мне: «Этот роман вы не станете читать — ведь это не новинка, он издан два года назад»...

Европеец здесь все время чувствует: чего-то нехватает... Чего же нет в этой богатой стране? Прошлого, тех старых камней, которых в Европе часто не замечаешь, но которые помогают мыслить и жить. Естественно, что американцы окружают любовью и пиететом редкие памятники своей

неглубокой старины, будь то поместье Вашингтона, или домик Лонгфелло, или таверна Нового Орлеана. Самая старая часть Америки называется Новой Англией. «Здесь, как в английской провинции», — с гордостью говорят американцы. А европеец улыбается: перед ним все та же Америка...

Новый Орлеан когда-то принадлежал Франции; до сих пор в городе живут «креолы», которые могут изъясняться на ломаном французском языке. Есть рестораны, сберегшие высокие традиции французской кухни. Есть даже целый квартал с домами восемнадцатого века, с узкими улицами, сохранившими французские названия. В Америке старые дома кажутся особенно милыми, и перед одним из таких домов я невольно присягнул на верность Европе.

Для американцев Новый Орлеан нечто вроде Помпеи, место паломничества. В старом квартале каждый дом — лавка антиквара или стилизованная таверна. Я был там в очень знойный день (тропики неподалеку) и увидел страшную сцену: в одной таверне для «атмосферы» зажгли огромный камин. Американцы, обливаясь потом, пили ледяную воду и все же сидели возле камина — им хотелось провести хотя бы несколько минут в настоящем старинном доме, где, вместо радиаторов или электрических печек, огромный задымленный очаг. Нельзя понять американцев, если позабыть о возрасте этой страны. Американцы, как дети, — непосредственны, откровенны, любопытны, шумливы.

Я разговаривал с одним из самых крупных ученых нашего времени, с профессором Эйнштейном. Я показал ему статью в американской газете, где восстановление Сталинграда изображалось чуть ли не как акт «красного империализма». Эйнштейн ответил мне: «Еще недавно слово «Сталинград» вызывало у читателей этой газеты, как и у всех американцев, бурю восторга. Теперь читатели этой газеты забыли о том, что такое Сталинград, — здесь умеют забывать»... И Эйнштейн рассказал мне об одном африканском племени. Люди этого племени дают детям имена по названиям предметов или явлений: «Гора», «Пальма», «Заря», «Ястреб». Когда человек умирает, его имя становится запретным («табу»), и приходится

подыскивать новые существительные для горы, для зари и ястреба. Понятно, что у такого племени нет ни истории, ни традиций, ни легенд.

12

Средний американец, глядя на заводы, на мосты Нью-Йорка, на рестораны-автоматы, на электрические бритвы, готов поверить, что вся человеческая культура сосредоточена в Америке. Один журналист в Джексоне сказал мне: «Рим — это грязный и некрасивый город, там не на что посмотреть — ни одного небоскреба, аптеки плохие, в кино старые фильмы. После Рима Джексон мне показался столицей». Как объяснить такому человеку, что древние базилики или дворцы Возрождения прекраснее небоскребов Джексона, что, кроме аптеки, где можно купить вечную ручку последней системы или съесть сосиски с одним из пятидесяти семи соусов, существуют мозаики Византии и фрески Рафаэля?

Американцы всегда плохо знали Европу; прежде они уважали Старый Свет, теперь они преисполнены пренебрежения. Это пренебрежение человека, которого обошло горе. «Нам надоело помогать безработным европейцам»,— сказал мне один адвокат. В другой раз я услышал такое рассуждение: «Европейцы друг с другом дерутся, а мы должны сначала их освобождать, потом их содержать»...

История и география Советского Союза остаются для среднего американца туманными понятиями. Тот самый адвокат, который не хочет больше помогать «безработным европейцам», сказал мне: «Турки, которые живут в Болгарии, хуже, чем турки, которые живут в Турции». Когда я сказал, что в Болгарии нет турок, он ответил: «Но ведь болгары — это турки»... Один журналист не хотел поверить, что Бухарест и Будапешт два различных города, он говорил: «Это то же название, только произносят его по-разному».

Я спросил десяток школьников в штате Миссисипи: «Кто-нибудь из вас может назвать хоть бы один город Советского Союза?» Долго вспоминали, но не вспомнили...

В Новом Орлеане одна почтенная дама, профессор социологии, жаждала со мною познакомиться. На очередном банкете ее посадили рядом со мной. Она обратилась ко мне: «Я прочитала все, что вы написали», а потом простодушно спросила: «Скажите, вы белый русский или красный?» Не щадя ее нервов, я сухо ответил: «Красный». Она растерялась, а подумав минуту, показала мне на томатовый соус Гейнца: «Сегодня все красное в вашу честь»...

Американские солдаты так высокомерно относились к населению Франции, что военное командование Соединенных Штатов вынуждено было издать особую книжицу с объяснением, что французы не заслуживают презрения. В этой книжице перечисляются отзывы американских солдат о французах, и если книжка плохая защита Франции, она хороший обвинительный акт американской слепоте и американской спеси. Приведу несколько цитат: «Мы дважды в течение двадцати лет спасаем французов. Мы им дали все — автомобили, вагоны, продовольствие. Что они сделали для нас?.. Французы — отсталый народ. Эти лягушатники лишены воображения. Что они дали миру?.. Французы грязны. Они носят поношенную одежду. Метро воняет чесноком, пóтом... Они лентяи... Французы нас не любят. Другое дело немцы. Немцы куда чище французов, лучше одеты, более дисциплинированны... Было бы естественнее, если бы мы были союзниками немцев. К тому же, немцы миролюбивы, а французы забияки»...

Американские солдаты, вернувшиеся из Европы, с уважением говорят о германских городах. Это понятно: средний американец отожествляет культуру и технику. Промышленная Германия ему кажется почти достойной стать сорок девятым (пусть отсталым) штатом Америки. Что касается одичания, рожденного годами фашизма, то оно мало беспокоит среднего американца — он ведь и сам пристрастен к расовой теории...

13

Американский народ образовался от смешения разноплеменных пришельцев. Многие иммигранты еще сохранили родной язык. Здесь выходят газеты на десятках европейских языков: итальянские, польские, немецкие,

испанские, русские, сербские, еврейские, украинские, чешские и другие. Возле Чикаго имеются целые районы, где не услышишь другого языка, кроме немецкого. Названия городов говорят о происхождении: есть свой Лондон, несколько Римов, четыре Москвы, есть Петербург, Афины, Флоренция, Монпелье, Новый Орлеан, Ньюкасл. Каждая национальная группа сохранила свои особенности; однако дети иммигрантов, не говоря уж о внуках, чувствуют себя американцами. Быстрота ассимиляции облегчается тем, что в Америку приезжают люди, которые все потеряли у себя на родине; даже если новый дом им не по душе, они понимают, что возврата нет, и уговаривают себя, что попали в обетованную землю.

Казалось бы, в этой разноплеменной стране, объединенной молодым патриотизмом, должно царить национальное равенство. Между тем Америка, не знавшая феодализма, установила у себя другую иерархию — расовую.

Аристократия — это англичане, шотландцы, ирландцы; за ними идут скандинавы и немцы; потом французы и славяне; много ниже — итальянцы; еще ниже — евреи и китайцы; еще ниже порториканцы; наконец — внизу лестницы — негры.

Американцы любят пить смеси из различных крепких напитков — коктейли. Коктейлей много; есть один, с виду похожий на радугу: ликеры — желтый, изумрудный, малиновый, — не смешиваясь в рюмке, ложатся разноцветными пластами. Я часто вспоминал этот коктейль, видя расовые пласты Америки. Как странно, что идея «расовой чистоты» находит самых яростных защитников в стране, которая сильна смешением различных племен! Можно любить или не любить коктейли, но трудно себе представить бармена, изготовляющего смеси, который настаивает на чистоте, органичности и выдержанности приготовленного им напитка. А вот в Америке я видел множество расистов, которые твердят о превосходстве «американской расы» над всеми другими народами.

Расизм здесь имеет законное хождение. В различных документах проставлено, какой расы человек: «белый» или «цветной». Если у человека «цветной» прадедушка, он значится «цветным» и подвергается множеству ограничений. Мы были гостями американского правительства, и я

не раз усмехался, думая, что сделали бы представители Государственного департамента (Министерства иностранных дел), которые нас сопровождали, если бы в Америку попал Александр Сергеевич Пушкин...

Я был в Нашвилле у одного адвоката, который долго меня убеждал в том, что есть «низшие и высшие расы». Он повторял теории Розенберга и других идеологов Третьего райха. Потом он показал мне портрет своего брата, погибшего на Рейне. Я сказал: «Это горькая ирония истории — ваш брат погиб, сражаясь против той теории, которую вы защищаете». Адвокат пожал плечами: «Мой брат погиб за Америку».

Антисемитизм в Америке — бытовое явление; многие его не замечают, им кажется естественным, что тот или иной хозяин нанимает только «арийцев» или что имеются гостиницы, куда не пускают евреев. Один американец мне говорил: «Это не страшно: если еврея не возьмут здесь, он найдет работу там. Не пустят в одну гостиницу, пойдет в другую. К счастью, у нас достаточно комфортабельных гостиниц». Как понять такому американцу, что, кроме комфорта, есть человеческое достоинство?.. Расизм в Нью-Йорке вынужден маскироваться, но камуфляж никого не обманывает. Нельзя, например, написать: «Гостиница «Виктория». Евреев не пускают». Пишут иначе: «Гостиница «Виктория». Ограниченная клиентура, церковь близко». Все хорошо знают, что значит эта формула, и еврей уж не зайдет в «Викторию». Еврей также хорошо знает, что озера, находящиеся в штате Коннектикут, очень живописны, но опасны: купаться в них разрешается только «арийцам».

В Нью-Йорке живут два миллиона евреев; есть среди них бедные и богатые, знаменитые и никому неизвестные; по конституции они полноправные граждане, но ежечасно они ощущают на себе расовую дискриминацию. При приеме во многие университеты существует (разумеется, камуфлированная) «процентная норма». В некоторых кварталах ни за что не сдадут квартиру еврейской семье. Редко еврея принимают на государственную службу.

На Западном побережье парии — это китайцы: их не пустят ни в дом, ни в гостиницу, ни в ресторан. Имеются клубы и общества, куда не может проникнуть итальянец,—

это ведь тоже представитель «низшей расы». Особенно трагична судьба негров; их в Соединенных Штатах свыше двенадцати миллионов, и когда американцы твердят о своих правах, мы можем возразить, что один из десяти американцев лишен простейшего права — быть человеком.

В Вашингтоне один изысканный американец, обладатель яхты, пригласил нас покататься по Потомаку. Пейзаж был идиллическим. Мы увидали негров в лодочке. Жена владельца яхты сказала: «Видите, им никто не запрещает кататься по реке»... Она ждала, что я растрогаюсь, но я рассердился и сказал все, что я думаю о расовом угнетении. Тогда прелестная американка усмехнулась: «Если бы у вас была дочь, согласились бы вы, чтобы она вышла замуж за негра?» Я ответил: это зависит от того, какой негр. Она не поверила: «Вы хотите быть оригиналом»... Потом я слышал вопрос о дочке и негре по меньшей мере сто раз — это любимая присказка расистов. По меньшей мере сто раз я отвечал так же, как даме на яхте. И никто мне не поверил...

Ньюйоркцы любят подчеркивать либерализм Севера: «Наши деды сражались против рабства». В городах Севера и Юга имеются памятники солдатам, погибшим на войне 1861—1865 годов. Южане прославляют «защитников свободы» (то есть рабства), северяне — «победителей» — да, на поле боя победил Север; армии рабовладельцев были разбиты. Но не раз, когда я ездил по Америке, мне казалось, что победили побежденные: Юг не только сохранил все навыки рабовладельчества, но передал их Северу.

«Институт для изучения общественного мнения» недавно провел анкету: нужно ли предоставить «цветным» равноправие в работе (только в работе!). Тридцать четыре процента опрошенных высказались за смягчение расовой нетерпимости, пятьдесят шесть процентов — за ее полное сохранение.

Расизмом гонители заразили даже гонимых. Среди негров есть своя аристократия — мулаты. Я слышал, как один негр говорил о негритянке: «Я ее недостоин, у нее почти светлая кожа»... Я встречал негров-антисемитов и евреев, уверовавших в превосходство белой масти над черной.

14

Частенько я убегал из центра Нью-Йорка в Гарлем — это город негров, черное гетто. Там вдоволь грязи, нищеты, и мало там великолепной американской техники. Но люди там веселее, проще, человечнее; толпа на улицах Гарлема напоминает толпу южноевропейского порта. Негры живут в Гарлеме потому, что в других кварталах им не сдают помещения; эта трущоба в Гарлеме стоит дороже, чем приличная комната в другом квартале. Негры живут в Гарлеме, а утром они отправляются работать в «белые» кварталы — мусорщики и лифтеры, посыльные и печники, сторожа и каменщики. Они — черные, следовательно, для них черная работа. Их обирают, ими помыкают, над ними издеваются.

Теоретически в Нью-Йорке существует равноправие рас. Нельзя выгнать негра из ресторана, сказав ему: «Уходите потому, что вы негр». Но можно сказать: «Все столики заняты», даже если все столики свободны. Закон законом, а ни в один добропорядочный американский ресторан негра не пустят. Я хотел пригласить знакомых негров — журналиста и музыканта — к себе; я жил в гостинице на четырнадцатом этаже: меня предупредили, что негров не подымут на лифте, скажут, что лифт испорчен.

Нью-Йорк считается самым прогрессивным городом Америки; я был в редакции одного из самых прогрессивных журналов этого самого прогрессивного города; желая блеснуть передо мной своей прогрессивностью, редактор сказал: «У нас работают также и негры, сейчас я вам представлю одного», и показал курьера.

Я подружился с неграми, в них не только много сердечной доброты, они люди той стихии, которая мне дороже всего, — искусства. В Америке множество чудес, есть здесь все, в том числе искусство — самые богатые музеи, самые большие симфонические оркестры, самые крупные издательства художественной литературы. Но в Нью-Йорке часто сердце грызет тоска... Я вспоминаю чудесную сказку Андерсена о богдыхане и соловье. Владыке Китая пода-

рили заводную игрушку — механического соловья, он пел так же хорошо, как настоящий, притом он всегда был под рукой и пел не когда ему хотелось, а когда заводили завод. Но вот приблизилась смерть, она стояла над покинутым богдыханом, он хотел заглушить ее голос, и тщетно он просил механического соловья: «Пой!» — машинка испортилась. Спас богдыхана живой соловей, которого он давно изгнал из своего сада. Негры — живые соловьи Америки. И когда я тосковал по искусству, я убегал в зачумленный Гарлем. Негры — лучшие музыканты, лучшие певцы, лучшие танцоры, лучшие мимы; они одарены высоким чувством ритма, в них нет механичности. Когда они играют, кажется, мертвый встанет из гроба. Их песни печальны, как их судьба, но вдруг детская улыбка прерывает жалобу, и нигде так не веселятся, не радуются жизни, как в трущобах Гарлема.

В центре Нью-Йорка имеются театры, где играют негритянские труппы; играют они прекрасно, и белые им охотно аплодируют. Но если негр-актер захочет перекусить в соседнем ресторане, его преспокойно выпроводят. Нью-Йорк еще не пережил смертельной тоски богдыхана, и живой соловей еще в ссылке...

15

В Государственном департаменте нас спросили, какую часть Америки мы хотим осмотреть. Симонов сказал, что его интересует кино и он желает побывать в Голливуде. Генерала Галактионова редакция одной из крупнейших газет пригласила в Чикаго. Когда я произнес слово «Юг», американцы замолкли; потом мне возразили — это далеко и там недостаточно комфорта. Я ответил, что из Москвы до Вашингтона дальше, чем из Вашингтона до Миссисипи, и что я был военным корреспондентом, после землянок и блиндажей я не боюсь отсутствия комфорта. Я хотел посмотреть Юг и потому, что мне сразу пришлись по душе негры, и потому, что запомнил книги, которые читал в детстве, — о горе черных, и потому, что люблю романы современных американских писателей, посвященные Югу.

Поезд. Удобные полупустые вагоны, белые пьют виски и дремлют. Переполненный вагон — черные. Проливной дождь, остановка трамвая. Подходит вагон, он пуст, но негритянки с детьми остаются под ливнем: места, отведенные для негров, заняты. Парк, надпись: «Цветным не входить». Магазин обуви. Негр должен выбрать ботинки, не примеряя их: после того, как черный примерял ботинки, их нельзя предложить белому. Сколько мне говорили американцы о своих свободах — свобода печати, совести, передвижения! Увы, забыли об одной свободе — примерять ботинки...

Во всех южных штатах существует закон о «разделении рас»; расовая дискриминация здесь не обычаи, но государственные законы. Негры не имеют права присутствовать на собраниях белых, не смеют войти в церковь, где молятся белые, разумеется, они не должны и мечтать о театрах или кино для белых.

Я исколесил четыре штата: Теннесси, Алабаму, Миссисипи, Луизиану. Я видел много прекрасного: и строительство долины Теннесси, где выросли большие города с удобными коттеджами, и старину Нового Орлеана, и горы, и широкие реки, и лазурь Мексиканского залива. Но на каждом шагу я видел то, что страшнее всего: оскорбление человека человеком. На Юге, как и на Севере, превосходные вокзалы. Я хотел бы прославить страну, где столько сделано, чтобы облегчить будни человека, но я не могу ее прославить: на превосходных вокзалах я видел вонючие, темные закутки с вывеской: «Для цветных». Нас пригласил к себе владелец хлопковых плантаций. Он жил в хорошем доме, окруженном старыми деревьями. У него были жена, нарядная и белая, дети, белые и нарядные. Вокруг трудились потные черные рабы. В доме плантатора были все чудеса Америки — от мощного радиоприемника, который принимал Ташкент, Мельбурн и Андорру, до вращающегося вентилятора. Я заговорил о муках негров. Плантатор, улыбаясь, ответил, что нельзя подходить к неграм, как к людям: «Это скорее животные»... Ни радио, ни вентилятор не отразились на умственном развитии этого рабовладельца. Уходя от него, я сказал моим попутчикам: «Это не человек, а скорее животное»...

16

Дельта Миссисипи — хлопковые плантации. Земля принадлежит белым, они ее сдают черным. «Арендаторы» должны отдавать половину собранного хлопка землевладельцу, другую половину они обязаны продавать ему же, причем цену на хлопок устанавливает хозяин, а гроши, которые получают негры, они могут тратить только в лавке, которую держит все тот же хозяин. Может быть, для американских юристов это — аренда, на самом деле это — рабство. Я видел владельцев земли, они же — скупщики хлопка, они же — торговцы обувью, керосином и солью. Я вспомнил картинки, которыми когда-то обклеивали сигарные коробки: рабовладелец с кнутом и пестрые негритянки на плантациях... При мне такой владелец покрикивал на старых негров: «Эй, Джон, живее!..»

Я зашел в лачугу, в ней ютятся двадцать три человека; спят вповалку. О, как далеко отсюда до прославленной американской техники, до искусственно охлаждаемого воздуха и суперкомфорта! Здесь нечем дышать, лохмотья и зловоние. В сверхгигиенической Америке люди живут звериным бытом. Негритянка мне рассказала, что ее сестра умерла от родов: позвать доктора муж не мог — он за год заработал сто восемьдесят долларов, а врачу нужно было заплатить шестьдесят. Я видел семью в семь человек, они все вместе заработали за год триста долларов; другая семья, из четырех душ, заработала двести долларов. Владелец плантации считался мелким плантатором. Он жаловался, что прошлый год был неудачным. Я спросил, сколько же он заработал за год; он ответил: «Очень мало — всего двадцать пять тысяч долларов»...

Один из рабовладельцев Луизианы объяснил мне: «Вы не знаете негров, они живут, как в раю, им ведь ничего больше не нужно»... Школы при плантации не было; зато для негров устроили церковь с черным пастором. Умирая от непосильной работы, старые седые негры поют аллилуйю. Один негр мне сказал: «Я верю, что на том свете есть два рая — для белых и для черных — и что рай для черных не хуже»... Он не мог себе представить и рая без расового разделения.

Рабовладелец, не смущаясь, приговаривал: «Кушайте орехи. Пейте виски. Хорошо, что русский гость приехал к нам. Ведь в России есть тоже хлопок?..» Я глядел на яркожелтую реку, на широкую Миссисипи. Я знаю, что такое человеческое горе, и все же на берегах этой реки я не находил слов: мне стыдно было глядеть на людей.

17

За последние годы Юг переменился: выросли большие индустриальные города. Еще патриархальны и романтичны Ливингстон или Начез. А Бирмингем напоминает промышленный центр Севера: такие же заводы, такая же Мэн-стрит.

В Бирмингеме находятся огромные металлургические заводы. Современное оборудование; среди рабочих много черных; и вот кажется, что ты на хлопковой плантации, — южанам удалось совместить ультрасовременные станки с древнейшим рабством. На заводах негры выполняют самую тяжелую работу, они не могут быть ни сталеварами, ни механиками, ни электротехниками. Чернорабочий-негр получает в час на пятнадцать центов меньше, чем чернорабочий-белый.

Расизм проник в толщу американских рабочих; здесь много людей, которые умеют пользоваться холодильником, а думать не умеют. Они говорят: «Пусть хозяин и зарабатывает хорошо, нам тоже перепадет»... У них еще нет классового сознания. Многими профессиональными союзами руководят авантюристы или продажные демагоги; эти люди говорят рабочим, что беда не в алчности белых хозяев, а в черной коже изголодавшихся «конкурентов». В годы войны нехватало рабочих рук; на заводы Севера брали негров, стараясь при этом выиграть столько-то долларов, — негры дешевле. Гнев рабочих обрушивался не на белых эксплоататоров, а на злосчастных негров. Только недавно образовались прогрессивные профсоюзы, объединяющие белых и черных рабочих. Такие союзы имеются далеко не повсюду. А другие — расистские объединения — не хотят допустить негров к квалифицированной ра-

боте; были на этой почве и забастовки и настоящие погромы.

В Бирмингеме рабочие-негры живут бедно и одиноко. Негритянское гетто города состоит из лачуг. Над неграми висит одиночество, это — отверженные. Я был у одного негра, это — председатель «черной» секции прогрессивного профсоюза, человек смелый и мыслящий. Меня поразила в нем та мудрость, которая дается годами горя и борьбы. Ему удалось включить недавно негров в профсоюз. Я спросил его, какие у него отношения с белыми товарищами. Он ответил: «На работе хорошие». «Бываете у кого-нибудь из них?» — «Нет». «А к вам приходят белые товарищи?» — «Никогда».

18

По конституции Соединенных Штатов, в выборах имеют право участвовать все граждане и гражданки, независимо от того, какой они расы. Однако негры в южных штатах лишены права голоса. В штате Алабама три миллиона жителей, из них миллион сто тысяч — негры. А среди избирателей штата четыреста девяносто шесть тысяч белых и четыре тысячи негров. В Бирмингеме негров, которые достигли двадцати одного года, сто тридцать тысяч, а в избирательных списках всего-навсего тысяча четыреста негров — из ста негров позволяют голосовать одному. В штате Миссисипи негры составляют половину населения, и половина населения штата лишена права голоса.

Как обходят южные штаты федеральную конституцию? Способов много. Во-первых, налог, который взимается с голосующих. Негры на Юге — это нищие; для них несколько долларов — богатство. Один негр просил нас довезти его до какого-нибудь северного штата, много лет он мечтает о Гарлеме, как о рае, и он знает, что никогда не накопит денег на железнодорожный билет. Как ему уплатить налог голосующего? Кроме налогов, имеются экзамены: избиратель должен «понимать конституцию». Ясно, что «экзаминаторы», приверженцы расизма, режут всех негров. Рассказывают, что одному негру-профессору предъявляли на «экзамене» различные документы, требуя,

чтобы он их «толковал». Наконец «экзаминатор» дал ему газету на китайском языке: «Вы понимаете, что здесь написано?» Профессор ответил: «Понимаю. Здесь написано, что никогда вы не допустите негров к урнам». Наконец, если негр заплатил налог и выдержал «экзамен», блюстители рабства сумеют хорошими дубинками отвадить непрошенного избирателя.

19

Защитники расовой дискриминации говорят: «Нельзя предоставить равноправие неграм, потому что негры лишены культуры». Действительно, расисты делают все, чтобы лишить негров просвещения. В штате Миссисипи я видел подростков, которые не умеют читать, я видел детей черных, которые никогда не видели школы: с младенчества они знают одно — каторжный труд.

Нельзя сказать, что рабовладельцы — защитники культуры для белых: они вообще предпочитают кнут букварю. В штате Миссисипи учитель — это нищий: в год ему платят шестьсот долларов. Что касается черных учителей, которые учат черных, они не только нищенствуют, — они должны унижаться перед белыми. Когда белый инспектор приезжает в школу для черных, он называет учителя по имени: «Эй, Биль!.. Эй, Джон!..» — даже если инспектору двадцать пять лет, а учителю пятьдесят; и учитель обязан почтительно отвечать белому: «Я вас слушаю, мистер Смитс»...

Как-то в штате Алабама все суммы, предоставленные на народное образование, отпустили белым. Для очистки совести вызвали профессора-негра и стали ему объяснять: «Бюджет ограничен, деньги уже израсходованы, придется вам обойтись»... Негр ответил мудро: «Вы правы — здесь образование еще нужнее белым».

Я встретил на Юге много образованных негров — ученых, писателей, врачей, учителей, адвокатов. Нужно ли говорить, что на фоне Юга, где чересчур много белых дикарей с дипломами, эти культурные негры кажутся светлым пятном. Я побывал в редакциях негритянских газет, где энтузиасты, которым ежечасно грозит расправа, отстаивают права человека.

В частном университете Фиск семьсот студентов — негры и негритянки. Они будут врачами, учителями, адвокатами, но они смогут лечить только негров, учить только черных детей и выступать на суде только если судят «цветного». Профессора-негры не имеют доступа в публичную библиотеку. Профессор Бреди, известный химик, рассказал мне, что он не может работать в лаборатории правительственного университета. Я провел в университете Фиск несколько прекрасных часов, я видел молодость, которая ищет правду. Учится там одна девушка, она говорит по-русски — наполовину русская: мать одесситка, отец негр. Она светлая и не похожа на негритянку; но в ее паспорте проставлено «цветная», и для нее закрыты все двери.

В Новом Орлеане я познакомился с одним архитектором; это был рыжий веснушчатый человек. Он оказался приятным собеседником и поразил меня широтой своих познаний. Я пригласил его в кафе, он отказался, не объяснив причин. Потом друзья мне объяснили, что он известен в городе как «цветной» и, следовательно, не имеет права заходить в кафе.

Ловкие владельцы газет печатают несколько специальных полос для негров. Белый не заглянет в эти страницы. Если белый на улице развернет негритянскую газету, его ударят или оскорбят.

20

Кроме писанных законов, существуют неписанные. Белый на Юге может преспокойно изнасиловать негритянку — он не понесет никакого наказания. Если черный сойдется с белой, его обвинят в изнасиловании; он будет либо повешен на дереве, либо посажен на электрический стул.

Когда я был в Джексоне, там присудили к смертной казни негра. Это был молочник, развозивший молоко. У него была долголетняя связь с одной белой женщиной. Однажды, когда негр находился у своей любовницы, в дом зашел муж. Женщина крикнула: «Меня насилуют!» Адвокат рассказал мне, что никто не сомневается в полной невинности негра, но имеются белые, которые показали про-

тив него, а судьи не могут поверить черным и объявить, что белый лжесвидетель. Адвокат пытался кассировать дело, обращался в Вашингтон, негра все же казнили.

Юстиция на Юге мало чем отличается от суда Линча. В Альбевиле шесть белых изнасиловали негритянскую девочку. Что же, судья торжественно объявил, что в поведении шестерых насильников он «не видит состава преступления». В Пеесеморе негр ехал в трамвае и на несколько дюймов перешел границу, отделяющую места для белых от черных. Водитель ранил негра, который бросился бежать; за ним погнались жандармы и, нагнав, добили его. Судья объявил, что в примерном наказании наглого негра, который занял место для белых, он «не видит состава преступления». В городе Колумбия белые устроили погром, убили двух негров, а двенадцать негров ранили. Суду преданы не нападавшие, а потерпевшие — тридцать негров. Они никого не убили, они виноваты в том, что их не убили.

Негры на Юге никогда не бывают присяжными, и суды Юга никогда не оправдывают негров. Зато, если на скамью подсудимых случайно попадут люди, совершившие над неграми самосуд, все знают, что убийц оправдают. Линчевание на Юге — это пикник, развлечение. На линчевание выезжают с сэндвичами и виски. Ни один негр на Юге не может спокойно уснуть — может быть, именно его через час повесят на дереве. Когда в том или ином городе давно не было линчевания, негры томятся: кто будет ближайшей жертвой? Я много раз слышал раздирающую сердце негритянскую песню. Это песня о повешенном негре, которого раскачивает ветер.

21

Они умеют не только вешать, — они умеют прославлять веревку. Когда-то у рабовладельцев была лишь плеть, теперь они обзавелись «идеологией». Во главе расистов стоит сенатор Бильбо. Его выбирают белые жители Миссисипи — черные лишены права голоса, и белые выбирают Бильбо, потому что белые боятся черных. Сенатор Бильбо — рыжий, красноносый демагог, который на избирательных митингах пьет молоко, а в кулуарах сосет виски.

Это демагог, привлекающий чернь непристойными анекдотами и призывами обуздать черных. В дни молодости Бильбо требовал поголовного выселения негров из Америки. Хорошо бы выглядели рабовладельцы без рабов! Впрочем, все понимали, что Бильбо говорит о выселении негров в Либерию для красного словца. Белые не хотят расстаться с дешевой рабочей силой, но они боятся, что негры могут осмелеть и потребовать прав; они за сенатора Бильбо, потому что они за плетку, за каторгу, за суды Линча.

Когда японцы напали на Соединенные Штаты, белые решили, что черная кожа не может служить препятствием к мобилизации; свыше миллиона негров были призваны защищать Америку. Негры хорошо сражались против немецких расистов, но тупость американских расистов преследовала и негров-солдат. Однажды в эшелоне ехали военнопленные немцы и солдаты-негры: на вокзале немцев провели в ресторан, а черных солдат отправили на кухню. Негры протестовали; выступил с речью в парламенте негр-депутат. Были большие митинги. Кое-где вспыхнули бунты. Один негр покончил с собой на ступенях вашингтонского Капитолия, чтобы выразить свое возмущение. Газеты сообщили об этом происшествии: вряд ли оно смутило рабовладельцев.

Негры-солдаты вернулись в города Юга. Они увидели, что в Париже или в Риме никто не смотрит на черных, как на прокаженных; и даже самые отсталые негры поняли, что есть на свете нечто более человеческое, чем «демократия» демократа Бильбо. Еще недавно белые говорили о черных, как о глупых, но добродушных животных. Теперь белые боятся: а вдруг неграм надоест петь аллилуйю в ожидании очередного повешения?..

Негры Севера, пользуясь относительной свободой, устраивают общества, издают газеты; они организовали недавно конгресс: началась борьба «цветных» за равенство. Эта борьба будет трудной, ибо расизм вошел в плоть и в кровь американцев. Я видел на Юге и реакционеров и сторонников прогресса, но даже среди последних я не встретил ни одного, свободного от расистских предрассудков. Один из самых благородных людей Юга, яростный противник рабства, защитник негров, мне рассказывал

о страшной несправедливости; мы проговорили до полуночи, и беседа была задушевной. Я спросил его, как лично он относится к неграм. Он задумался, ответил не сразу: «Вы знаете, что я защищаю негров. Я стараюсь к ним хорошо относиться. У нас прислуга негритянка. Когда она рожала, я позвал доктора. И все-таки для меня это не люди... Вчера я играл с маленьким ребенком прислуги и вдруг поймал себя на мысли, что играю не с ребенком, а с милым щенком»...

Из книг, из газет я знал, как живется неграм в Америке. Но одно дело знать, другое — увидеть и почувствовать. В Америке я не открыл никакой «Америки». Я хорошо знал, что такое небоскребы, — сколько раз я их видел на экране. Но, сидя в кино, я не понимал, что значит идти по улице, когда с двух сторон сорокаэтажные дома. Так и с неграми — только в Миссисипи я понял, какими дикарями могут быть люди с университетским образованием, с образцовой конституцией и с первоклассными пылесосами.

Один вашингтонский журналист сказал мне: «Вы настроены антиамерикански»... Я удивился: «Почему вы так думаете?» — «Но ведь вы симпатизируете неграм». Как я мог ему объяснить, что симпатизировать неграм — это не значит быть антиамериканцем, это значит симпатизировать и американцам, желать, чтобы они стали шире, гуманнее, да и умнее.

22

На конференции издателей газет один издатель спросил меня: «Почему вы говорите о фашизме? Ведь фашизм был в Италии, и он исчез вместе с Муссолини». Этот знаток европейских дел издает газету, которую нельзя назвать иначе, как фашистской.

Местные фашисты подняли голову; они воюют с прогрессом, с тенью Рузвельта, с передовой интеллигенцией, с рабочими. В штате Георгия весной был парад «Ку-клукс-клана». Это — старая фашистская организация, которая устраивает погромы и линчевания. Официально это — тайная организация, на самом деле она действует открыто, в иллюстрированных еженедельниках можно

увидеть портреты ее фюрера, которого куклуксклановцы именуют «великим драконом». На парад эти господа вышли в шутовских балахонах, с факелами, принесли присягу на верность «великому дракону» и поклялись «обуздать негров, уничтожить вольнодумцев, установить настоящий порядок».

Многие фашисты ставят на своих немецких единомышленников, разбитых, но недобитых. «Германско-американская республиканская лига» (во главе ее некто Курт Мертиг) требует от президента Трумэна «предотвратить разгром в райхе шести миллионов членов национал-социалистской партии». Газеты «Брум» (Сан-Диего), агентство «Пайонир ньюс сервис» (Чикаго) заняты исключительно реабилитацией гитлеризма. Читая многие американские газеты, спрашиваешь себя, кто судил в Нюрнберге и кого осудили...

Американские реакционеры много говорят о «возрождении Германии», причем они думают не о воскрешении немецкого народа, а о восстановлении прусской военщины и «железной каски».

Фашизм и реакция находят благодарную почву в сознании среднего американца, в его политическом простодушии. Политический уровень среднего американца низок: люди знают интимные стороны жизни того или иного сенатора, но не разбираются в вопросах государственной экономики, в международных отношениях. Американские газеты часто пишут, что существование двух партий — залог подлинной демократии. Между тем никто не может объяснить, где проходят идеологические границы между двумя партиями и в чем северные республиканцы расходятся с южными демократами. Среднего американца не удивляет, почему вчерашние изоляционисты требуют вмешательства во внутренние дела различных европейских государств. Средний американец считает, что он — носитель подлинной демократии, и он не знает, что его представители ограждают пулеметами триестских фашистов от триестских демократов. Средний американец убежден, что он внутренне независим, больше всего он страшится «пропаганды». На самом деле, он повторяет то, что прочитал в газете, услышал по радио, увидел на экране.

23

Печать, радио, кино находятся в руках различных трестов, частных фирм, солидных или несолидных. Редактор большой провинциальной газеты, вздохнув, сказал мне: «Наш орган — независимый, но мы зависим от объявлений. Если мы лишимся объявлений, мы не протянем и недели». Радиостанции принадлежат частным фирмам и существуют только благодаря рекламам.

Желание американца забыться, развлечься, помечтать родило огромную индустрию; и в Голливуде производят стандартные сны столь же быстро, столь же умело, как производят в Чикаго мясные консервы. Для миллионов американцев кино — это немного смеха, немного вздохов и красота кинозвезды. Для сотни капиталистов — это крупные дивиденды. Кинокритики пишут историю молодого искусства; все они знают Чаплина, Мамульяна или Майлстона. Вряд ли кинокритики слышали о Девиде Сарноу, который давно сказал: «За последний год мы заработали девятнадцать миллионов долларов. Кино вступило в новую эру: постановщик или актер перестали быть главными персонажами, теперь кино зависит от инженера». Фабрика снов куда опаснее фабрики «тушонки»: кинопроизводители организуют душевный мир среднего американца, прививают ему мораль, руководят его чувствами и помыслами. Предприниматели могут соперничать друг с другом, переманивая режиссеров и актрис, однако они подчиняются внутренней цензуре, так называемой «хайсовской» организации, которая безжалостно удаляет все, что может показаться вольнодумством. Хайсу принадлежит знаменитый «кодекс морали кино»; в нем значится: «Установлено, что законы не будут подвергаться высмеиванию; что к нарушению законов не будет высказываться никакого сочувствия; что преступления будут показываемы соответственно, дабы не рождать протеста против закона и правосудия; что религия будет ограждена от насмешек; что никогда ни один священнослужитель не будет показан преступным или смешным»...

Несмотря на «кодекс морали», Голливуд остался пугалом для квакеров и рабовладельцев. Если кинопроизво-

дители обязались не обижать служителей культов, то служители культов в тысячах церквей предают анафеме Голливуд как «дьявольское искушение» и «вертеп зла». Однако священники поумнее примирились с Голливудом. Различные церкви заказывают фильмы на библейские темы: о Самсоне, о чудесах Иисуса Навина, о Каине. Я видел на дверях одной церкви такое объявление: «Вскоре мы покажем нашим дорогим прихожанам цветной фильм о грехопадении. Роль Адама исполнит знаменитый актер Кери Грант, роль Евы — выдающаяся звезда Ингрид Бергман». Жалко, что не было указано, кто исполнит роль змия — боа или удав...

Конечно, искусство берет свое, и в Голливуде работают десятки талантливых, смелых людей; окружены они стеной недоверия, неприязни. Чарли Чаплин на себе узнал, что значит пойти против мира денег. Его оклеветали, пробовали уничтожить. Он продолжает работать — даже всесильная печать и всесущие пасторы бессильны перед его гением, перед его славой. Но сколько молодых дарований погибло на фабрике снов! А миллионы людей продолжают любоваться станом «звезды», продолжают смеяться, вздыхать и мечтать, не догадываясь, что их смех, грусть, сны вырабатываются по строго установленному образцу.

24

Мне часто приходилось встречаться с представителями прессы, издателями, редакторами, журналистами; я осмотрел редакции многих газет, и я узнал, как организуют здесь общественное мнение. Это — серьезное дело, оно сконцентрировано в руках больших трестов.

Откуда знать среднему американцу, что происходит в Иране, в Германии или в Болгарии? Он «самостоятельно» думает над теми измышлениями, которые ему подносит первая полоса газеты. Будучи неглупым и желая быть независимым в суждениях, он спрашивает себя, хорошо или плохо делают русские, бросая свои танки на Тегеран, правы или не правы болгары, стремясь сохранить греческие Родопы; он не знаком с данными той задачи, которую пытается разрешить, он и не подозревает, что

советские танки никогда не шли на Тегеран и что в болгарских Родопах нет ни одного грека.

Газеты, которые принадлежат крупным трестам или магнатам печатного слова, под видом информации заняты дезинформацией. Они прикидываются объективными; например, на десять антисоветских корреспонденций — из Анкары, из Будапешта, из Вены, из Триеста, из Буэнос-Айреса, из Хельсинки, из Мюнхена, из Тегерана, из Шанхая, из Стокгольма, в которых десять собственных дезинформаторов показывают, что Россия может проглотить весь мир, включая Гватемалу и Гондурас, обязательно помещается одна корреспонденция, восхваляющая труды советского ботаника или мастерство советских конькобежцев.

Нью-йоркские газеты расходятся почти исключительно в самом Нью-Йорке. В каждом штате свои большие газеты; многие из них принадлежат газетным трестам. Иногда в городе две газеты принадлежат одной фирме или одному лицу; на выборах они выступают за двух разных кандидатов, но в основном проводят ту же политику.

Газеты делятся на серьезные и бульварные — по читателю. Солидный ньюйоркец читает «Таймс» или «Гералд трибюн». Дезинформация в этих газетах поставлена солидно: опытные корреспонденты, быстрая передача длиннейших телеграмм. Редакции похожи на большие заводы. Работают высококвалифицированные сотрудники: литературные и музыкальные критики, экономисты, дипломаты. Газеты огромны по объему, и даже если убрать объявления, текста вдоволь. Воскресные номера так объемисты, что это уже не газета, а тяжелый том. На первой странице обычно оглавление; американец узнает, что корреспонденцию из Рима он найдет на одиннадцатой странице, отчет о футбольном матче — на седьмой, а биржевые новости — на двадцать третьей. Все статьи и корреспонденции написаны по особому рецепту: первый абзац представляет резюме всего последующего, и первый абзац стоит на первой странице; таким образом, американец, который торопится и который вообще не очень-то любит читать, просмотрев первую страницу, знает все, что стоит на последующих.

Стиль бульварных газет весьма своеобразен. Есть, например, журналист Лайн; его статейки (неизменно с портретом автора) печатаются ежедневно в пятидесяти газетах. Статьи Лайна — это коллекция коротких и неопрятных сплетен: кто с кем отобедал и сколько долларов стоил обед, как сенатор Икс улыбнулся актрисе Игрек, или наоборот. Разумеется, и сплетни организованы: такого-то надо выдвинуть, такого-то потопить.

Раскрыв как-то номер бирмингемской газеты, я увидел на первой странице огромный портрет девушки. Зная нравы местной печати, я решил, что эта миловидная особа или зарезала кого-нибудь, или вышла замуж за короля жевательной резинки. Оказалось, что она отправилась в Голливуд, надеясь стать кинозвездой; актрисой не стала и забеременела. Больше ничего сверхъестественного в ее истории не было, все же она попала на первую страницу газеты.

Даже серьезные органы печати дают по меньшей мере раз в неделю фотографии девиц, которые нашли богатых претендентов. Девицы, никого не нашедшие, смотрят, вздыхают и надеются. Американцы мне говорили, что это — «поддержка оптимистического мироощущения».

Конкуренция двух газет или двух телеграфных агентств принуждает репортеров быть не только находчивыми, но и воинственными. Часто корреспондент одного агентства занимает на несколько часов все телефонные линии, чтобы конкурент не мог передать информацию. Бывало, что журналист пробивал баллоны на машине коллеги или подливал воду в бензин.

Репортер крупной нью-йоркской газеты тайком пробрался к портному, который шил мне костюм. На следующий день я увидел в газете фотографию — я примеряю брюки. Статья, сопровождавшая этот снимок, была посвящена жгучей проблеме: почему я предпочел на брюках пуговицу модной застежке «молния». Встретив ответственного редактора этой газеты, я спросил, почему он напечатал такой вздор. Он ответил: «У нас существует интерес к человеку». Я не удовлетворился и раздраженно сказал: «К его нижней половине». Редактор рассмеялся и решил утешить меня комплиментом: «У вас настоящий американский юмор. Завтра это пойдет в номер».

Я записал несколько вопросов, которые мне задал репортер одной большой газеты; приведу их точно, сохраняя порядок: «На вас американский костюм или московский? Знает ли русский народ, что Америка ему помогала в годы войны? Как знакомятся москвичи с последними биржевыми курсами? Давно ли вы женаты? Почему у вас одна политическая партия, а не две? Поздно ли вы просыпаетесь? Почему вы хотите завладеть Албанией?»

Читатель глупой газеты поневоле глупеет. Позавчера он был насмерть перепуган испытаниями атомной бомбы. Вчера, разочарованный, он говорил, что «Гильда» (так прозвали атомную бомбу) оскандалилась. Сегодня он огорчен гибелью коз и поросят при испытании бомбы — газета ему сообщила, что в честь погибших животных будет воздвигнут памятник. И он уже не думает, что, может быть, его детям грозит смерть от какой-нибудь «Гильды»...

25

Один фермер в долине Теннесси сказал мне: «Ничего не поделаешь, с русскими, видимо, придется воевать»... Это был мирный человек, всецело поглощенный своими коровами. Когда я к нему пришел, он доил коров. В свободное время он от доски до доски прочитывает местную газету «Ноксвилл джорнал», которая ежедневно сообщает о новых кознях Советского Союза; по словам этого листка, русские то проглатывают Триест, то вторгаются в Иран, то захватывают Корею. Бедняга фермер куда больше смыслит в удойности коров, нежели в географии; читая газету, он дивится — что за злые люди эти «красные»!.. Наверно, он прочитал в «Ноксвилл джорнал» от 18 мая обращение некоего «братства»; там говорилось, что Москва — вовсе не Москва, а Мешех, упоминаемый в псалтыре, и что Магог, о котором говорил пророк Эзекиил, не что иное, как Советский Союз: «Необходимо сокрушить страну коммунизма — Магог!»

Такие призывы сводят с ума многих фермеров не только в Теннесси. «Институт общественного мнения» в марте 1945 года устроил анкету: «Считаете ли вы, что

американцы будут втянуты в войну в ближайшие четверть века?» Сорок пять процентов опрошенных ответили отрицательно. Год спустя, в марте 1946 года, институт повторил ту же анкету, и ответили отрицательно только девятнадцать процентов.

Я вспоминаю старую испанскую песню:

> Одни поют то, что знают,
> Другие знают, что они поют.

Фермеры Теннесси, участники анкет, поют то, что знают, а издатель ноксвиллской газеты, различные тресты, различные политиканы, южные демократы и северные республиканцы — все эти господа хорошо знают, что именно они поют.

Средний американец ежедневно читает в газетах, что другие государства хотят обидеть Соединенные Штаты. «Опять нас провели», — вздыхает фермер, кассир или владелец аптеки. Он очень удивлен, когда ему говорят, что Америка построила военные базы в различных частях света. Он удивляется: «Почему русские сидят в Будапеште?» Но ему кажется вполне естественным, что американцы «сидят» во Франкфурте, в Неаполе, в Окинаве, в Токио, в Сеуле, в Маниле, в Шанхае, в Исландии, на Азорских островах. Средний американец проспал рождение американского империализма и по привычке бормочет: «Нам ничего не нужно, кроме спокойствия в Соединенных Штатах».

Американцы часто говорят о том «железном занавесе», которым якобы Советский Союз отгородился от прочего мира. Я должен признать, что железный занавес действительно существует и он мешает среднему американцу увидеть, что происходит в Советской России. Этот занавес изготовляется в Америке — в редакциях газет, на радиостанциях, в кабинетах владельцев кинофабрик.

Один крупный промышленник, страстный враг Советского Союза, откровенно сказал мне: «Нам угрожает не внешняя политика Советского Союза, а его будущее: мы не можем из-за соображений нашей внутренней политики допустить, чтобы вы слишком повысили стандарт вашей жизни»... Люди, ведущие антисоветскую кампанию, воюют

не с советскими танками, а с советскими кастрюлями. Они хотят остановить не советские дивизии, а развитие американских рабочих. Таково объяснение лживых и злых разговоров о «третьей мировой войне».

26

С великими почестями здесь приняли предводителя польских погромщиков «генерала Бура». Можно найти в газетах и восхваления Шушнинга, и посмертные комплименты Муссолини, и оды генералу Франко. Воротилам американских трестов нет никакого дела до фалангистов или шляхтичей; но против своего народа они готовы мобилизовать даже привидения.

Сейчас реакция перешла в наступление. Я был в Америке во время грандиозных забастовок, которые потрясли страну, бастовали шахтеры, железнодорожники. Реакционеры науськивали фермеров на рабочих. В 1932 году была провозглашена свобода забастовок. В 1946 году перепуганные реакционеры уничтожили эту свободу.

Средний американец не обладает политической зрелостью. Он не знает Европы, мир для него ограничен двумя океанами. Средний американец наивен, он считает себя поборником демократии, самым миролюбивым, самым просвещенным, притом добрым христианином и моралистом. Ему кажется, что в руке американца атомная бомба становится масличной ветвью. Все же есть у среднего американца и здравый смысл и сердце. Его плохо воспитали, он отравлен расовыми предрассудками, он боготворит бумажный доллар, хотя и слышит в церкви, как пастор осуждает культ золотого тельца. Средний американец слишком самоуверен, но это не злой и не глупый человек.

Сейчас страна богата, особенно если сравнить ее с разоренной войной Европой. Во-всю работают заводы Детройта — не могут выполнить заказы. Люди «записываются» на холодильник, на пылесос, на радиоприемник. Америка не узнала огня войны, и мелкие для европейца неудобства ей кажутся большими лишениями: «Мало масла... Вместо бифштекса снова курица... Очередь за

нейлоновыми чулками... Нельзя купить белую рубашку, только цветные...» Возвратились демобилизованные; они вновь ищут места в жизни; из одного штата они переезжают в другой, меняют города и профессии. То и дело вспыхивают забастовки. Растут цены. У одних чересчур много денег, у других чересчур мало. Магазины, торгующие предметами роскоши, полны покупателей. Скромные магазины опустели. Легче продать пару обуви за тридцать долларов, чем за три доллара. Страна напоминает квартиру в новоселье. Люди с удовольствием думают о завтрашнем дне, вчерашний они давно позабыли, а о послезавтрашнем предпочитают не думать. Когда изредка приходит мысль о неизбежном кризисе, безработице, человек ее отгоняет — он не хочет огорчаться за час или за год до катастрофы.

В газетах теперь замелькали статьи о «третьей мировой войне». Среднему американцу неуютно. Возмущенный растерянностью демократов, он голосует за республиканцев, хотя демократов он упрекал именно за то, что они похожи на республиканцев. Я повторяю: в политике он — ребенок, да и выбор у него небольшой... Однако напрасно думать, что средний американец не способен думать и чувствовать. Есть границы его доверчивости. Он может голосовать за ловких демагогов, которые кричат о «превентивной войне», а вот заставить его ни с того ни с сего воевать, это будет потруднее...

27

Помимо бодрых деляг, в Америке немало наивных мечтателей, благородных идеалистов. Я познакомился на Юге с инженером, видным изобретателем; он в свое время отказался от крупных денег, боясь, что изобретенная им машина для сбора хлопка лишит куска хлеба сотни тысяч батраков. Этот инженер сейчас отдает и деньги и время антивоенной пропаганде. В штате Теннесси я видел утопистов, которые недоедают, недосыпают, отдавая и свой заработок и силы фантастическому проекту создания «мирового правительства». В одном городе я напал на кружок чудаков, которые верят, что

с помощью обновленного эсперанто можно обезвредить атомную бомбу. В сотнях городов существуют организации, выступающие против расового неравенства. Я рассказал о том, как состоятельные американцы торжественно жертвуют пятьсот или тысячу долларов. Было бы несправедливо умолчать о том, как бедные американцы отказываются от пары новых ботинок, чтобы послать гостинцы югославским детям. В этой огромной и юной стране рядом с жестоким цинизмом можно увидеть большую человечность.

Развитие Америки шло иным путем, нежели бытие старой Европы. Франция начала чуть ли не с готических соборов и с трубадуров. Америка начала с золотой лихорадки, с аптек-закусочных, с автомобилей. Она быстро достигла высокого уровня материальной культуры. Она напоминает человека с маленькой головой на большом мускулистом теле боксера.

Однако Америка не застывший мир, она все время в движении. Вчерашние пуритане становятся запойными неврастениками, героями Хемингуэя. Дети баптистов и методистов читают «Нью-йоркер» — сатирический журнал, высмеивающий «американизм». Я убежден, что американцы, проклинающие Америку, на самом деле страстные патриоты. Это — новые пионеры, их тоже трясет лихорадка, но не «золотая» — они ищут духовные ценности; им мало высоких домов, и если они смеются над этими домами, то не потому, что предпочитают хижины, а потому, что хотят высоких дум и высоких чувств. Я видел таких американцев, с любовью я их вспоминаю и, вспоминая их, говорю себе: есть у нас в Америке настоящие друзья.

1946

НАКАНУНЕ ВОЙНЫ

МЫСЛЬ В ОТСТАВКЕ

В школах Свердловска и Сталинска дети стараются писать мелким, бисерным почерком, — у них еще неуклюжие пальцы, и у них нет тетрадей. На парижских складах гниют тонны и тонны бумаги. Писать на ней нечего: векселя давно предъявлены к протесту, любовные записки известны наизусть, и никакими рекламами нельзя заставить обывателя купить «наилучший автомобиль Ситроена».

В московских издательствах сидят писатели, — они ждут бумаги. С равной жадностью расхватывает страна философские книги и поэмы. В парижских лавках высятся груды книг, — их тщательно обходят. Если десять почтенных литераторов за изысканным завтраком присудят такому-то роману «премию Гонкура», то роман-счастливчик подпояшется соответствующим пояском, и, кряхтя, его станут покупать недоверчивые читатели, боясь отстать от моды и традиции.

В Томском университете я видел студентов-казахов, шорцев, тунгусов. Несколько лет назад они еще бегали к шаману. Шаман бил в бубен и прыгал вокруг юрт. Некоторые из них привезли косолапых божков. Кто знает, зачем? Теперь они изучают математику, анатомию, химию. Божков они подарили в музей краеведения. Они смотрят на все напряженно и сосредоточенно. Их лица передают мысль. В Париже на бульварах я видел модную игрушку — «ио-ио». Это шарик, его кидают, он на шнурке, и он подпрыгивает. Если человеку очень скучно, он может кидать шарик часами. Эти шарики делают из разного

материала: для приказчика — из дерева, для содержанки банкира — из брильянтов (кстати или некстати подешевевших). В одной из витрин над шариками красуется глубоко философическая надпись: «Эта благородная игра избавит вас от необходимости думать».

По одну сторону ворот Негорелого люди теперь учатся думать, они учатся, сжав зубы и стянув потуже пояс, они учатся упорно, героически — думать, думать и думать! По другую сторону ворот, которые так нравятся иностранным туристам, падким на экзотику, люди заняты иным: они учатся не думать.

Мы сызмальства привыкли чтить французскую литературу. Когда мы думаем о ней, мы невольно припоминаем рабочую одышку Бальзака, скальпель Стендаля и ветер в кудрях подростка Рембо. Наши вузовцы узнают Европу по романам Флобера и Золя. Наши остряки непрочь обмолвиться афоризмом Анатоля Франса. Не только в Москве, но и в далекой Сибири на литературных докладах мне подавали записочки: «Что думают французские писатели о кризисе культуры? О социальном сдвиге? О судьбе человека?»

Я не знаю, играют ли французские писатели в «ио-ио». Но я знаю, что молодые авторы пишут превосходные книги ни о чем. Это большое искусство — надо написать роман в триста страниц без характеров, без сюжета и без мыслей.

Французские писатели не раз горделиво говорили о своей внутренней свободе. Мы, проделавшие пятнадцать лет революции, хорошо знаем относительность многих понятий. Мы не склонны верить на̀ слово. Мы недоверчиво щупаем этот пестрый товар.

Большое издательство выпускает теперь серию книг под названием «Короли дня». Наивный читатель может подумать, что это — характеристики королей капиталистического мира: Моргана, Детердинга или Тиссена. Однако содержание указанной серии несколько иное, это — реклама различных коммерческих предприятий. Издательство получает соответствующий заказ, и заказ передает писателю. Не следует думать, что такие книги пишут никому неведомые халтурщики. Нет, это знаменитые писатели, их сочинения переведены на все европейские языки. Поль Моран, например, написал книгу о величии «Сидна» — так

называется компания, обслуживающая воздушную линию Париж — Прага — Будапешт. Это настоящий роман с русским эмигрантом, с икрой и с душевными муками. Жозеф Кессель посвятил свой труд международному обществу спальных вагонов. Другие писатели еще работают.

Мы могли бы, конечно, посмеяться. Французские газеты не раз возмущались «безнравственностью Москвы», — речь шла о царских займах. Теперь они заняты другим: они доказывают американским ростовщикам, что долги — понятие вдоволь относительное. Недавно в газете «Нувель литтерер» я прочел отходную русской литературе: как может существовать литература в стране, которая придумала «социальный заказ»?.. Что же, они предпочитают частные заказы, — это спокойней, а может быть и выгодней. Зачем обслуживать свой народ, когда можно обслуживать компанию «Сидна»?

Да, мы могли бы искренно повеселиться перед этим пафосом и этой смекалкой. Но мы чувствуем себя слишком связанными с судьбами мировой культуры. Мы не можем поверить, что внуки Бальзака заняты не то игрой в «ио-ио», не то рекламами крупных фирм. Мы хотим думать, что и в Париже кто-то напряженно думает. Мы ищем встревоженных глаз. Мы ищем тех, которые ищут.

Легко понять трагическое положение французских писателей. Кто не знает, что такое непроветренные комнаты и человеческое равнодушие?.. Но разве Бодлер, Верлен, Рембо были окружены пониманием и любовью? Разве не пошел против своего общества Эмиль Золя? Эти люди были горды своей мыслью. На их книгах училась Европа.

Вчера я был в большом книжном магазине. Я не нашел ни одного сборника стихов: стихов больше не пишут, это требует душевного напряжения, и это к тому же никак не оплачивается. Поэты вымерли. Остался один Поль Валери — он академик и, следовательно, «бессмертен». Все его почитают и никто его не читает.

Конечно, и во Франции имеются свои праведники. Но это или старики, или подростки. То поколение, которое теперь должно было бы искать и творить, отказалось от груза мысли.

Когда я был в Москве, я получил письмо от советского учителя из маленького уральского городка. Неизвестный

собеседник рассказал мне о себе, о новой школе, в которой он работает, о своих сомнениях и о своей вере. В заключение он вспомнил о том, что делается по ту сторону негореловских ворот: «Кстати, спросите французского писателя Дрие ля Рошелля, какой злой дух нашептывает ему разные нелепости вроде следующей: «То, что было жизнью, не представляет абсолютно никакого интереса. Сознание более невозможно, ибо нечего сознавать». (В передаче нашей «Литгазеты» его роман «Блуждающий огонек».) Сообщите ему заодно, что один человек из миллионов людей, населяющих страну, из которой вы приехали, и небезуспешно пробующих перекроить старую жизнь мира по-новому, уверяет его честью, что эта старая жизнь полна «абсолютного» интереса и что, кроме его больного сознания, есть еще нетронутые залежи сознания миллионов, которым предстоит осознать еще бесконечно многое. Скажите ему также, что, по мнению его оппонента с далекого Урала, человеческое сознание только еще готовится к выполнению той великой роли, что определила ему история: роли грамотного переводчика великого языка чувств, состоящих из любви, ненависти, мужества, дерзания, готовности к жертве и т. п., — на новый язык, освобождающий их от уз догмата, для новой жизни».

Я показал это письмо Дрие ля Рошеллю. Я не знаю, видал ли он дотоле читателя, который с такой серьезностью, с таким волнением воспринимал бы его слова. Дрие ля Рошелль — писатель, показательный для своего поколения. Я помню, как он писал: «Когда я дотрагиваюсь до замшелого камня, мясо вокруг кости моего пальца начинает загнивать... Мой гроб уже рядом со мной... Это — небытие, и я не верю, что оно предшествует воскресению...» Может быть, это предсмертный вопль человека? А может быть, только «высокое искусство», пятый или шестой роман, опустошенность поколения? Может быть, и это игра «ио-ио», та, что освобождает от необходимости думать?.. Какая наивность и в то же время какая сила звучит в письме уральского учителя, который верит нà слово анафеме французского литератора и который всерьез противопоставляет ей молодое сознание своей страны!

В этом письме имеется то, чем мы вправе гордиться: наша глубокая заинтересованность в судьбах всечеловеческой культуры. Скифами оказались не мы. Не мы уничтожаем кофейные плантации, и не мы ломаем машины. Не мы меланхолично плюем на то, что было «жизнью». Нас называли беспризорными. Но вот больной мир слег, он начал подозрительно хрипеть, и вокруг — пустота. Оказывается, наследство придется перенять нам. Кто же пойдет отстаивать все, что было лучшего в этом старом мире: и Бальзака, и Собор Парижской богоматери, и великую веселость парижского народа — французские литераторы или уральские учителя?

1932

ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР

У меня в Москве нет квартиры, и живу я в гостинице. Как-то вечером ко мне в комнату пришел официант и, весело ухмыляясь, сказал:

— Чаю вам завтра не будет. И вообще ничего вам завтра не будет...

Я ласково поглядел на него и возможно сердечней ответил:

— Спасибо!

Я боялся его раздразнить — с маниаками лучше всего быть сугубо вежливым: бедняга, наверно, заболел. Я спокойно лег спать. Но утро, как ему и подобает, оказалось мудрее вечера: утром я понял, что если кто-нибудь душевно заболел, то никак не официант. Чаю мне не дали. Стало очевидным, что в гостинице происходит нечто катастрофическое. Я выглянул из комнаты и сразу успокоился: ну как же я раньше не догадался — это киносъемка! Экран великая вещь, от него многие теряют голову.

Я начал медленно спускаться по лестнице, изучая бутафорию и фигурантов. На каждой ступеньке стояли два горшочка преглупых цветочков. Такие же цветочки обрамляли и путь в ресторан. Над горшочками высились фигуранты. Здесь были горничные в опереточных чепчиках, они наклоняли голову то направо, то налево. Здесь были древнерусские половые, тщательно заимствованные из «Мертвых душ». Эти были выряжены в зеленые рубашки. Они стояли неподвижно, как на часах. Время от времени раздавалась команда. Я теперь твердо знал, что «Межраб-

пом» решил заснять еще один исторический фильм. Одно смущало меня: я никак не мог разыскать ни камеры, ни оператора. Робко спросил я: «Что это?» Мне ответили: «Репетиция». Тогда еще тише, чтобы не нарушить молитвенной тишины, я шепнул:

— Но кто снимает? Эйзенштейн? Довженко? Пудовкин?..

Гражданин сурово оглядел меня и ответил:

— Интуристы... Через час прибудут...

Через час действительно прибыли иностранные туристы. Они увидали горшочки с цветочками на каждой ступеньке, зеленорубашечных коридорных, которые низко кланялись приезжим, горничных в наколках, перепуганно шуршавших лифами, и много другого, столь же показательного для жизни нашей страны. Их провели в большой зал, там красовались солонки с петушками, плохие иконы работы суздальских богомазов, бирюльки в виде богатырей и богатыри в виде бирюлек. После эстетических эмоций иностранцев решили покормить. В ресторане еще ниже зеленорубашечных коридорных склонялись белорубашечные официанты. Гостей потчевали не только телесной пищей, но и духовной: музыканты все время исполняли «На простор речной волны...» Эту «волну» туристы уже хорошо знали по белогвардейским шашлычным Парижа, Берлина и Лондона, где сиятельные князья выклянчивают чаевые; и, слушая знакомую мелодию, интуристы могли спокойно рассуждать о том, что так называемая «славянская душа» это и есть ширпотреб шестой части света.

Проходя по коридору, я столкнулся с одним из приезжих. Я слишком хорошо знаю эти лица. Я прочел в его глазах вежливую усмешку. Он, наверное, был вполне удовлетворен обедом. Все же он думал о суете сует. Он спрашивал себя — стоило ли покрыть тысячи и тысячи километров, стоило ли взволнованно ожидать видения нового мира, чтобы после всего попасть на нелепую пародию европейского шантана?..

Мне хотелось подойти к нему и любезно сказать:

— Дорогой турист, я много ездил по свету, и я знаю, как трудно понять чужую жизнь. Я хочу вам сказать одно: не думайте, что вы приехали в Советский Союз.

Нет, вы еще не видели нашей страны. Вы видели только одну гостиницу, которой заведуют наивные люди, не знающие разницы между комфортом и шантаном, между гостеприимством и угодливостью. Это маленькая дорожная неприятность, дурная сказка — и только.

Я не подошел к интуристу — я побоялся, что он и меня примет за какого-нибудь статиста из несостоявшейся постановки — за богатыря с солонки, за гоголевского полового или, в лучшем случае, за Стеньку Разина. Однако по-человечески мне жаль этого человека. Я хочу написать то, чего я ему не сказал. Может быть, эти строки дойдут, если не до него, то до его собратьев.

Мосье Дюран из Перпиньяна, мистер Дэвис из Ливерпуля, герр Шульц из Цюриха, не поддайтесь столь легкому искушению — не судите нашу страну по маленькой скверной сказке. У нас есть много прекрасных сказок, и, кажется, мало будет тысячи и одной ночи, чтобы их пересказать. Кроме пяти администраторов гостиницы и кроме пятидесяти невольных фигурантов, имеются у нас сто пятьдесят миллионов, которые работают, думают, борются, живут. Вы видели на вашем веку немало кабаков, челяди и дребедени. Но в нашей стране вы можете увидеть то, чего вы еще никогда не видали. Не смотрите на меня с усмешкой. Я ведь полжизни прожил в вашем мире. Я не собираюсь вас ошеломить образцовыми электрическими станциями, превосходными домнами, метростроем. Я знаю, что именно вы видели и чего вы никогда не видали. Будь я вашим гидом, я показал бы вам людей, которые строят эти станции, домны и метро, и я знаю, что здесь бы вы замерли в глубоком изумлении, ибо вы видели водопад Ниагару, бойни Чикаго, Вестминстерское аббатство, развалины Помпеи, огни парижских бульваров, — слов нет, вам в жизни повезло, вы многое видели, но вы не видели одного: наших новых людей.

Ваши бюро путешествий устроены лучше: мы работаем над этим пять лет, а вы полтораста. Вы знаете, что показывать иностранным туристам. Мосье Дюран, вы видели в Париже автокары с английскими туристами, и вам хорошо известен их маршрут. Они не попадут, заблудившись, в рабочие кварталы. Англичане так и не узнают, что такое Бельвиль, Менильмонтан или Бильянкур. Опытный гид

покажет им Венеру Милосскую, химеры Нотр-Дам и сады Версаля. Когда они передохнут после дневных трудов, к гостинице подъедет новый автокар с надписью: «Париж ночью». Этот автокар не остановится у одного из мостов Сены, и туристы не увидят горемык, которые, скорчившись, спят под мостом. Нет, гид повезет интуристов на Монмартр, где много ложной мишуры и наемного веселья. А вы, мистер Дэвис, разве вы не знаете, что показывают французам гиды «Кука и сына»? Когда, будучи в Лондоне, я сказал, что хочу поехать в Манчестер, мои английские друзья изумились — в Манчестер интуристы не ездят, в Манчестере идет холодный дождь, черный от сажи, и под этим дождем бродят безработные. Туристы ездят в Виндзор или на озера. Они осматривают Британский музей и любуются часовыми возле королевского дворца. В Испании их отвозят в Аранхуэс или в Альгамбру. Они не знают, что сотни тысяч испанских батраков, изголодавшись, крадут барские желуди и что каждый день гвардейцы, в шляпах из оперы «Кармен», убивают живых людей, которые поют отнюдь не арию тореадора, но «Интернационал».

Да, в ваших странах, граждане интуристы, приезжим показывают прекрасные вещи: дворцы, музеи, церкви и развалины, все, что создано двести, триста или пятьсот лет назад. Честные туристы становятся поневоле археологами. Вы показываете также отменные пейзажи, неповторимую и тончайшую красоту Иль-де-Франса, яркую зелень Уэльса, скалы Бретани, снежные хребты Пиренеев. Наконец, снисходя к человеческой слабости, вы включаете в программу для туристов мюнхенские пивные, винные погреба Хереса, бутафорские кабачки площади Тертр. Вы показываете ваше великое прошлое, те древние камни Европы, о которых с благоговением думают наши комсомольцы в Магнитке или в Кузбассе, те древние камни, которые созданы вашими дедами и теперь принадлежат уже не одной нации, но всему мыслящему миру. Вы показываете также величие природы, гармонию холмов, дикость океана: это было, есть и будет. Вы показываете, наконец, несколько принаряженных кварталов: Курфюрстендам, Пикадилли, Елисейские Поля. В окнах модных магазинов стоят восковые манекены, и они призрачно улыбаются восковыми улыбками. На них написано: «Лето

1934 года!» Но летом 1934 года в ваших городах люди разучились улыбаться. Они хмуро смотрят на манекены, и с парадных улиц они сворачивают в сторону, где сторожат их нужда и заботы, где цепенеют хвосты безработных, где угрюмо резвятся шайки фашистов. Вы не показываете туристам вашего настоящего, и вы трижды правы: во имя Бальзака отвернемся от романов Декобра, во имя Гете забудем о Бальдуре фон Ширахе, во имя Робеспьера и Сен-Жюста промолчим о Стависком, во имя тех, которые строили и трудились, не скажем ничего о тех, которые ломают машины, убивают племенных коров и жгут плодовые сады.

Будь я вашим гидом, граждане интуристы, я показал бы вам не прошлое, а настоящее моей страны. Я не кривил бы душой, я не скрыл бы от вас многих злых сказок. Я не говорил бы вам: «Посмотрите направо — там старая церквушка», только потому, что налево стоит очередь. Я не побоялся бы показать вам и очередь — у нас теперь все хотят всего. Ваши магазины завалены товарами, но в ваших магазинах пусто: люди смотрят на товары и идут дальше.

В нашей стране еще вдоволь нужды и косности: мы ведь только начинаем жить. Мою книгу я назвал «День второй», это еще не седьмой день, когда в сотворенном мире можно отдыхать и вкушать прекрасные плоды. Вы своими глазами видали скверную сказку одной гостиницы, по ней вы можете понять, как трудно нам окончательно освободиться от того жестокого наследства, которое нам оставила история.

Кроме сказки о коридорных в зеленых рубашках, я мог бы вам рассказать немало дурных сказок. У нас много говорят об уважении к человеку, но уважать человека у нас далеко еще не все научились. У нас имеются бюрократы, способные во имя бумажки извести товарища. Я видел мать, которая провела четыре ночи над трупом своего ребенка: ребенок умер в санатории до того, как его успели прописать, и фанатики бумагопроизводства не хотели выдавать свидетельства о смерти. На пятый день эти крючкотворы решили прописать мертвого. Это очень скверная сказка. В Горьком я видел бараки рабочих, где семейные все еще спят на койках без перегородок — впе-

ремежку молодожены, дети, старики. Это жестокая сказка, — вы видите, я не скрыл ее: я знаю, что через несколько лет молодые будут слушать эту сказку с недоверием, как с недоверием теперь слушают молодые рассказы о прекрасном и невыносимом 1920 годе. В Воронеже я видал десятки домов для рабочих, они только что отстроены, и похожи на мрачные казармы. Я видал людей, которых тупые чиновники выгоняли из вокзала под проливной дождь. Я видел столовки, зловонные, как ад, озелененные грязными бумажными цветами.

Я видел много плохого, и не собираюсь скрыть это от вас. Герр Шульц из Цюриха, наша страна не один швейцарский кантон, да и не Швейцария — это шестая часть света. Нелегко ее вымыть и подмести. Нелегко обучить наших людей вежливости и вниманию к своим товарищам. Они уже знают, что социализм строится для счастья человека, но еще не все из них поняли, что социализм — это дело сегодняшнего дня, что надо разгрузить людей от ненужных забот, что надо избавить их от излишних трудностей, что надо наполнить нашу страну смехом, радостью, песнями, цветами. Вы можете брезгливо морщиться, граждане интуристы, проходя мимо грязной столовки, вы можете усмехаться, глядя, как одна исходящая способна загубить человека, вы можете даже не верить нам, когда мы говорим, что мы скоро справимся с этим. Я знаю быт ваших стран, и я не страшусь сопоставления.

У вас высокая материальная культура, но вы делаете теперь все, чтобы ее разрушить. У нас, например, нехватает бумаги. Чтобы достать книгу, люди караулят часами возле книжного магазина или высунув язык бегают по городу: они хотят читать и не могут достать книги. Тиражи в двести тысяч не насыщают страну. Наши книги еще плохо выглядят: серая бумага, дурная краска, уродливые переплеты. Далеко им до тех прекрасных книг, которые печатались в типографиях Лейпцига. Но с каждым днем наши книги становятся лучше, и с каждым днем растут их тиражи. А в Лейпциге?.. В Лейпциге, как и в прочих городах высококультурной Германии, люди стояли часами не для того, чтобы получить книгу, но для того, чтобы попасть на дивное зрелище, чтобы своими глазами увидеть, как другие люди жгут книги. Возле Воронежа я видел

колхозников, они с гордостью показывали мне прекрасные высокие подсолнечники, похожие на тропический лес. Они гордились тем, что впервые научились выращивать этакие подсолнечники. Разумеется, подсолнух — не кофе. Но чем гордитесь вы, сеньор Педро Родригес из Рио-де-Жанейро? Может быть, тем, что вы образцово скидываете в море тонны и тонны кофейных зерен?..

Наши вузовцы не всегда могут похвастать глубиной своих познаний, но поглядите: они учатся день и ночь. У нас пастухи становятся инженерами. Мистер Дэвис, в вашей стране я видел много инженеров, которые стали пастухами.

Я рассказал вам о дурных сказках, теперь разрешите мне припомнить несколько прекрасных сказок. Вам все кажется фантастическим в нашей стране. Я — русский, но многое удивляет и меня. Ради этого, право же, стоит проделать тысячи километров. С грустью я думаю о моих парижских друзьях, которые живут, так и не зная, что жизнь может быть полной подобных небылиц.

В Воронежской области случайно попал я в колхозный дом отдыха. Граждане интуристы, туда не возят ни иностранцев, ни советских гостей. О существовании этого дома отдыха знают только обитатели села Хохол. Возле дома отдыха я увидел краснощекую девку, пышущую здоровьем. Она спросила меня:

— Не знаешь, где здесь отдыхают?..

Я изумился: зачем такой отдыхать?

Гордо она ответила мне, что у нее столько-то трудодней и путевка. Час спустя я увидал ее в парке. На ней уже было спортивное платье. Она гуляла босиком по аллее и ухмылялась. Потом ее учили играть в волейбол. Дом отдыха состоял из двух избенок, перенесенных сюда самими колхозниками. На крыльце визжал патефон, а возле патефона сидел бородатый колхозник, классический русский крестьянин, — так некогда гримировались актеры Малого театра, играя «Власть тьмы». По преданию, он должен был чесать затылок и перепуганно коситься на «барские затеи». Но он в восторге слушал патефон и в восторге глядел на новую жизнь: это не было театром, нет, это было его жизнью. Потом он встал, потянулся и сказал:

— Чайку, что ли, попить с медом?..

Он попил чаю. Он посидел на скамейке и поговорил о колхозных гусях. Он погулял в парке. Это было просто и непостижимо, как самая сказочная изо всех сказок. Разве мог он когда-нибудь подумать, что настанет день — и его повезут в какой-то дом отдыха, что там будут столовая с котлетами, цветники и машинка, дарящая песни?.. Ему шестьдесят лет, и вот в шестьдесят лет он изумляется миру, как ребенок. Граждане интуристы, разве вам не хочется посмотреть на этот дом отдыха? Вы расскажете о нем, вернувшись в Перпиньян и в Ливерпуль, и ваши соотечественники изумленно переспросят:

— Дом отдыха для крестьян?.. Может быть, вы спутали?.. Или, может быть, это устроено нарочно для интуристов?

И вы сможете спокойно ответить:

— Нет, для интуристов устроена только пошлая гостиница. А в этот дом отдыха мы попали случайно, он устроен крестьянами для крестьян.

В другом колхозе я видел горшечников, которые обжигали горшки.

Один из них сказал мне:

— Мы, значит, постановили вроде как трубы сделать для канализации.

Так колхозники в глухом селе решили сделать у себя то, чего лишена столица Греции Афины.

В нашей стране понят, возвеличен и оправдан человеческий труд. Ради одного этого стоило пережить трудные годы, многое потерять и многое выстрадать. Вы читали в старой книге, что труд — проклятье. У нас немало прописных моралистов, и порой у нас трудно даже поцеловаться без лозунга, но наша мораль создана жизнью: мы знаем, что труд — это счастье. Я видел бригаду землекопов. Это были татары. Вначале они отставали от русских. Тогда они решили показать, как они могут работать. Они вставали ночью и тихонько, как воры, выползали из барака: они шли на работу. Они боялись, что кто-нибудь помешает им рыть ночью землю, и свое прекрасное дело они совершали, как преступленье, — тайком. Граждане интуристы, пожалуй, увидев этих людей, вы молча снимете шляпы.

Недавно я встретил помощника начальника одного из наших крупнейших строительств. До революции он был

рабочим. Он знавал царские тюрьмы. Ему пятьдесят лет, и он сутулится от жизненной нагрузки. После революции он занимал многие командные посты. Говоря вашим языком, он был начальником большого департамента, генералом и товарищем министра. Этот человек в возрасте сорока трех лет поступил в высшую техническую школу вместе со своим сыном. Ему нехватало знаний, и он решил эти знания добыть. Он проучился несколько лет. Мосье Дюран, вы с трудом теперь прочитываете книжку, вы-то поймете, что значит в сорок три года сесть за учебу! Сыну было куда легче, но отец не хотел отстать от сына и не отстал. Он сказал мне о своих школьных годах:

— Как будто с глаз катаракт сняли...

Он работает день и ночь. Иногда у него бывают сердечные припадки. Врач сказал, чтобы он пил меньше чая. Но он знает, что дело не в чае, — дело в костылях, без костылей нельзя класть рельсы, а костылей слишком мало. Я видел лицо этого человека, когда на путь клали рельсы, оно было освещено улыбкой, стыдливой и нежной, — так смотрит мать на новорожденного. Граждане интуристы, жизнь этого человека, может быть, самая прекрасная изо всех сказок, которые я знаю, но, верьте мне, этот человек не одинок: у нас много таких людей, старых и молодых, они учатся сверх сил, они работают до изнеможения, а в свободные минуты они читают романы или стихи, они нянчат своих ребят, и они влюбляются в девушек, они умирают мудро и просто, зная, зачем была прожита жизнь на земле.

Я показал бы вам этого седоусого школьника, комсомольцев Кузнецкстроя, шорцев и казахов, которые изучают медицину и для которых скелет дивен, как самый красивый цветок. Может быть, вы увидите некоторых из этих людей. Они находятся в стороне от горшочков и от коридорных. Ради них к нам будут вскоре приезжать десятки и сотни тысяч иностранцев. Мы многому научились, мы научимся и тому, как разговаривать с людьми, которые живут иной жизнью, нежели наша. Мы будем спокойно и радушно показывать чужим людям наши города, наши колхозы, наших людей. К нам будут приезжать, чтобы смотреть, учиться и отдыхать. Да, у нас будут спасаться от жестокой неразберихи мира денег и, как водами,

лечиться нашей волей к жизни, нашим весельем, нашей молодостью. Мы будем встречать друзей или сторонних наблюдателей с тем гостеприимством, которое издавна присуще всем народам, населяющим нашу страну.

Если же попытаются притти к нам другие иностранцы, решив в военном бреду, будто наша страна похожа на гостиницу, описанную мною выше, что же, тогда они узнают еще одну сказку. Этой сказкой гордимся мы все, это сказка о людях, которые находятся на границах нашей великой страны, о молодых людях, которые тоже любят песни, стихи и девушек, которые умеют хорошо повиноваться, храня при этом человеческое достоинство, которые спаяны истинным чувством товарищества, которые так же не похожи на прежних солдат, как не похожи живые люди на заводную игрушку, — это сказка о Красной Армии.

1934

ПЕРВЫЕ

Ночью опускаются виевы веки города. В тесных квартирах, среди измятых газет и ночных туфель грохочет джаз. Говорят Париж, Барселона, Брюссель... Уже остановились станки, уже захлопнулись книги счетоводов, уже столпились в своих хлевах запыхавшиеся автобусы, но работа еще продолжается: под грохот джаза механически сотрясаются тела, сгибаются шарниры ног, подымаются и опускаются плечи. Можно переменить волну, вместо Дройтвича слушать Люксембург, но фокстрот не кончится никогда. Мотала, Лиссабон, Штутгарт... После биржи, после скачек, после крахов и самоубийств еще несколько хрипов, конвульсии сопряженных туловищ, парадный и пошлый конец.

Но вот человеческий голос, сухой и отчетливый, на минуту прерывает рев саксофонов. Это — Франкфурт. Говорит страна философов. О чем? О разуме? О гармонии? О тоске Фауста, продавшего душу чорту? Нет, Франкфурт говорит о другом: дивизии, пушки, самолеты, танки.

— На востоке проживают низшие расы с их презренной историей, не приобщившиеся к европейской культуре и недостойные занять место в европейском концерте.

Сентиментальный романс, а потом справка:

— В Германии имеется сто семьдесят тысяч докторов, то есть лиц, удостоенных ученой степени.

Снова джаз. Доктор из Франкфурта отработал: в монотонный рев европейской ночи он вставил несколько деловых слов, он напомнил танцорам, что им предстоит еще

один тур — среди колючей проволоки, в глине окопов, он напомнил, что «европейский концерт» — это не только джаз или любезные разговоры на Вильгельмштрассе, днем и ночью господа доктора смотрят на восток — там живем мы, «низшие расы», с нашей «презренной историей».

Теперь замолкли саксофоны. Только гудение. Кажется, это гудит время, его голос загадочен и строг. Слушая этот гул, можно о многом задуматься. Можно всласть поговорить и с доктором из Франкфурта и с самим собой.

Да, история нашей страны — страшная история, страшная, но не презренная. Это история благородных народов, которые никогда прежде не знали счастья. Один Ломоносов дошел до Москвы. Скольких запороли на конюшнях, заморили голодом, сгноили в каталажках? Сумасшедшие и трусливые цари, знать, вопившая с французским прононсом «всыпь ему сто горячих», иностранные воры и приживальщики, буржуазия, способная только бить зеркала и давать взятки, — кто не грабил эту страну?

Когда мы перелистываем страницы истории, наши щеки покрываются румянцем. Но это не румянец стыда, это румянец гнева. Мы видим подвиги и жестокость, повешенных героев и затравленных изобретателей. Радищев глотает яд. Пестель на виселице. Труп Пушкина и труп Лермонтова. Достоевский в каторжном халате. Чернышевский на тюремных нарах. Шевченко в ссылке.

Мы не дети. Наша страна дала многое миру и в те жестокие времена, которые мы теперь с радостью зовем историей. Знатоки литературы в том же Франкфурте хорошо знают и «Слово о полку Игореве» и «Витязя в тигровой шкуре». Один из крупнейших художников нашего времени Анри Матисс, увидав работы Андрея Рублева, сказал: «Это самое замечательное в древней живописи из всего, что я знаю». Памятники Новгорода, русского Севера, Грузии и Армении известны археологам и архитекторам всего мира. Живя в нищете, среди дремучих лесов, люди сумели из дерева создать Акрополи. Страна, которая, по словам франкфуртского фашиста, заселена низшими расами, родила Пушкина, Гоголя, Толстого, Чехова, Чайковского, Мусоргского, Менделеева. Г-н доктор, спросите франкфуртских библиотекарей, если они еще не

умерли в ваших концлагерях, кого больше читали во Франкфурте до того, как вы сожгли все книги: Ганса Гайнца Эверса или Горького?

Полтораста лет назад во главе человечества шел Париж. Россия тогда была злосчастной окраиной. В Париже люди толковали о свободе и равенстве, а Россией правил полоумный выродок Павел. Он прогонял народ сквозь шпицрутены, он играл в солдатики, а по ночам молился на чучело прусского фельдфебеля. С тех пор прошло немало времени. Духовная гегемония мира перешла к Москве. Мы знаем, что у нас был Павел, он был за сто лет до того, как впервые в крохотных рабочих кружках раздалось имя Маркса. Чем гордитесь вы, господа фашисты? Может быть, тем, что в вашей стране сто двадцать лет спустя после рождения Маркса воцарился германский Павел, со шпицрутенами, с оловянными солдатиками и с изуверством того самого фельдфебеля, на чучело которого молился российский император?

В Москве был Охотный ряд. Бородатые тучные лавочники, торговавшие балыком или тетерками, не верили в исторический прогресс. Они верили только в замусоленные «катеньки» и в нагайки. Утробной ненавистью они ненавидели интеллигентов и социалистов, студентов и евреев. Давно снесены жалкие лабазы. Нет больше и охотнорядцев: они вымерли, как мамонты. Но нашлись люди, свято унаследовавшие несложную философию погромщиков, которые некогда с гиком носились по Моховой. Фашисты часто говорят, что их духовный учитель — это Ницше: в порядочном обществе они непрочь похвастать своей ученостью. Однако зачем хитрить? Их учителя — это Шмаков, Нилус, Мещерский, охранник Зубатов, вся нечисть, плодившаяся в щелях покойной империи. Мена совершилась. Мы взяли Маркса, Энгельса, Гейне, Гёте. На нашей исторической свалке нечистот фашисты разыскали «научные труды» Шмакова и окровавленный фартук последнего охотнорядца.

Когда-то российские горе-патриоты вопили: «Шапками закидаем»! Они слали солдат с шапками под огонь. Мы хорошо знаем, что шапками никого закидать нельзя. На войне для этого применяются снаряды. Но мало и снарядов: нужны люди, которые знают, что такое прицел и где

находится враг. Германия и ныне блестит, как натертая мелом: блестят каски и площади, кастрюли и лбы. Замечательные машины, созданные человеческим гением, продолжают свою работу. Мы можем все признать заранее: в Германии железнодорожное расписание бесспорно, как таблица умножения, типографии работают исправно и чисто, люди ходят по улицам, не толкая встречных, письма приходят аккуратней, нежели наши «молнии». Я видел египетские мумии, вместо костей — труха, но на бывшей руке еще горят огнем золотые запястья. Третья империя живет отсветом прошлого, это посмертная жизнь.

Чем заняты сто семьдесят тысяч докторов? Одни из них, как алхимики, ищут каплю арийской крови, другие наспех переписывают средневековые законы, третьи с утра до ночи трудятся в библиотеках, отбирая книги, подлежащие уничтожению, четвертые сочиняют вирши о том, как аист, присев на крышу Геббельса, бодро прокричал: «Эльзас наш! Смерть предателям!», пятые точат топоры и, надев на головы цилиндры, рубят головы «предателям». К чему им ученые степени? Наши охотнорядцы справлялись с подобными трудами, едва закончив церковно-приходское училище.

Чтобы изобрести замечательную машину, мало изобретателя: надо для этого иметь и поэтов, и музыкантов, и тишину библиотек, и смех детей. В былое время Германия многим одарила мир. Один и тот же воздух родил высокую технику, дисциплину мысли и злой смех Гейне. Теперь мертвая страна еще пугает соседей глотками пушек. Но нельзя жить за счет прошлого, нельзя в самолете молиться Валгалле и на изумительных линотипах Лейпцига набирать заговоры колдунов. Когда страну лишают живого воздуха, она умирает. Этот процесс долог и мучителен: конечно, поэты умирают прежде механиков, но и механики не могут жить без поэтов.

«На Востоке живут низшие расы...» Я вижу чистые, благоустроенные города Германии, хорошо оборудованные заводы, порядок, выдержку, умение — все навыки давней цивилизации. Я вижу также рытвины наших дорог, растерянность вчерашнего пастуха перед сложной машиной, пассажиров, тщетно поджидающих поезд. Тяжелый дар достался нам от империи. Мы уничтожаем его с ка-

ждым годом, но он еще существует. Однако о чем говорите вы, г. доктор? О прошлом Германии? Не вам этим хвастать. Пинком солдатского сапога вы вышвырнули прочь Эйнштейна и Манна. Значит, вы гордитесь Третьей империей? Но скажите, стоило ли изобрести радио, чтобы по нему передавать рык первобытного дикаря?

Тишина. Гул времени. Можно поговорить и с собой. Наша страна живет настолько бурно и поспешно, что у нее нет часа для исторических раздумий. История у нас изготовляется в любом поселке, она стала ширпотребом, ее перестали замечать. Но бывают минуты, между работой и сном, когда сердце вдруг начинает усиленно биться, отходишь как-то в сторону и все видишь: и короткий день, и друзей, и семнадцать лет, и мир. В такие минуты легкие жадно вбирают воздух истории.

Надо знать прошлое России, надо много колесить по миру, чтобы почувствовать роль Москвы. Глаза миллионов людей на разных концах света горят теперь отраженным светом. Колхозник Пахомов, поднявший удойность холмогорских коров, или прораб Скворцов, работающий на магистрали Москва — Донбасс, думают о работе доярок или об отсутствии костылей. Им, может быть, и невдомек, что они сейчас шагают впереди человечества. Если рассказать Пахомову, что в Дании коровы дают куда больше молока, нежели в Холмогорах, если рассказать Скворцову, что в Америке костылей сколько угодно, они, чего доброго, смутятся: «Какие же мы первые?..»

Я помню, как сотрудница «Интуриста» с восхищением показывала французским архитекторам автоматический телефон: «Посмотрите, я набираю номер...» Французы глядели кто на нее, кто на потолок, кто в окошко на Кремль. Никто из них не заинтересовался телефоном: эта штука стоит у них дома на столе. Дело, конечно, не в телефоне, да и не в том, что такой-то советский завод — первый в мире, второй или десятый. Дело в том, что этот же телефон означает у нас нечто другое, нежели во Франции.

Каков их мир? Одни кидаются в воду, потому что у них нет корки хлеба, другие стреляются, потому что у них слишком много денег и слишком мало фантазии. Сотни лет мечтателям говорили: «Ничего не поделаешь, если отнять у человека корысть, он перестанет работать». Сочи-

няя свои утопии, мечтатели предлагали людям отказаться от прогресса: лучше справедливость без штанов, нежели штаны без справедливости. Но люди с ними не соглашались. Человек, который купил автомобиль, ходит пешком только для моциона.

В годы так называемого «благоденствия» мир был загроможден прекрасными побрякушками. Парламентские социалисты становились учениками Генриха IV, который мечтал о курице в горшке каждого верноподданного. Вечерами города, залитые светом, напоминали грандиозные «луна-парки». Люди мечтали об электрических прачечных, как их деды мечтали о царствии небесном. Только минутами в сердце закрадывалась тревога: что если?.. Во всех словарях имелось слово «безработица». Они пытались откладывать в сторону гроши, но тогда показывалось другое слово: «инфляция». Они говорили детям: «вы будете счастливы», и тотчас кто-то подсказывал третье слово: «война».

В первые годы революции наши обыватели были заняты одним: при каждом тревожном слухе они набирали воду, кто в ванну, кто в ведро. Так живет их мир: жалкими сбережениями и огромной тревогой.

Законы инерции общеизвестны. Если инженер на заводе Сименса еще работает исправно, то это только потому, что некогда жил великий Фарадей. Они долго думали, что у них монополия на технику. В 1917 году они уверяли, что Россия превратится в пустыню, заселенную скифами. Они при этом ласково ухмылялись; пустыню можно колонизировать.

Мы разбили их надежды, и в 1935 году германские фашисты заговорили о дивизиях: нужно сначала разрушить Днепрострой, а потом послать на его развалины безработных «докторов» из Карлсруэ или Магдебурга.

Немецкий мещанин с детства знает, что Гёте — «гордость Германии», он этим удовлетворен, ему незачем читать «Фауста». Он убежден, что культура — послужной список нации. Он учит своих детей, как правильно держать вилку и в каком случае надо сказать «Вагнер», а в каком «Бисмарк». Наши комсомольцы, читая Гёте, открывают новый мир. Они открывают его потому, что чтение для них — творчество: не только книга меняет человека,

но и человек, читая, меняет книгу. Мы не жгли книг и не воевали с призраками. Культурное наследство мира мы обогатили нашими «да» и нашими «нет». Впервые в истории человечества давние ценности — книги, картины или мелодии — вдохновляют миллионы людей в их повседневном труде.

Труд казался людям низким. Благородные умы мечтали о том, как бы освободить людей от работы. Мы сняли с труда арестантский халат, к его груди мы прикрепили орден. Я говорю не о внешнем уважении, не о карточках ударников, не о газетных статьях, но о внутреннем ощущении труда как творчества. Человек хочет творить, вне труда он духовный паралитик. Борясь с остатками старой психологии, мы говорили: «Кто не трудится, тот не ест». Это параграфы законов. Наши октябрята, которые с детства слышат гуд строек, шелест книг, патетическую походку труда, через десять лет с удивлением спросят: «Неужели было время, когда еда почиталась наградой за труд?..»

Нет ничего страшнее воскресных дней в любой капиталистической стране: люди слоняются, как осенние мухи. Чтобы их развеселить, тысячи хитрецов придумывают различные механические «аттракционы». Десятилетние мальчуганы теребят мать: «Скучно!» Двадцатилетние юноши принимают медикаменты, возбуждающие половую энергию. Там, где труд — это каторжные рудники, досуг — крепостная одиночка. Наше достоинство в том, что у нас стерта грань между трудом и досугом, что наша молодость — это не только паспортная справка, но и воздух.

Не следует зазнаваться. Мы можем спокойно признать все, что в их мире достойно любования или усвоения. Мы знаем, что парижские живописцы чувствуют цвет острее и глубже московских, что в Америке прекрасные дороги, что в Англии умеют озеленять города и уважать стариков, что каждый рядовой француз выражает свою мысль точнее и красивее многих советских журналистов. Мы ценим достоинство кастильских бедняков, вдохновенную живость парижской улицы, опрятность датских свиноводов. К достоинствам других стран мы относимся без зависти и без злобы: школьная скамья — почетное место.

Мы говорим им: вы еще можете быть первыми в мире по количеству автомобилей или по длине дорог. Мы этого не оспариваем. Мы первые не по небоскребам и не по холодильникам. Мы просто первые: мы уже вступили в новый мир, а вы еще бродите по жестокой и злой пустыне.

В одном советском издании я недавно увидел телеграмму: какая-то венгерская газета «признает высокие качества советской кинематографии». Разумеется, это очень мило. Но, может быть, время сказать, что мы не нуждаемся в подобных аттестатах? Во всей Венгрии нет ни одного пристойного кинорежиссера. Что касается венгерской печати, то, соблюдая дипломатическую вежливость, мы предпочитаем о ней не говорить. Пусть лучше они в Будапеште печатают телеграммы: «После процесса Ракоши все советские газеты признают высокие качества венгерской юриспруденции».

Какой-нибудь интурист — португалец или парагваец, — попав, неизвестно зачем, в Магнитогорск, важно цедит сквозь зубы: «Домны... того, неплохие...» Он вообще никогда не бывал на современном заводе, и в производстве чугуна смыслит куда меньше, нежели любой пионер, но его мнение передается из уст в уста: «Иностранец сказал...»

О домнах наши спецы могут с пользой выслушать отзывы американских металлургов. Наших режиссеров бесспорно заинтересует мнение Грифитса или Майлстона о «Чапаеве». Эти специалисты могут оценить инвентарь советского мира. Существа его не способны оценить и они. Но миллионы людей в Гамбурге и в Детройте, в Манчестере и в Лилле, не зная статистики нашей добычи угля, не зная ни работ наших ученых, ни стихов наших поэтов, все же отчетливо понимают, что спасение человечества — в Москве. Они живут по ту сторону рубежа, они воочию видят культуру капиталистического мира: это обезлесенный материк с высохшими реками и с землей, покрывшейся старческими морщинами.

Наш рост слышен за тридевять земель не потому, что наши ребята крикливы, но потому, что в мертвом мире стало тихо, как на кладбище. Жадно в казематах Пруссии не ухо — сердце ловит смех московских комсомолок. Когда такие ревнители культуры, как Томас Манн, пово-

рачиваются к Москве, это не оттого, что у нас хорошо работает издательство «Академия», и не оттого, что у нас много прекрасных музееведов. Мало беречь реликвии прошлых веков, надо подумать и о музеях будущего. Конечно, у нас еще нет ни Гёте, ни Толстых, ни Рембрандтов, но у нас уже есть тот воздух, которым могут дышать гении: они бегают у нас между ног, играют в скверах, поют под окнами.

Господин доктор из Франкфурта, один из ста семидесяти тысяч докторов, кричит ночью в микрофон: «Низшие расы...»

Мы не ответим: «шапками закидаем» — мы не солдатики Ренненкампфов. Мы не ответим также: «закидаем снарядами» — мира мы хотим не только на словах. Конечно, если г. доктор явится к нам не с кодаком интуриста, но с пулеметом последней системы, для него найдутся и снаряды. Но исторический спор с мертвым миром решится иначе. Мы вас закидаем мыслью, книгами, зерном, цветами наших садов, смехом наших ребят. Нет большей опасности для вас, г. доктор, нежели наше счастье. Когда наш поэт пишет хорошие стихи, когда наш агроном выводит новый сорт пшеницы, когда наш горняк подымает добычу угля, вы мучительно морщитесь, и в ответ улыбается наш друг Эрнст Тельман, улыбаются с ним миллионы людей, которых вы сумели поработить, но не уничтожить.

1935

ПЛЯСКА СМЕРТИ

Экран. Гоночные автомобили. То и дело, подпрыгивая, как насекомые, они падают набок. Санитары с носилками. Рев толпы. Мелькают пятна света, больно глазам. Потом скачки официантов с подносами. Потом бега модисток с картонками. Борзые, задыхаясь, несутся за электрическим зайцем. Гул самолетов. На одном из них — череп. Это не символ, это фабричная марка. Милостивые государи и милостивые государыни, здесь кончаются развлечения. Ползут астматические танки. Цепью бегут по раскаленным камням Африки пастухи Умбрии и рыбаки Лигурии. Эскадрилья «Отчаявшихся», та, что с черепом, скидывает бомбы. Какой-то господин позади меня вскрикивает: «Долой Англию!» У него короткие усы, а в петлице все тот же череп. Рядом — влюбленные. Они пришли сюда в поисках сострадательной темноты. Они целуются печально и поспешно. Вот-вот вспыхнет свет, вот-вот эти птицы с черепом прилетят сюда и скинут на землю короткую, портативную, банальную смерть. Скорее любите! Модистки, мчитесь с вашими картонками. Это бег сумасшедших, цифры бирж, мяуканье снарядов, автобусы, серая рябь газет, последние гонки, где финиш один — смерть.

Я закрыл глаза: я больше не могу глядеть ни на официантов, ни на бомбардировщики. Хриплый бас провинциального трагика: «Вперед, пролетарская и фашистская Италия!» Ложь, как густой туман, дыхание тысячи усталых людей, горе. Так вот зачем маленький Беппо, лудильщик из Ареццо, умер возле Адуи! Нерон вздыхал:

«Погибает великий актер!» Тогда еще не было кинематографа...

Открываю глаза. Огромные шары. Что-то уродливое, бесформенное, гнусное ползет на них, и шары расступаются. Склизкая масса растет. Хочется встать и крикнуть: почему в этот сиротливый вечер вы мучаете людей? Почему после танков на немецком «Празднике жатвы», после черепов, речей Муссолини, после кровавой дребедени вы еще показываете какой-то доисторический бой? Сон тифозного? Воспоминания? Издевка? Равнодушный диктор поясняет: «Микроб сонной болезни. Он поглощает кровяные шарики. Апатия. Наступает смерть. Программа закончена. Спокойной ночи».

Поймут ли наши внуки, что значило жить в одно время с фашистами? Вряд ли на желтых, полуистлевших листах газет останутся гнев, стыд, страсть. Но, может быть, в высокий полдень другого века, полный солнца и темно-изумрудной зелени, ворвется на минуту молчание — это будет наш голос. Что они сделали с Европой?..

Поезд, теплый и взволнованный, как будто он живой, несется через страны. Если будущему историку понадобится эта справка, не забудем и о ней: в ту осень стояли удивительные ясные дни. Наперекор календарю в садах вторично зацвели вишни. Яркая трава сердобольно покрывала нищету земли. Дожди падали с веселым грохотом, как детские слезы, и тотчас снова показывалось солнце. Будто в мае, шумели грозы, и, облитые горячими зарницами, девушки Шампани собирали мутные грозди на полях, где двадцать лет назад люди, умирая, просили глоток воды.

Вся Европа кажется одним садом: столько труда положено на каждый клочок земли, на каждый палисадник, на каждую грядку, такой любовью помечены и горы угля под Шарлеруа, и яблони Нормандии, и рурские домны, и турбины среди всклокоченных вод Пьемонта.

Жестока и страшна повесть этих камней! Трудно вчуже любоваться арками Рима, набережными Темзы, Эскуриалом или версальскими садами: это история насилья, лжи, суеверий и разбоя. Но это также история высокого творчества. Мы с детства любили несчастный, великий, полумертвый материк.

Во сне мы бродили по улицам Парижа, запутанным и непонятным, по этим венозным сосудам мира, где каждый дом нам казался датой.

Мы пугались и радовались, когда, как бледные, едва расцвеченные гравюры, проходили перед нами видения Англии: ее бессердечные ростовщики, ее поэты, ее лицемеры, ее туманы, ее смех. Где-то в черной коробке, среди сутяг Грайзина, подогретого эля, тумаков и чопорной конституции, резвился и плакал наш сверстник, наш друг, наш товарищ — бедняга Оливер Твист.

Как взволнованно и сосредоточенно мы глядели на Германию, на эту печень Европы! Говоря, что «немец выдумал луну», мы думали не только об исправных электротехниках: и никогда удивительный ритм Эссена не мешал нам расслышать шелест еще не срубленных лип. Мы помнили и небольшой дом в Трире — там родился Маркс, чистокровные держиморды превратили его в участок, и другой дом на тихой улице Веймара, где фанатики тьмы теперь чествуют человека, перед смертью крикнувшего: «Света!» Мы помнили и леса Гарца — усмехаясь до слез, до задыхания, до немоты, «неариец» Гейне там беседовал с предполагаемой родиной.

Будто имя любимой, мы повторяли: «Италия». Мы любили эту страну не как туристы, падкие на развалины, но как современники, как дети, как живые. Мы любили ее не только потому, что некогда в ней жил Леонардо, мы любили ее и потому, что каждый каменщик Пьемонта или Сицилии знал, что такое человеческое достоинство. Я думаю сейчас о Гоголе, который задыхался среди мертвых душ, среди двойных Ноздревых и Плюшкиных — тех, что рыскали по российским губерниям, и тех, что ютились в его душе. В Италии Гоголь учился не только свободе — дыханию. Я думаю также о Герцене: на один час он вышел из своего одиночества — это было среди римской толпы в веселый день революции. Мне повезло: я знал живую Италию. Я помню радушье тосканских крестьян, «Народный дом» в Сиенне, гордых забастовщиков, вино, горячее как кровь, и всю щедрость итальянской крови.

В одной из старых церквей Лукки изображена пляска смерти. Среди холмов Тосканы, осыпанных медью виноградников, руном овец, черными, как южная ночь, кипари-

сами, резвится скелет в берете: это смерть. Наивный живописец написал под фреской:

Вы работали, смеялись, жили.
Теперь пляшите со мной.
Вы говорили, что завтра — счастье.
Я отвечаю: завтра — ничто.

О, разумеется, за шесть веков смерть многому научилась. На скелет она напялила рубашку: черную, коричневую или синюю. Она согласна взамен колоколов на джаз, на пушки, даже на речи. Не смущаясь, она рычит в микрофон: «Вперед, пролетарская Италия!» Так открывается бал в пустынях Эфиопии. Где же будут танцовать под следующий выходной — на полях Литвы или на берегах Рейна?

Трехлетние еще имели право звать: «Мама!» В пять лет их заставляли, подняв руку вверх, вопить: «Маре нострум!» — «Средиземное море наше!» Сотни тысяч людей, угрюмо щербясь, подхватывали: «Море наше! Ницца наша! Африка наша!» Они не мечтали о счастье, и они не хотели справедливости. Во сне они рвали на клочья карту Европы, как истерическая дама — кружевной платок. Свои бедняки ограблены. Что же остается, если не грабить соседских? Теперь пятилетние мальчуганы подросли. Их поставили к пулеметам. Они кричат каждый свое. Они кричат одно и то же:

— Мемель наш! Страсбург наш! Брно наш!

— Братислава наша! Кошицы наши! Банат наш!

— Острава наша! Гомель наш! Киев наш!

— Великая Германия до Средиземного моря!

— Великая Италия до черепов среди африканской пустыни!

Все меньше и меньше кровяных шариков. Нет той норы, куда можно было бы укрыться. Люди озираются по сторонам. Когда-то они мечтали о великом будущем. Теперь, как спичку на ветру, они стараются оградить свою куцую жизнь. Здесь можно было бы припомнить стихи Гейне, но ведь и они под запретом. Тогда как рассказать о простом человеческом горе? Это было в Дрездене, и ему было двадцать четыре года, а ей двадцать два. Здесь были и паузы и то задыхание, когда кажется — останавливается

жизнь, и луна, разумеется луна, та самая, которая, по старому русскому размышлению, изготовлена немцами. Кто-то кричал: «Мемель наш! Эйпен наш! Шлезвиг наш!» Но они рассеянно прислушивались к голосу истории: они слушали, как бьются в грудной клетке два бедных комка, мускулы, червы игральной колоды, да еще как стучит по стеклу дождь, подыскивая, чем бы заменить сожженный томик Гейне. Что было потом? «История» постучалась в дверь: при проверке оказалось, что дедушка у него «неариец». Его провели по улицам с плакатом на груди: «Я грязное существо». Коричневая свора улюлюкала. Дождь стучал по стеклу: она стояла у окна. Она все видела. Слабой рукой она схватилась за веревку.

Мир человека, высокий и сложный, они заменили опытным скотоводством. Хозяйским глазом они смотрят на бицепсы производителей и на широкие зады производительниц. Они жгут книги, и благоговейно они измеряют органы размножения: ведь «Мемель наш», «Савойя наша», «Киев наш» — надо много ног, много рук, много человеческого мяса. Я не хочу оскорблять четвероногих. В Берлине имеется прекрасный зоопарк, может быть, туда ходят последние гуманисты Германии, чтобы поглядеть на веселые игры обезьян, на добродушие слона, на сердечность медвежонка.

Фашистский литератор Анджело Турацци недавно рассказал, как его страна готовится к победе. Герои уже отбыли на фронт, но герои нуждаются в неге, и вербовщики теперь набирают женщин. Турацци успокаивает: на фронте будет вдоволь женщин — сотни публичных домов. Чернорубашечники не теряют времени: в Риме они закупают местных девушек, в Марселе француженок. Один из вербовщиков сообщил французскому журналисту г. Лебеку: «Особенно приходится налегать на арабок и негритянок — только они там выдерживают. Белые женщины, проработав три-четыре дня, выбывают из строя: дизентерия, лихорадка. Если война затянется, можно будет хорошо заработать, это ведь крупное дело — поставлять амуницию...»

«Амуниция» — это женщины, черные и белые, неаполитанки и француженки. Их покупают за гроши: теперь кризис. Их грузят, как туши, на пароходы. Их отсылают в

Африку. Их считают по головам. Когда, не выдержав «борьбы за великую латинскую культуру», они умирают, вербовщики шлют новую партию.

На парижском конгрессе писателей мы много говорили о защите культуры. Нам ответил сам канцлер Германии: «Большевиствующие писатели — это убийцы культуры. Тщетно современные Герострати тщатся сжечь все культурные ценности». Верноподданные Гитлера тем временем тащили на костер очередной воз книг, и отсвет пожарища освещал горделивое лицо «защитника культуры». Канцлер продолжал: «Камни Рима остались, но что осталось от тех, которые хотели разрушить Рим?» Верноподданные в ответ бодро рычали: они гордились тем, что их предки были чистокровными варварами, которые с рыком и гиком разрушили Рим. А Гитлер все говорил и говорил: о красоте, о поэзии, о вдохновении. Еще один человек повторял слова Нерона: «Гибнет великий актер!» Впрочем, рубить головы топором можно, и не зная начатков всемирной истории. Что касается смерти, то ей надоело ходить по миру нагишом. Она берет в костюмерной вчера военный мундир Фридриха Великого, сегодня изысканный костюм покровителя искусств Лоренцо Великолепного. Она заказала себе фуражку, усы и бальные туфельки — кто же не знает, что она танцорка?

Я боюсь думать о той Европе, которую я люблю. Я знаю ее холмы — так знаешь тело близкого тебе существа, ее огромные столицы и цветущие тупики, ее поэтов и ее будни. Я проезжаю по улицам Вены — вот в этом доме рабочие, умирая, еще защищали человеческое достоинство. Следы снарядов, ночь, нищета. Я вспоминаю Испанию — там я учился братству и ненависти. Кто-то говорит мне: «Помните Гонсалеса? Вы его видели в Хересе... Они его убили». Я, кажется, еще хожу, как маниак, по прямым улицам Берлина. Угрюмый Норден, оскаленные окна голодных домов, молчание, шаги штурмовиков. На этой улице в маленькой пивной собирались рабочие. У них не было денег на пиво. Они стояли у стен. Они ждали боя. Их взяли врасплох. Высокого Гайнца расстреляли «при попытке к бегству». Анну пытали в гестапо. Да, я должен это запомнить! Я ничего не смею забыть. Я знал страны, теперь это кладбища. Говорят, что какие-то чудаки еще

ездят во Флоренцию, чтобы любоваться картинами Боттичелли. А итальянские тюрьмы?.. В них сидят люди, замечательные люди, и вот я, человек, который живет искусством, как землепашец живет землей, как металлист живет сталью, я думаю, что судьба каждого из этих людей дороже всех картин мира. В Варшаве есть тюрьма Павиак. В Варшаве живет поэт Броневский. Когда я проезжаю через Варшаву, я робко спрашиваю: «Он — там?..» Я больше не хочу говорить об этом: у меня нет для этого слов — солдаты в пустыне, женщины, которыми торгуют, герои, которых тащат на плаху, военные крики, позы мегаломанов, развалины рабочих домов, голод, стыд, унижение...

Рабочий митинг в Париже — я зашел сюда случайно, спасаясь от мыслей, от воспоминаний, от чересчур темной ночи. Таких митингов много — каждый вечер. Тесно, душно, несколько тысяч людей жадно слушают оратора. Я гляжу на лица — здесь можно прочесть летопись труда, бедности и горя парижских окраин. У каждого из этих людей своя судьба. Все они устали за день — они поднялись на рассвете. Этот человек работает у Ситроена. Та женщина весь день стирала белье — она не может разогнуть спины. Сколько на свете больших и малых горестей: болезней — бронхит, ревматизм, «жена лежит второй месяц»; горестей сердца — «говорила, что любит, но у меня нет работы, она пошла с другим»; забот докучливых, как осенние мухи — «надо Жаку купить ботинки, а нет денег», «вчера закрыли газ», «завтра — платить за квартиру». Тела, искалеченные поколениями нужды, ранние морщины, воспаленные глаза. Они стоят рядом, они друг друга не знают, никто не скажет соседу о своей беде. Но вот они всполошились, они бьют руками, они кричат, они, как в сказке, помолодели — огромная воля расширила зрачки, сжала пальцы в кулак, сделала стариков подростками, превратила этот темный зал в весеннюю бурю, когда ветер рвет лед и обещает миру дожди, охапку цветов, счастье. Что же приключилось с этими людьми? Два коротких слова: «Свобода Тельману»! Смерть изумленно замирает в дверях, где чернеют каски гвардейцев, — здесь нет для нее места, здесь живые люди, они встали, они клянутся, что будут защищать жизнь.

Мужество — наша тяжелая и нежная добродетель. Я выхожу, набравшись снова сил, чтобы жить. Я видел людей, которые не хотят, чтобы итальянские солдаты умирали в Африке, которые от всего сердца приветствуют далеких черных людей, сражающихся за свою свободу, для которых Ракоши — родной, которые, затаив дыхание, следят за судьбой Тельмана, которые способны забыть о своей нужде, о своем горе для других, для братьев, для будущего.

Ворота Негорелого. Я помню другие ворота — это было двадцать семь лет назад — меня выпустили из Бутырской тюрьмы. Я был мальчишкой, я стоял у ворот и не знал, что делать. Был летний день, громко громыхали пролетки, кричали дети, и еще я помню воробьев, этих московских «гаменов», смешливых и непочтительных: они бранились на серой мостовой среди внезапных солнечных пятен. Я стоял и недоверчиво улыбался: я еще не верил жизни. Сейчас мне хочется взять за руку рослого красноармейца — почувствовать, что эта рука тепла, и топотать ногами — ведь это настоящая земля! Бывает, проснешься после жестокого сна, и не сразу верится, что страшное померещилось во сне, хочется открыть окно, проверить свежесть утра, громко крикнуть и самому прислушаться к своему голосу, взять в руку какую-нибудь вещицу — коробок спичек или часы. Надо до конца почувствовать, что это — взаправду, что здесь мужество стало трудом — заводами, полями, поэзией, что есть в мире страна, где не торгуют девушками и не жгут стихов, где живет и растет, как «живая вода» детских сказок, как глоток воздуха в шахте, как весенняя оттепель, — надежда мира: Красная Армия.

1935

ВОЙНА

В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ

С негодованием, с гневом узнали мы о разбойном нападении германских фашистов на наши города. Не словами ответит наш народ врагу. Игрок зарвался. Его ждет неизбежная гибель.

Германские фашисты подчинили своему игу много стран. Я видел, как пал Париж, — он пал не потому, что были непобедимы немцы. Он пал потому, что Францию разъели измена и малодушие. Правящая головка предала французский народ. Но там, где солдаты, брошенные всеми, вопреки воле командования оказывали сопротивление, немецкие фашисты топтались перед ничтожными отрядами защитников.

Советский народ един, сплочен, он защищает родину, честь, свободу, и здесь не удастся фашистам их низкая и темная игра.

Они разгромили свободолюбивую, веселую Францию, они поработили братские нам народы — высококультурных чехов, отважных югославов, талантливых поляков. Они угнетают норвежцев, датчан, бельгийцев. Я был в разоренных немцами странах. Повсюду я видел горящие гневом глаза, — люди ненавидят разбойников, которые разграбили их страны, убивают их детей, уничтожают их культуру, язык, традиции. Они ждут минуты, когда зашатается разбойная империя Гитлера, чтобы подняться, все, как один, против своих поработителей. У советского народа есть верные союзники — это народы всех порабощенных стран — парижские рабочие и сербские крестьяне,

рыбаки Норвегии и жители древней Праги, измученные сыновья окровавленной палачами Варшавы. Все народы с нами. Как на освободительницу, они смотрят на Красную Армию. В оккупированных фашистами странах зимой начались партизанские бои — смельчаки не могли больше выдержать неслыханного ига. В ноябре парижские студенты вышли на улицу с револьверами. Норвежцы по ночам истребляли отряды фашистов, поляки уходили в леса и оттуда совершали налеты на фашистских оккупантов. В Чехии рабочие ломали станки: «Ни одного снаряда для немецких фашистов». Теперь на них пойдут не тысячи смельчаков, но миллионы — народы Европы.

На стенах древнего Парижа в дни немецкой оккупации я видел надписи: «Гитлер начал войну, Сталин ее кончит». Не мы хотели этой войны. Не мы перед ней отступим. Фашисты начали войну. Мы ее кончим — победой труда и свободы. Война — тяжелое, суровое дело, но наши сердца закалены. Мы знаем, какое горе принес фашистский захватчик другим народам. Мы знаем, как он останавливается, когда видит достойный отпор. Мы не дрогнем, не отступим. Высокая судьба выпала на нашу долю — защитить нашу страну, наших детей и спасти измученный врагами мир. Наша священная война, война, которую навязали нам захватчики, станет освободительной войной порабощенной Европы.

22 июня 1941 г.

МЫ ВЫСТОИМ!

Еще недавно я ехал по Можайскому шоссе. Голубоглазая девочка пасла гусей и пела взрослую песню о чужой любви. Там теперь говорят орудия. Они говорят о ярости мирного народа, который защищает Москву.

Еще недавно я писал в моей комнате. Над моим столом висел пейзаж Марке: Париж, Сена. В окно, золотая, розовая, виднелась Москва. Этой комнаты больше нет: ее снесла немецкая фугаска. Я пишу эти строки впопыхах: пищущая машинка на ящике.

Большая беда стряслась над миром. Я понял это в августе 1939 года, когда беспечный Париж вдруг загудел, как развороченный улей. Каждому народу, каждому честному человеку суждено в этой беде потерять уют, добро, покой. Мы многое потеряли, мы сохранили надежду.

Надевая солдатскую шинель, человек оставляет теплую, сложную жизнь. Все, что его волновало вчера, становится призрачным. Неужели он вчера гадал, чем обить кресло, или горевал о разбитой чашке? Россия теперь в солдатской шинели. Она трясется на грузовиках, шагает по дорогам, громыхает на телегах, спит в блиндажах и теплушках. Погиб Днепрогэс, взорваны прекрасные заводы, мосты, плотины. Вражеские бомбы зажгли древний Новгород. Они терзают изумительные дворцы Ленинграда. Они ранят нежное тело красавицы Москвы. Миллионы людей остались без крова. Ради права дышать мы отказались от самого дорогого, каждый из нас и все мы, народ.

Москва теперь превратилась в военный лагерь. Она получила высокое право рисковать собой. Я видел защитников Москвы. Они хорошо дерутся. Земля становится вязкой, когда позади тебя Москва, нельзя отступить хотя бы на шаг. Враг торопится. Он шлет новые дивизии. Он говорит каждый день: «Завтра Москва будет немецкой». Но Москва хочет быть русской.

Что ищет Гитлер, врезаясь в тайники нашей страны? Может быть, он надеется на капитуляцию? У нас есть злые старики, у нас нет петэнов, и воры у нас есть, но нет у нас лавалей. Горе нашего народа обратится на врага.

Русские никогда не отличались методичностью немцев. Но вот в эти грозные часы люди, порой бесшабашные, порой рыхлые, сжимаются, твердеют. Наши железнодорожники показали себя героями: под бомбами они вывозили из городов заводы и склады. За Волгой, на Урале уже работают эвакуированные цехи. Ночью устанавливают машины. Рабочие зачастую спят в морозных теплушках и, отогревшись у костра, начинают работу. В авиашколах учатся юноши, через несколько месяцев они заменят погибших героев. В глубоком тылу формируется новая мощная армия. Народ понял, что эта война — надолго, что впереди годы испытаний. Народ помрачнел, но не поддался. Он готов к кочевью, к пещерной жизни, к самым страшным лишениям. Война сейчас меняет свою природу, она становится длинной, как жизнь, она становится эпопеей народа. Теперь все поняли, что дело идет о судьбе родины — быть ей или не быть. «Долго будем воевать», — говорят красноармейцы, идя на запад. И в этих горьких словах — большое мужество, надежда.

Нельзя оккупировать Россию, этого не было и не будет. Россия всегда засасывала врагов. Русский обычно беззлобен, гостеприимен. Но он умеет быть злым. Мы знаем, что немцев теперь убивают под Москвой, но немцы знают, что их убивают и за Киевом. Слов нет, Гудериан умеет маневрировать, но и ему не усмирить крестьян от Новгорода до Таганрога. Германская армия продвигается вперед, но позади она оставляет десятки, сотни фронтов.

Советский Союз — особая страна. Трудно его понять на Вильгельмштрассе. Он может от всего отказаться. Люди у нас привыкли к суровой жизни. Может быть, за грани-

цей стройка Магнитки и выглядела, как картинка, на самом деле она была тяжелой войной. Неудачи нас не обескураживают. Издавна русские учились на неудачах. Издавна русские закалялись в бедствиях. Вероятно, мы сможем исправить наши недостатки. Но со всеми нашими недостатками мы выстоим, отобьемся. Тому порукой вся история России. Тому порукой и оборона советской Москвы.

Может быть, врагу удастся еще глубже врезаться в нашу страну. Мы готовы и к этому. Мы не сдадимся. Мы перестали жить по минутной стрелке, от утренней сводки до вечерней, мы перевели дыхание на другой счет. Мы смело глядим вперед: там горе и там победа. Мы выстоим — это шум русских лесов, это вой русских метелей, это голос русской земли.

28 октября 1941 г.

О ПАТРИОТИЗМЕ

Нелегко вырастить плодовое дерево: много оно требует труда и забот. А чертополох невзыскателен. Гитлер, создавая свою «гитлеровскую молодежь», потворствовал самым низким инстинктам человека. Он не воспитывал, — он натаскивал, науськивал. Нельзя назвать патриотизмом мироощущение немца гитлеровской формации. Патриотизм обозначает любовь к своей стране, к своему народу. Как всякая большая любовь, патриотизм расширяет сознание. Подлинный патриот любит весь мир. Нельзя, открыв величие родной земли, возненавидеть вселенную. Безлюбые люди — плохие патриоты. А лжепатриотизм фашистов покоится на презрении к другим народам, он суживает мир до пределов одного языка, одного типа людей, одной масти.

Давно, еще до первой мировой войны, будучи подростком, я попал в Германию. Я восхищенно глядел на чудеса немецкой техники. Как-то я оказался в небольшом загородном ресторане. Был воскресный день. В беседке сидели немцы, сняв пиджаки, пили пиво и, привставая, что-то пели. Я прислушался, слова песни были: «Германия превыше всего». В ту самую минуту я понял, что, несмотря на опрятность берлинских улиц, несмотря на все достижения немецкой полиграфии или механики, Германия не «превыше всего», что в ее самоутверждении есть страшные низины человеческого духа.

Гитлер нашел подходящую почву для своей «расовой теории». Он легко внушил молодым немцам (сыновьям

тех самых, что пели в беседке), будто они, и только они, — люди, а кругом «низшие расы», «недочеловеки». Приказчику из сигарного магазина было лестно почувствовать себя «сверхчеловеком», влезть на ходули и оттуда пренебрежительно взглянуть на мир. Что Париж? Магдебург лучше. Что Оксфордский университет? Прусская казарма почтенней. Что Лев Толстой? Автор порнографических романов Ганс Эверс пишет куда занятней.

Гитлеровцы презирают французов, называя их «негроидами» и утверждая, что французы — это «метисы». По соображениям тактики, гитлеровцы льстят мусульманам, однако в Испании они возмущенно отмахиваются от андалузцев, и слово «мавр» в устах немца звучит как оскорбление: андалузцев гитлеровцы осуждают за «примесь арабской крови». Союз с Японией не мешает немцам демонстрировать свое презрение к «монгольской расе».

В оценках культуры славянских народов гитлеровцы исходят из общего утверждения, что «славяне — низшая раса». Пражский университет — старейший университет Европы. Это не мешает немецким фашистам уверять, что «чехи — дикари». Музыка поляка Шопена для гитлеровского журнала «кудахтанье глупой курицы». Гитлер (человек глубоко невежественный и не способный прочитать книгу в сто страниц) говорит, что Лев Толстой «русский ублюдок».

«Расовая теория» прикидывается наукой: немцы любят научную терминологию. Шарлатан в Германии, придумав «теорию», с помощью которой можно выиграть миллион в рулетку, пытается украсить свои выкладки ссылками на высшую математику. Немецкий народ, как и другие европейские народы, создался в итоге длительного скрещивания представителей разных племен, в частности среднеевропейских славян, заселявших некогда большую часть Пруссии. В книгах, изданных гитлеровцами, можно найти фотографии «лучших представителей северной германской расы». Однако ни уродливый Гитлер, ни колченогий Геббельс, ни тучный Геринг никак не похожи на «образцовых германцев».

Все знают, что гитлеровцы уничтожают национальную культуру других народов. Но необходимо отметить, что они обкорнали, принизили национальную культуру немец-

кого народа. Миллионы сердец освещала поэзия Гейне. Ее романтическая ирония была солью в стране, приученной к пресному хлебу. Гитлеровцы нашли, что череп Гейне не установленного образца, и новое поколение Германии не знает даже имени поэта. Так Гитлер, присоединив к «райху» польскую Познань или французскую Лотарингию, отлучил немцев от источника немецкой поэзии.

Ограничив понятие национальной культуры рамками языка или условным определением «расы», Гитлер способствовал национальному одичанию Германии. Изгнание из университетов ученых, оказавших огромное влияние на развитие немецкой науки, во главе с Эйнштейном, резко сказалось на понижении культурного уровня страны. Почему Германия должна была расстаться со многими из ее передовых умов? Да потому, что, согласно «расовой теории», они оказались не чистокровными германцами.

Наука была заменена лженаукой. Новые профессора, люди по большей части невежественные, придумывали «чисто арийскую физику» или «строго германскую математику». Фашистский профессор Эрвин Гек заявил: «Математика — это проявление северного арийского духа, его воля к господству над миром».

Гитлеровцы удалили из немецких музеев произведения новой французской живописи и тем самым надели шоры на глаза молодых художников Германии. Немецкая литература не знала большого классического романа, ее как бы поглощала поэзия: Гёте, Шиллер, Гейне, Рильке. Немецкие писатели двадцатого века учились на иноязычном романе: на «Лавке древностей» Диккенса, на «Отверженных» Гюго, на «Отце Горио» Бальзака, на «Войне и мире» Толстого. Какие учителя оставлены писателями современной Германии? Графоман Геббельс...

Советский патриотизм — естественное продолжение русского патриотизма. Русским всегда было чуждо пренебрежение к другим народам. Петра не унизило то, что он учился корабельному делу в Голландии. От этого он не перестал быть Великим. Молодые русские патриоты, сражавшиеся против Наполеона, нашли в Париже еще теплую золу французской революции.

Гений Пушкина, столь органически русский, столь связанный всеми корнями с русской историей, с русской

природой, с русской речью, был в то же время всечеловеческим гением. Пушкин страстно любил Шекспира, Шенье, Байрона, Мицкевича. Студенты Герцен и Белинский зачитывались Гегелем. Живопись Италии была откровением не только для большого русского художника Иванова, но и для его друга, великого Гоголя.

Мечников учился у Пастера, как у Мечникова учились многие ученые Запада.

Опыт рабочего движения Франции, Германии, Англии помог русской искре стать пламенем.

Русский народ учился у других народов Европы, и он учил своих учителей. Русский роман преобразил всю мировую литературу: вне Толстого и Достоевского нельзя себе представить творческий путь любого французского или немецкого писателя. Русская музыка обошла самые глухие углы мира. Имена Менделеева, Лобачевского, Павлова известны каждому студенту Кембриджа или Сорбонны. Не было события в новейшей истории, настолько видоизменившего путь и лицо человечества, как русская революция.

В самые тяжелые времена русский народ не отчаивался в судьбе своей родины, горячо любил ее, отважно ее защищал — без злобы к другим народам, без дешевого зазнайства, без мнимо горделивых, а по существу рабских выкриков: «Мы превыше всего».

Наша советская родина досталась нам нелегко: ее мы оплатили кровью лучших, ожесточенным трудом целого поколения. Сколько нужно было распахать целины, застроить пустырей, преодолеть косности и суеверия! Мы не закрывали глаза на трудности. Мы знали и знаем, что многие деревья приносят плоды пятьдесят лет спустя после того, как они посажены.

Мы не ждали чудес, но верили в человеческую волю. И страна менялась у нас на глазах. Как дети радуются обновке, мы радовались всему — и помидорам под Архангельском и постановке «Гамлета» в колхозном театре. Мы видели, как растут наши города. Но пуще всего мы радовались росту человека. Легко воспитать десять тысяч избранных за счет других, противопоставить просвещенную знать мнсгомиллионному невежеству. Мы хотели

другого: света для всех. Мы были пионерами, а путь прогресса не шоссе с верстовыми столбами — его приходится прокладывать среди девственного леса. Перед нами был свет, и, порой сбиваясь с пути, мы неизменно выходили на верную дорогу.

Советский патриотизм освещен большой внутренней радостью, наш народ справедливо гордится своей исторической миссией. Советский патриотизм в то же время прост, органичен, как привязанность птицы к воздуху, рыбы к воде: мы любим ту стихию, вне которой нам не жить.

Каждый русский писатель самозабвенно любит русский язык. Но разве эта любовь мешала и мешает писателям понять красоту, силу других языков? Мы знаем, какую роль сыграл Кавказ в русской поэзии — от Пушкина и Лермонтова до Маяковского. Фашист ненавидит человека, у которого волосы другого цвета, который говорит на другом языке. Нас радует многообразие мира. Мы гордимся многообразием нашей родины.

В дни сурового испытания народы нашей родины показали, что такое подлинное родство. Весть о первом убитом ребенке Белоруссии пробудила сибирские села. Русские и украинцы, армяне и грузины, евреи и узбеки — все народы нашей страны сражаются, чтобы освободить плененные советские города. Сыновья Украины показывают чудеса храбрости в далекой Карелии, и забайкальские дивизии бьются за родную Украину.

Старший брат в советской семье, русский народ достиг уважения других народов не самоутверждением, но самоотверженностью: он шел впереди, он идет впереди других по той дороге, где человека встречают не только цветы, но и пули. Вот почему таким почетом окружены русский народ и русский язык. Мы говорили в мирное время: это язык Пушкина и язык Ленина. Мы скажем теперь: это язык боя.

Когда мы говорим: «Россия», мы этим не выделяем того или иного народа. Слово «Россия» теперь не название государства, а нечто глубоко внутреннее, связывающее нас с нашей историей, вторую отечественную войну с первой, молодого красноармейца с Суворовым, колыбели детей с могилами предков.

Маяковский писал: «Я хотел бы жить и умереть в Париже, если б не было такой земли — Москва». Любовь к Парижу не заставила его отступиться от родной Москвы, но любовь к Москве помогла поэту полюбить и оценить Париж. Наш патриотизм помогает нам любить другие, далекие народы, понимать чужую культуру.

Мы не переносим нашей ненависти к фашизму на расы, на народы, на языки. Никакие злодеяния Гитлера не заставят меня забыть о скромном домике в Веймаре, где жил и работал Гёте. Я люблю итальянский народ, и, беседуя с пленными итальянскими солдатами, я всякий раз радуюсь: фашизм в Италии не сумел проникнуть в сердце народа, он остался накожной болезнью, отвратительной экземой. И мне обидно, что жалкий комедиант Муссолини говорит на том языке, на котором говорили Петрарка и Гарибальди.

Мы знаем, что строй народа не случайность. Не случайно новая глава истории человечества открылась на осенней петроградской ночи. По пути прогресса народы идут не гурьбой, а караваном. Честь и слава тому народу, который первым вышел в путь!

Не случайно фашистские армии узнали первое поражение на русской, на советской земле — под древней Тверью — Калининым и под юным Сталиногорском. Вот почему слово «Москва» позволяет выше поднять голову измученным народам Европы — французам и чехам, сербам и полякам. Когда мы называем Красную Армию «освободительницей», мы думаем прежде всего о наших плененных городах, об Украине и Белоруссии, о древних Новгороде и Пскове. Но за каждым шагом Красной Армии следят миллионы исстрадавшихся людей на другом конце Европы. Имена героев, бойцов и командиров Красной Армии повторяют и рыбаки Бретани и пастухи Греции.

Гитлеровцы хотели завоевать весь мир, и в этой войне Германия потеряла свое лицо, свою душу, — Германия потеряла Германию. Мы вышли в бой, чтобы отстоять свой дом, свою землю, и в этой справедливой войне мы обрели любовь, признание всех народов мира. Такова сила, таково волшебство подлинного патриотизма.

1942

СЕРДЦЕ ЧЕЛОВЕКА

Когда Леонардо да Винчи сидел над чертежами летательной машины, он думал не о фугасных бомбах, но о счастье человечества. Подростком я видел петли французского летчика Пегу. Старшие говорили: «Гордись — человек летает, как птица!» Много лет спустя я увидел «юнкерсов» над Мадридом, над Парижем, над Москвой...

Во время великой французской революции ученый Филипп Лебон изобрел мотор внутреннего сгорания. Он говорил: «Граждане, вы увидите самодвигающуюся колесницу, и она будет источником человеческого благоденствия, она сблизит народы». Полтораста лет спустя немецкие танки раздавили своими гусеницами правнуков Филиппа Лебона.

Машина может быть добром и злом. В конце восемнадцатого века передовые умы человечества провозгласили торжество человеческого начала. В их благородные речи вмешался гул первых станков. В руках бездушных и слепых себялюбцев машины стали орудием угнетения, и в середине прошлого столетия простодушные ткачи воевали против машин. Это было заблуждением. Машину не стоит ни наказывать, ни восхвалять: машина делает то, что ей приказывает человек.

Научный социализм воспринял высокие традиции гуманистов, он провозгласил торжество человеческого начала: не человек ради машины, машина ради человека. В рабочих кружках России пионеры революции

повторяли прекрасные слова: «Человек — это звучит гордо». Социализм победил в бедной и отсталой стране. Руководители нашего молодого государства понимали значение машин: они помогают человеку стать человеком Когда люди руками дробили камень, ковали железо и копали землю, они не могли приобщиться к глубине культуры и многообразию жизни. Мы строили заводы, чтобы дети могли играть в детские игры, чтобы юноши могли изучать математику и наслаждаться Пушкиным или Шекспиром, чтобы сложность мысли и тонкость чувствований стали достоянием каждого.

Леонардо да Винчи бесспорно приветствовал бы летчиков, которые спасли челюскинцев. Он признал бы своих последователей в Чкалове, Громове или Слепневе. Наши самолеты победили океан, приобщили к миру Арктику. Они несли спасение роженице в пустыне, больному ребенку в тундре. Они приблизили Владивосток к Минску. Они приблизили человека к счастью.

Слова Филиппа Лебона нашли свое подтверждение на наших полях, некогда орошенных скорбным потом пахаря. Соху сменил трактор, и с трактористами наша деревня стала зеленым городом. Разве могли измученные страдой дореволюционные крестьяне читать романы, устраивать спектакли и растить в избах будущих академиков?

Машина в нашем государстве была подчинена человеку. Гитлеровцы подчинили человека машине. Жадность рурских магнатов и палка прусского фельдфебеля сошлись на одном: человек не должен думать, человек должен работать и повиноваться. Все в гитлеровской Германии регламентировано: творчество и любовь, зачатья и увечья.

Гитлер обратил машину в орудие уничтожения. Люди глядели на небо с гордостью. Гитлер решил: они будут глядеть на небо с ужасом. Люди с радостью думали: мы поедем в автомобиле за город. Гитлер решил: услышав звук мотора, люди будут бежать без оглядки. Вся промышленность Германии была посвящена танкам и бомбардировщикам. Молодые немцы выросли в богомольном трепете перед смертоносными машинами. Немецкие генералы говорили своим солдатам: «Противника раскрошат

бомбардировщики. Перед вами пойдут танки, — они проложат путь».

Мы делали и самолеты и танки, но мы никогда не говорили нашим юношам, что машина может заменить человека. Мы говорили: машина помогает храброму и страшит труса.

Настало время проверки. Вначале немцы как бы торжествовали. Их танки исколесили всю Европу. Гусеницы раздавили Францию и оставили борозды на полях древней Эллады. «Юнкерсы» искалечили казалось бы неприступный Лондон. И немцы послали свои машины к горам Кавказа. Здесь-то приключилась заминка: машины не сломили воли человека. Есть в войне много горя, много разрушений, война — не дорога прогресса, война — страшное испытание. Но есть в войне и нечто высокое: она дает людям мудрость. Эта война принесла человечеству великий урок: реванш человека.

Сердце бойца гитлеровцы пытались подменить мотором, солдатскую выдержку — броней. Отечественная война доказала торжество человеческого духа.

Как можно остановить танк? Ответят: меткой наводкой, хорошим бронебойным ружьем. Все это так, но прежде всего, чтобы остановить танк, нужна отвага. Человек должен подпустить близко к себе железное чудовище, не растеряться, не убежать, не открыть огонь до времени. Один боец хорошо сказал: «Гитлер о храбрость спотыкается». Гитлер не споткнулся о линию Мажино, стоившую двадцать лет труда и миллиарды, он споткнулся о храбрость двадцати восьми панфиловцев.

Когда человек убегает от танка, танк растет, становится великаном, злым гением, который настигает и давит малодушного. Когда человек принимает бой, танк — это только машина, а человек — царь природы.

Недавно батарея старшего лейтенанта Быкова отбила танковую атаку. Огибая березовую рощу, пятьдесят танков надвигались на наши боевые порядки. «Не пропустить!» — была команда Быкова. Когда машины подошли на восемьдесят метров, артиллеристы открыли огонь. «Так их!» — кричал в азарте боя Быков. Раненный, он оставался на посту. На поле боя чернели остатки двадцати шести немецких танков. Сколько над ними труди-

лись рабы Гитлера! По замыслу гитлеровцев, эти танки должны были дойти до Индии. Они погибли у березовой рощи. И все могли видеть, что это не всесильные волшебники, не боги, но металл, подвластный воле человека, железо, лом.

Десять краснофлотцев противотанковыми ружьями уничтожили двадцать три танка. Моряк Тимохин сжег шесть танков. Эпическая оборона Севастополя была торжеством человеческой отваги. Небольшой гарнизон, без аэродромов, почти без танков, двадцать пять дней отражал атаки четырнадцати вражеских дивизий и мощной техники, которую немцы сконцентрировали на маленьком отрезке земли. История скажет, что защита Севастополя была победой советского оружия: севастопольцы дали двадцать пять дней родине, двадцать пять дней победе.

Гитлер торопится. Его рабы зарятся на черноземные поля средней России. Немецкие танки снова ринулись вперед. Их должно остановить наше мужество.

Немецкие танки долго представлялись удавом, перед которым цепенела Европа. Теперь им преграждают путь люди. Как забыть о гранате в руке бесстрашного бойца или о бутылке с горючим орловского партизана? Что может быть проще такой бутылки? А немецкие танкисты страшатся ее не меньше снаряда. Дело в руке, которая сжимает бутылку, в руке лейтенанта Быкова, в руке краснофлотца Тимохина, — это рука смелого человека. Человек придумал мотор, и человек может уничтожить мотор: побеждает сердце.

1942

СИЛЬНЕЕ СМЕРТИ

Орган эсэсовцев «Шварце кор» в передовой 9 июля рассуждает:

«Опыт научил нас считаться с упорством противника, поэтому неправильно торопиться регистрировать недели войны, километры завоеванной территории, число пленных... Прежде всего нужно примириться с особенностями большевистского человека, к которому следует подходить с новой меркой. В отдельном человеке отражается упорство всей системы, не знающей компромисса. Нам, европейцам, кажется феноменальным, что большевистские солдаты месяц за месяцем идут в наступление, на верную смерть и, не задумываясь, жертвуют жизнью в обороне. Капитуляций окруженных частей, крепостей, опорных пунктов — этих нормальных явлений всех прочих войн — в СССР не бывает. Пленных удается брать только в тех случаях, когда враг полностью рассеян. Откуда берется это непонятное ожесточение? Здесь действуют силы, которым нем места в мире наших обычных представлений... Нужно предполагать, что у большевистского человека есть вера, помогающая ему совершать невероятные вещи...»

Палачи Гиммлера ошеломлены: русское сопротивление им кажется нарушением всех правил игры. Они считают, что Россия должна была сдаться, как Франция, и они пожимают плечами: откуда такое упорство?.. Эсэсовцы привыкли иметь дело с малодушными или с предателями. Они негодуют: почему Севастополь не капитулировал? Почему москвичи не вышли навстречу фон Боку с клю-

чами города? Почему Ленинград не понял «нормальных» явлений и не пустил на Невский немецких ефрейторов? Почему защитники Воронежа, вместо того чтобы сдаться в плен, истребляют немцев? Откуда это ожесточение? На помощь эсэсовцам приходит Геббельс. Он объясняет в газете «Дас рейх»: «Большевистская армия иногда сражается с почти животным упорством. Она обнаруживает презрение к смерти, которое является более чем примечательным».

Геббельс выписывает слова «презрение к смерти», не понимая всей глубины их значения. Он не в силах объяснить эсэсовцам, в чем та «вера» наших бойцов, о которой говорит «Шварце кор». Таинственной книгой за семью печатями остается душа нашего народа для фашистских грабителей. Они не понимают, что ведет наших людей в бой. Скажем прямо: любовь — любовь к семье, любовь к родине, любовь к жизни. Нет силы выше, чем настоящая любовь. Данте сказал, что она движет небесными светилами. Мы скромно добавим, что она испепеляет железные чудовища, которые рвутся к нашим городам.

Я получил сегодня письмо от бойца-казаха. Я приведу его: в нем ответ на вопрос, поставленный газетой Гиммлера. Красноармеец Асхар Лекеров пишет:

«Ваша статья «Июнь» мне много напомнила. Я сидел в тесной, сырой землянке, но мне казалось, что я сижу в большом театре мира. Передо мной проходила на экране жизнь казахского народа. Страна бывших пастухов. Голод. Кочевники в голодной степи. Ныне цветущий край...

Я вспомнил июнь 1941 года. Я тогда находился в своем колхозе. До революции это место называлось Батбах, то есть болото. Из горы текла маленькая речка, ее тоже звали Батбах. Никто здесь не жил, — говорили, что нельзя жить. А сейчас на берегу этой речки новое колхозное село, около ста тридцати дворов, громадная школа-семилетка, клуб. И при каждом доме огород — бахши. А между прочим, до революции казахский народ даже не имел понятия, что такое картошка или помидоры. Четыреста гектаров посевной площади, десять тысяч овец, шестьсот коров, семьсот лошадей — вот это картина Батбаха в июне 1941 года.

Я люблю родной край, родную землю, люблю мой Батбах. Хочу купаться в речке Батбах... И я вам прямо скажу, товарищ Эренбург: я хочу жить после победы над врагом. Но когда жаркая схватка с врагом, я про все забываю. Меня волнует одна мысль: разбить, уничтожить палачей. Во мне кипит кровь. Простой маленький казах превращается в непобедимого громадного борца. После мне самому смешно...

Что такое жизнь? Это очень большой вопрос. Потому что каждый хочет жить, но смерть раз в жизни неизбежна. А тогда надо умереть, как герой, как Чапай, — тогда хотя бы наши вспомнят, что такой-то погиб в геройском бою с фашистами».

Это простодушное, глубоко человечное письмо справедливо говорит о силе нашего бойца. Что движет казаха Асхара Лекерова? Любовь к его краю, к пастбищам, к горной речке, к тому большому миру, который открылся для всех народов нашей родины после Октября. Бойца Асхара Лекерова ведет в бой также лютая ненависть: он знает, кто разлучил его с родными местами, с близкими; он зовет немцев палачами: это палачи нашей родины.

Родина говорит каждому бойцу: «Стой, держись, — и ты победишь. Стойкие побеждают. Трусы гибнут. Родина будет жить — и ты будешь жить!» Асхар Лекеров любит жизнь, как любит жизнь каждый советский человек. Он не хочет умирать. Он ищет не смерти, но победы. И вот эта любовь к жизни позволяет нашим бойцам итти навстречу смертельной опасности. Может быть, последней мыслью бойцов, которые, обвязавшись гранатами, бросались под танки, чтобы преградить путь врагу, было: до чего чудесна жизнь!..

Асхар Лекеров пишет, что простой казах становится в священном пылу боя непобедимым и огромным. Это правда. Казах, или русский, или украинец — все они становятся одним непобедимым и огромным народом. Это позволяет нам отбивать атаки немецких танков. Это позволяет нам теперь, в трудные дни нового испытания, сказать: наш народ непобедим.

1942

СВЕТ В БЛИНДАЖЕ

Когда в июньское утро первые выстрелы вспугнули жаворонков, они прозвучали как диссонанс. Все вокруг не соответствовало этим звукам: и мирные села, и медленно дозревавшие колосья, и детвора на улицах пограничных городов, и сердце человека, еще продолжавшее мирно биться. Как изменилась наша страна! Стоят яркие осенние дни. Вокруг блиндажей березы как бы истекают кровью. Зловещая пестрота последних листьев сродни войне. А многие деревья обломаны осколками мин. Железо выело воронки. Вместо деревни — трубы. Да и лица не те, кажется, что война их заново вылепила. Была в них мягкость, как в русском пейзаже, который так легко воспеть и так трудно изобразить, — бескрайный, лиричный, едва очерченный. Такими были и люди. Теперь лица высечены из камня. В глазах суровость, уверенность. Обветренные, обгоревшие, обстрелянные солдаты.

Иногда вечером, когда первые зеленые ракеты прорезают небо, когда замолкает дневная канонада и еще не вступает в свои права ночная, фронтовик смутно припоминает прошлое. На минуту ему кажется, что где-то в тылу продолжается жизнь, которая была его жизнью. Он видит залитую огнями Москву. В окнах под лампами люди ужинают, смеются, читают увлекательные романы, дети готовят уроки, девушки прихорашиваются — сегодня ведь танцы... Уж не фейерверк ли в Парке культуры? И сразу фронтовик вспоминает: война! Она и в Москве: черны улицы, как ослепшие глаза — окна домов... Девушки

на лесных заготовках. Музыканты стали саперами или минометчиками. Дети на Урале. Прожектор впивается в черное небо. Если ты, как в сказке, пролетишь над страной, ты повсюду увидишь войну. Ты увидишь сожженные немцами города. Ты увидишь заводы в бараках, заводы, которые перешагнули тысячи километров. Ты увидишь девушек, изучавших литературу или игравших на пианино, которые с ожесточением отливают снаряды. Загляни в глаза одной, в полутемном холодном цеху, и ты увидишь в этих глазах нечто родное: она тоже воюет. Ты увидишь женщин Ленинграда в Узбекистане. Ты увидишь детей Полтавщины в Сибири. Ты услышишь, как старая мать вздыхает: «Два месяца нет писем...» Ты услышишь, как трехлетний малыш упрямо трет кулачком сонные глаза и спрашивает: «Где папа?..» Ты увидишь много горя и много упорства. Воюет не только фронт, воюет вся страна. Она отрывает от сна кусок ночи, она отрывает от рта кусок хлеба, она не веселится и не благоденствует, она живет, сжав зубы, как ты в блиндаже, покрывшись ночью, впившись в землю. Как ты, она воюет.

Мы очень много потеряли, и нет человека, который не думал бы о наших потерях. Большое горе всегда стыдливо. Молодая женщина, которая в былое время жаловалась на мелкие неурядицы, теперь молчит. Молча она перевязывает раненых. Бойцы, за которыми она ухаживала, знают одно: ее не нужно спрашивать про мужа. Мы потеряли много прекрасных людей, самоотверженных, умных и честных. Эти потери горше всего: их не возместить. Мы отстроим разрушенные города, они будут лучше прежних. Но невозвратима потеря вдохновенного юноши, который еще ничего не построил — ни дома, ни своего гнезда, но который, кажется, мог бы построить целый город.

Мы потеряли изумительные плотины, заводы, в которые вложили душу. Мы потеряли древности Новгорода. Эти реликвии России, эти камни, как бы теплые от любви поколений, простояли века. Их щадило время. Их разрушили кощунственные руки немцев.

Мы нелегко создавали жизнь. Зачастую нам нехватало ни умения, ни времени. Но эта шершавая, необтесанная жизнь была нашей. Она напоминала черновик пре-

красной поэмы, весь испещренный помарками. У нас путалось в ногах темное прошлое. Нас часто знобило — от самоупоения до самоуничижения. Мы были первыми разведчиками человечества, мы пробивали путь, мы шли дремучим лесом. Когда мы строили ясли, с запада доносились дурные вести: там изготовляли те бомбардировщики, которые в одну ночь убивают сотни детей. Звериное дыхание фашизма доходило до нас, и мы говорили женам: «Проходишь зиму в старом платье», — мы должны были делать истребители. Мы знали, что детям нужны игрушки, как птице крылья. Но разве могут дети играть, когда на земле живут гитлеровцы? Мы делали мало игрушек, мы делали танки. За десять лет до войны проклятый фашизм вмешался в нашу жизнь. И все же мы строили города, школы, дома отдыха, театры.

В муках рожает женщина. Медленно растет плодовое дерево. Четверть века для человека — это полжизни. Четверть века для истории — это короткий час. Накануне войны мы увидели в наших садах первые плоды. Тогда на нас напали немцы. В один час эсэсовцы уничтожали дома, поселки, города, которые мы строили годы, отказывая себе во всем, как мать отказывает себе во всем ради ребенка. Мы знаем, сколько мы потеряли. Это знают и немцы: они увидели наших бойцов, воодушевленных такой ненавистью, таким гневом, что перед ними отступали танки.

Мы часто думаем о наших потерях. Мы можем теперь сказать о том, что мы приобрели на этой войне. Мать не замечает, как растет ребенок. Вот он вырос, а для матери он мальчуган. Несказанно вырос наш народ за шестнадцать месяцев. Не узнать порой молодого друга, вернувшегося с фронта. Не узнать и народа: другой народ. Говорили, что думать нужно в тишине и покое. Казалось, что юноши растут в торжественных аудиториях, в книгохранилищах или в студенческих комнатушках над горой рукописей. Непохожи темные блиндажи на университет. Шумно на фронте, шумно и неспокойно. Но кто сейчас расскажет о том, как люди думают на переднем крае? Они думают напряженно, настойчиво, лихорадочно. Они думают о настоящем и прошлом. Они думают о том, почему не удалась вчерашняя операция, и о том, почему

в десятилетке их многому не научили. Они думают о будущем, о той чудесной жизни, которую построят победители.

Чудодейственно, как лес в сказке, растут люди на войне. Они живут рядом со смертью, они знакомы с ней, как с соседкой, и они стали мудрыми. Они преодолели страх, а это приподымает человека, придает ему уверенность, внутреннее веселье, силу. Нет на войне промежуточных тонов, бледных красок, все доведено до конца — великое и презренное, черное и белое. Война — большое испытание и для народов и для людей. Многое на войне передумано, пересмотрено, переоценено.

В основу нашей жизни четверть века тому назад мы положили слово «товарищ». Это слово ко многому обязывает. Легко его сказать, трудно за него ответить. В понятии «гражданин» есть точность и сухость, это — арифметическая справка о сумме прав и обязанностей. Слово «товарищ» требует душевного горения. Впервые для миллионов и миллионов оно раскрылось во всей глубине на фронте. Оно стало конкретным, теплым, вязким, как кровь.

На войне мы увидели до конца силу человеческой дружбы. Сколько подвигов родило это замечательное чувство! Рядом с тобой, в одной батарее, в одном взводе — дорогой друг. Если его ранят, ты его оторвешь от смерти. Если его убьют, ты не забудешь его и не простишь врагу. До войны другом легко называли, но друга и легко забывали. Не то после боев. Говорили прежде: «Съесть вместе пуд соли». Но что соль рядом с кровью? Что года по сравнению с одной ночью в Сталинграде? С какой радостью боец возвращается в свою часть: он вернулся домой. Он расспрашивает о каждом товарище, о каждом друге.

Дружба народов была нашим государственным принципом, она стала чувством каждого отдельного человека. В одной роте и русские, и казахи, и украинцы, и белорусы, и грузины. Мы увидели, что, говоря на разных языках, мы одно чувствуем, про одно думаем. С волнением слушают сибиряки чудесные украинские песни, и рассказ о белых ночах Архангельска доходит до сердца черноглазого сына Армении. Мы были объединены сначала исто-

рией, потом высоким началом равенства. Теперь мы объединены ночами в окопах, и нет цемента крепче.

Что легко дается, то не ценится. Только теперь наша привязанность к родине стала плотной, тяжелой, неодолимой. Ради родины люди жертвуют самым дорогим. Они и прежде были патриотами, но теперь они задумались над своими чувствами, и эти чувства стали глубже. Прежде они искали внешнего объяснения для своей любви. К чужеземному они порой относились то с необоснованным пренебрежением, то со столь же необоснованным преклонением. Теперь они знают, что родину любишь не за то или за это, а за то, что она — родина. Так скромное деревцо становится более прекрасным, нежели все рощи рая. Можно видеть свои недостатки: от этого родину не разлюбишь, от этого только захочешь исправиться, возвысить себя и страну.

На войне нам открылась история, ожили страницы книг. Герои прошлого перешли из учебников в блиндажи. Кто не пережил двенадцатый год как близкую и понятную повесть? Какой комсомолец не возмущен развалинами кремля в Новгороде? Мы увидели, что наше молодое государство строилось не на пустом месте. Стойкость Ленинграда нас восхищает, его страдания требуют мести. Мы увидели дело Петра, построившего дивный город. Мы поняли, что без Петра не было бы Пушкина и что без Петербурга не было бы путиловцев, которые в темную осеннюю ночь открыли путь к новой эре.

Столкнувшись с варварством фашизма, мы почувствовали все то ценное и большое, что было добыто народами России четверть века тому назад. У нас сын пастуха читал Гегеля. Как он должен смотреть на немецкого «философа», который превратил философию в справочник по скотоводству? С каким омерзением мы слушаем рассказы немецких пленных, которые нам рассказывают, что у них «социализм» и что они приспособили для работы вместо лошадей поляков или французов!

Мы ценили героизм испанского народа, но многим из нас трудно было понять, что полуграмотный испанский крестьянин культурнее берлинского профессора. Теперь это поняли все. Мы увидели гитлеровцев, которые ведут дневники, у которых дома пишущие машинки и патефоны,

которые по внешнему виду напоминают цивилизованных европейцев и которые оскорбили бы нравственное чувство любого обитателя Сандвичевых островов. Нас не обманут больше внешние признаки культуры. Мы теперь знаем, что важно не только количество и внешнее качество печатных изданий, но и содержание печатаемого, что города Германии с чистыми улицами, с хорошо оборудованными больницами, с просторными школами являются заповедниками грубого и отвратительного варварства. Конечно, мы не отрицаем значения материальной культуры, но мы теперь увидели, что без духовного богатства такая культура быстро вырождается в одичание.

Зрелость каждого фронтовика сделала нас сильными. Мы потеряли большие пространства. Второе лето принесло нам много горя. И все же можем сказать, что теперь мы сильнее, чем 22 июня 1941 года, — сильнее сознанием, разумом, сердцем. Когда мы пели «Если завтра война», мы многого не понимали. Мы очистились от беспечности, от самообольщения, от косности. Мы еще не добились победы, но мы созрели для нее.

Мы порой думаем, как трудно будет залечить раны, отстроить разрушенные города, наладить мирную жизнь. Это мысли о потерянном. Вспомним о приобретенном и скажем себе, что человек, который вернется с фронта, стоит десяти довоенных. По-другому люди будут и трудиться и жить. Мы приобрели на войне инициативу, дисциплину, внутреннюю свободу.

Прекрасно будет первое утро после победы. Мы узнаем, что мать спокойно спала. Письмоносец снова станет деталью жизни. Жена обнимет героя. Замолкнут сирены. Вечером вспыхнут яркие фонари и на улице Горького и на Невском. Наш флаг взовьется над многострадальным Киевом. Может быть, в тот день будет итти дождь или падать снег, но мы увидим солнце и синее небо. Россия, первая остановившая захватчиков, с высоко поднятой головой, сильная, но мирная, гордая, но не спесивая, снимет с плеча винтовку и скажет: «Теперь — жить».

1942

ДУША РОССИИ

Два года тому назад я писал: «Сожмем крепче зубы. Немцы в Киеве — эта мысль кормит нашу ненависть. Мы освободим Киев. Вражеская кровь смоет вражеский след. Как птица древних феникс, Киев восстанет из пепла».

Шли долгие и горькие месяцы. Немцы двигались в глубь России. Они дошли до Нальчика, до Сталинграда. Военные обозреватели различных стран гадали, куда пойдут завоеватели: на Ирак или на Индию. Владелец гостиницы в Бад-Киссингене подал заявление о предоставлении ему санаториев Боржома. Кассельские курсы подготовляли зондерфюреров для Башкирии. В финансовых отделах немецких газет указывалось, что «азовские заводы Ф. Круппа» к 1945 году станут на ноги и осчастливят держателей акций. Великая гражданская скорбь камнем лежала в те дни на груди каждого из нас. Среди салютов победы мы не забываем пережитого, мы и не забудем его: оно для нас и горе, и мудрость, и ключ духовной бодрости.

Ночами носятся над миром волны радио — длинные, средние, короткие. Они давно отвыкли от щебета мирных дней. В них клекот, в них все те же слова: контратаки, узлы сопротивления, рокадные дороги, переправы. Теперь на сорока языках они говорят об одном: немцы отступают. Военные обозреватели больше не вспоминают про Ирак. Они смотрят на Днестр, на Буг, на Двину. Зондерфюреры, обученные для устрашения башкиров, включены

в маршевые батальоны. Мариупольские акции стали ничего не стоящими бумажками. Владелец гостиницы в Бад-Киссингене, обезумев, кричит своей жене: «Ты увидишь — они придут сюда...» По южной степи мечутся немецкие дивизии. Феникс Киев восстал из пепла.

Как это случилось, спрашивает изумленный мир. Мы были в самой гуще событий, мы жили от сводки до сводки, мы сражались и работали, нам некогда было размышлять. Мы знаем теперь, как была окружена шестая германская армия. Мы знаем, чем кончилось наступление немцев на Курск. Мы знаем, что мы гоним недавних завоевателей. Но и мы не задумывались над тем, как все это случилось. Мы знаем, что мы выплыли. Мы знаем, что перед нами зеленый берег победы. Но попытаемся на минуту отойти в сторону, взглянуть на себя глазами истории.

Мы часто говорим и пишем об ослаблении немецкой армии. Мы знаем, что у Гитлера иссякают резервы, что воздушные бомбардировки разрушают его тыл, что два года жестоких боев в России надломили его пехоту. Мы знаем также, что не было подлинных идеалов у армии мешочников и куроедов, что одна дисциплина не может в трудные минуты заменить душевного горения, что гитлеровский солдат внутренне ослаб и созрел для гибели. Но разве в одних гитлеровцах дело? Подумаем о другом: о возросшей силе нашей армии.

Война сложна, темна и густа, как непроходимый лес. Она не похожа на ее описания, она и проще и сложнее. Ее чувствуют, но не всегда понимают ее участники. Ее понимают, но не чувствуют позднейшие исследователи. Вероятно, историк, правильно оценив все значение переправы через Днепр, представит эту переправу иной: он невольно приведет ее в порядок. Он приоденет бойцов, побреет утомленных переходами сержантов, смахнет пыль с гимнастерок офицеров. Он вряд ли увидит людей у костра, которые смутно думают о своих родных избах и которые говорят, что повар заладил кашу и что хорошо бы испечь картошку. Потомки меньше всего себе представят, что именно эти люди без понтонов ринулись на правый берег одной из самых широких рек Европы. Что касается участников войны, эти знают, как выглядит война.

Они знают, что четыреста километров с боями — не парад. Они знают, что воюют не только роты, батальоны, полки, но и люди с раздельной биографией, теплой, как клубок шерсти, что каждый боец привязан к родине своей особой нитью. Но участникам войны нелегко осознать историческое значение происходящего: с них хватит и высоких волнений сегодняшнего дня.

Иностранцы часто рассуждают, почему наше государство устояло в трагические дни сорок первого и сорок второго? Все знают теперь, как сильна была германская армия, как тщательно готовилась Германия к своим разбойным походам. Судьба Франции с ее боевыми традициями, с неоспоримым мужеством ее свободолюбивого и воинственного народа у всех в памяти. Гитлер покорил Европу. Я не говорю об английских островах. Но мы не были отделены от Германии морем, не было у нас и гор. Мы задержали захватчика своей грудью, и вот иностранцы спорят: в чем разгадка? Одни говорят: в природе русского мужества, в традиционной выносливости русского солдата, в величине и естественных богатствах России, в том, что России никто никогда не завоевывал. Другие возражают: изменились времена. Штык, даже русский, бессилен против «тигров». В эпоху моторов одно пространство не может спасти народ. Они говорят: если Россия выстояла, то в этом заслуга ее структуры, особенного патриотизма ее народов, кровной заинтересованности каждого гражданина в судьбе государства. Они прибавляют к слову «Россия» другое слово: «советская».

Правы и те и другие. Во время войны перед нами встало прошлое, оно соединилось с настоящим и будущим. Мы до конца поняли органическую связь России и Октябрьской революции. Мы поняли, что революция дважды спасла Россию: в 1917 году и в 1941. Не будь революции, Россия могла бы потерять свою государственную независимость, изменить своей исторической миссии. Но Октябрьская революция не случайно родилась в России. Она вытекала из всех чаяний русского народа. Ее значение перерастает государственные границы, и ее недаром называют самым большим событием двадцатого века, но корни ее уходят в русскую историю, и нельзя

оторвать ее от русского характера, даже от русского пейзажа.

Бойцы у костра, на правом берегу Днепра, конечно, сыновья русских солдат давнего времени. Они сохранили и любовь к родной земле, и отвагу, и смекалку, и выносливость дедов. Но есть в них нечто новое, рожденное революцией: они не только солдаты, они граждане.

Передо мной секретное донесение командира Судетской дивизии генерал-лейтенанта Деттлинга. Записка озаглавлена: «Настроение местного населения». Вот что пишет немецкий генерал: «Подавляющее большинство населения не верит в победу немцев... В некоторых населенных пунктах отмечались попытки многих жителей установить контакт с оставшимися приверженцами советского строя... Молодежь обоего пола, получившая образование, настроена почти исключительно просоветски. Она недоверчиво относится к нашей пропаганде. Эти молодые люди с семилетним и выше образованием ставят после докладов вопросы, позволяющие сделать заключение об их высоком умственном уровне. Обычно для маскировки они прикидываются простачками. Воздействовать на них чрезвычайно трудно. Они читают еще сохранившуюся советскую литературу. Эта молодежь сильней всего любит Россию и опасается, что Германия превратит их родину в немецкую колонию... Молодые люди чувствуют себя с начала немецкой оккупации лишенными будущего. Они всегда указывают, что в Советском Союзе молодежи было очень хорошо, так как для нее делалось все возможное и ей было обеспечено большое будущее».

Вряд ли генерал-лейтенант Деттлинг составил бы такую записку в 1916 году. Был и прежде патриотизм. Была и прежде отвага. Но юноши и девушки, крестьяне Смоленской губернии во времена царя, во времена сословий и каст не могли мечтать о «большом будущем». Партизан двенадцатого года один наполеоновский офицер назвал «смутным духом русской земли». Не разум — сердце подсказало крепостным той эпохи верный путь, и они пошли с вилами на захватчиков. Их подвиги оправданы историей, внуки тех крепостных стали хозяевами величайшей в мире державы. Но героев «Молодой гвардии» вел разум. Они смотрели сверху на немецких офицеров.

Олег Кошевой знал, что он представитель высокого человеческого общества, которое борется с вооруженными варварами. Такова роль Октября.

Советский Союз воюет не только как огромное государство, он воюет как истинная демократия: войну ведет народ, для которого держава — это собственный двор. Я видал немало немецких генералов. Я думаю, что их можно распознать даже в бане: это порода, как порода заводчик Крупп или помещик из Восточной Пруссии. Таких генералов разводят, они раса среди арийской расы. Кто же их бьет? Под Киевом генерал-лейтенанта Деттлинга разбил генерал-лейтенант Черняховский. Ему тридцать шесть лет. Сын железнодорожного служащего из Умани, он с детства грыз науку, как камень. Это человек большой культуры, его выделяют ум, знания, талант, а не порода. Он один из многих генералов свободного и демократического государства. Я вспоминаю боевых полковников, которые в начале войны были лейтенантами, учителей, агрономов, механиков, на груди которых я видел суворовские ордена. Мы можем сказать, что германскую армию теперь гонит армия, обогащенная боевым опытом, руководимая умелыми офицерами, и мы можем также сказать, что врагов гонит народ, который двадцать шесть лет тому назад взял в свои руки вожжи державы.

Все знают, что одним из объяснений наших побед остается необычайная работа военной промышленности. Вспомним о трудностях. Сталинград, Харьков, Днепропетровск, Воронеж, Ростов, Донбасс были заняты врагом. Заводы возникали среди пустырей. Степи Восточной России — это не Детройт. Наши рабочие вынесли все лишения, недоедали, недосыпали, но они дали армии танки, самолеты, оружие. Заводы родились вчера, но не вчера родились рабочие: это люди, созданные советским государством, это не рабы Круппа, это творцы, и творческий дух помог им в страшные месяцы.

Почему армянин Петросян, пойманный немцами, обливаясь кровью, нашел в себе силы, чтобы перебить палачей и дойти до своих? Что помогло грузину Гахокидзе уничтожать врагов на последнем клочке севастопольской земли? Отчего узбек Каюм Рахманов не пожалел своей жизни, защищая Ленинград? Отчего погиб еврей Паперник на

подступах к Москве? Был Октябрь. В его очистительной буре родилась новая Россия, мать для всех народов. Вчерашние «инородцы» стали гражданами, строителями государства, и когда на их родину напали немцы, они пошли в бой, разноязычные, разноликие, с единым чувством в сердце.

Я не хочу сказать, что до войны мы достигли всего. Четверть века для истории — короткий час. Мы многого не успели сделать. В нашем обществе были не только наши лучшие замыслы, но и наши недостатки. В годы войны мы многое меняли на ходу. Мы увидели, что нам часто нехватает дисциплины, организации, личной инициативы, чувства ответственности. Мы поняли, что наши дети нуждаются в более крепких основах морали, что нужно в них глубже воспитывать человеческое достоинство, патриотизм, верность, рыцарские чувства, уважение к старости и заботу о слабых. Но, поняв наши недочеты, мы в огне испытаний увидели, сколь высока была наша жизнь, построенная на равенстве и труде. Война не только разорила нашу страну, она закалила и душевно возвысила людей. Вернувшись к мирному труду, они не забудут о передуманном и перечувствованном. Они внесут в будни мудрость и героику военных лет. Они помогут создать то общество, которое будет выражением мыслей и чувствований много испытавшего советского народа.

Нам облегчит труд историческая перспектива, которая стала теперь достоянием каждого. Не отказываясь от идеалов будущего, мы научились черпать силы в прошлом. Мы осознали все значение наследства, оставленного нам предками. Мы не хотим ни отрицать огульно прошлое, ни принимать его, как нечто непогрешимое. Мы учимся на военном гении Суворова, но не на государственном самодурстве Павла. Немецкие фашисты любят говорить о традициях. Но что они взяли из прошлого немецкого народа? Свободолюбие Шиллера? Разум Гете? Нет. Пытки нюрнбергских палачей, суеверные россказни алхимиков, зверства диких германцев и муштру фельдфебелей Фридриха. Каждый народ берет в своем прошлом то, что соответствует его духовному уровню, его жизни, его идеалам. Для нас прошлое — это Пушкин, а не Бенкендорф, Кутузов, а не Аракчеев, декабристы, а не Сал-

тычиха, Плеханов и Горький, а не Пуришкевич и охотнорядцы. Октябрьская революция помогла нам осознать историю России, сделать из далекого прошлого источник вдохновения.

Победы Красной Армии позволяют нам уже различить в смутном предрассветном тумане тот великий праздник победы, о котором в самые тяжелые часы нам сказал глава нашего государства.

Каким будет мир после войны? Эта мысль теперь уже приходит к нам в редкие минуты передышки между битвами, переходами и военными трудами. Фашисты принесли столько зла нам и всей Европе, столько разрушений, столько страданий, что иногда сердце охватывает беспросветная скорбь. Мы видим, что сожжены школы, ясли, музеи, просторные светлые дома, с трудом построенные нашим поколением. Мы видим, как коровы заменили похищенные гитлеровцами тракторы. Мы видим, как попраны дорогие нам идеалы братства, человеческого достоинства, свободы. Мы видим письма рабынь из Германии, фотографии фашистских изуверств, одичание, затемнение века. Воображение легко продолжает картину: зона пустыни захватывает Париж, виноградники Греции, нарядные села Дании, заводы Бельгии — всю Европу. Повсюду тот же пепел, в который вырядилась земля, бурьян, прозванный нашими крестьянами «немецким посевом», пытки, унижение человека, попрание разума, справедливости, гуманности. Как сможет восстать земля из мертвых? И порой малодушие закрадывается в сердце: не откинуто ли человечество варварством фашизма далеко назад?

Я не хочу ничего приукрашивать. Я знаю, как трудно будет восстановить и разрушенные города и душевное равновесие людей, проведших годы под властью изуверов. И все же я бодро смотрю в будущее: правда побеждает на поле боя, она победит и на лесах человеческого строительства. Мы научились еще сильнее ценить свободу — после деспотии гитлеровцев, после гестапо, «бургомистров», доносов и всего попрания человеческого начала, принесенного фашистами. Есть только одни пределы у свободы: свобода другого и счастье родины. В самоограничении воина — залог того, что свобода восторжествует.

Мы поняли магическую силу труда, недаром мы им клялись в наших самых заветных клятвах. Труд свободного гражданина не проклятье, не иго, это высокое творчество. Нелегко будет поднять из небытия города и села, но люди, которые не жалели своей крови, чтобы защитить родину, не пожалеют и пота. Я видел в сожженных деревнях стариков, которые помогали солдаткам отстраивать хаты. Здесь порука нашего грядущего счастья. Мы сумеем пристыдить себялюбие: ему не место рядом с могилами героев.

Казалось, испепелены идеи братства, но нет, они восстанут с новой силой. Я осмеливаюсь это говорить в дни, когда фашистские полчища творят свое черное дело. Гитлеровцы провозгласили себя «народом господ». В ответ поднялось национальное достоинство всех народов мира. Оно должно не погубить идею братства, а оживить ее, дать ей плоть. Сибиряк понимает горе Греции, украинец знает, что переживает Франция, белорусскому крестьянину близки муки норвежского рыбака. Идея братства стала телесней, ощутимей. Красная Армия в глазах всех народов стала армией свободы. Об ее подвигах с надеждой говорят и в порабощенной Франции и в далекой Америке. Отразив удары хищной Германии, она спасла не только свободу нашей родины, она спасла свободу мира. В этом залог торжества идей братства и гуманности, и мне видится вдалеке мир, просветленный горем, в котором воссияет добро. Наш народ показал свои воинские добродетели, и теперь все народы знают, что Советский Союз, его армия несут измученному миру мир. Мы говорим об этом среди пепелищ Украины и Белоруссии, с израненным сердцем: кто не потерял брата, сына, друга? Мы говорим это, приподнятые сознанием нашей силы и нашей правоты.

1943

МОРАЛЬ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Под Новый год мы можем взглянуть на карту Европы; это весьма поучительное зрелище. В новогодней статье Геббельс пишет: «Если фюрер ходит, слегка наклонив голову, то это объясняется непрерывным изучением карты». Я думаю, что, изучив карту, Гитлер может не только слегка наклонить голову, но согнуться в три погибели: за один год он потерял одиннадцать столиц, четырех союзников, первые немецкие города и последнюю немецкую надежду.

1944 год внес много ясности, даже своими туманами. Мы начинаем различать абрис победы. Твердь отделилась от хляби. Еще год тому назад мы не видели захваченной Гитлером Европы. Теперь мы знаем трагедию того или иного народа.

Любовь к родной земле, к родной речи, к родному дому свойственна человеку; и, если верить старым хрестоматиям, родину одинаково любят тиран и парий, богач и бедняк, обидчик и обиженный. Казалось бы, человек богатый и всесильный должен еще сильнее любить ту землю, которая дает ему не только маки или васильки, но вполне реальное золото. История, однако, показывает другое. Когда коалиция монархов пыталась раздавить юную Французскую республику, аристократы Франции променяли Париж на Кобленц и сражались против своего народа. Восемьдесят лет спустя реакционные буржуа Франции не погнушались помощью Бисмарка, чтобы усмирить Париж. Российские императоры не раз поддерживали

Габсбургов и Гогенцоллернов в ущерб интересам России. Белогвардейцы приветствовали интервентов, желавших растерзать нашу родину. Знать Италии явно предпочитала австрийские гарнизоны отечественным плебеям. Венгерские магнаты подавили революцию с помощью вражеских армий. Испания помещиков и банкиров отдала Малагу на растерзание итальянской солдатне и превратила Мадрид в мишень для немецких летчиков.

Особенно ясно сказался антинациональный дух правящих групп Европы в годы, предшествовавшие мировой трагедии. Лаваль и «двести семейств» поддерживали дуче. Пилсудчики чокались с гестаповцами, которые уже разрабатывали проект Майданека. Цанков, принц Павел, Антонеску торговали своими странами оптом и в розницу. Напрасно некоторые пытаются представить Мюнхен как ошибку отроковицы, которая, нюхая розу, укололась шипом; Мюнхен был крупной политической операцией, итогом предательства не отдельных лиц, но верхушки общества. Вспомнив, как мосье Дюран или мистер Смитс встречали Даладье и Чемберлена, мы можем горько усмехнуться: разве знали обманутые, чему они аплодировали? Но в правлениях трестов и банков не было обманутых; обманщики, те хорошо знали, почему они пошли на позорный сговор. Не в лачугах, а на кисельных берегах люди, не знавшие ни в чем недостатка, отрекались от элементарнейшего патриотизма.

Теперь, когда многие страны освобождены от захватчиков, мы видим, что происходило там в годы оккупации. Если народ мужественно боролся против захватчиков даже в таких миролюбивейших странах, как Голландия или Дания, то не строптивыми показали себя люди денег. А ведь десять лет тому назад именно они на всех перекрестках кричали о своем патриотизме.

Я хочу рассказать чрезвычайно назидательную историю: о лионском предприятии «Вуа де барр». В 1930 году было организовано справочное бюро; оно выдавало лионским фабрикантам справки о работоспособности и добропорядочности лионских рабочих. В 1934 году лионские фабриканты заинтересовались идеологией; они стали запрашивать «Вуа де барр», состоит ли Дюран в рабочем синдикате, не ходит ли Дюваль на митинги, не участвует

ли Дюмон в демонстрациях. Однако расцвета это справочное бюро достигло в годы немецкой оккупации; обладая данными о рабочих Лиона и Сент-Этьена, оно помогало немцам отправлять в Германию рабов. Я прошу учесть, что «Вуа де барр» не было шайкой мелких шпионов или жуликов, это была крупная организация, поддерживаемая Объединением лионских фабрикантов. Лион — цитадель крупной буржуазии; здесь живут династии золота, семьи Жиле, Вотере, Берлие, Дюпонов, Кабо, Дево. В 1933 году эти господа покрывали стены города яркими плакатами, на которых значилось: «Коммунисты не знают родины. Мы защищаем сильную и свободную Францию». Десять лет спустя владельцы лионских предприятий стали расходовать свои деньги не на плакаты, а на расширение «Вуа де барр». Рабовладельцы стали работорговцами. Бюро «Вуа де барр» работало с рядом солидных организаций, как то: Лига борьбы с большевизмом, Международный антимарксистский институт, а также с местным отделением гестапо. Лионские фабриканты не жаловались на оккупантов; они поставляли немцам грузовики, вооружение, шелк и хорошо зарабатывали. Однако рабочие не проявляли должного восторга; они даже пытались испортить дела хозяев. Бюро «Вуа де барр» и тут пришло на помощь. Смутьяны делились на категории: а) читает антифашистские листовки, б) состоит в подпольных организациях, в) старается замедленно работать, г) занимается саботажем. В лионском отделении «Вуа де барр» нашли сто тысяч карточек с характеристиками рабочих, а в сент-этьенском — сто пятьдесят тысяч.

Когда патриоты освободили Лион, почтенные короли шелка, разумеется, исполнили «Марсельезу»; вполне возможно, что и скромные труженики из «Вуа де барр» проявили при этом недюжинные вокальные способности.

Ознакомившись с деятельностью магнатов Лиона, мы понимаем, почему в Европе теперь столько споров о разоружении партизан, почему в глубоком тылу враждуют различные группы населения, почему народы встревожены живучестью «пятой колонны». Ведь Лион не исключение...

Стоит напомнить, что рабочие кварталы Лиона были оплотом сопротивления; немцы боялись подняться в Круа-Русс. Рабочие помнили, что такое национальное достоинство и свобода. У господина Жиле был дом, похожий на дворец, он ел пулярки по-лионски, с трюфелями, он, как король, принимал делегации парламентариев; он все имел и все мог. А когда пришли во Францию враги, господин Жиле сказал: «Тем лучше». Ему оставили и дворец и пулярок; вместо французских депутатов, он стал принимать немецких интендантов; с ними он держался не как король, а как верноподданный. Зато он больше не опасался ни забастовок, ни народного фронта. Жан Мизэр, рабочий фабрики Жиле, жил в тесной каморке, ел конину и не принимал у себя дома никого, кроме контролера, закрывавшего газ за неуплату причитающегося. Но Жан Мизэр был французом, и, когда пришли враги, он предпочел смерть измене. Такова мораль нашего века.

Труженик связан с родной землей не деньгами, а потом, слезами, кровью. Земледелец, строитель, рабочий, инженер, химик, агроном, художник, писатель, ученый, все они отдают родине свой пыл, свой труд, свою страсть. Когда приходит беда, они становятся на защиту своего достояния. А выродки вроде Рено или Берлие знают одно: «деньги не пахнут», деньги и не связаны с родной землей, любой меняла переведет марки на франки и фунты на лиры. Мир теперь знает, где верность и где предательство, одетое в яркие цвета национальных флагов.

Мир также видит истоки нашей победы. У нас нет господ Рено, у нас нет «Вуа де барр». Бургомистры и старосты, продававшиеся немцам, могут заинтересовать психолога, но не социолога. Это дегенераты, люди озлобленные и развращенные, образцы различных пороков, не связанные ни с кем, отщепенцы не только в своем обществе, но и в своей семье. Мы смогли выстоять в страшные дни 1941 года потому, что у нас не было людей, начавших с разрушения машин и кончивших разрушением государств. Трудящиеся нашей страны знают, что их земля — это их земля; и они сумели прогнать захватчиков с этой земли.

Нам претит самовосхваление. Мы знаем, что у нас еще много недостатков. Но мы знаем также, что мы победили

потому, что принципы, лежащие в основе нашего государства, оказались правильными: это проверено железом и огнем. Если другим нужно многое начинать, нам нужно совершенствовать сделанное.

Мы далеки от желания навязывать другим народам наши идеи. У каждого народа теперь свой опыт. Мы хотим одного: уничтожить фашизм, который равно грозит всем народам. Нигде Красная Армия не вмешивается в дела других народов. Мы заняты одним: уничтожением фашизма. Если в странах, освобожденных Красной Армией, предатели находятся в тюрьме, а не в домах отдыха, если партизаны Словакии не разоружены, — это не потому, что Красная Армия проводит свою политику. Это потому, что Красная Армия — освободитель, а не опекун.

А друзьям мы скажем: судите сами о происшедшем. Задумайтесь сами над Мюнхеном и над Монтуаром. Поймите сами значение Компьена и Сталинграда. Есть мораль нашего времени, от нее не уйти. А наше дело просто и благородно: мы вам помогаем освободиться от захватчиков. Причем мы твердо надеемся докончить это дело в 1945 году, потому что нам, как и вам, как и всему человечеству, хочется жить настоящей жизнью.

1 января 1945 г.

ЭТОГО НЕ БУДЕТ!

Я прочитал об одной достаточно фантастической школе. Я останавливаюсь на этом, потому что в каждом деле важен почин. Школу, о которой я говорю, устроили американцы. Обучаются в школе ученики, которые еще недавно ловили французских пленных и терзали рабынь, привезенных из России; говоря проще, эти «детки» в возрасте от тридцати девяти до шестидесяти лет, гитлеровские полицейские. Американцы решили приобщить злодеев к некоторым достижениям «демократической культуры», а потом снова отправить их на работу; таким образом, мы имеем дело с курсами по повышению квалификации фашистских держиморд.

Курсанты принадлежат к самым крепколобым фашистам: когда гитлеровцы готовились к эвакуации Аахена, не полагаясь на местных полицейских, они привезли из Кельна отборных злодеев; эти последние попали в плен и неожиданно для себя стали питомцами полицейской школы.

Журнал «Либерти» сообщает, что восемьдесят девять полицейских успешно изучают английский язык, постановления оккупационных властей, а также «военную вежливость». Очаровательная программа! Я вижу Гиммлера, изучающего «Цветочки святого Франциска Ассизского», и доктора Лея на уроке светского тона. Журнал «Либерти» описывает настроения студирующих держиморд. Оказывается, «слушатели не обнаруживают никакого чувства своей вины. Они отвергают гитлеровцев только

потому, что последние терпят поражения». Трудно быть откровеннее: обласканные американцами фашисты нагло заявляют, что они невинны, как овечки. Они даже согласны временно отказаться от своего фюрера, поскольку фюрер бит. Мало того, «Либерти» не скрывает, что «слушатели», то есть восемьдесят девять пленных гитлеровских полицейских, в свою очередь ставят Вашингтону условия: за то, что они одолевают английскую грамматику, они требуют: во-первых, скорейшего восстановления союзниками немецких городов, разрушенных военными действиями, во-вторых, помощи Америки для «укрепления германской экономики». Эти ученики далеко пойдут. Остается добавить, что, помимо грамматики и вежливости, они усиленно занимаются физической культурой, так что дробить черепа смогут лучше прежнего.

Газета «Леттр франсэз» рисует другую, столь же живописную картину. Американцы заняли небольшой немецкий город. Военный комендант подполковник Петтерсон обратился к немцам с предложением возобновить прерванную работу. Однако немцы ответили: «Так как вы нас только что освободили, мы теперь имеем право на отдых».

Покровители гитлеровцев рядятся в различные одежды, одни надевают сутаны, другие — тоги архидемократов. Журнал «Политик», выходящий в Нью-Йорке, патетически восклицает: «Неужели вы не будете протестовать против того, чтобы немецких солдат заставили работать в России? Неужели вы не будете протестовать против неистовства советских писателей, как то Алексея Толстого и Ильи Эренбурга»? Квакерша Рут Фрай в английской печати требует пощады гитлеровским палачам. Французские эстеты из журнала «Арш» возмущаются: «Войны вообще богаты эксцессами, и было бы противным законам истины и красоты говорить об ответственности Германии». Леди Гибб пишет, что единственным допустимым наказанием Гитлера будет «вернуть его к профессии маляра». Католики требуют пощады гестаповцам, ибо «смертным свойственно грешить». Троцкисты клянутся, что эсэсовцы суть истинные пролетарии. Демократка Дороти Томпсон желает, чтобы немцы имели возможность свободно проголосовать за Гитлера, а некоторые твердо-

лобые мюнхенцы жаждут сохранить немцев для иного «голосования»: для нового «дранг нах Остен». Вся эта компания, будучи достаточно пестрой, едина в стремлении оградить фашистов от справедливого наказания.

Сейчас, когда во имя свободы и мира русская кровь льется на полях Силезии и Пруссии, особенно отвратительны лицемерные защитники палачей. Слово принадлежит нашему народу: он того заслужил беспримерными страданиями, стойкостью, душевным благородством, отвагой. Не для того матери оплакивают сыновей, чтобы гулял по миру с ведерком веселый маляр Гитлер, чтобы полицейские из аахенской школы готовились к новым походам, чтобы снова пролились кровь и слезы. Мир смотрит на нас с восхищением и с надеждой. Стремительно надвигаясь на Берлин, мы говорим: нет, этого не будет!

24 января 1945 г.

ДОРОГИ ЕВРОПЫ

Я проехал много тысяч километров по дорогам Европы. Я видел и развалины Буды и вырубленные врагом масличные рощи; я видел женщин Черногории, которые оплакивали своих детей; в Нюрнберге я увидел детоубийц. Путник теперь не может любоваться и отдыхать: каждый камень заставляет думать, каждая могила требует ответа. Люди, слабые духом, могут притти в смятение: слишком много развалин для одной человеческой жизни. Я видел страшные раны Европы, но за щебнем, бурьяном, за могилами я различал новый день.

Когда светает, трудно разглядеть контуры предметов, и для фотоаппарата утренняя заря мало чем отличается от вечерней. Писатель должен знать время. На пражской ратуше были замечательные часы: в полдень раскрывались створки, и длинная процессия прославляла вершину дня. Эти часы погибли от бомбы. Но и на площади Праги, перед руинами старой ратуши, я знал: сейчас раннее утро Европы. Полдень — время зрелых плодов, классических романов, глубокого счастья; а теперь на дворе рассвет, холодный и бледный. Не спутаем часов — трудную зарю не примем за сумерки!

Сколько горя принесли миру фашисты! Меня преследует одна мысль: несоответствие между ничтожеством поджигателя, который, блудливо озираясь, чиркает спичкой, и силой пожара. Трусливы, отвратительны, душевно ничтожны преступники, которых судят в Нюрнберге. Я сидел неподалеку от них, и часами я старался разглядеть:

что скрыто за их масками. Ничего, кроме придушенной свирепости и страха. Слов нет, — они мелки; но едешь из страны в страну, равнины сменяются горами, степи морем, и повсюду тот же мусор, та же зола, то же горе: эти мелкие злодеи совершили великие злодеяния.

Люди различны, не похожи друг на друга, и в этом, может быть, высшая радость жизни. Но только дощечки отличают одну могилу от другой, а проходит время, ветер уносит дощечку, и не узнать, кто здесь лежит... Не похожи были друг на друга города Европы; а среди развалин идешь, как по кладбищу, и, видя тридцатый, пятидесятый, сотый разрушенный город, уже ничего не различаешь, и кажется, что ты пришел на знакомое место, что всю жизнь ты прожил среди пепла и щебня. Развалины Ниша те же, что и развалины Орла. Вот центр Софии, вот Подгорица, вот Плоешти, вот Будапешт, вот Нюрнберг, вот Корча, вот кварталы Брно... Как узнать, где ты?

Мать оплакивает первенца, и кем бы ни был ее сын — знаменитым поэтом или неведомым миру скромным юношей, скорбь матери та же. Фашисты погубили древние города, памятники искусства, дорогие всему человечеству. Но если и не было в городе достопримечательностей, привлекавших путника, был любой город обжит, согрет любовью своих жителей, и они оплакивают обыкновенные улицы, потому что все улицы, как все люди, необыкновенны: за ними долгая жизнь, труд, горести и радости, судьба.

Редко теперь мычит на пастбище корова. Редко качает мать колыбель. Редко в предвечерней тишине раздаются жалобы рояля. Да и обеднела Европа. В магазинах различных стран продают вещи, мало кому нужные: подсвечники там, где нет свечей, масленки там, где нет масла, шнурки для ботинок — босым, бумажные цветы, ванильный порошок, несгораемые шкапы и лекарства от тучности. А тучные давно уже вылечились без всяких лекарств... Повсюду самый модный предмет — сумки, с которыми домашние хозяйки ходят на базар, для франтих их украшают бисером, снабжают «молниями», а в Германии их даже обшивают оставшимися в избытке орденскими ленточками от «железных крестов».

Фашизм ограбил, разъел, расшатал Европу. Венгрия считалась житницей континента; теперь там люди с уми-

лением смотрят на кусочек белого хлеба. Трудно проехать не только из страны в страну — из города в город: нет угля, нет паровозов, нет вагонов.

Они стреляли в сердце, эти нюрнбергские злодеи, они прежде всего убивали людей мысли, авангард народов, разведку человечества: ученых, писателей, учителей, студентов, людей, жаждавших истины, любивших правду. Фашистам мало было затемнения городов, они хотели затемнения совести. В Праге студенты после шестилетнего перерыва вошли в аудитории университета; они были взволнованы, как Колумб, увидавший землю: эти дожили, открывают знание. А сколько погибли? Сколько замучено болгарских учителей? Весь путь меня обступали тени мертвых, я как бы беседовал с ними, стараясь понять будущее нашей маленькой и великой части света.

Могли ли годы затемнения не смутить иных? Если сильные уходили в горы или в подполье, жили, как живой водой, подслушанной радиопередачей, подобранной листовкой, то слабые прозябали в мире лжи, низости, жестокости, который нюрнбергские злодеи называли «новым порядком». Неудивительно, что порой видишь в той или иной стране барана, который, живя с волками, научился если не выть, то хотя бы блеять по-волчьи... Фашизм — чума, и если героизм Красной Армии уничтожил очаг эпидемии, то микробы еще существуют.

Как бы ни маскировался фашизм, как бы он ни перекрашивался, как бы ни называл себя, он всегда отвратителен; этот яд опасен даже в гомеопатических дозах, а его еще кое-где отпускают ведрами. Гнусна и опасна идея расизма, безразлично, от кого она исходит и против кого направлена. Когда мысли людей обращены не к достоинствам или порокам человека, не к его общественной полезности, а к генеалогии — это злые семена срубленного дерева. Великое чувство — национальная гордость; но низки и жалки ее подделки. О, нет, он горд одним: своим происхождением. Так богатая и сложная история народов снова подменяется принципами, куда более уместными на скотном дворе, чем в человеческом обществе. Горько, что есть на свете люди, которые, после всего пережитого, верят не в кровь героев, а в «кровь» расизма, в это самое мерзкое изо всех суеверий, которые думают, что человек

с черной кожей не может быть художником или что человек, который картавит, не способен управлять оркестром. Солдаты довоевали; но писатель на дорогах Европы не может спокойно любоваться старыми фресками или девушками: тень вчерашнего дня еще падает на поля и на души.

Легче будет преодолеть материальный ущерб, нежели моральный. Я был в Будапеште, когда там торжественно открывали мост через Дунай. Мало что осталось от Буды; ее развалины особенно грустны, может быть, оттого, что там процветал нарядный и легкомысленный барокко, а что печальнее бального платья в лохмотьях?.. Отстроят и Буду. Труднее всего справиться с духовным зиянием, которое оставило после себя время Гитлера, Муссолини и Хорти: душу сложнее отстроить, чем дом. И тот туман, который ползет в часы рассвета, стараясь продлить ночь, туман, который в газетах обычно называют «силами реакции», не что иное, как испарения фашистских трясин. Для всей Европы, для всего мира по-новому теперь звучит слово «прогресс», оно связано с основной проблемой: будет ли человечеством реализована победа, оплаченная жизнью лучших? Чудес не бывает, и Европа долгие годы будет залечивать свои раны. Но если можно временно жить хуже, чем человек жил прежде, скромнее одеваться, меньше есть, то чье достоинство примирится с принижением чувств, с оскудением мысли? Вопреки поговорке, фашистский клин нельзя выбить фашистским или полуфашистским клином; только прогрессивные идеи, культ знания, приверженность к свободе, уважение к человеку могут морально добить фашизм и позволить людям пойти дальше к счастью.

Говоря о микробах фашизма, я думаю не только о том подполье, в котором водятся фашистские или полуфашистские диверсанты, я думаю также о душевном подполье на вид обыкновенных людей. В этом душевном подполье копошатся заблуждения и предрассудки, рожденные темными годами, они мешают человеку выпрямиться, взглянуть с доверием на ребенка, посадить дерево, отстроить дом.

В некоторых странах за последнее время возросла преступность; фашизм повинен и в этом; ведь люди, за-

канчивающие свои дни среди развалин Нюрнберга, слишком долго проповедовали разбой. Мораль фашизма — это попрание всякой морали. Можно ли удивляться, что микробы обманывают бдительность различных таможенников? А вульгарные бандиты исповедуют в миниатюре «теорию жизненного пространства» — культ грубой силы и грабежа.

Фашизм оставил после себя не только вкус к крови, но и вкус к легкой наживе. Черная реакция теперь повсюду связана с «черной биржей», антисемитизм — с рынками, провокация — со спекуляцией. Кто жаждет в Румынии отобрать землю у крестьян? Люди, тщательно изучающие курс доллара и мечтающие заработать на всем, даже на расщеплении атомного ядра. В Будапеште много людей, которые честно трудятся; есть там и шакалы, для них спекуляция — символ веры; именно эти шакалы в свободные от сделок часы осуждают прогресс и реформы, жаждут обзавестись новым Хорти.

Когда немецкие фашисты поняли, что разгром Третьего рейха неминуем, они объявили о создании подпольной террористической организации «оборотней». Я много ездил по германской территории и с «оборотнями» не столкнулся. Но видел я иных, на вид мирных «оборотней», видел их и в Германии и в других местах. «Обернулся» фашизм, он переодет, снабжен фальшивыми документами. Красная Армия помогла другим народам освободиться от фашистов, но от фашизма должен освободиться каждый народ — от струпьев и от гнид.

Я вспоминаю маленькую Албанию; она только начинает свою историю; там оправданы каждая могила, каждая развалина; там не спрашиваешь себя, будут ли люди, отравленные вражеским анчаром, отброшены далеко назад, к новому средневековью; там видишь рост — в любом начинании, в любом слове. Я полюбил болгар за скрытый душевный огонь; этим огнем они выжгли язву фашизма. Они преодолели горечь несправедливой судьбы, поняли, что счастье не в искусственном «престиже», а в ощущении внутреннего достоинства. Ненависть к фашизму только тогда благотворна, когда человек особенно страстно ненавидит своих доморощенных фашистов, и об этом напомнили миру болгары.

Я попал в Нюрнберг после того, как побывал в семи различных странах; я увидел сначала следы преступлений, потом — преступников. Злодеи уличены давно, и для того, чтобы определить кару, не стоило бы тратить дня. Значение процесса в другом: перед народами проходит потрясающая история жадности и зверства, глупости и трусости, наглости и садизма.

Эту историю мы пережили на себе; однако судебные дебаты расширяют опыт каждого, они показывают, что ожидало бы не только сербских или белорусских крестьян, но и американских фермеров, если бы не поднялись против фашизма народы и впереди других наш народ. Процесс предостерегает от повторения пройденного, от попустительства, от хитрой и вместе с тем наивной игры, от равнодушия, ибо второго нашествия, новых Дахау и Освенцимов Европа не выдержит. Но Нюрнбергский процесс, этот эпилог Третьего рейха, станет эпилогом фашизма только в том случае, если он вдохновит и народы, и каждого честного человека на борьбу против последних микробов чумы.

Есть подлинные заболевания и есть мнимые лекари, которые хотят удалить здоровые части организма, облегчив тем самым развитие болезни. Однако живая Европа борется с недугом. Даже в странах, наиболее зараженных черными десятилетиями, видишь процесс выздоровления. Значение нашей победы в том, что она повсеместно возродила и обновила высокое понятие: народ. Конечно, и прежде адвокаты всех стран, будь они даже юрисконсультами иностранных трестов, клялись именем народа. Страшное время пережила Европа, и народы не хотят больше опекунов, народы не хотят, чтобы кто-то говорил от их имени; они выходят из пещер, из лачуг, из трущоб на городские площади; они начинают говорить, — и в этом залог спасения послевоенной Европы.

В различных столицах я видел проекты памятников Красной Армии: искусство стремится в бронзе и в камне выразить чувства народов. Много слышал я и стихов изысканных поэтов, и простодушных народных песен, посвященных Армии Освободительнице. Но и без статуй, но и без стихов я понял бы все: по блеску глаз, по теплу рук.

Недоброжелатели долго, упорно противопоставляли Европу России; и вот с далекого востока, с берегов Волги пришли люди, которые спасли от фашистских вандалов и древние камни Запада и его будущее... Когда проезжаешь по дорогам Европы, по ее некогда пышным городам, исковерканным бомбами, снарядами или «факельщиками», мысль невольно обращается к кульминационному пункту пережитой миром трагедии: к Сталинграду — там спаслась Европа, там были решены судьбы и Праги, и Парижа, и Рима. Советская Россия стала в представлении народов понятием не только географическим или политическим, но и моральным. Все понимают, какая сила помогла людям пройти от Волги до Эльбы; и в далекой Албании, где никогда не видали красноармейцев, люди, борясь за свободу, клянутся мужеством и честью Сталинграда. Был я в Чехословакии, когда оттуда уходили последние части Красной Армии: их провожали, как родных, женщины плакали. А когда ушел из Праги последний красноармеец, остались там могилы героев. Видал я русские могилы и в Карпатах, и в Альпах, и на ласковом берегу Адриатики: напоминание о долге, о чести, о братстве. В десяти странах мы оставили тени героев, и эти тени, эта память не позволят фашизму, в какие одежды он ни рядился бы, повторить страшную историю тридцатых и сороковых годов нашего века.

Я ехал на восток. Было холодно, неприютно. В плотном тумане скорее чувствовались, чем были видимы, развалины какого-то города. И все же начался день. Прорвав туман, показался красноватый диск солнца. У барака шумели дети: они пришли в школу; и хотя жалок был барак и плохо обуты ребята, они весело играли в те детские игры, которые повсюду одни. И дальше снова была дорога, разбитая войной; но она уже казалась мне дорогой жизни: эти дети увидят новую Европу.

1945

БОРЬБА ЗА МИР

БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА

Бывало, в чужой стране, не зная ни ее языка, ни обычаев, я вдруг видел знакомое лицо, и сразу все становилось близким, понятным. Я приехал как-то в заполярный шведский городок Кируну, где добывают руду. Все меня удивляло: олени лапландцев вперемежку с автомобилями, тундра и неоновые лампы, девушки, проделывающие книксен, шахтеры в котелках. Я подумал: до чего все это непонятно! Меня повели в дом, и на стене я увидел фотографию: Сталин шагал в своей шинели. Я улыбнулся, и улыбнулся суровый хозяин дома, секретарь союза горняков, он ласково сказал: «Сталин».

Я слышал, как это имя повторяли юноши и девушки Мадрида, подымаясь в Сьерру де Гвадарраму. Может быть, слово «Сталин» было последним в их короткой жизни, — с этим словом они шли в бой.

Это слово я слышал и в глухих деревнях Албании; я не мог понять, о чем говорили крестьяне, сидевшие на полу у очага. Албанский язык не похож на другие, и среди множества слов не было ни одного понятного. Вдруг я услышал: «Сталин»; они говорили о былом горе, о победе, о земле. Человек в знакомой всем шинели пришел и туда.

Он побывал и в далекой Америке. На берегу яркорыжей реки Миссисипи, где хлопок, негры и беда, я зашел в лачугу: доски, покрытые пестрым тряпьем, а на стенах — ни картинок, ни зеркальца, только одна маленькая фотография. Негр показал мне ее: «Это Сталин». Имя было паролем, оно опрокинуло перегородки, поставленные

злыми людьми: под маленькой фотографией черный человек впервые в своей жизни дружески обнял белого.

Когда я был в Греции, бастовали рабочие Каваллы. Полицейские стреляли в рабочих. Там я увидел имя Сталина на обломке древней мраморной колонны: «Есть Сталин!» — это написала вдова убитого.

Другая страна, другая стачка. Угрюмый больной шахтер позвал меня в свою хибарку. Он жил бедно, сказал: «Угостить нечем. А дома у меня весело...» Он показал глазами на черную мокрую стену. Там висели два портрета, вырезанные из журнала. Шахтер сказал: «Видишь, я написал имена. Конечно, никто не спутает, но приятно было писать». Под портретами рукой, привыкшей скорее к кирке, чем к перу, было выведено: «В. Ленин» и «И. Сталин». Сталин пришел и в поселок Ля-Мотт-Авельян, который даже не значится на карте; он остался в доме хмурого больного шахтера, который бастовал вместе с товарищами. Сталин делил с ним горе и душевное веселье.

Сталин обошел весь мир; его видели молодые китайцы, освобождая древний Пекин, и он заходил в тюрьмы Индии, чтобы дружеским словом поддержать осужденных.

За несколько лет до войны меня познакомили в Варшаве с одной женщиной. Я знал, что ее дочь в тюрьме. Весь вечер она молчала. Потом она подошла ко мне, тихо сказала: «Они взяли Янину четыре месяца назад. У нее нашли тетрадку — она переписала статью Сталина». После этого мы беседовали как старые друзья. Она показала мне записку, которую ее дочь переслала из тюрьмы: «Они могут сделать со мной все, что захотят, но они ничего не смогут со мной сделать».

Он обошел в своей походной шинели все дороги мира.

Есть среди этих дорог те, что прошли через сердце каждого советского человека, — дороги Смоленщины и Белоруссии, дороги Украины и Литвы, орловские, курские, воронежские, изрытые бомбами и снарядами, раздавленные танками, орошенные кровью товарищей, тяжкие дороги войны. Сталин шел по этим дорогам рядом с солдатами, с ними молчал, когда горе сжимало сердце, с ними пел солдатские песни, вытаскивал из глины ору-

дия, взрывал мосты и наводил мосты, сидел у бледных зимних костров, переправлялся на плотах, на бочках, на плащ-палатках через широчайшие реки, выносил раненых, писал «свободно от мин», ходил в разведку и первым пришел на первую улицу Берлина.

Его встречали партизаны в Брянских лесах. Когда одну девушку гестаповцы спросили: «Кто тебя послал? Кто в твоем отряде?», она ответила: «Сталин». Он был также с французскими франтирерами, когда они освобождали города Лимузэна. Вместе с партизанами Словакии он вошел в Банску-Быстрицу. Он был главнокомандующим великой армии, он создал план победы, разработал все детали операций, его глаза мерили штабные карты, и в то же время он был простым солдатом, его ноги мерили дороги, он со всеми терпел, со всеми перетерпел, со всеми дошел до победы.

Недавно я был в Риме. Вечером на огромную площадь пришли приверженцы мира — сто тысяч римлян. Ораторы говорили на разных языках; а потом рабочие зажгли факелы, и тогда я увидел портрет Сталина у древней Латранской стены. Горячий, живой свет озарял знакомое лицо. Люди расходились обнадеженные: они знали, что Сталин отстоит мир.

Много и хорошо писали о глубоком душевном родстве между Сталиным и сотнями миллионов простых людей, живущих далеко от Москвы и никогда не видевших человека, которого они любят, как самого близкого. Об этом писали и Горький и Барбюс. Но я сейчас думаю о никому не известном авторе — крестьянине Санчо Перес, с лицом, обожженным солнцем Кастилии, с руками широкими и узловатыми, как ветка оливы. Он написал стихи о Сталине. Это было весной 1936 года — накануне фашистского мятежа. Санчо Перес думал тогда не о поэзии — о надвигающейся войне. Но написал он прекрасные стихи, простодушные и мудрые:

Плакали дети, был горек хлеб.
Плохо жили крестьяне.
Трубку курит большой человек,
его зовут по имени Сталин.
Он живет далеко, там и летом снег,
туда на осле не доехать.

Он сказал: «Маслина растет для всех.
Зачем обижать человека?»
Он хотел, чтобы все пили вино.
Он хотел, чтобы дети смеялись.
Я сегодня почистил ружье
и сказал матери: «Сталин!»
Она у меня стара и темна.
Я сказал ей одно слово: «Сталин».
Это все равно, что сказать: «мать»,
это все равно, что сказать: «товарищ».
Если меня застрелит враг,
отдай ружье младшему брату.
Надо уметь умирать,
надо уметь драться.
Сталин думает о Москве,
я думаю о моей деревне,
но у нас с ним один свет,
одно горе, одна победа.

Я не встречал потом Санчо Переса и не знаю, что с ним стало: его деревня еще в первые дни мятежа была захвачена фашистами. Если погиб он, то, умирая, знал, что не зря прожил свою жизнь: он открыл нечто самое простое и самое важное, понял, что маслина растет для всех, нашел много друзей в мире, нашел большого друга, чье имя он повторял своей матери, как обет, как клятву.

Когда говорят о самом важном, о том, что больше всего нужно человеку, повторяют: «это как хлеб» или: «это как воздух». Нужнее всего человеку вера в свою правоту, в смысл своей жизни: такая вера — броня, она делает сердце крепким, как сталь. Вера миллионов и миллионов простых людей, живущих на Волге и на Ганге, на Луаре и на Амазонке, связана с образом Сталина. Французскому коммунисту Пьеру Ребьеру поручили убить гестаповца. Палачи долго пытали Пьера Ребьера, он не назвал никого. Перед казнью он написал жене. Он писал, что не страшится смерти, что любит большой любовью жену и сына. Он писал также, что Сталин помог ему стать коммунистом, французом, человеком. Андре Дельмаса фашисты гильотинировали. За час до казни он писал: «Я думаю в последние минуты о нашем великом Сталине...» Когда гитлеровцы арестовали Поля Камфэна, один товарищ спросил: «Может быть, нам перебраться? Он знает все адреса, а его будут пытать». Другие ответили: «Нет. Он ничего не скажет, как бы его ни пытали».

Поль Камфэн ничего не сказал, а когда его вывели на казнь, он крикнул: «Да здравствует Франция! Да здравствуют коммунисты! Да здравствует Сталин!»

Сталину шлют теперь подарки из всех стран мира: редкие манускрипты и вышивки, картины и ковры, изделия самых искусных мастеров. Среди подношений одно может на первый взгляд показаться непонятным: земля в шкатулке. Рабочие Сюренн прислали Сталину горсть земли с форта Мон-Валериан, где оккупанты расстреливали коммунистов, горсть земли, смоченную кровью лучших. Расстреливали на рассвете, когда теплел, оживал восток; и не раз форт Мон-Валериан за минуту до залпа слышал имя большого, дорогого человека.

Жизнь сложна и трудна, бывают в ней часы, когда горе, как осенний туман, обступает человека. Пабло Неруда — большой поэт и отважный человек. Он бросил вызов ставленнику янки, изменнику Видела. За поэтом по пятам гнались все ищейки Америки. В темную ночь он шел по улицам незнакомого города на юге Чили. Слепые окна домов, тишина, ледяной ветер Антарктики. Пабло Неруда думал о тяжелой борьбе, об измене иных, о черноте ночи. Вдруг он вспомнил:

> В трех комнатах древнего Кремля
> живет человек, которого зовут Иосиф Сталин.
> Поздно ночью не гаснет свет в его окне.

Свет кремлевского окна упал и на ночь Патагонии. Уверенно Пабло Неруда шел по улицам незнакомого города: он знал, что победа будет.

Я был в Андалузии в двадцать пятой бригаде республиканцев. Третий батальон назывался «батальоном имени Сталина»; он был составлен из горняков Линареса. У них были плохонькие винтовки, а франкисты были превосходно вооружены. Перед атакой командир Кампой сказал: «Товарищи, помните: вы — батальон Сталина». Командир Кампой погиб в том бою, но республиканцы взяли штурмом высоту Чиморра.

Кто забыл то суровое июльское утро, когда Сталин говорил с советским народом? Это были решающие дни в истории нашего государства. Американские стратеги, которые теперь разбирают военные операции минувшей

войны, с изумлением останавливаются перед событиями 1941 года. Они понимают, как советские войска взяли Берлин, но они не могут понять, как советские войска отстояли Москву. Для них война — это только расчет, и они не понимают, что, помимо самолетов, танков, артиллерии, есть нечто невзвешиваемое и, может быть, самое веское: воля народа. Эту волю выразил Сталин.

Скромен был ноябрьский парад сорок первого, но он был воистину парадом победы: каждый боец тогда понял, что враг будет остановлен, изгнан, разбит. «Тяжело», — подумал вслух молодой солдат, — это было возле Карачева в дурную осень. С ним рядом шел другой, постарше, он ответил: «Сталину тяжелее, а он молчит...» Сталин не был одним из тех далеких от народа полководцев, которых знавала история, Сталин приободрял каждого, понимал горе беженцев, скрип их телег, слезы матери, гнев народа. Сталин, когда нужно было, стыдил растерявшегося, жал руку смелым, он жил не только в ставке, он жил в сердце каждого солдата.

Американские стратеги, помышляющие о новой преступной бойне, подсчитывают число дивизий, тысячи бомбардировщиков, запасы бомб. Одни из них говорят, что все дело в авиации, другие, более осторожные, советуют подкормить и вооружить европейских наемников. Что останавливает этих безумцев? Не только величина нашей страны, не только братские чувства к нам различных народов, не только сила нашей армии, работы наших ученых, но и память о позорном конце тех, кто напал на нас врасплох, воспользовавшись временным превосходством в технике, и кто разбился о живую стену, воздвигнутую советским народом, о душевную крепость наших людей, о выдержку, волю и силу Сталина.

Детство я провел в Москве, и порой, когда я иду по Можайскому шоссе или по Ленинградскому, мне трудно поверить, что передо мною тот город, где я вырос, — с косыми домишками Дорогомилова или Петровского парка, с сонными купчихами и чаепитиями, с охотнорядцами и хитровцами, с извозчиками и конками, с глухими, унылыми сугробами. Выросла новая Москва; она связана с повседневной кропотливой работой Сталина. Москва многим ему обязана: жилыми домами и метро, школами

и душистыми липами. Но больше всего Москва ему обязана днем 6 декабря 1941 года. Между Химками и Москвой не было ни Атлантического океана, ни Ламанша: между Химками и Москвой были только советский народ и Сталин.

Один американский литератор как-то заявил: «История изобилует случайностями. Так, например, город, где произошел перелом в ходе второй мировой войны, связан своим наименованием с главнокомандующим советских армий». Этот литератор не знает ни географии, ни истории. Он не знает и наших людей. Задолго до второй мировой войны в Сталинграде решались судьбы советского государства, мечты трудящихся всего мира. Тогда он назывался Царицыном, а Царицын не «случайно» стал Сталинградом: молодое советское государство, мечту трудящихся всего мира, отстоял тогда Сталин. Не «случайно» перелом в ходе второй мировой войны произошел у Сталинграда: советские люди не могли отдать этот город врагам и потому, что он был солнечным сплетением фронта и потому, что он был городом Сталина. История не знает случайностей; то, что фашизм был разбит на маленьком куске земли у Волги, так же не случайно, как не случайно то, что новую эру истории открыли русские рабочие, а не американские литераторы.

Именем Сталинграда названы многие проспекты, бульвары, улицы и площади больших и малых городов в различных странах Европы; так люди, помнящие, кто их спас от фашистского рабства, в повседневной жизни, указывая адрес свой или своих друзей, повторяют имя большого человека. Крестьяне одной деревни Лимузэна назвали свою единственную улицу «улицей Сталинграда», и, может быть, эта деревенская улица красноречивее говорит о чувствах всех народов, нежели большие проспекты больших городов.

Чужестранцев изумило, что рабочие тракторного завода, оторвавшись от мирных станков, пошли с ручными гранатами на вражеские танки. Чужестранцев не меньше изумило, что грозные солдаты Сталинграда, вернувшись к мирным станкам, чудодейственно воскресили растерзанную землю. Людям наживы трудно понять людей труда, точно так же, как вашингтонским обозникам трудно

понять солдат, защищавших дом Павлова. Нелегко достались нашему народу города и тракторы, университеты и сады, — новый огромный дом, созданный в несколько бурных десятилетий. Когда пришли первые строители в Кузнецк, там ничего не было, кроме тайги. В первой землянке первый строитель прикрепил к стене портрет Сталина из «Огонька». Несколько лет спустя задышал огромный завод, и на первой плитке чугуна рабочие написали: «И. В. Сталину». Каждый советский человек знает, что Сталин — это труд. Мы видим его архитектором над планами городов, строителем Свердловска и Магнитогорска, Мурманска и Караганды; мы видим его инженером и химиком. Мы видим его агрономом, переселяющим пшеницу на Север и возводящим живые зеленые стены, которые оградят наши нивы от дыхания смерти. Мы видим его рабочим человеком, трудящимся с утра до ночи, не отказывающимся ни от какого тяжкого дела, первым мастером советской земли.

Недавно сообщали, что один польский крестьянин решил в честь семидесятилетия Сталина посадить перед своим домом фруктовые деревья. Яблоня не сразу приносит плоды: ей нужен мир. Польский крестьянин знает, что у мира сейчас нет лучшего защитника, чем Сталин. Защита Сталиным мира еще больше роднит его с миллионами простых людей, где бы они ни жили. Когда сторонники мира собирались в Париже, в Праге, в Риме, повсюду я слышал имя Сталина; это имя повторяли и венгерская учительница, и католичка из Рима, и французский художник, и старый индиец. Сколько матерей в разных странах, глядя на своих малюток, вспоминая пережитые ужасы — крики сирен, развалины, кровь, — благодарят Сталина за то, что он не дает злому бурелому пронестись по оживающей земле!

Для миллионов простых людей Сталин — близкий человек. Много раз я видел проявления этой чистосердечной любви. «Хотел бы я вырезать для Сталина замечательную трубку», — говорил старый норвежец в Лилиангамере. Виноделы-бургундцы, вчерашние партизаны, мне сказали: «Мы откладываем для Сталина самые хорошие бутылки, — может быть, когда-нибудь он попробует наше вино». Когда советские войска освобождали Белоруссию,

военный корреспондент рассказывал населению о работе Сталина в годы войны. Старая колхозница внимательно слушала, а потом всплеснула руками: «Спит-то он когда? Передохнуть ему нужно». В Риме молодой восторженный паренек сказал мне: «Ты обязательно передай привет товарищу Сталину от каменщиков». Другой цыкнул: «Разве можно его беспокоить? Один он на всех».

Сталину шлют подарки. Француженка, у которой фашисты расстреляли дочку, послала Сталину единственное, что у нее осталось от ее ребенка: шапочку. Такого подарка никто не получит, и нет весов, на которых можно взвесить такую любовь.

В неспокойную погоду на море у руля стоит капитан. Люди работают или отдыхают, смотрят на звезды или читают книгу. А на ветру, вглядываясь в темную ночь, стоит капитан. Велика его ответственность, велик его подвиг. Я часто думаю о человеке, который взял на себя огромный груз, думаю о тяжести, о мужестве, о величии. Много ветров на свете. Люди работают, сажают яблони, нянчат детей, читают стихи или мирно спят. А он стоит у руля.

Декабрь 1949 г.

ПРОВЕРЕНО ЖЕЛЕЗОМ

Двадцать второе июня 1941 года. Может быть, для потомков это будет датой, проставленной на цоколях памятников, страницей школьных учебников. Мы помним горячий воскресный день; он рассек жизнь на две части; с него начались наши испытания, наше восхождение.

Сурова наша радость, нет в ней детского веселья. Мы не гоним за порог воспоминаний, не спешим забыть погибших. Пусть скорее восстанут испепеленные города, зазеленеют истерзанные деревья. Но мы не хотим, чтобы в тумане исчезли черты милого лица, и пустое место за столом много говорит сердцу.

Недавно президент Чехословацкой республики выезжал на пепелище Лидице. Франция трауром отметила двухлетие со дня уничтожения Орадур-сюр-Глана. В Лидице, в Орадуре захватчики расстреляли мирных людей, и эти злодеяния потрясли душу народов. Я думаю сейчас о наших Лидице, о наших Орадурах. Сколько их? Если пойти из Москвы на запад, снимешь шапку и не наденешь, — повсюду могилы, слезы, пепел. И дед в Смоленщине расскажет, как он один остался сторожить то, что было селом, и в Белоруссии девочка вздрогнет, увидев серозеленый лоскут. И можно пойти на север — к Новгороду и Пскову, можно пойти на юг — к Курску и к Белгороду, и дальше — к Полтаве, и еще дальше — к Севастополю, и повсюду люди будут вспоминать, как матери в горящих домах прижимали к себе младенцев, как старики на виселицах, будто маятник часов, отмеривали время, как по

детям, с волосами цвета льна или цвета зрелых колосьев, или цвета южной ночи, ползли вражеские танки; и от Владикавказа до Петрозаводска, подобная ветру, не утихнет повесть о муке народа.

Время — врач; к жизни возвращаются жены, потерявшие мужей, матери, оплакивающие выношенных ими героев; скорбь становится просветленной; но скорбь остается, — это не платье, которое можно снять. Мы знаем, как много крови на вечной зелени лавра; дорогой ценой оплачено право жить, мыслить, дышать. Глядя на хорошие, умные лица советских ученых, я невольно думаю о погибших юношах. Они окончили школу за несколько дней до 22 июня. Они не написали книг, не построили городов, даже не успели выбрать подруг. Они умерли за то, чтобы были прекрасные книги, высокие города, счастливые семьи.

Память — высокий дар. Не будь памяти, легкой и ничтожной была бы жизнь; годы распались бы на минуты; и человек, не зная ни верности, ни мудрости, жил бы призрачной жизнью мотылька. О забвении мечтают или преступники, или малодушные.

Вспомним города Запада после мировой войны. Среди некрополей Вердена и Соммы Европа, как заводная кукла, танцовала; она танцовала день и ночь, переходя от фокстрота к уан-степу и от шимми к танго. То были годы пошлой экзотики Поля Морана и прекраснодушной болтовни на берегу Женевского озера. А неподалеку уже резвились чернорубашечники, немецкие генералы уже разыгрывали первые «путчи», Крупп, Шнейдер, Базиль Захаров и сэр Генри Детердинг уже высчитывали, сколько принесет им каждая тонна освежеванной человечины.

И люди, жаждавшие быть обманутыми, между двумя турами фокстрота наивно повторяли: «Больше войны не будет!» Вспомнили ли они годы позорного забвения, когда над ними повисли «юнкерсы», когда они увидели колючую проволоку, черепа эсэсовцев, смерть за час до рассвета?

Мы храним память, как щит, и мы не позволим ни саксофонам, ни краснобаям заглушить голос мертвых; мы не хотим, чтобы наши дети через десять, через двадцать или через тридцать лет пережили 22 июня.

В годы между двумя войнами поводырями слепых были мясники, повязавшиеся слюнявками, и рецидивисты в дипломатических фраках. «Умиротворители» масличными ветвями прикрывали домны Эссена. Они думали превратить рейхсвер в карательный отряд для усмирения народов. Они думали с помощью СА и СС повалить Россию. Они дождались своего: гаркающие и харкающие завоеватели взобрались на Эйфелеву башню, дошли до Акрополя и тоннами взрывчатых веществ забросали казалось неприступный остров.

Забыли ли мы о том, кто устилал гобеленами и тепличными орхидеями дорогу варваров? Забыли ли мы о том, что путь в Освенцим лежал через Мюнхен?

Я думаю о судьбе мира; ему едва исполнился месяц. Кто знает, как он нам дорог, этот долгожданный младенец! Мы не хотим, чтобы его заспали нерадивые няньки.

Нет в нас злопамятства. Мы помним заветы солидарности и человечности. Пусть в скверах Берлина играют немецкие дети. Но мы помним о фленсбургских крысах, о рурских промышленниках, о господах с учеными степенями и с послужными списками палачей, о костяке гитлеровского государства и гитлеровской армии. Если не бьют лежачих, то ползучих бьют, ибо ползучие жалят. Нельзя оставить на земле людей и людоедов, народы и фашизм.

В тумане раннего рассвета, когда уже нет войны и еще нет мира, некоторые перестают различать абрис вещей; они готовы принять соратника за противника, а эсэсовца за гуманиста. Вдруг показывается оборотень; насвистывая танго, он ухмыляется: «Я тоже воевал...» Да, он первый поддержал чернорубашечников, когда они уничтожали ипритом эфиопов. Да, он рьяно прятал пиратов Германии. И, видя такое, честные люди молят: «Света! Мы не хотим после страшной трагедии глядеть мерзкий водевиль!»

Я видел во Франции над солнечными часами старую и мудрую надпись: «Все ранят, один убивает». Если обследовать труп фашизма, на нем окажется много ранений — от легких царапин до тяжких ран. Но одна из ран была смертельной, и ее нанесла фашизму Красная Армия — задолго до нынешних торжеств: в Сталинграде.

Русский народ никогда не болел национализмом, этой болезнью чванливых индюков и толстокожих бегемотов.

В те времена, когда русские еще не разгибали спины, они молились «о мире всего мира», а поняв свою силу, они протянули руку другим народам и сказали: мир всему миру! Гостеприимен, общителен и чистосердечен наш народ, не пытался он отсидеться за стеной, за океаном, за горами, и душа его такова, что спасает он и чужих детей, чужое счастье. Смеется этот народ над себялюбивыми слепцами, которые говорят: «Моя хата с краю», — русская хата никогда не бывает с краю, и если она на околице, она все же становится сердцем — не от самоутверждения, а от самопожертвования.

Сколько листов бумаги исписали гитлеровские спесивцы, чтобы доказать миру свое превосходство! Теперь они подобострастно улыбаются: «первые» стали последними. Наш народ никогда не кричал о своем превосходстве, и если на него смотрят с любовью, с восхищением все народы мира, то это не потому, что есть какой-то «русский череп», а потому, что есть русское сердце и советское сознание.

На праздник нашей Академии приехали ученые из всех стран, — это дань советской науке и это дань Красной Армии: она отстояла культуру. Историки расскажут, как в середине XX века над миром нависала ночь варварства, как горели книги, в концлагерях умирали ученые и ржали немецкие кони в аудиториях университетов. Двадцать восемь героев, стоявшие насмерть под Москвой, может быть, не знали ни о трудах Ланжевена, ни об открытии Эйнштейна, ни об Оксфорде, ни о Сорбонне; но они помогли отстоять от фашистской ночи факел Прометея. Кто знает, что было бы с Лондоном, с его древностями и с его детьми, если бы в те времена, когда гитлеровцы суетились у Ламанша, не было на Немане Красной Армии? Что стало бы с краем Шекспира и что стало бы с далекой Америкой, если бы три года не сражалась против гитлеровцев Красная Армия?

Есть в Париже дома, где жил Мольер, где говорили о вольности первые якобинцы, где писал свои полотна Коро. Как хорошо, что в тех домах нет больше фашистов и что бои на Волге, на Дону, на Днепре помогли освобождению Парижа! Есть в Лондоне площадка, на которой играла крошка Доррит, улицы, по которым ходили Байрон

и Шелли, есть в нем много дорогого человечеству. Как хорошо, что мы помогли Лондону отстоять себя! Мы вернули Польше красоту Вавеля, гробницы Мицкевича и Словацкого. Мы сражались за свободу Праги уже после того, как отгремели торжества на Западе: гитлеровцы еще терзали этот чудесный город, и мы вернули Град чехам; а советские воины умирали за Прагу в те дни, когда всего труднее было умирать. И если дом в Веймаре, где великий старик, умирая, воскликнул: «Света!», будет и через века манить странников, то это потому, что Красная Армия уничтожила тьму, спасла наследие Гёте от арийских бесов.

До сих пор иные зарубежные литераторы называют нашу победу «чудом»; их расчеты опровергнуты событиями; на что же им ссылаться, если не на капризы судьбы? Они не могут понять, как молодая армия Советской республики выстояла, когда на нее обрушился рейхсвер; ведь у немцев тогда было больше и военного опыта и техники. Некоторые зарубежные литераторы добавляют: «Притом у немцев было больше культуры». Старое и грустное заблуждение! Неужто культура народа определяется только количеством машин, или переплетами книг, или мишурой обстановки?

В Бухенвальде найдена книга: переплет ее сделан не из пергамента, а из кожи замученного узника, — это «Майн кампф». Можно, любуясь переплетом, сказать: «Вот высоты культуры!» Можно с отвращением отбросить книгу и сказать: «Даже дикари, проживавшие на Сандвичевых островах, обладали большей культурой, нежели эти библиофилы».

Культура — беспрерывный процесс творчества, культуру нужно созидать; и в росте нового сознания, новых чувствований мы оказались впереди других.

Мы знали, за что воюем, в этом была наша сила. Мы знали это не потому, что прочитали столько-то статей, мы знали это потому, что позади были четверть века советского бытия, потому что до газетных статей мы читали книги, потому что до винтовки мы держали циркуль или перо. Для гитлеровцев война была выгодным ремеслом, или увлекательным спортом, или естественным состоянием общества. Я помню, как меня удивил один из первых

немецких дневников летом 1941 года; его вел немецкий интеллигент; и поразителен был переход от угара июля к меланхолии августа: натолкнувшись на сопротивление русских, автор дневника сразу вспомнил роман Ремарка, он начал вздыхать: «Зачем?» Разве спрашивали «зачем?» герои, стоявшие насмерть у Ленинграда, разве спрашивали «зачем?» женщины, старики и дети этого великого города?

Армию Гитлера вели вперед жадность и спесь, а когда немцы узнали неудачи, они стали вполголоса роптать, сочинять душещипательные песенки или анекдоты, в которых высмеивали самих себя. Они морально были растоптаны задолго до их окончательного разгрома: у Сталинграда.

В годы испытаний ярче всего сказалось величье нашего народа: не розами проверяют крепость сердца — железом. Разгадка победы в том, как пережил наш народ лето сорок первого, лето сорок второго. Есть минуты, когда человек один в душевной глубине разрешает вопросы жизни и смерти. Гитлеровцы быстро продвигались на восток. Горели Гомель и Чернигов, танки Гудериана проникали в наши тылы. Кто мог разглядеть в те дни Красную Армию на Унтер-ден-Линден? Но наши люди и тогда знали, что победа будет. Это не было слепой верой, это было высоким сознанием; сказалось все, что предшествовало испытаниям: рождение нового мира, равное сдвигу геологических пластов, рабфаки и колхозные парки культуры, домны Кузнецка и эпопея челюскинцев, миллионные тиражи Госиздата и Шекспир в захолустьях Коми, труд каждого человека и труд всех большевиков, сказался труд Сталина, его клятва.

Были учителя и писатели, были люди мысли и сердца; четверть века они делились с младшими товарищами своим жаром, кровью, надеждами. И вот в 1941 году мир увидел, как взошли семена, как из докладов Сталина, из книг Горького, из крови героев — у Царицына, у Перекопа, на востоке и на западе — вышла великая армия.

Есть удаль — это хорошее врожденное свойство, и есть мужество — оно не дается с колыбели, оно связано со зрелостью мыслей и чувств. Мужеством наш народ поразил мир. Напомнить ли о том, как десяток бойцов пожертво-

вали собой, взрывая мост у Витебска, или как радист повторял: «Огонь на меня!», или как девушки умирали, вынося раненых, или как боролись школьники против мощной германской империи, или как, вздохнув, докурив «козью ножку», полз красноармеец с бутылкой к вражескому танку? Напомнить ли о мужестве тыла, о том, как рабочие спасли заводы, как железнодорожники отстояли артерии, несущие кровь к сердцу, и как в глухих деревнях женщины без писем, без надежд шли на штурм с плугами и косами? Писали о подвигах, о тех эпизодах, которые останавливали на себе внимание своей необычностью, а потом и подвиги стали казаться будничными, ибо героизм был в воздухе и героизм был воздухом: им дышали и его не замечали.

В дни испытаний народ почувствовал всю силу своей любви к родной земле, было это таким горячим, таким сильным чувством, что люди, прикрывая холмик, овраг, выемку или выпуклость земли, забывали о себе. Когда-то люди клялись землей, брали горсть ее в рот, — родной землей клялась Красная Армия в самые страшные дни. Вдвойне дорогой стала нам Советская страна, ее города, древние и новые, и луга, и песни, и крик детишек за речкой, и рябина на околице, и даже ухабы дорог, которые столько раз мы всердцах проклинали. Увидел русский снега Кавказа, горные ключи, серебряный воздух раннего утра, когда эхо долго повторяет слова дружбы; и увидел грузин белые ночи Севера, широту медлительных рек, сон старых деревьев; и сыновья сорока народов защищали город Петра, город Пушкина, город Ленина; и, проходя по набережной Москвы, сибиряк с гордостью любовался Кремлем: здесь — прошлое России и здесь — будущее мира.

Наша любовь к Родине не отдалила нас от других народов; нет, в годы войны мы острее почувствовали то братство, которое вяжет людей труда, друзей свободы. Мы знаем, что пережили народы, попавшие в руки фашистов, и если может наш боец легко понять язык поляка, или серба, или чеха, то и без слов он поймет француза, норвежца, грека.

До Сталинграда, когда мы мечтали о мирных днях, нам мерещились картины прошлого, весна 1941-го, цветы,

не успевшие доцвести в том июне. Так путник, подымаясь в гору, видит пройденный путь.

Сталинград стал перевалом; мы начали в тумане различать грядущее, мы начали гадать, какой будет жизнь после победы. Еще дороже, еще милее нам родная земля: она окроплена кровью близких, друзей, сверстников. Мы знаем, сколько ран на этой земле; только вдохновение, тот огонь, что помог нам отстоять эту землю, поможет ее выходить. Как шли в атаку танкисты и пехотинцы, в атаку пойдут каменщики и архитекторы; прославят свое оружие инженер и учитель, агроном и писатель.

Мы знали победу, — боевая подруга, она ходила в штыки, отдыхала у солдатского костра, поддерживала ослабевшего. Настанет день, и победа войдет в каждый советский дом, сядет за стол, надрежет хлеб.

Июнь 1945 г.

О ВРАГАХ И ДРУЗЬЯХ

Помню, как осенью сорок второго года возле Ржева мы толковали о будущем мира. Были среди нас более восторженные и более сдержанные; но и самый недоверчивый тогда не представлял себе, до чего могут быть наглы обманщики. В сорок втором некоторые люди, называвшие себя нашими союзниками, говорили: «Зачем торопиться со вторым фронтом?» Теперь они кричат: «Зачем медлить с третьей войной?» Невоевавшие вояки, для которых чужая кровь была доходами, стали воинственными. Доктор Роберт Монтгомери, профессор университета в Техасе, уверяет, будто американцы могут в двадцать четыре часа убить семьдесят пять миллионов русских (тютелька в тютельку): «Я забочусь не о них, а о нас. Если мы должны их убить, лучше это сделать немедленно, а не через три года».

Доктор Роберт Монтгомери и ему подобные твердят о необходимости защитить «западную культуру» от большевиков. Некоторые приклеивают к слову «культура» другую этикетку: «европейская» или «атлантическая». Не могу не упомянуть о живописной детали. Как раз под статьей, призывающей к защите «атлантической» культуры, я нашел сообщение о последних культурных достижениях самих защитников: муниципалитет Чикаго торжественно чествовал некоего Джона Барклей, который установил рекорд хождения на голове, — без помощи ног и рук, отталкиваясь головой от земли, он прошел триста ярдов. Это, конечно, невинное развлечение, и я хотел бы,

чтобы все защитники «западной культуры», повара атомных снадобий, ростовщики «планов Маршалла» и воинственный доктор Роберт Монтгомери применяли бы свои головы так, как применяет свою голову оригинал из Чикаго. Но их, видимо, не устраивает медаль, полученная Джоном Барклей, им снятся рыцарские кресты с дубовыми листьями, которыми щедро осыпал крестоносцев ликвидированный фюрер.

Кто же эти защитники европейской культуры? Экспериментаторы Хиросимы, поставившие памятник козам, погибшим при испытании атомной бомбы в Бикини, специалисты по сожжению живых негров Джорджии, Южной Каролины, Миссисипи и других не менее передовых штатов, ханжи, сажающие в тюрьму ученых за изложение теории Дарвина, куклуксклановцы, поклоняющиеся «великому дракону», испытанные расисты, долларопоклонники, лендлизовские Шейлоки, короли нефти, шантажных газет и жевательной резинки, составители антирабочих законов и новейшие комментаторы доктрины Монроэ: Америка для янки, а Европа для американцев.

Голодным издали показывают булку из белой «манитобы», озябшим — куль угля, голым — штаны. Порой к бакшишу прилагается свинец для непокорных: если необашибузукам отпущены подъемные и суточные, то оружие, которое оказалось ненужным против немецких фашистов к моменту открытия второго фронта, применяется (с посредственным успехом) против греческих антифашистов. Европа еще не включена в состав Штатов, но в штат включено немало европейцев. Найдены английские лейбористы, которые поставляют американских штрейкбрехеров. Найдены французы, которые кланяются американским опекунам, хотя именно эти опекуны опекают злейших врагов Франции — крупных немецких промышленников и генерала Франко. Один итальянский кинорежиссер сделал хороший фильм о беспризорных, которые предлагают американцам почистить обувь. В Италии американцы нашли достаточно чистильщиков сапог, — я говорю теперь не о голодных мальчишках, а о министрах, прелатах и литераторах...

Голодает и мерзнет земля той «западной культуры», которая якобы дорога заатлантическим дельцам. По

приказу опекунов льется кровь во всем мире: голландцы стреляют в индонезийцев, эсэсовцы, палачи Орадура, усмиряют жителей Вьетнама, греческие монархисты убивают героев Сопротивления. Таковы скромные дебюты защитников «европейской культуры». Не приходится говорить о суверенитете государств. Лев Великобритании на американском корму присмирел. Вашингтон запрещает лейбористам заниматься весьма скромной национализацией. В Италии и во Франции американцы, показав зеленые кредитки, потребовали удаления коммунистов из правительства. Страна Конвента и Коммуны для Джонов Непомнящих — это только европейские Филиппины. Если, паче чаяния, французские социалисты окажутся недостаточно покладистыми, приготовлена смена: высокий генерал, который показал, что он умеет низко кланяться. Газета «Эпок» предупреждает французов: «Возможна прямая интервенция Соединенных Штатов». А «Нью-Йорк таймс» лицемерно вздыхает: «Мы пойдем на великие жертвы, чтобы спасти культуру...» Итак, в Греции они спасают Акрополь, а если им придется пойти на интервенцию во Франции, то с исключительной целью — защитить Собор Парижской богоматери от Луи Арагона...

Если в Америке еще имеются люди, способные поверить, что атомные ростовщики действительно защищают культуру, то в Европе таких олухов нет. В Европе есть люди, готовые ради кошелька еще раз предать и свою родину и культуру, — позавчерашние мюнхенцы, вчерашние коллаборационисты. В Европе есть также люди, которым дороги родина и культура, их не соблазнить долларами, не запугать бомбами. Годы испытания не прошли даром, твердь отделилась от хляби.

Мы знаем, что существует Атлантический океан, который отделяет Европу от Америки. Но что такое «атлантическая культура»? Архитектура старой Испании куда ближе к архитектуре старой Грузии или Армении, чем к архитектуре ацтеков. Биография Парижа больше напоминает биографию Праги, чем биографию Атланты или Филадельфии. Амстердам или Стокгольм куда роднее Ленинграду, чем Чикаго. Только человеку, который проскакал на голове триста ярдов, может притти в голову объединить Пропилеи с чикагскими скотобойнями,

Гюго — с законом о разделении рас и противопоставить все это Тургеневу или Чайковскому.

Люди менее претенциозные говорят о «западной культуре». Но культуру нельзя разделить на зоны. Противопоставлять западноевропейскую культуру русской попросту невежественно. Когда мы говорим о роли, которую сыграла Россия в духовной жизни Европы, мы отнюдь не хотим этим принизить другие народы. Ходули нужны карликам, и о своем расовом или исконно национальном превосходстве обычно кричат люди, не уверенные в себе. Глубокая связь, существовавшая с древнейших времен между мыслителями и художниками различных стран, способствовала богатству и многообразию культуры. Мы учились у других, и мы учили других.

Нужно ли еще раз напоминать, что без классического русского романа нельзя себе представить современную европейскую и американскую литературу, как нельзя себе представить современную живопись без того, что создано французскими художниками прошлого века. Белинский сто лет назад писал, что европейские народы «нещадно заимствуют друг у друга, нисколько не боясь повредить своей национальности. История говорит, что подобные опасения могут быть действительны только для народов нравственно бессильных и ничтожных».

Смешно было бы защищать Льва Толстого от атомщиков из Техаса. Можно только напомнить, что за короткий тридцатилетний срок советское искусство создало много ценного, перешедшего в другие страны и нашедшего там продление. Разве не показательно, что старые фильмы Эйзенштейна, Пудовкина, Довженко способствовали рождению итальянского кино, что музыка Прокофьева и Шостаковича благотворно отразилась на творчестве некоторых американских композиторов и что, как некогда Байрон, Маяковский обошел все сады поэзии Старого и Нового Света? Что касается самой сущности советского строя, то она оказывает огромное влияние на политику, на экономику, на культуру мира. Рассказывая о строительстве плотины во Франции, консервативная газета «Монд» называет его «французским Днепростроем». Эта лингвистическая справка говорит о многом. Никакие «доктрины Трумэна» не отделят нашу культуру от европей-

ской, даже если Маршалл выпишет сто тысяч чеков, даже если защищать Европу от нашей культуры будут самые изысканные культуртрегеры, вроде Буллита и Салазара.

Король печати, или, выражаясь скромнее, владелец самых подлых газет Америки, скупал в Европе готические монастыри и свозил их к себе. В бывших монастырях он устроил ванные комнаты и, вероятно, считал себя культурнейшим человеком. На самом деле он оставался дикарем, древние статуи так же его не облагородили, как никакие ванны его не очистили и не очистят. Культура — это не только старые камни, это старые камни, способные вдохновить молодых дерзновенных творцов. Культура — не трофеи, ее нельзя засунуть в карман вместе с военными базами, нефтяными промыслами и картинами из итальянских музеев.

Культура — не рента, нельзя ее получить в наследство, положить в сейф и жить на проценты. Культура не существует вне творческого движения. Мало цитировать, нужно говорить так, чтобы слова становились цитатами. Умирает не культура, умирает тот класс, который перестает создавать культурные ценности. Буржуазия создала множество высоких произведений искусства. Кто вздумает отрицать значение Бальзака и Диккенса, Флобера и Золя, Делакруа и Курбе, Манэ и Сезанна? Они жили в те времена, когда буржуазия жила. Теперь буржуазия — это живой труп.

Есть во Франции литературная газета «Фигаро литтерер»; в каждом ее номере можно найти злобную и низкую вылазку и против советской литературы и против тех французских писателей, которые идут вместе со своим народом. «Фигаро литтерер» щеголяет своей мнимой культурностью. И вот на первой странице этой газеты я нашел восторженное описание литературного салона г-жи Софи Стамба. В этом салоне бывают различные знаменитости, как, например, Жюль Ромен, и г-жа Софи Стамба показывает всем знаменитым гостям свои переплеты. Ее книги и альбомы переплетены в человеческую кожу. Г-жа Софи Стамба говорит: «Он был красивым парнем, я его сама выбрала... Видите, вот следы его сосцов. А волосы еще растут... У меня в запасе десяток человеческих кож,

но они похуже, они пойдут на маленькие книги...» Стоило ли вешать нюрнбергских злодеев, чтобы ползать на брюхе перед американскими расистами и переплетать романы Жюля Ромена в человеческую кожу?

Мы относимся с глубоким уважением к культурному наследству буржуазного общества — к Гюго и к Шелли, к Рембо и к Коро, но мы презираем одичавшую современную буржуазию. Никому не придет в голову назвать немецких фашистов защитниками «западной» или хотя бы немецкой культуры; они и не были защитниками буржуазной или феодальной культуры, они были носителями варварства, хотя в Германии тридцатых годов имелись и Гётештрассе, и образцовые печатни Лейпцига, и заводы «ИГ», и рестораны-автоматы — словом, все те семь чудес, которыми кичатся Мичиган или Огайо.

Не случайно бледны, подражательны, беспомощны те произведения современного искусства, которые ограничены буржуазным восприятием мира. Западноевропейский писатель, не нашедший пути к народу, невольно замыкается в себе, его не могут вдохновить ни дела Поля Рейно, ни ужимки г-жи Софи Стамба. Так появляется еще один роман, где тщательно обследованы различные формы гниения одинокой и мертвой души. Как только писатель выглядывает в окошко, встречается с живыми людьми, его книги превращаются в обвинительный акт против засидевшихся мертвецов.

Я не знаю политических настроений превосходных американских писателей — Хемингуэя, Фолкнера, Колдуэлла. Надеюсь, что им не по душе «доктрина Трумэна». Знаю одно: в их книгах встает злосчастная, трагическая, одураченная и запойная Америка — искусство не терпит обмана.

Страшен жизненный путь апологетов «западной культуры». Мы помним «дневники» Андре Жида, его восхищение 1940-м, «мудростью» Гитлера. Теперь он разъезжает по той части Германии, которая занята американцами, и выступает со сладкими речами перед питомцами Бальдура фон Шираха.

Пятнадцать лет тому назад Жюль Ромен писал: «Фашизм стремится создать общество, в котором каждый находится на своем месте». Французы вскоре увидели,

какое место предназначил им фашизм. Что касается Жюля Ромена, он своевременно уехал в Америку. Теперь он прославляет американскую реакцию. Пятнадцать лет тому назад он сватал Францию за Гитлера, называя предполагаемый союз «супружеской четой». Теперь он расхваливает нового жениха с долларами. Это уже похоже не на свадьбу, а на скверный «дом свиданий». Здесь нет места ни для национальной гордости, ни для любви к своей родине, здесь нет заботы о судьбах французской культуры — только страх перед будущим, ненависть к коммунизму, желание спрятаться за спину держиморды, будь то немецкий фельдфебель или шериф из Оклахомы.

Не случайно Жюль Ромен или Моруа — с атомщиками. Не случайно лучшие представители французской мысли с нами. Во Франции, как и в других странах Европы, идет борьба за человеческое и национальное достоинство, за культуру. Коммунисты, как и в годы Сопротивления, привлекают к себе самых честных, самых смелых. Мы помним о наших врагах, и это хорошо. Нехорошо, что мы подчас забываем о наших друзьях. Вперед выскакивает какая-нибудь пасквильная статейка «Эпок» или «Орор», речь того или иного министра — героя на час, суета американских маклеров, пытаясь заслонить героическую повседневную борьбу коммунистов, самой сильной и самой мужественной партии Франции.

Летом в Париже умер один из самых больших художников Франции — Альбер Марке. Он был новатором, свои чудесные полотна — реку, деревья — создавал как бы из ничего, и он был наследником великих пейзажистов прошлого — от Клода Лоррена до Коро. Альбер Марке был коммунистом, горячим и верным другом Советского Союза. Мы, может быть, недооценили этой утраты.

У нас много пишут о Сартре и, может быть, недостаточно внимания уделяют творчеству такого крупного писателя, как Арагон. Я видел во Франции партизан, которые шли в бой со стихами Арагона «Роза и резеда». Нам следует почаще вспоминать наших друзей, ибо та борьба, которую мы ведем с невежественными хищниками Уолл-стрита, — это борьба за культуру и счастье всего человечества. У нас очень много соратников: народы, их цвет, их искусство.

К нам пришли крупнейшие ученые Франции — покойный Ланжевен, Жолио-Кюри, крупнейшие ее художники — Пикассо, Матисс, крупнейшие поэты — Арагон, Элюар. Я говорю сейчас «крупнейшие» не потому, что лично я люблю краски Матисса или поэтику Элюара. Я говорю о бесспорном: о том, что вынуждены признать и враги. И не потому стали большими мастерами Арагон и Элюар, что пришли к нам; они пришли к нам потому, что они большие мастера. Представители высокой культуры, патриоты своей страны, они защищают жизнь от смерти, искусство от мирового ку-клукс-клана. От долларовых крестоносцев отшатнулись и Эйнштейн, и Бернард Шоу, и лучший поэт Латинской Америки Пабло Неруда, и католик Бергамин.

Атомщики выступают не только против нас, не только против строптивой Европы, не только против своих американских рабочих, они ополчились на живое, новое, страстное искусство. Депутат дикого штата Миссисипи, заселенного рабами и рабовладельцами, Ренкин потребовал изгнания из Америки Чарли Чаплина и «расследования коммунистической антиамериканской деятельности» Дороти Паркер.

Почему лучший киноактер нашего времени и талантливая американская писательница так разгневали депутата Миссисипи? Им дорога культура, они любят искусство, и, следовательно, ненавидят ту Америку доллара и плети, которую представляет Ренкин.

Я был в Америке, когда только начинался крестовый поход против прогресса, но и тогда можно было увидеть, с какой иронией воспринимала лучшая часть американской интеллигенции попытку пришить мораль, философию, эстетику к «бизнесу». Теперь господа из Вашингтона жаждут «оздоровить Европу». Между подсчетом расходов по усмирению греческого народа и распределением министерских портфелей в шестнадцати подшефных государствах Европы президент Трумэн занимается эстетикой. Он осудил крупнейших мастеров современной Франции, заявив, что «настоящие художники должны прежде всего думать о сходстве с натурой». Живопись для этого знатока — не философская концепция художника, не цвет, а всего-навсего фотографическое сходство с натурой.

Дядюшка Сэм решил контролировать не только желудки, но и души своих должников.

Мы не одни в той духовной войне, которую нам объявили белокожие черносотенцы Америки. С нами молодые демократии Европы, герои Польши и мастера Праги, с нами французский народ и неукрощенные патриоты Греции, с нами оскорбленная Испания и внуки гарибальдийцев, которые никогда, никогда не станут чистильщиками американских сапог, с нами лучшие ученые, поэты, живописцы Европы, с нами и все честные, душевно смелые американцы.

Мы радуемся каждой удаче наших друзей — на выборах или в навязанной им войне, их трудам, книгам, полотнам. Ведь все живое, большое, что создается за пределами нашего государства, остается в пределах нашего сознания и нашего мира. Не мы выдвигаем принципы культурной автаркии. Советский патриотизм неизменно связан с любовью к другим народам, с заботой о всечеловеческой культуре.

Мы знаем, что наше государство, наша наука, наши книги нужны миру. Историей мы поставлены впереди, это место диктует нам не самодовольство, а самоотверженность. Мы не удивляемся злобе, клевете, бряцанию оружием — у кого много друзей, у того много и врагов. Уверенно мы смотрим вперед: трудное, но высокое время.

Сентябрь 1947 г.

РЕЧЬ НА ПАРИЖСКОМ КОНГРЕССЕ СТОРОННИКОВ МИРА

Писатель, я хотел бы говорить о литературе, о магии слова, о поэтах и книжниках. Я буду говорить о другом: о той угрозе, которая, как черное облако, нависла над миром. Я буду говорить об этом, потому что новые варвары грозят всему, что мне дорого: пожелтевшим инкунабулам в книгохранилищах Европы и ребенку, который раскрывает впервые букварь, Пушкину и Ронсару, Лувру и Уффициям, дереву, которым любуется поэт, и самому поэту, и садам, и городам, всей нашей славной древней культуре.

Можно ли сейчас говорить о другом? Когда море грозит прорвать плотины Вальхерена, разбуженные среди ночи люди отбивают приступ стихии. Когда стадо яростных слонов грозит возделанному полю Индии, люди отражают приступ слонов. Когда пожар грозит городу, люди не медлят — они заливают огонь.

Теперь человечеству грозят не слепые стихии, не звери, но кучка людей, в руках которых газеты и радиостанции, золото и базы, бомбардировщики и атомные бомбы. Можно ли сейчас говорить о другом? Судьба детей, судьба колосьев, судьба культуры теперь зависит от одного: сможем ли мы отстоять мир, отбить приступ новых варваров.

О, конечно, люди, которые хотят развязать войну, умеют хорошо говорить: это не бешеные слоны, это опытные дипломаты. Готовясь к нападению, они говорят об

обороне. Однако они умеют не только говорить, они умеют и проговариваться. Они неожиданно признаются, что могут сбросить атомные бомбы на любой город мира, при этом они уточняют, что их летчики уже изучили планы советских городов. Они клянутся, что могут отравленными ливнями уничтожить нивы Европы. Они рекламируют микробы чумы и ядовитое вещество, способное умертвить половину человечества. Они обсуждают, как будет выглядеть Париж после того, как на Пале-Рояль упадет атомная бомба.

Что стоят после этого их заверения о «строго оборонительном характере» военных сговоров? Нельзя изображать из себя казанскую сироту и трогательно сморкаться на торжественных церемониях, а потом вытаскивать на свет божий «Б-36» с атомными бомбами или пробирки с чумными бациллами.

Если не все говорят, откуда исходит угроза миру, все это великолепно понимают. В «Монд» я прочитал элегическую статью о том, как расходятся американцы и европейцы в своем отношении к последнему военному сговору. Автор пишет: «Для американцев самое важное — выиграть войну, если ее нельзя предотвратить. Для европейцев самое важное — не допустить войны».

Мне хотелось бы защитить честных американцев от автора статьи в «Монд»: для кучки американских хищников действительно самое важное — затеять войну, но для народов и Европы и Америки самое важное — не допустить войны.

Война для народов — это слезы и кровь, это вдовы и беспризорные, это раскиданное гнездо, погибшая молодость и оскорбленная старость, это пустыня там, где жила, росла и цвела Европа. Но для американских хищников война — это другое, — это заказы, поставки, балансы, дивиденды. Они умеют перегонять кровь в золото, переводить цифры убитых на цифры доходов.

Разумеется, на людях они говорят о другом. У них есть штатные лгуны, присяжные дезинформаторы. Кто утверждал, что русские танки идут на Тегеран, и кто невзначай оказался в Иране? Кто говорил, что Советский Союз хочет присвоить датский остров Борнхольм, и кто под шумок присвоил Гренландию? Кто возмущался вмешательством

«красных» в греческие дела и кто теперь хозяйничает в Афинах?

Эти господа уверяют, что их сговор — нечто среднее между клубом голубеводов и литературным кружком по изучению прав человека. Они, видите ли, «объединены общими идеалами».

Я вспоминаю Мадрид под бомбами, под снарядами, кровь Гарсия Лорки, последний путь Антонио Мачадо, и я убежден, что не сегодня завтра в клуб «супердемократов», именуемый Северо-Атлантическим пактом, будет принят главный «гуманист»: генерал Франко.

Они отстаивают расовое равенство, обливая бензином негров. Они «ограждают суверенитет» других стран, назначая и смещая правителей двадцати республик. Они «искореняют» фашизм, набирая дивизии из бывших эсэсовцев. Они утверждают принципы свободы, залезая под кровати голливудских актрис и захлопывая двери Америки перед поэтами Франции. Они судят гитлеровцев за то, что гитлеровцы подготовляли нападение на Советский Союз, и одновременно они разрабатывают план № 2 такого же нападения. Они стоят за человеческое достоинство, и для этого они не жалеют мыла на веревки греческих палачей. Эксис Сэлли, которая была диктором наци, когда американцы посадили ее на скамью подсудимых, возмущенно ответила: «В чем вы меня обвиняете? Уж не в том ли, что я на несколько лет опередила вас?..»

Люди, подготовляющие новую войну, особенно охотно говорят о культуре. По их словам, они вынуждены защищать «западную культуру» от Востока. Это, конечно, плагиат, и если бы Геббельс не отравился, он мог бы потребовать авторские за исполнение своего номера всеми «атлантическими» виртуозами.

Кто же должен представлять «западную культуру»? Куклуксклановцы Алабамы, турок Ялчин, Ильза Кох, японские самураи, рабовладельцы Иоганнесбурга, король Абдулла, мюнхенские приятели Гитлера, крупные негоцианты Сеула, Чан Кай-ши, мистер Парнел Томас и, конечно же, сэр Виктор Кравченко.

От кого вышеупомянутые джентльмены должны защищать «западную культуру»?

От «Востока», а к «Востоку» относятся Луи Арагон и Пабло Неруда, аббат Булье и настоятель Кентерберийского собора, Холдэйн и рабочие парижских предместий, мэр Флоренции и Говард Фаст, Пикассо и Томас Манн, Жолио-Кюри и граждане Орадур-сюр-Глана.

Больше всего о защите «западной культуры» твердят американские выскочки. Эти вообще не доросли до понимания культуры. Они могут обсуждать, что останется от Лувра после атомной бомбы, они могут мечтать, как бы приобрести Лувр, но понять то, что в Лувре... Нет, до этого они еще не доросли. Пусть скромно подумают о своем возрасте, пусть постоят с непокрытыми головами перед Акрополем, перед Капитолием, перед киевской Софией, перед Шартром. Культура — не свадебный пирог на столе плантатора Миссисипи, культуру не разрежешь на куски. Можно сочинить любой дипломатический документ и в нем объявить Италию атлантической страной, но нельзя объявить «великого дракона» из Атланты и членов «Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности» представителями культуры — западной или восточной, северной или южной.

Истоки нашей цивилизации относятся к древней Греции. Мифы, познания, эстетические нормы пришли оттуда в Италию — через древний Рим, в Русь — через Византию. Италия дала миру Чимабуэ и Джотто, Россия — Андрея Рублева. Мировая культура — не Берлин: ее не рассечешь на две половинки. Каждый народ внес свой вклад в сокровищницу мировой культуры. Леонардо да Винчи и Данте, Бальзак и Коро, Сервантес и Гойя, Шекспир и Диккенс, Бетховен и Гёте связаны с породившей их землей, но они расширили и обогатили сознание всего человечества. До чего же обедненной предстанет перед нами европейская культура, если отсечь от нее русский роман, перевернувший совесть мира, русскую музыку, работы русских ученых, наконец то открытие нового мира, которое совершено в 1917 году русским народом! Часто люди спорят, кому принадлежит то или иное изобретение: случалось не раз, что ученые в разных странах одновременно бились над той же проблемой. Но вряд ли кто-нибудь осмелится оспаривать приоритет России в деле построения социализма.

Тот, кто дорожит всеобщей культурой, дорожит и национальными чертами, присущими гению того или иного народа. Есть глубоко реалистическая сатира Сервантеса, есть острая ирония Свифта, есть веселая насмешка Мольера и есть смех сквозь слезы Гоголя.

Некоторые доктринеры в Соединенных Штатах любят превозносить «американский образ жизни». Что же, если их удовлетворяют драг-сторы, гангстерские фильмы, рекламы богослужений и «Комиссия по расследованию антиамериканской деятельности», это их дело. Беда в другом: доллар им ударил в голову, они всерьез возомнили, что кино на Бродвее прекраснее Акрополя и что «Ридерс дайджест» лучше Льва Толстого. Они хотят обезличить все земли, повсюду насадить свой стандарт. Народы Европы для них новобранцы, которых нужно своевременно побрить и забрить.

Нет ничего отвратительнее расовой и национальной спеси. У мировой культуры — кровеносные сосуды, которые нельзя безнаказанно перерезать. Народы учились и будут учиться друг у друга. Я думаю, что можно уважать национальные особенности, отвергая национальную обособленность. Настоящий патриот любит человечество, и настоящий интернационалист предан своему народу. Люди Сталинграда умирали за свое родное село, за песню, запомнившуюся с детства, за советский народ, и они умирали за все села Европы, за все песни мира, за все народы земли.

Люди, занятые теперь объединением Западной Европы, не расширяют свой духовный мир, а сужают его. Правда, они готовы опрокинуть пограничные столбы между Люксембургом и Бельгией, но за это их обязуют вырыть ров между собой и пятьюстами миллионами людей, которые живут, работают, созидают новый мир.

Было время, когда Франция шагала впереди человечества. Русских вольнодумцев тогда называли «вольтерьянцами» и «якобинцами». Они были настоящими русскими патриотами и хотели счастья для своей страны. Мне думается, что французы, поляки, итальянцы, чехи, труженики других стран, которые вдохновляются опытом советского народа, остаются добрыми патриотами своих народов. Мы не делим культуру на западную и восточную. Мы

делим мир на строителей культуры и на вандалов, на творцов и на трутней, на живых людей и на живые трупы. Когда я говорю «мы», я не замыкаюсь в границах моего государства: ведь с нами лучшие люди всего мира.

После опубликования текста последнего военного сговора его апологеты удовлетворенно заявили: «Раскол мира теперь закреплен». Да, он действительно закреплен, но он проходит не по той линии, которую провели авторы пакта. Это раскол между людьми прошлого и людьми будущего, между долларом и совестью, между атомной бомбой и подлинным гуманизмом, между заступом могильщика и заступом садовода. Наш конгресс — лучший ответ тем, кто думал расколоть мир на «западный» и «восточный». Я спрошу авторов военного сговора: с кем Париж мысли и труда? С защитниками мира или с атомщиками?

Мне хочется еще раз напомнить, что культура — не рента. Нельзя жить только памятниками старины или только памятью о старине. Когда культуру не продлевают ежечасным трудом, порывом, вдохновением, культура отмирает,— на фоне нюрнбергских дворцов Ренессанса появляется суеверный маньяк и самодовольный крикун, подкрепляет невежественные призывы цитатами из Данте. Мне кажется, что главным нашим вкладом в мировую культуру является то, что мы ее не только храним, но и созидаем, что культура в Советской стране — дело не избранных, а всего народа.

Мне хочется рассказать об одной ленинградской девушке. В годы осады она вела дневник. Этот дневник попал в мои руки. Среди коротких записей, передающих те страдания, которые вынес Ленинград, — такая-то подруга умерла, снова сто двадцать пять граммов хлеба, снова мороз в комнате, и нет света, и нет воды, и снова умер сосед, — среди этих записей я нашел другие: «Вчера вечером — «Анна Каренина», «вчера ночью — «Г-жа Бовари», «вчера всю ночь — «Тихий Дон». Я удивился: как могла эта девушка читать книги по ночам, — ведь в городе не было света? Я встретил ее и спросил. Она ответила: «Я не читала, я вспоминала книги, которые прочла раньше. Это помогало мне бороться со смертью».

Мы победили фашизм потому, что у нас были такие девушки, потому, что у нас пастух взял в руки глобус и

землекоп изучал движение небесных светил. Мы стали непобедимыми потому, что есть оружие, которое сильнее всех атомных бомб, — человеческое сознание.

Нам дорого достался мир, и мы его лелеем. Мы его лелеем не потому, что мы слабы, а потому, что мы миролюбивы, и миролюбивы мы именно потому, что сильны. Мы отстраиваем Сталинград, мы сажаем леса против засухи, мы боремся с болезнями, а не разводим чумных микробов. Мы пишем книги, и, глядя на детей, мы знаем, что они войдут в светлые сады иного века. Мы уверены в будущем, и поэтому мы думаем не о том, как залить мир кровью, а о том, как оросить пустыни и прогреть тундру.

Мы уверены в будущем, и поэтому мы говорим людям, которые нас обличают: «Работайте, стройте ваши страны, учите ваших детей, — торжество системы, торжество идеи можно доказать только мирным трудом, творчеством, созиданием».

По древнему преданию, к мудрому судье пришли две женщины, они спорили: кому принадлежит ребенок? Та женщина, которая прикидывалась матерью, заявила судье: «Разруби ребенка пополам». Она так говорила потому, что это был не ее ребенок. Варвары, помышляющие сейчас о войне, готовы умертвить будущее человечества, потому что это не их будущее. Они боятся времени, потому что время против них. Они ненавидят жизнь, потому что жизнь — с людьми труда, а не с кучкой хищников. Они хотят войны потому, что они обречены, потому что вся их философия, эстетика, экономика свелись к одному: к атомной бомбе.

Когда шла страшная война за культуру, за человека, за жизнь, мы были впереди других. Мы не мерили наши жертвы. Нет и не будет весов, на одну чашу которых можно положить человеческие жизни, а на другую — связку долларов. Нет и не будет народа, который захочет уравновесить два слова: «Сталинград» и «ленд-лиз». Теперь идет борьба за мир, и мы горды тем, что мы снова впереди. Мы снова боремся не только за себя — за все народы.

Я позволю себе напомнить о «священных камнях Европы». Я говорю это в городе, который дорог всему

человечеству, в городе великих писателей, великих художников, в городе многих революций, в городе веселого, смелого, вдохновенного народа. Одна низкая газета недавно допрашивала различных людей, что они будут делать, если Красная Армия займет Францию. Французы знают, что мы сделали для освобождения Франции. Французы знают также, что нет и не может быть у нас неприязни к французскому народу. Вместо танков, которыми пугала низкая газета своих читателей, пришли в Париж мы — советские люди, писатели, ученые, рабочие. Мы пришли для того, чтобы сказать французским друзьям: «Оградим мир, оградим Францию от ужасов отвратительной бойни!»

Мы встретили здесь английских друзей. Мы говорим: «Мы глубоко уважаем ваш народ, его традиции, его упорство, его выдержку, его трудолюбие. Мы помним Лондон и Ковентри. Наверно, и вы помните Ленинград. Мы можем отстоять мир от новых испытаний».

Здесь американцы. Никогда, я повторяю, никогда мы не примем американских хищников за американский народ. Но мы должны сказать американским друзьям: «Не теряйте ни минуты! У вас есть люди, одержимые страхом, а страх делает людей безумными. Дети Америки, ее будущее поставлены на карту. Вы живете далеко от Европы и живете по-своему. Мы можем восхищаться у вас одним, отвергать другое. Но мы не хотим решать наши споры оружием. Мы не хотим доказывать нашу правоту развалинами городов».

Мы пришли сюда, и мы обращаемся к представителям всех славных народов Европы: сохраним наш общий дом, сохраним нашу древнюю культуру! Мы обращаемся с этим призывом не только к нашим единомышленникам, но ко всем людям доброй воли, будь они марксистами или кантианцами, свободомыслящими или католиками. Мы пришли сюда не для того, чтобы доказывать правоту наших идей или превосходство нашего общественного строя. Мы предпочитаем доказывать это трудом, творчеством, ростом советского государства. Мы пришли сюда, чтобы протянуть руку всем людям, которые действительно ненавидят войны. Их много, очень много, их так много, что их не сосчитать.

Кто с любителями войны, с агрессорами, с атомщиками? Пусть выстроятся эти господа и зашагают. Пожалуй, из них не сколотишь и роты.

А с нами — народы, их нельзя сосчитать потому, что народы неисчислимы и неистребимы.

Советский писатель, представитель народа, на который клевещут враги — наши и ваши — враги человечества, я закончу теми словами, которые у каждого в сердце: мир миру!

Апрель 1949 г.

РЕЧЬ НА СЕССИИ ПОСТОЯННОГО КОМИТЕТА ВСЕМИРНОГО КОНГРЕССА СТОРОННИКОВ МИРА В СТОКГОЛЬМЕ

Каждый из нас, проходя по улицам Стокгольма — одного из прекраснейших городов Европы, наверно не раз думал о том, как мир помогает творческому гению народа. Давно уже шведы предпочли сабле Карла XII кирку, заступ, циркуль. Город, в котором мы находимся, отвоеван человеком у природы, у жестоких, неуступчивых скал. Это прекрасная победа. И таких бескровных побед мы можем пожелать всем народам.

Легко понять, что в Швеции нет сторонников войны, но я боюсь, что некоторые шведы, являясь бесспорными ценителями мира, еще не могут быть отнесены к сторонникам мира: мало жаждать мира, нужно уметь его отстаивать. Жители Осло и Копенгагена любили мир не меньше, чем жители Стокгольма, причем эта любовь была столь же пассивной, как и любовь к миру некоторых жителей Стокгольма. Если рассматривать историю как нелепую ярмарочную лотерею, можно сказать, что Швеция дважды вытянула счастливый билет, а Норвегия и Дания после случайного выигрыша узнали столь же случайный проигрыш. Однако я не думаю, чтобы зодчие и сталевары Швеции, чтобы ее матери могли удовлетвориться таким подходом к истории, к будущему, к их городам, к их детям. Ведь после двух выигрышей может последовать черный цвет, — об этом теперь невольно думают миролюбивые и

трудолюбивые шведы. Мир мало ценить. Мир нужно отстоять.

Со времени Парижского конгресса прошел год. Силы сторонников мира возросли. Они настолько возросли, что заставляют сторонников войны удвоить обман, удесятерить насилие. Однако силы сторонников мира еще не настолько возросли, чтобы заставить сторонников войны отказаться от их преступных замыслов. Мы вступаем в решающую стадию великой битвы за мир. Наши дети благословят нашу успешную борьбу или проклянут наши тщетные усилия. Исход борьбы за мир зависит теперь от нас. Велика опасность привычки, благодушия, беспечности. Каждый день газеты всего мира печатают речи различных любителей человечины; атомная или водородная бомба рекламируется, как невинная игра или прохладительный напиток, нечто среднее между баскетболом и «кока-кола». Французские газеты недавно подробно описывали, что останется от Парижа и окружающих его департаментов после того, как на этот город упадет водородная бомба. Газеты рассказывали и доказывали, что от Парижа и окружающих его департаментов не останется ровно ничего. Мы вправе сказать господам, рекламирующим бомбы и супербомбы: допустим, что вы можете уничтожить Париж, построить его вы не сможете — он построен гением народа, веками труда; вы рекламируете не что иное, как конец цивилизации. Опасность в том, что люди, ежедневно читая о бомбах и супербомбах, начинают привыкать к этому вою каннибалов, как к неизбежному аккомпанементу жизни. Рождается оптимизм страуса, обыватель говорит: «Они уже не первый год пишут про войну, а войны нет. Значит, ее и не будет».

Рождается и пессимизм, столь же неуместный, как отмеченный мною страусовый оптимизм. Обыватель мрачного толка думает: «Если о войне так много говорят, значит война неизбежна — на год раньше, на год позже. Что могу сделать я, маленький Дюран или Смитс? Лучше спокойно пожить год-два, а потом будь что будет».

Сила сторонников войны в том, что непрестанными разговорами о войне они одурманивают людей, заставляют простого человека или не верить в опасность, или считать ее неизбежной. Наш долг — рассеять наивное

благодушие, побороть мрачный фатализм. Мы должны убедить простых людей всего мира, что от них — и только от них — зависит, будет война или не будет.

Скажу прямо: воюют не дипломаты, даже не генералы, воюют простые люди. Если собрать различных джентльменов, произносящих воинственные речи или сочиняющих воинственные опусы, то вряд ли удастся сколотить из них одну маршевую роту. Разумеется, у дипломатов много декоративных аксессуаров — от папок с секретными бумагами до театрального шопота. Разумеется, у генералов есть и эполеты, и планы мобилизации, и денщики. Но решают дело не эти декоративные персонажи, а народы. Газеты полны сенсаций: какой-то супермен выступил с апологией супербомбы. Пора прямо сказать, что жизнь миллионов и миллионов людей не может и не должна зависеть от десяти тысяч дельцов, которые могут быть со всей справедливостью названы душевнобольными и которых давно следовало бы подвергнуть экспертизе психиатра.

Мы не собрание секты единомышленников, не клуб мыслителей, нет, мы, именно мы, являемся подлинными представителями народов пяти частей света, народов, которые не хотят воевать и не будут воевать. Мы должны твердо заявить: «Будет война или не будет — это не лотерея, не азартная игра. Это даже не вопрос о том, сколько душевнобольных занимают ответственные посты в той или иной стране. Будет или не будет война — это зависит от нас, от тех миллионов людей, которых мы здесь представляем».

Есть право на голос у каждого живого человека: у негра Миссисипи и у парии Индии, у батрака Сицилии и у марсельского грузчика. Пусть проголосует мир не по указке шарлатанов, пусть проголосует честно. У каждого живого есть право голоса, и мы знаем, что каждый живой поднимает свой голос против сторонников новой войны. Есть право на голос и у мертвых — у героев Сталинграда, у партизан Европы, у мучеников Лидице и Орадура, у детей, безвинно погибших в Лондоне, и в Роттердаме, и в многострадальной Варшаве. Мы помним могилы. И мертвые поднимают свой голос против новых людоедов, против этих суперменов с их мерзкими супербомбами.

Сторонники войны пытаются выдать наше движение, объединяющее людей разных стран, разной идеологии, за движение, якобы защищающее Советский Союз. Я считаю нужным заявить от своего имени, от имени всей советской делегации, что не сторонники мира защищают Советский Союз, а советский народ вместе с другими народами, вместе с лучшими представителями американского и английского народов защищают дело мира.

Советский народ отстаивает мир не потому, что он слаб. Он защищает мир потому, что он духовно силен, потому, что он верит в свое будущее, в свой творческий труд, в счастье своих детей. Страха у нас нет: нашу силу проверяли не на парадах, не на олимпиадах, а среди камней Сталинграда. Если мы выстояли в страшном поединке против фашистской армии, то потому, что у нас была броня, которая действительно непроницаема: броня нашего сознания, нашей совести, нашей воли к жизни. В этом городе, случайно избежавшем ужасов войны, я хочу сказать, что, отстаивая мир, мы, советские люди, отстаиваем не только детей Ленинграда, который показал, что его нельзя сломить, но и детей Стокгольма, ибо для нас ваши дети — это будущее. Следовательно, это наши друзья. А что для суперменов с их супербомбами дети Стокгольма? Случайная мишень, мелкая карта в кровавом покере.

Я получил протест различных шведских организаций, называющих себя сторонниками мира, которые заявляют, что наши решения являются односторонними, и в доказательство этого цитируют фразы из послания норвежской эстафеты мира: «Мы горды тем, что принадлежим к могущественному фронту мира, охватывающему сотни миллионов людей, который под руководством социалистического Советского Союза является непобедимым».

Мне хочется прежде всего отметить, что цитируемая фраза кажется мне неудачной. Конечно, СССР представляет собой большую силу в борьбе за мир, но он никогда не претендовал на руководство нашим движением, объединяющим все народы.

Однако шведские организации, называющие себя сторонниками мира, повинны не в неудачной фразе, а в неблаговидном поступке: протестуя против нашего движе-

ния сторонников мира, они тем самым становятся в ряды сторонников войны. Они повинны не в неудачной формулировке, а в сознательном искажении истины. Они, например, заявляют, что наше движение якобы «вмешивается во внутренние дела Швеции». Каждому понятно, что никто из нас не помышляет вмешиваться во внутренние дела Швеции, если не считать таким вмешательством желание защитить детей Швеции, как детей других стран, от бомб и супербомб.

Я хочу еще раз напомнить, что мы, советские люди, уверены в жизненности наших идей и поэтому не собираемся подкреплять их ни бомбами, ни сверхбомбами. Мы уверены в торжестве нашего творческого труда, поэтому мы не собираемся силой доказывать правоту нашего мировоззрения. Мы доказываем и будем доказывать эту правоту другим: нашими городами, которые растут из года в год, нашими урожаями, нашими книгами, ростом человеческого сознания, которое опережает у нас рост городов. Я хочу еще раз разъяснить наше отношение к тем странам, которые живут иными идеями, иной экономикой. Мы не хотим никому навязывать советский образ жизни. Это не продукт экспорта. Этот образ жизни каждый народ может принять или не принять, его нужно оплатить своим трудом, своей борьбой, своим творчеством. Мы его не посылаем в посылках наложенным платежом, как некоторые супермены, которые считают, что американский образ жизни входит в принудительный ассортимент, наряду с маисом и с «Ридерс дайджест».

Если я скажу стороннику американского образа жизни, что я не желаю конца капитализма, он мне не поверит, и он будет прав. Если сторонник американского образа жизни скажет мне, что он не желает крушения социализма, я ему не поверю, и я буду прав. Но мы, советские люди, говорим нашим идейным противникам: «Живите вашей жизнью. Вам нравится лихорадка капитализма — от бума до кризиса? Что же, это ваше дело. Нам нравится другое, и это наше дело. Вы можете уничтожать излишки картошки, хотя у вас миллионы живут впроголодь. Это тоже ваше дело. Мы этим заниматься не будем. Вам нравятся полицейские романы? Читайте их. Смотрите гангстерские фильмы. Мы будем писать другие книги. Мы не

думаем, что бомбой можно доказать преимущества нашей экономики. Бомбой можно только разрушить то, что создано трудом рабочего человека, и убить ни в чем не повинных людей. Почему же вы думаете доказывать бомбами вашу правоту? Может быть, вы боитесь будущего? Но будущее вы не остановите никакими сверхбомбами. Вы способны только причинить огромный ущерб всей человеческой цивилизации. Если вы действительно убеждены в правоте ваших идей, почему вы не хотите убрать бомбы и сверхбомбы? Вы должны доказать жизненность капитализма вашим трудом, а не угрозами. Предоставим разрешение нашего спора нашим детям — через двадцать или через пятьдесят лет будет ясно, какие идеи оказались жизненными».

В Советском Союзе развито мирное социалистическое соревнование: один завод предлагает другому соперничество в эффективности работы, в качестве продукции. Что же, мы, советские люди, вызываем наших американских недоброжелателей на мирное соревнование. Планы сторонников войны направлены не на торжество какой-либо экономики, будь то сверхкапиталистическая, не на торжество каких-либо идей, будь то сверхиндивидуалистические, — планы сторонников войны направлены на уничтожение человеческой культуры. Мы знаем, что культура требует постоянного творческого вдохновения, обновления. Мы, советские люди, трудимся над достойным продлением того, что создано нашими предшественниками, нашими предками, над тем, что создано всеми веками и всеми народами. Именно поэтому нам дороги и памятники прошлого, в какой бы стране они ни находились, и все дети, в какой бы части света они ни росли.

Сторонники войны изобрели так называемую «западную культуру», противопоставляя ее нам, сторонникам мира. Я спрошу у каждого не потерявшего чувство юмора: кому дороже труд великих ученых Франции — Бертолле, Пастера, Кюри — г. Ачесону или Жолио-Кюри? Кто больше озабочен судьбой Лувра, Уффиций, Прадо — генерал Франко или Пабло Пикассо? Кто теперь больше смотрит и лучше понимает Шекспира — советские рабочие или рабовладельцы из достопочтенного штата Миссисипи? Мы должны еще раз громко сказать, что мы, сторонники

мира, каких бы идей мы ни придерживались, являемся подлинными защитниками человеческой культуры. Мы отстаиваем великий, многоликий пчельник Европы, города, дорогие каждому, музеи, школы. Мы отстаиваем культуру пробудившейся Азии — этой колыбели цивилизации.

Недавно один французский академик, явно сочувствующий сторонникам войны, писал, что Китай теперь потерян для европейской культуры. Нет, Китай теперь потерян для невежественных, жадных и кровожадных бизнесменов. Но Китай теперь открылся для европейской культуры, и в свою очередь он готов обогатить европейскую культуру своими творческими достижениями.

На первом заседании нашей сессии при оглашении состава президиума одного делегата спросили, представителем какой Африки — английской или французской — он является. Этот делегат ответил: «Я делегат черной Африки». Да, Африка тоже начинает приобщаться к великим достижениям подлинной культуры, и не далеко то время, когда она будет навеки потеряна для невежественных колонизаторов.

Наше движение ширится, растет, но я осмелюсь сказать, что оно недостаточно ширится и недостаточно растет по сравнению с теми чувствами тревоги, справедливого негодования, которые растут и ширятся в сердцах честных людей всего мира. Мы должны удесятерить наши усилия, объединить воистину все народы. Мы, советские делегаты, стоим за расширение наших рядов. Мы протягиваем руку всем сторонникам мира, каких бы идей они ни придерживались. Мы рады видеть среди нас аббата Булье, настоятеля Кентерберийского собора, священнослужителей различных культов. Мы рады видеть среди нас либералов, апологетов свободной конкуренции, философов-идеалистов, писателей, чьи эстетические и этические концепции весьма далеки от наших. Мы будем спорить в других местах: споры способствуют установлению истины. Здесь мы объединены одним порывом, не допускающим противоречий: борьбой за мир.

Сторонники войны любят говорить о нетерпимости советских людей, о том, что мы якобы отгораживаемся от мира. Но где он, этот пресловутый «железный занавес»? Кто осмелился не впустить в свою страну всемирно про-

славленного художника Пабло Пикассо только потому, что он — сторонник мира? Кто захлопнул двери перед настоятелем Кентерберийского собора — страна марксистов или страна мнимых христиан?

Дорогие друзья! За коммунизм мы, советские люди, боремся у себя дома, боремся тем, что стараемся лучше работать, лучше жить, добиться счастья. Здесь мы боремся за то, что равно дорого и коммунистам, и социалистам, и либералам, и католикам — всем честным людям, — за мир. Я был в Америке еще тогда, когда туда пускали сторонников мира. Многое мне там понравилось. Многое не понравилось. Но если мне многое и не понравилось, я отнюдь не думаю, что мое право — вмешиваться в жизнь, в события Америки. Я позволю себе шутку: мне лично не нравится, когда люди кладут ноги на стол, хотя американцы мне говорили, что это очень способствует умственному отдыху. Я, однако, убежден, что священное право американцев — класть ноги на стол, если это им нравится. Я также убежден, что им не следует класть ноги на чужой стол и что священное право всех неамериканцев — оградить свои столы от непрошенных ног. Я думаю, что каждый порядочный американец со мною согласится, ибо Америка большая страна, и если там много ног, то там и немало своих американских столов. Однако некоторые американские супермены считают, что все столы мира предназначены именно для их ног, и, видя сопротивление, возмущение и отпор, эти супермены вытаскивают на свет различные бомбы или супербомбы. Эта игра зашла слишком далеко, и я думаю, что наш долг перед культурой, перед детьми, перед всеми народами — положить ей конец.

Разговоры дипломатов длились слишком долго. Игра умалишенных с бомбами непростительно затянулась. Мы должны призвать всех честных людей мира поднять свой голос и потребовать немедленного, полного, безоговорочного запрещения атомного вооружения. Даже любому недорослю понятно, что атомная бомба — оружие агрессии. Если кто-либо попытается выступить против нашего движения, если кто-либо осмелится помешать простым людям поднять свой голос, то тем самым он выдаст себя, тем самым он скажет: завтрашний агрессор — это я.

В дни Нюрнбергского процесса один из обвиняемых сказал: «Мы не могли предугадать, что это кончится именно так...» Люди, залившие кровью Европу, не предугадывали, что они окажутся на скамье подсудимых. Может быть, будет правильным с нашей стороны предупредить тех, кто хочет при помощи атомной бомбы уничтожить культуру, жизнь, будущее, что они обязательно кончат не в креслах владык мира, а на скамье подсудимых?

Может быть, мы должны громко сказать, что государства, правители, военные, которые осмелятся применить атомное оружие для своей агрессии, будут объявлены преступниками и закончат свою жизнь позорно. Я полагаю, что только преступники смогут запротестовать против такого решения. Если в какой-либо стране какие-либо власти выступят против нашего постановления считать военным преступником каждого, кто применит атомное оружие, то тем самым они выдадут себя и покажут, что именно они являются претендентами на скамью подсудимых.

Вернувшись каждый в свою страну, мы с новой силой примемся за дело. Те важные решения, которые мы должны здесь принять, придадут нашей борьбе за мир еще бóльшую реальность, привлекут к нам миллионы и миллионы новых приверженцев. Мы никому не угрожаем. Но пусть знают те, кто грозит всем, что на них есть управа. Мы выполняем высокий долг. Мы — представители народов, и мы клянемся, что вырвем из рук новых людоедов смертоносное оружие, отстоим мир, мысль, жизнь.

Март 1950 г.

ЗАМЕТКИ ПИСАТЕЛЯ

ДОЛГ ПИСАТЕЛЯ

Мы переживаем суровые и величественные дни. Смертельная борьба между человеческим началом и силами зла продолжается, но теперь мы видим ее исход. Два с половиной года наш народ живет жизнью подвижника и героя. Судьба Ленинграда является как бы символом: этот город вынес все, он выстоял, когда нельзя было выстоять, и вот он идет на Запад, неся надежду и воздаяние.

Ощущение ответственности приподымает нас. Эта война не одна из тех кровавых тяжб, которыми изобилует история любого государства. Не о территории идет дело, не о сырье, не о престиже, даже не о торжестве догм. Смысл этой войны и проще и глубже. В жизнь человечества, сложную и многообразную, полную взлетов и срывов, богатую благородством и мишурой, дерзаниями, заблуждениями, открытиями, вмешались силы, отвергающие добро, братство, свободу, попирающие разум, презирающие красоту. В истории человечества бывали страшные катастрофы, когда торжествующее зло на долгие столетия опустошало не только страны, но и сердца. Летом 1941 года многим на свете казалось, что Европа, если не весь мир, стоит перед таким катаклизмом. Мы вправе сказать, что наш народ спас человечество от великого затемнения.

Поглощенные борьбой, многие не замечают, до чего изменился мир. Он не тот, что три года тому назад. Все в нем — другое. Изменилось и наше место в этом мире. Давно ли, казалось бы, дальновидные люди говорили о

России как о географическом понятии, как о лаборатории, где чудаки занимаются подозрительными опытами, как о глухой окраине. Теперь многие из этих скептиков с упованием следят за продвижением Красной Армии. Никто теперь не отрицает мощи советской державы. Однако только кроты цивилизации способны ограничиться ссылками на неисчерпаемые ресурсы или на торжество пространства. Не «КВ» побили «тигров», не уральские домны осилили рурские, даже не территория от Владивостока до Гжатска одолела другую территорию — от Гжатска до Атлантики, нет, — советский человек победил фашистского робота. Боевая техника, резервы, стратегия — все вытекает из основного: из силы человеческого сознания. Не будь у нас этой силы, наши заводы не выдержали бы эвакуации, наши войска не выдержали бы отхода и каждый отдельный человек не выдержал бы всех выпавших на его долю испытаний. Не мы начали эту войну, и не войной хотели мы доказать правоту наших идей. Судьба решила иначе. Но, слушая салюты орудий, мы не забываем о биении сердца. Наши победы — это не только победы армии и державы, это также победы сознания и совести. Несколько дней тому назад я прочитал в американской газете «Крисчен сайенс монитор»: «Может быть, начинающаяся эпоха будет «Русским веком».

В самой природе творчества заложена опасность смещения пропорций: художник живет деталями. Если мы просмотрим творческую биографию любого писателя Европы или Америки за последнюю четверть века, мы обязательно установим в ней присутствие советской России, будь то притяжение, отталкивание или лихорадка противоречивых чувств. Совесть подсказывала зарубежным писателям: «Там, в России, многие твои сны обрастают плотью». Но тогда вставали деревья, те самые, что иногда мешают разглядеть лес. Та или иная подробность нашего, отнюдь еще не совершенного общества, заслоняла от многих наблюдателей значение происходящего. Так было до роковой проверки: кровью. Теперь даже ювелиры чувств забыли о деталях. Пристыжены хулители. Окрепли колебавшиеся. Оправдана вера верных. Советская Россия предстала перед ревнителями правды и красоты как оплот, как спасение,

Уэллс признался, что английский народ завидует советскому народу. Это было сказано в очень трудные для нас дни. Чему же завидовали люди на острове? Конечно, не нашествию, а той внутренней силе, которая сказалась в сопротивлении. Томас Манн преклонился перед правотой нашего дела. До меня дошел номер подпольной французской газеты «Леттр франсэз», я прочитал в нем следующие строки: «Мы, писатели, защитники человека, готовы были отчаяться при виде торжества низменной силы. Герои Сталинграда вернули нам веру в человека. Им мы обязаны тем, что не умрет Франция и не умрет поэзия».

На нас обращены глаза нашего народа и народов мира. У великого государства должна быть великая литература. Писатель — это слово должно звучать гордо. Наш долг не только отображать — быть; рождая отображение, не только описывать — предписывать.

Теперь много говорят о традициях. Молодые офицеры пристально вглядываются в черты Суворова, Кутузова. Мы, писатели, должны помнить о традициях русской литературы. Гениальные писатели были и у других народов, но есть в русской литературе нечто, присущее только ей: это — литература большой совести. За рубежом ее называли «самой человечной литературой». Она не знала границ между прекрасным и нравственным, между сложностью чувств и гражданским долгом. Конечно, не каждые четверть века рождаются Толстой или Достоевский, но и писатели, куда менее прославленные, оставались верны тем же заветам. Голос может быть меньше — голос, не совесть. Вспомним терзания Гаршина, чистоту Короленко. Мы восстановили много полузабытых слов. Время напомнить, что литература — призвание, что писатель — это не человек, занимающий должность, а творец и учитель.

В мире, отделенном от нас не только пространством — временем, очень трудно стать писателем: там много внешних преград. Их нет и не должно быть у нас. Но ворота в литературу — узкие ворота, и дело писателя — трудное дело. Я говорю не только о мастерстве, я говорю о некоторой обреченности. Писатель должен пережить за одну жизнь множество жизней, болеть горем других, радоваться их счастьем. Его личная судьба должна перерасти в общечеловеческую, наблюдения должны стать переживаниями,

и внешний мир войти во внутренний. Только тогда его книги будут вдохновлять, учить, радовать, только тогда они станут книгами, а не печатными листами.

Писатель не репродуктор, и за книгой всегда стоит живой человек. Можно ли, не обладая гражданским мужеством, призывать других к самоотверженным подвигам? Можно ли, будучи холодным, разжечь в других огонь? Писатель должен всей своей жизнью отвечать за написанное.

Есть прекрасная сказка Андерсена о живом соловье и мертвом. Искусственного соловья богдыхан предпочел обыкновенной пичуге. Но вот настала страшная минута, смерть грозила владыке, а искусственный соловей молчал: завод не работал. Есть в литературе искусственные соловьи, мертвые виртуозы, поставщики заменителей. Пройдем мимо. Мне только хочется, чтобы молодые авторы помнили: книгу нельзя придумать, книгу нужно пережить, и за каждую страницу писатель платит страшными часами, а иногда и годами. Напрасно требовать от писателя тем или слов, чуждых его душевной структуре. Книги тоже умеют мстить. Разумеется, любой квалифицированный литератор может написать грамотную книгу любого жанра и на любую тему. Но кому нужны такие произведения? Статистикам?

Писатель, не понимающий своей ответственности перед народом, это — недоросль. Когда имеются недоросли, появляются гувернантки. Критика — это не отметки экзаминатора и не обвинительное заключение. Критика — это горение, это высокий вид литературы. Зачастую наши критики подходят к неудачной книге как к преступлению. Говорят, что за битого дают двух небитых; вряд ли это правильно по отношению к писателю, — творчество сложный и мучительный процесс, и у хирурга другие инструменты, нежели у забойщика. Критика, даже самая строгая, хороша, если она не принижает писателя. Новая книга должна рождать споры, восторг, отталкивание. Как часто похвалы, похожие на венки из искусственных цветов, оскорбляют писателя еще больше, чем осуждения! Критика — это сотворчество, это — Белинский, а не распределитель, где выдают пряники по категориям. Народ на войне вырос. Будем писателями большого и зрелого народа!

В дни мира жизнь многообразна, и чем больше ответвлений, извилистых потоков, тем сильнее народная душа. В те далекие от нас годы мне приходилось иногда спорить с любителями единообразия. Я и теперь убежден, что писатели не хористы, что важна судьба каждого художника, его особенности. Как ни велик Пушкин, рядом с ним должен существовать Баратынский, даже Дельвиг. Это многообразие, эту внутреннюю свободу творчества мы защищаем от фашистов. Но у войны свои законы, и это — не законы искусства. Если мы хотим спасти искусство, мы должны подчиниться суровым законам войны. Кто вздумает рассматривать войну как естественное состояние? Это всепожирающий огонь. Нельзя убивать вне ожесточения. Нельзя итти навстречу смерти вне самозабвенного подъема. Война неуживчива, она вычеркивает многое не только из обихода — из сердца. Никто не вправе уклониться от ее призыва. В башнях из слоновой кости давно квартируют фашистские диверсанты. В облаках нет места для нейтральных наблюдателей, там тоже идут бои. Может быть, скажут: «Я не создан для войны». Но разве для того садовод Абхазии учился лелеять цитрусы, чтобы кинуться с гранатой под танк? Поэзия — уголь, а не броня.

Бывали войны, когда писатели в священном гневе проклинали оружие. В обозе завоевателей нет места истинному поэту, и древние римляне благоразумно исключали муз из своих легионов. Но разве молчали музы, когда марсельские ополченцы отстаивали свободу от коалиции монархов? Разве молчали музы, когда русский народ отражал нашествие двунадесяти языков? В походе умер старый испанский поэт Антонио Мачадо, он не молчал; и только пуля палача заставила замолкнуть чешского писателя Ванчуру.

Пусть строки, написанные сейчас, будут забыты через день или через год, не забудется то, ради чего они написаны. Быстро отгорели ракеты над Волховом, но они помогли спасти и древний Новгород и судьбу грядущих поколений. Если в дни войны мы не создадим литературы, мы ее отстоим.

Одна девушка мне писала: «Война — это просвечивание сердца рентгеновскими лучами». Бывают в жизни народа такие минуты, когда слышно и молчание, оно слышно

среди грохота снарядов. Как ждали слова многих писателей осенью 1941 года в блиндажах, в избах Смоленщины, на полустанках! Пожалеем тех, кто предпочел уйти в немоту, как в бомбоубежище. Промолчим о тех, кто промолчал.

Вспомним о других: о тех, кто писал очерки и статьи в землянках, о тех, кто был прикован к узкому участку фронта, о тех, кто знает фронтовые дороги, горе и радость солдата, о тех, кто был с народом в его самые тяжкие дни. Вспомним погибших друзей. Вспомним все, что сделано советскими писателями, и скажем: у нас много грехов, но в часы испытаний мы не хитрили с совестью, мы воевали.

Могут сказать, где же те прекрасные и нетленные книги, которые покажут потомкам нашу эпопею? Их еще нет. Скажу откровенно: я предпочитаю страстные отрывистые записи, строки во фронтовой газете, поэму гнева, дневник войны тем заменителям «Войны и мира», о которых мечтают некоторые авторы. Великие книги о великой войне будут написаны потом: их напишут участники войны. Разглядывая большое полотно, мы отходим от него на несколько шагов. Эпопея требует отдаления, а это отдаление несовместимо ни с ритмом войны, ни с нравственным чувством гражданина. Придет время больших не только по объему книг. Сердце — не мотор, и творчество — не производство. Наши дни не благоприятствуют классической ясности, зрелости, гармонии. Если я все же утверждаю, что в дни войны авторитет писателя возрос, то это не потому, что нами созданы величественные произведения. Иногда коротенькая записка, написанная впопыхах, милее и ценнее длинных трактатов. Есть люди нечувствительные к литературе, как есть немузыкальные люди. Даже до них дошел теперь голос писателя. В этом оправдание и радость нашей неблагодарной работы.

Да, перед нами не бессмертные тома, не мрамор — скорее воск: живой голос писателя. Здесь залог будущего счастья, будущих книг: писатели не отойдут от народа, и народ не расстанется с писателями. Я попытаюсь объяснить тайну этой встречи. До войны мы часто описывали происходящее, мы регистрировали события, полные величия; но протокол — это только протокол, даже если он отмечает чудеса. Мы пытались зафиксировать текучий быт, порой мы становились с палитрой, чтобы запечатлеть авто-

мобильные гонки. Иногда мы комментировали путь человека и общества, плетясь за ними вслед. Не раз, когда я брал в руки роман, мне казалось: это не автор, не режиссер, даже не суфлер, — это уборщик, который подметает зал после спектакля. Пришла война. Она обнажила сердце каждого. Наш народ принял бой, вооруженный сознанием, — в этом заслуга советского строя. Наш народ знает, за что он воюет. Но на войне мало знать, нужно еще много и сильно чувствовать. Есть мир, где писатель не эхо, не регистратор, не ученик: это мир чувств. Вот почему с такой силой прозвучал в дни войны голос писателя.

Никогда газеты так не ждали писателей, как в дни войны, никогда радио не уделяло им столько времени. Это не причуда, не мода, голос писателя стал насущным хлебом. Вырезанные из газет статьи писателей фронтовики отправляют своим близким, как письма любви. В сумке бойца можно найти самую верную подругу — книгу. Не будем отделять Марфу от Марии. Одни книги — боеприпасы, другие — хлеб, третьи — засушенный цветок. Все они необходимы. Пора оставить деления на рубрики и на категории. Неужели, если статья подана в виде драмы или в виде поэмы, она становится высокой литературой, а если она написана прозой, она только газетная статья для рубрики «Агитация»? Но Пушкин — это тоже агитация, а Герцен и Чернышевский — это тоже искусство. Если мне скажут, что памфлеты, обличающие врага, в глазах какого-нибудь чиновного олимпийца ниже романов или пьес, я отвечу: на поле боя винтовка снайпера не ниже лиры. Если мне скажут, что, по мнению чиновного ригориста, теперь не нужна лирика, я отвечу: бойцу нужен не только свинец, но и человеческое тепло. Каждый день наше радио передает романсы на слова Лермонтова, Фета, А. К. Толстого, и я не думаю, чтобы эти радиопередачи предназначались для покойников. В землянках люди спорят о романах Тургенева и Толстого, зачитываются Горьким и Бальзаком, Чеховым и Гюго. Это должно наполнить наши сердца гордостью: прекрасны наши читатели! Не обманем их доверия!

Наши враги показали себя цивилизованными варварами. Мы увидели тщету технической цивилизации, лишенной культурного содержания. Несколько лет тому назад в

нашей стране было немало молодых, которым машина, фотоаппарат, бритвенный прибор казались синонимами культуры. Я далек от машиноборства, от отрицания роли техники, но я убежден, что наши бойцы, увидав вскоре комфортабельные дома Кенигсберга или Берлина, отнесутся к ним, как к мишуре, как к презренной бутафории. Нужно привести в равновесие опыт двух поколений, не отвергая достижений цивилизации, приподнять человеческое сознание, благородство чувств, красоту. Ведь куда легче постигнуть секрет железобетона, чем тайну Акрополя или Софии. Стихи Пушкина сложнее любой машины. Мы должны быть технически сильными, чтобы в любой час защитить наши духовные ценности от покушений; но, глядя на два полушария, перед свежим примером дикости цивилизованной Германии, мы должны понять значение мысли, слова, сердца.

Мы горды нашим народом, и нет чувства чище. Оно далеко от спеси, от отрицания других народов. В национальном самодовольстве и самовосхвалении всегда есть привкус ощущения своей неполноценности. Ценность России еще раз проверена. Мы говорим о ней уверенно и спокойно.

Человек на войне особенно тесно связан с землей. Он как бы слышит рост травы. Предаваясь невольно воспоминаниям, он расширяет, углубляет их, он тянется к истокам народа. Он понимает, что слова вылетали впервые из уст его прадеда, как вылетают жаворонки из хлебов. Есть глубокая правда в расцвете национального начала, эта правда написана кровью. Здесь — корни каждого дерева, а мы не хотим быть перекати-полем.

Но, говоря о величии национального начала, не забудем о том, что именно оно нас обязывает к интернациональной широте. Не забудем о том, что великая русская литература, чуждая обособленности, жила миром и для мира. Мы не отгораживались от очистительных гроз человечества. Мы не только переводили иноземных авторов, мы их переживали. Вспомним Пушкина с томиком Байрона, Тургенева в Буживале. В европейскую литературу мы внесли нечто новое, свое. Ни Гюго, ни Диккенс, ни Бальзак не достигли такой универсальной, всечеловеческой широты, как Толстой, Достоевский и Чехов. Мы дали

миру примеры самоотверженности в октябре 1917 года и четверть века спустя, у Сталинграда. Мы стали величайшей державой мира, потому что наши идеалы — это идеалы всего человечества. Наш долг, писателей, сохранить все лучшие традиции и русской литературы и советского мышления. На одном из писательских совещаний возник спор: включает ли в себя понятие национальной гордости человеческое достоинство или понятие человеческого достоинства включает в себя понятие национальной гордости? Праздный спор: неразрывно слиты судьба нашей родины и судьба человечества. Мы помним слова: «Человек — это звучит гордо»; они были сказаны о человеке любой национальности, а произнес их русский.

Мы должны в душе каждого гражданина создать то, что создано в душе нашего государства: единство при многообразии. Советский Союз — это огромный мир. Различны истоки национальных культур — русских и грузин, украинцев и таджиков. Былина и газель очень далеки друг от друга; обе эти формы обогатили нашу поэзию. Вспомним юмор Украины, строгость Севера, цветистость узбеков, жар Армении: все это — наше. И не только это: мы смотрим на Запад и на Восток, мы их объединяем — не механически, но в высоком горении новой культуры. Человеческая культура — великий сплав. Мы брали и будем брать все ценное у других народов. Мы знаем, что мы даем другим народам, даем, не скупясь, от народного богатства. Я хочу, чтобы наши писатели были бы достойны нашей армии.

Приобщение к народным истокам естественно связано с возрождением многих традиций. Фашизм одновременно оскорблял прошлое и лебезил перед ним. Футурист Маринетти, ставший шутом шута Муссолини, требовал уничтожения древностей Италии, как бы предвосхищая труды Гитлера. Тем временем немецкие друзья Маринетти в 1934 году уже уничтожали современное искусство, выкидывали из музеев полотна Ренуара и Матисса, строили жилые дома по типу средневековых бастионов, возрождали дуэли на молотах. Фашисты искали в истории оправдания себе: духоты, мрака, нетерпимости. Ведь в прошлом каждого народа можно найти и живое семя и трупный яд. Припав к почве России, мы должны выби-

рать, а это труднее и простого отрицания и слепого приятия. Не будем ждать, пока наши читатели станут учить нас искусству отбора. Мы все знаем разницу не только между Пушкиным и Булгариным, но и между 1812 годом и 1814. Войдя в длинные анфилады прошлого, найдем в себе мужество и для преклонения и для отпора. Позавчерашнее не заслонит вчерашнего, и пусть сегодняшнее не скроет от нас завтрашнего.

Перед нами стоит огромная задача: укрепить этические нормы. За событиями часто не замечали человека. Многие писатели научились описывать стройку, плавку чугуна, процессы работы. Но люди в романах иногда были только придатком к домнам. Юноши и девушки «Молодой гвардии» — герои не написанного романа. Может быть, мы не сумели разгадать их среди будничной обстановки. Мы мало показывали и высокие и низкие чувства. Мы не давали образов зла в привычной, знакомой читателю среде; зло у нас было условным, отделенным от читателя десятилетиями или тысячами километров: девушка или юноша не знали, что зло, может быть, рядом, и, бывало, видя зло, они не знали, что это зло. Как мрамор перед скульптором, перед нами часто глыбы еще не оформленных чувств. Мне приходилось слышать разговоры о недостатках нашего воспитания; упреки относятся не только к педагогам, но и к нам. Я не думаю, чтобы писатели были присяжными моралистами; но я знаю, что на романах, на поэмах молодая душа учится различать доброе и злое, прекрасное и низкое. Дать примеры любви, верности, дружбы, самоотверженности — кто это сделает, если не писатель?

Германия уже видит тень правосудия. Страшный и отвратительный замысел — подчинить мир «народу господ», подменить разум суеверьем, перечеркнуть века, растоптать свободу — должен кончиться, и он скоро кончится постыдной гибелью маниаков. Но мы должны сразить не только Гитлера — гитлеризм. Люди от Владивостока до Атлантики уже говорят о том, что будет после победы. Мы должны очистить и землю и сердца. Есть трупный яд, фашистские пережитки, микробы, миазмы. Да не заразит мертвец ни одной живой души! В истории бывали побежденные, у которых можно было чему-нибудь научиться.

Не таков фашизм. Все в нем мерзко: и его расовая теория, и человеконенавистничество, и мракобесие, и единообразие — «глайхгешальтунг». Нельзя принять, чтобы даже в разбавленном растворе фашизм сохранился где-нибудь на земном шаре. Нельзя принять, чтобы даже в перекрашенном виде низменные наветы фашизма остались в сердце хотя бы одного человека. Писатели, мы будем взыскательны к совести. Выше всего поставим верность и чистоту.

Военный обозреватель, учитывая ресурсы, расположение воюющих сторон, вправе сказать, что самое трудное позади. Но наша область — это человеческие чувства. Ничего нет для сердца труднее последних месяцев перед развязкой, и для сердца самое трудное еще впереди. Победы одних приподымают, других убаюкивают. А перед нами враг особой конструкции. Перед нами автоматы, которыми управляют злодеи. Злодеи будут до последней минуты отстреливаться. Автоматы будут до последней минуты повиноваться. Не будем рассчитывать на легкий конец. Добить фашизм нелегко. Мы его добьем: этого требует совесть народа, но теперь, как никогда прежде, требуется напряжение всех душевных сил, чтобы не погас священный огонь ненависти, и если его нельзя разжечь бумагой, его можно раздуть дыханием. Мы должны дойти до конца, и мы дойдем. Я хочу только, чтобы в час победы, в час, когда на Пушкинской площади вспыхнут огни, когда вернется тишина, шелест листьев, шопот влюбленных, чтобы в тот прекрасный день народ сказал: писатели были со мной до конца, с ними я шел навстречу смерти, с ними я буду жить.

1944 г.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ПИСАТЕЛЯМ ЗАПАДА

Недавно закончилась третья сессия Постоянного комитета Всемирного конгресса сторонников мира. Участники этой сессии обратились с призывом «ко всем честным людям, которые, независимо от характера их взглядов на причины создавшегося сейчас напряженного международного положения, ощущают тревогу по этому поводу и серьезно желают восстановления мирных отношений между народами».

Участники сессии подписали обращение и предложили всем честным людям поставить под ним свои подписи. Я напоминаю текст этого обращения:

«Мы требуем безусловно запретить атомное оружие, как оружие устрашения и массового уничтожения людей, и установить строгий международный контроль за исполнением этого решения. Мы будем считать военным преступником правительство, которое первое применит атомное оружие против какой-либо страны. Мы призываем всех людей доброй воли во всем мире подписаться под этим воззванием».

Многие писатели Запада уже подписались под этими словами. Я обращаюсь к тем, которые колеблются, которым нашептывают, что за воззванием сторонников мира скрыта политическая интрига, которых уверяют, будто голубка мира напоминает пресловутого троянского коня.

Почему я обращаюсь к писателям? Прежде всего потому, что я писатель. Я знаю, что писатель понимает

значение своей подписи, он понимает, что его слушают и к нему прислушиваются миллионы читателей, он не только видит, он и предвидит, он не только описывает, он и предписывает, на его плечах лежит огромная ответственность.

Писатель, который пишет книгу, ответственен за все книги, написанные до него, за книгохранилища всего мира, за великие ценности прошлого. Писатель, который описывает простую человеческую любовь, ответственен за всех возлюбленных мира, за все колыбели, за все сады. Писатель, который говорит с людьми, ответственен за всех людей. Может ли теперь писатель промолчать, затаиться, предать ребенка, человеческое счастье, древние камни, судьбу культуры?

Я обращаюсь к писателям потому, что за каждой подписью писателя последуют подписи его читателей. Мне могут сказать, что никакие подписи не способны предотвратить войну, не способны защитить людей от бомб и супербомб. Такие возражения мне кажутся неправильными и не достойными писателей. Давно миновали те времена, когда войны вели обособленные касты. Я не думаю, чтобы теперь можно было бы воевать против воли народов, против воли простых людей. Подписи под обращением, осуждающим атомное оружие, — это не только листы бумаги с перечнем имен американцев и русских, англичан и французов, итальянцев и поляков, китайцев и индийцев. Подписи означают решение, волю, обет миллионов и миллионов людей. Мы знаем, что различные совещания дипломатов не привели ни к какому решению (я сейчас не стану разбирать, по чьей вине). Мы видим, что угроза применения атомного оружия против неповинных людей с каждым днем возрастает. Мы видим, что над человеческой культурой нависла еще невиданная опасность.

Древние римляне уверяли, что музы молчат, когда говорит оружие. Музы теперь должны поднять свой голос, они должны говорить для того, чтобы не заговорило оружие.

Я обращаюсь к тем писателям Запада, которые видят жизнь не так, как мы, которые часто по-другому чувствуют и по-другому думают. Я обращаюсь не к единомышлен-

никам, я обращаюсь ко всем честным писателям Запада, к социалистам и к индивидуалистам, к реалистам и к мистикам, к ревнителям прошлого и к новаторам. Я не предлагаю им присоединиться к моим социальным, политическим или эстетическим взглядам. Я не предлагаю им выступить за одну политическую партию против других или за одно государство против другого. Я не предлагаю им осудить то или иное правительство за его внутреннюю или внешнюю политику. Я предлагаю им нечто другое: выступить против атомного оружия, против бомб и супербомб, угрожающих всем людям; я предлагаю им присоединиться к требованию сторонников мира о безоговорочном запрете атомного оружия и контроле над выполнением этого запрета; я предлагаю им осудить то правительство, которое первым осмелится сбросить атомную бомбу на жителей какой-либо страны.

В обращении, принятом третьей сессией Постоянного комитета Всемирного конгресса сторонников мира, нет ни камуфляжа, ни хитрости, ни пристрастного подхода. «Секрет», связанный с изготовлением атомного оружия, давно не является монополией какого-либо одного государства. Требуя запрещения атомного оружия, мы требуем его запрещения во всех государствах, где оно изготовляется или может начать изготовляться. Мы не призываем осудить правительство той или иной страны, мы призываем осудить правительство, которое посмеет первым прибегнуть к оружию массового уничтожения людей. Это не приговор, это предупреждение. Подписав воззвание, мы обратились ко всем людям доброй воли. Я думаю, что тот, кто выступит против нашего требования о запрете атомного оружия, тем самым выдаст свои преступные замыслы. Я думаю, что тот, кто не захочет назвать преступниками людей, которые посмеют применить это оружие, тем самым обнаружит свои бесчеловечные намерения.

Я приглашаю вас, писатели Запада, присоединиться к нашему беспристрастному обращению, продиктованному гуманизмом и тревогой за цивилизацию.

Я думаю сейчас о некоторых писателях Запада, которые не могут сочувствовать планам массового истребления людей, но которые до сих пор, насколько я знаю, не

выступили против атомного оружия. Я позволю себе обратиться к каждому из них, считая, что эти личные обращения еще более уточнят сущность моего призыва.

Я обращаюсь к вам, Эрнест Хемингуэй. Вы знаете, как я ценю ваш дар, об этом я писал. Почти все ваши книги переведены на русский язык и хорошо известны советским читателям. Но я сейчас обращаюсь к вам не только потому, что вы писатель, которого я люблю. Я встречался с вами в осажденном Мадриде, когда преступники безнаказанно убивали бомбами испанских детей. Вы тогда справедливо возмущались кучкой людей, которые принесли неслыханное горе мирному испанскому народу. Я помню и другое: когда итальянские фашисты напали на Эфиопию, вы выступили со статьей, полной негодования. Вы любили итальянский народ, но вы знали, что правители Италии, напавшие на Эфиопию, совершили тяжкое преступление. Вы знали также, что за Аддис-Абебой последует Мадрид, а за Мадридом — Париж и Лондон. Многое нас теперь разъединяет, но я не хочу с вами спорить. Я обращаюсь к писателю Эрнесту Хемингуэю, пережившему трагедию Мадрида: можете ли вы молчать, когда бесчеловечные люди не скрывают своего намерения сбросить атомные бомбы или супербомбы на мирные города, на женщин, на детей, на стариков? Ваша подпись не может не стоять под требованием полного и безоговорочного запрета атомного оружия.

Я обращаюсь к вам, Роже Мартен дю Гар. Я долго хранил ваше прекрасное письмо, в котором вы осуждали вражду и говорили добрые слова о моем миролюбивом народе. Мне пришлось это письмо сжечь — в Париже, когда в город вошли фашистские захватчики. Вы, наверное, знаете, что ваша эпопея «Семья Тибо» хорошо знакома нашим читателям. Все ваше творчество отмечено гуманизмом, любовью к простым людям, и это позволяет мне обратиться к вам. Я позволю себе напомнить вам, что наш общий друг Жан-Ришар Блок много раз говорил об «ответственности таланта». Он говорил, что, когда миру грозят величайшие бедствия, писатель не вправе спрятаться, отвечая: «Это меня не касается». Вы до сих пор не сказали, что вы думаете о повисшей над человечеством угрозе. Мне кажется, что вы должны присоединиться к

требованию о запрете атомного оружия: это требование не какой-либо одной партии, это требование человеческой совести.

Я обращаюсь к вам, Джон Б. Пристли. Мы с вами не знакомы, но вы любезно сопроводили английский перевод моих статей военного времени вашим предисловием. В этом предисловии вы говорили, что цените писателя, выступившего против военных преступников. Не думаете ли вы, Джон Б. Пристли, что писателям необходимо выступить против военных преступников до того, как ими совершено преступление, и тем самым попытаться это преступление предотвратить? Несколько лет тому назад вы были в Москве, вы, наверное, успели заметить, что вас хорошо знают наши читатели и театральные зрители. Когда я вернулся из Парижа после конгресса сторонников мира, советские люди меня спрашивали, участвовали ли вы в наших работах. Я не знал, как объяснить им ваше отсутствие. В Париже мне сказали, что вы отказались приехать на конгресс потому, что вы устали, и потому, что не верите в успех подобных совещаний. Я тоже устал, Джон Б. Пристли, я устал от многого: от той войны, которую я описал в книге, украшенной вашим предисловием, и от той войны, которую подготовляют теперь люди, думающие о своих частных интересах. Я вполне согласен с вами: приятнее писать романы или пьесы, нежели выступать на конгрессах или на конференциях. Но я не могу уклониться от ответственности перед моими читателями, и хотя я тоже устал, я обращаюсь к вам. Конечно, я не могу вам поручиться, что ваше обращение остановит злоумышленников, но я вам ручаюсь, что, если вы не выступите против атомного оружия и не поставите вашей подписи под нашим воззванием, вам не простят этого ваши читатели — ни в Москве, ни в Лондоне, ни в Нью-Йорке.

Я обращаюсь к вам, Эрскин Колдуэлл. Вы были в Советском Союзе, когда нацисты напали на нас. Вероятно, вы помните, как мы случайно оказались в одном бомбоубежище: преступники тогда бомбили Москву. Вы хорошо рассказывали, смеялись, и летняя ночь прошла незаметно. Но вы не только смеялись тогда, вы негодовали. Вспоминая это, я обращаюсь к вам: вы должны подписать наше

обращение. Вы много и хорошо писали о горе простых людей Америки. Неужели вы не выступите, чтобы оградить этих людей от самой страшной беды? Я отнюдь не требую, чтобы вы разделили мою точку зрения на происходящие мировые события; я не юноша и понимаю, что ни открытыми, ни закрытыми письмами нельзя переубедить писателя, его переубеждает только жизнь. Но я хочу другого: осудите людей, помышляющих об уничтожении мирных городов. Если у вас остались добрые воспоминания о Москве, защищавшейся против фашистов, вы можете вспомнить Москву. Но это отнюдь не обязательно. Зато для вас обязательно подумать о судьбе американских городов и американских детей. По-моему, вы должны подписать наше обращение.

Я обращаюсь к вам, Андре Шамсон. Нас связывает давняя дружба. Вы были в осажденном, окровавленном Мадриде. Вы человек глубоко мирный и ненавидите войну, но когда преступники захватили вашу страну, вы примкнули к Сопротивлению, вы воевали. Под нашим обращением стоят подписи французских писателей разных взглядов. Можете ли вы не подписать этого обращения? Наши читатели знают ваши романы о жизни крестьян любимой вами горной области Севенн, ваш «Кладезь чудес», показывающий беды, пережитые Францией от фашистов. Я убежден, что судьбы ваших героев вам дороже, чем некоторым дипломатам или некоторым политикам. Вы любите искусство и много сделали, чтобы спасти замечательные памятники прошлого. Недавно некоторые газеты, выходящие в другой части света, напечатали статьи: «Что останется от Парижа после того, как на него упадет супербомба». Из этих статей явствовало, что от Парижа не останется ничего, что погибнут и Лувр, и Собор Парижской богоматери, и Национальная библиотека, и музей Пети-Пале, директором которого вы состоите. Я сейчас не стану разбирать, сколько правды и сколько бахвальства в таких статьях. Допустим, что преступники могут разрушить Париж. Но вы знаете, как и я, что построить его они не могут: для этого нужны века труда, творческий гений народа. Я убежден, что вы выступите против людей, прославляющих бомбы и супербомбы. Вы захотите отстоять

мир, спасти древние камни Парижа и детвору Севенн, вы подпишете воззвание.

Я обращаюсь к вам, Джон Стейнбек. Вы говорили мне, что нужно развеять предвоенный туман. Вы побывали недавно в нашей стране, и вы написали книгу о вашей поездке. В этой книге вы говорите, что вам не понравилась советская пьеса, изображающая американцев, которые изготовляют предвоенный туман. Это ваше дело. Я мог бы вам ответить, что мне не понравилась ваша книга о поездке в Советский Союз: она показалась мне несколько поверхностной и легковесной, я ждал другого от автора романов «Люди и мыши» и «Гроздья гнева», которые кажутся мне глубокими и значительными. Но я не намерен сейчас заниматься критикой книг или пьес. Вы заметили (и вы об этом написали), что советский народ не хочет войны. Я полагаю, что американский народ также не хочет войны. Именно поэтому я приглашаю вас выступить против кучки людей, строящих свое благосостояние на опасной и преступной игре с атомными бомбами. Я надеюсь, что вы не уклонитесь от вашего долга.

Я обращаюсь к вам, Альберто Моравия. Вы написали хорошую книгу «Безразличные», вы показали в ней, как и в других книгах, что вам далеко не безразличны судьбы простых людей Италии. Мы с вами о многом спорили в Риме. Но мы никогда не спорили об одном: о том, что необходимо предотвратить войну. Если я правильно понял ваши книги, если я правильно понял вас, вы обязательно поставите свою подпись под воззванием, направленным против атомного оружия.

Я назвал немногих, но я обращаюсь ко многим: ко всем вам, честные писатели Запада, каких бы вы взглядов ни придерживались. В час величайшей опасности для всех людей, для всех народов, для всей культуры вы не можете дольше молчать. Наше воззвание подписывают каменщики и сталевары, ткачи и виноделы, фермеры и учителя, инженеры и агрономы. Не пропустите часа: писатель должен опережать других. Голос людей, которых называют «человеческой совестью», должен прозвучать особенно громко, особенно отчетливо. Мне может не нравиться многое из того, что вы пишете. Вы можете критиковать или отвергать книги советских авторов. Однако и вам и нам

нужен мир: он нужен всем народам, он нужен искусству. Я хочу сохранить веру в человечность лучших писателей Запада. Эту веру разделяют многие читатели, и вы не должны их обмануть. Вы должны выступить с простыми, спокойными и строгими словами: запрет атомного оружия, предупреждение тем, кто замышляет убийство миллионов безвинных людей, мир всем материкам, всем городам и всем детям!

Апрель 1950 г.

ПИСАТЕЛЬ И ЖИЗНЬ

Из беседы со студентами Литературного института им. А. М. Горького

Каждый писатель работает по-своему, общих рецептов нет. Советовать молодому автору следовать такому-то методу опасно: можно научить не писать, а переписывать. Поэтому я прошу отнестись к тому, что я скажу, как к описанию пути одного из писателей, помня, что путей столько же, сколько авторов.

Мне хочется прежде всего сказать о рождении романа. Я позволю себе упомянуть «Бурю» — легче объяснить многое, ссылаясь на личный опыт.

Мысли о «Буре» родились в годы войны. Я не писал тогда романа, да и не мог писать, — был занят другим. Война началась для меня летом 1936 года, и когда 9 мая 1945 года война кончилась для всех, мне хотелось, чтобы она кончилась и для меня. Я знал, что если начну писать «Бурю», война останется в моей комнате, на моем столе, в моем сознании и сердце. Я пытался оправдаться перед собой, говоря, что романы о войне создадут другие, рядовые ее участники, юноши, шагнувшие прямо от школьной скамьи на передний край. (Скажу, кстати, я и теперь убежден, что лучшие книги о минувшей войне еще не написаны, их пишут, их напишут люди, для которых война была первым большим испытанием.)

Я не хотел писать «Бурю». Почему я все же ее написал? Мне кажется, что у мертвых есть право на голос. Я часто думал о близких, о друзьях, которые не вернулись

с войны; вспоминая рассказы, душевные признания, услышанные на фронте, говорил себе: эти уж не смогут описать, как они жили, сражались, умерли. Я сел за книгу, потому что не мог уйти от воспоминаний, не мог укрыться от того, что мне казалось долгом.

Может быть, «Буря» — плохая книга, но я не жалею о том, что ее написал: я действительно не мог ее не написать.

Отвечая Леониду Андрееву, который спрашивал, что нужно для того, чтобы хорошо писать, Л. Н. Толстой сказал: «Если вы задумали книгу, но можете ее не написать, то не пишите». По-моему, это мудрые слова, и я не понимаю читателя, который упрекает писателя Икс за то, что он не написал того или иного романа. Не правильней ли поступил бы этот читатель, обратившись к писателю Зет: «Почему вы написали роман, хотя спокойно могли его не написать, что было бы лучше и для вас и для меня».

Когда женщина беременна, она должна родить, иначе она умрет. Но что можно придумать отвратительней, нежели инсценировка родов без предварительной беременности? Можно быть маленьким писателем, можно быть автором неудачной книги, но нельзя быть поставщиком заменителей искусства, нельзя изготовлять книги, рожденные чем угодно, только не внутренней необходимостью, книги, порой ловкие, однако лишенные души и оставляющие равнодушными читателей.

Роман невозможно просто написать, его нужно прежде всего пережить.

Можно часто услышать, что писатель должен обладать наблюдательностью. Это бесспорно, но что такое «наблюдательность» художника? Фоторепортер старается подкараулить знаменитых людей, он ищет интересные сцены, выразительный «типаж» и щелкает, щелкает «лейкой». Он наблюдателен, никто этого не отрицает. Рембрандт писал портреты людей, порой известных только домочадцам и соседям, в портретах он раскрывал их душу, и мы теперь стоим, потрясенные, перед его холстами. Рембрандт тоже был наблюдателен, но не так, как фоторепортер, по-другому. Фотообъектив может запечатлеть любого человека, любой пейзаж, а художник ограничен в выборе модели;

его наблюдательность связана с его душевной природой и с его биографией.

К одной материи легко пристают репейник, различные колючки, к другой материи они не пристают. Предполагается, что писатель — это человек, обладающий штанами, к которым пристают колючки — страсти, радости, беды. Однако не все колючки пристают к каждому. Писатель проходит мимо одних людей, часто не заглянув им даже в глаза, и годами он живет судьбой других людей, их удачами, ошибками, взлетом, падением.

Для того чтобы понять это свойство писателя, достаточно присмотреться к читателям. Ведь чтение тоже творчество, и читатель неизменно пополняет роман. Помню одну из читательских конференций о «Буре». Студенты и студентки читали заготовленные заранее рецензии, они старались походить на профессиональных критиков и говорили не столько о «Буре», сколько о литературе, посвященной «Буре». Когда конференция кончилась, началась оживленная беседа; две девушки спорили о герое романа. Одна говорила: «Как я хотела бы встретить в жизни такого человека, как Сергей». Другая возражала: «Не понимаю, что тебе в нем нравится? Ничтожество. Тряпка». Это были сверстницы, девушки, получившие сходное воспитание, придерживающиеся одних и тех же убеждений. Каждая из них дополнила текст романа своей фантазией, своим сердечным опытом, чертами, вытекающими из характера. Так родились два Сергея, не похожие один на другого.

Представьте, что к этим девушкам подойдут два писателя. Вряд ли каждый из них поймет обеих. У писателя есть свой характер, свой жизненный опыт, своя фантазия; они предопределяют выбор героев. Наблюдательность писателя — это не умение регистрировать события, характеры, конфликты, это дар сопереживания. Обычно, говоря о том, что писатель учится, имеют в виду усвоение литературного мастерства. Слов нет, научиться писать трудно. Но можно хорошо писать и не стать писателем. Писатель формируется не только за письменным столом, он формируется в самом пекле жизни, ибо описанию страстей должны предшествовать страсти.

Конечно, путешествия дают много писателю, как они дают много любому человеку. Естественно, что писатель, который готовит или пишет роман, может поехать в далекий город или на строительство, или в деревню, чтобы проверить те или иные особенности быта, детали обстановки, фон изображаемой им драмы. Но наивно рассчитывать, что роман подвернется под руку, что автор сможет где-нибудь по дороге подобрать идею книги. Можно пойти в лес за грибами — трудно представить себе экскурсию, посвященную сбору человеческих страстей. Чтобы найти героя, мало с ним встретиться, нужно обладать возможностью его понять, а последнее связано с биографией писателя.

Разумеется, писатель не может пережить все то, что он описывает, все то, что пережили и переживают его герои. Но писатель должен пережить нечто, позволяющее ему понять переживания героев. У него должен быть ключ к чужому сердцу. У одних авторов таких ключей много, у других меньше, но не было и не может быть писателя с полной связкой ключей, как бы велик он ни был.

Мне могут возразить: «Когда происходили события, описанные в «Войне и мире», Толстого еще не было на свете». Это звучит убедительно, но в этом только внешняя правда. Я думаю, что Толстой не смог бы с такой силой показать Отечественную войну, если бы он не был офицером-артиллеристом в Севастополе. Скажут — то были разные войны и по содержанию и по форме. Но Толстой узнал, что такое страх и мужество, что такое повседневная близость смерти, что такое битва, это помогло ему сделать исторический роман живым.

На командный пункт полка приезжает писатель с блокнотом, он хочет понять, что такое преодоление страха, он расспрашивает солдата Зайцева, который накануне привел «языка». Зайцев излагает все, как было (вернее, как это описано в дивизионной газете). Если бы Зайцев мог целиком восстановить все, что произошло в его голове и в его сердце от той минуты, когда он выполз из окопа, до той, когда его поздравлял майор, Зайцев был бы уже наполовину писателем. Восстановить душевный мир Зайцева по смутным разрозненным признаниям легко и нелегко — для этого надо обладать ключом.

Простите за один не слишком серьезный пример. Ко мне однажды пришел молодой автор. У меня болела голова, и я искал тюбик пирамидона. Едва я успел проглотить таблетку, как юноша спросил: «Прошло?» Уходя, он попросил разрешения задать мне вопрос: «Скажите, это очень больно, когда голова болит?» Оказалось, что у него никогда не болела голова. Это, конечно, хорошо, и этому можно позавидовать, но представьте себе, что в эту никогда не болевшую голову придет сумасшедшая мысль описать головную боль. Автор или спишет несколько строк из чужой книги, или сочинит нелепость, которая рассмешит и рассердит читателей.

Дело, конечно, не в этом юноше и не в головной боли, дело в том, что порой читатели смеются или возмущаются, читая описания мыслей или чувств, не знакомых автору. Плохо, когда писатель хочет показать мир, которого он не видит. Некоторые критики любят упрекать того или иного автора за то, что в его романе многое отсутствует; они составляют своеобразный инвентарь: чего нет в книге. Прочитав такие статьи, можно подумать, что писатели — люди исключительно рассеянные и легкомысленные: они не только теряют очки или трубку, но, садясь писать роман, забывают включить в него самое существенное. Между тем у каждого автора есть не только потолок, у него есть и стены. Когда же писатель, прислушиваясь к недалеким критикам, начинает описывать то, что ему внутренне чуждо и непонятно, в хорошем романе оказываются страницы, которые читатель с досадой перелистывает, говоря: «Это ему не удалось»...

Вряд ли нужно теперь доказывать, что писатель, отъединяясь от общества, обрекает себя на бесплодие, на смерть. Это понятно каждому советскому человеку. Один французский критик пытался доказать, что писатель может создавать книги на необитаемом острове; он приводил в пример Марселя Пруста, который написал цикл романов, замкнувшись в комнате с пробковыми звуконепроницаемыми стенами. Однако Марсель Пруст до того, как он заперся в пробковой комнате, жил жизнью своего круга, ему было, таким образом, что описать.

Связь писателя с обществом не может быть пассивной; наблюдать мало, нужно участвовать в жизни. Для моло-

дого автора нет ничего опаснее ранней профессионализации, которая отдаляет его от сверстников, от их будней, от их работы. Вспомним, как долго учился в «университетах» жизни Максим Горький, вспомним, сколько дали Чехову годы врачебной практики. Вряд ли кого-нибудь удивит, что лучшие книги о минувшей войне, как «В окопах Сталинграда» или «Звезда», написаны людьми, которые были на фронте не наблюдателями, а солдатами.

В былое время в России литература не была достоянием многих, а тем более всех. Простые люди не знали даже имен хороших писателей, между тем сами эти писатели хорошо знали жизнь простых людей, ибо до тридцати, а то и до сорока лет принуждены были зарабатывать хлеб всем чем угодно, только не литературой, у каждого из них был позади десяток профессий. Все наши читатели хорошо знают наших писателей, но, скажем прямо, к сожалению, не все наши писатели знают подлинную жизнь своих читателей.

Меня иногда спрашивают: «С кого вы писали Мадо?» Или: «Как звали в действительности Сергея Влахова?» Некоторые читатели думают, что писатель бродит по миру в поисках героя и, наконец, найдя его, выводит его в книге под настоящим именем или под вымышленным. Между тем герои романа обычно рождаются в голове, в сердце писателя. Герой — это сплав. Нужно увидеть одну девушку или сто, чтобы создать Мадо, но этих встреч мало — к сплаву автор должен добавить нечто от себя.

Глаз писателя можно приравнять к рентгеновским лучам: он проникает глубоко внутрь, позволяет увидеть человека как бы насквозь. Все же и при таком «просвечивании» часть душевного мира героев остается необследованной. Автор о многом догадывается, основываясь на своем опыте, и он неизбежно приписывает героям некоторые из своих затаенных чувств.

Иные исследователи утверждали, что газетное сообщение о самоубийстве молодой женщины подсказало Толстому идею «Анны Карениной». Возможно, что эти предположения обоснованны, однако они не объясняют главного — глубины и жизненности героини. Нас потрясает в «Анне Карениной» изображение любви, и многие читательницы спрашивают себя, как мог Толстой так хорошо

понять муки женского сердца. Конечно, Толстой умел заглядывать в тайники сердец. Но, читая дневники, письма Толстого, начинаешь понимать, что в образе Анны много от сердечного опыта самого писателя. Может быть, именно поэтому судьба Анны так волнует и поныне читательниц; свежесть, сила чувств заставляют забыть условности далекой эпохи.

В прошлом году я прочитал французскую статью, посвященную одиннадцатой посмертной претендентке на звание прототипа госпожи Бовари. Исследователи, порывшись в архивах Руана, допросив старожилов, уверяют, что существовала женщина, которая послужила моделью Флоберу. Прочитав статью, я улыбнулся: я вспомнил письмо Флобера к своему другу, в котором, рассказывая о начатом им романе, он добавляет: «Эмма — это я». На первый взгляд, такое признание может удивить. С одной стороны, немолодой, брюзгливый холостяк, тончайший стилист, к голосу которого прислушивался взыскательный Тургенев, с другой — молоденькая, взбалмошная, влюбчивая и безвкусная провинциалка. Казалось бы, между ними нет ничего общего. Однако Флобер не солгал в письме, он только проговорился. Если мы задумаемся над его биографией, над его беззащитностью в любви, над порой смешным увлечением «красивостью», над жестокостью окружавшего его быта, мы поймем, что в образ Эммы он действительно вложил много от себя, и это помогло бедной госпоже Бовари пережить не только мужа, аптекаря и любовников, но даже автора «Саламбо».

Есть писатели, которые, прежде чем начать повествование, составляют подробный план. Другие начинают писать, смутно догадываясь о том, что им предстоит сделать. Покойный А. Н. Толстой как-то сказал мне, что он не знает, что случится с его героем через несколько страниц. Он писал роман, как скульптор лепит — из комка глины рождалось лицо. Есть писатели, которые скорее напоминают архитекторов с циркулем и линейкой, но и для них герои становятся вполне ощутимыми только после того, как написаны сто, иногда двести страниц. План неизбежно подвергается изменениям, когда оживший герой начинает сопротивляться начальному замыслу автора. Я могу признаться, что судьбы Сергея, Мадо, некоторых других

героев «Бури» представлялись мне иными, когда я начинал писать роман и еще неясно видел описываемых мною людей. Герой, обрастая плотью, порой не может поступить так, как это думалось автору, когда герой был только смутной тенью.

Иногда писателя несправедливо упрекают за ошибочные поступки его героев. Между тем писатель, который, может быть, дальновидней, рассудительнее, умнее своих героев, не в силах навязать им свою логику или свою мораль, ибо тогда рассказ о живых людях, с их силой и слабостью, превратится в сухую схему.

Я не верю, что писатель может равнодушно относиться к своим героям. Описывать смерть — это значит примерять свою смерть. Однажды к Бальзаку пришел его приятель. Он увидал писателя сползавшим с кресла; пульс был слабый и неровный. «Скорее за доктором! — закричал приятель. — Господин Бальзак умирает». От крика Бальзак очнулся и сказал: «Ты ничего не понимаешь. Только что умер отец Горио»...

Я получил очень много писем от читателей: они обижались, что герой «Бури» Сергей погибает. Автору куда приятнее описывать счастье, чем несчастье. Я порой завидую Диккенсу. В его романах люди мучаются, муж разлучается с женой, жених с невестой, дети с родителями. Но в конце повествования все обязательно сходятся, сидят за круглым столом под уютной лампой и, радуясь, вспоминают о минувших страданиях. Я представляю себе прогулку Диккенса после окончания «Давида Копперфильда» или «Оливера Твиста»; рядом с ним шли счастливые люди, и счастье героев согревало автора.

Вернусь к судьбе Сергея. После победы у нас было очень мало круглых столов, за которыми не оказалось бы пустого места: мы знаем, какой ценой мы оплатили спасение мира от фашистского изуверства, и могилы героев не подавляют, а приподымают нас.

Задумайтесь над счастливыми концами романов Диккенса. Когда его герои радуются за круглым столом, в соседнем доме продолжают терзать ребенка, в долговой тюрьме плачет обиженный, девушка, как прежде, терпит унижения. Миллионы человеческих судеб остаются неизменными, и счастье героев Диккенса — это только случай-

ный выигрыш в азартной игре. Таковой была философия эпохи и общества, породивших Диккенса.

«Буря» написана в эпоху великих потрясений, беспримерных битв. Конец этой книги — победа, то есть счастье народа. Но это счастье связано с личной трагедией многих людей, потерявших на войне своих близких. Люди, глядя на пустое место за круглым столом, знали, что их горе — жертва, принесенная во имя того, чтобы счастливее сложились судьбы миллионов и миллионов людей. Таково основное отличье «несчастного» конца «Бури» от «счастливых» концов романов Диккенса.

Сложную оркестровку, передающую мир советского человека, нельзя ограничить одними духовыми инструментами. Нельзя упрощать внутреннюю жизнь людей, исключая из нее душевные испытания или печаль. Каким бы ни был писатель — крупным или маленьким, — он должен изображать человека, а не условную фигуру, пригодную разве что для диаграммы.

Я прочитал после войны несколько французских романов, написанных талантливыми писателями буржуазного общества. Эти романы меня порой смешили, порой сердили, но никак не трогали. Их схема такова: глава 1 — герой встретился с героиней, глава 2 — герой сомневается в героине, глава 3 — герой встретился с героиней и перестал сомневаться, глава 4 — героиня сомневается в герое, глава 5 — они встретились и перестали сомневаться, глава 6 — герой снова сомневается в героине, глава 7 — героиня в свою очередь сомневается в герое, глава 8 — они встретились и сомневаются совместно и т. д.

Что меня в этом смешит и сердит? Тема? Нет. Хотя о любви написано много чудесных романов, они далеко не исчерпали темы. Я с радостью прочитал бы современный роман о любви, о любовных сомнениях, о размолвках и счастье. Вырождающийся буржуазный роман плох тем, что в нем нет живых людей. Что делал герой между двумя свиданиями? Наверно, у него есть профессия, заботы, огорчения, приятели. Наверно, и героиня живет не только любовными сомнениями. Но читатель не знает ничего об их жизни, об их работе, об их среде, и герои ему кажутся не людьми, а заводными куклами, способными вздыхать, целоваться, даже говорить, но не чувствовать. Роман

должен был передать силу любви, а любви в нем нет, потому что в нем нет живых людей.

У нас есть хорошие книги, и наших книг ждут теперь читатели Запада, как можно ждать в заваленной шахте глотка свежего воздуха. Классический русский роман никогда не был ни салонным, ни будуарным. Советская эпоха внесла в литературу тему творческого труда. Это благороднейшая тема. Но и здесь могут быть неудачи, связанные с упрощением, с шаблонами. Недавно я прочитал роман начинающего автора. Вот его схема: глава 1 — Иванов придумал новый метод работы; глава 2 — Петров сомневается в методе Иванова; глава 3 — Иванов убедительно доказывает Петрову, что его метод правилен; глава 4 — Петров все же сомневается; глава 5 — приезжает товарищ из центра, и Иванов делится с ним планом; глава 6 — Петров делится с товарищем из центра своими сомнениями; глава 7 — товарищ из центра примиряет Иванова с Петровым и т. д.

Я не возражаю против содержания; все это могло произойти и на самом деле. Труд занимает крупнейшее место в жизни наших людей, и естественно, что изобретение Иванова взволновало многих. Мы знаем, что новое нелегко внедряется в любой области — в механике, как и в литературе, поэтому вполне понятно, что предложение Иванова не сразу встретило общее признание. Иванов, будучи советским человеком, не хотел отступить, он добивался торжества правды. Плоха не схема романа, плохо то, что этот роман только схема. Читатель не знает, что делали герои между двумя производственными совещаниями. Может быть, Иванов женат? Может быть, жена его поддерживала? Может быть, он несчастен в личной жизни? Может быть, Петров любит музыку? Может быть, ему присуща некоторая недоверчивость, связанная с испытаниями, с разочарованием в близком друге? Может быть, у товарища из центра опасно заболел сынишка? Люди живут сложно, и когда их лишают объема, они кажутся читателю неживыми, он не верит ни в их открытия, ни в их сомнения, ни в их труд.

Писателей называют инженерами *человеческих душ,* это ко многому обязывает. Может ли писатель ограничиться ролью простого инженера и свести роман к описа-

нию производственных процессов? Одна девушка написала мне по поводу прочитанного ею романа: «Мне очень понравилось, как описано строительство, но почему автор, рассказывая о замечательных делах нашей эпохи, не показывает людей, которые делают эти дела?» Читатель вырос, он ищет в книге не только внешнего изображения событий, но глубоких чувств, мыслей, он хочет, чтобы большая эпоха дала большую литературу.

Высокое искусство не только отображает жизнь, оно, участвуя в жизни, ее меняет. Века бродит по миру рыцарь из Ламанчи, века терзается Гамлет. Для периодов расцвета искусств характерно не то, что писатели называли своих героев именами существовавших в действительности людей, а то, что живых людей называли именами вымышленных героев. Были ли до Гоголя Маниловы, Собакевичи, Ноздревы? Конечно. Но они существовали в бесформенном состоянии, неясные для окружающих. А после «Мертвых душ» люди начали говорить: «Вчера я встретил такого-то — настоящий Манилов» или: «Да посмотрите — ведь это Ноздрев!» Вспомним появление Чацкого. Никому не пришло бы в голову допрашивать Грибоедова, с кого он его написал, но Чацкий твердо вошел в жизнь русского общества. Протокольная запись происшествия зачастую кажется неправдоподобной, стенограмма живой беседы — неестественной, и ничто так не близко к вымыслу, как фотографии, сделанные для удостоверений личности. Между тем мы верим в реальность типов Гойи или Гоголя.

Мне кажется, что наша эпоха еще не нашла новых форм для нового содержания. Иногда поиски формы называют формализмом. По-моему, формалист — это человек внутренне ничтожный, который умеет говорить, но которому нечего сказать. Такой человек может ловко перенять старую форму, может и заняться эксцентричным выдумыванием новых форм, — в обоих случаях он останется формалистом. Говоря иначе, формализм — это не наличие интереса к форме, а отсутствие содержания.

Классический роман по своей архитектуре был предпочтительно индивидуальным или семейным. Теперь корни индивидуума тесно сплетены со многими другими корнями, история одного человека неизбежно становится историей многих людей, историей общества. Писатель должен

найти для нового содержания новую соответствующую ему форму. Возьмем театр — от греческой трагедии, с единством времени и места, он перешел к смене картин, явно подсказанной ритмом эпохи. Один из первых создателей социального романа на Западе, Эмиль Золя, не удовлетворился прекрасной композицией Бальзака: он искал более широкое поле зрения, более быструю смену сцен. Повторяю: общих рецептов нет, каждый писатель ищет свою форму. Молодой автор, приобщаясь к замечательному наследию прошлого, должен учиться у старых мастеров, но он не может их копировать.

То, что я сказал о композиции, можно отнести и к ритму. Есть изумительный стиль Толстого. Есть стиль Тургенева. Язык романов Тургенева нам кажется не только богатым, но и живым. Однако изменился ритм, и если герои советского романа начнут произносить медлительные длинные тирады, это будет не стилем, а стилизацией.

Читая рукописи некоторых молодых авторов, я был поражен бедностью словаря. Многие из них пишут не на русском языке, а на особом, дурном газетном. В нем очень мало слов, он сух и беспомощен, как эсперанто. На нем можно выразить простейшую житейскую мысль, но на нем нельзя написать ни «Героя нашего времени», ни крохотного чеховского рассказа. Бедность словаря некоторые начинающие авторы пытаются исправить частым употреблением громких слов, превосходных степеней, гипербол. Порой это напоминает ярмарочного атлета, который подымает картонные гири с надписью «100 кило». Теряется ощущение природы слова. Я спросил одного начинающего литератора: «Что, по-вашему, звучит сильнее: «я тебя люблю» или «я тебя очень люблю?» Не задумываясь, он ответил: «Конечно, «очень люблю». Я думаю, что любая читательница лучше разбирается в значимости слов, чем этот юноша, уже напечатавший два-три рассказа.

Я хочу еще сказать о тенденциозности. Я думаю, что искусство всегда тенденциозно, ибо оно выражает любовь, ненависть, гнев, сострадание, надежды, волю живого человека. Художник меняет пропорции, подбирает цвета, подчеркивает одни детали и проходит мимо других. Автор романа может и должен знать жизнь своих героев с детских лет до агонии, но показывает он эту жизнь не день за

днем, он выбирает то, что ему необходимо для его замысла.

Пять лет тому назад я позировал одному из старейших художников Франции, Анри Матиссу. Мы с ним заговорили о тенденциозности искусства. Матисс был болен и работал полулежа. Он попросил свою секретаршу принести слона. Она принесла негритянскую скульптуру. Слон был изображен в ярости. Матисс спросил, нравится ли мне скульптура, я ответил утвердительно. «А вы не находите в ней ничего... ненормального?» — спросил он. «Нет». — «Я тоже не нахожу. Но посмотрите: у этого слона поднят не только хобот, подняты бивни. Приехал дурак и сказал: «Клыки не могут быть подняты». Негр его послушался»... Матисс попросил секретаршу принести второго слона. Это была пошлая статуэтка. Матисс сказал: «Видите, зубы на месте. Но искусство кончилось»...

Наши книги призваны изменить жизнь. Это доступно подлинному искусству, но не его заменителям. Великие предшественники нам завещали глаголом жечь сердца людей. Для этого мало обладать членским билетом Союза писателей, для этого нужно обладать пылающим сердцем, для этого нужно быть писателем.

Март 1951 г.

КУЛЬТУРА ИЛИ ОДИЧАНИЕ

Люди, которые говорят о мире и которые готовят войну, любят проповедовать широчайшие объединения. Они, например, уверяют, что эпоха национального суверенитета миновала. Действительно, с необычайной легкостью, которой, пожалуй, позавидовал бы цирковой фокусник, они перекрашивают политическую карту двух полушарий, размещают свои дивизии, военные эскадрильи, крейсеры в чужих владениях и голубым флагом ООН прикрывают действия одной нации, выдающей сорок восемь штатов за сорок восемь наций.

Разумеется, такого рода политика связана с отрицанием национального характера культуры.

Я далек от желания преуменьшить одаренность американского народа, я знаю, что он дал человечеству ряд крупных ученых и талантливых писателей. Если задуматься над его возрастом, то следует признать, что он очень талантлив: не обладая ни вековыми традициями, ни длительным духовным опытом, он уже многое создал, его можно назвать «вундеркиндом». Однако было бы неблаговидным по отношению к самим американцам сравнивать их достижения в области культуры с достижениями народов Старого Света.

Между тем мы видим стремление навязать Европе не зерно, а шелуху американской цивилизации. Об ущербе, наносимом при этом национальной культуре древнейших народов Европы, писалось не раз, вряд ли необходимо возвращаться к этому вопросу. Я только напомню, что

книжные лавки Франции завалены романами, переведенными с американского языка, которые вытесняют произведения французских авторов, что духовно убогий «Ридерс дайджест» стал наиболее распространенным журналом во всех странах, подчинившихся гегемонии Соединенных Штатов, что Голливуд душит талантливую кинематографию Италии и Франции. Мы замечаем организованное понижение культурного уровня; с помощью печати и радио проводится универсальное оглупление, которое естественно отражается на духовном уровне читателей и зрителей. Как плохие деньги вытесняют хорошие, в странах, пошедших на отказ от своего политического и культурного суверенитета, плохие книги, плохие пьесы, плохие фильмы вытесняют хорошие. Причем это одичание воспринимается его вдохновителями как явление положительное. Журнал «Кольерс», размечтавшись, описывает Россию после того, как она будет завоевана американцами, и уверяет, что в московских театрах будут итти пошлые американские комедии, а русские писатели будут подражать американскому детективному роману.

Нужно ли еще подчеркивать национальный характер культуры? Народ, как человек, видит мир своими глазами; проблемы, занимающие все народы, чувства, свойственные всем людям, он выражает по-своему. Один народ может обладать тонкостью зрения, ощущением цвета, оптическим восприятием мира, другой, напротив, воспринимает мир через мелодию, у него обостренный слух, он скорее слышит, чем видит. Как ни прекрасны французские композиторы, они вряд ли могут быть сопоставлены с тем, что дала Франция в живописи и в литературе. Немецкая музыка, немецкая лирика обогатили мир, но в произведениях немецких художников рисунок всегда первенствует над живописью, и Германия — одна из редких европейских стран, которая не создала своего классического романа. Можно ли представить себе Сервантеса, родившегося где-либо, кроме Испании? Можно ли вообразить не французского Мольера? Можно ли оторвать Льва Толстого от русского характера и русской истории? Как нельзя на эсперанто написать «Гамлета» или «Божественную комедию», нельзя, заменяя французскую, английскую, итальянскую культуру некоей конъюнктурной «западной куль-

турой», создать что-либо поднимающееся над уровнем «Ридерс дайджест» и голливудской продукции.

Люди, выдающие себя за людей с широким полем зрения и протестующие против национального суверенитета, который они называют «провинциализмом», одновременно заняты воздвижением в области культуры высочайшей непроницаемой стены. Да, те самые люди, которые размещают своих солдат в чужих странах, говоря, что государственные границы — пережитки прошлого, пытаются уверить своих оглупленных подшефных, что существуют якобы две культуры, враждебные одна другой: «западная» и «восточная». Для того чтобы провести границу между этими двумя культурами, люди, осуществляющие оглупление и одичание, берут не исторические труды, а свежий газетный лист: границы между «западной» и «восточной» культурой удивительно напоминают границы между странами, примкнувшими к Северо-Атлантическому пакту, и странами, против которых этот пакт направлен. Таким образом, люди, отрицающие национальный характер культуры, отрицают также ее универсальную сущность.

О «западной культуре» в ее противопоставлении «восточной» говорят не только различные генералы и дипломаты, которых, по правде сказать, трудно назвать культурными людьми, но и некоторые философы, писатели, ученые западноевропейских стран, охваченные страхом перед ходом времени и старающиеся прикрыть свое отречение от национальной культуры иллюзиями или ложью. Я не стану спрашивать этих потерявших голову начетчиков, почему среди защитников «западной культуры» мы видим Чан Кай-ши, правителей Турции, а за последнее время и Тито. Я не стану их утруждать напоминанием о том, что им невольно приходится отнести к мастерам «восточной культуры» Ланжевена, Жолио-Кюри, Бернала, Драйзера, Арагона, Пикассо и многих иных. Я попытаюсь снова ответить на их попытку противопоставить русскую культуру культуре западноевропейских стран.

Достаточно назвать имена Менделеева и Павлова, Толстого и Чехова, Горького и Маяковского, Чайковского и Мусоргского, чтобы даже человеку, вдоволь оглупленному и вдоволь одичавшему, стала понятна роль России в развитии общечеловеческой культуры. Легко, с другой

стороны, показать, как лучшие умы Запада обогащали деятелей русской культуры. Кровная связь очевидна, и если можно на карте провести границу военного союза, наметить базы, подходящие для нападения, то нельзя противопоставить страну Толстого стране Стендаля, уверяя, что по свойствам своего развития французская и русская культуры являются исторически враждебными.

Мне думается, что порой в заверениях апологетов «западной культуры» известную роль играет ограниченность, даже невежество. Я вспоминаю, как год или два назад академик Жорж Дюамель писал, что после изгнания колонизаторов из Китая эта страна потеряна для европейской культуры. Возможно, что такие слова продиктованы не злой волей, а незнанием. Недавно я был в Шанхае, там действительно больше нет французских концессий, и улицы, которые были названы именами различных французских генералов, получили новые, китайские наименования. Но на этих улицах немало книжных лавок, где продают переводы французских писателей как старых, так и новых; впервые широкий китайский читатель знакомится с западноевропейской литературой. Может быть, Жорж Дюамель задумается над тем, почему китайский писатель Мао Дунь на сессии Всемирного совета мира предложил отпраздновать во всех странах стопятидесятилетие со дня рождения Виктора Гюго. Может быть, задумавшись, он скажет, что Китай не потерян, а открыт для культуры всех стран, в том числе и Франции? Ведь если понимать культуру не с точки зрения атомной бомбы и «Ридерс дайджест», следует признать, что французская культура в Китае — это не «авеню Жоффра» в Шанхае с французскими полицейскими и с французскими домами терпимости, а переводы Гюго, Бальзака, Стендаля.

С другой стороны, как объяснить, если не захолустностью, не невежеством, то, что защитники «западной культуры» и среди них Дюамель забывают об огромном вкладе Китая в общечеловеческую культуру, его философов, ученых, художников, поэтов, медиков? Сейчас в Китае переводят «Песню о Роланде». Может быть, Жорж Дюамель озаботится французским изданием полных и доброкачественных переводов таких замечательных поэтов, как Цюй-Юань, Бо Цзюй-и и Су Дун-по?

Культура напоминает дерево, у нее крепкие корни, уходящие глубоко в национальную почву, но широкие ветви дерева перерастают плетни, давая свежесть всему миру. Чем крупнее национальный гений, тем легче он переходит границы и становится всечеловеческим. Я говорил о национальной сущности Сервантеса, сейчас я напомню, что Дон Кихот на своем Россинанте объехал весь мир и что в 1951 году, когда авторы «Ридерс дайджест» стряпали статью об угрозе «западной культуре», литературные круги Москвы были увлечены дискуссией, развернувшейся вокруг нового перевода романа Сервантеса, сделанного на архаическом русском языке. Романтизм обошел все страны Европы. Французская революция нашла свой отклик в литературе и искусстве стран, отделенных от Франции тысячами километров. Построение социалистического общества в России увлекает мыслителей и поэтов Италии, Индии, Мексики. Научные открытия или музыка легко переходят границы, но даже литература, даже поэзия, связанные с языком, облетают весь мир. Пабло Неруда писал о том, как его потряс Маяковский, а теперь в Китае я увидел студентов, жадно читающих поэмы Пабло Неруды. Конечно, голубки Пикассо всего лишь одна страница в истории его творчества, но если этих голубок можно было увидеть в Рио-де-Жанейро и в Калькутте, в Москве и в Кантоне, то это не только потому, что они символизируют идею мира, но и потому, что в силе, в характере рисунка сказался художник Пикассо, а за ним века и века испанского искусства.

Можно искусственно стереть границу для того, чтобы облегчить нашествие детективных романов или фильмов. Можно искусственно воздвигнуть барьеры для того, чтобы не допускать проникновения советских книг или фильмов. Можно запретить доступ в страну научным журналам, документальным фильмам или переводам романов и одновременно разрешать продавать «Кольерс», романы Миллера или кровожадные утопии о разрушении земли атомными бомбами. Однако такие границы будут отделять не «западную культуру» от «восточной», а людей от любой культуры.

Несмотря на непрестанные разговоры о близости войны, несмотря на одичание, замечающееся в ряде стран,

несмотря на барьеры, которые должны отгородить западные страны от половины мира, ученые продолжают работать в своих кабинетах и лабораториях, писатели пишут романы и стихи, художники не оставляют палитры и кистей. Много, очень много сделано в трудных условиях военных нападений и военных угроз народами Советского Союза. Я спрошу: что выгодней для культуры западных стран — обмен или рогатки? Сколько писали газеты западных стран о «летающих блюдечках» или о других снах репортеров с фантазией, но разве они ознакомили своих читателей с работами советских медиков или советских агрономов? Они расписывали мнимые советские дивизии, которые якобы двигались то на Тегеран, то на Триест, но они забыли описать, как в Советском Союзе двинулись на север пшеница и виноград, помидоры и персики. Газеты западных стран немало писали о каких-то фантастических веществах, которые якобы впрыскивают в жилы преступников, но они не удосужились рассказать о работах советских ученых над продлением жизни. Разве для западноевропейских урбанистов, для жителей Ковентри и Сен-Назера, Кале и Неаполя не поучительна работа, проделанная варшавскими архитекторами? Разве не интересен для западных стран опыт чешских мастеров полиграфии? Я был в Китае на селекционной станции с писателями Индии и Пакистана, и я видел, как они были изумлены успехами китайских агрономов. Всем народам есть чему поучиться у всех народов — и в Европе, и в Азии, и в Америке. Закупорка сосудов — скверная вещь, она никому не сулит здоровья. Если установить настоящий, честный обмен культурными ценностями, приподымется, оживет национальная культура каждого народа. Настало время выбирать: не между «западной культурой» и «восточной», а между культурой и одичанием.

Ноябрь 1951 г.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

произведений, включенных в томы 1—5
сочинений И. Эренбурга

СОДЕРЖАНИЕ

ХРОНИКА НАШИХ ДНЕЙ

ПУТЕВЫЕ ОЧЕРКИ

НАКАНУНЕ ВОЙНЫ

ВОЙНА

БОРЬБА ЗА МИР

ЗАМЕТКИ ПИСАТЕЛЯ

Редактор А. Воинов

Художник А. Коджак
Художественный редактор Н. Мухин
Технический редактор Г. Каунина
Корректор В. Туманская

*

Сдано в набор 27/V 1953 г.
Подписано к печати 3/X 1953 г. А-05493.
Бумага 82 × 108 1/32 — 55,5 печ. л. = 45,5 усл. печ. л. 41,36 уч.-изд. л.
Тираж 75 000. Заказ № 692. Цена 12 р.

2-я типография «Печатный Двор» им. А. М. Горького Союзполиграфпрома Главиздата Министерства культуры СССР. Ленинград, Гатчинская, 26.